



Эта книга, написанная на основе уникальных малоизвестных документов, посвящена интереснейшему периоду российской истории — XVIII веку.

«Птенцы гнезда Петрова» — Меншиков, Шереметьев, Толстой, многие другие. Все они достигли высот власти, и почти всех постигло затем трагическое падение...

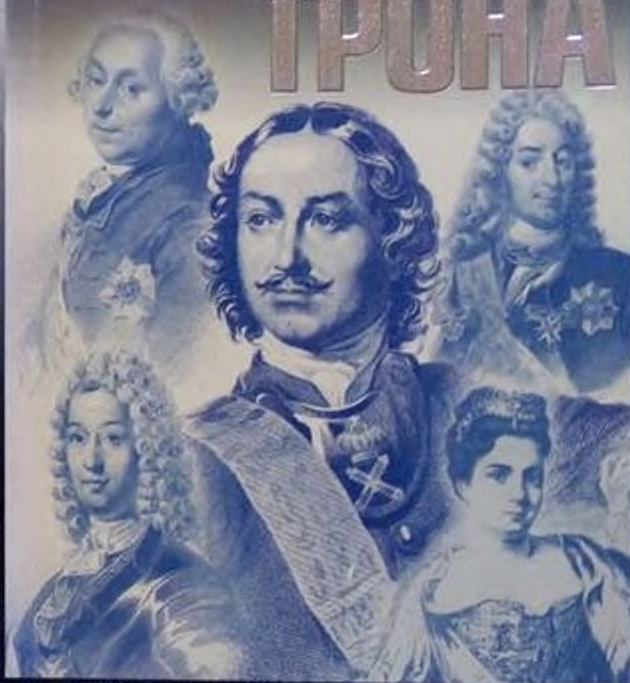
Эпоха «страстей вокруг трона» — безумное время молниеносных политических переворотов и бесконечных дворцовых заговоров, пыльного распада фаворитизма и депрессивных судеб России временщиков. Бандастерское, неоднозначное время головокружительных и изощренных дипломатических интриг...
Эта часть материалов, вошедших в книгу, публикуется впервые.



ВОКРУГ ТРОНА

НИКОЛАЙ
ПАВЛЕНКО

ВОКРУГ ТРОНА



Доктор исторических наук
Николай Иванович Павленко
(родился в 1916 г.) — один
из крупнейших
современных ученых,
исследователь русской
истории XVII—XVIII вв.,
автор более 160 работ.
Книги Н. И. Павленко
переведены на многие
иностраные языки. Самые
значительные произведения
Н. И. Павленко — «Петр
Большой», «Полудержавный
властелин», «Птенцы гнезда
Петрова», «Страсти вокруг
трона» — с большим
интересом встречены
русским и зарубежным
читателем.

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

НИКОЛАЙ ПАВЛЕНКО



ВОКРУГ ТРОНА

НИКОЛАЙ ПАВЛЕНКО

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

НИКОЛАЙ ПАВЛЕНКО

ВОКРУГ ТРОНА

**ПТЕНЦЫ
ГНЕЗДА ПЕТРОВА
СТРАСТИ У ТРОНА**

**«Мысль»
Москва
1998**

УДК 947
ББК 63.3 (2) 46
П12

Серийное оформление А.А. Кудрявцева

Издание осуществлено при техническом и финансовом
обеспечении ООО «Фирма «Издательство АСТ»

Павленко Н.И.

П12 Вокруг трона. – М.: Мысль, 1998. – 864 с. – (Всемирная история в лицах).

ISBN 5-244-00904-4

Эта книга, написанная на основе уникальных малоизвестных документов, посвящена интереснейшему периоду российской истории – XVIII веку.

«Птенцы гнезда Петрова» – Меншиков, Шереметев, Толстой, многие другие. Все они достигли высшей власти, и почти всех постигло затем трагическое падение...

Эпоха «страстей вокруг трона» – безумное время молниеносных политических переворотов и бесконечных дворцовых заговоров, пышного расцвета фаворитизма и вершащих судьбы России временщиков. Блистательное, жестокое, неоднозначное время головокружительных военных побед и изощренных дипломатических интриг...

Значительная часть материалов, вошедших в книгу, публикуется впервые.

УДК 947
ББК 63.3(2)46

© Издательство «Мысль», 1998
© Оформление. ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА

Памяти академика
Алексея Павловича Окладникова

ВВЕДЕНИЕ

В истории дореволюционной России едва ли сыщется время, равное по своему значению преобразованиям первой четверти XVIII в. За многовековую историю существования Российского государства было проведено немало реформ. Особенность преобразований первой четверти XVIII в. состоит в том, что они носили всеобъемлющий характер. Их воздействие испытали на себе и социальная структура, и экономика, и государственное устройство, и вооруженные силы, и внешняя политика, и культура, и быт.

Общеизвестно, что степень проникновения новшеств в толщу старомосковского уклада жизни была различной. В одних случаях, как, например, в быту, преобразования коснулись узкого слоя общества, оказав влияние прежде всего на его «верхи». Множество поколений крестьян и после реформы не расставалось ни с бородой, ни с сермяжным зипуном, а башмаки окончательно вытеснили лапти только в советское время. Но в области строительства вооруженных сил, структуры государственного аппарата, внешней политики, промышленного развития, архитектуры, живописи, распространения научных знаний, градостроительства новшества были столь глубокими и устойчивыми, что позволили иным историкам и публицистам середины прошлого века возвести петровские преобразования в ранг «революции», а самого Петра считать первым в России «революционером», причем не ординарным, а «революционером» на троне.

Разительные перемены, бросавшиеся в глаза всякому, кто соприкасался с временем Петра Великого, дали основание дворянским историкам разделить историю нашей страны на два периода. Они называли их то Русью допетровской и Россией послепетровской, то Русью царской и Россией императорской, то, наконец, Русью московской и Россией петербургской.

Но преобразования не являлись революционными прежде всего потому, что они не сопровождались ломкой существовавших общественных отношений: экономическое и политическое господство помещиков, крепостнический строй не только не исчезли, но и еще более укрепились. В

стране продолжали функционировать феодальные общественные отношения со всеми институтами, присущими этой формации как в области базисных, так и в области надстроечных явлений.

И тем не менее можно отметить три важнейших следствия преобразований, обеспечивших нашей стране новое качественное состояние: во-первых, значительно сократилось отставание экономической и культурной жизни России от экономической и культурной жизни передовых стран Европы; во-вторых, Россия превратилась в могущественную державу с современной сухопутной армией и могучим Балтийским флотом, — возросшая военная мощь позволила России в ходе Северной войны сокрушить шведскую армию и флот и утвердиться на берегах Балтики; в-третьих, Россия вошла в число великих держав, и отныне ни один вопрос межгосударственных отношений в Европе не мог решаться без ее участия.

Дворянская и буржуазная историография связывала успехи, достигнутые Россией в годы преобразований, с кипучей деятельностью Петра. Панегиристы еще при жизни царя в печатном слове и с амвонов не устали твердить, что всеми переменами и новшествами Россия обязана Петру.

П. П. Шафиров, автор сочинения «Разсуждение о причинах Свейской войны», которое увидело свет в 1717 г. и в редактировании которого участвовал сам Петр, затруднялся найти в мировой истории монарха, равного по талантам русскому царю: «...не токмо в нынешних, но и в древних веках трудно сыскать такова монарха, в котором бы толикие добродетели и премудрости искусства в толиком множестве обретались, яко в пресветлейшем государе родителе нашем»¹.

Шафирову вторил Феофан Прокопович. «Много ли же таковых государей во историях обрящем? — задавал он слушателям риторический вопрос и отвечал: — А Петр наш есть и будет в последние веки таковая то история, а чудная во истину, и веру превосходящая»².

В таком же духе высказывался представитель иной социальной среды — купеческой — И. Т. Посошков. Он заявлял, что «нет у великого государя прямых радетелей». Ему же принадлежит известное высказывание об одиноких усилиях царя, которому противодействовали «миллионы»: «Видим мы вси, как великий наш монарх о сем трудит себя, да ничего не успеет, потому что пособников по его желанию немного, он на гору аще и сам-десять тянет, а под гору миллионы тянут, то како дело его споро будет»³.

Колоссальную роль Петра в преобразованиях, его исключительную настойчивость в достижении поставленных целей отрицать не приходится. Его яркие и разносторонние дарования, темперамент и воля видны повсеместно. Но вместе с тем очевидно, что победа под Полтавой ковалась и в Туле, и на Урале, что роковое поражение шведам на поле брани нанесли рязанские, калужские, нижегородские, вологодские крестьяне, одетые в солдатские мундиры, а также жители Москвы, Ярославля, Твери и других губерний и городов страны. Это их подвиг славила солдатская песня:

Распахана шведская пашня,
Распахана солдатской белой грудью.
Посеяна новая пашня
Солдатскими головами;
Поливана новая пашня
Горячей солдатской кровью⁴.

Нет нужды также доказывать ошибочность тезиса Посошкова об одиночестве Петра, с удесятеренной энергией тянувшего воз преобразований в гору, в то время как «миллионы» тянули его под гору. В действительности у Петра было множество помощников, подвизавшихся на военном, дипломатическом, административном и культурном поприщах.

Как и всякая знаменательная эпоха, время преобразований выдвинуло немало выдающихся деятелей, каждый из которых внес свой вклад в укрепление могущества России. Называя их имена, следует помнить о двух обстоятельствах: об исключительном даре Петра угадывать таланты и умело их использовать и о привлечении им помощников из самой разнородной национальной и социальной среды.

Среди сподвижников Петра Великого, помимо русских, можно встретить голландцев, литовцев, сербов, греков, шотландцев. В «команде» царя находились представители древнейших аристократических фамилий и рядовые дворяне, а также выходцы из «низов» общества: посадские и бывшие крепостные. Царь долгое время при отборе помощников руководствовался рационалистическими критериями, нередко игнорируя социальную или национальную принадлежность лица, которого он приближал к себе и которому давал ответственные поручения. Основаниями для продвижения по службе и успехов в карьере являлись не «порода», не происхождение, а знания, навыки и способности чиновника или офицера.

Сказанное не исключает, что Петр на протяжении всего царствования испытывал острый недостаток в людях, располагающих к доверию и способных претворить в жизнь то, что многократно повторяли тщательно разрабатываемые им указы, регламенты и наставления. На этот счет имеется прямое свидетельство царя. В августе 1712 г. он писал Екатерине: «Мы, слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо я лвшею не умею владеть, а в одной правой руке принужден держать шпагу и перо, а помощников сколько, сама знаешь»⁵.

В предлагаемом исследовании автор попытался показать события той эпохи сквозь призму жизни и деятельности пяти сподвижников Петра: Александра Даниловича Меншикова, Бориса Петровича Шереметева, Петра Андреевича Толстого, Алексея Васильевича Макарова и Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского. Каждого из них природа одарила неодинаковыми способностями, разными были и сферы их приложения. Но при всех различиях меры таланта и знаний у них были и общие черты. Все они тянули лямку в одной упряжке, подчинялись одной суровой воле и поэтому должны были сдерживать свой темперамент, а порой и грубый, необузданный нрав. В портретных зарисовках каждого из них можно об-

наружить черты характера, свойственные человеку переходной эпохи, когда влияние просвещения еще не сказывалось в полной мере. Именно поэтому в одном человеке спокойно уживались грубость и изысканная любезность, обаяние и надменность, под внешним лоском скрывались варварство и жестокость. Другая общая черта — среди видных сподвижников царя не было лиц с убогим интеллектом, лишенных природного ума. Наконец, бросается в глаза общность их судеб: карьера почти всех героев книги трагически оборвалась.

Несколько замечаний о составе исследования. Заголовок книги заимствован у Пушкина. Вспомним строки из его знаменитой «Полтавы»:

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пренах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин⁶.

Как видим, в «птенцы гнезда Петрова» Пушкин зачислил Меншикова, Шереметева, Брюса, Боура и Репнина. Из них читатель книги обнаружит только двоих — светлейшего князя А. Д. Меншикова и генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева. Что касается Боура и Репнина, то Пушкин, видимо, имел в виду их роль в Полтавской битве. Это были военачальники, так сказать, второго эшелона. Лишь Я. В. Брюс оставил заметный след не только как один из создателей артиллерии и ее командующий, но и как государственный деятель. Велик его вклад и в области культуры. Продолжая работу над темой, автор в дальнейшем попытается восполнить пробел.

В книге прослежен жизненный путь пяти названных сподвижников Петра от рождения до смерти, наступившей в четырех случаях (Меншиков, Толстой, Макаров, Рагузинский) после кончины царя. Биографии Толстого присуща захватывающая интрига, у Шереметева, Макарова и Рагузинского напряженность жизненной канвы скрыта от постороннего взгляда и она менее динамична. Но более всего был наполнен драматизмом жизненный путь Меншикова. Бывший пирожник достиг вершин власти, стал полудержавным властелином и богатейшим человеком страны. Алчность и невероятное честолюбие в конечном счете погубили светлейшего — заканчивал он жизнь ссыльным в далеком Березове, лишенным богатств, власти, почестей, чинов и званий.

Независимо от того, в какой мере жизнь героев насыщена драматическими событиями, читатель, как надеется автор, обнаружит в книге немало нового. Новизна эта обусловлена широким привлечением неопубликованных источников. Впрочем, степень их использования в книге неодинакова.

Богаче всего опубликованными источниками обеспечены биографии А. Д. Меншикова⁷ и Б. П. Шереметева. Что касается биографий П. А. Толстого, А. В. Макарова и С. Л. Рагузинского, то они написаны преимущественно на основе архивных материалов, хранящихся в Центральном государственном архиве древних актов, в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота, в архиве Петербургского отделения Института истории, Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина и в Архиве внешней политики России. Среди архивных фондов ЦГАДА самым важным является фонд «Кабинет Петра I», в нем отложились письма многочисленных корреспондентов царю и кабинет-секретарю Макарову, в том числе многословные послания Рагузинского. В этом же архиве, в фонде «Сношения России с Турцией», отражена дипломатическая деятельность Петра Андреевича Толстого, а Саввы Лукича — в фонде «Сношения России с Китаем», хранящемся в Архиве внешней политики России.

Меншиков является единственным соратником Петра, личный фонд которого сохранился до наших дней. Правда, в нем отсутствуют документы хозяйственного назначения, но служебная деятельность представлена достаточно полно. Именно из этого фонда автор извлек основную массу неопубликованных документов.

Особый вид документов представляют дела следственных комиссий. Макаровым занимались три комиссии, Толстым — одна, Меншиков находился под следствием свыше десятилетия. Только смерть Петра избавила его от докучливых допросов следователей и суровой кары царя. Следственные материалы содержат массу колоритных подробностей бытового плана, а также выпукло характеризуют личные качества как следователей, так и подсудимых. Особую ценность этим документам придает то обстоятельство, что подсудимые оказались в экстремальных условиях, раскрывших и слабые, и сильные стороны личности.

Однако характер сохранившихся источников не всегда позволяет написать полнокровную биографию. Первостепенное значение в данном случае могли бы иметь эпистолярное наследие героев в их, так сказать, частном аспекте, а также мемуарная литература — свидетельство о них современников. К сожалению, львиную долю документов, находившихся в распоряжении автора, составляла служебная переписка и делопроизводственный материал. Хотя оба вида источников незаменимы для раскрытия существа деятельности героев, но в них приходилось выискивать крупицы сведений, характеризующих их личность, объясняющих побудительные мотивы поступков и действий.

Литература о жизни и деятельности А. Д. Меншикова, Б. П. Шереметева, П. А. Толстого, А. В. Макарова и С. Л. Рагузинского скромна. О Меншикове читатель располагает небольшой брошюрой Б. Д. Порозовской, опубликованной в серии «Жизнь замечательных людей» еще в 1895 г. Автор использовала исключительно напечатанные к тому времени источники. Поэтому о многих аспектах жизни и деятельности светлейшего лишь

упомянуто. Значительную научную ценность представляет статья Г. Есипова «Князь Александр Данилович Меншиков», написанная с широким привлечением архивных документов.

Б. П. Шереметев удостоился двух книг. Одна из них написана так давно, что безнадежно устарела — автор повествует о жизни и деятельности своего героя в апологетическом ключе, характерном для сочинений этого жанра начала XIX в. Множества похвальных слов заслуживает блестящая монография А. И. Заозерского «Фельдмаршал Б. П. Шереметев»⁸. Работу над ней он завершил в конце 30-х годов, но опубликована она была только спустя полстолетия — в 1989 г. Автор, помимо имевшихся в его распоряжении ко времени написания монографии печатных источников, использовал также неопубликованные материалы. В итоге читатель получил мастерски выписанный портрет видного полководца времен Северной войны, а также крупного вотчинника. Портрет Б. П. Шереметева интересен еще с другой стороны — в нем ярче, чем у прочих соратников Петра Великого, сочетались черты характера представителя боярского рода, уходящего в XVII в., с воздействием новых веяний, связанных с преобразованиями.

Биография А. В. Макарова еще не написана, а о жизненном пути П. А. Толстого имеется несколько публикаций документов, а также статей, среди которых наибольшей основательностью отличается работа Н. П. Павлова-Сильванского⁹. Внимание исследователей привлекали дипломатическая деятельность Толстого в Османской империи и его участие в деле царевича Алексея. Первый сюжет освещен в монографии С. Ф. Орешковой и в ряде статей Т. К. Крыловой, а второй — в «Истории царствования императора Петра Великого» Н. Г. Устрялова¹⁰. Служба А. В. Макарова в Кабинете Петра в известной мере изучена в коллективной монографии, посвященной истории Кабинета е. и. в. за 200 лет его существования¹¹.

Особое место в отечественной истории занимает С. А. Владиславич-Рагузинский. Серб по национальности, он стал известен Петру I и его соратникам тем, что, проживая в Османской империи, создал разведывательную сеть, снабжавшую правительство России ценной информацией о состоянии Османской империи, замыслах и планах султанского правительства относительно России. Большую часть сознательной жизни Савва Лукич провел в России, занимаясь торговлей внутри страны и за ее пределами. Его имя связано с крупнейшей внешнеполитической акцией России — он возглавлял русское посольство, заключившее в 1727 г. Кяхтинский договор с Китаем.

В Сербии Рагузинского чтут как деятеля культуры, горячего сторонника сближения ее с Россией и борца за освобождение славянских народов от османского ига. На его родине источников не сохранилось и единственное из известных нам сочинений, посвященных ему, написано на базе фольклорных материалов. В России, где сосредоточены основные источники о жизни и деятельности Рагузинского, до него, как говорится, не дошла очередь¹².

Не автору судить, как выполнены его намерения, но он стремился изобразить своих героев не иконописными, а живыми людьми — без нимбов, с их добродетелями и пороками. Встречающаяся в тексте разговорная речь не выдумана автором, а заимствована из источников.

В заключение считаю своей приятной обязанностью выразить искреннюю признательность товарищам, оказавшим мне помощь при работе в архивах: Н. М. Пегову, Л. А. Ястребцовой, М. И. Автократовой, Н. М. Васильевой, Н. С. Агафонову, В. И. Мазаеву, И. Н. Соловьеву. Благодарю за советы и ценные замечания Л. А. Никифорова, Е. П. Подъяпольскую и В. А. Артамонова.

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
МЕНШИКОВ

ПИРОЖНИК В РОЛИ «ПОТОМКА» ОБОДРИТОВ

Бурное время преобразований первой четверти XVIII в. невозможно представить без Петра I. Его незаурядные таланты, неугасимая энергия и настойчивость придавали преобразованиям особый колорит и неповторимые черты. Но столь же прочно с петровскими преобразованиями связано имя Александра Даниловича Меншикова, человека, несомненно, одаренного и стяжавшего известность на самых различных поприщах — военном, административном, хозяйственном.

Меншиков являлся не единственным сподвижником Петра, которого волна новшеств вознесла на вершину славы и богатства. Сын органиста Павел Иванович Ягужинский стал генерал-прокурором — высшим должностным лицом в государстве. Крещеный еврей Петр Павлович Шафиров выбился в бароны и вице-канцлеры, т. е. занимал вторую по значимости должность во внешнеполитическом ведомстве. Среди видных деятелей петровского царствования встречаем Алексея Александровича Курбатова — архангелогородского вице-губернатора, обер-фискала Алексея Нестерова, петербургского генерал-полицеймейстера Антона Девиера. Их предки тоже не принадлежали к дворянскому сословию.

Никто, однако, из них не мог стать рядом с Меншиковым ни по вкладу, который они внесли в преобразовательные начинания царя, ни по милостям и заботливому вниманию, исходившими от Петра. Более того: рядом с Меншиковым нельзя поставить ни одного фаворита, кроме, быть может, Потемкина, которыми была так богата история давно прошедших времен. К одним из них, как Бирону, Разумовскому и большинству фаворитов любвеобильной «матушки» Екатерины II, природа была скупой на таланты. Другие, как Кутайсов, Аракчеев, умели угождать, поднатюрели в мелких интригах, но, лишённые способностей, не оставили сколько-нибудь заметного следа в качестве администраторов, военачальников или дипломатов.

Заслужить привязанность и дружбу Петра качествами, которыми обладали, например, Аракчеев или Кутайсов, было невозможно — ни

Павел I, ни Александр I не чета Петру I. Ценил он в человеке, которому отдал дружбу, с которым делил часы «веселия» и тяготы походной жизни, не только и не столько умение угадывать свои желания, сколько неиссякаемую энергию, преданность преобразованиям, беззаветную отвагу, готовность пожертвовать даже жизнью ради успешного выполнения поручения. Таким мы знаем Меншикова в годы наибольшей близости к Петру. Но мы знаем и другого Меншикова — человека необыкновенного тщеславия и надменности, казнокрада и стяжателя.

К концу своей умопомрачительной карьеры Меншиков носил титул, не вмещающийся в десяток строк печатного текста. Каково же было происхождение герцога Ижорского, светлейшего князя Римской империи и Российского государства, генералиссимуса, верховного тайного действительного советника, рейхсмаршала, президента Военной коллегии, адмирала красного флага, Санкт-Петербургского губернатора, кавалера русских и иностранных орденов?

Дать точный ответ на поставленный вопрос вряд ли возможно, ибо сохранившиеся источники сообщают противоречивые сведения о предках светлейшего. Одну группу источников составляют донесения иностранных дипломатов, а также мемуары русских и иноземных современников. Надобно, однако, помнить, что ни дипломаты, ни мемуаристы не могли наблюдать Алексашку Меншикова в годы его детства, ни тем более интересоваться жизнью его безвестного родителя. Александр Данилович попал на страницы донесений послов и сочинений мемуаристов лишь со времени, когда он прочно укрепился в положении царского фаворита и оказывал влияние на ход военных и дипломатических событий, а также внутреннюю политику. Молва, на которую опирались современники, отказывала Меншикову в знатных родителях. Она была беспощадной к княжескому тщеславию и единодушной относительно его предков.

Самое раннее свидетельство о происхождении Меншикова относится к 1698 г., т. е. к времени, когда он еще не был ни князем, ни фельдмаршалом. Не занимал он тогда никаких постов и в правительственном аппарате, хотя ему тогда было 26 лет (родился 6 ноября 1672 г.). Секретарь австрийского посольства Корб называл Меншикова «царским фаворитом Алексашкой». В «Дневнике путешествия в Московию» Корб поместил фразу, свидетельствующую, с одной стороны, о влиятельности Алексашки, а с другой — о его происхождении: «Говорят, что этот человек вознесен до верха всем завидного могущества из низшей среди людей участи». Английский посол Витворт, не касаясь деталей, сообщал своему правительству в 1705 г.: Меншиков — «человек очень низкого происхождения»¹.

Пять лет спустя датский посол Юст Юль в своем дневнике повторил эту версию, дополнив ее некоторыми подробностями: «Родился он в Москве от весьма незначительных родителей. Будучи подростком, лет 16-ти, он, подобно многим другим московским простолюдинам, ходил по улицам и продавал так называемые пироги»². Миних, поступивший на русскую службу в 1721 г., считал происхождение Меншикова «из простолюдинов»

настолько общеизвестным и бесспорным, что полагал лишним приводить какие-либо доказательства. Князь Куракин в незаконченной истории царствования Петра I заявил, что Меншиков «породы самой низкой, ниже шляхетства»³.

Полковнику Манштейну, современнику необычайного возвышения и падения Меншикова, были известны две версии о предках князя: одни — и таких, писал Манштейн, было большинство — считали Александра Даниловича сыном крестьянина, который пристроил свое чадо «в учение к пирожнику в Москве»; другие, продолжал Манштейн, полагали, «будто отец Меншикова находился в военной службе при царе Алексее Михайловиче», а сам Александр Данилович служил конюхом при дворе царя. Петр заметил остроумие будущего князя, перевел его в денщики, а затем, открыв в нем большие дарования, стал давать ему ответственные поручения.

Отношение самого Манштейна к вариантам о предке Меншикова достаточно определено: «Я всегда находил первое мнение более близким к правде. Несомненно верно, что Меншиков низкого происхождения; он начал с должности слуги, после чего царь взял его в солдаты первой регулярной роты, названной им потешною. Отсюда уже царь взял его к себе, оказывал ему полное доверие»⁴.

Подробнее всех о детских и юношеских годах Меншикова сообщает француз на русской службе Вильбоа. Как и многие современники, Вильбоа писал, что отец Меншикова «был крестьянин, получавший пропитание от продажи пирожков при воротах кремлевских, где завел он маленькую пирожную лавочку». К своему ремеслу он привлек и сына, вертевшегося с лукошком в Кремле, где покупателями товара были стрельцы и солдаты, с которыми разбитной продавец часто шутил. Проказы Алексашки забавляли и Петра, наблюдавшего за ним из кремлевского дворца. Непосредственное знакомство царя с пирожником состоялось, писал Вильбоа, при следующих обстоятельствах: «Однажды, когда он сильно кричал, потому что какой-то стрелец выдрал его за уши, уже не шутя, Петр послал сказать стрельцу, чтобы он перестал обижать бедного мальчика, а с тем вместе велел представить к себе».

Остроумие и находчивость мальчика, ровесника царя, понравились Петру, и тот велел его вымыть и одеть, чтобы определить к себе пажом. С тех пор Петр стал неразлучным с Меншиковым, и приятель царя, одаренный большим умом и способностями мгновенно все схватывать, стал быстро возвышаться⁵.

Сюжет, изложенный Вильбоа, близок к сентиментальной сказке о превращении нищего в принца. По-иному описывает сближение Петра с Меншиковым брат известного своей ученостью Якова Брюса Петр. Этот автор мемуаров поведал, что Петр воспылил доверием и любовью к Меншикову после того, как тот предупредил его о грозившей ему смертельной опасности: Меншиков якобы рассказал царю о намерении бояр отравить его во время очередной пирушки.

Множественность и разноречивость версий, подчас содержавших явный налет фольклора, свидетельствуют, с одной стороны, об интересе современников к карьере Меншикова, а с другой — подтверждают факт, что и для них, современников, в возвышении князя было немало загадочного.

Что касается происхождения Меншикова, то иностранцы, несмотря на различия в частности, сходились в одном — будущий князь был родом из незнатной семьи.

Версию иностранных современников подтверждает царский токарь Андрей Нартов, описавший событие, очевидцем которого был. Как-то Меншиков чем-то разгневал царя. «Знаешь ли ты, — кричал рассерженный Петр, — что я разом поворочу тебя в прежнее состояние, чем ты был? Тотчас же возьми кузов свой с пирогами, скитайся по лагерю и улицам и кричи: пироги подовые, как дельывал прежде. Вон!»

Данилыч, отличавшийся находчивостью, возвел происшедшее в шутку. Он выбежал на улицу, схватил кузов у первого попавшегося пирожника, повесил его на себя и в таком виде вернулся во дворец. К этому времени царь успокоился. При виде светлейшего он расхохотался и сказал: «Слушай, Александр, перестань бездельничать или хуже будешь пирожника».

Меншиков продолжал выкрикивать: «Пироги подовые! Пироги подовые!»⁶

Происхождение еще одного источника, освещавшего родословие Меншикова, было необычным. Ранним утром 2 июля 1727 г. мастеровой Городовой канцелярии Даниил Колосов, выходя «для нужды» на улицу, обнаружил в сенях бывшей Штатс-канторы, где он жил, крашенинный мешочек. В нем было завернуто подметное письмо. Находка доставила мастерскому немало хлопот. Попытался сдать ее своему начальству, но Ульяна Синявина не застал дома. Пошел в Тайную канцелярию, но майор Румянцев тоже не пожелал принять письмо и направил «счастливчика» к коменданту столичного города Фаминцыну. Тот повертел письмо и поспешил от него избавиться, порекомендовав отнести его в Верховный тайный совет. Выше инстанции уже не было.

Странное на первый взгляд стремление чиновников отмахнуться от письма объяснялось очень просто — оно жгло им руки, его содержание было направлено против Меншикова. В своем месте мы еще вернемся к нему. Здесь же отметим то, что непосредственно относится к происхождению князя. Анонимный автор обвинял Меншикова в том, что он «двадцатилетнего отрока (Петра II. — Н. П.) принудил обручиться с недостойною того брака дочерью своею, внукою маркитанского». Следовательно, дед Марии Александровны Меншиковой, отец Александра Даниловича, согласно анониму был маркитантом — продавцом съестного для солдат.

Иные сведения о предках Меншикова сообщают источники официального происхождения. Их два, причем интересующий нас вопрос они освещают одинаково. Речь идет о дипломах на пожалование Меншикову

княжеского достоинства Римской империи и Ижорского князя Российского государства. В царском дипломе глухо сказано, что Меншиков происходил «из фамилии благородной литовской, которого мы, ради верных услуг в нашей гвардии родителя его и видя в добрых поступках его самого надежду от юных лет, в милость нашего величества восприятию и при дворе нашем возрастити удостоили»⁴.

Давно известно, что, чем меньше в тексте фактов и больше общих слов, тем легче завуалировать истину. Приведенная выше фраза из диплома оставляет простор для домыслов и вопросов, а также ответов на любой вкус.

В самом деле, что скрывалось за расплывчатым понятием «верные услуги», будто бы оказанные родителем Александра Даниловича; на каком поприще проявил себя отец Меншикова: административном, военном, придворном? Много лет спустя Александр Данилович предпримет попытку расшифровать смысл «верной услуги» — она состояла в том, что отец якобы раскрыл заговор Федора Шакловитого. Однако на страницах четырехтомной публикации розыскного дела фамилия Меншикова даже не упомянута.

Заслуги можно списать на счет «милости Божией» — так угодно было оценить их Петру. Сложнее обстояло дело с отдаленными предками, причисленными к «фамилии благородной литовской», конечно же, со слов Александра Даниловича и при участии барона Гюссена, хлопотавшего при венском дворе о выдаче ему княжеского диплома. Эта версия нуждалась в обосновании, и Меншиков предпринял две попытки добыть необходимые доказательства.

Первая из них была предпринята вскоре после получения дипломов — в середине декабря 1707 г. он заручился документом, утвержденным съездом литовской шляхты и подписанным великим маршалком княжества Литовского Воловичем, директором съезда князем Радзивиллом и еще 46 знатными литовцами. Подписавшие удостоверили, что они признали Александра Менжика «нашей отчизны княжества Литовского сыном»⁵. Но, удостоверив принадлежность Меншикова «к породе нашей», шляхта уклонилась сообщить какие-либо подробности: она не могла назвать фольварк, которым владели предки Менжика, равно как и сообщить, где, когда и на какой службе находились эти предки.

Подписанный документ вызывает подозрения. Не появился ли он на свет после обильного угощения, устроенного Меншиковым, чье княжеское достоинство уже зарегистрировано австрийским императором и русским царем. Светлейший, надо полагать, не поспешил и на обещания предоставить какие-либо льготы шляхте, чьи владения находились на театре военных действий.

Получив постановление съезда, князь уgomонился относительно своих предков до времени, когда у него возник план породниться с царствующей фамилией. Для надутого тщеславия уже было недостаточно принадлежности к дворянскому сословию вообще. Князю хотелось быть потомком

не ординарного дворянина, а дворянина, ведущего свою родословную из глубины веков, и показать, что тесть российского императора не человек случая и безродный выскочка, а потомок варягов, людей, близких к Рюриковичам. Так возникла идея взрастить пышное генеалогическое древо, своими корнями уходящее в далекое прошлое.

В архиве сохранился черновой набросок генеалогии князя на латинском языке¹⁰. Автор ее, видимо, признал безнадежной попытку оперировать именами и точными датами и их отсутствие решил компенсировать общими рассуждениями о превратностях человеческой судьбы. Тем самым открывался простор для взлета фантазии. «Даже звезды и большие светила часто подвержены затмениям», — заявляет автор. То же самое происходит и с людьми: знатные роды вымирают или предаются забвению, чтобы при благоприятных условиях вновь подняться со дна и вознестись на новую высоту. Подобную метаморфозу испытал и род Меншиковых.

«Некоторые (кто? — Н. П.), — писал составитель генеалогии, — опираясь на сведения (какие? — Н. П.) об особой знатности рода Меншиков, приходят к выводу, что предки упомянутого Андрея Меншикова прибыли на Русь из варяг вместе с Рюриком». Один из представителей варяжской дружины, предок Андрея Меншикова, получил в управление область Вологды. «Другие же (неизвестно, кто подразумевается под этими «другими». — Н. П.), — продолжает автор, — считают, что сам князь Андрей Меншик или отец его в XIV или XV веках» вследствие непрекращавшихся преследований православной церкви в Литве покинул ее, переселившись в Россию, где был удостоен титула русского князя. Еще до выхода в Русь предки Андрея Меншикова — сначала в Польше, а затем в Литве — породнились с знатнейшими фамилиями. Они имели герб с изображением головы быка на золотом поле, т. е. герб ободритов, от которых произошли Рюрики. На этом основании, написано в тексте, «некоторые пришли ко вполне правдоподобному заключению, что род Меншика был связан родственными узами с королями или князьями ободритов, откуда берет начало род Рюрика».

Кто такие ободриты, которых составитель генеалогии прочил в предки Меншикова?

Ободриты, или бодричи, — племя западных славян, обитавших в бассейне реки Лабы (Эльбы). Бодричи ранее восточных славян приобщились к феодальным отношениям: они уже в VI — VIII вв. имели князей, дружину и предпринимали походы на соседей. Родовитые люди России XVII в. любили корни своего родословного древа выращивать не в родной земле, а на чужбине, изображая предков пришельцами из других стран — пруссами, варягами, бодричами. Меншиков, естественно, не желал быть хуже других. Если, однако, у подлинных аристократов типа Куракиных или Шереметевых мифических варягов или пруссов уже в XI или XIV вв. сменяют реальные лица, бытие которых отразили источники, то у Меншикова, как ни старались ученые-составители, реальных предков, живших в отдаленные времена, обнаружить не удалось.

Уязвимость туманных рассуждений была, видимо, очевидна и автору, и он вынужден признаться, что всякие подробности скрываются «во тьме веков». Это не помешало ему категорически утверждать: «существовал род Меншика в России и знатный род Меншика в Польше», от последнего и произошел отец светлейшего князя.

Ни один из перечисленных фактов генеалогии Меншикова документально не подтвержден, как, впрочем, не подтвержден и факт пленения в 1664 г., во время русско-польской войны, отца Меншикова Даниэля. Будучи в плену, Даниэль женился на «Игнатъевне», дочери какого-то «уважаемого купца», и поступил в службу к царю Алексею Михайловичу. По совету друзей Даниэль Меншик русифицировал свое имя и фамилию и стал Даниилом Меншиковым. По совету тех же друзей он поступил еще одним достоинством: чтобы не раздражать знати, Даниэль в фамильном гербе изображение головы быка заменил коронованным сердцем. «Поскольку он, как никто другой, владел искусством править лошадьми и объезжать их, царь Федор Алексеевич взял его служителем своей конюшни». Родословие далее, как упомянуто выше, приписывает Даниле Меншикову раскрытие заговора Шакловитого в 1689 г.

Отец Александра Даниловича, согласно родословию, умер в 1695 г., «оставив без какого-либо имущества и в величайшей бедности четырех детей сирот». Далее следует перечисление основных вех жизни Александра Даниловича, не вызывающее сомнений в их достоверности: участие в сражениях Северной войны, получение наград от Петра и иностранных государей, назначение на должности и т. д.

Бросаются в глаза недомолвки относительно родителей Меншикова. Например, кто такая «Игнатъевна», мать будущего князя? Если она была дочерью почтенного купца, то как случилось, что внуки этого купца оказались в «величайшей бедности»? А как добывал средства к жизни Алексашка в годы, предшествовавшие знакомству с царем? Не следует ли понимать признание бедности родителя как косвенное признание того, что источником его существования в те годы была торговля пирожками? Неясен и вопрос о братьях. Я изучил весь семейный архив князя, его переписку с супругой, детьми и родственниками жены, и ни в одном из них он не упоминает ни о матери, ни об отце, ни о братьях.

Короче, перед нами далекий от совершенства пример фальсификации генеалогии. Во второй половине XVIII столетия в подобных делах настолько поднаторели, что представитель крапивного семени средней квалификации за сходную мзду мог состряпать любую генеалогию и избрести предков, угодных заказчику. Во времена Меншикова с этой задачей не могли справиться и европейски образованные юристы, несомненно, привлеченные светлейшим для выполнения поручения.

Поскольку генеалогия, как и сочинение о жизни и деятельности Александра Даниловича Меншикова, составлялась в окружении князя и не без его ведома, то небезынтересно ознакомиться с тем, какой версии придерживался он сам в описании своего детства и обстоятельств знакомства с царем.

В одном анонимном сочинении, будто бы имевшем хождение среди современников и пересказанном в жизнеописании Меншикова, было написано: «Князь был не единственным на свете человеком, который с низших степеней достиг до высших. Он и сам не скрывал этого, но часто откровенно рассказывал, какую бедность терпел в юности». Это признание, однако, не лишало Меншикова возможности упрямо твердить о своих благородных предках: «Впрочем, он происходил от благородной, хотя и обедневшей фамилии, из которой в прежние века были в России и князья, и теперь милостию государя и долговременными тяжкими, но полезными услугами достиг сам до высоких почестей, званий и достоинств».

Что касается появления Меншикова при царском дворе, то рассказ о том выглядит не менее респектабельно: будущий князь заставил обратить на себя внимание царя такими привлекательными качествами, как ум и сметливость.

Поначалу Алексашка прибыл устраивать свою судьбу в потешную роту. «Как скоро его светлость явился в эту роту, тотчас был принят его величеством в число солдат (в октябре 1691 г., в день рождения Алексея Петровича), потому что он отличался красивою наружностью и счастливою физиономией и в своих речах, равно как и в своих приемах, обнаружил бойкий живой ум, здравый рассудок и добросердечие».

Перечисленные свойства характера позволили Меншикову быстро усвоить экзерциции и превзойти в этом не только своих сверстников, но и более великовозрастных сослуживцев. Царь, кроме того, обратил внимание на опрятность и вежливость новобранца и взял его к себе денщиком¹¹.

Скудость источников о происхождении Меншикова и их противоречивое содержание породили, естественно, противоречивые на этот счет суждения историков. Известный автор 30-томного сочинения о Петре I, опубликованного еще в XVIII в., Иван Иванович Голиков писал: «За достовернейшее из преданий касательно славного князя Меншикова принято, что он родился в Москве в 1674 году от бедного польского шляхтича, служившего при царской конюшне в стремянных, и что, оставшись после отца, в детстве, лишился и последнего малого его имущества и принужден был искать себе пропитание у одного из московских пирожников». Затем он в 1686 г. поступил в услужение к Лефорту, а от него — к царю¹².

В утверждении Голикова есть неточность, существенно меняющая суть дела: он писал, что Меншиков лишился отца в детстве, в то время как, по свидетельству самого князя, его родитель умер, когда он был взрослым, — в 1695 г. Следовательно, если Алексашка и продавал пироги, то изготовленные не московским пирожником, а Данилой Меншиковым. Кроме того, круг источников, находившихся в распоряжении Голикова, был крайне узок: он не мог пользоваться ни донесениями иностранных дипломатов, ни мемуарами, ставшими достоянием историков лишь столетие спустя.

У А. С. Пушкина, живо интересовавшегося временем Петра I, мы обнаруживаем два несхожих высказывания о происхождении Меншикова. В одном из них — раннем, относящемся к 1829 г., в знаменитом четверостишии «Полтавы», о птенцах гнезда Петрова Пушкин писал:

И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин...

Имя «полудержавного властелина» не названо, но, вне всякого сомнения, под ним подразумевается Меншиков, которого поэт аттестовал «баловнем безродным». Иными словами, Пушкин в конце 20-х годов придерживался неофициальной версии происхождения Меншикова. Позже, в середине 30-х годов, когда поэт приступил к сбору материалов о Петре I, он безоговорочно принял версию, изложенную в дипломе Меншикова: «Никогда он не был пажем и не продавал подовых пирогов. Это шутка бояр, принятая историками за истину». Под «историками» Александр Сергеевич подразумевал И. И. Голикова, труд которого он основательно штудировал. Свое мнение Пушкин подкрепил ссылками на синодик. Но в синодике, равно как и в деле об убийстве сына Грозного, бесполезно искать предков Меншикова, ибо сам он считал, что его предки в XVI в. находились в Литве. А. С. Пушкин упоминает и о том, что А. Д. Меншиков «отыскивал около Орши свое родовое имение»¹³. Однако документального подтверждения этих поисков обнаружить не удалось.

Ближе всего к истине о происхождении Меншикова был, на наш взгляд, крупнейший историк прошлого столетия С. М. Соловьев. «Современники иностранцы, — писал маститый ученый, — единогласно говорят, что Меншиков был очень незнатного происхождения; по русским известиям, он родился близ Владимира и был сыном придворного конюха»¹⁴.

Страницы, отведенные выяснению происхождения Меншикова, любопытны лишь в плане личной характеристики князя. Он пускался во все тяжкие, чтобы удовлетворить свое неумное тщеславие. Происхождение Меншикова помогает постичь еще одну особенность его характера — ненасытную тягу к богатству. Человек, подобно ему выбившийся из нищеты, быстро познавал цену богатства, прелести роскоши и не стеснялся в выборе средств для приобретения того и другого. По алчности Меншикова можно сравнить с нуворишами, лишь с тем различием, что у последних главным мериллом богатства являлись деньги, а у князя, жившего в иных социальных условиях, — крещеная собственность. Вместе с тем надобно помнить: кем бы ни были предки Александра Даниловича, торговал ли он сам пирожками или нет, существенного значения не имело, ибо Меншиков, влившись в ряды новой знати, став светлейшим князем, безоговорочно служил интересам этой знати. Прошлое оставляло у него всего лишь неприятное воспоминание, создавало своего рода комплекс социальной неполноценности в общении с родовитыми людьми, впрочем легко преодолеваемый

при жизни Петра, поскольку рядом с сыном конюха с царем сотрудничали сын сидельца в лавке купца, сын пастора, а супруга царя, будущая императрица, в прошлом была прачкой.

Какие же сведения из разноречивого потока информации о происхождении Меншикова следует признать более или менее достоверными?

Менее всего внушают доверие попытки князя вести свою родословную от ободритов, почитавшихся многими родовитыми людьми того времени своими предками. Можно быть вполне уверенным, что сведения о предках, запечатленные в генеалогическом сочинении, относятся к разряду мифов. Столь же сомнительно свидетельство литовской шляхты, разглядевшей в князе человека «нашей породы» и признавшей его выходцем из Литвы. Вряд ли можно положиться на версию о пленении отца Меншикова в годы русско-польской войны за воссоединение Украины и службе Даниэля Меншика стремлянным конюхом у царя Алексея Михайловича. Сведения известных нам источников, подтверждающих «благородное» происхождение князя, настолько мутны, что принимать их всерьез нет оснований.

Остается одно — исходить из достоверного факта, что родитель Меншикова, как и его сын Александр, добывал хлеб насущный торговлей пирогами. Но этого рода занятие дает основание отклонить всякие попытки Меншикова изобрести благородных предков — он происходил, по терминологии того времени, из «подродных» людей. Отнести его к потомкам жителя Москвы или владимирского крестьянина — в конечном счете деталь, не меняющая сути дела.

Путь Меншикова от пирожника до светлейшего князя совершен на глазах у современников, он отражен и в источниках. Исключение составляет тот отрезок пути, когда юный Алексашка сменил порты и рубаху пирожника на мундир солдата потешной роты и денщика Петра. В этом качестве он, надо полагать, принимал какое-то участие в событиях 1689 г., когда царь противостоял честолюбивым замыслам своей сестры Софьи, участвовал вместе с ним в потешных маневрах, поездках на Переяславское озеро и в Архангельск, наконец, в Азовских походах.

Образ жизни Алексашки в детские годы исключал возможность приобретения самого элементарного образования — он до конца дней своих оставался неграмотным. Об этом писали все современники иностранцы.

Читаем запись датского посла Юста Юля под 1710 г.: «Князь Меншиков говорит порядочно по-немецки, так что понимать его легко, и сам он понимает, что ему говорят, но ни по-каковски ни буквы не умеет ни прочесть, ни написать — может разве подписать свое имя, которого, впрочем, никто не в состоянии разобрать, если наперед не знает, что это такое»¹⁵. Другой современник, имевший случай наблюдать светлейшего много лет спустя, сообщил на этот счет любопытную и не лишённую правдоподобия деталь: Меншиков наивно пытался разыгрывать роль человека, постигшего премудрости письма: «Он не умел ни читать, ни писать и выучился только плохо подписывать свое имя. Но в присутствии людей, не знавших о том, скрывал он свою безграмотность и по-

казывал вид, будто читает бумаги»¹⁶. Иностранцам вторит русский современник — князь Борис Иванович Куракин. По его сведениям, Меншиков — «человек не ученой, ниже писать что мог, кроме свое имя токмо выучил подписывать»¹⁷.

Откровенно говоря, свидетельства иностранцев, как правило не вызывавших симпатии к светлейшему, как и свидетельство Куракина, оставившего наполненные сарказмом характеристики сподвижников Петра, вызывали сомнения. В самом деле, как можно было справляться с обязанностями сенатора, фельдмаршала, президента Военной коллегии и губернатора человеку, умевшему начертать только имя и фамилию? Оставить неграмотным было непостижимо, тем более что именно в годы преобразований в стране интенсивно формировалась и набирала силу бюрократия, и всякая бумага, вышедшая из недр многочисленных канцелярий, приобретала огромную силу: ее надо было читать и обязательно оставлять на ней след в форме резолюций, помет и тому подобное. Наконец, факт неграмотности Меншикова вступает в вопиющее противоречие с другим хорошо известным фактом: он не презирал ученость и высоко ценил знания.

Свидетельства иностранцев ничего бы не стоили, если бы мы не располагали главным доводом в пользу их правоты: среди десятков тысяч листов, сохранившихся в семейном архиве Меншикова, не обнаружено ни одного документа, написанного рукою князя. Не попадались и следы правки и редактирования составленных документов. Даже сотни писем к Дарье Михайловне — сначала наложнице, а затем супруге, — не говоря уже о тысячах писем к царю и вельможам, все до единого были написаны канцеляристами. Это обстоятельство, по всей вероятности, наложило отпечаток и на содержание писем Меншикова к супруге. В отличие от писем Петра к Екатерине, с характерной для этого жанра интимностью и отражавших индивидуальность автора, послания Меншикова, неизменно любезные, были полны канцелярских оборотов и походили на деловые бумаги. Документы сохранили лишь подпись Меншикова, всегда одинаковую, стояла ли она в письмах к супруге или в донесениях царю: «Александр Меншиков».

Кстати, Юст Юль и Вильбоа сгущали краски, сообщая о неумении Меншикова разборчиво написать свою фамилию. Подпись стала менее разборчивой и буквы приобрели расплывчатость только к старости князя, а в молодые годы он подписывался четким почерком и неизменно без мягкого знака, в то время как грамотная Дарья Михайловна иногда писала: «Дарья Меньшикова».

Существуют, кроме того, и косвенные доказательства неграмотности Меншикова: в описи личного имущества сосланного в Ранненбург князя отсутствовали письменные принадлежности, а у членов семьи они были. Наконец, в одном из писем ссыльного Меншикова в Верховный тайный совет помещена любопытная приписка, адресованная Остерману: «Ежели какое в титуле высокоучрежденного Верховного тайного совета есть по-

грешение, в том покорно прошу не иметь на меня гнева, понеже канцелярских служителей при мне ни одного человека не обретаецца, кроме что объявлены в реэстре копейсты из моих служителей, которые были у меня в домово́й мое́й канцелярии. И то робята, которые только могут копии писать»¹⁸. Следовательно, князь, будучи первоприсутствующим в Верховном тайном совете, не знал формуляра обращения к этому учреждению. Такое может случиться только с человеком, всегда пользовавшимся услугами опытных канцеляристов и лично никогда не читавшим ни челобитных частных лиц, ни донесений Сената, Синода и коллегий высшему органу власти страны.

Таким образом, неграмотность Меншикова бесспорна. Но тогда возникает вопрос: как он умудрялся справляться с уймой дел, возложенных на него царем?.. Они относились к самым разнообразным отраслям государственного хозяйства и управления и часто требовали специальных познаний. Как он распоряжался своими многочисленными вотчинами? Наконец, почему Меншиков при своих способностях не мог одолеть элементарной грамоты, которую энергично насаждал в стране Петр, да и сам он, Меншиков, ему в этом активно помогал?

Недоумение на этот счет возникло и у цитированного выше Юста Юля: «В таком великом муже и полководце, каким он почитается, подобная безграмотность особенно удивительна»¹⁹.

Рассеять недоумения и ответить на поставленные вопросы, естественно, возникающие у каждого читателя, опираясь на источники, невозможно. Неизвестен также ни единый упрек царя Меншикову по поводу неграмотности последнего. Остается ограничиться догадками.

Неграмотность князя, видимо, не являлась непреодолимой помехой при выполнении им разнообразных обязанностей, во всяком случае, крупных неприятностей она ему не доставляла. Как фельдмаршал и крупнейший вотчинник, он пользовался услугами многочисленных стряпчих, адъютантов, денщиков и управляющих. Один из деятелей этого рода, служивший князю верой и правдой в течение 20 лет, известен точно — это Алексей Волков. В письме к светлейшему в 1725 г. он перечислял все свои заслуги перед «вашей светлостью и всем домом вашим», думается, не преувеличенные, ибо всякое отступление от истины могло вызвать у адресата раздражение.

Судя по характеру выполнявшихся обязанностей, во многих случаях весьма щекотливых, Волков принадлежал к числу самых доверенных слуг князя. В круг его забот входил контроль за «домовым приходом и расходом», личная переписка, которую Волков, как он писал, вел «со всяким охранением вашего интереса и секрета». Своим «днюющим трудом» он представлял интересы князя в следственных комиссиях, он же отправлял должность адвоката. «А паче всего, — писал Волков, — во время бывших баталий, акций и блокад неотступно при вашей светлости был, охраняя ваше здравие со всяким тщанием, и при всяких случаях служил по всякой возможности как советом, так и делом»²⁰.

Консультант, бухгалтер, поднаторевший в распутывании кляуз стряпчий, Волков принадлежал к числу дельцов, фактически являвшихся правой рукой князя, но всегда остававшихся в тени.

Другим подручным Меншикова был Франц Вит. Круг его обязанностей тоже был достаточно широк. Он вел переписку князя с иностранными корреспондентами, посредничал в приобретении для него у иностранных купцов драгоценностей, заморских вин и цитрусовых, выступал в роли переводчика. Иногда он по поручению князя совершал инспекционные поездки. Так, осенью 1722 г. Вит отправился проверять вдоль Невы и Ладожского озера устройство бечевника — тропы, по которой бурлаки тянули барки.

Но при выполнении поручений князь не мог полностью положиться на помощь Волкова и ему подобных. Он обладал по крайней мере двумя достоинствами своего незаурядного ума: цепкой памятью, способной держать в голове все детали многогранных обязанностей, и высокоразвитым здравым смыслом, заменявшим ему ученость и образованность. Именно наличие этих качеств помогает оценить деятельность князя, — удивление сменяется восхищением.

В годы первого двадцатилетия сотрудничества с царем Меншиков, как и его повелитель, вел кочевой образ жизни — сначала сопровождал Петра в разъездах и походах, затем самостоятельно командовал войсками. И хотя силы молодости были неисчерпаемы, у него все же не оставалось времени для устранения пробелов, порожденных суровым детством. Тогда он без ущерба для дела эксплуатировал свою память и здравый смысл. Позже сесть «за парту» ему, видимо, мешали возраст и княжеский апломб. Теперь память, быть может, и стала менее острой, но накопился огромный опыт.

С неграмотностью Александра Даниловича связан еще один курьез в его биографии — Меншиков был первым из русских, кого иностранное академическое учреждение избрало своим членом. Петр I, как известно, был избран членом Французской академии в 1717 г. Меншиков ухитрился упредить царя на целых три года. Не кто-нибудь, а сам Ньютон 25 октября 1714 г. известил Александра Даниловича об избрании его членом Королевского общества. Вот это письмо:

«Могущественнейшему и достопочтеннейшему владыке господину Александру Меншикову, Римской и Российской империй князю, властителю Ораниенбурга, первому в советах царского величества, маршалу, управителю покоренных областей, кавалеру ордена Слона и высшего прусского ордена Черного Орла и пр. Исаак Ньютон шлет привет.

Поскольку Королевскому обществу известно стало, что император ваш, е. ц. в. с величайшим рвением развивает во владениях своих искусство и науки и что Вы служением Вашим помогаете ему не только в управлении делами военными и гражданскими, но прежде всего также в распространении хороших книг и наук, постольку все мы исполнились радостью, когда английские негоцианты дали знать нам, что ваше превосходитель-

ство по высочайшей просвещенности, особому стремлению к наукам, а также вследствие любви к народу нашему желали бы присоединиться к нашему обществу. В то время по обычаю мы прекратили собираться до окончания лета и осени. Но, услышав про сказанное, все мы собрались, чтобы избрать ваше превосходительство, при этом были мы единогласны. И теперь, пользуясь первым же собранием, мы подтверждаем это избрание дипломом, скрепленным печатью нашей общины. Общество также дало секретарю своему поручение переслать к Вам диплом и известить Вас об избрании. Будьте здоровы.

Дано в Лондоне 25 октября 1714 г.».

Письмо вызывает множество вопросов, ответы на которые, вероятно, следует искать прежде всего в архиве Королевского общества. Небезынтересно знать, как обосновывал свою просьбу Меншиков в письме Королевскому обществу от 23 августа 1714 г.? В чем состояли его научные заслуги и на каком основании великий Ньютон именовал Данилыча человеком «величайшей просвещенности»? Кто были «английские negociанты», лестно отзывавшиеся о плодотворной деятельности Меншикова на ниве распространения науки в России? Наконец, довелось ли Меншикову раскошелиться, чтобы заручиться благосклонностью «английских negociантов» и единодушием членов Королевского общества, пополнившего свои ряды новым членом, или это был доброжелательный жест английского правительства?

Два следствия вступления Меншикова в Королевское общество можно выявить и по документам архивного фонда Меншикова. С одной стороны, в фонде сохранился диплом Королевского общества, выданный Меншикову, с другой — документы этого же фонда отразили любопытную деталь: Данилыч ни разу не рискнул упомянуть о своей принадлежности к Королевскому обществу и украсить свой титул еще тремя дополнительными словами: член Королевского общества. Скромностью Меншиков не отличался, но в данном случае здравый смысл взял верх над тщеславием.

В УСЛУЖЕНИИ И НА СЛУЖБЕ

Самый ранний источник с упоминанием о Меншикове относится к 1694 г. 29 августа царь отправил письмо архангельскому воеводе Федору Матвеевичу Апраксину. В перечне лиц, посылавших привет адресату, значился Алексашка Меншиков. «Алексашка» упомянут еще в одном письме, адресованном царем Андрею Андреевичу Виниусу в 1697 г.¹ Среди волонтеров, отправившихся за границу для обучения кораблестроению, Алексашка стоял первым в списке того десятка, который возглавлял десятник Петр Михайлов — царь. Меншиков не расставался с ним ни на минуту. Вместе с Петром он работал на верфи Ост-Индской компании в Голландии, одновременно с ним получил от корабельного мастера аттестат, удостоверявший, что он овладел специальностью плотника-кораблестроителя. Из Голландии Петр отправился в Англию для обучения инженерному искусству кораблестроения. Его и здесь сопровождал неразлучный друг Алексашка. Вместе с царем он находился в толпе волонтеров, составлявших свиту великого посольства, присутствовал на торжественных приемах, осматривал достопримечательности столиц западноевропейских стран — арсеналы, монетные дворы, кунсткамеры, промышленные предприятия, учебные заведения. Как и Петр, он жадно впитывал увиденное, с поразительной легкостью усваивал азы артиллерийского дела, фортификации, кораблестроения. Это была практическая школа, расширявшая кругозор царского любимца, в детские годы не получившего никакого образования.

Известие о стрельцком мятеже вынудило Петра срочно вернуться в Москву. Здесь сразу же начался стрельцкий розыск. Известно участие Меншикова в казнях стрельцов — он хвастал, что самолично отрубил головы 20 обреченным. О возросшем влиянии Меншикова на царя свидетельствует инцидент, происшедший на пиру у царского фаворита Лефорта в один из первых дней пребывания в столице. Находясь в состоянии крайней раздражительности, Петр в пылу гнева вынул шпагу и, ударив ею по столу, закричал Шеину: «Так я уничтожу твой полк, а с тебя сдеру

кожу до ушей!» Причина ярости Петра состояла в том, что боярин Шеин, командовавший верными правительству войсками, разгромив бунтовавшие стрелецкие полки под Новым Иерусалимом, проявил подозрительную для царя поспешность в расправе с зачинщиками бунта. Вместе с казненными жожаками навечно была похоронена тайна подготовки бунта и возможной причастности к нему царевны Софьи, с 1689 г. находившейся в заточении в Новодевичьем монастыре. Царь был твердо убежден в том, что бунт был инспирирован Софьей, но убедительные доказательства на этот счет отсутствовали, ибо тех, кто мог пролить свет на события, не осталось в живых, а те, кто давал показания под жесточайшими пытками, оказались людьми, не посвященными в сокровенные замыслы стрелецких руководителей.

Шеин дал царю еще один повод для недовольства — Петру стало известно, что этот боярин производил в офицеры и повышал в званиях за взятки. Судя по всему, Петр, размахивавший шпагой, находился в иступлении, и эксцесс мог закончиться трагедией.

Успокаивать разбушевавшегося царя кинулись учитель царя Зотов, князь-кесарь Ромодановский, Лефорт. Но Зотов получил удар по голове, Ромодановскому царь ранил руку. Петр занес шпагу, чтобы расправиться с Шеиным, но генералиссимуса спас от гибели Лефорт, схвативший царя за руку; самому Лефорту тоже досталось несколько ударов. Никто не мог погасить гнев Петра, и неизвестно, каким было бы продолжение этой неприглядной сцены, если бы не вмешался Меншиков. Он увел царя в соседнюю комнату и устроил так, что от прежнего возбуждения не осталось и следа².

В качестве денщика Меншиков занимался устройством незатейливого быта царя. В начале 1700 г. царь пишет ему: «Мейн герценкин. Как тебе сие письмо вручитца, пожалуй, осмотри у меня на дворе и вели вычистить везде и починить»³. Далее следовали распоряжения о смене полов, заготовке льда, постройке погребов и т. д.

Но обязанности денщика Алексашки не ограничивались выполнением хозяйственных поручений. После смерти Лефорта в 1699 г. Меншиков становится доверенным царя в его амурных делах. Вместе с Петром он частенько навещал Немецкую слободу, куда влекла царя дочь винооторговца Анна Монс. Сам Данилыч сердечную привязанность обрел не в Немецкой слободе, а при дворе сестры царя Натальи Алексеевны. Там среди девиц, окружавших царевну, ему приглянулась одна из трех сестер Арсеньевых — Дарья Михайловна.

Известен единственный портрет Дарьи Михайловны. Гравюра, выполненная А. Ф. Зубовым, изображает 44-летнюю княгиню с привлекательными чертами холеного лица. Трудно сказать, в какой мере изображение соответствовало оригиналу и имела ли княгиня в молодости репутацию обворожительной красавицы, но что она была женщиной сердечной, беззаветно любившей своего Данилыча и преданной домашнему очагу, — на этот счет имеется множество документальных свидетельств.

В 1700 г. началась изнурительная Северная война. Главное внимание царя, особенно в первые годы войны, было приковано к театру военных действий. Надо полагать, что Меншиков сопровождал Петра всюду, где того требовала обстановка.

В начале 1702 г. Петр получает от Шереметева известие о первой победе русских войск под Эрестфером и тотчас же отправляет к театру военных действий расторопного Меншикова, чтобы сообщить боярину о присвоении звания фельдмаршала и вручить ему орден св. Андрея Первозванного.

Весной того же года Меншиков отправляется вместе с Петром в Архангельск, имея должность гофмейстера царевича Алексея, а осенью участвует в осаде Нотебурга. Здесь он впервые проявил себя на военном поприще. Храбрость и расторопность Данилыча были столь очевидны, что Петр назначает его комендантом завоеванной крепости, переименованной в Шлиссельбург.

Петр едет в Москву и Воронеж, а оставленный в Шлиссельбурге комендант развивает кипучую деятельность: посылает отряды на неприятельскую территорию, хлопочет о постройке кораблей и металлургических заводов. Царь поручил Меншикову разыскать место для основания верфи. В феврале он доносит Петру, что им найдено такое место на реке Свири, где стояли леса, пригодные для сооружения не только мелких, но и пятидесятипушечных кораблей. Так стараниями Меншикова была основана Олонецкая верфь, с которой уже в августе 1703 г. был спущен первенец Балтийского флота фрегат «Штандарт».

Убежденность Петра в том, что без флота невозможно удержать Неву, стала убежденностью Меншикова. Знал он, разумеется, и о страсти царя к кораблестроению. Именно поэтому работы на Олонецкой верфи находятся в центре внимания Меншикова. Он в курсе всех событий, то и дело справляется о постройке кораблей, их размерах, количестве вылитых для них пушек, отдает распоряжения о заготовке леса, рассылает указы о мобилизации работников. Усвоил он и манеру обращения царя с подчиненными, требуя, чтобы его распоряжения выполнялись «с великим поспешением», «неоплошно», «без всякого мотчания».

Но в отличие от Петра Меншиков, в это время еще не избалованный властью, к промахам подчиненных относился снисходительно, журил их слегка и не прибегал к угрозам. К олонецкому коменданту Яковлеву, своевременно не приславшему 300 плотников в Шлиссельбург, он писал в феврале 1703 г.: «Я на вас надеюсь, как на себя, вы, мои секретные дружи и любимые мною, не так в деле своем поступаете, как мне угодно, и волю мою не творите». Спустя несколько дней плотники прибыли, и усердие коменданта тут же было замечено: «Благодарствую вашу милость, что вы ко мне в Шлиссельбург плотников и работников выслали и тою высылкою меня повеселили и за то ваше ко мне исправление любезный поклон до вашей милости отсылаю и за свое здравие по чарке горелки кушать повелеваю».

В другой раз олонецкий комендант, осмелившийся донести царю о неполадках, минуя Меншикова, получил укоризненное письмо, взывавшее к его дружеским чувствам: «Ты разсуди сам себе, хотя бы то и так было, дельно ль приступил к донесению мимо меня, в чем надобно было тебе опасну быть, в чем я от тебя не чаял, но еще паче всякого остерегательства надеялся, а ты вместо того пакость чинишь и с такими бездельными словами докладываешь»⁴.

Не менее успешно Меншиков справился и с другими поручениями Петра. Для создаваемого Балтийского флота требовалось много железа и корабельных пушек. Меншиков организует поиски руд и закладывает два завода — Петровский и Повенецкий. Оба они были пущены в рекордно короткий срок — в начале следующего года на них уже отливали пушки⁵. Так царский слуга постепенно становится соратником царя.

Не забывает Меншиков и о своих бытовых удобствах. Уже в это время отчетливо проявилась его тяга к роскоши и комфорту. В Шлиссельбург к коменданту крепости потянулись обозы, нагруженные всякими припасами, из Архангельска он выписал заграничные экипажи, из Москвы — заморские напитки. Богатый солепромышленник Григорий Строганов удружил царскому любимцу органиста Афоньку.

Искусством жить в роскоши Данилыч овладел довольно быстро. Сохранился любопытный документ — выписка об издержанных деньгах на приобретение различных товаров для царя и его фаворита. В 1702 г. для Петра были куплены два парика общей стоимостью 10 руб., в то время как для Меншикова — восемь на 62 руб. В 1705 г. общие расходы царя и его фаворита на приобретение материалов для экипировки составили 1225 руб. Петр довольствовался приобретением 40 аршин ивановского полотна на порты. Остальные деньги были издержаны на покупку штофов, тафты, кисеи, кружев, сукна, предназначавшихся для Меншикова, его сестры Анны Даниловны и сестер Арсеньевых⁶.

В то время как зимой 1702/1703 гг. Меншиков сторожил Шлиссельбург, царь, находясь вдали от фаворита, осыпал его новыми милостями. Вместе с веселой компанией Петр отправляется в подаренное Меншикову село Слободское, что близ Воронежа, где «веселились довольно». Царь сам составил план небольшой крепости у села и придумал название для нее — Ораниенбург.

«Все добро, — писал царь, — только дай, дай Боже, видеть вас в радости». Меншиков отвечал из Шлиссельбурга: «Все здорово, и твоим, государя моего, повелением все управляетца».

В том же 1703 г. Меншиков, заждавшийся приезда Петра в Петербург, в письме к царю при объяснении причин задержки прибегает к тому шутивому тону, который был принят в кругу близких к царю людей: «Разве за тем медление чинится, что ренскова у вас, ведаем, есть бочек с 10 и больше и секу не без довольствия и потому мним, что, бочки испразня, да хотите приехать или, которые из них разохлись, замачиваете или размачиваете, о чем сожалеем, что нас при том не случилось»⁷.

В военной кампании 1703 — 1704 гг., когда русские войска овладели всем течением Невы и принудили к сдаче гарнизон Нарвы, Меншиков дважды отличился в сражениях. Одно из них произошло в устье Невы вскоре после овладения Ниеншанцем. Шведский адмирал Нумерс, не зная о том, что Ниеншанц пал и находится в руках русских, вошел с отрядом кораблей в устье реки. Два из них бросили якорь вблизи крепости.

В предрассветном тумане 7 мая 1703 г. от берега отчалили 30 лодок с солдатами, вооруженными ружьями и гранатами. Половиной из них командовал Петр, другой — Меншиков. Подкравшись к кораблям, атаковавшие взяли их на бордаж и в считанные минуты завершили операцию. Она доставила царю огромную радость прежде всего потому, что это была первая морская победа. Ликовавший Петр возложил на себя орден св. Андрея Первозванного. Другой орден был вручен Меншикову. Данилыч получил еще одну привилегию, высоко поднимавшую его престиж: ему разрешалось содержать на свой счет телохранителей, своего рода гвардию. Подобным правом в стране никто не пользовался, кроме царя.

Петр поспешил оповестить своих друзей об успехе. Известил об этом девиц Арсеньевых и Меншиков: «Против 7 числа господин капитан (Петр. — Н. П.) соизволил ходить и я при нем был же и возвратился не без счастья. 2 корабля неприятельские с знамены и с пушки и со всякими припасы взяли, на первом 10, на другом 8 пушек». Здесь же сообщение о полученной награде. Примечательна подпись Меншикова под этим письмом. Ранее он подписывался просто: Александр Меншиков. В письме, отправленном 10 мая 1703 г., нетрудно обнаружить следы пробудившегося честолюбия. В подписи под сугубо частным письмом он обозначил и свою должность, и принадлежность к числу лиц, удостоенных ордена: «Шлиссельбургский и Шлотбургский губернатор и кавалер Александр Меншиков».

Впрочем, современник приводит свидетельство непомерного честолюбия Меншикова, относящееся к 1698 г. «Один из министров, — читаем в дневнике секретаря австрийского посольства Корба, — ходатайствовал перед царем об его любимце Александре, чтобы возвести его в звание дворянина и сделать стольником. На это, говорят, его царское величество ответил: “И без этого уже он присволяет себе неподобающие ему почести, его честолюбие следует унимать, а не поощрять”».

С овладением Ниеншанцем, близ которого была заложена Петропавловская крепость, забот у Меншикова прибавилось. Вновь завоеванная территория тоже была поручена его управлению. Ответственным за сооружение одного из шести бастионов крепости Петр назначил Меншикова. Вблизи крепости был построен деревянный домик царя, сохранившийся до наших дней. Поодаль от него возводили дома вельможи — Гавриил Иванович Головкин, Яков Вилимович Брюс, Петр Павлович Шафиров. Среди зданий выделялся размерами дом петербургского губернатора Меншикова. Он назывался Посольским, потому что в нем принимали послов и отмечали празднества.

Под особым надзором губернатора находилось укрепление острова Котлина, запиравшего вход в Неву. В устье реки постоянно маячили корабли эскадры Нумерса. Как только 1 октября эскадра удалилась на зимнюю стоянку, на Котлине начали спешно возводить крепость по чертежу, присланному Петром из Воронежа. Дело в Петербурге и на острове Котлине спорилось, и Меншиков в июле 1703 г. доносил царю: «Городовое дело управляется как надлежит. Работные люди из городов уже многие пришли и непрестанно прибавляются». Губернатор не сомневался, что «предреченное дело и впредь будет поспешествовать».

Слух об основании русскими города в устье Невы распространился среди западноевропейских купцов, и в ноябре 1703 г. на реке пришвартовался первый иностранный корабль, доставивший соль и вино. На радостях петербургский губернатор щедро наградил за отвагу шкипера, рискнувшего пробиться к городу, минуя шведских каперов: ему была выдана премия в 500 золотых, а каждому матросу — по 30 талеров.

Все эти хлопоты занимали уйму времени, с утра до ночи Меншиков в непрерывных заботах, его высокую фигуру можно было встретить на болварках спешно возводимой Петропавловской крепости, в Адмиралтействе, за распределением крестьян и горожан, прибывших на строительные работы со всех концов страны, в полках, охранявших подступы к новому городу, на Олонецкой верфи. Расторопный Меншиков поспевал всюду. Свободного времени у него поубавилось настолько, что он затруднялся выкроить несколько минут, чтобы продиктовать письмо девицам: «А что вы пеняете, что не часто вам пишу, а вы в том не подивуйте, потому что за недосугом и то чинится, а вам мочно всегда писать»¹⁰.

Петр доволен распорядительностью любимца — в его лице он обрел исполнительного помощника, не щадившего ни себя, ни других. Царь нуждался в советах Меншикова и не скрывал своего желания встретиться с ним. Будучи в Шлиссельбурге, Петр вызывает к себе Меншикова, видимо, находившегося в Ладоге: «Зело мне нужда видетца с тобою». И тут же разясняет, что он приглашает его вовсе не для разноса: «Для Бога не думай о своей езде, что здесь нездорово; истинно здорово, только мне хочетца видетца»¹¹.

В кампанию 1704 г. Меншиков участвует в осаде Нарвы. Во время осады Петр по совету Меншикова использовал военную хитрость. В лагере русских войск стало известно, что комендант крепости Горн ждал прихода подкреплений. На виду у осажденных было разыграно «сражение» между спешившим им на помощь «шведским» отрядом и русскими войсками. Двумя полками солдат, облаченными в такие же синие мундиры, что и шведские войска, командовал Петр. Полками в русских зеленых мундирах командовал Меншиков. Инсценировка сражения удалась вполне, шведы поверили, что к ним подоспела помощь, и комендант Горн велел открыть ворота, чтобы ударить по русским войскам с тыла. Выманенные из крепости шведы понесли значительные потери.

«Губернатор и кавалер» получил не только чины и должности, но и царские пожалования вотчинами. Первое из них относится к 1700 г. — он стал владельцем деревни Лукиной в Московском уезде, населенной 115 душами мужского пола; в следующем году хозяйство Меншикова увеличилось еще на две вотчины, тоже пожалованные Петром. Кроме того, Меншиков округлял свои владения скупкой деревень. В 1700 — 1701 гг. он приобрел в Московском уезде три вотчины, за одну из которых, самую меньшую, он уплатил 3 тыс. рублей¹².

Из каких источников Меншиков изыскивал средства для столь значительных расходов? Относительно казнокрадства Меншикова в эти годы сведения отсутствуют. Быть может, он и залезал в казенный сундук, но брал дозами, не вызывавшими зависти у других. О степени распространенности этого порока среди современников мы знаем по жестоким и в то же время безуспешным мерам борьбы Петра с ним. И все же главным источником, из которого Меншиков черпал деньги, была казна. Что касается подношений, то они хотя и текли в дом фаворита непрерывным потоком, удельный вес их в его бюджете был невелик.

Молва о близости Меншикова к царю, о влиянии, оказываемом любимцем на Петра, стала достоянием не только придворных, но и проникла в широкие круги дельцов того времени. Одни одаривали посредничеством царского любимца за уже обделанное дельце, другие подносили так, на всякий случай, чтобы заручиться его поддержкой в предвидении того часа, когда придется обратиться к его услугам, третьи о чем-либо просили и тут же поощряли усердие фаворита авансом. Органист Афонька, подаренный Строгановым, не являлся исключением. Как-то Меншиков остановился в Троице-Сергиевой лавре. Монастырские власти проявили интерес к только что завоеванной крепости Шлиссельбург. Губернатор подарил им три плана крепости. Как тут можно было ему удержаться от искушения, если братия одарила его 300 руб.

Подарки типографских планов завоеванных крепостей Шлиссельбурга и Выборга вылились в особый вид вымогательства. Меншиков «с шапкой по кругу» объехал, видимо, уйму монастырей и посадских общин, что принесло ему, по собственному признанию, 19 410 руб. чистоганом.

В других случаях подносили по мелочам: какой-то архимандрит прислал сельдей, руководитель Мундирной канцелярии Матвей Голтвин был челом принять 200 свежих яблок, бочонок слив и бочонок яблок в патоке. Войсковой атаман Василий Фролов, занявший этот пост не без помощи Меншикова, почти ежегодно присылал по скакуну. Преемник Фролова Иван Краснощеков отправил Меншикову «презенту калмычат молодых мальчика и девочку», а также турецкого табаку; министр в Курляндии Петр Бестужев прислал в подарок платки. Более крупные подношения Меншиков получал от сибирского губернатора Матвея Гагарина, но светлейший, как ни напрягал память, так и не мог вспомнить, в чем состояли эти подношения¹³. Вероятно, Меншиков, особенно в годы, когда находился

в зените могущества, получал и денежные подарки, но источники факты такого рода, естественно, не регистрировали.

Впрочем, уже в начале столетия у Меншикова наряду с честолюбием обнаружилась еще одна черта его характера — страсть к стяжанию. Крупные взятки он брать не рисковал, о чем свидетельствует случай с Вiniusом. Думный дьяк Андрей Андреевич Вinius, обрусевший голландец, отец которого основал еще в 1636 г. первый в России вододействующий металлургический завод, относился к числу близких к Петру людей, входил в так называемую компанию царя, состоявшую из самых доверенных лиц. Он занимал множество должностей — руководил Сибирским, Аптекарским и Пушкарским приказами, в его ведении находилась также и почта. В 1703 г. предстояло освобождение Вiniusа от ряда постов, и он ради сохранения за собою Сибирского приказа, приносившего ему, видимо, наибольшие доходы, решил дать Меншикову взятку примерно в 10 тыс. руб. Меншиков деньги не взял, обещал содействие, но тут же донес об этом царю. «Зело я удивляюсь, — с возмущением писал Меншиков, — как те люди не познают себя и хотят меня скупить за твою милость деньгами»¹⁴. В итоге карьера Вiniusа оборвалась, он был лишен всех должностей и доверия царя.

В последующие годы подобных сентенций в эпистолярном наследии Меншикова мы не встречаем. В данном же случае Меншикова удержала от соблазна сложная гамма чувств. Отказался он от взятки потому, что предложенный ему куш был непомерно большим, и он психологически еще не был подготовлен к подношениям таких размеров. В этом состоял просчет Вiniusа, ибо, предложи он взятку поскромнее, быть может, все обернулось бы по-другому. Но кроме того, Меншиков руководствовался еще двумя соображениями: во-первых, он упрочивал доверие Петра не только в личных отношениях, но и в качестве верного и преданного помощника на административном поприще; во-вторых, положение фаворита обязывало участвовать в интригах, подставлять ножку своим соперникам и своевременно сметать их с пути.

В начале 1704 г. Меншиков еще более закрепил свое положение «товарища» Петра при помощи пленницы Марты.

В августе 1702 г. Шереметев овладел Мариенбургом. Среди взятых в плен оказалась семья пастора Глюка, державшая в услужении сироту Марту. Сначала Марта попала в руки какого-то сержанта, затем оказалась у Шереметева, а в конце 1703 г. ее отнял у фельдмаршала Меншиков. У Меншикова Марту, которую стали называть Екатериной Трубачевой, заметил Петр. Меншиков охотно уступил ее своему «товарищу». Быть может, знакомство Петра с Екатериной было случайным. Но не исключено, что Меншиков сознательно использовал Екатерину в качестве противовеса Анне Монс. Между ним и фавориткой царя сложились неприязненные отношения, и он был заинтересован в разрыве Петра с дочерью виноторговца из Немецкой слободы. Со временем Катерина Трубачева прочно овладела сердцем царя. Своим возвышением она была обязана Меншикову и чувство признательности ему сохранила на всю жизнь.

А пока Меншиков приютил ее в своем семействе — она жила вместе с его сестрой, Анисьей Толстой и девицами Арсеньевыми. Это дамское общество на первых порах коротало время либо в Москве, либо по вызову приятелей отправлялось в нелегкое путешествие к театру военных действий. Дамы ведут оживленную переписку с Меншиковым и Петром, справляются об их здоровье, поздравляют с праздниками и днями рождения, жалуются на скуку от «разлучения», отправляют подарки. 27 октября 1705 г. Меншиков пишет Дарье Михайловне из Тикотина: «За писание ваше благодарствую, а особо за присылку шлафмица (ночного колпака. — *Н. П.*), которой зело любовно принят; так и посланный от вас галздук господину капитану (Петру. — *Н. П.*) вручил, которой также тот галздук милостиво принять благоволил».

Ответы Меншикова на нежные письма Дарьи Михайловны, поначалу суховатые, постепенно приобретают теплоту и взаимное выражение привязанности. «Только не могу больше блажить против милости твоей, — пишет Дарья Михайловна своему возлюбленному. — Желаю сердечно видеть тебя, радость свою, и неотлучно б быть при милости твоей всегда». Меншиков отвечает из Витебска: «Для Бога скорее приезжайте и нигде в пути не медлите, потому что мне без вас зело скучно, о чем сами изволите рассудить»¹⁵.

В течение шести лет, начиная с 1705 г., между Петром и Меншиковым, судя по их переписке, поддерживались самые теплые отношения и, кажется, не возникло ни одного повода, чтобы омрачить их.

Уместно отметить одну особенность переписки Петра с Меншиковым. Эпистолярное наследие царя велико, оно включает несколько тысяч записок, распоряжений, писем, отправленных многочисленным корреспондентам. Петр любил и умел писать письма. Среди многих сотен корреспондентов особое место занимает Меншиков. Всем остальным царь писал кратко, четко и, как правило, без эмоций. Он поручал сделать то-то и то-то и донести об исполнении поручения. Иное дело — письма к Меншикову. Они отличаются и по тону, и по форме. Это письма не царя к подданному, а дружеские послания, дающие читателю основания полагать, что перед ним два равных по положению корреспондента, обменивающихся взаимными советами, сетующих на трудности. Деловая часть писем Петра к Меншикову перемежается с сообщениями о состоянии здоровья, о погоде, о дорогах, о жажде встречи, наконец, о переживаниях в связи с неудачами или успехами.

Меншикову царь повелевал так же, как и прочим подданным. Но указы Петра к Меншикову напоминают скорее просьбы — в них отсутствуют угрозы за невыполнение, нет в них и повелительного тона, характерного для посланий Петра другим лицам. Петр был уверен, и эта уверенность подтверждалась повседневно, что Данилыч, если того требует обстановка, сделает больше, чем ему поручено, и будет действовать смело, энергично, а также проявит собственную инициативу в развитии идей, заложенных в письме-указе.

Ни к кому Петр не обращался так нежно, не проявлял столько заботы и предупредительности, как к Меншикову. Как он только его не называл! «Мейн липсте камрат», просто «товарищ», «Мейн Херценкинд», «Min Her», «Mein Her Leutenant». Характерно, что Меншикову, единственному из корреспондентов царя, дозволено было обращаться к нему так: «Майн герц каптейн» — «Мой господин капитан». Петр пользуется любым поводом, чтобы выразить глубокую привязанность и доверие к своему приятелю. Осенью 1704 г. царь пишет: «У нас все добро и весело, только одно лишение от вас меж веселости точку прешкоды ставит». В феврале 1705 г. из Митавы: «За сим желаем вам от господа бога всякого блага и радостного паки свидания, понеже ныне все веселье от нас вы увезли». Еще более выразительны письма царя, отправленные в мае того же года из Москвы. В первом из них он жалуется на болезнь, но более всего тоскует о разлуке с Алексашей. Три дня спустя новое послание в таком же духе: к болезни присоединилась еще «тоска разлучения с вами; долго я терпел, но ныне уже вяще не могу. Извольте ко мне быть поскорей, чтоб мне веселее было, о чем можешь разсудить».

Меншиков позволял себе кокетничать. На одно из писем Петра он отвечал в марте 1705 г.: «Не погневись, мой государь, что мало и не часто к милости твоей пишу. Истинно рад бы писать часто, да опасен того, чтоб милости вашей частыми бездельными письмами не надокучить. И впредь, кроме дела и самой нужды, ни о чем писать к милости вашей не буду, только что разве о здоровье вашу милость безвестна не оставлю»¹⁶. Петр, однако, требует от своего «товарища», чтобы он писал почаще: он хотел знать, как у него идут дела и каково его самочувствие. «Для Бога прошу, чтобы чаще вы писали», — не велит, а умоляет царь своего друга в апреле 1706 г.¹⁷

До сих пор мы наблюдали за деятельностью Меншикова, находившегося рядом с Петром. Он участвовал в лихом налете на неприятельские корабли, осаждал и штурмовал Нарву. То была проба сил Меншикова-военачальника. Теперь Петр доверяет своему «товарищу» действовать самостоятельно, и он успешно выполняет главную в то время задачу петербургского губернатора — лишить шведов возможности вернуть земли по течению Невы и защитить будущую столицу.

Сначала он в июле 1704 г. организовал отпор нападению шведов на Петербург. Неприятеля, подошедшего к крепости, встретили таким плотным огнем артиллерии, что он вынужден был поспешно ретироваться, понеся большие потери. С таким же успехом действовали подчиненные Меншикова и при обороне Кронштадта. Высадившийся там десант вынужден был вернуться на свои корабли. Умелые действия губернатора Петр вознаграждал чином генерал-поручика.

После овладения Нарвой театр военных действий переместился в Польшу. Шведские войска в погоне за Августом II колесили по территории этой страны с 1701 г., грабя население и нанося бесчисленные поражения саксонцам. Петр был заинтересован в сохранении союзнических отношений с

Августом II, ибо, когда Карл XII, по образному выражению царя, увяз в Польше, Россия получила передышку для восстановления утраченной артиллерии и обучения армии современным приемам ведения войны.

Наконец, в 1704 г. Карл XII совершил детронизацию Августа — отнял у него польскую корону и вручил ее своему ставленнику Станиславу Лещинскому. Среди польских магнатов и шляхты возникло два лагеря: один из них поддерживал Станислава Лещинского, опиравшегося на шведские пштыки, другой оставался верным Августу II.

Августу было совершенно очевидно, что водрузить на свою легкомысленную голову корону польского короля без энергичной помощи со стороны России ему не удастся. Но столь же очевидно было и Петру, что, чем дальше станет сопротивляться Август, тем продолжительнее будет отсрочка вторжения шведов в Россию. Именно из этих соображений Петр охотно заключил союз с польским королем Августом II в только что отвоюванной Нарве.

Договаривавшиеся стороны обязались воевать «до безопасного и обоим государствам полезного мира» и не вступать в сепаратные переговоры. А так как Август не обладал боеспособным войском, то Россия обязалась отправить в его распоряжение 12-тысячный корпус и выдавать польскому королю ежегодную субсидию в 200 тыс. руб.

Осенью 1704 г. в Польшу были двинуты два соединения русских войск: одно под командованием Аникиты Ивановича Репнина, другое — фельдмаршала Шереметева. Позже, в 1705 г., когда Шереметев был отправлен на подавление Астраханского восстания, общее командование русскими войсками в Польше Петр поручил недавно нанятому на русскую службу фельдмаршалу Огильви. В Польшу был отправлен и Меншиков в качестве командующего русской кавалерией. Здесь он энергично громил сторонников Станислава Лещинского, за что был пожалован Августом орденом Белого Орла. Но главную награду для своего фаворита исхлопотал Петр. По его поручению русская дипломатия долго и настойчиво добивалась от венского двора титула для Меншикова. Еще в 1702 г. канцлер Федор Алексеевич Головин поручил русскому послу в Вене — Петру Алексеевичу Голицыну исходатайствовать Меншикову титул «гофа». Перед расходами велено было не останавливаться, ибо Головин обещал их возместить. Канцлер соблазнял посла возможностью получить за труды изрядное вознаграждение: «А от него б (А. Д. Меншикова. — Н. П.) тебе заплата будет добрая, что и сам можешь рассудить. И другим бы было во угождение»¹⁸. Под «другими», видимо, подразумевался царь.

Титул графа Меншиков, видимо, все же получил, ибо в обращениях к нему в 1703 — 1704 гг. он употреблялся. Наконец в 1706 г. австрийский император удовлетворил желание русского царя, наградив царского фаворита дипломом князя Священной Римской империи. Бывший пирожник стал светлейшим князем.

В зимнюю стужу начала 1706 г. армия Карла XII, находившаяся в Силезии, совершила стремительный марш на восток и в середине января

оказалась у стен Гродно. Меншиков, получив известие о движении шведов к Гродно, доносил царю: «Ваша милость, не извольте беспокоиться: мы здесь совершенно готовы, полки наши сюда собираются и вскоре совсем управимся».

Действительно, Карл, обследовав укрепления Гродно, пришел к выводу, что штурмом ему городом не овладеть. Шведские войска расположились за несколько десятков километров от Гродно.

Донесение Меншикова, полное оптимизма, не успокоило царя. Вслед за получением известия о марше Карла XII к Гродно он решил немедленно ехать к армии. «Надобно смотреть, — писал царь Меншикову 13 января, т. е. в день выезда из Москвы, — чтоб неприятель не отрезал наших войск от границы... чтобы неприятеля отнюдь не допустить зайти сзади себя»¹⁹.

Попасть в Гродно Петру не удалось — он и выехавший к нему навстречу Меншиков оказались отрезанными от армии. Положение усугублялось тем, что Огильви не разделял опасений Петра относительно судьбы сосредоточенных в Гродно лучших полков русской армии. Царь требовал вывода войск из Гродно, в то время как Огильви считал необходимым дать шведам сражение, в котором надеялся одержать «совершенную и верную победу». На худой конец Огильви настойчиво рекомендовал отсидеться в Гродно до лета, и тогда шведов можно было бы одолеть наверняка.

С легкомысленными рассуждениями наемного фельдмаршала Петр согласиться не мог и, не надеясь на пунктуальное выполнение им своих повелений, отправляет в Гродно Меншикова с обширнейшими полномочиями. Главная задача Меншикова — вывести 40-тысячную армию из мышеловки. В письмах, адресованных Огильви и Репнину, было сказано, чтобы они выполняли все распоряжения светлейшего с такой же беспрекословностью и с таким же усердием, как и указы, исходившие непосредственно от царя.

Воспользоваться своими полномочиями в полном объеме Меншикову не довелось — он встретил армию три дня спустя после того, как она оставила Гродно. На следующий день после приезда, 28 марта, он устроил смотр войскам. Хотя и пришлось утопить тяжелую артиллерию в Немане и расстаться с грузами, замедлявшими движение, главная задача, поставленная Петром в тщательно разработанном им плане выхода из окружения, была выполнена. Царь писал Меншикову из Петербурга: «Истинну сказать, от сей ведомости вовсе стали здесь радосны; а до того, хотя и в раю жили, однако всегда на сердце скребло»²⁰.

Русская армия двигалась к Киеву, который Меншиков решил укрепить на случай прихода шведских войск. «Я ездил вокруг Киева, — доносил он Петру, — также около Печерского монастыря и все места осмотрел. Не знаю, как вашей милости понравится здешний город, а я в нем не обретаю никакой крепости». Меншиков остановил свой выбор на Печерском монастыре, который, впрочем, нуждался в сооружении дополнительных укреплений.

Между тем Карл XII отправился было в погоню за русскими войсками, но вскоре обнаружил тщетность своей попытки настичь их и навязать им

генеральное сражение. Предоставив своей армии двухмесячный отдых, шведский король круто повернул на запад и отправился к границам Саксонии, где решил принудить Августа отказаться от польской короны.

В переписке Меншикова с царем конца 1705 — начала 1706 г. встречаются загадочные слова. 23 декабря 1705 г. Петр пишет: «Еще вас о едином прошу: ни для чего, только для Бога и души моей держи свой пароль». Меншиков отвечает: «А что изволишь, ваша милость, меня подкреплять, чтоб мне пароль здержать, и о том не изволь, государь, сумневатца: истинно не преступлю твоего повеления». Петр остался удовлетворен ответом: «Что вы изволите пароль свой держать, за то зело благодарен»²¹.

О каком «пароле» шла здесь речь? Под «паролем» подразумевались взаимные обязательства царя и Меншикова: первый должен был жениться на Екатерине, второй — на Дарье Михайловне Арсеньевой. С тех пор как была пышно отпразднована свадьба в Киеве, в письмах Петра исчезло требование к Меншикову блюсти «пароль». Сам царь, женившийся пятью годами позже, употреблял слово «пароль» в последний раз в 1711 г. в ответе Меншикову на его поздравление по случаю помолвки с Екатериной: «Благодарствую вашей милости за поздравление о моем пароле».

Едва успели завершиться свадебные торжества, как Меншиков вновь в походе, — превратности войны забросили его опять в Польшу, где Карл, двинувшийся в Саксонию, оставил генерала Мардефельда с 8 тыс. шведов. Их-то и решил разгромить Меншиков.

ГЕРОЙ КАЛИША, БАТУРИНА, ПОЛТАВЫ И ПЕРЕВОЛОЧНЫ

В распоряжении Меншикова находилась превосходно подготовленная армия. Вот каким представлялось ему самому русское войско в июле 1706 г.: полки обретаются в добром состоянии, ибо «вся наша кавалерия ныне рекрутована, мундирована и добрыми лошадьми дополнена». Уверенность в успехе усиливало ожидаемое подкрепление в составе четырех полков, что в итоге доводило численность регулярной кавалерии до 20 тыс. человек, не считая 3 тыс. калмыков и 4 тыс. казаков. «А неприятель, уже бывши в Полонном местечке, о нашем приходе уедавав, то бег восприял»¹.

Скромностью это письмо Меншикова к П. П. Шафирову не отличалось. И тем не менее суждения Александра Даниловича не являлись пустым бахвальством. Дальнейший ход событий подтвердил способность русской армии «добре» встретить неприятеля.

К повышению боевой выучки войск Меншиков имел прямое касательство. В июле он утвердил «Артикул краткий» — наставление для обучения драгун военному ремеслу. Помимо правил поведения на территории союзника России (за насилие, мародерство, поджоги — смертная казнь), «Артикул» предусматривал воспитание у воинов чувства долга, патриотизма и дисциплины: «Кто к знамю присягал единожды, у оного и до смерти стоять должен» или «Оной, кто крепость без нужды сдает... голову потеряет»². В это же время Меншикова занимала забота комплектования полков, обеспечения их оружием, продовольствием и фуражом.

Навстречу корпусу Меншикова двигался Август с польскими и саксонскими войсками. Они соединились в середине сентября. Осень — не лучшее время для преследования противника, поэтому у Меншикова были колебания: давать или не давать баталию неприятелю. 11 октября он принял решение атаковать шведов у Калиша. Задуманная Меншиковым операция удалась на славу, хотя ее воздействие на дальнейший ход кампании в Польше было ослаблено изменой Августа II.

Как только Карл XII вторгся на территорию беззащитной Саксонии, дипломаты Августа вступили с завоевателями в тайные переговоры. Саксонский курфюрст, уже лишившийся польской короны, опасался, что Карл отнимет у него и трон в Дрездене. Ради его сохранения он готов был совершить предательство.

В те самые дни, когда в замке Альтранштадт, что недалеко от Лейпцига, министры Августа II в непроницаемой тайне вели переговоры с представителями Карла XII, сам Август, рыдая, выпрашивал у Меншикова деньги. Князь доносил Петру: «Королевское величество зело скучает о деньгах и со слезами наодине у меня просил, понеже так обнищал; пришло так, что есть нечего». Прижимистого Данилыча королевские слезы расстрогали настолько, что он выдал Августу из собственных денег 10 тыс. ефимков.

Петр одобрил действия Меншикова. Хотя царь и знал, что Август постоянно попрошайничает и транжирит деньги на удовольствия и многочисленных дам, он считал, что «ежели при таком злом случае постоянно король будет, то, чаю, надлежит его во оных крепко обнадежить»³.

Игра Августа поставила его в весьма затруднительное положение. С одной стороны, он уже санкционировал унижительный Альтранштадтский мир с Карлом XII, по которому он отрекался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, разрывал союз с Россией и обязался выплачивать за содержание шведской армии колоссальную контрибуцию в 625 тыс. рейхсталеров в месяц. С другой стороны, под боком находилась русская армия во главе с Меншиковым, рвавшимся преследовать Мардефельда. Участие саксонцев в сражении на стороне русских могло вызвать взрыв гнева у мстительного Карла и далеко идущие последствия: король мог разорвать только что заключенный мир и в отместку за измену начисто опустошить богатую Саксонию, а у ее курфюрста отнять корону. В то же время отказ Августа II от участия в сражении мог вызвать подозрение у Меншикова, и тогда возмездия за измену следовало ожидать со стороны русских.

Август II нашел, как ему казалось, самый безопасный выход из щекотливой ситуации. Он решил предупредить шведского генерала, чтобы тот, не дожидаясь нападения объединенных русско-польско-саксонских войск, убрался восвояси. Король полагал, что он, симулируя активность, лишит Меншикова повода для подозрений — дескать, он, Август, равно как и светлейший, изо всех сил старался войти в соприкосновение с неприятелем, но что поделаешь, если тот уклоняется от сражения? Август рассчитывал, что его услуга будет по достоинству оценена и Карлом XII, — это он, Август, предупредил Мардефельда о грозившей опасности.

Хитроумному плану курфюрста не суждено было осуществиться — совершенно неожиданно спутал все карты Мардефельд. Август II отправил в шведский лагерь парламентаря, и тот, уловив момент, когда остался наедине с Мардефельдом, передал ему письмо с предупреждением, чтобы тот спешно отступал на запад и не ввязывался в сражение. Предупрежде-

ние осталось без ответа. Август счел, что Мардефельд еще не осведомлен о тайных переговорах, завершившихся заключением мира, и поэтому спустя несколько дней повторил предупреждение. На всякий случай саксонский генерал, действовавший от имени Августа, в качестве последнего аргумента использовал честное слово для доказательства, что оба короля отныне находились в наилучших отношениях. Мардефельд был предупрежден, что в его распоряжении оставалось два дня и две ночи, которыми он еще мог воспользоваться для отступления. Вопреки ожиданиям шведский генерал не только не прислушался к советам, но и признал их провокационными. Парламентеру он ответил, что не нуждается в советах врагов ⁴.

Проявляя подозрительность, Мардефельд был по-своему прав. Противник, рассуждал шведский генерал, своими советами намеревался выманить его войска из лагеря, хорошо оборудованного, еще за три дня до подхода к нему русских войск. Риск выхода из укрепленного лагеря увеличивался еще и тем, что силы атакующих превосходили его собственные силы: в распоряжении Мардефельда находилось 4 тыс. кавалерии, 3 тыс. пехоты и до 20 тыс. поляков, державших сторону Станислава Лещинского. Меншиков располагал 17 тыс. драгун и около 15 тыс. кавалерии, находившейся в распоряжении Августа II. И хотя польский король нарочито медленным построением своей конницы в боевые порядки предоставлял возможность Мардефельду использовать последний шанс для отступления, шведский полководец не воспользовался этим шансом, — он не рассчитывал на возможность отрыва от неприятеля. Уйти — значит заведомо оставить пехоту на растерзание русским драгунам.

Как ни пытался Август уклониться от сражения, оно все же началось в 2 часа дня 18 октября 1706 г. Когда русские полки, расположенные в центре атакующих, сблизились с неприятелем, то первыми не выдержали натиска поляки — они бросились наутек. Тем не менее шведы продолжали отчаянное сопротивление и даже сумели потеснить русских драгун. Увлеченная преследованием шведская кавалерия оставила без прикрытия свою пехоту. Этим промахом Мардефельда умело воспользовался Меншиков. Он тут же велел спешить несколько эскадронов драгун, послал на неприятельские фланги кавалерию и сокрушил шведскую пехоту. Он же отрезал шведам путь к отступлению.

Большая часть шведской армии полегла на поле боя, лишь немногим кавалеристам удалось выбраться из окружения. 1800 шведов во главе с Мардефельдом оказались в плену. Потери русских войск были ничтожны — 80 убитых и 320 раненых.

Исход сражения определили русские войска и энергичные действия Меншикова. В сражении он блеснул и полководческими дарованиями, и личной отвагой. Хотя он накануне и успокаивал супругу, находившуюся в обозе, что «в баталии сам не буду», но в критический момент сражения ринулся в пекло битвы и был легко ранен. Отвагу светлейшего признал даже Август. Он писал Петру после сражения у Калиша: «Я был вполне

всем доволен, и если могу на что жаловаться, так это на князя Александра, потому что он в этой войне, ревнуя о славе вашего величества и о нашей общей пользе, подвергал себя очевидной опасности и тем причинил мне немалое беспокойство»⁵.

Меншиков спешит уведомить Петра об успехе. «Не в похвальбу вашей милости доношу: такая сия прежде небываемая баталия была, что радостно было смотреть, как с обеих сторон регулярно бились... И сею преславою щастливою викториею вашей милости поздравляю и глаголю: виват, виват, виват!» Петр отвечал из Петербурга: курьер «неописанную привез нам радость о победе неприятельской, какой еще никогда не бывало, — и тут же добавил: — Уже сей третий день мы празднуем». Обрадованный приятной вестью, Петр садится за стол и «сочиняет» чертеж дорогой трости, украшенной алмазами, крупными изумрудами и гербом Меншикова. Тростью, стоившей 3064 руб. 16 алтын 4 деньги, царь одарил своего любимца⁶.

День Калишской победы, 18 октября, был объявлен викториальным днем и ежегодно отмечался торжествами наравне с днями победы у Лесной, Полтавы и Гангута. Это было самое значительное событие первых шести лет Северной войны: ни в одном из предшествующих сражений не участвовало такого количества войск, ни одно из них не завершилось пленением неприятельского командующего. Наконец, ни в одном из полевых сражений предшествующего времени русские войска не проявили столь высоких боевых качеств регулярной армии, как под Калишем. Восстанавливалась репутация вооруженных сил России. Шафиров по случаю победы устроил в Москве званый обед. Английский и датский послы, доносил Шафиров царю, рассуждали, «что сия победа всех возбудит против шведа смелее поступать»⁷.

Меншикову тоже рисовались радужные последствия одержанной победы. Ставленник шведов Станислав Лещинский, по мнению Александра Даниловича, «ныне вконец уничтожен и в первую силу никогда притить не может». Положение Августа II теперь упрочится. Поляки, находившиеся под гипнозом побед шведов и неуверенности в том, что русские способны не только оказать им сопротивление, но и победить их, переходили на сторону Станислава из страха. После Калиша, рассуждал Меншиков, неприятель «первого своего куража лишен» и можно надеяться на массовый переход польской шляхты и магнатов на сторону законного короля⁸. Формулируя этот вывод, Меншиков еще не знал, что Август II отрекся от польской короны.

Калишской победе не суждено было стать поворотным пунктом в истории Северной войны. Ни Меншикову, непосредственно общавшемуся с Августом, ни Петру, находившемуся вдали от своего «друга, брата и соседа», не хватило проницательности, чтобы разгадать подлинные намерения саксонского курфюрста. Его измена явилась полной неожиданностью для Меншикова. За месяц с лишним до сражения, 12 сентября, информируя Шафирова о вступлении шведских войск в Саксонию, он писал: «Ко-

ролевское величество (Август II. — Н. П.) послал туда указы, чтоб отнюдь контрибуцию ему (Карлу XII. — Н. П.) не давать, хотя жестокие разорения терпеть»⁹. О коварной измене Августа, расстроившей все планы русского командования, Данилович узнал слишком поздно — новость стала его достоянием лишь в конце ноября 1706 г. «Уже ныне мы подлинную ведомость получили о мире, каков учинил тайно король Август с королем швецким, и имеем з договорных статей списки». Копию договора Меншиков «для подлинного уведомления» отправил своему корреспонденту Шафирову¹⁰.

А вот признание самого царя, высказанное много лет спустя после событий: у него «и в мысли не было, чтобы Август имел намерение о таком безчестном мире с королем шведским, как действительно случилось». Королевские клятвы в верности настолько усыпили бдительность Меншикова, что он не придавал никакого значения слухам, носившимся в его ставке за неделю до сражения. Он писал царю 11 октября: «Здесь ведомость есть, что в Саксонии учинено перемирие на десять недель, о чем zelo сомневаюсь»¹¹.

Участие саксонских войск в разгроме шведов как бы замыкало цепь предательских поступков Августа. Как объяснить этот факт шведскому королю, всегда неприязненно отзывавшемуся о его моральных качествах? Карл, разумеется, лучше, чем кто бы то ни было, знал о низкой боеспособности саксонских войск, терпевших непрерывные поражения от шведов. Знал он также и о том, что роль саксонцев в победе была ничтожной. Но поверит ли Карл, что саксонцы были невольными участниками сражения? Что могло искупить вину перед новым хозяином?

Новый хозяин действительно пребывал в гневе. После получения известия о понесенном Мардефельдом поражении шведский король объявил комиссарам, участвовавшим в переговорах: если Август действовал преднамеренно, то он, Карл XII, немедленно возобновит военные действия. Комиссаров охватило смятение. Впрочем, вскоре Карл XII сменил гнев на милость. Его вполне удовлетворило объяснение Августа, что польско-саксонские войска участвовали в сражении вынужденно. Подозрительность Карла XII Август рассеял еще одним предательством по отношению к России.

За победу у Калиша он отслужил благодарственный молебен в Варшаве, подарил Меншикову Оршу в Литве и Полонну на Волини, чем еще более расположил его к себе, и в то же время настойчиво вымогал у него передачу оказавшихся в плену шведских генералов, офицеров и рядовых. Меншиков долго не поддавался уговорам, но, когда Август пригрозил разрывом союза с Россией, в конце концов уступил. Взамен полученных пленных Август дал Меншикову письменное обязательство обменять их в течение трех месяцев на русских офицеров, томившихся в шведском плену еще со времен первой Нарвы. Меншиков заручился также обязательством Мардефельда вернуться в русский плен в том случае, если обмен не состоится.

Хитрец на троне обманул — ни о каком обмене пленных он не помышлял, вырученное из беды шведское воинство нужно было ему лишь для того, чтобы смягчить гнев Карла XII. Обманул и Мардефельд. Шесть месяцев спустя после освобождения Мардефельда Меншиков отправляет ему письмо с напоминанием о необходимости выполнить «кавалерский пароль», что его поступок противен «всем народным нравам и обычаям» и является «бесчестным». Шведский генерал предпочел не отвечать¹².

После измены Августа II вся тяжесть войны пала на плечи одной России. Русские войска отошли к местечку Жолква, что в 25 верстах севернее Львова, где расположились на зимних квартирах. Меншиков настоятельно приглашал туда царя. 28 ноября он писал ему: «Сомневаться, что король нас оставил, ты не изволь: можно выбрать и другого короля»¹³.

Получив это письмо на пути в Москву, царь тут же изменил маршрут — круто повернул на юг и в последних числах декабря прибыл в Жолкву. Здесь он пытался подобрать кандидатуру на «вакантную должность» польского короля, но успеха не имел. Тем не менее Жолква вошла в историю Северной войны. Именем этого западноукраинского местечка был назван стратегический план продолжения военных действий. Суть его состояла в том, что в случае движения шведов на восток надлежало уклоняться от генерального сражения на территории Польши, но, отступая, непрестанно «томить» неприятеля нападениями мелких отрядов, уничтожением запасов продовольствия и фуража и организацией отпора при попытках преодолеть водные рубежи.

В начале 1708 г. шведскую армию, хорошо отдохнувшую и экипированную в Саксонии, а также пополненную рекрутами, Карл двинул в поход на Россию.

Обстановка первой половины 1708 г. вынуждала Меншикова трудиться с полным напряжением сил. Отступление русской армии происходило под прикрытием конницы Меншикова. Она то отбивалась от наседавших шведов, то сама нападала на них. При движении из Могилева на юг шведы совершали марши протяженностью в 6 — 7 километров в сутки. Это позволяло Меншикову оставлять неприятеля без продовольствия и фуража — их увозили, прятали, сжигали.

Жолквиевская стратегия принесла плоды. Перебежчики сообщали, что шведы «голод имеют великий». Меншиков доносил царю: «Рядовые солдаты к королю приступили, прося, чтоб им хлеба промыслил, потому что от голода далее жить не могут». Томимая голодом, армия едва способна была совершать марши, недоедание вызывало болезни...

Супруга в эти месяцы живет в постоянной тревоге. Меншиков пишет своим домашним: «Для Бога берегите и унимайте, чтоб не плакала и не печалилась об нас, понеже мы никогда надлежашей осторожности иметь не оставим». Дарья Михайловна просит Петра, чтобы тот умерил горячность своего «товарища». Царь внял просьбе и ответил, что он много раз предупреждал князя, чтобы тот «берег себя», и тут же добавил, что «у них все благополучно и от князя получает ежедневные ведомости»¹⁴.

Светлейший старался успевать повсюду, но иногда допускал просчеты. Он, например, сторожил Карла при переправе через Березину ниже Борисова, а тот обманул князя и без помех преодолел речку в другом месте. Меншиков отправил царю донесение: «Мы никогда в ту сторону его марша не чаяли». Если бы подобную оплошность совершил любой из генералов, он в полной мере ощутил бы гнев царя. К своему приятелю царь проявил снисхождение и всего лишь предостерег светлейшего, чтобы тот не дал себя обмануть при переправе шведов через Днепр.

Во второй половине 1708 г. по мере продвижения шведов к Украине напряженность на театре военных действий нарастала. Эти месяцы были отмечены тремя вехами Северной войны, каждая из которых приближала время гибели вторгнувшегося неприятеля. Ко всем трем Меншиков имел самое прямое отношение: к сражению у села Доброго 30 августа, битве при Лесной 28 сентября и разгрому Батурина 2 ноября.

Источники скупо отражают участие Меншикова в первых двух операциях. Известно лишь, что князь при сражении у села Доброго ринулся в атаку во главе кавалерии как раз в тот момент, когда исход боя не внушал полной уверенности в успехе. Движение Меншикова на неприятельский фланг ускорило исход двухчасового сражения, закончившегося победой русских войск. Сражение могло завершиться полным разгромом, если бы не топкие болота, помешавшие коннице Меншикова своевременно пробраться к месту событий. Петр ликовал и потому, что поражение нанесено полкам, укомплектованным, как он писал, «природными шведами», и потому, что «сей танец в очах горячего Карлуса станцевали», т. е. шведскими войсками командовал сам король, имевший высокую репутацию полководца. Потери шведов при селе Добром исчислялись 3 тыс. человек. Они, конечно же, не шли ни в какое сравнение с уроном, который позже понес неприятель при битве у Лесной, но тем не менее были для него ощутимыми.

В то время как Карл медленно продвигался к Украине, к нему из Лифляндии следовал огромный обоз с запасами продовольствия, фуража и артиллерийских припасов. Его сопровождал 16-тысячный корпус генерала Левенгаупта. Прибытие этого подкрепления усилило бы армию короля.

Когда Петру стало известно, что обоз тронулся в путь, он решил напасть на него силами корволанта — летучего отряда, спешно для этой цели сформированного из драгун и пехотинцев, посаженных на коней. Налегке, без обременительного обоза, корволант настиг корпус Левенгаупта у деревни Лесной. Русскими войсками командовал Петр, но тут же находился и Меншиков. Нам неизвестны подробности участия князя в сражении 28 сентября. Битва, продолжавшаяся с утра до наступления темноты, завершилась разгромом шведов. Весь обоз в несколько тысяч телег достался русским. Вместо 16 тысяч Левенгаупт, бежавший с поля битвы под покровом ночи, привел в стан короля 6 — 7 тысяч деморализованных солдат.

Петр назвал битву у Лесной матерью Полтавской баталии не только потому, что эта битва произошла ровно за девять месяцев до роковой для шведов развязки у стен Полтавы, но и потому, что подобного поражения противник никогда не терпел. Тем более от войск, уступавших по численности корпусу Левенгаупта.

Поражение у Лесной укрепило Карла XII в намерении идти на Украину, где он рассчитывал получить то, что было утрачено Левенгауптом: продовольствие, фураж, пушки и припасы к ним. Все это заготовил для него украинский гетман Мазепа.

Измена Мазепы являлась следствием едва ли не самых значительных промахов Петра и его окружения. Прояви царь больше проницательности, не будь столь доверчивы к украинскому гетману Меншиков, Головин и прочие соратники Петра, изменник был бы разоблачен значительно раньше и его связи с недругами России были бы пресечены задолго до того, как шведские войска оказались на земле Украины. Но Петр считал его верным слугой, а Меншиков и другие вельможи относили его к числу своих друзей.

За двадцатилетнее гетманство Мазепы в Москве было получено множество на него доносов, но гетман всякий раз находил способы отводить их. Последние по времени доносы 1707 г. исходили от генерального судьи Кочубей и полтавского полковника Искры. Оба они располагали достоверными сведениями о предательских связях Мазепы с Карлом XII и Станиславом Лещинским. И оба в одно мгновение из обвинителей превратились в обвиняемых. Этой метаморфозе способствовали Меншиков и Головин, убедившие царя в невиновности гетмана и необходимости сурово наказать клеветников. Меншикову Мазепа писал: «Известую вашей княжой светлости, что Кочубей исконной мой есть враг» и много раз сочинял «на мене пашквильные подметные письма». Искра тоже «завзял на мене вражду и злобу». Письмо заканчивалось просьбой выдать ему доносителей, уже находившихся под стражей и подвергнувшихся пыткам¹⁵.

Своего Мазепа достиг — Кочубей и Искра были ему выданы с царским повелением казнить их. 14 июля 1708 г. гетман торжествовал победу: его разоблачение не состоялось, Кочубей и Искра были казнены. Более того: гетман получил царскую грамоту с обещанием не оставить без милости «непоколебимую верность» и его обязательство не верить «никаким клеветникам, которой бы дерзнул что на вас противное нам, великому государю, доносить».

Но «верный подданный», как называл Петр гетмана, давно решил переметнуться к шведам и лишь ждал удобного момента, чтобы совершить предательский шаг. О своем намерении Мазепа сообщил узкому кругу приближенных, которым, впрочем, полностью не доверял. «Смотри, Орлик, — говорил он, обращаясь к войсковому писарю, — додержи мне верность! Ведаешь ты, в какой я у царского величества милости, не променяют там меня за тебя. Я богат, а ты беден, а Москва гроши любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь»¹⁶.

Развязка наступила в октябре 1708 г., причем ускорил ее приближение не кто иной, как Меншиков. Светлейший пригласил гетмана для обсуждения плана совместных действий против неприятеля. Гетман заподозрил неладное: князю, подумал он, наверное, что-то известно о заговоре. Страх за жизнь вынудил Мазепу сказаться тяжелобольным. Послал к Меншикову своего племянника Войнаровского с письмом, что готовится к соборованию. Меншиков извещает об этом Петра: «И сия об нем ведомость зело меня опечалила, первое, тем, что не получил его видеть, которой зело мне был здесь нужен, другое, такова доброго человека, ежели от болезни ево бог не облечит»¹⁷.

Мазепа в нерешительности. Настал ли тот час, когда надо действовать? «Послать к королю или нет? — спрашивает он сообщников. — Как же не посылать, давно пора, не надобно откладывать»¹⁸.

Мазепа принял роковое для себя решение после того, как прискакавший Войнаровский сообщил о намерении Меншикова прибыть в Борзну, чтобы проститься со смертельно больным. «Больной» гетман садится на коня и в окружении сообщников скачет в Батурин, затем в Короп, наконец, переправляется через Десну и встречается с шведским отрядом.

Опасения Мазепы, что Меншикову что-то известно и он едет в Борзну, чтобы заковать его в цепи, оказались напрасными — не выдержали нервы предателя.

Меншиков приезжает в Борзну, но гетмана там нет. Отправляется по его следам в Батурин, но и оттуда гетман успел отбыть. Подозрения укрепились после захвата гонца прилуцкого полковника Дмитрия Горленка. Сообщник Мазепы извещал адресата: 24 октября «мы с ясновельможным добродетелем нашим паном гетманом» соединились со шведами. Светлейший срочно доносит царю: «И тако об нем инако разсуждать не извольте, только что совершенно изменил».

Новость потрясла царя. Он и не скрывал этого в ответе Меншикову: «Письмо ваше о нечаянном никогда злом случае измены гетманской мы получили с великим удивлением»¹⁹. После того как измена Мазепы стала установленным фактом, главное внимание воевавших сторон в течение нескольких дней было приковано к Батуруну. Именно туда, в свою резиденцию, гетман свез вдосталь то, в чем крайне нуждались шведы. Об этом Мазепа не преминул сообщить шведскому королю, и тот был полон желания овладеть городом, а вкупе с ним и всем добром.

Ключевое значение Батурина понимал и Петр. Если запасы попадут к неприятелю, то он станет намного сильнее и обстановка на Украине осложнится настолько, что поставит под угрозу успех всей кампании. Кто раньше проникнет в Батурин, тот окажется в выигрыше, стоившем и риска, и перенапряжения сил. Именно поэтому к Батуруну одновременно спешили шведы с мазепинцами и русские войска. Время исчислялось не сутками, а часами.

Операцию по овладению Батурином Петр поручил Меншикову. Задание было трудным и опасным, и царь не был уверен, что Меншиков с

ним справиться. Дело в том, что русским войскам не удалось преградить шведам путь через Десну. 31 октября Петр пишет Меншикову: «Неприятель, пришед, стал у реки на Батурином тракте и для того изволь не мешкать». Записка царя от 1 ноября: «Объявляем вам, что нерадением генерала маеора Гордона шведы перешли сюды. И того ради извольте быть опасны, понеже мы будем отступать к Глухову. Того ради, ежели сей ночи к утру или поутру совершить возможно, с помощью божиею, оканчивайте. Ежели же невозможно, то лутче покинуть, ибо неприятель переберетца в четырех милях от Батурина»²⁰. На следующий день — новое повеление царя, вызванное полученным им известием, что шведы замедлили свое движение к Батурину: «Сей день и будущая ночь вам еще возможно трудитца там, а далее завтрашнего утра (ежели чего не зделано) бавитца (пробывать. — Н. П.) вам там опасно».

Пока гонцы доставляли Меншикову царские письма с предостережениями, нужда светлейшего в них отпала — он к тому времени уже овладел Батурином.

Меншиков пришел к Батурину 31 октября. Ворота крепости оказались запертыми и засыпанными землей, а гарнизон во главе с комендантом Чечелем, преданнейшим сторонником Мазепы, изготовился для отражения нападения. Князь послал парламентаря, но Чечель заявил, что он не верит в измену Мазепы. Затем осажденные заявили, что они убедились в измене гетмана, но попросили три дня на размышление. Меншиков понял, что Чепель тянет время, что Мазепа велел ему во что бы то ни стало продержаться до подхода шведов. Утром 2 ноября русские войска штурмом овладели городом. Все, что можно было вывезти из Батурина, Меншиков захватил с собой, а все остальное сжег или разрушил.

Петр получил известие об успешных действиях Меншикова в тот же день и отправил ему поздравление: «Сего моменту получил я вание зело радостное писание, за которое вам зело благодарны, паче же Бог мздовоздатель будет вам»²¹. Благодарность и надежду на «Бога-мздовоздателя» царь подкрепил реальной наградой: он пожаловал князю принадлежавшее Мазепе село Ивановское с деревнями.

Известие о разгроме Батурина привело изменника в уныние. «Злые и нещастливые наши початки», — произнес он, узнав, что от его резиденции остался пепел.

Не оправдались надежды Мазепы и на то, что его призывы к украинскому народу встать под знамена шведского короля будут иметь успех. Обманом удалось привести в стан Карла XII 3 — 4 тыс. казаков, большинство из которых покинуло Мазепу, как только им стали ясны его изменнические планы. Украинский народ оставался верным союзу с братским русским народом и оказывал всемерную помощь армии в борьбе с общим неприятелем.

По обычаю тех времен зимой интенсивность военных действий ослабевала. Петр в феврале 1709 г. отправился в Воронеж, оставив Аниките Ивановичу Репнину, Борису Петровичу Шереметеву и Александру Дани-

ловичу Меншикову указ, «что без меня чинить». Генералы должны были наносить урон неприятелю нападениями небольших отрядов, следовать за ним, «как близко возможно», и всячески препятствовать движению Карла XII к Днепру и в Польшу для соединения с находившимися там шведскими войсками и польскими отрядами Станислава Лещинского²².

Меншиков в эти месяцы находился при армии за исключением кратковременного пребывания в Воронеже. Крупных сражений не было, но Меншиков, выполняя повеление Петра, неотступно следовал за неприятелем. А тот в поисках винтер-квартир и продовольствия в небывало лютые для этих мест морозы петлял по заснеженным степям, отбиваясь от лихих налетов армейских отрядов и украинских партизан. Война приобрела народный характер, и в ставку Меншикова и других генералов поступали сведения то о пленении шведских фуражиров, то о захвате обоза, то о героическом сопротивлении населения попыткам шведов проникнуть в город или местечко.

В нашем распоряжении нет прямых свидетельств о личном участии Меншикова в многочисленных переделках, то и дело происходивших на театре войны, но беспокойство, постоянно проявляемое супругой Данилыча о его судьбе, указывает на опасности, которым он подвергался. Заметим, кстати, что семейные дела князя сложились на редкость удачно — Дарья Михайловна оказалась заботливой и нежной женой. Меншиков тоже проявлял к ней предупредительность и внимание. Огорчала лишь необходимость находиться, как тогда говорили, в разлучении — супругу в походах, будничных стычках с неприятелем, а впечатлительной Дарье Михайловне хотя и в безопасном расстоянии от театра военных действий, но в постоянных переживаниях за своего Данилыча, жизнь которого в любой момент могла прервать шальная пуля. Переписка супругов первой половины 1709 г. дает немало примеров стремления сохранить спокойствие друг друга, ради которого оба прибегали к обману, к «святой» лжи.

В январе 1709 г. Меншикову стало известно, что супруга, будучи на сносях, нервничает и близко воспринимает слухи о его неосторожности. Светлейший обращается к ее сестре Варваре Михайловне: «Уведомился я от Антона (Девиера. — Н. П.), что вы печалуетесь, что вам не надлежало бы делать, а надобно скакать да плясать и княгиню забавлять, дабы не печалилась. И печалиться вам не о чем, понеже за помощью божиею и за вашими молитвами в добром обретаемся мы здравии и, чаю, к вам вскоре буду». Из письма князя от 12 марта 1709 г.: «Ежели услышу, что ты будешь печалиться, то какая и мне в то время будет радость? А буде ты не будешь печалиться, то и мне будет веселее».

В начале июня Дарья Михайловна заболела, но факт этот скрыла от супруга. Меншиков пишет ей: «Прежде сего сами вы говорили, что я к вам о своем состоянии подлинно не пишу и не даю о том знать; а ныне, как я вижу, что и вы подлинно нас не уведомляете и в письмах пишете, что слава Богу здоровы»²³.

В феврале 1709 г. Дарья Михайловна родила сына, которого Петр как крестный отец назвал двойным именем — Лука-Петр. Царь «яко крестнику своему» отвалил Луке-Петру щедрый подарок — 100 дворов. «А где, то даю на вашу волю, где вам понадобится», — писал он Меншикову, предоставляя ему право самому выбирать уезд и деревню со 100 дворами.

Данилыч, однако, не удовлетворился даянием. Петру он сообщил, что деревни в 100 дворов не изыскал, а сыскал деревню в 150 дворов, и просил удержать с него деньги за лишних 50 дворов. От царя получил ответ, на который и рассчитывал: «О деревне будь по вашему прошению, а вычту в те поры, когда Бог даст вам другого сына»²⁴.

Номинальным главнокомандующим русскими войсками в предполтавский период числился фельдмаршал Шереметев. Фактически распоряжался армией Петр, а в его отсутствие — Меншиков. О талантах Меншикова-стратега трудно что-либо сказать, ибо стратегию войны в конечном счете определял сам царь единолично или на так называемых «конзилиях» — военных советах. На них обсуждались общие и частные планы военных операций. Последнее слово, однако, принадлежало царю.

Что касается тактических дарований Меншикова, то источники зарегистрировали немало следов их проявления. Светлейший либо подсказывал Петру решение, либо предвосхищал его распоряжения. Царь, находясь в Воронеже, велит Меншикову «левую руку у неприятеля брать», т. е. расположить войско так, чтобы лишить шведов контактов с крымскими татарами и турками. Меншиков отвечал: «У нас полки разставлены еще до того вашего письма левою стороною до самого Перекопу»²⁵.

Получив известие об осаде Полтавы, Петр отправил указ Меншикову, чтобы тот совершил нападение на Опошню. Цель диверсии — привлечь внимание неприятеля к Опошне, с тем чтобы оказать помощь гарнизону осажденной Полтавы. Письмо было написано Петром 9 мая, а Меншиков сделал то, что требовал царь, еще 7 мая.

Меншиков не упустил случая оказать осажденному гарнизону непосредственную помощь — в ночь на 15 мая в город прибыло пополнение. Под покровом темноты отряд в 900 человек пробрался через кустарник, переправился через болота и доставил в город свинец и порох. В составе «сикурса», несомненно, укрепившего силы обороняющихся, находился бригадир Головин, женатый на сестре Меншикова Марье. С этим Головиным стряслась беда на следующий же день. Он возглавил отряд, совершивший вылазку из крепости, и попал в плен, так как под ним убили лошадь. В письме супруге по поводу этого несчастья светлейший проявил трогательную заботу о сестре. Он просил обнадежить ее, «что вскоре такой случай получим оного освободить и обменять», а затем рекомендовал исподволь («по малому скажите») подготовить сестру к восприятию огорчительных известий. Через три дня еще одно проявление заботы. «Також извольте, — пишет князь Дарье Михайловне, — сестре моей Марье на расход выдать денег ста два, понеже ведаю, что не без нужды есть»²⁶.

20 июня русские войска переправились через Ворсклу и начали подготовку к генеральной баталии. Меншиков изо дня в день утешает супругу: «Опасности никакой нет, и в оной не бываем»; в самый канун Полтавской битвы: «Впрочем, у нас, за Божиею помощью, благополучно, и опасности никакой нет, понеже все стоим на одном месте, и наша армия вся здесь в совокупении»²⁷.

Знаменитая Полтавская битва началась на рассвете 27 июня. Немалая заслуга в разгроме шведов принадлежала Меншикову. Это он лишил шведского короля одного из важнейших преимуществ — внезапности атаки и своевременно известил царя о начале движения неприятеля на русский лагерь.

План шведского короля состоял в том, чтобы пехота, предводительствуемая Левенгауптом, овладела русскими редутами. Завершить дело на начальном этапе сражения король поручил коннице: ей надлежало, двигаясь между редутами, разгромить русскую кавалерию и завладеть пушками. В заключительной фазе сражения пехота и конница, соединившись в тылу редутов, должны были нанести удар по основным силам русской армии. Такова была диспозиция Карла XII. Действительность опрокинула планы короля, и сражение протекало не в соответствии с его волей, а по воле Петра. Шведской пехоте удалось овладеть лишь двумя недостроенными редутами поперечной линии. Среди атаковавших уже раздавались радостные возгласы: «Победа! Победа!»

Радость, однако, была преждевременной: как только неприятельская пехота приблизилась к редутам, она оказалась под губительным огнем артиллерии, расстреливавшей ее в упор и с флангов. Часть шведов была отрезана от основных сил и в беспорядке отошла в лес.

Между тем основные силы Карла XII, неся огромные потери, продолжали попытку пробиться сквозь редуты. В сражение вступила кавалерия, предводительствуемая Меншиковым. Он вынудил к сдаче шведские батальоны, отступившие в лес. Вслед за тем Меншиков атаковал резервный корпус и почти полностью уничтожил его. Под князем были убиты две лошади.

Началось генеральное сражение. Шведы ввели в бой все свои силы. Кавалеристы Меншикова вновь одержали верх над шведской конницей, обратив ее в бегство. Князь в гуще битвы — сраженная пулей, под ним пала третья лошадь.

Судьба генеральной баталии была решена за два с половиной часа. Поле под стенами Полтавы было усеяно шведскими трупами — позже их насчитали свыше 8 тысяч. Началось бегство неприятеля.

В связи с битвой 27 июня 1709 г. уместно напомнить об одной любопытной детали. Полтавская победа принесла царю несколько приятных неожиданностей: неожиданным был сокрушительный разгром неприятельских войск; неожиданными были малые потери русских: наконец, неожиданным было участие в сражении лишь трети русской армии, сосредоточенной у стен Полтавы. Все эти неожиданности на несколько

часов парализовали энергию Петра, перенесшего накануне огромную нервную нагрузку. В итоге преследование в панике бежавших шведов началось не спустя несколько часов, требовавшихся для того, чтобы привести конницу в боевой порядок, нарушенный сражением, а лишь к вечеру, когда в погоню были отправлены драгуны и пехота князя Михаила Михайловича Голицына и генерала Боура. Позже во главе преследователей встал Меншиков.

Деталей того, как протекало преследование, мы не знаем. В распоряжении историков на этот счет имеется лишь два документа, исходивших от Меншикова. Оба они близки по содержанию и крайне скупо отразили происшедшее.

29 июня Александр Данилович извещал супругу: «О себе доношу, что сего часу прибыли мы с кавалериею в Кобыляк в добром здоровье и речку Кобылячку переправляемся, где от неприятеля с нашими была и стрельба небольшая — не хотели наших перепустить. Однако же мы за божией помощью чюд не все перебрались и как перебрались, то з божиею помощию следовать будем, чтоб не перепустить их за Днепр».

Донесение царю, отправленное одновременно в 8 час. утра, дословно повторяет письмо к Дарье Михайловне, но содержит одну дополнительную фразу: «Король ныне ночевал в Кобыляке и ис Кобыляка пошел и спрашивал разных дорог за Днепр»²⁴.

Из текстов явствует, что шведы бежали без оглядки, показывая преследователям спины. Лишь единственный раз они отважились повернуться к ним лицом, пытаясь воспрепятствовать их переправе через речку Кобылячку, но робкое сопротивление тут же было сломлено.

30 июня шведы достигли Днепра у Переволочны. Спасение — на противоположном берегу реки, но лихорадочные поиски средств переправы не увенчались успехом: с трудом удалось обнаружить лишь несколько лодок. На них погрузили Карла XII и его охрану. Король, оставив командование генералу Левенгаупту, отправился искать убежище в турецких владениях. Чуть раньше переправился через Днепр и Мазепа.

Три часа спустя после бегства короля к Переволочне подоспела конница Меншикова. В общей сложности в его распоряжении находилось 9 тыс. человек, в то время как Левенгаупт располагал 16 тыс. Превосходство в численности неприятельских войск не смутило князя. Он знал, что перед ним стояла армия, деморализованная поражением под Полтавой и утомленная трехдневным бегством. Знал он также, что шведы не располагали ни артиллерией, ни порохом, ни запасами продовольствия и фуража. Все это, вместе взятое, и дало ему основание потребовать от Левенгаупта немедленной капитуляции. После продолжительных совещаний с офицерами Левенгаупт решил сдаться.

Перед нами письмо, отправленное Меншиковым супруге сразу же после капитуляции. Дарье Михайловне он сообщал, что «бегучаго от нас неприятеля здесь мы сего числа настигли и только что сам король и с изменником Мазепою в малых людех уходом спаслись, а достальных шве-

дов всех живьем на окорд в полон побрали, которых будет числом около десяти тысяч, между которыми генерал Левенгоупт и генерал-майор Крейц. Пушки, всю амуницию тоже взяли»²⁹.

В приведенном отрывке все соответствует истине за исключением одной детали: пленено было не «около десяти тысяч», как сообщал Меншиков, а 16 275 человек. Напомним, что в распоряжении князя находилось 9 тыс. солдат и офицеров, т. е. почти в два раза меньше.

Это письмо прежде всего подтверждает удачный выбор царя. Петр правильно учел свойства характера Меншикова, которому в известной мере были свойственны и невероятная напористость, и способность действовать очертя голову. Именно так и надо было поступить с деморализованным противником. Расчетливость Шереметева и осторожность Боура вряд ли могли быть полезными в той ситуации.

В связи с приведенной цифрой приходит на ум и другое: неизвестно, проявил бы светлейший столько напористости в требовании капитулировать, если бы знал подлинную численность шведов. Трофеями русских войск оказалось все оружие, снаряжение, артиллерия, 400 тыс. руб. в шведской казне и 4300 руб. — в мазепинской. Все, что шведы награбили за девять лет непрерывных побед в Польше, Курляндии и Саксонии, попало к русским. Среди пленных — рижский генерал-губернатор Левенгаупт, генералы Крейц, Круз, графы Дугласы и другие высшие офицеры. Среди освобожденных — сотни русских пленных, и в их числе бригадир Головин. Армия, силами которой Карл намеревался покорить Россию и разделить ее на княжества, перестала существовать.

Переволочна добавила к полтавской славе Меншикова новые лавры.

После Полтавы Петр раздает награды: графа Гавриила Ивановича Головкина он возвел в канцлеры, Петра Павловича Шафирова — в вице-канцлеры, Репнину, Брюсу и другим генералам пожаловал орден св. Андрея Первозванного, генерал-лейтенантам Голицыну и Боуру — деревни. Многие генералы и офицеры получили повышение в чинах. Но все эти награды не шли ни в какое сравнение с тем, как были отмечены заслуги Меншикова. Светлейшего царь пожаловал чином второго фельдмаршала (первым был Шереметев), а также городами Почеп и Ямполь. И без того уже огромные владения князя увеличились на 43 362 души мужского пола. По числу крепостных он стал вторым после царя душевладельцем России.

Этим наградам Меншиков обязан был прежде всего своей близостью к царю. Справедливости ради должно отметить, что все самые яркие страницы истории Северной войны в предполтавский и полтавский периоды написаны при активнейшем участии Меншикова: Калиш, Батурин, Полтава, Переволочна. Никого из соратников Петра нельзя поставить на одну доску со светлейшим по вкладу, лично внесенному в разгром шведов.

«Преславная виктория» под Полтавой коренным образом изменила внешнеполитическое положение России, и Петр отправляется в Европу, чтобы пожать дипломатические плоды победы русского оружия. Меншикова он отправляет в Польшу против войск Станислава Лещинского и

шведского генерала Крассау. Однако шведы сами поспешно удалились в Померанию, а Станислав Лещинский, лишившийся их вооруженной поддержки, бежал из Польши. Петру князь доносил 29 сентября: «Понеже пишет к нам господин отъютант Ушаков, что неприятель ушел к Померании, настичь его невозможно, того ради мы поход свой оставили»³⁰.

Распорядившись о расквартировании войск в Польше, Меншиков отправляется в Москву для участия в грандиозном параде победителей. Но накануне отъезда у него произошло крупное столкновение с подчиненным ему генералом Гольцем. Оно заслуживает внимания главным образом потому, что отражает некоторые черты характера князя, развивавшиеся по мере получения им новых чинов и укрепления дружбы с царем.

Еще в 1705 г. английский посол Витворт доносил своему правительству о Меншикове, что в России «ничто не делается без его согласия, хотя он, напротив, часто распоряжается без ведома царя в полной уверенности, что его распоряжения будут утверждены»³¹. Пять лет спустя датский посол Юст Юль записал в дневнике слова, будто бы произнесенные Петром: «Без меня князь может делать, что ему угодно; я же без князя ничего не сделаю и не решу»³².

В этом свидетельстве Юста Юля столько же истины, сколько и преувеличения. Сомнительно, чтобы Петр без совета Меншикова не принимал решений. Но бесспорно, что князь если и не делал все, «что ему угодно», то позволял себе очень многое, в частности распоряжался именем царя, ставя его лишь в известность о своих повелениях, а иногда не считал это необходимым. Властный и самолюбивый, он не терпел возражений и был неразборчивым в средствах, чтобы стереть всякого, кто пытался ему перечить.

Не меньше, чем самолюбием, светлейший был наделен высокомерием. Быть может, высокомерие на первых порах являлось своего рода защитной маской, часто используемой князем в общении с «породными» людьми, в глубине презиравшими выскочку, которым он платил той же монетой. Но с таким же основанием истоки высокомерия следует искать в ненасытном честолюбии князя, безотказно удовлетворяемом царем.

Неприятельные отношения светлейшего с Гольцем, видимо, имели давнюю историю, но в 1709 г. они достигли кульминации. Гнев Меншикова вызвала то ли нерасторопность Гольца, то ли преднамеренное нежелание выполнять распоряжение князя, выходявшее, как ему представлялось, за пределы служебных обязанностей, — он не выделил охраны для сопровождения княгини Дарьи Михайловны и царевича Алексея из Кракова в Ярославль. В результате путешественник и путешественница едва не попали в неприятельские руки. Гольц еще раз ослушался Меншикова и, сказавшись больным, не приехал по его вызову. Во время судебного разбирательства Гольц проиграл процесс. Ему пришлось признать себя виновным в том, что царевич Алексей и княгиня Меншикова едва не попали в плен, винуясь и в презрении указов «командующего фельдмаршала» Меншикова.

В истории с Гольцем Меншиков выглядел человеком, который не прощает неповиновения и пренебрежения к себе. Совершенно очевидно, что он добивался применения к Гольцу самой суровой меры наказания. Царь не пошел на поводу у своего фаворита прежде всего потому, чтобы за границей не сложилось мнения о неуважительном отношении в России к иноземным специалистам.

Менее суровым Меншиков выглядел в отношениях с подчиненными и вельможами, которые в отличие от Винуса не соперничали с ним в фаворе или не выказывали к нему, подобно Гольцу, пренебрежения. К подчиненным, безропотно выполнявшим его волю, князь проявлял снисходительность, даже если те ошибались, и готов был взять их под защиту, если кто-либо притеснял их в такой степени, что наносил ущерб его престижу.

У Меншикова была огромная армия подчиненных, подвизавшихся как на гражданской, так и на военной службе: чиновники губернской канцелярии и Военной коллегии, многочисленные коменданты воинских гарнизонов, многочисленный штат адъютантов, положенных ему как фельдмаршалу. В 1717 г., например, в его свите значилось 47 человек, в том числе 6 генерал-адъютантов, 3 адъютанта, 5 поручиков, 12 прапорщиков и 19 денщиков. Источники проливают свет на отношения, сложившиеся между ним и его адъютантами.

В конце 1717-го или в начале 1718 г. адъютант Степан Нестеров был отправлен в Москву, судя по всему, с весьма важными поручениями. Но, прибыв в Москву, он хранил гробовое молчание. Можно было ожидать, что у Меншикова иссякнет терпение и он отправит адъютанту гневное письмо. Но князь, когда это было необходимо, умел сдерживать эмоции и в письме от 16 января 1718 г. ограничился «отеческим» внушением: «Зело удивляюся, что так вы чините, ибо уже чрез сколько почт писем от вас не имеем, чего никогда не сподевали. Того для через сие предлагаю, дабы вы впредь по вся почты к нам писали, через которые о всех тамошних обращениях уведомляйте»³³.

Нестеров, видимо, исправил оплошность, во всяком случае, в последующих письмах нет никаких следов недовольства.

Нечто схожее с поступком Нестерова совершил прапорщик Полочанов, отправленный в неизвестный нам пункт с каким-то поручением. Он получил следующее послание Меншикова от 30 января 1718 г.: «Вашей самой неосмотрительной простоте зело я удивляюся, что за чем вы посланы, отвезли ль, не токмо обстоятельно, но ни малого и по се время уведомления нам, о чем хотя от нас вам и подтверждением предложено, не получили и пребываете так безгласны, якобы подлые и весьма несмысленные».

Сколь важные новости ждали от прапорщика в канцелярии Меншикова; свидетельствует тот факт, что спустя три дня в его адрес было отправлено новое письмо. Оно в основном повторяло содержание первого, в нем тоже отсутствовали угрозы применить репрессии.

Бывали, однако, случаи, когда Меншиков распекал провинившихся без всякого снисхождения. В качестве примера приведем случай с комис-

саром Руниным, заведовавшим почтой в Нарве и по каким-то соображениям осмелившимся задержать ревелские и нарвские письма, адресованные Меншикову. Вызывающее поведение Рунина возбудило нескрываемое раздражение, и каждая строка письма незадачливому комиссару дышала гневом: «Зело удивляюсь вашему безумию, что вы для своих безделиц посланным с нужными от нарвского коменданта господина Сухотина к нам письмами на почтовых станах ведения своего подвод не даете и пакетов принимать не велите, и прочие противности и непослушания чините, в чем на вас как от него, коменданта, так и от иных многих персон многие приходят жалобы». Это письмо Меншикова было отправлено 12 апреля 1718 г. и, как следует из дальнейшего, не оказалось на Рунина должного воздействия. Под влиянием новой жалобы Сухотина Меншиков две недели спустя отправил еще одно послание с более сильными выражениями: «Мы надеялись, что вы по тому нашему предложению свою злополучную гордость и бездушные поступки уже весьма отложите», но оказалось, что вы «прежние свои злогордостные паче ж бездельные еще поступки продолжаете». Разгневанный губернатор и фельдмаршал мог бы отстранить зарвавшегося комиссара от должности, но ограничился лишь требованием прислать объяснительную записку³⁴.

Рунин для Меншикова был чужим человеком. К «своим людям» князь относился куда благосклоннее, причем, проявляя заботу о них, он руководствовался отнюдь не альтруистическими побуждениями. «Своих» он опекал, протезировал им при назначениях на должности в правительственные учреждения всех уровней, следил за продвижением по службе. Те, обязанные ему карьерой, готовы были всегда, как тогда говорили, «отслужить» своему патрону.

19 декабря 1709 г. москвичи стали свидетелями грандиозного парада победителей. В нем участвовал и Меншиков, ехавший чуть сзади Петра. На следующий день была разыграна сцена доклада князю-кесарю Ромодановскому главных участников победоносного сражения — Петра, Меншикова, Шереметева. Меншиков доложил: «Божией милостию и вашею кесарского величества счастием взял я в плен ушедших с Полтавского сражения под Переволочну генерала и рижского губернатора графа Левенгаупта... и 16 275 человек»³⁵.

В начале апреля 1710 г. Меншиков вновь на театре войны. Операции развернулись в Прибалтике, там русские в течение года овладели важнейшими крепостями Эстляндии и Лифляндии. Меншиков участвовал в осаде Риги. Царь был недоволен действиями Шереметева, не обеспечившего полной блокады Риги, и отправил туда князя в полной уверенности, что тот сделает все, чтобы изолировать крепость от внешнего мира и принудить гарнизон к сдаче. Меншиков распорядился перекинуть через реку бревна и цепи, поставить в надлежащих местах пушки, чем лишил шведские корабли возможности доставить гарнизону продовольствие и подкрепления. Все было готово к штурму, но началось «моровое поветрие» (чума), сильно опустошившее ряды осаждавших, и активные действия пришлось отложить.

УДАЧИ И ПРОМАХИ В ПОМЕРАНИИ

Светлейший возвращается в Петербург, где в качестве губернатора продолжает руководить застройкой города. Петр признавал заслуги Меншикова в благоустройстве будущей столицы. В одном из писем этого года, отправленном из Петербурга, царь писал: «...желаю, дабы господь Бог ваше дело как наискоряя управил, и вас бы нам здесь видеть, дабы и вы красоту сего Парадиза (в котором добрым участником трудов был и есть) в заплату трудов своих, с нами купно причастником был, чего от сердца желаю. Ибо сие место истинно, как изрядный младенец, что день, преимуществует»¹.

К своему детищу — Петербургу Петр был неравнодушен, и оценку его внешнего облика он явно преувеличивал. Судя по описанию города, составленному в 1710 — 1711 гг., он еще не приобрел облика, позже вызывавшего хвалебные отзывы современников. Будущая столица в это время не имела ни одного монументального здания, город застраивался стихийно, на скорую руку возводились невзрачные деревянные дома, в которых ютились мастеровые люди. Даже дворцы вельмож, в том числе и губернатора Меншикова, были деревянными. Все, что приводило в восторг людей, обозревавших столицу империи в конце жизни Петра, — прямые улицы, вымощенные камнем, аллеи вдоль улиц, освещаемых фонарями, кирпичные дворцы Меншикова, Апраксина, Головкина, Летний дворец Петра и изумительный по красоте Летний сад, собор Петра и Павла, здания Кунсткамеры и Двенадцати коллегий — возникло много позже. Но и тогда, в 1710 — 1711 гг., вызывала удивление быстрота возведения на пустынном и заболоченном месте города с 750 — 800 дворами, грандиозным Адмиралтейством, со стапелей которого спускали полностью оснащенные и вооруженные корабли.

Десятки тысяч людей в невероятно тяжелых условиях изо дня в день вколачивали сваи, обжигали кирпич, валили деревья, возводили правительственные здания, спрямляли притоки Невы, засыпали землей низины. Застройка Парадиза велась под постоянным надзором царя. Но Петр

бывал в Петербурге наездами, неотложные дела требовали его присутствия в военных походах, на переговорах с союзниками, в Москве, где пока еще находились правительственные учреждения. В его отсутствие главным распорядителем строительных работ в Петербурге становился губернатор Меншиков.

В середине января 1711 г. Петр отправляется в Москву для подготовки похода против Турции. Остававшемуся в Петербурге Меншикову царь составил инструкцию «Что надлежит делать по отъезде нашем». Поручения касались завершения строительства Летнего дворца, заложенного в августе 1710 г., и сооружения Зимнего и других дворцов в окрестностях Петербурга. Позже эту инструкцию Петр дополнил новыми заданиями — построить амбары в Адмиралтействе, следить за сооружением кораблей и благоустройством города, организовать заготовку провианта. Губернатору предоставлялась широкая инициатива, «понеже, — как писал Петр, — нам ныне за нынешнюю настоящую войною всех дел правильно определить было невозможно»².

Забот в зимние месяцы у Петра действительно было много: надлежало укомплектовать армию, отправляющуюся к турецким границам; пополнить рекрутами гарнизоны прибалтийских крепостей, ослабленных выводом из них войск, предназначавшихся для похода; организовать снабжение снаряжением и вооружением. Все эти хлопоты настолько занимали царя, что он не находил времени, чтобы черкнуть несколько строк Данилычу. Тот регулярно отправлял Петру письма и донесения, а Петр отвечал одним на пять полученных. «Впрочем, прошу, чтоб не оскорблялися вы, что не часто пишу: истинно несказанная суета и для неисправностей здешних печаль».

В «неисправностях», приведивших Петра в «печаль», видимо, недостатка не было. Одной из них он поделился с Меншиковым. «А ныне Бог ведает, в какой печали пребываю, ибо губернаторы зело раку последуют в происхождении своих дел, которым последний срок в четверг по первой неделе, а потом буду не словом, но руками со оными поступать» — так царь выразил свое отношение к нерасторопности губернаторов, задерживавших поставку рекрутов. Характерно, что ни к кому из своих сотрудников царь не обращался с письмами, в которых он доверял бы тайну своих переживаний и душевного состояния.

Ничто не предвещало размолвки. Меншиков и царь обменивались подарками. Петр благодарит князя за какой-то презент и, в свою очередь, сам поздравляет с рождением второго сына и одаривает новорожденного: «Посылаю сыну вашему материю на шлапрок, а понеже он еще мал, то вы вместо его изнесите»³.

6 марта 1711 г. царь выехал из Преображенского в Москву, чтобы оттуда отправиться к армии. В этот день он написал Меншикову два письма. Одно из них столь же доброжелательное, проникнутое вниманием и заботой о князе, как и предшествующие письма. Другое выражало недовольство: как только Петр оказался в Москве, к нему обратился прибыв-

ший незадолго до этого польский посол Волович. От имени вдовы великого гетмана литовского Григория Огинского, преданнейшего сторонника сближения Польши с Россией, он подал жалобу на Меншикова, который в бытность свою в Польше в 1709 г., воспользовавшись финансовыми затруднениями гетмана, купил у него за бесценок староство Езерское.

Ссора со сторонниками России в Польше противоречила внешнеполитическим интересам русского правительства, и царь велел Меншикову немедленно возвратить староство вдове. Письмо царя к князю содержит внушение: «И николи б я того от вас не чаял, хотя б какой и долг на них был».

В пути Петру довелось выслушать новые жалобы жертв княжеского стяжания и произвола. Если в первом письме царь лишь слегка пожурил своего фаворита, то в письме, отправленном 11 марта, звучат нотки раздражения, недовольства и даже угрозы: «В чем зело прошу, чтоб вы такими малыми прибытки не потеряли своей славы и кредиту. Прошу вас не оскорбитца о том, ибо первая брань лутче последней, а мне, будучи в таких печалех, уже пришло до себя и не буду желеть никого».

Меншиков не отпирался, но считал инцидент не заслуживающим внимания, сущей безделицей. Петр, однако, придерживался диаметрально противоположного мнения: «А что, ваша милость, пишешь о сих грабежах, что безделица, и то не есть безделица, ибо интерес тем теряетца во озлоблении жителей; бог знает, каково здесь от того, а нам жадного прибытку нет»⁴.

У Меншикова перед царем была заступница — Екатерина Алексеевна, сопровождавшая царя в Прутском походе. «И доношу вашей светлости, — писала Екатерина князю в первой половине мая, — дабы вы не изволили печалитца и верить бездельным словам, ежели с стороны здешней будут происходить, ибо господин шаутбейнахт по-прежнему в своей милости и любви вас содержит»⁵. Екатерина не лукавила. Понадобилось меньше месяца, чтобы прежние отношения между Петром и его фаворитом восстановились. В письме от 9 апреля Петр уведомил корреспондента в Петербурге, что он тяжело болел «скорбью такую, какой болезни отроду мне не бывало», что «весьма жить отчаялся», но дело пошло на поправку, и он учится ходить. Меншиков отвечал: «Об оной вашей болезни весьма мню, что не от иного чего, но токмо от бывших трудов вам приключилось, и того ради прилежно прошу, дабы изволили себя в том хранить». Захворал и светлейший, хотя и обладал завидным здоровьем. В июле он сообщил царю, что «в полторы сутки за десять фунтов крови ртом вышло»⁶. Это был, видимо, первый серьезный приступ хронической болезни легких, с которой на этот раз могучему организму светлейшего удалось справиться.

Заступничество Екатерины сыграло свою роль. Но и сам Меншиков принимал меры, чтобы потрафить царю. Он известил Петра, что к дню его именин, отмечаемому 29 июня, заготовил подарок — фрегат «Самсон», купленный им за границей. Подарок, как говорится, пришелся ко двору — Петр после Полтавы считал пополнение Балтийского флота крупными

кораблями важнейшей задачей и главным средством принудить Швецию к миру. «Самсон» был первым кораблем, купленным за границей, и открывал серию приобретений военно-морских судов в Англии и Голландии.

Оценить качество подарка Петр тогда, разумеется, не мог, он находился в походе, но в апреле следующего года, будучи на борту «Самсона», писал светлейшему: «При сем пили за здоровье, кто сей корабль подарил, понеже zelo хорош на ходу»⁷.

Прутский поход, как известно, закончился неудачно. Россия должна была вернуть Азов и оставить Таганрог. Тем самым Азовский флот лишился гаваней.

С берегов реки Прут Петр отправляется за границу, где принимает воды в Карлсбаде, участвует в свадебных торжествах своего сына, встречается с иностранными государями. Поздней осенью 1711 г. он возвращается в Россию. Сведения о взаимоотношениях Петра и Меншикова этого времени дают основание оценить происшедшую размолвку как всего лишь досадный эпизод, следы которого тут же исчезли. Во всяком случае, Петр не скупился на похвалы князю за его усердие в строительстве Петербурга.

Меншиков в эти годы являлся не только петербургским губернатором, но и руководителем канцелярии городских дел, в ведении которой находилась застройка Петербурга, Шлиссельбурга, Кронштадта и Петергофа. Знакомство Петра с результатами деятельности Александра Даниловича в качестве градостроителя вызвало у него чувство удовлетворения. «Благодарствую вашей милости за все труды ваши, как для охранения тамошних краев, так и за строение», — писал царь 28 сентября 1711 г.⁸ Спустя полтора месяца, 3 ноября, Петр проявил заботу о светлейшем. Из Эльбинга он писал ему: «О протчем не имею что ответствовать, только дай Боже вас здоровых видеть, для чего прошу тебя Богом: не ездй встречу ко мне, не испорть себя после такой жестокой болезни, но дождись в Питербурхе»⁹. Меншиков получил это письмо, находясь в пути. Супругу он извещал: «Но понеже оное письмо встретило нас на половине дороги к Риге и того ради принуждены доезжать до Риги не спеша»¹⁰.

Урегулирование отношений с Турцией хотя и стоило России утраты приобретений на Азовском море, но развязывало ей руки для продолжения борьбы с главным противником. Петр рассудил по этому поводу так: «Сие дело есть, хотя и не бес печали, что лишитца тех мест, где столько труда и убытков положено, аднако ж, чаю, сим лишением другой стороне великое укрепление, которая несравнительно прибылю нам есть»¹¹. Под «другой стороной» подразумевалась Швеция.

Шведы были изгнаны из Лифляндии и Эстляндии еще в 1710 г. Неприятельские войска откатились в Померанию, где укрылись в хорошо укрепленных городах.

Россия не претендовала на территориальные приобретения в этом районе и если двинула туда свои войска, то для того, чтобы изгнать шведов из континентальной Европы и тем самым вынудить упрямого Карла XII

заключить мир. Участием в Померанской кампании Россия, кроме того, выполняла союзнические обязательства перед Саксонией и Данией.

Напомним, что Северный союз, распавшийся в 1706 г., после заключения Альтранштадтского мира с Саксонией и формального отречения Августа II от польской короны, был воскрешен под стенами Полтавы. Полтавская победа аннулировала Альтранштадтский мир и вынудила шведского ставленника Станислава Лещинского бежать из Польши. Эта же победа позволила занять свое место в Северном союзе и Дании, вышедшей из него еще в 1700 г. В итоге Северный союз был восстановлен в прежнем составе, причем Петр особые надежды в этом союзе возлагал на Данию как единственную страну, обладавшую сильным военно-морским флотом. Что касается Балтийского флота России, то хотя он и был многочисленным, в его составе пока отсутствовали мощные линейные корабли, способные дать бой шведской эскадре в открытом море. Именно поэтому царь решил сосредоточить свои усилия на изгнании Швеции из ее последних владений на континенте — Померании.

Союзные армии действовали в Померании на редкость пассивно, осадные работы протекали вяло и не приносили ожидаемого успеха. Главная причина — серьезные разногласия в стане союзников. Петр решил послать в Померанию такого главнокомандующего русскими войсками, у которого полководческие дарования сочетались бы с дипломатическими способностями. Главнокомандующий, кроме того, должен был пользоваться беспредельным доверием царя. Выбор пал на Меншикова.

Это назначение соответствовало и пожеланиям светлейшего. Еще в 1711 г. он настоятельно просился на театр военных действий. Петр тогда ответил князю: «А что охота ваша служить, и тому еще время будет, понеже наш чудин (Карл XII. — Н. П.) пока жив, чаю, покоя едва будет»¹².

В феврале 1712 г. Петр писал датскому королю: «Я намерен своего генерала фельдмаршала князя Меншикова для лучшего управления в Померанию послать и оному команду над моими там уже стоящими и еще туда определенными войсками вручить». В черновом варианте грамоты имеются слова, правда, опущенные в окончательном тексте, объясняющие, почему выбор пал именно на Меншикова: «Понеже я о его искусстве и верности довольно обнадежен, и что он со всякою ревностью и прилежностью общего интереса искать и всякия старания в том прилагать будет». Августу II по поводу этого назначения Петр писал: «Мы на его персону и ревность к общему благу совершенное доверие полагаем»¹³.

Вооруженный точными указаниями Петра, что ему надлежало делать в Померании, Меншиков выехал из Петербурга 2 марта 1712 г. и развил кипучую деятельность, будучи еще в пути. Правда, князь передвигался к месту своего назначения не с такой скоростью, как того хотелось Петру, но тому были веские причины. Царь торопил Меншикова: «Для Бога поезжайте как наискоряе, чтоб там вы скоряя были для сего нужного случая и с королем увиделись прежде неприятельского действия». Но у светлейшего — сильный приступ болезни: «Мог бы и верхом на почте, оставя экипаж

свой, поспешать, только не допускает до того чечюйна болезнь (геморрой. — Н. П.), которая по бещастию моему паки вщалась и зело меня изнурует, так что с великим трудом и в каляске сижу»¹⁴.

Главная, однако, причина задержек состояла в том, что князю по пути к войскам надлежало организовать снабжение их продовольствием.

Меншиков держит Петра в курсе встречавшихся трудностей и своих действий. 29 апреля он извещает царя из Торуня, что отправится в Померанию только после создания «магазейнов»: «А чтоб не учиня определения здесь в правиянте, ехать мне в Померанию, то сами можете разсудить, одною своею особою, что там могу делать». Из Гарца 12 июня: «В правиянте у нас всеконечная нужда, так что ни здесь, ни в Познани ни единого четверика не обретаецца». Десять дней спустя: «В правиянте какая здесь нужда, о том надеюсь, что вашей милости уже известно. А ныне она от часу умножаецца, а наипаче под Стральзунтом, где уже кореньем питацца начинают».

Петр согласился с доводами Меншикова и одобрил его действия: «Что же пишете, чтоб мы не возмнили, что вы долго не едете в Померанию, и того не думайте, ибо знаем вас, что гулять не станете, и то зело изрядно, что прежде отъезду в провиянте порядок учините»¹⁵.

Частично преодолев трудности снабжения войск провиантом, Меншиков все же не мог преодолеть нежелания союзников вести активные боевые действия против неприятеля. Еще в мае князя удивляло поведение датчан и саксонцев. «Ни единого образа к начинанию действ не являетца, — писал он Петру и высказал опасение, — чтоб нам напрасно время не потерять и войска от недостатка правиянта не раззорить»¹⁶.

Опасения Меншикова относительно поведения союзников оказались обоснованными: русские войска вместе с датчанами и саксонцами обложили Штеттин и Штральзунд, но из-за отсутствия осадной артиллерии, которую упорно не хотели доставить датчане, успеха не достигли. Летом 1712 г. в лагерь русских войск прибыл Петр, но и его присутствие не изменило положения — рекогносцировка убедила его, что без артиллерии овладеть крепостями невозможно. В письме к Меншикову царь сокрушался: «И что делать, когда таких союзников имеем». О своем состоянии, вызванном противоречиями в стане союзников, Петр писал: «Я не могу ночи спать от сего трактованья»¹⁷.

Обнаружив безрезультатность своих хлопот, Петр оставляет командование русскими войсками Меншикову, а сам отправляется на лечение в Карлсбад. Активные действия было решено перенести на следующий год.

В связи с отъездом супруга в Померанию для Дарьи Михайловны вновь наступили тревожные месяцы. Впрочем, княгиня волновалась во все времена, когда Меншиков находился не рядом с нею. В ближайшие два года после Полтавы князь с неприятелем не соприкасался. Тем не менее княгиня и в этих условиях не оставляла без попечения своего Данилыча. На этот раз Дарью Михайловну беспокоили контакты с польским королем Августом II, любившим, как известно, выпить. В несохранившихся ее пись-

мах она, видимо, не уставала напоминать о воздержании, о чем можно судить по ответам супруга. Из Торуня он писал 5 октября 1709 г.: «Чаю, что вы будете сумлеватца о нас, что довольно вином забавлялись, только я вправду объявляю, что истинно по разлучении с вами ни единого случая не было, чтоб довольно забавитца, а и с королевским величеством зело умерно забавлялись, и о том не извольте сумлеватца». В другом письме из Петербурга, от 21 мая 1710 г., Меншиков, находившийся в обществе царя, вновь возвращается к этой теме и успокаивает супругу: «А шумны никогда не бываем, понеже царское величество изволит употреблять лекарства»¹⁸.

Беспокойство Дарьи Михайловны станет понятным, если учесть, что пьяный разгул прочно вошел в быт двора и пример в этом отношении подавал сам царь. Речь идет не столько о выходках пресловутого всепьянейшего собора во главе с бывшим воспитателем Петра князем-папой Аникитой Зотовым, сколько о повседневных возлияниях сподвижников царя, чьи головы едва ли не постоянно были затуманены винными парами. Вспомним ядовитые характеристики соратников царя, принадлежащие известному дипломату петровского времени Борису Ивановичу Куракину: Франц Лефорт — «дебосан французской»; Борис Алексеевич Голицын — «человек ума великого», но «склонен был к питию»; князь-кесарь Ромодановский — «пьян по вся дни»¹⁹.

Меншиков не составлял исключения. Редкое его письмо к царю за 1705 — 1706 гг. не содержало сведений о выпивке. Александр Данилович приобщался к «зеленому змию» по всякому поводу: «довольно пили» по случаю овладения Митавой; находясь в гостях у Огинского, «были веселы и сильны». Если других оснований для выпивки не было, то использовался в качестве повода сам факт отправки письма царю: «При отпуске сея почты пью ваше здравие... паки пьем и остаемся зело сильны и шумны»; «перед отпуском сего за ваше здравие пили»²⁰ и т. д.

Когда Меншиков в феврале 1711 г. находился в Риге, он получил от Дарьи Михайловны множество предостережений, чтобы берегся от недавно прошедшего здесь морового поветрия. Светлейший опять успокаивал: «Опасности здесь никакой нет, ибо как пред нашим сюда приездом задолго, так и при бытности нашей здесь ни единой человек никакою болезнью, благодарить Бога, не занемогал и не умирывал»²¹.

Успокаивал он княгиню и в те месяцы, когда находился в Померании. Хотя опасностей прибавилось, но князь, верный привычке утешать супругу, отправляет ей письма с заверением, что ничто ему не угрожает, что он «обретается в добром здравии», что неприятель не тревожит вверенные ему войска. В письмах той поры, отправляемых почти ежедневно (достаточно сказать, что только в ноябре 1712 г. Дарья Михайловна получила их пятнадцать), светлейший выглядит заботливым супругом, стремившимся сохранить спокойствие Дарьи Михайловны перед родами. На поверку оказалось, что небо было не столь безоблачным, как его изображал Меншиков. Во всяком случае, 4 ноября 1712 г. в ответ на просьбу княгини

прибыть к ней на свидание (она ехала к нему в Померанию) князь писал, что «то по се время учинить было невозможно, понеже все были в маршу», а две недели спустя Меншиков, как ни жаждавший встречи, тоже отказал супруге в очередной просьбе: «От здешней команды отлучитца невозможно, особливо при нынешнем времени, что полки в кантонир-квартиры становятца». Готовился к зиме и светлейший. Он решил, что ему пристало шеголять в роскошной шубе, и поэтому отправил следующее распоряжение Дарье Михайловне: «Изволь прислать к нам шубу соболью, которая полутче... однако не самую лутчую»²².

Меншиков, как видим, отвечал на нежность супруги взаимностью, но чувство долга брало верх, и он не рисковал покинуть армию ради семейной радости.

Между тем шведский генерал Стенбок в декабре 1712 г. вышел из Померании в Мекленбург, чтобы там напасть на датско-саксонские войска. Получив известие об этом, Петр отправил к датскому королю несколько курьеров, настойчиво советуя тому уклоняться от сражения до подхода русских подкреплений. Одновременно он писал Меншикову: «Для Бога, ежели случай доброй есть, хотя я и не успею к вам прибыть, не теряйте времени, но во имя господне атакуйте неприятеля»²³.

Союзники, однако, не вняли советам Петра. Располагая численным превосходством, они были настолько уверены в успехе, что решили оставить славу победителей только за собой и вступили в сражение со шведами при Гадебуше. Как ни торопился Меншиков, но к сражению не поспел — в пути он получил известие о сокрушительном разгроме союзников: шведам досталась вся датская артиллерия и 4 тыс. пленных.

В январе 1713 г. шведы, преследуемые русскими войсками, сосредоточились в Фридрихштадте. Неприятель разрушил шлюзы, затопил окружающую местность и укрепил артиллерией две дамбы, ведущие к крепости. Петр предложил союзникам атаковать Фридрихштадт, но те сочли попытку овладеть крепостью столь безнадежной, что отказались от участия в операции.

31 января русские двинулись по дамбам двумя колоннами: пехотой командовал Петр, а кавалерией, следовавшей по другой дамбе, — Меншиков. Шведы, считавшие себя в безопасности, как только обнаружили наступление русских войск, побежали, побросав в воду пушки. Преследование неприятеля было затруднено такой вязкой грязью, что «не только со всех солдат обувь сташило, но у многих лошадей подковы выдрало»²⁴.

Оставив Фридрихштадт, неприятель укрылся в Тоннингене. Петр отбыл в Россию, поручив осаду крепости Меншикову. Светлейший так плотно блокировал город с суши, а датский флот — с моря, что сосредоточенный там корпус Стенбока стал испытывать затруднения с продовольствием. «В пропитании у них превеликая нужда», «нужда немалая», — доносил князь царю. Норма хлеба была доведена до фунта в день. Попытки шведов доставить продовольствие гарнизону морем были пресечены датским флотом — 15 судов с хлебом и обмундированием стали его легкой

добычей. Еще более гарнизон крепости был изнурен недостатком пресной воды. Разразившаяся эпидемия унесла из числа осажденных более 4 тыс. человек.

Осадные работы Меншиков начал еще в феврале. «Ныне готовим туры и фашины», «приготовление к бомбардированию непрестанно чиним», — сообщал князь царю²⁵. Однако отсутствие артиллерии лишало русские войска возможности перейти от осады к активным действиям.

Распри в лагере союзников давали о себе знать на каждом шагу. Источником их являлась убежденность датского короля в том, что его войска уже оправались от поражения при Гадебуше и теперь уже могли самостоятельно, без помощи извне, овладеть Тоннингеном. Раз так, то трофеи и пленные достались бы одной Дании и их не надо было бы делить между тремя участниками осады. Поэтому датчане не спешили с доставкой артиллерии.

В конце марта артиллерия наконец прибыла, но вновь учинилось «умедление» — на этот раз датчане не обеспечили свою кавалерию фуражом²⁶. Неувязка произошла и 16 апреля, когда в соответствии с диспозицией датские и саксонские войска должны были атаковать стоявшую на подступах к Тоннингену крепость Гардинк, а русским войскам надлежало перекрыть пути отступления шведов к главным силам. Операция провалилась, ибо шведы, обнаружив продвижение русских войск к себе в тыл, поспешили отступить в Тоннинген по запасной дамбе. Датчане и саксонцы вместо преследования бежавшего неприятеля проводили его лишь взглядом. В итоге вместо уничтожения или пленения гарнизона Гардинка русским войскам удалось захватить всего 32 человека, «за что, — читаем в донесении Меншикова царю, — королевское величество zelo на своих генералов был гневен, что они не ускорили таким образом неприятеля догнать. А за наших людей мужество и отвагу, приехав ко мне сюда, изволил меня благодарить»²⁷. Кстати, сам Меншиков за неделю перед этим заболел и «жестоко одержим был лихорадкою», что не помешало ему прибыть на место сражения.

Гарнизон Тоннингена тем не менее оказался в весьма стесненном положении, и Стенбок вынужден был прибыть в ставку Меншикова для переговоров. Шведского генерала волновали условия сдачи, чтобы капитуляция «ему не во всеконечное безслаvie была», и он просил разрешения оставить знамена, литавры и прочие «победоносные знаки». Меншиков вместе с союзными генералами эту просьбу отклонил, и шведские войска оставили крепость, сложив оружие и знамена к ногам победителей. В итоге шведская армия уменьшилась еще на 11 485 солдат и офицеров — такое число их сдалось в плен. Это были последние остатки бывлой военной мощи Швеции на Европейском континенте.

После успеха в Тоннингене Меншиков, совершенно не удовлетворенный поведением «алиртов», т. е. союзников, решил двинуть корпус в Россию. Однако Петр в указе, отправленном светлейшему в середине июня 1713 г., велел ему задержаться в Померании до сентября. Царь был осве-

домлен о слабых гарнизонах неприятеля в Висмаре и Стральзунде и поэтому рекомендовал их атаковать. Но главная причина, обусловившая повеление царя остаться в Померании, состояла в том, что из Турции были получены известия о намерении султана выдворить из пределов страны Карла XII и заключить мир с Россией. Петр опасался, что возвращавшиеся из Померании войска вступлением в Польшу нарушат условия Прутского мирного договора и вызовут такое раздражение в Царьграде, что создадут угрозу намечавшемуся улучшению русско-турецких отношений. Напомним, что Прутский мирный договор 1711 г. исключал пребывание в Речи Посполитой как русских, так и турецких войск.

Выполняя царский указ, князь попытался активизировать военные усилия союзников. «Ныне мы договариваемся с Флемингом (саксонским министром. — Н. П.) и Девицем (датским министром. — Н. П.), каким образом Штеттин получить, чтоб не даром нам в Померании ныне постоять», — доносил Меншиков царю 16 июля 1713 г. Остановка была за малым — за артиллерией. По поводу ее доставки под стены крепости в который раз начались споры, кто должен обеспечить ею русские войска: саксонские пушки находились далеко, в Мекленбурге, а датчане заявили, что «без воли королевской ничего учинить не могут». Не помогла и личная встреча князя с датским королем. Тот в артиллерии отказал, пообещав ссудить русские войска деньгами и провиантом, если Штеттин после овладения им будет уступлен Дании. Меншиков разглядел в позиции датского короля проволочку: «То не есть дело, но токмо напрасное продолжение времени»²⁸.

Трудности ведения дел с союзниками приводили князя в отчаяние, и он не скрывал своего настроения в донесении царю от 14 августа: «Надеюсь, что изволите мне поверить, что как родился, то еще никогда таких многотрудных дел не видел, понеже сами изволите знать Флеминкову и прочих головы и души. К тому ж они непрестанно больши в политических, нежели в военных делах обретаются, и по сему лехко можно разсудить, каково мне с ними, не имеющему в тех делах никакого помощника»²⁹.

Меншикову было от чего прийти в отчаяние: в Померании возникла сложная и запутанная обстановка, там сталкивались интересы Дании, Саксонии, Пруссии, Голштинии, которые претендовали на получение в секвестр, т. е. во владение, до окончания Северной войны шведских земель в Померании. Яблоком раздора оказалась Штеттин. Правда, в конечном счете на него осталось два претендента: Дания и Пруссия. Саксония отказалась от претензий, ибо не располагала силами, способными противодействовать попыткам шведского вторжения в крепость; отказалась от претензий на Штеттин и Польша, уступив свои права Пруссии за 250 тыс. талеров. Пруссия уступила свою долю и Голштиния. Кстати, голштинцы тайно предлагали Меншикову далеко идущий план заключения брачного союза между малолетним герцогом голштинским и старшей дочерью Петра I. Этот проект назван далеко идущим потому, что его реализация могла оказать огромное влияние на судьбы Северной Европы. Голштин-

ский герцог являлся наследником шведской короны, и установление родственных связей между будущим королем Швеции и дочерью русского царя могло положить конец Северной войне.

В дни, когда велся закулисный торг о Штеттине, т. е. дележ шкуры еще не убитого медведя, к крепости подошла саксонская артиллерия. В распоряжение 24-тысячной армии Меншикова поступило около сотни пушек и мортир. Бомбардировка началась 17 сентября, в городе вспыхнули пожары, и на следующий день гарнизон крепости, охваченной огнем, капитулировал.

Дальнейшая судьба Штеттина в значительной мере зависела от Меншикова. Кому его передать: Дании или Пруссии? От него же зависело распределение и других земель шведской Померании.

В интересах укрепления Северного союза и в соответствии с интересами России Штеттин должен был оказаться у датчан. Именно в сближении с Данией, единственной из союзников обладавшей военно-морским флотом, более всего была заинтересована Россия, ибо, поверженная на Европейском континенте, Швеция могла еще уклоняться от заключения мира, поскольку ее коренные земли в Скандинавии оставались для России недоступными — наша страна тогда еще не обладала мощным флотом. Именно поэтому Петр в инструкции Меншикову, подписанной 14 февраля 1713 г., повелевал: «З датским двором как возможно ласкою и низостью поступать, ибо хотя и правду станешь говорить без уклонности, за зло примут, как сам их знаешь, что более чинов, нежели дела смотрят». Вместе с тем царь предоставил Меншикову право действовать сообразно с обстановкой, за изменением которой ему, царю, издалека было трудно уследить. Свободу действий князя Петр оговорил одним условием: «Того накрепко смотрите, чтоб чего во вред нам не произошло»³⁰.

Меншиков распорядился территорией шведской Померании так: Штеттин он передал в секвестр Пруссии, а часть других земель, на которые тоже претендовала Дания, — Голштинии.

На это решение оказало несомненное влияние раздражавшее князя систематическое невыполнение датчанами своих союзнических обязательств. Соблюдать их, по словам Меншикова, «они весьма не хотят, но на одном нашем хрепте все военное иго думают носить»³¹. В свою очередь, светлейший тоже давал повод датскому королю Фридрику IV для недовольства — достаточно сказать, что князь требовал от истощенной войной Дании только для нужд собственной кухни 300 риксдалеров ежедневно³².

Напряженными отношениями между датским королем и русским фельдмаршалом ловко воспользовался король Пруссии, влиянию которого светлейший легко поддавался. Вот как описывал Меншиков в донесении царю поведение новоявленного друга России в дни, когда он находился с визитом в Берлине: «Королевское величество прусской, как я во всю свою при том бытность мог присмотреть, zelo к вам любовен и показывает себя вашею к нему любовию весьма довольным и как при тайных со мною бывших конференциях, так и при самой публике именем Божиим клялся

во всю свою жизнь ничего противного вам не чинить и ни явным, ни тайным образом вашим неприятелям не помогать». В то же время Фридрих-Вильгельм I, писал Меншиков, «про короля дацкого мне тайно сказывал, что его весьма ненавидит»³³.

Западногерманский историк Виттрам и вслед за ним датский историк Баггер³⁴ считали, что прусский король заслужил расположение Меншикова не только обаятельными улыбками, доверительными разговорами и многократными тостами за здоровье русского царя, но и подношением голштинского министра Герца, раскошелившегося на 5 тыс. дукатов. Перед такой мздой алчный Меншиков не устоял, и именно она якобы и решила судьбу Штеттина и прочих земель.

Конечно, напрочь отрицать влияние подношения вряд ли правильно — в те времена деньги ценились больше, чем красноречие, — но и нет оснований объяснять действия Меншикова в Померании полученной им мздой, к тому же весьма скромных размеров. Дело в том, что подкупы государственных деятелей иностранными дипломатами были столь распространены, что считались обычным явлением. Русские посольства, например, в обозе везли множество соболей и прочей «мяжкой рухляди» для того, чтобы одаривать «нужных» людей при дворе той страны, в которую они держали путь. Сам Петр пытался, правда неудачно, купить благосклонное посредничество герцога Мальборо в заключении мира между Россией и Швецией.

Должно учитывать и другое: выдача мзды отнюдь не означала, что лицо, ее получившее, гарантировало благоприятное решение вопроса. Если в столь деликатном деле бравший мзду преступал грань, за которой благосклонное отношение перерастало в измену, то это ничего хорошего получателю подношения не сулило. Ниже мы увидим, что, судя по тому, как развивались события в дальнейшем, действия Меншикова в Померании лишь отчасти были осуждены царем, в главном же ему удалось оправдаться.

Не успел князь приехать в Петербург, как там уже стало известно о недовольстве его деятельностью в Померании Фридрика IV и Августа II. О вспышке негодования в стане союзников царь узнал из донесения русского посла в Копенгагене князя Василия Лукича Долгорукого, а также из писем датского короля и саксонского курфюрста. Если Август II, менее ущемленный действиями Меншикова, и оценивал их негативно, но в сдержанных выражениях, то негодование Фридрика IV сквозило в каждой строке его письма к Петру.

Датский король, отличавшийся вспыльчивым характером, отправил письмо, содержание которого, не будь русский царь более уравновешенным, когда того требовала обстановка, могло вызвать ссору. Фридрик IV выразил «особливое неудовольствие» прежде всего тем, что Меншиков вел переговоры с Пруссией секретно, не информировал о них датский двор, и поэтому «принуждены мы, — писал король, — хотя с конфузиею и необстоятельно от иных и от чюжих уведать». «Весь свет, — нагнетая

обвинения, продолжал Фридерик, — не иначе из сего разсуждать имеет, как что о нас малое разсуждение имеют». Но дело не только в королевском престиже, игнорированном Меншиковым. Главная вина светлейшего состояла в том, что он действовал в угоду врагам Дании, под которыми король подразумевал Пруссию и Голштинию. Резко осуждал датский король и уход русских войск из Померании, что, по его мнению, «всю тягость войны на нас одних положит»³⁵.

Демарш датского короля поставил Петра в затруднительное положение, ибо единственный человек, способный внести ясность в сложившуюся ситуацию, — сам светлейший — находился еще в пути в русскую столицу. Следы недоумения Петра видны в его ответе Долгорукому от 3 ноября 1713 г.: «Письмо твое, о секвестрации писанное, нас zelo смутило, что так при дворе датском оно толкуют. Правда, хотя она не хорошо зделана, только, однако, не так как толкуют». Через день царь отправил курьера навстречу ехавшему в Россию Меншикову: «Я в великом удивлении есть, что ты не пишешь, оставили ль вы 400 человек королю датскому по обязательным пунктам. Ибо ежели и не оставили, то уже мы сами его потеряли, и бог знает, что будет». Царь поначалу все же склонен был считать, что Меншиков по неопытности в дипломатии допустил в Померании немало оплошностей. «Сам знаешь, — писал царь своему послу в Копенгагене, — что в сих делах князь Меншиков, почитай, никогда не бывал, которого лехко было другим обмануть мочно».

Но вот прибывшего в Петербург Меншикова Петр заставил написать своего рода объяснительную записку по поводу обвинений датского короля. Составление этого документа для светлейшего, не привыкшего таким образом отчитываться перед царем, было унижительным, но необходимым и полезным, поскольку он проливает свет на события, связанные с секвестрацией Померании. Оказалось, что датский король в пылу гнева допустил множество передежек в освещении происходившего в Померании. Меншиков прежде всего отклонил версию датского короля о том, что переговоры о секвестрации велись втайне от датчан. В действительности в переговорах участвовал, помимо саксонского министра Флеминга, представитель датского короля генерал-лейтенант Девиц. Датский король предполагал тремя месяцами, чтобы заявить свое несогласие с принятыми решениями, «в чем бы тогда по тому его королевского величества изволению и поступлено было». Убедительно Меншиков объясняет, почему он вынужден был игнорировать интересы Дании: король, как мы видели выше, отказался поставить под Штеттин артиллерию, а саксонцы обусловили помощь допуском к участию в секвестрации Померании Голштинию. Неосновательна и жалоба короля на вывод русских войск из Померании, ибо датчане отказались снабжать эти войска продовольствием. Впрочем, в одном вопросе Меншиков, по собственному признанию, допустил промах: прусский король заключил с Голштинией договор, направленный против Дании; если бы князь знал о существовании этого договора, то должен был бы принять соответствующие меры, но в том-то и дело, что

«я, — писал о себе Меншиков, — прежде известен не был, пока не получил в Кенехсберхе при моем возвращении сюда от нашего посла, князя Куракина, с тех трактаков копию».

Разобравшись в сути дела, Петр в конечном счете признал, что некоторые пункты заключенного Меншиковым трактата с Пруссией «суть отчасти противин нашему общему интересу». Секвестрацию Штеттина Пруссией он ратифицировал. Пункты шведского договора с Пруссией, противоречившие интересам Дании, царь дезавуировал, ссылаясь на то, что «князь Меншиков учинил то, будучи от нас во отдалении, не ведал воли нашей». Царь поручил своему послу Долгорукому заверить датского короля: «Я ничего не буду делать, что к его предосуждению есть». Это обязательство было выполнено царем, когда он в ультимативной форме умерил воинственный пыл Пруссии и Голштинии, готовившихся к нападению на Данию из-за Померании.

Датский король, видимо, исходя из посылки, что королям не пристало ошибаться и менять свои оценки, придерживался своего первоначального мнения и после того, как получил от царя соответствующие разъяснения и объяснительную записку Меншикова. Он по-прежнему утверждал, что князь вел переговоры о секвестрации за спиной Дании и что секвестрация была осуществлена «к моему превеликому вреду партикулярно, так и к невозвратному убытку всего нашего общего дела». Фридерик IV настаивал перед царем на том, чтобы светлейшего впредь «ни к какому общей северной алииции касающимся делам больше не употреблять, но его весьма впредь от такого отлучать».

Осада Штеттина была последней военной акцией Меншикова. В последующие годы князь непосредственно не участвовал ни в сражениях Северной войны, ни в Каспийском походе. Это обстоятельство было связано не с ультиматумом датского короля, а с состоянием здоровья князя. После возвращения в Россию у него начался такой жестокий приступ болезни легких, что врачи предрекали ему неминуемую смерть и он уже заготовил завещание. Крепкий организм Меншикова обманул предсказания врачей, и на этот раз он пересилил болезнь.

В дальнейшем, кажется, не было ни одного года, когда бы болезнь не приковывала светлейшего к постели. Письма его Петру пестрят упоминаниями на этот счет. Судя по всему, продолжительным было недомогание в 1714 г. Началось оно, видимо, еще в апреле, ибо в середине мая он извещал царя, что от болезни «час от часу лутчая прибавляетца». Но и две недели спустя князь, как он сам писал, «от болезни в совершенство еще не пришел»⁶. В следующем году он тоже долго болел, причём сокрушался по поводу того, что «оная болезнь и прошлогодней кампании меня лишила», т. е. не дала возможности участвовать в Гангутском сражении⁷.

Казалось бы, Меншиков должен был проявлять осторожность и, помня о своей хронической болезни, умерить рвение к работе и особенно к употреблению горячительных напитков. Князь, однако, пренебрегал разумными советами. Мемуары современников содержат множество упоминаний

о пирушках, хмельных застольях, разгульных попойках всепьянейшего собора с неизменным участием Меншикова. День своего рождения в 1715 г. — 6 ноября князь отмечал в «австерии» — единственном ресторане столицы. Сначала был фейерверк, а затем пир с участием царя и министров. Здесь упившийся светлейший потерял «кавалерию» (орден) с бриллиантами и обнаружил его отсутствие только на следующий день. В столице было объявлено: нашедшему потерю будет выдано 200 руб. вознаграждения. Меншиков надул на самую малость — выдал 190 руб.³⁸

Князь не уклонялся от искушения выпить и в последующие годы. Скупое, но выразительно факты возлияний, далеко не всех, а лишь выходящих за рамки обычных, отражены в «Повседневных записках» Меншикова такими словами, как «веселились от напитков» или «были все сильны и шумны». Однажды пребывание в состоянии «шумности» едва не закончилось трагическим исходом. В июле 1721 г. состоялся пир по случаю спуска корабля «Пантелеймон». Вот как его описал камер-юнкер Берхгольц: «Почти все были пьяны, но все еще продолжали пить до последней возможности. Великий адмирал (Ф. М. Апраксин. — Н. П.) до того напился, что плакал как ребенок, что обыкновенно с ним бывает в подобных случаях. Князь Меншиков так опьянел, что упал замертво, и его люди принуждены были послать за княгиней и ее сестрою, которые с помощью разных спиртов привели его немного в чувство и испросили у царя позволения ехать с ним домой»³⁹.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУБЕРНАТОР

Пребывание Меншикова в Померании свидетельствует о том, что князь чувствовал себя куда увереннее на поле брани, чем за столом переговоров, где ему было трудновато ориентироваться в хитросплетениях и интригах союзников, с легкостью необычайной отказывавшихся от только что достигнутых соглашений и проявлявших завидную изобретательность в изыскании поводов для проволочек. Опыт показал, что активность союзников при дележе трофеев и пленных во много крат превосходила их активность на театре военных действий. Донесения князя царю полны жалоб на коварство и неблагодарность саксонцев и особенно датчан. То он сообщал Петру, что не находит «никакого способу, чем бы наших алиртов... склонить» к выполнению обязательств, то извещал царя, что «с дацкой стороны против учиненного о тамошних действиях договору во всем солгали».

Известно, что жалобами, даже самыми справедливыми, войны не выиграть, равно как и не добиться большей сплоченности в стане союзников. Совершенно очевидно, что князю недоставало изворотливости и дипломатической ловкости, — здесь он уступал своим западноевропейским коллегам, с которыми ему доводилось иметь дело.

При изложении биографии Меншикова после его возвращения в Россию принято обращать преимущественное внимание на негативные стороны его жизни. Историографическую традицию объяснить нетрудно: в деятельности Меншикова началась малоэффективная, будничная работа в качестве губернатора столичной губернии, сенатора, президента Военной коллегии. Разумеется, Калишская победа, штурм Батурина, как и прочие военные успехи, т. е. события скоротечные, в которые вложена энергия многих лет тяжкого труда, не идут в сравнение с повседневными, едва заметными по результатам действиями, особенно если их рассматривать два с половиной века спустя.

Биографы обычно оперируют более выигрышными сведениями — о казнокрадстве светлейшего. Это тоже объяснимо, ибо следственные дела

Меншикова находятся на поверхности, они общеизвестны, в то время как его административная деятельность еще ждет своего изучения и в распоряжении авторов находятся лишь отрывочные и в значительной мере случайные данные. О том, что эта повседневная деятельность Меншикова была полезной и Петр нуждался в услугах князя, свидетельствует хотя бы их переписка.

После изгнания шведов из Померании наступает новый этап Северной войны. Теперь театр военных действий переместился с суши на море. Правда, русские войска продолжали действовать и на суше, вытесняя шведов из Финляндии, но было очевидно, что без установления господства на море коренная территория Швеции сохраняла неуязвимость. Именно поэтому Петр принимает решительные меры к созданию собственного флота, комплектованного крупными кораблями.

Срочная надобность в таких кораблях вынудила царя покупать их за границей. Но это был малонадежный источник пополнения флота: покупные корабли обходились дорого, к тому же они, по образному выражению Петра, «достойны звания приемышей, ибо подлинно отстоят от наших кораблей, как отцу приемыш от роднова, ибо гораздо малы пред нашими и тупы на парусах», т. е. имели медленный ход. Отсюда вытекали заботы о расширении отечественного кораблестроения.

Другая, не менее важная задача состояла в комплектовании флота личным составом, обеспечении его продовольствием и иными запасами. В продовольствии нуждалась и армия, действовавшая в Финляндии. При доставке дубового леса из Среднего Поволжья, как и при доставке в новую столицу огромного количества хлеба, круп и мяса из Орловщины и Поволжья, приходилось преодолевать немалые трудности — единственный водный путь того времени, связывавший Петербург с центром страны, имел ограниченную пропускную способность. Частые штормы на Ладожском озере тоже лимитировали прибытие грузов в новую столицу. Требовалось немало изобретательности и энергии, чтобы максимально использовать короткий период навигации для заготовки впрок как продовольствия, так и строительных материалов.

Обе задачи относились, выражаясь современным языком, к разряду тыловых, но обе являлись ключевыми, поскольку от их решения зависели будущие успехи или неудачи.

В то время как Петр в мае 1714 г. отправился с флотом в море, Меншиков, тяжело болевший, остался в Петербурге. Ему царь оставляет инструкцию с перечнем первоочередных дел. Меншикову он наделил полномочиями главного смотрителя при постройке кораблей. А так как на Адмиралтейской верфи работа приостановилась из-за отсутствия корабельного леса, то Меншикову была поручена заготовка и доставка бревен в Петербург и на остров Котлин. На него же возлагались заботы по добыче камня для сооружения гавани на этом острове и по благоустройству парка в Петербурге.

Петр распрощался с князем 9 мая, а на следующий день отправил ему письмо, единственное назначение которого состояло, кажется, лишь в том, чтобы своим вниманием поднять настроение больного Данилыча. Царь напоминал, что одиннадцать лет назад оба они в этот день были награждены орденами св. Андрея Первозванного.

В ответе Меншиков сообщил, что кризис миновал: «От болезни имею немалую свободу и в прошедшую ночь спал изрядно, токмо еще зело безсилен»¹.

Доставке леса Петр придавал огромное значение и постоянно напоминал князю, чтобы тот не упустил время: «Для Бога имейте старание, хотя ведаю, что и сам сего не забудешь, однако не писать не могу о сем». Но в июньских ответах Меншикова утешительные известия перемежались с огорчительными. То он сообщал о прибытии «сюды только шести суден» с дубовым и прочим лесом, то три дня спустя радовался, что «прилучившимся способным ветром» пригнало 1,5 тыс. бревен, то через пару дней докладывал о более значительных поступлениях: «Корабельный лес сюда, слава Богу, почасту приходит».

Петра настораживали донесения светлейшего, и он, не скрывая своих опасений относительно возможности иметь в Петербурге 100 тыс. бревен, торопил князя: «Которое дело меня зело печалит, прошу вас для Бога, чтоб как-нибудь о том промыслить... ибо ежели не успеют — много пользы пропадет в будущий год». Меншиков и сам старался изо всех сил, принимая срочные меры. В Ладогу он отправил вице-губернатора Корсакова, «которому велено во всякой мере во отправлении того лесу трудиться». Ему стало известно, что река Тверца обмелела и там без движения стоят суда с лесом. Туда он тоже посылает нарочных с повелением «во всякой мере стараться те суды спроваживать»².

В августе Меншиков уже окреп и трудится в полную силу, развивает присущую ему энергию, проявляет инициативу. Петру он доносил: «В строении кораблей во всякой возможности поспешаем», «корабельное строение отправляется со всяким усердным прилежанием»³.

Обеспечение провиантом корпуса, действовавшего в Финляндии, Петр поручил Сенату, но, видимо, не полагаясь на его расторопность, дублировал это поручение и Меншикову: «Однакож и вы в том вспомогайте». Но Меншиков уже знал о затруднениях финляндского корпуса и проявил инициативу еще до получения письма царя. Петру он ответил 14 августа: «Провианту, о котором я еще до письма вашего ведаю во оном там нужду, за три недели начал стараться оного к вам отправлять»⁴. Меншиков тут же вошел в конфликт с сенаторами, обвинил их в «косности» и действовал через их голову, но дело сделал и уже в августе отправил 23 тыс. четвертей муки.

Кроме перечисленных поручений, он выполнял множество других и как губернатор, и как фельдмаршал, и как доверенное лицо царя: организовал обучение «молодых ребят» изготовлению кожи новым способом, снарядил полк для осады Нейшлота, занимался расквартированием и снаб-

жением армии, вернувшейся из Померании, и т. д. Находил он и время, чтобы навестить царскую семью и сообщить Петру, что там все благополучно: «Имел я щастие быть в дому вашем и вкупе с домашними вашими веселиться» или «Дети ваши обретаются в добром здравии, у которых я почасту бываю»⁵.

Одно из поручений князь выполнял с особенным удовольствием. 27 июля 1714 г. русский флот под командованием Петра одержал знаменитую победу у мыса Гангут. Петр поручает князю изготовить на Троицкой площади «хотя малые какие триумфальные ворота из дерев и протчаго»⁶. Меншиков знает, что, чем пышнее будет организована встреча победителей, тем больше будет доволен царь. Однако возможности у князя ограничены, и он предупреждает царя, что встречу, подобно той, что была в Москве по случаю Полтавской виктории, организовать нельзя «за оскудением мастеровых, однако ж по возможности управляемся». Он велел, чтобы на Адмиралтейской стороне к прибытию победителей «все улицы были вычищены, и кто какие имеет картины или шпалеры, выставливали б на улицу перед своими домами и прочие всякие украшения чинили»⁷. Более всех старался украсить свой дворец сам светлейший. Нидерландский резидент де-Би, подробно описавший торжества по поводу Гангутской победы, сообщает, что после официальной части Меншиков пригласил «иностранных министров сесть в свою шлюпку и отвез их в свой дворец, где над водой устроена была великолепная триумфальная арка, драпированная дорогими коврами»⁸. Полчаса спустя туда прибыл и царь. Началось пиршество с участием плененных во время сражения морских офицеров во главе с контр-адмиралом Эреншильдом.

Отправляясь в 1716 г. за границу, Петр в январе оставил Меншикову инструкцию, в которой поручал князю благоустройство столицы, чистку каналов вокруг Адмиралтейства, строительство дорог к Петербургу и Волхову, укрепление и выравнивание берега Невы, чтобы по нему удобно было тянуть суда, сооружение жилья для мастеровых, устройство фонтанов в Летнем саду. Но главная обязанность князя состояла в том, чтобы стеречь Кронштадт от возможного нападения шведского флота: «Паче всего надлежит доброе око иметь на Котлин остров, и как гавань, так и новую работу к Кроншлоту, тож и прочее укрепление учинить»⁹.

Круг обязанностей Меншикова не ограничивался выполнением пунктов инструкции. Три месяца начавшегося 1716 г. он провел в Ревеле, где руководил сооружением гавани для стоянки военных кораблей. Сначала дело не клеилось. Предполагалось, что море от гавани будет отделено сваями. Но вот незадача: в январе наступила небывалая оттепель, по улицам Ревеля текли ручьи, а недостаточно толстый лед стал настолько рыхлым, что работать на нем было опасно. Вскоре и его унесло в море. «И ежели б я сам тут не был, — доносил светлейший царю 23 января, — никому б в том не поверил для того, что оной лед был толщиною в три четверти аршина, а пронесло в 5 или 6 часов»¹⁰. Наконец, стали бить сваи, но и здесь строителей постигла неудача: бревна, вбитые в дно на три

сажени, «выскакивали вон», подобно пробкам. Пришлось избрать новое место для гавани и перейти к новому способу ее устройства: вместо свай на дно опускали огромные ящики, наполненные камнями.

Неспокойно жилось Меншикову в Ревеле и по другой причине: в январе из столицы пришло известие о серьезной болезни Дарьи Михайловны. Как помочь супруге? Медицинские познания князя позволяли ему от всех болезней рекомендовать единственное лекарство, нам уже известное, — «всегда веселость иметь». Не полагаясь на всеислие «веселости», светлейший прибегает к более действенному средству лечения супруги — он обратился за советом к какому-то медицинскому светилу в Вене, отправил больной полученное «дохтурское мнение» и просьбу неукоснительно соблюдать предписания. Заочная консультация, однако, не понадобилась — ко времени ее получения супруга пришла «в прежнем здравии»¹¹.

Между тем строительство гавани по новому способу спорилось, и Меншиков то и дело сообщал царю приятные новости о ходе работ. Наконец 21 марта 1716 г. он отправил царю донесение: «Положенная на меня здесь гаванная работа и цитадели, хотя с превеликими неусыпными трудами, как при сем приложенной априс (чертеж. — Н. П.) пространно под номерами оказывает, отправляется, благодарить Бога, изрядно»¹². Осталось опустить несколько ящиков, с чем, как полагал Меншиков, успешно справятся и без него. Сам он отправился в Петербург, чтобы не упустить летнего времени для строительства в новой столице, летней резиденции царя в Петергофе и на Котлине-острове. Гаванью в Ревеле Меншиков остался настолько доволен, что не без хвастовства писал Петру: она и ему, царю, покажется «угодной», если он ее увидит.

Петру, однако, не довелось осмотреть гавань в том виде, в каком она находилась к концу апреля. Сооружение не выдержало испытания на прочность во время необычайной силы шторма, разразившегося у Ревеля 9 и 10 ноября 1716 г. Семи из 30 кораблей, стоявших на приколе у ящиков, были нанесены повреждения, а два бура разбила в щепы. Разбитыми оказались и часть ящиков с камнями. Извещая об этом Петра, Меншиков утешал его историческим примером: испанский король, получив известие о гибели во время бури 300 кораблей, снаряженных против голландцев, будто бы изрек: «Я отправил оный флот против неприятеля, а не против бога и элементу (случая. — Н. П.)». Царя исторический пример не утешил. Кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров даже не рискнул показать ему письмо Меншикова ни в день его получения, ни на следующий день, ибо полагал, что «его царскому величеству не без печали будет»¹³. В ответе Петр не скрыл огорчения случившимся и считал виновником потери кораблей не Бога и случай, а небрежение: «Что при Ревеле учинилось, зело сожалею, а паче о том, для чего так нужное дело, а не крепко сделано и ящики полны не насыпаны (как сам пишешь), ибо крайнее б бедство было, ежели б флот пропал». Петр закончил письмо словами, свидетельствующими о его лучшей, чем Меншикова, осведомленности об

изречении испанского короля: «А что пишете пример слово короля испанского, то правда, только вы позабыли написать конец его речи, что “имею еще другой флот в сундуках”»¹⁴. Меншиков понял, что ссылаться на Бога и «элемент» уже не было резона, и вину возложил на адмирала Сиверса; тот ограничился прикреплением кораблей к ящикам, а их надлежало, кроме того, поставить и на якоря. Ящики, даже если бы они были наполнены доверху камнями, не могли «от такой силы устоять», писал князь царю. Но и после этого князь не обрел покоя и опасался, что Петр при первой же возможности пожелает сам выяснить причины катастрофы. Один из доброхотов светлейшего, узнав, что царь при возвращении из-за границы, возможно, заглянет в Ревель, дал практический совет князю: «Не изволите ль господину генерал-майору Фандельдину отписать, чтоб он не иначе доносил, как к вашей светлости писал», т. е. чтобы Фандельдин твердо придерживался версии, ранее изложенной Петру¹⁵. Успокоение к Александру Даниловичу пришло лишь после получения письма Петра Павловича Шафирова, отправленного из Амстердама 21 декабря 1716 г. о бедствии в Ревеле: «Сего дня его величеству исподволь донесено, в чем не без печали, однакож умеренно и изволит о строении вновь попорченного писать сам к вашей светлости»¹⁶.

Кто бы ни был виновником катастрофы, ее последствия надлежало устранять, и мы вновь во второй половине января 1717 г. встречаем Меншикова в Ревеле. Перед отъездом туда из Петербурга он известил царя о цели поездки: «Только при себе осную все, что потребно, и, управя там все, что надлежит, паки сюда поеду». Действительно, в Ревеле князь провел только неделю, оставил надзирателям инструкции и вернулся в столицу. Учитывая опыт, было решено наполнять ящики камнями доверху, а сами ящики укрепить «быками»¹⁷.

Другая, еще более важная забота Меншикова состояла в подготовке флота для совместных действий с датской и английской эскадрами против Швеции. Именно он в отсутствие Петра и адмирала Апраксина стал главным распорядителем при отправке кораблей в море, а также при постройке галер и транспортных судов. Его донесения царю в летние месяцы 1716 г. содержат множество разнообразных сведений о сделанном: «В нынешнюю кампанию будет у нас здесь готовых 20 галер», «ныне заложил вновь 20 галер», «приготовлением в отпуск кораблей всеми мерами стараемся», «положено сделать 300 соймов (мелких судов. — Н. П.)». Несомненную радость Петру доставляли сообщения князя о закладке им линейных кораблей.

В поле зрения светлейшего находились строительные работы в столице, Петергофе и на Котлине-острове. В июле 1716 г. Меншиков доносил царю о завершении строительства канала в Петергофе, о посадке в его парке свыше 25 тыс. деревьев, о сооружении «большой залы» в Монпле-

* Речь здесь, видимо, идет о снаряжении испанским королем Филиппом II «Непобедимой армады» против Англии в составе не 300, а 130 судов. От бури в Ла-Манше в августе 1588 г. армада действительно потерпела урон, но главные потери она понесла от английского флота. Под «сундуками» подразумевается наличие денег на восстановление флота.

зире, об исправлении гавани. В самом Петербурге полным ходом шло сооружение канала вокруг Адмиралтейства, подходило к концу строительство первой очереди госпиталя, возводилась колокольня Петропавловского собора. В Кронштадте было сдано в эксплуатацию 48 складских помещений — «магазиннов».

Петр был доволен распорядительностью князя. «За те (работы. — Н. П.) вам благодарствуем», — отвечал царь из Копенгагена в сентябре 1716 г. на донесение о сооружении амбаров, магазинов, пороховых погребов и прочих зданий.

Подходило к завершению строительство дворцов и шлюзов в Петергофе. В столице начали возводить постоянные дворы и пороховые погреба.

Наступил 1722 год. Царь отправился сначала в Москву, а затем в Астрахань, чтобы оттуда вместе с армией двинуться в Каспийский поход. Надзор за всем, что происходило в столичном городе и его окрестностях, царь в свое отсутствие, как и всегда, поручил Меншикову. Перед нами его отчет о том, что делалось в Петербурге, Кронштадте, Петергофе, какие меры он принимал, чтобы в срок выполнить строительные работы: на Котлине-острове «канал строитца», там же соорудились «магазинны», жилые палаты и дом для царя. Заканчивалось изготовление огромных ящиков. Когда они, наполненные камнями, будут опущены в воду, то «как гавани, так и Кроншлоту великая будет оборона».

Столица и ее окрестности, как видим, продолжали находиться в строительных лесах. То там, то здесь не хватало работников, леса, кирпича, железа. Все нити управления грандиозным делом сходились в канцелярии губернатора, где Меншиков распоряжался, проверял, советовал, надзирал: к строительству шлюзов на невских порогах он велел привлечь Черниговский полк, на строительство постоянных дворов — батальон Лефортовского полка, Адмиралтейства — Невский полк и т. д.¹⁸

Помимо забот государственных, требовавших присутствия князя в столице, у него была еще одна обязанность, в те времена считавшаяся едва ли не самой важной, — попечение о царевиче Петре Петровиче и царских дочерях Анне и Елизавете. Когда царская чета покидала столицу, ответственность за здоровье ее детей перекладывалась на плечи Меншикова. В 1716 г. во время пребывания князя в Ревеле в столичном дворце возник переполох — заболела кормилица двухлетнего царевича. Это обстоятельство ускорило возвращение Александра Даниловича в столицу.

В каждом письме, отправленном царю и особенно царице, находившимся в 1716 — 1717 гг. в заграничном путешествии, Александр Данилович посвящал несколько строк описанию здоровья царских отпрысков. Иногда он неуклюже шутил, иногда переходил на сентиментальный тон: царевич «изволит употреблять экзерцицию салдацкую, чего ради караульные бомбардирской роты салдаты непрестанно в большой палате пред его высочеством оную экзерцицию отправляют. Речи же его: папа, мама, салдат». А вот другой намек, что сын пошел в отца: царевич «изволит

более забавлятца прежнего охотою отеческою, а именно барабанным боем»¹⁹.

Весной 1717 г. обе царевны, Анна и Елизавета, заболели оспой. Болезнь протекала в легкой форме и не оставила следов на лице, но вызвала у супругов волнение. Меншиков их утешал, заявляя, что у Елизаветы осталось «на личике пятнышек с пять», которые должны сойти, а у Анны болезнь внезапно прекратилась²⁰.

Петр, как и в предшествующие годы, передает некоторые свои распоряжения Сенату через Меншикова. То он велит ему объявить сенаторам, чтобы те прислали «солдатский нижний мундир, ибо он здесь гораздо дорог», то поручает передать сенаторам, чтобы они занимались достройкой тех кораблей, которые находятся в наибольшей готовности.

Даже судя по письменным представлениям Сенату, Меншиков не очень щадил самолюбие высших чиновников и разговаривал с ними в повелительном тоне. Он упрекал сенаторов в небрежении к выполнению его предложения об укомплектовании штатов Адмиралтейства корабельными плотниками. «Того ради, — писал князь, — принужден о том паки чрез сие напомнать, чтоб о том, не упуская времени, изволили надлежащее учинить решение». Сенат своевременно не выдал деньги Адмиралтейству. Меншиков не просит, а требует: «Того ради принужден я чрез сие о том паки подтверждать»²¹.

Отношения между царем и Меншиковым и между Меншиковым и Сенатом, видимо, дали повод нидерландскому резиденту де-Би донести своему правительству 28 сентября 1716 г.: «Здесь ходят слухи, что... прислано князю Меншикову полномочие на управление всеми государственными делами в отсутствие его царского величества. Если только все это правда, то, вероятно, все будет скоро обнародовано и послужит доказательством, что царь совершенно одобряет действия князя Меншикова и вместе с тем недоволен распоряжениями своего Сената»²².

Слухи, попавшие в текст донесения де-Би, не подтвердились — указа, о котором он писал, обнародовано не было, но само появление слухов отражало еще не утраченное доверие царя к фавориту. Особенная близость между ними наступила в месяцы, когда велось следствие по делу царевича Алексея.

Царевич Алексей, сын Петра от первого брака, по складу характера и по убеждениям был полной противоположностью отцу. Безвольный и пассивный, он стоял в стороне от забот, полностью поглощавших неуемную энергию царя, не жалевшего ни сил, ни «живота своего» для претворения грандиозных преобразовательных планов. Более того: к обновлению страны Алексей относился враждебно, намереваясь после вступления на престол повернуть Россию вспять: отказаться от приобретений в Прибалтике, забросить флот, отменить все новшества, приблизить к себе поборников старины.

Современник оставил нам характеристику 24-летнего царевича: «Он был хорошего роста, лицо имел смуглое, черные волосы и глаза, серьезный

вид и грубый голос... Он постоянно окружен был гурьбою разнuzданных, невежественных священников и тех ничтожных персон дурных свойств, в обществе которых он постоянно ратовал против упразднения отцом своих старых привычек и говаривал, что он тотчас по вступлению во власть правительственную Россию вернет к прежнему. Он грозил одновременно и открыто всех любимцев отца искоренить. Это делал он так часто и так неосторожно, что это не могло быть не донесено царю...

Удивительно, что царевич никогда не появлялся в официальных собраниях, когда все знатные присутствовали на празднествах по случаю рождения, побед, спуска кораблей и ждали царя. Чтобы избежать таких собраний, царевич либо принимал лекарства или отворял себе кровь и постоянно извинялся, что по нездоровью не мог присутствовать, причем повсеместно знали, что он напивался в самом дурном обществе и предприятя отца своего постоянно осуждал»²³.

В 1715 г. царь предложил сыну либо отречься от престола и удалиться в монашескую келью, либо активно участвовать во всех своих начинаниях. Царевич притворно согласился уйти в монастырь, но когда в следующем году отец, будучи в Дании, вызвал его к себе для участия в десантных операциях против Швеции, он воспользовался этим вызовом, чтобы бежать в Австрию и добиваться трона с иностранной помощью.

Усилиями дипломата Петра Толстого и гвардейского капитана Александра Румянцева царевич-беглец был возвращен в Россию. Зимой 1717 г. Петр, царица Екатерина и двор прибыли в Москву, чтобы оформить отречение царевича от престола, а Меншиков остался в Петербурге. Во время первого же свидания отца с сыном 3 февраля 1718 г. царевич назвал своих сообщников, советовавших ему бежать за границу.

Расследование дела Петр взял в свои руки. Курьеры царя мчались в Петербург один за другим. «Майн фронт, — как и в прежние времена обращался царь к Меншикову. — При приезде сын мой объявил, что ведали и советовали ему в том побеге Александр Кикин и человек его Иван Афанасьев, чего ради возьми их тотчас за крепкий караул и вели оковать». Несколько часов спустя курьер отправился с новым предписанием: сковать надо было старшего Ивана Афанасьева, «а не хуже, чтоб и всех людей (Кикина. — Н. П.) подержать, хотя и не ковать»²⁴.

6 февраля Петру стало известно, что его слуга Баклановский, узнав о том, что царевич назвал своих сообщников еще во время первого свидания, т. е. 3 февраля, отправил в Петербург гонца, чтобы тот предупредил Кикина об опасности. Правда, шансов спастись у Кикина было мало, так как Петр заподозрил его в причастности к бегству сына и, уезжая в Москву, велел Меншикову, «чтоб на него око имели и стерегли».

Царский курьер преодолел расстояние между двумя столицами за трое суток и вручил Меншикову указ об аресте Кикина и Афанасьева в 11 час. вечера. Гонцу Баклановского все же удалось его упредить. Кикин, извещенный о событиях в Москве, растерялся. Что делать? Бежать, но куда? В полночь в спальном халате отправился за советом к брату Ивану. Здесь

он и был схвачен Меншиковым. В гарнизонной книге 6 февраля записано: «И того ж числа наложены на них цепи с стульями и на ноги железом».

Случай с Баклановским дал повод Петру повелеть Меншикову, чтобы тот «ни для каких дел партикулярных ни за какие деньги» не давал почтовых лошадей. Только две подписи в подорожных имели силу: самого царя и Меншикова. Получив указ, Меншиков тут же отправил распоряжение комендантам Выборга, Шлиссельбурга, Корелы и Нарвы, чтобы пропускать курьеров только с подорожными «за моею рукою и печатью», а на почтовые станы, обслуживавшие путь из Петербурга в Москву, послал гонца с предписанием никому не выдавать лошадей.

И еще одно предписание, полученное Меншиковым: Кикина и Афанасьева велено попытаться «вискою одною», а кнутом не бить. Тут же объяснение причин «милосердия» — «чтоб дорогою не занемогли».

«Дело сие зело множитца», — писал Петр Меншикову. Число лиц, причастных к «воровской компании», как называл царь сообщников царевича, увеличивалось с каждым днем. Светлейший получает указы заключить под стражу сибирского царевича Василия, сенатора Михаила Самарина, брата первой супруги Петра Авраамия Лопухина, брата адмирала Апраксина Петра Матвеевича, генерал-лейтенанта князя Василия Владимировича Долгорукого и множество менее знатных персон: канцелярских чиновников, слуг царевича Алексея, родственников первой жены царя²⁵.

Усердие Меншикова в следствии — выше всяких похвал. Скованных заключенных он партиями отправляет в Москву. Некоторых из них он допрашивает сам. С особенным рвением светлейший брал под стражу князя Долгорукого, того самого генерал-лейтенанта, который возглавлял комиссию по расследованию его собственных обвинений в казнокрадстве.

Взаимную вражду Меншикова и рода Долгоруких отметил саксонский посланник Лосс еще в 1715 г. Князя он назвал «злейшим врагом» этой аристократической фамилии. Посол далее писал о возраставшем влиянии Василия Владимировича Долгорукого на Петра: «Царь берет его с собою на все маленькие увеселения и не может быть без него ни одного дня»²⁶. Теперь Долгорукому предстояло совершить путешествие в Москву «в ножных железах».

Напряжение в Москве, где следствием руководил сам царь, и в Петербурге, оставленном на попечение Меншикова, достигло высшего накала: никто из вельмож не знал, кто еще будет оговорен царевичем в дополнение к 50 человекам, взятым под стражу, у кого оборвется карьера, кому придется расплачиваться не только пожитками, но и «животом». Состояние неуверенности и страха, царившее в кругу вельмож, легко улавливается в их письмах тех дней.

В феврале — марте 1718 г. Меншиков вел оживленную переписку с Екатериной, Толстым, Ягужинским, адмиралом Апраксиным, кабинет-секретарем Макаровым. Регулярно он получал и ответы от них. Читая письма, можно подумать, что корреспонденты либо стояли в стороне от драмати-

ческих событий, либо ни в Москве, ни в Петербурге не происходило ничего заслуживающего внимания. Меншиков отправлял стандартные послания с извещением, что в Петербурге «при помощи божии все благополучно», и просьбой «содержать нас в любительной своей корреспонденции»²⁷. Корреспонденты в «любительных» ответах, вторя Меншикову, тоже умалчивали о самом важном и волнующем. Видимо, единственная цель посланий состояла в том, чтобы извещать друг друга, что каждый из них находится пока еще вне подозрений.

Впрочем, изредка в письмах все же проскальзывала кое-какая информация, если не прямо, то косвенно отражавшая происходившее. Так, Екатерина в письме от 4 февраля извещала Меншикова, что царевич Алексей «прибыл сюда (т. е. в Москву. — Н. П.) вчерашнего числа». Но зато в следующем послании, отправленном в разгар розыска — 11 марта, — о следствии ни слова. Царица сочла возможным лишь предупредить князя о намерении Петра вскоре вернуться в Петербург, «ежели еще что не задержит».

В письмах к Екатерине Меншиков тоже уклонялся затрагивать существо дела. Лишь однажды он, полагая, что измена царского сына и кровавое следствие вызовут у Петра нежелательные эмоции, «слезно» умолял Екатерину отвращать супруга «от приключившейся печали», которая может вызвать тяжелые последствия «его величеству здравию». Но крайняя необходимость вынуждала пренебрегать осторожностью. В одном из писем к Толстому Меншиков не ограничился сакраментальной фразой, что «здесь при помощи божии все благополучно», и решил выяснить у корреспондента волновавший его вопрос: «Послал я к царскому величеству Ивана Кикина допрос. А что по оному его величество изволил учинить — известия не имею. Того для прошу ваше превосходительство о том меня уведомить». Толстой предпочел отмолчаться.

Исключение составляют письма братьев Апраксиных. Петру Матвеевичу удалось отвести предъявленные обвинения, и он, оказавшись на свободе, с разрешения царя отправил к Меншикову курьера с посланием, описывавшим свои злоключения: он был доставлен в Москву и «во узах» в 6 час. утра оказался в застенках Тайной канцелярии в Преображенском. Там, продолжал Апраксин, и была установлена «моя правда и невинность». История, однако, имела продолжение, о котором Петр Матвеевич рассказывает в цидуле, приложенной к письму: «Брата моего Федора Матвеевича от такой великой о мне печали застал еле жива»²⁸. Сам Федор Матвеевич тоже известил Меншикова о своей болезни, причем сделал это весьма эмоционально. Кстати, письмо адмирала дает ключ к объяснению причин, вынуждавших корреспондентов избегать острой темы: «О здешних обстоятельствах вашей светлости верно донести оставляю, ибо в том перу верить не могу и себя нахожу в немалых печалях, о чем вашей светлости уже известно»²⁹.

Розыск в Москве был завершен к середине марта. Главного подстрекателя бегства царевича — Александра Кикина, некогда любимца царя,

а затем попавшего в немилость из-за казнокрадства, министры приговорили к смерти. После колесования его отрубленную голову воздели на кол. Ивана Афанасьевича Большого тоже казнили. Самой мучительной казни был подвергнут Степан Глебов, признавшийся в блудном сожительстве с первой супругой царя, — его посадили на кол. Закончили жизнь на эшафоте еще несколько человек. Часть обвиняемых была оправдана, среди них сенатор Самарин. Основная же масса привлеченных к розыску подверглась суровым наказаниям: ссылке на каторгу и на галеры, отрезанию языка, пострижению в монахины, отправлению в отдаленные деревни.

Сравнительно легкое наказание понес и князь Василий Владимирович Долгорукий. Поначалу он отклонил все обвинения, и в частности самое главное. Во время розыска у него спросили, советовал ли он царевичу давать «хоть тысячу» письменных обещаний об отречении от престола. «Улита едет, коли то (когда-то. — Н. П.) будет», — будто бы утешал он царевича. Долгорукий ответил отрицательно. Позже он принес повинную: «Как взят я из С.-Петербурга нечаянно и повезен в Москву окован, от чего был в великой десперации (т. е. страхе. — Н. П.) и безпамятстве, и привезен в Преображенское, и отдан под крепкий арест, и потом приведен на Генеральный двор пред царское величество, и был в том же страхе; и в то время, как спрашиван я против письма царевича пред царским величеством, ответствен в страхе; видя слова, написанные на меня царевичем, приняты за великую противность, и в то время, боясь розыску, о тех словах не сказал»³⁰.

Князь Василий Владимирович был лишен чинов и отправлен в ссылку в Соль Камскую. Быть может, на эту меру наказания повлияла челобитная царю Якова Федоровича Долгорукого. Старейшего представителя рода вынудила обратиться к царю забота о репутации всей фамилии, ибо по его представлениям, восходившим к стародавним традициям, «порок одного злодея винного привязывается и к невинным сродникам». Яков Долгорукий напомнил Петру о жертвах, понесенных представителями фамилии во время стрелецкого мятежа 1682 г., писал о безоговорочной поддержке царя в его борьбе с Софьей в 1689 г. «Вижу ныне сродников моих, впадших в некоторое погрешение: аще дела их подлинно не ведаю, однако то ведаю, что никогда они ни в каких злохитрых умыслах не были...» Единственная вина «сродников» могла состоять в «дерзновенных словах», произнесенных, впрочем, без «умысла злого»³¹.

Причастность Долгоруких к делу царевича Алексея, как и само дело, может быть, и не заслуживала бы столь подробного изложения, если бы нам не было известно влияние этих событий на последующую жизнь Меншикова. Мы видели, что еще задолго до начала следствия отношения между аристократическим родом Долгоруких и Меншиковым не отличались миролюбием. Теперь враждебность усугубилась еще более. Это надобно запомнить, ибо судьбе было угодно, чтобы Меншиков столкнулся с Долгорукими еще раз девять лет спустя.

18 марта 1718 г. царь выехал в Петербург. Туда же были отправлены царевич Алексей и некоторые из подследственных. Розыск вступил в завершающую стадию. Ценные, компрометирующие царевича показания дала его любовница Евфросинья, неотлучно находившаяся при нем во время полугодового пребывания за границей. Роды задержали ее за рубежом, и она вернулась в Петербург только в апреле. Ее свидетельства изобличили царевича в намерении добиваться трона, опираясь на иноземные штыки. Став изменником, он сделался и лжецом, скрыв от следствия свои предательские планы.

В июне царевич был заключен в Петропавловскую крепость. Его стали пытать как заурядного колодника, в иные дни даже по дважды. В застенке присутствовали царь, Меншиков, Апраксин, Головкин, Шафиров, Яков Долгорукий и др. Последняя из семи пыток, которым подвергся царевич начиная с 14 июня, была произведена 26 июня, когда пытаемый, видимо, не выдержав истязаний, умер. В записной книге Петербургской гарнизонной канцелярии в этот день была сделана следующая лаконичная запись: «Того же числа по полудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубецком роскате в гварнизоне, царевич Алексей Петрович преставился»³².

Возможно, царевич погиб насильственной смертью, ибо царь, естественно, не мог желать, чтобы казнь совершалась публично, при стечении народа. Ведь на эшафоте должен был находиться собственный сын, к тому же не обычный преступник, а отпрыск помазанника божьего на земле.

Версия об удушении царевича со всеми подробностями была изложена в письме Александра Румянцева к своему приятелю, ходившем в многочисленных списках во второй четверти XIX в. Подлинника письма никто никогда не видел, а наличие в списках множества несуразностей дало основание историкам считать их подделкой, вышедшей из славянофильских кругов, не скрывавших своей враждебности к Петру и его преобразованиям. Таким образом, категорически не отвергая версию о насильственной смерти царевича, надобно отрицать подлинность ее описания, якобы принадлежавшего перу Румянцева, вместе с Толстым уговорившего царевича вернуться в Россию.

Драматическая развязка в жизни царевича была неминуема. Министры, сенаторы, военные и гражданские чины в количестве 127 человек 24 июня 1718 г. «единогласно и без всякого прекословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за вышеобъявленные все вины свои и преступления, главные против государя и отца своего, яко сын и поданный его величества, достоин смерти». Список лиц, подписавших царевичу смертный приговор, возглавил Меншиков. За ним следуют подписи адмирала Апраксина, канцлера Головкина, тайного советника Толстого, вице-канцлера Шафирова и др. Среди подписавших приговор четвертым значился Яков Федорович Долгорукий. Выводя свою фамилию непослушным пером, вряд ли он это делал без «прекословия» и руководствовался убеждением, а не страхом.

Вслед за окончанием дела царевича Алексея у Меншикова начались обычные будни. Проследить, как они текли, помогает нам любопытный источник под названием «Повседневные записки делам князя Меншикова»³³ — своего рода дневник, в котором секретари ежедневно регистрировали не столько сами «дела», сколько перемещения князя, его встречи с царем, вельможами, посещения учреждений, переезды и т. д. И все же по дневнику можно судить о том, как Меншиков распоряжался своим временем.

На первый взгляд может показаться, что служебная деятельность Меншикова отнимала у него крайне мало времени. Не совсем так. Чтобы убедиться в этом, сравним распорядок дня Меншикова с распорядком дня вельможи XIX в. Если бы, например, Алексей Александрович Каренин, каждая минута жизни которого, по словам Л. Н. Толстого, «была занята и распределена», не являлся, подобно Меншикову, в присутствие неделями, то его бы уволили со службы. Не мог себе позволить вольготно распределять часы отдыха и занятий Петр Александрович Валуев — не литературный герой, а реальный министр внутренних дел России 60 — 70-х годов прошлого столетия. Между тем Меншиков в течение 1719 г. присутствовал в Военной коллегии, первым президентом (единственная коллегия с двумя президентами) которой он являлся, всего 62 раза, в Сенате — 16 раз, по одному разу он заглянул в Адмиралтейскую, Иностранную и Юстиц-коллегии, причем перечисленные учреждения он навещал на два, максимум на четыре часа, а иногда и на 30 минут.

Читатель вправе заподозрить причину столь редких приездов на службу в злоупотреблении Меншикова положением фаворита, но в данном случае он впадет в ошибку. Достаточно беглого обзора законодательства тех времен, чтобы убедиться в том, что светлейший не слишком отступал от принятых норм. В указе президентам коллегий от 2 октября 1718 г. Петр, отметив, что они «зело лениво съезжаютца для врученного им дела», потребовал от них присутствия в учреждениях два раза в неделю: во вторник и четверг³⁴. Правда, два года спустя Генеральный регламент предписывал членам коллегии являться на работу ежедневно, за исключением воскресных и праздничных дней, но рабочее время ограничивалось лишь пятью часами. К тому же Генеральный регламент имел в виду сложившуюся коллегияльную систему, в то время как в 1719 г. она переживала период становления.

Сенаторы в те годы тоже не сидели в Сенате ежедневно. Указы предписывали им присутствовать в учреждении от двух до трех дней в неделю, а если не было надобности, то даже один день. Ежедневная явка на службу была обязательной только для дежурного сенатора, сменявшегося ежемесячно.

Надобно также учесть, что три месяца 1719 г. Меншиков находился за пределами столицы. Самая продолжительная отлучка была связана с поездкой на месяц на Марциальные воды — курорт, расположенный в 50 километрах от Петрозаводска. Остальные вояжи были кратковременными:

в течение года он шесть раз побывал в Кронштадте, несколько раз навещал свою летнюю резиденцию в Ораниенбауме, ездил в Петергоф и Бкатерингоф, а в октябре отправился в Шлиссельбург на традиционные празднества по случаю овладения этой крепостью в 1702 г. Наконец, в 1719 г. Меншиков свыше месяца болел и, естественно, не покидал своего дворца. Этими обстоятельствами и объясняется, что время, когда он зачастил в Военную коллегию, падает на два зимних месяца — январь и декабрь, в течение которых он был там 27 раз.

Возникают тогда вопросы: где, как и когда вельможа решал уйму возникавших вопросов по управлению губернией, столичным городом и Военной коллегией? Как он успевал выполнять еще и сугубо частные поручения Петра? Попытаемся извлечь ответы на эти вопросы, правда, далеко не исчерпывающие, из «Повседневных записок».

Вставал Меншиков, как правило, в пятом либо в шестом часу, реже — в четвертом или в седьмом. На часы от пробуждения до полудня падала самая интенсивная часть рабочего дня. Светлейший сразу же, как лаконично повествуют «Повседневные записки», занимался «слушанием дел». Под «делами» подразумевались доклады служителей Домовой или Походной канцелярии, которым он давал распоряжения по управлению своим дворцом и многочисленными вотчинами, или доклады подчиненных по службе. Последующие часы он проводил в обществе Петра, нередко приезжавшего к нему домой, либо в царской резиденции, а также в Военной коллегии и Сенате и за осмотром работ. Этого рода занятия завершались к полудню, реже — к часу дня. Меншиков садился за стол, чаще всего у себя дома, около 11 — 12 час., но иногда трапеза происходила у царя, у генерал-адмирала Апраксина, обер-серваера (главного кораблестроителя) Головина, генерал-полицеймейстера Девиера и других лиц. В одиночестве Меншиков садился за стол редко. Обычно с ним сидела мужская компания из сановников и подчиненных. Характерная деталь, свидетельствующая о том, что эмансипация женщин, настойчиво внедряемая царем через ассамблеи, еще не проникла в семью князя, в принципе не чуравшегося новшества: за обеденным столом не сидели ни супруга, ни дети, даже в том случае, если «его светлость изволили кушать» без гостей.

После трапезы — визиты к вельможам, прием вельмож, участие в различных церемониях вместе с царем и «господами министрами», деловые и праздные разговоры, перемежавшиеся с игрой в шахматы и карты. Между 10 и 11 час. вечера, после ужина, сразу же отправлялся спать. В распорядке дня немало времени отводилось присутствию на богослужениях — заутрене, литургии, всенощной.

Среди царских поручений Меншикову был и присмотр за четырехлетним царевичем Петром Петровичем*, когда царь с супругой в январе — марте 1719 г. находились на Марциальных водах. Меншиков ежедневно проводил в его обществе один-два часа.

* Сын Петра I, Петр, умер в 1719 г.

Меншиков участвовал и в публичных развлечениях. К ним прежде всего относились ассамблеи. Они устраивались, судя по записям, без определенной периодичности. Первая ассамблея в 1719 г. была проведена у генерала Вейде в воскресенье 18 января, следующая — в четверг 22 января у князя Дмитрия Михайловича Голицына, затем — в воскресенье 25 января у князя Долгорукого, через день — у князя Черкасского, а еще через день, в среду 29 января, — у Ивана Стрешнева. В феврале были лишь две ассамблеи, а в марте — одна, затем наступил длительный перерыв, и проведение четырех ассамблей с участием Меншикова зарегистрировано только в декабре.

Другой вид развлечений был связан с вылазками всепьянейшего собора. На рождественских праздниках 1719 г. славили у князя-папы Бутурлина и архимандрита Ржевской (25 декабря), у канцлера Головкина (26 декабря), у князя Алексея Черкасского (28 декабря). Празднества завершились 30 декабря — соборян в этот день принимал Меншиков. «Повседневные записки» отметили и необычное развлечение, правда, единственное в году: 22 марта царская чета, министры и Меншиков смотрели «комедию». В действительности это была не комедия, а цирковое представление с участием силача и какой-то дамы, танцевавшей на натянутом канате⁴⁵.

Распорядок в рабочие дни недели существенно не отличался от воскресных и праздничных. В четверг 1 января 1719 г. Меншиков встал в пятом часу и после всенощной отправился поздравить с Новым годом Петра, с которым вел «о разных делах разговоры». От царя поехал в Военную коллегию, куда вскоре прибыл и Петр. Затем — литургия и вновь Военная коллегия. В восьмом часу начался фейерверк и еще одна встреча с царем. В десятом часу Меншиков прибыл домой и лег спать. В воскресенье 1 ноября Меншиков тоже встал в пятом часу и, отслужив всенощную, отправился в Военную коллегию, оттуда на литургию в Троицкий собор, где присутствовала царская чета. Позавтракав у царя, он поехал на свадьбу своего служителя. Возвратился домой в десятом часу, и после ужина — сон.

Встречались, однако, дни, когда Меншиков почти полностью отключался от служебных забот. Время с 8 по 16 мая он провел в Ораниенбауме. Здесь он посвятил себя хлопотам по благоустройству загородной резиденции — прогуливался в «огороде», т. е. в парке, наблюдал за сооружением фонтана, ездил по близлежащим угодиям, осматривал работы. Впрочем, и сюда по служебным делам к нему приезжали должностные лица: шаутбейнахт Сиверс, бригадир Порошин и др.

Дважды в 1719 г. Меншиков оказался в необычной для него обстановке: первый раз — во время продолжительной болезни, второй — во время пребывания его на Марциальных водах.

Симптомы недомогания появились в начале февраля, но князь крепился и не прекращал привычных занятий. 3 февраля он встал, как и всегда, в шестом часу и отправился в Сенат, оттуда в Военную коллегию. На следующий день мы вновь видим его за пределами покоев — в Иностранной коллегии. Но уже 5 февраля не Меншиков отправляется в при-

сутствие, а к нему во дворец прибывают Толстой, Вейде, иностранные послы, министры и президенты. Они вели какие-то «довольные разговоры». В последующие дни светлейшему не сиделось дома. Затем следует короткая запись от 11 февраля: «Ради обдержимой болезни из покоев выходить не изволили». В дальнейшем Меншиков не берется: он то сидел дома, то выезжал для осмотра работ в Адмиралтейство, в Военную коллегию и Сенат.

20 февраля болезнь наконец одолела светлейшего и приковала его к постели на месяц. Но и во время болезни он не прекращал работы. Дневниковые записи пестрят фразой: «Довольно дел отправлял». Его часто навещали: одни — как больного, другие — чтобы получить распоряжения. Не поддежит сомнению, что генералы Вейде, Брюс и Гинтер 26 февраля приезжали к нему по делам Военной коллегии. Деловой визит нанесли также генерал-майор Голицын и генерал-полицеймейстер Девиер. Их приезд в «Повседневных записках» отмечен так: «И по разговорах кушали, а его светлость ради болезни лежал подле кушанья; по разговорех разъехались»³⁶.

3 марта из Марциальных вод возвратился Петр и в тот же день навещал больного. В «Повседневных записках» читаем: царь «по обычной церемонии, рассуждая о болезни его светлости, изволил объявить о неслыханном действии Марциальных вод»³⁷. Петр, любивший врачевать, предписал фавориту отправиться на Марциальные воды. В представлении медиков того времени эти воды способны были поставить на ноги любого больного, в том числе и князя с больными легкими.

Меншиков поднялся с постели к 21 марта, а в июле приспело время выполнять царское повеление. Это принудительное лечение, надо полагать, вызвало в семье князя тревогу. Следы сомнений в целительных свойствах воды видны в том, что «курортник» в течение недели ехал в сопровождении всей семьи и она оставила его одного в Александровском монастыре только 18 июля.

Князь прибыл на курорт 26 июля. Здесь он встретил подобных себе больных, маявшихся на водах по повелению царя: царицу Прасковью Федоровну, генерал-адмирала Апраксина, Григория Скорнякова-Писарева, архимандрита Феодосия, князя Трубецкого. Вынужденное безделье тяготило светлейшего, и он не знал, как распорядиться уймой свободного времени: по привычке вставал он в пятом часу, бродил по окрестностям, заглядывая в кузницу, почти ежедневно навещал пристань, где ему мастераи лодку, ходил в гости к царице и Апраксину.

Курс лечения продолжался 10 дней. В первый день князь одним приемом выпил семь стаканов воды. В дальнейшем количество выпитых стаканов увеличилось и 30 июля достигло 14. Прием воды в последующие пять дней происходил по убывающей, и к концу лечения, к 4 августа, норма достигла исходной величины — семи стаканов. С Марциальными водами он расстался без сожаления и, кажется, не оценил их целебных свойств. Во всяком случае, у нас нет данных о повторном посещении им первого в России курорта.

Сопоставляя рабочий день Меншикова с рабочим днем министра Валуева, нетрудно заметить, что, несмотря на то что деятельность одного от деятельности другого была отделена полутора веками, в структуре этого дня было много общего. Меншиков находился у истоков формирования бюрократического аппарата абсолютизма, Валуев — в годы его расцвета. За это время усложнилась бюрократическая машина, изменились вкусы, формы общения и отдыха. Валуев, разумеется, не поднимался с постели в пятом часу, его несомненно бы шокировало участие в выходках всепьянейшего собора, он не довольствовался бы единственным в году посещением театра. Значительно больше времени он отдавал заседаниям в Сенате, Комитете министров, Совете министров и в прочих комитетах и департаментах, число которых превышало двузначную цифру. Прозаседав в одном из них, он спешил сесть в карету, чтобы мчаться в другой. Впрочем, случалось, что он много дней подряд не выходил из дома, сочиняя очередной доклад «на высочайшее имя». И тем не менее Валуева и Меншикова объединяло то, что оба они вершили дела не столько в стенах учреждений, сколько за их пределами — во время докладов царю и разговоров с ним, во время завтраков и обедов у членов царской фамилии, частных бесед с другими вельможами, во время придворных церемоний и т. д. Закулисная, незримая деятельность вельможи, как бы органически вплетавшаяся в круг его служебных обязанностей, — едва ли не самая существенная особенность абсолютистского режима.

НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ

После возвращения светлейшего из Померании его ожидали две неприятности. С одной из них мы уже знакомы. Она была связана с дипломатическими просчетами князя в Померании. Истоки второй возникли на родной почве. Если бы князь находился в России, а не в Померании, вряд ли кто осмелился на него донести. Даже если бы смельчак и обнаружился, светлейший располагал такой властью, что без труда спустил бы дело на тормозах. Но Меншиков полтора года отсутствовал, и неизвестно, от кого и как царь узнал о его подрядных махинациях. К ним оказались причастными и другие вельможи: адмирал Ф. М. Апраксин, канцлер Г. И. Головкин, А. В. Кикин, Ульян Синявин.

Следствие вскрыло неприглядную картину: сановники, находившиеся в доверии царя, использовали это доверие для личного обогащения за счет казны. Вельможи заключали подряды на поставку провианта по завышенным ценам. А чтобы замаскировать свою причастность к контрактам, дельцы из знати заключали их не на собственное имя, а на подставных лиц. Операции, как выявило следствие, принесли подрядчикам баснословные барышни. Петр, ознакомившись с результатами следствия по поводу Меншикова, в декабре 1714 г. вынес следующую резолюцию: «За первый подряд ничего не брать, понеже своим именем, а не подставою учинен и прибыль zelo умеренна. С подрядов, кои своим же именем подряжал, но zelo с лишком, взять всю прибыль. А кои под чужими именами — с тех взять всю прибыль да штрафу по полтине с рубля. Также и те деньги взять, которые взяты за хлеб, а хлеб не поставлен»¹.

Содержание царской резолюции станет понятным, если мы обратимся к классификации подрядов Меншикова, произведенной следственной канцелярией. Эта канцелярия, руководимая генералом Василием Владимировичем Долгоруким, разбила подряды князя на три категории.

Первый подряд на поставку в Петербург 20 тыс. четвертей хлеба Меншиков взял в 1710 г. Сумма подряда составила 40 тыс. руб. при себестои-

мости в 34 600 руб. Таким образом, прибыль равнялась 5 400 руб., или 15,6%. Скромный ее размер объяснялся тем, что часть хлеба во время перевозки подмокла, пришла в негодность и повысила себестоимость остального. Комиссия, а вслед за нею и царь тоже нашел прибыль умеренной, и претензий к Меншикову предъявлено не было.

Практического склада уму светлейшего не стоило большого труда оценить вполне все выгоды нового поприща хозяйственной деятельности — он понял, что открыл жилу, разработка которой сулила огромные доходы, и поэтому решил придать делу свойственный своему характеру размах: на 1712 г. он заключил уже два контракта. По первому из них Меншиков обязался за Казанскую губернию поставить 30 834 четверти хлеба. Второй контракт он заключил через двух подставных лиц и обязался за Московскую губернию поставить 30 тыс. четвертей. В обоих случаях князь выторговал более дорогую, чем в 1710 г., подрядную цену — по 2 руб. 10 коп. за четверть. В итоге чистая прибыль в первом случае равнялась 60,3%, а во втором — 63,7%. В денежном выражении прибыль составила 48 343 руб. Вся прибыль подлежала возврату. Кроме того, царь наказал князя уплатой штрафа за подряд вместо Московской губернии, заключенный на чужие имена, по полтине с рубля полученной прибыли. Сухари и муку Меншиков поставлял и в 1714 г. Общая сумма начета на князя составила 144 788 руб., которые он должен был вернуть казне.

А чем кончилась подрядная эпопея для остальных ее участников?

Апраксин и Головкин отделались легким испугом — конфискацией полученной прибыли. По мнению царя, она была умеренной: у Головкина — 16,3%, а у Апраксина хотя и достигала без малого 30%, но он ее не успел получить. Наказанию они подверглись за то, что оформляли сделки на подставных лиц.

Самую суровую кару понесли Кикин и Синявин. Оба они должны были внести в казну не только прибыль, но и деньги, израсходованные на приобретение муки и сухарей. Кикину следствие князя Долгорукого обошлось карьеру².

Подрядная афера вельмож вызвала два царских указа. Одним из них под страхом смерти запрещалось должностным лицам заключать контракты на поставку в казну различных изделий и продовольствия. Другой указ регламентировал размер прибыли подрядчика — он не должен был превышать 10%³.

Еще не закончилось следствие о подрядных махинациях светлейшего, как началось новое расследование. Князя обвиняли в расходовании государственных денег на собственные нужды. Такого рода преступления именуются казнокрадством, и законодательство петровского времени устанавливало казнокрадам самые суровые меры наказания.

Канцелярия В. В. Долгорукого потребовала от Меншикова отчета в расходовании 1 018 237 руб. Вместе со штрафными деньгами за подряд общая сумма начета на князя составила грандиозную сумму в 1 163 026 руб. По другим, более поздним сведениям, начет вместе со штрафом рав-

нялся 1 581 519 руб. Распутать до конца сложную систему взаимоотношений светлейшего и казны канцелярии Долгорукого, кажется, не удалось. Тем более сложно разобраться в финансовых хитросплетениях Меншикова 250 лет спустя, ибо документы следствия полностью не сохранились.

Меншиков сознательно затягивал следствие, опротестовывал выводы канцелярии и предъявлял контрпретензии. (В конечном счете ему удалось добиться своего, работа канцелярии продолжалась свыше 10 лет, ее превала смерть Петра, за которой последовало снятие с князя всех начетов.)

Трудность для следствия состояла в том, что некоторые статьи как расходов князя, так и его доходов нигде не оформлялись соответствующими документами и поэтому не поддавались проверке. В данном случае канцелярия вынуждена была положиться на показания самого обвиняемого. Так, Меншиков заявил в одной из своих челобитных, что он после Полтавской баталии взял из шведского обоза под Переволочной 20 939 ефимков. Удовлетворили ли эта сумма алчность светлейшего, в руках которого оказались богатые трофеи, сказать трудно.

Сложно было также проверить достоверность названных Меншиковым сумм, поднесенных ему в почесть, т. е. взятки. Например, сумму в 5 тыс. руб., на которую раскошелились московские купцы в честь признания заслуг светлейшего в разгроме шведов, можно признать достоверной. Но в карман Меншикова текли суммы, проверка которых находилась вне досягаемости канцелярии. Светлейший, например, показал, что в Померании ему было поднесено «за то, что, будучи в марше, не разорили земли и чтоб отпустить (не взыскивать. — Н. П.) подводы; в Голштинии пять тысяч червонных, в Мекленбургах и Шверине 12 тысяч курант талеров». За обещание не допускать мародерства и прочих бесчинств («за добрый порядок») Меншиков получил с Гданска 20 тыс. курант талеров, с Гамбурга и Любека — соответственно 10 и 5 тыс. червонных⁴.

Столь же трудно проверить показания светлейшего относительно таких деликатных расходов, как издержки на подкупы должностных лиц при иностранных дворах, выдачи «шпигам», выполнявшим разведывательные задания князя на театрах военных действий, и т. д. Так, царский портрет, обрамленный драгоценными камнями, был послан «из Жолквы к дуку Мальбруку ценою в 10 тысяч рублей». На такую ли сумму пополнилась сокровищница герцога Мальборо, от которого царь добивался благосклонного посредничества в мирных переговорах со Швецией, наверняка сказать трудно. В одном случае Меншиков даже не назвал имени лица, которому сделано подношение: «В Фридрихштате министру некоторому за откровенно важного дела дано 1000 червонных». А быть может, «министр некоторый» довольствовался 500 червонных, а два «шпига» получили не 1 тыс. червонных, как показал Меншиков, а в 3 — 4 раза меньше. Невозможно также точно установить, сколько было издержано на алмазный перстень, подаренный датскому генералу провиантмейстеру Платтору, или на шпагу и трость с алмазами другому датскому генералу (Шультену). С уверенностью можно сказать одно — не выше суммы, показанной

Меншиковым, а именно соответственно 2112 руб. и 2572 руб. 26 алтын и 4 деньги⁵.

Не поддаются точному учету и суммы, издержанные Меншиковым на казенные нужды. В одной из челобитных он писал, что часто казенные деньги тратил на личные надобности, а личные деньги — на приобретение предметов, необходимых казне. Это утверждение светлейшего соответствовало действительности. Находясь в Померании, он, например, издержал на приобретение палаток собственных 27 338 руб., а на покупку провианта — 20 979 руб.⁶ Следует при этом учесть, что Меншиков никогда, как он сам признавал, внакладе не оставался — из казны он брал неизмеримо больше, чем ей давал. Общая сумма издержанных на казну собственных денег составила 147 155 руб., в то время как на приобретение земель только в одной Польше и только в 1709 г. он израсходовал, как показал сам, 163 тыс. руб.

В процессе деятельности канцелярии между ее руководителем В. В. Долгоруким и светлейшим возник спор, с какого времени следует ревизовать князя. Было время, когда отношения между двумя князьями — Долгоруким и Меншиковым — не вызывали ни у того, ни у другого подозрений. Более того, аристократ Долгорукий, тогда еще гвардии майор, заискивал перед князем-выскочкой и считал его своим благодетелем. Отправляясь на подавление восстания на Дону в мае 1708 г., он писал Меншикову: «Прошу у тебя, государя, милости, не оставь меня в милости своей в нуждах моих. А я на милость твою, государя своего, надежен как на батка своего. Тебе, государь, самому известно, кроме тебя, государя мово, других у меня никово нет»⁷.

С тех пор прошло много лет, и В. В. Долгорукий вполне соперничал с Меншиковым на поприще фавора и уже не считал светлейшего своим «баткой». Напротив, между ними установились открыто враждебные отношения, и Долгорукий стремился воспользоваться любой возможностью свалить Меншикова. Долгорукий понимал, что шансы разоблачить Меншикова-казнокрада тем выше, чем с более раннего срока начнется обревизование его финансовых злоупотреблений. Исходной датой проверки он считал необходимым назначить 1703 г. Меншиков, естественно, был заинтересован в том, чтобы исходная дата была передвинута на более позднее время. Ссылаясь на то, что первое десятилетие нового века он проводил на театрах войны и, следовательно, в полевых условиях не имел возможности должным образом оформлять как получение казенных денег, так и их расходование, Меншиков настаивал на 1710 г. как дате, с которой канцелярия могла бы вести расследование.

Верх одержал Меншиков. Документы архива князя проливают свет на его закулисные действия при достижении этой цели. Так, в письме Макарову 6 февраля 1718 г. он благодарил кабинет-секретаря «за ходатайство у его царского величества указу о щете». Макаров, хорошо осведомленный о подлинном отношении царя и царицы к Меншикову, всегда выражал полную готовность услужить светлейшему.

Но Меншиков готов был воспользоваться и услугами людей куда меньшего масштаба, чем кабинет-секретарь. Княжеская спесь не помешала ему с подобострастием просить капитан-поручика Юрьева явить «всякое нам благодарение». «Взаимно отслужить не оставлю», — обещал он Юрьеву. Майора Ушакова Меншиков благодарил «за показанную вашу к людям моим милость, которые были у щоту Сергеева»⁸.

Как ни старался князь освободиться от назойливых требований канцелярии, ему все же пришлось напрягать собственную память и принуждать своих подручных проявлять изворотливость, чтобы уменьшить сумму начета. Не упущены были даже сравнительно мелкие затраты, как, например, покупка гобоев в пехотный полк за 40 руб., оплата услуг лицам, изловившим беглых солдат, и за ремонт ружей (167 руб.) и т. д. Часть начета он погасил наличными и товарами. По собственному признанию, надо полагать достоверному, ибо оно было изложено в челобитной царю, он писал в 1719 г.: «С меня взято деньгами, пенькою и протчими материалы 615 608 рублей»⁹.

Какова судьба остальных начетных денег? На этот вопрос известные нам источники не позволяют дать исчерпывающего ответа. Часть долга царь ему простил. Светлейший умел выбирать подходящее время для подачи челобитных.

В 1715 г. у царя родился сын Петр. В честь «преславной радости» князь обратился к царю с просьбами освободить от уплаты оставшихся долгов и прекратить следствие: «От всех дел, которые по се время в той Канцелярии были и есть, меня освободить». Просьба Меншикова была удовлетворена лишь частично. Царь не поверил заверению князя, что «того долгу заплатить мне нечем», и положил на челобитной следующую резолюцию: «По прошению вашему от половины всех денег свобождаем. Что же принадлежит до Канцелярии, и вы к ней кроме сего платежа ничем не привязаны, когда в сем разделяетесь»¹⁰.

К 1715 г., когда была подана эта челобитная, на Меншикове значилось 324 354 руб. долга. Согласно царской резолюции, половину этой суммы, т. е. 162 177 руб., князь должен был внести в казну.

Четыре года спустя Меншиков повторил свою просьбу. Князь жаловался, что его «зело снедает» пребывание под следствием, и просил, «чтоб я от всех Канцелярий, где следуютца по моим делам, был свободен».

Ко времени подачи этой челобитной произошла смена руководителей Канцелярии: место В. В. Долгорукого занял Петр Михайлович Голицын. Это назначение обернулось для Меншикова тем, что с него в дополнение к 162 177 руб. стали взыскиваться еще 285 107 руб. Впрочем, по княжеским выкладкам не он, Меншиков, был должен казне, а, наоборот, казна была его должником. Меншиков уверял царя, что «никакого моего вашей казне похищения не явилось», и просил положить конец затянувшемуся следствию, «чтоб я и мои домашние были спокойны»¹¹.

Никакой резолюции не последовало — царь не поддался на уговоры (знал он цену княжеским заверениям) и в то же время не потребовал от

него уплаты долга. Похоже на то, что царь решил держать своего фаворита в подвешенном состоянии и тем самым умерить его стяжательский аппетит.

А что основания для подобных опасений у царя были, свидетельствует новый донос на князя 8 мая 1718 г. с обвинением в хищении более 100 тыс. руб. Вслед за этим Меншикову пришлось оправдываться в присвоении 21 тыс. руб. За это Меншиков был предан военному суду. Он признал себя виновным лишь в том, что взял деньги самовольно, «не бив челом его величеству», но казнокрадством это не считал, объяснив, что он всего-навсего удержал сумму, которую ему должна была Московская губернская канцелярия. В столице поползли слухи о том, что светлейший попал в немилость.

В августе 1718 г. князь вместе с царем и Ф. М. Апраксиным находился на мысе Гангут, а Дарья Михайловна — в столице. Сохранились письма Меншикова, свидетельствующие о том, что слух вызвал в семье переполох. Первой забила тревогу Дарья Михайловна, надо полагать, отправившая супругу паническое письмо. В ответном послании от 4 августа Меншиков заклинал супругу не верить слухам, распространяемым злопыхателями, и убеждал ее, что «не точию от его величества какого имел гнева, но ниже немилостивого слова». Заканчивал он письмо так: «Паки вас прошу для Бога о сем нималого мнения не имейте, а особливо ж о том неправом разглашении не печальтесь»¹². Такое же письмо он отправил и брату адмирала: «Некоторые бездельники самую наглую ложь разгласили, ибо не точию гнева (от чего Боже сохрани) от царского величества, ниже истинно немилостивого взгляду не видал»¹³.

Но, успокаивая супругу, сам светлейший проявлял нервозность. Иначе зачем было князю возвращаться к этому сюжету еще в шести письмах, отправленных в промежутке между 6 и 11 августа? Какая надобность была прибегать к услугам генерал-адмирала Апраксина, который по просьбе князя должен был тоже засвидетельствовать в письме к своим домашним, что князь по-прежнему пользуется уважением царя?

Меры Меншикова являлись попыткой парализовать слухи, наносившие ущерб его престижу. Светлейший был прав — поколебать его фавор не удалось.

В начале 1719 г. Меншикову довелось еще раз пережить критическую ситуацию: Голицын неукоснительно требовал от князя погашения начета и даже грозил держать его под караулом. Но его и на этот раз вызволила из беды Екатерина. 6 февраля 1719 г. она писала из Марциальных вод, где вместе с супругом находилась на лечении: «О деньгах, которых спрашивают с вас в Канцелярии к господину генералу майору князю Голицыну, у его царского величества предстательствовать буду после употребления вод, сколько Бог мне поможет...»¹⁴

Кстати, и сам Меншиков не сидел сложа руки. Он ловко использовал все средства влияния на Петра. Зная о том, что царь с Марциальных вод заглянет на Петровские заводы, Меншиков обратился к управляющему

этими заводами В. И. Геннину с просьбой показать царю товар лицом и всячески подчеркивать заслуги князя в строительстве предприятий и организации производства: «И когда его царское величество изволит быть на заводах, и тогда его величеству донести, что чьим тщанием и трудами какие заведены заводы»¹⁵. Геннин в точности выполнил просьбу князя. Осмотренные заводы оставили у царя самое благоприятное впечатление, которым он не преминул поделиться с князем.

Закулисные хлопоты светлейшего тоже оказали свое влияние на его судьбу. Сделав вид, что похвальные слова царя для него явились полной неожиданностью, Меншиков писал ему в конце января 1719 г.: «Радуюсь, что мой труд в деле заводов, которые я по указу вашему строил, вашему величеству явился угоден». Тут же напоминание о том, что его, Меншикова, для платежа денег «хотели держать в Канцелярии»¹⁶.

Екатерина тоже получила письмо от князя: «И правда, ежели бы не ваше матернею пожалован был милостью, то б всеконечно за платеж денег держан бы в Канцелярии». Тут же жалоба: начет «платить безсилен» — и сетование на необходимость продать «некоторые вещи, також и несколько деревень»¹⁷.

Самую крупную неприятность князю доставили не рассмотренные выше расследования, а почепское дело — обвинение в захвате чужих земель и закрепощении украинских казаков.

Ко времени, когда почепское дело в 1717 г. стало предметом разбирательства Сената и специальных комиссий, Меншиков уже считался богатейшим вельможей страны. Его владения увеличивались из года в год, причем в послеполтавский период едва ли не главным источником расширения вотчинного хозяйства стала скупка имений. По неполным данным, Меншиков только в 1710 — 1717 гг. издержал на приобретение вотчин свыше 200 тыс. руб.

Какие источники доходов позволяли Меншикову совершать столь крупные сделки? Главным из них являлась казна. В одной из челобитных князь признался, что он распоряжался казенным сундуком с такой же непринужденностью, как и собственным карманом.

Появились и два сравнительно новых канала накопления богатств: военные трофеи и доходы с вотчин. Владения князя приносили огромные доходы. Меншиков не довольствовался извлечением из них традиционного денежного оброка и доставкой во дворцы всякой снеди. Жажда наживы толкала его на путь предпринимательства. Одним из первых среди помещиков он создает промысловые заведения по переработке сельскохозяйственного сырья и полезных ископаемых. Было выгоднее продавать не хлеб, а изготовленное из него вино, и Меншиков спешит создать винокуренные промыслы, чтобы поставлять вино в царские кабаки. Застройка Петербурга требовала огромного количества разнообразных строительных материалов. Меншиков использует и эту конъюнктуру, организовав в окрестностях столицы кирпичное производство и распиловку леса. В Ямбургском уезде он владел хрустальным заводом. Оконное стекло, посуда,

зеркала, хрусталь шли на нужды дворца и загородной резиденции, но часть продукции поступала на рынок. Откровенно предпринимательский характер имели соляные промыслы, купленные князем в Тотемском уезде за 40 тыс. руб., а также рыбные промыслы на Волге и в Поморье.

Впрочем, однажды предпринимательские начинания Меншикова не были обусловлены желанием извлечь из них барыши. Он выступил инициатором организации шелковой мануфактуры, вовлек в дело еще двоих вельмож — Апраксина и Шафирова, причем, как явствует из письма Меншикова к Макарову, светлейший в данном случае руководствовался стремлением не столько извлечь прибыль, сколько угодить царю: ему, Меншикову, известно, что Петр, «будучи в Париже, изволил смотреть всяких мануфактур, между которыми изволил видеть и шпалеры, и при том изволил говорить, дабы и у нас такая работа как наискорее завелась, и у нас еще ничего в зачине не бывало, понеже ни инструментов, ни шерсти, ни красильщиков нет». Меншиков просил Макарова, находившегося вместе с царем в Париже, закупить необходимые инструменты¹⁸.

Все, что в те времена могло принести барыши, не ускользало от жадного взора светлейшего. Он неустанно печется о приумножении своего богатства. Ему мало 100 тыс. крепостных, золота, бриллиантов, роскошных дворцов. Он весь в поисках новых источников дохода и безоговорочно принимает любой совет, если его реализация сулила получение хотя бы мелочных барышей. В Москве он скупал лавки, харчевни, погреба, торговые места, с тем чтобы все это на выгодных условиях сдавать в оброк мелким торговцам и промысловикам. За границу Меншиков продавал традиционные товары русского экспорта. Его агенты действовали в районах производства пеньки, воска, сала, кож и отправляли их в Петербург и Архангельск для продажи английским и голландским купцам¹⁹.

Князь, однако, никогда не ощущал избытка в почестях и богатстве.

Город Почеп с округой принадлежал Мазепе и еще в 1709 г. был пожалован Меншикову за участие в Полтавской баталии. Князь не довольствовался даянием и из года в год округлял это владение захватом близлежащих земель, закрепощением казаков и взиманием с них повинностей. С 1717 г. казаки начали подавать многочисленные жалобы на незаконные захваты, но все они оставались без последствий — никто не посмел предать гласности очевидный факт произвола. Наконец жалобам был дан ход, но все шло для Меншикова лучшим образом. Сенат отправил на Украину межевщика Лосева. Тот действовал в угоду князю и при межевании спрямил его владения так, что они стали еще более обширными.

Весной 1720 г. князь сам отправился на Украину. Официальная цель поездки, как мы видели выше, состояла в выполнении повеления царя. Но светлейший спешил на Украину, терпя дорожные лишения, не только ради комплектования кавалерийских и драгунских полков. Заодно он намеревался уговорить гетмана Скоропадского закрыть почепское дело. Светлейший, кроме того, рассчитывал на месте получить исчерпывающую

информацию о намерениях противной стороны, чтобы своевременно парировать ее выпады.

Компромисс, однако, не был достигнут. Более того: светлейшему стало известно о поездке в Петербург новых челобитчиков. Вслед за ними Меншиков отправляет письмо своему приятелю адмиралу Апраксину с просьбой «напрасным клеветам» челобитчиков не верить. В то же время он хлопотал перед Апраксиным, чтобы дьяку Лосеву, прибытие которого вскоре ожидалось в Петербурге, была оказана всякая милость и признание²⁰.

Не надеясь на эффективность заклананий, чтобы жалобам челобитчиков не придавали веры, Меншиков сам решил прибыть в Петербург. У царя он на этот счет испрашивает разрешение, причем необходимость поездки в столицу он мотивировал необходимостью «о расположении на квартиры полков вашему величеству донести изустно, ибо чрез письмо так обстоятельно невозможно объявить»²¹.

Сомневаясь в том, что этот аргумент будет принят Петром, Меншиков обратился к услугам Макарова, чтобы тот изволил «его величеству почаще докучать» о своем вызове в Петербург²². Меншиков был настолько уверен в удовлетворении царем своей просьбы, что распорядился о расстановке подвод на пути следования в столицу. Но ни личные просьбы, ни «докуки» кабинет-секретаря не помогли — царь не считал целесообразным приезд Меншикова в Петербург.

Быть может, почепское дело продолжалось бы бесконечно долго, если бы в него не вмешался украинский гетман Скоропадский, решительно вставший на защиту обиженных Меншиковым казаков. В челобитной царю, поданной в декабре 1720 г., гетман писал о «фальшивом» межевании, которым был нанесен «всему Стародубскому полку убыток», так как более тысячи казаков, а вместе с ними поля и сенокосные угодья, мельницы и бортовые леса были приписаны к владениям князя.

Кстати, Меншиков не считал, что челобитная была подана по инициативе гетмана и им подписана. По его мнению, старый и больной Скоропадский являлся всего лишь марионеткой в руках украинской старшины. Еще до подачи гетманом этой челобитной Меншиков писал Макарову, что «господин гетман по приводжении на злону от других будет на меня писать з жалобою». Впрочем, светлейший допускал, что у его недругов надобности в том, чтобы настраивать «на злону» Скоропадского, не было, ибо среди них был человек, умевший ловко подделывать подпись гетмана. «Я не надеюсь, — рассуждал Меншиков, — чтоб он сам мог подписатца, но другие, кои власно так, как он сам подписывает, и познать невозможно»²³.

Как бы там ни было, но Меншиков, почувяв опасность, занервничал. Об этом свидетельствует тот факт, что за три недели, с 14 апреля по 4 мая 1721 г., князь отправил четыре личных письма Екатерине, чтобы она «предстательствовала» перед царем о решении почепского дела в его пользу. «Прошу о милостивом за меня его царскому величеству предстательст-

ве», — писал он 17 апреля. В письме от 4 мая Меншиков приносит царице «благодарение за милостивое за меня его величеству о почепском моем деле предстательство и о исходатайствовании милостивого указа»²⁴.

Использовал князь и второй канал воздействия на царя — посредничество Макарова. Одновременно князь осаждал челобитными и царя. В одной из них, от 17 апреля 1721 г., он писал, что межевание было произведено в присутствии четырех представителей гетмана и 300 человек «тамошних обывателей», и просил «указать той жеже быть так, как помянутые заручные книги учинены»²⁵. В другой челобитной он просил жалобщиков задержать в столице и подворное межевание произвести в их отсутствие, «для того, что оныя несправедно, как выше писано, бьют челом и многих к тому челобитью сильно принуждали подписыватца. А иных, которые не хотели подписыватца, держали в тюрьме»²⁶.

Предотвратить проведение повторного межевания Меншикову все же не удалось. Царь ему ответил: «О почепском деле лучше обождать, пока назначенная персона из Сената по указу подлинно там свидетельствует, и ежели по свидетельству не правы явятся челобитчики, тогда вящшему наказанию за несправое челобитье подлежать будут, а вам послужит то к лучшему оправданию».

На Украину был отправлен новый межевщик — полковник Скорняков-Писарев, брат обер-секретаря Сената, клеврета Меншикова. Скорняков-Писарев оказал Меншикову такую же услугу, как и Лосев, подтвердив итоги первого межевания.

Меншиков готов был торжествовать победу. В новой челобитной царю он напустился на гетмана Скоропадского, который якобы устно соглашался уступить ему, князю, спорные земли, а теперь их не отдает. Если верить челобитчику, то захваченные им земли и закрепощенные казаки с давних времен находились в ведомстве почепской ратуши.

Между тем начался третий этап почепского дела. На Украину отправили нового межевщика, а два предыдущих были схвачены для дознания. Лосев тут же признался, что он с ведома Меншикова межевал несправедливо и покрыл его захваты. Припертый к стене Меншиков должен был признать свою вину. Царю он писал: «Ни в чем по тому делу оправдаться не могу, но во всем у вашего величества всенижайше слезно прошу милостивейшего прощения»²⁷. Терпение Петра находилось на грани истощения. Вероятно, к этому времени относятся вещи его слова, сказанные Екатерине: «Ей, Меншиков в беззаконии зачат, и во гресех родила его мати его, а в плутовстве скончает живот свой. И если, Катенька, он не исправится, то быть ему без головы»²⁸.

В столице носились упорные слухи о близком падении князя. Прусский посланник Мардефельд несколько не грешил против истины, когда писал о нервном потрясении Меншикова, вызванном страхом за свою судьбу. В нашем распоряжении имеется относящееся к этому же времени заключение консилиума медицинских светил: царского лейб-медика Блюментроста и врачей Бидлоо, Шоберта и Ремуса. Медики не обнаружили

туберкулеза, ибо отсутствовали его явные симптомы: «В одышке тяжести никогда не бывает, и около груди утеснения никакого нет, также после кушания или к ночи признаки к лихоратке не являються». Меншикову были предписаны какие-то лекарства, прогулки верхом в летнее время, физические упражнения зимой, строгая диета и режим. Но все рекомендации мало помогут, если князь не возьмет себя в руки по части душевного спокойствия. Заключительная часть документа необычайно интересна и с точки зрения истории медицины, и для характеристики самого пациента (приводим ее полностью): «...того ради также надлежит себя остерегать от многого мышления и думания, ибо всем известно, что сие здравию вредительно и больши, а особливо сия его светлости болезнь оттого вырастает, от таких мыслей происходит печаль и сердитование. Печаль кровь густит и в своем движении останавливает и легкое запирает, а сердитование кровь в своем движении горячит. И ежели кровь есть густа и жилы суть заперты, то весьма надлежит опасатца какой великой болезни.

Того ради мы меж себя разсуждаем, что от наших лекарств пользы никакой не будет, ежели его светлость от своей стороны себя сам пользоваться и вспомогать не изволит, а особливо воздержатъ себя от сердитования и печали и, елико возможно, от таких дел, которые мысли утруждают и безпокойство приводят»²⁹.

От него уже все отвернулись. В гостеприимном доме светлейшего на именинах супруги демонстративно отсутствовали все вельможи. Он лихорадочно искал заступников, вновь обращался к Екатерине сам, посылал хлопотать за себя своих клеветов. Один из них, Девиер, доносил Меншикову: «Ваша светлость изволили упомянуть о почепском деле, и о сем ее величеству я доносил и стараться в том будем»³⁰.

Меншиков устоял и на этот раз. Мардефельд доносил прусскому королю в феврале 1723 г.: «Князь Меншиков, который от страха и в ожидании исхода дела совсем осунулся и даже заболел, сумел опять скинуть петлю со своей шеи. Говорят, что он получил полное помилование впредь, пока сатана его снова не искусит»³¹.

Почепское дело все же стоило Меншикову потерь. Петр обязал его расстаться с тем, что ему не принадлежало: вернуть казакам захваченные земли, а также оброчные деньги. Кредит светлейшего пошатнулся, и ему пришлось оставить пост президента Военной коллегии, который был вручен князю Аниките Ивановичу Репнину. В почепском деле, как и в деле с подрядцами, суровым наказаниям подверглись исполнители воли князя — межевщики Лосев и Скорняков-Писарев.

Чем объяснить снисходительность Петра к хищениям своего фаворита? Почему он терпел злоупотребления светлейшего, в то время как других казнокрадов подвергал самым суровым наказаниям? Напомним, что вице-губернатор Корсаков, всего лишь орудие в руках князя, был подвергнут пытке, ему публично жгли язык, а затем отправили в ссылку. На долю сенатора князя Григория Волконского выпала вдобавок к таким же наказаниям еще и конфискация имущества. Между тем Волконский совершил

одинаковое с Меншиковым преступление — поставлял провиант под чужим именем и по дорогой цене. Наконец, несомненно, очень близкий к царю человек, которого он любовно называл дедушкой, а именно Александр Васильевич Кикин за подрядные махинации был лишен чинов и отстранен от должности советника Адмиралтейства.

На поставленные вопросы искали ответы не только историки, но и современники. И. И. Голиков, известный историк-любитель XVIII в., автор грандиозного сочинения о Петре I и собиратель анекдотов о нем, записал два анекдота, объясняющих терпимость царя к казнокрадству своего любимца.

Согласно одному анекдоту, в токарню, где Долгорукий докладывал царю о Меншикове, вошел князь, пал перед Петром на колени «и со слезами просил помиловать, изъясняясь, что злодеи его все силы прилагают погубить его». Долгорукий сказал светлейшему: следствие вели не злодеи, а члены Канцелярии, обличившие «тебя в похищении казенного интереса, и посему жалоба твоя крайне несправедлива».

Некоторое время спустя Петр вернулся к обсуждению доклада Долгорукого и вынес решение: «Не тебе, князь, судить меня с Данилычем, а судить нас с ним будет Бог». В ответ Долгорукий рассказал случай, якобы происшедший с его родственником Лобановым, который вместо любимого управителя, бессовестно обкрадывавшего его, велел высечь ключника, сообщника и подчиненного управителя. Жертве истязания и присутствовавшему при экзекуции управителю было сказано, что ключник расплачивается «за общую их кражу».

Долгорукий из этой притчи рекомендовал царю практический вывод: «Так и ты, государь, сделай: помогал в плутовстве Меншикову Корсаков, и ты накажи его при нем за их общее плутовство, да тем и дело кончи».

Второй анекдот излагает иную версию обсуждения дела. На заседание следственной комиссии, происходившее в присутствии царя, явился с повинной Меншиков. «Э, брат, — сказал царь, ознакомившись с ее содержанием, — и того ты написать не умел, и стал оную чернить» (править. — Н. П.). Один из младших по чину членов комиссии сказал своим товарищам: «Пойдемте, братцы, нам делать здесь нечего».

«Куда?» — спросил Петр.

«Домой, ибо что нам остается здесь делать, когда ты сам научаешь вора, как ему ответствовать. Так ты один и суди его, как изволишь, а мы лишние».

Другой член комиссии поддержал своего коллегу, заявившего царю, что первый вельможа в государстве должен показывать образцы «в верном хранении законов и в безпорочной к тебе и отечеству службе». Нарушитель их достоин милостей. Царь, выслушав мнение членов комиссии, обратил их внимание на крупные заслуги князя. Приговор Петра был таким: «Он мне и впредь нужен, и может еще сугубо заслужить оное»³².

Достоверность анекдотов проверить невозможно. Скорее всего оба они были придуманы после совершившихся событий: фабула подверглась ли-

тературной обработке, драматизации и обросла деталями, вряд ли имевшими место в действительности.

Не стоило бы пересказывать содержание басен, выдаваемых за были, если бы не две существенные детали: при всех различиях оба анекдота схожи в освещении роли царя в деле Меншикова: судьбу светлейшего решал Петр, причем решал ее вопреки мнению Канцелярии, расследовавшей его преступления; схоже и объяснение причин милосердия царя: Меншиков еще ему понадобится, он, царь, не настолько богат дельными помощниками, чтобы с легкостью расстаться с главным из них.

Ставя под сомнение достоверность отражения событий анекдотами, мы должны принять за истину интерпретацию этих событий. Действительно, снисходительность Петра только и можно объяснить многими годами дружбы с фаворитом, преданностью этого фаворита, его военными заслугами, наконец, заступничеством Екатерины. Нет никаких сомнений, что Екатерина роль доброй феи выполняла достаточно прилежно. Не страдал короткой памятью и Петр, несомненно, помнивший и годы привязанности к Данилычу, и деловые качества своего друга.

Перечисленные заслуги относились к прошлому. Воспоминания о них если и не стерлись в памяти, то могли поблекнуть, если бы Меншиков утратил способность быть не только полезным, но и крайне необходимым как в настоящем, так и в будущем.

Царь назначает Меншикова сенатором и руководителем одного из важнейших учреждений обновленного государственного механизма — президентом Военной коллегии. Правда, Военная коллегия была единственной, которой ведали два президента, при неграмотном Меншикове состоял второй президент, иностранец, видимо, в качестве военного специалиста. Заметим, что это назначение светлейшего состоялось в 1718 г., т. е. в то время, когда расследование его хищений подходило к концу и масштабы этих хищений в общих чертах были выяснены.

В следующем году нависла угроза вмешательства в Северную войну Англии — воды Балтийского моря бороздила эскадра английского адмирала Норриса, готовившаяся к нападению на русский флот. Царь посылает Меншикова в Кронштадт, где тот почти месяц руководил возведением дополнительных укреплений, способных преградить подход к Петербургу неприятельской эскадре. В этом же году мы наблюдаем Меншикова за выполнением одного деликатного поручения, к которому царь мог привлечь человека, пользовавшегося его полным доверием, — он руководил описанием ранее опечатанного имущества и бумаг покойного царевича Алексея.

В 1720 г. возникла надобность в увеличении числа кавалерийских и драгунских полков — Петр намеревался развернуть обширные военные действия на территории самой Швеции. Кроме того, носились слухи о возможной высадке шведского десанта на побережье Эстляндии и Лифляндии. «Мейн фронт, — обращался царь к светлейшему, — хотя мы мало верим о транспорте шведском, однако же то подлинно есть, что в Готенбурге мно-

жество судов транспортных берут и пятнают гербом для транспорту»³³. Чтобы опрокинуть неприятеля в море в любом пункте вторжения, необходимы были подвижные отряды, способные быстро преодолевать расстояние.

Комплектование новых кавалерийских и драгунских полков Петр возложил на Меншикова. Тот отправляется на Украину.

Выехал князь из Москвы в начале марта. В пути его застигла запоздалая зима: сильные морозы и метели. «Смело могу донести, — писал Петру князь, — что как я стал при вашем величестве служить, ни в котором пути такой дороги не имел»³⁴.

Князю как фельдмаршалу и президенту Военной коллегии украинский гетман организовал пышную встречу и оказывал положенные его рангу почести: въезжал Меншиков в город в сопровождении казачьих эскадронов, под гром артиллерийских салютов и звуки оркестров.

На Украине Меншиков еще раз блеснул талантом организатора. Он закупил необходимое количество лошадей, мобилизовал множество рекрутов из однодворцев, пересмотрел состав гарнизонных полков, изъяв из них солдат, годных в полевую службу, привлек более тысячи дворянских недорослей для службы в конных полках. В общей сложности Меншиков укомплектовал 26 полков, из которых 4 отправил в Ригу, 10 — в Смоленск, а 12 оставил на границе с Польшей. Прибыв в Смоленск, он и там обнаружил резервы, из которых сформировал два полка, отосланных в Ригу.

Путь из Украины до Смоленска и от Смоленска до Риги Меншиков преодолевал не туристом, а человеком, властно вторгавшимся в то, что нуждалось в улучшении и более совершенной организации. Он исправлял дороги и мосты, оставлял инструкции, организовывал обучение рекрутов, инспектировал полки.

В Петербург Меншиков прибыл 12 сентября и сразу же был принят царем, которому с 5 часов утра до 12 часов дня докладывал об итогах своей полугодовой работы.

Итак, князь на любом поприще, куда бы его ни бросал Петр, проявлял незаурядные способности организатора и безупречного исполнителя царских повелений. Такая распорядительность давала Петру основание выделять светлейшего среди своих сподвижников, даже в те времена, когда отношения между ними стали иными, чем в первые полтора десятка лет их дружбы.

Но у царя была еще одна причина смотреть сквозь пальцы на казнокрадство светлейшего и ради больших заслуг прощать две «маленькие» слабости: честолюбие и алчность. Дело в том, что сам Петр в известной мере поощрял казнокрадство своего фаворита, точнее, долгие годы мирился с ним, как бы не замечал его.

Резиденция Петра в Преображенском, как и Летний дворец в Петербурге ни по размерам, ни по внутреннему убранству не были пригодны для устройства приемов и проведения празднеств. Роль гостеприимного хозяина в свое время выполнял царский любимец Лефорт. Его обязанности перешли к Меншикову.

Меншикова с Лефортом роднило лишь положение любимцев царя, избалованных его вниманием. В остальном фавориты представляли два не похожих друг на друга характера. Лефорт — беспечный весельчак и балагур, живший сегодняшним днем, нисколько не заботясь о завтрашнем. Будущее у него ограничивалось ближайшим вечером, сулившим пирушку и развлечения с дамами. Меншиков, напротив, был стяжателем, снедаемым заботами о будущем не только своим, но и своего рода. Лефорт не был тщеславен, Меншиков же — весь в хлопотах о чинах и званиях. «Дебошан французской», как называл Лефорта один современник, хотя и был женат, но до конца дней своих увлекался слабым полом и к супружеской верности относился легкомысленно. Меншиков, наоборот, слыл добропорядочным семьянином и заботливым отцом.

Дворец Меншикова, как в свое время дворец Лефорта в Москве, был одновременно и дворцом Петра. Знаменитая свадьба карликов, торжества по случаю бракосочетания царевны Анны Иоанновны, женитьба князя-папы Никиты Зотова, пиры в викториальные дни и дни текущих побед на театре военных действий, торжества по случаю спуска на воду кораблей и их закладки происходили во дворце губернатора Меншикова. Там же Петр отмечал и семейные праздники. Светлейший держал лучшую в столице кухню, огромное количество иностранных слуг, великолепный оркестр, роскошный выезд и пышно обставленные покои. Все на нем было самым модным — от парика до башмаков. А огромные дворцы в Петербурге, на Котлине-острове, в Ораниенбауме, являвшемся его летней резиденцией!

По престижным соображениям Петр требовал, чтобы дворец князя был обставлен с роскошью, подобающей его должности и положению. Рассказывают, что однажды царь, прибыв к князю, был неприятно удивлен дешевыми шпалерами на стенах. Меншиков объяснил, что он вынужден был содрать дорогие обои, чтобы расплатиться с начетами. Петр пригрозил: если к следующему его визиту все останется в таком же убогом виде, то светлейший понесет суровое наказание. Пришлось выполнять царскую волю.

Не скупился князь, когда раскошеливался на подарки царю. Преподнесенный ему корабль в день именин в 1711 г. не относился к самым дорогим. Году раньше на именины он отвалил Петру 100 тыс. руб. Поэтому заявление Меншикова о том, что он тратил деньги «ради вашего интересу и для чести вашей на содержание дому», не лишено оснований. Игнорировать его Петр не мог. В то же время сказанное не лишает Меншикова репутации казнокрада.

Как бы там ни было, но Петр не прерывает отношений с князем. Царь часто проводит время в обществе фаворита: обсуждает вместе с ним планы застройки Петербурга, осматривает городские сооружения и укрепления Кронштадта, присутствует на заседании Военной коллегии, часто бывает у него в гостях и сам принимает его, часами ведет деловые разговоры. Часы досуга Петр тоже проводит вместе с Меншиковым: присутствует на

празднестве, устроенном им по случаю дня своего рождения, участвует в свадебных торжествах его племянницы, выступает крестным отцом рожденной у Меншикова дочери. В канун 1720 г. Петр и Меншиков — неперменные участники вылазок всепьянейшего собора³⁵.

Следы приятельских отношений между Петром и Меншиковым нетрудно обнаружить и в их переписке. Это не только традиционное обращение к Меншикову «Мейн фринт», но и тон писем, знаки внимания, оказываемые фавориту. В 1720 г. Петр отправляет к Меншикову на Украину пасхальный подарок: «А вместо красного яйца посылаю к вашей милости книгу трудов моих “Морской регламент”», только что вышедший из печати³⁶. Известно, что завершение работы над этим регламентом доставило Петру особую радость и гордость именно потому, что его автором был он сам.

Петр иногда делился с князем новостями, причем светлейший допускал в ответах известную фамильярность, точнее, переступал грани официальной сдержанности, характерной для ответов царю прочих корреспондентов.

Царь сообщает Меншикову о десанте объединенного англо-шведского флота на безлюдный остров Нарген в 1720 г. Успех англичан и шведов был настолько ничтожным, что дал царю основание иронизировать по этому поводу. Десанту удалось сжечь баню и избу для работных людей. Меншиков в тон иронии отвечал: «А в учиненных обидах сих обоих флотов на остров Нарген — в сожжении бани и избы — не извольте печалиться, но уступите добычу сию им на раздел, а именно баню шведскому, а избу английскому флотам»³⁷.

Отмечая наличие близких отношений между царем и Меншиковым, надобно все же отметить бесспорный факт, что степень этой близости не шла в сравнение с той, которую мы наблюдали в предполтавский период и в первые год-два после него. Теперь уже Петр не жаловался, как прежде, на «скуку» от «разлучения», не проявлял он и нетерпения в ожидании встречи. Более того: Меншиков, как упоминалось выше, находясь в 1720 г. в Смоленске, пожелал прибыть в Петербург для доклада, но царь отклонил это предложение и велел ехать князю сначала в Ригу, а потом уже в столицу, ибо «на час приехать и паки возвращаться не для чего»³⁸.

Не баловал царь Меншикова, как в прежние годы, и письмами. Не каждое письмо-донесение князя удостоивалось ответа. 15 апреля 1721 г. Петр, находясь в Риге, к примеру, ответил единственным письмом на шесть посланий Меншикова³⁹. Такое раньше если и случалось, то всегда сопровождалось извинениями царя.

Бывало, что Петр даже отказывался принимать Меншикова, — возможность подобного афронта в годы расцвета дружбы исключалась совершенно. Теперь светлейший, по его собственному выражению, «не сподобился» приема и должен был доносить суть дела письменно.

Не припоминается случаев, чтобы Меншиков прибегал в своих отношениях с Петром к посредничеству третьих лиц. В былые годы он в любое

время дня и ночи был вхож в царскую резиденцию для личного разговора либо отправлял курьеров с письмами, будучи уверен, что они найдут отклик. Но в 1721 г. он просит кабинет-секретаря Макарова доложить царю, «чтоб о том изволил указ в Адмиралтейство прислать, дабы более из солдат в матросы не принимали»⁴⁰.

Едва ли не самым выразительным свидетельством наступления новой фазы в положении фаворита является переписка Меншикова не с царем, а с другими лицами. Раньше сведения о том, чем был озабочен Петр в данный момент, где он находился и куда намеревался отправиться, о его ближайших планах, наконец, о состоянии здоровья светлейший получал из первых рук. Теперь писем царя поубавилось во много крат, а интерес Меншикова-царедворца к тому, что происходило при дворе, во столько же крат увеличился. Мало ли что могло случиться с часто болевшим Петром, а особенно на театре военных действий, когда он участвовал в морском сражении у мыса Гангут, или в Каспийском походе, или, наконец, во время продолжительного пребывания за границей в 1716 — 1717 гг.! Недостоящую информацию Меншиков получал теперь из вторых рук, прибегая к услугам самых разнообразных лиц.

Среди людей, более или менее систематически извещавших Меншикова о том, что делал или где находился Петр, встречаем Екатерину, кабинет-секретаря Алексея Макарова, генерал-полицеймейстера Петербурга Антона Девиера; кстати женатого на сестре князя, и множество других лиц. Их письма немногословны, богатством содержания не отличаются. Единственное назначение таких писем состояло, видимо, в стремлении оказать Меншикову услугу, в которой тот нуждался. В этом плане особенно показательны письма братьев Олсуфьевых. Оба они были гофмейстерами: Матвей — у Петра, Василий — у Екатерины. Князь весьма дорожил сведениями, исходившими от братьев, и не оставлял ни одного их письма без ответа.

О чем сообщали братья Олсуфьевы Меншикову? Братья сопровождали царскую чету во всех ее поездках. Именно переезды Петра и Екатерины, т. е. то, что было доступно визуальному наблюдению, и составляли главное содержание их писем. В апреле 1717 г. Матвей Олсуфьев сообщил о прибытии царя в Лувр, где он провел полчаса, так как предназначенный для проживания дворец «его величеству за величию не понравился». 4 января 1718 г. письмо Матвея Олсуфьева из Москвы: царь 2 января «изволил со всем собором славить и zelo изрядно веселились, изволил сам подносить по первому стакану вина, потом изрядно господин адмирал». Василий Олсуфьев 2 февраля 1719 г. писал из Марциальных вод: царь и царица «обретаются в добром здравии и изволят употреблять воду. Их величеству вода действует изрядно».

Услуги братьев-соглядатаев Меншиков оплачивал взаимными услугами. Василий Олсуфьев просил князя «не оставлять во своей милости жены моей и робятишек», а Матвей, находясь в Париже, просил одолжить ему 1 тыс. руб.⁴¹

Отмеченная ранее двойственность и даже противоречивость в отношениях между царем и Меншиковым прослеживается и в последние два-три года жизни Петра. Разве рискнул бы князь, зная о враждебном отношении к себе царя, подать ему в 1722 г. челобитную с просьбой по случаю годовщины заключения Ништадтского мира со Швецией «и на воспоминание Полтавской баталии» пожаловать ему город Батурин⁴²? По-видимому, практичный Меншиков на что-то рассчитывал и, во всяком случае, не ожидал, что челобитная вызовет раздражение и упреки царя. Правда, расчет не оправдался, и челобитная осталась без ответа.

С другой стороны, Петр выражал, как и в былые годы, полное удовлетворение деятельностью князя. Приведем на этот счет свидетельство Екатерины. Меншикову она писала 26 марта 1723 г.: «Что ж пишешь о работах, бывших в твоей диспозиции, и оными работами, а паче построенными постоянными дворами, его императорское величество zelo доволен»⁴³. Но это не помешало царю проявить холодное отношение к домогательствам князя о прощении своих «вин». Так как расследование преступлений Меншикова все еще продолжалось, то он обратился к царю 4 апреля 1724 г. с двумя просьбами: «Вину мою мне отпустить и положенных на меня штрафных и за провиант прибыльных и написанных на меня в городах разных расходов... на мне не спрашивать... и единожды оной щот окончатъ». Вторая просьба относилась к почепскому делу. Признав и здесь свою вину, светлейший просил, чтобы впредь была запрещена запись его крестьян в казаки, ибо он терял доходы от них. Аналогичную челобитную он подал и Екатерине с неизменной просьбой на отдельной цидуле о «предстательстве и заступлении»⁴⁴. Ответа не последовало и на сей раз. Полтора месяца спустя Меншиков вновь обратился с просьбой выдать ему беспроцентную ссуду в 20 тыс. руб. сроком на два-три года. Резолюция царя от 30 мая 1724 г. хотя и не в полной мере, но все же удовлетворила просьбу: «Дать займы из сих десять тысяч, а возвратить в полтора года от сего числа»⁴⁵.

Неизвестно, какой была бы судьба Меншикова, если бы Петр прожил еще несколько лет. Скорее всего он разделил бы участь всех казнокрадов, тем более что главная его заступница, Екатерина, из-за своей супружеской неверности утратила влияние на царя. Но 28 января 1725 г. Петра не стало. Меншиков вступил в новый этап своей жизни.

ВЕРШИНА МОГУЩЕСТВА И БОГАТСТВА

Умирая, Петр не оставил завещания. Кто должен стать наследником? Круг претендентов был достаточно широк. Это и две дочери Петра — Анна и Елизавета, супруга царя Екатерина, наконец, десятилетний внук царя — Петр II. Последний как единственный представитель династии по мужской линии, согласно обычаю, имел предпочтительные шансы. Кандидатуры дочерей не котировались прежде всего потому, что обе они были внебрачными — родились ранее оформления брачных уз между царем и Екатериной. К тому же Анна Петровна вышла замуж за герцога Голштинского, чем отрезала себе путь к российскому трону. Что касается Елизаветы, то у этой красавицы хохотуньи, обладательницы веселого нрава, еще не проснулось честолюбие, и она, целиком поглощенная амурными делами, стояла в стороне от борьбы.

Петр I, надо полагать, рассчитывал передать скипетр своей супруге. Мерой, подготавливавшей умы к восприятию этой идеи, было обнародование в 1723 г. манифеста о присвоении ей титула императрицы. В мае следующего года в Успенском соборе Москвы состоялась пышная церемония коронации, на которой присутствовали двор, сенаторы, генералитет, президенты коллегий и иностранные министры.

Пять месяцев спустя над коронованной головой императрицы нависла смертельная угроза — царю стало известно, что Екатерина нарушила супружескую верность. Ее фаворит Виллим Монс поплатился жизнью, а между супругами происходили бурные сцены объяснений. Состояние разъяренного царя со слов фрейлины описал современник: «Он имел вид такой ужасный, такой угрожающий, такой вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом. Он был бледен как смерть. Блуждающие глаза его сверкали. Его лицо и все тело, казалось, было в конвульсиях. Он раз двадцать вынул и спрятал свой охотничий нож, который носил обычно у пояса... Эта немая сцена длилась около получаса, и все это время он лишь тяжело дышал, стучал ногами и кулаками, бросал на пол свою шляпу и

все, что попадалось под руку. Наконец, уходя, он хлопнул дверью с такой силой, что разбил ее»¹.

Разлад в семье, сильно драматизированный автором приведенного текста, видимо, удержал царя от намерения оформить завещанием передачу трона неверной супруге. Вельможам, в ожидании близкой смерти царя собравшимся во дворце в ночь на 28 января, надлежало сделать выбор.

Соратников Петра нельзя представлять безликой толпой единомышленников, лишенных индивидуальности. Если мы присмотримся к ним, то обнаружим в каждом из них своеобразие характера, различную меру талантности и соперничества в близости к трону. Петр умел подавлять несогласия и вспышки противоборства среди людей своего окружения. Но как только его не стало, четче, чем прежде, обозначились две группировки в правящем классе. Одну из них представляла старая знать во главе с Долгорукими и Голицыными, ущемленная Петром и терпеливо ожидавшая своего часа. В другую входили, по терминологии того времени, беспородные люди, обязанные своим возвышением талантам и служебному рвению. Распри и неприязненные отношения между «высочками» были временно забыты. Всех их объединяла опасность быть поверженными вступлением на престол сына погибшего царевича Алексея.

События развивались стремительно, и в ходе борьбы за власть обнаружилась чисто меншиковская манера действовать напористо и решительно. В то время как Долгорукие и Голицыны робко, в маниловском стиле рассуждали, что недурно бы вручить престол Петру II, а Екатерину и ее дочерей заключить в монастырь, раздалась барабанная дробь выстроившихся на площади гвардейских полков. Одним из них командовал Меншиков, другим — генерал Бутурлин.

«— Кто осмелился привести их сюда без моего ведома, разве я не фельдмаршал? — спросил президент Военной коллегии князь Репнин.

— Я велел прийти им сюда по воле императрицы, которой всякий подданный должен повиноваться, не исключая и тебя! — отрезал Репнину Бутурлин².

Кто-то из сенаторов предложил было открыть окно, чтобы спросить у толпы людей, собравшихся у дворца, кого они желают видеть преемником, но Меншиков пресек эту затею.

— На дворе не лето, — сказал он хладнокровно. Весомость своим словам он придал приглашением в покои вооруженных офицеров»³.

Споры, кто займет престол, не успев разгореться, тут же погасли. На стороне людей, поддерживавших Екатерину, была сила, и противники должны были ей подчиниться. Так гвардейские полки открыли новую страницу своей истории, превратившись в главное оружие дворцовых переворотов. Началась и новая страница в жизни Меншикова.

После возведения на престол Екатерины, когда опасность миновала, несогласия в стане ее сторонников разгорелись с новой силой, причем главным источником их был Меншиков, своим честолюбием и высокомерием восстановивший против себя вельмож, действовавших только что с ним заодно. Он на них кричал и говорил грубости.

31 марта 1725 г. в Петропавловском соборе разразился публичный скандал. Туда на всюнощную зашел генерал-прокурор Сената Ягужинский. Подогретый винными парами, он, обращаясь к гробу с телом Петра, сказал: «Мог бы я пожаловаться, да не услышит, что сегодня Меншиков показал мне обиду, хотел мне сказать арест и снять шпагу, чего я над собою отроду никогда не видал». Генерал-прокурора Сената ждали крупные неприятности, и понадобились большие усилия, чтобы уговорить светлейшего довольствоваться извинениями обидчика⁴.

Французский посол Кампредон, достаточно осведомленный о борьбе за власть в придворных кругах, доносил о разговоре Апраксина с Екатериной, состоявшемся вскоре после смерти Петра. Апраксин, некогда слышший приятелем Меншикова, теперь просил Екатерину умерить заносчивость и надменность светлейшего и заставить его «держаться, согласно своему долгу, в границах равенства с прочими сенаторами, а не выделяться, как он это делает».

Императрица ответила: «Прост же ты, если думаешь, будто я позволю Меншикову пользоваться хоть единой капелькой моей власти».

За точность передачи слов Екатерины мы не ручаемся. Можно лишь усомниться в твердости намерения императрицы не поступиться «ни единой капелькой» своей власти. Меншиков далеко не всегда спрашивал ее позволения, действуя ее именем. От наблюдательного Кампредона не ускользнул рост влияния Меншикова. Он писал, что Екатерина питает к Меншикову «самое глубокое чувство доверия», отмечал, что «милости к Меншикову все увеличиваются»⁵.

Но эти «милости» превращали светлейшего в некоронованного правителя страны, «полудержавного властелина», по выражению Пушкина.

Как же распорядился князь своим влиянием в те два года, когда он вознесся на вершину земной власти? Два года — слишком малый срок, чтобы могли раскрыться дарования Меншикова как государственного деятеля. Одно можно сказать с уверенностью — ни Екатерина, ни ее окружение во главе с Меншиковым не помышляли о попятном движении и возвращении допетровских порядков. Правительство продолжало дело, начатое Петром, — правда, без прежнего блеска, настойчивости, энергии и масштабности. Сохранили свое значение изданные при Петре указы и регламенты, утверждавшие господствующее положение дворянства: указ о единонаследии, Генеральный регламент, Табель о рангах, указы о поощрении развития торговли и промышленности. Сохранились и коллегиальная система управления, новшества в быту, продолжались заботы о сохранении боеспособной армии и флота, о распространении просвещения, была открыта Академия наук, устав которой утвердил еще Петр.

Отмечая преетвенность во внутренней политике, все же следует остановиться на двух новшествах, которые если и не вызвали крутой ломки преобразований первой четверти XVIII в., то вносили в них более или менее существенные коррективы. Инициатором обеих перемен был светлейший.

Одно из них было вызвано тяжелым положением трудового населения, на плечи которого обрушились бремя продолжительной войны и неурожая, трижды подряд поражавшие значительные территории.

Осенью 1726 г. Меншиков вместе с Макаровым, Волковым и Остерманом изложили мнение о положении в стране. Это был своего рода программный документ, он намечал пути облегчения страданий населения. Однако авторы записки видели причину бедствий не в усилении эксплуатации крестьян помещиками и государством, а в увеличении числа чиновников, заполнивших центральные и местные учреждения, «из которых иные не пастырями, но волками, в стадо ворвавшимися, почитаться могут».

По мнению Меншикова, не размер подати, а средства ее взыскания обременяли народ. Это представление прочно укрепилось в голове князя еще шесть лет назад, когда правительство Петра I обсуждало сумму подати, а сам Меншиков, находясь в пути на Украину, «у обывателей, у дворян, у помещиков и крестьян своих и у прочих спрашивал, по сколько з двора сходит денежных поборов». Результаты поверхностного изучения вопроса из окна роскошной кареты позволили князю рекомендовать царю установить подать в 80 коп. с мужской души, которую, как он полагал, крестьяне «бес тягости и заплачат»⁶. На поверку оказалось, что и установленная 70-копеечная подать была крайне обременительной и истощала ресурсы крестьянского хозяйства. Князь же оставался верен убеждению, что достаточно уменьшить число подьячих и рассыльщиков всякого рода, налетавших, подобно саранче, на деревни, ликвидировать в уездах полковые двory, взимавшие подушную подать, и разместить солдат в казармах городов, как среди поселян наступит благоденствие.

Рост недоимок и бегство крестьян тревожили не только Меншикова. 4 ноября 1726 г. в Верховном тайном совете состоялся обмен мнениями, «каковым бы образом учинить поселянам в сборе подушных денег обложение».

Меншиков, как и прочие члены Верховного тайного совета, разумеется, выступал не радетеlem крестьянских интересов. Он руководствовался совсем иными соображениями: «О крестьянах надо иметь попечение потому, что солдат с крестьянином связан, как душа с телом, и когда крестьянина не будет, тогда не будет и солдата». Аналогичная мысль была сформулирована и в журнале Верховного тайного совета 4 ноября: дело «до того дойдет, что взять будет не с чего» — часть налогоплательщиков разбежится, а для оставшихся на месте уплата подати будет «великим отягощением». Кое-кто из членов Верховного тайного совета выступал с предложением уменьшить размер подати на 12 — 20 коп. с мужской души. Рекомендации членов Верховного тайного совета, как и авторов записки, касались упрощения системы сбора налогов, уменьшения числа чиновников в учреждениях, создания специальной комиссии для изучения нужд купечества⁷.

Мысль о необходимости удешевить содержание административного аппарата Меншиков высказал еще в апреле. Тогда он предложил отказаться от выплаты жалованья мелким чиновникам Юстиц-коллегии, Вот-

чинной коллегии и провинциальных учреждений. Крапивное семя должно было довольствоваться «акциденциями» — так деликатно называлась мзда, даваемая чиновнику всяким, кто пожелал воспользоваться его услугами⁸.

Некоторое время спустя приступили к претворению этой программы в жизнь: была создана комиссия о коммерции, упразднена Мануфактур-коллегия, купцам разрешалось вести торговлю через Архангельск, сокращены штаты местных учреждений. Эти паллиативные меры дали ничтожную экономию расходов на содержание административного аппарата и не могли существенно изменить положение крестьян и горожан — подушную подать, т. е. самую обременительную повинность трудового населения, взysкивали с прежней свирепостью. Предложение о ее сокращении не встретило поддержки у большинства членов Верховного тайного совета и прежде всего у Меншикова.

Не помогла и внедренная система «акциденций». Помимо сокращения административных расходов с ее введением, как рассуждал князь, «дела могут справнее и бес продолжения решиться, понеже всякой за акциденцию будет неленостно трудиться». На деле эффект экономии был невелик. Зато узаконенные взятки развивали волокиту, во много крат усилили произвол мелкой канцелярской сошки, пышно расцвело вымогательство. Канцелярист устремлял хищный взор на руку посетителя, в которой тот вместе с челобитной держал «акциденцию». Размер поощрения был прямо пропорционален энергии, затрачиваемой канцеляристом при разбирательстве дела. Как показала практика последующих лет, перевод чиновников с казенного жалованья на содержание челобитчиков увеличил поток неразобранных дел. Жалобщики состязались в определении размера взятки, и порой не хватало жизни одного поколения, чтобы довести какое-либо пустячное дело до благополучного конца.

Зато Верховный тайный совет, созданный, согласно учредительному указу, «как для внешних, так и для внутренних государственных важных дел», изменил иерархию высших учреждений в государстве⁹.

Парадокс его возникновения состоял в том, что здесь воедино сливались противоречивые чаяния лиц, причастных к его созданию. Меншиков в организации Верховного тайного совета видел средство умаления роли Сената. Его волновала не столько судьба Сената, низведение его до роли Высокого вместо Правительствующего, сколько стремление избавиться от контроля Ягужинского. Эта вражда имела давнюю историю. Датский посол Юст Юль еще в 1710 г. записал в своем дневнике: «Милость к нему (Ягужинскому. — Н. П.) царя так велика, что сам князь Меншиков от души ненавидит его за это; но положение Ягужинского в смысле милости к нему царя уже настолько утвердилось, что, по-видимому, со временем последнему, быть может, удастся лишить Меншикова царской любви и милости, тем более что у князя и без того немало врагов»¹⁰.

В проницательности датскому послу не откажешь. Действительно, положение Ягужинского в последующие годы упрочивалось, в то время как у Меншикова оно не раз колебалось. Светлейший даже заискивал перед

Ягужинским. Поздравляя его с наступившим 1718 годом, Меншиков сетовал на то, что тот оставлял его без «любительских писаний». Но более всего князя удручало, что Ягужинский «отсюда (т. е. из Петербурга. — Н. П.), не простясь с нами, отъехать изволили, о чем я паче чаяния сомневаюсь, что не произнесены ль какие плевелы». Светлейший заклинал не верить им «и содержать мя в своей неотменной любви»¹¹.

Стремление добиться расположения Ягужинского еще более усилилось после того, как тот стал генерал-прокурором. Не было случая, чтобы князь оказывал кому-либо внимание, требовавшее от него даже ничтожных материальных затрат. Исключение составлял Ягужинский. 8 июня 1722 г. светлейший писал в Москву из Клина сестре супруги Варваре Михайловне: «При сем посылаем к вам присланных ис Питербурха новых фруктов апельсинов, которые извольте кушать во здравие и из оных извольте послать десять или побольше к господину генерал-прокурору Ягужинскому»¹². Съеденные апельсины не помешали Ягужинскому не раз резко выступить против князя. Теперь появилась возможность свалить Ягужинского, а вместе с ним и умалить значение Сената, подчинив его Верховному тайному совету.

Организация нового учреждения соответствовала также интересам Толстого, Апраксина, Головкина и других вельмож. В нем они видели средство обуздания своеволия Меншикова, ибо предполагалось, что Верховный тайный совет станет заседать под председательством императрицы, а его члены будут наделены равными правами. Каждый из них соглашался признать Меншикова равным, но все они противились его превосходству.

Склонность к созданию такого Совета проявляла и Екатерина, рассчитывавшая руководствоваться советами не одного Данилыча, а целого учреждения. Это давало ей возможность упрочить свое положение, внести успокоение в ряды родовитой и неродовитой знати, роптавшей против роста влияния князя.

Из создания Верховного тайного совета наибольшие выгоды извлек Меншиков. Надежды на то, что императрица будет участвовать в работе учреждения, председательствуя дважды в неделю на его заседаниях, не оправдались — такое ей оказалось не под силу и потому, что она не обнаружила ни желаний, ни склонности к государственным делам, и потому, что частые недомогания приковывали ее к постели. Меншиков быстро подмял членов Верховного тайного совета — Апраксина, Головкина, Голицына и Остермана. Сначала он добился права непосредственного доклада императрице по делам Военной коллегии, президентом которой он стал сразу же после смерти Петра, а затем и по остальным вопросам.

В дни работы Верховного тайного совета Меншиков, как правило, навещал Екатерину дважды: в первый раз — перед началом заседания — он, видимо, «согласовывал» предстоявшие решения; во второй визит — после окончания заседания: он докладывал о принятых постановлениях.

Не подлежит сомнению, что Екатерина, фактически изолированная Меншиковым от общения с «верховниками», смотрела на мир глазами светлейшего. Отчасти это ее устраивало, ибо освобождало от необходи-

мости вникать в утомлявшие ее дела. Но с другой стороны, положение «полудержавного властелина», в котором оказался князь, значительно расширило поле его деятельности.

Достаточно взглянуть на перечень лиц, толпившихся в приемной дворца Меншикова, чтобы убедиться в том, что состав визитеров стал более пестрым. В 1719 г. выхода светлейшего ожидали преимущественно люди в военных мундирах: петербургский генерал-полицеймейстер Девиер, комендант города Скорняков-Писарев, советники и ассессоры Военной коллегии. Теперь в приемной Меншикова генеральские мундиры перемежались со штатскими. Среди последних встречаем президентов и вице-президентов коллегий, сенаторов, прокуроров, иностранных послов, губернаторов. Все они о чем-то докладывали и ждали распоряжений. Надобно было вникать в дела, простиравшиеся далеко за пределы военного ведомства. Но сил у князя поубавилось. В этом нас убеждают «Повседневные записки». Меншиков стал отправляться ко сну на час раньше, а вставать на час позже. Тогда он днем не отдыхал, теперь он почти ежедневно два-три часа «изволил почивать». Вполне возможно, что, укладываясь в постель в дневные часы, Меншиков выполнял рекомендацию упоминавшегося выше консилиума врачей. В их заключении было сказано: «Сон, которой наилучше силы возвращает и человека увеселит, да изволит его светлость употреблять побольше прежних времен»¹³.

За обеденный стол он теперь тоже садился реже, иногда отказывался от ужина. «Повседневные записки» за 1726 г. отметили еще одно новшество: иногда за столом сидела вся семья.

Мы не знаем меню князя, но врачи рекомендовали ему воздерживаться от употребления «очень соленых, пряных и всяких горьких еств, мяс копченых и соленых потрав», а также водки. Виноградное вино разрешалось пить по одной-две рюмки. В рекомендательном рационе Меншикова значились исключительно диетические блюда: ячневая, овсяная, рисовая, пшеничная и гречневая каши без молока и с молоком, телятина и бульон из нее, мясные кисели и вареные овощи¹⁴.

Иногда здоровье вынуждало Меншикова прерывать начатый рабочий день. 24 октября он встал, как обычно, в седьмом часу, вышел в «передспальню», но почувствовал себя плохо и возвратился отлеживаться и вновь вышел два часа спустя. Подобный случай повторился и 12 ноября, с тем лишь различием, что в это утро понадобилось медицинское вмешательство — ему «пущали кровь». Никогда раньше Меншиков ни минуты не находился в одиночестве. Теперь шумная толпа его утомляла и он искал уединения.

Продолжительных и жестоких недомоганий, подобных тому, которое ему довелось перенести в 1719 г., у Меншикова не было, но он по крайней мере дважды чувствовал себя нездоровым, по неделе-две не выезжал из дома и коротал время за шахматами и картами. Показателем самочувствия Меншикова является периодичность посещения им мыльни.

Среди современников князь слыл едва ли не самым опрятным человеком. Тем не менее даже он мылся, как правило, раз в месяц. В течение

1726 г. он был в мыльне 26 раз. Почти половина посещений падает на апрель и октябрь — месяцы, когда он болел. Мыльней в данном случае Меншиков пользовался не столько в гигиенических, сколько в лечебных целях — парился он по два-три часа. Надо полагать, с этой же целью ему была приготовлена мыльня 14 и 17 мая, а также 4 и 7 июня.

Сведениями, сколь целебна была мыльня для Меншикова, мы не располагаем. Документально подтверждается лишь одно — интенсивность его рабочего дня по сравнению с 1719 г. значительно уменьшилась не только за счет сна, но и за счет времени, ушедшего на игру в шахматы и карты. Шахматы стали страстью светлейшего. В дни недомогания он многие часы проводил за шахматным столиком. Но и в обычные дни князя можно было довольно часто наблюдать за игрой и после обеденного сна, и даже в утренние часы.

Годы, несомненно, брали свое. Но объяснить снижение активности только упадком сил и неизлечимой болезнью вряд ли возможно. Дело в том, что изменился характер и ритм жизни при дворе. Раньше импульсы исходили от Петра и Меншиков был лишь исполнителем его воли, правда, инициативным, но все же только исполнителем. Екатерина таких импульсов была лишена.

Отдав должное памяти супруга соблюдением траура в течение года, она будто бы спешила наверстать упущенное: балы и маскарады чередовались с празднествами по случаю выдачи наград, смотра гвардейских полков. Продолжая традиции, императрица совершала частые прогулки по Неве, сопровождавшиеся пушечной пальбой, присутствовала на спуске галер. Развлечения продолжались до глубокой ночи. 1 мая на Екатерину был возложен польский орден Белого Орла. Празднества закончились в 7 часов утра следующего дня. 7 мая двор «веселился» до 3 часов ночи. Публичные развлечения дополнялись камерными, происходившими ежедневно во дворце, в кругу гофдам, камергеров, гофмейстеров и прочих придворных. Ночь и день в укладе ее жизни поменялись местами. Получить аудиенцию у императрицы стало делом трудным даже для светлейшего.

Не раз бывало, что Меншиков приезжал во дворец в 11 часов дня, но Екатерина «изволила почивать». Князь коротал время в дежурной для генерал-адъютантов, подвернется партнер — он сыграет в шахматы, навестит Елизавету Петровну, зайдет в Дворцовую канцелярию, но, так и не дождавшись, отправляется домой либо все-таки встречался с императрицей часа через два-три. 28 сентября он прибыл во дворец сразу же после заседания Верховного тайного совета. Хотя наступил двенадцатый час, но Меншиков попал на прием только в третьем — императрица изволила «почивать». Вряд ли ей нездоровилось, ибо накануне, 26 сентября, она «веселилась» во дворце князя до 3 часов ночи.

Располагал ли Меншиков еще какими-либо планами социальных и административных преобразований?

Дать утвердительный ответ на поставленный вопрос уполномочивает нас конец одной фразы из проекта духовной Петру II: «Ваше император-

ское величество сами изволите видеть, что восприяли вы сию машину недостроенную, которая к совершенству своему многова прилежания и неусыпных трудов требует»¹⁵. Следовательно, источник свидетельствует, правда косвенно, о намерении Меншикова что-то устраивать и перестраивать в государственном механизме, однако что и как — мы не знаем.

Практически теперь уже ничто не ограничивало ни честолюбивых замыслов «полудержавного властелина», ни его жажды к стяжанию. Еще до образования Верховного тайного совета он исхлопотал себе пожалование города Батурина, которого он тшетно домогался у Петра в предшествующие годы. Добился он и указа, прекращавшего расследование его злоупотреблений, совершенных до 1721 г. Все начеты и долги, числившиеся на нем, были закрыты. Претендовал он и на получение чина генералиссимуса, но преждевременная смерть Екатерины воспрепятствовала осуществлению домогательства. У Меншикова возникли еще две честолюбивые мечты: одну из них, поскромнее, он попытался осуществить летом 1726 г. за пределами России. Меншиков отбыл из Петербурга 23 июня. Накануне отъезда, 22 июня, он проявил небывалую активность: совещался с Остерманом, затем присутствовал в Верховном тайном совете, а остальное время до 11 часов ночи находился в обществе Екатерины¹⁶.

Какие неотложные дела звали Меншикова в Курляндию? В последние годы он стал домоседом и если выезжал из столицы, то не далее загородной своей или царской резиденции. Теперь ему предстояла дальняя дорога. Чтобы понять мотивы, побудившие князя отправиться в Ригу и Митаву, надобно напомнить о событиях, предшествовавших этой поездке.

Петр, как известно, положил начало заключению брачных союзов по политическим соображениям, используя в качестве невест своих племянниц. Одну из них, Анну Иоанновну, он выдал замуж за герцога Курляндского. Это герцогство возникло в XVI в. на развалинах Ливонского ордена. Оно находилось под верховным покровительством Польши. По условиям договора 1561 г. герцогу предоставлялось право чеканить монеты, содержать войско, вступать в дипломатические переговоры. Единственное ограничение суверенитета состояло в лишении герцога права объявлять войну без ведома польского короля.

В 1698 г. умер герцог Фридрих Казимир, оставив наследником шестилетнего сына Фридриха-Вильгельма. Его опекуном был назначен дядя — Фердинанд. В ноябре 1710 г. в Петербурге отпраздновали пышную свадьбу девятнадцатилетнего Фридриха-Вильгельма и Анны Иоанновны. Гвоздем празднества, устроенного во дворце Меншикова, были свезенные со всей страны карлы и карлицы, для которых смастерили специальную мебель и посуду. Из двух разрезанных пирогов вылезли модно одетые карлицы, обратившиеся к новобрачным со словами приветствия. Затем, по свидетельству очевидца, «заиграли менует, и карлицы весьма изящно протанцевали этот танец на столе перед новобрачными. Каждая из них была ростом в локоть»¹⁷.

Два месяца брачной жизни сменили многие годы вдовьей жизни — в начале 1711 г. во время переезда супружеской четы из Петербурга в Кур-

ляндию Фридрих-Вильгельм заболел оспой и умер. Вдова тем не менее отправилась в Митаву, где в скуке коротала дни среди чуждого ей курляндского дворянства — потомков немецких рыцарей. Администратором вновь объявил себя Фердинанд. Пятнадцать лет Анна терпеливо и покорно провела в замке в окружении скромного штата, постоянно испытывая материальную зависимость от русского двора. Редкое ее письмо к Екатерине не содержало жалоб на отсутствие средств для поддержания престижа. Она, оказывается, не имела даже «нарочитово» платья, так что ей было неловко появляться в обществе местных дам, богаче одетых и шеголявших отнюдь «не убогими» драгоценностями.

В 1726 г. в невылой судьбе герцогини мелькнул просвет — появилась возможность выйти замуж. В роли жениха подвизался граф Мориц Саксонский, побочный сын Августа II, красавец, слывший повесой и дамским угодником. Вволю натешившись громкими амурными похождениями и игрой в войну — к своим 33 годам этот скиталец успел обнажить шпагу против французов, турок и шведов, — граф Мориц наконец решил обрести пристанище. Для полного счастья ему недоставало самой малости — богатой невесты. Выбор пал на Анну Иоанновну, вместе с которой он в качестве приданого намеревался получить и герцогство Курляндское. Но на пути осуществления личного благополучия вдовы вновь встали политические соображения. Дело в том, что в Курляндии ждали близкой кончины престарелого и бездетного администратора Фердинанда и дворяне при тайном содействии Августа II избрали герцогом Морица Саксонского. Следующий шаг — женитьба на Анне Иоанновне. Но этот план встретил противодействие с нескольких сторон.

Август II, как известно, выступал в двух ипостасях — саксонского курфюрста и польского короля. В качестве саксонского курфюрста он хотел иметь «своего человека» в Курляндии. Однако это намерение противоречило интересам Польши, где не скрывали желания ликвидировать после смерти Фердинанда Курляндское герцогство и присоединить его к Речи Посполитой. Усиление саксонского курфюрста не устраивало и Россию¹⁸.

В этой ситуации светлейший вспомнил, что он еще в 1711 г. домогался курляндского престола и даже предлагал польскому королю куш в 200 тыс. руб., если тот поможет занять его. Теперь, считал он, наступил благоприятный час, чтобы к своему титулу прибавить еще два слова: «герцог Курляндский».

Накануне отъезда из Петербурга Меншиков получил письмо от Анны Иоанновны. Герцогиня не решалась выходить замуж за графа Морица без санкции русского двора и просила у светлейшего ходатайства перед императрицей: «Прилежно вашу светлость прошу в том моем деле по древней вашей ко мне склонности у ее императорского величества предстательствовать и то мое полезное дело совершить». Свое отношение к жениху она недвусмысленно выразила так: «И оной принц мне не противен»¹⁹.

Меншиков отправился в Курляндию не для того, чтобы «полезное дело совершить» в интересах Анны Иоанновны, а, напротив, действовать на-

перекор этим интересам. Официальная цель его поездки — инспектирование войск, расположенных в прибалтийских крепостях. В протоколе Верховного тайного совета на этот счет было написано так: ехать Меншикову «под образом, будто ради осмотра полков во осторожность от аглинской и датской эскадр, обретающихся в Балтийском море». Подлинная цель — ради «отвращения» избрания неугодных России кандидатов в герцоги курляндские, и прежде всего Морица Саксонского²⁰.

27 июня князь прибыл в Ригу, а ранним утром следующего дня туда же приехала Анна Иоанновна и сразу же пригласила Меншикова на беседу. О содержании разговора мы узнали из двух писем, отправленных в один день — 29 июня. В письме к супруге Дарье Михайловне Меншиков нисколько не сомневался в безоговорочной поддержке его затеи Анной Иоанновной: «Оная, кажется, с великою охотою паче всех желает, чтоб в Курляндии князем быть мне, и обещала на то всех курляндских управителей и депутатов склонить»²¹. Другое письмо, адресованное императрице, приоткрывает завесу на то, какими способами князь стимулировал «великую охоту» Анны Иоанновны и как она отказалась от льстившей ей возможности стать супругой красавца.

Свидание началось с делового разговора. Герцогиня пыталась убедить князя, что ей опостылела вдовья жизнь, что еще Петр I имел намерение устроить ее судьбу, «но не допустил того некоторой случай», что представившейся возможности выйти замуж нельзя упустить. Меншиков парировал эти доводы заявлением, что императрица не согласится на брак по причине «вредительства интересов российской». К тому же граф Мориц — дитя любви, и герцогине «в супружество с ним вступать неприлично, понеже оной рожден от метресы». В резерве светлейшего находился еще один аргумент, который он выложил последним: если герцогом будет избран он, Меншиков, то он гарантирует сохранение прав Анны Иоанновны на ее курляндские владения; «ежели же другой кто избран будет, то она не может знать, ласково ль с ней поступать будет, и дабы не лишил ее вдовствующего пропитания».

В донесении императрице князь писал, что он разговаривал с герцогиней «со учтивостью». Вряд ли светлейший вел беседу в светском ключе. В устах Меншикова, начисто лишённого дипломатического такта, изложенные им условия звучали ультиматумом. Все его поведение в Курляндии не оставляет сомнений в том, что главным аргументом, на действенность которого он рассчитывал, была сила. Нажиму князя вдова могла противопоставить только слезы. Ей ничего не оставалось, как принять условия и даже пообещать свою помощь в их претворении.

Меншиков мысленно уже примерял курляндскую корону, но позно ночью из Митавы в Ригу прибыли князь Василий Лукич Долгорукий и Петр Михайлович Бестужев с неприятной новостью: члены курляндского ландтага отклонили кандидатуру Меншикова «для веры», т. е. из-за принадлежности его к иному вероисповеданию, а принца голштинского, второго кандидата, устраивавшего петербургский двор, — «что еще молод». Этому претенденту было 13 лет. «Курлянички» заявили, что выборы уже проведены

и их вполне устраивает единогласно избранный Мориц Саксонский. Не подействовала и угроза Долгорукого, заявившего, что если курляндцы не отменят своего избрания, «то с ними другим образом поступлено будет»²².

Светлейший счел, что теперь ему ни к чему скрывать подлинные цели своего приезда в Ригу. Он решил действовать напрямик и 29 июня отправился туда, где лежала корона, — в Митаву. Здесь он пробыл четыре дня, несколько раз встречался с Анной Иоанновной и дважды, 30 июня и 1 июля, со своим соперником Морицем Саксонским. Князь Василий Лукич, энергично поддерживавший притязания Меншикова, общался с представителями ландтага и настойчиво предлагал им собрать депутатов на новое заседание, чтобы отменить прежнее решение. Оберраты потребовали на созыв ландтага месяц, но князь полагал, что столь продолжительный срок затребован ими «для провозждения времени», и отпустил им 10 дней. Оберраты проявили внешнюю покорность, чем рассеяли сомнения князя.

Казалось, что успех сопутствовал Меншикову и в переговорах с графом Морицем. Во время одного из свиданий он заявил своему собеседнику, чтобы тот убирался из Курляндии, ибо императрица «его избрания не допустит».

«Никогда не думал, чтобы мое избрание было противно ее величеству», — возразил Мориц. Более того: он просил Меншикова «предстательствовать» перед императрицей, чтобы та не препятствовала его утверждению в Курляндии. Князь ответил: «Я о вас иметь старание готов, но заподлинно известен, что императрица от своего намерения не отрешится».

На этом игра в дипломатию закончилась, и начался деловой разговор, более напоминавший коммерческую сделку. Меншикову Мориц обещал «знатную сумму» отступного. Князь ответил готовностью уплатить такую же сумму Морицу, если тот будет ему помогать в избрании. Мориц упорствовал, но все же уступил, заявив, «что тою суммою будет доволен». На том и разошлись. Граф обязался покинуть Курляндию, привлечь на сторону Меншикова местных дворян и обеспечить поддержку Августа II.

Все устроилось лучшим образом. Осталось ждать съезда депутатов ландтага, которые оформили бы избрание светлейшего. По его расчетам, на это требовалось недели две, которые он решил провести в Риге. Но надежды вновь рухнули.

Оберраты проявляли покорность до тех пор, пока в Митаве находился Меншиков, угрожавший им вводом в Курляндию 20-тысячного войска. Стоило князю покинуть Митаву, как оберраты отказались созывать ландтаг.

Ярости Меншикова, когда ему сообщили о коварстве ландратов, не было границ. Будь его воля, он в отместку за обман смирил бы их строптивость войсками, но без санкции Петербурга он это сделать не рискнул. В столицу было отправлено несколько курьеров с настойчивой просьбой разрешить ему «вести в Курляндию полков три или четыре». «Буде же обходитца с ними ласково, то не надеюсь от того их замышленного дела отвратить» — так заканчивал Меншиков одно из своих донесений²³.

В Верховном тайном совете, заседавшем в присутствии императрицы, рассудили, что вооруженное вмешательство в курляндские дела чревато

вступлением России в военный конфликт с Польшей, что не входило в намерения правительства. Меншикову было предложено возвратиться в Петербург.

В личном плане вояж светлейшего никому из непосредственных участников курляндской эпопеи не принес желаемых результатов: князь не стал курляндским герцогом; Мориц Саксонский тоже оказался без Курляндии и без «знатной суммы», обещанной Меншиковым; Анна Иоанновна не обрела супруга. И все же главная цель поездки была достигнута: нежелательный для России кандидат не утвердился герцогом. Полезным, видимо, было и инспектирование Меншиковым прибрежных крепостей. Правда, для осмотра укреплений в Риге, Динаменте и Пернове не требовалось 26 дней, в общей сложности потраченных Меншиковым на поездку в Прибалтику. В Риге он отдал последний долг боевому генералу Северной войны, губернатору Аниките Ивановичу Репнину. В день приезда туда, 27 июня, он навестил смертельно больного Репнина. Как доносил Меншиков Екатерине, больной «хотя и в памяти, однакож, чтоб был жив надежды нет, понеже со дней дватцать как не едал и докторы о пользовании его отчаялись». 10 июля светлейший участвовал в церемонии похорон.

В столицу Меншиков возвратился в шестом часу вечера 21 июля. Любопытная деталь: не заезжая домой, он отправился во дворец к императрице, где провел четыре часа. Быть может, надобность в столь поспешном свидании была вызвана крайней необходимостью. Дело в том, что в иностранной литературе распространена версия, не подтверждаемая, впрочем, ни одним из известных нам источников русского происхождения, что бесцеремонное поведение князя в Курляндии вызвало жалобу Анны Иоанновны, прибывшей специально в Петербург, и что Меншикову грозила опала. Если даже такая угроза и существовала, то светлейший быстро ее устранил.

В честолюбивых планах Александра Даниловича неудачная попытка овладеть курляндской короной являлась всего лишь досадным эпизодом, впрочем не оставившим большой горечи, ибо он вынашивал другую, более важную мечту, осуществление которой способно было перекрыть все неудачи на его жизненном пути, вместе взятые. Претворяя ее, он действовал предусмотрительно, и казалось, что на этот раз никакая случайность не могла помешать ему.

Мы видели, что Меншиков после смерти Петра I был самым решительным противником воцарения Петра II. Тогда он имел множество сторонников из числа вельмож, выдвинувшихся в годы преобразований. Понадобилось лишь два года, чтобы перед глазами изумленных единомышленников Меншиков коренным образом изменил отношение к кандидатуре Петра II. Из лагеря противников он переметнулся в стан самых горячих сторонников передачи трона двенадцатилетнему юнцу. Причина тому — намерение женить Петра на своей старшей дочери, Марии. Желание породниться с царствующей династией Меншиков вынашивал еще в те годы, когда он не был светлейшим. Он как-то заметил, что Петр I обратил внимание на сестру Анну Даниловну. Возникла надежда выдать

сестру за царя, и Меншиков принимает срочные меры для повышения ее образовательного уровня. «Для Бога, Дарья Михайловна, — писал он будущей супруге, — понуждай сестру, чтобы она училась русскому и немецкому учению, чтоб даром время не проходило»²⁴.

Увлечение Петра было мимолетным, туманные планы рухнули, и Анне Даниловне пришлось довольствоваться положением супруги царского денщика Девиера. Теперь у светлейшего возник еще один шанс достичь желаемого, и он не упустил случая им воспользоваться.

А как же быть с помолвкой Марии с сыном польского графа Сапеги? Она состоялась еще 13 марта 1726 г. в пышно убранном дворце Меншикова под гром артиллерийских залпов и звуки оркестра в присутствии всей столичной знати. Исполнился год со времени погребения Петра, и Екатерина, участвовавшая в обмене перстнями между будущими супругами, впервые, как сказано в «Повседневных записках», «изволила дать позволение на забаву танцами»²⁵.

Милости по отношению к Сапегам посыпались как из рога изобилия. О них, конечно же, хлопотал сам светлейший: накануне помолвки графа Сапегу-отца Екатерина неведомо за какие заслуги пожаловала чином российского генерал-фельдмаршала, а в том же марте — орденом св. Андрея Первозванного; будущий зять получил придворный чин камергера. Меншиков всякий раз демонстрировал дружеское расположение семье заезжего жениха. Отец и сын — желанные гости в доме князя. Меншиков тоже частенько навещал свояка.

Так продолжалось до тех пор, пока у князя окончательно не созрел план женить Петра на собственной дочери. Желание возложить корону на своих потомков было юридически закреплено завещанием Екатерины. Воля императрицы, несомненно навязанная ей светлейшим, состояла в том, чтобы ее наследником стал Петр II и чтобы он непременно женился на одной из дочерей Меншикова²⁶.

Слух о существовании завещания проник в среду сановников и вызвал вполне основательные опасения, что князь на правах тестя малолетнего императора будет распоряжаться судьбой каждого из них. Однако открыто противодействовать намерениям Меншикова никто не посмел.

«— Что ж не доносите императрице? — спрашивал Девиер у генерала Бутурлина.

— Двери затворены, — отвечал тот.

— Чаю, царевна Анна Петровна плачет, — продолжал Бутурлин.

— Как ей не плакать, — согласился Девиер, — матушка родная».

Собеседники сошлись на том, что царевна ходит на отца и должна стать наследницей престола после смерти матери: она и умильна, и собою приемна, и умна. Оба они были настроены против воцарения Елизаветы Петровны, младшей дочери императрицы.

«— Она, — заметил Девиер, — тоже изрядная, только сердитее. Ежели б в моей воле было, я желал бы, чтоб царевну Анну Петровну государыня изволила сделать наследницею.

Бутурлин согласился:

— То бы не худо было, и я бы желал.

Во время другой встречи Бутурлин продолжил начатый разговор:

— Светлейший князь усилится. Однакож хотя на то и будет воля, пусть он не думает, что Голицын, Куракин и другие ему друзья и дадут над собою властвовать. Нет! Они скажут ему: полно-де, милейший, ты и так над нами властвовал. Поди прочь!

Бутурлин высказал и личную обиду на светлейшего:

— Служу давно, явил свое усердие царю в споре его с еестрой Софьей Алексеевною. Но ныне Меншиков что хочет, то и делает, и меня, мужика старого, обидел: команду отдал, мимо меня, младшему и адъютанта отнял»²⁷.

Взгляды Девиера и Бутурлина разделял Толстой, но с тем различием, что он предпочитал видеть на престоле младшую дочь Петра — Елизавету.

А что с Петром? Вопрос не застал Толстого врасплох: его надо отправить за границу — посмотреть другие государства, как то делал покойный дед. Пока он будет за границей, Елизавета утвердится в наследстве.

Если Девиер, Бутурлин и Толстой опасались мести Петра за погибшего отца, то князя Ивана Долгорукого, Александра Нарышкина и Андрея Ушакова пугало прежде всего всесилие Меншикова. Они тоже искали способа высказать свою тревогу Екатерине.

Но Екатерина не то что не хотела, а уже не могла предпринять меры, ущемлявшие светлейшего, — она была прикована к постели и слепо выполняла его волю. Князь настолько верил в успех, что мог позволить себе не нарушать раз принятого распорядка. Во всяком случае, при чтении «Повседневных записок» невозможно накануне смерти Екатерины уловить ни накала страстей, ни проявлений напряженности. Лишь более частые, чем прежде, встречи с Остерманом предвещали наступление перемен.

У барона был верный нюх. Его он не подвел и на этот раз. Остерман правильно рассудил, что перевес сил на стороне Меншикова, и не скупился на советы, помогавшие князю добиться успеха. В течение двух недель, предшествовавших смерти Екатерины, Меншиков встречался с ним семь раз. Насколько светлейший нуждался в советах барона, можно судить хотя бы по тому, что четыре из семи свиданий состоялись не у Меншикова, а у Остермана: Меншиков снизошел до того, что сам наносил визиты.

Веда конфиденциальные разговоры с Остерманом, Меншиков пристально следил за состоянием здоровья императрицы. Смертельно большую Екатерину он навещал по нескольку раз в день. 24 апреля 1727 г. императрице стало легче, и Меншиков успел подсунуть ей указ о создании следственной комиссии над Девиером, выступавшим против матримониальных планов Меншикова. В «Повседневных записках» это драматическое для Девиера событие изложено так: во втором часу дня Меншиков отправился к Екатерине «и, немного побыв, вышел в переднюю и приказом ее императорского величества у генерал-полицеймейстера графа Девиера изволил снять кавалерию и приказал гвардии караульному капитану арестовать, и потом, паки побыв у ее императорского величества с полчаса, изволил возвратиться в свои покои»²⁸.

Лефорт при описании этого события сообщает любопытную подробность: «К Девиеру, находившемуся в покоях дворца, явился караульный капитан и, объявив ему арест, потребовал от него шпагу. Девиер, показывая вид, что отдаст шпагу, вынимает ее с намерением заколоть князя Меншикова, стоявшего сзади его, но удар был отведен»²⁹.

5 мая у императрицы началась агония. Во всяком случае, в этот день светлейший был срочно вызван в покои императрицы, а следующий весь день он безотлучно находился при умиравшей. В минуту, когда к ней вернулось сознание, она санкционировала наказание привлеченных к следствию. Девиер и Толстой лишались чинов и имений и подлежали ссылке: первый — в Сибирь, второй — в Соловецкий монастырь. Лишенного чинов Бутурлина сослали в дальнюю деревню. Понесли наказание и прочие участники разговоров.

Поражает легкость, а вернее, легкомыслие, с которым Меншиков расстался со своими недавними союзниками.

Время с 6 мая, когда в субботний день скончалась Екатерина, по понедельнику 19 июня 1727 г., когда светлейший тяжело заболел, можно назвать временем радужных надежд. Все у Меншикова получалось наилучшим образом — его планы осуществлялись с удивительной легкостью и последовательностью. Он уже видел себя правителем государства при малолетнем императоре и был уверен, что он вот-вот доберется до вершины земной славы и богатства.

В воскресенье 7 мая секретарь Верховного тайного совета в присутствии высших чинов страны огласил testament (завещание) Екатерины, объявлявшей наследником трона Петра II.

По ступенькам власти Меншиков взбирался как бы играючи. Настало наконец время, когда можно было осуществить все планы. Но удивительное дело, государственной мудрости в действиях и поступках светлейшего мы не обнаруживаем. Быть может, ум его был истощен настолько, что уже не в состоянии был охватить государственные задачи. С таким же основанием можно предположить, что осуществление этих задач он откладывал до оформления брачных уз дочери.

Как бы там ни было, но все планы и помыслы князя сводились прежде всего к удовлетворению ненасытного честолюбия. Побуждаемый этой страстью, он радел не столько об «общем благе» — мифическом понятии, которым пестрело законодательство петровского времени, сколько о благе личном и благе своей семьи и родственников. Милости сыпались как из рога изобилия. Он действовал так, будто все чины, звания и ордена государства были изобретены для Меншиковых. Ему мало было чина генерал-фельдмаршала, и он росчерком пера детской руки, которую бесконтрольно направлял, получил чин генералиссимуса. Пожалование это сопровождалось фарсом, сценарий которого составлялся не без участия Меншикова. Петр II зашел в покои Меншикова и, по словам советника саксонского курфюрста Лефорта, заявил: «Я уничтожил фельдмаршала!»

«Эти слова, — продолжал Лефорт, — привели всех в недоумение, но, чтобы положить конец всем сомнениям, он показал бумагу князю Меншикову, подписанную его рукой, где он назначал Меншикова своим генералиссимусом»³⁰.

В морских сражениях светлейший не участвовал за исключением памятного захвата двух шведских кораблей еще в 1703 г. За этот подвиг и за участие в строительстве флота он имел чин вице-адмирала. На второй день после смерти Екатерины светлейший стал полным адмиралом.

Отец семейства не оставил без внимания и своих детей. Сын Александр был возведен в обер-камергеры, а некоторое время спустя за безвестные заслуги награжден орденом св. Андрея Первозванного. Он же 5 февраля 1727 г. был пожалован орденом св. Екатерины. Александр Александрович был единственным мужчиной, отмеченным в это время чисто дамским орденом³¹. Старшая дочь — Мария, невеста царя, навесила орден св. Екатерины, а грудь младшей дочери, Александры, стал украшать орден св. Александра. Незабывтой осталась и сестра супруги — Варвара Михайловна, тоже награжденная орденом св. Александра.

Наибольшим вниманием и заботой была окружена, разумеется, невеста царя. Штат двора ее предусматривал 115 человек, а сумма на его содержание — 34 тыс. руб. в год, в том числе на стол — 12 тыс. и на платье — 5 тыс. Вторая половина ассигнований предназначалась на жалованье придворным чинам — гофмейстеру, камергеру, камер-фрейлинам, штатс-фрейлинам и прочим, а также обслуживающему персоналу, включавшему лакеев, гайдуков, пажей, певчих, поваров, конюхов, гребцов и т. д. Весь пышный штат возглавляла Варвара Михайловна Арсеньева. Теплое местечко обер-гофмейстерины, предназначавшееся для нее, должно было принести ей 2 тыс. руб. в год³².

Архивные источники оставили нам следы забот светлейшего о прославлении своей фамилии. Для этого был составлен список лиц, имена которых должны быть помещены в «генеральном календаре» на 1728 год. Наряду с членами царского семейства (дочерьми Петра I и его брата Иоанна) список включал всех Меншиковых — супружескую чету и их детей: Марию, Александра и Александрю³³.

Самого Александра Даниловича и его деяния предполагалось увековечить в грандиозном труде о его жизни и деятельности. Уже был составлен своеобразный план будущего сочинения из 65 пунктов, для освещения которых надлежало собирать необходимый материал. Составителю этих пунктов многое было известно из биографии Меншикова, и это известное для точности надлежало подтвердить соответствующими документами. Например, автор плана был осведомлен о том, что князь имел в своем управлении Олонецкие заводы с 1704 г., но он интересовался, «есть ли на оное грамота от его величества, данная его светлости, которую, ежели есть, можно вкратце внести в историю». Точно так же надо было затребовать «чертежи и описания палат, церквей, колокольной, заводов, оранжерей, мельниц в С.-Петербурхе, в Москве, в Оранибурху, от его светлости

построенных». Предполагалось иметь обстоятельное описание «всем ма-етностям его светлости в России, в Украине, в Польше и Германии».

Несколько пунктов относилось к предку князя, причем они сформулированы в виде вопросов, относящихся отнюдь не к далекому прошлому. Составителя плана интересовало: «Родитель его светлости в котором году умре?» или «Был ли родитель его светлости во время взятия Азова и Кизикермена?»

Множество пунктов плана носили престижный характер. Текст биографии должен был в полной мере удовлетворить и княжескую спесь, и честолюбие светлейшего. Отсюда огромное внимание описанию различного рода торжественных церемоний с участием князя, упоминание о наградах царя и других коронованных особ, описания встреч с ними, о переносе с королями и т. д.

Последующие события помешали полному осуществлению замысла. Продержись князь у власти год-другой, историки располагали бы любопытным источником. Впрочем, первый вариант сочинения был готов при жизни князя, и журнал «Сын отечества» опубликовал его в первых шести номерах 1848 г. под витиеватым и громоздким названием, характерным для произведений этого жанра тех времен: «Заслуги и подвиги его высококняжеской светлости князя Александра Даниловича Меншикова с основанным на подлинных документах описанием всего достопримечательного, что по всемилостивейшему повелению его императорского величества Петра Великого и всепресветлейшей императрицы Екатерины было совершено под управлением и начальством его светлости при дворе и в армии, равно как и во всем Российском государстве». Перевод с немецкого.

Из примечания редактора следует, что сочинение было завершено в 1726 г. и автором его, согласно преданию, являлся А. И. Остерман. Редактор считал это предание вероятным, «потому что сочинитель, очевидно, был посвящен в государственные тайны описываемого им времени».

Заявление редактора, как и его высокая оценка опубликованной рукописи, вызывает возражения. На сочинении лежит печать незавершенности, что, разумеется, намного снижает его ценность как источника. Заголовок предусматривал описание «заслуг и подвигов» Меншикова как при Петре I, так и при Екатерине I. Однако текст обрывается на смерти Петра. Последняя фраза сочинения звучит так: «Тело императора князь приказал положить на парадный одр и распорядился приготовлениями к погребению, которое последовало 8 марта».

Другим свидетельством незавершенности сочинения следует признать отсутствие в нем упоминаний об участии Меншикова в военных операциях, описание которых способствовало бы прославлению князя: осада Нарвы в 1704 г. и осада Риги в 1710 г. и др.

Законченным сочинение нельзя считать еще и потому, что большинство вопросов или пунктов, требовавших сбора дополнительных сведений, так и осталось без ответов. Составитель текста, например, никак не отреагировал на вопрос: «При погребениях Лефорта, Гордона и Шеина, также

и патриарха Адриана какие были знатные церемонии?» В сочинении отсутствует описание перевозки судов из Ладоги в Шлиссельбург «через земляной путь», сведения о промышленных предприятиях, принадлежавших Меншикову, о триумфальных арках и многое другое.

Нельзя разделить и восторга редактора относительно его оценок сочинения. По своему идейному содержанию оно относится к числу апологетических произведений, безмерно превозносивших заслуги Меншикова. В иконописном портрете князя нет ни единой негативной черты. Даже хорошо известные современникам факты казнокрадства Меншикова под пером панегириста выглядят неподтвержденными наветами. Так, привлечение князя к ответственности за подрады через подставных лиц автор объяснял кознями Кикина, который «старался оспорить у него первое место царского любимца... Но он (Кикин. — Н. П.) сам вскоре попал в ту яму, которую выкопал для других». Анонимный автор умолчал о причастности к подрядным махинациям самого Меншикова и о взыскании с него крупного штрафа. Фактически умолчал он и о почепском деле. Читая нижеприведенную туманную фразу, можно лишь догадываться, что речь идет именно о нем. «Едва только окончился упомянутый процесс против царевича и его приверженцев, как сам князь Меншиков по наущению своих врагов подвергся неприятностям, которые, впрочем, преодолел, оправдавшись блестящим образом во всех доносах». Эти доносы следовали от недругов, которые, как писал аноним, «давно уже смотрели завистливыми глазами на высокое значение, преимущества, силу и богатство князя».

В сочинении встречаются и грубые ошибки. Сообщается, например, о поездке царя в мае 1699 г. в Азов для подавления вспыхнувшего там стрельцкого мятежа. Между тем источники не зарегистрировали ни мятежа стрельцов, якобы вступивших в предательские связи с татарами, ни поездки в Азов Петра ради подавления восстания.

Вряд ли Остерман, если бы он был автором «Заслуг и подвигов», писал, что царь указом 17 марта 1714 г. «учредил фискалов и так называемых прибыльщиков», в то время как в действительности фискалы были введены указом 5 марта 1711 г. Не соответствует истине и утверждение, что Меншиков во главе 700 человек пленил под Переволочной 15 тыс. шведов. К таким же сомнительным можно отнести и заявление автора, что в конце октября 1714 г. царь «впал в столь опасную болезнь, что сделал духовное завещание и готовился уже к кончине»³⁴.

Прославляя собственную персону и заботясь о благополучии семьи, Меншиков не забывал и людей, хотя и не находившихся с ним в родственных связях, но являвшихся, как ему казалось, преданными слугами. Внешне оно так, видимо, и выглядело. Каждого облагодетельствованного можно было почти ежедневно встретить в княжеском дворце. Они занимали если не ключевые, то весьма важные посты в военном, гражданском ведомствах. Генерал-лейтенант и гвардии майор Преображенского полка Дмитриев-Мамонов был произведен в полковники этого полка; комен-

дант столичного города бригадир Фонминцын, навещавший княжеские хоромы столь часто, что превратился в их принадлежность, стал генерал-майором; вице-адмиралы Сиверс, Змаевич и Гордон были произведены в адмиралы.

Все эти действия были единовременными и не требовали больших усилий. Зато уйму хлопот доставляла главная цель — подвести дочь к брачному венцу. Чтобы достичь этой цели, надобно было не спускать глаз с Петра, зорко следить за его поведением, держать его при себе. Так и поступает Меншиков. С Петром он проводил многие часы: вместе с ним садился за обеденный стол, частенько навещал своих детей, чего с ним раньше не случалось. В обществе княжеских отпрысков часто находился и Петр.

После похорон Екатерины (16 мая) развлечения для императора становятся разнообразнее. Меншиков везет его то на Конюшенный двор для осмотра лошадей, то на Галерный двор, где производился спуск судов, наконец, совершает развлекательные поездки по городу.

23 мая двенадцатилетний Петр прибыл к Меншикову просить руки его шестнадцатилетней дочери Марии. Накануне, 22 мая, светлейший имел беседу с церковными иерархами. Предметом разговора было обсуждение церемонии помолвки. Ее совершил в торжественной обстановке Феофан Прокопович, После молебствия в присутствии членов Верховного тайного совета, Сената и Синода, а также генералитета и иностранных послов играла музыка, били в литавры, поздравляли помолвленных и будущего тестя. Светлейший находился на полпути к тому, чтобы обуздать власть.

Как ни бдительно опекал Меншиков своего будущего зятя, все же существовали опасения, что жених мог оказаться под нежелательным влиянием. Светлейший предусмотрел и эту опасность — он принимает правильное в своих интересах решение: изолировать Петра от окружающих.

На следующий же день после помолвки Меншиков вместе с семьей, невестой и женихом отправился в Петергоф. И здесь, как и в столице, он не жалел ни времени, ни сил, чтобы находиться при императоре. Светлейший не увлекался охотой, но ради большой цели можно было пойти и на маленькие жертвы, — вместе с Петром он несколько раз ездил на псовую охоту.

Ничем не рисковал Меншиков и тогда, когда отправлялся в свою загородную резиденцию Ораниенбаум или в Кронштадт для осмотра работ, так как будущий зять не оставался без надзора — в его обществе находились либо невеста, либо Дарья Михайловна, либо княжеский сын.

10 июня Меншиков возвратился в столицу, а на следующий день туда прибыл и Петр. Жил он во дворце Меншикова.

До сих пор Александру Даниловичу ветер дул в спину и он не испытывал ни малейших затруднений в осуществлении своих планов. Весть о том, что он близок к положению тестя и регента малолетнего царя, стала достоянием европейских дворов. Он уже получил поздравления от Штатов

Голландии, брауншвейг-волфтенбительского князя Августа Вильгельма, австрийского канцлера Шенборна и даже от самого императора Карла VI³⁵. Но тут случилось то, чего никто не мог предусмотреть и что в конечном счете сыграло роковую роль, — светлейший занемог.

Признаки болезни князь обнаружил еще 19 июня — в этот день он принимал лекарства и ему пускали кровь. Надеялся преодолеть болезнь посещением мыльни, но она ему нисколько не помогла, наоборот, ухудшила самочувствие. С 22 июня он уже не выходил из дому, хотя еще не придерживался постельного режима. Его навещали наряду с повседневными посетителями также члены Верховного тайного совета — Апраксин, Головкин, Голицын, Остерман. Он вел деловые разговоры, крепил письма. Но консилиум врачей, состоявшийся 26 июня, запретил больному заниматься делами, и число визитеров значительно поубавилось.

Состояние больного дало современникам повод ожидать близкой кончины князя. Лефорт доносил в Дрезден 15 июля: «Кроме харканья кровью, сильно ослабляющего Меншикова, с ним бывает каждодневная лихорадка, заставлявшая за него бояться. Припадки этой лихорадки были так сильны, паразитизмы повторялись так часто, что она перешла в постоянную. В ночь с девятого на десятое число с ним случился такой сильный припадок, что думали о его близкой смерти»³⁶.

У самого Меншикова тоже было мало надежд на выздоровление. Чувство овладевшей им обреченности четко прослеживается в документах, составляемых обычно заблаговременно или в дни, когда смерть властно стучится в дверь.

Среди предсмертных документов — несколько обращений Меншикова к лицам, которым он вручал судьбу семьи, на благожелательность и помощь коих он рассчитывал, кого он просил «оставших после меня сырых жену мою, и детей, и дом мой содержать в своей милостивой протекции и во всем призирать»³⁷. Фамилии в проектах обращений не названы, но совершенно очевидно, что если письмо адресовано «господину вице-канцлеру, тайному действительному советнику», то имеется в виду Остерман, «генерал-адмирал» не кто иной, как Апраксин, «канцлер» — это Головкин, а «сиятельный князь» — Дмитрий Голицын. Короче, письма предназначались членам Верховного тайного совета. Среди них, кажется, наибольшую надежду на заступничество внушал князь Голицын. В письме к нему есть фраза, отсутствующая в прочих текстах: «А я домашним своим приказал, чтоб во всем поступали с ведома и изволения вашего сиятельства». Обратите внимание, что среди будущих покровителей семьи значился Остерман.

Проект духовной в соответствии с указом Петра I о единонаследии объявлял единственным наследником движимого и недвижимого имущества сына Александра, которому поручено было «во всю жизнь» опекать сестер. Однако до совершеннолетия сына содержание дома вручалось Дарье Михайловне и ее сестре Варваре Михайловне. Упоминание последней в духовной — еще одно свидетельство громадной роли свояченицы в

семье князя. Отец требовал от сына, чтобы тот «обучался с великим прилежанием вначале страху божию, потом принадлежащим наукам и всем честным поступкам»³⁸.

Из предсмертных сочинений князя наиболее интересны два варианта его обращения к царю. Это своего рода исповедь, в которой размышления о будущем страны и ее монарха сочетались с приземленными рассуждениями о будущем своей семьи.

Царь, ныне пребывающий «не в совершенных еще летех», в будущем может прославить себя подвигами, достойными памяти деда. Путь к этому лежит «как чрез учение и наставление, так и чрез помощь верных советников».

Меншикову было хорошо известно пристрастие молодого царя к праздности. Отсюда просьба: «Извольте как в учении, так и в забавах и в езде себя кротко и тихо содержать и сие все умеренно содержать».

Кого же прочил князь в наставники царя, без совета которых он не должен что-либо предпринимать? На первое место поставлен «барон Остерман», а уже после него — безымянные «господа министры».

В последнем пункте обращения князь просил царя в память о своих прежних заслугах «содержать в вашей милости оставшую по мне мою супругу». Но главная просьба касалась дочери Марии: «Милостивым быть к вашей обрученной невесте» и «в подобное время вступить с нею в законное супружество»³⁹.

Не надо быть провидцем, чтобы угадать судьбу помолвки после смерти князя. Саксонского посла Лефорта невозможно заподозрить в проницательности, а его донесения — в глубоком содержании. Тем не менее он на основе слухов, ходивших при дворе, предрекал развитие событий: «Когда Меншиков умрет, помолвка утратит силу и дочь перестанет быть невестой»⁴⁰. Поведение зятя во время болезни Меншикова давало основание для подобного умозаключения.

В первые дни недомогания Петр вместе с сестрой Натальей более или менее часто навещал больного, но в дальнейшем визитов становилось все меньше и меньше. Брат и сестра посетили Меншикова 25, 27 и 29 июня. Затем наступил длительный перерыв. Очередные визиты были нанесены с периодичностью в три дня — 9, 12 и 15 июля. Характерно, что 20 июля к Меншикову пожаловала Наталья Алексеевна уже без брата. Следующая встреча императора с князем состоялась 29 июля, когда самочувствие светлейшего улучшилось настолько, что ему было разрешено выезжать из дома. Вечером этого дня он вместе с Петром участвовал в церемонии открытия моста через Неву. Они проехали по нему в карете.

В пять недель, когда Меншиков практически был лишен возможности контролировать поведение будущего зятя, совершилось то, чего он так опасался, — юнец освободился от его опеки, чтобы оказаться под влиянием Долгоруких, действиями которых ловко руководил Остерман.

Раньше Петр был неразлучен с Меншиковым. После выздоровления князя он избегал с ним встреч, и если они все же состоялись, то были

кратковременными или носили публичный характер. Так, аудиенция светлейшего 30 июля продолжалась лишь четверть часа, следующие две встречи состоялись 14 августа: одна длилась час, а другая — 15 минут. Непродолжительный разговор произошел 17 августа. К этому надобно прибавить еще две встречи, одна из которых состоялась во время литургии и поэтому, видимо, не сопровождалась разговорами, а другая — 9 августа во время осмотра итальянского дома, подаренного Петром невесте. Не подлежало сомнению, что между князем и императором наступило охлаждение, что последний избегал свидания с невестой и тяготился опекой будущего тестя. Кстати, упоминавшийся выше Лефорт доносил: «Петр II совсем не любит свою невесту»⁴¹.

Не заметить этого Меншиков не мог. Если даже допустить, что сам он ничего не подозревал о грозившей беде, то у него было немало прихлебателей, готовых донести до его ушей молву, носившуюся среди придворных. Что же он делает, какие меры предпринимает, чтобы предупредить полный разрыв и обезопасить себя от расправы недругов?

Что случилось с Меншиковым, почему ему отказал здравый смысл, которым он был щедро награжден природой? Как случилось, что сильная и решительная личность расслабилась до неузнаваемости?

То ли он витал в мире иллюзий, надеясь, что все обернется к лучшему и состоявшаяся помолвка дочери автоматически сделает свое дело. То ли он смирился со своим падением и считал, что все утрачено безвозвратно и восстановить прежние отношения невозможно. А быть может, он обдумывал планы, как прибрать к рукам нареченного зятя и нанести удар по Долгоруким раньше, чем они сумеют расправиться с ним.

В точности хода мыслей светлейшего в августе — начале сентября 1727 г. мы не знаем, и вряд ли когда-либо удастся документально объяснить странности его поведения. С уверенностью можно сказать одно: у Меншикова не было шансов повторить то, что он сделал в памятную ночь 28 января 1725 г., когда умер Петр I. На первый взгляд теперь у него будто бы было больше возможностей, чем тогда, — он стал президентом Военной коллегии, адмиралом и генералиссимусом, нареченным тестем императора. Власти и влияния у него, несомненно, прибавилось. Но тогда он имел многочисленных сторонников и действовал от имени претендовавшей на трон Екатерины, теперь он остался в одиночестве, был лишен сообщников, готовых привести в движение гвардию; именем императора действовал не он, а его противники. Петр II являлся всего лишь орудием интриги. Репрессиями Меншиков создал вокруг себя вакуум. Лефорт в своем донесении заметил: «Его все очень боятся, но за то и ненавидят».

По-видимому, активные действия не входили в расчеты князя. Иначе он ни за что бы не отбыл из столицы, где только и можно было развернуть кипучую деятельность, расположить к себе гвардию, изолировать Долгоруких.

18 августа он вместе с семьей выехал в Ораниенбаум, где в честь прибытия фельдмаршала грянул артиллерийский залп. Правда, Петр тоже

отправился в Петергоф, конечно же, в сопровождении нового приятеля — забуддыги Ивана Долгорукого. Меншиков предпринял попытку восстановить отношения с Петром и вместе с семьей прибыл к нему в Петергоф, но в гостях не задержался. Прием, видимо, был холодным: невеста, члены семьи, да и сам Меншиков чувствовали себя неуютно и поспешно ретировались. 26 августа Меншиков наряду с прочими министрами, как сказано в «Повседневных записках», «кушал при столе его императорского величества» по случаю именин сестры царя, а на следующий день вместе с царской семьей присутствовал на литургии. В 6 часов вечера он уже находился в Ораниенбауме.

30 августа произошло еще одно событие, подтверждавшее, что князь находился в немилости и что этот факт не остался незамеченным ни вельможами, ни придворными. В этот день Меншиков праздновал свои именины. Список гостей возглавлял адмирал Сиверс, несколько генералов, всегдае в приемной, и «прочие господа морские офицеры». Среди присутствовавших — ни одной «знатной персоны», не почтил вниманием своего нареченного тестя и Петр. Праздник, некогда проводившийся с необыкновенной пышностью, на котором непременно присутствовали Петр I и Екатерина, теперь прошел заурядно. Не сгладили впечатления и несколько залпов солдат Черниговского полка, выстроенного по этому случаю.

Чем занимался Меншиков в Ораниенбауме с 19 августа по 5 сентября?

Даже самое скрупулезное изучение «Повседневных записок» не дает оснований считать, что князь в преддверии крупных неприятностей переживал душевную депрессию. Распорядок дня оставался прежним, и своим привычкам светлейший не изменял. Вставал он, как и раньше, в обычное для себя время, слушал дела. В ожидании аудиенции в приемной толкались военные и придворные чины. Не расставался Меншиков и со своей привычкой спать после обеда. Иногда Ораниенбаум навещали «персоны». 20 и 27 августа он принимал Феофана Прокоповича, несколько раз у него были члены Верховного тайного совета — князь Алексей Долгорукий, отец нового фаворита царя, и князь Дмитрий Голицын. 5 сентября в Ораниенбаум пожаловал Остерман, с которым Меншиков вел тайный разговор. Наверняка это был разведывательный визит, предшествовавший нанесению Меншикову решительного удара. Возможно, Меншиков жаловался Остерману на охлаждение к нему воспитанника барона, обращая внимание на праздное времяпрепровождение Петра, а барон утешал своего собеседника. Быть может, Остерман, умевший, как это хорошо известно, много говорить, но ничего не сказать, больше слушал, чем говорил. Могло случиться, что Остерман на всякий случай сам наметнул на опасность, нависшую над князем. В подобном поведении барона был свой резон, ибо искусство интригана, которым он владел в совершенстве, как раз и состоит в том, чтобы одновременно плести несколько интриг и всегда находиться в лагере победителей. Остерман, кроме того, обладал качеством, делавшим его еще более опасным, — он был человеком вероломным.

Два отступления от принятого распорядка все же удается уловить: князь реже развлекался игрой в шахматы и карты. За шахматный столик во время пребывания в Ораниенбауме он садился только дважды. Напротив, он чаще, чем прежде, пребывал в одиночестве, погруженный в свои мысли.

Кажется, главная забота князя в Ораниенбауме состояла в наблюдении за отделкой церкви и подготовке к ее освящению. В церковь он заглядывал много раз, видимо, гордился ее убранством, ибо накануне освящения показывал ее голштинскому министру. Для большего благолепия он заблаговременно, еще 31 июля, отправил в Москву нарочного с предписанием немедленно выслать «басистого» протодиакона и одного певчего.

Освящение церкви состоялось 3 сентября. На празднование прибыли Апраксин, Головкин, Голицын, но среди гостей, увы, не было главного лица, ради которого были затеяны торжества, — Петра II. Среди гостей не видно было и Остермана, видимо, завершавшего обработку своего воспитанника. Вряд ли пушечная пальба и «великая музыка» способны были поднять настроение князя.

Какими способами Остерман приобрел расположение Петра и как он, выполняя обязанности воспитателя и часто находясь с ним в уединении, настраивал его против будущего тестя, мы не знаем. Можно лишь догадываться, что хитроумный интриган использовал в этой игре все козыри, чтобы втереться в доверие к своему воспитаннику, благо достичь желаемого не стоило большого труда, ибо Петру II ничто так не импонировало, как праздность. Достаточно было потакать лени и не препятствовать забавам, чтобы склонить юного бездельника на свою сторону и превратить его в послушное орудие коварных замыслов.

Перед нами распорядок дня, составленный для Петра 21 июля 1727 г., т. е. во время болезни Меншикова. Расписание, автором которого, несомненно, был Остерман, предполагало изучение истории, географии и математики, причем на освоение этих предметов с понедельника по пятницу включительно отводилось всего-навсего 11 часов. В субботу, вероятно, час надлежало использовать для закрепления знаний по географии и математике. Итого 12 часов в неделю на приобретение знаний! Остальное время — а регламенту подлежали часы с 9 утра до 7 вечера — предназначалось для всякого рода забав: танцев, игр, верховой езды, стрельбы, музыки и т. д.

Правда, по средам и пятницам император должен был приобщаться к управлению государством и в допущенные часы присутствовать в Верховном тайном совете⁴².

Установить, с какой точностью выполнялся распорядок, разумеется, нельзя. Подлежит проверке лишь присутствие Петра в Верховном тайном совете. Но, как следует из документов этого учреждения, Петр не удостоил его своим присутствием ни в июле, ни в августе, — он предпочитал вместе с Иваном Долгоруким предаваться удовольствиям.

5 сентября Меншиков с семьей отбыл в Петербург. По пути в столицу он пытался встретиться с Петром, но, кажется, безрезультатно. На следую-

ший день князь отправился в Верховный тайный совет, но никого там не обнаружил. 7 сентября он вновь посетил Верховный тайный совет, встретив там только князя Голицына и секретаря Степанова. В этот день в столицу возвратился Петр, причем поселился не во дворце Меншикова, а в Летнем дворце, срочно для этой цели приведенном в порядок.

Последовательность событий с 5 по 7 сентября, изложенная нами на основании «Повседневных записок» Меншикова, противоречит описанию их Вильбоа. По его словам, Остерман внушил Долгоруким мысль о необходимости убедить Петра «удалиться тайно от Меншикова и явиться Сенату, который Остерманом будет вполне собран в загородном доме канцлера графа Головкина, в двух лье от Петергофа. Молодой Долгорукий, — продолжает Вильбоа, — ободренный отцом, взял на себя обязанность привезти царя. Он всегда спал в комнате его величества, и едва увидел он, что все заснуло, то предложил одеться и выпрыгнуть в окошко, ибо комната была в нижнем этаже и невысоко от земли. Царь согласился и выскочил таким образом из комнаты так, что стража, охранявшая дверь, ничего не заметила. По садам перебежал царь с Долгоруким на дорогу, где ждали его офицеры и чиновники. С торжеством проводили они его в Петербург, куда Меншиков, уже поздно узнавший об удалении царя, поспешил за ним»⁴³.

В действительности Меншиков прибыл в Петербург раньше Петра. Следовательно, последнему не было надобности вместе с Долгоруким прыгать через окно. Сомнительна и приписанная Вильбоа роль Сената в событиях — дела в то время вершились не в Сенате, а в Верховном тайном совете.

Светлейший, находясь в Петербурге, уже не сомневался в близости развязки. 7 сентября ему «кровь пушала». «Повседневные записки» обрываются записью, внесенной в пасмурный день 8 сентября. В этот день к Меншикову прибыл курьер Верховного тайного совета с предписанием, не оставлявшим сомнения, что его карьере наступил конец, — ему было запрещено выезжать из дворца. Домашний арест был дополнен царским указом от 9 сентября игнорировать все распоряжения, исходившие от Меншикова. Указ 9 сентября поставил последнюю точку в повествовании о жизни Меншикова как государственного деятеля. В оставшиеся два года своей жизни он безропотно тянул ляжку опального вельможи.

Остерман в эти дни развил бешеную активность — пришло время пожинать плоды своей интриги. В июле — августе он, как и его воспитанник, ни разу не посетил Верховный тайный совет. Теперь, начиная с 8 сентября, он неперемный участник всех его заседаний. «Докладывано, — читаем в журнале Верховного тайного совета от 9 сентября 1727 г., — его величеству о князе Меншикове и о других по приложенной записке руки вице-канцлера барона Остермана...»⁴⁴.

КРУШЕНИЕ. ССЫЛКА

Меншиков и его супруга из своего заточения, пока еще домашнего, обращаются за защитой к императору и его сестре Наталье. Но разве он сам пощадил свояка Девиера, когда супруга последнего, родная сестра Александра Даниловича, слезно молила о снисхождении: «Светлейший князь, милостивый отец и государь, приемляю я смелость от моей безмерной горести труднить вас, милостивного отца и государя, о моем муже о заступлении и милостивом предстательстве к ее императорскому величеству, всемилостивейшей нашей государыни, дабы гнев свой милостиво обратить изволили»¹.

Это письмо, поданное Анной Даниловной 30 апреля, осталось без ответа — свирепые законы борьбы за власть тех времен не знали пощады, и Девиера отправили в Сибирь. Теперь повисли в воздухе обращения самого Меншикова: вместо удовлетворения просьбы Петр II подписал указ о ссылке его, лишенного чинов и наград, в Нижегородскую вотчину. По просьбе опального вельможи Нижегородская вотчина была заменена ссылкой в Ранненбург — крепость близ Воронежа, сооруженную по чертежам Петра I.

Ранненбург представлял «земляную фортецию» с пятью бастионами, окруженную давно лишенным воды рвом и палисадом. На парадных каменных воротах с деревянным шпилем находились часы с семью колоколами. Внутри крепости стоял огромный жилой дом, покрытый в шахматном порядке красной и черной черепицей. В нем 46 покоев на верхнем этаже и 14 в нижнем. Рядом — постройки хозяйственного назначения: погреб, поварня, баня, конюшня. Здесь же крытые тесом деревянные светлицы, бани, предназначавшиеся, видимо, для дворни.

Последний раз Меншикову довелось быть в Ранненбурге семь лет назад. Тогда к приезду владельца в крепости был наведен лоск. Теперь на всем лежала печать запустения: 197 оконных рам оказались без стекол, а в 153 окошках обветшала слюда, обстановка ранненбургского дома не шла ни в какое сравнение с роскошной мебелью, оставленной князем во дворце в Петербурге. Здесь были обнаружены три старых стула, обитых кожей,

семь дубовых и липовых столов, единственный стул из орехового дерева заморской работы, впрочем, тоже ветхий, несколько стульев русского мастерства, требовавших ремонта².

Можно представить, что творилось во дворце Меншикова в течение суток, отведенных ему на сборы: Обжитые и пышно обставленные роскошной мебелью и украшенные дорогими коврами и картинами покои дворца выглядели как после погрома: десятки слуг в величайшей сумятице выполняли распоряжения, противоречившие одно другому, — укладывали одни предметы, предназначавшиеся для вывоза, чтобы тут же заменить их другими. Отменную мебель, дорогие ковры, картины, изделия из хрусталя и походные шатры пришлось тоже оставить. Среди хрустальной посуды, оставленной в столице и упакованной в 15 ящиков, насчитывалось 1800 водочных стаканов, 2 тыс. рюмок, 4500 пивных бокалов, бутылки, кружки и т. д.³ Но и то, что было решено прихватить с собой, едва разместилось на телегах огромного обоза: в 33 кареты, коляски и колымаги были уложены подголовники, баулы и баульчики, сундуки и сундучки, спешно сбитые ящики, узлы. Обоз сопровождала пестрая свита слуг, свидетельствующая о намерении князя сохранить и в ссылке блеск своего двора.

Среди 133 человек свиты, выехавших из Петербурга, находились: маршалк, 8 пажей, 6 гайдуков, 16 лакеев, 12 поваров, 2 портных; 2 певчих; сапожник, гофмейстер и паж нареченной невесты и даже 2 карла. В это же число входили 13 собственных драгун, своего рода княжеских гвардейцев, а также 20 гребцов, предназначавшихся для движения по озеру Ильмень и рекам. В Любани 13 сентября прислуга пополнилась 15 человеками и парадной коляской для Марьи Александровны. В общей сложности штат слуг состоял из 148 человек⁴. Сам Меншиков восседал в карете, сработанной каким-то знаменитым мастером в Берлине еще в 1719 г. Его самолюбию льстило, что именно в такой же карете разъезжал французский министр граф Ротембург⁵. Вместе с главой семьи в ссылку отправлялись супруга, сын Александр, дочери Мария и Александра, а также сестра супруги Варвара Михайловна Арсеньева.

Что представляла собой семья Меншикова?

В замкнутом семейном мирке, закрытом от постороннего взгляда, светлейший предстает совсем иным человеком, чем в общении с посторонними. В семье он укрывался от житейских бурь, находил утешение и покой. Сердечности, нежности и заботливости князь не расстачал на посторонних, все это предназначалось для супруги и детей.

Выше отмечалась взаимная забота и уважение супругов друг к другу. То была пора молодости. Но атмосфера в семье осталась прежней и после того, как оба они вступили на порог старости. 18 августа — день их свадьбы. «При сем от всего верного сердца вселюбезнейше вас поздравляю, — писал Данилыч супруге 16 августа 1718 г. из Або, — сего месяца 18 числом, то есть днем общего нашего неописанного веселия и неизглаголанной радости, в которой мы по изволению вышнего Бога браком совокупились»⁶.

Дарья Михайловна родила Данилычу семерых детей: трех сыновей — Луку-Петра, Самсона и Александра, из которых остался в живых только Александр, и четырех дочерей — Марию, Александру, Варвару и Екатерину. Две последние дочери тоже умерли в детстве. Особым попечением пользовалась дочь Мария, родившаяся в 1712 г. Дарья Михайловна, отправившаяся вскоре после родов к супругу в Померанию, писала кормилице, «бабушке Кубасовой»: «За дитятем с прилежностью смотрите, а особливо, чтоб больных тут при вас отнюдь не было, и не держите, если кто занеможет, — прочь отсылайте?». В феврале 1713 г.: «Уведомите нас, чем вы кормите дитя. И велите готовить цыпленочка или телятину молодую». Мать посылает из-за границы «платьицо и шапочку новой моды», а также шелковые чулки и башмачки.

Наряду с обучением родитель заботился о приобретении отпрысками соответствующего лоска. В апреле 1716 г. он дал следующее поручение русскому резиденту в Вене Аврааму Веселовскому: «Поищите мальчика, который был бы искусен в танцеванье, и, такового сыскав, по тому ж к нам пришлите»⁸.

Подраставшие дети становились предметом забот отца. «Зело от сердца радуюсь, что при помощи божии дети наши учатца», — писал он супруге в 1718 г.

Сохранилось несколько десятков писем детей Меншикова. Написаны они велеречивым языком с изъявлением дочернего или сыновнего почтения к родителям. От имени детей их сочиняли доморощенные канцеляристы-грамотеи. Годовалая Мария, например, «писала» родителям в Померанию, что дворец отца посетил царь с Апраксиным и генералами и «немало повеселился и за ваше с моим здравие венгерское кушать изволил». В апреле 1720 г. младшая дочь, Екатерина, извещала родителей, что царь ее «сонную изволил целовать», а в другой раз, что Петр во время литургии «с своими певчими пел и Апостол сам изволил читать»⁹.

К услугам канцеляристов прибегали не только при написании писем от имени грудных младенцев, естественно, не знавших грамоты, но и взрослые дети. Получив такое письмо в 1723 г., отец потребовал от сына Александра, чтобы тот «по сыновской своей должности, паче же для предбудущей вам пользы надлежит к нам писать своеручно и иметь всегдашней труд, и времени праздно проваждать не надобно, ибо по Святому писанию праздность всему злу корень»¹⁰.

Свойственный молодости эгоизм проявлялся в том, что дети подолгу не давали родителям о себе знать. Это вызывало тревогу. 26 июня 1724 г. отец, находившийся на Петровских заводах, отправил дочерям Марии и Александре следующее назидательное письмо: «При разлучении нашем с вами приказывали мы вам, дабы еженедельно уведомляли нас о состоянии здравия своего чрез нарочитых денщиков письменно. А потом предлагали вам, чтоб сверх того письмо посылали на отправляемой из Адмиралтейства на Петровские заводы почте. Но по се число ни единой строки от вас не получили». Меншиков потребовал от дочерей регулярно отправлять ему письма.

Членом семьи Меншикова являлась также Варвара Михайловна. В отличие от своей сестры, женщины мягкой и сдобольной, с нежной и чувствительной душой, горбунья Варвара Михайловна была умной, начитанной, властной и желчной. Современники отмечали, что светлейший часто пользовался советами свояченицы и даже без ее благословения не принимал ни одного серьезного решения.

В месяцы отсутствия супругов Меншиковых в столице Варвара Михайловна заправляла домом и руководила воспитанием детей. Меншиков в каждом письме к супруге непременно кланялся и ее сестре, а иногда обращался к ней одной. Любопытной бытовой подробностью отличается письмо к Варваре Михайловне от 9 июня 1722 г. Князь сообщал, что цесаревны Анна и Елизавета заночевали в Городне, «но токмо от тараканов, от клопов и от комаров опочивать изволили зело мало»¹¹.

По-иному складывались отношения между Александром Даниловичем и его собственной родней и родственниками его супруги.

У Меншикова были две сестры — Мария и Анна. Об их существовании стало известно из источников, зарегистрировавших критическое состояние их мужей. Напомним, что в 1709 г. супруг Марии Меншиковой попал в плен к шведам, и этот факт нашел отражение в письмах Александра Даниловича к Дарье Михайловне. Позже, в 1727 г., такая же беда настигла супруга Анны Даниловны Антона Девиера, и тогда сестра попыталась выручить его из беды, но, как увидим ниже, безуспешно. Этими данными и исчерпываются сведения о сестрах Меншикова.

Возможно, Мария рано умерла. Возможно также, что Анна Даниловна своей внебрачной связью с будущим супругом вызвала столь сильный гнев светлейшего, что он так и не мог простить легкомысленного поведения своей сестры: в Петербурге ходила молва, что царский денщик Девиер, прибыв к Меншикову просить руки засидевшейся в девицах Анны, предупредил, что в случае отказа рожденный Анной ребенок не будет иметь отца. Александр Данилович посчитал брак с денщиком мезальянсом и, разгневавшись, велел высечь жениха. Брачный союз был все же заключен по настоянию Петра, которому пожаловался Девиер.

А быть может, дело обстояло значительно проще: Дарья Михайловна, как это нередко встречается в семьях, где глава обременен другими заботами, оттеснила родственников супруга и образовавшийся вакуум заполнила своей многочисленной родней.

Наибольшим вниманием со стороны Меншикова пользовался младший брат супруги — Иван Арсеньев, отправленный для обучения в Голландию. Надзор за успехами шурина должен был осуществлять русский посол в Гааге Борис Иванович Куракин, в доме которого он поселился в 1716 г. Меншиков просил посла следить, чтобы Иван «празно времени не тратил, но прилежно учился». В июне следующего года Иван доложил своему патрону: «Я ныне со всяким прилежанием учусь еще французскому языку, також фортификации, математики, гистории, географии, на лошалях ездить и на иппагах биться».

Семье светлейшего этих знаний показалось мало, и она настаивала, чтобы родственник во что бы то ни стало овладел придворным этикетом и поднаторел в общении с иностранными министрами. Куракин получил предписание его «ко двору и в прочие компании с собой брать, дабы чрез то мог свыкнуть». С науками Иван Арсеньев справился и, по собственным его словам, «овладел французским, также отчасти и гистории, географии, математики, нравам натуральным и эксерцициям». Хуже обстояло с приобретением навыков в придворном обхождении, где Арсеньев не проявил необходимых способностей. Куракин писал, что его подопечный к этому «весьма несроден, а против природы невозможно его склонить». Меншиков продолжал гнуть свое: шурина надобно «употреблять в посылках к министрам чужестранным, дабы мог обыкнуть».

После трехлетнего пребывания в Голландии Иван Арсеньев отправился в Париж. Оттуда он просил Меншикова увеличить сумму на свое содержание: в Голландии он жил у Куракина, что освобождало его от расходов на квартиру, стол, дрова и прочие «домовые нужды». В Париже за все это надлежало платить. На ранее присылаемые ему деньги в столице Франции, «ежели ездить ко двору для обхождения придворного, мне невозможно и думать, ибо при дворе смотрят на экипажи, а без того ни на что не поглядят». В 1720 г. Иван Арсеньев возвратился в Россию¹².

Другого шурина, Василия Арсеньева, тоже опекал Меншиков. В 1716 г. он ходатайствовал перед царем о награждении его новым чином. В следующем году он нес службу на флоте, участвовал в каперских операциях русских кораблей. В одном из писем Василий Михайлович сообщил любопытные подробности овладения шведским кораблем. Командир шведского галиота, не видя спасения, посадил его на мель, а экипаж высадил на берег. Между Василием Арсеньевым, командовавшим шлюпкой, приблизившейся к галиоту, и поручиком, прибывшим с другого корабля на шлюпке, начался спор из-за дележа трофеев с неприятельского галиота. Вместо того чтобы снимать галиот с мели, матросы обеих шлюпок увлеклись грабежом. В это время Арсеньев был вызван на свой корабль, тоже оказавшийся в беде. Попытка поджечь шведский галиот офицером, претендовавшим на получение добычи, не увенчалась успехом, и своим кораблем в конце концов овладели шведы. «Крейсрат» — военный суд — оправдал Арсеньева, и тот в 1718 г. был назначен командиром того самого корабля «Сант Яков», экипаж которого признали виновным в оплошности, не обеспечившей захвата в плен галиота или его уничтожения¹³.

Третий представитель клана Арсеньевых, Аникий Арсеньев, видимо, дальний родственник Дарьи Михайловны, тянул лямку капитана гарнизонных войск в глубокой провинции — в Черном Яру. В 1719 г. он обратился к своему «патрону» Александру Даниловичу с просьбой вытащить его из дыры, где он подвергался опасности в столкновениях с кубанскими татарами, производившими частые набеги¹⁴.

Более чем преуспевавшая семья отправлялась в неизвестность. Впрочем, постороннему могло показаться, что едет не ссыльный, а богатый

барин, не пожелавший расстаться со столичным комфортом в полюбившейся ему глухой вотчине. Лишь у Дарьи Михайловны, не выдержавшей напряжения, явно сдали нервы — весь долгий путь она, не переставая, рыдала.

Каков будет финиш подневольного путешествия семьи, она, разумеется, в точности не знала. Но ее проницательности вполне доставало, чтобы подвести черту под прошлым. В будущем она не рассчитывала ни на роскошь, ни на блеск, ни, наконец, на подобострастные улыбки придворных дам и сопричастность к делам своего могущественного супруга.

Совсем недавно, в воскресный день 19 марта 1727 г., Данилыч устроил пышные, с царским размахом торжества по случаю ее именин. За праздничным столом сидели все вельможи, иностранные послы, цесаревна Елизавета, наследник престола. После обеда танцы, пушечная пальба и фейерверк с изображением приветственных слов в адрес именинницы: «Виват, светлейшая княгиня Дарья Меншикова!»¹⁵

Будущее не предвещало чего-либо, даже отдаленно напоминавшего того, что произошло около полугода назад, в день именин жены.

Подобного отправления вельможи в ссылку не знала ни предшествующая, ни последующая история России. Напомним, как сам Меншиков отправлял в ссылку Петра Андреевича Толстого. Перед нами письмо Толстого, написанное из Петропавловской крепости в день своего отъезда в ссылку какому-то Борису Ивановичу: «По указу ея императорского величества кавалерия и шпаги с меня сняты и велено меня послать в Соловецкий монастырь от крепости прямо сего дня. Того ради, Борис Иванович, можешь ко мне приехать проститься, а сын мой Иван, чаю, от печали не может приехать, а вас обеих велели ко мне допустить».

И немедленно пришлите мне малова Яшку с постелею и баулку з бельем, да денег двести рублей, да сто червоных, также чем питаться и молитвенник и псалтырь маленькую и прочее, что за благо разсудите. А малова Митьку я возьму с собою... А более писать от горести не могу». Толстой просил прислать еще «шляпрок», а также «малово, который бы умел ество сварить»¹⁶.

Остается гадать, почему Меншикову был дозволен столь пышный выезд, с огромным обозом и в сопровождении многочисленной дворни, в то время как Толстой должен был довольствоваться «баулкой» с бельем, постельными принадлежностями и сопровождением двух слуг.

Вероятнее всего, падение «полудержавного властелина» являлось неожиданностью не только для него самого, но и для его противников. Дворцовые перевороты более позднего времени, как известно, готовились в непроницаемой тайне, и заговорщики располагали более или менее детальным планом действий, предусматривавшим не только отстранение от власти временщика или коронованной особы, но и их последующую судьбу. Вполне возможно, что хитрый и архиосторожный Остерман рискнул раскрыть карты и подсказать Долгоруким мысль об устранении Меншикова лишь после своего визита к светлейшему 5 сентября, когда обнаружил

безмятежное состояние князя и убедился в беспроегрышности затеваемого дела. Успех Остермана — Долгоруких, как и поражение Меншикова, были столь ошеломляющими, что и победители, и побежденный в течение некоторого времени находились в состоянии оцепенения, некоего шока, мешавшего осознать происшедшее и его последствия. Здесь вступал в силу закон инерции: до сознания Меншикова, свыше четверти столетия стоявшего в непосредственной близости к трону, не сразу дошла мысль, что он уже и не светлейший, и не генералиссимус, и не член Верховного тайного совета, и не будущий тесть императора. Равным образом и его противники, ранее безропотно повиновавшиеся светлейшему, в полной мере не осознали, что он повержен навсегда и что с ним можно поступать, как с простым колодником. Именно этими соображениями можно объяснить удививший наблюдателей парадный выезд князя. Современник, имевший возможность наблюдать этот выезд из столицы, записал: «Проезжая по улицам петербургским, он кланялся направо и налево из своей кареты и, видя в сбежавшихся толпах народа своих знакомых, прощался с ними так весело, что никто не заметил в нем ни малейшего смущения»¹⁷. Хотел того князь или не хотел, но его пышно обставленное отправление в ссылку объективно являлось вызовом, брошенным победителям, и этот вызов не остался незамеченным. Горечь нового положения Меншиков в полной мере изведает позже, позже последуют и один за другим новые удары, наносимые ему противниками. А сейчас надо было срочно выдворить его из столицы и тем самым лишить возможности принять ответные меры.

Следы этой поспешности видны хотя бы на примере оформления обязанностей командира отряда, сопровождавшего Меншикова в ссылку, гвардии капитана Степана Пырского. Обычно лицам, отправляемым с каким-либо заданием, вручалась инструкция с перечнем прав и обязанностей. Но на этот раз Пырский, оказавшись без инструкции, сам обратился к секретарю Верховного тайного совета Степанову с девятью вопросами, на которые потребовал «резолюции». Ответы Степанова были затем утверждены Апраксиным, Головкиным и Голицыным. Характерно, что подпись Остермана под «резолюцией» отсутствовала — главный режиссер переворота предпочел остаться в тени, не оставляя следов своего в нем участия.

Пырский должен был взять под свой контроль переписку Меншикова, его общение с посторонними людьми; капитану надлежало решительно «противные поступки унимать». Маршрут исключал заезд в Москву — старую столицу надлежало объехать стороной.

Регулярно, почти ежедневно Пырский информировал Верховный тайный совет о продвижении кортежа. В донесениях мелькают знакомые названия остановок на пути из Петербурга в Москву: Ижора, Тосно, Любань, Новгород, Валдай, Едрово, Березай, Вышний Волочек, Торжок, Тверь, Гордня, Клин...

В первый же день пути, 11 сентября, Пырского догнал в Ижоре гвардии адъютант Дашков с устным предписанием Верховного тайного совета отобрать оружие у людей, сопровождавших ссыльного. Мера предосторож-

ности не была лишней — команда Пырского состояла всего из 79 человек, т. е. значительно уступала челяди Меншикова. В Тосне Пырский изъял 18 фузей, 36 пар пистолетов, 33 палаша, 25 кортиков. Здесь же, в Тосне, у Меншикова обострилась болезнь. Как засвидетельствовал Пырский, «у него гортанью кровь по-прежнему появилась»¹⁸.

Сильный приступ болезни вынудил чету Меншиковых обратиться с просьбой к своим противникам: супруг адресовал ее к Верховному тайному совету, а Дарья Михайловна предприняла попытку заручиться сочувствием у женщин — супруги Остермана и его тещи, а также сестры царя Натальи Алексеевны. Меншиков сообщал, что «ныне в пути без лекаря пользоваться кем не имею», и просил Верховный тайный совет и лично Остермана отпустить к нему доктора Шульца, которому он еще в Петербурге успел выдать на путевые расходы 200 руб. Просьба Дарьи Михайловны носила более общий характер — она умоляла своих корреспондентов исхлопотать у Петра II «божескую милость», чтобы «нам малую отраду видеть». Вернуть Меншикову «милости» было таким же безнадежным делом, как воскресить мертвого. Руки помощи никто не протянул. Отклика призыв к милосердию не вызвал — это был акт отчаяния столь же безрассудный, как и бесполезный. «Малой отрады» ссыльная семья не получила, письма Дарьи Михайловны не были вручены адресатам, они покоились среди бумаг Верховного тайного совета, но просимый Меншиковым доктор все же прибыл.

Впрочем, вмешательство медиков едва ли могло излечить князя от старелой болезни. Само по себе путешествие в осеннюю слякоть сопряжено с большими трудностями и требовало затрат физических сил, которых у князя поубавилось. Но дело было не только в трудности пути. Улыбки и приветствия, расточаемые знакомым во время продвижения по улицам столицы, свидетельствовали всего лишь о его исключительном самообладании и выдержке. Меншикову было, конечно, уже не до улыбок. Оставшись наедине с собой, он оказался во власти стресса, видимо, еще более сильного, чем тот, который ему довелось пережить в январе — феврале 1723 г. Он и вызвал обострение болезни. 2 октября, когда Меншиков был доставлен в село Березай, у него начался очередной приступ, едва не закончившийся смертельным исходом. Вот как выглядело состояние князя под пером Пырского: «И тут князя Меншикова зело было (болезнь. — Н. П.) смертельно схватила, что чуть не умер, отчего того часу кровь пустили и потом исповедали и приобщили святых тайн»¹⁹.

Как вел себя капитан Пырский по отношению к знатному узнику, допускал ли он какие-либо послабления? Судя по всему, допускал, но небескорыстно.

С одной стороны, он в своих донесениях подчеркивал усердие в пунктуальном выполнении «резолуции» Верховного тайного совета и его дополнительных указов, а также каких-то устных распоряжений Остермана. Рвение Пырского вице-канцлер, по-видимому, подогрел обещанием пожаловать ему майорский чин. В делах сохранились частные письма Пырского

к Остерману и Степанову с напоминанием об удовлетворении оставленной перед отъездом челобитной «о перемене своего ранга».

Ради майорского звания стоило постараться, и свое старание капитан изображал так, что ни у Верховного тайного совета, ни у Остермана не возникало даже тени сомнения относительно сурового режима содержания опального вельможи. Так, на вопрос, заданный Пырским перед выездом из столицы, как ему поступать в случае болезни князя — «стоять или ехать», последовала «резолюция», позволявшая ему действовать в соответствии с обстоятельствами: «Усмотря по его состоянию, поступать по своему рассуждению».

2 октября Меншиков, как мы видели, находился при смерти. Это, однако, не помешало Пырскому продолжать движение и отклонить просьбу Меншикова сделать остановку в селе Березай до появления зимнего пути. Меншикова уложили в качалку, привьючили ее к двум лошадям и таким способом 5 октября доставили в Вышний Волочек. Моросил ли нудный осенний дождь, дул ли пронзительный ветер — солдаты месили бездорожье и не спускали глаз с кареты, в которой везли ссыльного.

14 октября, находясь в Клину, Пырский получил указ об изъятии у Меншикова, у его сына и дочерей орденов и о водворении Варвары Михайловны в Александров монастырь. Курьер, доставивший этот указ, привез и кольцо, подаренное нареченному жениху, потребовав взамен кольцо, врученное Петром II Марье Александровне во время помолвки. Таким образом, слабо теплившаяся надежда, что «по учиненному пред Богом обещанию» Петр вступит с дочерью «в законное супружество», развеялась бесповоротно²⁰.

На следующий день Пырский донес о пунктуальном выполнении всех повелений: обменял перстни, отобрал «кавалерию», отправил в монастырское заточение сестру жены. Современник рассказывает, что, когда к Меншикову обратились с требованием отдать русские ордена — св. Андрея Первозванного, св. Александра Невского, он хладнокровно заявил: «Я ожидал, что их у меня потребуют, и положил для того нарочно в особую коробку поближе — вот она».

Был случай, когда действия Пырского могли вызвать раздражение членов Верховного тайного совета и прежде всего Остермана. Речь идет о пересылке писем Александра Даниловича и Дарьи Михайловны Верховному тайному совету, Остерману, его супруге и теще с просьбой о присылке доктора. Но Пырский проявил осторожность: в частном послании к секретарю Верховного тайного совета Степанову он передавал судьбу писем в руки его, Степанова, — тот мог их захоронить в бумагах, а мог, если сочтет необходимым, вручить адресатам. Степанов, как мы видели, предпочел их задержать у себя.

Итак, донесения Пырского дают основание характеризовать гвардейского капитана суровым и беспощадным служакой, бдительно сторожившим своего узника, не склонным проявлять никакого милосердия и даже готовым доставить к месту назначения труп вместо живого Меншикова.

Быть может, все эти качества были присущи Пырскому и именно они дали основание Остерману назначить его командиром отряда. Но вместе с тем Пырский не был свободен от распространенного среди современников порока — он принадлежал к числу мздоимцев.

Обещанная Остерманом «перемена ранга» была журавлем в небе, а в сундучках кареты Меншикова лежали драгоценности и деньги, которыми князь был готов поделиться со стражами. Соблазн получить хоть малую толику княжеских сокровищ был велик, и Пырский не устоял против этого соблазна. Он согласился брать подношения. Князь одаривал Пырского дорогими перстнями, деньгами, мехами, а когда кортеж ехал мимо недавно пожалованной капитану деревни из трех дворов, то распорядился выдать ему на обзаведение жеребца, шесть кобыл и несколько жеребят, велел снабдить этот конный завод овсом и сеном из своих вотчин, а также доставить три сотни бревен на хоромы для барина. Перепадало кое-что и рядовым. Под предлогом того, что команда терпит нужду из-за него, Меншикова, он награждал каждого солдата двумя с полтиною рублями.

Продаваемая Пырским благосклонность, видимо, избавила Меншикова и его семью от мелочной и назойливой опеки команды. Более того: ссыльным удалось несколько раз воспользоваться попустительством капитана, чтобы установить связь с внешним миром.

Светлейший был тяжело болен. Энергию Дарьи Михайловны целиком поглотили хлопоты вокруг больного супруга. Придавленная бедой, она, женщина хрупкая, едва ли была способна к активным действиям. Единственным человеком в составе ссыльной семьи, сохранившим смелость, желание и энергию, чтобы выпутаться из беды, была Варвара Михайловна. Это она, разумеется, с согласия Меншикова и от его имени, отправила к заслуженному генералу князю Михаилу Михайловичу Голицыну гонца с просьбой, чтобы он ходатайствовал перед царем об оказании ссыльной семье «милости».

Затя закончилась неудачей — то ли потому, что встреча служителя Федора Фурсова с Голицыным не состоялась, то ли потому, что последний не пожелал компрометировать себя связями с опальным вельможей и отказал в просьбе. Неудача не обескуражила Варвару Михайловну, и она еще раз использовала этого же служителя, чтобы отправить его с аналогичной просьбой в Москву — к губернатору Ивану Федоровичу Ромодановскому и престарелому сенатору Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину. Однако Фурсов не рискнул обратиться к московским вельможам. «Понеже, — как он позже объяснял, — то не малое дело»²¹.

В менее существенных делах подкуп Пырского и его команды принес плоды. Так, Московская домовая контора Меншикова по его распоряжению доставила к нему, когда кортеж находился недалеко от старой столицы, 22 тыс. руб. Половину этой суммы князь отправил Варваре Михайловне, только что сосланной в Александров монастырь. Кроме того, Меншикову было разрешено отправить письма-распоряжения вотчинным приказчикам и служащим, оставшимся в Петербурге.

Факт поездки людей Меншикова в Москву и получения ими крупной суммы был известен Пырскому еще в пути, но капитан ограничился «домашним» расследованием происшествия и счел возможным донести о случившемся Верховному тайному совету только месяца два спустя. Это, как и прочие поблажки, являлось нарушением Пырским своих обязанностей.

17 октября 1727 г. обоз со ссыльной семьей оказался в деревне Аксиньиной, что в двух верстах от Химок. Отсюда кортеж круто повернул на юг и, не заезжая в Москву, через два дня достиг Люберец. Дальнейший путь лежал по Коломенской дороге, и 3 ноября, т. е. почти два месяца спустя после выезда из Петербурга, Меншиков был доставлен наконец в Ранненбург. Здесь через три дня произошло событие, круто изменившее и судьбу Меншикова, и карьеру Пырского.

6 ноября ссыльный решил отметить день своего рождения. Семейный праздник он использовал для очередных подношений капитану и всей страже, включая солдат.

По требованию Пырского, считавшего, что Ранненбург — «крепость немалая и содержания требует искуснова», численность охраны была доведена до 195 человек. Меншиков выдал солдатам, охранявшим его с начала пути, по 1,5 руб., а прибывшим позже из Москвы — по 1 руб., кап-ралам — по 5 руб., сержантам — в 2 раза больше, прапорщику — 20 руб., капитану-поручику — 50 руб. Самый дорогой подарок, позже оцененный в 150 руб., — перстень с алмазами — достался Пырскому. Кроме того, Меншиков в дополнение к казенному рациону велел выдавать каждому солдату по одной копейке в день на мясо и рыбу.

Надо полагать, что среди облагодетельствованных князем людей начались распри из-за размера полученной подачки, и Пырский, опасаясь доноса, решил упредить события. 9 ноября 1727 г. он отправил в Верховный тайный совет доношение с сообщением о получении подарков не только здесь, в Ранненбурге, но и в дороге²².

Как же жилось князю в течение двух месяцев, когда он находился под надзором Пырского?

Меншиков, как явствует из документов, рассчитывал, что Ранненбург станет для него последним убежищем, где он будет коротать жизнь до конца дней своих, и поэтому принимал меры, чтобы устроиться в нем поудобнее, и думал о завтрашнем дне. Еще будучи в пути, он проявлял заботу о благоустройстве своей новой резиденции. В Ранненбург он отправил несколько распоряжений о заготовке столовых запасов, меда и пива, ремонте хором, приобретении рыбы на Покровской ярмарке. Приказчикам вотчин, расположенных близ Волги, велено было проявить старание «о покупке и присылке яицкой и волжской разных засолов икры», а московский приказчик должен был обеспечить дом разными сортами вина²¹.

Режим содержания ссыльного, видимо, не отличался строгостью. Меншиков по-прежнему покупал благосклонность капитана Пырского разного рода подношениями, которые тот охотно принимал и после того, как известил Верховный тайный совет о том, что князь не скупился на подарки.

Поводов для приема подношений было немало: то день рождения Пырского, то именины его супруги, то встреча Нового года. В руках Пырского оказались золотые часы, табакерка, перстни, отрез золотой парчи на камзол и даже пара поношенных платьев с княжеского плеча.

Впрочем, в донесениях Пырский не упускал случая подчеркнуть свою строгость. Он, например, сообщал, что из-за отсутствия церкви в пределах крепости он вывозит князя и его семью на богомолье за ее стены «с крепкою предосторожностью» — в сопровождении 40 пеших и 6 конных солдат. «А город, — доносил Пырский, — на ночь по пробитии зори, как утренней, так и вечерней, запираю и отпираю».

И все же от былого величия остались жалкие воспоминания. Семья князя хотя и пользовалась услугами дворни, но численность ее уменьшилась более чем вдвое: выехали из Ранненбурга слуги-иностранцы, исчезли певчие, карлы, убавилось лакеев и конюхов. В Петербурге проснувшегося князя ждала толпа вельмож и придворных. В Ранненбурге вместо вельмож у дверей стоял часовой, зорко следивший за каждым шагом узника.

Жизнь семьи, успевшей как-то приспособиться к условиям ссылки, была в начале января 1728 г. нарушена появлением в Ранненбурге двух новых лиц — гвардии капитана Петра Наумовича Мельгунова и действительного статского советника Ивана Никифоровича Плещеева. Первый из них должен был заменить Пырского на посту начальника караула.

В Верховном тайном совете в действиях Пырского усмотрели грубые нарушения инструкции и режима содержания ссыльного. Поэтому Мельгунова снабдили новой инструкцией, устанавливавшей более жесткий режим заточения. Строже стал контроль за перепиской Меншикова. В инструкции читаем: «Чтоб ни единое письмо ни к ним, ни от них мимо твоих рук не миновало». Всю корреспонденцию, показавшуюся Мельгунову подозрительной, надлежало доставлять Верховному тайному совету, а с писем следовало пересылать экстракты. Ограничивались права Меншикова на вотчины — ему было запрещено заключать какие-либо сделки. Инструкция содержала новый пункт, навеянный отправлением должности начальника караула предшественником Мельгунова. Пункт вписан последним и от остального текста отличается почерком: «У него же, Пырского, принять остаточную у него денежную казну. А от князя Меншикова как тебе самому никаких подарков не брать, так и подчиненным брать отнюдь не допускать под опасением за преступление по военному артикулу»²⁴. Плещеев тоже был снабжен инструкцией. Президент Доимочной канцелярии, человек, по отзывам современников, весьма свирепый, в дни могущества Меншикова постоянно отиравшийся в приемной его дворца, теперь согласно инструкции должен был выполнять роль следователя.

К опальному вельможе предъявили множество финансовых претензий частные лица и государственные учреждения. Плещеев должен был потребовать от Меншикова ответа в расходовании казенных сумм. Долги ссыльного, реальные и мнимые, дали Верховному тайному совету повод велеть Плещееву описать все его «пожитки», опечатать их и приставить

караул. Следователю, кроме того, надлежало отобрать у Меншикова и его сына «чужестранные кавалерии» — иностранные ордена, «понеже, — как сказано в инструкции, — чужестранные потентаты чрез своих министров» требовали их возвращения. Одно поручение, весьма деликатное, выполнение которого требовало соответствующих навыков, объясняет, почему при назначении следователя выбор пал именно на президента Домичной канцелярии.

Двор и столичные сановники твердо уверовали в несметные богатства Меншикова. Эта убежденность подкреплялась еще и тем, что князь в доплату к доходам с вотчин в 1727 г. взял у казны на расходы около 200 тыс. руб. Члены Верховного тайного совета надеялись обнаружить в княжеском дворце уйму денег наличными. Но вот незадача: «денег в доме ево ничего не является», — разочарованно отметила инструкция. Плещеев должен был допросить Меншикова, «чтоб он сказал подлинно, без утайки, куда взятую в нынешнем году сумму употребил или где и у кого в сохранении положены. Також, нет ли где в чужестранных государствах в банках и в торгах»²⁵.

Плещеев начал составление описи имущества 5 января 1728 г. В присутствии Меншикова, членов его семьи и многочисленной челяди открывались один за другим подголовки, сундучки, ларчики, футляры, из которых извлекали усыпанные бриллиантами, жемчугом и изумрудами шпаги, трости, пряжки, запонки, перстни, портреты и т. д. В общей сложности в опись было включено 425 предметов различных наименований, принадлежавших Меншикову, его супруге, сыну и двум дочерям. Поскольку многие драгоценности записывали под одним номером и называлось их общее число (например, «15 булавок, на каждой по одному бриллианту» или «2 коробки золота литого», «2 больших алмаза в серебре», «95 камней лаловых больших и средних и самых малых»), то общее количество предметов достигало нескольких тысяч. Среди конфискованных предметов находилась и трость, изготовленная по эскизу Петра и подаренная Меншикову за Калишскую победу. Она, согласно описи, выглядела так: «Трость, набалдашник золотой, весь осыпан алмазами, а между алмазами 3 места финифтных, наверху набалдашника большой изумруд земленой; внизу набалдашника, где лента вдевается, два колечка маленькие алмазные, наконечник золотой, при том кольцо с алмазами, одного алмаза нет». Подарки и награды иностранных коронованных особ тоже стоили немалых денег: шпага с золотым эфесом, украшенным алмазами, — подарок польского короля; запонка с большим алмазом, подаренная прусским королем, датский орден Слона с шестью большими бриллиантами. Среди «пожитков» княжеской семьи интересны предметы домашнего обихода и гардероб вельможи, его супруги и детей. Вся посуда была сработана из серебра: чайники, подносы, сахарницы, кофейники, ножи, вилки. Даже «блюдо, что бреютца» и «уринник с ручкою» (ночной горшок) были серебряными. Поражает огромное количество одежды князя. Перечень ее вполне подтверждает репутацию, которую снискал светлейший среди со-

временников: он был модником и тщательно следил за экипировкой. Плещеев признал лишними и, следовательно, подлежащими конфискации 13 пар верхней одежды (кафтанов и штанов), сшитой из бархата и сукна различной расцветки, 6 телогреек, 147 рубаш без манжет и с кружевными манжетами из голландского полотна, около 50 кружевных и кисейных галстуков, 55 простых и шелковых чулок, 25 париков, огромное количество простынь, подушек, скатертей.

Гардероб Дарьи Михайловны был скромнее, причем все вещи оставлены за нею. Помимо юбок, кафтанов, корсетов, платков, более 50 рубаш, ей было оставлено под расписку множество кусков разных сортов материи: 28 аршин тафты, 62 аршина байбарека, 8 аршин белого атласа, узлы с разноцветными лентами.

Второе место после главы семьи по количеству драгоценностей и одежды занимала старшая дочь — Мария. Нареченную невесту царя князь обеспечил богатым приданым. Перечень принадлежавших ей драгоценностей, разумеется, конфискованных, включал свыше 200 наименований. Среди них четыре бриллиантовых креста, множество ниток крупного и мелкого жемчуга, сотни бриллиантов и изумрудов, серьги, кольца, пряжки, подвески, запонки, «две персоны арапских, литых в золоте, при них искры алмазные», портреты Петра, Екатерины и Дарьи Михайловны, украшенные бриллиантами и алмазами. В списке изъятых вещей находились пудреница, чернильница с двумя песочницами, игла золотая, серебряная «готоваленка», зрительная труба. Вся одежда и обувь, а также шесть вееров и соболя муфта были оставлены Марии.

Закончив составление описи драгоценностей и имущества, Плещеев призвал всех слуг князя и под угрозой смертной казни предложил сообщить о деньгах и вещах, утаенных Меншиковым от следствия. Обращение к прислуге не дало ожидаемых результатов, хотя все же было кое-что обнаружено сверх предметов, включенных в опись.

Один из слуг донес, что в Москве, у княгини Татьяны Шеховской хранится ларчик Меншикова с драгоценностями «тысяч на сто и больше». Князь признал, что у Шеховской находится ларчик, но, по его мнению, «в том ящике золотых вещей, например, только тысячи на три или на четыре»²⁶. Кстати, ларчик оказался у Шеховской задолго до падения Меншикова. Слуги узнали о его существовании только потому, что в Москву с дороги в Ранненбург был отправлен за ним Фурсов, но он его не привез из-за разногласий по поводу процедуры передачи. Фурсов настаивал, чтобы ларчик был вскрыт и его содержимое описано, а Шеховская отказывалась это сделать.

Другая попытка утаить деньги была сделана с целью обеспечить на черный день не собственную семью, а свояченицу Варвару Михайловну. Речь идет о 22 тыс. руб., доставленных семье Меншикова из Московской домовой конторы, когда ссыльные находились в пути. Половину этой суммы князь взял себе, и ее остатки были изъяты Плещеевым, а другую половину он передал свояченице, будущей инокине Варсонофии, отправленной в монастырь.

Три складня, два из них усыпанных бриллиантами, один — изумрудами, оцененных в 22 тыс. руб. на тогдашние деньги, т. е. самые дорогие предметы, были переданы на хранение служанке Екатерине Зюзиной. Месяц после приезда Плещеева она хранила тайну, а затем не выдержала и донесла.

Современная молва сокровища Меншикова оценивала в фантастические суммы. Князь Куракин сообщал, что ежегодный доход князя с вотчин достигал 150 тыс. руб., «также и других трезоров (драгоценностей) великое множество имел, а именно в камнях считалось на полтора миллиона рублей». Среди «каменьев» выделялся «яхонт червчатой (т. е. рубин. — Н. П.) великой цены по своей великости и тяжести и цвету, которой считался токмо един в Европе»²⁷. Богатства князя в представлении Куракина выглядят ничтожными по сравнению с тем, что на этот счет сообщал саксонский посланник Лефорт. В октябре 1727 г. он доносил в Дрезден: «Одни говорят, что вещи, отнятые у него в дороге, превышают 20 миллионов, другие же говорят, что только пять»²⁸. В другом донесении, отправленном в конце ноября, Лефорт сообщил: «Составляется опись имуществу, оставшемуся в доме князя Меншикова. Собирают все данные о незаконно приобретенном им в различное время из государственной казны, как-то: на 250 000 серебряной столовой посуды, на 8 000 000 червонных и на 30 000 000 серебряной монеты. Все это кажется невероятным»²⁹. Сообщенные Лефортом цифры, правда с упоминанием его сомнений относительно их достоверности, попали на страницы трудов историков³⁰.

Слово «невероятно» слишком слабо отражает преувеличение Лефортом реальных богатств Меншикова. Их оценку следует признать плодом ничем не сдерживаемого полета фантазии. Лефорт черпал информацию из абсолютно недостоверных источников. Точно известно, что в пути у Меншикова никто деньги не изымал. Из инструкции Плещееву мы также знаем, что во дворце князя в Петербурге никаких денег не обнаружено. Но даже если бы в нашем распоряжении не было оценочных ведомостей сокровищ князя, то и в этом случае сведения Лефорта можно легко опровергнуть. Для этого достаточно сопоставить бюджет России с приводимыми Лефортом цифрами.

В 1724 г. казна намеревалась получить 8,5 млн. дохода. Он складывался из подушной подати, взимаемой с 7 млн. налогоплательщиков, а также разнообразных косвенных налогов. Богатства Меншикова в деньгах и драгоценностях с учетом перевода червонных в рубли оценивались, по Лефорту, суммой от 51 250 тыс. до 66 250 тыс. руб.!

Воображение современников, судачивших по поводу несметных сокровищ Меншикова, видимо, подогревалось просочившимися сведениями об изъятии у него крупнейшего в Европе яхонта. Эта драгоценность стала предметом особых забот Верховного тайного совета в связи с тем, что камень стоил колоссальных денег — Меншиков в 1706 г. заплатил за него какому-то сибирскому купцу 9 тыс. руб. В журнале от 10 сентября 1727 г. читаем: «Призываны Алексей Макаров и Петр Мошков и приказано им, чтоб они камень яхонт большой у князя Меншикова взяли». Запись сле-

дующего дня отметила выполнение указа: «Впущен был Петр Мошков и объявил камень большой лаловой, который по вчерашнему приказу взял он у князя Меншикова, и тот камень для отдания е. и. в. принял барон Андрей Иванович Остерман»³¹.

Сведения о сокровищах Меншикова можно отчасти проверить по оценочным ведомостям изъятых у него драгоценностей, а также наличных денег. Считаем, что «отчасти», ибо цена, проставленная в ведомостях, занижена по крайней мере в 2 — 3 раза. Драгоценности были оценены в 120 тыс. руб. Реальная их цена, видимо, равнялась 300 тыс. руб. Каково же было удивление Плещеева, когда он в сундучках князя вместо ожидаемых миллионов обнаружил сухую безделицу — 11 156 руб. русской монетой и на 1455 руб. иностранной валюты. К этой сумме следует прибавить еще 6594 руб. и 88 червонных, отписанных в казну из приморских дворцов домово́й конторе, ведавшей ингерманландскими и копорскими вотчинами, а также 73 822 руб., конфискованных в Петербурге. Наконец, приплюсуем 11 тыс., подаренных Варваре Михайловне, и 1 тыс. руб., отданную купцу на приобретение мехов, вина и прочего. Без большой погрешности общую сумму сокровищ и денег Меншикова можно определить в 400 тыс. руб. Тоже сумма немалая! Если перевести деньги того времени на курс золотого рубля начала XX в., то получим около 3,5 млн. руб.

Работный человек средней квалификации на мануфактуре во времена Меншикова получал 18 руб. в год.

Уместно вспомнить, что в начале жизненного пути все богатство Меншикова составлял кузовок, наполненный пирогами. На склоне лет для доставки в Москву одних только драгоценностей и денег понадобилось шесть сундуков.

Сумма в 400 тыс. руб., разумеется, не отражала всего богатства Меншикова. Здесь речь идет только о наличных деньгах и драгоценностях. Немалых денег стоила обстановка дворцов Меншикова в Ораниенбауме, Кронштадте, Москве и Нарве. Главное же богатство князя составляли многочисленные вотчины, крепостные крестьяне, промысловые заведения, дворцы, мебель, хрусталь, ковры, картины, одежда и пр.

Какова дальнейшая судьба сокровищ светлейшего, кто стал владельцем осыпанного бриллиантами складня, оцененного в 16 тыс. руб., бриллианта к прусскому ордену Черного Орла в 7 тыс. руб., кому достались запонки, серьги, перстни, булавки и прочее добро?

Канули в неизвестность — таков самый краткий ответ. Попытки обнаружить следы сокровищ Меншикова в собраниях главных музеев страны — Эрмитаже, Оружейной палате, Историческом музее — не увенчались успехом.

На судьбу сокровищ и имущества Меншикова проливают свет архивные документы.

Гардероб княжеской семьи доставили в Москву. Частично им воспользовались дети Меншикова, возвращенные из ссылки в 1731 г.

Перечень предметов, полученных Александром и Александрой Меншиковыми, занимает свыше 30 архивных листов. Среди них разнообразная

мужская одежда: камзолы, кафтаны, шапки, шляпы, чулки, перчатки, галстуки, 23 парика. Женская одежда представлена менее богато: юбки, корсеты, муфты и т. д. Наследники получили немало столового и постельного белья. Посуда, возвращенная наследникам, была медной и оловянной³². Большая часть одежды стала жертвой времени и небрежного хранения. Летом 1730 г. Московская губернская канцелярия сообщала, что кровля дома, где хранилось имущество, дала течь, отчего, как сказано в доношении, пожитки «весьма трупеют»³³.

Любопытна судьба предметов, доставшихся в приданое Александре Александровне, вышедшей замуж за брата фаворита императрицы Анны Иоанновны — Густава Бирона.

Александра Александровна умерла бездетной в 1736 г., а четыре года спустя катастрофа постигла и Биронов — Эрнст Бирон, ставший после смерти Анны Иоанновны регентом, в результате дворцового переворота вместе с братьями оказался в ссылке в Березове. Имущество Густава Бирона было конфисковано, в том числе и полученное в приданое покойной его супругой. Таким образом, части имущества Меншикова суждено было дважды подвергнуться конфискации.

Законным наследником приданого был брат покойной Александр Александрович, но он по каким-то причинам объявил свои права на него только в 1752 г. В челобитной он сообщал, что за сестрой было отдано из возвращенного имущества отца «пожитков тысяч до семидесяти, да деревни купленные, лежащие в Польше, Горы Горки, которые проданы графу Потоцкому за восемьдесят тысяч рублей, и деньги за сестрою моею в приданство не были отданы ему, Бирону».

Мы не ругаемся за точность оценки «пожитков», ибо в челобитной Александра Александровича сказано, что Горы Горки были проданы за 80 тыс. руб., а на проверку оказалось, что продажная цена была на 10 тыс. руб. меньше и составила всего 70 тыс. Во всяком случае, к 1740 г., когда составлялась опись конфискованного имущества, «пожитки» Густава Бирона оценивались в 5696 руб., в том числе женского платья — на 1051 руб., фарфоровой и хрустальной посуды — на 331 руб., а медной и оловянной — на 297 руб. Остальные предметы, бесспорно, принадлежавшие А. А. Меншиковой, большой ценности не представляли. Это прежде всего множество портретов князя, его супруги, детей и всей семьи, выполненные финифтью на меди и оцененные от 2 до 6 руб. каждый, а также несколько картин. Изделий из золота и серебра, за исключением двух золотых перстней с вынутыми камнями, а также прочих драгоценностей опись не зарегистрировала. Относительная скромность конфискованных «пожитков» дает основание предположить, что Густав Бирон, возможно, готовился к падению брата и сумел заблаговременно куда-то пристроить драгоценности.

Имущество Густава Бирона, как отмечалось выше, было оценено в 5696 руб., а с торгов его продали за 13 963 руб. Следовательно, купцы-эксперты, привлекаемые Канцелярией конфискации в качестве оценщиков,

имели обыкновение проставлять на предметы, изъятые у опальных лиц, не реальные, а значительно заниженные цены³⁴.

Иностранные ордена Меншикова без бриллиантов были отправлены в Иностранную коллегию, а часть русских — обрела новых владельцев. Орден св. Екатерины, изъятый у сына Александра Даниловича, царь отдал своей сестре Наталье Алексеевне, а орден св. Александра Невского, отобранный у пажа нареченной невесты, вручил фавориту Ивану Долгорукову. Прочие ордена с бриллиантами, принадлежавшие самому светлейшему и оцененные в 11 500 руб., были употреблены в дом его императорского величества.

Наиболее ценные предметы из меншиковских сокровищ Петр II подарил Наталье Алексеевне. В их числе упоминавшийся выше бриллиантовый складень, бриллиант к «прусской кавалерии», золотой пояс с пряжкой, усыпанной бриллиантами, и множество других украшений.

Использование остальных сокровищ связано с двумя событиями в царском доме: коронацией Петра II и смертью его сестры. По распоряжению Остермана серебряную посуду Меншикова весом около центнера передали «для убору ко гробу» царевны³⁵. На изготовление короны использовали бриллианты, алмазы, изумруды, жемчуг. Их пришлось извлечь из пуговиц, портретов, запонок, петлиц, крестов. Общая их стоимость превышала 29 тыс. руб.

Все, что осталось от дележа, присвоила императрица Анна Иоанновна. Бывшая курляндская герцогиня, в своем захолустье отнюдь не избалованная роскошью, волею случая ставшая императрицей, затребовала драгоценности на следующий же день по восшествии на престол. Доставленные в ее дворец предметы она, как написано в официальном документе, «пересматривать изволила и по пересмотру указала те вещи» на общую сумму в 22 872 руб. оставить у себя³⁶.

Покончив с составлением описи драгоценностей и имущества, Плещеев приступил к допросам Меншикова. Ему надлежало выяснить связь Меншикова с шведским сенатором Дибеном, которому он якобы дал гарантию, «что со стороны российской ничего опасаться не надлежит, понеже власть в войске содержится у него в руках и наипаче, что тогда здоровье ее величества государыни императрицы зело в слабом состоянии, и чает он, что век ее долго продлиться не может». Такое обещание Меншиков дал небескорыстно: «Оное его приятельское внушение Швеции не было забвенно, ежели ему какая помощь надобна будет». Шведский посол в Петербурге барон Цедеркрейц будто бы выдал Меншикову взятку в 5 тыс. червонных за информацию о внешнеполитических планах России по отношению к Швеции³⁷.

Иными словами, у Верховного тайного совета было намерение обвинить Меншикова в государственной измене. Подозрение в измене покоилось на донесениях русского посланника в Стокгольме графа Головкина, сына канцлера. Сначала он сообщил о доверительном разговоре с каким-то доброжелателем, который намекнул об изменнических действиях Меншикова, а затем во втором донесении поручился за достоверность этих сведений.

В Петербурге были допрошены три секретаря Меншикова. Все они не подтвердили обвинения: никаких писем, «противных ее императорского величества и Российской империи, в чужестранные государства, и особливо в Швецию, ни к кому не писали». Не удалось обнаружить следов преступной переписки и в опечатанной канцелярии Меншикова³⁸. Показания взятых под стражу секретарей Остерман и Голицын признали убедительными, и они распорядились освободить их. Осталось допросить самого Меншикова.

Плещеев вел допросы Меншикова в присутствии капитанов Мельгунова и Пырского. Допрашиваемый был предупрежден, чтобы он сказывал самую истинную правду. В случае если он будет заперяться и о том сыскано будет, тогда уже с ним «инако поступлено будет»³⁹. Обвиняемый категорически отрицал как получение взятки, так и действия, направленные против интересов России.

Помимо официальных допросов, Плещеев вел с Меншиковым частные разговоры. Формально они якобы происходили с глазу на глаз, как непринужденный обмен мнениями, но их подслушивали заранее спрятавшиеся за ширмой капитан Пырский и подпоручик Ресин. Правда, всего им расслышать не удавалось, но во время одного из таких частных разговоров они уловили следующие слова Меншикова: «С шведской стороны и много разговоров бывало и говорено, чтобы им отдать Ригу и Ревель и из Выборга Шувалова и Порошина вывести и определить иноземца, и за то обещали ему, кн. Меншикову, отдать во владение Ревель и объявить князем в Ингрии, и он, кн. Меншиков, того по верности своей к его императорскому величеству и ко всему Российскому государству не учинил». Ингрия и так моя, к тому ж и Ревель — рассудил князь⁴⁰.

Разговор хотя и неофициальный, тем не менее был запротоколирован и давал членам Верховного тайного совета некоторые основания рассуждать, что коль к Меншикову обращались с подобными предложениями, то, следовательно, обращавшиеся имели к тому резон. Однако, как справедливо отметил историк В. Н. Нечаев, исследовавший следственное дело Меншикова, между честолюбивой склонностью князя к славе и богатству и доказанностью обвинения — дистанция огромного размера. Возможно, что предложения, о которых заявил Меншиков, действительно исходили от шведской стороны. Возникает тогда вопрос: мог ли будущий тесть императора, человек, фактически правивший страной, поступиться государственными интересами России и интересами династии, с которой он должен был вступить в родство, ради того, чтобы к своему и без того пышному титулу добавить что-либо вроде «герцога Ревельского»? Тем более что он и без шведских обещаний был губернатором Ингерманландии и герцогом Ижорским. Инкриминировать Меншикову измену нет оснований еще и потому, что сам Верховный тайный совет после его падения в отношениях со Швецией придерживался такой же осторожной политики, какую проводил князь.

Плещеев допрашивал Меншикова и по поводу вымогательства им у герцога Голштинского 80 тыс. руб. После смерти Екатерины герцога вы-

дворяни из России, причем перед отъездом он должен был получить 300 тыс. руб. Меншикову ставилось в вину, что он вынудил герцога из этой суммы выдать крупный куш в 80 тыс. руб. якобы «за труды», т. е. за хлопоты. В инструкции Плещееву действия Меншикова названы «дерзким вымогательством».

В этом обвинении налицо тоже передеержка. Во-первых, деньги были выданы герцогу без участия (во всяком случае, формального) Меншикова на основании завещания Екатерины и определения Верховного тайного совета, на заседании которого он, кстати, не присутствовал. Следовательно, Меншиков не мог претендовать на вознаграждение «за труды». Тем не менее деньги Меншиков все-таки получил, но совсем при иных обстоятельствах. Он заявил следователю, что герцог накануне отъезда сам подарил вотчины в Голштинии, оцениваемые в 100 тыс. руб. От щедрого подарка светлейший не отказался, но пожелал взять его деньгами. 60 тыс. он получил наличными, а на 20 тыс. ему был выдан вексель. Мысль обвинить Меншикова в вымогательстве пришла герцогу после падения светлейшего, когда Верховный тайный совет обратился с призывом, чтобы все, кто имел к нему претензии, немедленно их предъявили.

В задачу Плещеева входило и расследование хищений Меншикова. О масштабе казнокрадства Меншикова среди иностранных дипломатов при русском дворе ходили слухи, о которых было сказано выше. Сумма начета, предъявленного Меншикову, равнялась 110 тыс. руб., 1 тыс. ефимков и 100 червонным. Из этой суммы Меншиков признал обоснованными претензии казны только на 100 червонных. Остальной начет он оспаривал, причем историк, занимавшийся изучением следственного дела, признал доводы Меншикова убедительными. Это не исключает использования князем власти в корыстных интересах. Так, иск на 32 825 руб. за неуплату таможенных пошлин он отклонил, опираясь на указ Екатерины о невзыскании с него штрафов и начетов, образовавшихся по 1721 г. Такой указ действительно был обнародован 8 декабря 1725 г. Указа, освобождавшего Меншикова от возвращения в казну взятых в долг 53 679 руб., он предъявить не мог, но сослался на то, что члены Верховного тайного совета сами известили его об этом повелении Екатерины. Взятые в казну 10 тыс. руб. он тоже не возвратил, но на этот раз по устному повелению Петра I.

С какой целью Плещеев допрашивал Меншикова, в чем состоял практический смысл следствия, затеянного Верховным тайным советом четыре месяца спустя после события, обратившего всеобщего вельможу в сыльного?

Задача следствия состояла в том, чтобы доставить Верховному тайному совету необходимый материал для манифеста «О винах Меншикова»: надо было положить конец пересудам и обнародовать обвинения, убеждавшие всех как внутри страны, так и за ее пределами в том, что в Ранненбург отправлен государственный преступник, достойный самого сурового наказания.

Такой манифест от имени Петра II был подготовлен Остерманом. Французский посол Маньян доносил в Париж 9 сентября, в день падения Меншикова: «Каждую минуту ожидают появления манифеста по этому делу»⁴¹. Но проходили дни, недели и даже месяцы, а манифест так и не увидел света. Его обнаружил два века спустя в ворохе архивных бумаг историк В. Н. Нечаев.

Что же удержало Верховный тайный совет удовлетворить любопытство современников?

Ответ на поставленный вопрос дает анализ проекта манифеста. Среди восьми «вин» Меншикова на первое место поставлен его произвол к лицам царствующей династии — Петру II и его бабке Евдокии Федоровне Лопухиной. Меншиков, сказано в проекте манифеста, «дерзнул нас принудить на публичный зговор к сочетанию нашему на дочери своей княжине Марье», а также «бабке нашей великой государыне Евдокии Федоровне чинил многие противности, которых в народ публично объявлять не надлежит». Все же одну «противность» составитель манифеста назвал: Меншиков не разрешил свидания царицы с внуком и заточил ее в Новодевичий монастырь в Москве.

Оба обвинения, правильные по существу, формально не могли быть предъявлены Меншикову. Известно, что «тестament» — завещание покойной императрицы — возлагал на правительство, т. е. Верховный тайный совет, обязанность «супружество учинить» между Петром II и одной из дочерей Меншикова. Более того: Верховный тайный совет в свое время ложно обвинил Толстого и Девиера как раз в том, что они противились сватовству «на принцессе Меншиковой». Сам Остерман принимал живейшее участие в этом сватовстве. Не подлежит сомнению, что составление «тестамента», как и расправа с Девиером, Толстым и др., — дело рук Меншикова, но оно было санкционировано императрицей и тем же Верховным тайным советом, который теперь переадресовал вину Меншикову. Не менее щекотливым было также обвинение во «многих противностях» по отношению к престарелой царице Евдокии Федоровне.

Сомневаться в ее неприязни к Меншикову не приходится, которая восходит, надо полагать, ко времени, когда царь зачастил в Немецкую слободу к Анне Монс. Но Меншиков напомнил о себе много позже, после так называемого суздальского розыска.

После окончания следствия по делу царевича Алексея, обнаружившего, что бывшая царица вела в Суздале отнюдь не монашеский образ жизни, ее решено было перевести в Ладожский девичий монастырь, что в Старой Ладоге. Выбор места заточения был не случайным — Старая Ладога входила в состав столичной губернии, и царь не сомневался, что губернатор Меншиков не даст никаких поблажек узнице. Так оно и случилось. Меншиков 20 мая 1718 г. подписал инструкцию капитану Маслову, назначенному начальником стражи, призванной охранять царицу, которая должна была находиться в полной изоляции: запрещались переписка и общение не только с людьми, находившимися за монастырской стеной, но и с монахинями.

Царица, освобожденная из заточения, не преминула воспользоваться падением временщика и отправила своему внуку письмо с жалобами на него: «Хотя давно желание мое было не только поздравить ваше величество с восшествием на престол, но по несчастию моему по се число не сподобилась, понеже князь Меншиков, не допустя до вашего величества, послал меня за караулом к Москве». Вероятно, так оно и было. Но Меншиков и в данном случае обставил дело столь предусмотрительно, что обвинить его в самоличном решении этого вопроса, по крайней мере формально, нет оснований. Сама Евдокия в письме Верховному тайному совету выразила желание переселиться из Шлиссельбурга в Новодевичий монастырь и просила, чтобы «определено бы было мне нескудное содержание в пище и прочем». Будучи в это время больным, Меншиков пригласил к себе членов Верховного тайного совета, которые и распорядились удовлетворить просьбу инокини Елены. Заметим, что стремление Евдокии Федоровны Лопухиной к активной жизни при дворе грозило неприятностями не только Меншикову, но и самому Остерману, а также Голицыну и Апраксину.

Шаткость обвинений Меншикова была очевидна. В одних случаях вина, возводимая на Меншикова, в равной мере относилась и к Верховному тайному совету, в других — обвинения не представлялись убедительными. У членов Совета теплилась надежда обосновать «вины», перечисленные в проекте манифеста, и добыть новые факты. Но миссия Плещеева разочаровала — следователь ничего нового в столицу не привез. Именно поэтому Верховный тайный совет воздержался от обнародования манифеста — Меншикова, таким образом, отправили в ссылку без следствия и суда. В опубликованном 27 марта 1728 г. указе о преступлениях Меншикова сказано глухо и в самой общей форме: «За многие и важнейшие к нам и государству нашему и народу показанные преступления смертной казни достоин был, однако же по нашему милосердию вместо смертной казни сослан в ссылку»⁴².

Что нового внесло в жизнь ссылке семьи появление в Ранненбурге Плещеева и Мельгунова?

Прежде всего князя лишили огромных богатств, представленных не столько драгоценностями, сколько вотчинами. Из его владений, разбросанных по всей территории Европейской России и за границей, можно было бы составить не одно немецкое княжество средней руки. Теперь ему оставили только тысячу крепостных. Правда, эта утрата в месяцы, проведенные под надзором Мельгунова, еще не сказалась — Меншиков расходовал имевшиеся у него наличные деньги. Зато конфискация части пожитков и уменьшение числа слуг сразу же лишили его прежней роскоши и бытовых удобств, к которым он привык за многолетнюю жизнь в столице.

Во времена Пырского Меншиков в значительной мере был предоставлен самому себе. Он мог проводить многие часы наедине со своими думами или в окружении членов семьи. С приездом следователя и нового начальника караула он должен был проводить многие часы в их обществе. Опись пожитков, как и ответы на вопросы следователя, усиливали нервное на-

пряжение, взрывы гнева перемежались с упадком сил князя, не вполне оправившегося от болезни.

Наконец, наглухо были перекрыты все каналы общения. В те три месяца, когда караулом командовал Пырский, Меншиков отправил 35 писем-распоряжений приказчикам, служителям, доверенным лицам. И хотя распоряжения Меншикова уподоблялись гласу вопиющего в пустыне, ибо ни одного ответа на них он не получил, они свидетельствовали о его активности, точнее, имитировали активность. Пырский, выполнявший обязанности цензора, аккуратно отправлял письма адресатам, но приказчики своевременно получили предписания игнорировать распоряжения Меншикова и поэтому не отвечали на них.

Лейтмотив большинства писем — приказания о присылке с вотчин денег и припасов, стекол для ремонта оконных рам, покупке в Москве разных сортов вина. При чтении краткого изложения содержания писем в журнале Пырского создается впечатление, что в жизни Меншикова ничего не изменилось и он, как и в прежние времена, озабочен хозяйственными делами и претворением в жизнь вотчинных планов всякого рода: снимает нерадивых приказчиков и назначает новых, хлопочет о продаже хлеба в Ладого, видимо, предназначавшегося для доставки в Петербург, велит вернуть какому-то купцу «нитяные кружева», оказавшиеся теперь ненужными. Несколько писем — их отправление свидетельствовало о том, что князь помнил о своем новом положении, — содержали распоряжения об уплате долгов кредиторам: Меншиков не желал, чтобы в его адрес раздавались проклятия.

При Мельгунове этот порядок был изменен — все без исключения письма Меншикова он отправлял в Верховный тайный совет, где все они и осели. Кстати, и количество писем значительно поубавилось: в январе князь передал всего пять писем, а в феврале и марте — ни одного. Четыре из пяти писем Меншиков адресовал приказчикам украинских вотчин с предписанием прислать припасы и деньги и выражением недовольства, что его ранее отправленные письма остались без ответа. Пятое письмо предназначалось домовой конторе в Москве. Меншиков повторно просил прислать лекарства, перечень которых занимал две страницы убористого текста, а также пять ведер орехового и два ведра деревянного масла, по две дюжины рюмок и бутылок⁴³.

Ужесточение режима коснулось и отношений Меншикова с супругой и детьми. Его бесконтрольное общение с членами семьи, которые заходили к нему в спальню, где он мог, как доносил Мельгунов, говорить, «что ему надобно», вызывало у начальника караула опасения. «И нам во оном не без сумнения, и о том как ваше величество повелишь?» — спрашивал Мельгунов в донесении от 15 января 1728 г.⁴⁴

Ответа на запрос не последовало, но можно не сомневаться, коль у Мельгунова возникло «сумнение», то он не преминул воспользоваться своей властью, чтобы устранить повод для опасений. Опыт Пырского показал, что куда безопаснее перегнуть палку, чем быть обвиненным в упущениях.

В Ранненбурге Меншикову довелось жить недолго. Поводом для ссылки Меншикова в Березов послужило подметное письмо, обнаруженное в Москве как раз тогда, когда туда переехал двор на коронацию Петра II. Письмо, согласно донесению испанского посла де Лирия, восхваляло Меншикова, «великие способности и ум сего несчастного министра». Смысл сочинения, более всего смутивший членов Верховного тайного совета, состоял в том, что если Меншиков не будет возвращен к власти, «то дела никогда не пойдут хорошо». Такой ход рассуждений сочли опасным, а пребывание ссыльного в относительной близости к Москве — угрожающим для спокойствия страны. Полагали, что у Меншикова могут найтись сторонники, готовые на отчаянную попытку вернуть ему «милости» силой. Подозрительность «верховников» подогревалась еще и тем, что начавшийся розыск хотя и не обнаружил автора подметного письма, но привел к важному открытию: сторонники Меншикова не только готовили общественное мнение о незаменимости князя в управлении страной, но и предпринимали практические меры, чтобы вернуть его к власти. Выяснилось, что духовник инокини Елены, а в миру Евдокии Федоровны, т. е. бабки царя, получил 1 тыс. ефимков «за то, чтобы он постарался ввести Меншикова в милость царицы»⁴⁵.

Последовал указ о ссылке Меншикова в Березов. Любопытное предписание получил Мельгунов: пожитки ссыльной семьи должны быть еще раз тщательно осмотрены, как только она выедет из Ранненбурга, «не явится ль чего у него утаенного сверх описи Ивана Плещеева, и те все пожитки у него отобрать»⁴⁶. У членов Верховного тайного совета, как видно, теплилась надежда обнаружить тщательно упрятанные векселя на миллионы. Надежда оказалась тщетной.

В восьми верстах от Ранненбурга поезд был остановлен, и началась последняя по счету проверка имущества князя, его супруги и детей. Мельгунов составил опись пожитков, с которыми князь отправился в Березов. Вильбоа в этой связи писал: «Перед отъездом из Ранненбурга сняли с Меншикова его обыкновенное платье и вместо того дали ему мужицкое, а также одели и детей его в бараньи шубы и шапки, под которыми были сокрыты кафтаны грубого сукна»⁴⁷. Слухи, запечатленные Вильбоа и позже заимствованные у него историками, писавшими о Меншикове, не соответствовали действительности. Верно, что гардероб князя и членов его семьи был скромнее того, каким ему дозволили пользоваться в Ранненбурге, но минимум вещей ему оставили. Он ехал в собольей шапке, атласном зеленом бешмете, кафтане и камзоле, вез он теплый халат, три подушки и даже пуховую шляпу. Гардероб трех женщин включал тафтяные шубы, атласные чепсы, корсеты, юбки и прочее. Из посуды было разрешено взять медный котел, три кастрюли, по дюжине оловянных блюдец и тарелок и три железные треноги. Вместе с Меншиковым в ссылку отправились и 10 его слуг.

Князь выехал из Ранненбурга 16 апреля 1728 г. Сопровождавший его лейтенант Степан Крюковской отправлял краткие донесения о продвижении к пункту назначения. 21 апреля сухим путем прибыли в Переславль-

Рязанский, откуда до Соли Камской двигались водою. Чем дальше от центра России, тем реже он отправлял рапорты, 5 мая он донес, что Меншиков доставлен в Нижний Новгород «з женою, с сыном и дочерьми и служителями». Следующий рапорт, написанный в Лаишеве, датирован 18 мая: «...и при мне Меншиков с сыном, дочерьми и служителями». Супруга в этом перечне отсутствует, но вместе с тем отсутствует и донесение о ее смерти. Вряд ли Крюковской не сообщил об утрате одной из ссыльных. Скорее всего донесение о смерти Дарьи Михайловны не сохранилось — она умерла между 5 и 18 мая. По свидетельству современников, она похоронена под Казанью.

Потеря любимой супруги, надо полагать, усугубила переживания князя. Но Крюковской времени на эмоции не отпускал — бурлаки продолжали тянуть барку и доставили ее вместе с пассажирами в Соль Камскую 24 июня. Следующее донесение Крюковской отправил из Тобольска. Он извещал, что 15 июля передал ссыльного губернатору князю Долгорукому⁴⁶.

Подневольное путешествие Меншикова в Березов, как и условия его жизни в нем, официальными документами не отражены: ни в Тобольской губернской канцелярии, ни в фонде Березовской уездной канцелярии не сохранилось ни одного документа на эту тему. Любопытные детали о жизни Меншикова и его семьи в Тобольске и Березове приводит Вильбоа, но достоверность их крайне сомнительна.

В Тобольске, повествует Вильбоа, Меншиков встретился с двумя жертвами своего произвола — чиновниками, будто бы сосланными по его повелению в этот город. Оба они обратились к бывшему вельможе со словами упрека и ругательствами, а какой-то ссыльный, одушевленный таким же, как его товарищи, негодованием, пробился сквозь народную толпу, схватил ком грязи и бросил в сына Меншикова и сестер его. Меншиков обратился к нему и сказал: «В меня надобно было бросить; если ты требуешь возмездия, требуй его от меня, но оставь в покое бедных, невинных детей моих».

Дальнейшие рассуждения Меншикова составлены в духе героев античных трагедий. Одному из ругателей он сказал: «Если в том состоянии, в каком я нахожусь, ты не находишь другого средства удовлетворить себя, кроме оскорбительных ругательств, — продолжай; я выслушаю тебя, не отрицая твоей досады. Мшение твое справедливо, но оно недостойно человека, которым пожертвовал я только политике, ибо считал тебя чиновником с достоинствами, но видел, что ты не согласишься с моими намерениями».

В Тобольске Меншикову было выдано 500 руб. Получая их, он будто бы заявил, что в пустынном крае, куда его повезут, с деньгами делать нечего, и просил приобрести на них предметы, необходимые ему в Березове. Меншикову было разрешено купить орудия и инструменты для обработки дерева и почвы, а также семена, мясо и рыбу.

«Из сей сибирской столицы повезли его и детей в маленькой открытой повозке, ведомой лошадью, а в иных местах собаками, до Березова». По словам Вильбоа, путь до Березова занял пять месяцев.

В пути новое приключение, описание которого, похоже, включено в текст, чтобы дать возможность Меншикову произносить назидательные сентенции: ссыльный встретился с прежним своим адъютантом, возвращавшимся из экспедиции Беринга. Вильбоа передает разговор, якобы состоявшийся между ними. Драматизм ситуации придает одна подробность: в человеке, обросшем бородой и облаченном в мужицкое платье, адъютант не узнал Меншикова, в то время как Меншиков признал в офицере своего адъютанта. Приводится диалог с переживаниями столь же сентиментальными, как и малоправдоподобными.

«Офицер спросил: по какому случаю знает он его имя и кто он такой.

— Да разве ты не узнаешь меня, Александра? — спросил Меншиков.

— Какого Александра? — сердито вскричал офицер.

— Александра Меншикова, — ответил ему мнимый мужик.

— Уж очень я знаю его светлость и должен знать, — сказал офицер. —

Да ведь он не ты.

— Нет, это я сам, — ответил Меншиков.

Офицер, почитая подобную встречу вовсе невероятной, подумал, не с ума ли сошел этот мужик, и не заботился о словах его. Тогда Меншиков взял офицера за руку, отвел к окну, которым проходил в хижину свет, и сказал:

— Вглядись в меня хорошенько и припомни черты твоего прежнего генерала.

Офицер, посмотревши внимательно несколько времени, начал узнавать Меншикова и с изумлением воскликнул:

— Ах, князь, каким событиями подверглись вы, ваша светлость, печальному состоянию, в каком я вас вижу?!

— Оставим «князя» и «светлость», — прервал его Меншиков. — Я теперь бедный мужик, каким я родился. Господь, возведший меня на высоту суетного величия человеческого, низвел меня в мое первобытное состояние».

Нагнетая драматизм, Вильбоа подключил к разговору сына, обратившегося к бывшему адъютанту со словами упрека:

«Разве и ты также не хочешь узнавать нас в нашем несчастье, ты, который так долго и так часто ел хлеб наш?»

Меншиков поведал офицеру о том, что случилось в государстве за годы, когда тот находился за 2500 лье от столицы, рассказал, как он оказался низверженным «с высоты величия в то бедственное состояние, в каком ты меня видишь».

В заключение беседы Меншиков просил передать своим недругам Долгоруким, что он, Меншиков, никогда не был так здоров, как ныне, «и в неволе моей наслаждаюсь свободой духа, которой не знал я, когда правил делами государства».

Отправив офицера в дальний путь, Вильбоа рассказывает, что Меншиков вместе с восемью мужиками, оставленными при нем из числа слуг, срубил себе дом. Какой-то добродетельный друг, имени которого не знали ни Меншиков, ни его семья, снабдил его четырьмя коровами и быком.

Еще одно испытание выпало на долю Меншикова — через полгода жизни в Березове дети заболели оспой. Старшая дочь, Мария, умерла у него на руках, но Александра и Александру ему удалось выходить. Но наступил черед расставания с жизнью и самого Меншикова. Приведем монолог, произнесенный Меншиковым детям накануне смерти:

«Дети мои, я приближаюсь к моему последнему часу. Никогда не помышляя я о смерти, пока не был здесь, и ничего не представляла бы она для меня, кроме утешения, если бы, являясь перед лицом господя, я должен был отдать ему отчет только о времени, протекшем в моей ссылке. Ум, а паче вера, приобретаемая мною во дни моего благоденствия, вразумляют меня, что если правосудие божие бесконечно, то и милосердие его, на которое я уповаю, также беспредельно. Совершенно довольный расстался бы я с миром и с вами, если бы оставил я здесь только пример добродетелей. Сердца ваши донныне были чужды разврата, пребывают невинны, и вы легче бы сохранили невинность свою среди сих пустынь, нежели там, в мире. Потому не желаю я даже возврата вашего туда и всегда прошу вас вспоминать о примере, который подавал я вам здесь в заточении. Силы оставляют меня. Приблизьтесь, дети мои, чтобы я мог благословить вас...»

Он хотел протянуть руку свою, но сил у него не достало. Голова его упала на подушку; легкие судороги сжали его тело, и он скончался. Дети похоронили его в часовне, подле дочери, по желанию, какое многократно изъявлял он в последние дни жизни.

Наконец, еще один нравоучительный сюжет. Судьбе, а также Вильбоа угодно было свести дочь Меншикова с Долгоруким, отправленным в ссылку в тот же Березов после неудачной попытки ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны.

Однажды Александра Меншикова, следуя в церковь, заметила в окне хижины какого-то мужика, который, как ей показалось, имел желание начать с нею разговор. Выяснилось, что мнимый мужик — князь Долгорукий. Он сообщил о смерти Петра II и гонениях на Долгоруких: «Нас везли сюда жестокие гонители и враги наши, как величайших злодеев — лишили нас даже самого необходимого в жизни. Жена моя умерла дорогой, дочь моя умирает и, конечно, не избежит смерти. Но, несмотря на бедствие, в котором я нахожусь, я надеюсь еще дожить до того, что увижу здесь врагов моих, погубивших по злобе своей меня и мое семейство».

О неожиданной встрече Александра рассказала своему брату, и тот хотел немедленно отомстить Долгорукому, которого считал виновником всех несчастий семьи, но сестра отговорила его.

Повествование Вильбоа венчает сюжет о возвращении Александры и Александра Меншиковых из ссылки. «В описях имения и бумаг Меншикова нашли, что у него находились значительные суммы в банках Амстердамском и Венецианском. Русские министры неоднократно требовали выдачи сих сумм на том основании, что все имение Меншикова принадлежало правительству русскому по праву конфискации. Но требования не были исполнены, ибо директора банков, строго следуя правилам своих

заведений, отказывались отдать капиталы кому бы то ни было, кроме того, кто положил их, и отдали их тогда только, когда утвердились, что наследники Меншикова были на свободе и могли распоряжаться своим достоянием. Полагали, что сии капиталы, простиравшиеся более нежели на полмиллиона рублей, обращены были в приданое княжне Меншиковой и что сему обстоятельству юный князь Меншиков одолжен был местом штабс-капитана гвардии и получил пятидесятую часть недвижимых имений, коими владел его отец»⁴⁹.

В своем месте мы обращали внимание на неточности в сочинении Вильбоа. В целом о его мемуарах можно сказать так: чем дальше от столицы происходили описываемые им события, тем менее достоверно их описание. Совершенно очевидно, что сведения о жизни Меншикова в Ранненбурге и Березове Вильбоа мог почерпнуть только от вторых или даже третьих лиц. Вымыслы и домыслы автор мемуаров дополнил собственными измышлениями. Сочинение Вильбоа, таким образом, превращается в литературный памятник, разукрашенный многими занимательными либо морализующими сюжетами отраженных событий в духе церковной морали. К сожалению, далеко не все им написанное можно проверить, а поэтому вычлнить легендарное из достоверного затруднительно.

Явным вымыслом является рассуждение Меншикова относительно того, что он до прибытия в Березов не помышлял о своей смерти. В своем месте было рассказано, что во время последней болезни, предшествовавшей падению, Меншиков заготовил духовную, а также письма к Петру II и вельможам, чтобы те не оставили в беде семью.

Версия Вильбоа об условиях возвращения детей Меншикова из ссылки тоже сомнительна. Если бы Меншиков имел вклады в иностранных банках и эти вклады достались Александре в качестве приданого, когда она выходила замуж за Густава Бирона, то об этом непременно бы написал Александр Меншиков-сын в челобитной императрице Елизавете, о которой было сказано выше. Но в челобитной о вкладах ни слова. Между тем историки, опираясь на Вильбоа, перенесли сообщаемые им сведения на страницы своих исследований.

Что касается прочих сюжетов в анекдотах Вильбоа, то они изобилуют таким количеством сменяющих друг друга драматических ситуаций, что их нагромождение ставит под сомнение достоверность всего построения автора.

Скончался Меншиков 12 ноября 1729 г. Бывшего генералиссимуса и бывшего адмирала без пушечной пальбы и торжественных церемоний похоронили у церкви, которую он срубил.

Падение Меншикова произошло в то время, когда он достиг наибольшего могущества, славы и богатства. Все это баловню судьбы досталось шутя. Будто бы шутя, он и расстался с тем, что имел. В опале он сохранил то, что не в силах были отнять у него противники, — самообладание и оптимизм. Он похудел, оброс бородой, но присутствия духа не утратил. Во всяком случае, его поведение в Березове не идет ни в какое сравнение с поведением другого опального, подобно Меншикову вскарабкавшегося

на вершину власти из гущи народной, — патриарха Никона. Опальный Никон то и дело «докучал» царю о всякого рода бытовых невзгодах, жаловался на плохую пищу, неумело сшитую местным «швачишкой» одежду, холодные покои. Меншиков стоически переносил ссылку. Поверженный, он не обращался с просьбами к победителям. Кончал он жизнь с топором в руках, т. е. с чего начинал свою умопомрачительную карьеру. Умению владеть топором он обучился на Саардамской верфи. В Березове эти навыки пригодились ему, чтобы срубить церковь.

Авторы дореволюционных работ связывали охлаждение Петра II к Меншикову с двумя действиями светлейшего, якими ущемлявшими престиж императорской власти и поэтому вызвавшими недовольство юнца. Первая размовка на этой почве состоялась 12 июля, когда Петр II к дню рождения своей сестры Натальи Алексеевны решил подарить ей 10 тыс. руб. Меншиков, тогда болевший, случайно встретил слуг, тащивших подарок, и велел отнести деньги на место, а Петру выговорил, что подобная расточительность неуместна, ибо казна пуста и надобно экономить. Второй раз Меншиков вызвал гнев Петра II тем, что во время освящения церкви он занял кресло, предназначавшееся для царя.

Подобное объяснение исходит из идеи о божественном происхождении царской власти: за всякое покушение на эту власть любой подданный, даже такого масштаба, как Меншиков, должен сурово расплачиваться. Вспомним рассуждение на этот счет историка Карамзина, перешедшее затем в бессмертное творение Пушкина: Борис Годунов был наделен многими добродетелями, но он незаконно занял трон, и это обрекло его на смерть. Пушкин вложил в уста умиравшего царя Бориса слова раскаяния:

Я подданным рожден, и умереть
Мне подданным во мраке б надлежало⁵⁰.

Подлинные причины падения Меншикова состояли в ином. Это было типичное для XVIII в. проявление борьбы за власть среди верхов феодального общества. Ни Меншиков, представлявший новую знать, выросшую на почве преобразований, ни Долгорукие и Голицыны — отпрыски древних аристократических фамилий — не выступали с альтернативными программами. Последних вообще не существовало. Возможно, что деятельность правительства, возглавляемого аристократами, привела бы к пересмотру и изменению некоторых аспектов внутренней и внешней политики. Однако, как показывает опыт дворцовых переворотов XVIII в., менялись люди, стоявшие у кормила правления, но неизменной оставалась политическая система, покоившаяся на феодальном землевладении, крепостном праве и самодержавии. Суть дворцовых переворотов в XVIII в. — а падение Меншикова как раз и открывало их серию — глубоко вскрыта В. И. Лениным. Он отмечал, что они были «до смешного легки», поскольку речь шла не об изменении общественного строя и политической системы, а всего лишь о смене лиц, стоявших у кормила правления⁵¹. Сменялись цари и царицы, место одних фаворитов и временщиков занимали другие,

но порядки оставались прежними. Все они независимо от происхождения, национальности и вероисповедания верой и правдой служили классу, в состав которого влились. И если мы вспоминаем имя Меншикова, то прежде всего потому, что этот человек-самородок был героем Калиша, Полтавы и Переволочны и внес огромный вклад в решение национальной задачи того времени — обеспечения выхода к Балтийскому морю. Александр Данилович Меншиков внес немалый вклад в укрепление могущества России.

Останки Меншикова долгое время покоились в земле вечной мерзлоты, и никто к ним не проявлял интереса, в том числе и потомки князя. Но вот почти столетие спустя после смерти ссыльного, в марте 1825 г., в Тобольск был назначен губернатором Дмитрий Николаевич Бантыш-Каменский, получивший известность не как администратор, а как историк. Его перу принадлежит множество фундаментальных трудов, в том числе и «Словарь достопамятных людей Русской земли» в пяти частях. Во второй части этого сочинения в тексте о Меншикове Бантыш-Каменский рассказал о том, как он, будучи тобольским губернатором, поручил березовскому городничему Андрееву разыскать могилу Меншикова. Столетний мещанин города Матвей Баженов указал место захоронения вельможи. 30 июля 1825 г. могилу раскопали и на глубине трех с четвертью аршин обнаружили выдолбленный из колоды гроб длиной в сажень. Когда сняли крышку гроба и освободили покрывало от слоя льда, то взору присутствовавших предстало великолепно сохранившееся тело усопшего — мужчины с бритой бородой, который, по словам Бантыш-Каменского, «как будто покоился в объятиях глубокого сна». На покойнике был халат, стеганая шапочка, под которой голова была обернута платком с венчиком наверху. На ногах — зеленого цвета остроконечные туфли на высоких каблуках. После осмотра и описания увиденного гроб был зарыт, и городничий отправил донесение губернатору. Изложив его суть, Бантыш-Каменский писал: «Не видав портрета знаменитого изгнанника, городничий донес мне, что открыл место погребения его (Меншикова. — Н. П.), но не ругается, действительно ли усопший был Меншиков».

Сомнения городничего Бантыш-Каменский решил развеять личным присутствием при повторном вскрытии могилы и гроба. Процедура состоялась 6 января 1827 г. При вскрытии гроба губернатор «увидел Меншикова, которого тотчас узнал по портрету», бывшему у него. Далее он продолжал: «Черты лица его не изменились, но от прикосновения воздуха тело, бывшее до того бело (как утверждал Андреев), все почернело; сукно, позумент, покрывало, шапочка подверглись тлению»⁵².

В этой версии Бантыш-Каменского не находит места ряд интересных деталей. В частности, он ничего не сообщил о неприятных для себя последствиях, вызванных раскопкой могилы. Они стали известны после опубликования служебной переписки губернатора с Министерством внутренних дел.

Неприятности начались после того, как Бантыш-Каменский, желая угодить правнуку опального вельможи флигель-адъютанту Александру Сергеевичу Меншикову, отправил ему шейный крест, а также лоскутки сукна, покрывала и позумента, извлеченные из гроба еще при первом вскрытии могилы. Этим губернатор не удовлетворился и во время повторного раскопа велел лекарю выдернуть из бровей покойного несколько волос, поместить их в пробирку со спиртом и отправить ее вместе с башмаком родственникам в столицу. Намерение, однако, не было осуществлено, так как губернатор, не надеясь на способность почты доставить пробирку адресату в целости, решил ждать okazji. Что касается башмака, то «от сырости и чрезвычайной мокроты оной развалился и истлел».

Вместо доставки волос молва донесла до родственников слух о том, что у покойника была вырезана бровь и извлечен глаз. Слух о кошунстве над телом покойного стал достоянием Николая I, и он велел министру внутренних дел отправить губернатору предписание: «Дошло до сведения государя императора, что 6 числа прошедшего января в городе Березове вырыто из земли тело покойного фельдмаршала князя Меншикова. Его величеству угодно знать без отлагательств, по чьему повелению и по какому поводу было сие сделано».

Ответ Бантыш-Каменского гласил, что тело бывшего генералиссимуса князя Меншикова не было вырыто из земли, а только открыто место его погребения по его приказанию березовским городничим г. Андреевым. Повторно могила была вскрыта «для того только, чтоб удостовериться, действительно ли найденное г. Андреевым тело было Меншикова». Цель всех разысканий — поставить на могиле «знаменитого изгнанника» «прстой памятник».

Поскольку Бантыш-Каменский не обмолвился ни единым словом относительно волос, шейного креста, позументов и сукна, то царь, ознакомившись с ответом, «изволил найти, что в оном нет чистосердечия». Николая I в ответе губернатора раздражало также умолчание о вырезанной брови и вынутом глазе. Во втором донесении Бантыш-Каменский подробно изложил все обстоятельства двукратного вскрытия могилы. В конечном счете царь осудил действия губернатора, велел передать ему, что «любопытство ваше было, по крайней мере, неуместно»⁵³.

Этим история с могилой Меншикова не закончилась. Член Русского географического общества Н. А. Абрамов во время посещения Березова в 1842 г., т. е. через 17 лет после вскрытия могилы, имел беседы с участниками и очевидцами этой операции, продолжил разыскание места захоронения Меншикова и пришел к выводу, что в 1825 и 1827 гг. была раскопана могила не Меншикова, а кого-то другого. В пользу своего утверждения он привел несколько убедительных доказательств. Абрамов установил, что могила Меншикова находилась не у Спасской церкви, где городничий вел раскопки, а у Богородице-Рождественской. Именно эту церковь срубил Меншиков, и там он был похоронен. Она сгорела 20 февраля 1764 г. Другой довод — платье и обувь на покойном не мужские, а женские:

капор на голове, шлафрок, башмаки на высоких каблуках. Далее — рост Меншикова (2 аршина 12 вершков) не соответствовал длине выдолбленной части гроба, равнявшей 2 аршинам 5 вершкам. Очевидцы вскрытия могилы рассказали Андрееву, что на большом гробу стояло два маленьких гробика. Согласно преданию, старшая дочь Меншикова, нареченная невеста Петра II, тайно обвенчалась с князем Федором Долгоруковым, разрешилась двойней и тут же скончалась⁵⁴. Казак, показавший за мзду место погребения Меншикова, по мнению Абрамова, полагал, «что покойник, пролежав в земле 98 лет, давно сгнил, а между тем ждал себе за открытие награды». Вывод автора таков: могилы Меншикова давно не существует — место, где он был захоронен, смыла река Сосьва.

Последний раз судьба останков Меншикова рассматривалась в статье М. Путинцева «К празднованию 300-летия г. Березова», опубликованной в 1891 г. Автор разделяет взгляды Абрамова, он излагает ее содержание и приводит из нее обширные цитаты. Новых доводов М. Путинцев не приводит, но его суждения отличаются большей категоричностью. Если, например, Н. А. Абрамов могилу, раскопанную Андреевым и Бангыш-Каменским, связывает с именем Марии Меншиковой, ссылаясь на предание, то Путинцев считает эту могилу могилой дочери Меншикова без всяких оговорок⁵⁵.

Итак, отбросив налет фольклора и романтики в рассказах о могиле Меншикова, следует признать за достоверное, что городничий и губернатор раскопали не могилу Меншикова — его останки унесла река Сосьва.

Работа Н. А. Абрамова, видно, не получила широкой известности. Только этим и можно объяснить тот факт, что благодаря мерзлотоведам пример нетленности тела А. Д. Меншикова в условиях вечной мерзлоты приобрел хрестоматийный характер⁵⁶.

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

Время не властно по отношению к эпохе, отраженной в настоящей книге, к ней многократно возвращались сошедшие со сцены поколения, она будет волновать и поколения грядущие. Неугасаем интерес и к личности, стоявшей в центре эпохи, — Петру I. Как бы ни относились к нему историки — одни из них безмерно его восхваляли, другие столь же безмерно осуждали, — все они видели в нем личность необыкновенную, сумевшую преодолеть косность и рутину, чтобы поставить страну на путь европейского прогресса.

Общепризнанным является умение Петра выбирать себе помощников и с максимальной рациональностью использовать их способности. Среди сподвижников царя первое место и по талантам, и по реальному вкладу в преобразование занимал А. Д. Меншиков. Как и в любой биографии выдающейся личности, страницы жизни Меншикова, предшествовавшие превращению его в крупного военачальника и государственного деятеля, относятся к числу менее всего изученных. Природа возникновения исторических источников такова, что в них отсеивается все то, что малосущественно. О Меншикове тем меньше мы знаем, чем больше углубляемся в годы, когда он еще не встречался с Петром I и пребывал в неизвестности. Имя его стало часто мелькать в документах со времени, когда он подвизался на разных поприщах военной и государственной деятельности. Меншиков выступает пред нами в трех ипостасях: в качестве фаворита царя, его самого энергичного и одаренного сподвижника, не менее интересен и третий аспект его биографии — характеристика личности.

Когда после изучения биографии сопоставляешь Меншикова — сподвижника царя с Меншиковым, фактически державшим в своих руках после смерти Петра I бразды правления огромной страной, то создается впечатление, что перед нами два разных по масштабам деятеля. В первом случае Меншиков выступал не только энергичным, но и инициативным исполнителем воли царя. Сдается, он был единственным сподвижником, бравшим на себя смелость действовать в соответствии с изменившейся

обстановкой. Он часто либо предвосхищал повеления царя, либо давал ему советы.

После смерти царя перед нами Меншиков, которого будто кто-то подменил. Получив свободу действий при Екатерине I и Петре II, он стал безынициативным и, как никогда ранее, скованным. Обретя огромную власть, он не знал, как этой властью распорядиться. Меншиков был более озабочен благополучием собственной семьи и удовлетворением ненасытного честолюбия, чем благополучием государства и сохранением его международного престижа, добытого в напряженной войне со Швецией. Исчез прежний размах в осуществлении намерений, а сами намерения приобрели сиюминутный характер.

Слабости Меншикова на виду, как и на виду его вклад в победы на театрах Северной войны, в создание регулярной армии и флота, в строительство и благоустройство новой столицы. Заметим, что алчность светлейшего, его порой затмевавшая рассудок страсть к стяжанию, как и добродетели семьянина, прежде всего характеризуют личность человека, его социальный и моральный облик. Они способны в известной мере «подмочить» репутацию героя или, напротив, вызвать к нему симпатии. Но в жизни выдающейся личности нас привлекает прежде всего ее реальный вклад во славу России — разумеется, России той поры с ее социальными противоречиями и самодержавно-крепостническими порядками. В этом плане позитивная роль Меншикова не вызывает сомнений.

*БОРИС ПЕТРОВИЧ
ШЕРЕМЕТЕВ*

НАЧАЛО ПУТИ

Борис Петрович Шереметев — полная противоположность Меншикову. Всякий раз, когда мы сравниваем черты характера и детали биографий этих сподвижников Петра, у нас появляется все больше оснований для их противопоставления. Меншиков не мог похвастаться предками — ему пришлось изобретать себе родословную, достойную уважения. Родословие Шереметева было блистательным. Меншикова природа наградила талантами полководца и администратора. Шереметева мы не можем назвать бездарным, но его способности были значительно скромнее. Светлейший был подвижен, энергичен, отважен и даже бесшабашен: ему ничего не стоило очертя голову броситься в пекло сражения либо совершить лихой и неожиданный налет на неприятеля. Шереметев, напротив, отличался медлительностью и крайней осторожностью. Он — сама рассудительность, остерегающаяся неожиданных поворотов; наперекор рассудку он не шел. Первый любил рисковать — второму риск противопоказан. Шансы свои и своего противника Шереметев досконально взвешивал и чувствовал себя уверенно, когда располагал превосходством в силах. Он не из тех полководцев, кто под воздействием эмоций мог бросить судьбу вверенного ему войска на волю случая.

Но вместе с тем в чертах характера обоих деятелей нетрудно обнаружить некую общность. Их роднили тщеславие, страсть к стяжательству, оба были равнодушны к лошадям. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что эта общность была чисто внешней. Они руководствовались в своих начинаниях разными побудительными мотивами и потворствовали своим слабостям разными средствами.

Так, Меншиков умножал свои богатства тем, что запуская руку в казенный сундук, не различая личное достояние и государственное. Не брезговал светлейший и скользкими финансовыми операциями, если они сулили изрядные барышни. Борис Петрович бескорыстием не отличался — иначе бы он не был сыном своего времени, но не отваживался красть в масштабах, которые позволял себе Меншиков. Представитель древнейшего

аристократического рода если и воровал, то настолько умеренно, что размеры украденного не вызвали зависти у окружающих. Во всяком случае, крупных хищений за ним не значилось. Шереметев умел попрошайничать. Он не упускал случая напомнить царю о своей «нищете», и его стяжания являлись плодом царских пожалований: вотчин он, кажется, не покупал.

Подоплека интереса к лошадям тоже была различной. Для Меншикова порода лошадей конюшни имела престижный характер — княжеское тщеславие не позволяло ему довольствоваться скромным выездом. Борис Петрович проявлял подлинную любовь к лошадям и знал в них толк. Только человеку, безгранично симпатизирующему коню, могли принадлежать слова, напоминающие крик души. В 1710 г. он изливал свое горе Якову Вилимовичу Брюсу в связи с гибелью лошадей: «Где мои цуги, где мои лучшие лошади: чубарые и чалые и гнедые цуги? Всех марш истратил: лучший мерин, светло-серый, пал»¹.

Свою родословную Шереметевы ведут с XIV столетия. Основателя рода называли Кобылой. Фамилия Шереметевых возникла от прозвища Шеремет, которое носил один из их предков в конце XV в. Потомки Шеремета встречаются в качестве военачальников уже в документах XVI в. С этого же времени род Шереметевых стал поставлять бояр.

Борис Петрович родился 25 апреля 1652 г. Поначалу его карьера ничем существенным не отличалась от карьеры родовитых отпрысков: в 13 лет он был пожалован в комнатные стольники. Этот придворный чин, обеспечивавший близость к царю, открывал широкие перспективы для повышения в чинах и должностях. У Шереметева, однако, стольничество затянулось на долгие годы. Только в 1682 г., т. е. в возрасте 30 лет, он был пожалован в бояре. В дальнейшем он подвизался на военном и дипломатическом поприщах. В 1686 г. в Москву прибыло посольство Речи Посполитой для заключения договора о мире. Русских дипломатов на переговорах возглавлял фаворит царевны Софьи князь Василий Васильевич Голицын. В числе четырех представителей русской стороны находился и Борис Петрович. Успешные переговоры завершились подписанием 26 апреля 1686 г. «Вечного мира». Шереметев был пожалован позолоченной чашей из серебра, атласным кафтаном, получил прибавку жалованья и крупную единовременную награду — 4 тыс. руб.

Летом того же 1686 г. Шереметев продвинулся на дипломатическом поприще еще на одну ступеньку: он возглавил посольство, отправленное в Речь Посполитую для ратификации «Вечного мира». В Варшаве он выказал галантность — испросил аудиенции у королевы, чем польстил ее самолюбию и обеспечил поддержку своим начинаниям.

Из Польши Шереметев направился в Вену, где он должен был заключить договор о совместной борьбе против общего неприятеля — Османской империи. Однако император Леопольд I решил не обременять себя союзническими обязательствами, и поэтому переговоры не привели к желаемому результату. Во время встреч с австрийскими дипломатами энер-

гия сторон тратилась на изнурительные споры о церемониале приема русского посольства, о титуле царя и т. д. Впрочем, одного успеха Шереметеву все же удалось достичь: он был первым русским представителем, вручившим грамоту непосредственно австрийскому императору. До этого такие грамоты принимали министры.

В Москве результаты посольства Шереметева были оценены положительно, и боярин получил в награду крупную вотчину в Коломенском уезде.

В 1688 г. мы встречаем Шереметева на военной службе: ему было поручено командование войсками в Белгороде и Севске, которые должны были преградить путь набегам крымских татар. В те времена дипломатическая служба перемежалась либо сочеталась с военной, ибо считалось, что чин боярина мог обеспечить успех как на поле брани, так и за столом переговоров.

Пребывание вдали от Москвы избавило Шереметева от необходимости участвовать в событиях 1689 г. Если бы он жил в столице, то перед ним непременно встал бы вопрос: к кому примкнуть и на чью чашу положить авторитет ближнего боярина — к Петру, заводившему в потешных войсках иноземные порядки и дружившему с иностранцами из Немецкой слободы, или к Софье, ориентировавшейся на аристократические фамилии. Сословная принадлежность Бориса Петровича должна была склонить его симпатии к Софье. Вместе с тем Шереметев, будучи не в ладах с фаворитом царевны Голицыным, оказался на вторых ролях и как бы в почетной ссылке. В этих условиях захват власти царевной не сулил боярину никаких выгод.

Характерно, что, после того как Софья была повержена, Шереметев долгие годы не был призван ко двору. Продолжительное пребывание на Украине предоставило ему возможность изучить польский язык. Знал он его настолько прилично, что в случае нужды даже брался переводить с русского на польский. Об этом говорит письмо, отправленное Борисом Петровичем Меншикову много позже — 9 апреля 1705 г. Будучи в Дубровне, он писал ему: «В переводе универсала досконалова человека не сыскал, что б умел на польский язык тем же сенцыем (смыслом. — Н. П.) слово в слово перевести. В Дубровне таких людей ученых, також школ нет, и, сколько мог, трудился сам и переводил»².

В первом Азовском походе 1695 г. он участвовал на отдаленном от Азова театре военных действий: царь поручил ему командование войсками, которые должны были отвлекать внимание османов от главного направления русского наступления. Уже сам факт, что Шереметев не находился в числе трех главнокомандующих (Лефорт, Головин, Шеин) армией, двигавшейся для овладения Азовом, свидетельствует о том, что Борис Петрович не пользовался особым расположением царя. Это расположение надлежало завоевывать делом, и Шереметев не жалел сил, чтобы добиться успеха: он без особого труда разорил османские крепости по Днепру. В следующем году Азов пал. Османы попытались компенсировать потерю

Азова захватом ранее отнятых на Днепре крепостей, а также вновь построенной крепости Таван, но Шереметев пресек эти попытки.

Овладение крепостью в устье Дона не обеспечивало Россию морским путем сообщения со странами Европы. За право свободного плавания русских кораблей по Черному и Средиземному морям предстояла длительная и напряженная борьба с Османской империей, контролировавшей Керченский пролив, а также Босфор и Дарданеллы. В поисках союзников для совместной борьбы с южным соседом в марте 1697 г. на Запад отправилось так называемое Великое посольство, в составе которого находился сам Петр.

Три месяца спустя после отъезда из Москвы Великого посольства двинулся в путь и Шереметев. Какие обязанности возлагались на Бориса Петровича? Почему выбор пал именно на него? Эти вопросы задавали и современники, и историки, но известные в настоящее время источники не позволяют дать на них удовлетворительный ответ. Один из современников, секретарь австрийского посольства И. Корб, рассуждал так: «Нет ничего обыкновеннее, как высылать под личиной почета из столицы тех лиц, могущество которых или всеобщее к ним расположение внушают опасение». Поручение, выполнение которого было связано с выездом за границу, Корб объясняет стремлением Петра обезопасить трон на время своего отсутствия от возможных покушений на него со стороны Б. П. Шереметева³.

Вряд ли, однако, догадка Корба имела под собой прочные основания. Переворот в пользу новой династии при живом царе, временно покинувшем пределы страны, исключался. Столь же сомнительным является его предположение, что Борис Петрович мог действовать в интересах Софии. Конфликт между ее фаворитом и Шереметевым был настолько глубоким, что позволил одному из современников назвать боярина «смертельным врагом» Голицына⁴.

Находящиеся в распоряжении историков документы придают путешествию Шереметева даже некоторую загадочность. В указе Шереметеву цель его поездки формулировалась так: «...ради видения окрестных стран и государств и в них мореходных противу неприятелей креста святого военных поведений, которые обретаются во Италии даже до Рима и до Мальтийского острова, где пребывают славные в воинстве кавалеры». Во время аудиенции у польского короля и саксонского курфюрста Августа II Шереметев заявил, что его позвала в путь благодарность к апостолам Петру и Павлу, которые патронировали его победы над неприятелем. Вслед за победоносными сражениями он дал клятву отправиться в Рим, чтобы поклониться мощам апостолов. В Вене Борис Петрович заявил, что его путь лежит на остров Мальту, в лоно мальтийских кавалеров, «дабы, видев их храброе и отважное усердие, большую себе восприяти к воинской способности охоту»⁵.

Таким образом, если верить документам, то поездка Шереметева в дальние страны была продиктована отчасти религиозными мотивами, от-

части познавательными целями. Согласно версии «Записок путешествия», инициатива исходила от самого Шереметева, которому поездка обошлась в 20 500 руб.*

Все эти рассуждения вызывают глубокие сомнения, которые подкрепляет и колоссальная по тому времени сумма издержек на вояж. Присмотревшись к «Запискам» внимательнее, нетрудно обнаружить, что и при выборе маршрута путешествия, и при выборе кандидата в путешественники царь руководствовался деловыми соображениями. Забегая вперед, отметим, что Шереметев посетил Речь Посполитую и Австрию, где встречался с польским королем и австрийским императором, дальнейший путь его лежал в Венецию. Совершенно очевидно, что маршрут Шереметева предварял маршрут царя и являлся частью общего плана русской дипломатии по сколачиванию антиосманского союза европейских держав. Петр тоже имел встречи с польским королем и австрийским императором. Намеревался он посетить и Венецию, но тревожные сведения о стрелецком бунте, полученные им, когда он находился в Вене, вынудили его прервать поездку и вернуться в Россию.

Для выполнения дипломатической миссии в этих странах у Петра не было более подходящей кандидатуры, чем Шереметев, в особенности если учесть, что весь цвет русской дипломатии был включен в состав Великого посольства. Преимущество Шереметева состояло в том, что за его плечами был опыт дипломата и ему, как отмечалось выше, уже довелось побывать в некоторых из стран, куда он держал путь. Шереметев был, кроме того,

* Профессор П. П. Епифанов высказал несогласие с трактовкой цели путешествия Б. П. Шереметева в первом издании данной книги. В своей рецензии на книгу он пишет: «Заметим еще, что подлинный «Статейный список посольства ближнего боярина и наместника Вятского Б. П. Шереметева в Краков, Венецию, Рим и Мальту в 7205 (1697) годе» не оставляет места ни для домыслов И. Корба о целях этого путешествия, ни для какой-либо его загадочности, свидетельствуя о совершенно официальном характере этого посольства (именно посольства!) на юг Европы как составной части предпринятого тогда же «Великого посольства». Ведь первоначально Петр намеревался направиться к цесарю, затем в Рим, к папе, а оттуда в Венецию, а потом уже в Голландию и Англию. Перемирие с Турцией позволило ему изменить маршрут и отправиться прямо в наиболее развитые страны Европы» (Вопросы истории. 1987. № 1. С. 122).

Рассуждения П. П. Епифанова основаны на недоразумении. Дело в том, что «Записки путешествия» Б. П. Шереметева, впервые опубликованные в 1773 г., в 1778 г. были повторно напечатаны Н. И. Новиковым под названием «Статейный список...». Оба текста совершенно одинаковы, поэтому ссылка на первую публикацию вполне правомерна. Более того, на наш взгляд, у Н. И. Новикова, а вслед за ним и у П. П. Епифанова нет оснований рассматривать текст «Записок» как «Статейный список...» (хотя в некоторых источниках он так и назван). Источники такого рода независимо от названия (например, статейный список А. П. Волянского назван журналом — см.: Бушув П. П. Посольство Артемия Вольнского в Иран в 1715 — 1718 гг. М., 1958) составлялись по определенному формуляру. Этот формуляр включал: инструкцию послу, описание пути следования в страну назначения, передачу диалогов между послом и теми или иными должностными лицами, а также описание аудиенций у коронованных особ с изложением всех речей и действий. Не говоря уже о том, что в «Записках путешествия» Б. П. Шереметев выступает частным лицом, а не представителем государства, в тексте отсутствуют инструкция, подробности состоявшихся переговоров и их итоги. Странным выглядит также упоминание о расходовании собственных денег на путешествие, в то время как посольства финансировала казна. Все вышеизложенное дает основание оставить текст первого издания без изменений.

военачальником, причем он успешно руководил военными действиями против неприятеля, являвшегося противником номер один и для дворов, которые он намеревался посетить, — Варшавы, Вены, Неаполя. Имела значение и внешность Бориса Петровича. Голубоглазый блондин с открытым лицом и изысканными манерами, он обладал качествами, необходимыми дипломату: в случае надобности он мог быть и непроницаемым, и надменным, и предупредительно любезным. Петр при выборе кандидата, видимо, учитывал еще одно качество Бориса Петровича: он был не чужд восприятию западной культуры, во всяком случае, ее внешних проявлений.

Интересна реакция князя-кесаря Федора Юрьевича Ромодановского на известие из Вены о том, что руководитель дипломатической службы России Федор Алексеевич Головин обрядился в европейский костюм. Если положиться на свидетельство Корба, то Ромодановский будто бы воскликнул: «Не верю такой глупости и безумству Головина, чтобы он мог пренебречь одеждой родного народа»⁶. Правда, некоторое время спустя самому Ромодановскому пришлось расстаться и с бородой, и с древнерусским кафтаном, но сделано это было под давлением царя: князь-кесарь был вторым лицом, которого Петр собственноручно лишил бороды. Шереметев без всякого принуждения сам обрядился в европейский костюм и щеголял в нем на банкете в Вене. Появление боярина в немецком платье было столь необычным явлением, что его сочли необходимым отметить в «Записках путешествия».

Шереметев оставил Москву 22 июня 1697 г. По России он ехал не спеша и без приключений. Три дня Борис Петрович провел в своей коломенской вотчине, куда съехалась на проводы вся родня. Навестил он и кромскую вотчину, где пробыл свыше недели. Неприятности подстерегали путешественника с того дня, когда он пересек русско-польскую границу. Накануне его предупредили, что в Речи Посполитой начался очередной «рокош», сопровождавшийся, как сказано в «Записках», «мятежами и убийствами». Благожелательные к России представители католического духовенства рекомендовали Шереметеву продолжать путь «с великим опасением». Боярин решил ехать под именем ротмистра Романа, причем свита, состоявшая из царедворцев и слуг, была объявлена «равными товарищами». Полностью сохранить инкогнито ему не удалось: поляки заподозрили, что едет не «равное товарищество», а боярин со свитой. В связи с этим Шереметеву пришлось провести сутки в тюрьме.

«Записки путешествия» регистрировали каждое перемещение Шереметева. В них читатель обнаружит немало любопытных описаний того, что доступно обозрению всех, — например, рельефа местности, городских сооружений, явлений природы, церемоний и т. д. Напротив, автор «Записок» крайне скуп, когда надлежало сообщить подробности о существовании происходившего, и в частности о содержании разговоров с коронованными особами, или перейти к анализу увиденного и услышанного. Такая манера изложения дает основание полагать, что записки вел не сам Шереметев, а кто-либо из его свиты, и скорее всего Алексей

Курбатов, будущий прибыльщик, сопровождавший боярина в этом заграничном путешествии. Сказанное, однако, не колеблет высокой ценности «Записок» как источника для изучения биографии Бориса Петровича, ибо текст, конечно же, составлялся не без его ведома, а вполне возможно, и по его подсказке.

Автор «Записок» не упускал случая отметить детали аудиенций, имевшие престижный характер. Он, например, не преминул упомянуть, что польский король прислал за Шереметевым карету, «зело богато позолоченную». Не ускользнул от его внимания и факт проводов боярина Августом II «до самых дверей». Зато надежда прояснить суть переговоров оказалась тщетной. Автор утаил их содержание, ограничившись интригующей фразой: «Король говорил с боярином много тайно». О чем?

О содержании переговоров в Вене, Риме и Венеции «Записки» тоже ничего не сообщают. Их автор становится словоохотливым, лишь когда заходит речь о церемониях, подчеркивавших уважительное отношение иностранных дворов к боярину. На торжественном приеме, устроенном цесарем, Шереметев стоял «на особливом месте при столе». Во время пребывания в Венеции Бориса Петровича, «отдавая почеть», угощали сахарами и конфетами «на ста осмидесяти блюдах», а вином — в 60 бутылках. Знаки внимания ему оказал и папа римский, приславший на подворье «рыб многих и сахаров и вин разных множество, блюдах на семидесяти». Упор на обилие угощений как на свидетельство уважения к гостю, сделан и при описании церемонии вручения Шереметеву мальтийского креста и посвящения его в кавалеры ордена: «...в кушанье и питье многое было удовольствие и великолепность, также и в конфектах».

Интересны зарисовки того, что изумляло русского человека, оказавшегося далеко за пределами родной страны. Жителей равнины, естественно, удивили горы, и автор «Записок» выразил свои эмоции эпитетами, назвав их «великими, превысокими» и «предивными». Незабываемое впечатление на путешественников произвели последствия землетрясения, от которого «многие палаты совсем попадали, иные попортились», а также действующие вулканы Везувий и Этна. Об Этне на Сицилии сказано, что она «горит великим пламенем» и, кроме того, выбрасывает на поверхность «огненные превеликие камни», а по склонам вулкана текут «источники огненные».

На обратном пути путешественники стали свидетелями таинства природы, потрясшего их. В красочном и эмоциональном описании извержения Везувия передана гамма чувств автора «Записок» — страх, беспомощность, обреченность, изумление: «В бытность боярскую в Неаполе тутошние жители два дни были в великом страхе и ужасе от горы Везувий, горящей непрестанно, потому что в те два дни превеликой из оной горы исходил огонь, был гром, треск и шум и кидало вокруг горы мили на три и на четыре большие огненные каменя, многие же с той горы протекли огненные лавы, причем живущих около сей горы пожгло, побило и пере-

ранило камнями многих людей, так же и всякие пожгло заводы, от чего в город Неаполь збежалось народу с тридцать тысяч».

Менее содержательны описания городов, госпиталей, церквей и т. д. О монастыре св. Франциска в Риме сказано, что в нем живут «всех знатных особ дочери-девицы». В монастыре — церковь, она «весьма украшена мраморами (мраморными статуями. — Н. П.), резьбами и обитьями, и келии преизрядные». Как было организовано обучение «дочерей-девиц», какие «мраморы» предстали взору путешественников — об этом ни слова, как ни слова об архитектурных достопримечательностях Неаполя. Об облике города написано так: «...строение в нем палатное хорошее, а паче церкви преизрядные украшением всяким, предорогими живописьми, а больше мраморами». Столь же лаконична запись о Падуе: «...город великий, и строение в нем старинное... академии докторские преславные».

Даже описание крепости на Мальте, представлявшей для человека военного, каким был Шереметев, особый интерес, не отличалось подробностями и дано в том же ключе, что и описание городов или храмов. Крепость, осмотренная Борисом Петровичем в сопровождении мальтийских кавалеров, «зело искусно зделана и крепка и раскатами великими окружена, а паче же премногими и великими орудиями снабдена».

В Риме путешественникам показали госпиталь и приют. И тем и другим они были удивлены и в то же время не проявили интереса к организации этих учреждений, их финансированию и т. п. Их поразило то, что в госпитале «всякому особливые учинены постели мягкие и всякая нужда больным и за всяким ходит особливый человек». В приюте находилось более 2 тыс. «девок больших и малых», у каждой из них «особая постеля с белыми простынями». Все здесь трудились: девочки вязали чулки, а взрослые ткали сукно.

Любопытны дорожные происшествия посольства. Альпы ему довелось преодолевать в неблагоприятное время, когда путь преграждали снежные заносы. Для расчистки дороги пришлось нанимать до сотни людей, они же тащили на себе и кладь. Сам боярин, как повествуют «Записки», «пошел пеш чрез те великие горы и чрез те великие опалые с гор сугробы, и шли они с великою трудностью и опасностью от снега с гор верст с семь и ночевали в деревнишке Доня, в которой и есть добыть не могли»⁷.

Едва ли не самым опасным отрезком пути был морской путь от Италии до Мальты. Накануне прибытия Шереметева в Мессину четыре османских корабля напали на два купеческих судна и одно из них захватили в плен. Поэтому Шереметев проявил осторожность: в Неаполе он нанял два корабля, один из которых был разведывательным, а на втором находился посольство. В море фелюгу Шереметева встретили семь мальтийских галер, командование которыми хозяева любезно предложили гостю. У Шереметева появилась мимолетняя надежда отличиться в морском сражении — вдали маячили четыре османских корабля. Началась погоня, впрочем, безрезультатная, ибо настичь их и вступить с ними в сражение не удалось.

К дорожным приключениям следует также отнести способ въезда боярина в Венецию. Одолеваемый любопытством, Шереметев решил поглазеть на устроенный в городе карнавал и поэтому прибыл туда ранее назначенного времени, «тайным способом». К сожалению, автор «Записок» в отличие от Петра Андреевича Толстого, о котором речь впереди, не поделился впечатлениями от увиденного зрелища.

2 мая 1698 г. был достигнут конечный пункт путешествия — Шереметев вступил на Мальту. В Москву он возвратился 10 февраля 1699 г. Корб так отметил прибытие Бориса Петровича в столицу: «Князь Шереметев, выставляющий себя мальтийским рыцарем, явился с изображением креста на груди; нося немецкую одежду, он очень удачно подражал и немецким обычаям, в силу чего был в особой милости и почете у царя»⁸.

За более чем полуторагодичное отсутствие Шереметева в России произошло два важных события. Одно из них было внутренним — в Великих Луках взбунтовались стрельцы четырех полков и двинулись к Москве, чтобы вместо Петра посадить на трон Софью, находившуюся в заточении в Новодевичьем монастыре. В июне 1698 г. стрельцы были разбиты верными правительству войсками. Начался жесточайший стрелецкий розыск с участием возвратившегося из-за границы Петра и его окружения, а затем последовала кровавая расправа с участниками бунта. Первая казнь состоялась 30 сентября, когда на виселицах погиб 201 стрелец. Казни продолжались и в последующие месяцы 1698-го и даже 1699 г. Они унесли в общей сложности 1598 жизней. Заметим, что Шереметев оказался неучастным ни к стрелецкому розыску, ни к стрелецким казням. Другое важное событие носило внешнеполитический характер.

Попытка Великого посольства привлечь морские державы, прежде всего Голландию и Англию, к совместной борьбе против Османской империи не привела к желаемому результату: оба государства сами лихорадочно готовились к войне против Франции. Потерпев неудачу в организации антиосманской коалиции, Петр достиг значительных успехов в склочивании антишведского союза, в который, помимо России, вошли Дания и Саксония. Такой поворот событий означал крутое изменение в направлении внешней политики России: вместо борьбы за выход к Черному и Средиземному морям предстояла война со Швецией за морской путь по Балтике. Речь шла о возвращении России исконно принадлежавшей ей части Балтийского побережья (Ижорской земли), отторгнутой Швецией в конце XVI — начале XVII в.

Переговоры об организации антишведской коалиции Петр начал еще во время заграничного путешествия, а завершились они в Москве летом 1699 г. оформлением так называемого Северного союза. По условиям заключенных договоров первыми должны были начать военные действия против Швеции Дания и Саксония. Что касается России, то она обязалась выступить сразу же после подписания мирного договора с Османской империей. Этот договор по замыслу русской дипломатии должен был обеспечить безопасность южных границ и освободить Россию от необходимости вести войну на два фронта.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

Начало Северной войны не предвещало никаких катастрофических последствий для союзников. Как только османы согласились уступить России Азов и были получены вести из Константинополя о заключении мира, русская армия двинулась к шведским рубежам добывать Нарву — древнерусский Ругодив. Преодолевая бездорожье, первые конные и пешие полки, сопровождаемые огромным обозом, достигли Нарвы 23 сентября 1700 г. Сосредоточение армии под стенами крепости было завершено к середине октября.

Гарнизон Нарвы был невелик: 1300 человек пехоты и 200 — конницы. Хотя он был обеспечен годовым запасом продовольствия, а толстые стены крепости с девятью бастionsами, окруженные рвом, надежно укрывали защитников, в русском лагере тем не менее считали, что крепость неспособна долго сопротивляться: достаточно было пробить брешь, чтобы завершить дело штурмом.

Начавшаяся бомбардировка не наносила сколько-нибудь значительного урона осажденному гарнизону: в войсках недоставало осадной артиллерии, ядер и бомб. Ниже всякой критики находилась и боевая выучка войск: сильную крепость осаждали полки, большая часть которых не имела опыта ведения войны. Армия, кроме того, испытывала нехватку продовольствия и фуража.

Пока русская армия двигалась к Нарве, король Карл XII, в свои 18 лет уже проявивший себя как незаурядный полководец, успел вывести из строя союзника России — Данию: он во главе войска внезапно высадился под Копенгагеном и вынудил датского короля капитулировать. Эта новость стала известна Петру еще в дни продвижения русских войск к Нарве. А во время осадных работ в русском лагере была получена весть хуже прежней: шведский король, не мешкая под Копенгагеном, посадил свое войско на корабли, пересек Балтийское море и высадился в Ревеле и Пярну. Относительно намерений короля не могло быть двух мнений: Карл XII спешил на помощь осажденному гарнизону Нарвы.

Царь решил отправить навстречу шведским войскам разведывательный отряд нерегулярной конницы численностью 5 тыс. человек. Командовал конницей Борис Петрович Шереметев. Три дня Шереметев двигался на запад, углубившись на вражескую территорию на 120 верст. Здесь ему встретились два небольших шведских отряда, по терминологии того времени, «партии». Сначала шведы, имея дело с русским авангардом, нанесли ему урон, но затем подоспевшие главные силы окружили неприятеля и разбили его. Пленные показали, что к Нарве движется шведская армия в 30 тыс. человек. Шереметев отступил. 3 ноября 1700 г. он донес о своем решении царю: «В такое время без изб людям быть невозможно, и больных zelo много, и ротмистры многие больны». Петр выразил недовольство отступлением Шереметева. В несохранившемся письме царь, видимо, в резких выражениях, велел ему возвратиться на прежнее место. Боярин оправдывался: «И я оттуда отступил не для боязни, для лучшей целости и для промыслу над неприятели; с сего места мне свободно над ними искать промыслу и себя остеречь».

Шереметев выполнил указ царя. «Пришел назад, — писал он Федору Алексеевичу Головину, — в те же места, где стоял, в добром здравьи. Только тут стоять никакими мерами нельзя для того: вода колодезная безмерно худа, люди от нее болят; поселения никакого нет — все пожжено, дров нет. Кормов конских нет»¹.

Между тем шведские войска 4 ноября 1700 г. двинулись из Ревеля на восток. Первым вступил в соприкосновение с неприятелем Шереметев, причем действовал он, как и во время первой встречи со шведами, не лучшим образом. Он занял удобную для обороны позицию: оседлал единственную дорогу, проходившую между двумя утесами; ее никак нельзя было обойти, ибо кругом лежали болота. Однако, вместо того чтобы разрушить два моста через речушку и изготовиться для сражения со шведскими войсками, Шереметев предпринял спешное отступление к Нарве. Прибыл он туда рано утром 18 ноября, сообщив, что по его пятам двигалась к крепости армия Карла XII.

Петр оставил лагерь под Нарвой до прибытия туда Шереметева. Командование армией он поручил недавно нанятому на русскую службу герцогу фон Круи. Шереметеву царь писал: «Приказал я ведать над войски и над вами арцуху фон Крою; изволь сие ведать и по тому чинить, как написано в статьях у него, за моею рукою, и сему поверь»².

Сражение началось в 11 утра артиллерийской перестрелкой. Сразу же заметим, что дислокация русского войска ослабляла силу его сопротивления. Полки в соответствии с канонами осадных работ тех лет расположились у стен Нарвы полукольцом общей протяженностью семь верст. Это облегчало собранным в кулак шведам прорыв тонкой линии русской армии. Другим условием, благоприятствовавшим шведам, был густой снег, повалившийся в два часа дня. Видимость не превышала 20 шагов. Этим воспользовался неприятель, чтобы незамеченным подойти к русскому ла-

герю, засыпать ров фашинами и овладеть укреплениями вместе с расположенными в них пушками.

Среди русских войск началась паника. Крики «Немцы нам изменили!» еще больше усилили смятение. Спасение видели в бегстве. Конница во главе с Шереметевым в страхе ринулась вплавь через реку Нарову. Борис Петрович благополучно переправился на противоположный берег, но более тысячи человек пошло ко дну. Пехота тоже бросилась наутек через единственный мост. Началась давка, мост рухнул, и Нарова приняла множество новых жертв паники.

«Немцы» действительно изменили. Главнокомандующий фон Круи первым отправился в шведский лагерь сдаваться в плен. Этот вояка-наемник, к своим 49 годам успевший сменить четыре двора Европы, которым он бездарно служил, был обласкан Карлом XII, вполне оценившим его измену. Тем не менее фон Круи после Нарвы донимал царя и Меншикова просьбами о выдаче ему вознаграждения и пытался доказать свою невиновность. Примеру фон Круи последовали другие офицеры-наемники, которых было немало в русской армии.

Не все, однако, поддались панике и бежали. Три полка: Преображенский, Семеновский и Лефортов — не дрогнули, проявили стойкость и умело оборонялись от наседавших шведов.

С наступлением темноты сражение прекратилось. Карл XII готовился возобновить его на следующий день, но надобность в нем отпала. Поздно вечером начались переговоры. Шведский король дал обещание пропустить русское войско на противоположный берег Наровы со знаменами и оружием, но без артиллерии.

Всю ночь русские восстанавливали мост через реку, а утром начался выход из окружения. Шведский король вероломно нарушил условия перемирия. Беспрепятственно с оружием и знаменами прошли гвардейцы: шведы не рискнули их трогать. Но как только начали перебираться на другой берег прочие полки, шведы напали на них, обезоружили и разграбили обоз. Более того: в шведском плену оказались 79 генералов и офицеров.

Итак, катастрофа под Нарвой нанесла значительный урон русской армии: она утратила всю артиллерию, лишилась командного состава и потеряла не менее 6 тыс. солдат. Много лет спустя, вспоминая случившееся, Петр писал: «Но когда сие несчастие (или, лучше сказать, великое шастие) получили, тогда неволя леность отогнала и ко трудолюбию и искусству день и ночь принудила». Действительно, история того времени сохранила множество фактов, подтверждающих, как «неволя», т. е. крайняя нужда, вынудила царя развить бешеную энергию по устранению последствий Нарвы, а страну — мобилизовать ресурсы для продолжения борьбы с могучим и коварным противником.

Нарва не прибавила славы и к полководческой репутации боярина Шереметева. По крайней мере дважды его действия вызывают порицание: он отказался от сражения со шведами, когда командовал 5-тысячным от-

рядом конницы, чем лишил войско, осаждавшее Нарву, возможности подготовиться к встрече с основными силами шведского короля, а затем вместе с конницей в панике бежал с поля боя.

Правда, поражение под Нарвой являлось данью общей отсталости России. Послушаем, как объяснял причины неудачи сам Петр: «Итак, шведы над нашим войском викторию получили, что есть бесспорно; но надлежит разуметь, над каким войском оную учинили, ибо только один старый полк Лефортовский был (который перед тем назывался Шепелева); два полка гвардии только были на двух атаках у Азова, а полевых боев, а наипаче с регулярными войсками, никогда не видали. Прочие ж полки, кроме некоторых полковников, как офицеры, так и рядовые, самые были рекруты, как выше помянуто, к тому ж за поздним временем великий голод был, понеже за великими грязями провианта привозить было невозможно, и, единым словом сказать, все то дело яко младенческое игранье было, а искусства ниже вида. То какое удивление такому старому, обученному и практикованному войску над такими неискусными сыскать викторию?»³

«Неискусным рекрутом», по сути дела, был и Шереметев. Он успешно действовал против османов и крымцев, но не мог устоять против великолепно вымуштрованной и столь же великолепно вооруженной регулярной армии Карла XII.

У Петра, потерявшего под Нарвой почти весь офицерский корпус, выбора не было, и он вновь прибегнул к услугам Шереметева. Две недели спустя после Нарвы царь поручает ему принять командование конными полками и с ними «итить в даль для лучшего вреда неприятелю». Тут же последовало предупреждение: «...не чини отговорки ничем». Петр считал: войск достаточно да и реки и болота замерзли — следовательно, препятствий для марша не было.

Справедливости ради отметим, что Шереметев, конечно же, не располагал ни силами, ни средствами, чтобы «итить в даль» и начать активные боевые действия в широких масштабах. Требовалось время для восстановления морального духа армии, деморализованной неудачей под стенами Нарвы. Еще больше времени надобно было для того, чтобы армия овладела современным военным искусством. Поэтому единственной возможной формой ведения боевых операций была так называемая малая война — действия небольшими отрядами, наносившими локальные удары.

На ведение «малой войны» в Восточной Прибалтике молчаливо согласились обе стороны. Петру генеральное сражение не сулило никаких надежд на успех, ибо предстояло восстановить артиллерийский парк, укомплектовать новые полки, а главное, превратить необстрелянных новобранцев, пока еще представлявших толпу вооруженных людей, в подлинных воинов. Не стремился к генеральному сражению и Карл XII. Король уверовал в крайне низкие боевые качества русской армии, выведенной из строя, как он полагал, на долгие годы. После победы под Нарвой он считал главным своим противником саксонское войско Августа II, против кото-

рого и двинул свои основные силы. В пограничных с Россией районах Прибалтики Карл XII оставил корпус полковника Шлиппенбаха, поручив ему оборону этих районов, издавна являвшихся житницей Швеции, а также овладение Гдовом, Печорами и в перспективе Псковом, Новгородом. Поход на восток король откладывал до той поры, когда он разгромит саксонскую армию и тем самым обеспечит безопасность своих тылов.

Борис Петрович, получив царский приказ «итить в даль», не спешил его выполнять. Внутренне он, надо полагать, не был готов немедленно откликнуться и на второй призыв царя, обращенный к нему 20 января 1701 г.: действовать активно, «дабы по крайней мере должность отечества и честь чина исправили потчились»⁴.

Обращение Петра к патриотическим чувствам боярина было обусловлено тем, что после Нарвы престиж России и царя в глазах Европы пал настолько, что они стали предметом зубоскальства остряков. Петру не терпелось реабилитировать реноме своей армии. У нас нет оснований полагать, что Шереметев не разделял этого желания царя. В одном из писем Бориса Петровича, отправленном, правда, чуть раньше описываемых событий, есть слова, звучащие как клятва: «...сколько есть во мне ума и силы с великою охотою хочу служить; а себя я не жалел и не жалею»⁵. Однако на риск ради сиюминутного успеха он не шел.

В конце 1700-го и в первой половине 1701 г. инициатива в Прибалтике принадлежала шведам. Правда, выгод из этой инициативы Шлиппенбах не извлек: он пытался овладеть Гдовом, но успеха не достиг; его отряд атаковал Печору, но был отброшен. Шведам пришлось довольствоваться опустошением окрестных деревень.

В свою очередь, Шереметев тоже наносил шведам малочувствительные уколы: его полки, пытавшиеся в декабре 1700 г. захватить Алысту (Мариенбург), вынуждены были отступить. Успешнее действовали небольшие отряды, совершавшие рейды ради опустошения окрестностей. Урона живой силе они не наносили, но чувствительно ослабляли продовольственную базу шведов.

Первую более или менее значительную операцию Шереметев предпринял в начале сентября 1701 г., когда двинул на неприятельскую территорию три отряда общей численностью 21 тыс. человек. Командование самым крупным из них, насчитывавшим свыше 11 тыс. человек, Борис Петрович вручил своему сыну Михаилу. Этот отряд был нацелен на Ряпинину мызу. Его действия принесли успех: шведы потеряли три сотни убитыми, две пушки, свыше ста фузей; русских полегло всего девять человек. Военное значение этой операции было невелико, однако ее прежде всего оценивали в плане повышения морального духа русских войск. После Нарвы это была первая победа над шведами. В Печорском монастыре победителям была организована пышная встреча. Современник описал ее так: «Наперед везли полон, за полоном везли знамена, за знаменами пушки, за пушками ехали полки ратных людей, за полками ехал он, Михайла Борисович. А в то время у Печорского монастыря на всех раскатах

и на башнях распушены были знамена, также и во всех полках около Печорского монастыря, и на радости была стрельба пушечная по раскатам и по всем полкам, также из мелкого ружья»⁶.

К командирам двух других отрядов военная фортуна была менее благосклонна. Один из них, несмотря на многократное численное превосходство, не одолел противника, причем под пером Шлиппенбаха в донесении королю сражение у мызы Рауге было подано как победа огромного значения. Карл XII, склонный к мистификации и охотно веривший всему, в том числе и небылицам, лишь бы они прославляли шведское оружие, произвел полковника в генерал-майоры. Новоиспеченный генерал донес королю, что он предпочел бы повышению в чине получение подкрепления в 7 — 8 тыс. солдат.

В связи с эпизодом при мызе Рауге в голландской газете появилось сообщение, что на 1200 шведов напало около 100 тыс. русских. Они были отброшены, оставив 6 тыс. трупов. В действительности в отряде Корсакова, совершившего нападение на Рауге, насчитывалось 3717 человек, а потери исчислялись несколькими десятками солдат⁷.

Вслед за сентябрьским походом наступила передышка. Оба полководца готовились к решительному сражению «малой войны». По указу царя еще 2 октября Шереметев должен был предпринять генеральный поход «за свейский рубеж». Борис Петрович, как и всегда, медленно, но основательно готовил свою армию к предстоящему походу — понадобилось почти три месяца, чтобы она двинулась в путь.

От предшествовавших боевых действий поход Шереметева в конце 1701 г. отличался многими особенностями, которые были обусловлены появлением в войсках некоторых черт регулярной армии. Сентябрьские вылазки отрядов Шереметева по своему характеру и целям более напоминали действия партизан, нежели регулярных войск. Они были столь локальными и ограниченными по задачам, что ни успех, ни поражение не оказывали влияния на ход войны, «понеже, — как сказано в «Истории Свейской войны», составленной кабинет-секретарем А. В. Макаровым по поручению Петра и лично им выправленной, — более опасались наступления от неприятеля, неже сами наступали»⁸.

Новому походу предшествовал основательный сбор данных о противнике. Шереметеву было точно известно, что Шлиппенбах сосредоточил у мызы Эрестфер 7 — 8 тыс. конницы и пехоты. Знал он и о намерении противника атаковать Печорский монастырь и прочие пункты, где на зиму расположились русские полки. Шереметев решил упредить противника и взял инициативу наступательных действий в свои руки.

Наконец, изменился качественный состав русских войск. В осенних операциях драгуны и пехотинцы составляли только треть занятых в них войск — 7 тыс. человек, тогда как в декабре из 18 800 человек, участвовавших в походе, на их долю падало две трети. Русская армия уже начала пожинать плоды своей реорганизации: за год после Нарвы было создано 10 новых драгунских полков.

Корпус под командованием Шереметева выступил из Пскова в поход «за свейский рубеж» 23 декабря 1701 г. Три дня спустя он оставил обоз и далее продвигался «тайным обычаем» в надежде напасть на противника врасплох. Шведы, не ожидая прихода русских по глубокому снегу, беспечно предавались разгулу, празднуя Рождество, и обнаружили приближение противника только 27 декабря.

Сражение, начавшееся в 11 утра 29 декабря у мызы Эрестфер, на первом этапе складывалось не совсем удачно для русских, ибо в нем участвовали только драгуны. Оказавшись без поддержки пехоты и артиллерии, не подоспевших к месту боя, драгунские полки были рассеяны неприятельской картечью. Однако подошедшие пехота и артиллерия резко изменили соотношение сил и ход сражения. После 5-часового боя Шлиппенбах, полностью разгромленный, вынужден был спастись бегством. С остатками кавалерии он укрылся за стенами крепости в Дерпте. В руках русских оказалось около 150 пленных, 16 пушек, а также провиант и фураж, впрок заготовленные противником в Эрестфере.

Шереметев пытался было организовать преследование беглецов и поимку дезертиров, укрывшихся в лесах, но потом отказался от этого намерения. Изменение решения он объяснял Петру так: «...нельзя было итить — всемерно лошади все стали, а пуще снега глубоки и после теплыни от морозов понастило; где лошад увязнет — не выдеретца; ноги у лошадей ободрали до мяса». Задачу свою Шереметев считал выполненной, ибо, как он доносил царю, шведы от поражения «долго не образумятца и не оправятца»⁹.

4 января 1702 г. войска возвратились в Псков, где в честь победителей «после молебного пения из пушек и из мелкого ружья за шастливую викторию стреляли»¹⁰.

Успех отметили и в столице. Извещение о победе Борис Петрович отправил 2 января «с сынишкою своим Мишкою». В Москве впервые с начала Северной войны в честь победителей раздались пушечная стрельба и звон колоколов, народ угощали вином, пивом, медом. На кремлевских башнях развевались захваченные у шведов знамена и штандарты. Современник Иван Афанасьевич Желябужский записал: «А на Москве, на Красной площади, для такой радости сделаны государевы деревянные хоромы и сени для банкета; а против тех хором на той же Красной площади сделаны разные потехи и ныне стоят»¹¹. Эрестферская победа, таким образом, дала повод организовать первый в России общедоступный театр.

В Псков скакал поручик Меншиков с наградами. Шереметеву он привез орден св. Андрея Первозванного, а также весть о пожаловании его чином фельдмаршала. Примечательно, что этим званием царь отметил подлинные заслуги Бориса Петровича на поле брани.

Доморощенные поэты поднесли царю тяжеловесные вирши, смысл которых состоял в том, что Орел, символ России, одолел шведского Льва:

Гордый Лев, мя Орла поглотити,
Восхотя на ся пред временем лавров венец возложити,
Но Орел премудре знает крыла и когти употребляти,
Что оный близ Дерпта понужден храбрость потерятьи.
Европа удивися и рече: я есмь прельщенна и поистинне
О львовой храбрости лживым известии отягченна.

Последние строки виршей предназначались для ушей иностранных наблюдателей, которые, как рассчитывали, должны были сообщить европейским дворам о поражении шведов. Европа, однако, еще долгие годы продолжала находиться под впечатлением нарвской катастрофы русской армии. Молву о непобедимости шведов ловко поддерживали Шлиппенбах и сам король. Шлиппенбах оправдывал свое поражение колоссальным превосходством русских войск: по его донесению, их будто бы было 100 тыс. человек. Бодрился и король. Раз русские отошли к Пскову, значит, шведская армия сохранила боевой дух и способность держать в страхе неприятеля.

Численность русских войск, непосредственно сражавшихся у Эрестфера, превосходила численность шведов примерно в 3 раза — соответственно 10 тыс. и 3200 человек. Боеспособность русской армии еще уступала шведской. Но на этом этапе войны важен был конечный результат. Значение победы царь оценил лаконично и выразительно, как это он умел делать, восклицанием: «Мы можем наконец бить шведов!»

Появился и первый полководец, научившийся их побеждать, — русский фельдмаршал Шереметев.

Россия в то время не располагала необходимыми ресурсами для ведения непрерывных наступательных операций. Царь, как и его фельдмаршал, понимал, что русские войска до сих пор имели дело не со всей шведской армией (самая боеспособная ее часть находилась под командованием короля в Польше), а всего лишь с корпусом Шлиппенбаха. У северных союзников не было уверенности, что Карл XII станет последовательно осуществлять раз выбранный план борьбы с ними и не прибудет с главными силами к Пскову или Новгороду столь же неожиданно, как он оказался под стенами Нарвы вместо погони за войсками Августа II.

Именно поэтому русскому командованию, до тех пор пока шведский король основательно не «увязнет» в Польше, надобно было не только держать в кулаке свои силы, но и не изнурять войска и в то же время обучать их военному ремеслу.

Фельдмаршал многократно спрашивал у Петра, «как весну нынешнюю войну вести, наступательную или оборонительную». Ответ царя гласил: «...с весны поступать оборонительно». Впрочем, оговаривался Петр, если представится возможность совершить успешную акцию, то такой случай не упускать. Так рассуждал Петр в конце марта 1702 г. Но два месяца спустя обстановка на ингерманландском театре изменилась: царю, находившемуся в то время в Архангельске, стало известно, что король двинулся к Варшаве и, следовательно, Шлиппенбах не мог рассчитывать

на подкрепление. Наступил, как писал Петр, «истинный час» для нового похода в Лифляндию. Его подготовка достаточно выпукло выявила особенности характера фельдмаршала, на которые нам часто придется обращать внимание.

Основательность подготовки и крепко сбитую организацию дела Шереметев проявил еще во время зимнего похода. Он и теперь был озабочен подбором офицерских кадров. Послушаем, как аттестовал фельдмаршал некоторых своих подчиненных полковников: «Федор Новиков стар и увечен; князь Иван Львов стар и вконец беден, и несносно ему полком править»; у князя Никиты Мещерского «сухотная болезнь», а Михаил Жданов «несносно свое дело правит». Вместо негодных он назвал кандидатов, которым бы «не стыдно было полковниками называтца», но они находились под покровительством «своих добродеев» и, вместо того чтобы воевать, пристроились «в покойные дела и прибыточные»¹².

Другая забота фельдмаршала состояла в укомплектовании полков людьми и лошадьми. Шереметев соглашался с царем, что следовало ускорить подготовку похода, но его одолевали опасения, что поступление пополнений задержится: казаки, татары и калмыки еще не прибыли, не ожидалось в скором времени и получение драгунских лошадей. Между тем фельдмаршал был глубоко убежден — и этим убеждением он руководствовался неизменно, — что залогом успеха является достижение численного превосходства над противником. Ради этой цели он даже осмелился игнорировать царский указ. Петр велел ему выделить в распоряжение Петра Матвеевича Апраксина, действовавшего в районе Ладоги, три драгунских полка. Шереметев посчитал, что откомандирование трех полков ослабит его корпус, и передал только один. Апраксин жаловался царю, но безуспешно.

Но наряду с основательностью фельдмаршал проявлял и медлительность, и порой эти качества так тесно переплетались, что их невозможно отделить друг от друга.

Шереметев отправился в поход только 12 июля. В его распоряжении находилось около 18 тыс. человек, в то время как Шлиппенбаху удалось наскрести чуть больше 7 тыс. Качественный состав корпуса Шереметева стал еще выше, чем в зимнем походе. Теперь уже не две трети, а пять шестых войска фельдмаршала состояло из регулярной конницы и пехоты.

Начало кампании 1702 г. как две капли воды напоминало военные действия зимнего похода. Передовые части русских войск вступили в соприкосновение с противником у мызы Гуммельсгоф (по русским источникам, у Гумуловой мызы) 18 июля, когда Большой полк Шереметева находился на марше. Шведам удалось не только потеснить авангард, но и отбить у него несколько пушек. Подоспевшая пехота решила исход дела. Как и при Эрестфере, шведская конница, не выдержав напора, ринулась наутек, расстроила во время бегства ряды собственной пехоты и обрекла ее на полное уничтожение. Незадачливый Шлиппенбах бежал в Пярну, где ему удалось собрать остатки своих разгромленных и деморализованных войск в количе-

стве 3 тыс. человек. Остальные полегли у мызы Гуммельсгоф. Потери русских были в 2 — 3 раза меньше. Эта победа превратила Шереметева в полновластного хозяина Восточной Лифляндии. Успех Шереметева был отмечен Петром: «Зело благодарны мы вашими трудами»¹³.

В отличие от зимнего похода, продолжавшегося 10 дней, летом 1702 г. Шереметев задержался на неприятельской территории почти на два месяца. В разные концы Лифляндии фельдмаршал отправлял отряды для опустошения края. Но кроме того, русские овладели двумя крепостями. Одна из них, у мызы Менза, представляла собой каменное строение, которое неприятель использовал для обороны. Гарнизон ее во главе с подполковником дважды отклонял требования о капитуляции и согласился сдать ее лишь после подхода основных сил армии Шереметева. Фельдмаршал доносил царю: «...увидя меня, тот полуполковник замахал в окно шляпою и велел бить в барабан и просил милосердия, чтобы им вместо смерти дать живот»¹⁴.

С мызой Менза удалось покончить в два дня. Зато с Мариенбургом, крепостью со слабыми фортификационными сооружениями, осаждавшим пришлось возиться 12 суток. Трудность овладения Мариенбургом объяснялась его островным положением. Шереметев оставил описание крепостцы: «...стоит на острове около вода, сухова пути ни с которой стороны нет». Подъемный мост был разрушен. Шереметев уже было отчаялся овладеть городом и собирался отойти от него, но кто-то посоветовал соорудить плоты, на которых осаждавшие преодолели 200-метровое расстояние, отделявшее берег от острова. Под угрозой штурма осажденные сдались.

9 сентября фельдмаршал вернулся в Псков и принялся подсчитывать трофеи: было захвачено свыше тысячи пленных, в том числе 68 офицеров, 51 пушка, 26 знамен. Царь остался доволен действиями фельдмаршала. «Борис Петрович в Лифляндии гостил изрядно довольно», — писал он Федору Матвеевичу Апраксину. Самого Бориса Петровича царь вновь поздравил с викториями¹⁵.

Одному из мариенбургских трофеев волей случая суждено было войти в историю. Речь идет о пленнице, позже ставшей супругой царя, а затем императрицей Екатериной I. О ее происхождении ходили различные слухи. Согласно одному из них, мать ее была крестьянкой и рано умерла. Марту взял на воспитание пастор Глюк. Накануне прихода русских под Мариенбург она была обвенчана с драгуном, которого во время брачного пира срочно вызвали в Ригу. По другой версии, пленница была дочерью лифляндского дворянина и его крепостной служанки. Третьи считали ее уроженкой Швеции и т. д.

Достоверным является лишь факт, что девочка, рано оставшись без родителей, воспитывалась в семье пастора Глюка, где она выполняла обязанности служанки. С семьей пастора она попала в плен. Ее взял к себе Шереметев, у того пленницу выпросил Меншиков, у последнего ее заметил Петр. С 1703 г. она стала его фавориткой, а в 1712 г. вступила в церковный брак с ним¹⁶.

Столь же достоверным является суждение о нерусском происхождении Марты. Похоже, что она родилась в шведских владениях. Свидетельства на этот счет, правда, косвенные, исходят от самого царя.

Петр, как известно, ежегодно отмечал взятие древнерусского Орешка, по-шведски Нотебурга, переименованного им в Шлиссельбург. 11 октября 1718 г., находясь в Шлиссельбурге, царь писал супруге: «Поздравляю вас сим счастливым днем, в котором русская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключом много замков открыто». В десятую годовщину Полтавской виктории, 27 июня 1719 г., Петр писал: «Чаю, я вам воспоминаньем сего дня опечалил». Оба письма недвусмысленно намекают на прибалтийское происхождение пленницы. Эту версию подтверждает также шуточный разговор царя с супругой, будто бы состоявшийся в 1722 г., т. е. после заключения Ништадтского мира.

«— Как договором постановлено всех пленных возвратить, то не знаю, что с тобой будет, — начал царь.

Екатерина нашла что ответить:

— Я ваша служанка — делайте что угодно. Не думаю, однако же, чтоб вы меня отдали; мне хочется здесь остаться.

— Всех пленников отпущу, о тебе же условлюсь с королем шведским, — закончил разговор Петр»¹⁷.

Он происходил в то время, когда бывшая пленница давно сама пленила сердце русского царя и стала его супругой. Но в 1702 г. чернوبرовая красавица была прачкой фельдмаршала и затерялась в толпе гражданских пленников и пленниц, которые в источниках того времени, естественно, остались безымянными.

Две победы фельдмаршала, будучи, по существу, локальными, в ближайшем будущем оказали огромное влияние на военные действия в Ингерманландии. Разгром корпуса Шлиппенбаха создал благоприятные условия для осуществления плана возвращения земель по течению Невы, устранив угрозу нападения на русские войска с тыла. Походы, кроме того, были своего рода школой практического овладения военным ремеслом как для армии, так и для самого фельдмаршала. Обе кампании озарили Бориса Петровича лучами славы первого победителя шведов.

В жизни полководца эти кампании примечательны еще и тем, что Шереметев оба раза выступал в роли фактического главнокомандующего войсками. Он определял цели походов, он их и осуществлял. Петр, находившийся в то время вдали от театра войны, естественно, не мог вмешиваться ни в детали организации походов, ни тем более в боевые действия войск. Царь в данном случае ограничился лишь определением сроков вторжения на неприятельскую территорию. Сказанное нуждается в пояснении.

Петр, как известно, руководил операциями на театре военных действий через лиц, номинально значившихся командующими, предпочитая оставаться в тени. Во время первого Азовского похода русской армией, осаждавшей крепость, командовали Головин, Лефорт и Гордон. Царь, фак-

тически руководивший этим неудачным походом, подвизался в роли «бомбардира Ритера». Во втором Азовском походе, закончившемся овладением крепостью, Петр тоже не возложил на себя обязанностей главнокомандующего, хотя, как и во время первого похода, все решения исходили от него, а не от генералиссимуса боярина Алексея Семеновича Шеина, занимавшего этот высокий пост. Характерно, что на его долю выпали и все почести, следуемые победителю: когда возвратившиеся из-под Азова войска проходили торжественным маршем через Москву, то Шеин ехал верхом на богато убранной лошади в сопровождении 30 всадников в панцирях и музыкантов, а Петр шел в пешем строю в черном немецком платье с белым пером на шляпе. Впрочем, успешное завершение кампании отразилось и на царе: бомбардир был повышен в чине и стал капитаном.

В сражении под Нарвой Петр вручил командование русскими войсками наемнику фон Круи. Традиции действовать через подставных лиц царь не изменил и в последующие годы независимо от того, находился ли он при армии или за тридевять земель от нее.

В то время, когда Шереметев громил Шлиппенбаха и гарнизоны двух крепостей в Лифляндии, царь находился в Архангельске. На этом путешествии царя на север страны и поныне лежит печать загадочности. Ради чего он туда направился в сопровождении двух гвардейских полков и пышной свиты, насчитывавшей около 50 персон? Прихватил он с собой и 12-летнего сына — царевича Алексея. Отправился в Архангельск и фаворит царя Алексашка Меншиков, накануне отъезда назначенный воспитателем царевича.

Официальная цель поездки состояла в том, чтобы оградить Архангельск — единственный морской порт России, соединявший ее с Европой, — от нападения шведов. О намерении неприятеля атаковать в мае 1702 г. Город, как тогда называли Архангельск, Петр узнал в апреле. Это известие и заставило его 18 апреля покинуть Москву, чтобы организовать достойный отпор неприятельскому флоту.

Но не лишена некоторых оснований и высказанная в литературе мысль, что поход Петра в Город был не чем иным, как отвлекающим маневром, призванным замаскировать его подлинное намерение овладеть Нотебургом и течением Невы.

Намерение вернуть России древнерусский Орешек — крепость, запиравшую Неву у самого ее выхода из Ладожского озера, — возникло у Петра в конце 1701 г. В январе следующего года он поручил Шереметеву навести справки о времени, когда Нева бывала скована льдом, а также о состоянии двух крепостей — Нотебурга и Ниеншанца, стоявшего у места впадения Невы в Балтийское море. Интерес царя к этим данным был связан с его планом организовать нападение на крепости зимой, по льду.

Операция, однако, не состоялась отчасти из-за рано наступившего половодья. От плана пришлось отказаться еще и потому, что к тому времени не удалось обеспечить безопасность тыла: сохранивший силы Шлиппенбах мог напасть на войска, осаждавшие Нотебург, и тем самым перерезать

коммуникации. Угроза повторения Нарвы вынуждала царя и его генералов проявлять крайнюю осторожность.

Одно из условий успеха, заложенное в план операции, состояло в полной внезапности нанесения удара. В этом случае неприятель не успел бы оказать гарнизонам этих крепостей надлежащей помощи. Январский наказ Шереметеву царь заключил словами: «Все сие приготовление зело, зело хранить тайно, как возможно, чтоб никто не дознался». Точно такой же призыв к сохранению тайны Петр выразил и в письме к Шереметеву, отправленном из Архангельска 5 августа 1702 г., т. е. в день, когда он выехал из Города: «...и мы к вам не зело поздно будем, но сие изволь держать тайно»¹⁸.

Расстояние от Москвы до Архангельска царь преодолел за 30 дней. В Городе он провел около трех месяцев. За это время он спустил на воду два фрегата, а затем, убедившись в том, что непосредственной угрозы нападения шведов на Архангельск нет, двинулся во главе гвардейских полков к Онежскому озеру. Это был поход беспрецедентной трудности, ибо совершался он по нехоженным местам: приходилось в дремучих лесах прорубать просеки, в болотах настилать гати, а через речки возводить мосты. 120 верст тяжелого пути от Нюхчи на Белом море до Повенца на Онежском озере были преодолены в короткий срок — менее чем за две недели. В середине сентября царь уже находился в Старой Ладоге.

Еще до прибытия в Ладогу Петр направил Шереметеву два приглашения явиться туда на военный совет. «А без вас не так у нас будет, как надобно», — писал он Борису Петровичу 3 сентября. Еще большее уважение к авторитету полководца звучало в повторном приглашении: «...зело нужно, и без того иначе быти не может»¹⁹.

На совещании в Старой Ладоге был выработан и принят к исполнению план овладения Нотебургом. Командование собравшимися войсками численностью свыше 10 тыс. человек царь передал фельдмаршалу Шереметеву.

Размеры крепости, которой надлежало овладеть, были невелики. Гарнизон ее насчитывал всего 450 человек. Но оборона крепости значительно облегчалась ее островным положением. Почти у самой воды были возведены стены в четыре сажени высотой и две сажени толщиной. Гарнизон был обеспечен достаточной артиллерией: в его распоряжении находилось 142 остола.

Осадные работы русские войска начали 27 сентября, а через три дня, когда окружение крепости было завершено, Шереметев отправил к коменданту парламентера, чтобы разведать, «намерен ли он эту крепость на способной договор здать». Комендант потребовал четверо суток на размышления. Осаждавшие ответили на «сей комплимент» интенсивной бомбардировкой, так как усмотрели в нем хитрость. Обстрел продолжался непрерывно, вплоть до сдачи крепости.

3 октября в лагерь Шереметева прибыл барабанщик с письмом от супруги коменданта. От имени всех офицерских жен она обратилась к фельдмаршалу с просьбой «ради великого беспокойства от огня и дыму

и бедственного состояния» выпустить их из крепости. Отвечал на это письмо сам бомбардирский капитан, т. е. Петр. Барабанщику было сказано, что ему, капитану, доподлинно известно нежелание фельдмаршала разлучить жен с мужьями. Поэтому капитан советовал женам, чтобы они, оставляя крепость, захватили с собой и «любезных супружников».

Дамы не вняли этому совету, и бомбардировка продолжалась. 7 октября начались приготовления к штурму: были выявлены охотники, розданы штурмовые лестницы, распределены лодки. 11 октября, когда в крепости начался очередной пожар, русские предприняли отчаянный штурм. Только через 13 часов сражения гарнизон крепости сдался. Потери победителей исчислялись 564 убитыми и 928 ранеными солдатами и офицерами. Это, однако, не омрачило неподдельную радость царя. «Токмо единому Богу в славу сие чудо причесть», — делился Петр новостью с одним из своих корреспондентов. В письме к другому корреспонденту царь даже каламбурил, используя созвучие слов «орех» и «Орешек»: «Правда, что зело жесток сей орех был, аднака, слава Богу, счасливо разгрызен. Алтилерия наша зело чудесно дело свое исправила»²¹.

Оставив в Шлиссельбурге гарнизон под командованием Меншикова, царь отбыл в Москву, а Шереметеву велел на зиму расположиться в Пскове. Оттуда фельдмаршал собирался совершить новый «генеральный поход», но царь отсоветовал. Шереметев согласился: «...всесовершенно бы затрудили людей, а паче же бы лошадей»²¹.

4 декабря 1702 г. победы Шереметева в Лифляндии и овладение Нотебургом были отмечены торжественным шествием войск через трое триумфальных ворот, сооруженных в Москве. Сам Шереметев не принимал участия в празднествах, так как прибыл в столицу лишь в конце декабря — начале января.

На пути из Москвы к театру военных действий с Шереметевым приключилось дорожное происшествие, красочно описанное им в цидулке к Федору Алексеичу Головину. Подъезжая к Твери, он настиг обоз матросов-иноземцев, ехавших из Воронежа. Когда возница фельдмаршала стал кричать матросам, чтобы те уступили дорогу, один из них начал его избивать. Шереметев послал улаживать конфликт своего денщика. Дальнейшие события, по словам фельдмаршала, разворачивались так: «Видю, что все пьяни, и они начали бить и стрелять, и пришли к моим саням, и меня из саней тащили, и я им сказывался, какой я человек». Шереметев, видимо, назвался фельдмаршалом и боярином, но это не произвело на разбушевавшихся матросов никакого впечатления. Более того: один из них назвал его шельмой, приставил к его груди пистолет и выстрелил.

Смерти «без покаяния» не последовало: пистолет по счастливой случайности был заряжен не пулей, а пыжом.

Происшествие потрясло фельдмаршала: «Отроду такова страху над собою не видал, где ни обретался против неприятеля. А ехал безлюдно, только четыре человека денщиков и четыре извожника... А русские, которые с ними были, матросы и извожники, никто не вступился. А я им кричал,

что вас перевешают, если вы меня дадите убить». Заканчивая цидулку, Борис Петрович отметил: «Сие истинно пишу, безо всякого притворства. А что лаен и руган и рубаху на мне драли — о том не упоминаюся»²².

Описание инцидента, едва не закончившегося трагически, не датировано. Определить более или менее точно время происшествия было бы затруднительно, если бы не письмо царя. Кто-то из корреспондентов Петра — быть может, тот же Ф. А. Головин — известил его о случившемся. В письме Петра к фельдмаршалу есть такие слова: «Слышал я, что некоторое зло учинил вам некоторой матрос, а кто именем и как было — не ведаю. Изволь меня о том уведомить»²³.

Не подлежит сомнению, что Петр имел в виду случай, о котором шла речь выше. Письмо царь отправил из Шлиссельбурга 20 марта 1703 г. Следовательно, дорожное происшествие произошло в конце февраля — начале марта этого года.

1 февраля Петр из Москвы отправился в Воронеж, где проверил ход строительства кораблей. В начале марта он уже в Шлиссельбурге руководил подготовкой к кампании по изгнанию неприятеля из устья Невы. Шереметев в это время делил свои заботы между Псковом и Новгородом. По плану его полки должны были сосредоточиться у Шлиссельбурга к середине апреля, причем два из них фельдмаршалу надлежало посадить на малые суда, специально для этой цели построенные. Однако строительство лодок задерживалось, следовательно, прибытие полков по первой воде запаздывало. Царь торопил фельдмаршала: «Здесь (в Шлиссельбурге. — Н. П.) за помощью Божиею все готово, и больше не могу писать, только что время, время, время, и чтоб не дать предварить неприятелю нас, о чем тужить будем после»²⁴.

Тужить на этот раз не пришлось. Шереметев хотя и запоздал, отправившись из-под Шлиссельбурга 22 апреля, но появился под стенами Ниеншанца во главе 20-тысячной армии совершенно неожиданно для неприятеля. Более того: передовой отряд мог бы на плечах застигнутых врасплох шведов ворваться в крепость и овладеть ею без осады, но, согласно версии Петра, «командир о том указа не имел, и послан был только для занятия поста и взятия языков». На следующий день, 26 апреля, в лагере русских войск появился Петр.

Подготовка к обстрелу Ниеншанца завершилась в полдень 30 апреля. В соответствии с обычаем тех времен Шереметев накануне бомбардировки отправил к осажденным трубача с предложением сдаться. Комендант отказался капитулировать, но начавшегося обстрела не выдержал — на рассвете 1 мая с крепостного вала дали знать, что гарнизон готов склонить знамена. В тот же день царь составил проект договора о капитуляции. Он исходил от «генерала фелтмаршала и кавалера святого Андрея и Малтийского господина Бориса Петровича Шереметева».

После овладения Ниеншанцем, близ которого Петр 16 мая 1703 г. основал Петербург, Шереметев двинулся к Копорью. На обычное требование о сдаче комендант высокомерно известил: «Сами не уйдете».

Фельдмаршал полагал, что овладеть Копорьем будет трудно. «Если от бомб не сдадутся, — делился он своими сомнениями с царем, — приступить никоими мерами нельзя: кругом ров самородный и все плита». Опасения относительно стойкости шведского коменданта оказались напрасными. Его надменность обернулась трусостью, как только началась бомбардировка. На следующий же день он согласился капитулировать. В письме Петру фельдмаршал иронизировал: «Слава Богу, музыка твоя, государь, — мортиры бомбами — хорошо играет: шведы горазды танцовать и фортеции отдавать; а если бы не бомбы, Бог знает, что бы делать»²⁵.

Другой отряд русской армии овладел Ямом. Как и Копорье, Ям располагал хорошими естественными возможностями для успешной обороны. Чтобы покорить его гарнизон, потребовалось две недели, после чего два месяца целая армия трудилась над совершенствованием укреплений.

Вслед за этим новое задание царя — отправиться к Пскову, но не ближним путем, а через Лифляндию и Эстляндию для разорения края и изгнания оттуда войск Шлиппенбаха. В конце августа фельдмаршал во главе драгунских и рейтарских полков двинулся в путь.

Шлиппенбах, проведая о приближении русских войск, спешно отступил на запад, не проявляя никакого желания еще раз встретиться с Шереметевым. На пути своего бегства он разорял край, уничтожал мосты. То же самое в соответствии с правилами ведения войны тех времен делал и Шереметев, ибо одна из целей похода состояла в том, чтобы лишить шведов опорных пунктов и базы снабжения продовольствием. Описав дугу, обращенную своей выпуклой частью на неприятельскую территорию, Шереметев в течение месяца хозяйничал в Лифляндии и Эстляндии и в конце сентября прибыл в Печоры на зимние квартиры.

Итогами 1703 г. могли быть довольны и царь, и его фельдмаршал. Петр умело воспользовался стратегическим просчетом Карла XII и в то время, как тот «увяз в Польше», сравнительно легко овладел землями, ради которых начал войну, — Ингрией с ее выходом в Балтийское море.

Судьба была благосклонна и к Борису Петровичу: он совершил несколько удачных операций. Под его командованием русские войска овладели Ниеншанцем, Копорьем и Ямом, а также осуществили успешный марш по вражеской территории. В трех из этих операций он действовал самостоятельно, без вмешательства царя. В итоге он не дал Петру ни единого повода для выражения недовольства или раздражительности.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

К началу кампании 1704 г. армия настолько окрепла, что могла одновременно вести осаду двух мощных крепостей: Нарвы, под стенами которой четыре года назад она потерпела сокрушительное поражение, и Дерпта. Руководство осадой Нарвы Петр взял на себя, а к Дерпту направил корпус в 21 тыс. человек под командованием Шереметева.

Указом 30 апреля 1704 г. Петр повелел Шереметеву: «Извольте, как возможно скоро, иттить со всею пехотою... под Дерпт». 12 мая последовало напоминание: «Конечно, не отлагая, с помощью Божию, подите и осажайте», а вскоре — новое: «Еще в третье подтверждая, пишу: конечно, учини по вышеописанному и пиши немедленно к нам». Шереметев 16 мая ответил: «...в поход я к Дерпту збираюсь и, как могу скоро, так и пойду». Царь, явно недовольный медлительностью фельдмаршала, отправляет ему письмо с нотками раздраженности: «...немедленно извольте осаждать Дерпт, и за чем мешкаете — не знаю»!

Передовые отряды подошли к Дерпту в ночь с 3 на 4 июня. «Город велик, и строение полатное великое, ратуша вся крыта жостью», — делился Шереметев с одним из своих корреспондентов визуальными наблюдениями о крепости. Действительно, крепостные стены имели шесть бастионов и 132 пушки разных калибров. Число защитников крепости вместе с жителями города, которым было выдано оружие, достигало 5 тыс. человек.

Осадные работы велись под непрерывным огнем крепостной артиллерии. «Как я взрос, такой пушечной стрельбы не слышал», — писал Шереметев. Впрочем, артиллерийская дуэль не наносила существенного урона ни осаждаемому, ни осаждавшему, хотя, как доносил Шереметев, «пушки их больши наших», да и по количеству крепостная артиллерия в 2,5 раза превосходила русскую.

Комендант крепости полковник Шютте — по отзыву шведских офицеров, «великой фурыя и безпрестанно шумен и буен» — решил усилить помехи осадным работам организацией вылазки. 27 июня неприятельские

пехотинцы и драгуны напали на осаждавших и достигли временного успеха, но оправившиеся от внезапности удара русские войска отбили нападение. Неприятель не выполнил главной своей задачи — не сумел заспать апроши землей.

2 июля из-под Нарвы к Дерпту прибыл царь. Какая необходимость вынудила Петра оставить Нарву? Прежде всего слухи о крупном подкреплении, которое якобы ожидал осажденный гарнизон Нарвы из Швеции. Угроза повторения первой Нарвы крайне беспокоила царя, и он решил побыстрее достичь успеха под Дерптом, чтобы освободившиеся силы бросить против Нарвы. Слух о подкреплении, усердно распространявшийся комендантами обеих крепостей — Шютте и Горном, оказался ложным. Это была обычная в те времена форма дезинформации противника. В отличие от Петра Шереметев не поддавался слухам. «Я о том веры нейму», — писал фельдмаршал Меншикову 27 июня².

Но у Петра был еще один повод ускорить овладение Дерптом: под Нарвой ощущался недостаток в осадной артиллерии, без чего трудно было рассчитывать на успех. Ознакомившись на месте с ходом осадных работ, царь не скрыл своего недовольства. «Все негодно, и туне людей мучили» — такова была общая оценка осадных работ. Какие же действия фельдмаршала привели царя в состояние крайней раздраженности?

Прежде всего неправильный, по его мнению, выбор направления атаки крепости и, следовательно, неразумное определение места для подготовки к ней. Шереметев распорядился подводить апроши к наиболее мощным стенам крепости, усиленным бастиянами, на том основании, что там было сухо. Петр же во время рекогносцировки обнаружил «мур» (стену), который «только указу дожидается, куды упасть». Изливая свое недовольство Меншикову, царь писал: «Когда я спрашивал их, для чего так, то друг на друга, и больше на первова (который только ж знает)»³. Под «первым» подразумевался Шереметев.

Эстонский историк Х. Палли, обстоятельно изучивший систему осадных работ, проводившихся Шереметевым, полагает, что к середине июня, когда они начались, болотистая местность, еще не освободившаяся от полых вод, исключала возможность рыть землю и возводить укрепления. Условия для таких работ в пойме реки Эмбах улучшились три недели спустя, т. е. к приезду Петра. Впрочем, и сам Шереметев начал вести подкопы со стороны реки Эмбах, но, видимо, не считал это направление главным⁴.

Как бы то ни было, но в лагере осаждавших с приходом царя началась перегруппировка сил, связанная с изменением направления главного удара. Интенсивный обстрел крепости, возобновившийся с 6 июля, дал свои плоды: были пробиты три бреши, через которые двинулись атакующие. «Огненный пир» — так называл Петр штурм Дерпта — продолжался всю ночь с 12 на 13 июля. За грохотом сражения не слышно было ударов барабанщиков неприятеля, бивших «шамад» (сигнал к сдаче). Лишь сигналы трубы приостановили сражение, и осажденные обратились «просительными от всего дерптского гарнизона пунктами», составленными

ми комендантом капиитулировавшей крепости. Комендант просил разрешить гарнизону выход «с литаврами, с трубами и со всею музыкаю», с распущенными знаменами, шестью пушками и всем огнестрельным оружием и месячным запасом продовольствия. Царь от имени фельдмаршала отправил коменданту иронический ответ: «Зело удивляется господин фельдмаршал, что такие запросы чинятца от коменданта, когда уже солдаты его величества у них в воротах обретаютца». Подобные условия были бы уместны до штурма, а не тогда, когда осажденные лишились выбора. Гарнизону было разрешено покинуть крепость с семьями, пожитками и месячным запасом продовольствия, но без артиллерии. Победителям достались огромные трофеи: 132 пушки, 15 тыс. ядер, запасы продовольствия.

Петр после овладения Дерптом спешил к Нарве. Туда он выехал 17 июля, захватив с собой трофейные знамена. Под Нарву был вызван и Шереметев. Царь отправил ему один за другим три указа о немедленном выступлении из Дерпта, но фельдмаршал не двинулся с места. Наконец, в четвертом указе, от 23 июля, Петр велел Шереметеву «днем и ночью итить». Приказ сопровождался угрозой: «А есть ли так не учинишь, не изволь на меня пенять впредь». На этот раз Борис Петрович все-таки привел войска. Они подошли к Нарве до начала штурма, но в деле не участвовали. Совершить поход к Нарве стоило Шереметеву больших усилий, ибо он был болен. Зная, что царь никаких отговорок не примет, он изливает жалобы третьему лицу. 24 июля Александр Данилович прочитал следующие строки письма Шереметева: «А я останусь на день для крайней своей болезни и велю себя как ни есть волочь... Зело я, братец, болен и не знаю, как волотца, рад бы хотя мало отдохнуть»⁵.

9 августа после 45-минутного штурма русские овладели Нарвой. Царь ликовал и каламбурил. Используя созвучие слов «Нарва» и «нарыв», он одному из своих корреспондентов писал: «Инова не могу писать, только что Нарву, которая 4 года нарывала, ныне, слава Богу, прорвало».

Десять дней спустя, 19 августа 1704 г., под стенами отвоеванной Нарвы был заключен русско-польский союзный договор, определивший на ближайшие годы главное направление военных действий русской армии. Союзники обязались воевать с неприятелем на суше и на море «истинно и непритворно» до заключения победоносного мира. Петр обязался выделить в помощь польскому королю 12-тысячный корпус русских войск, а также ежегодно до окончания войны выдавать Польше субсидию 200 тыс. руб.

Выполнение условий договора повлекло перемещение театра военных действий из Ингерманландии в Литву. Шереметев получает указ от 16 ноября 1704 г.: «когда реки станут», отправиться во главе конницы против шведского генерала Левенгаупта. Борис Петрович отвечал 26 ноября: «Пойду изо Пскова немедленно». Одновременно он отправил слезливое письмо Меншикову. Фельдмаршал жаловался на утрату царского расположения: «Всем милость, а мне нет!» Овладение Дерптом и Нарвой сопровождалось раздачей вотчин, а он, Шереметев, обойден — ни вотчин, ни даже жалованья. Далее следуют фразы, свидетельствующие о взаимоотно-

ношениях между аристократом Шереметевым и безродным выскочкой Меншиковым: «У тебя милости прошу: если уж вотчин, обещанных мне, не дадут, чтоб мне учинили оклад по чину моему»⁶.

Петр, видимо, был твердо уверен, что Шереметев, хотя и не обладал выдающимися полководческими дарованиями, зря не погубит армию. Одно из достоинств фельдмаршала — основательность. Отправлялся он в поход лишь тогда, когда убеждался в том, что последняя пуговица была пришита к мундиру последнего солдата. Но Борис Петрович, пожалуй, правильно уловил изменение к себе отношения со стороны царя. Эти отношения никогда не были близкими, их скорее можно назвать официальными.

У Петра была так называемая компания — группа его сподвижников, с которыми он поддерживал приятельские отношения. В состав компании входили А. Д. Меншиков, Ф. Ю. Ромодановский, Ф. М. Апраксин, Ф. А. Головин, Г. И. Головкин, А. А. Виниус, А. Вейде и др.

Одной из примет близости того или иного сподвижника к Петру является содержание и тональность переписки между ними. Только члены компании в письмах царю позволяли себе шуточные упоминания о Бахусе, или, на русский лад, об Ивашке Хмельницком. Иногда корреспондент ограничивался короткой информацией о своей встрече с Ивашкой типа «потпивали добре». В большинстве случаев корреспонденты описывали баталии с Хмельницким и поражения лиц, вступивших с ним в единоборство. Так, Адам Вейде, получив от Петра известие о его прибытии к Азову 15 июня 1699 г., отвечал, что по этому поводу состоялась встреча с Ивашкой, завершившаяся тем, что ее участники «принуждены были силу свою потерять и от того с полуночи по домам бежать». Другим показателем близости корреспондента к царю была форма обращения. Однажды Петр выговаривал Федору Матвеевичу Апраксину за то, что тот, обращаясь к нему, использовал титул. Он внушал ему: «Тебе можно знать (для того, что ты нашей компании), как писать»⁷.

Действительно, в письмах и донесениях царю, исходивших от членов компании, фигурировали обращения, ничего общего с царским титулом не имевшие. «Господине бунбандире Петр Алексеевич» или «Господин каптейн Петр Алексеевич» — так начинал свои послания царю князь-кесарь Ромодановский. Примерно такие же слова обращения употреблял и Г. И. Головкин: «Мой асударь каптейн Петр Алексеевич», «благодетелю мой и господине». Как к частному лицу к царю обращался Андрей Андреевич Виниус: «Приятнейший мой господине» или «господин мой прелюбезнейший». Тихон Никитич Стрешнев обращался так: «Господин первой капитан Петр Алексеевич», «господин мой милостивой комендир». Со временем, однако, фамильярное обращение к царю постепенно исчезает, уступая официальному «премилостивейший царь государь». Лишь А. Д. Меншиков и в 1712 г. позволял себе писать: «Высокоблагородный господин контра-адмирал».

Шереметев не принадлежал к числу тех людей, которые считали нормой фамильярное обращение к царю. Лишь единственный раз он осме-

лился начать послание Петру словами: «Превысочайший господин, господин капитан». Это была попытка изъясняться языком членов компании. Как правило, Борис Петрович, обращаясь к царю, писал «премилостивейший государь» либо реже, упреждая события, «самодержавнейший император, всемилостивейший государь», ибо в 1711 г., когда писалось это обращение, Петр еще не имел титула императора.

Петр, как отмечалось выше, в общении с членами компании не терпел упоминаний своего титула. Но он не терпел и велеречивых донесений, в которых из-за витиеватого стиля и словесной шелухи трудно было уловить существо дела. Однажды Савва Лукич Рагузинский был свидетелем царского гнева, когда тот читал донесение Петра Матвеевича Апраксина, брата адмирала Федора Матвеевича. Рагузинский деликатно намекнул адмиралу, чтобы тот посоветовал своему брату быть в письмах предельно лаконичным и избегать многословия, вызвавшего раздражение царя.

Письма Шереметева царю по их тону и содержанию существенно отличались от корреспонденции членов компании прежде всего тем, что их автор крайне редко выходил за пределы деловой информации и переступал грань официального. Лишь в исключительных случаях «раб твой Барисъ Шереметев», как подписывал свои донесения фельдмаршал, вкрапывал фразы, бывшие в ходу у членов компании. 28 марта 1703 г., т. е. в год наибольшей близости к царю, он в несвойственной ему манере писал Петру: «Пожалуй, государь, попроси от меня благословения у всешутейшего (князь-папы Никиты Зотова. — Н. П.) и поклонися коморатом моим Александру Даниловичю, Гаврилу Ивановичю, и про здоровье мое извольте выпить, а я про ваше здоровье обещаюся быть шумен»*.

Второй раз подобный тон Шереметев позволил себе 12 лет спустя, когда получил личное извещение царя о рождении наследника Петра Петровича. 27 ноября 1715 г. он сообщил Петру, что приятной новостью поделился с генералами Репниным, Лесси, Шарфом, приглашенными им на военный совет. «И как о той всемирной радости услышали, — писал он, — и бысть между нами шум и дыхание бурно; и, воздав хвалу Богу и пресвятой его Богоматери благодарение, учили веселиться, и, благодаря Бога, были зело веселы».

Далее Шереметев живописал, как одного за другим Ивашка выводил из строя: «И умысла над нами Ивашко Хмельницкой, незнаемо откуда прибыв, учал нас бить и по земле волочить, что друг друга не свидали. И сперва напал на генерал-маеора Леси, видя его безильна, ударил ево в правую ланиту и так ево ушиб, что не мог на ногах устоять. А потом генерала-маеора Шарфа изувечил без милости». Затем наступил черед Аникиты Ивановича Репнина: «Репнин хотел их сикуровать (оказать помощь. — Н. П.), и тот — Хмельницкой воровски зделал, под ноги ударил — и на лавку не попал, а на землю упал. И я з Глебовым, видя такую силу, совокупившись, пошли на него, Хмельницкого, дескурацией и на силу от него спаслися, ибо, по щастию нашему, прилучилися дефилен надежные. Я на утрее опамятовался на постели в сапогах без рубашки,

только в одном галстухе и парике. А Глебов ретировался под стол и, пришедши в память, не знал, как и куда вытить»⁹.

Кстати, это описание сражения с Хмельницким, пожалуй, даже превосходившее по колоритности аналогичные упражнения членов компании, запоздало на много лет: оно было сделано в то время, когда компания практически распалась, на смену прежним отношениям между ее членами и царем пришла сдержанность, официальность и Хмельницкий вышел из обихода в их эпистолярных сочинениях. Приведенное описание, как и шутка, отпущенная фельдмаршалом в 1703 г., стоит одиноко в потоке скучных и заурядных писем его Петру.

Итак, Шереметев не входил в компанию близких к Петру людей. Вряд ли причиной тому являлась только разница в годах: фельдмаршал был старше царя на два десятилетия. Ромодановский тоже был старше Петра, что не помешало ему не только занять видное место в компании, но и стать главным действующим лицом в игре царя в князя-кесаря. Быть может, на отчужденность Шереметева от царя оказало влияние неумение фельдмаршала пить. Во всяком случае, источники не донесли до нас сведений об активных возлияниях фельдмаршала на пирушках. В веселой компании он, видимо, чувствовал себя чужаком.

Скорее всего Борису Петровичу не было уютно в компании Петра потому, что нравам аристократа претило многое: и то, что царь совершал поступки, не соответствовавшие царскому сану, и то, что он окружил себя подлородными выскочками, и, наконец, его непочтительное отношение к родовитым людям. И хотя фельдмаршалу пришлось сделать вид, что он смирился со всеми чудачествами и нелепыми выходками царя и его шутовского двора, но по-настоящему приспособиться к этим порядкам, поступиться с детства усвоенными привычками и взглядами было выше его сил. Шереметев был человеком другой эпохи, точнее, человеком, в котором черты аристократического воспитания причудливо переплелись с новшествами в поведении царя.

С конца 1701 до 1704 г. — время наибольшей близости царя к фельдмаршалу. Правда, их взаимоотношения нельзя поставить рядом с отношениями между Петром и Меншиковым. В последнем случае налицо дружба, в первом — уважение к военному опыту, одержанным победам. За ратные подвиги Шереметев часто выслушивал от царя слова благодарности. «Зело благодарны мы вашими трудами», «Поздравляем вас толики виктории», — писал Петр Борису Петровичу в связи с его успехами в Лифляндии. «За уведомление добрых вестей благодарствую», — отвечал царь фельдмаршалу на известие об овладении Копорьем¹⁰.

Можно умножить число примеров поощрения царем усердия своего фельдмаршала. Но по мере того как Петр набирался полководческого опыта, как приходили к нему успехи в военных действиях, которыми он сам руководил, происходила переоценка ценностей. Главная слабость Шереметева — медлительность носила хронический характер и не раз вызывала раздражение у царя. Поначалу он выражал недовольство в мягкой

форме: в письмах почти отсутствуют резкие выражения. Но со временем выговоры стали сопровождаться угрозами и больно ударили по самолюбию фельдмаршала.

Итак, Шереметев получил в конце ноября 1704 г. повеление царя отправиться в поход против Левенгаупта, «когда реки станут». Реки «стали», но поход не состоялся. Шереметев выехал из Пскова в последних числах декабря и прибыл в Витебск три недели спустя. Здесь он обнаружил отсутствие фуража для конницы и посчитал выступление нецелесообразным: «...ныне застою в Витепске и никуда без указа не пойду».

Петр остался недоволен безынициативным поведением фельдмаршала. Последнему пришлось прочитать следующие иронические слова царя в свой адрес: «И сие подобно, когда слуга, видя тонущего господина, не хочет его избавить, дондеже справитца, написано ль то в его договоре, чтоб его из воды вынуть». Для ускорения организации похода Петр отправляет в Литву Меншикова. Тот, прибыв в Витебск в конце февраля 1705 г., привез царский указ, страшно обескураживший фельдмаршала.

В распоряжении Петра с 1704 г. находились два фельдмаршала. Вторым был барон Георг Огильви, нанятый на русскую службу летом этого года. Под Нарву Огильви прибыл 20 июня, и Петр, отправляясь к корпусу Шереметева, осаждавшему Дерпт, назначил наемного фельдмаршала командующим русскими войсками под Нарвой. Огильви сумел себя подать и произвел благоприятное впечатление на русских вельмож. Руководитель Посольского приказа Федор Алексеевич Головин аттестовал Огильви так: «Господин Огильвий, кажетца, государь, человек изрядной». Головину вторил Меншиков: новый фельдмаршал «заче во всем зело искусен и бодро опасен есть»¹¹.

У Петра возникло намерение вручить Огильви командование пехотными полками, а Шереметеву оставить кавалерию. Царь исходил из того, что «пеший конному не товарищ». Поскольку генеральной баталии не намечалось и предполагалось производить боевые действия налегке, то, естественно, для таких наскоков целесообразнее было использовать мобильную конницу.

Новость настолько расстроила Шереметева, что он даже заболел. Фельдмаршал терялся в догадках: за что такая немилость? Дело удалось уладить. Меншиков посоветовал Петру оставить все без изменений. Царь обратился к фельдмаршалу со словами утешения: то «зделано не для какого вам оскорбления, но ради лучшего управления»¹².

Инцидент был исчерпан, и фельдмаршал возобновил подготовку к походу, так и не состоявшемуся в зимние месяцы. Цель похода оставалась прежней — отрезать корпус Левенгаупта от Риги и разгромить его. По началу дела у Шереметева складывались лучшим образом. Передовой отряд русских войск совершил удачное нападение на Митаву. Застигнутый врасплох внезапным нападением драгун, гарнизон был почти полностью уничтожен. Предстояла встреча с главными силами Левенгаупта. Тот успел занять хорошо укрепленную позицию в окрестностях Гемауртгофа, по русским источникам — у Мур-мызы.

15 июля 1705 г. созванный Шереметевым военный совет решил воздержаться от лобовой атаки укрепленных позиций противника, сопряженной с большими потерями. Хитроумный план русского командования состоял в том, чтобы ложным окружением выманить противника из лагеря и ударить по нему с фланга спрятанной в лесу кавалерией. Элемент аналогичной хитрости включал и план Левенгаупта, причем шведскому генералу удалось обмануть некоторых русских полковников. Один из них, Кропотов, обнаружив перемещения в шведском лагере, прискакал к Шереметеву с сообщением, «что будто неприятель уходит». Ему показалось, что победа, а вместе с нею и добыча ускользают из рук, и он, не дождавшись распоряжений Шереметева, двинул свой полк в атаку. За ним пошли и другие полки. Так стихийно завязался бой. Шереметеву ничего не оставалось, как принять в нем участие, ибо надо было оказывать помощь полкам, очертя голову бросившимся в атаку.

Бой изобиловал острыми сюжетами и протекал с переменным успехом. Был момент, когда русская кавалерия смяла неприятеля и казалось, что победа не за горами. Однако драгуны, вместо того чтобы развивать успех, принялись грабить неприятельский обоз. Тем самым шведам была предоставлена возможность перестроить свои порядки и выправить положение.

С наступлением темноты сражавшиеся оставили поле боя и укрылись в обозах. Шереметев под покровом ночи отступил. Русские оставили 13 пушек и 10 знамен, подобранных шведами лишь на следующий день, 16 июля. Отступление русских Левенгаупт истолковал как свою крупную победу. Шведы праздновали ее две недели спустя. Лазутчик Шереметева, бывший свидетелем торжеств в Митаве, сообщил фельдмаршалу: «...та веселость была не от сердца, для того, что они много добрых людей потеряли». Много дней подряд церкви Митавы были забиты трупами умерших от ран: их не успевали отпевать. Действительно, о сокрушительном поражении Шереметева не могло быть и речи — обе стороны понесли огромный урон, причем военные историки считают, что шведы потеряли убитыми и ранеными больше, нежели русские.

Сражение у Мур-мызы было единственным, которое Шереметев проиграл за все долгие годы Северной войны. Оснований переживать неудачу было тем больше, что победу он уже держал за хвост и она ускользнула от него из-за нелепой случайности. Конечно же, известие о результатах сражения не доставило радости Петру. Еще не улегся гнев по поводу действий фельдмаршала под Дерптом, как он дал повод для нового недовольства. Царь, однако, сдержался и обратился на этот раз к удрученному фельдмаршалу со словами утешения, ставшими знаменитыми: «Не извольте о бывшем несчастье печальны быть (понеже всегдашняя удача много людей ввела в пагубу), но забывать и паче людей ободривать»¹³.

Урок из поражения был извлечен. Петру было ясно, что «несчастный случай учинился от недоброго обучения драгун». Царь велел фельдмаршалу довести до сведения каждого солдата и драгуна, что впредь не следует под страхом смертной казни «скакать за неприятелем» очертя голову, но преследовать с оглядкой, непременно шагом.

Неудача под Мур-мызой имела значение досадного эпизода, вклинившегося в серию непрерывных побед, предшествовавших ей и наступивших после нее. Ближайшие из них — овладение Митавой (4 сентября) и Бауском (13 сентября) — были достигнуты войсками под командой царя. Шереметев не принимал непосредственного участия в этих операциях: по распоряжению Петра его корпус был размещен между Ригой и Митавой на тот случай, если бы Левенгаупт, находившийся в Риге, вздумал оказать «сикурс» (помощь) осажденным крепостям.

В дни, когда в ставке праздновали успешное завершение кампании, было получено известие, ошеломившее царя: в Астрахани вспыхнуло восстание. Из скупых строк донесения, отправленного из Москвы Борисом Алексеевичем Голицыным, следовало, что восставшие стрельцы и горожане перебили около 300 начальных людей и намеревались идти на Москву. Петр не скрывал крайней озлобленности: «Князь Борис сумасбродным письмом zelo нас в сумнение привел».

Проследим кратко за астраханскими событиями, которые привели царя «в сумнение».

В начале XVIII в. Астрахань была одним из крупнейших городов России. Город, как центр пограничной округи, имел кремль с мощными стенами и семью башнями. Так называемый Белый город тоже был обнесен каменной стеной. В кремле располагались воеводские и митрополичьи хоромы, пороховой погреб, Троицкий мужской монастырь. В Белом городе размещались административные здания, каменные гостиные дворы, харчевни. За Белым городом находился Земляной город, в котором, собственно, и размещались дворы жителей Астрахани.

Население Астрахани было пестрым как по социальному, так и по национальному составу. Едва ли не самую многочисленную часть горожан составляли стрельцы и солдаты. Среди первых было немало участников стрелецких бунтов 1682 и 1698 гг., высланных сюда из Москвы.

В городе и округе были развиты два вида промыслов: рыбная ловля и добыча самосадочной соли. Промыслами занимались не только местные жители, но и пришлые, которых было особенно много в летние месяцы. Значительную прослойку пришлого населения составляли бурлаки, сплавлявшие в Астрахань хлеб из городов Среднего Поволжья и тянувшие вверх по Волге барки, нагруженные рыбой, солью и восточными товарами.

Астрахань — важнейший центр России в ее торговле с Востоком. Именно поэтому там существовали довольно многочисленные колонии, населенные армянскими, гиланскими, бухарскими, индийскими купцами.

Астраханцы, как и все население России, несли бремя увеличившихся в начале XVIII в. налогов и повинностей. Крайнее положение города открывало широкие возможности для безнаказанного произвола местной администрации и стрелецких полковников. Особенно усердствовал воевода Тимофей Ржевский, человек столь же алчный и жестокий, как и тупой. Он участвовал в спекуляции хлебом — продавал его по вздутым ценам в месяцы, когда по Волге прекращалась навигация. Все виды городской торговли,

в том числе и мелочная, подлежали обложению, причем нередко сумма налоговых сборов превышала стоимость продаваемых товаров. Особенное возмущение астраханцев вызвало ретивое и суровое выполнение воеводой царских указов о брадобритии и немецком платье. Наряды из солдат и стрельцов под командованием офицеров ловили на оживленных улицах бородачей и тут же отрезали у них бороды, иногда прихватывая и кожу. Ножницами они пользовались и для укорачивания старорусской одежды.

Не отставали от воеводы солдатские и стрелецкие полковники. Они рассуждали так: «Воевода-де сидит в городе, хочет з города сыт быть, а я-де полку полковник, завсегда хочу с полка сыт быть и напредки, покуда поживу в полку, буду сыт и стану брать»¹⁴. Опальное положение стрельцов превращало их в беззащитных людей. В 1705 г. им уменьшили жалованье на 40 процентов и в то же время увеличили поставку дров на селитряные заводы близ Астрахани. Полковники и офицеры истязали стрельцов, присваивали их жалованье, накладывали штрафы, использовали для личных услуг и т. д.

Среди астраханцев возник заговор, его участники призвали горожан к восстанию. В ночь на 30 июля 1705 г. собравшиеся по набату стрельцы и горожане убили воеводу, а также казнили ненавистных полковников и начальных людей общей численностью 300 человек. Власть в городе перешла к кругу, который избрал исполнительный орган — старшину во главе с ярославским купцом Яковом Носовым и астраханским бурмистром Гавриилом Ганчиковым.

Получив известие о восстании в Астрахани, царь велел ехать подавлять его Шереметеву. Почему именно ему? Разве в армии был так велик избыток в опытных военачальниках, что Петр мог спокойно снять единственного русского фельдмаршала с театра военных действий и отправить в глубокий тыл? Или царь придавал этому восстанию столь большое значение и считал его в такой степени опасным для трона, что, ни минуты не колеблясь, посчитал угрозу со стороны астраханцев более сильной, чем со стороны шведов?

Приходится согласиться с выбором царя. В его распоряжении действительно не было лучшей кандидатуры для руководителя карательной экспедиции, чем Шереметев. Для этой роли не подходили ни Меншиков, ни Головин, ни Апраксин, ни тем более Ромодановский. Все они являлись друзьями царя и людьми, непосредственно причастными ко всем новшествам, вводимым в стране. Сами восставшие считали виновниками нововведений жителей Немецкой слободы и Меншикова: «Все те ереси от еретика Александра Меншикова»¹⁵. Поскольку астраханцы выступали за бороду и длиннополое платье, назначение карателем, скажем, Ромодановского не только бы лишило царя надежд на мирное урегулирование конфликта, но и подлило бы масла в огонь.

В этом плане Шереметев, всецело занятый борьбой с внешними врагами и стоявший как бы в стороне от преобразовательных начинаний Петра по гражданской линии, был самой подходящей фигурой. Но Борис

Петрович обладал еще рядом преимуществ, ставивших его вне конкуренции при назначении на этот пост. К ним прежде всего относится репутация Шереметева среди населения как полководца, научившегося побеждать шведов. Имело значение и то, что руки фельдмаршала не были обогреты кровью казненных стрельцов: в казнях, как упоминалось выше, он не участвовал. Особой популярностью Шереметев пользовался у дворян: чин боярина и принадлежность к древнему аристократическому роду способствовали консолидации вокруг него дворянства.

Похоже, Петр, отправляя Шереметева против астраханцев, руководствовался еще одним соображением. Вспомним о намерении царя разделить командование русской армией между Огильви и Шереметевым и об отношении к этой затее русское фельдмаршала. Теперь царю представилась возможность осуществить этот замысел безболезненно, не рана самолюбие Бориса Петровича. Совершенно очевидно, что Петр, принимая это решение, предпочел опыт, знания и таланты иноземца опыту, знаниям и талантам отечественного фельдмаршала.

Шереметев отправился в Астрахань наперекор своему желанию, повинувшись царскому указу. Он получил указ не позже 12 сентября 1705 г., ибо в этот день царь отправил письмо одному из своих корреспондентов с извещением, что Борис Петрович «с конницею к вам будет в две недели». Фельдмаршал не спеша, как и все, что он делал, начал подготовку к походу. Царь его торопил: «Для Бога не мешкай, как обещался, тотчас пойдй в Казань». Не очень надеясь на расторопность Шереметева, царь в тот же день, 21 сентября, отправил указ и Ф. Ю. Ромодановскому с предписанием: «...как прибудет господин фельдмаршал к Москве, чтоб немедленно его со удовольствием людей отправить в Казань»¹⁶.

Попытки Петра форсировать поход оказались безрезультатными: Шереметев прибыл в Москву почти на месяц позже — 20 октября, причем вместе с ним вступили в столицу лишь батальон солдат да эскадрон конницы. Теперь уже спешить было некуда, ибо два полка, выделенные для подавления восстания, двигались и того медленнее и находились далеко от Москвы.

Выпроводить фельдмаршала из столицы оказалось делом нелегким. С одной стороны, наступило осеннее бездорожье. «Путь застал злой, — сообщал он Меншикову 2 ноября, — ни санями, ни телегами итить нельзя»¹⁷. С другой стороны, двигаться ускоренным маршем не было резона, так как время было упущено и надежда на прибытие правительственных войск под Астрахань до начала ледостава рухнула. К тому же активные действия астраханцев после их неудачной попытки овладеть Царицыным и тем самым расширить район восстания прекратились и, следовательно, район движения локализовался Астраханью, Гурьевом, Черным и Красным Яром и Терками.

В Москве Шереметев задержался до середины ноября и в Нижнем появился в конце месяца. 18 декабря он был уже в Казани. По всему видно: здесь он рассчитывал переждать зиму и полагал, что его присутствие в городе необязательно. Именно поэтому он стал настоятельно ходатайст-

воват о своем отзыве из Казани в Москву. Посредником в этих хлопотах он просил быть Федора Алексеевича Головина. «Только прошу, — писал Шереметев Головину 28 декабря, — учини и мне братцки, как возможно, домогайся, как бы ни есть меня взяли к Москве, хотя на малое время». Через неделю повторная просьба. В этом письме он сообщал: обращался «к самому капитану (к царю. — Н. П.), чтобы указал мне быть к себе»¹⁸.

Настойчивые просьбы Бориса Петровича вызвали у царя реакцию, противоположную той, на которую он рассчитывал: вместо разрешения отправиться на побывку в Москву Шереметев получил предписание двигаться к Саратову, переждать там зиму и «по весне рано итить до Царицына». Более того, царь, изуверившись в способности Шереметева проявить расторопность, пошел на чрезвычайную меру: к фельдмаршалу в качестве соглядата и толкача, призванного стимулировать его активность, был приставлен гвардейский сержант. Со временем подобная мера мало кого удивляла, ибо по воле Петра гвардейские сержанты и офицеры держали «в железах» губернаторов и понукали сенаторов, но в годы, о которых идет речь, такая практика была в диковинку.

Борису Петровичу доводилось даже чрезмерно часто выслушивать упреки царя, но такого еще не бывало. Можно себе представить, как был удивлен, огорчен и удручен фельдмаршал, когда в его ставке в Казани 16 января 1706 г. появился гвардии сержант Михаил Иванович Щепотьев с таким царским указом: Щепотьеву «велено быть при вас некоторое время; и что он вам будет доносить, извольте чинить». Фельдмаршал оказывался в положении подчиненного у сержанта. Один из пунктов царской инструкции предписывал Щепотьеву: «...смотреть, чтоб все по указу исправлено было, и, буде за какими своими прихоти не станут делать и станут да медленно, говорить, и, буде не послушает, сказать, что о том писать будеш ко мне»¹⁹. Старый служака, конечно же, считал для себя унижительным выполнять распоряжения желторотого сержанта.

Из-за отсутствия данных мы не можем дать обстоятельной характеристики Щепотьева. Со слов Шереметева, Щепотьев был человеком грубым и необузданным. Как и всякий недалекий человек, волей случая получивший огромную власть, он не знал, как этой властью рационально распорядиться, пустился в разгул и становился «шумным» настолько, что терял контроль и над поступками, и над словами. Таким Щепотьева представил нам Шереметев. Его отзыв, естественно, был пристрастным.

Борис Петрович жаловался своему свату Ф. А. Головину: «Он, Михайло, говорил во весь народ, что прислан он за мною смотреть и что станет доносить, чтоб я во всем его слушал. И не знаю, что делать». В другом письме, отправленном в начале мая тому же корреспонденту, Шереметев повторил жалобу: «Если мне здесь прожить, прошу, чтоб Михайло Щепотева от меня взять... непространно пьян. Боюсь, чево б надо мною не учинил; ракеты денно и ночью пушает; опасно, чтоб города не выжег». Головин был солидарен с аттестацией Щепотьева Шереметевым: «О Щепотева я известен; знают его все, какой человек»²⁰.

Что касается царя, то в его глазах Щепотьев заслуживал всяческого уважения. Об этом прежде всего свидетельствует его назначение. Перед ним благодаря царскому покровительству открывалась блестящая карьера, но сержант геройски погиб в 1706 г. во время атаки шведского бота пятью лодками. Прimitивные лодки с экипажем 48 человек были отправлены в море для нападения на неприятельские торговые корабли. Ночью они напоролись на адмиральский бот, вооруженный четырьмя пушками, с командой в пять офицеров и 103 солдата. Русские смело вступили в сражение и, несмотря на неравенство сил, одержали победу. На захваченном у шведов боте в лагерь вернулось лишь 18 человек, из них только четверо не имели ранений.

Находясь под впечатлением от подвига Щепотьева, царь писал: «А ныне посылаю некоторую реляцию о никогда слышанном партикулярном морском бою, которой господин Щепотеф, быф командиром, при сей не кончаемой славе живот свой скончал»²¹. Отважный поступок Щепотьева описал сам царь в «Гистории Свейской войны».

В окружении царя знали, что медлительность фельдмаршала в любой момент могла вызвать вспышку царского гнева. 26 января 1706 г. Головин предупреждал Шереметева о возможных последствиях его нерасторопности: «А самому, мой государь, по указу, конечно, надлежит быть на Саратов, чтоб тем его величество не раздражить». Шереметев отвечал: «...а что жалуешь меня, остерегаешь, чтоб я шел в Саратов, и я никогда того не отлагал, чтобы нейтить, и пошел, и, если каких препон не будет и случай позовет, пойду и далее»²².

В феврале Шереметев прибыл в Саратов. Вопреки своему обыкновению фельдмаршал долго в Саратове не задержался и двинулся к Царицыну. С дороги он отправил астраханцам послание, оказавшее едва ли не решающее влияние на дальнейший ход событий.

Читатель помнит, что царь, получив известие о восстании в Астрахани, велел Шереметеву держать путь к месту событий, чтобы вооруженной рукой подавить движение. Но Петр не исключал и разрешение социального конфликта мирными средствами.

Для мирного урегулирования представился удобный случай: в Москве оказалась депутация астраханцев во главе с конным стрельцом Иваном Григорьевичем Кисельниковым. Астраханцы отправили ее на Дон с целью убедить казаков примкнуть к восстанию, но верхушка казачества осталась верной правительству — посланцы были схвачены и отправлены в столицу. Их ожидала суровая расправа, но спасло вмешательство Петра. Он велел доставить депутацию в Гродно, где в то время сам находился, чтобы вручить ей грамоту с призывом к восставшим выдать зачинщиков и обещанием помиловать всех остальных.

Это было третье по счету обращение царя к астраханцам с призывом проявить смирение и покорность, причем именно оно оказалось наиболее эффективным. Психологическое воздействие непосредственного общения с Петром столь укрепило царистские иллюзии у конного стрельца Ки-

сельникова, что тот превратился едва ли не в самого рьяного сторонника прекращения вооруженной борьбы астраханцев с правительством.

Обиение с Кисельниковым и доставленными в Москву членами депутации на Дон вселило в бояр и в самого царя надежду на мирный исход событий в Астрахани. Обращает на себя внимание следующая деталь: в распоряжении Ф. Ю. Ромодановского об отправке астраханцев к царю в Гродно они названы ворами. Точно так же их называл и Петр в указе от 21 сентября 1705 г.: «Как вороф з Дону, которые бунтовались в Астрахани, привезут к Москве, изволь тотчас послать их за крепким караулом суды». После того как Кисельников побывал в Астрахани и доставил в столицу повинную, мнение о нем в правящих кругах резко изменилось. Головин отзывался о Кисельникове и его товарищах так: «...все кажутца верны и мужики добры»²³.

Превращение «вороф» в благонадежных сторонников правительства зарегистрировано и в указах царя. 1 декабря 1705 г. Петр после разговора с Кисельниковым отправил указ Ромодановскому, чтобы тот организовал возвращение депутации в Астрахань в сопровождении «добрых провожатых», оговорив при этом, «чтоб те провожатые их не как колодникоф, но как свободных правожали, понеже оные посланы ради уговору». В середине февраля следующего года, когда Кисельников со стрельцами возвращался в Астрахань после повторной встречи с царем, Петр вновь велел «вести их в почтении», правда, лишив их возможности общаться с населением.

Короче, Петр и его окружение были твердо убеждены в том, что дело в Астрахани, начавшееся в столь неуместное время, когда неприятель намеревался вторгнуться в пределы России, завершится мирным исходом. Об этом свидетельствует и многократно повторенное предписание царя проявлять к повстанцам великодушие. На вопрос Щепотьева, как поступить с черноярцами, если они принесут повинную, царь ответил: «...кроме прощения и по-старому быть, иново ничего; также и везде не держайте не точию делом, ни словом жестоким к ним поступать под опасением живота». Шереметеву было велено поступать с астраханцами так: «...всеконечно их всех милостию и прощением вам обнадеживать; и, взяв город Астрахань, отнюдь над ними и над заводчиками ничего не чинить»²⁴.

Мы столь подробно остановились на этом плане царя и правительства относительно ликвидации Астраханского восстания с той целью, чтобы явственнее выглядели действия Шереметева, шедшие вразрез с ним. Фельдмаршал сознательно провоцировал обострение обстановки и толкал восставших на противодействие правительственным войскам.

Еще в феврале 1706 г., когда Шереметев выступил из Саратова, астраханцы получили от него послание ультимативного содержания, свидетелем существовавшее о его отнюдь не миролюбивых намерениях. Текст послания не сохранился, но, судя по передаче его содержания, оно не содействовало умиротворению повстанцев. Фельдмаршал потребовал от них прибытия в Царицын с повинной двух-трех астраханских старшин, предоставления ему сведений о численности сословных групп населения города, о наличных запасах фуража и провианта. Ультимативный характер требований

Шереметев подкрепил сведениями о численности карательных войск, двигавшихся к Астрахани. Эти данные должны были внушить повстанцам мысль о тщетности сопротивления.

2 марта Шереметев вступил в Черный Яр. Несмотря на то что черныярцы не оказали никакого сопротивления правительственным войскам, фельдмаршал обошелся с ними круто. Это видно из царского указа, упрекавшего Шереметева в том, что тот повинен в намерении астраханцев оказать сопротивление. «У астраханцев, — писал Петр, — сумнение произошло от некоторых к некоторым присланным их и черныярцам показанной суровости, в чем для Бога осторожно поступайте и являйте к ним всякую склонность и ласку»²⁵.

Другим свидетельством стремления Шереметева обострить обстановку в Астрахани явилось игнорирование им просьбы повстанцев о том, чтобы он воздержался от входа в город до возвращения делегации с грамотой царя, прощавшей им все вины. Фельдмаршал, напротив, форсировал занятие Астрахани под тем предлогом, что ему стало известно о замысле повстанцев разрушить и поджечь город, а затем уйти в Аграхань.

Сведения о карательных действиях Шереметева — штурме Астрахани — и сопротивлении, оказанном ему повстанцами, мы черпаем из его собственных донесений. Проверить их достоверность не представляется возможным, ибо другими источниками историки не располагают. Бесспорно одно: донесения Шереметева являются крайне тенденциозными. Их цель, в частности, состояла в том, чтобы убедить царя и его окружение в отсутствии шансов для мирного урегулирования взаимоотношений между астраханцами и правительством. С этой целью фельдмаршал либо сгущал краски, либо умалчивал о фактах, противоречивших его версии хода карательной операции.

Выше говорилось о том, что астраханцы просили Шереметева не вступать в город до прибытия туда депутации с грамотой царя, прощавшей им вину. Ясно, что царская грамота усилила бы позиции тех, кто соглашался впустить фельдмаршала в город без сопротивления. В своем донесении Шереметев сообщал, что он отпустил депутацию 9 марта. По другим сведениям, приводимым исследователями Астраханского восстания, следует, что фельдмаршал задержал в обозе выборных, возвращавшихся из Москвы, и те вошли в город вместе с правительственными войсками. Фельдмаршал далее доносил, что астраханцы выступили против него «с пушки и знамены», т. е. со всеми своими силами. Это тоже передержка, явно нацеленная на то, чтобы оправдать военные действия против астраханцев (раз они ринулись в атаку, следовательно, надобно было от них отбиваться) и подчеркнуть свою воинскую доблесть. В действительности, как установила Н. Б. Голикова, «основная масса защитников города осталась на стенах»²⁶.

В целом события в Астрахани в последние дни, когда город находился в руках восставших, развивались не по плану, разработанному боярами и царем, а по сценарию фельдмаршала. Под его пером они выглядели так. Сначала правительственные войска одолели астраханцев, совершивших вылазку: «...их, изменников, побили, и в Земляной город вогнали, и пушки

и знамена побрали». Затем войска «Земляной город взяли приступом и гнали за ними даже до Белова города». Укрывшихся в Белом городе восставших Шереметев подверг бомбардировке, после которой они сдались на милость победителя²⁷.

Действия Шереметева не вызвали одобрения у Ф. А. Головина. В письме царю он считал, что «великую безделицу зделали», и сетовал: «Токмо тово жаль, что зделанное испорчено». Под «испорченным» делом подразумевались усилия его, Головина, и царя уладить конфликт мирным путем.

Какими мотивами руководствовался Шереметев, когда вел линию на обострение отношений с астраханцами и действовал в нарушение инструкций царя?

Источники на этот счет немые, и можно высказать лишь догадки. Представим себе, что астраханцы впустили бы Шереметева без всякого сопротивления, т. е. поступили бы так же, как и черноморцы. Тогда Шереметев, вероятно, отправил бы донесение того же содержания, какое он отправил Головину с Черного Яра: «Пришел я на Черный Яр марта 2 дня с полками, и черноморцы вышли навстречу с ыконами, и вынесли плаху и топор, и просили милосердия»²⁸. Шереметеву, таким образом, была бы уготована роль человека, пожинавшего плоды усилий людей, подготовивших сдачу города без сопротивления. Подобная роль не сулила Шереметеву ни почестей, ни награды.

Риск вызвать недовольство царя штурмом Астрахани был невелик: победителей, как говорят, не судят. В конечном счете правительственной верхушке был важен конечный итог. Что касается способов его получения, то расхождения не носили принципиального характера. Шереметев мог накликать на свою голову беду, если бы штурм оказался неудачным и штурмовавшие понесли большие потери. Но такой ход событий был исключен: в победе правительственных войск фельдмаршал не сомневался, так как хорошо знал о противоречиях, раздиравших лагерь восставших.

Успешное завершение астраханской экспедиции было отмечено царем. В грамоте о пожаловании Шереметеву Юхоцкой волости и села Вошажниково наряду с перечислением его заслуг в Северной войне было сказано и об успешном руководстве карательной операцией в Астрахани. В мятежном городе к Шереметеву пристала то ли настоящая, то ли притворная хворь. «За грехи мои пришла мне болезнь ножная: не могу ходить ни в сапогах, ни в башмаках; а лечиться не у кого. Пожалуй, не оставь меня здесь», — просил он Головина. Стоило, однако, Меншикову объявить Шереметеву о пожаловании 2400 дворов, как тут же исчезли все симптомы болезни. Меншиков доносил царю, что фельдмаршал «зело был весел и обещался больше не болеть»²⁹.

Шереметев выехал из Астрахани вместе с участвовавшими в восстании стрельцами только в конце июня. Отъехав на некоторое расстояние от города, он, согласно указу царя, «пуших заводчиков» отправил в Москву, где над ними чинил жестокий розыск руководитель Преображенского приказа князь Федор Юрьевич Ромодановский. Остальные стрельцы должны были продолжить службу в солдатских полках.

ВНОВЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

В конце 1706 г. грузную фигуру фельдмаршала можно было вновь встретить в действующей армии. Здесь, в западноукраинском местечке Жолкве, на военном совете в присутствии царя был принят знаменитый план дальнейшего ведения войны со шведами.

Шесть лет, в течение которых армия Карла XII «увязла» в Польше, не прошли даром для шведского короля. Ему в конце концов удалось достичь своего: лишить Августа II польской короны и водрузить ее на голову своего ставленника Станислава Лещинского, а также вынудить Августа порвать союзнические отношения с Россией. Богатая Саксония, сохраненная за Августом, в течение года сыто кормила и достала одевала и обувала шведскую армию, которая там отдыхала, набиралась сил перед своим броском на восток, чтобы разделаться с оставшимся в одиночестве последним участником Северного союза — Россией.

В одном из писем Ф. А. Головину Шереметев обнаружил глубокое понимание обстановки на театре войны и выразил свое мнение о ближайших намерениях Карла XII. «А я так рассуждаю, — делился фельдмаршал своими мыслями, — что швед... пошел в Шленскую границу и тут будет зимовать для того, что ему в Польше не прокормить». В Саксонии король пополнит свои войска рекрутами, армия «набогатитца», отдохнет, и только после этого Карл XII «будет наш гость», т. е. отправится в поход на Россию!

Догадаться русскому командованию об этом намерении шведского короля было легче, чем здраво взвесить силы противника и свои собственные возможности, чтобы принять единственно правильный план действий. Он и стал предметом обсуждения на военном совете, или, как тогда говорили, конзилии, состоявшейся в Жолкве. Конзилия решила генеральной баталии в Польше не давать, «понеже ежели б какое нещастие учинилось, то бы трудно иметь ретираду». Русским войскам надлежало отступать до своих границ и только на своей территории, «когда того необходимая нужда требовать будет», отваживаться на генеральное сражение. Отступавшей армии,

как сказано в постановлении военного совета, надо было «томить неприятеля», т. е. устраивать засады, внезапные нападения на переправах, уничтожать запасы провианта и фуража, чтобы они не достались противнику.

1707 год прошел в ожидании шведского вторжения. Основные силы русских — так называемая полевая армия численностью 57,5 тыс. человек под командованием Шереметева — были нацелены на главную армию шведов, насчитывавшую 30 — 35 тыс. человек, во главе с самим Карлом XII. Помимо этого, существовали еще две группировки войск. Шестнадцатитысячному корпусу Левенгаупта в Риге противостоял равной численности корпус русского генерала Боура, расположенный между Дерптом и Псковом. Действия финляндского корпуса Либекера (15 тыс. человек) должен был парализовать ингерманландский корпус Ф. М. Апраксина (24,5 тыс. человек).

Карл XII покинул Саксонию в августе 1707 г. Полевая армия Шереметева начала откатываться на восток. Отступление было нелегким. В конце февраля 1708 г. фельдмаршал извещал Меншикова: «Нужда велика, взять негде; деревни, которые есть, все пусты; не токмо что провианту сыскать невозможно, но и жителей никого нет». Еще больше испытаний выпало на долю армии противника: она двигалась по территории, опустошенной отступавшими.

Карл XII страстно желал генеральной баталии. Русское командование, напротив, всячески уклонялось от нее: во-первых, потому, что неприятель, по мнению царя, еще недостаточно был подвержен воздействию «томления», а во-вторых, потому, что Петр в своей стратегии строго руководствовался правилом: «Искание боя генерального суть опасно — в единый час все испровержено, — того для лучше здоровое отступление, нежели безмерный газард»².

В начале февраля 1708 г. шведская армия достигла Сморгони. Здесь Карл XII простоял свыше месяца. Петр рассуждал так: «Ежели до 10 марта неприятель не тронетца, то уже, конечно, до июня не будет»³. Карл XII, однако, «тронулся» 17 марта, но находился на марше лишь сутки. На следующий день он вошел в Радошковичи, чтобы задержаться там еще на три месяца. На квартирах расположились и русские войска. Жизнь на театре военных действий как бы замерла. Наступило затишье, прерываемое лишь разведывательными операциями.

Куда направит король свою армию с наступлением летней кампании? Этот вопрос задавали не только в русской, но и в шведской ставке. Ни там, ни здесь на него не могли дать точного ответа: король не любил делиться с окружающими ни сомнениями, ни планами.

Один из возможных маршрутов шведской армии лежал к Пскову, а затем в Ингрию, чтобы там одним ударом вернуть то, что русские добывали в течение шести лет: Шлиссельбург, Нарву, а заодно и Дерпт. Этот план, хотя и не самый блестящий по своим конечным результатам, ибо даже успешное его выполнение не обеспечивало окончание войны, тем не менее был для шведов самым надежным и менее всего рискованным. Есть

основания полагать, что, находясь в Саксонии, король ориентировался на осуществление именно этого плана. В минуты, когда Карл XII бывал разговорчивым, он сказал своему генерал-лейтенанту Гилленкроку: «Мы можем иметь другой план: выгнать неприятеля из нашей земли и овладеть Псковом. На этом основании вы должны составить диспозицию к атаке». По свидетельству того же Гилленкрока, в ставке короля изучались крепостные сооружения Пскова и составлялись планы овладения им.

Но в голове короля созрел и другой план, более всего импонирующий складу его военного дарования и характеру: надо идти на Москву. Карл XII полагал, что здесь, в столице России, ему удастся продиктовать поверженному царю свои условия мира. Мысль эта настолько овладела королем, что ни предупреждения о возможных пагубных последствиях этого похода, ни доводы о его трудности, ни, наконец, рассуждения об огромном риске, которому подверглась бы армия, вторгшаяся на неприятельскую землю, не могли поколебать убеждений шведского полководца. В этой связи приведем в записи Гилленкрока его разговор с Карлом XII:

Гилленкрок. Неприятель употребит, вероятно, все средства к воспрепятствованию нашего похода.

Король. Неприятель не может остановить нас.

Гилленкрок. Полагаю, что неприятель не отважится вступить в сражение с вашим величеством. Но русские будут для лучшей обороны окапываться на всех трудных для нас местах.

Король. Все эти окопы ничего не значат, и они не могут мешать нашему движению.

Гилленкрок. Когда неприятель увидит, что не может остановить движение нашей армии, то непременно начнет жечь в своей земле.

Король парировал и этот довод. Если он не выжжет своей земли, то я сожгу все,

Гилленкрок. Со временем, ваше величество, убедитесь, как опасно углубляться в неприятельскую землю, не имея прочных сообщений с отечеством.

Противопоставить этому предупреждению какие-либо разумные доводы Карл XII не смог. Он изрек: «Мы должны отважиться на это, покамест нам благоприятствует счастье». Слова Гилленкрока о том, что опасно полагаться на счастье, не возымели никакого воздействия на короля. «Тут нет никакой опасности. Будьте покойны!» — такими словами Карл XII подвел итог диалогу⁴.

Сам Петр в январе — феврале 1708 г. был убежден, что Карл XII двинется на Псков. 29 января он делился своими суждениями с Меншиковым: «...хотя о неприятельском подвиге, в которую сторону к нашим рубежам будет, и неведомо, однако ж, чаю, совершенно ко Пскову». Этого мнения царь придерживался и в середине февраля, причем допускал, что шведский король мог свои намерения маскировать ложными движениями:

пехоту направить на северо-восток, а конницу — на восток, в сторону Москвы; после того как король убедится, что ему удалось ввести в заблуждение русское командование, он немедленно соединится с пехотой. «Я и теперь больши в том мнении, что пойдет к Левенгаупту в случение», — писал Петр Меншикову 18 февраля⁵.

Известно, что Карл XII не пошел ни на северо-восток, ни на восток. Москву он решил добывать кружным путем — через Украину. Притягательность этого направления возрастала по мере притока в ставку короля новых данных о событиях на Дону и Украине. С Дона поступали бодрившие его сведения о вспыхнувшем там восстании, из которого он рассчитывал извлечь для себя немалые выгоды. Атаман Кондратий Булавин, его сподвижники Семен Дранный, Никита Гольый и другие подняли казаков на борьбу с правительством. Еще более обнадеживающие новости сообщили королю эмиссары украинского гетмана Мазепы — тот был близок к осуществлению своего коварного намерения изменить России и переметнуться в лагерь шведов.

Окончательное решение идти на Украину Карл XII принял в сентябре 1708 г., а до этого Петру и его генералам пришлось решать головоломное уравнение со многими неизвестными. Любое решение могло стать роковым, ибо концентрация русских войск в том или ином ошибочно предполагаемом направлении движения армии Карла XII к русским рубежам могла создать шведам оперативный простор и открыть им путь для беспрепятственного движения к цели; и напротив, если бы план короля был разгадан, она была способна создать огромные и даже непреодолимые препятствия для противника. Трудность решения этой стратегической задачи усугублялась также и некоторыми привходящими обстоятельствами.

Ранее отмечалось, что главнокомандующим полевой армией Петр назначил Шереметева. В месяцы, когда на театре войны присутствовал царь, он и осуществлял руководство боевыми действиями. Ни Меншиков, ни тем более Шереметев, разумеется, не осмеливались игнорировать его повелений. Но весну и половину лета Петр провел в Петербурге. На театре военных действий лицом к лицу оказались фельдмаршал Шереметев и генерал-лейтенант Меншиков, благодаря фавору позволявший себе действовать вопреки воле главнокомандующего и далеко не всегда выполнявший его предписания. В итоге размолвки между главнокомандующим и его подчиненным создалась ситуация, чреватая тяжелыми последствиями. В этой связи дадим краткий обзор их взаимоотношений в прошлом.

Проникнуть в суть отношений между Борисом Петровичем и Александром Даниловичем затруднительно прежде всего потому, что их взаимоотношения были достаточно сложными и не отличались постоянством. К тому же наличные источники отражают преимущественно внешнюю сторону этих отношений, так сказать видимую часть айсберга, умалчивают о побудительных мотивах тех или иных поступков и лишают возможности уловить то, что они тщательно друг от друга скрывали.

Меншиков, как известно, был окружен разноголосым хором льстецов, всегда готовых ласкать ухо фаворита словесными изъявлениями любви и преданности. Среди них, разумеется, друзей не было. Стоило светлейшему оступиться и попасть в немилость, как отношение к нему круто менялось. Борис Петрович не составлял исключения в этом плане, хотя его, конечно, нельзя причислить к людям, готовым ради карьеры раболепствовать и терпеть любые унижения перед всеильным фаворитом. Шереметев себе цену знал, как, впрочем, хорошо знал и цену Меншикову. Пышные чины и звания, украшавшие по воле царя титул Меншикова, в глазах таких аристократов, как Шереметев, Голицыны, Долгорукие, Куракины и другие, не могли заменить породы. Тем не менее Шереметев, не питая искренних симпатий к надменному выскочке, смирял боярскую спесь и скрепя сердце нередко заискивал перед ним.

Если судить об отношениях между Меншиковым и Шереметевым по их переписке, то они почти всегда выглядели равными и взаимно уважительными. Кстати, из переписки сохранились лишь письма Шереметева к Меншикову и утрачены письма светлейшего к фельдмаршалу. Но и выдержавшие испытание на сохранность письма Бориса Петровича дают основания для некоторых бесспорных наблюдений.

Пересылались они письмами настолько часто и систематически, что более или менее продолжительное молчание воспринималось как чрезвычайное событие, требовавшее объяснений. В письме от 22 апреля 1705 г. Борис Петрович так объяснял наступивший перерыв: «А на меня не имей гневу, что я ни о каких ведомостях не пишу, понеже ниоткуда сам не имею». И тут же сожаление о невозможности лично повидать Александра Даниловича: «...не допустила меня болезнь... А верхом, чаю, не доехать. Ей, государь, братец, кроме любви твоей и надлежащих нужд рад к тебе ехать от самой скуки». Майское письмо в том же духе: «Не погневайся, государь, что я к тебе не писал по се время... Ей, приболел. Ведомостей у меня ниоткуда никаких нет»⁶.

Примечательна форма обращения Шереметева к Меншикову. В ней можно обнаружить элементы как близости, так и фамильярности. Последняя, надо полагать, не оскорбляла, а, напротив, льстила фавориту. «Государь мой и брат Александр Данилович» — так начинал свои послания фельдмаршал. Борис Петрович часто употреблял слово «братец», звучащее в известной мере покровительственно: «Преж сего я писал к тебе, братец...» или «Пожалуй, государь мой, братец, дай мне знать...». Но вот в 1706 г. Меншиков становится князем Священной Римской империи. С приобретением нового титула исчезло фамильярное «братец». Прежнюю форму обращения сменяет новая, повторяющаяся десятки раз: «Светлейший князь, мой крепчайший благодетель и брат».

Оба с готовностью оказывали друг другу услуги. Правда, они располагали неравными возможностями: многое из того, что делал светлейший, было просто недоступно Шереметеву. Поэтому услуги последнего чаще всего были ничтожными. Лишь однажды фельдмаршал одарил Менши-

кова натурой — трофейным скотом: «...челом бью тебе, братец, десять коров галанских да бык большой же галанский на завод». В основном услуги фельдмаршала выражались либо в форме добрых советов, либо в форме знаков внимания.

Шереметев, например, предостерегал Меншикова от опрометчивых решений. Когда Александр Данилович хотел использовать какого-то офицера для учета в Пскове артиллерии и припасов к ней, Борис Петрович высказал сомнение в его пригодности для этого дела: «А которой есть у меня поруччик остался во Пскове, ей, малоумен, не токмо что такое дело управить и себя одново не управит». В другой раз Шереметев писал: «Ведомо мне учинилось, что изволил твоя милость князя Волконского оставить у полку. Ей, великая твоя к нему милость, только истинно тебе доношу, что он болен и такова дела ему не снесть». Вместо Волконского он рекомендовал взять у него «самого доброго человека». А вот другого рода любезность. В январе 1708 г., перед приездом светлейшего на военный совет в Бешенковичи, Шереметев извещал его: «Домы для прибытия вашей светлости отведены, которых лутче нет, и я свой двор очистил»⁷.

Меншиков одаривал Шереметева более существенно. Фельдмаршал понимал, что царские пожалования могут быть весомее, если о них станет хлопотать любимец царя. Борис Петрович, не стесняясь, часто докучал своему «брату и крепчайшему благодетелю» просьбами. Одарив Меншикова голландскими коровами и быком, он в этом же письме обратился к нему с просьбой: «Всем его, государева, милость и жалованье, а мне нет. И вины мне никакой не объявлено». Если верить Шереметеву, то он оказался в безысходной нищете и нуждался в срочной помощи: «Умилосердися, батька и брат, Александр Данилович, вступиися ты за меня и подай руку помощи. А я, кроме бога и пресвятые богородицы и премилостивейшего государя да тебя, моево батька и брата, никово помощника не имею». Письмо содержит любопытное признание: «...прежнюю всякую милость получал чрез тебя, государя моего».

Следующее пожалование — Юхотскую волость и село Вошажниково Шереметев получил тоже при посредничестве Меншикова. Сразу же после подавления восстания в Астрахани, 16 марта 1706 г., перо Шереметева вновь искусно живописало о его «бедности». Он жаловался, что его «службишка забвенна учинилась», что ему придется жить «нищенска», что фельдмаршалу не престоижно: «...не мне то будет стыг, знают, что мне взять негде».

В иных случаях Меншиков мог сам, не обращаясь к царю, облагодетельствовать Шереметева. Борис Петрович не упускал и эту возможность. В сентябре 1705 г. он плакался: «...покажи надо мною отеческую милость, не дай мне разоритца». Суть просьбы состояла в том, чтобы Меншиков велел приостановить перепись беглых, поселившихся в вотчине фельдмаршала близ Белгорода, в селе Борисовка: «А естли ее будут описывать, ей, все разбрдутца и будет пуста».

Когда Шереметеву надлежало принимать какое-либо решение, он тоже обращался за советом к «крепчайшему благодетелю»: «Пожалуй,

братец, вразуми меня, как мне обходитца з господином генералом Шанбеком». Этот генерал был только что нанят на русскую службу, но уже успел проявить высокомерие. В другой раз Шереметев, затрудняясь решить, какой полк отдать под команду генерал-поручика Розена, опять просил Меншикова: «И вразуми меня, как с ним обходитца»⁸.

Среди писем Шереметева, кстати, умевшего скрывать свои обиды, встречаются и такие, в которых вместо слов о любви и преданности можно обнаружить отражение подозрительности, соперничества и даже враждебности.

Вспомним в этой связи случай с указом царя об изъятии из-под команды Шереметева пехотных полков. Фельдмаршал расценил его как выражение царского гнева и так расстроился, что занемог. Меншиков, доставивший указ, взялся утешать Бориса Петровича, но тот сомневался в искренности своего «крепчайшего благодетеля» и поделился сомнениями с Ф. А. Головиным. В письме свату Шереметев писал, что, несмотря на долгие разговоры, Меншикову не удалось убедить его в своем доброжелательном к нему отношении. Фельдмаршал остался при своих сомнениях и после того, как Меншиков показал ему отправляемое царю письмо с теплыми словами в его адрес. Читая это письмо, Шереметев, видимо, вспомнил, как Меншиков несколько ранее поступил с Виниусом. Он принял от Виниуса взятку, взамен полученного куша показал ему свое письмо царю с благожелательным отзывом о нем и тут же с нарочным отправил другое, в котором с головой выдал взяткодателя.

На этот раз подозрения Шереметева относительно козней Меншикова оказались необоснованными. Утешать фельдмаршала пришлось и царю. Тот разъяснил обиженному, что разделение армий было предпринято «не для какова вам оскорбления, но ради лучшего управления», и тут же добавил, что он приостановил исполнение указа. Петр не лукавил. Это видно из его письма Меншикову. Царь заверял фаворита, что у него нет намерений ущемлять фельдмаршала.

Описанный выше эпизод во взаимоотношениях двух военачальников носил, если можно так выразиться, личный характер. Три года спустя между ними возник конфликт, в основе которого лежали более существенные расхождения — несхожие взгляды на способы ведения войны со шведами.

В начале марта 1708 г. военный совет в белорусском местечке Бешенковичи, что юго-западнее Витебска, обсуждал представленный Меншиковым план летней кампании. Светлейший полагал, что полевая армия, независимо от того, в каком направлении двинется Карл XII, — должна отступать, производя полное опустошение края. Особую роль в этом маневре князь отводил коннице: она должна была действовать изолированно от пехоты и следовать по пятам шведов. Задача регулярной конницы — нанесение противнику ударов с тыла, в то время как нерегулярная кавалерия должна была атаковать его фланги.

Против плана Меншикова решительно выступил Шереметев. Впрочем, в главном фельдмаршал был согласен с князем: русской армии над-

лежало отступить, т. е. действовать в соответствии с жолквиевской стратегией. Но Борис Петрович считал крайне опасным раздельное расположение пехоты и кавалерии, ибо в этом случае невозможно было выручать друг друга из беды. Фельдмаршал далее задавал отнюдь не риторический вопрос: «Наша кавалерия как возможит по тем пустым и разоренным местам путь свой править?» Вопрос резонный, ибо кавалерии пришлось бы двигаться по территории, дважды опустошенной: сначала русской пехотой, а затем шведской армией».

Мнение Шереметева о плане Меншикова как бы подводило черту их неприязненным отношениям — выполозло наружу то, что подспудно накапливалось до военного совета. Отзвуки конфликта докатились до Москвы, и английский посол Витворт, как всегда, хорошо осведомленный не только о придворных интригах, но и о событиях на театре войны, доложил своему правительству: «Раздор между любимцем царским и фельдмаршалом возрос до того, что Шереметев заявил при целом военном совете, будто готов отказаться от своего поста, так как и его репутации, и самой армии государевой грозит гибель, если князь не будет удален от начальства над кавалерией»¹⁰.

Скорю мог погасить царь, отозвав светлейшего в Петербург. Но он этого не сделал, уповая на способность военных советов сглаживать острые углы. Два медведя были оставлены в одной берлоге. В командовании полевой армии Петр оставил все без изменения, хотя фактически он разделял взгляды Шереметева на план Меншикова. «Старший полковник», как называли царя в армии, допускал раздельные действия пехоты и кавалерии только зимой, когда кавалерия располагала простором для маневра: в случае надобности она без труда могла преодолеть скованные льдом реки и болота и соединиться с пехотой.

11 марта 1708 г. Петр выехал из Бешенковичей в Петербург. Распри между Меншиковым и Шереметевым не способствовали согласованным действиям, что не ускользнуло от внимания современников. 19 марта генерал А. И. Репнин писал начальнику артиллерии Я. В. Брюсу: «Я сколько ни служил, а такого порядку не видал, как ныне». Брюс был вполне с этим согласен и со своей стороны добавил: «...хотя много читал, однакож, в которой хронике такой околесины не нашел».

Летом 1708 г. русской армии предстояло оборонять два водных рубежа: сначала Березину, а в случае если шведы переправятся через нее, то и Днепр. Какими силами надлежало защищать Березину?

Меншиков полагал, что с обороной Березины лучше всего справится кавалерия, пополненная пехотой. Шереметев придерживался иного мнения, изложенного им 7 мая в донесении царю: отряд надлежало комплектовать из кавалерии и пехоты, посаженной на коней. Свое предложение фельдмаршал мотивировал тем, что конница в случае неприятельского наступления могла быстро отойти, в то время как менее мобильные пехотные полки могли стать легкой добычей неприятеля; не исключено, что, обороняя пехоту, армия постепенно втянется в генеральное сражение, не входившее в расчеты русского командования.

Меншикову не удалось помешать Карлу XII преодолеть Березину — король без особого труда обманул светлейшего. Шведы инсценировали активную подготовку к переправе у Борисова, где и сосредоточил свою кавалерию Меншиков, но 14 июня неприятель вопреки расчетам князя переправился намного южнее Борисова. Царь весьма снисходительно отнеся к оплошности своего фаворита и лишь слегка его пожурил, предупредив, чтобы он впредь не давал себя обмануть.

Оплошность князя дала фельдмаршалу повод для иронических замечаний. Он спрашивал у Меншикова, каким образом неприятель «столь легко перешел» Березину. В другой раз, получив известие от светлейшего, что тот поручил чинить препятствие наступлению шведов команде во главе с майором, Шереметев не без ехидства заметил: «Передаем вашей светлости в разсуждение, как может один майор с малою партией все неприятельское войско держать?» Князь не оставался в долгу и отвечал тоже колкостями. Когда Шереметев высказал опасение, что противник может отрезать пехоте пути к отступлению, он возразил: между шведами и пехотой стоят кавалерийские полки и «неприятель не крыласт, прямо через нас не перелетит»¹¹.

Пренирательства, надо полагать, сыграли свою роль и при Головчинском сражении, состоявшемся 3 июля. Это сражение, запланированное военным советом как частное столкновение со шведами, закончилось для русских неудачно: дивизия Репнина уступила поле боя и оставила противнику полковую артиллерию. Тактический успех шведов, ничтожный по своим конечным результатам, тем не менее был превращен Карлом XII в грандиозную победу. По ее поводу король распорядился выбить медаль с хвастливой надписью, совершенно не соответствовавшей реальному значению сражения: «Побеждены леса, болота, оплоты и неприятель»¹².

После Головчинского сражения русские войска отошли к Днепру. Настала пора составлять реляцию царю, находившемуся в пути из Петербурга в действующую армию. Реляция, подписанная Шереметевым, Меншиковым и другими военачальниками, была составлена искусно и обтекаемо: она будто бы и ничего не утаивала из случившегося и в то же время не давала подлинной картины сражения и его итогов.

Читая реляцию где-то между Великими Луками и Смоленском, Петр не обнаружил в ней ничегостораживающего. В самом деле, там было написано, что наша конница «неприятеля многократно с места сбивала» и если бы местность позволила полкам, прибывшим на помощь, участвовать в сражении, то «конечно б неприятельское войско могло все разориться», но полки, не желая «в главную баталию вступить», сами «без всякого урону» оставили поле боя. Царя не могло не утешить то обстоятельство, что противник «вдвое больше нашего потерял» и что, «кроме уступления места», ему «из сей баталии утехи мало»¹³.

Реляция хотя и не создавала впечатления о полной победе русских войск, но вселяла в царя уверенность в несомненной полезности сражения как репетиции генеральной баталии. Именно так оценил Петр случив-

шея у Головчина. Адмиралу Апраксину он писал: «Однакож я zelo благодарю Бога, что наши прежде генеральной баталии виделись с неприятелем хорошенько и что от всей ево армии одна наша треть так выдержала и отошла». Слова одобрения были высказаны и Шереметеву: «В протчем паки прошу господя Бога, дабы меня сподобил к сему вашему пиршеству и всех бы вас видеть в радости здоровых»⁴. Реляция о Головчинском сражении дала основание Петру считать полевую армию достаточно подготовленной и для более серьезных действий. Фельдмаршала царь напутствовал не упускать благоприятного случая, чтобы помериться силами с неприятельской армией.

Сведения о сражении у Головчина уточнялись по мере приближения царя к ставке Шереметева в Горках, и соответственно менялась его общая оценка случившегося. Какой разговор состоялся между Петром и фельдмаршалом — осталось тайной. Думается, однако, что царь изрекал слова упреков, а не похвалы. В конечном счете за промахи пришлось расплачиваться. 16 июля Петр издает два указа: один адресован Шереметеву, другой — Меншикову. Борису Петровичу, командовавшему пехотой, было поручено председательствовать в военном суде, рассматривавшем действия генерал-лейтенанта Гольца, в подчинении которого находилась кавалерийская дивизия. Гольц обвинялся в том, что некоторые его полки потеряли знамя и несколько пушек, а «иные не хотели к неприятелю ближе ехать».

Александр Данилович должен был председательствовать в суде над Репниным. Светлейшему надлежало «со всякою правдою» выяснить, как многие полки Репнина «пришли в комфузию»: оставив пушки, «непорядочно отступили». Приговор суда под председательством Меншикова отличался крайней суровостью. В нем сказано, что Репнин «достоин быть жития лишен». Но проявленная Репниным личная храбрость на поле боя дала основание для снисхождения: жизнь ему была сохранена, но он лишился чина и должности. Разжалование сопровождалось взысканием с Репнина штрафа за пушки, утраченные на поле боя. Репнин обратился к царю с просьбой о помиловании. Он доказывал, что удержать рубежи, на которые наступали превосходящие силы противника, без «сикурса» было невозможно, писал о бесплодных призывах о помощи.

Царь оставил приговор в силе, хотя в ходе разбирательства было выяснено, что помощь Меншикова запоздала, а Шереметев не сдвинулся с места из опасения быть втянутым в генеральную баталию. В то же время приговор не был приведен в исполнение в полном объеме. Два месяца спустя Репнин в чине полковника командовал полком в сражении у Лесной и за проявленную на поле битвы храбрость был восстановлен в чине и должности. Что касается Гольца, то ему приговор так и не был вынесен.

Возникает естественный вопрос: ради чего царь создавал «кригсрехт»? Не выглядела ли вся эта затея с военным судом фарсом, призванным пощекотать нервы лицам, привлеченным к ответственности?

На поставленные вопросы можно ответить лишь предположительно. Совершенно очевидно, что в головчинском деле круг виновных не исчерпывался генералами, привлеченными к суду. В числе виновных должны были находиться и сами судьи — Меншиков и Шереметев. Репнин в данном случае — козел отпущения. Суровые кары по отношению к нему имели воспитательное значение: царь внушал высшим офицерам мысли о воинском долге, дисциплине и необходимости безусловно вести себя на поле боя.

Неудача под Головчином имела значение досадного эпизода. Она была вскоре забыта, ибо на смену ей пришли две блистательные победы, в которых, правда, Борис Петрович не участвовал. Первая из них связана с операцией 30 августа под селом Добрым, стоившей шведам потери 3 тыс. человек. «Как я почал служить, такова огня и порядочного действия от наших солдат не слышал и не видал», — писал царь с поля боя 31 августа 1708 г.

Вторая победа, которую Петр с полным основанием называл матерью Полтавской виктории, произошла 28 сентября у деревни Лесная. Как только русскому командованию стало известно о движении 16-тысячного корпуса Левенгаупта из Риги на соединение с главными силами Карла XII, державшими в то время путь на Украину, Петр созвал военный совет. Он принял знаменитое решение о выделении из полевой армии летучего отряда под командованием царя для нападения на корпус Левенгаупта. Основные силы полевой армии под началом Шереметева должны были двигаться на юг впереди шведов. Задача оставалась прежней — «томить» неприятеля.

В победе у Лесной Петр отмечал три момента. Русские одержали верх над более многочисленным противником: 16-тысячному корпусу Левенгаупта противостоял лишь 10-тысячный отряд русских. Имело значение и то, что разгрому подверглись «природные» шведы. Наконец, царя порадовала организация управления боем. Именно четкие команды и перестроения позволили разгромить неприятеля, располагавшего превосходством в силах. Царь сам признавал, что если бы сражение происходило на открытой местности, то наверняка победили бы шведы.

Результаты победы обнадеживали: Карл XII лишился не только существенной подмоги в личном составе, но и обоза с боеприпасами, снаряжением, обмундированием и артиллерией. Нагруженные всяческим добром 2 тыс. телег стали трофеями русских войск. На поле битвы у Лесной полегло 8 тыс. шведов. В ставку Карла XII стекались спасшиеся от уничтожения, деморализованные отряды и единичные солдаты — остатки некогда грозного корпуса.

Король не хотел верить солдату, доставившему известие о разгроме Левенгаупта. Окружающих и прежде всего самого себя он пытался убедить, что солдат все перепутал и наговорил от страха несуразностей, что корпус во главе с опытным генералом Левенгауптом не мог потерпеть поражение. Когда последние сомнения относительно катастрофы у Лесной

развлеклись, король утратил покой. Его одолела бессонница, он не мог находиться в одиночестве и сам искал общества приближенных, развлекавших его разговорами в ночные часы.

Любопытны обстоятельства получения информации о победе у Лесной в ставке Шереметева. Она размещалась в районе Стародуба, и шведский майор, посланный с печальной вестью к королю, был настолько уверен в действенности контроля Карла XII над всей Украиной, что без предварительной разведки сам заехал в Стародуб, где был схвачен казаками местного гарнизона и немедленно доставлен к Шереметеву. От него, а не от курьера царя фельдмаршал и получил известие о торжестве русского оружия в лесах Белоруссии.

Поражение у Лесной еще более укрепило Карла XII в мысли следовать на Украину. Только там он рассчитывал восполнить понесенные потери: изменник Мазепа сулил ему подкрепление в живой силе, а также многочисленную артиллерию и запасы продовольствия, впрок заготовленные в своей резиденции — Батурина.

27 октября 1708 г., когда Петр получил первую весть об измене Мазепы, шведы находились на правом, а русские — на левом берегу Десны. На военном совете было решено отправить Меншикова добывать Батурино, а полевую армию использовать для удержания шведов на правом берегу Десны. С последней задачей русские войска не справились. Как писал Петр, благодаря «нерадению генерал-майора Гордона» шведы без особых помех преодолели Десну. Тем не менее к Батурину они все же опоздали. У стен гетманской резиденции первым оказался Меншиков. На предложение князя открыть ворота сторонники Мазепы, укравшиеся в крепости, давали уклончивые ответы, заявляя, что им ничего не известно об измене гетмана. Светлейшему стало ясно, что комендант Батурина Чечел тянет время в надежде на подход Мазепы и главных сил шведов. Отряд Меншикова предпринял ожесточенный штурм и в ночь на 2 ноября овладел Батурином.

Армия Карла XII нуждалась в отдыхе и продовольствии. Ни того ни другого шведы на Украине не обрели. Они оказались в кольце русской армии и вместо покоя подвергались постоянным нападениям русской конницы и украинских партизан. В обстановке необычно суровой для этих мест зимы вместо теплых квартир им пришлось довольствоваться открытым небом. На Украине велась так называемая малая война. Крупных сражений царь избегал, оберегая главные силы от возможных неудач. В «деле» находились небольшие «партии», охотившиеся за языками и нападавшие на обозы и фуражиров. Во время одного из таких нападений шведский король едва не оказался в плену. Не заметив отступления своих рейтар, он с несколькими солдатами вынужден был искать спасения на мельнице. Этот эпизод описан в «Журнале, или Поденной записке» Петра: мельница «нашими людьми была окружена и ежели б не застигла ночная темнота, то б он, конечно, тут взят был»¹⁵.

Жестокие морозы сменились внезапной оттепелью. 12 февраля 1709 г. разразилась гроза с сильным ливнем. Реки и речушки выступили из бе-

регов, так что русской и шведской пехоте пришлось передвигаться в ледяной воде. Отсутствие запасов продовольствия вынуждало шведов постоянно менять свою дислокацию. Вокруг мест своего сосредоточения они намеренно создавали пустыню, превращая населенные пункты в пепел и развалины. Тем самым, рассуждали в ставке шведского короля, русские войска, испытывая лишения, оставят их в покое.

Между тем Петр не намеревался создавать захватчикам спокойную жизнь. Было решено сформировать достаточно сильный и мобильный отряд для нанесения молниеносных и дерзких ударов по неприятелю. Командование этим отрядом было поручено Меншикову, но светлейшего царь вызвал в Воронеж, и руководство операцией перешло к Шереметеву. Фельдмаршал с заданием не справился. Он был хорош и даже незаменим в операциях, где требовались осторожность, расчетливость, выдержка. Он умел педантично и с большим успехом «томить» неприятеля и изнурять его силы. Здесь же надлежало проявить качества, органически чуждые Шереметеву: азарт, дерзость, внезапность, риск.

Поначалу Борису Петровичу сопутствовал успех: он разгромил небольшой отряд шведов (около 450 человек) и захватил в плен полковника. Царь из Воронежа поздравил фельдмаршала, но предупредил, что с нетерпением ждет известий о победах над более значительными силами неприятеля¹⁶.

Ожидания оказались тщетными. Шереметеву предстояло уничтожить крупный отряд шведского генерала Крейца, но фельдмаршал проявил столько нерешительности и осторожности, что шведы благополучно оторвались от русских войск и ушли невредимыми. Царь был крайне недоволен действиями Бориса Петровича и свой гнев выразил тем, что отобрал у него Преображенский полк, передав его под начало Меншикова.

Уязвленный Шереметев стал оправдываться «великим разлитием реки Сулы», делал вид, что никак не может понять, в чем его вина, и спрашивал у Петра: «...за какое мое преступление перед вашим величеством» подвергнут каре? Однако фельдмаршал не добился ощутимых успехов и 22 апреля, когда предпринял атаку у местечка Решетилровка, где было сосредоточено семь полков шведской кавалерии. Собственно, атака не состоялась, ибо Шереметеву не удалось скрытно подойти к местечку. Шведы, своевременно обнаружив приближение главных сил русских, благополучно отошли, так что фельдмаршалу пришлось довольствоваться лишь трофеями — гуртом скота и провиантом.

С начала апреля 1709 г. внимание Карла XII было приковано к Полтаве. Он решил во что бы то ни стало овладеть этой крепостью, обнесенной всего лишь дубовыми стенами. В случае если бы королю удалось принудить гарнизон Полтавы к сдаче, облегчились бы коммуникации его армии с Крымом и особенно с Польшей, где находились значительные силы шведов под командованием генерала Крассау. Упомянувшийся выше Гилленкрот вновь передает свой разговор с Карлом XII, состоявшийся в 20-х

числах апреля. Диалог выявляет столько же королевской самоуверенности, сколько полнейшего пренебрежения к русским. За это королю пришлось жестоко поплатиться, а пока он не принимал никаких доводов.

Гилленкрок. Разве ваше величество намерены осаждать Полтаву?

Король. Да, и вы должны составить диспозицию осады и сказать нам заранее, в какой день мы завладеем городом. Так делает Вобан во Франции, а вы здесь маленький Вобан.

Гилленкрок. Я полагаю, что и сам Вобан, великий инженер и генерал, увидел бы себя в немалом затруднении, потому что не имел бы под рукой того, что нужно для осады.

Король. У нас довольно всего, что может быть нужно против Полтавы. Полтава — крепость ничтожная.

Гилленкрок. Крепость, конечно, не из сильных, но по многочисленному гарнизону из 4 тыс. русских, кроме казаков, Полтава не слаба.

Король. Когда русские увидят, что мы хотим атаковать, то после первого выстрела сдадутся все.

Гилленкрок долго убеждал короля, что осада Полтавы связана с огромным риском, что у стен города может полечь вся пехота, если дело дойдет до штурма. Король твердил свое: «Говорю на верное, что дело не дойдет до штурма. Они сдадутся».

Гилленкрок. Не вижу и не понимаю, как это может случиться без особенного счастья.

Король. Мы совершим необыкновенное дело и приобретем славу и честь»¹⁷.

Дальнейшие события показали, что прогнозы короля были абсолютно беспочвенными. Сосредоточение шведской армии у стен Полтавы было завершено к концу апреля, а первый штурм крепости Карл XII предпринял 29 апреля. Уверенность короля, что ее гарнизон капитулирует, как только обнаружит подготовку к штурму, оказалась банальным бахвальством. Шведы чередовали осадные работы с множеством штурмов, но гарнизон устоял.

Шереметев, получив известие об осаде Полтавы шведами, в письме царю от 6 мая 1709 г. рассуждал так: «И еще по се число ничего неприятель над Полтавой учинить не мог, и в войске их во взятии надежда слабая, понеже великой артиллерии и довольной амуниции неприятель у себя не имеет». Фельдмаршал решил беспокоить осаждавших Полтаву шведов нападениями мелких отрядов. Царь оказался более проницательным и рассудил иначе. Он велел Шереметеву двигаться к Полтаве на соединение с находившимися там войсками Меншикова. Необходимость соединения Петр мотивировал возможностью для неприятеля разбить русские армии порознь.

Ознакомившись на месте с организацией обороны Полтавы, Шереметев пришел к выводу, что осадные работы шведов в конечном счете принесут им успех и они овладеют крепостью. Чтобы облегчить ее оборону,

фельдмаршал испрашивал у царя разрешения переправить часть пехоты и кавалерии через реку Ворсклу, организовать там укрепленный район и из него непрерывно беспокоить шведов, осаждавших Полтаву.

4 июня 1709 г. в русский лагерь под Полтавой прибыл царь. С этого дня он взял в свои руки непосредственное руководство армией. Петр не спешил воспользоваться советом Шереметева о переправе войск через Ворсклу. Решение на этот счет состоялось лишь 16 июня. В дневнике военных действий под Полтавой читаем запись: «Царское величество изволил иметь военный совет, на котором предложено перейти реку Ворсклу со всею армиею и иметь генеральную баталию»¹⁸.

Главными руководителями состоявшейся 27 июня Полтавской баталии были Петр, Меншиков и Брюс. Роль Шереметева была менее заметной. Объясняется это тем, что в битве участвовала не вся русская армия, а примерно ее третья часть. Фельдмаршалу царь велел наблюдать за маневрами неприятеля и «о вступлении в баталию ожидать указа». В чем выразилось участие Бориса Петровича в сражении, источники не сообщают. В реляции о Полтавской баталии сказано весьма глухо: сражением руководил «сам его царское величество высокою особою своею и при том господин генерал-фельдмаршал Шереметев, также господа генералы от инфантерии».

Участники Полтавской битвы получили щедрые награды: одним был вручен орден св. Андрея Первозванного, других царь повысил чином, усердие третьих он отметил пожалованием деревень. Штаб-офицерам было выдано полугодовое, а обер-офицерам — трехмесячное жалованье. Первым в наградном списке высших офицеров значился Борис Петрович, пожалованный деревней Черная Грязь. Это дает основание считать, что Петр был доволен действиями фельдмаршала.

После двухдневного отдыха, предоставленного войскам, разбившим шведов, Петр велел Шереметеву во главе пехоты и небольшого отряда конницы двинуться на север — добывать Прибалтику. Ближайшая задача — овладение Ригой. Туда Борис Петрович прибыл с войсками в начале октября 1709 г. На пути в Ригу ему пришлось испытать гнев царя.

Петру стало известно, что брат фельдмаршала — Василий Петрович Шереметев, вместо того чтобы отправить своего сына учиться за границу, намеревался женить его на дочери князя-кесаря Ромодановского. Торжество было устроено вопреки воле царя, поручившего Борису Петровичу предупредить брата, «чтоб того не чинить». Фельдмаршал не рискнул взять вину на себя и покрыть вину брата. Он мог, скажем, сообщить царю, что запаматовал отправить письмо брату с царским повелением, но лукавить не стал и выдал с головой Василия Петровича, видимо, не предполагая, сколь суровая кара его ждала. Борис Петрович оправдывался перед царем: «А когда ваш указ словесный через Тургенева под Полтавой получил, чтоб ему без указа вашего не женитца, того же дня писал; а для чего то не учинено, я не известен»¹⁹.

Крутой на расправу царь велел молодому супругу через неделю после получения им указа отправиться за границу для обучения, а его родителей

наказать так: отца отправить бить сваи, предварительно лишив его чина, а мать — на прядильный двор. Справедливости ради отметим, что Борис Петрович не оставил в беде своего брата и начал энергичные хлопоты в его защиту. Он обратился к Меншикову с просьбой «предстательство учинить» перед царем, а затем и сам ходатайствовал о его помиловании. Настойчивые заботы о ближнем в конечном счете принесли плоды: брат с супругой, вкусив пользу физического труда, были освобождены от дальнейшего наказания.

В июле 1709 г. в Потсдаме три короля: польский, датский и прусский — заключили антишведский союз, к которому в октябре присоединился и Петр. Царь поручил Шереметеву овладеть Ригой не штурмом, а осадой, полагая, что результаты будут достигнуты при минимальных потерях. Получилось, однако, наоборот: затяжная осада города и крепости стоила 9800 жизней русских солдат и офицеров, унесенных моровым поветрием.

Осаду Риги Шереметев начал в конце октября 1709 г. 9 ноября по пути из-за границы в Россию осаждавших навестил Петр. Он произвел первые три выстрела по городу и отбыл на родину. Для блокады Риги фельдмаршал оставил корпус Репнина, а остальные войска отвел на зимние квартиры. Последующий обстрел города наносил осажденным существенный урон. По свидетельству современника, он наводил «великий ужас». В декабре был взорван пороховой погреб, в результате погибло множество людей.

В конце декабря, когда активных боевых действий не предвиделось, Шереметев, поручив командование войсками князю Репнину, с разрешения царя отправился в Москву. Прибыв в столицу, он заверил Петра, что войска обеспечены провиантом до июня. Каково же было удивление царя, когда Шереметев после двухмесячной побывки в своих вотчинах на обратном пути в Ригу уведомил его, что «не точию до июня, но и ныне провианту нет и обыватели не точию мертвечину едят, но и детей своих». Царь посылает в Ригу сына фельдмаршала Михаила Борисовича с поручением затребовать от отца письменное объяснение: когда он сообщал истину — по приезде в Москву или в ведомости, отправленной с пути. Над головой Бориса Петровича вновь стужались тучи. Об этом свидетельствуют и организационные меры. В дни, когда страсти бушевали с особенной силой, царь отправил под Ригу Меншикова, а Шереметеву приказал во всем повиноваться светлейшему.

В середине апреля 1710 г. Меншиков прибыл под Ригу и принял дополнительные меры к более тесной блокаде: реку Двину пересекли бревнами, скрепленными цепями, так что возможность подхода кораблей со стороны моря была совершенно исключена, а кроме того, установили новые батареи.

Грозы, однако, не последовало. Мы не знаем причин смены царского гнева на милость, ибо ответ фельдмаршала на запрос царя не сохранился, но письмо Петра Шереметеву от 4 апреля 1710 г. содержало милостивую фразу: «Много толковать о прошедшем не надлежит»²⁰.

Меншиков оставил лагерь осаждавших 17 мая, спустя несколько дней после того, как были получены первые известия о начавшейся эпидемии чумы. В те времена самым радикальным средством против распространения заразы был строжайший карантин — устройство застав, следивших за тем, чтобы в расположение войск не допускались люди «из моровых мест». Курьеров, прибывавших в армию в случае крайней нужды, надлежало окуривать дымом можжевельника. Такому же окуриванию подлежали и письма. Шереметев распорядился изолировать больных, а также удалить из войска гражданских лиц. Повсюду в лагере дымились костры можжевельника²¹.

Эффективность принятых мер была, однако, ничтожной. Чума буквально косила как осаждавших, так и осажденных. Современник, находившийся в те скорбные месяцы в Риге, записал: «...кажется, не хватит живых, чтобы погребать умерших». В наглухо блокированном городе стал ощущаться недостаток продовольствия. Шереметев еще 11 июня отправил к осажденным барабанщика с требованием сдать город. Любопытен ответ коменданта крепости. Он запросил на размышление четыре недели и потребовал, чтобы ему было разрешено отправить курьера в Динамюнде для выяснения вопроса, может ли он надеяться на помощь²². Шереметев, разумеется, отказал коменданту и в том, и в другом.

Капитуляция гарнизона Риги была подписана 4 июля 1710 г. Важнейшим среди ее 65 пунктов следует считать предоставление генерал-губернатору, чиновникам и служащим права при выходе из города вывезти принадлежавшее им имущество, а также библиотеку и архив.

Царь получил известие о капитуляции Риги 8 июля и тут же отправил фельдмаршалу поздравительное письмо. Он был скуп на похвалы, когда дело касалось Шереметева, но в данном случае не мог скрыть своей радости. Победа предала забвению все инциденты, вызывавшие недовольство царя: «Письмо ваше о задаче Риги я с великою радостью получил (и завтра будем публично отдавать благодарение Богу и триумфовать). А за труды ваши и всех, при вас будущих, зело благодарствую и взаимно поздравляю. И прошу огласить сие мое поздравление всем». От избытка радости царь даже шутил: «Что же пишете, ваша милость, о Риге, что она малым лутче Полтавы, правда, вам веселее на нее глядеть, как нам было за 13 лет, ибо ныне они у вас, а тогда мы у них были за караулом». Это был намек на посещение Великим посольством Риги в 1697 г., когда рижские власти не разрешили Петру осмотреть крепость и караульный даже грозил применить оружие, если он близко подойдет к крепостной стене.

Через 10 дней после капитуляции состоялся торжественный въезд Шереметева в Ригу. Триумфальное шествие открывали два офицера, за ними следовали верхом 38 пар гренадер с обнаженными шпагами, 36 лошадей, покрытых богато расшитыми чепраками, четыре коляски, запряженные цугом. В церемонии участвовали и рижане, ехавшие верхом с обнаженными шпагами. Процессию замыкала расписанная золотом карета, сопровождаемая гвардейцами. В карете восседал Борис Петрович.

Вслед за Ригой войска Шереметева овладели Динамюндом. 7 августа 1710 г. фельдмаршал утвердил условия капитуляции динамюндского гарнизона.

Жизнь, наполненная триумфальными победами и торжествами в Прибалтике, длилась для Бориса Петровича недолго. 23 июля царь отправляет ему указ с новым назначением: в сопровождении небольшого конвоя ехать в Польшу и принять командование над находившимися там войсками. Отправляя Бориса Петровича в столь рискованное путешествие, Петр испытывал некоторую неловкость и излагал поручение как бы извиняющимся тоном: «Хотя б я не хотел к вам писать сего труда, однакож крайняя нужда тому быть повелевает, чтоб вы по получении сего указа ехали своею особою в Польшу»²³. Какая же это была «крайняя нужда»?

В Москве было получено известие, что 40-тысячная осmano-крымская армия готовилась к вторжению в Польшу с целью восстановления на королевском престоле шведского ставленника Станислава Лещинского. Как и всегда, Петр торопил Шереметева: «Паки подтверждаю, что не мешкая выехали в путь свой».

Отправляясь в Польшу, Шереметев подвергал себя смертельной опасности, ибо ему предстояло ехать по территории, на которой еще продолжала свирепствовать чума. «Николи такого страха и нужды не подносил и николи так беспокоен не был, как сего времени», — делился он своими переживаниями с Брюсом. Лично для Шереметева путешествие окончилось благополучно. Потерял он в пути несколько «людей дому своего» и лучших лошадей. Это по поводу утраты последних он обратился к Брюсу с полными драматизма словами: «Где мои цуги, где мои лучшие лошади...»

Шереметев выехал из Риги в Польшу 13 августа 1710 г., а неделю спустя Петр отправил вгонку за ним курьера с предписанием возвратиться в Прибалтику. Прибыл он в Ригу 23 октября, по его словам, «к пушей печали». Выяснилось, что войска, находившиеся в Прибалтике, были обеспечены продовольствием всего на месяц и добыть его было негде, ибо «езде места опустелые и мертвые». Безутешные свои рассуждения о затруднительном положении Борис Петрович поведал близкому ему человеку, адмиралу Апраксину, и завершил письмо полюбившимся ему сравнением себя с ангелом: «Повелено то делать, разве б ангелу то чинить, а не мне, человеку»²⁴.

От решения сложной задачи обеспечения армии провиантом Шереметева освободила резко изменившаяся обстановка на южных рубежах: в ноябре 1710 г. Османская империя объявила России войну. 23 декабря Петр велел расположенные в Прибалтике войска двинуть на юг, а Шереметеву указал: «...самому тебе остатца в Риге на время и трудитца, чтоб собрать провианту на рижской гарнизон на семь тысяч человек на год»²⁵. Следовательно, армия отправилась в путь ранее своего командующего примерно на месяц.

Сведений о том, как и с какой скоростью русская армия совершила грандиозный переход на юг, документы не сохранили, зато имеется такой

бесценный источник, как «Военно-походный журнал» Шереметева, в который изо дня в день заносились все перемещения фельдмаршала.

Поскольку армия вышла из Риги в январе 1711 г., можно предположить, что обозы и артиллерия на начальном этапе воспользовались санным путем. Что касается самого Шереметева, покинувшего Ригу 11 февраля 1711 г., то в пути ему пришлось пересаживаться из кареты в лодку и с лодки вновь в карету. Причина тому — необычайно рано наступившая весна и половодье. Дороги пришли в совершенную негодность: приходилось ехать либо по целине, либо ночью, когда морозец на время ослаблял таяние снега. В конце февраля «Военно-походный журнал» пестрит такими записями: «Великая теплота и снег и дождь». Наконец, снегопады и дожди прекратились, но началось такое бурное половодье, что во многих местах единственным средством передвижения были лодки. Все это задержало фельдмаршала в Минске на 16 дней.

Между тем Петр торопил Шереметева. Начал он его понукать еще в январе, когда Борис Петрович находился в Риге, причем необходимость «поспешать» вначале была вызвана стремлением держать пехоту в постоянной близости от кавалерии. «А маршировать весьма нужно, — пояснил царь, — понеже, ежели пехота не поспевает, а неприятель на одну конницу нападет, то не без великова страху».

Отправляя армию к южным границам, Петр не имел детального плана кампании. Составление его стало предметом забот конзилии, состоявшейся в Слуцке 12 — 13 апреля 1711 г. На военном совете присутствовали, кроме Петра, два военных (Шереметев и генерал Алларт) и два гражданских лица (канцлер Головкин и посол в Польше князь Григорий Долгорукий). В соответствии с выработанным планом Петр велел Шереметеву не позже 20 мая достичь Днестра, имея трехмесячный запас продовольствия. Указ Петра заканчивался словами: «Сие все исполнить, не отпуская времени, ибо ежели умедлим, то все потеряем»²⁶.

План кампании был одобрен всеми, кроме фельдмаршала. В особом мнении, поданном царю, он убеждал его: «...к указным местам мая к 20 числу, конечно, прибыть я не надеюсь, понеже переправы задерживают, а артиллерия и рекруты еще к Припяти не прибыли, и обозы полковые многие назади идут». Фельдмаршал обращал внимание царя на то, что армия после Полтавской виктории, осады Риги и продолжительного марша изнурена и испытывает острую нужду в вооружении, обмундировании, лошадях, телегах и особенно в провианте. В связи с этим Шереметеву пришлось ломать голову, где заготовить трехмесячный запас провианта на 40-тысячную армию. По обыкновению продовольствие добывали в районах, где дислоцировалась армия, либо в местах, по которым она маршировала. В данном случае источником снабжения провиантом и фуражом должна была стать Украина, но ее ресурсы были ограниченными: недород предшествовавшего года и массовый падеж скота привели к тому, что «у многих крестьян, — как доносил киевский губернатор князь Дмитрий Михайлович Голицын, — ни хлеба, ни соли не обретается»²⁷.

Петр настоял на своем. Его резолюция на докладные пункты Шереметева гласила: «Поспеть к сроку, а лошадей, а лутче волов купить или взять у обывателей». Как «поспеть к сроку»? У царя был ответ и на этот вопрос: «А стоять долго нигде не надобно ни недели».

Фельдмаршал хотя и не был согласен с планом, разработанным военным советом и утвержденным Петром, но, как умел, стал его выполнять. От него царь требовал «поспешать». В свою очередь, Шереметев требовал того же от подчиненных генералов. «Поспешать» стало едва ли не главным словом, употреблявшимся Петром в указах Шереметеву. Царь не уставал твердить: «...как наискоряе поспешать в указаное место», «для Бога не медлите в назначенное место».

Но Шереметев оставался самим собой — столь же медлительным, как и основательным. Продвижение на юг шло со скоростью, явно срывававшей намеченные сроки прибытия «в указное место». И тогда царь решил прибегнуть к мере, которой он уже однажды пользовался. Правда, в 1706 г. Петр приставил к Шереметеву сержанта Щепотьева, поручив ему стимулировать расторопность фельдмаршала в его движении к мятежной Астрахани. Теперь царь приставил к Шереметеву гвардии подполковника Василия Владимировича Долгорукого. Главная задача Долгорукого, как сказано в данной ему инструкции, — заставлять фельдмаршала двигаться вперед: «...понуждать, чтоб пойтить по приезде ево в три или четыре дни». Вместе с Долгоруким к Шереметеву прибыл и Савва Лукич Рагузинский в качестве дипломатического советника.

Долгорукий прибыл в ставку Шереметева в местечке Немирово 12 мая и, как доложил царю, потребовал от фельдмаршала, «чтоб немедленно марш восприял в назначенный наш путь и ничем не отговаривался». Но присутствие Долгорукого мало что изменило. Шереметев все равно запаздывал. Срок прибытия его войск к Днестру (20 мая) не был выдержан, и армия переправилась через Днестр только 30 мая. В итоге стряслось то, чего так опасался Петр: османы успели перейти Дунай и теперь двигались навстречу русским войскам. «И ежели б по приказу учинили, — попрекал царь Шереметева, — то б, конечно, прежде туркоф к Дунаю были, ибо от Днестра только до Дуная 10 или по нужде 13 дней ходу. А ныне старые ваши песни в олговорках»²⁸.

Досталось и Долгорукому, не выполнившему возложенного на него поручения. «Зело удивляюсь, — укорял его Петр, — что вы так оплошно делаете, для чего посланы. Ежели б так зделали, как приказано, давно б были у Дуная». И далее упрек: «Я зело на вас надеелся, а ныне вижу, что и к тебе то ж пристала», т. е. нерасторопность Шереметева.

В настоящее время трудно судить, требовал ли Петр от Шереметева невозможного, или все-таки вся вина за несвоевременное прибытие русской армии к Дунаю лежала на старом и медлительном фельдмаршале. Столь же трудно ответить и на второй вопрос, вытекающий из первого: не могла ли русская армия, достигнув Дуная, оказаться в более тяжелом положении, чем у берегов Прута?

Достоверно можно утверждать одно: путь следования русской армии с самого начала ее движения на юг был крайне тяжелым. О трудностях, которые довелось испытать Шереметеву, проезжавшему по территории Белоруссии и Украины, речь уже шла. Само собой разумеется, что эти трудности умножились, когда двинулись не карета и сопровождавший фельдмаршала отряд драгун, а армия и громоздкий обоз.

Немало невзгод на пути из Москвы в действующую армию выпало и на долю царя, а также его спутников в апреле — мае 1711 г. Екатерина в письме Меншикову из Слуцка объясняла задержку ответа «злым путем, которой... до здешнего места имели, так и за болезнью господина контра-адмирала». Кстати, болезнь «контра-адмирала», т. е. Петра, по заключению медиков, «случилась от студеного воздуха и от трудного пути»²⁹.

То же самое сообщал и Макаров Ф. М. Апраксину, но уже о следующем отрезке пути. Кабинет-секретарь, как и Екатерина, оказался неправым корреспондентом «ради двух причин: первое, что от злого пути нимало себе не имели времени, ибо от Слуцка до Луцка с 60 миль ехал, и не было такова дни, в которой бы по горло в воде на переправах не были»; вторая причина — болезнь царя³⁰.

В весенних документах самым употребительным словом было «поспешать». В июне спешить было уже некуда — все равно опоздали. И со страниц писем царя Шереметеву и переписки генералов между собой не сходили слова «провиант», «хлеб», «мясо». 12 июня Петр полушутя-полусерьезно писал Шереметеву: «О провианте, отколь и каким образом возможно, делайте, ибо когда салдат приведем, а у вас не будет, что им есть, то вам оных в снедь дадим». Но фельдмаршалу было не до шуток. 16 июня он отвечал царю: «Я в провианте с сокрушением своего сердца имел и имею труд, ибо сие есть дело главное»³¹.

Однако между сознанием того, что обеспечение армии провиантом «есть дело главное», и возможностью раздобыть этот провиант — дистанция, как говорится, огромного размера.

Армия Шереметева испытывала недостаток в продовольствии уже в начале июня. «Оскудения ради хлеба начали есть мясо... Также зело имею великую печаль, что хлеба взять весьма невозможно, ибо здешний край конечно разорен», — писал фельдмаршал царю. Еще хуже обстояло дело у генерала Алларта. Петр сообщал Шереметеву: «...уже пять дней как ни хлеба, ни мяса... Извольте нам дать знать подлинно: когда до вас дойдем, будет ли что солдатам есть?» Вся надежда была на молдавского господаря Кантемира, перешедшего на сторону России, но хлеба не было и у него. Кантемир снабдил войска только мясом, предоставив 15 тыс. баранов и 4 тыс. волов.

Недостаток продовольствия не единственное испытание, выпавшее на долю армии Шереметева. Его «Военно-походный журнал» за май — июнь изобилует записями типа «зело жаркий день». Жара выжгла траву, лишив лошадей подножного корма. То, что не успевали сделать палящие лучи солнца, довершала саранча. В итоге — гибель лошадей, усложнившая про-

движение вперед. Войска, кроме того, страдали от недостатка воды. Вода была, «однакож, самая худая: не толико что людям пить, но и лошадам не мочно, ибо многий скот и собаки, пив, померли тут»³².

Запоминающуюся картину нарисовал датский посол Юст Юль со слов Петра: «Царь передавал мне, что сам видел, как у солдат от действия жажды из носу, из глаз и ушей шла кровь, как многие, добравшись до воды, опивались ею и умирали, как иные, томясь жаждою и голодом, лишали себя жизни»³³.

5 июня 1711 г. армия Шереметева подошла к Пруту. На военном совете было решено медленно идти вниз по течению реки и «вдаль не отдаляться». Это решение было принято в связи с сообщением Кантемира о том, что османы уже переправились через Дунай. Шереметев правильно счел, что двигаться им навстречу, не имея пехоты, было крайне рискованно. Вокруг маршировавшей армии маячила крымская конница, постоянно тревожившая обозы и препятствовавшая работе фуражиров.

Какова была численность неприятеля, сколь высоким был его боевой дух, какие планы он вынашивал? На этот счет русское командование на первых порах не располагало мало-мальски точными данными. Согласно сведениям Кантемира, переданным Шереметеву, на Дунае находилось около 40 тыс. османов и какое-то количество крымских татар. Кантемир полагал, что дней через десять количество османов достигнет 50 тыс. Эту цифру называли в письмах адмиралу Апраксину от 30 июня сразу два корреспондента: Головкин и Шафиров.

Шереметев располагал и другими сведениями. Два «шпига», направленные в Бендеры «для провеживания тамошнего состояния и взятъя подлинной ведомости о турках и татарах», в расспросных речах 28 июня показали, что в распоряжении везира находилось «тысяч с двести» турок и татар. Правда, оба лазутчика тут же добавили, что «подлинно про то они не знают для того, что сами там не были». Они поручились за точность сведений о событиях в Бендерах, которые они сами наблюдали. Видимо, поэтому сообщениям «шпигов» не придали должного значения.

Итак, ни царь, ни фельдмаршал не располагали точными сведениями о численности неприятеля. Относительно планов османского везира и боевого духа его армии у русского командования тоже были смутные представления. Вице-канцлер Петр Павлович Шафиров, сопровождавший царя постоянно, был человеком в высшей степени осведомленным. Он писал адмиралу Апраксину: «О неприятеле имеем ведомость, что хотя великий везир с несколькими войсками к Дунаю пришел и по ею сторону Дуная транжамент сделал и некоторую инфантерию осадил, но перейдет ли сюда со всею своею армиею и будет ли при сближении войск его царского величества стоять (хотя многие в том zelo сумневаются), о том время явит». Этими сведениями Шафиров располагал на 18 июня.

В уши царя и его главнокомандующего со всех сторон жужжали о страхе османов перед русскими войсками. Долгорукий в донесении царю от 30 мая 1711 г. писал, что взятые в плен османские шпионы сказывали,

что «турки не имеют куражу и сами себе пророчествуют гибель». Двенадцать дней спустя Долгорукий, ссылаясь на Кантемира, подтвердил свое прежнее донесение царю: «...сказывал государь, что турки и татары в великом страхе»³⁴.

В конце июня русские «шпиги» в Бендерах засвидетельствовали: «...сами-де турки от войска царского величества в великом страхе».

Веру царя в победоносный исход кампании укрепляли также сведения, поступавшие от православных и христианских народов, томившихся под османским игом. 23 апреля 1711 г. царь писал Шереметеву: «Для Бога не медлите в назначенные места, ибо ныне от всех христиан паки письма получили, которые самим Богом просят, дабы поспешать прежде турок, в чем превеликую пользу являют». Петр предупреждал фельдмаршала, что опоздание чревато тяжелыми последствиями: «...а ежели умешкаем, то вдесятеро тяжелее или едва возможно будет свой интерес исполнить, итакое все потеряем умедлением»³⁵.

В итоге в голове Петра сложился оптимистический план кампании. При подходе русских войск христианские народы восстанут и перейдут под покровительство России. В таких условиях везир не рискнет форсировать Дунай. Среди османских войск, пребывавших в страхе перед русскими, мог начаться бунт, или на худой конец, завидя русских солдат, янычары разбегутся.

Войска Шереметева, подошедшие к Пруту 5 июня, представляли примерно треть армии, находившейся в походе. Дивизии Вейде, Репнина, а также два гвардейских полка, сопровождавшие царя, вследствие затруднений с продовольствием и фуражом находились в разных местах. Собраться в кулак армию заставили полученные 7 июля сведения о том, что войска везира находятся в шести милях от лагеря Шереметева и что конница крымских татар во главе с ханом уже соединилась с османами. Тогда последовала команда всем дивизиям подойти к Шереметеву. 8 июля пленный татарин сообщил, что везир наметил сражение на 10 июля. В тот же день стала известна численность неприятельских войск — 140 тыс. человек.

Сражение, однако, началось 8 июля. С высот, окружавших русский лагерь, казалось, что достаточно небольших усилий — и он станет добычей янычар и крымцев. Действительно, русская армия занимала крайне неудобные позиции, и она под покровом ночи «ради тесного места отступила». Османы и крымцы сочли отступление бегством и предприняли «многие набеги», от которых русские отбивались оружейной и артиллерийской стрельбой. Пройдя милю, армия остановилась в долине реки Прут, «где место пространнее».

Здесь было дано сражение османо-крымским войскам. Оно продолжалось весь день и возобновилось вечером после двухчасового перерыва. Всю ночь продолжалась артиллерийская пальба. Бывали моменты, когда османы вплотную подступали к рогаткам и, казалось, были близки к тому, чтобы смять русский лагерь, благо их было четверо больше, чем русских.

Однако губительный огонь артиллерии охлаждал пыл янычар и крымцев. Сражение продолжалось в общей сложности 36 часов.

Утром 10 июля по повелению Петра из Посольской канцелярии в османский лагерь был отправлен парламентар, но ответа не последовало. Затем в расположение неприятеля отбыл П. П. Шафиров. Одновременно в русском лагере на тот случай, если везир откажется от переговоров, шла лихорадочная подготовка к генеральному сражению. Шафиров поначалу донес, что османы не склонны к перемирию, но затем сообщил о начале переговоров. Вследствие этого пальба к вечеру утихла, но османы всю ночь возводили укрепления, в то время как «от наших же ничего не делано, но токмо наши стояли во фрунте со великою готовностью».

11 июля едва ли не кульминационный день Прутской эпопеи. В обоих лагерях не раздалось ни единого выстрела. Но эта тишина была обманчивой. За ней скрывались напряженное ожидание результатов переговоров и столь же напряженная подготовка к выходу из мышеловки, в которой оказались русские войска.

Сколь беспокойной и нервной была обстановка в русском лагере, свидетельствует то обстоятельство, что 11 июля состоялось два военных совета. На первом из них было решено: если неприятель потребует сдачи в плен, то это требование отклонить и двинуться на прорыв кольца блокады. Подпись Шереметева под этим постановлением, как старшего по чину, стояла последней. Второе заседание совета наметило конкретный план выхода из окружения: было решено освободиться от всего лишнего имущества, стеснявшего мобильность армии и ее боевые порядки, «за скудостью пульек сечь железо на дробь», «лошадей артиллерийских добрых взять с собою, а худых — не токмо артиллерийских, но и всех — побить и мяса наварить или напечь», наличный провиант поделить поровну.

К счастью, этот план не пришлось проводить в жизнь. После окончания второго военного совета к царю прибыл Шафиров с известием, вызвавшим вздох облегчения: ему удалось заключить мир.

Если сопоставить катастрофичность положения русской армии на Пруте с условиями мирного договора, то следует признать, что везир во время переговоров мог выторговать значительно больше. В этой связи приведем содержание записки, отправленной Петром Шафирову, когда тот еще находился в османском стане: «Ежели подлинно будет говорить о миру, то стафь с ними на все, чево похотят, кроме шклафства», т. е. рабства. Царь считал, что османы будут предлагать не только свои, но и интересы шведского короля, и поэтому он соглашался вернуть все отвоеванное у османов (Азов и Таганрог) и все приобретенное у шведов, за исключением выхода к Балтийскому морю и любимейшего ему Парадиза, т. е. Петербурга.

Мир, подписанный Шафировым и везиром, подобных жертв от России не потребовал: пришлось вернуть османам всего лишь Азов, срыть Таганрог и Каменный Затон. Россия обязалась не вмешиваться в польские дела. Русские, кроме того, должны были обеспечить безопасный проезд Карла XII в Швецию.

Условия договора привели шведского короля в бешенство. Как только ему стало известно о подписании договора, он прискакал в ставку везира и, распалившись, потребовал от него 20 — 30 тыс. отборных янычар, чтобы привести в османский лагерь пленного русского царя. Упрек шведского короля: «Для чего он без него с его царским величеством мир учинил?» — не вывел везира из равновесия. Он резонно намекнул королю на поражение, нанесенное шведам русскими войсками под Полтавой: «Ты-де их уже отведал, а и мы их видели; и буде хочешь, то атакуй их своими людьми, а он миру, с ними поставленного, не нарушит»³⁶.

Прутский договор больно отразился на личных интересах фельдмаршала. Дело в том, что везир затребовал в качестве «аманатов», т. е. заложников выполнения условий мирного договора, вице-канцлера Шафирова и сына Бориса Петровича — Михаила Борисовича. Почему выбор пал на Шафирова, понятно: он вел переговоры и скрепил договор своей подписью. Не вызывает удивления и то, что везир назвал вторым заложником Михаила Борисовича: все переговоры с османами — от посылки первого трубача до прибытия Шафирова с радостной вестью — велись не от имени царя, фактического командующего армией, а от имени ее номинального главнокомандующего — Б. П. Шереметева. Везир и рассудил, что именно он должен был поручиться судьбой единственного сына за соблюдение условий мира.

Чтобы утешить старого фельдмаршала, имевшего опыт общения с османами и знавшего, что значит находиться у них «аманатом», царь не поскунился на щедрые награды Михаилу Борисовичу: из полковников он был произведен в генерал-майоры, получил на год вперед жалованье, а также осыпанный бриллиантами царский портрет стоимостью 1 тыс. руб.

В тот же день, 11 июля, заложники отправились в османский лагерь, а русская армия, переночевав, 12 июля тронулась в обратный путь, соблюдая предосторожность на случай вероломного нападения со стороны неприятеля. Двигалась она медленно — со скоростью две-три мили в сутки — отчасти вследствие крайнего истощения лошадей, едва волочивших телеги, отчасти потому, что приходилось сохранять боевую готовность: за русской армией следовала крымская конница, всегда готовая мародерствовать.

Только 10 дней спустя, 22 июля, армия переправилась через Прут, а 1 августа форсировала Днестр. Теперь ей уже ничто не грозило, и царь, отслужив благодарственный молебен, отправился сначала в Варшаву для встречи с польским королем, а затем в Карлсбад и Торгау для лечения и на свадьбу своего сына царевича Алексея. Список награжденных ограничивался тремя лицами, среди них находился и Шереметев — ему был пожалован дом в Риге.

Что означал этот жест царя? Запоздалую ли расплату за службу в Прибалтике или признание невиновности Шереметева в запоздалом прибытии к Пруту? Ответить на эти вопросы не представляется возможным. Несомненно одно: царь и после Прутского похода не утратил доверия к

фельдмаршалу. Если бы было наоборот, то Петр, отправляясь в чужие края, не оставил бы Бориса Петровича командующим Прутской армией. Она не отправилась на север, откуда пришла, а осталась на Украине, где Шереметев должен был бдительно наблюдать за ожидавшимся переездом Карла XII из Бендер в Швецию. Один из возможных маршрутов переезда короля проходил через Польшу, и русское правительство, естественно, опасалось, что пребывание Карла XII на территории этой страны чревато угрозой восстановления на польском престоле Станислава Лещинского.

Чтобы справиться с порученным делом, Шереметев должен был располагать исчерпывающей информацией о намерениях как османского султана, так и шведского короля. Сведения о том, что творилось в Стамбуле и в стане шведского короля в Бендерах, Шереметев черпал по крайней мере из трех источников: из донесений заложников при султанском дворе — Шафировва и собственного сына; расспросных речей лазутчиков, засылаемых русским командованием в Бендеры, и показаний русских воинов, освободившихся из османского плена. Стекавшаяся информация носила противоречивый характер, нередко была фантастической и в целом создавала путаную картину происходившего в Бендерах, способную поставить в затруднительное положение даже многоопытного дипломата и человека с незаурядными аналитическими способностями.

Так, по одним данным, в Бендерах находилось 20 тыс. османов, присланных султаном для сопровождения Карла XII; по другим сведениям, их там насчитывалось около 60 тыс., по третьим — 36 тыс., по четвертым — 18 тыс. османов и 3 тыс. крымцев. По одним сведениям, король намеревался жить в османских владениях семь лет и дал согласие покинуть Бендеры только в том случае, если султан предоставит в его распоряжение 70 тыс. османов, 100 тыс. крымцев и 800 пушек. По другим данным, король обуславливал свой выезд получением от султана денег на приобретение лошадей и выплату жалованья своим людям. Согласно последней версии, король будто бы заявил османам: «...разве-де его, короля, здесь умертвят и, умертвя, тело его отсюда повезут, тогда-де уж он и денег требовать не будет».

На Украине Борису Петровичу пришлось участвовать в тонкой дипломатической игре. Собственно, игру вел царь, но и роль Шереметева была немаловажной. Деликатность положения фельдмаршала определялась стремлением Петра оттяжкой в выполнении условий Прутского договора принудить султана отказать в гостеприимстве шведскому королю. Далее, по условиям договора русские войска подлежали выводу из Польши, а фактически они там все еще находились.

Канцелярист Иван Небогатов «божился с великою клятвою» султанскому представителю Гасан-паше, что никакого войска в Каменце нет «и быти не для чего», а если бы и было, то единственная цель его пребывания там состояла в предосторожности, чтобы «король, идучи через Польшу, какого коварства или факции с поляками не чинил». Но Гасан-пашу на мякине не проведешь. Небогатову он произнес тираду, свидетельствовав-

шую о хорошей осведомленности османов относительно обстановки в Каменце: «А он, Гасан-паша, мне говорил, что я конечно не божился и не клялся в неправде, понеже, кто про что подлинно ведает, а божбою клянется, что будто не ведает, грех есть, ибо они про то подлинно ведают, что, конечно, войско тамо есть».

Еще больше трений в русско-османских отношениях вызывал вопрос о передаче султану Азова и скрытии Таганрога и Каменного Затона. Царь то велел передать Азов, то в отмену этого повеления требовал тянуть время. Султан болезненно реагировал на проволочку и все более склонялся к настойчиво внушаемой ему крымским ханом и шведским королем мысли, что везир, заключивший Прутский договор, был подкуплен русскими и изменил своей стране. Вскоре судьба его была решена: «Положа на шею ево чепь, пешего и босого через одного турка конного по улицам в Станбуле водили и потом удушен»³⁷.

Атмосфера накалялась, и султанский двор вновь стал помышлять о войне.

В распоряжении фельдмаршала находились войска, готовые дать османам отпор. Но вот его сын, как и Шафиров, был беззащитен. Драматизм их положения усугублялся тем, что оба они являлись заложниками соблюдения мирного договора. Султанский двор, никогда не отличавшийся деликатным обращением с русскими посольствами, всякий раз при обострении отношений заключал заложников в Семибашенный замок и мог в любой момент казнить их.

Можно представить чувства отца, когда он читал письма сына и Шафирова. 1 сентября 1711 г. заложники писали, что они, опираясь на заверения царя о готовности передать Азов, каждый раз при встрече с османами «крепко обнадеживали» их, что крепость уже передана или передастся. «Буде можете, — обращались заложники к Шереметеву, — помогайте для Бога, дабы не погибнуть нам». Об отчаянном положении заложников свидетельствуют слова письма: если договор выполнен не будет, «то, конечно, извольте ведать, что мы от них нарочно на погубление войску отданы будем»³⁸.

Более тревожные и обескураживающие известия были в другом письме, тайно доставленном Борису Петровичу: «Мы ежедневно ожидаем себе гибели, ежели от Азова ведомость придет, что не отдадут... Чаем, что еще с мучением будут нас принуждать писать об Азове к адмиралу... Извольте приказать быть, конечно, в осторожности от турок и от нас не извольте надеяться на весть, ибо обретаемся в тесноте и способа никакого не имеем писати... Разсудите, что мы в их руках... что можем чинити?»

Еще одно письмо, свидетельствующее о высоком патриотическом долге М. Б. Шереметева и П. П. Шафирова, готовых пожертвовать жизнью ради интересов родины, фельдмаршал получил 1 января 1712 г. Заложники советовали воздержаться от передачи османам Азова, ибо они, по их мнению, непременно начнут войну, даже если получат крепость. Заложники просили не верить их собственным письмам об отдаче Азова,

ибо письма будут написаны по принуждению. В нескольких строках они поведали о своей нелегкой жизни и мрачных перспективах: «Мы чаем, что над нами, как над аманатами, поступит султан свирепо и велит нас казнить, а не в тюрьму посадить». И далее приписка Шафирова: «Мы уже весьма в отчаянии живота своего... Прошу чрез Бога показать милость ко оставшимся моим, а мы с сыном твоим уже еле живы с печали».

Душевный покой Бориса Петровича тревожила не только судьба сына, но и напряженная ситуация, сложившаяся у него в ставке. За многие годы командования войсками фельдмаршал был приучен выполнять чужую волю: он постоянно получал указы царя, как ему поступать в том или ином случае, или сам испрашивал у него указаний, что и как ему делать. Но во второй половине 1711 г. фельдмаршал пребывал в растерянности: ему самому надлежало принимать решения и нести за них ответственность. Царь, уезжая в чужие края, велел Шереметеву поступать, сообразуясь с обстановкой и донесениями Шафирова. Сколь тяжелой и непривычной была для Шереметева новая роль, можно судить по его письму Апраксину от 23 октября 1711 г. Ранее, жаловался фельдмаршал, было «не так мне прискорбно и несносно, как сие мое дело за отлучением его самодержавства в такую дальность, також, что в скорости не могу получить указ, а к тому отягощен положением на мой разсудок, что трудно делать. Мню себе, что и вы в такой же тягости и печали застаешь»³⁴.

И все же Шереметеву не удалось избежать тягостной обязанности самому принимать решения. В ноябре он сообщил, что «восприял» осуществить вывод русских войск из Польши. Впрочем, эта мера не помешала султану в конце года объявить России войну. Военные действия, однако, не были открыты: конфликт удалось уладить, так как 2 января 1712 г. османы наконец получили Азов.

Показателем спада напряженности в русско-османских отношениях являлись изменения к лучшему в обращении с заложниками. В марте они доносили, что их переселили из подвала Семибашенного замка в посольское подворье и жизнь их стала вольготнее.

Шереметев расценил эту акцию как миролюбивый жест султанского двора и на этом основании 15 марта отбыл в Москву. Здесь он представил Сенату документы о состоянии украинской армии и ее нуждах, а затем отправился в Петербург, где на военных конзильях в присутствии царя, Головкина, Меншикова, Апраксина, Д. М. Голицына участвовал в обсуждении дел на южной границе. Здесь Борис Петрович обратился к царю с необычной просьбой.

СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

Фельдмаршал считал, что напряжение походной жизни ему уже не под силу, пора на покой. Своей сокровенной мечтой он как-то поделился с адмиралом Ф. М. Апраксиным: «Боже мой и творче, избави нас от напасти и дай хоть мало покойно пожити на сем свете, хотя и немного жить»¹.

Но где обрести покой, если царь дает одно поручение за другим? Только в монастыре. И фельдмаршал решил схорониться в Киево-Печерской лавре. Именно там он рассчитывал на безмятежную жизнь, свободную от мирских тревожений и суровых выговоров.

У царя на этот счет было свое мнение. Вместо пострижения Петр велел ему жениться, причем сам подыскал 60-летнему вдовцу невесту. Ею оказалась дочь Петра Петровича Салтыкова Анна Петровна — красавица с ласковым взглядом выразительных глаз. В 17 лет выданная замуж за Льва Кирилловича Нарышкина, она овдовела в 1705 г. Этот брак породнил Шереметева с царской фамилией, поскольку Лев Кириллович был дядя Петра.

Был ли счастлив старый фельдмаршал, обрел ли он покой у семейного очага, созданного по воле царя, мы не знаем. Доподлинно известно, что молодая супруга подарила ему много детей.

Первый сын от второго брака — Петр Борисович родился 26 февраля 1713 г. Шереметев поспешил известить о своей семейной радости царя. Как следует из царского ответа, отец новорожденного просил пожаловать младенца офицерским чином. 18 июня Петр писал: «При сем поздравляем вас с новорожденным вашим сыном, которому по прошению вашему даем чин фендрика. Пишешь, ваша милость, что оной младенец родился без вас и не ведаете где, а того не пишете, где и от кого зачался». В этих словах звучали и озорство, и грубая шутка, глубоко задевшая, надо полагать, мужское самолюбие Бориса Петровича. То был прозрачный намек на супружескую неверность Анны Петровны, которая была на 34 года моложе фельдмаршала.

Борис Петрович не оставил оскорбительного намека без ответа: он защищался от царских наветов, как мог. Поблагодарив Петра за награждение новорожденного чином, Шереметев отвечал: «И что изволите, ваше величество, мене спросить, где он родился и от ково, я доношу: родился он, сын мой, в Рословле, и я в то время был в Киеве. И по исчислению месяцев, и по образу, и по всем мерам я признаваю, что он родился от мене. А больше может ведать мать его, кто ему отец!»².

Анна Петровна, помимо Петра, родила Шереметеву еще четверых детей. Последний ребенок — Екатерина Борисовна родилась 2 ноября 1718 г., т. е. за три с половиной месяца до смерти фельдмаршала.

Никто из детей Шереметева не прославился ни на военном, ни на административном, ни на дипломатическом поприще. И все же двое потомков Бориса Петровича вошли в историю благодаря брачным связям. Петр Борисович, получивший, согласно закону о единонаследии, все вотчины фельдмаршала, женился на единственной дочери князя А. М. Черкасского. В результате этого брачного союза сложилось крупнейшее в России помещичье хозяйство, населенное, по данным на 1765 г., 73 500 крестьянами мужского пола.

Петр Борисович, хотя с рождения был произведен в офицерское звание и затем быстро приобретал новые чины, в отличие от отца не сыскал известности на поле брани. Он подвизался на службе при дворе: был генерал-аншефом и генерал-адъютантом при Елизавете; остался «на плаву» при капризном и неуравновешенном Петре III, исполняя обязанности обер-камергера; не затерялся и при Екатерине II, пожаловавшей его сенатором. Правда, в этой должности Шереметев оставался недолго. Служба, видимо, тяготила утонченного богача, и он, воспользовавшись Манифестом о вольности дворянства 1762 г., в возрасте 55 лет ушел в отставку.

Оставшиеся 20 лет жизни, когда Петр Борисович нигде не служил, были посвящены благоустройству подмосковной усадьбы Кусково. Этот шедевр дворцово-паркового искусства России второй половины XVIII в. приобрел огромную популярность еще и благодаря оперному и балетному театру, сплошь укомплектованному актерами из крепостных собственных вотчин. Крепостные выступали либреттистами, художниками-декораторами, музыкантами и режиссерами. Петр Борисович покровительствовал талантливым крепостным в области живописи, скульптуры, архитектуры, посылал их для обучения за границу. Все это позволило графу оставить заметный след в истории русской культуры.

К родившейся вслед за Петром дочери Наталье Борисовне судьба оказалась менее благосклонной и даже суровой, но она тоже стала примечательной личностью XVIII в.: ей довелось испытать до дна чашу суровых испытаний. В шестнадцатилетнем возрасте, оставшись без отца и матери, она вышла замуж за Ивана Долгорукова, фаворита Петра II.

Петр II умер накануне церемонии бракосочетания с сестрой фаворита Екатериной Долгоруковой. Иван, умевший ловко подделывать руку умер-

шего царя, сочинил фальшивое завещание в пользу его невесты и своей сестры. Подделка была тут же обнаружена.

Между тем на троне утвердилась курляндская герцогиня Анна Иоанновна, и в судьбе Долгоруковых наступили крутые перемены. За попытку ограничить самодержавие Анны Иоанновны они вместе с Голицыным заплатились ссылкой. К тому времени Наталья Борисовна была лишь обручена и могла отказаться от замужества, но этого не сделала. Прошло всего три дня после церемонии, как она вместе с супругом и остальными членами семьи Долгоруковых отправилась в ссылку сначала в их вотчины, а затем в Березов. Вспоминая изнурительный путь туда, Наталья Борисовна писала: «Вот любовь до чего довела: все оставила, и честь, и богатство, и сродников, и стражду с ним (Иваном Долгоруковым. — Н. П.) и скитаюсь».

Окружению императрицы ссылка «верховников» в Сибирь показала недостаточным для них наказанием, и в 1739 г. Долгоруковы и Голицыны были свезены в Новгород для повторного суда. На этот раз их подвергли пыткам и предали жестокой казни. Среди четвертованных был и Иван Долгоруков. Вдова Наталья Борисовна поступила в 1757 г. в монастырь под именем Нектарии. О своей безрадостно прожитой жизни она поведала в полных горечи и тоски «Своеручных записках». Она вспоминала: «За 26 дней благополучных (между помолвкой 24 декабря и смертью Петра II 18 января 1730 г. — Н. П.) или, сказать, радостных 40 лет по сей день стражду».

Поступок Н. Б. Долгоруковой является примером верности любви и самопожертвования ради нее. Наталья Борисовна примечательна еще и тем, что она первой из русских женщин оставила «Своеручные записки» — воспоминания, обрывающиеся, к сожалению, рассказом о жизни до приезда в ссылку. Хотя на бесхитроном повествовании о прожитом лежит печать личных переживаний автора, оно имеет первостепенное значение для изучения быта и нравов того времени. Общерусские события нашли отражение всего лишь в характеристике Бирона и лаконичном словесном портрете Анны Иоанновны. К виновнице своих несчастий и трагической смерти супруга Наталья Борисовна, разумеется, симпатий не питала: «...престрашнава была взору, отвратное лице имела, так была велика, кагда между кавалеров идет, всех галавою выше, и чрезвычайно толста»³.

После свадебных торжеств Шереметев двинулся в обратный путь на Украину. Ехал он медленно, причем маршрут свой проложил так, чтобы хозяйским оком осмотреть свои вотчины. 13 июля 1712 г. он прибыл в село Мещериново и задержался там на три дня. По пути из Мещеринова в Каширу он заглянул в свою вотчину в Чиркино, но ненадолго, всего лишь победать. 22 июля фельдмаршал навестил вотчину в деревне Алексеевской, Поречье тож, где «кушал и ночевали».

На Украине текла спокойная и однообразная жизнь. Некоторое оживление вносили сведения, получаемые из Стамбула и Бендер, где по-прежнему находился шведский король.

Султанский двор проявлял по отношению к непрошеному гостю удивительное непостоянство: месяцы почтительного обращения, снабжения

короля и его свиты роскошным рационом и выдачи немалых денежных сумм сменялись месяцами грубого отказа в самом необходимом. Шереметев получил следующее донесение из Стамбула от 8 августа 1712 г.: «Король шведский еще обретается в Бендере и намерен там зимовать; шведы зело в худом состоянии пребывают, и турки им больше денег давать не хотят и отказывают и на ассигнации королевские, которая во сто ефимков, не хотят давать 20 ефимков, а простые шведы для поискания своих поживлений принуждены у турков вместо матрес употребляться»¹.

Последующие месяцы не принесли улучшения отношений между шведским королем и султанским двором. Более того, они ухудшились настолько, что сопровождалась кровопролитной схваткой между горсткой шведов, возглавляемых безрассудным королем, и многочисленным османским войском. Ей предшествовал султанский указ королю убираться восвояси на родину. На ультиматум Карл XII ответил, «что-де он над собою никакой державы, кроме одного Бога, быть не признает, а естли кто будет его насиловать, то он станет себя оборонять до последней минуты своего живота». Это была не пустая похвальба. Король действительно вступил в схватку с гостеприимными хозяевами и оплатил им тем, что отправил на тот свет не менее 200 турок.

Существует немало описаний сражения, развернувшегося в окрестностях Бендер, между шведами и османами. Среди них неопубликованное донесение П. П. Шафирову канцлеру Г. И. Головкину. Шафиров находился в Стамбуле и, естественно, не мог быть очевидцем событий: в его донесении есть неточности, опущены многие подробности. Тем не менее оно интересно. Его автор был человеком с ироническим складом ума и владел острым пером. Шафиров начинает свое донесение так.

Бендерский паша принуждал короля к выезду «по варварскому обычаю сурово. А он, по своей солдацкой голове удалой, стал им в том отказывать гордо, причем сказывают, что конюший ему и отсечением головы грозил и он на них шпагу вынимал и говорил, что он салтанского указу не слушает и готов с ними битца, ежели станут ему чинить насилие».

Поначалу османы решили оказать на короля давление, лишив его продовольствия и фуража. Но король нашел выход: он велел «побить излишних лошадей, между которыми и от салтана присланные были, и приказал их посолить и употреблять в пищу». Тогда султан велел доставить к себе короля живым или мертвым.

9 февраля 1713 г. «со обеих сторон у них война началась». Король, «учреда великое свое воинство, начал бить по ним из двух пушек, из мелкого ружья». Османы тоже ответили артиллерийским огнем и выбили из окопов «сего храброго и твердого в совете солдата». Король засел в хоромах. Османы их подожгли, «что видя, сия мудрая голова восприял отходом в другие было хоромы людей своих ретираду, но в пути обойден от янычар, и один, сказывают, ему четыре пальца у руки отсек, в которой держал шпагу, а другой отстрел часть уха и конец самой нос, а третий поколел или пострелил ево в спину».

Сведения Шафирова о многочисленных ранениях короля оказались недостоверными. В действительности ему была нанесена легкая рана, «только-де он, король, нуце с печали зело занемог и в лице стал худ»⁵.

События февраля 1713 г. близ Бендер вызвали у Петра чувство радости — наконец, рассуждал он, будет выдворен за пределы Османской империи главный подстрекатель к обострению ее отношений с Россией. По мнению царя, опасность вооруженного конфликта с Турцией уменьшилась настолько, что можно было повелеть Шереметеву отправить с южных границ к Риге дивизию и один драгунский полк.

Фельдмаршал, однако, не спешил выполнять царский указ. Драгунский полк он откомандировал в Ригу, а дивизию оставил на месте, ибо счел, что оголенная граница облегчит нападение крымцев и будет беззащитен Киев. По сведениям Шереметева, «король швецкой у салтана и у сенаторей в респекте (почете. — Н. П.) обретається», а крымский хан готовит новый поход на города Слободской Украины.

События, связанные с маршем драгунского полка, оставили у Шереметева неприятные воспоминания.

Поначалу сюжет развивался столь банально, что вряд ли мог привлечь к себе внимание царя. Осенью 1712 г. драгунский полк Григория Рожнова совершал переход с Украины к Смоленску. Во время марша для нужд полка у населения изымались лишние лошади, что вызвало резкое недовольство и жалобы обывателей. Во время расследования этих жалоб было установлено, что вместо положенных по штату 200 лошадей было мобилизовано 789.

Полковник Рожнов, почувствовав угрозу быть осужденным военным судом, сначала попытался уклониться от ответственности путем оформления задним числом приказа по полку о строгом соблюдении установленных норм использования обывательских лошадей. Рожнов потребовал от всех офицеров полка подписей под этим приказом. Когда следствие изобличило полковника в фальсификации, он стал ссылаться на свою болезнь, случившуюся как раз в те дни, когда производилась мобилизация лошадей. Военный суд не счел болезнь смягчающим вину обстоятельством, как не признал уважительным тот факт, что Рожнов во время болезни не мог ездить верхом, ибо, как сказано в приговоре, «команда в марше больше действуется на бумаге, нежели на лошади»⁶.

Суд приговорил Рожнова к суровому наказанию: он был лишен полковничьего чина и должности, а также оштрафован на 500 руб. Понесли наказания и офицеры полка, обвиненные в том, что подписали «аживый» документ. Фельдмаршал согласился с мерой наказания Рожнову, а остальным офицерам значительно ее смягчил. Обозленный Рожнов решил восстановить свою репутацию подачей длиннейшего доноса на Шереметева.

Рожнов в извете обвинял в преступлениях не столько фельдмаршала, сколько его генерал-адъютанта Петра Савелова. Шереметева он уличал в том, что тот отнял у него «цук вороных немецких лошадей, одного аргамака» и приглянувшуюся ему конскую сбрую в серебряной оправе. Со-

гласно версии Рожнова, Шереметев этим не довольствовался: гнев фельдмаршала вызвало нежелание полковника поделиться с ним немецкими кобылами.

Главным своим недоброжелателем Рожнов считал Петра Савелова. Это по его проискам «один полковник Рожнов сужен немилостивым судом и напатками, и штрафован, и паек отнят и в том ему, полковнику, обида пред другими». В адрес Савелова Рожнов выдвинул множество обвинений, из них два главных. Первое состояло в том, что Савелов получил от него, Рожнова, взятку в 40 червонных золотых и немецкого мерина за то, чтобы его «судили порядочно». Взятка показала Савелову недостаточной, и он потребовал дополнительно 200 руб., в которых ему Рожнов отказал. Неудовлетворенное издоимство и явилось причиной бед и неправого суда. Второе, и самое существенное обвинение, тоже было связано с алчностью Савелова. За посулы он давал внеочередные чины и должности. Конечно, правом награждать чинами, как и назначать на должности, Савелов не располагал. Он обдeldывал такого рода делишки за спиной фельдмаршала и его именем.

Донос не вызвал бы тревоги у Савелова и тем более у Шереметева, если бы им не заинтересовался царь. Он велел приговор о Рожнове в исполнение не приводить, а «того полковника и дело его прислать в С.-Петербург»⁷.

Шереметев и Савелов не на шутку забеспокоились. Их тревогу усилила угроза Рожнова обличить их во многих «язвах». Оба они обратились за заступничеством к кабинет-секретарю Алексею Васильевичу Макарову. Шереметев писал ему: «За благие поступки вас, моего государя, в моих интересах zelo благодарствую и впредь прошу мене не оставить, а наипаче в дела плута Рожнова всякое покажи вспоможение, за что я сам служить готов. И что будет по Рожнову делу отзываетца, пожалуй, уведоми меня». «Показать вспоможение» просил Макарова и Савелов. Их знакомство, видимо, было настолько близким, что Савелов без обиняков писал: «...ежели о имени моем что непотребное упомянетца, дабы я по вашей милости был охранен»⁸. Чтобы отвести обвинения Рожнова, Шереметев даже обратился к царю за разрешением прибыть в Петербург.

Между тем следствие по доносу Рожнова развернулось во всю ширь. В новую столицу был вызван Савелов, а от Шереметева затребовали подлинные книги о пожалованиях недорослей в офицеры, об отпусках офицеров «в дома» на побывку и т. п. К следствию намечалось привлечь множество людей: одних — в качестве обвиняемых, других — как свидетелей. По обычаю тех времен, следствие было рассчитано на многие месяцы, ибо лица, интересовавшие следователей, находились в разных концах страны: в Москве и Риге; в Твери и Новгороде, на финляндском театре военных действий, в вотчинах, расположенных в глубокой провинции.

Следствие прекратилось так же внезапно, как и началось. Тщетно искать в официальных документах объяснение крутого поворота отноше-

нии царя к делу по доносу Рожнова. Некоторые соображения на этот счет оставили современники. Английский посланник Джон Мэкензи в донесении своему правительству от 11 февраля 1715 г. сообщал: «Мне из хороших источников передавали, что два дня тому назад царь вполне простил все прошлое фельдмаршалу Шереметеву и поручил ему русскую армию, расположенную в Польше». Мэкензи было также известно, что царь отклонил настойчивые просьбы фельдмаршала об отставке. «Напротив, — подчеркивал Мэкензи, — его ласкают больше, чем когда-нибудь, и уверяют, что к восстановлению его чести будут приняты все меры, доносчиков же накажут примерно»⁹.

Любопытную деталью поделился со своим правительством и саксонский посланник: Лосс. Согласно его версии, дело замял князь Василий Владимирович Долгорукий: «Без него он (Шереметев. — Н. П.) поплатился бы дороже и никогда бы не выпутался так хорошо из следствия, которому он должен подвергнуться»¹⁰.

Оба современника, кажется, были близки к истине. Полковника Рожнова действительно подвергли более суровому наказанию, чем определил военный суд. У него были отняты не только чин и должность, но и вотчины, в которых было 92 двора. В суждении Д. Мэкензи о том, что Шереметева «ласкают больше, чем когда-нибудь», тоже есть резон. Отношение царя к фельдмаршалу было обусловлено изменением обстановки на южных границах и планами открыть военные действия на территории Швеции.

Сведения, поступавшие из Стамбула в начале 1714 г., вселяли уверенность, что султан не имел намерений обострять отношения с Россией. Свидетельством тому было изменение отношения к русскому посольству и заложникам: они «состоят в добром поведении». Наблюдатели далее отмечали, что у турок «к войне никакого приуготовления нет». У османского правительства хватало внутренних забот: во владениях султана подняли бунт два паши. Опасность с их стороны была тем большей, что их выступление поддерживал иранский шах.

Миролюбивые намерения османов подтверждались и некоторыми практическими мерами. Так, они выделили комиссаров в смешанную русско-османскую комиссию по определению пограничной линии. В Петербурге и в ставке Шереметева располагали данными о серьезном намерении султана выдворить из своих владений шведского короля. П. П. Шафиров и М. Б. Шереметев в январе 1714 г. извещали фельдмаршала: «...король швецкой отсюда ехать не хочет и министром своим на их предложение отвечал, что-де об отъезде и говорить еще не время». Кредит короля пал: «Турки над ним ни малого респекту не держат и про него слышать и говорить не хотят, а когда где и придет об нем говорить, то все сплошь лают, называя дураком и сумасбродным»¹¹. Далее султан позволил себе миролюбивый жест: он отпустил на родину заложников.

Возвратился в Россию один Петр Павлович Шафиров, а Михаил Борисович умер в пути, не доезжая Киева. Смерть сына потрясла фельдмаршала. Он писал адмиралу Апраксину: «При старости моей сущее несчас-

тие постигло». Старик тяжело переживал утрату: от «...сердечной болезни едва дыхание во мне содержится, а zelo опасаяся, дабы внезапно меня, грешника, смерть не постигла»¹².

Перечисленные симптомы замирения позволили России перебросить часть войск с южной границы на север, дабы сосредоточить свои усилия на борьбе со Швецией. В октябре 1713 г. в войну против Швеции вступила Пруссия. В том же году войска союзников заняли всю Померанию; в руках шведов оставался лишь осажденный Штральзунд. Естественно, вставал вопрос, кому поручить командование русскими войсками, второй раз отправлявшимися в Померанию. Кандидатура фельдмаршала Меншикова отпадала; за время своего пребывания в Померании в 1712 — 1713 гг. он до такой степени обострил отношения с датским королем, что тот впредь отказался иметь с ним дело. Оставался Шереметев, которого Петр и назначил командующим экспедиционным корпусом. Царь прикинул, что человеку, подмочившему репутацию, находясь под следствием, неуместно командовать войсками и тем более представлять интересы России при иностранных дворах, и, надо полагать, поэтому распорядился прекратить следствие по доносу Рожнова.

4 февраля 1715 г. Борис Петрович прибыл в Петербург. Петр проявил внимание к фельдмаршалу тем, что вечером этого же дня навестил его. Сенат и генералитет под председательством царя 1 марта обсуждали план предстоящей кампании в Померании. По поручению Петра фельдмаршал составил расчеты о численности войск, необходимых ему для развития успешных боевых действий, а также о кораблях для высадки десанта на шведской территории.

В столице Шереметев провел несколько месяцев. Кажется, впервые за свою жизнь он приобщился к придворной жизни: присутствовал на приемах у царя и его сына Алексея, сам принимал гостей по случаю своих именин и без всякого повода, участвовал в празднествах, посвященных Полтавской виктории. Надо полагать, что такая жизнь быстро наскучила Шереметеву, привыкшему к иному времяпрепровождению, и он, несмотря на возраст, очевидно, с охотой отправился к армии.

Марш войск через Польшу осложнялся многими привходящими обстоятельствами, и Шереметеву пришлось выступать в роли не только военачальника, но и дипломата. Затруднения, выпавшие на долю фельдмаршала, состояли в том, что интересы борьбы со Швецией требовали, чтобы он двинулся в Померанию форсированным маршем. Но в это же время в самой Польше подняли голову поддерживаемые Францией сторонники Станислава Лещинского. В интересах сохранения короны за союзником России Августом II надлежало задержать русские войска в Польше.

Русский посол в Варшаве князь Г. Ф. Долгорукий требовал от Шереметева, чтобы его войска остались в Польше, «по которое время те факции успокоятца». К голосу Долгорукого присоединились и вельможи Речи Посполитой. На встрече Шереметева с русским послом они заявили, что от ухода корпуса из Польши в выигрыше останется шведский

король, ибо в этом случае Август II будет вынужден отозвать свои войска из Померании для борьбы с «конфедератами». В итоге Карл XII получит передышку.

Иного мнения придерживались русские послы при датском и прусском дворах. Они настаивали на том, чтобы если не вся, то хотя бы часть русской армии к середине ноября находилась в Померании, у стен Штральзунда. Свои доводы они подкрепляли рассуждениями о возможных последствиях опоздания: «И ежели позже туда притить, то короли могут озлобитца и нарушить все договоры и отказать в пропитании, и в фураже, и в зимних кваргирах»¹³.

Наконец, надобно было считаться и с Османской империей — пребывание русских войск в Польше означало нарушение условий Прутского мира и было чревато конфликтом с султанским двором.

Пока корпус Шереметева черепашим темпом двигался через Польшу, совершая при этом продолжительные остановки, датские и прусские войска овладели островом Рюген. Оба короля были уверены, что они своими силами, без помощи русских овладеют Штральзундом. Датский король прислал к Шереметеву своего уполномоченного, чтобы тот предупредил фельдмаршала: союзники не нуждаются в услугах русских войск и пусть его корпус остается в Польше. В итоге сложилась ситуация, аналогичная той, когда в Померании русскими войсками командовал Меншиков: взаимная подозрительность союзников, игнорирование ими интересов России, эгоизм каждого из них лишали их возможности действовать согласованно и целеустремленно.

Шереметев был в недоумении. Оно усиливалось по мере того, как таяло продовольствие и в войсках наступал голод. Фельдмаршал отправляет запрос канцлеру Головкину, ибо от послов «известия не имеет, каких ради причин те отмены учинились и для чего требовать войск не стали». Для него было ясно одно: в данный момент он не должен уходить из Польши без царского на то указа. Между тем единственное средство облегчить положение войск и местного населения, обеспечивавшего армию провиантом, состояло в ее рассредоточении.

Царский указ был получен. Фельдмаршалу повелевалось ради укрепления «твердой дружбы» с прусским королем не выступать против его воли. Напротив, короля надлежало всячески «уласкать». Царь придумал подарить ему полсотни или даже сотню самых рослых гренадер из состава корпуса Шереметева.

В середине декабря 1715 г. Штральзунд, обороняемый шведскими войсками, предводительствуемыми самим королем, пал, и Карл XII, спасаясь, бежал на корабле. Это еще более усложнило положение Шереметева.

До тех пор пока Август II чувствовал себя на троне непрочно, он и его министры не только мирились, но даже упрашивали Шереметева оставить войска в Польше. Но как только король овладел положением, он потребовал от фельдмаршала вывода русских войск «так скоро, как возможно». Горькую пилюлю Август II решил позолотить: накануне этого

указа, 17 декабря 1715 г., он наградил Шереметева орденом Белого Орла. Это был второй иностранный орден, полученный Борисом Петровичем.

Созванный Шереметевым военный совет постановил выводить войска из Польши. Но тут был получен указ царя, видимо, продиктованный изменившейся ситуацией: фельдмаршалу велено было идти «в Померанию с поспешением, несмотря на польские дела, в каком бы состоянии они ни были». Петр подчеркивал: «Буде же по саксонским интригам король пруской будет писать, чтоб в Польше остатца, то, несмотря на то, шол бы в Померанию и делал бы с совету министров наших, кои в Померании»¹⁴.

Ломать голову, как выполнить царское повеление, Борису Петровичу не пришлось: 3 января 1716 г. к нему прибыл генерал-лейтенант В. В. Долгорукий с указом: «...для лучшего исправления положенных на него, фельдмаршала, дел послан в помочь, подполковник от гвардии князь Долгорукий». За время военной карьеры Шереметева это было третье прикомандирование к нему доверенного лица царя. Как тогда, так и теперь Шереметеву было велено исполнять все, что прикажет ему именем царя Долгорукий.

С чем было связано это назначение? Два предшествующих объяснялись медлительностью фельдмаршала. Теперь спешить будто бы было некуда. Просто Шереметев находился в плену старческой немощи и уже, видимо, был неспособен работать в полную силу.

Борис Петрович безропотно выполняет царский указ. Кажется, он был даже доволен этим своим положением, ибо оно освобождало его от обременительной и крайне сложной обязанности лавировать между противоречивыми интересами союзников. Он сразу же распорядился, чтобы командиры дивизий беспрекословно подчинялись приказам Долгорукого.

Надо полагать, что острота восприятия назначения Долгорукого значительно притупилась не только оттого, что оно было третьим по счету, но и потому, что два аристократа — Долгорукий и Шереметев — быстро нашли общий язык еще в 1711 г., когда гвардии подполковник впервые был прикомандирован к фельдмаршалу и между ними установились приятельские отношения. Вспомним, саксонский посланник Лосс свидетельствовал, что своим постом главнокомандующего русскими войсками в Польше Шереметев был обязан Долгорукому. Василий Владимирович сумел тогда внушить Петру, что если на эту должность будет назначен Меншиков, то светлейший «пожертвует всем войском в угоду прусскому королю»¹⁵.

В феврале — марте Шереметев часто встречался с царем, направлявшимся в Копенгаген — для обсуждения с союзниками плана высадки десанта на шведской территории, в Париж — чтобы уговорить французское правительство отказать Швеции в субсидиях и в Пирмонт — для лечения. В Гданьске, помимо организации приемов царя и сопровождавших его вельмож, а также польского короля, Борис Петрович участвовал в обсуждении «Устава воинского», составление которого Петр закончил, будучи в этом городе.

Жизнь Шереметева со второй половины 1716 г. и за весь 1717 г. не отражена в известных нам источниках. Ясно только, что в то время не произошло примечательных событий в биографии фельдмаршала — не было сражений ни на суше, ни на море. Эти годы не принесли ему ни радостей, ни огорчений. Зато следующий, 1718 год помечен крупными неприятностями. Они были связаны с делом царевича Алексея и глубокой убежденностью царя в том, что старый фельдмаршал в ссоре отца с сыном симпатизировал последнему.

Следует отметить, что Алексей Петрович явно преувеличивал свою популярность среди вельмож и высших офицеров, хотя вполне возможно, что те расточали ему комплименты и оказывали внимание: как-никак, они имели дело с наследником престола и понимали, что их судьба будет зависеть от его прихотей, когда он этот престол займет. Петр, взявший в свои руки следствие о сообщниках царевича, прислушивался не к общим свидетельствам сына, бог весть на чем основанным. Царь удерживал в памяти показания конкретного характера, например советы царевичу, как поступать в тех или иных случаях. Именно такой совет, компрометирующий его автора, будто и подал царевичу фельдмаршал: «Напрасно-де ты малого не держишь такого, чтоб znalся с теми, которые при дворе отцове; так бы-де ты все ведал»¹⁶.

В июне 1718 г. в новую столицу для суда над царевичем были вызваны сенаторы, вельможи и высшие офицеры, а также духовные иерархи. Под смертным приговором царевичу поставили подписи 127 персон. Список открывал светлейший князь Меншиков, далее стояли подписи адмирала Апраксина и канцлера Головкина. За ними, а быть может, и впереди них, должна была стоять подпись Шереметева, но ее нет: фельдмаршал в Петербург не приехал. Почему?

Потому ли, что он действительно был болен или всего-навсего сказался больным, чтобы не ставить своей подписи под приговором? Царь склонен был объяснять отсутствие Шереметева в столице не болезнью, а ее симуляцией. Старик, полагал царь, разделял мысли царевича и не желал насиловать свою совесть. В этой убежденности Петра укрепляли слухи, а главное — непреложный факт: за причастность к делу царевича попался В. В. Долгорукий — близкий Шереметеву человек. Вспомним, именно Долгорукий вытащил из беды фельдмаршала, когда велось следствие по доносу Рожнова.

Думается, однако, что царь в данном случае ошибся и этой своей ошибкой лишил душевного покоя Бориса Петровича и омрачил последние месяцы его жизни. Они протекали невесело. К тяжелой болезни прибавились одиночество, чувство обиды, страха и трепета перед царем. Послушаем, как он, терзаемый тоской, изливал душу самому близкому ему человеку — адмиралу Апраксину: «К болезни моей смертной и печаль мене снедает, что вы, государь мой, присный друг и благодетель и брат, оставили и не упомянутися мене писанием братским, христианским посетить в такой болезни братскою любовью и писанием пользо-

вать». Главным содержанием прочих писем Шереметева — а отсылал он их царю, А. В. Макарову, Ф. М. Апраксину, А. Д. Меншикову — были известия о состоянии здоровья, жалобы на одиночество и попытки оправдаться перед царем.

14 июня 1718 г. фельдмаршал отправил два письма: одно — царю, другое — Меншикову. Почти одинаковыми словами описывает он свою болезнь. Она, сообщил фельдмаршал царю, «час от часу круче умножается — ни встать, ни ходить не могу, а опухоль на ногах моих такая стала, что видеть страшно, и доходит уже до самого живота, и, по-видимому, сия моя болезнь знатно, что уже ко окончанию живота моего».

Шереметев сокрушался, что не мог выполнить царского указа о приезде в Петербург, и, догадываясь о сомнениях Петра относительно состояния своего здоровья, обращался к нему с просьбой: «...в той моей болезни повелеть освидетельствовать, кому в том изволите поверить». Меншикова он тоже просит при случае сказать Петру: «...дабы его величество в моем неприбытии не изволил гневу содержать»¹⁷.

Обращение Бориса Петровича к царю осталось без ответа. Тогда он отправил письмо Макарову с уверениями, что ему не доставляет радости жизнь в Москве: «Москва так стоит, как вертеп разбойничий — все пусто, только воров множитца и беспрестанно казнят» — и если бы он был здоров, то ни в коей мере не пожелал бы «жить в Москве, кроме неволи». И далее следуют слова, рассчитанные на уши не столько Макарова, сколько Петра: «Я имею печаль, нет ли его, государева, на меня мнения, что я живу для воли своей, а не для неволи, и чтобы указал меня освидетельствовать, ежели жива застанут, какая моя скорбь и как я, на Москве будучи, обхожусь в радости». Назначение последних слов очевидно: они должны были опровергнуть кем-то нашептываемые царю сведения о его беззаботной и веселой жизни в Москве. Возможно также, что подобное представление сложилось у Петра и в результате того, что одно из писем (17 мая 1718 г.) Шереметев отправил не из Москвы, а из своего села Вошажникова. Следовательно, мог рассуждать царь, Шереметев располагал здоровьем, чтобы посетить свою вотчину, и не имел сил, чтобы приехать в Петербург.

Кстати, историкам почти неизвестны источники хозяйственного содержания, вышедшие из-под пера Шереметева. Быть может, они не сохранились, но скорее всего походная жизнь фельдмаршала не предоставляла ему условий для вмешательства в повседневную жизнь своих вотчин. Лишь на исходе дней своих Борис Петрович оставил документы, позволяющие взглянуть на него как на барина, владельца многих тысяч крепостных крестьян.

В одном из писем конца 1715 г. русскому послу в Копенгагене Василию Лукичу Долгорукову Борис Петрович бросил фразу: «...а мое и богатство в лошадях». Фельдмаршал явно приbedнялся. Его конюшня являлась, скорее, предметом гордости, а не богатства. Послушаем, с каким упоением и чванством он описывал состав конюшни: «Есть аргамаки турецкие и

одна персицкая да две арабских, и коней чистых имею, рослых и удалых и широких ногайских»¹⁸.

Главное богатство Шереметева составляли вотчины. Если верить Борису Петровичу на слово, то путешествие на Мальту обошлось ему в 20 500 руб. — сумму по тем временам колоссальную. Но из этого следует, что боярин принадлежал к числу весьма богатых людей. В конце 70-х годов XVII в. он владел 2910 дворами. В последующие десятилетия он свое богатство умножил.

Фельдмаршал обладал особым даром клянчить пожалования. Он нередко выступал в роли докучливого попрошайки и так умел живописать свое бедственное положение и слезно просить, создавая мастерски исполненную картину своей бедности, что, не удовлетвори его мольбы, он оскудеет настолько, что будет скитаться, как тогда говорили, «меж двор» и кормиться Христовым именем. Приведем в качестве примера описание Шереметевым своего материального положения в письме Ф. А. Головину: «Также и о себе милости прошу — дайте мне, чем жить. А естли не ладите со удовольствием, ей, пойду нищетки». Если верить его словам, он был готов даже продать или заложить свои деревни: «А хотя ныне и купцов нет на деревни, и я крест бы Мальтийской и другой заложил. Не до кавалерства стало». На память ему пришла пословица: «Хотя мужиком слыть, только бы сыту быть». Мольба, обращенная к тому же Головину в 1706 г.: «...подай мне помощи о жалованье, не знаю, в чем прослужился, что в том имею обиду. Пью и ем хотя и все государево, а на иждивение домовое взять негде»¹⁹.

Реальные доходы Шереметева решительно опровергают его жалобы. В 1708 г. фельдмаршал владел 19 вотчинами. В них было 6282 двора, населенных 18 031 душой мужского пола, с которых он получал только ленежного оброка около 11 тыс. руб. в год. Если к этому прибавить натуральный оброк (мед, мясо, птица, масло, яйца и т. д.), а также барщинные повинности, то общий доход помещика Шереметева с вотчин, надо полагать, составлял никак не менее 15 тыс. руб. в год. Фельдмаршал получал самое высокое в стране жалованье — свыше 7 тыс. руб. в год.

Владения Шереметева продолжали расти и после 1708 г. Как уже упоминалось, в 1709 г. царь в честь Полтавской виктории пожаловал фельдмаршала деревней Черная Грязь. Борис Петрович навел справки об этой вотчине и уже 19 июля, по горячим следам, обратился к Меншикову с просьбой ходатайствовать перед царем, чтобы к Черной Грязи была придана пустошь Соколово: «А ежели той пустоши отдано не будет, то и помянутая Черная Грязь не надобе». Шереметев проявил завидную настойчивость в домогательствах. Через неделю он отправил князю новое напоминание: без пустоши Черной Грязью «не изволите меня отягчать»²⁰.

За успехи в Прибалтике Шереметев не успел исхлопотать себе пожалование, так как должен был срочно отправиться в Прутский поход. Фельдмаршал отличался практицизмом и после похода решил наверстать упущенное. 1 августа 1711 г. он обратился с просьбой к царю — «не за

услуги мои, но из милости вашей» пожаловать домом в Риге и староством Пибалг в Лифляндии²¹. «Милости» он удостоился, став таким образом прибалтийским помещиком.

Знакомство с содержанием хозяйственной переписки Шереметева вызывает удивление. Можно подумать, что автор не смертельно больной старик, а человек в расцвете сил и его энергия направлена на реализацию планов, рассчитанных на многие годы. Удивляет и другое: перед читателем предстает совсем иной Шереметев — не робкий, всегда боявшийся царского гнева, заискивающий перед «нужными» людьми человек, а суровый и беспощадный крепостник, не знавший ни снисхождения, ни сострадания. Стоя уже одной ногой в могиле, он ожесточился настолько, что ему стало чуждо понимание чужого горя.

Крестьяне жаловались Шереметеву, что они «помирают ныне с голоду», и просили его освободить их от повинностей. Барин ответил, что если он предоставит им просимую льготу, то сам будет «скитаться по миру». Крестьяне Вошажниковской волости попросили Бориса Петровича «обольготить для пожарного разорения». Щедрость барина не простиралась далее распоряжения приказчику о выдаче челобитчикам, оказавшимся без крова и хлеба, по четверти ржи на человека и освобождении их от барщинных и оброчных повинностей на год, «а подати великого государя велеть платить им без доимки». Резолюции фельдмаршала на крестьянские челобитные коротки, выразительны и безапелляционны: «Доправить неотлагательно» или «Старосту и выборных, бив кнутом, и велю доправить пению деньгами немалыми»²².

Крестьянам вообще запрещалось обращаться к барину с жалобами: «...бить челом к Москве не приходили б ко мне, кроме необходимых самых нужных дел, которых приказной человек, кроме нашей персоны, судить не может». Тут же угроза подвергнуть слушников жестокому наказанию: «...несмотря хотя б чье и правое челобитье было, только за одну противность указу моего». Это была не пустая угроза. За месяц до смерти Шереметев велит приказчику одной из вотчин: «...крестьянам на мирском сходе учинить жестокое наказание, для чего они, не явсья к тебе, из вотчин уезжают и оставляют тяглы свои пусте»²³.

Крестьяне, пострадавшие от двухлетнего подряд недорода, обратились к Борису Петровичу за послаблением в правее повинностей. «Оскудали вконец без остатку, — жаловались они, — пить и есть стало нам нечего, помираем ныне с голоду, и больши половины волости ходили с женами с ребятишками в мире, купить не на что, а хлебным денежным податям ныне платежи и наряды великие». На крестьянскую челобитную, заканчивавшуюся призывом «государь, смилуйся!», фельдмаршал 4 мая 1718 г. наложил резолюцию. Она выразительно высвечивает еще одну грань характера Бориса Петровича: «...слушав сего челобитья, во всем отказать, а впреть не бить челом: ведаете вы сами, что я сию волость купил кровью своей, и дана мне сия волость на всякое мне довольство, и челобитную

вам сию нехто плут советовыщик писал, и обалыготить мне вам нельзя. Ежели вас обалыготить, то разве мне самому скотатца по миру».

Как и многие вельможи петровского времени, Шереметев не чурался извлекать доходы из источников, не связанных с крепостным хозяйством. В 1719 г. он велит приказчику ржевской вотчины взять на откуп кабаки. Он поощряет усердие другого приказчика по сооружению мельницы: «...ты пишешь о построении мельницы и обещаешь в том нам прибыль, и за то тебя похваляю». Ему же он поручил скупать шкурки белки и рыси, но при одном условии: если цена на эти шкурки на месте скупки ниже, чем в Москве, а если дороже — «какая нам в том будет прибыль», рассуждал помещик.

Содержание распоряжений Шереметева по Вошажниковской волости наводит на мысль, что он проявлял неизмеримо больше заботы о лошадях, чем о людях. Обычно распоряжения вотчинным приказчикам составляли служители домового канцелярии фельдмаршала в Москве. Шереметев не устаивал такие распоряжения подписью собственной фамилии. Вместо нее он писал два слова, отражавшие высокомерие барина: «рука моя».

Когда же речь шла о лошадях, то Борис Петрович снисходил до сочинения собственноручных писем или приписок. «По отписки твоей мне известно, — писал он приказчику, — что лошади, которые хромлют, вели их лечить и прикажи стремянному конюху Кастентину Докучаеву, чтобы их лечил неоплошна, а больши сам присматривай». Должный уход за лошадьми и строгий надзор за соблюдением их рациона — предмет особой заботы фельдмаршала. Нерадивые конюхи подлежали суровому наказанию. «Ежели от наказания не уймутся, то их присылать к Москве», — велит он приказчику. В другом письме он извещал, что отправил в вотчину две кобылы «агленские». Барин дотошно знал каждую лошадь своей конюшни, ее масть, приметы и сохранил цепкую память до конца дней своих. Судите сами. «Да пришли ко мне тотчас кобылу буланую, — велел он вошажниковскому приказчику 20 сентября 1718 г., — задняя нога по щотку беленька, которая была при мне отбрана итить со мною к Москве»²⁴.

Запоздалая хозяйственная активность вотчинника сокращалась по мере ухудшения здоровья — усилия докторов не приносили облегчения больному. Тогда Борис Петрович решил отправиться на Марциальные воды. Это была его последняя надежда на исцеление. Он так и писал Макарову в конце сентября 1718 г.: «А ныне для последнего искушения желаю ехать к Олонекским водам, где, ежели от болезни своей не освобожуся, то впредь какого к тому способа изобретать — не знаю». Отправил он и письмо царю с просьбой разрешить ему поездку на курорт.

Ответное письмо Петра в какой-то мере объясняет причину царского недоверия к пребыванию Бориса Петровича в Москве. 18 октября 1718 г. Шереметев прочел следующее послание царя: «Письмо твое я получил, и что желаешь ехать к водам, в чем просишь позволения, и се то вам по-

зволюется, а оттоль сюда. Житье твое на Москве многие безделицы учинило в чужих краях, о чем, сюда как приедешь, услышишь»²⁵. Остается гадать, что подразумевал Петр под «многими безделицами», распространяемыми «в чужих краях». Скорее всего «безделицы» не что иное, как ходившие на Западе слухи о том, что Шереметев отсиживался в Москве в знак протеста против расправы отца над царевичем Алексеем.

Шереметев обещал прибыть в Петербург с Марциальных вод независимо от исхода лечения и в который раз пытался убедить царя, что он не обманывал его. Я, писал фельдмаршал царю, «милостию вашего величества вознесен и вами живу, то как на конец жизни моей явлюся пред вашим величеством в притворстве, а не в ыстине».

Хлопоты о разрешении отправиться на Марциальные воды оказались напрасными: у фельдмаршала уже не было сил на столь дальнее путешествие. Бодрился он зря. Напрасными были и хлопоты о реабилитации себя перед царем. Подтверждением тому является царский указ обер-коменданту Москвы Ивану Измайлову, дабы тот доставил фельдмаршала в Петербург по зимнему первопутку.

20 ноября 1718 г. к крыльцу московского дома фельдмаршала были поданы карета и подводы, дабы везти Бориса Петровича в столицу. Выезд, однако, не состоялся. Измайлов извещал Макарова: «...болезнь его гораздо умножилась: опух с ног и до самого пояса и дыханье захватывает, и приобщали святых тайн, и ныне в великом страхе». Больного обследовали доктора и в заключении написали, что он страдает «водяною болезнию». Вывод медиков был таков: «...в такой скорби и в такую стужу без великой беды ныне его отпустить невозможно». Заключение, видимо, рассеяло сомнения царя относительно здоровья Шереметева. Во всяком случае, Макаров — конечно же не без ведома Петра — написал Измайлову, «дабы ево не трудить отъездом с Москвы».

Последнее письмо с автографом Бориса Петровича датировано 30 ноября 1718 г. Оно адресовано Макарову. Даже если бы Борис Петрович не сообщал в нем: «...по-прежнему зело в тяжкой болезни обретаюсь и с постели встать не могу», то подпись вполне выдает состояние больного. Она поставлена нетвердой рукой, без всякого нажима, так что ее едва можно разобрать²⁶.

Умер фельдмаршал 17 февраля 1719 г. В завещании, составленном 20 марта 1718 г., Борис Петрович распорядился похоронить себя в Киево-Печерской лавре, рядом с могилой своего сына Михаила: «Желаю по кончине своей почить там, где при жизни своей жительства иметь не получил», т. е. там, где ему не было разрешено пострижение.

Царь, однако, посчитал, что первый в России фельдмаршал не волен распоряжаться собой даже после смерти: он заставил служить «государственному интересу» и мертвого Шереметева.

Новой столице недоставало своего пантеона. Петр решил создать его. Могила фельдмаршала должна была открыть захоронение знатных персон в Александро-Невской лавре. По велению Петра тело Шереметева было

доставлено в Петербург. Церемония торжественного захоронения состоялась 10 апреля 1719 г.

Смерть Шереметева и его похороны столь же символичны, как и вся жизнь фельдмаршала. Умер он в старой столице, а захоронен в новой. В его жизни старое и новое тоже переплетались, создавая портрет деятеля периода перехода от Московской Руси к европеизированной Российской империи.

Народная память сохранила имя Шереметева как полководца, громившего шведов во главе лихой московской пехоты и кавалерии:

Не две грозные тучи на небе всходили,
Сражались два войска тут большие,
Что московское войско со шведским...
Запалила Шереметева пехота
Из мелкого ружья и из пушек.
Тут не страшный гром из тучи грянул,
Не звонкая пушка разродилась,
У боярина тут сердце разъярилось.
Не сырая мать-земля разступилась,
Не синее море всколебалось,
Примыкали штыки тут на мушкеты.
Бросали все ружья на погоны,
Вынимали тута вострые сабли,
Приклоняли тут булатные копыя,
Гнались за шведским генералом
До самого до города до Дерпта.
Как расплачутся тут шведские солдаты,
Во слезах они чуть слова промолвят:
«Лихая-де московская пехота
На вылазку часто выступает
И тем нас жестоко побеждает».
Тут много мы шведов порубили
И втрое того в полон их взяли,
Тем прибыль царю учинили²⁷.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
ТОЛСТОЙ

ДЕДУШКА В ВОЛОНТЕРАХ

Давно не видела Первопрестольная такого скопления роскошных карет, блиставших золотом и серебром мундиров военных и гражданских чинов, разодетых в парчу дам, как в майские дни 1724 г. Сенаторы, президенты коллегий, генералы, церковные иерархи во главе с Синодом, губернаторы, придворные, иноземные послы, наконец, царствующая чета прибыли в старую столицу на церемонию коронации императрицей супруги Петра Великого — Екатерины Алексеевны.

Ничего более торжественного не происходило в Кремле уже несколько десятилетий. Из царских кладовых извлекли давно не употреблявшуюся и поэтому утратившую блеск серебряную посуду и бокалы. В Грановитой палате, где раньше принимали иностранных послов, а теперь решили устроить торжественный обед, все обветшало и было спешно обновлено: трон, балдахин, столы для гостей, ковры, бархат. В Успенском соборе соорудили помост, где должно было совершиться возложение короны. Улицы Москвы украшали триумфальные арки, на площадях заканчивались приготовления к невиданному фейерверку.

Придворные дамы и жены вельмож сбились с ног в поисках портных, чтобы запастись богатыми робами. Более всех празднество волновало бывшую прачку, волей случая ставшую супругой великого человека и императора могущественной державы, — Екатерину Алексеевну. Для нее была изготовлена мантия из парчи с вышитым на ней двуглавым орлом, подбитая горностаем, из Парижа привезли карету. Самой главной достопримечательностью церемонии должна была стать корона, предназначенная для Екатерины. «Корона нынешней императрицы, — записал в «Дневнике» камер-юнкер Ф. В. Берхгольц, которому показали другие короны, в том числе и корону Петра Великого, — много превосходила все прочие изяществом и богатством; она сделана совершенно иначе, т. е. так, как должна быть императорская корона, весит 4 фунта и украшена весьма

дорогими камнями и большими жемчужинами... Делал ее, говорят, в Петербурге какой-то русский ювелир».

Церемония коронации была проведена 7 мая 1724 г. в Успенском соборе. Туда под звон всех московских колоколов и звуки полковых оркестров, расположившихся вместе с гвардейскими полками на дворцовой площади Кремля, в 11 утра прибыла царская чета. У входа в собор ее приветствовали высшие духовные чины в богачайших облачениях. Артиллерийские залпы возвестили, что царь самолично возложил корону на голову стоявшей на коленях Екатерины, а придворные дамы прикрепили мантию.

В Грановитой палате состоялся торжественный обед. «В то же время, — отметил Берхгольц, — отдан был народу большой жареный бык, стоявший перед дворцом среди площади на высоком, обитом красным холстом помосте, на который со всех сторон вели ступени. По обеим сторонам его стояли два фонтана, которые били вверх красным и белым вином, нарочно проведенным посредством труб с высокой колокольни Ивана Великого под землю и потом прямо в фонтаны для сообщения им большей силы».

На следующий день императрица принимала поздравления. «В числе поздравителей находился и сам император». Он, как писал Берхгольц, в соответствии со своим чином командира Преображенского полка «по порядку старшинства принес свое поздравление императрице, поцеловав ее руку и в губы»¹.

Мы подробно остановились на этом событии не ради того, чтобы отметить роль в нем Толстого, выполнявшего обязанности главного распорядителя торжества, а потому, что с церемонией коронации было связано появление интересного для нас документа.

Коронованной Екатерине было дозволено совершить несколько самостоятельных актов. Одним из них она возвела Толстого в графское достоинство. В дипломе, выданном Толстому позже, 30 августа 1725 г., в соответствии с правилами составления документов такого рода сообщена краткая родословная его владельца. Именно благодаря диплому мы располагаем сведениями о предках действительного тайного советника и кавалера ордена Андрея Первозванного Петра Андреевича Толстого.

Самого высшего чина достиг отец Петра Андреевича — Андрей Васильевич, пожалованный, будучи воеводой, чином думного дворянина за мужественную оборону Чернигова от войск гетмана-изменника Брюховецкого. Имена дальних и близких родственников Андрея Васильевича история не сохранила. Именно поэтому некоторый интерес приобретают крупные сведения из родословной, запечатленной в дипломе. Сразу же оговоримся, что, хотя эти сведения не вызывают полного доверия, мы не можем с полным на то основанием сказать, что в них соответствует истине и что выдуманно.

В самом деле, образованный и начитанный человек, принадлежавший к духовной элите своего времени, при составлении родословной не мог удержаться от искушения повторить в такой же мере банальную, как и

модную, версию о своем родоначальнике, вышедшем, разумеется, из немецкой земли: «...прародитель, именем Гендрих, произшедший из древней благородной и знатной фамилии из Германии, в лето 1352 з двумя своими сыновьями и с 3000 мужьями людей и служителей своих выехал в наше Всероссийское государство в город Чернигов». Здесь Гендрих принял православие и стал зваться Леонтием, а его сыновья — Константином и Федором. Внук Константина — Андрей приехал из Чернигова в Москву, где ему было «приложено прозвание Толстой, и от того времени сия фамилия прозвание Толстых имела и писалась».

Прадед и дед Петра Андреевича в конце XVI — начале XVII в. служили воеводами, а отец после успешного черниговского сидения «определен был в Большом полку с князем Васильем Голицыным в товарищах воеводой», участвовал в обороне Чигирина².

Как видим, карьера Андрея Васильевича на последнем отрезке его жизненного пути протекала под эгидой Василия Васильевича Голицына. С князем был связан и его сын. Служба Петра Андреевича, как и служба большинства детей служилых людей средней руки, проходила при отце. На этот счет имеются показания самого Петра Андреевича, зарегистрированные еще в 1680 г. Толстой тогда поведал, что с 1665 по 1669 г. он находился на государевой службе при отце в Чернигове, где «в осаде сидел тридцать три недели». Вместе с отцом участвовал он и в Чигиринских походах В. В. Голицына.

Из-под родительской опеки Толстой освободился, будучи уже достаточно взрослым человеком, в 1671 г., когда ему было 26 лет. В этом году он получил чин стольника при дворе царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, а спустя шесть лет стал стольником при дворе царя Федора Алексеевича. Петр Андреевич не извлек материальных выгод из своей службы. Во всяком случае, вплоть до 1681 г. он неизменно показывал: «...государева жалованья, поместья и вотчин за мною нет ни единого двора, ни единой четверти»³.

Известно, что Петр Толстой принимал живейшее участие в стрелецком бунте 1682 г. Прежде чем описать роль его в этом событии, коротко расскажем о том, как оно протекало.

После смерти 27 апреля 1682 г. царя Федора Алексеевича на царскую корону претендовали два его брата: старший из них — Иван родился от первой жены царя Алексея Михайловича — Марии Ильиничны Милославской; младшим был Петр, родившийся от второго брака. Матерью его была Наталья Кирилловна Нарышкина.

Конечно же, ни косноязычный и подслеповатый Иван, болезненный и скудоумный, ни десятилетний Петр, хотя и отличавшийся живым умом, по малолетству не помышляли о троне. За их спиной и их именем действовали взрослые родственники. Кандидатуру Ивана поддерживали Милославские, среди которых выделялся немолодой, опытный и энергичный интриган боярин Иван Михайлович Милославский. Душой этой группировки была царевна Софья — умная, властная и честолюбивая женщина.

Она не пожелала коротать время в тереме и решила попытать счастья в борьбе за трон. На стороне Петра находились Нарышкины — мать и дядя Петра, среди которых не было ни одной сколько-нибудь значительной фигуры.

Преимущественным правом наследовать престол обладал Иван, но при активной поддержке патриарха Иоакима царем был провозглашен Петр. Группировка Милославских не смирилась с этим и в борьбе против Петра и Нарышкиных апеллировала к стрельцам. Стрелецкое войско, пользовавшееся при царе Алексее Михайловиче существенными льготами и привилегиями, лишилось их при безвольном и больном Федоре Алексеевиче, лишь номинально значившемся царем. Страной правили временщики, более всего обеспокоенные личной наживой. Слабостью центральной власти воспользовались командиры стрелецких полков. Они обирали своих подчиненных, использовали их труд в своем хозяйстве и жестоко наказывали за малейшую провинность. У стрельцов были, следовательно, свои основания для недовольства, и требовался лишь небольшой толчок, для того чтобы привести эту массу вооруженных людей в движение.

Группировка Софьи — И. М. Милославского ловко направила гнев стрельцов на своих противников в борьбе за власть — Нарышкиных. Среди стрельцов пронесся слух, исходивший от Милославских и оказавшийся, как потом выяснилось, ложным, о том, что Нарышкины «извели» царевича Ивана. 15 мая 1682 г. по зову набата стрелецкие полки с развернутыми знаменами и барабанным боем двинулись к Кремлю, чтобы расправиться с неугодными боярами. Список их был составлен заранее и подброшен стрельцам.

В итоге кровавых событий 15 — 17 мая большая часть Нарышкиных и их сторонников была истреблена. Стрельцы провозгласили царями Ивана и Петра, а регентшей при них до их совершеннолетия — царевну Софью. Власть фактически оказалась в руках Софьи. Она правила страной до 1689 г., когда победу в борьбе с ней одержал Петр.

Петр Андреевич Толстой в острой схватке за власть действовал на стороне Софьи и Милославских. Не вполне ясно, какие пути-дороги привели Толстого в лагерь противников Петра.

Для французского консула Виллардо, составившего краткую биографию Толстого, сомнений в мотивировке поступков Петра Андреевича не существовало. Он писал: «Смерть царя Федора заставила его (Толстого. — Н. П.) покинуть двор и поступить на военную службу. Он стал адъютантом одного из генералов того времени, Милославского, который был главным зачинщиком бунта стрельцов против царя Петра Первого»¹.

Сомнительно, однако, чтобы в течение 18 дней, отделявших смерть царя Федора от бунта 15 мая, Петр Толстой, человек очень осмотрительный и осторожный, очертя голову бросился в водоворот бурных событий, участие в которых могло стоить ему головы. Но версия Виллардо, дополненная сведениями из биографии боярина А. С. Матвеева — опоры Нарышкиных, становится уже убедительной. «Записки» Андрея Артамоно-

вича Матвеева, сына казненного стрельцами Артамона Сергеевича, подтверждают заявление Виллардо о том, что Толстой был адъютантом или есаулом Милославского, и в дополнение к этому сообщают важную деталь: братья Толстые доводились И. М. Милославскому племянниками. Именно родственные отношения проясняют позицию П. А. Толстого в споре брата с сестрой за корону. Впрочем, документальных данных, подтверждающих родство Милославских с Толстыми, нет. Между тем иметь бы их не мешало, ибо в другом сочинении, описывающем эти же события, племянником И. М. Милославского назван Александр Иванович Милославский, а о родственных связях Петра Толстого с Иваном Михайловичем нет ни слова⁵.

Роль Толстого в майских событиях 1682 г. сводилась к тому, что он — по одним сведениям лично, а по другим — через клеветов — распространял среди стрельцов провокационный слух об умерщвлении царевича Ивана, чем подвигнул их на поход к Кремлю. «Записки» А. А. Матвеева сообщают такую подробность, как масть лошадей, что по идее должно было придать описанию факта большую достоверность: Александр Милославский и Петр Толстой, «на прытких серых и карих лошадях скачучи, кричали громко, что Нарышкины царевича Иоанна Алексеевича задушили и чтоб с великим поспешением они, стрельцы, шли в город Кремль на ту свою службу»⁶.

Заметим, что в «Записках» нашло отражение резко враждебное отношение их автора к Толстому. И это неудивительно, ибо А. А. Матвеев считал его одним из виновников гибели своего отца. Тем не менее Андрей Артамонович отозвался о братьях Толстых как о людях «в уме зело острых и великого пронырства». Они имели прозвище шарпенков.

О 13 последующих годах жизни Толстого (1682 — 1694) ничего не известно, кроме того, что он возобновил службу при дворе. За услугу, оказанную Софье во время бунта, Петр Андреевич был пожалован в комнатные стольники к царю Ивану Алексеевичу.

Можно сказать с уверенностью, что Софьей он не был обласкан, как, впрочем, не был окружен заботой и Петром. Имя Толстого упомянуто известными нам источниками лишь в 1694 г., когда он в глухомани, в Устюге Великом, служил воеводой. Во время путешествия Петра в Архангельск прибытие его в Устюг Великий было ознаменовано пушечным и ружейным салютом с крепостного вала. Воевода предложил гостям ужин.

Надо полагать, что личная встреча царя с Толстым положила начало сближению между ними. Взгляните на гравюру Шхонебека, запечатлевшую конную группу участников взятия Азова: в центре ее с саблей в руке — Петр, за ним (справа налево) — П. А. Толстой, М. Б. Шереметев, Лефорт (спиной), А. М. и Ф. А. Головины, Гордон-младший и П. Гордон (в профиль), справа от Петра — А. С. Шеин. К этому времени Толстой вернулся на военную службу и получил чин сначала прапорщика, а затем капитана гвардейского Семеновского полка.

Надо отдать должное умению Петра Андреевича приспособляться к изменяющейся обстановке. Другой на его месте, потерпев неудачу в

борьбе за трон на стороне Софьи, замкнулся бы в себе или озлобился в ожидании либо падения, либо смерти Петра и участвовал бы в заговорах против него, как то делал думный дворянин полковник стрелецкого Стрельянного полка И. Е. Циклер. Толстой так не поступил.

Он проявил выдержку, терпение и понимание того, что единственный путь поправить свои дела лежал через завоевание доверия царя. Этой целью и руководствовался Петр Андреевич, когда в 1697 г. в возрасте 52 лет, будучи дедушкой, испросил у царя разрешения отправиться волонтером в Италию.

Толстой знал, что делал: ничто не могло вызвать такого расположения царя, как желание изучать военно-морскую науку.

Хотя Толстой и значился в общем списке с 37 отпрысками знатнейших фамилий, но при чтении его «Путевого дневника» создается впечатление, что он ехал в Италию в полном одиночестве и, находясь в этой стране, не общался с прочими волонтерами. Между тем документы итальянских архивов свидетельствуют, что Толстой жил в Италии, овладевал там военно-морским делом и путешествовал по стране вместе с другими учениками.

Дневниковые записки Толстого — великолепный источник для изучения мироощущения их автора, круга его интересов и вкусов. Уместно напомнить, что почти одновременно с Толстым туда держал путь и Шереметев, тоже оставивший путевые записки.

Толстой и Шереметев занимали разные ступени социальной иерархии русского общества. Петр Андреевич отправился в путь, имея скромный чин стольника; Борис Петрович — выходец из древнего аристократического рода, боярин. Эти различия подчеркивала свита: у Шереметева она была многочисленной и даже пышной; Толстого же сопровождали два человека — солдат и слуга. Толстой вел дневник сам; Шереметев подобным занятием себя не обременял: записи вел кто-то из его свиты.

Петр Андреевич выехал из Москвы 26 февраля 1697 г., имея инструкцию с перечнем знаний и навыков, которыми он должен был овладеть в Италии. Главная цель пребывания в этой стране — научиться пользоваться морскими картами, овладеть искусством водить корабли и управлять ими во время сражения. В знак особого усердия волонтеры, и среди них Толстой, могли обучиться также кораблестроению и за это «получить милость большую по возвращении своем».

Границу России Толстой пересек 23 марта, а неделю спустя переправился на пароме через Днепр и оказался «в городе короля польского Могилеве». С этого времени дневниковые записки становятся более обстоятельными — чем дальше на запад, тем ярче достопримечательности: «И ехал я от Вены до итальянской границы 12 дней, где видел много смертных страхов от того пути и терпел нужду и труды от прискорбной дороги». Как и Шереметеву, Толстому врезался в память и вызвал у него немало переживаний путь через Альпы: «...не столько я через те горы ехал, сколько шел пеш и всегда имел страх смертный пред очима»⁷.

Сопоставление дорожных впечатлений Шереметева и Толстого показывает, что путешественники обладали разной степенью наблюдательности и любознательности и далеко не одинаковым умением фиксировать свои впечатления. Предпочтение по всем параметрам должно отдать Толстому. Если бы Россия того времени знала профессию журналиста, то первым из них мог стать Петр Андреевич. Для этого у него были все данные: наблюдательность, владение острым пером, умение сближаться с людьми в незнакомой стране.

«Путевой дневник» помогает составить представление о Толстом через восприятие им увиденного: что привлекло внимание автора, что сохранила его память и что попало на страницы сочинения, а что осталось незамеченным; как путешественник был подготовлен к тому, чтобы в полной мере оценить увиденное.

Цель приезда Толстого в Италию предоставляла ему право ограничить свой интерес военно-морским делом. Но Толстой-путешественник достаточно выпукло проявил одно из свойств своего характера — любознательность. Куда она его только не приводила — в церкви и монастыри, зверинцы и промышленные предприятия, учебные заведения и госпитали, правительственные учреждения и ватиканские дворцы! Он не довольствовался личными наблюдениями, так сказать зрительными впечатлениями, и постоянно вопрошал, стремясь постичь суть явления. Общению с итальянцами помогало знание языка, которым он в совершенстве овладел за время пребывания в стране.

Петр Андреевич обладал рядом способностей, крайне необходимых путешественнику: находясь в чужой стране, среди незнакомых людей, он не проявлял робости, вел себя с достоинством, как человек, которого ничем не удивишь, ибо он ко всему привык; другой дар — умение заводить знакомства, располагать к себе собеседника. Скованность была чужда складу его характера, и он быстро находил пути сближения с множеством людей, с которыми встречался.

Можно привести целый ряд примеров того, как общительность Толстого и его обаяние оказывали ему добрую услугу. В городе Бари Петр Андреевич настолько пленил губернатора, что тот обратился к своему брату, жившему в Неаполе, с просьбой учинить нашему путешественнику «почтение доброе». Приехав в Неаполь, он оказался под опекой дворянина, который, как записал Толстой, «принял меня с любовью». Гостеприимство и предупредительность неаполитанцев к Толстому проявлялись во многом: то они изъявили желание показать приезжему учебное заведение, то «неаполитанские жители, дуки, маркизы и кавалеры» просили его разделить с ними компанию в морской прогулке. Любезность неаполитанских дворян простиралась до того, что они «разсуждали с великим прилежанием о проезде» его в Рим.

Об умении внушать к себе доверие свидетельствует любопытнейший факт, имевший место в том же Неаполе. Вместо уплаты наличными за проживание в гостинице Толстой оставил ее владельцу «заклад до выку-

пу», т. е. заемное письмо на 20 дукатов, на следующих условиях: «...ежели кому московскому человеку случится в Неаполь приехать, чтоб тот мой заклад у него выкупил, а я ему за то повинен буду платить».

Покидая Неаполь, Толстой заручился рекомендательным письмом к мальтийским кавалерам; его «писал один мальтийский же кавалер из Неаполя и просил их о том, чтобы они явились ко мне любовны и показали б ко мне всякую ласку»⁸.

Сравнение «Путевого дневника» Толстого с «Записками путешествия» Шереметева выявляет общую для обоих авторов черту: они чаще всего ни прямо, ни косвенно не выражают своего отношения к увиденному и услышанному и как бы бесстрастно регистрируют свои впечатления. Хорошо или плохо, что улицы многих городов вымощены камнем и освещаются фонарями? Достойно ли подражания устройство парков и фонтанов или презрительное отношение к пьяницам? Следует ли перенять устройство госпиталей, где лечили и кормили бесплатно, а также академий с бесплатным обучением? Не высказал Толстой прямого отношения к легкомысленному поведению венецианок, хотя, надо полагать, оно ему было вряд ли по душе.

Из сказанного отнюдь не вытекает, что эмоции Толстого спрятаны так глубоко, что читатель лишен возможности увидеть позицию автора. Из такта, чтобы не обидеть гостеприимную страну, он не осуждал того, что было достойно осуждения. Из тех же соображений он не осуждал порядков в родной стране, хотя имел множество возможностей для сопоставления и прогивопоставления, причем родное не всегда представлялось ему в выгодном свете. Перед читателем предстает человек доброжелательный. В его взгляде скорее изумление и снисходительность, нежели вражда и настороженность.

Центральное место в «Записках путешествия» Шереметева занимает описание аудиенций у коронованных особ: у польского короля, цесаря, а также у мальтийских кавалеров и папы римского.

Шереметев провел в Вене около месяца и только шесть дней потратил на приемы и банкеты. Следовательно, Борис Петрович располагал уйма времени, чтобы осмотреть достопримечательности австрийской столицы, поделиться впечатлениями об увиденном, рассказать о встречах с интересными собеседниками. Ничего этого в «Записках путешествия» нет. Напрашивается мысль, что остальные 20 дней Шереметев коротал в гостинице и был абсолютно равнодушен к тому, что находилось за ее пределами. Вряд ли, однако, Борис Петрович лишил себя удовольствия осмотреть город и его окрестности. Но следов этого интереса он не оставил.

Иное дело — Толстой. В Вене он пробыл лишь шесть дней, но сколько за этот короткий срок он увидел и описал! Что только не бросилось ему в глаза: и отсутствие деревянных строений в городе, и «изрядные» кареты, в которых восседали аристократы, и обилие церквей и монастырей! Петр Андреевич посетил костел, цесарский дворец, монастырь. Каждый визит

отмечен записью необычного. В костеле его поразила многолюдный хор и оркестр — 74 человека. В цесарском дворце, расположенном у самой городской стены, его внимание привлекли разрушения. Они, как выяснил Толстой, были результатом артиллерийского обстрела дворца османами, осаждавшими город. Он успел осмотреть зверинец, в котором «всяких зверей множество»; изваяние Фемиды у ратуши — «подобие девицы вырезано из белого камня с покровенными очми во образе Правды, якобы судит, не зря на лицо человеческое, праведно»; посетил госпиталь, где больных содержали бесплатно. Потолкался он и в рядах городского рынка, где обнаружил обилие всякого рода товаров. В парке ему приглянулись клумбы, затейливо обрезанные кустарники, а также обилие цветов в горшках, расставленных «архитектурально».

Наибольший интерес представляет та часть «Путевого дневника» Толстого, в которой запечатлено его пребывание в Италии. Петр Андреевич исколесил почти всю страну, посетив Венецию, Бари, Неаполь, Рим, Флоренцию, Болонью, Милан, Сицилию. Стольнику не довелось побывать лишь на северо-западе Апеннинского полуострова — в Турине.

В Италию Толстой прибыл, располагая достаточно обширным багажом впечатлений. Путешественника, например, не могли уже удивить каменные здания и вымощенные улицы итальянских городов. Поразила Толстого Венеция. У него разбегались глаза — столько непривычного представало перед его взором: каналы вместо улиц, способ передвижения по городу, внешний вид зданий. По инерции Толстой отметил, что в Венеции «домовное строение все каменное», но тут же счел необходимым подчеркнуть неповторимые черты города: «В Венеции по всем улицам и по переулкам по всем везде вода морская и ездят во все дома в судах, а кто похочет идтить пеш, также по всем улицам и переулкам проходы пешим людям изрядные ко всему дому».

Дома «изрядного каменного строения» либо «доброй работы» Толстой видел в Местре, Виченце, Вероне, Болонье. Судя по «Путевому дневнику», его автор не пылкая натура, легко поддающаяся эмоциям при осмотре ранее невиданного, а умудренный жизненным опытом человек, у которого рассудок берет верх над чувствами. Восторженность несвойственна Петру Андреевичу: он хладнокровен, а иногда даже сдержан при описании увиденного. Исключение составляет Мальта: «Город Мальт сделан предивною фортификациею и с такими крепостьми от моря и от земли, что уму человеческому непостижимо». Здесь эмоции взяли верх над рассудком, и стольник отказался от намерения сообщить обстоятельные сведения о крепостных сооружениях, а дал волю восторгу: «...ум человеческий скоро не обумет подлинно о том писать, как та фортеца построена; только об ней напишу, что суть во всем свете предивная вещь, и не боитца та фортеца приходу неприятельского со множеством ратей, кроме воли Божеской».

Наряду с архитектурой внимание Толстого привлекла еще одна диковинка, которую он неизменно отмечал на протяжении всего путешествия.

Речь идет о фонтанах. Записки пестрят отзывами о них типа «преславные», «предивные», «изрядные» и т. п.

Первое знакомство с фонтанами состоялось в Варшаве и Вене, но ни с чем не сравнимы были фонтаны Рима и его окрестных парков. Толстой иногда чистосердечно признавался, что у него не доставало умения и слов, чтобы должным образом описать увиденное и передать гамму чувств, им овладевших: «...а какими узорочными фигурами те фонтаны поделаны, того за множеством их никто подлинно описать не может, а ежели бы кто хотел видеть те фонтаны в Риме, тому бы потребно жить два или три месяца и ничего иного не смотреть, только б одних фонтан, и наслу б мог все фонтаны осмотреть».

И все же путешественнику удалось донести до читателя красоту некоторых фонтанов в окрестностях Рима: «...первая фонтана — вырезан лев из камня, против него также из камня вырезан пес, и, когда отпрут воду, тогда лев со псом учнут биться водою, и та вода от них зело высоко брызжет, и около их потекут вверх многие источники вод зело высоко». Особый восторг вызвали у Толстого фонтаны с музыкальным устройством: человек «держит в руке один великий рог и тою же водою действует в тот рог, трубит подобно тому, как зовут в роги при псовой охоте». Рядом вода приводила в действие волынку или флейты у десяти девиц. Ему довелось наблюдать и фонтаны с сюрпризами, обливавшие водой всякого, кто наступал на секретное устройство¹⁰.

Знакомство с внешним видом городов, архитектурой зданий и благоустройством улиц происходило как бы само собой, мимоходом и не требовало специальных усилий. Необходимо было только смотреть, запоминать и заносить увиденное на бумагу. Без специальных затрат энергии постигалась еще одна сторона городской жизни — быт. У Толстого знакомство с ним начиналось с остерии, как называл он по-итальянски гостиницы.

Первое знакомство с итальянскими гостиницами состоялось в Венеции. Русскому путешественнику в диковинку показались комфорт и роскошь внутреннего убранства остерий. Приезжему иностранцу «отведут комнату особую; в той же палате будет изрядная кровать с постелью, и стол, и кресла, и стулы, и ящик для платья, и зеркало великое, и иная всякая нужная потреба». Слуги «постели перестилают по вся дни, а простыни белые стелят через неделю, также палаты метут всегда и нужные потребы чистят». Кормили гостей дважды — обедом и ужином, пища «в тех остериях бывает добрая, мясная и рыбная». На стол подавали «довольно» виноградных вин и фруктов. Все эти услуги стоили бешеных денег — 15 алтын в сутки, что в переводе на золотые рубли конца XIX — начала XX в. составляло около 8 руб.

Нашего путешественника более всего, кажется, удивляло наличие белоснежного постельного белья. Где бы ни останавливался на ночлег Толстой, он обязательно запишет, что ему предоставили «палату изрядную,

где спать, и в ней кровать с завесом и постелею чистою». «Белые простыни» фигурируют почти в каждой записи, посвященной остериям.

Особенным убранством отличались гостиницы для иностранцев в Риме. «Остерии в Риме, в которых ставятся форестеры (приезжие иноземцы. — Н. П.), зело богаты и уборны; палаты в них обиты кожами золочеными и убраны изрядными картинами; кровати изрядные золоченые, постели также хорошие, простыни всегда белые с кружевами изрядными. И когда хозяин остерии кормит форестеров, тогда на столах бывають скатерти изрядные белые и полотенца ручные белые ж по вся дни, блюда и тарелки оловянные изрядные, чистые, ножи с серебряными череньями, а вилки и ложки и солонки серебряные, все изрядно и чисто всегда бывает»¹¹.

Внимание Толстого привлекали обычаи и нравы итальянцев. Надо быть очень наблюдательным человеком, чтобы в короткий срок уловить различия в поведении жителей некоторых провинций. «Медиоланские (миланские. — Н. П.) жители — люди добронравные, к приезжим иноземцам зело ласковые», — писал он. У жителей Болоньи Толстой обнаружил приятную черту — приветливость: «Болонские жители — люди добрые и зело приветные». С похвалой он отозвался и о жителях Венеции: «Венециане — люди умные, и ученых зело много; однакож нравы имеют видом неласковые, а к приезжим иноземцам зело приемны»; население Венеции живет «всегда во всяком покое». Впрочем, идиллическую картину жизни венецианцев Толстой сам же и опровергает, сообщая, что сенаторы натравливают жителей одного городского района на другой, в результате чего происходят грандиозные кровопролития. Цель разжигания вражды отнюдь не свидетельствовала о том, что население Венеции жило «во всяком покое, без страху и без обиды», жителей «ссорят, чтобы они не были между собою согласны, для того, что боятся от них бунтов»¹².

Приведем описание Толстым одного из эпизодов маскарада в Венеции: «И так всегда в Венеции увеселяются и не хотят быть никогда без увеселения, в которых своих веселостях и грешат много, и, когда сойдутся на машкарах на площадях к собору св. Марка, тогда многие девицы берут в машкарах за руки иноземцев приезжих и гуляют с ними и забавляются без стыда». В отличие от венецианок, которые «ко греху телесному зело слабы», неаполитанские женщины целомудренны и скромны: в Неаполе «блудный грех под великим зазором (порицанием. — Н. П.) и под страхом, и говорить о том неаполитанцы гнушаются, не только что делать». Толстой одобрительно отозвался и о поведении римлянок: «Женский народ в Риме зазорен (стыдлив. — Н. П.) и не нагл и блудный грех держит под великим смертным грехом и под зазором, а наипаче под страхом». Симпатию вызвали у него и женщины Болоньи: «Женский народ в Болонии изрядный, благообразный».

И еще на одно обстоятельство обратил внимание наш путешественник: повсюду в продаже огромное количество разнообразных вин и в то же время пьяных нет. «Также пьянство в Риме под великим зазором:

не токмо в честных людях и между подлым народом пьянством гнушаются». Пьянство сурово осуждалось не только в Риме, но и в других городах Италии¹³.

Толстой не довольствовался регистрацией того, что ему понадалось на глаза: он специально ездил осматривать разного рода достопримечательности. Так он поступил, будучи в Неаполе: «Рано нанял я себе коляску и поехал смотреть удивления достойных вещей, обретающихся в ближних местах от Неаполя»¹⁴. Иногда его сопровождал гид. В Риме, например, папа прикрепил к Петру Андреевичу своего конюшого, который показывал ему город.

Далеко не все достопримечательности нашли достойное отражение в дневниковых записках. Скорее всего на страницы дневника попадали случайные сведения, и притом не всегда главные.

Описывая библиотеку древнейших рукописей в Милане, Толстой не касается их содержания и духовной ценности, но зато сообщает, что за четыре медные доски, по аршину в длину и ширину каждая, с изображением на них четырех стихий польский король согласен был уплатить 64 тыс. червонных золотых. В той же библиотеке он «видел книгу зело велику математицких наук», которую английский король готов был купить за 8 тыс. червонных золотых. Здесь же пояснение: «...медиолианцы из той библиотеки никакой вещи ни за что не продают». О ватиканской библиотеке Петр Андреевич лишь упомянул, что ее «полки накладыны книг разных» общей численностью свыше 40 тыс. экземпляров, среди них «множество древних». Но ни одна из этого «множества» книг не привлекла его внимания.

Столь же мало сведений можно почерпнуть и об академиях. Крупнейшая Падуанская академия, где изучали медицину 1 тыс. человек, удостоилась лишь описания выпускного обычая: инспектор водил по городу студента, окончившего курс наук, а шедший впереди приятель студента разбрасывал прохожим деньги, за что они кричали: «Виват, виват!»

О Неаполитанской академии, которая тоже готовила медиков, Петр Андреевич счел возможным сообщить лишь, что она размещалась в 120 палатах и обучалось в ней 4 тыс. студентов. В заключение он описал внутренний вид палаты, где происходили диспуты — выпускные экзамены. Какие дисциплины преподавались в академии, как были организованы учебный процесс и практические занятия, срок обучения, квалификация преподавателей, оборудование кабинетов — все это и многое другое осталось за пределами внимания путешественника.

Обстоятельно описал Толстой платное училище в Неаполе, принадлежавшее иезуитам. Быть может, наличие подробностей объяснялось профилем учебного заведения: дворянских детей обучали там не столько премудростям науки, сколько тому, что должно было придать им светский лоск, — фехтованию, танцам, верховой езде. Петру Андреевичу показали результаты обучения, и он настолько поразился, что записал: «И те студенты зело меня удивили, как бились на шпадах и знаменем играли, и

танцовали зело малолетние ребятки лет по 10 или по 12; а в науках своих зело искусны»¹⁵.

За время пребывания в Италии Толстой посетил немало госпиталей. Все они описаны по одному плану: количество больных, указание на бесплатное их лечение и содержание и непременно сведения об условиях жизни больных. В миланском госпитале «болящим поделаны кровати хорошие точеной работы, и постели на кроватях поделаны хорошие с чистыми белыми простынями, и у всякой кровати поделаны завесы стамедные вишневые». В госпитале в Неаполе, рассчитанном на содержание 250 женщин и 250 мужчин, «поделаны болящим кровати изрядные, и постели покойные, и завесы хорошие, и у всякого болящего поставлен у кровати столик малый и сосуды, из чего ему пить и есть».

Наибольшее впечатление оставил ватиканский госпиталь в Риме. Здесь Толстому показали не только палаты для больных, но и подсобные помещения: поварню, столовую. Осмотр начался с первого этажа, где размещались больные из простонародья: «Они лежат по кроватям на перинах и на белых простынях, и всякий там болящим покой в пище и в лекарствах и во всем чинится папиною казною». На втором этаже, где находились больные «дворянских пород», обстановка была еще краше: «Кровати им поделаны хорошие с завесами и всякие покои устроены изрядно». Милосердие итальянцев привело нашего путешественника в умиление, и он не удержался от сентенции: «По сему делу у римлян познавается их человеколюбие, какого во всем свете мало где обретается»¹⁶.

Читатель, видимо, заметил, что Толстой всякий раз, когда ему представлялась возможность, стремился придать денежное выражение увиденным ценностям. Практицизм Петра Андреевича особенно бросается в глаза при описании им Падуанского горячего источника. О целебных его свойствах в дневнике сказано столь же кратко, как и неясно: «...дохтуры падовские говорят, что та горячая от естества своего вода к здравию человеческому зело употребительна». Восторженное удивление вызвало у него использование воды не в лечебных, а в хозяйственных целях: «Смотри разума тех обитателей италианских: и ту воду, которую на всем свете за диво ставят, даром не потеряли, ища себе во всем прибыли».

Казалось бы, что именно знакомство со сферой промышленной деятельности, где предприниматели искали себе «во всем прибыли», должно было навести Толстого на всякого рода размышления меркантильного характера. Как раз этого и не произошло.

Свои впечатления от мануфактуры по изготовлению парчи Петр Андреевич выразил одной фразой: «Те мастера делают парчи поспешно и хорошо и при (против. — Н. П.) московской ценою дешево». Там же, в Венеции, Толстой посетил зеркально-стекольный завод, но не записал в дневник никаких подробностей о самом производстве и выпускаемых изделиях, отметив только: «...видел, где делают стекла зеркальные великие и сосуды стеклянные всякие предивные и всякие фигурные вещи стекольчатые»¹⁷.

Печать равнодушия лежит и на описании Арсенала в Венеции. Он был местом не только хранения, но и изготовления разнообразного оружия: пушек, пистолетов, карабинов, шпаг и т. п. В складских помещениях хранилось столько этого добра, что им можно было вооружить 15 тыс. конницы и 25 тыс. пехоты. При Арсенале находились верфи. Напомним, что о желательности изучения кораблестроения речь шла в инструкции Толстому и прочим волонтерам. Однако увиденное на верфи было запечатлено в дневнике так: «На том же дворе делают всякие суды: корабли, каторги, галиоты, марцильяне и иные всякие к морскому плаванью суды, и всегда бывают на том дворе работных людей для строения морских судов по 2000 человек...»

Вопреки ожиданиям осмотр верфи не вызвал у Толстого желания сравнить венецианскую верфь с воронежской, на которой он, бесспорно, бывал и, возможно, угождая царю, работал топором.

Толстой не отличался щедростью по части аналогий — к ним он прибегал нечасто, причем мысль о сравнении российских порядков с итальянскими пришла ему почему-то в Неаполе. На его долю падает бóльшая часть сопоставлений в дневнике. Толстой, например, обнаружил некоторое сходство, во всяком случае, внешнее, московских приказов с приказами неаполитанского трибунала, где «безмерно многолюдно всегда бывает и теснота непомерная, подобно тому как в московских приказах; а столы судейские и подьяческие сделаны власно так, как в московских приказах, и сторожи у дверей стоят всякого приказу, подобно московским».

В Неаполе Петр Андреевич вспомнит о приказах еще дважды. Один раз — при посещении кармелитского монастыря, когда ему показали палаты, «в которых пишут приход и расход казны»: «...сидят многолюдно, подобно тому как бывает в московских приказах много подьячих». Далее регистрации «многолюдства» и «тесноты» Толстой не пошел и от каких-либо рассуждений воздержался. Сопоставление — правда, робкое и глухое — можно обнаружить и в описании судебного процесса: подьячий записывал показания двух судившихся людей «подобно тому, как в Москве», однако судившиеся «говорят чинно, с великою учтивостью, а не с криком». Хотя Толстой не уточняет, где не соблюдается «учтивость» и судебное разбирательство сопровождается «криком», но, надо полагать, речь идет о московских судах.

Толстому, конечно же, ближе аналогии бытового плана: «Обычность в Неаполе у праздников подобна московской. У той церкви, где праздник, торговые люди поделяют лавки и продают сахара и всякие конфеты, и фрукты, и лимонады, и шерbetы». Родную Москву ему напомнили кареты со знатными седоками, за которыми следовало большое количество пеших слуг. Некоторое сходство с Москвой Толстой обнаружил, созерцая неаполитанскую архитектуру: «Палаты неаполитанских жителей модою особю, не так, как в Италии, в иных местах подобятся много московскому палатному строению». Усмотрел он общность также в поведении неаполитанских и московских женщин: в Неаполе «женский пол и девицы

имеют нравы зазорные (стыдливые. — *Н. П.*) и скрываются, подобно московским обычаям»¹⁸.

До сих пор мы имели дело с Толстым-дилетантом: он записывал то, что видел, не всегда проявляя интерес к существу увиденного. В одних случаях у него недоставало знаний, навыков и опыта, чтобы постичь суть предмета, в других — увиденное вызывало удивление, но не более того. Петр Андреевич предстает перед читателем в ином качестве, когда заносит в дневник результаты осмотров монастырей и особенно церквей. Делал он это с таким знанием дела и осведомленностью о церковных догматах и обрядах, что можно подумать: автор либо священник, либо богослов.

Ни тем ни другим Петр Андреевич не был. Его эрудиция — результат сочетания двух качеств, присущих образованному человеку XVII в.: как человек глубоко религиозный, Толстой знал все мелочи и тонкости церковного ритуала и вместе с тем принадлежал к числу людей, которых принято называть книжниками. Правда, образованность и начитанность книжника XVII в. практически не выходила за пределы церковной литературы. Именно поэтому от внимания автора не ускользают детали, отличавшие католическое богослужение от православного и убранство церкви от костела.

С благоговением описываются в «Путевом дневнике» мощи св. Николая в Бари, повествуется о его чудесах и изображении лика на иконе. В большинстве случаев Толстой не отказывает себе в удовольствии подробно остановиться на убранстве костелов. Точно и обстоятельно описан костел на Мальте: алтарь, рука Иоанна Предтечи, части тела многочисленных святых, кресты, дароносица и прочие золотые сосуды «предивной работы» — ничто не ускользнуло от его внимания. Не пожалел Петр Андреевич ни бумаги, ни времени для рассказа о соборе св. Петра в Риме. Начал он с общей оценки величественного сооружения: «Церковь св. апостола Петра зело велика, какой другой величию на всем свете нигде не обретается, и предивным мастерством сделана». Затем обстоятельно описал паперть, а в самом соборе — алтарь, место, где «лежат тела св. апостолов Петра и Павла», вход к мощам, скульптурные изображения святых, орган и т. д.¹⁹

Толстой, как уже отмечалось, отправился в дальний путь не ради осмотра достопримечательностей Италии, а с целью обучения военно-морскому делу. Дневник в известной мере отражает и эту сторону жизни и деятельности Петра Андреевича.

Морская практика Толстого в общей сложности продолжалась два с половиной месяца. В первое, самое продолжительное плавание он отправился из Венеции 10 сентября 1697 г., а вернулся 31 октября. В путевых записках читаем: «Нанял я себе место на корабле, на котором мне для учения надлежащего своего дела ехать из Венеции на море, и быть мне на том корабле полтора месяца или и больше...» Это плавание можно назвать каботажным, ибо корабль плыл вдоль восточного побережья Апеннинского полуострова, заходя в Ровинь, Пулу, Бари.

Второе плавание было менее продолжительным. Корабль, на котором Толстой отбыл из Венеции 1 июня 1698 г., заходил в Дубровник, но на этот раз в Венецию не возвратился, а высадил навигатора на юге Италии, в городе Бари. Оттуда он по суше добрался до Неаполя, чтобы 8 июля начать третье плавание. Корабль держал путь на Мальту с заходом на Сицилию.

Дневниковые записи, к сожалению, не могут удовлетворить самого элементарного любопытства читателя: из них невозможно извлечь сведений о том, какие навыки приобретал Толстой, в чем он практиковался, какую при этом проявил сноровку и т. д. Дневник сообщает лишь о направлении движения корабля, о стоянках, попутном или противном ветре. С видимым удовольствием описывал навигатор морские приключения.

В ночь на 21 октября 1697 г. корабль застигла буря: «Нам был отовсюды превеликий смертный страх: вначале боялись, чтоб не сломало превеликим ветром арбур... потом опасно было, чтоб в темноте ночной не ударить кораблем об землю или о камень; еще страх был великий не опрокинуть корабля». Все, однако, обошлось: мачта не сломалась, корабль не сел на мель и не опрокинулся. Оставило след в памяти и второе морское приключение. 16 июля 1698 г. фелюга, на которой находился Толстой, держала курс от Сицилии к Мальте и в море встретилась с тремя османскими кораблями, каждый из которых имел на вооружении 60 пушек. Вступить в сражение с превосходящими силами было безрассудно, и фелюга вместе с тремя мальтийскими галерами укрылась в гавани.

Каждое плавание заканчивалось выдачей Толстому аттестата с оценкой его успехов в овладении военно-морским ремеслом. Например, капитан корабля «Св. Елизавета», на котором наш навигатор проходил первую морскую практику, отзывался о нем так: «...в познании ветров так на буссоле, яко и на карте и в познании инструментов корабельных, дерев и парусов и веревок есть, по свидетельству моему, искусный и до того способный». Судя по содержанию второго аттестата, главная задача корабля, на котором находился Толстой, состояла в том, чтобы дать сражение османскому кораблю. Встреча с противником не состоялась, ибо, как сказано в аттестате, османы, «видя свое безсилие, утекли к берегу». Это, однако, не помешало капитану корабля засвидетельствовать, что «именованный дворянин московский купно с солдатом всегда были не боязливы, стоя и опираясь злой фортуне».

Накануне отъезда из Венеции на родину, 30 октября 1698 г., венецианский князь выдал Толстому аттестат, как бы подводивший итоги овладению им всеми премудростями военно-морской науки. Оказывается, Петр Андреевич прошел курс теоретической подготовки и постиг навыки кораблевождения: в осеннее время 1697 г. он «в дорогу морскую пустился, гольфу нашу преезжал, на которой чрез два месяца целых был неустрашенной в бурливости морской и в фале фортуны морских не утратил, но во всем с теми непостоянными ветрами шибко боролся...». Все, кому надлежало, должны были знать, что Толстой — муж смелый, рачительный

и способный²⁰. Если верить лестным оценкам аттестатов, то Россия в лице Толстого приобрела превосходного моряка. Оговоримся, однако, что проверить соответствие аттестации волонтера его реальным познаниям невозможно, ибо Петр Андреевич не служил на море ни одного дня.

Петр, отличавшийся даром угадывать призвание своих сподвижников, нашел знаниям и талантам Толстого иное применение: вместо морской службы он определил его в дипломатическое ведомство, и, похоже, не ошибся.

Петр Андреевич вернулся на родину, обогащенный знаниями и разнообразными впечатлениями. Радость по поводу прибытия в родной дом выражает заключительная фраза дневника: «Того же числа (27 января 1699 г. — Н. П.) приехал в 3-м часу ночи в царствующий град Москву, в дом свой в добром здоровье, за что благодарил всемилостивейшего господа Бога и пресвятую Богородицу и угодников божиих, что из так далеких краев и из чуждого странствия волею божескою возвратился во отечество свое в добром здоровье»²¹.

26 февраля 1697 г. в Италию выехал московский книжник. Спустя год и 11 месяцев в столицу возвратился человек с изящными манерами, облаченный в европейское платье, свободно владевший итальянским языком. Его кругозор расширился настолько, что он мог отнести себя к числу если не образованнейших, то достаточно европеизированных людей России, чтобы стать горячим сторонником преобразований.

В СТАМБУЛЕ

Дипломатическая деятельность Толстого протекала в сложной обстановке. Бремя испытаний, выпавших на долю России, определялось двумя кардинальными событиями: катастрофическим поражением русской армии под Нарвой в ноябре 1700 г. и выходом из войны Дании, вынужденной под напором шведского короля капитулировать и заключить Травендальский мир. В итоге союз трех держав превратился в союз двух держав. Прошло еще шесть лет, и Россия лишилась единственного союзника — саксонского курфюрста Августа II. Ей одной предстояла решающая схватка с хорошо вымуштрованной и вооруженной армией Швеции. Под стать армии был ее полководец — король Карл XII, проявивший незаурядные военные дарования и без труда одерживавший одну победу за другой.

Положение России усугублялось угрозой вести войну на два фронта. Вторжению Карла XII в пределы России с запада могло сопутствовать нашествие с юга, со стороны Османской империи и ее вассала — крымского хана. Опасения Петра и его дипломатов относительно позиции Османской империи имели веские основания, ибо, полагали в Москве, для османов наступил благоприятный момент, чтобы вернуть себе то, чем совсем недавно завладела Россия, — Азов и созданную ею новую гавань — Таганрог.

Итак, Россия лишилась союзников, а Швеция могла их приобрести. Задача русской дипломатии и состояла в том, чтобы предотвратить наступление Османской империи против России. Эту нелегкую ношу Петр взвалил на Толстого.

На первый взгляд поручение, данное Толстому, не выглядело сложным и многотрудным. В действительности поставленная перед ним задача оказалась столь трудной, что, выполняя ее, Петр Андреевич должен был полностью мобилизовать свои духовные и физические силы, раскрыть недюжинные дипломатические дарования, проявить огромную настойчивость и изворотливость.

Препятствия, которые пришлось преодолевать Толстому, были обусловлены многими привходящими обстоятельствами. Одно из них — и едва ли не самое главное — состояло в том, что Петру Андреевичу предстояло утвердиться в Стамбуле в качестве постоянного дипломатического представителя России. До этого дипломатические отношения России с Османской империей поддерживались взаимными визитами посольств с какими-либо конкретными поручениями. Выполнив их, посольство возвращалось на родину, и в непосредственных общениях наступал длительный перерыв. Петр Андреевич открывал новый этап в истории дипломатической службы Русского государства: он был первым русским дипломатом, возглавившим не временное, а постоянное посольство в столице Османской империи.

Первопроходцам всегда трудно: они выступают зачинателями традиций, которых потом будут придерживаться их преемники. Вдвойне трудно было Толстому, посланному в восточную страну, резко отличающуюся нравами, обычаями, религией, политическим строем и от России, и от других стран Европы. Человеку, впервые окунувшемуся в жизнь восточного мира, было весьма сложно ориентироваться в чуждых ему порядках и приспособиться к ленивому ритму жизни и работы правительственного механизма.

Другую сложность представляли традиции сложившихся отношений между двумя соседями. На протяжении многих лет обе страны — Россия и Османская империя находились в состоянии либо открытого военного конфликта, либо подготовки к нему. Отсюда — взаимная подозрительность, боязнь просчитаться в дипломатическом торге, запутаться в ловко расставленных сетях партнера.

Третья трудность исходила от Крымского ханства. Крымцы, этот осколок Золотой орды, еще несколько столетий после свержения ордынского ига продолжали иссушать душу русского народа и разрушать экономику страны. Русское правительство на протяжении нескольких веков ежегодно отправляло крымским ханам так называемые поминки — своего рода дань в форме мягкой рухляди, т. е. сибирской пушнины. Но «поминки» хотя и поглощали некоторую долю ресурсов Русского государства, но не шли ни в какое сравнение с уроном, наносимым русскому и украинскому народам систематическими, из года в год повторявшимися набегами крымских татар.

Весной, как только подрастала трава для подножного корма коням, тысячи, а иногда и десятки тысяч конников устремлялись в южные уезды Русского государства, чтобы грабить и сжигать поселения, уводить скот, захватывать в плен мужчин и женщин для продажи на невольничьих рынках. Русское правительство вынуждено было строить на южных рубежах оборонительные сооружения, содержать гарнизоны в пограничных городах и сосредоточивать большие контингенты поместной конницы для отпора грабителям.

Крымское ханство являлось вассалом Османской империи, но вассалом, далеко не всегда послушным и готовым выполнять волю султанского двора. Нередко крымцы проявляли своеволие и отправлялись за «ясырем», т. е. пленными, вопреки намерениям османского правительства, по каким-либо причинам стремившегося к мирным отношениям со своим северным соседом. Короче, Крымское ханство часто провоцировало конфликты между Россией и Османской империей.

Одна из целей миссии Толстого состояла в том, чтобы добиться от османского правительства жесткого контроля за действиями крымцев и предотвратить их набеги, отпор которым отвлек бы вооруженные силы России от главного театра войны — против шведской армии.

Чтобы достичь желаемых результатов, Толстому надлежало преодолеть барьер психологического свойства — высокомерное, а порой и пренебрежительное отношение султанского двора к русским дипломатам.

Россия мужала, крепла, набиралась сил, твердой поступью выходила на международную арену, однако еще не было второй Нарвы, Лесной и Полтавы. Следовательно, задача Толстого состояла в том, чтобы поднять престиж России и добиться для себя такого же статуса в столице Османской империи, которым пользовались послы других европейских государств: Англии, Франции, Голландии, Австрийской империи.

Указ о назначении Толстого послом в Стамбул датирован 2 апреля 1702 г. Спустя 12 дней состоялась аудиенция Петра Андреевича у царя. Петр, напутствуя посла, надо полагать, еще раз напомнил о главной цели его миссии. В полномочной грамоте, обращенной к султану, она была определена четко и недвусмысленно: «...к вящему укреплению между нами и вами дружбы и любви, а государствам нашим к постоянному покою...»¹.

Посольство покинуло Москву 22 мая 1702 г. и не спеша, свыше месяца спустя, 26 июня, достигло Киева. Оттуда до пограничного города Сороки посольство двигалось и того медленнее. Толстой рассчитывал, что тем самым османские власти, предупрежденные о приближении посольства, будут располагать необходимым временем для подготовки к его встрече. Но вот незадача: посольство достигло Днестра, с правого берега которого начинались османские владения, а пристава, который должен был сопровождать его до столицы империи, нет. Вместо османского пристава посла встретили люди молдавского господаря. Как быть?

Инструкция предусматривала подобный казус: послу было велено стоять у границы до тех пор, пока не прибудет пристав, ибо он, посол, направляется «к салтанову величеству, а не к волоскому господарю». Возможно, Толстой проторчал бы в июльскую жару на берегу Днестра долгие недели, если бы к нему не обратился пограничный воевода. Тот просил посла поступиться престижными соображениями и согласиться продолжить путь без пристава, так как султан запретил въезд османам на землю молдавского господаря, где они чинили местному населению «несносные убытки и всеконечное разорение». Призыв к Толстому, чтобы он «по долж-

ности христианской, видя их, христиан, от бусурман разоряемых и утесняемых, показал к нему, господарю, любовь и ко всей волоской земле милость и не чинил бы им в том обиды и в пристава-де себе турчан не требовал», нашел отклик. Петр Андреевич решил продолжать свой путь без османского пристава.

Из путевых впечатлений в память Толстого врезались поразительная нищета местного населения, обираемого без всякой пощады османскими поработителями, и торжественно-приподнятые встречи посольства с православным населением.

В Яссах Толстой несколько раз встречался с молдавским господарем. Одна из встреч была тайной, с глазу на глаз, в присутствии лишь переводчика. Предмет беседы — просьба господаря принять Молдавию в русское подданство. Что мог ответить ему Петр Андреевич? Ясно, что господарь затеял разговор не ко времени: посольство ехало в столицу империи для поддержания мира, а удовлетворение просьбы вызвало бы немедленный конфликт. Толстому пришлось употребить все свое красноречие, чтобы убедить собеседника в невозможности русскому царю «принять и иметь ево за подданного... потому что он подданной салтанской».

10 августа посольство переправилось через Дунай, и теперь уже его сопровождали османские приставы. Они множество раз извинялись за то, что не успели к Сороке, и заверяли, что султан и везир велели, чтобы в дальнейшем «послу чинено было великое почтение... и довольство паче всех прежде бывших послов».

29 августа посольство без особых приключений достигло Адрианополя, где тогда находился султанский двор, а обещанной «чести», равно как и роскошных палат, не предвиделось. Встреча посольства оказалась не столь пышной, как обещали послу. В скромном доме, отведенном представителям России, Толстому пришлось довольствоваться лишь одной палатой, в то время как его предшественники — Украинцев и Голицын — имели по три.

Началось томительное ожидание аудиенций у везира и султана в стране, где у Петра Андреевича не было ни знакомых, ни друзей, ни связей. Все это предстояло заводить ему самому, равно как и завоевывать к себе уважение. Для Толстого это была нехоженная трона. Перед ним возникло столько непредвиденного, что другой, не будь он таким незаурядным человеком, не владей он даром располагать к себе людей и пользоваться их услугами, наверняка допустил бы массу оплошностей и ошибок. Да и сам Толстой начал с действий, свидетельствовавших о его неосведомленности не только относительно порядков в стране пребывания, но и о дипломатическом этикете вообще.

Человек деятельный и практичный, Петр Андреевич рассуждал, по видимому, так: раз он отправлен с ясной, четко сформулированной целью, то, прибыв на место, надобно без промедления приступить к ее достижению. Однако случилось неожиданное. Правительство Османской империи накануне приезда русского посольства оказалось без главы: старый умер,

а новый еще не приступил к исполнению своих обязанностей. Толстой полагал, что отсутствие везира не помеха, и стал настойчиво добиваться аудиенции у султана. И сколько ему ни втолковывали, что обычаи исключают аудиенцию у султана до встречи с везиром, он продолжал настаивать на своем.

Эта настойчивость не следствие тупого упрямства, а плод здравых размышлений: в Москве знали о неустойчивой позиции султанского двора, поэтому и направили в Стамбул посла. Толстой спешил оформить официально свое пребывание в империи, чтобы быстрее парировать происки врагов мира. Вызывала у Толстого подозрения и крайняя медлительность османского правительства. Он полагал, что эта медлительность была нарочитой, направленной на выигрыш времени: «Аз же размышляю сие: егда хотели миру, тогда и посланников наших по достоинству почитали. Ныне же, мню, яко желают разлияния кровей»².

Поражают энергия и бурная деятельность Толстого в первые же дни пребывания в Османской империи. Он, что называется, с ходу, не медля ни единого дня, принялся за изучение «поля боя», на котором ему предстояло сражаться, как потом выяснилось, свыше десяти лет, — султанского двора и расстановки сил при нем; лиц, оказывавших решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику империи; состояния ее вооруженных сил и т. д. Трудолюбие и работоспособность посла необыкновенные. Когда пытаешься восстановить все, что ему удалось сделать за время проживания в Адрианополе, то невольно проникаешься уважением к его организованности, способности мгновенно оценивать обстановку и умению четко определять последовательность выполнения задач.

Османскому правительству казалось, что оно сделало все возможное для того, чтобы изолировать русское посольство от внешнего мира и лишить посла возможности общаться с кем бы то ни было, — посольский двор день и ночь караулили 120 янычар. Возможно, султан достиг бы своего, если бы Толстому не пришли на помощь доброжелатели (он их называл работниками), готовые бескорыстно ему помогать. Доброхоты снабжали Петра Андреевича всеми сведениями, которые его интересовали.

Кто же эти работники?

Первым среди них был иерусалимский патриарх Досифей. О его готовности оказывать помощь русским послам хорошо знали в Москве, поэтому одновременно с полномочной грамотой Толстому направили грамоту и Досифею. В ней выражалась надежда, скорее даже просьба, «дабы к тому послу нашему был еси во всяких приключаящихся ему делех способен и делом и словом, елико возможно». В другом месте грамота зывала непосредственно к патриарху — быть послу советником и искренним помощником. В 1705 г. Ф. А. Головин еще раз напомнил Толстому о необходимости сотрудничать с Досифеем: «...изволь иметь согласие и любовь с патриархом иерусалимским»³.

Репутацию советника и искреннего помощника Досифей оправдал вполне. Он мгновенно, в тот же день, отвечал на запросы Толстого. Усердие

его простиралось дальше: часто он по собственной инициативе сообщал послу полезные сведения либо давал ему советы, как поступить в том или ином случае. Петр Андреевич неоднократно сообщал Головину, что испытывает к иерусалимскому патриарху чувство глубокой благодарности за помощь.

В одной упряжке с Досифеем трудился его племянник Спилиот, тоже грек. Иногда он выполнял роль курьера в переписке патриарха с послом, но чем дальше, тем больше общался с Толстым самостоятельно. Посол высоко ценил услуги как патриарха, так и его племянника. В 1703 г. он писал Головину: «...истинно, государь, забыв страх смертной, радостною душою великому государю работают».

Не менее ценные услуги оказывал Толстому выходец из Рагузы Савва Лукич Владиславич, по русским источникам более известный под фамилией Рагузинский. Письма Петра Андреевича Федору Алексеевичу Головину нестрят лестными и даже восторженными оценками деятельности Саввы Лукича: «А он, Сава, работает великому государю усердно и ко мне всякие ведомости чинит, что ему возможно»; или: «...работает великому государю с великим усердием»; Савва — «человек добр и до сего времени усердно в делах великого государя работал, и видится, что и впредь желание имеет служить верно».

Бывает иногда, что один человек проникается уважением и симпатией к другому, никогда не видев его и не общаясь с ним. Так случилось с Толстым, которому Владиславич полюбился задолго до личной встречи с ним. 22 сентября 1702 г. Петр Андреевич писал Савве Лукичу: «Аше и не сподобихся по желанию моему видети лица твоего, обаче сердце мое любовию к тебе горит, слыша добрые и Богу угодные твои поступки, которые усердие твое являют»¹.

Подобные хвалебные слова не сходили со страниц писем посла и в 1704 г., когда Владиславич находился в Стамбуле. В конце того же года он покинул Османскую империю и переселился в Россию, которой служил свыше 30 лет. Свои обязанности он передал Луке Барке, консулу Рагузинской республики в Стамбуле, ближайшему своему приятелю, тоже сербу. Консул располагал в столице империи обширными связями и знакомствами и всегда пребывал в курсе всех придворных интриг и сокровенных намерений османского правительства.

Сведения, доставляемые Лукой, имели большую ценность, что многократно отмечал посол. В 1704 г.: «Господина Савы управители его с великим усердием работают, в чем могут». В 1707 г.: «...строением господина Савы приятели его работают великому государю, в чем могут, усердно, а наипаче господин Лука Барка». В 1708 г.: Лука Барка «изрядно усердствует во всяких случаях»⁵.

Подчеркнем одну существенную деталь: работники Петра Андреевича — патриарх Досифей, его племянник Спилиот, Владиславич, Барка и другие — трудились не ради получения вознаграждения или каких-либо других личных выгод. Это доподлинно известно из донесений Толстого

Головину: «Приятели, государь, господина Савы весьма усердно работают в делах великого государя, и воистинно, государь, чрез них многие получают потребные ведомости, понеже чистосердечно трудятся без боязни и от мене заплаты никакие требуют, ниже чего просят»⁶.

Во имя чего сербы и греки безвозмездно, рискуя жизнью и имуществом, оказывали помощь русскому послу?

Объяснить бескорыстное проявление любви и преданности к России можно лишь тем, что она в то время приобрела славу страны, с могуществом и процветанием которой православные народы связывали надежды на избавление от османского ига. Это иго было настолько обременительным для них, а жизнь в порабощенных османами землях — столь сурова и безысходна, что передовые люди были готовы жертвовать жизнью ради освобождения своих народов.

Впрочем, дружное сотрудничество и приязнь между работниками Петра Андреевича продолжались недолго. Трудно объяснить побудительные мотивы действий иерусалимского патриарха, но уже в 1704 г. Досифей пытался внушить Толстому недоверие и подозрительность по отношению к его помощникам. Возможно, сыграл роль преклонный возраст Досифея и он оказался во власти ревности и зависти к более молодым и энергичным людям, имевшим возможность работать на «великого государя» более плодотворно, чем он сам.

Как бы то ни было, но Досифей пытался скомпрометировать ближайших помощников Толстого. Начал он со своего племянника Спилиота. «Подобало бы и ясности твоей, — писал патриарх послу, — ради нас любить ево отчасти, а не весьма ему вверяться». Оказывается, племянник отплатил дяде неблагодарностью: «воспитания нашего не почел ни во что, браду нашу белую не почтил», тысячами «лжей» вводил в заблуждение его, Толстого, и «то все зделал от сребролюбия своего». Толстой ответил: «Аз о сем не вем и zelo сему удивляюся», ибо ранее получал от патриарха лишь похвальные отзывы о Спилиоте. Тогда же, в феврале 1704 г., патриарх неблагожелательно отозвался и о Савве Лукиче: «Синиор, Саве не подобало бы иметь толикую уверенность... тайности своей не верь ему», ибо он «пойдет и скажет французскому послу тотчас»⁷. Намек на предательство Владиславиича Толстой пропустил мимо ушей.

Спустя два года, когда Савва Лукич находился в Москве, посол получил от Досифея новое предостережение: «...есть он шпиг или лазутчик тамо со стороны француза». Толстой спросил у патриарха: «...повелит ли мне ваше блаженство написать тамо (в Москву. — Н. П.), чтоб знали? И ежели повелит — напишу, а ежели не изволил — писать не буду». Патриарх повелеть не изволил. Более того: намерение посла так его встревожило, что он трижды заклинал его молчать. Сначала он советовал послу написать в Москву после того, «когда мы подадим ведомость». Через две с небольшим недели сообщил: «...о Саве не пишите ныне, а будет о том другое усмотрение», но на следующий день, 6 июня 1706 г., заключил: «...видится нам лутчи быти молчанию».

Петр Андреевич не пожелал послушаться патриарха и Головину действительно не обмолвился ни словом. Но молчал он не ради слепой покорности, а потому, что был глубочайше убежден в невинности Саввы Лукича. Вопрос, заданный патриарху Толстым: сообщать или не сообщать в Москву — был своего рода проверкой истинности и обоснованности подозрений Досифея. Подтвердить возведенную напраслину и взять грех на душу патриарх не захотел, поэтому и решил похоронить начатое им дело: «Господин Сава нам приятель доброй, и я сколько могу ему работаю. А другие на него злобятся... Жалею его сердцем, а ясно ему объявить не могу...»⁴.

В ожидании аудиенций Толстой зря времени не терял. Послу в соответствии с обычаем того времени наряду с публичной инструкцией была вручена и секретная, намечавшая обширную программу сбора информации о внутреннем и внешнем положении Османской империи, т. е. о «тамошнего народа состоянии». Москву более всего интересовало, не готовятся ли в Стамбуле тайно или явно к нападению на Россию. Поэтому главная задача Толстого состояла в выяснении подлинных намерений султанского двора. Попутно посол должен был сообщить правительству множество деталей, подтверждавших или опровергавших воинственность или миролюбие Османской империи.

Среди 16 пунктов секретной инструкции были и весьма деликатные, требовавшие от Петра Андреевича не столько наблюдательности, сколько незаурядного умения синтезировать наблюдения. Толстой, например, должен был дать характеристики султана и его «ближних людей»; сообщить, сам ли султан правит страной или через своих фаворитов; имеет ли он склонность к войнам и воинским забавам или более озабочен «покоем». В Москве интересовались бюджетом Османской империи и ждали ответа на вопрос, испытывает ли казна в деньгах «довольство» или, напротив, «оскудение» и по каким причинам оно наступило.

Естествен интерес русского правительства к вооруженным силам Османской империи. Посольский приказ требовал от Толстого исчерпывающих сведений о составе сухопутной армии и ее дислокации, «не обучают ли европейским обычаям» конницу, пехоту и артиллерию или придерживаются традиционных форм обучения. Столь же обстоятельные сведения Толстой должен был собрать и о состоянии османского флота. От него требовали данных не только о количестве кораблей и их типах, но и о вооружении каждого корабля, составе экипажей, размерах жалованья офицерам и т. д. Толстому, наконец, поручалось выяснить планы османов относительно модернизации сухопутных и морских крепостей. Взоры правительства России были обращены прежде всего на Керченский пролив: «В черноморской протоке (что у Керчи. — Н. П.) хотят ли какую крепость сделать и где (как слышно было) и какими мастерами, или засыпать хотят и когда, ныне ль или во время войны».

Группа вопросов нацеливала посла на сбор сведений об экономических и политических отношениях Османской империи с другими государства-

ми: «Ис пограничных соседей которые государства в первом почитании у себя имеют и которой народ больши любят». В Москве понимали, что степень близости к тому или иному государству отражалась в статусе его дипломатического представителя при султанском дворе. Отсюда резонное задание Толстому узнать, «при салтанском дворе которых государств послы и посланники и кто из них на время или живут, не отъезжая, и в каком почитании кого имеют».

Поскольку русское правительство проявляло интерес к налаживанию более тесных торговых связей с Османской империей, то Петру Андреевичу вменялось в обязанность выяснить, каково отношение султанского двора к иностранным купцам и ведет ли империя торговлю с другими государствами.

Османская империя по национальному составу была государством лоскутным: значительную часть его населения составляли покоренные арабы, под гнетом османов находились христианские народы Балканского полуострова и Средиземноморья. О положении христиан, и особенно православных народов, томившихся под османским игом, в Москве были осведомлены более или менее основательно. Но как ведут себя прочие покоренные народы, заселявшие глубинные районы империи, в России имели смутное представление. Отсюда поручение Толстому — дознаться, «есть какая противность от подданных салтанских или персиян и от иных народов»⁴.

Зная, к чему было приковано внимание Посольского приказа, Петр Андреевич со свойственной ему энергией и хваткой принялся за выполнение инструкций — изучение страны и людей, стоявших у кормила правления. В первые же дни жизни в Адрианополе Толстой спрашивал у Спилиота, «чего ради везирь оставил власть свою: своею ли волею, или изволением салтанским, или смятением народным, и новый кто и вскоре ль сан тот восприимет». Хотел Толстой знать и о том, что «здесьние министры размышляют» о его приезде. Более всего посла интересовали личные качества везира: «...к чему вяще склонен, к войне ли, иль к каким забавам, или к правлению государства... и стар ли летами или молод и какова нраву».

Ответ последовал незамедлительно. Новому везиру около 50 лет, он природный «турчанин», имя его Далтабан Мустафа-паша. «Сказывают, что он глуп и все протчия бояря ево не любят, кроме муфтия». Определен он везиром по совету муфтия, которому за протекцию, по слухам, должен был уплатить 400 мешков денег (в каждом мешке по 500 левков, 1 левк равен 15 алтын). Ответил Спилиот и на второй вопрос: «Турки велику боязнь имеют от твоего приезду, говорят, будто бы некое еще вновь имеешь прошение, или разрушение мира...»

Влияние полученной информации нетрудно обнаружить в донесении Толстого царю, отправленном 22 сентября 1702 г.: «Известие тебе, великому государю, чиню: везирь новый мало смыслен является... Мой приезд, государь, учинил им великое сумнение и разсуждают: так никогда-де от

веку не бывало, что московскому послу у Порты жить, и начинают иметь великую осторожность, а паче от Черного моря, понеже морской твой, великого государя, караван безмерной им страх наносит»¹⁰. Подозрительность османского правительства доходила до того, что оно считало целью прибытия посольства определение удобного времени для нападения на Османскую империю.

Заметим, кстати, что такую же подозрительность проявлял на первом этапе и посол, принимавший каждый шорох за раскаты грома и считавший достоверным фактором любой слух о подготовке султана к войне с Россией.

Следует, однако, подчеркнуть, что если подозрительность партнеров была взаимной, то силы их в столице империи были далеко не равными: мощи государственного аппарата, его неограниченным возможностью чинить препятствия посольству Толстой мог противопоставить лишь силу своего красноречия и убедительность приводимых аргументов.

Подозрительность османского правительства обнаружилась тотчас после пышного, с восточным великолепием обставленного приема посла у султана. Аудиенция состоялась 10 ноября 1702 г., а через несколько дней уже была предпринята попытка выдворить Толстого из страны. Ему было заявлено, что прибывающие в империю послы «по совершении-де дел паки отходят во своя страны» и этот обычай в первую голову относится к русскому послу, поскольку царскую грамоту султану он вручил, а дел, связанных с торговлей, у него здесь нет. Действительно, торговые связи России с империей были ничтожны.

Следовательно, первейшая задача Толстого состояла в том, чтобы отвести все попытки османской стороны выдворить его из Адрианополя. Вопреки ожиданиям Петру Андреевичу не потребовалось больших усилий, чтобы парировать доводы представителей османского правительства и убедить их не только в целесообразности, но и в необходимости иметь при султанском дворе постоянного представителя русского царя. Повод и самый веский аргумент в пользу необходимости присутствия русского посла в империи дали наиболее активные в то время поджигатели военного конфликта между Россией и Османской империей — крымские татары. Дело в том, что в дни, когда Толстой вступил в переговоры, в Адрианополе находились представители крымского хана, «с великим шумом» требовавшие разрешения «всчать войну с Российским государством». Права этого они домогались угрозами: если султан им «не поволит», то они сами, не испрашивая у него разрешения, «хотят войну всчинать». Наконец, у Толстого были и формальные основания оставаться в Адрианополе: царская грамота предписывала ему быть здесь «до указа», значит, он был обязан ждать вызова.

Османское правительство решило не обострять отношений и не настаивать на своем требовании — Толстой остался в Адрианополе. Начались будни посольской жизни. Даже для Толстого, не изнеженного роскошью человека, она оказалась столь изнурительной, что его службу на чужбине вполне можно оценить как подвижническую.

Отправляясь из Москвы на юг, Толстой, разумеется, не знал, как долго пробудет в империи и сколько тяжелых испытаний, моральных и физических, выпадет на его долю. Но на месте Петру Андреевичу не потребовалось много времени, чтобы убедиться в том, что между показной учтивостью, медоточивыми речами, приветливыми улыбками, щедрыми обещаниями предоставить послу всякого рода «повольности» и реальными условиями его жизни пролегла пропасть.

В самом деле, в январе 1703 г. один из везиров «пространными и zelo ласкательными словами» обещал русского посла «в достойном почтении, паче иных послов, содержать». «Почтение» выразилось в том, что рейс-эфенди (министр иностранных дел) предложил Толстому переехать на другое подворье и выдвинул следующий мотив: «...двор, на котором ты стоишь, тесен и беспokoен». Оказалось, однако, что это была мнимая забота. Новый двор был, правда, просторнее прежнего, но находился в центре города, где летом стояла «духота великая». Получилась любопытная ситуация: посла убеждали, что жить ему на старом дворе «неприлично», что султан ему оказал «милость», а посол был готов мириться с «неприличием», только бы его оставили на прежнем месте, и деликатно отклонял султанскую «милость». Послу пригрозили: «ежели охотою не поедет — велят-де и неволею перевезть».

Вскоре прояснилась подописка султанской «милости»: расположение нового двора позволяло ужесточить изоляцию посла. «И ныне, государь, — доносил Толстой Головину 4 апреля 1703 г., — живу на новом дворе в городе, и на двор ко мне никакому человеку приттить невозможно, понеже отсюда видимо и чюрбачей (полковник. — Н. П.) у меня стоит с янычаны будто для чести. И все для того, чтоб христиане ко мне не ходили».

Лето принесло новые испытания. 7 июля 1703 г. Толстой писал Головину: «В великой тесноте живу... в нынешних числах неизреченные жары, от которых, государь, жаров терпим болезни великие». За пределы города не выпускают даже на неделю, чтобы «от болезни получить отраду». Лишь после того, как посол и персонал посольства совершенно «изнемогли», Толстому было разрешено выехать за город, где, впрочем, его тоже не оставили без внимания: ко двору были приставлены янычары.

В том же июле в Стамбуле вспыхнул янычарский бунт. Он завершился тем, что янычары лишили власти султана Мустафу и провозгласили султаном его родного брата Ахмета. Переворот сопровождался отставкой везира, муфтия, рейс-эфенди и прочих министров. Для посольства наступили тревожные дни. К тому же пришедшие в Адрианополь янычары проявляли неповиновение новым властям и угрожали пограбить жителей и сжечь город. Для Толстого и его сотрудников все эти события могли обернуться трагедией, но все обошлось — в памяти остались лишь страхи. Даже когда опасность миновала и новое правительство овладело положением, Толстой все еще не мог обрести спокойствие. «А ныне, государь, — докладывал он Головину 27 августа 1703 г., — истинно от великого страха не могу в память приттить вскоре, мало имел ума и тот затмился»¹¹.

В сентябре 1703 г. султанский двор, центральные учреждения и все посольства переехали из Адрианополя в Стамбул. Везир заявил Толстому: «...и подобает ево, посла, имети у Порты за приятеля во всяких повольностях бес подозрения», но это обещание осталось невыполненным. В очередном донесении посол сообщал: двор, отведенный для посольства, настолько ветхий, «что на всякой час ожидаю того, что хоромы, падши, всех нас задавят». Толстой сетовал не столько на неудобства, сколько на дискриминацию и на особый режим содержания посольства: «...сижю, государь, бутто в тюрьме, и уже, государь, истинно, что и терпети сила оскудевает... И не так, государь, мне горестно мое терпение, как стыд: все послы других государств во всяких повольностях пребывают», а ему, Толстому, возбраняется даже выезд к обедне. «Зело великие терплю болезни», — заключил свое письмо Петр Андреевич. Вскоре дом, в котором жили члены посольства, рухнул¹². Этим «аккордом» закончился для них 1703 год.

Истекший год оказался знаменательным еще в одном плане: Толстой отправил в Москву сочинение под названием «Состояние народа турецкого». Это был ответ посла на секретные пункты инструкции.

«Состояние народа турецкого» с полным основанием можно назвать энциклопедией экономических, социальных, политических и внешнеполитических знаний об Османской империи начала XVIII в. В этом сочинении, как, впрочем, и в «Путевом дневнике», виден незаурядный литературный талант автора, умение четко, без обременяющих текст деталей формулировать мысли, вычленять главное и без околичностей отвечать на поставленные вопросы. В то же время сочинение изобилует столь ценными сведениями, которые могли быть накоплены только человеком, много лет прожившим в стране.

Разве мог бы, например, Петр Андреевич, опираясь лишь на личные наблюдения, накопленные за год проживания в стране, да еще в весьма стесненных условиях, подробно описать структуру государственного аппарата, круг обязанностей высших сановников, установить, что «утесняется правосудие мздой», и постичь характер и поведение султана, о котором сказано, что он держит «себя во обыкновенном поведении гордосно, и поступки ево происходят в церемониях по древним их законоположениям, а прилежание и охоту большую ни к воинским, ниже к духовным делам, ниже ко управлениям домовным не имеет». Не только личные наблюдения положены в основу отзыва и о султанских министрах — они тоже наверняка подсказаны приятелями во время бесед с ними: «А радеют все турецкие министры больши о своем богатстве, нежели о государственном управлении». При попустительстве султана они безжалостно грабили казну.

Иногда вместо обобщений встречаются конкретные портретные зарисовки. Таков образ везира, назначенного на этот пост в 1703 г.: «...человек мало смышлен, а к войне охочь, да не разсудителен». Нерассудительность выражалась в том, что он отказался от намерения засыпать Керченский

пролив на том основании, что «великое вечное на себя приведет бесславие и срамоту, якобы имея страх от московских кораблей».

Отношения Османской империи с европейскими странами описаны столь метко и лаконично и в оценках настолько глубоко схвачена суть, что их следует привести. Вот как, например, представлялись Толстому османо-австрийские отношения: «Сердечного любления к цесарскому народу не имеют и пущей злобы не являют, и народ цесарской в войне сильной и искусной». Османы «француз не любят и боятся в себе скрытно и того ради не перестают ласкати их приятельски»; напротив, «галанцев и англичан любят за добрых приятелей и купцов, которые торгуют в их странах», а к «венециям великую ненависть имеют» из-за того, что те отняли у них Морею. На особом счету у них иранцы: «Персиян ни во что ставят, и не почитают, и не любят».

В Москве, конечно же, по достоинству оценили сообщенные Петром Андреевичем сведения об организации вооруженных сил империи, о мобилизации янычар на случай войны, о способах доставки к театру военных действий снаряжения, вооружения и продовольствия.

Поражает богатство сведений о военно-морских силах, которые тоже нельзя было добыть без помощи приятелей. В сочинении Толстого можно почерпнуть данные не только о типах кораблей, их вооружении, укомплектованности экипажей, о верфях, но и о сигнализации, подготовке кораблей к бою и боевых порядках во время морских сражений. Разве могли в Москве пропустить мимо ушей такие, например, строки: «Корабли турецкие суть крепки, яко и французские, сшиваны великими железными гвоздьями»? Или другое высказывание: «Начальные люди морского их флота аще суть и босурманы, но не природные турки, все христоотречники, французы, италянцы, англичаня, галанцы и иных стран жители, и суть в науке искусны, от них бо обучаются и самые турки»¹³.

При сопоставлении «Состояния народа турецкого» с оперативными донесениями, ранее отправляемыми Толстым в Посольский приказ, нетрудно прийти к заключению, что для написания сочинения посол широко использовал свои донесения. Но «Состояние народа турецкого» содержит немало данных, отсутствующих в донесениях. Часть этих данных он заимствовал из опубликованных источников (например, из военно-морских правил), но в большинстве случаев, надо полагать, пользовался устной информацией приятелей.

В новом, 1704 г., при пятом по счету везире, наступила наконец некоторая «повольность». Посольство переселили в новый дом с обширным подворьем, на котором раскинулся сад с фонтанами. То был результат многочисленных протестов посла. Петр Андреевич настолько отвык от внимательного к себе отношения, что улучшение условий жизни вызвало у него подозрения. «Чего ради так поступают?» — задавался он вопросом.

Не намерены ли усыпить бдительность, чтобы начать войну против России?

В письме брату от 22 июня 1704 г. Петр Андреевич впервые выразил удовлетворение своим содержанием: «...ныне состояние мое при дворе салтанова величества в пристойной мере обретается... как прилично». Везир Асан-паша проявил столько заботы и внимания, что даже прислал фрукты и цветы послу, когда узнал о том, что тот заболел. Впрочем, жизнь на чужбине мало радовала Толстого: «Зело скучно третьей год в бездомстве странствовать».

Сносная жизнь посла длилась недолго. В сентябре Асан-паша был отставлен, султан назначил на его место Ахмет-пашу. «Ко мне сей визир явился великою неласкою, и паки, государь, мое прискорбное пребывание и всякие труды и страхи возобновились паче прежнего», — доносил Толстой Головину.

Новый везир, вступивший в должность в конце 1704 г., еще более ужесточил режим. В апреле следующего года чюрбачей, возглавлявший караул на посольском дворе, заявил послу, что отныне ни ночью, ни днем вход в посольский двор и выход из него не разрешались кому бы то ни было и за чем бы то ни было, в том числе и за покупками продуктов. Через пару дней в ответ на протесты посла власти разрешили выход со двора за покупкой «хлеба и харчю», но в сопровождении янычара.

«Превеликое утеснение», как назвал посол режим жизни весной 1705 г., правительство объясняло тем, что до Стамбула докатились слухи (оказавшиеся совершенно необоснованными) о том, что будто бы османский посол Мустафа-ага в Москве «пребывал не в свободной повольности».

Жизнь в заточении изнуряла. «Пребывание, государь, мое вельми стало трудно», — жаловался посол Головину. Но у султанского двора было на этот счет свое мнение: «...великой-де тесноты ему, послу, в пребывании ево нет. А что-де держится он, посол, сохранны и то-де себе в тесноту вменяет напрасно»¹⁴.

Толстого можно было бы заподозрить в стремлении сгустить краски относительно условий своей жизни — дескать, жертвенность и долготерпение должны быть вознаграждены пожалованием вотчин, прибавкой жалованья, повышением в чине. Но сохранилось его письмо брату: «...оскудела сила к терпению, весть, государь, бог какие трудности приходят, которые вельми меня умучили, и уже вящее из жизни моей прихожу во отчаяние». Изъясняясь с родным и близким ему человеком, Петр Андреевич вряд ли руководствовался корыстными и карьерными соображениями.

В апреле 1705 г., когда посольство находилось в особо стесненном положении и персонал терпел голод, произошло событие, высветившее еще одну черту характера Толстого. Речь пойдет о гибели одного из сотрудников посольства¹⁵. Французский консул в Петербурге Виллардо возложил вину за это событие на Толстого. Согласно версии Виллардо, Толстой, отправляясь послом, получил 200 тыс. золотых (червонных? — Н. П.) на подарки. Часть этих денег он использовал по назначению, а другую — присвоил. Об этом узнал секретарь посольства и тайно донес

царю, а не Головину, покровительствовавшему Толстому. Далее, по словам Виллардо, произошло следующее: «Толстой был предупрежден об этом и без колебаний принял решение отравить своего секретаря, но не тайно, а после следствия, в присутствии нескольких чиновников посольства, под предлогом вероломства и неподобающей переписки с великим везиром, в чем секретарь не мог должным образом оправдаться. Толстой тотчас же вызвал священника, чтобы подготовить секретаря к смерти, и заставил выпить яд, подмешанный к венгерскому вину»¹⁶.

Таким образом, по Виллардо, выходит, что Толстой отправил на тот свет секретаря ради спасения собственной шкуры.

Версия Виллардо вызывает сомнения. Французский консул допустил немало неточностей при изложении кратких биографических сведений о Толстом, причем искажений у него тем больше, чем дальше удалены события от времени их регистрации. Например, Толстой, по Виллардо, сначала отправился в Венецию и лишь после возвращения на родину участвовал в войне с Османской империей (Азовские походы), в то время как в действительности события развивались в обратной последовательности: сначала Азовские походы, а затем поездка в Венецию.

Сомнительным является также утверждение консула о том, что Толстой ради назначения на пост посла дал Головину 2 тыс. руб. Во-первых, Толстой не нуждался в протекции, ибо был лично известен царю; во-вторых, посольство в Османскую империю не считалось настолько престижным и выгодным, чтобы посредством взятки домогаться назначения туда послом. Что могло прельстить Толстого в столице Османской империи: полная тревог жизнь, неуверенность в завтрашнем дне, возможность разбогатеть? Ни то, ни другое, ни третье не могло быть приманкой для Толстого.

Виллардо допускает большую неточность и тогда, когда называет сумму, выданную Толстому для подкупа Дивана, — 200 тыс. золотых. При переводе на русские рубли получается фантастическая цифра — 400 тыс. руб., что составляло примерно пятую часть всех доходов государства.

В документах ничего подобного не значится. Петр Андреевич, отправляясь в империю, получил для подарков не деньги, а соболиную казну на скромную сумму — 2 тыс. руб. Правда, после его прибытия в Адрианополь туда в октябре 1702 г. было прислано мехов и рыбьего зуба на 8316 руб., но львиная доля этих ценностей имела целевое назначение: она пошла греческим купцам в качестве компенсации за убытки, понесенные ими в результате ограбления запорожцами. В 1704 г. Савва Лукич доставил мягкой рухляди на 5 тыс. руб.¹⁷ Цифры, как видим, не сопоставимы с той, которую назвал Виллардо.

Французский консул прав, в одном: отчетность расходования казны «для дел монаршеских» находилась на совести посла, ибо сумма подарка регистрировалась им самим и проверить достоверность регистрации невозможно. И все же из сказанного вытекает, что если Толстой и записывал больше, нежели выдавал, то разница могла составлять десятки, максимум

сотни рублей. Для вельмож-казнокрадов тех времен подобные суммы были столь ничтожными, что практически не влекли за собой угрозы оказаться в опале.

Вероятнее всего, Виллардо записал интересующий нас сюжет со слов Меншикова либо другого недруга Толстого. Не исключено, что версия консула имела французское происхождение. Дело в том, что Петр Андреевич находился в состоянии острого соперничества с французским послом Ферриолем и успешно отражал его попытки нанести урон России. Ясно, что у французских дипломатов имя Толстого не вызывало симпатий.

Начиная с 1706-го и до конца 1710 г., когда султан объявил России войну и Толстой оказался в Семибашенном замке, «утеснений», подобных производимым в 1702 — 1705 гг., посол не испытывал. Но и «повольностей», которыми пользовались послы прочих европейских стран, Толстому не предоставлялось.

В первые месяцы пребывания Толстого в Османской империи власти создавали ему невыносимые условия жизни, рассчитывая вынудить его покинуть страну. Несколько позже они стали обосновывать изоляцию посла и наличие караула необходимостью блюсти его честь. Снять охрану — «дело будет необыкновенно, — разъясняя один из везиров, — и Порта-де чести ево, посольской, умаляти не хочет, но желает-де ево, посла, имети, яко доброго гостя, во всяком почтении и приятстве». И сколько «добрый гость» ни настаивал на освобождении его от такого «почтения», султанский двор оставался глухим.

Затем был выдвинут еще один аргумент: «А здесь, у Порты, древнее обыкновение такое: которого-де великого государя посол к салтанскому величеству придет и, не соверша оных дел, о которых прислан будет, никуда з двора своего не ездит»; посол получит «повольность» ездить куда пожелает, когда «совершит свои дела». Одно из дел — разграничение земель — было завершено осенью 1705 г., и, пользуясь случаем, Петр Андреевич возобновил ходатайство о предоставлении ему статуса послов Англии, Франции и других государств Европы. Вместо снятия караула везир проявил любезность — одарил посла конфетами, сахаром, цветами и всякой живностью к столу¹⁸.

Каковы были подлинные причины «утеснений»?

Одна из них уже называлась — намерение султанского двора лишить русского посла всех контактов с поработенными христианами. Но была и другая причина. Петр Андреевич формулировал ее так: «...чиня ему, послу, великое утеснение, приневоливают дела совершать по своему изволению с принуждением». При этом Толстой отметил тщетность подобных попыток: «А он-де, посол, за то не токмо утеснение терпеть, но и душу свою положить готов, а через указ царского величества делать никаких дел не будет».

Толстой указывал также на религиозные различия: османы неизменно следуют своему древнему обычаю, «вменяя по закону своему за грех, ежели им ко христианом гордо не поступать». Вряд ли этот довод можно

принять — не притесняли же османские власти французского, английско-го и австрийского послов, исповедовавших христианство.

«Утеснения» вконец измотали Толстого, и он настойчиво и неоднократно просил сначала Головина, а затем Головкина о том, чтобы его отозвали. Впервые с такой просьбой Петр Андреевич обратился в марте 1704 г.: «Истинно, государь, зело скучило, два года будучи в заключении». Последний раз Толстой ходатайствовал о «перемене» в конце 1707 г.: «...чтоб моему многовременному так трудному пребыванию учинился конец»¹⁹. Отсутствие просьб о «перемене» в 1708 — 1709 гг. вполне объяснимо: Петр Андреевич не считал себя вправе настаивать на отзывании, ибо понимал, что его родина в те годы находилась в смертельной опасности и он обязан выполнять свой долг.

Заметим, ни в одном из обращений с просьбой о «перемене» Толстой не ссыался на состояние своего здоровья, хотя оно, между прочим, не было богатырским. Петра Андреевича довольно часто одолевала подагра, причем в периоды обострения болезни он недели проводил в постели.

Характеристика условий деятельности посла будет неполной, если, хотя бы кратко, не остановиться на порядках, царивших в Османской империи, и не бросить даже беглый взгляд на лица, стоявшие у кормила правления.

В документах, выпшедших из-под пера Толстого, разбросано множество выразительных описаний обычаев, нравов, текущих событий и их оценок, метких характеристик султана, его сподвижников и приближенных. Они, естественно, субъективны и тем не менее для наших целей бесценны, поскольку сам Петр Андреевич верил в их непогрешимость и в своих поступках опирался на собственные представления, опыт и понимание происходившего.

Человек, как не раз отмечалось, наблюдательный, Петр Андреевич без особых усилий обнаружил такие черты политического быта и нравов, как взяточничество, казнокрадство, алчность и продажность вельмож и чиновников всех рангов. Они лежали на поверхности и обращали на себя внимание каждого вновь прибывшего человека.

Репутация султана не вызывала у Толстого сомнений: «Султан ныне обретается в сем государстве, яко истукан, все свои дела положил на своего крайняго везиря» и проявлял живой интерес лишь к гарему и охоте. Ради последней он оставлял столицу на многие месяцы. «Забава его в охоте за зверьми» стоила казне огромных расходов. Достаточно сказать, что на охоту весной 1703 г. султан отправился в сопровождении каравана из 500 верблюдов, нагруженных всяческим скарбом.

Похоже, что и новый султан, брат свергнутого янычарами в результате переворота, тоже не имел каких-либо примечательных черт и склонности к государственной деятельности. Во всяком случае, в конце октября 1703 г., через три месяца после прихода его к власти, Толстой писал о нем: «Салтан до сего времени не показал ни единого дела разумного, но токмо на детцких забавляетца утехах и ездит гулять по полям и на море, а достой-

ных к целости государственных дел еще от него не является, чего и видеть не чают».

Под стать султанам были везиры и министры. Толстой мастерски, скупыми штрихами нарисовал портреты многих везиров. Один был «яр сердцем, но мало смышлен и неразумителен»; другой — «человек нраву зело сурового, а паче ко христианом великой злодей»; третий «покажется горд паче прежде бывших» и в то же время «глуп и никакого дела управить не может». Встречались среди везиров и личности, заслужившие положительную оценку посла: «нонешний везирь — человек молод, обаче доброй человек и смирной» или «человек добр и разум имеет свободной»²⁰.

Свежего человека поражала частая смена везиров, не говоря уже о министрах. Отсутствие политической стабильности пагубно отражалось на переговорах: преемственности практически не было и с каждым новым везиром и его министрами приходилось все начинать с нуля. Петр Андреевич пытался постичь тайные пружины правительственной чехарды, но, кажется, в этом деле не преуспел: «Здесь о скорости везирских перемен никто не ведает, да и ведать невозможно для того, когда за малое дело салтану не понравится, тотчас переменит». Но посол скоро уразумел, что смены кабинетов влекли за собой новые расходы для него: «И воистинно... зело убыточны частые их перемены, понеже всякому везирию и кегаю везирскому (кяхье, т. е. заместителю великого везира. — Н. П.) посылаю дары немалые и пропадают оные напрасно. А не посылать... невозможно, понеже такой есть обычай. И так чинят все прочие послы и равную мерою со мною от сих убытков вскучают, а отставить их невозможно».

Коррупция, проникая во все поры государственного организма, затрудняла работу посла. Без подарка не решалось ни одно, даже ничтожное по значению, дело. С подношениями везиру, муфтию и министрам приходили все послы. Подносил подарки и Толстой: «А понеже я здесь, будучи седьмой год, познал... аще у кого не приемлют даров, являются к тем жестокие варвары, а при дарах бывают человеколюбны». Постиг он и необходимость немедленно расплачиваться за услуги, «понеже турки того не приемлют, кто обещает, но любят, кто отдает в руки».

Бывали случаи, когда вельможи вступали в торг относительно размеров воздаяния. Например, в 1708 г. кяхья, вступив по доверенности своего патрона — муфтия в переговоры с Толстым, спросил его без обиняков: «Какой-де дар посол намеревается к нему, муфтию, послать?» Толстой назвал немалую сумму — 2 тыс. червонных золотых, но заместитель везира остался недоволен: «...видится, что-де такой дар... будет скуден. От иных-де стран на всякий год дают по три тысячи червонных золотых и больши». Послу пришлось раскошелиться — добавить соболей на 720 руб.²¹

Послы при султанском дворе, в том числе и Толстой, одаривая вельмож, явно переоценивали значение подношений. Дело в том, что вельможи позволяли себя не только покупать, но и перекупать. Эта беспринципность в конце концов создавала некую равнодействующую. Вместе с тем

готовность везира, муфтия, министров и придворных чинов оказывать за мзду определенные услуги (например, сообщать сведения о внешнеполитических намерениях правительства или вставлять палки в их осуществление) в конечном счете имела свои пределы и регламентировалась интересами империи. Сам Петр Андреевич приводит любопытный пример.

Французский посол затратил немало средств и энергии, чтобы склонить султанский двор напасть на Австрию и тем самым отвлечь ее вооруженные силы от театра войны на стороне морских держав, воевавших с Францией за Испанское наследство. За интригами французского дипломата пристально следили послы морских держав — Англии и Голландии. Оба они, по свидетельству Толстого, «отворенные очи к сему делу имеют и, как могут, французу противятся, и уже бог весть коликое число потеряно со обеих сторон денег в различных вещах, которые в дары от них отсылаются». В другом донесении Петр Андреевич называет сумму издержек французского посла — свыше 100 тыс. реалов, причем бесполезных, ибо тот «доброе себе еще не получил»²².

Цитируемые донесения Толстого относятся к 1704 г. Война за Испанское наследство продолжалась еще десяток лет, но толкнуть Османскую империю на войну с Австрией французской дипломатии так и не удалось.

Другой пример относится к деятельности Толстого. Границы возможного в его усилиях предотвратить нападение Османской империи на Россию тоже оказались не беспредельными, и никакие дары и старания Петра Андреевича не могли отвести эту угрозу в 1710 г., когда султан объявил-таки ей войну. Сказанное, понятно, несколько не умаляет значение ни дипломатических дарований Толстого, ни его подношений, ни влияния того и другого на текущие, сиюминутные акции османского правительства.

В первые годы пребывания Петра Андреевича при султанском дворе объективно не было условий для объявления войны России: казна была пуста. Грабеж ее достиг таких грандиозных размеров, что в Адрианополе не могли наскрести денег даже для уплаты жалованья янычарам, и те летом 1703 г. подняли бунт. И тем не менее вооруженный конфликт вполне мог возникнуть, не прояви тогда Петр Андреевич бдительности.

Толстой почувствовал неладное во время первой же встречи с министром иностранных дел. Рейс-эфенди разговаривал с послом таким тоном и предъявлял к России столь несуразные претензии, что Петр Андреевич, вернувшись с конференций и обдумав еще раз все, что ему было высказано, пришел к пессимистическому выводу: османы «такия чинят тягосные запросы для разорвания мира». Своими опасениями он поделился с Досифеем. Патриарх успокаивал посла: «Сии люди имеют обычай велеречивый говорить великие вещи и многие и хотя явиться велики и крепки. В краткословии сказать: когда уже и мертвы показуются, яко львы суть. Стой крепко, ни о чем не помышляй»²³. Но на поверку оказалось, что патриарх был не в курсе коварного плана везира и ввел посла в заблуждение.

Султан действительно не желал разрывать мир с Россией и в знак миролюбивых намерений не только отстранил от власти воинственного крымского хана, домогавшегося разрешения совершить грабительский рейд по южным уездам России, но и велел заточить его. Однако крымские татары не согласились с решением султана и проявили непослушание, отказавшись принять вновь назначенного хана. Для приведения крымцев в повиновение была отправлена огромная армия.

Однако, по сведениям Толстого, бог весть как полученным, везир отправил янычар не для усмирения крымских татар, а на соединение с ними, чтобы совместно выступить против России, и, кроме того, тайно подговаривал крымцев поднять бунт против султана. Деликатность положения Петра Андреевича состояла в том, что он не знал, как открыть двери султанского дворца и уведомить султана о планах везира. Наконец путь был найден — посредницей оказалась мать султана: придворные информировали ее, а она «о том везирском непотребном намерении поведала сыну».

Судьба везира была решена. Султан вызвал его к себе и спросил о цели снаряжения большой рати, «понеже-де татар можно усмирить и не таким великим собранием». Везир удовлетворительного ответа не дал и был взят под стражу, а затем султан «в ночи велел задавить» его.

О тайных планах везира Толстой доложил в Москву. Там не на шутку заволновались. Головин сообщил послу о готовности царя расходовать «тысяч на двадцать, или на тридцать, или по нужде и на пятьдесят всякой мяхкой рухляди», лишь бы предотвратить войну с Османской империей. 4 апреля 1703 г. Толстой донес: надобность в столь крупных расходах отпала, ибо источник напряженности — воинственный везир устранен. Впрочем, успех он приписывал Головину: «...и то, государь, твоим верным к царскому величеству радением и бес того совершилось, и то ныне не потребно»²⁴. Это была проба сил Петра Андреевича на дипломатическом поприще. Она завершилась его блистательной победой.

В последующие полгода-год напряженных ситуаций в отношениях между двумя странами не возникало. Главные возмутители спокойствия — крымские татары попритились после расправы с везиром и отстранения хана, вместе с ним готовившего нападение на Россию, а также казней сторонников хана: одним из них отсекали головы, других удавили.

Но Толстой и в этих условиях весь настоороже. «Недреманным оком елико возможность допускает, смотрю и остерегаю», — писал он Головину. «Недреманным оком» Петр Андреевич прежде всего наблюдал за поведением крымцев, и любые их предприятия или только намеки на действия не могли застичь его врасплох. В письмах Толстого в Москву то и дело встречаются фразы: «...не чаю быть всчатию войны турок ни в которую сторону вскоре, скудости ради денежные» или «...о всчатию войны у турок ни в которую сторону не слышится»²⁵.

Конечно же, в интересах России было надолго отвлечь внимание османов от северного соседа. Самый эффективный способ достижения этой

цели — добиться того, чтобы Османская империя вязалась в военный конфликт, скажем, с Австрией или на худой конец с Венецией. В данном случае интересы России и Франции совпадали, с тем, однако, различием, что Франция стремилась связать руки Австрии, а Россия — сковать активность Османской империи на ее северных границах. Толстой произвел некоторый зондаж и установил, что «сие дело зело великое», а главное — неосуществимое.

Начиная с 1704 г. число противников России при султанском дворе, за которыми Петру Андреевичу надобно было следить «недреманным оком», увеличилось. К традиционно враждебным крымцам прибавились поляки, поддерживавшие Лещинского, шведы, Мазепа и мазепинцы и, наконец, французский посол.

Активность крымцев возобновилась в 1704 г., когда Карл XII детронизовал Августа II и посадил на его место Станислава Лещинского. С этого времени и до 1706 г. в Польше было два короля: Август II, ориентировавшийся на Россию и с ее помощью рассчитывавший вернуть себе корону, и Станислав Лещинский, ставленник шведского короля. В борьбе с Россией и со своим конкурентом Августом II Станислав Лещинский рассчитывал на помощь крымских татар.

Первые сведения о контактах поляков с крымцами Толстой получил в конце июля 1704 г. Ему стало известно, что крымский хан просил у султана разрешения совершить набег на русские земли и одновременно послал своего представителя к Лещинскому, чтобы договориться о совместных действиях против России. Петр Андреевич немедленно запросил аудиенции у везира. Быстрота действий Толстого объяснялась тем, что крымский хан распространял слухи о том, что султан будто бы удовлетворил его просьбу и он готовится к набегу. Похоже, посла успокоили заверения везира в том, что «хану крымскому никогда никакая повольность набега чинить или на рати царского величества» нападать не будет предоставлена²⁶.

Новая напряженность в работе посла возникла в 1707 г., причем виновником ее был французский посол Ферриоль.

В марте 1707 г. в Стамбул прибыл везир крымского хана. Толстой рассудил, что прибыл он неспроста, и мобилизовал все свои связи, чтобы выяснить цель его приезда. Оказалось, что за спиной хана и его везира стоял французский посол, изо всех сил пытавшийся посорить Османскую империю с Россией. Когда его переговоры с османскими министрами не увенчались успехом, он решил действовать через крымского хана, с которым быстро нашел общий язык. Об этом маневре французского дипломата Толстой доносил так: Ферриоль убедился, что «явными поступками не скоро мене может осилить и буду чинить ему прешкоду, того ради тайно согласился с крымским ханом, и по такому соглашению хан прислал в Константинополь своего везира».

Кроме ханского везира, испрашивавшего разрешения «итить в помощь королю польскому Станиславу», в Стамбуле заодно с ним действовал тай-

ный агент Лещинского и шведского короля. Он доставил письма, которые французский посол передал османскому правительству.

Таким образом, Ферриоль держал дирижерскую палочку и координировал действия представителей крымцев, шведов и поляков. Порте он внушал мысль, что, если она «в нынешнем времени московского царя не утеснит, уже-де впредь долго такого времени дожидаться». Ферриоль хорошо усвоил опыт общения с османскими министрами: самые веские аргументы и блестящее красноречие ничего не стоили, если они не подкреплялись дарами. Поэтому он, по словам Толстого, «не жалел иждивения» и чинил «туркам великие дачи».

В деятельности Петра Андреевича наступила горячая пора. Он нашел способ вручить султану письмо с опровержением доводов посланий двух королей — Карла XII и Станислава Лещинского и разоблачением интриг крымского хана и французского посла.

Последовали дни тревожного ожидания: Толстой не был уверен в успехе своих контрмер, ибо знал, что султанский двор вступил в полосу колебаний: «А ныне турки стоят в размышлении и на которую сторону склонятся — бог весть». Все, однако, закончилось лучшим образом: султан решил сменить хана. Место воинственного Кази-Гирея занял Каплан-Гирей, которому велено было «с Московским государством жить смирно».

Толстой торжествовал победу. Французский посол, а вместе с ним крымский хан были повержены, причем богатые дары, на которые столько надежд возлагал Ферриоль, оказались бесполезными. Петр Андреевич иронизировал: «Французский посол и хан до кровавого поту трудились, покушались возмутить Порту и повредить с нами учрежденный мир».

Царь по достоинству оценил успех своего посла. 20 мая 1707 г. Петр Андреевич получил письмо Г. И. Головкина с извещением о пожаловании ему «за усердную службу и труды» вотчины. Высокая оценка Петром деятельности Толстого придала ему сил и уверенности в себе.

Потерпев поражение в соперничестве за влияние на султанский двор, Ферриоль не угомонился. Толстой то и дело напоминал (в мае, июне, июле), что «посол французской не перестает возмущать Порту». В июне Толстому стало известно, что Ферриоль отправил своего эмиссара к новому крымскому хану. «Однако, — доносил Петр Андреевич, — не могу дознаться, с каким делом». На всякий случай и Толстой послал в Крым своего человека, «чтоб он тамо проведал, какое намерение новой хан возымел к послу французскому». Оказалось, что хан в принципе был не против подстрекательских планов французского дипломата, но считал, что еще не наступило время для их осуществления. Отсюда Толстой сделал для себя вывод: поскольку позиция только что назначенного крымского хана не внушала доверия, с него не следовало спускать глаз.

В июле новые заботы: в столицу прибыл эмиссар от шведов и поляков с письменными и устными предложениями. Толстого более всего встревожило то обстоятельство, что эмиссар прибыл не тайно и не в качестве частного лица, а явно, как официальный представитель, которого осман-

ские власти, не таясь, пропустили через границу. Значит, рассуждал Толстой, султанскому двору или его части были не чужды контакты с недругами России.

На сцене вновь появился французский посол. После того как стало известно, что ранним утром 25 июля 1707 г. он доставил к султанскому сияхтару (один из придворных чиновников — оруженосец) и кизляр-аге роскошные зеркала и дорогие часы, пришлось раскошелиться и Толстому. Главный переводчик султанского двора Александр Шкарлат советовал ему «удовольствоваться в доме салтанских ближних людей», а также «всякими мерами приводить... в крайнюю к себе любовь» везира. Получив подарки, султанский имам (верховный правитель) заявил, что «усердствовать рад», а рейс-эфенди обещал «работать и усердствовать». Толстой попытался перекупить сияхтара и кизляр-агу, но те отказались принять подарки, заявив, что «прислал мало» и что, если будут доставлены «дары добрые», оба они к услугам русского посла.

Петр Андреевич старался не напрасно. Ему удалось получить точные сведения о предложениях уполномоченного шведского и польского королей. Последовательность совместных действий шведов, поляков Лещинского и крымских татар должна быть такой: сначала им надлежало изгнать русские войска из Польши, а затем объединенными силами вторгнуться в русские земли.

Протежирование французского посла и на этот раз не имело успеха. В сентябре Толстой донес: «...которой поляк был здесь от Станислава Лещинского и уже отсюда поехал и отпущен нечесно, можно сказать, что выслан силою, когда он был у везира на последней аудиенции». Везир буквально на полуслове оборвал поляка, велел вывести его из покоев. Хотя французский посол, по словам Толстого, «не престаёт чинить соблазны», но активность его к концу 1707 г. поубавилась: он, «видится, будто мало нечто ослабел». В декабре, как бы подводя итог истекавшему году, Петр Андреевич отправил в Москву письмо с обнадеживающими известиями: «В настоящем времени от страны хана крымского ничего не слышится и от страны Станислава Лещинского ничего здесь не является»²⁷.

У Толстого были все основания считать, что его деятельность в истекшем году была полезной для России: ему удалось парализовать выпады посла Франции, а также отразить попытки крымского хана, Станислава Лещинского и Карла XII вбить клин в отношения между Османской империей и Россией. В то же время посол понимал, что надо и впредь следить «недреманным оком» за происками противников. Однако неприязнь последовала с той стороны, откуда он ее не ожидал.

В самом начале нового, 1708 г. Толстой получил из Москвы пакет с тремя документами: копией письма гетмана Мазепы, отправленного им в Москву в ноябре 1707 г., сопроводительным письмом Головкина с выражением недовольства службой посла и царским указом. В Москве считали, что получаемая от Толстого информация не отражала истинного положения дел в Стамбуле и что оптимизм посла ни на чем не основан. Петр

писал: «Господин посол, посылаем к вам о некотором деле письмо, здесь вложенное, на которое немедленной желаем отповеди».

Что же это за письмо Мазепы, так заинтересовавшее царя, что он потребовал от посла немедленного разъяснения?

Гетман сообщал, что его вернувшийся из Молдавии лазутчик доставил сведения огромной важности: «Порта Оттоманская конечно и непременно намеревается начать войну с его царским величеством». Далее в письме перечислялись военные и дипломатические меры, принимаемые османским правительством для подготовки к войне. К ним относились отправка в Бендеры 200 пушек и срочное пополнение гарнизона крепости. Мазепа извещал, что изгнание посла Лещинского везиром — фарс, рассчитанный на глаза и уши русского посла: пусть он думает, что султан отклонил все предложения, исходившие от недругов России. На самом деле везир снарядил к Лещинскому и шведскому королю агу, поручив ему предупредить, чтобы ни тот ни другой не заключали мира с Россией без ведома и согласия султана. В свою очередь, поляки и шведы склоняли османов к войне с Россией, заявляя, что для этого наступило самое благоприятное время, «какого впредь не могут иметь».

Мазепа поделился и личными впечатлениями, подтверждавшими резкое ухудшение отношений между двумя странами: раньше сераксер (командующий османскими войсками) с ним обменивался приятельскими письмами, а теперь стал не только предъявлять необоснованные требования, но и угрожать. «Естьли те обиды не будут вознаграждены, — увещал Мазепа, — то найдут турки и татары ко отмщению своих обид способ».

Сведения, доставленные лазутчиком Мазепы, будто бы подтвердил и иерусалимский патриарх, который якобы без обиняков писал гетману: «Порта непременно со шведом и с Лещинским хочет и самим делом склоняется в союз военный вступить и войну или зимою, или весною с его царским величеством начать». Более того: Досифей будто бы высказал Мазепе недовольство тем, что в Москве «не внимают» его донесениям и что он, огорченный невниманием, более не будет писать на эту тему.

10 января 1708 г. Толстой получил от Головкина другое суровое письмо с выговором за его неосведомленность о внешнеполитических акциях Стамбула: «Мы зело удивляемся, что ваша милость о турецком намерении, которое они ныне против царского величества, как слышится, намеревают, также и о протчих противных поступках и пересылках со шведом и с Лещинским через посольство их турецкое... ничего к нам не пишешь». Головкин поручил Толстому проведать «всякими образы, не жалея в том, хотя превеликие, изживеней», о подлинных намерениях османов и «изыскивать способы», чтобы их «от такого злого намерения отвратить и весьма не допустить опасных нам в сие нужное время противных начинаний».

В конце января Петр Андреевич получил еще одно послание Головкина с извещением, что сведения о «турецком злом намерении» заключить военный союз против России «от часу умножаются и отовсюду неустанно на всех почтах приходят как из Вены... так и от протчих наших министров

из Англии и Голландии и из Берлина». А далее вновь следовали обидные для Толстого слова, резко и беспощадно оценивавшие его службу: «Немалому то удивлению достойно, что ваша милость не знамо для чего ни о чем о том нам ни малой ведомости не чинишь и не пререгаешь того, для чего вы у Порты от его царского величества быть учреждены и в чем весь интерес состоит»²⁸.

Итак, Петр и Головкин располагали двумя взаимоисключающими оценками ситуации в столице Османской империи. Одна исходила от Толстого, неизменно извещавшего русское правительство о том, что в Стамбуле не только не готовятся к войне, но и не помышляют о ней. Другая оценка исходила от Мазепы и представителей России при западноевропейских дворах. В ней не было ничего утешительного или обнадеживающего: османы вот-вот (если не зимой, то весной 1708 г. непременно) нападут на Россию и изо всех сил готовятся к войне.

В Москве более достоверной сочли вторую версию. И не только потому, что ее излагал Мазепа, считавшийся тогда верным слугой царя, и о ней трубила вся западноевропейская печать, а главным образом потому, что здравый смысл подсказывал: наступил звездный час для реванша Османской империи за утраченный Азов.

Понять ход мыслей Петра и Головкина можно, если вспомнить о главных событиях Северной войны последних лет. Большие опасения относительно позиции Османской империи вызывали три события. Одно из них связано с судьбой незадачливого союзника России — Августа II: в 1706 г. он отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского; в том же году Карл XII принудил Августа II выйти из Северного союза и заключить Альтранштадтский мир. В итоге одна Россия продолжала войну с армией, снискавшей славу непобедимой и возглавляемой полководцем, чьи незаурядные дарования ни у кого в Западной Европе не вызывали сомнений.

Другое событие связано с намерением Карла XII двинуть свою армию, хорошо отдохнувшую на обильных саксонских харчах, на восток, против России.

Третье событие связано с местечком Жолква в Западной Украине, где Петр вместе со своими генералами выработал план стратегического отступления, получивший название жолквиевского. Он состоял в том, что находившаяся в Польше русская армия должна была отступать на свою территорию, избегая генерального сражения. План предусматривал нападение на обозы и неприятельских фуражиров, стычки на переправах, уничтожение запасов продовольствия и фуража на пути движения шведской армии, устройство завалов и т. д. Все это должно было, по терминологии Петра, «томить», т. е. изнурять, неприятеля, лишать его покоя, порождать у солдат и офицеров чувство неуверенности.

Дипломатическое ведомство России широко практиковало отправку послам, в том числе и Толстому, реляций о победах русского оружия: о взятии Шлиссельбурга, Дерпта, Нарвы, Митава и других городов. Реляции

отправлялись не с целью удовлетворения любознательности послов, а для того, чтобы сведения об успехах русской армии на театрах войны стали достоянием зарубежных правительств и в конечном итоге охлаждали пыл горячих голов, готовых ринуться в опасную авантюру.

В октябре 1707 г. Петр Андреевич получил пакет из Посольского приказа с извещением не об очередной победе русских войск, а о начале их отступления в соответствии с жолкиевским планом. На посла возлагалась обязанность пресекать «лжи» о том, что русские отступают под натиском шведов, и «кому надлежит» разъяснить смысл маневра русских войск: шведы, чем дальше на восток, тем больше будут испытывать трудностей в пополнении армии рекрутами, обеспечении ее боеприпасами, продовольствием, фуражом, деньгами и пр., «а мы, будучи при своих рубежах, как в рекрутах, так и в прочих воинских потребностях не будем никогда оскудения или препоны в том иметь».

Петр Андреевич, конечно же, разъяснял «кому надлежит» стратегические тонкости далеко идущих планов русского командования. Но у султана и его министров вполне могло сложиться убеждение: раз армия отступает, значит, она слабее противника и его опасается. Поэтому у них мог появиться соблазн напасть на Россию в надежде на легкую победу.

С невыгодным впечатлением от похода русских войск к своим границам считались и в Москве. Именно поэтому там и придавали такое значение письму Мазепы.

Толстому надлежало защищать свое доброе имя, доказывать свою правоту и опровергать домыслы Мазепы. Переписка Толстого с Головкиным в первой половине 1708 г. высвечивает еще одну черту характера Петра Андреевича — мужество в защите собственного мнения. Надо было быть абсолютно уверенным в своей правоте, чтобы со всей страстностью и упорством вступить в полемику с Головкиным.

Допустим, что оказался бы прав Мазепа. Тогда Толстому несдобровать: его ожидали бы самые суровые кары. Ему бы припомнили многочисленные донесения с заверениями о безоблачной обстановке в Османской империи. О чем могли они свидетельствовать? Их можно было истолковать только трояко: либо эти заверения — результат недобросовестности посла, т. е. его неосведомленности о том, что происходило в Стамбуле; либо Петр Андреевич, руководствуясь карьерными соображениями, представлял свою службу и усердие в самом выгодном свете и занимался камуфляжем; либо, наконец, Толстой встал на путь предательства и намеренно вводил в заблуждение свое правительство.

Петр Андреевич методично, шаг за шагом опровергал утверждения Мазепы от первого до последнего.

Проще всего для Толстого было показать несостоятельность утверждения мазепинского лазутчика о концентрации артиллерии и янычар в Бендерах. Располагая точными сведениями, он решительно заявил: «...и то самая ложь», ибо в Бендеры было прислано 500 янычар, из них 300 разбежались, а пушек отправили столько, сколько требовалось для оборо-

ны крепости. Нетрудно было ему доказать и вздорность заявления Мазепы о якобы ожидаемом нападении крымцев зимой и главных сил османской армии весной: зима уже на исходе (письмо было отправлено 29 января 1708 г.), а «войны от татар не слышится, и весна уже приближается, а у турок никакого приготовления к войне не является». Толстой даже иронизирует по поводу осведомленности корреспондента Мазепы: как могло случиться, что лазутчик, находясь от султанского двора за тридевять земель, «самые тайные секреты салтанские ведает, чего мы здесь отнюдь проведать не можем»?..

Крайне сомнительным считал Толстой и поведение иерусалимского патриарха в изображении Мазепы, ибо такого раньше никогда не бывало, чтобы патриарх известил одного Мазепу о подготовке к войне, а посла и русскую дипломатическую службу оставил в полном неведении.

Петр Андреевич внес ясность и в вопрос о «пересылках» султанского двора с Лещинским и Карлом XII: «пересылки» производились не османским дипломатическим ведомством, а сераксером пограничной области Юсуф-пашой. Оказалось, что Юсуф-паша за крупную мзду от Лещинского согласился участвовать в действе, сценарий которого был разработан польскими дипломатами: он должен был отправить в Польшу официального представителя, «чем-де могли московских устроить, будто-де они имеют согласие с Портой». Однако султан, давая разрешение Юсуф-паше на отправку посланника, руководствовался отнюдь не желанием заключить союз с Лещинским и Карлом XII. Его намерения были более скромными — воочию убедиться, в каком положении находятся войска шведов и поляков. В фирмане, отправленном Юсуф-паше, указывалось, «чтоб-де тем посланием не учинить сумнения московским». Никаких грамот от султана посланец не вручал ни Станиславу, ни Карлу XII.

Итак, налицо провокация, искусно подстроенная польской и шведской дипломатией. Остается загадкой, был ли причастен к ней Мазепа и не являлось ли его письмо в Москву частью коварного плана изменника.

Хотя документы и не дают безоговорочного ответа на поставленный вопрос, но косвенных данных для утвердительного суждения немало. Назовем хотя бы заинтересованность изменника в разжигании конфликта между Россией и Османской империей. Если бы информация гетмана не подверглась проверке, то Петр, естественно, был бы должен перебросить часть войск к русско-турецкой границе. В результате возникла бы напряженность на южных границах и сократились бы силы, мобилизованные против войск Карла XII. О причастности гетмана к провокации говорит также его ссыла на свидетельство иерусалимского патриарха. Версия, конечно же, была сочинена Мазепой, чтобы придать своим сведениям больший вес.

Недоразумение было устранено. Толстой продолжал доносить об отсутствии признаков подготовки к войне, причем заявил, что в Москве могут не сомневаться в достоверности его информации: «...явственнее писать о турецком намерении нечего, понеже, что вижу, то вашему сиятельству

ству пишу, а чего не вижу, о том гадательством писать (как иные пишут) не могу».

В письмах Головкина вновь появились слова одобрения в адрес посла: «Зело тем довольны, еже получили от вас подлинную ведомость о турецком намерении»; «что же ваша милость во всех помянутых письмах нас обнадеживаешь... и о сем мы зело радуемся». Правда, глава внешнеполитического ведомства не удержался от упрека подчиненному по поводу того, что тот отвечал на его письма «з досадою». Но Толстой не склонен был обострять отношения и уничижительно ответил: «...как то может быть, чтобы мне, убогому сиротине, писать к вашему сиятельству з досадою... но писал и ныне пишу с прилежным слезным молением». Не обошлось и без лести в адрес шефа: если «чрез убогие мои труды и доброе устроилось, и то не моим смыслом, но вашего сиятельства добрым строением»²⁹.

У Толстого в конечном счете не было оснований сетовать на уходивший 1708 год. Его деятельность на дипломатическом поприще внесла вклад в сохранение мира на южных рубежах в то время, когда страна остро нуждалась в мире: грозный враг колесил по земле Украины, и казалось, что шведам не представляло труда протянуть руку крымцам и полякам Лещинского, чтобы объединенными силами обрушиться на русскую армию. Петр Андреевич мог также записать себе в актив расширение круга лиц из османских вельмож и чиновников, готовых оказывать ему услуги. Согласились «усердствовать» послу муфтий, его кяхья, султанский имам, капи-кахья Юсуф-паши и др.

Наконец, 1708 год преподал полезный урок не только послу, но и всей русской дипломатической службе, вставшей на путь установления широких международных связей. В значительной степени благодаря Толстому Посольский приказ успешно преодолел коварную провокацию противников России и обогатил свою практику приемами дипломатической игры. В этой игре Петр Андреевич оказался на высоте: ему удалось избежать промахов и горечи неудач.

Вместе с тем 1708 год усложнил деятельность Толстого. Теперь послу надлежало взять под наблюдение еще одного противника — гетмана Мазепу. Возможно, Толстой пришел к такому выводу раньше, чем получил официальное уведомление Головкина, — новости в те времена ползли медленно. Лишь 15 января 1709 г., т. е. два с половиной месяца спустя после прибытия изменника в ставку Карла XII, посол получил запрос канцлера: «...что ныне у милости вашей чинится по измене Мазепине и како турки то приняли и не приклонны ль к зачатию войны противу нас по ево домогательству». С тех пор имя предателя не сходило со страниц переписки Толстого и Головкина. Противодействие начинаниям бывшего гетмана считалось главнейшей задачей посла. Ему надлежало «всякими способами предостерегать, дабы чрез факции шведов, а наипаче изменника Мазепы, Порты не учинила какой противности».

Несколько месяцев Толстой не сообщал тревожных вестей. «А ныне здесь от страны короля швецкого и от изменника Мазепы отнюдь ничего

не слышится», «ничего не является», «здесь суть вельми спокойно» — так писал посол в феврале, марте и в начале апреля 1709 г. Последнее донесение такого содержания датировано 11 апреля³⁰.

Первую тревожную весть об интригах Мазепы Толстой получил 13 апреля, когда его известили, что бывший гетман обратился к крымскому хану с предложением вступить ордой «в казацкую землю». За эту услугу хана ожидало щедрое вознаграждение: предатель обещал вносить дань, которую крымские татары ранее получали от Русского государства, и разорить крепость Каменный Затон. Мазепа считал себя вправе превратить в данников хана не только украинцев, но и поляков: он изъявил готовность убедить Лещинского вносить дань крымцам и от «королевства Польского».

Предложения Мазепы были отклонены, причем не крымским ханом, а султаном, который категорически запретил хану вступать в контакты с Мазепой и мазепинцами. Правда, хан, недовольный этим запрещением, будучи человеком, по отзыву Толстого, «неспокойного духа», отправил своего уполномоченного в Стамбул, но тот, как ни старался, возвратился ни с чем. Везир заверил посла, что хотя крымцы и «скучают» по «ясырю», но он найдет способ их «удовольствовать» не в ущерб России.

Возникает естественный вопрос: чем объяснялось миролюбие османского правительства?

Игнорировать искусные действия Толстого, как и роль его подарков, не приходится. Но османов сдерживала скорее всего трезвая оценка ситуации, сложившейся на украинском театре военных действий. Обращение первого министра шведского короля Пипера и Мазепы за помощью не встретило понимания у османского правительства потому, что оно считало безнадежным положение шведов на Украине. Впрочем, и сам Пипер признавал, что шведские войска находятся «в великом злосердии и горести», хотя и делал вид, что полон радужных надежд: «...куды ни пошли, никто не возмог стояти противу нас».

Наигранный оптимизм первого министра Карла XII не разделял иллирийский паша, ближе всех из вельмож империи находившийся к театру войны и лучше всех о нем осведомленный, поскольку именно его лазутчики шныряли по Украине. Получив письма Пипера и Мазепы, Юсуф-паша отправил их в Стамбул, сопроводив комментарием: «...швед есть осажен от всех сторон от московских войск тако, что невозможно никому вытти и пойти вон никуды с места их... видится во всем безсилие их и худоба как самого короля, так и войск ево».

Осведомленность о положении шведской армии, оказавшейся в окружении, беспорно, сдерживала агрессивность османов, но первопричиной все же следует считать неподготовленность Османской империи к войне.

Конечно же, султанский двор прислушивался к доводам шведов и поляков о том, что Петр, одолев шведов, двинет свою армию против османов, но практических выводов из них не делал, точнее, не мог сделать. В те годы, когда Толстой писал о том, что «не слышится» и «не видится»

военных приготовлений, Османская империя исподволь мобилизовывала свои ресурсы и проявляла глубокую заинтересованность в затягивании Северной войны, чтобы руки русского царя были связаны борьбой со шведским королем. «Вельми им оный мир противен», — писал Толстой.

Султанский двор был заинтересован во взаимном истощении ресурсов воевавших на Севере стран и в бесконечно долгой войне между ними. В Стамбуле не могла вызвать восторга победа не только России, но и Швеции, ибо там считали, что хотя Швеция и не имеет общих границ с Османской империей, но укрепление ее позиций в Польше может угрожать безопасности османских владений в пограничных с Польшей районах.

К факторам, сдерживавшим Османскую империю от агрессивных начинаний, следует отнести также упорные слухи, распространяемые прибывшими в Адрианополь греческими купцами и затем подхваченные комендантами пограничных с Россией крепостей, что Петр в мае 1709 г. прибыл в Азов во главе армады военно-морских кораблей. По словам Петра Андреевича, слух о появлении русского флота в Азовском море вызвал в столице империи «такой превеликий страх» и панику, что для описания происходившего «мало было бы и целой дести бумаги». Но кое о чем он все-таки сообщил: о бегстве жителей Стамбула в глубь страны, слухах о том, что русский флот разгромил османский флот, и т. д.

Версия о прибытии в Азов огромного количества кораблей держалась в дореволюционной и советской литературе до тех пор, пока А. П. Глаголева в одной из своих работ не доказала, что Петр предпринял не военную, а мирную демонстрацию: в Азов прибыло вместе с ним всего два корабля.

Пока Петр Андреевич удерживал султанский двор от вступления в войну и действовал так успешно, что удостоился новой похвалы царя («зело доволен трудами вашими»), шведская армия была разгромлена под стенами Полтавы. Карл XII и его новый вассал Мазепа вынуждены были бежать с поля боя и искать спасения в османских владениях. Приятную весть о Полтавской виктории Толстой получил не по официальным каналам из России, а от османских властей. Письмо Головкина было получено только десять дней спустя — 26 июля 1709 г.

Поскольку Головкин отправил реляцию на следующий день после Полтавской битвы — 28 июня, то в ставке царя еще не могли знать о том, куда бежал шведский король. И все же Головкин на всякий случай поставил перед послом задачу — домогаться от султанского двора отказа в гостеприимстве Карлу XII и согласия изловить и держать под стражей изменника Мазепу.

27 июля Толстой потребовал от османского правительства выдачи того и другого. Это было требование с запросом. Но в Москву посол сообщил, что, по его мнению, султан никогда не выдаст короля, в лучшем случае вышлет его из своих владений. Что касается Мазепы, то «боюсь, — писал Толстой, — чтобы оный, видя свою конечную беду, не обасурманился». Если такое случится, то «никоими дела не отдадут ево по своему закону».

Спустя неделю Толстой получил грамоту царя для передачи ее султану. Петр требовал если не по закону, то по «дружбе» выдачи Карла XII и Мазепы. На худой конец Россия могла бы довольствоваться и тем, что султан не выпустит короля из своих владений до окончания войны. Что касается Мазепы, то его, как царского подданного, надлежало выдать непременно. Но султанскому двору не по душе пришлись оба требования.

Дело в том, что с августа 1709 г. в русско-османских отношениях наступил новый этап. В донесениях Толстого вместо «ничего не является» и «ничего не слышится» появились тревожные вести об интенсивной подготовке империи к войне.

Крутой поворот во внешнеполитическом курсе Османской империи принадлежит к числу парадоксов, нередко происходивших в истории. О них обычно пишут историки, располагающие всем комплексом источников и осведомленные о том, в каком направлении развивались события. Поэтому надо было обладать проницательностью Толстого, чтобы, будучи современником событий, глубоко в них проникнуть и разгадать их смысл.

Информируя Головкина о том, что в лице Карла XII у османов появился советчик, жаждавший реванша и убеждавший султана «всчать войну» против России, Толстой считал, что отныне миролюбивые заявления империи выглядят подозрительно. Приведем полностью знаменитое рассуждение Петра Андреевича, которым он поделился с Головкиным: «Не изволь тому удивлятися, что я прежде сего, когда король швецкой был в великой силе, доносил, что не будет от Порты противности к стороне царского величества. А ныне, когда шведы разбиты, — усумневаюсь. И сие мне усумнение от того походит, понеже турки видят, что царское величество ныне есть победитель сильного короля швецкого и желает вскоре совершить интерес свой в Польше, а потом уже, не имев ни единого препятия, может всчать войну и с ними, турками».

Толстой был не единственным послом, пристально следившим за действиями османского правительства. За султанским двором внимательно наблюдало множество глаз иноземных дипломатов. Характерно, что информация, отправленная П. А. Толстым в Москву, совпадала с информацией И. М. Тальмана, отправленной в Вену. Австрийский резидент в июле 1709 г. сообщал своему правительству, что в итоге троекратных совещаний везира с вельможами «было принято решение вооружаться на суше» и на море и направить войска на русскую границу. Донесения Тальмана за вторую половину 1709 г. пестрят сведениями о военных приготовлениях Османской империи: велось лихорадочное строительство фрегатов, по Черному морю к границам с Россией доставлялись военные грузы, в азиатские владения были отправлены указы о закупке верблюдов и мулов для переброски мелких грузов, призывались под ружье янычары.

Султанский двор стал готовиться к превентивной войне, что тут же было замечено Толстым. В его письме от 8 августа 1709 г. есть пророческие слова: «...здесь ныне чинятся великие приуготовления воинские с великим поспешением ни в которую иную сторону, токмо ко границам росиским»³¹.

В этих условиях османам необходим был шведский король, как и османы — шведскому королю.

Подозрительность султанского двора относительно намерений России энергично и не без успеха подогревал Карл XII, хваставший, что «будто может он вновь иметь изрядного войска больше пятидесяти тысяч». Свою лепту в разжигание вражды вносил и Мазепа, заверявший, «будто и Украина вся с ними будет согласна...».

Во второй половине 1709 г. османы с большей готовностью внимали мифу шведского короля о существовании 50-тысячной армии и нелепым заявлениям обанкротившегося гетмана о поддержке украинским народом его предательских начинаний, чем призывам посла России соблюдать «мир и любовь». Вот почему настойчивые требования о выдаче Мазепы встречали глухой саботаж османских властей, и неизвестно, чем бы завершились домогательства посла, если бы изменник не умер в октябре 1709 г. Толстому ничего не оставалось, как бить тревогу и призывать свое правительство к сосредоточению войск в пограничных с империей районах.

Бесценным источником для освещения дипломатической деятельности Толстого являются статейные списки — своего рода годовые отчеты посла. Статейным списком за 1709 г. обрывается отражение жизни и работы посла в Стамбуле — за последующие годы их нет. Можно предположить, что статейный список за 1710 г. уничтожил сам Толстой накануне заточения его в Семибашенный замок, а 1711 — 1713 гг. Петр Андреевич провел в заключении и, естественно, не мог выполнять обязанности посла. Они перешли к вице-канцлеру П. П. Шафирову и М. Б. Шереметеву. Поэтому почти ничего не известно о том, чем занимался Петр Андреевич в 1710 г. и как ему жилось в зловонном подземелье Семибашенного замка в последующие два года.

От 1710 г. сохранилось два служебных письма Толстого. Первое из них, датированное 7 января 1710 г. и написанное под впечатлением от состоявшейся четыре дня назад аудиенции у султана, полно оптимизма и радужных надежд. Чувство удовлетворения вызвала у посла церемониальная часть приема: ему было оказано «зело преизрядное почтение».

По поводу умения османов пускать пыль в глаза австрийский посол Тальман как-то заметил, что на их «дружественные уверения нельзя особенно полагаться, так как многие примеры прошлого, приведение которых излишне, показывают, что Турция, для того чтобы усыпить бдительность своих противников, никогда не давала больших уверений в дружбе, как именно в то время, когда она подготавливала действительный разрыв».

Толстому тоже было хорошо известно коварство османов. На восьмом году службы «почтение», даже «зело преизрядное», уже не могло его ни удивить, ни привести в восторг. Его, человека многоопытного, с рационалистическим складом ума, интересовали не знаки внимания и обаятельные улыбки, а реальные результаты аудиенции. А они свидетельствовали о том, что Петру Андреевичу вновь сопутствовала удача, что он и на этот раз одолел всех, кто подзуживал османское правительство разорвать мир

с Россией. В данном случае османы вели себя не в духе правил, подмеченных Тальманом, а откровенно, что уловил и отметил Толстой: «Любовь возобновлена и утверждена между сих империй бес подозрения». Подтверждением взаимного доверия служили также согласованные условия выдворения из владений султана шведского короля: для его эскорта до польских границ османское правительство выделяло 500 янычар, а по территории Польши Карла XII должен был сопровождать русский отряд. Несмотря на глубокие сомнения в том, что шведский король примет столь унижительные для него условия выезда из Бендер в Швецию, Толстой рассматривал само соглашение как выражение «любви» и оказание «чести» царю со стороны султана.

Тальман тоже зарегистрировал наступившую перемену. 19 декабря 1709 г. он доносил в Вену: «Тем временем Турция неожиданно прекратила свои так ревностно продолжавшиеся как на море, так и на суше приготовления к войне и отдала приказ всем войскам, находящимся в пути, приостановить продвижение».

Через 10 месяцев победу торжествовали недруги России. Первым симптомом возникновения напряженности была смена везира. Вместо Чорлулу Али-паши, свыше четырех лет возглавлявшего правительство и придерживавшегося миролюбивой политики по отношению к северному соседу, великим везиром был назначен Кёпрюлю Нумен-паша. Еще задолго до вступления в эту должность он, по словам Тальмана, часто возмущался султанскими великими везирами, не радевшими об укреплении религии ислама, и называл их слепцами, так как при столь благоприятных обстоятельствах последние 10 лет, когда соседние с империей христианские державы были так заняты взаимными войнами, они пребывали в постыдном бездействии и ничего не предпринимали для того, чтобы отобрать назад потерянные в последней войне земли и отомстить врагам религии.

В реваншистских кругах султанского двора позицию Нумен-паши сочли недостаточно воинственной, и через два месяца его сменил Балтаджи Мехмед-паша — ярый враг России и столь же горячий приверженец Карла XII. Интенсивная подготовка к войне возобновилась.

Обстановка весьма благоприятствовала воинственным выступлениям непримиримого противника России, непрестанно призывавшего к войне против нее, — крымского хана Девлет-Гирея. На этот раз его призывы нашли живейший отклик у султанского двора. На большом Диване, заседавшем 19 ноября 1710 г., Девлет-Гирею, как инициатору открытия военных действий, было предоставлено первое слово. В роли поджигателей выступали также шведы и французы. Австрийский посол доносил, что «они не перестают с величайшей наглостью натравливать Порту» на Россию. Французский посол маркиз Дезальер, сменивший на этом посту Ферриоля, по словам Тальмана, хвастал, что он более всего способствовал этому, так как якобы «вел все дело своими советами».

В наспех написанном письме в ожидании, что с минуты на минуту в покои ворвутся янычары, Петр Андреевич извещал: «...и я чаю, что уж больша не возмогу писать». Главная новость, которую посол спешил сообщить русскому правительству, состояла в том, что султан принял решение «войну с нами начать ныне через татар, а весною всеми турецкими силами»³².

Итак, войны в конечном счете избежать не удалось. Она внесла существенные коррективы в планы Петра, еще не успевшего к тому времени принудить Карла XII к миру. Но уже то обстоятельство, что русско-османский конфликт разразился после Полтавы и блистательных побед в Прибалтике, а не до них, само по себе уменьшило испытания, выпавшие на долю России. Этим наша страна в известной мере обязана усердию Петра Андреевича Толстого.

Сохранение мира было главной, но не единственной задачей русского посла в Стамбуле. Второе поручение царя, по своей значимости намного уступавшее первому, заключалось в установлении торговых отношений между двумя странами на договорной основе.

Торговые связи России с Османской империей никогда не были оживленными и систематическими, так как доставка товаров по суше требовала значительных затрат и всегда была сопряжена с риском для купцов подвергнуться ограблению если не со стороны крымских татар, то со стороны запорожских казаков. Так продолжалось до тех пор, пока Россия не овладела Азовом и у Петра не возник план превращения этой крепости в торговую гавань, где могли бы бросать якоря как османские, так и особенно европейские корабли.

Но как претворить эту мечту в жизнь, как добиться, чтобы гавань расцвечивали вымпелы многих стран, если путь из Азовского моря в Черное преграждала мощная османская крепость Керчь, воздвигнутая на берегу узкого пролива? Как заставить османское правительство отказаться от убеждения, что Черное море является внутренним волоком империи, куда доступ посторонним наглухо закрыт?

Петр поручил Толстому сделать первый шаг в этом направлении — добиться, чтобы воды Черного моря беспрепятственно бороздили русские торговые корабли.

Петр Андреевич начал хлопоты о заключении торгового договора вскоре после своего появления в Стамбуле, причем степень его настойчивости в переговорах находилась в прямой зависимости от меры военной угрозы со стороны Османской империи. В месяцы и годы, когда эта угроза отсутствовала, Толстой то и дело возобновлял разговоры о торговле; напротив, во времена, когда над мирными отношениями сгушались тучи, заботы о торговле отодвигались на второй план, уступая место заботам о сохранении мира. Но как настойчиво ни пытался Толстой заключить торговый договор, сделать это ему не удалось.

Почему в осуществлении этой на первый взгляд безобидной затеи Петра Андреевича постигла неудача? «Ради чего, — по его словам, — от Порты явилось упорство?»

Ответ следует искать в диаметрально противоположных взглядах партнеров, причем не на торговые связи как таковые, а на пути, которыми их надлежало вести.

Россию торговля с южным соседом могла интересовать лишь в том случае, если она будет морской. Федор Алексеевич Головин напоминал Толстому: «А торговле, дабы чрез Черное море учинить, всяким тщанием своим домогатца». Головину вторил сменивший его на посту руководителя внешнеполитического ведомства России Гавриил Иванович Головкин: «Нам Азовский торг zelo угоден»³³.

Сколько ни убеждал Петр Андреевич своих партнеров, что при наличии морского пути «приезжать торговым людем сухим путем zelo далеко и неполезно», как ни внушал им мысль о необходимости организовать торговлю «свободно, безбедно и безопасно», они твердили свое: «Черное море состоит под владением нашего величества, и иной никто тем не владеет». Однажды послу было заявлено, что Османская империя не потерпит появления на Черном море не только русских кораблей, но даже парусника или двухвесельной лодки.

О серьезности намерений османского правительства не допускать русских к морю свидетельствуют планы перекрытия Керченского пролива, или, как тогда называли, гирла. Но империя не располагала ресурсами ни для того, чтобы соединить берега пролива дамбой; ни для того, чтобы потопить в проливе отжившие век корабли, предварительно нагрузив их камнями, а в самой глубокой части пролива протянуть цепи; ни, наконец, для сооружения искусственного острова, чтобы любой корабль, следующий из Азовского моря в Черное и обратно, находился в зоне досягаемости островной артиллерии. Империя могла осилить лишь сооружение дополнительной крепости недалеко от Керчи.

В одном из донесений Головину Толстой сообщал: «О торговом, государь, деле весть всевидящее око, еже не токмо неленостным, но и от всех моих сил старательным попечением труждаюся»³⁴. Усилия, хотя и «неленостные», тем не менее оказались бесплодными.

Тогда Петр Андреевич решил действовать обходными путями, смысл которых состоял в том, чтобы «отворить» Черное море, так сказать, явочным порядком, постепенно приучая османов к появлению русских кораблей у стен Стамбула как повседневному явлению. Толстой возбудил хлопоты о разрешении русским купцам отправляться из Стамбула на родину на кораблях. Ответ гласил: «Торговым московским людем, не докончав о торговом деле статьи, чрез Черное море ездить не надлежит».

Петр Андреевич счел эту акцию османского правительства «нелюбовной», и оно, чтобы смягчить характер своей меры, пошло на неслыханный жест: султанским указом было велено выделить московским купцам бесплатно 30 подвод до Молдавии, а путь по молдавской территории оплачивать лишь в половину казенной ставки. Обоз, кроме того, сопровождала стража из 80 янычар. И все это для того, чтобы избавиться от русских кораблей на Черном море!

В выгоде оказались купцы, известившие Толстого, что их «везли честно», без задержек в пути, а начальник стражи «вельми о нас радел и всякую любовь нам чинил». Но это нисколько не приблизило посла к тому, чтобы «отворить» Черное море.

С большим трудом Петру Андреевичу все же удалось снарядить торговый корабль в Азов. Под видом предметов, якобы закупленных послом для своего брата Ивана, азовского воеводы, на корабль были погружены товары купца Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского. «Вещи под моим именем, — писал Толстой брату, — а все Савины, моего отнюдь ничего нет». Головину он объяснил цель подлога: «...чтоб по малу оный морской путь к Азову отворялся».

Впрочем, в 1706 г. Толстой был близок к сокровенной цели: оставался суший пустяк — обмакнуть перо, чтобы подписать договор. Но тут Петра Андреевича постигла беда. Везир, склонный подписать договор и много в этом направлении потрудившийся, был смещен. Все надобно было начинать заново. Толстой в письме к Головину сокрушался: «Всякое, государь, доброе дело к докончанию ничто иное не допускает, токмо моя немилостивая фортуна. В настоящем, государь, времени уже было привелось ко окончанию изрядному торговое дело и надеялся его скончить внутри трех или четырех днех, но внезапным переменеением везирским паки остановилось, и что Бог учинит — не знаю»³⁵.

Толстому не удалось довести дело до благополучного конца, ибо новый везир не проявлял никакого интереса к торговым связям между двумя государствами, а в последующие годы энергия посла была направлена на решение более насущных задач.

Петру Андреевичу доводилось выполнять и консульские обязанности: защищать интересы русских торговых людей, освобождать из неволи захваченных в плен русских и украинцев, обсуждать с представителями султана пограничные инциденты. Иногда ему «докучали» частными просьбами вельможи из Москвы. Меншиков, например, вздумал соорудить турецкую баню и обратился с просьбой к Толстому, чтобы тот нанял и отправил в Россию двух мастеров «турчанинов». Вместо османов Петр Андреевич нанял двух знатоков банностроительного дела из армян.

До сих пор речь шла об обсуждении вопросов, выдвигаемых послом. Поскольку Петр Андреевич выступал инициатором переговоров, он и направлял их в нужное ему русло. Документы позволяют представить Толстого в иной роли — когда ему приходилось отбиваться от претензий партнеров по переговорам, так сказать, обороняться. В этой иной ипостаси, как и в первой, посол предстает великолепным полемистом и блестящим психологом, быстро познавшим манеру поведения собеседников.

Отметим одну важную деталь: письма, отправляемые Толстым из Стамбула в Москву, находились в пути не менее месяца. Следовательно, посол мог получить ответ на какой-либо свой запрос в лучшем случае через два месяца. Часто, однако, случалось, что Головин или Головкин не имели

вестей от Толстого в течение четырех, а то и шести месяцев и получали в один день кучу пакетов.

Сказанное надо иметь в виду, чтобы в полной мере оценить способность Петра Андреевича быстро ориентироваться в обстановке, анализировать ее и давать правильные ответы на выдвигаемые жизнью вопросы. Мы не знаем ни одного случая, когда бы Посольский приказ с полным на то основанием поправлял своего посла либо считал, что занятая им позиция была ошибочной и он содеял нечто непоправимое, не соответствовавшее интересам России. Происходило противоположное: посол давал советы Посольскому приказу и там находили их настолько разумными, что тут же претворяли в жизнь.

Османская сторона предъявила свои претензии к России во время первой же встречи Толстого с рейс-эфенди 5 декабря 1702 г. Глава внешнеполитического ведомства Османской империи формулировал их так: корабли азовского флота «да сожгутся», сооруженная русскими крепость Каменный Затон «да разорится». Третье требование относилось к определению пограничной линии, или, как тогда говорили, размежеванию земель. Рейс-эфенди утверждал, что крепость, как и азовский флот угрожают безопасности Крымского ханства. Крымцы, заявил министр, «уверяют нас, что ваше намерение не весьма есть чисто и благоразумно».

Но Толстой и без этого заявления знал, откуда дует ветер, от кого исходили требования. Поэтому весь пафос своего эмоционального и полемического монолога посол направил против крымских татар. Это они, «яко хищнически, где могут что украсти, подбегав тайно, то чинили и ныне чинити не престают». За такое «злоторение» крымские ханы «уже давно достойны престостокие казни, но Порта им попустительствует». К тому же, убеждал Петр Андреевич рейс-эфенди, «города всегда строятся не для наступательные, но для оборонительные войны» и крепость сооружена для защиты «от их татарского воровского грабежу».

Чтобы окончательно рассеять подозрения османов относительно назначения крепости, совсем не такой укрепленной, как ее описывали крымские татары, Толстой решил показать рейс-эфенди ее план и несколько раз просил Головина прислать его. План Каменного Затона Петр Андреевич действительно получил, но не оттуда, откуда рассчитывал. Произошло это, по словам Толстого, так: «Чертеж прислал к Порте силистрийский Юсуп-паша, и с того чертежа святейший патриарх по прошению моему достал от Порты список (копию. — Н. П.), которого, государь, списка, равною мерою написав, я чертеж посылаю ныне к тебе, государю моему».

Факт, как видим, любопытный. Он свидетельствует о том, что управитель пограничной территории Юсуф-паша тоже зря времени не терял и располагал лазутчиками, сумевшими добыть план русской крепости.

Отклонил Толстой и требование об уничтожении азовского флота. Вопрос был поставлен в лоб: «Во Азовском уезде по какому рассмотрению

корабли блюдете?» Османское правительство считало, что их надобно ради поддержания мира либо сжечь, либо продать империи.

Посол резонно заметил, что флот в Азовском море находился до заключения Константинопольского договора, в котором, кстати, ни слова не сказано об обязательстве России уничтожить корабли. Строит же султан корабли на Черном море, хотя видимых причин укреплять свой флот у него там нет: на море царит мир, корсары мореходству не препятствуют. Толстой резюмировал свои рассуждения заявлением, что сооружение крепости, как и содержание флота, — внутреннее дело Российского государства и он, посол, даже не рискует доносить об этих требованиях царю.

Тем не менее османы возобновляли претензии в 1703, 1704, 1705 и 1706 гг. Отвергая их, Петр Андреевич повторял и развивал мысли, высказанные им в декабре 1702 г., ровно столько раз, сколько раз побуждали его к этому султанские министры, выдвигавшие свои несуразные требования. Он не устал твердить, что Россия имела право, не спрашивая ни у кого ни разрешения, ни согласия, соорудить крепость на своей территории и содержать корабли в принадлежавших ей гаванях. Но османское правительство по внушению крымцев рассуждало иначе.

В отклонении османских претензий Толстой проявлял твердость даже и после того, как в 1703 г. получил из Москвы инструкцию, разрешавшую ему пойти на некоторые уступки. Послу, например, дозволялось заявить османам — правда, весьма туманно, — что царь готов ради сохранения мира оказать султану «довольства» при обсуждении вопроса о Каменном Затоне, и, кроме того, предоставлялось право вести переговоры о продаже за достойную цену азовских кораблей³⁶.

Султанскому двору, видимо, стало известно содержание полученной послом инструкции. Догадка эта подтверждается характером обвинений в адрес Толстого во время одной из конференций. В феврале 1704 г. Асан-паша, «сердитуя», высказал удивление, что «посол стоит в сем деле в великом упорстве» и действует не в соответствии с царским указом, а «своим произволением». Именно поэтому османское правительство решило отправить в Россию посла в надежде, что он, минуя Толстого, сможет получить согласие царя на разрушение Каменного Затона и продажу кораблей азовского флота.

Личность османского посла Мустафы-аги настолько колоритна, что его деятельность заслуживает некоторого внимания.

В противоположность «утеснениям», которым подвергался русский посол в Адрианополе и Стамбуле, в Москве решили оказать османскому послу должное внимание и уважение. «Послу турецкому с великою честью прием и достаток во всем покажем», — делился Головин с Толстым.

Пребывание Мустафы-аги в России сопровождалось бесконечными недоразумениями, возникавшими не за столом переговоров, а на почве нарушения им не только дипломатического этикета, но и элементарных норм этики. В Стамбуле посла аттестовали «великим и честным человеком»,

а на поверку оказалось, что это был вздорный, невоспитанный, а главное, неумный человек.

С характером Мустафы-аги представители дипломатической службы России познакомились тотчас, как только он пересек границу. Головин писал Толстому: «...везли его сперва тихо, и о том говорил, чтоб вести скоряе, а как по указу везли скоро — zelo сердитовал, что везут скоро». С горем пополам добрались до столицы. К Донскому монастырю была отправлена царская карета, но османский посол заявил, что будет продолжать путь в своей колымаге. В конце концов уговорили его пересесть в карету, но тут новый каприз: Мустафа-ага никак не соглашался, чтобы рядом с ним сидели приставы.

Бестактности следовали одна за другой. Головин поздравил посла, «яко доброго гостя», с благополучным прибытием, но тот не ответил ни благодарностью, ни даже приветствием. Так же бестактно вел он себя и во время аудиенции у царя — не передал, как того требовал этикет, поздравления от султана и норовил «стать на престол». Главная же странность в поведении Мустафы-аги состояла в том, что он игнорировал многократные приглашения Головина явиться на переговоры: «...не только с ним в разговоры не вступал, но и видеться не восхотел». Тем не менее Мустафе-аге продолжали оказывать всякое почтение.

Из Москвы посла отправили в Новгород — сочли, что там будет удобнее вести с ним переговоры царю, находившемуся на театре военных действий. Накануне отъезда Мустафа-ага пожаловался, что «от жестоких морозов озяб и ехать в чем не имеет». Тут же он получил соболей на 300 руб. для изготовления шубы. В Новгороде, как и в Москве, ему выдавалась огромная по тем временам сумма кормовых — по 25 руб. в день. Стоило послу пожаловаться, что «он без жены толь долгое время быть не может, а робят-де таковых с ним не привезено», и попросить «сыскать которого-либо места из бусурман», как был снаряжен нарочный в Касимов для доставки двух «девок-татарок»³⁷.

Вызывающе повел себя посол и при въезде в только что завоеванную Нарву. Петр решил показать ему крепость, чтобы он убедился в мощи русского оружия. Удивляло русских дипломатов и другое: вот уже несколько месяцев Мустафа-ага находился в России, а до сих пор не удостоился отправить в Стамбул ни одного курьера. В столице Османской империи полагали, что посла держат в России «в утеснении», не подозревая о том, что он молчал по собственной инициативе.

Самый непристойный поступок Мустафа-ага совершил в Каменном Затоне. В Москве ему приглянулся царский портрет, украшавший триумфальную арку. Петр подарил свою персону послу, и тот «воспринял будто приятно и в великую милость и взял ее с собою». Однако, находясь в Каменном Затоне, последнем пункте его пребывания на русской территории, он кинул персону под лавку, предварительно ее «изрезав и замарав оную ругательно всяким смрадом, так что позорно о том слышать».

В Стамбуле Мустафа-ага сделал клеветническое заявление о том, что ему не предоставлялось никаких «повольностей». Более того: он утаил от султана и везира послания Петра и Головина. Толстой был информирован и о поведении посла в России, и о его жалобе султану, что русские содержали его «в великом утеснении и в скудости», и о «зелом желании» Мустафы-аги, чтобы русскому послу «в्याщее примножилось всякого утеснения».

Задача Петра Андреевича состояла в том, чтобы опровергнуть ложные заявления Мустафы-аги и добиться сурового наказания посла за его кощунственный поступок.

Первую часть задачи выполнить было нетрудно. Петр Андреевич представил султану и его правительству копии грамот царя и Головина на имя султана и везира, которые утаил Мустафа-ага. Показал Толстой и копию благодарственного письма Мустафы-аги за дружелюбие и гостеприимство, направленного Головину накануне отъезда на родину. В нем посол выдал даже комплимент в адрес царя: «...его царское величество есть храбрый, и от храбрых всегда доброе творитца».

Виновность Мустафы-аги была доказана. Спор возник по поводу меры наказания. Толстой потребовал смертной казни. Но везир хотя и считал, что Мустафа-ага — «совершенный дурак и учинил-де то (с портретом царя. — Н. П.) безумством», но полагал возможным ограничиться ссылкой его, так как по мусульманскому закону «за такое дело убить человека не повелевается»³⁸. Дело закончилось опалой Мустафы-аги — домогательства Толстого лишить его жизни успеха не имели.

Поездка Мустафы-аги в Россию не способствовала укреплению «любви и дружбы» между двумя государствами. Напротив, она в дополнение ко всему прочему ужесточила режим жизни русского посла в Стамбуле, а также потребовала от него дополнительных усилий.

Попробуем проследить за действиями Петра Андреевича в месяцы, когда к Мустафе-аге было приковано внимание сначала в России, затем в Османской империи. Они показательны в том смысле, что характеризуют стиль работы Толстого в качестве посла. Кажется, самыми выразительными чертами этого стиля являются планомерные, рассчитанные до мелочей действия, отсутствие спешки и стремления форсировать события. Темперамент Толстого позволял ему терпеливо выжидать того момента, когда предпринятые им шаги окажутся наиболее эффективными.

Первые сведения о поведении Мустафы-аги Толстой получил 20 апреля 1704 г. Головин дал османскому послу достаточно определенную характеристику: «Кратко написать — человек суров и политических дел необыкновенен, а про посольские — знатно что мало и слышал». В другом письме Головина, полученном Толстым 7 августа, аттестация Мустафы-аги приобрела более резкие черты: «А послом их, мню, здесь с таким дураком и упрямцом делать нечего. Истину тебе пишу — немного таких глупцов сыщешь, как сей».

Казалось бы, Петр Андреевич, получив такую информацию, должен был добиваться у везира немедленной аудиенции, чтобы выразить ему

мнение русского правительства о после. Но этого не произошло. Толстой извещал Головина 26 августа: «...у Порты о том (о поведении Мустафы-аги. — Н. П.) ничего не ведомо, и я ныне о том умолчу до времени». Это время наступило только в следующем году. Главные свои козыри для компрометации Мустафы-аги — его письма Головину и копии грамот султану и везиру — Петр Андреевич приберет на будущее. 10 марта 1705 г. он доносил Головину: «А писем ево, которые милость твоя изволил ко мне прислать, еще я не явил, усматривая в том благополучного времени»³⁹.

Почти два с половиной месяца Толстой терпеливо наблюдал, как будут развиваться события и какие новые выпады совершит Мустафа-ага. Наконец 21 мая 1705 г. Толстой счел, что наступил благоприятный момент для нанесения решающего удара, — в этот день он передал османским властям все документы, компрометирующие незадачливого посла.

За время пребывания Толстого-дипломата в недружелюбном окружении в полной мере проявились не только его неутомимая энергия и неистощимое терпение, но и такие качества природы Петра Андреевича, как гибкость и умение соразмерять свои поступки с изменчивой обстановкой. Эти черты характера оказывали Толстому неоценимую услугу, тем более что ему приходилось иметь дело с часто менявшимися везирами и министрами. Каждый вновь назначенный везир или министр — это новый характер, иная манера вести переговоры, разная дань религиозному фанатизму. Все эти обстоятельства если и не оказывали решающего воздействия на переговоры и выполнение миссии посла в целом, то и не относились к числу тех, которыми можно было безболезненно пренебречь.

При знакомстве с содержанием и формой переговоров на конференциях с османскими министрами создается впечатление о Толстом как о человеке многоликом, умевшем быть вкрадчивым и предупредительным, деликатным и спокойным и в то же время негибким и твердым, напористым и жестоким.

Вспомним первую встречу посла с рейс-эфенди в декабре 1702 г., положившую начало переговорам. Рейс-эфенди высказал претензии султана к русскому правительству в таком запугивающем и даже ультимативном тоне, что, не прояви Петр Андреевич выдержки и достоинства, переговоры могли бы прерваться. Но посол заявил своему заносчивому собеседнику, что он, Толстой, «пренебрегая жестокостью предреченных слов, возответствует на предложение ваше с тихостью». И далее потекли спокойные и рассудительные слова, отменявшие одно за другим вздорные требования рейс-эфенди. Закончил Толстой свой монолог в восточном стиле — назидательным вопросом: «Недавно обновившаяся любовь и дружба зело еще млада суши и такого ли себе сурового воспитания требует, и такими ли бесполезными предложениями может умножиться?»

Патриарх Досифей, которого посол извещал о ходе переговоров, был в восторге от умело проведенной Толстым партии. По его мнению, Толстой отвечал «зело разумно, чего невозможно было лутчи говорить», а дерзость и кичливость, проявленные рейс-эфенди, «суть боязни знамение, но смыс-

ленный и мужественный разглагольствует осмотрительно и приметливо, смиренно и тихо». Досифей полагал, что медоточивые речи и щедро рачеточаемые улыбки лучше всего обезоружат грубых и невежественных партнеров по переговорам. Однажды он преподал послу урок поведения на конференциях: «Егда пойдете к ним свидеться, будите сладколичны, сладкословны, веселы, приятственные... и тако исходатайствуешь себе честь велику и в делах своих велику пользу»⁴⁰.

Приглядевшись к нравам османских вельмож, Толстой решил, что не всегда следует руководствоваться рекомендацией патриарха и что не во всех случаях слова «сладше паче меда и сота» могут оказывать должное воздействие на собеседника. Он умел также быть жестким и проявлять характер.

В июне 1706 г. Толстой имел встречу с везиром Али-пашой, отличавшимся, с одной стороны, надменным и гордым нравом, а с другой — неосведомленностью в делах управления. Аудиенция протекала так: сначала везир «показывается горд паче прежде бывших и начал было разговаривать с великою гордостью. А когда увидел, что и я возответствовал маленько сурово, потом склонился и говорил зело ласково и с любовью отпустил». Как видим, везир подобрел после того, как получил отпор.

В феврале 1704 г. Толстой достиг договоренности с уполномоченным султана Асан-пашой о пропуске в Стамбул трех торговых кораблей, в том числе одного с грузом для посла. Прошло три недели, и везир дезавуировал эту договоренность. Послу было заявлено, что обещание дано «без указу султанова величества и без приказу крайняго везира, самовлаством и никогда-де то состоятися не может, чтоб московские корабли по Черному морю плавали».

Главному переводчику Александру Шкарлату, сообщившему Толстому весть об отмене договоренности, пришлось выслушать резкие слова посла, рассчитанные, конечно же, на уши везира. Посол заявил своему собеседнику, что происшедшее «безмерным стыдом явится», что переговоры не подобает превращать в «децкое игралище», что османские министры могут утратить всякое доверие. Высказал посол сомнение и в том, что разрешение на пропуск кораблей было дано без ведома султана и везира.

Во время беседы, которую Толстой вел отнюдь не в дружелюбном тоне, Шкарлат высказал любопытные соображения о том, как могло случиться, что послу было дано обещание пропустить корабли: «...или он (Асан-паша. — Н. П.) был убежден такие слова говорить некакими дарами, или-де ево посольскими многими словами притеснен, не возмогши противного учинить ответу»⁴¹.

Доподлинно известно, что Асан-пашу Толстой не одаривал. Следовательно, уполномоченному султана довелось испытать искусство полемиста и силу аргументов Толстого, против которых невозможно было возражать. Шкарлат, чаще прочих чиновников встречавшийся с Толстым, хорошо знал эти его достоинства.

В каком ритме протекала жизнь посла?

Было бы ошибочно полагать, что с утра до вечера Толстой находился в постоянных заботах и не располагал ни минутой свободного времени. Такого времени у него было предостаточно, ибо напряженная, а иногда и лихорадочная деятельность сменялась затишьем, когда — по крайней мере внешне — ничто не обременяло посла. Отчасти покойная жизнь Петра Андреевича была прямым следствием спокойной обстановки в столице империи: противники мира между двумя странами не давали о себе знать. Но безделье Толстого нередко было вынужденным, проистекавшим от ритма деятельности государственного механизма Османской империи. Медлительность османских чиновников прямо-таки обескураживала Толстого, и ему понадобились годы, чтобы приспособиться к ней. Иногда его одолевало отчаяние от сознания бесполезности своего пребывания в стране. То и дело посол «доучал» османским властям напоминаниями о нерешенных делах.

Первое такое напоминание относится к началу сентября 1702 г., когда Толстой поручил своему переводчику заявить Шкарлату, что уже пошла вторая неделя его пребывания в Адрианополе, «а дело ево, посольское, начала не восприемлет». Вынужденное ожидание «наносит ему, послу, великую скучность».

Случалось, что «скучать» приходилось месяцами. 1 января 1703 г. посол велел заявить Шкарлату, что пошел пятый месяц, как он «предложил Порте надлежащее дело, а по се время ответу никакова не может восприяти». Османские министры просто уклонялись от встречи. «...А сами министры видитца со мною не хотят», — писал Толстой в 1703 г. «Я ныне, — доносил он в 1705 г., — пребываю кроме всякого дела и ни о чем с министры и говорить не могу». В 1707 г. посол сетовал: «...уже-де девятый месяц проходит, как-де оный Мегмет-эфенди с ним, послом, на разговоры определен, и до сего времени не мог ни единого сношения учинить»⁴².

Как распоряжался Толстой свободным временем?

Кстати, этот вопрос заинтересовал одного из везиров. Он как-то спросил у посольского пристава: «Как пребывает посол московский и в каких забавах управляется?» Пристав ответил, что посол живет в стране уже четыре года «все единой мере тихо и безмятежно, а забавы-де никакие не имеет, разве-де упразняется в прочитании книг».

Так проводил время Толстой в стране, где на его долю выпало немало тяжких испытаний. Он их стойчески переносил, ибо был убежден, что «всякого посла художества и хитрость суть строити между государи и государствы тишину и покой обоим странам в пользу»⁴³.

ОБЛАВА

Два с лишним года, отделявшие возвращение Толстого из Османской империи (1714 г.) от участия его в так называемом деле царевича Алексея, не были насыщены сколько-нибудь знаменательными событиями. Монотонно текла служба в Посольской канцелярии — в эти годы внешнеполитическое ведомство России не совершило ни одной памятной акции. Оживление можно было ожидать лишь в 1716 г., когда царь вместе с супругой отправился за границу, чтобы попытаться преодолеть противоречия, раздиравшие Северный союз, и ускорить завершение конфликта со Швецией военным или дипломатическим путем. Во время переговоров с датским королем было достигнуто соглашение о совместной высадке десанта в шведскую провинцию Сконе (Шонию). Из Копенгагена Петр отправился в Париж, куда были вызваны виднейшие дипломаты страны — Куракин, Шафиров, Толстой, Рагузинский.

Какова была роль Петра Андреевича в переговорах русских дипломатов в Париже и Амстердаме, в точности неизвестно. С достоверностью можно сказать лишь одно: находясь за пределами России, он быстро разобрался в международной обстановке и достаточно подробно информировал приятелей о европейских событиях. Из Амстердама он, например, сообщал о провалившейся затее Карла XII свергнуть английского короля и посадить на престол удобного ему претендента. С этой целью шведский король «принял в свою службу 700 человек офицеров шкоцких, которые бунтовали против короля английского, и намерен был послать в Шкоцию войск своих 10 000 в пользу претенденту». В других письмах он извещал о безуспешных переговорах Петра с датским двором, о слухах, впрочем не подтвердившихся, будто бы наместники Англии и Голландии намеревались прекратить торговлю со Швецией и даже объявить ей войну.

С адмиралом Апраксиным Петр Андреевич поделился своими сообщениями относительно общей обстановки в Западной Европе и ее вли-

яния на дела Северного союза: «Мнится мне, что настоящие конъюнктуры чинят немалое отдохновение короне швецкой. Дай боже, без продолжения паки возобновить доброму согласию между высокими северными алиятами». Находясь с царем в Спа, он сообщал Меншикову о завершении переговоров с Францией и заключении договора, которым, «однако же, не разменялись, понеже в том же трактате включен король прусской, которого министр господин Кинпгоузен, не имея от короля своего полной мочи, подписать оного трактату не мог»¹.

Переговоры с французским правительством завершились заключением в Амстердаме договора, значительно ослабившего позиции Швеции. К тому времени обессиленная Швеция не могла, опираясь на собственные ресурсы, продолжать войну с Россией. Ей оказывала финансовую помощь Франция. Главное значение Амстердамского договора состояло в отказе правительства Франции выдавать субсидии Швеции.

Военные действия в шведской провинции Сконе планировались на осень 1716 г. 26 августа царь отправил из Копенгагена вызов сыну, чтобы тот, если пожелает, прибыл в Данию для участия в десантных операциях.

26 сентября 1716 г. царевич Алексей налегке, прихватив с собой любовницу Евфросинью, ее брата Ивана Федоровича и трех служителей, отбыл из Петербурга.

Проходит месяц, другой, царевич по всем расчетам должен быть в Копенгагене, а его там нет. Отсутствие сына вызвало у царя тревогу. Он рассудил, что царевич либо стал жертвой дорожного происшествия — нападения разбойников, — либо бежал. Для подозрений относительно бегства царевича существовали глубокие основания: отношения отца с сыном уже давно обострились настолько, что год назад Петр потребовал от Алексея либо активно помогать ему в преобразовательных начинаниях, либо постричься в монахи и отречься от престола. Царь своим вызовом представил сыну последнюю возможность ответить делом на его призыв.

9 декабря Петр велел генералу Вейде, командовавшему корпусом в Мекленбурге, организовать поиски сына. Одновременно он вызвал из Вены резидента Авраама Веселовского и 20 декабря вручил ему указ: «...где он проведает сына нашего пребывания, то, разведав ему о том подлинно, ехать ему и последовать за ним во все места и тотчас о том чрез нарочные стафеты и курьеров писать к нам». Веселовскому, кроме того, было вручено письмо царя для передачи его цесарю Карлу VI.

Содержание указа Веселовскому, как и письма цесарю, свидетельствует об уверенности царя, что его сын бежал во владения австрийского императора, доводившегося царевичу шурином. Царь обращался к цесарю с просьбой: «...ежели он (царевич. — Н. П.) в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его с сим нашим резидентом... к нам прислать».

Начались интенсивные поиски царевича. Офицеры генерала Вейде не обнаружили никаких следов пребывания исчезнувшего сына русского царя. Успешнее действовал Веселовский. Расспрашивая владельцев гостиниц и служителей почтовых станций, он напал на след, который привел

его в Вену. Однако попытки обнаружить царевича в столице империи или в ее окрестностях оказались тщетными.

В то время как царские уполномоченные сбились с ног в поисках царевича, он под чужой фамилией прибыл в Вену, добился аудиенции у вице-канцлера Шенборна и попросил убежища и защиты от несправедливого отца, будто бы ни за что стремившегося лишить его наследства и упрятать в монастырь.

В Вене не рискнули публично предоставить царевичу убежище. Венский двор решил, что куда безопаснее приютить его тайно, держа в глубочайшем секрете не только место пребывания царевича и его спутников, но и сам факт нахождения его в цесарских владениях. Сначала царевича поселили в местечке Вейербург, неподалеку от Вены, а три недели спустя перевезли его в Тироль, где он должен был жить под видом государственного преступника в крепости Эренберг. Коменданту крепости велено было содержать заключенного в полной изоляции и непроницаемой тайне. Для ее обеспечения инструкция запрещала выпускать за пределы крепости солдат и их жен.

Долго держать в тайне место заточения царевича не удалось: один из чиновников шепнул Веселовскому, что тот находится в Тироле. Этого было достаточно, чтобы из многих направлений поисков остановиться на одном. Задачу Веселовского упрощало также и то, что к нему на помощь царь прислал гвардии капитана Александра Румянцева с тремя офицерами. Им поручено было схватить царевича и доставить в Мекленбург. Такое поручение, быть может, и было бы выполнимо, если бы царевич находился в Вейербурге. В крепости Эренберг подобная операция исключалась. Посоветовавшись, резидент и гвардии капитан решили ограничиться наблюдением за тем, что происходило в Эренберге.

А как повел себя венский двор? Что ответил цесарь русскому царю? Послание Карла VI являет образец пустословия. Цесарь клялся в любви, дружбе и преданности, но от прямого ответа на вопрос царя уклонился. В его письме тщетно искать признания, находится ли царевич под его протекцией или, наоборот, не проживает на территории Австрийской империи. В письме есть лишь туманное обещание сделать все возможное, «дабы ваш сын Алексей, его любовь, не впал в неприятельские руки».

Уклончивый ответ цесаря, с одной стороны, и его стремление лучше припрятать царевича — с другой, убедили Петра, что предстояла сложная дипломатическая борьба с венским двором, намеревавшимся использовать Алексея в качестве разменной монеты. О недобрых намерениях австрийского правительства свидетельствовал перевод царевича из Эренберга в Неаполь, — Румянцев и его помощники проследили за перемещением Алексея, неотступно следуя за его каретой. Петр поручил возглавить дело доставки сына на родину опытному дипломату Толстому.

Появление Толстого в Вене с посланием цесарю от царя для австрийского правительства было подобно грому среди ясного неба: сам цесарь и его министры были абсолютно уверены, что им удалось упрятать царевича так основательно, что его никто не сможет обнаружить.

Петр Андреевич, как только прибыл в Вену, немедленно потребовал аудиенции у цесаря и, добившись ее, 29 июля 1717 г. вручил ему письмо Петра. Царь без обиняков выразил «любезному другу и брату» свое удивление по поводу того, что царевич тайно содержится в цесарских владениях и «по прошению моему ко мне не отослан». Более того, в письме указывались точные координаты пребывания сына: сначала он находился в тирольской крепости Эренберг, а теперь отправлен в Неаполь. Царь извещал цесаря, что послал в Вену чужестранных дел коллегии тайного советника с поручением «и письменно и изустно волю нашу и отеческое увещание оному (сыну. — Н. П.) объявить» и «просить вас, дабы оный сын наш немедленно с ним к нам был отпущен». Петр нарочито подчеркнул, что Румянцев своими глазами видел, как царевича перевозили из Эренберга в Неаполь.

Опирается и юлить венскому двору было уже и бессмысленно, и непрестижно.

Инструкция Толстому и Румянцеву предусматривала возможные варианты поведения как цесаря, так и царевича. Если император и впредь будет уклоняться от определенного ответа и ссылаться на свою неосведомленность о местонахождении царевича, то Толстой должен был прибегнуть к угрозе, изложенной, правда, в самой общей и туманной форме: «...и против того свои меры брать принуждены будем». Если, напротив, император признает, что царевич находится в его владениях, но откажется его выдать, поскольку царевич «отдался под его протекцию», то надлежало заявить, что никому не дано выступать судьей в отношениях между отцом и сыном, тем более что отец заявил о готовности простить его проступок.

Инструкция предусматривала поведение Толстого и в том случае, если сын будет жаловаться на отца за «принуждение». Самым убедительным документом против этого обвинения считалось письмо царя к сыну из Копенгагена, которое Толстой должен был показать Карлу VI, чтобы тот убедился, «что неволи не было». Толстой должен был поведать цесарю, как отец долго и упорно пытался сына «на путь добродетелей поставить», но сын оказался невосприимчивым к подобного рода заботам и, вероятно, под влиянием недобрых людей решился на неразумный шаг. В общении с цесарскими министрами Петру Андреевичу следовало в зависимости от обстоятельств применять «ласку или угрозу». В случае отказа выдать царевича Толстой и Румянцев должны были домогаться разрешения на свидание с ним. Если будет отказано и в этом, то цесарю надлежало объявить, «что мы сие примем за явный разрыв». Царь тогда будет апеллировать к общественному мнению Европы.

Два пункта инструкции определяли, как нужно было уговаривать царевича возвратиться на родину: надлежало взывать к совести сына, разъяснять ему, какое он отцу «тем своим поступком безславию, обиду и печаль, а себе бедство и смертную беду нанес»; гарантировать прощение поступка, если уговоры подействуют и царевич напишет письмо цесарю о своем желании вернуться в Россию; грозить родительским проклятием и наме-

рением царя домогаться выдачи его с оружием в руках в случае отказа от возвращения².

Лучшего исполнителя повелений царя, чем Толстой, трудно было сыскать, ибо именно он искуснее других владел диаметрально противоположными системами переговоров — лаской и угрозами. Петр Андреевич умел быстро переходить от доверительного и обаятельного бормотания к металлу в голосе. Кроме того, он обладал еще двумя очень важными в данном случае преимуществами: хорошо знал итальянский и два десятилетия назад бывал в Неаполе, где скрывался царевич.

Толстой не ограничился аудиенцией у цесаря. На следующий день, 30 июля, он отправился к герцогине Вольфенбюттельской, — матери супруги цесаря и покойной супруги царевича Шарлотты Христины Софии. Хотя теща Алексея поначалу заявила, что она ничего не знает о месте его пребывания, но затем под напором фактов вынуждена была выдавить обещание всячески содействовать возвращению беглеца.

Итак, игра в прятки закончилась. Цесарь был загнан в угол, и ему надлежало дать четкий ответ на запрос царя. Три министра на тайной конференции 7 августа выработали рекомендации цесарю, как вести себя в дальнейшем в этом шекотливом деле. Коль скоро царю стала известна тайна пребывания сына, то решено было подать факт предоставления ему убежища как акт милосердия и благодеяния цесаря: то было сделано ради избежания угрозы «попасть царевичу в неприятельские руки». Царю надлежало заявить, что его неправильно информировали, будто «сына его перевозят как арестанта», что в действительности его «трактовали как принца» и сам этот «принц» просил, чтобы ему предоставили уединенное и безопасное убежище. Если царевич, ознакомившись с содержанием письма Петра к Карлу VI, все же откажется выехать в Россию, то Толстой мог рассчитывать на разрешение встретиться с ним.

Это был уже частичный успех Толстого — для него открывались пути непосредственного воздействия на царевича. Правда, Толстому было заявлено, что цесарь не выдаст Алексея вопреки его воле. Но это заявление можно было игнорировать, ибо и Толстой, и австрийские министры великолепно понимали, что упрямство цесаря чревато нежелательными последствиями — вторжением русских войск в Силезию или Богемию и пребыванием их там до тех пор, пока царь не получит сына.

Цесарь утвердил рекомендации конференции. В Неаполь курьер vez его повеление вице-королю графу Дауну оказывать всяческую помощь Толстому. Перед отъездом в Неаполь Толстой еще дважды навестил тещу Алексея и получил от нее увещательное письмо. Впрочем, увещательным письмо можно назвать лишь условно, ибо герцогиня всего-навсего написала, что желает его «примирения с отцом».

Толстой и Румянцев выехали из Вены 21 августа 1717 г. и в Неаполь прибыли более месяца спустя — 24 сентября. На следующий день они явились к Дауну, чтобы договориться о встрече с царевичем.

Первое свидание Толстого и Румянцева с царевичем состоялось 26 сентября. Для царевича встреча с доверенными людьми отца была такой же неожиданностью, как и для цесарских министров их появление в Вене. Алексей полагал, что терпит режим арестанта ради того, чтобы оставаться в неизвестности, а на поверку оказалось, что никакой тайны нет и отцу хорошо известно место его пребывания. Царевич онемел от страха. В особенности его приводило в трепет присутствие гвардейского капитана, который, полагал царевич, прибыл для того, чтобы лишить его жизни.

Толстой вручил царевичу два письма: одно — от герцогини, другое — от отца, написанное в Спа 10 июля 1717 г. Письмо Петра свидетельствует о его незаурядном литературном даровании, отличается краткой выразительностью и колоссальным эмоциональным напряжением. Приведем его полностью:

«Мой сын! Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал наставлению моему; но наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом, при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию, что не слыхано не точию междо наших детей, но ниже междо нарочитых подданных, чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд отечеству своему учинил!

Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Бude же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажут тебе, ежели воли моей слушаешь и возвратишься.

Буде же сего не учинишь, то, яко отец, данною мне от Бога властью, проклиная тебя вечно. А яко государь твой за изменника объявляю и не оставляю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться — чтоб хотел, то б сделал»³.

Мы не знаем, сколь продолжительным было свидание, какие монологи произносил Толстой и что на них отвечал царевич. Бесспорно одно: Петр Андреевич, руководствуясь инструкцией, пытался воздействовать на Алексея Петровича и ласками, и сказками, и угрозами, и, наконец, угрозами. Все старания, однако, оказались бесплодными. Выслушав Толстого, царевич заявил: «Теперь ничего не могу объявить, потому что надобно мыслить о том гораздо».

Следующая встреча состоялась через два дня, 28 сентября. Ее результаты тоже были неутешительными. Тем не менее это собеседование отличалось от первого. Тогда царевич испуганно молчал. Теперь состояние шока миновало, и Алексей стал словоохотливее. Обдумав содержание письма отца и обещания Толстого, на которые тот, естественно, не скупился, он наотрез отказался вернуться в Россию: «Возвратиться к отцу опасно и пред разгневанное лицо явиться не безстрашно; а почему не

смею возвратиться, о том письменно донесу протектору моему, его царскому величеству».

После того как ласки не подействовали, Толстой перешел к языку угроз. Он заявил, что царь не удовлетворится до тех пор, пока не получит его живым или мертвым. Чтобы вернуть блудного сына в лоно семьи, отец не остановится и перед военными действиями. О себе Толстой сказал, что он не уедет отсюда и будет следовать за ним повсюду, куда бы он ни отправился, до тех пор, пока не доставит его отцу. Последняя угроза, кажется, произвела на царевича неотразимое впечатление, и он позвал Дауна в другую комнату, чтобы спросить, может ли он, царевич, положиться на покровительство царя, ибо не желает возвращаться к отцу. Получив положительный ответ, удрученный угрозами царевич воспрянул духом и вновь заявил собеседникам, что ему надобно время для размышлений.

Толстой и Румянцев 1 октября 1717 г. отправили письмо царю с отчетом о результатах свиданий: «Сколько, государь, можем видеть из слов его, многими разговорами он только время продолжает, а ехать в отечество не хочет, и не думаем, чтобы без крайнего принуждения на то согласился». Второе письмо Толстой отправил резиденту Веселовскому. Оно тоже не отличалось оптимизмом: «...ежели не отчаети наше дитя протекцию, под которой живет, никогда не послушает ехать».

У Толстого созрел план, как оказать на царевича «крайнее принуждение», как его «отчаети», чтобы он согласился на выезд. Здесь надо сказать, что Петр Андреевич не всегда действовал честно и прямо: в арсенале его средств влияния находились и шантаж, и запугивание, и подкуп. Он считал возможным ради достижения цели пользоваться всеми способами, без разбора. Упомянутое выше письмо Веселовскому, где царевич назван «наше дитя», Толстой заключил словами: «...сего часа больше не могу писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит». Думается, что, называя царевича «зверем», Толстой имел в виду, что царевич, подобно зверю, был обложен со всех сторон.

Коварный план Толстого состоял в том, чтобы лишить Алексея уверенности в готовности императора ради него пойти на все, в том числе и на вооруженный конфликт с Петром.

Подкупленный Толстым, секретарь графа Дауна, непосредственно общавшийся с беглым царевичем, по заданию Петра Андреевича как бы незначай, мимоходом, но под большим секретом должен был сказать ему, чтобы он не надеялся «на протекцию царя, который оружием его защищать не может при нынешних обстоятельствах, по случаю войны с турками и гишпанцами».

Вторую акцию, тоже призванную оказать давление на царевича, должен был осуществить вице-король. Графу Дауну Толстой поручил высказать Алексею Петровичу намерение отобрать у него Евфросинью «для того, чтобы царевич из того увидел, что царская протекция ему не надежна и поступают с ним против его воли».

Наконец, третью дезинформацию Петр Андреевич взял на себя: во время очередной встречи он был намерен сказать царевичу, что сию минуту получил письмо от царя, в котором тот будто бы писал, что, «конечно, доставать его намерен оружием» и что русские войска, сосредоточенные в Польше, готовы перейти границу.

Самое же сильное впечатление на царевича произвело сообщение Толстого о том, что отец вот-вот появится в Неаполе. Оно привело царевича в такой страх, что он, доносил Толстой, «в том моменте мне сказал: "Еще всеконечно ехать к отцу отважится"». Этот разговор состоялся 1 октября. Закончив его, Толстой отправился к графу Дауну, чтобы тот «немедленно послал к нему (царевичу. — Н. П.) сказать, чтобы он девку (Евфросинью. — Н. П.) от себя отлучил».

Толстой рассчитывал на эффект: «И того ради просил я вице-короля. — Н. П.) учинить предреченный поступок, дабы с трех сторон вдруг пришли ему противные ведомости, т. е. что помянутый секретарь отнял у него надежду на протекцию цесарскую, а я ему объявил отцев к нему вскоре приезд и прочая, а вице-король разлучение с девкою и противно воле его учинить хочет, чтоб тем его привести к резону, ибо иного ему делать нечего, что ехать к отцу с повиновением».

Толстой определил безошибочно: царевич находился в состоянии неуверенности и колебаний, он переживал душевные муки. Отсюда вывод — надо усилить давление.

2 октября Толстой получил записку Алексея: «Петр Андреевич! Буде возможно, побывай у меня сегодня один и письмо, о чем ты вчера сказывал, что получил от государя батюшки, с собою привези, понеже самую нужду имею с тобою говорить, не без пользы будет». Толстой поначалу отказался от свидания, поскольку такого письма от царя он не получал и удовлетворить любопытство Алексея, разумеется, не мог, потом согласился встретиться.

Не знаем, сколь удачно он выпутался из положения, бывшего плодом его собственной мистификации. Для нас важен конечный результат облады на «зверя». 3 октября Толстой и Румянцев явились к царевичу и услышали от него долгожданные слова. В тот же день царевич известил цесаря: «...резолюцию взял ехать в Вену и за превеликую милость вашего величества, когда сподоблюся видеть, персонально благодарить, и о некоторых своих нуждах просить и по оном, с воли вашего величества, возвратиться во своя к отцу своему, государю». Толстой и Румянцев поспешили поделиться приятной вестью с царем: «Его высочество государь царевич Алексей Петрович изволил нам сего числа объявить свое намерение, оставя все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам в С.-Питербурх едет безпрекословно с нами».

Письмо сына к отцу о принятом решении помечено 4 октября 1717 г. и составлено по канонам канцелярской практики того времени, т. е. в известной мере повторяет обещание царя простить вину: «Письмо твое, государь, милостивейшее чрез господ Толстого и Румянцева получил, из

которого, также изустного, мне от них милостивое от тебя, государя, мне всякие милости, недостойному в сем моем своевольном отъезде, будет, буде я возвращуся, прощение... И, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в С.-Петербург.

Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном *Алексей*»⁴.

О решении царевича известил цесаря и граф Даун. Он сообщил Карлу VI, что «царевич долго колебался дать положительную резолюцию», но наконец 3 октября согласился ехать к отцу. Царевич выразил желание отправить цесарю благодарственное письмо и, кроме того, просил разрешения прибыть в Вену для изъявления ему личной благодарности.

Как реагировали на полученное известие в Вене и Петербурге?

В реакции двух столиц можно найти общее: и здесь и там решение царевича вызвало вздох облегчения. Царь был, несомненно, рад, что удалось привести к благоприятному концу скандальное дело, наносившее ущерб его престижу в европейских дворах. Рад был и цесарь, поскольку решение царевича избавляло его от неприятных хлопот и даже конфликта.

Тайная конференция, созванная в связи с письмами царевича и Дауна, приняла постановление рекомендовать цесарю дать аудиенцию царевичу. Конференция полагала необходимым направить к царю специального чиновника, который должен был убедить Петра проявить к сыну милосердие, любовь и милость.

Из Петербурга царь ответил на письмо сына 17 ноября 1717 г.: «Мой сын! Письмо твое, в четвертый день октября писанное, я здесь получил, на которое отвечаю, что просишь прощения, которое уже вам пред сим чрез господ Толстого и Румянцова письменно и словесно обещано, что и ныне паки подтверждаю, в чем будь весьма надежен. Также о некоторых твоих желаниях писал к нам господин Толстой, которые также здесь вам позволяют, о чем он вам объявит». Под «некоторыми желаниями» подразумевалась просьба царевича разрешить ему жениться на Евфросинье, чтобы затем жить в деревне.

Действительно, царь одновременно с письмом царевичу 17 ноября отправил послание Толстому, поручив ему объявить, что оба желания сына будут удовлетворены: ему будет разрешено «жениться на той девке, которая у него, также, чтоб ему жить в своих деревнях»⁵.

Казалось, что инцидент исчерпан. Толстому понадобилось всего восемь дней (с 26 сентября, когда состоялось его первое свидание с царевичем, по 3 октября, когда царевич дал согласие вернуться в Россию), чтобы сломить сопротивление непутевого царского сына. Задание Петра Толстой выполнил блестяще. День за днем усиливал он давление и так плотно обложил своего «зверя», что тому оставлен был единственный выход — дорога к отцу.

Зная неуравновешенный характер царевича, его способность поддаваться чужому влиянию, Толстой не считал свою задачу выполненной

настолько, чтобы предаваться беспечности, ибо понимал, что, до тех пор пока Алексей Петрович находился за пределами России, он мог множество раз переменить свое решение. Отсюда две заботы Петра Андреевича, находившиеся в центре его внимания до того момента, пока карета с царевичем не пересекла русскую границу: полностью изолировать царевича от постороннего влияния и держать в тайне его согласие вернуться в Россию. Обе заботы были тесно связаны между собой и в конечном итоге преследовали одну цель — исключить возможность, чтобы кто-нибудь шепнул Алексею слово, могущее посеять сомнения и призывающее его отказаться от принятого решения.

Еще 3 октября Толстой в отдельной от письма цидулке «дерзнул» донести царю: «...благоволи, всемилостивейший государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того, ибо, когда сие разгласится, то небезопасно, либо кому то есть противно, чтоб кто не написал к нему какого соблазна, отчего (сохрани Бог) может, утрапашь, переменить свое намерение». В тот же день Петр Андреевич обратился с аналогичной просьбой к Веселовскому, правда, без объяснения причины, почему факт возвращения царевича надлежит держать в тайне: «А буде услышишь в Вене, что государь царевич изволит возвращаться в свое отечество, о сем не изволь отнюдь никому в С.-Питербурх писать, о чем тебя приятельски остерегаю. Того ради при сем случае и я в дом свой писем не послал и прошу вас, пожалуй, прикажи сыну моему Петру, чтоб при сем случае ни к кому в С.-Питербурх не писал. А какие ради то причин — желаю о том я токмо к одному его царскому величеству писать»⁶.

Труднее было не допускать свиданий и конфиденциальных разговоров царевича с посторонними людьми. Толстой и Румянцев не спускали глаз с Алексея Петровича и неотступно за ним следовали. Пожелал царевич поклониться мощам св. Николая в Бари — желание поклониться святому угоднику выразили Толстой и Румянцев; вице-король предложил для этой поездки казенные кареты и эскорт из офицеров, но любезность была отклонена — мало ли как будут вести себя офицеры. «За что мы ему, благодарствуя, весьма то отрекли, — доносил Толстой, — и просили его, чтобы нам отправил как можно больше инкогнито, на нашем иждивении».

Итак, стараниями Толстого и Румянцева общение царевича с простыми смертными было исключено. Но как предотвратить свидание царевича с Карлом VI?

Вспомним, что Алексей Петрович еще 3 октября высказал желание лично поблагодарить цесаря за предоставление ему убежища. О своих опасениях по поводу этого намерения Толстой написал царю: «Из Венеции намерен сын ваш ехать в Вену, но мы его всякими мерами отговаривались, однакож донныне зело в том стоит упорно, говоря, что будто ему, не возблагодаря цесаря, проехать не мошно, и только хочет медлить в Вене один день. А понеже, государь, неволею нам его не пустить в Вену не мошно, того ради писал я к резиденту Веселовскому, дабы он трудился всякими

мерами при дворе cesарском то сделать, дабы его в Вену под каким ни есть претекстом не допустить».

Судя по всему, Толстой не терял надежды уговорить царевича неезжать в Вену. Такой вывод напрашивается при чтении письма Толстого Веселовскому, в котором он велел резиденту выслать слуг царевича в Инсбрук. Распоряжение имело смысл лишь в том случае, если Толстой намеревался либо не останавливаться в Вене, либо если и остановиться, то, не медля ни минуты, покинуть ее.

Царевич выехал из Неаполя 14 октября. Его маршрут пролегал через Рим, Венецию, Инсбрук, Вену. Алексей Петрович медленно, по осеннему бездорожью, двигался навстречу своей гибели. До Рима царевича сопровождала Евфросинья, но затем ее отправили по более безопасному и спокойному маршруту, ибо она находилась на четвертом месяце беременности. На пути к Вене, а этот путь в общей сложности занял более полутора месяцев, Толстой, царевич и царь обменялись письмами. Петр еще раз подтвердил свое обещание разрешить сыну жениться «на той девке» и жить в деревне. Толстой сообщал царю: «Он без того и мыслить не хотел (ехать в Россию. — Н. П.), ежели вышписанные две кондиции позволены ему не будут»⁷.

Французский консул в Петербурге Виллардо решающую роль в согласии царевича вернуться на родину приписывает Евфросинье: «До отъезда в Италию был выработан план, с помощью которого он (Толстой. — Н. П.) надеялся добиться успеха. План заключался в привлечении на свою сторону любовницы царевича, которую он взял с собою из Петербурга. Она была финкой, довольно красивой, умной и весьма честолюбивой. Как раз эту слабость Толстой решил использовать: он убедил ее с помощью самых сильных клятв (он не затруднялся давать их, а еще меньше — выполнять), что женит на ней своего младшего сына и даст тысячу крестьянских дворов, если она уговорит царевича вернуться на родину. Соблазненная таким предложением, сопровождаемым клятвами, она убедила своего несчастного любовника в уверениях Толстого, что он получит прощение, если вернется с ним в Россию»⁸.

Ни один источник не подтверждает слов Виллардо. Доподлинно известен факт безграничной любви царевича к Евфросинье. Его подтверждают и свидетельства современников, и в еще большей мере письма царевича к Евфросинье, полные нежной заботы о любимой женщине, находившейся в положении. Обращаю на себя внимание беспредельно ласковые обращения: «Маменька, друг мой», «Матушка моя, друг мой сердешный, Афросиньюшка!» В одном из писем царевича читаем: «А дорогою себя береги, поезжай в летиге, не спеша, понеже в Тирольских горах дорога камениста, сама ты знаешь. А где захочешь — отдыхай, по сколько дней хочешь. Не смотри на расход денежной: хотя и много издержишь, мне твое здоровье лучше всего. А здесь, в Инсбруке, или где инде купи коляску хорошую, покойную».

Еще одним свидетельством серьезности намерения царевича превратить наложницу в супругу являются многочисленные просьбы Алексея

Петровича, обращенные к отцу, чтобы он разрешил ему жениться на Евфросинье.

Виллардо называет Евфросинью Федоровну женщиной умной. Как могла умная женщина принять всерьез заверения Толстого, пусть даже сопровождавшиеся клятвами, в том, что он, Толстой, женит на ней своего младшего сына? Тем более что со стороны горячо любившего ее царевича не было ни малейшего намека на разрыв или охлаждение.

Не подтверждают версию Виллардо и ответные письма Евфросиньи. Правда, они более сдержанны и менее пылки, чем письма царевича, но из их содержания непреложно следует, что Евфросинья отвечала Алексею Петровичу взаимностью. Накануне нового года, 31 декабря 1717 г., Евфросинья, будучи в Нюрнберге, получила от царевича письмо с извещением о разрешении оформить их отношения брачными узами и тут же ответила своему возлюбленному: «...изволишь писать и радость неизглаголанную о сочетании нашего брака возвещать, что всевидящий господь по желанию нашему во благое сотворит, а злое далече от нас отженет, и что изволили приказать, чтоб брату и господину Беклемишеву и молодцам сию нашу радость объявить, и я объявила им, и повеселились».

Допустим, что слова о «неизглаголанной радости» были чистым лицемерием и что Евфросинья участвовала в дьявольском плане. Тогда зачем ей было сообщать своему окружению об ожидавшейся свадьбе?

Кроме того, Виллардо было неизвестно содержание писем Петра сыну, и он, естественно, упускал из виду их воздействие на царевича.

В итоге свидетельство Виллардо можно отнести к крайне сомнительным. И тем не менее роль Евфросиньи в описываемой эпопее отрицать не приходится. Толстой в письме к ней из Твери, сообщая о прибытии «в свое отечество государя царевича», добавил: «...все так исправилось, как вы желали». Конец фразы можно интерпретировать только однозначно: Евфросинья желала возвращения царевича в Россию. Сама Евфросинья после прибытия в Петербург на допросе показала: «А когда господин Толстой приехал в Неаполь и царевич хотел из цесарской протекции уехать к папе римскому, но я его удержала»⁹.

Царевич вместе с Толстым и Румянцевым прибыл в Вену поздно вечером 5 декабря 1717 г. Рано утром следующего дня кортеж покинул столицу империи. Итак, встреча с цесарем не состоялась. Ясно, что инициатором отказа от свидания с Карлом VI был не царевич. За полтора месяца пути Петру Андреевичу удалось уговорить Алексея Петровича уклониться от аудиенции у цесаря и ограничиться лишь кратковременной остановкой в Вене.

До сих пор дела у Толстого шли наилучшим образом: ему удавалось все, его желания исполнялись беспрепятственно, будто он держал в руках волшебную палочку. Ему осталось перешагнуть через границу империи, чтобы выйти на финишную прямую. Здесь уже ничто не угрожало бы успешному завершению его миссии. Но после отъезда из Вены Толстого подстерегла неприятность, едва не перечеркнувшая все его старания. По-

спешный выезд царевича из Вены и отказ от встречи с цесарем вызвали у последнего подозрения: не являлся ли поступок царевича результатом воздействия на него Толстого и не находился ли он на положении пленника уполномоченных царя?

Когда утром 8 декабря 1717 г. кареты с царевичем, Толстым и Румянцевым прибыли в Брюнн, моравский генерал-губернатор граф Колоредо уже имел на руках следующее предписание цесаря: «Царевич, испросив дозволения благодарить меня в Вене за оказанное покровительство, 16 (5) декабря поздно ночью прибыл в Вену и сегодня рано утром отправился в Брюнн, не бывши у меня; да и Толстой ни у кого из моих министров не был. Из этого беспорядочного поступка ничего иного нельзя заключить, как то, что находящиеся при царевиче люди опасались, чтобы он не изменил своего намерения ехать к отцу». Цесарь велел генерал-губернатору задержать царевича под любым предлогом и постараться встретиться с ним наедине, чтобы спросить, добровольно ли он возвращается к отцу или принужден к тому силой. Если царевич заявит, что он намерен продолжать свой путь, то так тому и быть; если, напротив, он откажется от своего намерения, то графу Колоредо надлежало принять «все нужные меры к удобному его помещению».

Когда 9 декабря граф Колоредо отправился к царевичу, то, по словам Толстого, «царевич его к себе не допустил по совету моему». Петр Андреевич объяснил и причину отказа: свидание было бы «не бесподозрительно». В ответ Колоредо задержал царевича до получения дальнейших инструкций.

Карл VI по совету своих министров отправил генерал-губернатору указ: «Я повелеваю вам непременно каким бы то ни было образом, даже силою, видеться с царевичем». Толстому ничего не оставалось, как согласиться на встречу Колоредо с Алексеем Петровичем. Царевич объяснил, почему он не явился к цесарю: «...не имел приличного экипажа и в таком грязном виде после путешествия не смел представиться ко двору». Разговор Колоредо с царевичем происходил в присутствии Толстого и Румянцева. Как только он закончился, Толстой демонстративно запер дверь за вышедшим в свои покои Алексеем Петровичем и тут же велел готовиться к продолжению пути.

Карл VI не удержался от жалобы Петру на бестактность Толстого, которого считал виновником несостоявшейся аудиенции. «Доказательством служит, — писал цесарь царю, — воспрещение генерал-губернатору нашему в Брюнне видеть царевича». Царь взял Толстого под защиту. В ответной грамоте от 17 марта 1718 г. Петр вопреки истине писал Карлу VI: «Толстой всячески его (царевича. — Н. П.) склонял видеться с вами, но сын не согласился, отговариваясь необыкновенностью в таких обхождениях и неимением при себе пристойного экипажа, а вероятнее всего, стыдился с зазрения, что оклеветал нас перед вами». Не соответствовало действительности и другое утверждение царской грамоты: «Также к принятию губернатора Колоредо в Брюнне Толстой долго уговаривал нашего сына и едва в том чрез несколько дней успел склонить»¹⁰.

Пять дней, проведенных Толстым в Брюнне, надо полагать, были самыми беспокойными в облаве на «зверя». Там у царевича появился последний шанс ускользнуть из рук Толстого, но Петр Андреевич мобилизовал всю изворотливость и настойчивость и в конечном счете продиктовал царевичу свою волю.

Путь от Брюнна до Москвы, куда царевич прибыл поздно вечером 31 января 1718 г., был преодолен без происшествий. Начались знаменитое следствие по делу царевича и так называемый суздальский розыск, главным действующим лицом которого была бывшая супруга Петра царица Евдокия Федоровна, ставшая в Суздальском монастыре инокиней Еленой.

В нашу задачу не входит освещение перипетий расследования бегства царевича и причастности к этому побегу других лиц, поскольку предаваемая глава посвящена не царевичу, а участию в его деле Толстого. Заслуживает быть отмеченным, что сам Петр руководил следствием и оно выявило бесспорную вину царевича, отнюдь не ограничившуюся тем, что он, по собственному признанию, «забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении». Царевич хотя лгал и изворачивался, но под влиянием показаний свидетелей был вынужден признать, что намеревался, опираясь на иностранные штыки, добиваться трона. Кроме того, царевич Алексей внутри страны в борьбе за власть ориентировался на силы, враждебные преобразованиям. Немало компрометирующих сведений сообщила во время допросов Евфросинья: ей он развивал планы, которые осуществит, как только завладеет тронном.

В самом начале следствия Петр предупредил сына: «Понеже вчерась прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочаго тому подобного, а ежели что утаено будет, то лишен будешь живота». Возникла весьма щекотливая ситуация. Вспомним, в письме от 10 июля 1717 г. Петр обещал сыну: «...никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься». Эту гарантию царь выдал в то время, когда не знал и половины того, что замышлял сын и как он намеревался свои замыслы осуществить. Следствие вскрыло множество тайн, которые царевич старательно скрывал. Алексей Петрович сознавался лишь под давлением показаний свидетелей и, следовательно, был далек от раскаяния и чистосердечного во всем признания. Такое поведение сына будто бы освобождало царя от ранее выданных заверений.

Петр, как самодержец, мог, разумеется, сам определить и меру виновности царевича как сына и подданного, и меру наказания за вину. Что же удерживало его от этого шага? Почему он передал судьбу сына в руки духовных иерархов и светских чинов?

Два обстоятельства, как свидетельствовал сам царь, вынудили его передать дело царевича на рассмотрение «вернолюбезным господам министрам, Сенату и стану воинскому и гражданскому». Одно из них — опасение, «дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах

меньше видят, нежели другие в их». Главная же, по-видимому, причина состояла в стремлении царя освободить свою совесть от ранее данной клятвы: «Я с клятвою суда Божия письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил, ежели истину скажет; но хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо замыслу своего бунтовного против нас, яко родителя и государя своего».

«Преосвященные митрополиты, и архиепископы, и епископы, и прочие духовные» не определили меры наказания, ограничившись выписками фраз из церковных сочинений, приличествующих данной ситуации: одни высказывания грозили виновному смертью; другие — призывали власть предержавшую проявить милосердие и великодушие. Общее заключение церковных иерархов было таково: «Сердце цареве в руке божию есть», как царь решит, так и будет справедливо.

Решение светских чинов было суровым и однозначным: «...царевич себя весьма недостойно того милосердия и обещанного прощения государя отца своего учинил». Таким образом, освободили царя от данного им клятвенного обещания светские чины. Царевич достоин смерти и как сын, и как подданный — таков был их приговор.

Согласно официальной версии, 26 июня 1718 г. «в 7-м часу пополудни царевич Алексей Петрович в С.-Питербурхе скончался». По другим, неофициальным данным, вызывающим, кстати, большие подозрения относительно их достоверности, царевич был удушен, отравлен, казнен отсечением головы и т. п.¹¹

Вернемся, однако, к освещению роли П. А. Толстого в деле царевича Алексея. Его причастность к этому делу не завершилась доставкой «непотребного сына» в Москву: он принимал самое деятельное участие и в следствии. Фактическим руководителем следствия был, как отмечалось выше, царь. Он составлял вопросы, на которые должны были ответить царевич, Евфросинья и прочие обвиняемые. Человеком, вытягивавшим показания из подсудимых, был Толстой.

Усердие Толстого в деле царевича Алексея было вне всяких сомнений. Благодаря проявленному рвению Петр Андреевич стал пользоваться у царя большим, чем раньше, доверием. Петру приписывают ставшие хрестоматийными слова, сказанные им в адрес Петра Андреевича во время одной из пирушек, когда Толстой, чтобы уклониться от возлияний, сделал вид, что спит, а сам украдкой, одним глазом наблюдал за происходящим. Хитрость не ускользнула от внимания царя. Подойдя к Толстому, он сказал: «Голова, голова, кабы ты не была так умна, я давно бы отрубил тебя велел».

Версия, видимо, не принадлежит к числу легенд — слишком много в ней реалий. Толстой, как известно, не жаловал горячительных напитков. На этот счет имеется свидетельство иерусалимского патриарха Досифея, уговаривавшего Толстого еще в 1706 г. увеличить дозу принимаемого вина. Сомневаться в уме Петра Андреевича тоже не приходится: доказательств тому бесчисленное множество. Вряд ли нуждается в аргументации и коварство Толстого.

В распоряжении историков имеются два бесспорно веских свидетельства возросшего влияния Толстого. Одно из них — щедрые награды, полученные Толстым.

Первое пожалование относится к 26 марта 1718 г., когда царь «приказал двор Авраама Лопухина, что на Васильевском острове, с палатным и протчим строением и со всякими припасы» отдать Толстому в вечное владение. В тот же день Петр Андреевич получил ранее пожалованное одному из Нарышкиных, а теперь конфискованное у него загородное дворовое место.

Перечисленные пожалования выглядят ничтожными по сравнению с тем, что он получил 13 декабря 1718 г. в награду за блестяще завершенное дело царевича Алексея. «За показанную так великую службу не токмо мне, но паче ко всему отечеству, в привезении по рождению сына моего, а по делу злодея и губителя отца и отечества» Толстому был пожалован чин действительного тайного советника. Кроме чина, он получил 1318 крестьянских дворов. По обычаю тех времен в раздачу шли вотчины, конфискованные у жертв розыска. Петру Андреевичу достались 1090 дворов Авраама Лопухина и 228 дворов Федора Дубровского. Если учесть, что мужское население двора в среднем составляло четыре души, то Толстой получил свыше 5200 душ, т. е. около половины крепостных, которыми он владел к 1727 г. Петр Андреевич начинал службу беспоместным дворянином, а к концу жизни в его вотчинах, разбросанных по 22 уездам империи, числилась 12 521 мужская душа.

Другое, пожалуй, более убедительное свидетельство возросшего влияния Толстого — его назначения. Уже указом от 15 декабря 1717 г., т. е. в то время, когда Толстой вместе с царевичем еще находился в пути из Брюнна в Москву, он был назначен президентом Коммерц-коллегии, а позже — сенатором. Оба назначения отражали крутой взлет карьеры Петра Андреевича.

Коммерц-коллегия ведала внешней торговлей России. Задача коллегии состояла в том, чтобы проводить в жизнь меркантилистские взгляды Петра, который, как и большинство экономистов того времени, считал признаком успеха внешнеторговой политики достижение активного торгового баланса. Еще более почетной была должность сенатора. Получив ее, Толстой вошел в число 10 — 12 вельмож страны, составлявших верхушку формировавшейся российской бюрократии. Но обе эти должности не шли ни в какое сравнение с третьей — начальника Тайной розыскных дел канцелярии.

История этого грозного и мрачного учреждения генетически связана с делом царевича Алексея. Следствие по этому делу расчленилось как бы на три ветви: собственно царевичев розыск; кикинский розыск и суздальский розыск. Два последних розыска были полностью завершены в Москве. В старой столице привели в исполнение и приговоры: Степан Глебов, признавшийся в блудном сожительстве с бывшей царицей Евдокией, был посажен на кол; ростовский епископ Досифей за сводничество и попус-

тельство Евдокии, обрядившейся при его молчаливом согласии в мирскую одежду, низложен и колесован. Евдокию Федоровну, в иночестве Елену, отправили в Ладожский монастырь с более суровым режимом содержания.

Главным следователем по суздальскому розыску был Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Это ему 9 февраля 1718 г. царь отправил собственноручное послание: «Ехать тебе в Суздаль и там в кельях жены моей и ее фаворитов осмотреть письма, и ежели найдутся, по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привезть с собою купно с письмами, оставя караул у ворот». Три дня спустя Скорняков-Писарев получил новое задание: «...розыщи, для чего она не пострижена, что тому причина и какой был указ в монастырь о ней...»

Кикинский и царевичев розыски в Москве вел Толстой; ему помогал гвардии майор Андрей Иванович Ушаков. По кикинскому розыску приговор был вынесен, как выше отмечалось, в Москве: бывший любимец царя Александр Васильевич Кикин, приятель и главный советник царевича, подвергся жестокой казни — колесованию.

После казней в Москве Петр отправился в Петербург. Туда же он велел доставить сына, родного брата бывшей царицы Авраама Лопухина и князя Василия Долгорукова. Следствие продолжалось, причем к трем следователям, главным среди которых был П. А. Толстой, прибавился четвертый — генерал Иван Иванович Бутурлин. Следователи назывались «министрами». Толстой, Ушаков, Скорняков-Писарев и Бутурлин вместе с канцелярским аппаратом образовали в Петербурге учреждение, получившее название Тайной розыскных дел канцелярии. Запомним эти имена. Речь о них пойдет и в следующей главе, где они выступают в роли не следователей, а подследственных.

На последнем этапе следствия к царевичу применялись пытки. С 19 по 24 июня 1718 г. Алексея пытали шесть раз. Истязания лаконично и бесстрастно регистрировались в записной книге Петербургской гарнизонной канцелярии. Читаем запись под 19 июня 1718 г., когда царевич побывал в застенке дважды: «Его царское величество и прочие господа сенаторы и министры прибыли в гварнизон по полуночи в 12 часу, в начале, а именно светлейший князь (А. Д. Меншиков. — Н. П.), адмирал (Ф. М. Апраксин. — Н. П.), князь Яков Федорович (Долгоруков. — Н. П.), генерал Бутурлин, Толстой, Шафиров и прочие; и учинен был застенок; и того ж числа по полудни в 1 часу разъехали».

Того ж числа по полудни в 6 часу, в исходе, паки его величество прибыл в гварнизон; при нем генерал Бутурлин, Толстой и прочие; и был учинен застенок, и потом, быв в гварнизоне до половины 9 часа, разъехали». Царевичу было дано 25 ударов.

Отметим деталь, подчеркивающую роль Толстого в следствии: он присутствовал на всех шести пытках, царь и Бутурлин — на пяти. Ушаков и Скорняков-Писарев персонально не упоминались. Скорее всего они входили в число «прочих» присутствовавших.

Развязка наступила 26 июня. В 8-м часу утра в Петропавловскую крепость прибыли Долгоруков, Головкин, Апраксин, Мусин-Пушкин, Стрешнев, Толстой, Шафиров и Бутурлин. «И учинен застенок, и потом, быв в гарнизоне до 11 часа, разъехались. Того же числа по полудни в 6 часу, будучи под караулом в Трубешком роскате, в гарнизоне, царевич Алексей Петрович преставился»¹².

Казалось бы, смерть царевича должна была положить конец существованию Тайной канцелярии. Учреждение должно было умереть, так сказать, естественной смертью, поскольку повод, вызвавший его появление, более не существовал. Тайная канцелярия, однако, продолжала существовать, превратившись в постоянно действующее учреждение политического сыска, расследовавшее так называемые государственные преступления.

Тайная канцелярия занимала особенное положение среди центральных учреждений страны. Ее исключительность состояла в том, что, по свидетельству В. И. Веретенникова, изучавшего историю этого учреждения, около 70 процентов дел, расследуемых канцелярией, возникло по инициативе Петра. Другим свидетельством живейшего интереса и пристального внимания Петра к работе Тайной канцелярии является тот факт, что царь раз в неделю слушал доклады «министров» по важнейшим процессам и выносил по ним определения о прекращении или продолжении следствия, а также приговоры.

Главным средством получения сведений от обвиняемых были физические истязания. В повседневной практике Тайной канцелярии пытки были настолько обыденным делом, что у зачерствелых сердец тех, кто заносил показания колодников на бумагу, они не вызывали ни боли, ни сострадания, ни удивления, ни отвращения. Смерть от пыток тоже не возводилась в ранг чрезвычайного происшествия.

Следственный процесс обычно начинался с допроса, производимого канцелярскими служителями. Заключение по делу, так называемые экстракты, поступали на столы «министров», резолюции которых определяли дальнейший ход розыска. Чаще всего в пыточных камерах орудовали подручные «министров» — канцелярские служители разных рангов. Иногда в застенках присутствовали сами «министры» — они задавали вопросы и определяли вид пытки.

Служебная переписка Толстого с «министрами» и канцелярскими служителями не дает оснований полагать, что Петр Андреевич принадлежал к числу людей сердобольных и отзывчивых на чужую беду. Впрочем, жестокость была присуща не только Толстому. В такой же степени ее проявляли все «министры» Тайной канцелярии и сам царь. «Дьякона пытать... Другого, Иону, до обращения или до смерти», — писал Петр в Тайную канцелярию в феврале 1720 г. Петр Андреевич тоже как-то писал дьяку Палехину, что колодника Костромитинова надо пытать, можно и до смерти, «ибо памятно, как царское величество изволил о нем говорить, когда изволили быть в Тайной канцелярии». Здесь ссылка на царя, но у Петра Андреевича не дрогнула рука написать также слова: «...не надобно ему

исчислять застенков, сколько бы их ни было, но чаще его пытать, доколе, или повинится, или издохнет, понеже явную сплел ложь».

Ушаков, прославившийся исключительной жестокостью в годы царствования Анны Иоанновны, в письме Толстому мрачно шутил по поводу истязаний: «В Канцелярии здесь вновь важных дел нет, а имеются посредственные, по которым тако же, яко и прежде, я доносил, что кнутом плутов посекаем да на волю отпускаем».

То ли служба в Тайной канцелярии становилась Толстому в тягость и вызывала душевные муки у немолодого человека, готовившего себя к покаянию перед тем, как отправиться в лучший мир; то ли он руководствовался какими-то личными выгодами; то ли считал для себя обременительным руководить Тайной канцелярией и заседать в Сенате (от должности президента Коммерц-коллегии он был освобожден в 1721 г.); то ли, наконец, полагал, что для руководимого им учреждения наступило безвременье и к нему не поступало заслуживавших внимания колодников, — но Петр Андреевич высказал неподдельную радость, когда узнал, что в середине января 1724 г. царь велел новых дел в канцелярию не принимать, а незаконченные передать Сенату. Это означало близкую ликвидацию Тайной канцелярии. В ответ на новость, сообщенную Ушаковым, Толстой писал: «Об отсылке дел в Сенат я уповаю, что вы, мой государь, потрудитесь скоряйше от той тягости освободить меня и себя, а ежели за бесчастие наше скоро канцелярия наша с нас не сыметя, то, мнится мне, небезопасно нам будет оного (одного оставшегося дела) не следовать»¹³.

Тайная розыскных дел канцелярия при Петре так и не была упразднена, ибо царь, издав указ, запрещающий принимать новые дела, вопреки своему же указу продолжал направлять колодников в канцелярию. Ликвидировала ее Екатерина I только в 1726 г. Указ 28 мая, адресованный Толстому, гласил: Тайная канцелярия была учреждена в 1718 г. «на время для случившихся тогда чрезвычайных тайных розыскных дел... подобные дела и ныне случаются, однако не так важные», которые расследует князь И. Ф. Ромодановский в Преображенском приказе, поэтому ему и надлежит передать все дела и приказных служителей к 1 июля 1726 г. Тайная канцелярия прекратила свое существование.

В. И. Веретенников высказал не лишнюю догадку, что указ о ликвидации Тайной канцелярии был составлен самим Толстым, переживавшим в короткое царствование Екатерины I звездный час своей карьеры.

Начало блистательному взлету карьеры Толстого положило расследование им дела царевича Алексея. Сказать, что Петр Андреевич купался, подобно Меншикову в пору его процветания, в лучах славы и находился в таком же, как тот, фаворе, будет преувеличением. Бесспорно одно — известная настороженность Петра по отношению к Толстому исчезла, и он находился в числе немногих лиц, которых царь в последние годы жизни приблизил к себе и которым давал ответственные поручения.

Например, в 1719 г., когда в Петербурге были получены известия о намерении Пруссии заключить союзный договор с враждебной России Англией, а посол в Берлине А. Г. Головкин, сын канцлера, по мнению Петра, недостаточно энергично противодействовал англо-прусскому сближению, царь отправил в Пруссию более опытного и изворотливого дипломата, каким слыл Петр Андреевич. Приехав в начале июля 1719 г. в Берлин, Толстой сразу же взялся за дело. Кабинет-секретарю А. В. Макарову он писал: «Я уже в Берлине живу неделю и во вся дни в конференциях трудимся: однакож вижу трудности немалые, и весьма сей двор намерен возобновить свою дружбу с королем аглинским, и хотя мы прилежно трудимся удержать, чтобы известного трактату без включения в оный его царского величества не заключили, но едва можем ли удержать, понеже они ласкают себя, что чрез сей трактат могут себе получить великие преимущества».

Толстой вел переговоры с прусским королем и его министрами до октября 1719 г. Ему не удалось помешать заключению договора Пруссии с Англией, но он сумел заручиться заверением прусского короля, что тот не станет ни тайно, ни явно действовать в ущерб интересам России¹⁴.

Никто иной, а именно Толстой 7 февраля 1722 г. объявил в Сенате, на заседание которого были приглашены и «две персоны» из Синода, Устав о наследии престола. Это был заключительный аккорд дела царевича Алексея: указ предоставлял право царствующему государю передавать престол не старшему, а любому из сыновей.

В том же 1722 г. Петр Андреевич воспользовался обстоятельствами, чтобы войти в доверие к будущей императрице Екатерине I. Петр Великий, отправляясь в Каспийский поход, прихватил с собой и супругу, а также некоторых вельмож, среди них — Толстого. Как знаток стран, соседствовавших с Россией на юге, Толстой возглавил походную посольскую канцелярию царя. В то время как Петр во главе армии двинулся на юг завоевывать западное побережье Каспийского моря, двор Екатерины, а также посольская канцелярия находились в обозе, где Петр Андреевич сумел сблизиться с императрицей. Здесь Толстой блеснул еще одной гранью своего таланта — оказался интересным собеседником скупавшей от безделья Екатерины. Видимо, поэтому Екатерина пожелала, чтобы церемонией провозглашения ее императрицей в мае 1724 г. правлял Толстой.

Перечисленные признаки роста влияния Толстого не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло 28 января 1725 г., когда умер Петр Великий. Екатерина была обязана восшествием на престол двум сановникам покойного супруга — Меншикову и Толстому. Их объединял страх за будущее. Оба они отдавали себе отчет в том, что утверждение на троне сына погибшего царевича Алексея ничего хорошего им не сулило. Напротив, Екатерина могла им гарантировать сохранение власти и богатства. Но как только Екатерина водрузила корону на свою голову, давно копившаяся неприязнь и соперничество за влияние на императрицу наложили

печатать на их взаимоотношения. Сначала они были прохладными, а затем стали и враждебными.

Одним из средств обуздания честолюбия светлейшего Толстой считал создание Верховного тайного совета. Петр Андреевич был в числе вельмож, вошедших в его состав. Однако его надежды на то, что новое учреждение ослабит влияние Меншикова, не оправдались. Назревала острая схватка двух вельмож, закончившаяся, как увидим ниже, полным поражением Петра Андреевича и крахом его блистательной карьеры. Гроза разразилась над его головой в то время, когда он, доживая последние годы, нуждался в покое. Поэтому его схватку с Меншиковым нельзя объяснить ни страстью к интригам, ни честолюбивыми замыслами. Это был акт самозащиты.

В ЗАТОЧЕНИИ

«Самый темный для меня эпизод из жизни наших предков, это изгнание в Соловецком, где умерли Петр и Иван»¹. Слова эти принадлежат Льву Николаевичу Толстому. Известно, что он в 70-х годах прошлого века изучал эпоху Петра Великого, с тем чтобы написать о ней роман. Живо интересовала писателя и судьба его далекого предка, родоначальника графов Толстых, — Петра Андреевича. Сведения о его жизни и деятельности Лев Николаевич мог почерпнуть в трудах таких историков, как Н. Г. Устрялов, Н. П. Погодин и С. М. Соловьев. Однако последние годы жизни П. А. Толстого выходят за рамки трудов Устрялова и Погодина, а у С. М. Соловьева о них сказано бегло. Статья Е. П. Ковалевского «Суд над графом Девиером и его соучастниками»² хотя и была опубликована в 1871 г., но не раскрывает в полной мере участия в заговоре П. А. Толстого, поскольку центральной фигурой следствия был А. М. Девиер.

В пятницу, 28 апреля 1727 г., в покоях царского дворца в Санкт-Петербурге наступило некоторое успокоение: придворным, находившимся в напряженном ожидании близкой кончины императрицы, стало известно, что она почувствовала облегчение и даже подписала два указа, круто изменившие судьбы по крайней мере трех видных сподвижников Петра.

В этот день в Петропавловскую крепость были приглашены действительный тайный советник и канцлер граф Гавриил Иванович Головкин, действительный тайный советник князь Дмитрий Михайлович Голицын и четыре человека в военных мундирах: генерал-лейтенант Дмитриев-Мамонов, генерал-лейтенант князь Григорий Юсупов, генерал-майор Алексей Волков и обер-комендант столицы бригадир Фаминцын. Все названные лица согласно именному указу назначались членами следственной комиссии, получившей несколько позже наименование Учрежденного суда.

Комиссии поручалось расследовать поступки генерал-полицеймейстера Санкт-Петербурга Антона Мануиловича Девиера. Ему было предъявлено обвинение в том, что он, как сказано в указе, «явился подозрителен

в превеликих продерзостях, но и, кроме того, во время нашей, по воле божией, престокой болезни многим грозил и напоминал с жестокостию, чтоб все его боялись». Указ содержал зловещее дополнение: «...кто к тому делу приличится, следовать же и розыскивать и нас о всем репортовать обстоятельно»³. Второй указ, тоже именной, разъяснял суть обвинений, предъявленных Девиеру.

Первоприсутствующим Учрежденного суда значился канцлер Головкин. Фактическим, так сказать закулисным, руководителем суда, пристально наблюдавшим за его деятельностью, был А. Д. Меншиков. Так думать нас вынуждает прежде всего состав суда, укомплектованного его людьми. Светлейший, видимо, полагал — и, кстати говоря, не ошибся в своих расчетах, — что два действительных тайных советника: Г. И. Головкин и Д. М. Голицын — готовы безропотно подчиниться его воле. Что касается генералов и бригадира, то достаточно беглого просмотра «Повседневных записок» князя Меншикова, чтобы убедиться в том, что они были не только его подчиненными, поскольку он занимал пост президента Военной коллегии, но и близкими ему людьми, ибо являлись завсегдатаями его дворца.

Девиер был взят под стражу еще 24 апреля. В освещении «Повседневных записок» арест выглядел так: в тот день, во втором часу дня, Меншиков отправился к Екатерине «и, немного побыв, вышел в переднюю и приказом ея императорского величества у генерал-полицеймейстера графа Девиера изволил снять кавалерию (орден. — Н. П.) и приказал гвардии караульному капитану арестовать и потом, паки побыв у ея императорского величества с полчаса, изволил возвратиться в свои покои». Саксонский посол Лефорт при описании этого события сообщил некоторые подробности: «К Девиеру, находившемуся в покоях дворца, явился караульный капитан и, объявив ему арест, потребовал от него шпагу. Девиер, показывая вид, что отдает шпагу, вынимает ее с намерением заколоть князя Меншикова, стоявшего сзади его, но удар был отведен»⁴.

Аресту Девиера предшествовал секретный разговор Меншикова с Голицыным, состоявшийся 24 апреля. В тот же день за обеденным столом в покоях дворца Меншикова сидели два будущих члена суда — Юсупов и Волков. Два дня спустя Меншиков вел разговоры не только с Голицыным, но и с Головкиным. О чем они беседовали, причем не публично, а, как подчеркнуто в записках, «тайно»?

Позволим себе высказать предположение, что не о погоде, хотя кто-нибудь из собеседников и мог посоветовать на ее ухудшение. В «Повседневных записках» под 26 апреля помечено: «...сей день было хладно, и ветер, и Невою шел лед». По всей вероятности, Меншиков уговаривал своих собеседников войти в состав суда и обговаривал его задачи.

Встречи Меншикова с членами Учрежденного суда Дмитриевым-Мамоновым, Юсуповым, Волковым и Фаминцыным состоялись 29 и 30 апреля. 4 мая светлейший «с час» разговаривал с князем Юсуповым, а 5 мая — с Волковым и Дмитриевым-Мамоновым. В «Повседневных записках» отмечен еще один любопытный факт: светлейший в этот день посетил Петро-

павловский собор и коменданта крепости. В том, что Меншиков слушал обедню, ничего необычного, разумеется, не было, а вот визит к коменданту, несомненно, был связан с содержанием в крепости Девиера.

Другим свидетельством активного участия Меншикова в следствии являются его частые встречи с вице-канцлером Андреем Ивановичем Остерманом. О содержании разговоров между ними упомянутый выше источник тоже молчит, но вряд ли будет ошибочным предположение, что собеседники обсуждали дело Девиера и вопросы, с ним связанные: о наследовании престола и сватовстве дочери Меншикова. Заметим, кстати, что ни с кем из вельмож светлейший так много не встречался в те дни, как с Остерманом. Этот факт сам по себе наводит на мысль, что Остерман, ловкими интригами набравший силу, был главным консультантом Меншикова.

Князь отправился к Остерману в день ареста Девиера и пробыл у него около трех часов. Тайный разговор с ним он вел у себя и на следующий день, а 26 апреля снова поехал к нему сам. В воскресенье, 30 апреля, Остерман сидел у Меншикова за обеденным столом. Но особенно участились встречи Меншикова с Остерманом в начале мая, когда состояние здоровья императрицы вновь ухудшилось, а следствие по делу Девиера — Толстого подходило к концу: 1 и 2 мая они виделись по два раза в день⁵.

Сохранились следы и прямого вмешательства князя в работу Учрежденного суда. Так, Меншиков отправил суду два недатированных письма. В первом он изложил дополнительное обвинение в адрес Девиера. Оно состояло в том, что Девиер, как только императрица «изволит от сна востать», выпрашивал у девушек обо всем, что происходило в покоях больной. Однажды он задавал такого рода вопросы в бане, где Меншиков застал его «с некоторою девушкою».

Второе письмо касалось процедурных и организационных вопросов. Меншиков предлагал Головкину, чтобы тот объявил всем членам суда о необходимости дать присягу, «дабы поступать правдиво и никому не манти, и о том деле ни с кем не разговаривать». Князь предлагал начать следствие «завтре поутру» и предупреждал: «...а розыску над ним (Девиером. — Н. П.) не чинить», т. е. не прибегать к пыткам.

Следствие началось 28 апреля. Девиеру во время первого же допроса велено было ответить на 13 вопросов. На первый взгляд вопросы, как и ответы на них, больших опасностей допрашиваемому не сулили.

Первое — и, вероятно, самое главное — обвинение состояло в том, что Девиер, находясь в царском дворце в день обострения болезни императрицы, не проявлял печали, а, напротив, веселился. Допрашиваемый разъяснил, что он просто назвал лакея Алексея, у которого попросил пить, Егором. Эта ошибка вызвала у присутствовавших, и среди них у великого князя Петра Алексеевича, смех потому, что на его зов обернулся придворный шут князь Никита Трубецкой, которого прозвали Егором. Смех — разумеется, неуместный — был вызван непреднамеренно и стал своего рода разрядкой в ожидании трагической развязки.

Девиеру удалось отвести и обвинение в непочтительном отношении к цесаревнам Елизавете и Анне Петровнам. Граф разъяснил, что Елизавете Петровне он «решпект» отдавал, а при появлении Анны Петровны он хотел встать, но цесаревна сама не только ему, но и всем присутствовавшим в покоях «вставать не приказала».

Согласно обвинению, Девиер будто бы сказал рыдавшей Анне Петровне: «О чем печалился, выпей рюмку вина».

Девиер заявил, что не помнит, произносил ли он подобные слова, но признал, что, когда цесаревна села за стол и отведала вина, сказал ей:

«Полно, государыня, печалитца, пожалуй и мне рюмку вина своего, и я выпью».

Обвиняемый наотрез отказался от слов, будто бы сказанных великому князю Петру Алексеевичу:

«Поедем со мною в коляске, будет тебе лутче и воля. А матери твоей уже не быть живой».

В ряде случаев, по показаниям Девиера, приписываемые ему слова были искажены до неузнаваемости. Так, его обвинили в том, что он заявил великому князю, что за невестой, с которой у князя состоялся сговор, будут «волочитца» поклонники. Девиер подал разговор в выгодном для себя свете: он, Девиер, «говаривал его высочеству часто, чтоб он изволил учиться. А как надел кавалерию — худо учился. А как зговорит женицца — станет ходить за невестою и будет ревновать, учиться не станет». Разговоры эти, разъяснял Девиер, он вел, «чтоб придать охоту к учению ево».

О Софье Карлусовне Девиер показал:

«Вертел ли вместо танцев плачущую Софью Карлусовну или нет, не упомню, а такие слова, что не надобно плакать, помнитца, говорил, утешая».

Отметим, что заявление допрашиваемого «не упомню» расценивалось в судебной практике XVII — XVIII вв. как полупризнание или признание справедливости выдвинутого обвинения.

На вопросы, заданные по предложению Меншикова, Девиер показал, что он разговаривал с девушками «о здравии ея императорского величества, как изволила почивать и встать». Что касается случая в бане, то о нем, заявил Девиер, он не помнит. Впрочем, он признал, что «з девушками и с мужеским полом в бане сиживал и разговаривал». Кстати, допрошенная Учрежденным судом «придворная девица Катерина» призналась, что она разговаривала с Девиером в бане, но об «обхождении при дворе он у ней не спрашивал».

Сняв допрос, члены Учрежденного суда немедленно отправились с докладом к императрице. Все ответы Девиера суд разбил на три группы, а именно: «которые слова не весьма важные, оные отчасти сказал он, что говорил только в противной какой разум»; о других сказал, что «не помнит, а что помнит и то другим образом»; о самых важных обвинениях сказал, «что того весьма не чинил».

Выслушав заключение, императрица — конечно же, по подсказке Меншикова — устно «изволила повелеть ему, Антону Девиеру, объявить

последнее, чтоб он по христианской и присяжной должности объявил всех, которые с ним сообщники в известных причинах и делах, и к кому он ездил и советовал и когда, понеже-де надобно то собрание все сыскать и искоренить ради государственной пользы и тишины. А ежели-де не объявит, то ево пытатъ». В подтверждение устного указа Головкину «с товарищи» был направлен письменный за подписью Екатерины и датированный тем же 28 апреля. Указ заканчивался угрозой: «Ежели он всех не объявит, то следовать розыском немедленно».

Два обстоятельства не могут не обратить на себя внимание при знакомстве с содержанием следственного дела.

Одно из них состоит в невероятной успешности в проведении следствия. В самом деле, в течение лишь одного дня 28 апреля был создан Учрежденный суд, подписано императрицей два указа, составлены вопросные пункты, снят допрос с Девиера, произведен анализ полученных ответов, доложен императрице, от которой тут же последовал новый указ. Здесь виден почерк Меншикова, человека столь же напористого, как и решительного. Он, разумеется, спешил, ибо знал, что дни Екатерины сочтены и следствие надлежало закрыть при ее жизни, чтобы она успела подписать указ о наказании виновных.

Еще более поражает воображение метаморфоза, происшедшая с самим делом в течение одного дня. Вспомним, первоначально речь шла о «предерзостных» поступках одного Девиера. Теперь заговорили о сообщниках, «к кому он ездил и советовал и когда». Вначале суть обвинений ограничивалась, если можно так выразиться, ущербом, наносимым представителям царствующей фамилии. В конце дня речь уже шла о действиях, направленных «к великому возмущению», и, следовательно, о необходимости виновников «сыскать и искоренить ради государственной пользы и тишины».

Итак, Девиер «предерзостный» росчерком пера превратился в Девиера — опасного политического преступника, причем непосредственная связь между первыми показаниями обвиняемого и последующей квалификацией его вины не прослеживается: ни из вопросов, ни из ответов на них не вытекало, что государству грозило «великое возмущение».

Тщетно искать в источниках объяснений происшедшему повороту. Наиболее простым и вероятным объяснением случившегося могло бы быть предположение, что Меншиков именно к концу дня 28 апреля получил от кого-то дополнительную информацию о действиях Девиера, далеко выходящих за рамки нарушения придворного этикета и направленных лично против него, Меншикова. Но в этом построении есть одно уязвимое место: если Меншиков не знал о кознях, затеянных против него, то зачем ему понадобилось прибегать к таким суровым мерам в отношении Девиера, как его арест и снятие с него «кавалерии»?

Не лишено оснований и другое объяснение: Меншикову было заведомо известно о замыслах Девиера, но он первоначально предпочел выдвинуть в качестве обвинения не действия против своей персоны, а пренебре-

жение к представителям царствующей фамилии. Видимо, князь решил, что так ему легче будет убедить смертельно больную императрицу в необходимости организовать суд и начать следствие. Меншиков понимал, что в данном случае важен первый шаг, а потом закрученная пружина придаст делу движение, которое можно будет без особых усилий повернуть в удобном ему направлении.

В пользу подобного хода мыслей говорят, правда глухо, слова первого указа Екатерины о том, что Девиер во время ее «прежестоккой болезни многим грозил и напоминал с жестокостию, чтоб все ево боялись». Не относились ли бросаемые несдержанным Девиером угрозы к Меншикову?

Некоторый свет на причины поворота в следствии проливает показание княгини Аграфены Петровны Волконской, гофдамы императрицы, возглавлявшей оппозиционный Меншикову кружок, в состав которого входили менее влиятельные люди, чем в кружок Девиера — Толстого.

27 апреля фактотум Меншикова Егор Пашков обратился к Волконской с просьбой рассказать ему о том, «с каким доношением на его светлость господин Толстой хочет быть и доносить ея императорскому величеству». Рассчитывая на благосклонность Меншикова при решении своей судьбы, княгиня сообщила Пашкову сведения, значение которых трудно переоценить: «...Толстой говорил, якобы его светлость делает все дела по своему хотению, не взирая на права государственные, без совета, и многие чинит непорядки, о чем он, Толстой, хочет доносить ея императорскому величеству и ищет давно времени, но его светлость беспрестанно во дворце, чего ради какого случая он, Толстой, сыскать не может»⁶.

Княгиня Волконская этим признанием себя не спасла. Под 2 мая 1727 г. в «Повседневных записках» читаем: «Сего числа дана дорожная княгине Волконской до Москвы и объявлено, что ея императорское величество указала ей жить в Москве или в деревнях своих, а далее чтоб никуда не ездить».

Сведения, полученные от Волконской, надо полагать, дали основание Меншикову заподозрить, что Девиер был не одинок, что из него можно вытянуть показания куда более важные, чем те данные, которыми он располагал на 28 апреля.

Ночь с 28 на 29 апреля Девиеру дали провести наедине с тревожными думами о будущем. Но уже утром ему был зачитан именной указ, подписанный Екатериной накануне, с угрозой применить пытку. Ответ Девиера отличался категоричностью: «Он никаких сообщников ни в каких известных притчинных делах у себя не имеет. И ни к кому он для советов и к нему никто ж о каком злом умысле к интересу ея императорского величества и государству не ездил и не советывал никогда». Поразмыслив, он все же признался, что после своего возвращения из Курляндии нанес визит герцогу Голштинскому (супругу Анны Петровны. — Н. П.), у которого спросил, слышал ли он о заговоре великого князя. Тот дал утвердительный ответ и, в свою очередь, спросил: «Как-де ты думаешь, не будет ли то противно интересу ея императорского величества?» Девиер ответил: «Мне-

де кажетца то ж». Далее он показал, что «о том же говорил с Иваном Ивановичем Бутурлиным, и положили о том доносить ея императорскому величеству и на то искать времени».

Суд счел признания недостаточными и велел отвести Девиера в застенок. Дыбу он стерпел, продолжая утверждать, что «никаких сообщников у себя о злом каком умысле к интересу ея императорского величества и государства не имеет, и ни х кому он для советов о каком злом умысле не ездил, и ни от кого о том такого злаго побуждения не имел». Но вынести 25 ударов было выше его сил, и он хотя и «утверждался в прежних своих речах», но признался, что к Бутурлину ездил не один раз, а дважды «и говорил с ним о свадьбе великого князя». Тут же Девиер сообщил, как увидим ниже, явную ложь: «...а более того никуды не ездил».

Итак, было названо два новых имени: герцог Голштинский и генерал Бутурлин. Этого было достаточно, чтобы круг лиц, привлеченных к следствию, расширился, ибо каждый из оговоренных называл новые имена. Правда, герцога Голштинского оставили в покое, но и без него суд в общей сложности допрашивал пять человек: Ивана Ивановича Бутурлина, Петра Андреевича Толстого, Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева, Александра Львовича Нарышкина, князя Ивана Долгорукова.

С 29 апреля, когда была произнесена фамилия Бутурлина, Учрежденный суд как бы забыл о «продерзостях» Девиера во время жестокого «пароксизма» императрицы. словно охотник, напавший на след более крупной дичи, суд занялся выяснением вопроса, который в одинаковой мере интересовал как Меншикова, так и его противников, оказавшихся под следствием. Чтобы прояснить его суть, следует вернуться к более раннему времени.

Петр Великий, как известно, не оставил завещания. Среди возможных преемников — а их было несколько — наибольшие шансы занять престол имели царевич Петр Алексеевич, внук Петра Великого и сын казненного царевича Алексея, а также супруга умершего царя Екатерина Алексеевна. Право было на стороне двенадцатилетнего Петра Алексеевича, но тронм распоряжалось не эфемерное право, а реальные политические силы.

Ближайшему окружению покойного царя, равно как и овдовевшей его супруге воцарение малолетнего Петра Алексеевича, поддерживаемого аристократическими фамилиями Голицыных и Долгоруковых, ничего хорошего не сулило. Утвердившись на троне и повзрослев, рассуждали они, Петр станет мстить всем, кто повинен в смерти его отца, и первыми жертвами его расправы будут те, кто поставил свои подписи под смертным приговором царевичу Алексею. Список подписавшихся возглавил Меншиков, за ним следовали Головкин, Апраксин, Толстой, Шафиров, Бутурлин и десятки менее видных сподвижников Петра. Если и не всех их ждала виселица, то опала, означавшая конец карьеры, подстерегала едва ли не все 127 персон, отправивших Алексея Петровича на эшафот.

Опасение за будущее заставило их объединиться вокруг Екатерины и таким образом воспрепятствовать воцарению Петра Алексеевича. Во главе

ее сторонников стоял Меншиков. Силой, на которую он опирался при возведении на престол Екатерины, были гвардейские полки.

Но вот Екатерина Алексеевна утвердилась на троне, и от единства не осталось и следа. Повод для распрей и размолвок подал сам Меншиков. Он не довольствовался тем, что подчинил своей воле большую и не интересовавшуюся делами управления императрицу и прибрал к рукам фактическую власть в стране. Он глядел вдаль, размышляя о недалеком будущем, когда Екатерины не станет и он останется без опоры, предоставлявшей ему статус «полудержавного властелина».

Короче, Меншиков решил породниться с царствующей династией, выдав замуж свою дочь за Петра Алексеевича. Надумав осуществить этот дерзкий план, князь, естественно, сделал крутой поворот в своем отношении к воцарению Петра и к бывшим единомышленникам, вместе с которыми он не так давно противился его вступлению на престол. Из противника вступления на престол Петра светлейший превратился в горячего сторонника наследования им короны.

Как ни тайно готовилось заведение Екатерины, его содержание стало достоянием придворных кругов и вызвало среди них смятение. Оно еще более усилилось, когда состоялась помолвка дочери светлейшего князя и Петра. Над одними нависла угроза оказаться в опале, другие усматривали главную беду в укреплении позиций Меншикова, который на положении регента будет распоряжаться всем и вся.

В нашу задачу не входит подробное изложение хода следствия и показаний каждого из обвиняемых. Остановимся лишь на важнейших из них.

29 апреля в крепость был вызван Бутурлин. Он показал, что Девиер приезжал к нему дважды и каждый раз затевал разговор о сватовстве: «Светлейший князь сватает свою дочь за великого князя. Как бы то удержать, чтоб не было такой опасности высокому интересу ея императорского величества. А особливо опасно, когда светлейший князь с великим князем будут заодно: чтоб тою персону, которая в Шлютенбурхе (Евдокию Лопухину. — Н. П.), не взяли сюда и ея величеству, государыне императрице, какой худобы не было. И для того как мочно удерживали. И чтоб он, господин генерал Бутурлин, вкупе с адмиралом (Ф. А. Апраксиным. — Н. П.) и графом Толстым шли к ея величеству и о том предлагали».

В Бутурлине Девиер обрел единомышленника. Иван Иванович не возражал против необходимости оказывать планам Меншикова противодействие, но сомневался в целесообразности коллективного визита к императрице:

«Всем вместе нельзя, а станет один говорить, когда будет время».

Обсуждались также удобные для собеседников кандидатуры на престол. Бутурлин. Анна Петровна «на отца походит и умна».

Девиер. То правда, она и умильна собою и приемна и умна. А и государыня Елисавет Петровна изрядная, только-де сердитее ее. Ежели б в моей воле было, я б желал, чтобы цесаревну Анну Петровну государыня изволила сделать наследницею.

Бутурлин. То б не худо было, и я б желал, ежели государыне не было противно.

Никто из обвиняемых не проявлял такой готовности давать показания, как Девиер. После пытки 29 апреля его более не обременяли душевные сомнения, и он лихорадочно напрягал память, чтобы припомнить детали своих разговоров и поведать о них Учрежденному суду. В общей сложности его допрашивали девять раз, в том числе дважды под пыткой. Для сравнения сообщим, что Скорняков-Писарев давал показания трижды, Долгоруков и Бутурлин — по два раза, а Толстой, Нарышкин и Ушаков — по одному.

«Однажды, показал Девиер, к нему приехал Толстой. Визит был настолько неожиданным для хозяина, что он не удержался от вопроса гостю: — Что тебе зделалось, что ты отроду у меня не бывал.

Толстой, опытный и умный делец и интриган, не стал сразу раскрывать все карты, решив прошупать настроение собеседника.

— Я недавно проведаль, что жена твоя родила, для того и приехал.

От разговоров об этом семейном событии Толстой перешел к хлопотам о судьбе своего сына Ивана.

— Мне крайняя нужда пришла тебя просить...

— О чем?

— Сын мой в продерзость впал, и государыня гневна.

— Я также слышал, что безделицу зделал.

Девиер согласился оказать помощь Толстому в его хлопотах, но при одном условии:

— Ежели при том буду, готов просить.

Убедившись в благожелательном к себе отношении Девиера, Толстой перешел к обсуждению вопроса, ради которого приехал к нему. Начал он издалека.

— Говорил ли тебе королевское высочество (герцог Голштинский. — Н. П.) что-нибудь?

— Нечто он мне говорил, — ответил Девиер.

— Ведаешь ли ты, что делаетца сватовство у великого князя на дочери светлейшего князя?

Девиер, если верить его показаниям, осторожничал и выжидал, что не соответствовало его темпераменту.

— Отчасти о том я ведаю, а подлинно не ведаю. Токмо его светлость обходитца с великим князем ласково. Тому надобно противитца.

Толстой стал развивать мысль о грозившей им всем опасности и излагать план действий.

— Надобно о том донесть ея величеству со обстоятельством, что впредь может статца: светлейший князь и так велик в милости; ежели то зделаетца по воле ея величества — не будет ли государыне после того какая противность, понеже того он захочет добра больше великому князю. Он и так чести любив, потом зделает, и может статца, что великого князя наследником и бабушку ево (бывшую супругу Петра I Евдокию Федоров-

ну. — Н. П.) велит сюда привезть. А она нраву особенного, жестокосердна, захочет выместить злобу.

У Толстого было и конкретное предложение: надобно уговорить, чтобы ея императорское величество для своего интереса короновать изволила при себе цесаревну Елисавет Петровну, или Анну Петровну, или обеих вместе. И когда так зделаетца, то ея величеству благонадежнее будет, что дети ее родные.

А как быть с царевичем Петром Алексеевичем? У Толстого и на этот счет были соображения.

— Как великий князь научитца, тогда можно ево за море послать погулять и для обучения посмотреть другие государства, как и протчие европские принцы посылаютца, чтоб между тем могли утвердитца здесь каранация их высочеств.

Толстой добавил, что об этом плане осведомлен Иван Иванович Бутурлин, который «хочет ея величеству о том донесть». Толстому довелось услышать от Девиера слова упрека:

— Что-де вы молчите? Светлейший князь овладел всем Верховным советом! Лутче б-де было, коли б меня в Верховный совет определили, — выпалил он без ложной скромности»⁷.

2 мая Девиер «в дополнку» ранее данным показаниям о разговорах с Бутурлиным относительно сватовства привел любопытные суждения старого генерала об отношениях между вельможами. Девиер, выгораживая себя, старался оставить в тени свое участие в разговоре и, естественно, выпячивал роль Бутурлина. По его словам, Иван Иванович произнес длинный монолог о том, что вельможи не любят Меншикова.

«Токмо-де светлейший князь не думал бы того, чтоб князь Дмитрий Михайлович Голицын и брат ево князь Михайла Михайлович и князь Борис Иванович Куракин и их фамилия допустили ево, чтоб он властвовал над ними. Напрасно-де светлейший князь думает, что они ему друзья... Ему скажут-де: «Полно-де, миленькой, и так ты над нами властвовал, поди прочь!» Правда, светлейший князь не знает, с кем знатца. Хотя князь Дмитрий Михайлович манит или льстит, не думал бы, что он ему верен. Токмо для своего интересу (он это делает)».

Бутурлин объяснил и причины своего недовольства:

— И понеже давно служу: и при государе блаженные памяти показывал великую службу, когда была ссора у его величества с сестрою, царевною Софьею Алексеевною. И ныне б служить готов, токмо б искать государственной пользы.

«Очень-то хорошева дела, и всем так надобно делать», — бросил реплику Девиер.

Бутурлин ему возразил, ибо был готов «искать» государственную пользу только в том случае, если она совпадала с его личными интересами.

«Что-де хорошева, что светлейший князь что хочет, то и делает. И меня-де, мужика старова, обидил — команду отдал мимо ево младшему. К тому ж и адъютанта отнял у меня. Чего ради он так делает? Знатно,

для своего интересу. А надеюсь, что государыня о сем не известна. Буду ея величеству жаловатца и ему стану говорить: «Откуда он такую власть взял?» Разве за то, что я много ему добра делал, о чем он, светлейший князь, довольно ведает, а теперь забыто. Так-то он знает, кто ему добро делает!»

Такой сентенцией закончил свой монолог Бутурлин.

Новый этап следствия наступил со 2 мая, когда суд привлек к дознанию Скорнякова-Писарева и князя Долгорукова, а позже Толстого и Ушакова.

2 мая суд, руководствуясь устным повелением императрицы, вынес определение: Скорнякова-Писарева и Долгорукова допросить в крепости, «а протчих по дворем». Однако уже на следующий день Толстому был объявлен домашний арест: «...дабы вы без указа из дому своего не выезжали и писем никуда никаких не писали до окончания дела. И у двора вашего поставить караул, чтоб к вам никто не приезжали». 4 мая аналогичный указ был объявлен и Бутурлину.

Из допроса Скорнякова-Писарева следует, что он более всего был озабочен намерением Меншикова передать престол Петру Алексеевичу. Признаки этого намерения он обнаружил еще в ноябре 1726 г., когда начался фейерверк по случаю тезоименитства императрицы Екатерины.

План фейерверка был сочинен Скорняковым-Писаревым и Василием Корчминим и представлен на утверждение Меншикову. Тот забраковал его и поручил полковнику Витверу составить новый. Полковник, надо полагать, безоговорочно заложил в фейерверк идею, подсказанную князем: был нарисован столб, а на нем — корона; к столбу прикреплена веревка с якорем, частично зарытым в землю; у столба молодой человек с глобусом и циркулем в одной руке, другой рукой он держал веревку.

Скорняков-Писарев уже тогда не без основания заподозрил, что Меншиков «тою фигурою являет наследником великого князя», и, будучи человеком грубым и прямолинейным, предложил Толстому донести о меншиковской затее с фейерверком императрице. Граф отказался. Писарев пригрозил:

«Ежели ето дело будет шумно, то я скажу ея величеству государыне императрице, что о том тебе сказывал».

Угроза подействовала — Толстой доложил, и чертеж фейерверка в конечном счете был изменен.

Для нас наибольший интерес представляет допрос Петра Андреевича Толстого. Ему было предложено ответить на 14 вопросов. В своих ответах он либо подтверждал, либо уточнял, либо отклонял показания других обвиняемых, либо, наконец, объяснял свое поведение и поступки.

Граф Петр Андреевич подтвердил главную свою вину: он действительно развизвал перед Девиером план отстранения от престола великого князя путем отправки его за границу и провозглашения наследницей Елизаветы Петровны. Настаивая на этом, он имел в виду прежде всего личную безопасность. «А говорил с ним (Девиером. — Н. П.) такие слова для того, — показал Толстой, — что... по указу блаженные и вечнодостойные памяти

императорского величества привез царевича Алексея Петровича из чужих краев в Россию. И когда о том деле были розыски, у тех розысков по указу его же величества был... Того ради опасался, чтоб... не припамятовано было впредь». По этой же причине он ничего хорошего не ожидал и от освобождения из заточения бабки Петра Алексеевича — Евдокии Лопухиной: «Ежели бабка великого князя будет взята (ко двору. — П. Н.), будет мстить за грубость... к ней и блаженныя памяти государя императора дела опровергать».

Толстой сначала отклонил показание Девиера, будто он, Толстой, высказывался за коронование цесаревны Анны Петровны или обеих цесаревен вместе. По его признанию, он на эту тему выражал верноподданические чувства. «Все то положим на волю Божию, — говорил Толстой Скорнякову-Писареву, — и кого Бог учинит наследником, тому мы должны служить верно». Но, проявив в данном случае рабскую покорность обстоятельствам, Толстой на вопрос следователей, заданный позже, ответил, что в дни кризиса болезни императрицы он полагал, «чтоб ея величество изволила учинить наследника или наследницу, кого изволит, чтоб государство не осталось без наследства и не воспоследовало б в народе какое смущение». В конечном итоге он признал, что они с Бутурлиным много раз обменивались мнениями на этот счет и «желали, чтоб ея императорское величество изволила учинить наследницею дочь свою Елисавету Петровну».

4 мая, когда следователи допрашивали Нарышкина в его доме, туда прибыл секретарь Меншикова Яковлев с повелением, чтобы они «ехали немедленно ко двору ея величества». Здесь императрица «указала всему собранию Учрежденного суда сказать, чтоб к будущей субботе изготовить к решению экстракты изо всего дела и приличные указы как из воинских, так и из статских прав». 5 мая это устное повеление было оформлено письменным указом, подписанным императрицей, причем сроки завершения дела еще более ужимались. Указ предлагал сентенцию (приговор) из дела «доложить нам, кончая в 6 день сего месяца, поутру».

Расследование дела не было закончено. Например, остались невыясненными разноречия в показаниях Толстого и Бутурлина. Нуждались в проверке показания княгини Волконской о намерении Толстого проникнуть в покои императрицы, чтобы донести ей о самоуправстве Меншикова. До конца неясным остался и вопрос о привлечении к заговору адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Обвиняемые возлагали на него надежды, вели на этот счет разговоры между собой, но делились ли они с ним своими планами — неизвестно. Учрежденный суд пропускал мимо ушей наветы на Апраксина. Да и репутация члена Учрежденного суда Д. М. Голицына показаниями Бутурлина оказалась подмоченной.

Характерно, что факт незавершенности процесса признавал и именно указ от 5 мая: «А буде кто еще из оных же, которые уже приличились следованием, не окончано, и то за краткостию времени оставить. И ежели некоторых по тому же делу вновь что показано, а они не допрашиваны —

тех допрашивать впредь». Эта часть указа осталась пустым пожеланием — Меншикову было не до тонкостей и не до точного определения степени виновности каждого из привлеченных к следствию. Ему во что бы то ни стало надобно было, чтобы его противники оказались поверженными еще при жизни императрицы и ее именем. Именно такой ход событий обеспечивал ему успешное завершение задуманного — возведение на престол великого князя Петра Алексеевича и женитьбу его на своей дочери.

Выполняя указ императрицы о выписке «из воинских и статских указов» приличествующих случаю «артикулов», Учрежденный суд обратился к Уложению 1649 г. Но в нем подходящих статей не удалось обнаружить. Статья первая второй главы хотя и была выписана, но прямого отношения к данной ситуации не имела, ибо предусматривала смертную казнь тем, кто «каким умышлением учнет мыслить на государское здоровье злое дело».

Приличествующие случаю «артикулы» оказались не в кодексе семидесятипятилетней давности, а в нормативных актах более позднего происхождения — в Уставе о наследии престола 1722 г. и Правде воли монаршей, опубликованной в 1726 г. Бросается в глаза важная деталь: канцелярский аппарат не располагал ни минутой свободного времени, чтобы тратить его на выписки из воинских и статских регламентов и указов. Сентенция составлялась что называется с листа, без промежуточного этапа, под которым подразумевались требуемые указом выписки.

Спешка видна и в другом: экстракты, т. е. краткие резюме допросов обвиняемых, и сентенция были написаны четырьмя разными почерками. Это дает основание считать, что отдельные части документов составлялись разными лицами одновременно. Впрочем, даже такая организация работы не обеспечила завершения ее в назначенный срок. Вспомним, что указ повелевал доложить сентенцию, «кончая в 6 день сего месяца, поутру», а докладывали ее, как явствует из документов, много позже — после трех часов дня.

Первую половину дня 6 мая Учрежденный суд в полном составе слушал экстракты, затем поручил канцеляристам сочинить сентенцию. «Потом, — читаем в журнальной записи суда, — пополудни в 3-м часу слушали вышеозначенной сентенции и, подписав своими руками, ездили все собрание во дворец для доклада по той сентенции ея императорскому величеству». В журнальной записи значатся слова «и докладывали», а вслед за ними сказано, что «дан им именной ея императорского величества указ за подписанием собственные ея императорского величества руки».

Последовательность столь обстоятельно зарегистрированной процедуры, происходившей у смертного одра императрицы, вызывает сомнения. Не могла Екатерина за несколько часов до кончины слушать доклад и тем более выражать свое мнение по поводу выслушанного, а она умерла в тот же день, 6 мая 1727 г., в девятом часу вечера.

В делах Учрежденного суда действительно имеется указ, о котором шла речь выше, и под ним значится подлинная подпись Екатерины. Ос-

тается предположить, что в минуту, когда смерть перед тем, как окончательно одолеть свою жертву, на миг отступила, Меншиков, не спускавший глаз с императрицы, подсунул ей указ, который та, как говорится, не глядя, подписала.

Вернемся, однако, к содержанию сентенции. Первая ее часть не представляет большого интереса, поскольку в ней в сжатом виде перечисляются «вины» каждого из подсудимых, нам уже известные. Новая информация заложена во второй части приговора, являвшейся своего рода обвинительным заключением, в котором действия и помыслы обвиняемых подведены под статьи законов.

Главное преступление обвиняемых состояло в том, что они, зная «все указы и регламенты, которые запрещают о таких важных делах, а наипаче о наследствии, не токмо с кем советовать, но и самому с собою разсуждать и толковать, кольми же паче дерзать определять наследника монархии по своей воле, кто кому угоден, а не по высокой воле ея императорского величества», противились этой воле. Поэтому они будут «за изменника почтены» и подлежат смертной казни и анафеме.

Второе преступление обвиняемых связано со сватовством великого князя. В сентенции написано, что все «персоны, которые тщилися домогаться не допускать до того (свадьбы. — Н. П.), весьма погрешили как против высокой воли ея величества, так и во оскорблении его высочества великого князя».

Виновность привлеченных к следствию усугублялась тем, что «все вышеписанные злые умыслы и разговоры чинены были от них по их партикулярным страстям, а не по доброжелательству к ея императорскому величеству». Так, «граф Толстой сказал, что боялся великого князя, а прочие сказали, что боялись усилования светлейшего князя».

Далее следуют определенные судом меры наказания: Девиера и Толстого, «яко пуших в том преступников, казнить смертию»; генерала Бутурлина, лишив чинов и данных деревень, отправить в ссылку в дальние деревни; князя Ивана Долгорукова «отлучить от двора и, унизя чином, написать в полевые полки»; Александра Нарышкина лишить чина и отправить в деревню безвыездно; Андрея Ушакова за то, что он не донес о слышанных им разговорах относительно престолонаследия и сватовства, отстранить от службы.

Одна деталь сентенции требует пояснения. Материалы следствия свидетельствуют о различной степени участия в заговоре Девиера и Толстого: активность проявлял первый из них. Это он затевал разговоры то с одним, то с другим обвиняемым привлекал их к участию в заговоре, увещевал действовать, в то время как Толстой не обнаруживал инициативы и осторожно, а иногда и уклончиво отвечал лишь на предложения, сформулированные собеседником. Между тем и тому и другому сентенция определила одинаковую меру наказания — смертную казнь.

Недоумение прояснится, если учесть, что для Меншикова главным противником был Толстой. Светлейший, конечно же, понимал, что ни

Девьер, ни Скорняков-Писарев были неспособны свалить его, Меншикова. Такое было под силу только Толстому.

В указе, подписанном Екатериной 6 мая 1727 г., мера наказания была смягчена. Толстому и Девьеру сохранили жизнь, причем первому определили ссылку в Соловецкий монастырь, а Девьеру — в Сибирь. Просьба родной сестры Александра Даниловича, Анны Даниловны, супруги Девьера, была оставлена без внимания. 30 апреля Анна Даниловна обратилась к брату с посланием: «Светлейший князь, милостивой отец и государь, приемляю я смелость от моей безмерной горести труднить вас, милостивого отца и государя, о моем муже, о заступлении и милостивом предстательстве к ея императорскому величеству, всемилостивейшей нашей государыне, дабы гнев свой милостиво обратить изволили». Ответа не последовало.

Смягчено было наказание еще одному участнику заговора — Бутурлину: его сослали в деревню, оставив за ним владения.

Обращает на себя внимание несоразмерность между квалификацией содеянного преступления и мерой наказания, определенной как в приговоре Учрежденного суда, так и в указе императрицы. В самом деле, следуя букве законодательства того времени, все обвиняемые без исключения подлежали смертной казни, ибо они противились установленному законом порядку престолонаследия. В сентенции, кроме того, есть ссылка на устав воинский, в котором определено: равное наказание чинится над тем, «которого преступление хотя к действию и не произведено, но токмо ево воля и хотение к тому было»¹⁰.

Мы видели, что «воля и хотение» были у всех обвиняемых за исключением, быть может, Андрея Ушакова.

Отметим и другое: ни в экстрактах, ни в сентенции, ни, наконец, в именном указе не упомянут герцог Голштинский, хотя его имя то и дело встречается в показаниях обвиняемых. Из этих показаний следует, что заговорщики уповали на герцога прежде всего как на передаточную инстанцию. Именно он и его супруга, как родственники императрицы, должны были рассказать ей о двух затеях Меншикова: о сватовстве и желании видеть наследником престола Петра Алексеевича. Впрочем, сам герцог претендовал на активную роль в заговоре. Он мечтал, если верить показанию Толстого, стать президентом Военной коллегии, т. е. утвердиться в должности, которую занимал Меншиков. С герцогом вели доверительные разговоры все лица, привлеченные к следствию, он был в курсе всех их намерений и даже страдал их безрадостной перспективой: «...ежели ея императорское величество прекратит жизнь без завету о наследстве, и мы все пропадем».

Родственные связи герцога с царствующей фамилией избавили его и от допросов, и от упоминания его имени в сентенции и в указе. Тем не менее следствие оказало влияние на его дальнейшую судьбу. Именно оно проливает свет на причины поспешного удаления герцога из России: Меншиков стремился как можно быстрее избавиться от конкурента за влияние на верховную власть. Правда, со смертью Екатерины шансы герцога на

первую роль в правительстве практически исчезли, но испорченных отношений уже было не восстановить. Как ни ненавидел Меншиков герцога, но все знаки внимания ему оказал: когда корабль с герцогом и Анной Петровной следовал по Неве мимо дворца Меншикова, князь из окна помахал ручкой отъезжавшим.

Субботний день 6 мая 1727 г. был, по свидетельству «Повседневных записок» А. Д. Меншикова, «пасмурной, и великий ветер». В этот день в столице империи произошло множество событий. Их перечень не исчерпывается смертью императрицы и подписанием ею указа с определением меры наказания обвиняемым. На этот же день падает и исполнение указа.

Напомним, что Толстой и Бутурлин давали показания у себя дома и Толстой даже исхлопотал себе право принимать родственников — стоявшие у его двора караульные пропускали их к нему. Оба подследственных в первые дни домашнего ареста почтительно назывались полными титулами. Теперь, 6 мая, титулы стали «бывшими»: «...взяты во оный Учрежденный суд бывшие действительный тайный советник и кавалер граф Петр Толстой, генерал кавалер Иван Бутурлин, и при оном собрании сказан им арест и сняты с них кавалерии святого апостола Андрея и с лентами голубыми и шпаги. И оные Толстой и Бутурлин отданы под караул». В этот же день состоялась экзекуция над Девиером и Скорняковым-Писаревым: оба они были биты кнутом.

Светлейший не имел обыкновения останавливаться на полпути. Несмотря на суматоху при дворе, вызванную кончиной императрицы, он продолжал держать судьбу осужденных в своих руках: «Оные Антон Девиер и Петр Толстой с сыном ево Иваном (имя которого, кстати, не упоминалось ни в сентенции, ни в указе. — Н. П.), Григорий Скорняков-Писарев посланы в ссылки за караулом в указанные места». Указ был приведен в исполнение и в отношении остальных обвиняемых.

Меншиков не уgomонился и на этом. День 6 мая был ознаменован еще и тем, что Учрежденный суд отправил два указа: один из них был адресован архангелогородскому губернатору Измайлову и предписывал доставленных в Архангельск Петра Андреевича Толстого с сыном немедленно отправить на судах в Соловецкий монастырь «и велеть им в том монастыре отвести келью, и содержать ево, Толстого с сыном, под крепким караулом: писем писать не давать, и никого к ним не допускать, и тайно говорить не велеть, токмо до церкви пушать за караулом же, и довольствовать брацкою пищею».

Другой указ касался Девиера и Скорнякова-Писарева. Их велено было «как дорогою, так и на квартирах содержать под крепким караулом и всегда быть при них по человеку с ружьем или со шпагою и писем писать и чернил и бумаги им давать не велеть, и тайно ни с кем говорить не допускать, и весть их наскоро». Указ запрещал заезжать как в старую столицу, так и в деревни, принадлежавшие колодникам.

Учрежденный суд определил место ссылки Девиера и Скорнякова-Писарева в общих чертах: когда они будут доставлены в Тобольск, то их

надлежало «розвесть по разным дальним городам, чтоб они, Девиер и Писарев, между собою свидания не имели».

Несколько позже были выдворены из столицы жены и дети осужденных. В паспорте, выданном Анне Даниловне Девиер, было написано: «Отпущена из Санкт-Петербурха бывшего генерала-лейтенанта Антона Девиера жена ево Анна, Данилова дочь, з детьми Александром, Антоном, Иваном. А велено ей жить в деревнях своих, где она пожелает». Днем раньше такой же паспорт получила и супруга Скорнякова-Писарева Катерина Ивановна.

Итак, Меншиков во всем преуспел: когда императрица сделала предсмертный вздох, по майскому бездорожью на ямских подводах в сопровождении караульных солдат тряслись его противники. Светлейшему казалось, что им сметены все помехи, препятствовавшие осуществлению задуманного: теперь и провозглашение наследником Петра Алексеевича, и брак его с дочерью Марией будут встречены если не ликованием, то безропотным молчанием.

И все же одно дельце князь не успел повернуть: протяни Екатерина еще пару дней или даже несколько часов и не окажись она на смертном одре в тот самый день, 6 мая, Меншиков наверняка представил бы ей для подписи манифест с разьяснением поданным случившегося. Но это уже была деталь, не повлиявшая на ход событий.

Манифест был обнародован от имени Петра II только 27 мая. Новых оценок происшедшего по сравнению с сентенцией Учрежденного суда он не содержал. Подданные извещались, что осужденные «тайным образом свещались противу того Уставу и высокого соизволения ея императорского величества во определении нас к наследствию». Заговорщики противились и волеизъявлению покойной императрицы «о сватовстве нашем на принцессе Меншиковой, которую мы во имя божие ея же величества и по нашему свободному намерению к тому благоугодно изобрели»¹¹.

Приспело время взглянуть на описанные выше события, так сказать, изнутри и оценить их. Внешне они выглядели как дворцовая интрига, но по существу их следует рассматривать как неудавшуюся попытку произвести дворцовый переворот.

Перевороты, как известно, отличались двумя свойствами: они готовились в глубокой тайне кучкой заговорщиков без привлечения к участию в них широких слоев населения; перевороты не изменяли ни социальной, ни политической структуры общества, они отражали борьбу за власть соперничавших группировок господствующего класса. Это последнее свойство дворцового переворота было совершенно справедливо отмечено в сентенции Учрежденного суда: «...все вышеписанные злые умыслы и разговоры чинены были от них по их партикулярным страстям, а не по доброжелательству к ея императорскому величеству». Столь же справедливы были и слова сентенции о том, что участники заговора действовали ради «своей собственной безопасности»¹².

Так квалифицировала цели Девиера — Толстого победившая в этой сваре группировка, возглавляемая Меншиковым. Но, окажись в роли победителей Девиер — Толстой, они без околичностей могли бы бросить тот же упрек поверженному Меншикову. Как у Меншикова, так и у его противников побудительные мотивы распри находились в одной плоскости: они помышляли о своекорыстных интересах, или, как написано в сентенции, руководствовались «партикулярными страстями».

Впрочем, Девиер — Толстой победить не могли. Когда знакомишься с содержанием документов Учрежденного суда, то невольно удивляешься наивности всех обвиняемых, и прежде всего такого многоопытного в политических и придворных интригах человека, как Петр Андреевич Толстой. Невозможно отрешиться от впечатления, что участники заговора только тем и занимались, что упорно убеждали друг друга в необходимости донести о своих опасениях императрице. Вместо энергичных действий — игры ва-банк — разговоры, и только разговоры. Скорняков-Писарев говорил Девиеру:

«Надобно того не проронить и государыне донести».

Девиер согласен:

«Чтоб донести ея императорскому величеству ныне, а после-де времени не будет, и вас не допустят».

Диалог Девиер — Бутурлин велся в том же ключе.

«Девиер. Для чего они к ея императорскому величеству не ходят?

Бутурлин. Нас не пускают.

Девиер. Напрасно затеваете, сами ленитесь и не ходите, а говорите, что не пускают».

Но Девиер все же полагал, что только Бутурлин был способен выполнить эту рискованную миссию. Как-то герцог Голштинский сказал Девиеру: «Иван Иванович о том же деле хочет доложить ея величеству». Девиер с ним согласился: «Он-де посмелее и может донести». Сам Бутурлин доносить, однако, не спешил: «Как ея императорское величество придет в свое здоровье, тогда он, улуча время, ея императорскому величеству, может быть, станет доносить».

Что касается Толстого, то он либо из осторожности, либо по убеждению занимал уклончивую позицию. Однажды он заявил: «...когда время придет, тогда доложить ея величеству», но в другом разговоре наотрез отказался это сделать: «...а докладывать ея императорскому величеству он дерзновения не имеет»¹³.

Впрочем, Толстой лукавил. Из признания княгини Волконской известно, что Петр Андреевич искал случая получить аудиенцию у императрицы, но, убедившись в бесплодности своих попыток (так как «его светлость беспрестанно во дворце»), решил прибегнуть к посредничеству гофдамы, бесспорно, сочувствовавшей затее Толстого. Случая такого, однако, не представилось.

Итак, из следственного дела вытекает, что Толстому не удалось свидеться с императрицей и поведать ей о пагубном влиянии замысла Мен-

шикова на судьбу ее дочерей. Согласно же версии упоминавшегося выше консула Виллардо, аудиенция Петра Андреевича у императрицы состоялась. В своей «Краткой истории жизни графа Толстого» он описал ее так:

«Согласие царицы на брак великого князя с дочерью Меншикова было подобно удару грома для герцога Голштинского, его супруги и Толстого. Они боялись возражать: герцог — из-за отсутствия смелости, а герцогиня (Анна Петровна. — Н. П.) слушалась плохих советов; но Толстой, полный огня, крайне разгневанный, пришел к царице, как только узнал эту новость. Объяснив ей с благородной смелостью, какой ущерб она нанесет себе и своим детям, он закончил свою речь со страстной смелостью, которая привела в восхищение всех присутствующих.

«Ваше величество, — сказал он, — я уже вижу топор, занесенный над головой Ваших детей и моей. Да хранит Вас господь, сегодня я говорю не из-за себя, а из-за Вас. Мне уже больше 80 лет, и я считаю, что моя карьера уже закончена, мне безразличны все события, счастливые или грозные, но Вы, ваше величество, подумайте о себе, предотвратите и избежите удара, который Вам грозит, пока еще есть время, но скоро будет поздно».

Когда он увидел, что у царицы не было сил забрать назад слово, данное Меншикову, он ушел с твердым намерением во что бы то ни стало предотвратить вступление на русский трон молодого великого князя»¹⁴.

Не подлежит сомнению, что если бы подобный монолог был произнесен, то какие-нибудь его отголоски непременно попали бы на страницы следственного дела. Но никаких следов и даже намеков на них нет ни в документах Учрежденного суда, ни в следствии по делу княгини Волконской. Виллардо в своем сочинении собрал и изложил самые разноречивые слухи, ходившие при дворе, придав им стройность. Однако в приведенном отрывке желаемое выдано за действительное, а был причудливо переплетена с небылицами.

Единственным человеком, один-единственный раз осмелившимся разговаривать с Екатериной на щекоглавую тему, был герцог Голштинский. Он как-то заявил Девиеру:

«Я уже нечто дал ея величеству знать, токмо изволила умолчать»¹⁵.

Впрочем, нет возможности проверить, насколько достоверно и это заявление.

Итак, заговорщики уповали на Екатерину и полагали, что достаточно ей раскрыть глаза на замыслы и проделки Меншикова, как последуют угодные им перемены: расстроится сватовство и Петр Алексеевич не будет значиться наследником.

Подобные рассуждения были чистой иллюзией. Императрица, как мы видели, оказалась глухой к предостережениям своего зятя. Неспособна она была воспринять и доводы других заговорщиков, ибо, во-первых, находилась под неограниченным влиянием Меншикова и безропотно выполняла его волю; под контролем светлейшего находился и доступ к императрице; во-вторых, в дни, когда заговорщики намеревались убедить Екатерину воспрепятствовать осуществлению намерений Меншикова, в шкатулке,

хранившейся в Верховном тайном совете, уже лежал ее testament (завещание), в котором она благословляла и назначение своим преемником Петра Алексеевича, и его брачные узы с дочерью Меншикова.

В этих условиях реальным результатом беседы кого-либо из заговорщиков с императрицей могло быть только более раннее их разоблачение. Мечты о перевороте без применения силы — пустая затея. Эту азбучную истину хорошо усвоили организаторы переворотов более позднего времени, неизменно опиравшиеся на гвардию.

Путь от Санкт-Петербурга до Архангельска занял свыше месяца: губернатор Иван Измайлов донес Учрежденному суду, что он принял ссыльных 13 июня 1727 г. В тот же день Петра Андреевича вместе с сыном отправили в Соловецкий монастырь. Два дня спустя, 15 июня, губернатор подписал новое донесение: его одолевали сомнения относительно четырех слуг, сопровождавших ссыльных. Хотя, рассуждал Измайлов, «о недопущении никого к ним и написано, однакоже без известия вышереченной суд оставить не посмел, и впредь тем их людям при них быть ли, о том покорно прошу резолюции»¹⁶. Дальнейшая судьба этих четырех человек документами не освещена.

Поначалу ссыльных должна была сторожить команда, состоявшая из 12 солдат, капрала и офицера архангелогородского гарнизона. Но затем в Учрежденном суде рассудили, что охрана станет более надежной, если команду укомплектуют солдатами и офицером гвардейских полков.

3 июля 1727 г. был вызван в суд лейтенант Лука Перфильев для вручения ему запечатанного пакета с инструкцией. «На конверте написано тако: из Учрежденного суда инструкция лейб-гвардии Семеновского полку лейтенанту Луке Перфильеву запечатанная, которую по прибытии ему к городу Архангельскому распечатать. А в Санкт-Петербурхе и в пути оную ему до помянутого города не распечатывать». Конверт был вскрыт в Архангельске, куда Перфильев с командой прибыл в августе 1727 г., но самостоятельно ознакомиться с его содержанием лейтенант не мог, ибо был неграмотен. Неграмотность начальника караула, как увидим ниже, накликала немало бед как на соловецких узников, так и на команду, день и ночь их сторожившую.

По сравнению с указом от 6 мая 1727 г. инструкция Перфильеву ужесточила режим жизни ссыльных. По указу 6 мая велено «им в том монастыре отвести келью и содержать ево, Толстова с сыном, под крепким караулом». Согласно инструкции, надлежало «розсадить их, Толстых, в том же монастыре по тюрьмам, а именно Петра Толстого в среднюю, а сына ево, Ивана, в тюрьму же, которая полехче». Указ 6 мая разрешал ссыльных «до церкви пушать за караулом же». Инструкция лишала их этой возможности: «...ис тех тюрем их никуды не выпускать и между собою видетца не давать». Лишь в случае если кто-либо из них заболает и пожелает исповедоваться, то можно было допустить к ним «искусного и верного священника», рекомендованного архимандритом.

Указ 6 мая предписывал караулу ссыльным «писать не давать, и никого к ним не допускать, и тайно говорить не велеть». Инструкция Перфильеву перечисленные ограничения дополнила еще одним: «А которые письма к ним будут приходять, оные тебе принимать и розсматривать. И ежели важность какая явитца и буде того монастыря кто явитца подозрителен, то таких брать тебе на караул и во Учрежденный суд писать, и те письма присылать немедленно».

Инструкция предусмотрительно исключала возможность каких-либо подлогов относительно изменения положения ссыльных. Перфильев был обязан подчиняться только тем указам, которые исходили от Учрежденного суда и были подписаны всеми его членами, начиная от канцлера Головкина и кончая генерал-майором Фаминцыным.

Учрежденный суд обрекал ссыльных на верную гибель, ибо условия жизни в каменных мешках, к тому же неотопливаемых, полная изоляция от окружающего мира, весьма скудный «братцкий», т. е. монастырский, рацион гарантировали медленное угасание. Это в первую очередь относилось к престарелому Петру Андреевичу, давно уже страдавшему подагрой.

По прибытии в монастырь Перфильев оказался перед трудной задачей устройства Толстых. Дело в том, что в Петербурге были плохо осведомлены о тюремных помещениях монастыря. Согласно инструкции Перфильеву, Петра Толстого надлежало поместить «в среднюю, а сына его, Ивана, в тюрьму же, которая полехче», но на поверку оказалось, что «средней тюрьмы» не было. По словам архимандрита Варсонофия, «иметца-де у них, в монастыре, тюрьмы тягчайшая, а имянно Корожная, Головленкова; у Никольских ворот — две. Оные все темно-холодные. Пятая, званая Салтыкова, теплая». Все они, кроме Головленковой, были заняты колодниками.

Но дело было не только в этом. Лука Перфильев лично осмотрел все тюрьмы и нашел, что «оних Толстых за тяжелость тех тюрем, а в Салтыковскую за лехкость и теплотою, разсодить нельзя». Лейтенант «возымел мнение, чтоб посадить оного Петра в тюрьму, которая б была ни легчайшая, ни тягчайшая». В конечном счете Перфильев остановил свой выбор на двух пустых кельях, «между которыми двои сени с каменною стеною, у которых, заделав кирпичом окна и ко дверям железные крепкие запоры с замками учина, Толстых в них розсадил». Таков был последний причал корабля Толстого на его бурном жизненном пути.

Началась монотонная жизнь колодников и команды, их охранявшей. Гробовую тишину нарушал лишь грохот запоров, когда солдат приносил им скудную, изнурявшую силы пищу. «И те тюрьмы имеютца холодные, а пища им, Толстым, даетца братцкая, какова в которой день бывает на трапезе братии, по порцы единого брата»¹⁷.

Если в столице жизнь Петра Толстого, президента Коммерц-коллегии и члена Верховного тайного совета, была ключом и каждый день, несмотря на преклонный возраст, проходил в заботах, деловых встречах и разгово-

рах, мелких и крупных интригах, «машкерадах», то здесь, в сыром, неотапливаемом каземате, он располагал лишь одной возможностью — предаваться воспоминаниям о прожитом и пережитом и корить себя за промахи, допущенные в соперничестве с Меншиковым. Падение, круто изменившее уклад жизни блестящего вельможи, могло сломить кого угодно, но похоже, что человек, которому минуло восемьдесят лет, стоически перенес все испытания.

Впрочем, мрак и безмолвие, царившие в кельях-казематах, изредка нарушались, причем в роли нарушителя выступал сам Лука Перфильев, которому было поручено держать узников в полном неведении относительно всего, что творилось за стенами кельи. Личность лейтенанта очерчена документами с далеко не исчерпывающей полнотой. Тем не менее о нем можно почти безошибочно сказать, что это был человек вздорный и одновременно слабохарактерный, нередко не умевший управлять поступками не только подчиненных ему 12 солдат, но и своими собственными. При всем том он не отличался свирепым нравом, в его поступках нет-нет да и промелькнет сострадание к узникам и желание хоть немного облегчить их суровое и беспросветное бытие.

Монотонная жизнь была, вероятно, обременительной не только для узников, но и для караульной команды. Стояние на часах, сон, трапеза... Однообразие скрашивало лишь вино, если были деньги. И так изо дня в день, из месяца в месяц.

Чувства власти и безнаказанности за ее использование в сочетании с грубой натурой позволяли Перфильеву совершать нелепые поступки и переступать грани дозволенного. 18 сентября 1727 г. он, например, после обильного возлияния у архимандрита прибежал к монастырским воротам, разогнал дремавший там монастырский караул, крича солдатам своей команды, чтобы они заряжали ружья и перестреляли монастырских старцев. Будучи «шумен», он «тех старцев называл ворами и бунтовщиками».

В другой раз он пришел в келью Петра Андреевича и затеял с ним рискованный разговор. Узнав от богомольцев, что царица Евдокия Федоровна освобождена из заточения, он тут же поспешил поделиться этой новостью с узником. Не утаил он от него, хотя делать это ему запрещалось инструкцией, что вступивший на престол Петр II вместе с двором прибыл в Москву, где должна была состояться его коронация.

В самом начале своего пребывания на Соловках, 7 сентября 1727 г., Перфильев допустил грубое нарушение инструкции: он явился к Толстому вместе с солдатом Зенцовым и велел тому прочитать ссыльному инструкцию. Зенцов читать отказался. Тогда Перфильев отдал инструкцию Толстому, чтобы тот сам ознакомился с ее содержанием.

Чем руководствовался лейтенант, когда совершал поступок, явно нарушавший его служебный долг? Быть может, сделал он это, как говорили тогда, «с простоты». Но скорее всего он руководствовался теми же соображениями, что и губернатор Иван Измайлов, приславший узникам лимоны и вино. Блеск, всего лишь недавно окружавший влиятельнейшего

при дворе вельможу, еще не поблек, и сознание сверлила коварная мысль: а вдруг узников велют выпустить на свободу и вернут все, чем они владели? Тогда они, конечно же, вспомнят об этой маленькой услуге.

Но ни Измайлов, ни Перфильев не могли предположить, что их поступки станут достоянием Учрежденного суда и что солдат, донесших о подарке Измайлова, вызовут в столицу и в ожидании дознания будут долгое время содержать в тюрьме.

Перфильев, давая Толстому прочесть инструкцию, видимо, хотел убедить его, что он всего лишь исполнитель чужой воли и не виновен в суровом режиме содержания ссыльных.

«Смотри-де, за чьими руками инструкция?» — промолвил лейтенант, когда увидел, что Толстой оторвал от нее глаза.

«Я-де знаю, кто заседает в Учрежденном суде», — ответил Толстой.

С одной стороны, Перфильев иногда выдавал ссыльным «вместо милости» вино и мясо, а с другой — распорядился изъять у них деньги, чтобы они не награждали ими караульных и, следовательно, не могли рассчитывать на снисходительное обращение¹⁸.

Спокойное течение жизни команды нарушило служебное рвение лейтенанта: он решил занять солдат экзерцициями, чем вызвал их неповиновение. 12 мая 1728 г. произошло событие, описанное в донесении так: «Приказал я им собратца в строй нынешнего 1728, мая, 12 дня, для смотрения ружья и хотел поучить, чтоб не позабыли оне артикулу. И вышепомянутые солдаты в строй не пошли и учинили великой крик: “Чего, дескать, нас смотреть и учить; мы, дескать, суды присланы не учитца”». Прошло пять дней, и новая жалоба Перфильева: «...солдаты команды моей во всем меня ослушны». Отстояв сутки часовыми, они потом расходятся кто куда, не выполняют его приказаний о чистке ружей, не носят палашей.

Если бы Лука Перфильев знал грамоту и писал эти донесения сам, то, надо полагать, он не стал бы посвящать в их содержание солдат. Но поскольку лейтенант был вынужден пользоваться услугами кого-либо из своих грамотных подчиненных, то содержание его донесений стало достоянием всей команды. Солдаты лишь ждали случая, чтобы отомстить своему офицеру. Такой случай вскоре подвернулся. 28 мая на часах у кельи Ивана Толстого стоял солдат Дмитрий Зорин. Вдруг раздался стук и голос узника:

«Господин часовой, доложи господину порутчику, што есть за мною слово и дело его императорского величества».

Зорин, попросив другого солдата занять его пост, отправился к лейтенанту. Лука Перфильев со всей командой прибыл в келью, и младший Толстой подтвердил: «Есть за мною слово и дело его императорского величества».

В изложении лейтенанта суть слова и дела состояла в том, что Иван Толстой просил «ради своей тяжкой болезни, чтобы ево перевести ис тюрьмы в теплую келью, также и довольную пищу давать, а братскою пищею он, Иван, сказывает недоволен, требует довольной пищи, а имянно мяса, молока, яиц, пирожков, вина. А по посным дням, чтоб ему поставлялась

живая рыба». Перфильев не пошел на самовольное удовлетворение этих просьб и требовал указа.

Так невинно выглядело происшествие под пером автора донесения, подписанного Перфильевым. Лейтенант умолчал о событиях следующего дня. Из-за позднего времени Перфильев вручил Ивану Толстому бумагу не 29, а 30 мая и при этом предупредил:

«Вразумися! С умом ли говоришь?»

На всякий случай предостерег:

— Вкратце пиши, что имела слово и дело за собою.

Оторвав глаза от листа бумаги, на котором уже было начертано несколько строк, Толстой сказал:

«Не токмо то, и на тебя есть».

В ответ на угрозу Перфильев отнял у Ивана лист бумаги и велел прочитать написанное солдату Богданову. Солдат страдал плохим зрением и ответил, что «читать не видит». Листок передали солдату Зенцову, но и тот, как ни силился, разобрать написанное не смог. Последняя надежда Перфильева — его человек Кирилл Попов. Однако и его усердие не увенчалось успехом¹⁹.

Откровенно говоря, я тоже разобрал написанное с большим трудом. Вот что написал Иван Толстой: «1728, мая, 29 дня, сказал я за собою слово и дело государево при самой моей смерти от нестерпимого содержания. Также имею показать и на порутчика Перфильева, некоторые непристойные слова показать, и чтоб я до указу государева, кому повелено мене будет...». Фраза осталась незаконченной: ее прервал Перфильев, вырвав из рук Толстого бумагу.

Таким образом, согласно версии Перфильева, суть «слова и дела» Ивана Петровича состояла в просьбе улучшить рацион и сменить холодную келью на теплую. О том, что Толстой начал писать донос, равно как об угрозе написать донос и на него, Перфильева, наконец, и о том, что у Толстого был вырван из рук лист бумаги, Перфильев не обмолвился ни единым словом. Обо всем этом Учрежденный суд известили солдаты.

В Петербурге доносу солдат придали важное значение. 28 июня 1728 г. последовал указ архангелогородскому губернатору Ивану Лихареву, сменившему на этом посту Измайлова, ехать в Соловецкий монастырь и выяснить там, какое «слово и дело» имеет Иван Толстой. Оговоренных им лиц было велено взять под стражу. Лихарев должен был также установить, в чем состояла вина Перфильева и в чем выразилось неповиновение солдат.

Надобность в поездке, однако, отпала, так как Учрежденный суд отправил указ губернатору тогда, когда Ивана Толстого уже не было в живых. О его смерти сообщил в Петербург Перфильев:

«Иван Толстой умре июня, 7 дня, цинготною болезнью. А заболел с великова поста, а перет смертью припала к нему горячка, понеже много бредил, кричал, якобы охотник за зайцы. Також говорил он часовым, а именно Михайлу Потанину, Степану Аверкиеву, чтоб взяли у архимандрита быка да убили, также бы бочьку пива, бочьку меду».

Получив это известие, Учрежденный суд распорядился отправить Лихареву указ: если губернатор еще не съездил на Соловки, то надобности в поездке уже нет, ибо Иван Толстой умер. Этот же указ решил судьбу Перфильева и его команды: их было велено заменить офицером и солдатами местного гарнизона. 28 июля 1728 г. Перфильева и солдат-гвардейцев сменил новый караул во главе с капитаном Григорием Воробьевым²⁰. Старый караул в полном составе оказался под следствием.

В нашу задачу не входит изучение перипетий следственного дела Перфильева и его солдат. Остановимся коротко — подробнее не позволяют источники — на дальнейшей судьбе Петра Андреевича Толстого. Он не подавал никаких признаков своего существования на Соловках. В частности, ничего не известно о том, как он перенес смерть любимого сына Ивана, как ему удалось преодолеть, не прося ни у кого ни пощады, ни милосердия, страдания от подагры и прочие невзгоды жизни в каменном мешке.

2 февраля 1729 г. новый начальник караула Григорий Воробьев донес Учрежденному суду: «А в нынешнем 729 году, генваря, с первых чисел, оной Толстой заболел жестоко и духовника требовал. И того же генваря, 13 дня, по требованию ево прежняго духовника иеромонаха Пахомия к нему допускал, и он, иеромонах, ево исповедал и святых таин соопшил. И при нем, иеромонахе, и при мне приказывал он, Толстой, которые пожитки были при нем, по смерть свою отдать в казну преподобна чудотворцев Зосима и Саватия для поминовения ево, Толстова. И сего же генваря, 30 дня, оной Петр Толстой от той болезни умре». Так оборвалась суровая, полная страданий жизнь блестящего сподвижника Петра Великого.

Капитан спрашивал, как ему поступить с пожитками и телом умершего. «А ныне положен он, Толстой, во гроб и поставлен во особливою каморе при карауле до указу ея императорского величества». Здесь же приложен реестр вещам, оставшимся после смерти Петра Андреевича.

Ответ на этот вопрос Воробьев получил, видимо, не ранее середины апреля: «Петра Толстого погребсти в том монастыре, а оставшие после ево, Толстова, золотые деньги, серебряные суды и прочие все пожитки по реестру оному капитану Воробьеву отдать в Соловецкий монастырь, в казну того монастыря келарю или казначею с роспискою».

При отсутствии документов кое-что о человеке могут поведать принадлежавшие ему вещи. Сохранилось два реестра имущества Толстого: первый из них был составлен в конце июля 1728 г., когда происходила смена команды Перфильева командой Воробьева; второй реестр был составлен полгода спустя, после смерти Толстого.

Среди предметов пара часов — золотые и серебряные, две серебряные табакерки, две пары серебряных запонок и немалое количество серебряной посуды: лохань с рукомыником, поднос с двумя чарками, три пары ножей, три ложки, кружка, солонка. В перечень включена и серебряная готовальня. Оловянная посуда была представлена восемью блюдами, дюжиной тарелок и кружкой, а медная — котлом, тремя кастрюлями, сковородкой.

Металл выдержал испытание сыростью и не претерпел существенных изменений. Более показательна судьба одежды.

Гардероб ссыльного был довольно разнообразным: две шубы, одеяло на беличьем меху, два теплых шлафрока, 18 рубашек, шесть лицевых полотенец, две пары черных кафтанов, два полога и пр. Согласно июльскому реестру 1728 г., в ветхое состояние пришли восемь портов, четыре папки, две простыни, епанча холодная и четыре «галстуха». В январском реестре 1729 г. уже не значилось ни одного предмета без пометы «ветхий». Ветхими оказались шубы, кафтаны, камзолы, платки и все прочее. Реестр заканчивается двумя фразами: «Два шлафора теплые, которые при нем, Толстом, в тюрьме были, ветхие и згнили. Одеяло при нем же, Толстом, згнило»²¹.

Удивление вызывает факт, что 82-летний старик смог более полутора лет продержаться в атмосфере, где не выдерживали вещи, превращаясь в тлен.

Жизнь Толстого примечательна во многих отношениях. Петр Андреевич был единственным сподвижником Петра, который начинал свою карьеру его противником, а заканчивал его верным слугой. Чтобы совершить подобную метаморфозу, надобно было преодолеть косность и консерватизм среды, на которую он поначалу ориентировался. В ряды сподвижников Петра Толстой вошел в зрелые годы, и, несмотря на это, он с усердием стал постигать новое, причем в процессе не обучения, как то делали его более молодые современники, а переучивания. Это всегда сложно и трудно.

Вряд ли среди дипломатов, которыми располагал царь в самом начале XVIII в., можно было найти более подходящую кандидатуру на должность русского посла в Стамбуле, чем Петр Андреевич. Вряд ли, далее, кто-либо мог проявить столько настойчивости, изворотливости и гибкости, как Толстой. Здесь важен итог его нелегкой службы, выразившийся в том, что ему удалось предотвратить выступление против России Османской империи в тот период Северной войны, когда это выступление таило для нашей страны наибольшую опасность.

Другая, не менее важная заслуга Толстого за время пребывания в Османской империи состояла в том, что с его именем связано утверждение нового статуса посла как постоянного представителя России при султанском дворе. В итоге престиж России был поднят на более высокую ступень.

В 1717 г., после бегства царевича Алексея во владения императора Священной Римской империи, Петр Великий располагал куда большим выбором дипломатов, чтобы отправить кого-либо из них для розысков беглеца и возвращения его в Россию, чем в начале века, — в его распоряжении находились Борис Иванович Куракин, Петр Павлович Шафиров, Василий Лукич и Григорий Федорович Долгорукие и многие другие, но царь поручил это сложное и деликатное дело тоже Петру Андреевичу Толстому. И в данном случае он вряд ли мог сыскать лучшего исполнителя своей воли. Толстой мог быть и вкрадчивым, и суровым, и мягким, и

твердым, и резким, и обходительным, т. е. обладал качествами, использование которых обеспечило в тех условиях успех. У Петра не было оснований быть недовольным трудами своего эмиссара. Он действовал напористо и в то же время без шума и, с одной стороны, своими действиями не вызвал дипломатических осложнений с венским двором, а с другой — уговорил царевича вернуться в Россию.

Возникает вопрос: как могло статься, что одаренный и, несомненно, проницательный человек, каким был Петр Андреевич, так легко дал загнать себя в угол, оказался в опале и закончил жизнь в каменном мешке Соловецкого монастыря? Почему он, несмотря на то что логика борьбы и соперничества принуждала его быть энергичным и бескомпромиссным, проявил столько нерешительности и пассивности, что практически без всякого сопротивления сдался на милость своего соперника — Александра Даниловича Меншикова? Почему, наконец, Толстой, достаточно опытный политик и интриган, вел себя перед Учрежденным судом как на исповеди и не предпринял ни единой попытки затянуть следствие, отпираться от каких-либо обвинений и т. д.?

Думается, что загадочного в поведении Толстого ничего нет. Это поведение определилось царистской идеологией и царистскими иллюзиями, в плену которых находились не только низы феодального общества, но и его верхи. Вспомним, что все перевороты XVIII в. совершались именем претендента на трон. Жертвой этих иллюзий в мае 1727 г. стал Толстой, а затем станет и Меншиков, за полгода до этого праздновавший свою победу над противниками. В борьбе с Толстым он действовал именем императрицы. Именем императора был свергнут и сам светлейший. Представления об этике и нормах морали тех времен не позволяли ни Толстому, ни Меншикову, оказавшимся в роли побежденных, лгать и изворачиваться. К слову сказать, отпираться было бессмысленно, ибо Толстой догадывался об осведомленности следователей о своей вине из показаний других подследственных.

*АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКАРОВ*

КАБИНЕТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

Жизнь Макарова, внешне не бросакая, без ярких всплесков, трудна для написания биографии прежде всего потому, что она не отличалась динамичностью. На первый взгляд его жизненный путь представляется даже монотонным, будничным, лишенным всякого интереса. В самом деле, Алексей Васильевич не купался в лучах славы, не давал он и сражений, не вел успешных или неудачных дипломатических переговоров, не сооружал кораблей и не командовал ими. Но, внимательно присмотревшись к деятельности Макарова, можно без труда обнаружить в ней скрытое от поверхностного взгляда огромное внутреннее напряжение.

Макаров вносил немалый вклад и в победы русского оружия на полях сражений Северной войны, и в успешные действия русской дипломатии, и в строительство регулярной армии и флота, и в новшества культурной жизни страны. Трудно переоценить лепту, внесенную им в создание отечественной промышленности. Короче, он участвовал во всех преобразовательных начинаниях царя. К этому его обязывала занимаемая должность: он являлся кабинет-секретарем Петра и, следовательно, был причастен к составлению указов, к переписке с агентами и послами царя за границей, к составлению реляций и отправке царских повелений, на театр военных действий и, наконец, к проверке, как выполнялась воля царя.

Алексей Васильевич много путешествовал. Рига, воды Балтики, река Прут, Полтава, Киев, Астрахань, Амстердам, Париж, Копенгаген — далеко не полный перечень пунктов, до которых он добирался либо в почтовой повозке, либо на военном корабле, либо в специальном экипаже, либо, наконец, на барке.

Что побуждало его к странствиям? Отнюдь не любовь к путешествиям. В путь он снаряжался потому, что по долгу службы был неразлучен с царем. Неотложные дела звали Петра к театру военных действий или за границу — вместе с ним отправлялся и Макаров. Образно говоря, Макаров был тенью Петра, его памятью, глазами и ушами.

Как и Петр, Макаров работал, не зная усталости, с полной отдачей сил. Царю, бесспорно, импонировали спокойствие, уравновешенность, благоразумие и пунктуальность кабинет-секретаря.

Итак, деятельность Макарова протекала в тиши кабинета, где не бурлила, а убаюкивающе журчала жизнь. В его четырех стенах воплощались в указы замыслы царя-преобразователя. Там могли бы зарождаться и интриги, будь Макаров к ним склонен. К счастью, он был чужд интриг.

Биографа Макарова подстерегает еще одна трудность: его личная жизнь скрыта плотной завесой и приподнять ее практически невозможно, ибо при кажущемся обилии сохранившихся от той поры источников с упоминанием имени нашего героя они крайне бедны для раскрытия его личных качеств. Среди этих источников многие сотни, если не тысячи, писем Макарову и ни одного ответа на них. Макаров, отличавшийся аккуратностью, разумеется, отвечал своим корреспондентам, но никто из них не сохранил этих ответов. Да и сами письма являются служебными документами, пригодными для использования совсем в иных целях, и лишь в редких случаях в них вкраплены сюжеты, раскрывающие характер отношений между корреспондентами.

Макаров принадлежал к числу сподвижников Петра, которые, подобно Меншикову, Девиеру, Курбатову и многим другим, не могли похвастаться своим родословием. О его детстве и начале карьеры известно крайне мало. Темно и его происхождение: историкам удалось лишь установить, что он был сыном подьячего вологодской воеводской канцелярии, но года его рождения и поныне доподлинно никто не знает.

Первые шаги Макарова на служебном поприще окутаны романтическими подробностями и небылицами всякого рода. Знаменитый историк, любитель петровского царствования Иван Иванович Голиков, писавший во второй половине XVIII в., включил в свое сочинение молву о первой встрече Макарова с Петром: «Великий государь в бытность свою в Вологде в 1693 году увидел в воеводской канцелярии между приказными молодого писца, именно же сего г. Макарова, и с первого на него взгляда, проникши в его способности, взял его к себе, определил писцом же в Кабинет свой и, мало-помалу возвышая его, произвел в помянутое достоинство (тайным кабинет-секретарем. — Н. П.), и с того времени был он неотлучен от монарха».

В сообщении Голикова по крайней мере три неточности: никакого Кабинета в 1693 г. не существовало; Макаров начинал службу не в вологодской, а в ижорской канцелярии у Меншикова; наконец, начальной датой его службы в Кабинете следует считать 1704 г., что подтверждается патентом на звание тайного кабинет-секретаря.

Итак, согласно версии Голикова проницательный царь с первого же взгляда обнаружил у Макарова незаурядные способности и тут же приблизил его к себе.

Существует, однако, диаметрально противоположный взгляд на способности Макарова. Его высказал немец Гельбиг, автор известного сочи-

нения «Случайные люди в России». О Макарове Гельбиг писал, что он «сын простолюдина, толковый малый, но настолько несведущий, что не умел даже читать и писать. Кажется, это невежество и составило его счастье. Петр взял его в свои секретари и поручал ему списывание секретных бумаг. Работа для Макарова утомительная, потому что он копировал механически»¹. Гельбиг пустил в оборот миф о неграмотности Макарова, видимо, с целью придать своему рассказу о нем пикантность и занимательность.

Достаточно даже поверхностного знакомства с документами, к составлению которых был причастен Макаров, чтобы убедиться в нелепости свидетельства Гельбига: Макаров не только умел читать и писать, но являлся неплохим стилистом. Было бы преувеличением считать перо Макарова блестящим, но письма, указы, экстракты и прочие деловые бумаги он составлять умел, с полуслова понимал мысли Петра и придавал им приемлемую для того времени форму.

Некоторые сведения о прохождении службы Макаровым можно почерпнуть у него самого. Так, он засвидетельствовал, что в 1703 г. «жил в приказе Меншикова». Как уже отмечалось, в указе о выдаче Макарову патента названа точная дата начала службы «при дворе нашем» — 1704 год. Судя по всему, он ведал тогда денежными делами².

Чины Макарова регистрировались сделками на приобретение крестьян и земли. Самая ранняя из них относится к 1708 г., когда Макаров купил у адмирала Федора Матвеевича Апраксина село Богословское. В купчей он назван «государева двора подьячим». В 1710 — 1713 гг. Алексея Васильевича величали на иноземный лад «придворным секретарем», а с конца 1713 г. — кабинет-секретарем. Впрочем, Шафиров, отправивший письмо Макарову 1 августа 1711 г., т. е. после того, как он оказался заложником у османов, сделал на конверте такую надпись: «Моему государю Алексею Васильевичу Макарову, его царского величества кабинетному секретарю».

Отсутствие указа об учреждении Кабинета, равно как и указа, определявшего круг его обязанностей, вынуждает нас оба вопроса решать эмпирически, исходя из содержания обширного комплекса документов, сохранившихся в этом учреждении.

Крайнее напряжение ресурсов страны в первые годы Северной войны наложило отпечаток на содержание документов того времени: в них решительно преобладала военная тематика, связанная со строительством флота и созданием регулярной армии, проведением военных операций. Это прежде всего реляции о сражениях, донесения военачальников с театра военных действий о намерениях неприятеля и перемещениях своих войск, многочисленные ведомости и таблицы об укомплектовании армии рядовыми и офицерами, сведения о потерях личного состава, о потребностях полков и дивизий в шпагах, фузелях и артиллерии, а также в снаряжении. Даже лица, служившие в гражданском ведомстве, такие, как князь-кесарь Ромодановский или Стрешнев, отправляли в Кабинет инфор-

мацию, связанную с войной: о сборе денег, предназначенных на военные расходы, о запасах обмундирования, продовольствия, фуража и т. п.

Разгром шведов под Полтавой и овладение побережьем Балтийского моря, а также завершение неудачного для России Прутского похода резко изменили соотношение документов военного и гражданского назначения. У Петра появилась возможность сосредоточить свою энергию на проведении административных реформ и осуществлении важных социально-экономических преобразований, что сразу же отразилось на характере документов, хранившихся в Кабинете: военная тематика уступила место гражданской.

Губернаторы находились в непосредственном подчинении коллегий и Сената. Это, однако, не мешало им обращаться с доношениями в Кабинет: в одних случаях — для информации о своем усердии, в других — для того, чтобы кабинет-секретарь «во благополучное время» исхлопотал у царя какую-либо поблажку в исполнении указов.

Губернаторы, аккредитованные при иноземных дворах дипломаты, президенты коллегий, прочие должностные лица разных рангов и даже канцлер обращались с доношениями лично к царю в тех случаях, когда какое-либо дело находилось под его наблюдением и он проявлял к нему особый интерес либо когда учреждение, не имея прецедента, затруднялось принять какое-либо решение. В месяцы отсутствия царя в столице Сенат отправлял в Кабинет указы, подписанные всеми сенаторами. Такие доношения были собраны в Кабинете за время Прутского похода и путешествия царя за границу в 1716 — 1717 гг. В Кабинете оседали разнообразные личные обращения к царю: в одних из них челобитчики излагали свои жалобы и просьбы, на страницах других можно прочесть предложения и советы прибыльщиков и прожектеров.

Таким образом, в Кабинет стекалась огромная масса материалов общегосударственного значения. Все документы, прежде чем попасть к царю, проходили через руки кабинет-секретаря.

Но на попечении Кабинета находилось множество других дел: одни из них были обусловлены сугубо личными вкусами царя, его пристрастиями; другие были связаны с материальным обеспечением царской семьи. К числу первых, например, относится желание Петра изготовить чучело любимой собаки Лизетты. Хирург Николай Бидлоо получил на этот счет царский указ. 27 августа 1708 г. он, выполнив повеление, писал царю: «А ныне, государь, как и живая является. Многим, государь, трудом шасливо от смолы все избавил и на многое время сохранить возможно».

В 1724 г. умер француз-великан Николай Бурже, приглашенный царем в Россию в качестве раритета во время пребывания во Франции в 1717 г. Петру пришла в голову странная мысль изготовить из него чучело. Работа была поручена иноземцу Еншау. Тот не назначил цены, так как, по его словам, «такая вещь ему необычайна и такой ему не случалось работы». Заказ был выполнен, но Еншау множество раз отказывался выдать его посылным, ссылаясь на то, что он за труд не получил денег. 28 ноября

Кунсткамеру посетил царь и поинтересовался причиной отсутствия чуела. К мастеру тут же отпразднили солдат, но тот стоял на своем. Наконец в мае 1725 г., т. е. уже после смерти Петра, мастер в поданном счете выразил желание получить к 4 руб. еще 60 р. 75 к. Библиотекарь Шумахер заподозрил Еншау в рвачестве. Дело дошло до императрицы, которая в декабре 1725 г. велела выдать мастеру 100 руб., обязав его выполнить дополнительную работу: «...ногти одной кожи француза-великана вставить и одну кожу привести в совершенство»³.

Удельный вес документов с таким курьезным содержанием, разумеется, невелик. Значительно больше внимания Кабинет уделял руководству сооружением царских дворцов и их благоустройством. Летний и Зимний дворцы в Петербурге, загородные резиденции в Петергофе и Екатерингофе, дворец под Ревелем сооружались под его присмотром. Кабинет же надзирал за строительством канала и фонтанов, а также за разбивкой Летнего сада и парка в Петергофе. Деревья для парков, в том числе каштаны, специальные агенты Кабинета приобретали в Голландии и Пруссии, скульптуры и картины для украшения парков и дворцов — в Италии и Голландии.

В Летнем саду был организован зверинец — первый в стране регулярный зоопарк. Его комплектованием и содержанием также ведал Кабинет. Основание зверинцу положили дикие животные и птицы, подаренные царю иранским шахом и доставленные в новую столицу в 1713 г. Среди экзотических животных находился слон. Любопытен его рацион: суточная норма продуктов включала 34 фунта риса, 7 фунтов патоки, столько же коровьего масла, 30 — 40 и даже 60 калачей. Четырем попугаям и одному какаду выдавалось в сутки по три четверти фунта сахара, столько же коровьего масла, 2 фунта муки, 2 фунта персидских орехов. Судя по рациону, слон и какаду с попугаями были любителями горячительных напитков. Слону ежедневно выписывалось по ведру простого вина, а птицам — более изысканный напиток — бутылка рейнского. Надзиратели, надо полагать, по-братски делили вино со слоном и птицами.

Зверинец пополнялся животными и птицами различных климатических зон России. Архангелогородскому губернатору повелено было обеспечить зверинец белыми медведями, и тот отправил в Петербург шесть экземпляров. В астраханских степях и в Приазовье были выловлены птицы, а нарвский комендант получил указ поймать пару «летучих белок». Видимо, эта порода белок была редкой, ибо удалось отправить в столицу одну живую и одну убитую белку.

Экзотические животные не выдерживали сурового климата и быстро гибли. В 1717 г. Меншиков отправил Макарову, находившемуся вместе с царем за границей, письмо с извещением о гибели слона: «...слон умер, который нисколько на ноги не вставал, лежал тридцать дней, ничего пищи не употреблял, в которой его болезни кожа на нем вся згнила и облезла. Правда, что немало жаль такого знатного зверя». Та же участь постигла льва, который, как доносили Макарову, в январе 1722 г. «умре без всякие

причины скорым временем», и неведомой породы ежа. Впрочем, потери восполнялись новыми партиями зверей и птиц. Артемий Петрович Во-лынский в 1718 г. вывез из Ирана зверей, лошадей и птиц, которых, как он сам признавался, ему ранее не приходилось видеть⁴.

Из кабинетных сумм выдавались наградные всем, кто доставлял в Кунсткамеру — первый музей в России — монстров, т. е. уродов, и всякие редкости.

На Кабинете также лежала обязанность блюсти здоровье царской семьи. Строго говоря, этого рода обязанность ограничивалась двумя сферами. Одна из них — информация царской четы о здоровье ее детей. В Кабинете сохранилось множество писем от той поры, когда царь с супругой находились за границей в 1716 — 1717 гг. и на Марциальных водах в 1719 г. Более активной была роль Кабинета в организации курортного дела в стране. Известно, сколь горячо взялся Петр за устройство первого в России курорта близ Петровских заводов в Карелии. Сам он трижды пользовался его водами и отправлял туда своих вельмож. Анализ химического состава воды, проверка эффективности воздействия ее на больных, а также благоустройство курорта осуществлялись под общим наблюдением Кабинета.

Большой переполох в Кабинете вызвало сообщение об «умалении марциальных вод», начавшемся с августа 1719 г. Последовало распоряжение о запрещении копать в окрестностях курорта болотную руду для металлургического производства. Тревога, однако, оказалась напрасной: падение напора воды было связано с тем, что «в лето и в осень время было сухое», а также с рано наступившими морозами. Пользование Марциальными водами таило немало неудобств, главные из которых состояли в отдаленности курорта и трудностях пути к нему. Поэтому велись поиски целебных источников, расположенных поближе к столице.

Медикам того времени казалось, что они справились с этой задачей более чем успешно: целебная вода была обнаружена не за тридевять земель, а в самом Петербурге. В феврале 1722 г. столичный генерал-полицеймейстер А. М. Девиер уведомил Макарова об излечении больных, страдавших желудочно-кишечными и прочими заболеваниями: «Солдат Астраханского полку Федор Кудрявцев одержим был 6 месяцев кровавым поносом, и после стал у него живот туг, и ворчание в животе, и весь он был жолт, и чрез употребление сей воды 3-х недель от всего того избавился». Другой пациент — «господин Пальчиков имел у себя непрестанную головную болезнь и на ногах желтые пятна». Лечение на Марциальных водах не помогло, «только чрез употребление сей свое здравие в головной получил, а в пятнах некоторую свободу». Еще один больной — г-н Машков страдал «желудкоболением» и отсутствием аппетита, но «чрез употребление сей же воды здравие во всем получил». Скорбь секретаря Осипа Павлова никакого отношения к желудочно-кишечным заболеваниям не имела — у него был «лом в спине, в руках и в ногах», но и он исцелился «от оной же воды».

Таким образом, столичная вода обладала множеством целебных свойств и была способна придавать «свободность» от разнообразных болезней.

В истории с открытием минеральной воды в столице поражает одно: больные начали употреблять воду на год раньше установления ее химического состава — придворный лекарь Блюментрост произвел анализ только в январе 1723 г., а заключение о целебных свойствах было отправлено в Кабинет в январе 1722 г. Из трех проб воды, взятых в Переведенской слободе, близ Морского госпиталя и в доме у царицы Прасковьи Федоровны, лучшей была признана переведенская.

Вряд ли царь удержался от употребления переведенской воды, но она ему, надо полагать, не принесла никакого облегчения. Только этим и можно объяснить поездку Петра и Екатерины на Марциальные воды в 1724 г., где они пробыли с 23 февраля по 17 марта. Продолжительное лечение, видимо, дало кратковременное улучшение, ибо царь после торжественной коронации Екатерины в Москве отправился пить воду на Угодские заводы. Новая вспышка обострения болезни наступила в августе, когда царь находился в Петербурге. На этот раз воду из Марциальных источников было решено доставлять в столицу. На курорт был послан кабинет-курьер Степан Чеботаев, который изо дня в день без малого месяц отправлял воду в бутылках и в бочонках сухим и водным путем. В Кабинете хранилось множество рапортов Чеботаева⁵.

Кабинет принимал деятельное участие в отправке волонтеров за границу и в организации там их обучения. В каждой стране к ученикам были приставлены своего рода «дядьки», которым Кабинет поручал надзор за поведением учеников и их успехами в науках. В Голландии, где молодые люди овладевали военно-морским делом, обязанности «дядьки» выполнял князь Львов, во Франции — Конон Зотов, в Англии — Федор Салтыков, в Италии — сначала Петр Беклемишев, а затем Савва Рагузинский. Чаше всего с Кабинетом, а точнее, с Макаровым общались надзиратели. Их донесения колоритно рисуют жизнь учеников на чужбине.

В бесхитростном, отличавшемся непосредственностью письме Макарову из Амстердама князь Львов сетовал на свою горькую судьбу: «...дела мои есть вельми тяжкие для того, что те люди, кем мне то делать, все молодые, надежные, всяк надеется на своих сродников, на свои знати и богатства. А я человек бедной, безродной, к тому же большой и весьма полуумерший, не токмо бы такими людьми управлять здесь, в таких вольных странах, воистинно и во отечестве нашем трудно». Сложность своего положения «дядька» объяснял тем, что он не имел, как тогда говорили, «характера», т. е. его статус не был юридически оформлен. «Моя комиссия тайная», — писал он. Поэтому Львов настойчиво домогался царского указа, чтобы великородных балбесов приводили к послушанию государевы послы, которые «у тех дворов обретаются публично»⁶.

Львову вторил Конон Зотов, писавший Макарову из Парижа: «Господин маршал Дестре призывал меня к себе и выговаривал мне о сра-

мотных поступках наших гардемаринов в Тулоне: дерутся часто между собою и бранятся такою бранью, что последний человек здесь того не сделает. Того ради отобрали у них шпаги». Некоторое время спустя новое доношение: гардемарин Глебов поколол шпагой Барятинского и поэтому «за арестом обретается». Это происшествие поставило французского вице-адмирала в затруднение, ибо, как доносил Зотов, во Франции «таких случаев никогда не приключается: хотя и колются, только честно, на поединках, лицом к лицу»⁷.

Большинство волонтеров с усердием овладевали науками, приобретали опыт в кораблестроении и кораблевождении. Но среди них встречались бездельники и моты, транжирившие присылаемые родителями деньги на удовольствия и менее всего заботившиеся о выполнении поручения, ради которого они были отправлены за границу. К их числу относились, например, два сына известного военачальника петровского времени князя Аникиты Ивановича Репнина. Поведение сыновей за границей приводило князя в отчаяние. «Печаль ево (А. И. Репнина. — Н. П.), — писал Макарову хлопотавший о Репнине князь Василий Владимирович Долгоруков, — непотребное житье детей ево, о чем вам известно». Суть просьбы Долгорукова: «И я вас, моего государя и друга, прошу о сем, изыскав час, благополучно о сем доложи его величеству, чтоб с ним сотворил высокую милость, избавил бы от той несносной печали». Долгоруков приложил копию письма слуги Василия и Юрия Репниных их отцу, из которого следует, что оба сына князя, обремененные долгами, пребывают «в великой мизерии». Причина затруднений — мотовство. Братья, например, взяли на иждивение двух встречных французов, которые их обокрали. Оказавшись без денег, княжеские отпрыски продали за бесценок лошадей и одежду, оставив для себя «по одному кавтану», но выручку издержали в мгновение ока, так что «и купить хлеба не на что».

Таким же транжирой оказался и Василий Шапкин, не имевший столь знатного родителя, как братья Репнины, но зато доводившийся двоюродным братом кабинет-секретарю. Шапкин обучался кораблестроению в Англии и молил Макарова, чтобы тот «приказал прислать хотя малое число денег, чрез вексель перевести... в Лондон на расплату... долгов, також на покупку инструментов и книг. А я истинно, — плакался непутевый братец, — в великой нужде обретаюсь здесь, почитай, наг и бос, а должники (кредиторы. — Н. П.) мои уже не дают мне свободы во времени, хотят посадить в тюрьму». Обучение не пошло Шапкину впрок, и он себя ничем не прославил.

Вероятно, не привлек бы внимания и Иван Петров Аннибал, если бы судьба не определила ему быть предком великого Пушкина. Аннибал обучался инженерному делу во Франции с 1720 г. В 1722 г. ему, как и прочим волонтерам, царским указом велено было отбыть на родину. Сохранилось семь писем Аннибала Макарову. В каждом из них он настойчиво повторял три просьбы, и прежде всего доказывал целесообразность продлить свое пребывание во Франции еще на три года на том основании,

что, по его словам, в «прошедшее время учился» он «токмо теории, а практике ничего не имел». Теперь, рассуждал Аннибал, есть возможность овладеть и практикой: в инженерной школе, где он учился, соорудили земляной город, под который на полевых занятиях будут вести подкопы.

Далее Аннибал хлопотал о том, чтобы ему было предоставлено право возвращаться на родину не морем, как это предписывалось всем волонтерам, а сушей. Мотивировал эту свою просьбу он тем, что крайне болезненно переносил морское путешествие. «Лутче я пешком пойду, — писал Аннибал Макарову, — нежели морем ехать». А затем следовали не менее решительные слова: «...милостыню стал бы просить дорогой, а морем не поеду».

Наконец, Аннибал, как, впрочем, и многие другие волонтеры, жаловался на нужду в деньгах: «...мы здесь в долгу не от мотовства, но от бумажных денег», т. е. от инфляции. Тут же бытовая подробность жизни в Париже: «Ежели бы здесь не был Платон Иванович (Мусин-Пушкин. — Н. П.), то б я умер с голоду. Он меня по своей милости не оставил, что обедал и ужинал при нем по все дни». Это, однако, не помешало ему задолжать 250 руб.: «...я не имею за душею ни единую копейку».

В «великой мизерии» пребывали и два купеческих сына Семенниковы, отправленные в Испанию «для обучения купечеству» и овладения бухгалтерской наукой».

Наряду с организацией обучения русских молодых людей за границей Кабинет ведал также наймом на русскую службу зарубежных специалистов. К кабинет-секретарю стекались донесения о найме ученых, мастеровых, деятелей культуры, копии заключенных с ними контрактов, а также отчеты о выдаче им прогонных денег из фондов Кабинета. Усилиями Кабинета и его агентов на русскую службу, помимо квалифицированных мастеровых (в частности, специалистов паркового и фонтанного дела, мастеров горнорудной и легкой промышленности), были наняты лица, оставившие заметный след в развитии русской культуры и науки: архитекторы Трезини и Леблон, скульптор Растрелли, врачи Блюментрост и Бидлоо и многие другие.

После победоносного окончания Северной войны царь возложил на Кабинет еще одно поручение — написание ее истории. Выбор Петра вызывает некоторое недоумение: почему эту сложную, требовавшую соответствующей подготовки работу должен был выполнять Макаров, а не Прокопович или Шафиров, уже имевшие репутацию опытных авторов исторических сочинений. На этот счет можно высказать несколько догадок.

Петр, надо полагать, опирался на свои многолетние наблюдения за работой кабинет-секретаря и верил в способность Макарова справиться с заданием. Макаров действительно превосходно сочинял деловые бумаги, его стиль отличался ясностью и лаконичностью. Преимущество Макарова как автора состояло и в том, что в его распоряжении находилась основная масса источников о войне, хранившихся в Кабинете. Ему не

стоило большого труда затребовать недостающие материалы как у частных лиц, так и у правительственных учреждений: Сената, Военной и Иноземной коллегий.

Кандидатура Макарова имела еще одно преимущество: сам он, как и необходимые для написания истории материалы, находился под боком у Петра. Известно, что царь властно вторгался в текст, написанный Макаровым, безжалостно вычеркивал ненужные, с его точки зрения, подробности, вносил существенные дополнения и т. д. В намерение Петра, по всей вероятности, с самого начала работы входило редактирование сочинения и общее руководство всем начинанием.

Сразу же оговоримся: литературный талант Макарова уступал дарованиям Шафирова, не говоря уже о Прокоповиче. Впрочем, сочинению Макарова, как и сочинениям Прокоповича и Шафирова была присуща одна общая черта: все они носили откровенно апологетический характер. Но апологетика Макарова отличалась примитивизмом и прямолинейностью, в то время как Прокопович умел прославлять поступки и подвиги царя изысканно тонко. В целом текст «Истории Свейской войны» утратит значительную дозу выразительности, если из него изъять вставки, написанные Петром.

И все же сочинение Макарова имеет достоинство, с лихвой перекрывающее его недостатки: оно в высшей степени достоверно отразило события. Точность изложения событий была заложена в самой организации работы над «Историей». Здесь чувствуется рука Макарова, его манера все, чем бы он ни занимался, делать основательно и последовательно. Составление «Истории Свейской войны» можно разделить на четыре этапа: сбор материалов, написание текста, его, выражаясь современным языком, рецензирование и, наконец, редактирование, осуществлявшееся Макаровым и Петром.

Обращает внимание стремление к возможно более полному выявлению и сбору источников. Значительную их часть составляли донесения, репортажи и царские указы, которые хранились в Кабинете. Но Макаров требовал от военачальников копий документов, которыми Кабинет не располагал. 12 мая 1721 г. он обратился с просьбой к адмиралу Апраксину, чтобы тот прислал копию журнала о походе в «Синус Ботникус» в 1714 г. Четыре месяца спустя новая просьба к Федору Матвеевичу — представить копии журналов за 1716 — 1719 гг. Макарова, в частности, интересовали сведения о действиях морских и сухопутных сил в Финляндии. Годом раньше у Репнина был затребован журнал военных действий во время Прутского похода. Ответ Аникиты Ивановича проливает свет на степень сохранности документов, освещавших кампанию 1711 г. и события, ей предшествовавшие. «А паче опасен я, — писал Репнин Макарову, — о тех прошлогоцких юрналах, не сожжены ли в прошлом 1711 году в бытность у Прута. По приказу при пароле от господина фельтмаршала графа Шереметева многие письма сожечь повелено, что во всей армии и учинено».

Из документов Кабинета явствует, что к написанию «Гистории» был причастен и помощник Макарова — Иван Антонович Черкасов. «Писал я к тебе, — читаем в послании Макарова Черкасову от 2 сентября 1721 г., — чтоб ты выправился с записками и указами, что потребно к сочинению гистории с 1717 году, о чем и ныне напоминаю». Далее следовало повеление Черкасову «собирать вновь материал за 1718 — 1720 годы, а также внести исправления и дополнения в текст, относящийся к описанию событий 1711 и 1714 годов».

В ходе работы над «Гисторией Свейской войны» Петру пришла мысль расширить тематику сочинения, придав ему характер истории собственного царствования. О существовании подобного замысла свидетельствует требование царя внести в текст дополнения об административных преобразованиях, промышленном строительстве и новшествах в области культуры. Это намерение подтверждается и распоряжением Макарова своему помощнику Черкасову, чтобы тот организовал сбор материала «с девяностого года», т. е. с 1682 г. Макаров наметил и узловые сюжеты первых лет царствования Петра, которые надо было обеспечить источниками: вступление Петра на престол и стрелецкий бунт 1682 г., Крымские походы, потехи под Кожуховом и Семеновским, Азовские походы.

Этот план, однако, остался неосуществленным. Гражданские сюжеты в «Гистории Свейской войны» раскрыты столь поверхностно и неполно, что не идут ни в какое сравнение с обстоятельным освещением военных событий. Что касается начальных лет царствования Петра, то текст на эту тему не был составлен даже в первом варианте ни при Петре, ни после его смерти, хотя попытка в этом направлении и предпринималась. В апреле 1725 г. Меншиков уведомлял Макарова, что написание истории царствования Петра до 1700 г. Екатерина поручила Петру Павловичу Шафирову и в связи с этим «указала надлежащие к тому сочинению известия», в том числе и хранившиеся в Кабинете, передать Шафирову».

Точность изложения событий подвергалась тщательной проверке. В январе 1722 г. Макаров отправил советнику Иностранной коллегии Василию Васильевичу Степанову текст «Гистории» с описанием в хронологической последовательности событий за 1716 г. Макаров допускал, что его текст неполно и неточно отразил происшедшее, так как, пояснял он Степанову, «писал уже на память для того, что подлинная черная записка ноября и декабря месяцев пропала»; по этой же причине о встрече Петра с прусским королем и о пребывании царя в Амстердаме «гораздо коротко писано». Ответ Степанова отчасти рассеял сомнения Макарова. Рецензент нашел, что свидание Петра с прусским королем «изрядно... записано»; к описанию пути в Амстердам «прибавлять, кажется, нечего»; во время пребывания царя в Голландии тоже ничего «знатного не происходило», если не считать того, что Петр «изволил смотрением тамошних работ и бытностью в комедии забавлятца».

Какие-то замечания на «Гисторию» давал и П. П. Шафиров. 15 июня 1722 г. секретарь Иноземной коллегии сообщил Макарову о получении

тетрадей с текстом «Гистории» с 1711 по 1716 г. и о передаче их Шафирову «к пересмотрению». «И когда высмотрит, то я, — доносил Макарову секретарь, — оные перебеля к вашему благородию пришлю». Сам Шафиров уведомил Макарова в июле, что полученную «Гисторию» «пересматривает».

В роли рецензентов выступали также директор Печатного двора Федор Поликарпов и обер-секретарь Иноземной коллегии Иван Юрьев. Задача первого, правда, ограничивалась подбором иллюстративного материала — печатных изображений фейерверков и «триумфальных входов», а второго — трактатов для помещения их в приложения.

В одном из писем Макаров ориентировал Степанова на проверку правильности транскрипции географической номенклатуры иностранных государств: «...также извольте в ымянах мест польских и деревень, также и других государств городаы и деревни и протчие иноземские или французские имяна и речи, чтоб правильно было написано»¹⁰.

Итак, круг обязанностей Кабинета был достаточно широк, причем со временем этих обязанностей становилось все больше. Сам Макаров после смерти Петра составил в 1725 г. длинный, но все же неполный перечень дел, которыми занимался Кабинет. Перечень включал переписку с русскими послами и агентами за границей, с губернаторами, коллегиями, Синодом и Сенатом; заботы о найме иностранных специалистов и отправке русских людей за границу; руководство строительством царских дворцов, устройством парков. Кабинет ведал содержанием придворного штата, расходами на Кунсткамеру, выдачей вознаграждений за монстров. Важной прерогативой Кабинета являлся прием челобитных на царское имя. В Кабинете было собрано множество документов военного содержания. Наконец, в последние годы жизни царя немало сил Кабинета поглощало написание «Гистории Свейской войны».

Если прием челобитных, как и донесений разного рода, а также дипломатическая переписка не требовали от Кабинета значительных денежных затрат, то наем специалистов, отправка русских волонтеров за границу, строительство дворцов, приобретение скульптур и картин, содержание дворцового штата сопровождалась огромными расходами. Откуда Кабинет черпал необходимые средства?

На первом этапе доходы Кабинета пополнялись из двух источников. Одним из них являлись суммы, причитавшиеся царю за его службу корабельным мастером, а также капитаном и затем полковником. Эти поступления предназначались на карманные расходы царя: свадебные подарки, подношения роженицам и т. п. Значительно больший вклад в бюджет Кабинета приносили так называемые подносные деньги — подарки разного ранга должностных лиц и купеческих корпораций.

Впрочем, с «подносными деньгами» не все ясно. Когда в 1705 г. староста Басманной слободы в Москве подарил царю 100 руб. или в 1707 г. братья Троице-Сергиева монастыря от щедрот своих поднесла ему 3 тыс. руб., характер этих подношений не вызывает сомнений: то были подарки.

Но вот в 1710 г. казанский губернатор Петр Матвеевич Апраксин преподнес царю 55 тыс., а в следующем году и того больше — 70 тыс. руб., а архангелогородский губернатор Петр Алексеевич Голицын отвалил царю свыше 90 тыс. ефимков¹¹. Совершенно очевидно, что эти крупные суммы не являлись в прямом смысле «подносными деньгами», ибо нельзя подносить то, что дарившему не принадлежало. «Подносные деньги» такого рода были обязаны своим происхождением служебному рвению и изобретательности Апраксина и Голицына, сумевших собрать деньги сверх оклада, причитавшегося им с управляемых губерний.

Столь же затруднительно установить существование строгого порядка в расходовании денежных поступлений. Некоторая часть финансов Кабинета тратилась на личные надобности царя: на стол, экипировку и пр. Поскольку Петр отличался прижимистостью, то траты этого рода были невелики. Во много крат больше денег Кабинет расходовал на военные и дипломатические нужды, причем невозможно объяснить, почему в 1711 г. 60 тыс. руб. было отправлено вице-канцлеру Шафирову, находившемуся заложником в Османской империи, из кабинетной, а не из государственной казны. Таким же случайным выглядит расход на изготовление мундиров для двух гвардейских полков.

В последующие годы появились новые источники финансовых поступлений: казна Кабинета стала систематически пополняться деньгами, присылаемыми губернскими канцеляриями. Но самые крупные суммы Кабинет получал от эксплуатации соляной регалии. Продажу соли царь объявил государственной монополией, и весь доход, составлявший в среднем около 600 тыс. руб. в год, поступал в Кабинет. Царь присвоил себе право распоряжаться соляными деньгами и широко им пользовался, тратя их на экстренные государственные нужды: сооружение и эксплуатацию казенных заводов, укрепление Кронштадта, Адмиралтейство, русских агентов за границей и т. д. Надзор за финансовой деятельностью Кабинета, распорядившегося сотнями тысяч рублей, тоже осуществлял Макаров.

Нас, однако, занимает не история Кабинета, а роль в нем Макарова.

КАБИНЕТ-СЕКРЕТАРЬ

Карьера Макарова не взмывалась по вертикали, как, например, у Меншикова. Напротив, восхождение к власти у него протекало медленно, не осложняясь, впрочем, ни падениями, ни крутыми подъемами. И все же две вехи на его долгом пути можно отметить, и обе они были связаны с более или менее длительным совместным пребыванием царя и Макарова за пределами страны.

Первый раз это случилось в 1711 г., во время Прутского похода, и затем повторилось в 1716 — 1717 гг., когда они совершали путешествие за границей. Месяцы, проведенные вместе, сблизили царя с Макаровым. Петр в полной мере оценил многие достоинства своего кабинет-секретаря: трезвую голову и ясный взгляд, способность трудиться не покладая рук, быть слугой верным и надежным. Прямых свидетельств, что дело обстояло именно так, нет, но одно косвенное весьма убедительно: после каждой такой вехи поток писем в адрес Макарова значительно возрастал. А это означало, что придворные, а также вельможи и столичные чиновники среднего пошиба, чутко реагируя на изменения в положении кого-либо из приближенных к царю, улавливали укрепление позиций Макарова.

При знакомстве с входящими в Кабинет документами бросается в глаза, что они поначалу были адресованы царю и лишь изредка — Макарову. Так, за 1705 г. нет ни одного письма, адресованного Макарову. В следующем году он получил два письма: одно служебное от Шафирова, другое, так сказать, частное, от Федора Матвеевича Апраксина. Будущий адмирал извещал Макарова, что он передал через канцлера Федора Алексеевича Головина челобитную царю и письмо Меншикову. Вслед за этим две просьбы: «Пожалуй, мой благодетель, когда вручено будет, вспомози мне о скором ответствовании, в чем имею на тебя надежду». К Петру Макаров был вхож, и челобитная Апраксина не могла миновать его даже в том случае, если бы Головин вручил ее через голову кабинет-секретаря непосредственно царю. Другое дело Меншиков. Он был независим от Ма-

карова, как и Макаров от него. Апраксин, разумеется, об этом знал, тем не менее написал: «Також-де посылаю письмо до милостивейшего моего патрона Александра Даниловича. По возможности изволь разведать и по своему приятству ко мне отпиши»¹.

С подобной просьбой Апраксин мог обратиться лишь в том случае, если знал о дружбе между Макаровым и Меншиковым. Действительно, несмотря на несходство характеров, они отлично ладили друг с другом и нуждались друг в друге. Правда, роли у них со временем поменялись: первоначально в поддержке царского фаворита, когда тот был ближе всего к царю, нуждался Макаров; в последние годы жизни царя в дружбе с кабинет-секретарем был более заинтересован Меншиков, фавор которого пошатнулся настолько, что все ожидали близкого его падения. Петр Андреевич Толстой не лукавил, когда в тяжелые для князя времена аттестовал Макарова так: он «есть вашей светлости доброй приятель»².

Постепенно перечень лиц, обращавшихся к Макарову с разнообразными просьбами, расширялся. Мало-помалу кабинет-секретарь укрепился настолько, что к нему стали писать не только люди его круга — Александр Кикин, Антон Девиер — или близкие ему по социальному облику такие корреспонденты, как Алексей Курбатов, Василий Ершов, но и вельможи, высшие офицеры: фельдмаршал Шереметев, князя Михаил и Петр Голицыны, Яков Брюс, князя Василий Долгоруков и Матвей Гагарин и многие другие. Пост Макарова позволял ему заводить знакомства с многими людьми. Все они жаждали завязать с ним близкие отношения, ибо знали, что он располагал возможностями помочь, но мог и навредить. Одни относились к нему с назойливой почтительностью, другие — снисходительно, третьи — с уважением, вызывавшим зависть у недоброжелателей, четвертые — настороженно, злобно выжидая момент, когда он попадет под горячую руку вспыльчивого царя и окажется в немилости. Всяк понимал, что быть помощником столь беспокойного и своевольного человека, как Петр, не так-то просто, и временами казалось, что карьере Макарова пришел конец. Но завистники ошибались: проходили годы, а работа Макарова оставалась у дел.

Показательна форма обращения к Макарову. На первый взгляд она кажется пустяком, недостойным внимания, чистой формальностью. В действительности за словами приветствия скрывались мера зависимости корреспондента от кабинет-секретаря и степень близости к нему этого корреспондента.

Приятель Кикин, Курбатов, Ершов и Василий Зотов обращались к Макарову так: «Государь мой, милостивый и истинной друг Алексей Васильевич». «Премилостивейший мой государь, батька», «Мой государь и друг истинный», «Государь мой, всенадежный друг». Все названные лица претендовали на дружбу и держали душу, как говорится, нараспашку.

Другие корреспонденты проявляли сдержанность и независимость. Например, дипломат Борис Иванович Куракин начинал свои послания с

обращения «Мой господин, Алексей Васильевич!», Яков Вилимович Брюс — «Государь мой, Алексей Васильевич!».

Третьи, зная силу Макарова, заискивали перед ним. В обращении таких авторов непременно присутствует слово «благодетель». «Мой благодетель Алексей Васильевич, здравствуй», — писал Ф. М. Апраксин или нарвский комендант Кирилл Нарышкин: «Государь мой и милостивый благодетель, Алексей Васильевич!» Исключение составлял Меншиков. Его надменность и высокомерие выражались в том, что он был единственным корреспондентом Макарова, который не называл его по имени-отчеству. Даже в тех случаях, когда Меншиков излагал личную просьбу, он величал кабинет-секретаря официально, без тени подобострастия и теплоты: «Господин Макаров!» или «Господин секретарь!» Лишь позже, в 1720-х годах, он, оставаясь верным своей привычке, стал писать: «Благородный господин кабинет-секретарь!».

Чем обширнее становились обязанности Кабинета и чем больше поступало донесений, реляций, ведомостей, челобитных и прочих документов, тем весомее становилась роль Макарова. Царю, естественно, было не под силу самому разобраться в массе входящей корреспонденции. Предварительный ее просмотр и систематизацию, а также определение важности существа дела производил кабинет-секретарь; он же докладывал о ней Петру, он же отвечал сам или готовил проекты ответов, подписываемых затем царем. В промежутке между этими заботами Макаров выслушивал повеления Петра, управлялся с финансовыми делами Кабинета и даже выкраивал время для управления собственными вотчинами.

Трудно себе представить, когда он успевал все это делать. Сил у Макарова должно было быть чуть больше, чем у простого смертного. Это «чуть больше» и превращало Макарова в помощника, крайне необходимого царю. Правда, Алексей Васильевич имел сотрудников, но независимо от них он тянул такой воз и с такой щедростью растрачивал свою энергию, что это возводило его в ранг незаурядных людей.

В фонде Кабинета Петра хранятся тысячи писем, адресованных Макарову. Взятые вместе, они представляют обильный материал для изучения характеров, нравов и человеческих судеб той поры.

Одни обращались за милосердием к царю, другие его выпрашивали у Макарова. Отметим, что царю докучали челобитными в редких случаях: руку челобитчиков удерживали несколько указов Петра, строго каравших за подачу ему прошений. Челобитчики, однако, научились обходить указы: они обращались с просьбами не к царю, а к Макарову, чтобы тот испроптал у монарха положительное решение вопроса. Как правило, авторы деловых бумаг отправляли их в два адреса: царю и Макарову. Содержание прошений было одинаковым. Единственное различие можно обнаружить в конце письма Макарову, где его просили «предстательствовать» перед царем и доложить ему «во благополучное время» или «со временем». Князь Матвей Гагарин изобрел несколько иную формулу: «Пожалуй, милостивый государь, усмотри случай, донести его царскому величеству».

Что означала формула «во благополучное время»? Время, когда Петр благодушествовал и пребывал в превосходном настроении или когда царь не был целиком поглощен какой-либо одной заботой, был готов отвлечься и переключить свое внимание на другое дело, или, наконец, время досуга Петра. Скорее всего, все три варианта подходят под понятие «благополучное время». А что Макаров терпеливо его ожидал и эти слова не являлись простой данью вежливости, свидетельствует донесение Апраксина о бедствии, постигшем русский флот в Ревельской гавани в результате небывалой силы шторма. Получив это печальное известие, Макаров не помчался с докладом царю, а терпеливо выжидал наступления этого самого «благополучного времени», дождался и тем самым предотвратил вспышку царского гнева.

Неподходящим временем, способным вызвать у Петра отрицательные эмоции, вероятно, считалось то, когда царя отрывали от занятий, которыми он был увлечен. Так, один из аккредитованных при царском дворе иноземных дипломатов утверждал, что царь как-то на недели запирался в кабинете и отказывался слушать какие-либо дела, ибо был поглощен конструированием корабля и претворением своих идей в чертежи. На первый взгляд подобное свидетельство кажется досужим вымыслом, но эти сведения подтверждает помощник Макарова по Кабинету Черкасов. В письме своему шефу Иван Антонович сообщал, что царь прибыл в Петербург 4 марта 1723 г., но прошло уже три дня, а он, Черкасов, не может выполнить поручение Макарова, так как «его императорское величество по се число ни за какое дело здесь не изволил принимать, только изволит трудитца за чертежом нового корабля».

Кстати, и сам Макаров, до тонкостей изучивший характер своего повелителя, тоже употреблял понятие «во благополучное время». В 1724 г., когда на Марциальные воды вместе с царем отправился Черкасов, кабинет-секретарь просил своего помощника не терять из виду челобитную советника Иностранной коллегии Степанова «о деревнях». «И ежели усмотришь время, — наставлял Черкасова Макаров, — то доложи его величеству, о чем он, Степанов, прилежно вас чрез письмо свое просил»³.

Какими только просьбами не осаждали Макарова! Марья Строганова просила его ходатайствовать перед царем об освобождении от службы ее племянника Афанасия Татищева, поскольку в нем «есть нужда» в доме. Княгиня Арина Трубецкая выдала замуж свою дочь и в связи с этим домогалась, чтобы Макаров исходатайствовал у Екатерины разрешение на заем 5 — 6 тыс. руб., «чтоб нам сию свадьбу отправить». Князь Иван Трубецкой, долгие годы томившийся в шведском плену, исхлопотал обещание Петра построить ему дом на казенный счет, но оно не было оформлено указом, и Трубецкой уже после смерти Петра просил Макарова, чтобы тот «подал совет» его жене, как действовать, чтобы хлопоты увенчались успехом. Анна Шереметева, вдова фельдмаршала, жаловалась Макарову, что ей жизни не стало «от челобитчиков в беглых крестьянх, ищут за пожилые годы превеликих исков». Графиня просила кабинет-сек-

ретаря «во благополучное время» доложить царю и царице, чтобы те «оборонили» ее от истцов⁴.

Иногда лица, лично известные Макарову, искали у него содействия в устройстве дел своих родственников. Генерал-адъютант Семен Нарышкин просил Макарова похлопотать у Б. П. Шереметева о повышении чином своего брата Василия Гурьева. Василий Степанов, называвший Макарова братом и сватом, писал ему: «Прошу вас, моего государя, явить свою милость к брату моему Борису Пахомовичу, о чем он будет вас просить». Даже сам светлейший князь Меншиков выступал просителем за своего шурина поручика Василия Арсеньева: когда царь затребует список офицеров, подлежащих повышению в чине, то Макаров должен был «в тое роспись внести» его имя⁵.

Не лишены интереса действия Артемия Петровича Волинского, вступившего ходатаем о некоем Василии Ивановиче Яковлеве. Они любопытны, поскольку являют образец коварства тех времен.

Составленное письмо Макарову Волинский показал Яковлеву, и тот, надо полагать, был в восторге от лестной аттестации. В самом деле, Макаров, получив послание Волинского, прочел следующую характеристику Яковлева: «...он мне древний благодетель и человек заслуженной, ибо во многих кровавых боях под Конотопом и Чигирином бывал и проливал кровь за веру христианскую», а вслед за ней — две просьбы: исхлопотать у царя назначение Яковлева пензенским воеводой и пожалование ему чина окольного или думного дворянина. Но письмо сопровождала цидулка, напроочь дезавуировавшая все хвалебные слова и отражавшая подлинное мнение Волинского о своем подопечном: «...сей старичок зело честолюбив и спесив, также и лжец жесток»⁶.

Другие корреспонденты Макарова были скромнее и ограничивались лишь просьбой о том, чтобы кабинет-секретарь уведомил их, как будет воспринято царем их доношение. Ф. М. Апраксин заканчивал многие свои послания Макарову так: «Письмо его царскому величеству изволь вручить, и как оное будет принято, пожалуй, не изволь оставить без известия». А. И. Репнин подал челобитную царю о пожаловании ему мызы в Лифляндии. Не получив ответа, он просил Макарова известить его: «...есть ли на помянутое мое прошение какой указ или отказано». С таким же вопросом обратился к Макарову и Конон Зотов, пожелавший знать об отношении царя к его деятельности в Париже: «...по се число не имею ни похвалы, ни гневу»⁷.

Выше упоминалось, что подавляющая масса писем Макарову носила деловой характер и, как правило, дублировала содержание доношений царю. Однако существовали отклонения от этого правила.

Первое из них допускали корреспонденты, хорошо осведомленные о порядке прохождения дел в Кабинете. Они справедливо полагали, что писать Макарову столь же пространно, как и царю, не было резона, ибо со всеми доношениями предварительно знакомился кабинет-секретарь. Например, Ягужинский извещал Макарова, что о делах ему не пишет:

«...из письма к его царскому величеству довольно уведомиться можете». Так поступал и князь В. В. Долгоруков: «О чем мне надлежало писать, о всем писал я пространно до царского величества, ис чего изволите сами уведомитца». Князь Петр Голицын к письму Макарову от 14 февраля 1711 г. сделал собственноручную приписку: «А с письма царского величества копии не послал я до вашей милости для того, что оное будет в руках ваших».

Второе отступление заключалось в том, что доношение царю существенно отличалось от письма Макарову, уступая последнему в богатстве содержания. Меншиков такие отступления мотивировал нежеланием утруждать царя всякого рода мелочами: «О протчем, не хотя ваше величество утруждать, писал я пространно секретарю Макарову». Алексею Васильевичу князь по этому же поводу писал: «А я его величеству сими малыми делами докучать не хотел, на что ожидать буду от вас ответу».

Генерал-фельдцейхмейстер Яков Брюс, человек лично хорошо известный царю, тоже не счел для себя возможным обращаться непосредственно к Петру по поводу того, что майора Молостова, определенного к варению селитры на Ахтубе, полковник Кошелев назначил на другую службу. Жалобу на действия Кошелева Брюс отправил Макарову.

Не решился беспокоить царя и А. И. Репнин, отправивший Макарову сопроводительное письмо с объяснением причин своего отсутствия на свадьбе князя-папы Аникиты Зотова. С оправданием — и опять не к царю, а к Макарову — обратился Алексей Дашков, которому царь повелел присутствовать на церемонии встречи османского посла: «...и я б его величества указ исполнить готов по должности моей, но истинно, государь, Богом свидетельствуюся, также и все куриеры, которые ко мне от вашего превосходительства приезжают, видят, что уже я три недели с постели не встаю и учинить того отнюдь не могу болезней ради моих. Того ради покорно вашего превосходительства прошу сотворить со мною милость и донести о том его величеству, чтоб на мене в том надеяния не было и какова медления не произошло». Объяснение неявки по вызову царя адресовал Макарову казанский губернатор Петр Салтыков. Царь обязал его прибыть в Петербург в ноябре 1714 г., но тот занемог и искал заступничества у Алексея Васильевича: «Прошу тебя, моего государя милостивого, охраня меня, дабы в том его величество на меня, раба своего, не прогневался».

Брюс, бесспорно, имел полное основание не тревожить царя по поводу такого пустяка, как изъятие из его ведомства безвестного майора Молостова. Можно согласиться и с доводами Репнина и Дашкова, полагавших, что их донесения следовало адресовать не царю, а Макарову. Однако в некоторых случаях авторы писем, похоже, преднамеренно умаляли значение вопроса, чтобы на этом основании не докучать царю.

Тот же Брюс, например, в мае 1712 г. в письме Макарову обстоятельно описал постигшую его неудачу при попытке заполучить от магистрата Данцига 100 тыс. талеров за игнорирование горожанами указа царя о

запрещении торговли со шведами. «Но паки от них ничего, кроме стыда, не получил», — жаловался Брюс. В магистрате отклонили его требование и рассуждали так: «Хотя бы де вы что захотели над нами учинить, и мы ведаем, что вы ныне не в таком состоянии... А мы, слава Богу, в таком состоянии, что довольное число всего ко обороне имеем». Вопрос, как видим, не мелкий. Весомость ему придавали не только престижные соображения, но и 100 тыс. талеров. Тем не менее Брюс писал Макарову: «...не хотя его царское величество безпутным делом докучать, того ради прошу вашей милости удобным часом его величеству донести».

Меншиков, как, впрочем, и другие корреспонденты, находившиеся с Макаровым в доверительных отношениях, нередко информировал кабинет-секретаря о фактах и событиях, которые считал целесообразным скрывать от царя. Так, в июле 1716 г. Меншиков писал Макарову, находившемуся вместе с царем за границей: «Також в Питергофе и Стрелиной в работниках больных zelo много и умирают непрестанно, ис которых нынешним летом больше тысячи человек померло. Однакож о сем работничьем худом состоянии пишу к вам во особливое ваше ведение, о чем, разве какой случай позовет, то тогда донести можете, понеже, чаю, что и так многие неисправления здешние его царское величество не по малу утруждают». В доношении царю, отправленном в тот же день, о массовой гибели работников — ни единого слова. Правда, князь сообщил, что работы на острове Котлин он обрел «в слабом состоянии», но причиной тому были непрерывные ливневые дожди.

4 мая 1723 г. Меншиков отправил из Вышнего Волочка, где находился проездом, доношение царю и письмо Макарову. Оба документа — об одном и том же: он, Меншиков, находится в Вышнем Волочке и на днях покинет его. Однако в письме Макарову есть существенная деталь, отсутствующая в доношении царю: «Не мог и сего оставить, чтоб вашей милости не объявить, что от Москвы до сих мест в пути сена и овса и людем пищи нигде купить сыскать не могли, в чем великую имели нужду».

Напомним, в 1723 г., как и в предшествовавшем, губернии Центра России и Поволжье постиг неурожай. Народ испытывал бедствие, с отзвуками которого познакомился и светлейший. Остается гадать, почему он не сообщил об этом царю. Возможно, он полагал, что о недороде и голоде Петр был хорошо осведомлен и поэтому испытанные им, Меншиковым, путевые неудобства носили столь личный характер, что не заслуживали упоминания?.. Более вероятно, однако, предположение, что опытный царедворец считал, что Петру не следует знать о неприглядных сторонах своего царствования.

Меншиков был не единственным корреспондентом, информировавшим Макарова обстоятельнее, нежели царя. Подобным образом поступал и рижский губернатор Петр Голицын, правда, по иным мотивам. Он как-то пожаловался царю, что начиная с 1714 г. у него ежегодно вычитают из жалованья по 1200 руб. штрафных денег, а служителей губернской канцелярии держат на правее: «...будто за мое губернское неизправление».

Челобитная губернатора отличается сухостью и деловитостью, в ней отсутствуют эмоции. Зато в письме Макарову, отправленном в тот же день, Голицын дал волю своим чувствам. Он просил кабинет-секретаря: «...учинить вспоможение, чтоб на мне и на оных бедных канцелярских служителях, которые, кроме жалованья, никакова имеют иждивения и весьма нужные, того жалованья не править и людей моих и их чрез ваше ходатайство с правежа освободить». И далее следовал морально-престижный аргумент, о котором он в челобитной царю упомянуть не осмелился: «...воистинну, мой милостивой, пред здешним народом в том правеже превеликой стыд, какового, надеюсь, как и Рига зачалась, не бывало»⁹.

Откровеннее с Макаровым, нежели с царем, был и фельдмаршал Б. П. Шереметев. В июле 1717 г. он отправил царю челобитную об освобождении от службы. Сочинена она была в характерном для Шереметева ключе, с присущим ему умением плакаться и канючить. Ссылаясь на «лета... престарелые и слабость здоровья» своего, Борис Петрович испрашивал у царя разрешения: «...ехать прямо в домишко свои и в деревнишки для управления и для розделу невески своей, чтоб я их успел при себе розделить з детьми своими». Далее следовали жалоба, что он «сколько лет домишка своего» не видел, и соображения, как он организует свою жизнь в столице, когда туда переедет. Если, рассуждал фельдмаршал, ехать туда сейчас, то «прожить будет в Питербурху нечем и совсем не только себя, но и жену з детьми разору».

В письме к Макарову Шереметев подробнее объяснял, почему он не может тотчас поселиться в столице: «...хоромишки, которые были мазанки, и о тех пишут ко мне, что сели, жить в них никоими мерами нельзя». Щедрее делился он с Алексеем Васильевичем и своими планами на будущее: «Зимою бы нынешнею и на весну водою приготовил бы припасами и основательно б все мог управить». Письмо заканчивалось собственноручно написанной фразой: «Покорне вас прошу, не оставь моей просьбы при таком приличном случае».

Увольнения в отставку домогался и казанский вице-губернатор Никита Кудрявцев, причем его письма Макарову тоже отличались от доношений Петру. Царь обещал удовлетворить желание Кудрявцева после своего возвращения из-за границы. Петр вернулся из путешествия в 1717 г., но Кудрявцев отставки не получил. Повременил царь с удовлетворением его просьбы и в следующем году, на этот раз по той причине, что губернатор Салтыков отправился на лечение в Москву. Кудрявцев, вынужденный тянуть непосильную из-за старости лямку управления губернией, 22 сентября 1718 г. написал два послания: челобитную царю и письмо Макарову. В челобитной он сетовал на то, что Салтыков отправился в Москву «на малое время», «но изволит быть в Москве и доднесь». Между тем о себе Кудрявцев писал: «...так весьма уже ослабел, что часто непамятством одержуся, говоря многое не то, что надобно».

В письме Макарову деликатные слова о том, что губернатор, излечившись от недуга, «свободно изволит быть в Москве», заменены более рез-

кими, причем старик не удержался от жалоб на своего начальника и колкостей в его адрес: «...превосходительный мой губернатор оставил меня во всяком бедстве и в тягосте и живет в Москве не для пользы болезни своей, только продолжает время, чтоб ему прожить, по коих мест разделца всякое правление по коллегиям»¹⁰.

Автор этих строк не хотел бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, что Кабинет работал, подобно хорошо отлаженному механизму, без сучка и задоринки; что возглавляемому Макаровым учреждению не были присущи черты, свойственные любому учреждению абсолютистского государства. Напротив, имеется множество свидетельств тому, что бюрократизм, волокита и производное от них медленное, как в сонном царстве, течение дел составляли характерную черту работы Кабинета.

То, что Кабинет функционировал далеко не безупречно, явствует из наличия повторных донесений с напоминаниями, что ни на одно из них не получено ответа. Таких напоминаний и просьб — бесчисленное множество. Так, рижский губернатор Петр Голицын испрашивал царского повеления на свое доношение от 28 августа 1713 г.: «...на мои пункты, которые я прежде послал до его величества». Прошло более месяца, и Голицын вновь напомнил Макарову об отсутствии указа на ранее отправленные доношения. Свидетельство на этот счет Василия Долгорукова: «Писал я до царского величества многократно о многих самых нуждах, ни на одно не получил отповеди, ис чего немалой труд и печаль я принимаю». Канцлер Гавриил Иванович Головкин тоже сетовал на несвоевременные ответы на запросы. «Однако же, — писал он Макарову 26 мая 1713 г., — не на все дела, изображенные в тех письмах, решение к нам прислано, но о многих умолчено».

Случалось Макарову получать и сердитые письма — не с просьбами, а с упреками. Одно из них, отправленное 18 февраля 1718 г., принадлежит русскому резиденту в Лондоне Федору Веселовскому: «Я уже, государь мой, не могу больше писать к вам о комиссиях, положенных на меня, ибо сколько кратно к вашей милости не писал, однакож по се время ни одной строки в ответ не получил и так оставлен, что уже никакого способа не имею, как исправитца... Все сие становитца в немалой убыток за тем, что нескоро от вас указ получить могу»¹¹.

Трудно сейчас ответить, кто повинен в том, что Веселовский и Голицын своевременно не получили указов на свои запросы: сам царь, хранивший молчание после заслушивания доклада и по каким-то соображениям считавший нужным повременить с решением вопроса, или его кабинет-секретарь, ожидавший «благополучного часа», чтобы доложить, а доложив и получив указ, не спешивший уведомить о нем заинтересованное лицо. Вряд ли, однако, Макаров осмеливался доводить дело до того, чтобы в его адрес раздавались упреки и жалобы корреспондентов или брань разбушевавшегося царя. Для покорно послушного Макарова, неизменно учтливового и обходительного, последнее исключалось: он умел рассчитывать свои дей-

ствия, соразмерять их с последующими ответными шагами, взвешивать последствия.

Впрочем, иногда Макаров шел на риск, причем тогда, когда он не сулил лично ему выгод. Рисковать побуждала его доброта, приятельская верность и стремление выручить друзей из беды. В подобных случаях Макаров, надо полагать, сознательно клал под сукно бумаги, усугубляющие положение людей, нуждавшихся в его помощи.

Алексей Васильевич имел репутацию человека отзывчивого и душевно щедрого. Один из его корреспондентов, видимо, лично ему незнакомый, писал: «...не имея ни малого услужения до вашей, моего государя, персоны, токмо разсуждая и видя ваше благое и милостивое склонение ко убогим...» Сразу же оговоримся, что автор этих строк, Иван Измайлов, не принадлежал к «убогим» в подлинном смысле слова. Он зря уничижительно называл себя человеком «мизерным», ибо владел 70 дворами крепостных. Поэтому Измайлова можно заподозрить в стремлении подхалимством расположить к себе кабинет-секретаря. Но вот что писал Макарову Конон Зотов, сын знаменитого князя-паня: «Одним словом, Никите Моисеевичу обязан за рождение и за воспитание, а вам — за благодеяние и милосердие»¹².

Существует, кроме того, такой объективный показатель добродушия и благожелательности Макарова, как призывы к нему о помощи опальных, попавших в немилость. Он оказывал заступничество даже тем, покровительство которым было опасно и могло накликать беду. Среди них — первый прибыльщик, ставший затем архангелогородским вице-губернатором, Алексей Курбатов, московский вице-губернатор Василий Ершов, любимый денщик царя, а затем адмиралтеец Александр Кикин и многие другие. Не стеснялся обращаться за «предстательством» к Макарову и сам Меншиков.

Содержание многочисленных писем Курбатова Макарову, а также донесений его царю дает основание для заключения, что первый прибыльщик России был обязан Макарову сохранением жизни: если бы не советы и заступничество кабинет-секретаря, то, возможно, Алексей Александрович распрощался бы с земными заботами в тюрьме под пытками или на эшафоте.

У истоков опалы Курбатова находилась его ссора с Меншиковым. Поначалу отношения между ними были такими, что, казалось, их водой не разольешь: князь спешествовал карьере Курбатова, а последний всячески угождал своему патрону. В одном из писем царю Курбатов называл Меншикова «избранным от Бога сосудом, единственным человеком, который без порока перед царем»¹³. Изредка между ними случались размолвки, но они были кратковременными.

Положение круто изменилось после 1711 г., когда царь назначил Курбатова архангелогородским вице-губернатором. Прибыльщик отправился в Город, как тогда называли Архангельск, и там обнаружил противозаконные действия агента Меншикова Дмитрия Соловьева. Вопреки царско-

му указу, запрещающему вывоз хлеба за границу, Соловьев продавал его в Голландию. Курбатов настроил донос царю. С этого времени Меншиков и Курбатов стали непримиримыми врагами и так крепко вцепились друг в друга, что разняла их лишь смерть Алексея Александровича.

К следствию по делу Соловьева был привлечен и Курбатов, который, несмотря на кратковременность пребывания в должности вице-губернатора, успел совершить ряд непристойных поступков. Ему пришлось оправдываться. Делать это было не просто, так как следственные комиссии испытывали давление со стороны всесильного Меншикова и его клеветников.

Здесь не место для обстоятельного изложения перипетий следствия. Наша задача скромнее — описать роль в этом деле Макарова. Она была сложной и требовала от кабинет-секретаря не только ловкости, но и отваги. Ему приходилось лавировать между противоборствовавшими силами — Меншиковым и Курбатовым, с каждым из которых он находился в приятельских отношениях. Кроме того, Макарову надлежало считаться и с самим царем, внимательно следившим за ходом следствия и считавшим Курбатова казнокрадом.

Дружеские отношения Курбатова с Макаровым не составляли тайны для окружающих. Иван Хрипунов, многие годы служивший под началом Курбатова, когда тот еще был руководителем Оружейной палаты, писал о себе Макарову в 1713 г.: «Больши четырех лет служил его величеству при верном его величества рабе, а вашем друге, во определении математических школ и многотысячного збора крепосных дел и дел же оружейных». Знал о приятельских отношениях между Макаровым и Курбатовым князь Михаил Волконский, отправленный в Вологду и Архангельск для следствия по доносу Курбатова. Волконский делился с Макаровым сомнениями относительно успешности выполнения своего поручения, в частности, потому, что полагал: Курбатов «будет по любительной вашей дружбе до вас, моего государя, писать...».

До начала следствия Волконский, похоже, не питал неприязни к Курбатову. В спокойном и благожелательном тоне он извещал Макарова из Вологды: «...к Алексею Александровичу послал указ великого государя, чтоб к прибытию моему изготовил сведения, кои надлежат к тому делу». Следователь обещал вести дело «без всякого ухищрения... сколько глупово умишку моего есть».

Курбатов тоже поначалу не выказывал настороженности и подозрений относительно намерений следователя. В августе 1713 г. он писал Макарову о Волконском: «А каковым усердием во оном розыске послужит — неизвестно». В дальнейшем отношения между Волконским и Курбатовым ухудшились настолько, что вести следствие стало практически невозможно. От следователя и подследственного посыпались взаимные жалобы. Курбатов закусил удила, стал в позу, считал себя крайне обиженным прежде всего тем, что его, человека, разоблачившего проделки Соловьева, привлекают к следствию. Свое негодование он изливал Макарову: «Господин маэор князь Волконский подавал мемориал на Москве в Сенате. Ежели

по Соловьеву розыску надлежит мене допрашивать или взять скаску, или дать очные ставки, дабы я ему в том был послушен. И по ево желанию, жалея меня, и учинили. Разсуди, мой милостивый государь, каковая ко мне милость — не во ино что тшятся, точно безславию мне в народе делать. То ли моя вина, что, всякой страх оставя, писал на Соловьева, видя ево неправость, за что было меня их милости, яко верным сущим, надлежало любить, а они начали губить».

Жаловался на Курбатова и Волконский: «Только что, государь мой, за чем не посылаю указы, ни на что отповедывания нет». В другом письме Макарову гвардии майор сокрушался по поводу полного игнорирования подследственным его распоряжений: «Не знаю, что мне и делать».

Вряд ли Курбатов вел себя столь заносчиво, если бы не рассчитывал на безоговорочную поддержку Макарова. Из его писем кабинет-секретарю явствует, что он согласовывал с ним каждый свой шаг: либо спрашивал совета, следует ли ему подавать доношение на имя царя, либо интересовался отношением царя к уже поданному доношению, либо, наконец, просил Макарова, чтобы тот «предстательствовал» за него перед царем и защитил его от всяческих «турбаций».

В первые годы работы следственной комиссии Курбатов пытался убедить всех и вся в своей невиновности. «Ей, ей, — писал он Макарову, — ни в чем же (при помощи Божии) надеюсь быти виновен, разве что по неведению многих ради моих суетств учиних, и в том, уповаю на Бога, едва сыщется». Виновником своих бед Курбатов считал Волконского, якобы предвзято к нему относившегося: «Не бегу от правосудия царска, но к нему прошуся, а он (Волконский. — Н. П.) — злоковарной лукавец и, всякие неправды исполненный, явно от того правосудия бежит»¹⁴. Курбатов в эти годы вел себя так, будто он стал жертвой недоразумений, что все в скором времени образуется и возведенные на него обвинения разведются в прах.

Но по мере того как следствие подтверждало одно обвинение за другим, тон Курбатова менялся и он все менее категорично отрицал свои преступления: «А что до самих нужд моих и прокормления и брал сверх жалованья небольшое, и то не тайно, но с росписками, которой долг и доньне на мне явен есть». В доношении царю Курбатов напомнил о том, как в течение своей ревностной службы он «без тягости народа» принес казне «многосотные тысячи рублей» прибыли. В 1705 г. он, будучи в Ратуше, увеличил питейный сбор только по одной Москве на 112 тыс. руб., а в 1711 г. сверх оклада собрал по Архангелогородской губернии 300 тыс. руб. Гербовая бумага, введенная по его предложению, обеспечила поступление в казну 50 тыс. руб. прибыли. Перед нами типичный образец рассуждений казнокрада XVIII в., не видевшего ничего зазорного и тем более преступного в том, что он из полученных его радением казенных доходов малую толику, какие-то крохи, присваивал себе.

Но воззрений Курбатова почему-то не разделял царь. Следствие продолжалось, и Макаров делал все возможное, чтобы облегчить судьбу при-

ятеля. Сохранилось письмо Макарова своему помощнику Черкасову с Марциальных вод, где в январе 1719 г. он находился вместе с Петром: «Алексею Александровичу поклонись и скажи, что я всеми мерами об нем старатца буду, а по се время еще (кроме того, что при тебе в Шлютебурхе) на разговор об нем часу удобного не сыскал»¹⁵.

Можно не сомневаться, что Макаров «сыскал» в конце концов «час удобный» для разговора с царем, — он был человеком обязательным. Но столь же бесспорно, что старания кабинет-секретаря оказались тщетными и веру царя в виновность Курбатова он не поколебал. Если бы Макарову удалось добиться удобного Курбатову решения, то последний не стал бы подавать царю челобитную с признанием своей вины. Впрочем, по сути дела, это было не признание, а полупризнание, ибо Курбатов изворачивался и хитрил.

Общеизвестно, что обвиняемый тех времен если не располагал убедительными доводами для своей реабилитации, то прибегал к одной из трех формул: проступок-де он совершил либо «с простоты», либо «в беспамятстве», либо «спьяна». Курбатов, например, признал, что получил от хлебных подрядчиков взятку в 1500 руб., и тут же придумал более изощренное, но не менее нелепое объяснение, которое, как ему казалось, могло убедить царя в том, что он, беря взятку, руководствовался благими намерениями: «А те деньги приняты под таким видом, чтоб донести о том царскому величеству, а во уверении того писал он о пресечении дорогих подрядов». Итак, хотел донести, но не донес — слишком велик был куш, чтобы устоять от соблазна его прикарманить.

Жители Кевроля и Мезени дали Курбатову «в почесть» 300 руб., чтобы он сквозь пальцы смотрел на уменьшение налогоплательщиков. Курбатов признал получение денег и опять попытался превратить порок в добродетель: «...он, приняв 300 рублей, запомывал их отослать в Канцелярию на содержание школ и шпиталья, но за нуждами в то время не отосланы и по розыске Волконского дослать не успел».

Следственная комиссия подсчитала, что за три года Курбатов получил от городского населения управляемой им губернии «харчевых и почесных подносов» на сумму до 4 тыс. руб. Курбатов оспаривал эту сумму, считая, что ему перепало до тысячи рублей, и тут же подчеркивал, что он брал «из мирских, а не государевых» доходов. В «почесть» он принимал виноградное вино, водку, деньги и пр. Кроме того, он, по собственному признанию, с 1705 по 1714 г. присвоил 9994 руб. казенных денег.

Комиссия не завершила следствие: в дополнение к изученным 12 делам надлежало рассмотреть еще 15. Но и расследованные дела позволили предъявить Курбатову обвинение в присвоении им 16 422 руб. В разгар следствия Курбатов умер. Комиссия затруднялась определить, по какому, так сказать, разряду его надлежало хоронить — как честного человека или как преступника. При этом майор Михаил Нарышкин, сменивший Волконского на посту руководителя следственной комиссии, извещал Ма-

карова, что «о винах ево, Курбатова, его величеству не докладывано и эскуции над ним, Курбатовым, никакой не чинено»¹⁶.

У другого опального — Василия Ершова было немало общего с Курбатовым. Ершов происходил из холопов Б. П. Шереметева и, подобно Курбатову, тоже занимал должность вице-губернатора. Оба они считали себя жертвами навета людей, завидовавших их блестящей карьере. Курбатов писал Макарову в 1713 г.: «Истину реку ти: едва не вси мя возненавидеша, а за что — не вем, разве за усердие мое ко всемилостивейшему нашему государю». В другом письме Курбатов восклицал: «Ой, батько мой, вижду, что мне учинила ревность моя». Ход мыслей Курбатова перекликался с рассуждениями Ершова. Последний жаловался Макарову: «А за земские труды мои, тяжкие и верные, и за доброе мое отважное сердце, и за незагрязненную мою совесть, того ль я, сирой, ожидал». И далее: «...мнози жаждут изтребления моего».

Налицо и некоторая общность психологии опальных. Ершов, как и Курбатов, ссылался на огромные прибыли, полученные казной благодаря его усердию. В челобитной царю Ершов сообщал, что «ревностишкою моею» только в 1711 г. при заключении винных и провиантских подрядов, а также питейных и таможенных сборах учинено прибыли 116 тыс. руб. Кроме того, в результате его усилий Дворцовая и Мундирная канцелярии получили 400 тыс. руб. прибыли.

В остальном они были несхожи. Курбатов — человек дела, его письма и доношения отличаются лаконичным и ясным изложением цели, ради которой они были написаны. Письма Ершова, напротив, многословны, велеречивы, с нотками разочарования в суетной жизни и стремления разжалобить кабинет-секретаря описанием болезней и предчувствием скорой кончины. Степень близости каждого из них к Макарову тоже была различной. Курбатова, как свидетельствуют его письма, с Макаровым связывала дружба. Отношения кабинет-секретаря с Ершовым, видимо, были хотя и приятельскими, но менее доверительными.

Наконец, различными были и причины опалы: Курбатов обвинялся в казнокрадстве и издоимстве, а Ершову было предъявлено обвинение всего лишь в несвоевременной доставке Сенату приходно-расходных книг за 1710 г. и в невыполнении Московской губернией поставок провианта. Тем не менее Ершов тоже был отстранен от должности московского вице-губернатора и лишен вотчин и, подобно Курбатову, просил у Макарова заступничества и покровительства. Ершов, однако, заметил некоторое равнодушие Макарова к своим просьбам. «Прости меня в сомнении моем, — атаковал он в лоб Макарова, — но точию больши полагаю на то, что есть вашей милости от некоторых на меня теснота, что так я оставлен вашей древней милости без показания мне к тому причин». Но, подозревая Макарова в безразличии, Ершов, кажется, ошибался. Такой вывод напрашивается при чтении его следующих слов: «...но видно по всему, что есть на то воля Божия, что никакое ваше старание в действо не приходит ни в которую сторону»¹⁷.

Давнишним приятелем Макарова был Александр Васильевич Кикин. Письмо, полученное Макаровым в 1711 г., мог отправить только близкий человек, во всем доверявший адресату. «Понеже я на вас, моего милостивого государя, имею такую надежду несумненную, яко на единокровного моего брата, — писал Кикин Макарову, — того ради прошу вас, сотвори со мною милость: уведошь мене, не происходило ли от кого о мне по отлучении моем каких противностей и не было ли какого упоминования от царского величества». На этот раз Кикин отделался легким испугом.

Серьезные неприятности подстерегали Кикина в 1713 г., когда Александр Васильевич, если бы не заступничество Екатерины, мог лишиться всего, в том числе и жизни, а он потерял лишь доверие Петра и должность, т. е. оказался в опале. Кикин, разумеется, был хорошо осведомлен о весьма ограниченных возможностях кабинет-секретаря чем-либо помочь ему и поэтому в отличие от Курбатова просьбами о «предстательстве» его не донимал. Посредничество Макарова могло нанести непоправимый вред, ибо раздражение царя против Кикина, растоптавшего уважительное к себе отношение преступными махинациями с подрядами, не знало границ. Коварный Кикин решил действовать исподволь. Он узнал, что избежал виселицы благодаря Екатерине, и просил Макарова передать ей «всеи-жайший поклон». В другой раз Кикин попытался потрафить царю тем, что просил Макарова доложить Петру о желании его племянников отправиться за границу изучать навигацию или какую-нибудь другую науку.

Активное участие Кикина в деле царевича Алексея решило судьбу некогда любимого царского денщика — он был казнен. Трагическая гибель Александра Кикина отразилась и на его родственниках. Один из них, Иван Кикин, астраханский обер-комиссар, просил Макарова помочь ему вернуть конфискованные вотчины, иконы и прочие «пожитки». Это не первое обращение Ивана Кикина к Макарову, ибо в этом же письме он благодарил кабинет-секретаря «за показанные твои ко мне многие милости»¹⁴.

Не оставил Макаров без внимания и интересы семьи казенного князя Матвея Петровича Гагарина. Ходатаем о них выступил Петр Павлович Шафиров, а не ближайшие родственники — вдова или сын казенного. Поведение вице-канцлера становится понятным при ближайшем ознакомлении с обстоятельствами дела. Во-первых, Шафиров тоже принадлежал к числу родственников Гагарина: дочь Шафирова была замужем за сыном Матвея Петровича; во-вторых, Петр Павлович входил в круг близких Макарову людей. Казнь Гагарина сопровождалась конфискацией всего его имущества, причем заодно были описаны в казну и приданое вдовы, и приданое дочери Шафирова. К своим хлопотам вице-канцлер привлек царицу Екатерину Алексеевну, Петра Андреевича Толстого и Макарова.

Первую челобитную, «дабы оставлено им (вдове и сыну. — Н. П.) какое-нибудь, хотя малое, пропитание», Шафиров адресовал царю. Петр распорядился удовлетворить просьбу, но учреждения, куда обратился Шафиров, отказались выполнить устное распоряжение царя, требуя

письменного указа. Шафиров просил Макарова, чтобы «о том указ к ним был прислан». Выполнение просьбы задерживалось, видимо, потому, что кабинет-секретарь ждал «благополучного времени», чтобы доложить о ней Петру.

Неделю спустя, 31 марта 1721 г., Шафиров повторил просьбу и добавил новую: «...ежели возможно, исходатайствовать телу погребение». Судя по дневнику Берхгольца, тело Гагарина не было предано земле и в августе. 7 августа 1721 г. камер-юнкер записал: «Из крепости мы пошли на площадь, где совершаются казни (там, рядом с 4-мя другими головами, выставлена голова брата прежней, впавшей в немилость царицы, урожденной Лопухиной), чтобы взглянуть на князя Гагарина, казненного незадолго перед отъездом царя в Ригу. Он был повешен сперва перед домом Сената, куда кроме сенаторов были собраны смотреть на казнь и все родственники преступника, которые потом должны были весело пить с царем».

Не двигалось с места и возвращение имений. В письме Макарову, отправленном полгода спустя, Шафиров вновь просил «при добром случае напомнить о деле бедных Гагариных».

Макаров не остался безучастным. Как явствует из письма Шафирова от 27 июля 1722 г., он таки «предстательствовал» перед царем, но, кажется, опять безрезультатно, ибо вице-канцлер — в который раз! — повторял просьбу: «...ту милость к ним, бедным, совершить, чтобы насущный хлеб имели»¹⁹. Чем закончились хлопоты Шафирова, неизвестно, ибо он сам вскоре попал в немилость и едва не лишился жизни.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Звездный час Макарова, как и Меншикова, наступил в годы непродолжительного царствования Екатерины I, когда был создан Верховный тайный совет.

Историки не располагают документальными данными, позволяющими шаг за шагом проследить зарождение и развитие идеи организации нового учреждения, а также воплощение этой идеи в жизнь. В точности неизвестен ход мыслей на этот счет Меншикова, самой императрицы и вельмож, причастных к организации высшего органа власти. Одно можно сказать с уверенностью: самыми активными создателями Верховного тайного совета были Меншиков, Остерман и Макаров. Такой вывод вытекает из свидетельств, правда, косвенных, «Повседневных записок» А. Д. Меншикова.

«Повседневные записки», регистрировавшие каждый выезд светлейшего из своего дворца и прибытие в него других лиц, отметили такой любопытный факт: с 1 января по 6 февраля 1726 г., т. е. по день, когда был обнародован указ о создании Верховного тайного совета, Меншиков чаще всего встречался с Макаровым и Остерманом. С каждым из них он беседовал с глазу на глаз по 11 раз. Из этого, разумеется, не следует, что роль их была одинаковой, — никто из современников не мог тягаться с Остерманом в интригах и умении методично, с немецкой пунктуальностью взбираться со ступеньки на ступеньку к вершине власти. Даже такой глухой и лаконичный источник, как «Повседневные записки», отдает пальму первенства Остерману.

Согласно записи от 2 января 1726 г. к Меншикову приезжал Остерман, разговаривали они «тихо», а «что говорили — не слышать». 6 января Меншикову нанес визит Макаров. Князь «изволил с ним разговаривать тихо, а потом с ним же изволил пойтти в спальню и был там с полчаса»¹. Спальня была местом конфиденциальных разговоров Меншикова. Заметим, что в эти дни Меншиков не вел доверительных бесед, отмеченных словами «тихо» или «в спальне», ни с кем из вельмож и те навещали его значительно реже:

Апраксин и Головкин нанесли ему только новогодний визит, Шафиров навещал его пять раз, а князь Дмитрий Голицын — четырежды. Особенно интенсивно Меншиков встречался с Остерманом за две недели до 6 февраля, причем 28 и 30 января, а также 6 февраля не Остерман приезжал к Меншикову, а светлейший изволил посетить Остермана. Такое бывало крайне редко: то ли Андрей Иванович, как и всегда в таких случаях, т. е. в преддверии крутых поворотов, сказался больным, то ли он действительно немогал, а нужда Меншикова в советах интригана была столь неотложной, что ждать его приезда к себе не было времени.

И еще одна любопытная деталь: «триумвират» ни разу не собирался в полном составе. Меншиков беседовал с каждым из визитеров в отдельности. Что это — признак настороженности к затее, поначалу казавшейся князю опасной, или этот факт следует расценивать как свидетельство роста влияния Остермана, ловко отгравшего Макарова на задний план?

Принимая деятельное участие в подготовке создания Верховного тайного совета, Макаров, надо полагать, рассчитывал войти в его состав. Этого, однако, не произошло, и сейчас невозможно дать подтвержденный источниками ответ на вопрос, кто отвел его кандидатуру — сам Меншиков или ему подсказал эту мысль Остерман. В том, что отсутствие Макарова в составе Верховного тайного совета было выгодно Остерману, сомнений быть не может. Но не менее ясно и другое: угодный Остерману поворот событий в перспективе ослаблял позицию Меншикова, ибо лишал его верного союзника в лице Макарова.

Впрочем, Макаров, не входя в Верховный тайный совет, оказывал на его работу огромное воздействие. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на страницы журналов и протоколов Верховного тайного совета — они опубликованы в сборниках Русского исторического общества. Фамилия Макарова мелькает там довольно часто, что объясняется прежде всего возросшей ролью Кабинета и кабинет-секретаря в правительственном механизме.

Известно, что Екатерина не имела ни склонности, ни желания управлять страной. Она довольствовалась тем, что царствовала. Императрица хотя и намеревалась председательствовать в Верховном тайном совете, но сочла это крайне обременительным и не могла принудить себя присутствовать в учреждении даже в тех сравнительно редких случаях, когда обещала там быть.

В документах Верховного тайного совета даже в первые месяцы его существования можно встретить такие записи: «И того ж числа (18 марта 1726 г. — Н. П.) пополудни в Верховный тайный совет приехал кабинет-секретарь господин Макаров и объявил, что е. и. в. быть не изволит». Запись от 2 сентября 1726 г.: «Вначале приходил тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров и объявил, что е. и. в. сего дни в Верховном тайном совете быть не изволит, а намерена быть во оном завтра после полудни». Действительно, императрица участвовала в заседании 3 сентября, но присутствовала там чуть более часа. Случалось и так, что обещание присутствовать в Верховном

тайном совете оставалось благим намерением. В журнале под 26 октября 1726 г. записано: «...в Верховный тайный совет приходил тайный кабинет-секретарь Макаров и объявил, что хотя е. и. в. намерение иметь изволила, чтоб сего дня пополудни высокою своею особою присутствовать в Верховном тайном совете для слушания дел, однакож е. и. в. соизволила то отложить до будущей пятницы, то есть до 28 сего октября». Смотрим журнальную запись от 28 октября, но никаких признаков присутствия Екатерины «высокою своею особою» там не обнаруживаем.

При подобном отношении императрицы к своим обязанностям неизмеримо возрос престиж Кабинета и кабинет-секретаря. К традиционным обязанностям секретаря Кабинета прибавилось несколько новых, радикально изменивших положение этого чиновника в служебной иерархии. Одна из них, едва ли не самая главная, входила в практику работы кабинет-секретаря уже при Петре I. Речь идет о его посредничестве между царем и Сенатом. Тогда роль посредника он выполнял эпизодически, а с 1722 г. эта обязанность перешла к генерал-прокурору. Теперь посредничество кабинет-секретаря стало повседневным, причем одинаково часто он являлся передаточной инстанцией от императрицы к Верховному тайному совету и, наоборот, от Верховного тайного совета к императрице.

От имени Екатерины Макаров созывал Верховный тайный совет, объявлял на его заседаниях именные указы, передавал ему на рассмотрение челобитные, адресованные императрице. «И, пришед в Верховный тайный совет, тайный кабинет-секретарь объявил, что е. и. в. указала им собраться для того, чтобы помыслить, каким образом поступить с тайным советником Петром Бестужевым, который был в Курляндии и поныне сюды приехал, в худых его поступках, и чтоб его в том допрашивать и судить в Верховном тайном совете». Иногда кабинет-секретарь объявлял о созыве чрезвычайных заседаний. Так, 8 февраля 1727 г. Макаров предложил «верховникам» собраться еще раз в вечерние часы, «понеже он в собрание будет со объявлением е. и. в. указа о убавке подушной подати».

В свою очередь, Верховный тайный совет использовал кабинет-секретаря для общения с императрицей. «Приказано те два доношения отослать для доклада е. и. в. в Кронштат к тайному Кабинета секретарю Макарову», — читаем в журнальной записи от 12 августа 1726 г. 10 апреля 1727 г. Верховный тайный совет пригласил Макарова, для того чтобы он выслушал реляцию посла в Швеции Долгорукова и доложил императрице, что «все Верховного тайного совета персоны просят о допущении их для сих дел к ее величеству, когда е. и. в. на то соизволит». Нередко Верховный тайный совет поручал Макарову отправиться к императрице с докладом в часы заседания, с тем чтобы, вернувшись, он информировал «персон» о принятом Екатериной решении. Случалось, однако, что он возвращался от нее ни с чем. Подобное произошло 4 мая 1726 г.: «И тайный кабинет-секретарь, возвратясь от ее величества, объявил, что когда ее величеству свободное время будет оного слушать, то тогда соизволит прислать, кому с тем к ее величеству быть»².

Формально роль Макарова была будто бы пассивной, чисто механической. Но если внимательно присмотреться к деятельности Верховного тайного совета, то можно легко обнаружить, что реальное назначение кабинет-секретаря отнюдь не ограничивалось посредничеством между носителем верховной власти и высшим правительственным учреждением. Роль Макарова трудно переоценить прежде всего потому, что он состоял кабинет-секретарем при инертной и бездеятельной императрице.

Мы имели возможность наблюдать работу кабинет-секретаря при Петре I. Но царь имел обыкновение самолично вникать во все дела, в том числе и в мелочи, и высказывал собственное суждение в каждом случае, в то время как его супруга вполне довольствовалась чужим мнением. Макаров был вторым после Меншикова человеком, к предложениям которого императрица прислушивалась и выражала готовность согласиться с ними.

Из сказанного, разумеется, не следует, что Верховный тайный совет испытывал на себе тяжелую руку Макарова и безропотно подчинялся его воле, освященной волей императрицы. Такого не было и не могло быть прежде всего потому, что в характере Алексея Васильевича отсутствовали — или, во всяком случае, ярко не проявлялись — черты, столь необходимые временщику: его трудно заподозрить в коварстве, не умел он также плести тонкие интриги, наносить кому-либо удары исподтишка и получать ответные — словом, ему было несвойственно находиться в гуще то явной, то закулисной борьбы. Если бы даже Макаров не проявлял свойственной ему выдержки и обходительности и претендовал на роль, ущемлявшую интересы вельмож, то они — и среди них первый Меншиков — нашли бы способы быстро урезонить зарвавшегося кабинет-секретаря. Но Макаров ладил с ними, как и во времена Петра, и не проявлял ни заносчивости, ни высокомерия. Отказался он и от соперничества с Меншиковым за влияние на императрицу, что лишило князя возможности заподозрить его в честолюбивых замыслах. Во всяком случае, следов трений между Макаровым и Меншиковым источники не оставили.

Макаров часто переступал границы своих традиционных обязанностей регистратора событий. При Петре он как бы безмолвствовал: не было засвидетельствованного источником случая, когда бы он открыто вмешивался в решение какого-либо вопроса или от своего имени его оспаривал. Теперь Макаров заговорил, и эта его активность отмечена журналами и протоколами Верховного тайного совета. Макаров, например, считал, что многие ссыльные в Сибири «от безсовестных злых своих обычаев» пишут доносы «на невинных людей», отчего этим людям «чинится разорение и великая обида». Кабинет-секретарь предложил — а Верховный тайный совет согласился с его предложением — запретить вызов доносчиков и ответчиков в столицу и поручить расследование доносов губернской канцелярии³. Тем самым жертвы доносов освобождались от обременительных дорожных расходов.

Другое предложение Макарова, тоже оформленное указом, вытекало из опыта работы Кабинета, захлестываемого потоком разного рода чело-

битных на имя императрицы. Чтобы освободить Кабинет от обузы, Верховный тайный совет решил передать прием челобитных специально назначенному для этого должностному лицу — рекетмейстеру.

Наибольшая активность Макарова прослеживается при обсуждении вопроса об «обложении крестьян в податях». Начало его рассмотрению положила записка, поданная императрице Меншиковым, Остерманом, Макаровым и Волковым. Ее авторы исходили из посылки, что крестьянство «в великой скудности обретается и от великих податей и непрестанных экзекуций... в крайнее и всеконечное разорение приходит». Среди рекомендаций, как учинить крестьянам облегчение, на первом месте стояло предложение уменьшить размер подати и усовершенствовать приемы ее взимания: отрезать от сбора налога военные команды, половину или треть подушной подати взимать вместо денег натурой и т. д.

Интерес Макарова к способам «облегчения тягости народной» не относился к числу преходящих: он возник до подачи записки и не ослабевал после ее составления. Еще в июне 1726 г. Макаров, присутствовавший в Верховном тайном совете при обсуждении вопроса об организации управления Украиной, «представлял, чтоб к тамошнему народу показать, какое милосердие, а именно в убавке податей». Какие-то суждения «о тягости народной» он высказывал в Верховном тайном совете и 14 ноября 1726 г.⁴

При Екатерине Кабинет, а вместе с ним и кабинет-секретарь достигли наивысшего авторитета и влияния. В сентябре 1726 г. был разослан именно указ — составленный, надо полагать, Макаровым — о том, чтобы все учреждения и должностные лица «о всяких вновь важных делах прежде писали в Кабинет, и когда с такими письмами будут посылаться курьеры, а те б являлись прежде в Кабинете». Однако в бумагах Кабинета не сохранилось следов реализации этого указа: шесть месяцев, в течение которых он действовал, — слишком небольшой срок для регистрации экстраординарных событий. Но киевский губернатор Иван Трубецкой успел донести кабинет-секретарю, что им получен указ, «дабы, когда случатца какие новые и важные дела, например ведомости со стороны турецкой и о прочтем тому подобном, о таких прежде писать вашему величеству в Кабинет»⁵.

Возможно, что этот указ, ущемлявший прерогативы Верховного тайного совета в пользу Кабинета, стоил Макарову карьеры, — он был отменен тотчас после смерти императрицы.

Одним из свидетельств укрепления позиций кабинет-секретаря, его возросшей роли и процветания было пожалование ему 24 ноября 1726 г. чина тайного советника. В табели о рангах этот чин занимал третью строку сверху — он следовал за канцлером и действительным тайным советником.

Смерть Екатерины вызвала важные перемены в жизни Макарова. Судьба как Кабинета, так и его секретаря была решена, видимо, еще в дни, когда состояние здоровья императрицы казалось безнадежным. 10 апреля 1727 г. она «впала в горячку», после которой наступило временное

облегчение и появилась надежда на выздоровление. Затем больную стал донимать кашель, и она «в большее безсильство приходить стала». Наступил кризис: «...по великом кашле прямой гной в великом множестве почала ее величество выплевывать». Екатерина «6 дня мая с великим покоем преставилась»⁶.

Неделю спустя после похорон, 23 мая 1727 г., Верховный тайный совет принял два указа, круто изменившие налаженную жизнь Макарова и ее ритм, остававшийся неизменным свыше двух десятилетий. Один из них положил конец существованию Кабинета: Верховный тайный совет повелел составить описи дел Кабинета, а также подать сведения о наличной казне и драгоценностях. Другой указ определил новую ипостась руководителя упраздненного учреждения: Макаров был назначен президентом Камер-коллегии.

Это назначение обеспечило Макарову жалованье, в три раза превосходившее то, которое он получал, будучи кабинет-секретарем. Вместе с тем новая должность низводила Макарова до положения чиновника хотя и высокого ранга, но в общем заурядного. В те времена степень влиятельности вельможи определялась не чинами, а близостью к трону. Для Макарова новое назначение означало почетную ссылку, поскольку он, чтобы встать во главе Камер-коллегии, должен был удалиться от двора, покинуть столицу и жить в Москве.

Документы Верховного тайного совета тут же отреагировали на новое назначение Макарова. Когда Алексей Васильевич находился у подножия трона, занимая должность кабинет-секретаря, его присутствие в Верховном тайном совете отмечалось в журналах и протоколах такими почтительными словами: «При собрании всего Верховного тайного совета приходил тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров» или: «Потом пришед тайный кабинет-секретарь Алексей Макаров». Теперь же, когда по каким-либо надобностям в Верховный тайный совет вызывали Макарова в качестве президента Камер-коллегии, в журнале записывали: «Потом впущен был... тайный советник Макаров» или «...допущен был тайный советник Макаров»⁷.

Слова «впущен» и «допущен» вместо прежних «приходил» и «пришед» ярче всего отразили перемены в положении Алексея Васильевича. Обращает на себя внимание и другой факт: в журналах Верховного тайного совета кабинет-секретаря уважительно величали Алексеем Макаровым, а президента Камер-коллегии удостаивали одной лишь фамилии.

Перечисленные изменения в ипостаси Макарова на первый взгляд представляются ничтожными и не заслуживающими внимания. Подлинное значение отмеченных нюансов в отношении к Макарову состояло в том, что они обозначали конец его карьеры: он уже не только не поднимался до прежних высот, но катастрофически скатывался вниз.

Кому был обязан Макаров новым назначением, кто был заинтересован в пресечении его карьеры? На этот счет известные нам документы хранят молчание. Сохранились лишь косвенные показания источника, дающие

основание считать виновником падения Алексея Васильевича не иного кого, а Меншикова.

Документ возвращает нас ко времени, когда велось следствие по делу Девиера — Толстого. Один из главных обвиняемых — Антон Мануилович Девиер — 1 мая 1727 г. дал следователям любопытное показание. Однажды ему довелось ехать в одной карете с Макаровым к графу Сапеге. Сначала они вели беседу о том о сем, а затем кто-то из них (Девиер «не упомнит, он ли... или Макаров») затеял разговор о предстоявшей женитьбе Петра II на дочери Меншикова. Макаров сказал тогда Девиеру «...светлейший-де князь паче усилитца. И так-де он на нас сердит, а потом паче сердит будет».

Хотя Макаров и не привлекался к следствию по этому делу, но для Меншикова, видимо, было достаточно приведенных весьма осторожных слов Алексея Васильевича, чтобы усмотреть в набиравшем силу кабинет-секретаре своего недруга.

Можно с большой долей уверенности сказать, что Меншиков был осведомлен об этом показании Девиера, и с такой же долей уверенности заявить, что Макарову оно осталось неизвестным.

Сохранилась недатированная записка Макарова с изложением его отношения к своему новому назначению. Восторга оно у него не вызвало.

Записка начинается с часто употреблявшейся Петром I присловицы: «Лехче всякое новое дело з Богом начать и окончать, нежели старое испорченное дело починивать». Под «старым испорченным делом» Макаров подразумевал Камер-коллегию, которую ему пришлось возглавить: «...посажен я бывшим Меншиковым уже к испорченным делам в Камер-коллегию в неволю». Как видим, Макаров составлял записку после падения Меншикова. Если бы Алексей Васильевич знал о признании Девиера, то он наверняка не удержался бы от слов упрека в адрес опального «полудержавного властелина», тем более что ему за них ничто не грозило. Но в записке тщетно искать даже намек на причины, побудившие светлейшего прибегнуть к столь скорой и суровой расправе с кабинет-секретарем.

Как прилежный ученик Петра Великого, Макаров считал, что «испорченность» дел Камер-коллегии была обусловлена ее регламентом, неразумно составленным известным камералистом того времени Фиком. Регламент, по мнению Макарова, «не на таком основании сочинен, как оному быть надлежало, и нимало не сходен с положением и правами Российской империи». В этом видел Макаров причину возникновения недоимок и полагал, что стоит только исправить регламент, упорядочить окладные книги, и в поступлении налогов наступит полный порядок⁸.

Ход мыслей Макарова типичен для деятелей петровской школы, уповавших не столько на реальные ресурсы налогоплательщиков, сколько на «добрый порядок». Новый регламент Камер-коллегии, принятый в 1731 г., нисколько не улучшил состояние финансов страны. Впрочем, при сопоставлении его с прежним регламентом 1719 г. можно обнаружить некоторые различия, но они касались преимущественно технической стороны дела. Так, по регламенту 1719 г., единицей обложения был двор, после

проведения первой ревизии такой единицей стала мужская душа. Другое новшество состояло в том, что регламент 1731 г. объявил ответственными сборщиками налогов с крестьян их помещиков. С них надлежало править и недоимки. Наконец, регламент 1731 г. предполагал упорядочение книг учета налогоплательщиков по каждому населенному пункту.

Служба Макарова президентом Камер-коллегии — предмет особого изучения. Здесь мы ограничимся лишь констатацией общеизвестного факта: ни усилия Алексея Васильевича, ни новый регламент коллегии нисколько не упорядочили государственных доходов и расходов. Более того: недоимки из года в год росли, несмотря на ужесточение их выколачивания.

Портрет Макарова будет выглядеть ущербным, если не осветить, хотя бы контурно, насколько позволяют сохранившиеся источники, его хозяйственную деятельность. Алексей Васильевич принадлежал к типу помещиков, представленных такой колоритной фигурой, как Меншиков. Конечно, земельные богатства Макарова не шли ни в какое сравнение с владениями Шереметева и особенно Меншикова. Тем не менее Макарова можно отнести к помещикам выше среднего достатка.

С Меншиковым Макарова сближает не только практичность, но и происхождение вотчинного хозяйства. Оба они начинали с нуля, не имея ни земли, ни крестьян. Превращение сына вологодского посадского человека в помещика — плод собственных усилий и предприимчивости Макарова. В нем чиновник, знавший себе цену на бюрократическом поприще, бог о бок уживался с расчетливым дельцом, умевшим округлить свои богатства. К концу жизни Макаров стал довольно крупным помещиком. За его сыном Петром Алексеевичем в 1759 г. числилось 1223 крепостные души мужского пола. Эти данные нельзя считать полными. Дело в том, что у Макарова были еще и две дочери — Анна и Елизавета. Первая из них вышла замуж за статского советника Андрея Ивановича Карташева, а вторая — за главнокомандующего в Москве генерал-аншефа Михаила Николаевича Волконского. Надо полагать, что именитых женихов привлекал не только блеск чина тайного советника отца невест, но и деревеньки, полученные ими в приданое. Поэтому можно без риска ошибиться предположить, что Алексей Васильевич владел не менее чем полутора тысячами крепостных крестьян.

С Меншиковым Макарова-помещика сближала и структура хозяйства. Оно было многоотраслевым и опиралось не только на традиционное земледелие, но и на ростовщичество, торговлю и промышленное предпринимательство. Новая знать в отличие, например, от боярина Шереметева, извлекавшего доходы из стародавнего источника — эксплуатации крепостного труда на пашне, быстро усвоила ту несложную мысль, что собственный бюджет можно интенсивно пополнять путем занятий, ничего общего не имевших с патриархальной жизнью деревни. Не обремененная аристократической спесью и чванством, новая знать не гнушалась ни ростовщичеством, ни торговлей, ни тем более промышленного предпринимательства, всячески поощряемого самим царем.

Как формировалось вотчинное хозяйство кабинет-секретаря?

Известную долю его земельного богатства составили два пожалования. Первое из них царь совершил в 1709 г. Макаров тогда получил в Брянском уезде 17 дворов и 260 четвертей земли. Второе пожалование — во много крат крупнее первого — Макарову досталось много лет спустя, в 1723 г., когда происходил дележ вотчин, конфискованных у обер-фискала Нестерова и провинциал-фискала Попцова. Всего в Переславль-Залесском и Юрьевском уездах Макаров получил 110 дворов, т. е. около 440 душ, если считать, что на каждый двор в среднем приходилось по четыре мужских души.

Трудно объяснить, почему Макаров, будучи доверенным лицом Петра и особенно Екатерины, воспользовался их благосклонностью лишь дважды, и притом в столь скромных размерах. Вполне вероятно, что он не проявлял настойчивости, а возможно, и расторопности. Но о том, что он не исключал нового пожалования, свидетельствует его недатированное письмо, адресованное, видимо, брату, в котором он просил своего корреспондента разведать, нет ли в Московской губернии выморочных вотчин, и делился с ним собственными планами: «...я бы у того, кто Московскую губернию ведает, надеялся их выпросить»⁹.

Некоторый вклад в вотчинное хозяйство Макарова, размеры которого, впрочем, в точности неизвестны, внесла вторая супруга Алексея Васильевича — княгиня Одоевская. Наверняка вдова, выходя за Макарова замуж, не была бесприданницей.

Главным источником формирования земельного фонда кабинет-секретаря была скупка крепостных и земли. Лишь дважды Макаров совершил довольно крупные сделки. В 1708 г. он купил у адмирала Апраксина село Богословское в Юрьевском уезде за 1600 руб.; в нем в 1719 г. жило 119 душ мужского пола. В 1716 г. он приобрел у жены стольника Петра Михайловича Долгорукова в Переславль-Залесском уезде село Петровское, уплатив за него 3 тыс. руб. Можно назвать еще две-три сделки, но они были помельче, и на каждую из них покупатель затрачивал от 100 до 250 руб. Остальные акты — а их несколько десятков — были оформлены на приобретение крестьянских семейств и отдельных крепостных.

Обращают на себя внимание приемы приобретения крепостных. Один из них связан с просрочкой уплаты взятой у Макарова ссуды. Капитан Сергей Федорович Костеев вместо уплаты 5 руб. должен был поступиться своим дворовым человеком Иваном Белым. Таким же путем Макаров за получил крепостного Татьяны Шапкиной¹⁰.

Чаще всего Макаров скупал беглых крестьян, чем в какой-то степени предвосхитил гоголевского Чичикова. Возникает естественный вопрос: какую выгоду мог извлечь из таких сделок Макаров? Не была ли эта затея пустой тратой денег или авантюрой чичиковского пошиба? При ближайшем рассмотрении оказывается, что из этой нехитрой операции Макаров извлекал немалую выгоду, во всяком случае, внакладе он не оставался.

Общеизвестны масштабы побегов крестьян от помещиков в первой трети XVIII в. В соответствии с законодательством тех времен сыск беглых,

равно как и взыскание так называемых «пожилых» денег, т. е. штрафа с помещика, приютившего беглого, возлагались на местную администрацию. Однако практика сыска и возвращения беглеца, а также взыскания «пожилых» денег была сопряжена с такой волокитой и издержками, что заинтересованное лицо, помаявшись не один год по закоулкам различных канцелярий, в конце концов отказывалось от своих притязаний. Вернуть беглеца было трудно даже в том случае, когда помещик знал место, где тот укрывался: то лицо, приютившее беглеца, было, как тогда говорили, «сильным», т. е. влиятельным, и оказывало неповиновение властям, а воеводская канцелярия не рисковала вступить с ним в конфликт; то местная администрация не располагала рядом солдат для изъятия беглеца; то, наконец, укрыватель беглеца спускал исковое дело на тормозах, выдав канцелярским служащим соответствующую мзду.

Таких беглецов Макаров, судя по всему, покупал с превеликой охотой — прежде всего потому, что беглец стоил значительно дешевле крестьянина, которого при купле-продаже можно было передать из рук в руки. В конечном счете для владельца крестьянина-беглеца любая сумма, полученная от покупателя, являлась своего рода манной небесной, ибо такой помещик давно распростился с мечтой восстановить утраченные права на крепостного. Макарову сделать это было во много раз легче. Попробуй какой-либо воевода не выполнить законных претензий кабинет-секретаря и послушаться указов вышестоящих инстанций!

Услужить Макарову почитали за честь не только воеводы, но и губернаторы. Письма своим приказчикам до Казани Макаров отсылал обычной почтой, а доставку таких писем в Курмышский уезд, где находились его вотчины, взял на себя казанский губернатор Петр Салтыков, отправлявший их туда с нарочным. Предупредительность Салтыкова простиралась до того, что он «и к коменданту курмышскому, чтоб он их во особливом своем хранении имел, писал». Губернатор клялся Макарову, что он «служить всегда рад», и эту свою готовность подкреплял делом: по первому требованию разрешил фискалу курить вино для выполнения подряда. Салтыков, кроме того, уведомил Макарова, что отправил ему арбузы, виноград, рыбу и икру¹¹.

Драгун Евстигней Трифионович Шишкин дважды, в 1712 и 1713 гг., бил челом о возвращении двух беглых семейств с их пожитками, и оба раза безуспешно. И вдруг драгуну пофартило: в 1718 г. он продал Макарову обе семьи, правда, за сухой пустяк — всего за 15 руб. Драгун указал и точный адрес, где жили беглые семьи¹².

Впрочем, иногда Макаров платил за беглецов значительные суммы. В 1729 г. он уплатил за беглого крестьянина 150 руб. На первый взгляд цена выглядит баснословной. Заметим, однако, что купленный Макаровым крестьянин находился в бегах с 1709 г., поэтому он вместе с правом собственности на купленного крестьянина автоматически приобрел право на взыскание «пожилых» денег. За 20 лет таких штрафных денег накопилось не менее 400 руб. Конечно же, чтобы не оказаться в убытке, приказчики

Макарова, да и сам кабинет-секретарь перед оформлением акта купли наводили справки о платежеспособности лица, с которого надлежало взыскивать «пожилое».

Остается выяснить источник, из которого Макаров черпал немалые суммы, чтобы покупать вотчины, землю и крестьян без земли. Ясно одно: жалованья, получаемого сначала в размере 300, а затем 600 руб., было совершенно недостаточно для столь значительных расходов. О побочных его доходах источники, как правило, молчат и лишь в некоторых случаях сообщают любопытные сведения.

Брал ли Макаров подношения? Безусловно, брал, иначе он не был бы сыном своего века. Но брал он, видимо, в таких размерах, что этого рода проступки, считавшиеся в те времена обычными, не привлекли внимания трех следственных комиссий и изветчиков, сочинявших доносы. Должность кабинет-секретаря предоставляла Макарову тысячи возможностей для получения посулов, подношений «в почесть» и т. п. Между тем источники донесли до нашего времени единственное признание самого Макарова о получении им мзды. Речь идет о попытке одного из доносчиков обвинить Макарова в расхищении конфискованного имущества Петра Андреевича Толстого, отправленного в ссылку. Алексей Васильевич отвел это обвинение так: «Оного-де жеребца подарил ему Толстой до кончины Петра года за три за то, что он, Макаров, по челобитью того Толстова докладывал о деревнях, которые-де ему, Толстому, пожалованы».

Подарки подешевле, означавшие скорее знак внимания, чем приобретение благосклонности, подносились чаще. Девиер, например, одарил Макарова «паруком» (париком), пожелав носить его «в добром здравии», а Шафиров в том же 1712 г. прислал из Адрианополя «малый мой гостинец — муштук турецкой с серебряным набором»¹³.

Макарову был доступен еще один — видимо, крайне редкий — источник доходов. Его можно назвать даже уникальным, ибо за многие десятилетия работы в архивах он встретился единственный раз. По терминологии того времени, этот доход деликатно назван «презентальными деньгами». История их возникновения такова.

В 1715 г. у царя родился сын Петр Петрович и внук Петр Алексеевич. В честь этого события, к которому, естественно, Макаров никакого отношения не имел, адмирал Федор Матвеевич Апраксин велел «отослать из губернии Воронежской кабинет-секретарю Алексею Макарову в презент 2000 рублей», собрав эту сумму с губернских чиновников всех рангов, а также с купцов. Не ожидая сбора денег, Апраксин велел вице-губернатору Степану Андреевичу Колычеву выдать 2 тыс. руб. из губернских доходов, а потом погасить эту сумму собранными с воронежцев взносами. История с «презентальными деньгами» потому и оставила след в документах Сената, что подавание воронежцев оказалось не столь щедрым, как предполагалось, и удалось собрать вместо 2 тыс. только 827 руб. Шесть лет спустя, в 1721 г., с Колычева было взыскано только процентов 586 руб. Колычев опротестовал это взыскание, мотивируя его неправомочность тем, что

деньги надлежало взыскивать с тех плательщиков, по вине которых «учинилась оная доимка»¹⁴. Чем закончилось дело — неизвестно.

Сколь часто вельможи выступали благодетелями за чужой счет и произвольно вводили новые налоги для «презентальных» расходов, мы не знаем. Возможно, что в других случаях взимание «презентальных денег» проходило более гладко, не вызвало конфликтных ситуаций и не оставило поэтому никакого следа в архивах высших учреждений.

Девиз хозяйственной деятельности Макаров сформулировал сам: «...люди ж всякого себе добра ищут, что и нам мочно делать». Слово у него не расходилось с делом. Кабинет-секретарь действительно всю жизнь был озабочен поисками для себя «добра», т. е. повышением доходности вотчин. Но не во всех случаях ему сопутствовал успех.

Агротехническая мысль в то время находилась в самом зародыше и еще не вооружала помещиков рекомендациями относительно внедрения эффективных новшеств: изменений в соотношении злаковых и технических культур, разведения улучшенных пород скота, птицы и т. п. В сохранившейся черновой инструкции приказчику Макаров ориентировал его на веками складывавшиеся приемы возделывания пашни: «Також о пашне и всяком хлебном посеве, и об убранстве, и о молодбе чинить так, как в протчих деревнях водитца, не испустя времени, как бы в чем было прибыльные и крестьяном излишней тягости не было». Инструкция грозила приказчику суровыми карами, если «учинитца ево, прикашиковою, оплошкою в деревенских каких приплодах и прибытках утрата или иное какое худо». Напротив, приказчику, усердием учинившему изобилие, было обещано изрядное вознаграждение¹⁵.

Живя в Петербурге, вдаль от вотчин, кабинет-секретарь чутко прислушивался к рыночной конъюнктуре и стремился не упустить своего шанса. «Я слышал, — писал Макаров брату в 1712 г., — что дело там лехко мочно учредить — торг пеньковой, ибо там пенька зело дешева и мужики наши на чюжих скупают, которые скупщики отпускают в Ригу, и от того богатятца». Для начала он рекомендовал пустить в дело 450 руб. А вот другое распоряжение, свидетельствующее, как и первое, о предприимчивости Макарова. На этот раз его взоры были устремлены не в сторону брянских вотчин, а на село Богословское. «Також вели, — советовал он брату, — там больше завесь скотины рогатой, и мочно ли оную оттол для продажи пригонять к Москве. И ежели мочно, то ис того может быть немалая прибыль».

Хватка дельца видна и в распоряжении основать винокуренный завод в селе Богословском. В 1712 г. он спрашивал брата: «Завел ли ты в Богословском винной завод?» — и тут же дал ряд советов: если есть надежда на извлечение из завода прибыли, то тогда надо соорудить и мельницу. «Также и то вам предлагаю в Богословском не вовсе переводите лес, ибо х куренью вина дров, чаю, много исходит». Вино с Богословского винокуренного завода Макаров поставлял в кабаки. В 1713 г. он подрядился поставить 5 тыс. ведер вина. Винными подрядами Макаров занимался не-

долго: в 1716 г. царь издал указ, запрещающий должностным лицам участвовать в подрядных операциях.

При взимании повинностей с крестьян Макаров-помещик придерживался умеренных позиций и предостерегал брата от самовольства не в меру ретивых приказчиков: «Однакож поговори ему или инак как остереги, чтоб он крестьян не разгонял з бешенства, а особливо з злости той, что крестьяне на него сказали, что он непорядочно живет». Когда приказчики обратились к Макарову с конкретным вопросом, взыскивать ли с крестьян недоимку за два года, он дал совет, из которого явствует нежелание рубить сплеча и стремление действовать осмотрительно, сообразуясь с обстановкой: «...отдаю на ваше разсуждение, или лутче дать сроку, чтоб после в том исправили».

Проявляя заботу о крестьянах, Макаров, как и всякий не лишенный здравого смысла помещик, конечно же, хлопотал о собственных интересах. Будучи рационалистом, он руководствовался мыслью, что перенапряжение крестьянского хозяйства повинностями чревато нежелательными последствиями — разорением их хозяйства и побегам. Эти опасения звучат в одном из писем к брату: «Опасно, чтоб они от того не разбежались, ибо и сам ты писал, что прикащика хотели убить»¹⁶.

О торговых операциях Макарова сохранились отрывочные сведения, весьма скупо характеризующие этот вид его деятельности. Известно, что он владел в Москве лавками, а в 1728 г. в Петербург был доставлен хлеб с Гжатской пристани, предназначенный для продажи. Более обстоятельные сведения дошли до нас о ростовщических сделках Макарова.

Отдачей денег в рост Макаров начал заниматься с 1710 г. В течение 15 лет было зарегистрировано 10 сделок. Интенсивность ростовщических операций возросла после 1724 г., причем виновницей этого была, видимо, вторая супруга Алексея Васильевича. В том году финансовые возможности семьи возросли за счет ее приданого в размере 6 тыс. руб. Энергичная женщина тут же пустила их в дело. За десятилетие, заканчивавшееся 1734 г., когда семья оказалась под домашним арестом, было заключено 15 сделок, причем 11 из них падают на 1734 г. В этом году супруги Макаровы предоставили ссуд на сумму свыше 14 тыс. руб. Сам Макаров после ареста считал, что его клиенты были ему должны 16 300 руб.

Обращает на себя внимание состав клиентуры Алексея Васильевича. Среди них почти не встречаются представители «крапивного семени», посадской мелкоты, крестьян, т. е. люди, одалживающие мелкие суммы. Такого рода клиенты обращались за ссудами к брату кабинет-секретаря, Ивану Васильевичу. Подавляющее большинство из них получало в кредит несколько десятков рублей, но брали и по рублю, и по пяти¹⁷.

Супруги Макаровы ссужали знать — людей богатых, закладывавших под долг свои вотчины: князя Алексея Голицына, княгиню Марью Долгорукову, графа Андрея Матвеева, полковников, подполковников. Самая крупная ссуда была выдана княгине Анне Васильевне Щербатовой — 3400 руб.

В первой четверти XVIII в. помещики стали приобщаться и к мануфактурному производству. Правда, в петровское время они делали лишь первые шаги в этом направлении. Среди дворян, владевших мануфактурами, были несколько вельмож, и в их числе Макаров.

Заметим, что вельможи при основании предприятий не всегда руководствовались экономическими соображениями. Когда Меншиков, Апраксин и Толстой основали шелковую мануфактуру, ими двигало стремление угодить царю. А. Д. Меншикову, инициатору основания этой мануфактуры, из письма его секретаря Волкова, сопровождавшего царя во время заграничной поездки, стало известно, что Петр, будучи в 1717 г. в Париже, посетил шпалерную мануфактуру. При ее осмотре царь обронил реплику: «Дабы и у нас такая работа как наискорые завелась». Но в России «еще ничего в зачине не бывало, понеже ни инструментов, ни шерсти, ни красильщиков нет». «Зачин» решил положить Меншиков. Он обратился к находившемуся в свите царя Макарову с просьбой: «...извольте во Франции надлежащие к тому инструменты купить и сюды выслать, дабы, когда сюды мастера прибудут, могли что делать и не празды б были»¹⁸.

Известно, что шелковая мануфактура вельмож, несмотря на грандиозные вложения в нее средств, влачила жалкое существование и приносила немалые убытки. Если бы не неумное желание потрафить царю и не огромные богатства ее владельцев, то она быстро пустила бы их по миру. Но сундуки вельмож выдерживали убытки, и эксперимент продолжался.

Макаров был не настолько богат, чтобы бросать деньги на ветер, и не настолько непрактичен, чтобы браться за сомнительные затеи. Рационалист с хозяйственной хваткой, он, конечно же, прикинул, чем может завершиться его предпринимательское начинание. Но столь же бесспорно, что Макаров поддался внушениям царя и пошел по стопам вельмож. В правомерности этой догадки убеждает то обстоятельство, что Алексей Васильевич встал на путь промышленного предпринимательства после возвращения из-за границы и образования компании вельмож.

Упреждая развитие событий, сообщим, что начинания Макарова были столь же бесплодны, как и начинания вельмож. Доходов он не извлек, но неприятными хлопотами был сыт по горло. Пример вельмож и самого Макарова лишний раз подтверждает ту простую истину, что предпринимательство на любом поприще требует к себе самого пристального внимания, в то время как «господа интересанты», равно как и Макаров, такими возможностями не располагали и вынуждены были рассчитывать не столько на собственную распорядительность, сколько на пронырливость, опыт и честность приказчиков либо компаньонов. Макарову на компаньонов явно не везло.

Суконная мануфактура ведет свою историю с 1718 г., когда под Москвой, в Красном Селе, начали работать 15 станов, выпускавших стамед и каразею, т. е. сукно низкого качества. Возникновение предприятия сопровождалось некоторой загадочностью: оно было основано на деньги Макарова, но значилось за жителем Огородной слободы Иваном Соболянико-

вым. Макаров перевел мануфактуру на свое имя только в 1723 г. Она постепенно расширялась, и в середине 20-х годов ее оборудование состояло из 32 станов годовой производительности 10 тыс. аршин стамеда и 70 тыс. аршин каразеи.

Предприятие, видимо, приносило мизерную прибыль, а может, было и убыточным. Если бы дело обстояло иначе, то Макаров не искал бы способов избавиться от Красносельской мануфактуры. Наконец в 1731 г. он сдал ее в аренду Федору Серикову сроком на 10 лет. О далеко не блестящей постановке дела свидетельствует невысокая арендная плата — 200 руб. в год.

Получив мануфактуру на полном ходу, Сериков обязался ее «содержать и производить своим коштом», а также своевременно чинить плотину, здания, оборудование и инструменты. Арендатору разрешалось расширить мануфактуру, если в том возникнет надобность.

В 1738 г. возник документ, позволяющий судить о состоянии предприятия в руках арендатора: в январе канцелярист по заданию Мануфактур-коллегии осмотрел Красносельскую мануфактуру и составил опись. Из нее следует, что Федор Сериков хищнически эксплуатировал предприятие и не ремонтировал сооружения. Повсюду видны были признаки запустения: обветшали постройки, поизносились или пришли в негодность инструменты. У трех светлиц, где стояли прядильные станы, готовы были обрушиться потолки. В ветхом состоянии находилась и красильня. Более того: обследование зарегистрировало остановку предприятия. Все это дало основание Макарову обратиться с жалобой на Серикова, беспардонно нарушившего контракт. Спустя некоторое время, в мае 1739 г., он из своего домашнего заточения подал вторую челобитную, на этот раз с жалобой на то, что при сдаче предприятия в аренду на нем было занято свыше 150 работников, а теперь осталось только 24 человека. Алексей Васильевич, кроме того, требовал от Серикова уплаты свыше 2200 руб., вырученных арендатором за продажу материалов, изготовленных на Красносельской мануфактуре.

Сериков был себе на уме. Дела у него шли не столь плачевно, как могло показаться при осмотре арендованной им мануфактуры. Подлинное состояние промышленного хозяйства этого предприимчивого купца было таким, что он в 1735 г. получил разрешение на основании собственной мануфактуры. Именно туда, радея о своекорыстных интересах, он перевел мастеровых с Красносельской мануфактуры Макарова. Более того, сам Макаров способствовал процветанию Серикова: в 1734 г. он одолжил ему 3 тыс. руб. сроком на один год. Сериков выдал ему вексель на 3300 руб. — 300 руб., видимо, являлись ростовщическим процентом¹⁹.

МРАЧНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

В самом начале царствования Анны Иоанновны карьера Макарова круто оборвалась. Жизнь его настраивалась на иной, трагический лад: бывший кабинет-секретарь и бывший президент Камер-коллегии оказался не у дел. Имя Макарова было предано забвению. О его существовании можно узнать лишь из документов, вышедших из недр следственных комиссий и Тайной канцелярии. С 1731 г. до смерти в 1740 г. Алексей Васильевич находился под следствием, причем следствия накатывались одно на другое, подобно волнам, обрушивая на его голову непрерывные испытания. Они тянулись на протяжении томительно долгого десятилетия.

Во времена Анны Иоанновны Макарову надо было либо менять многое из того, что он впитал в себя за годы более чем 20-летнего общения с Петром, и в частности представления о ценности людей, о долге, об отношении к иностранцам; либо лицемерить и угодничать людям, не пользовавшимся его расположением в предшествующее время; либо, наконец, не утрачивая собственного достоинства, вести себя в меру возможности независимо от немецкой камарильи, окружавшей трон.

Успех сопутствовал тем, кто жил по притче, рассказанной Макарову в 1731 г. его двоюродным братом Василием Шапкиным. Самому Шапкину поведал ее какой-то иностранец. Притча такова: старушка принесла в церковь две свечи; одну из них она зажгла перед Михаилом Архангелом, а другую — «под ногами его, перед дьяволом». На вопрос священника, почему поставлены две свечи, бойкая старушка ответила: «не знаю, куда пойду, в рай или в муку, но, дойдя, везде надобно друзей иметь». Мораль притчи в изложении Шапкина звучит так: «...такое время пришло, надобно везде иметь друзей, как в раю, так в аде»¹.

Макаров то ли не умел, то ли не хотел подлаживаться, ставить всем свечи. В итоге он обрел могущественных врагов: императрицу Анну Иоанновну, кабинет-министра Андрея Ивановича Остермана и президента Си-

нода Феофана Прокоповича. Где истоки неприязни этих людей к Алексею Васильевичу?

Пока Анна Иоанновна жила в Митаве, ее отношения с Макаровым можно назвать миролюбивыми. Курляндская герцогиня, постоянно испытывая нужду, осаждала то Петра, то его супругу письмами с унижительными просьбами о выдаче денег. Средств у герцогини не было не только на содержание пристойного двора, приобретение драгоценностей и украшений, но и на соответствовавшую ее сану экипировку. Понимая, сколь зависело удовлетворение ее вымогательств от кабинет-секретаря, она заискивала не только перед ним, но и перед второй его супругой, княгиней Одоевской. В письмах герцогиня называла ее «своей любезнейшей приятельницей» и «дорогой сестрицей». Сам Макаров, как мог, помогал племяннице царя. Во всяком случае, источники не зарегистрировали ни тени недовольства курляндской герцогини его поведением.

Но вот «дорогая сестрица» волей случая возложила на свою голову императорскую корону. Вряд ли ей, женщине грубой и мстительной, доставляли удовольствие воспоминания о жизни в Митаве и присутствие подле нее человека, более всех осведомленного об этой жизни. Такие свидетели, естественно, были людьми не только лишними, но и нежелательными ни в дальнем, ни тем более в ближнем окружении императрицы.

Враждебность к Макарову Остермана, видимо, питалась теми же соками, что и враждебность императрицы. В свое время Остерман гнул спину и униженно заискивал перед Макаровым. На этот счет имеется несколько документов. Разве мог Остерман забыть, например, случай, когда Макаров его не принял? В одном из писем кабинет-секретарю Андрей Иванович сетовал на то, что «в сих днях больше десяти раз» он домогался аудиенции, но безуспешно. В этом же письме есть такие строки: «Но понеже я, ведаю, что многодельство ваше не допустило меня к себе допустить, того ради я письменно сим вас, милостивого моего государя, всепокорно прошу меня в протекции своей в нынешнем моем отсутствии не оставить».

Домогательства Остермана были связаны с попыткой использовать кабинет-секретаря в качестве посредника в улаживании конфликта с Брюсом. Мелкие интриги Остермана во время переговоров на Аландском и Ништалтском мирных конгрессах, направленные на то, чтобы обратить на себя внимание царя, вывели из равновесия спокойного и рассудительного Брюса, являвшегося, как и Остерман, членом русской делегации на обоих конгрессах, и тот обратился к Петру с жалобой. Так как Остерман был уверен, что Брюс послушается совета Макарова, то и обратился к нему с просьбой: «...извольте к нему (Брюсу. — Н. П.) партикулярно от себя написать, чтоб он жил со мною согласно». А вот заключительная фраза этого письма: «Милостивый мой государь, не оставьте мене, бедного, хотя иноземца, а истинно верного слуги государства». Дополненно неизвестны причины отказа Макарова в аудиенции. Быть может, он действительно был крайне занят, но скорее всего кабинет-секретарь догадывался о цели визита и не желал вменяться в интригу, которую плел вице-канцлер.

В дальнейшем отношения между Макаровым и Остерманом, надо полагать, улучшились. Об этом можно заключить по щедро расточаемым Остерманом благодарностям Макарову. 2 июня 1721 г. вице-канцлер благодарил кабинет-секретаря «за высокую милость, которую вы без всяких заслуг ко мне показать изволили». Два месяца спустя он вновь благодарил Макарова за «милостивое вспоможение» при оформлении пожалованных ему деревень. А сколько было клятв в верности и вечной признательности: «Я прошу и извольте и обо мне обнадежены быть, что до смерти моей верным за то рабом вашим буду и не оставляю по всей моей возможности стараться, дабы в самом деле мое истинное благодарение показать!»! Апофеозом клятвенных заверений стало письмо Остермана Макарову от 5 сентября 1721 г. из Ништадта: «Все, что я чинить могу, есть то, что я до смерти моей верным и одолженным вашим рабом пребыть обещаюся и стараться буду, дабы сколько возможно в самом деле имеющую к вам великую облигацию показать»².

Ниже мы увидим, что интриган не страдал избытком благородства и отплатил Макарову черной неблагодарностью. Поведение Остермана во время следствий над Макаровым высветило еще одну черту характера этого дельца — свойственную мелким натурам мстительность.

Десятилетнее правление Анны Иоанновны вошло в историю под названием «бироновщина». Было бы правильнее именовать это время «остермановщиной». По сути, фаворит императрицы Бирон — марионетка в руках Остермана. За спиной невежды, грубияна и проходимца стоял ловкий и коварный делец, не гнушавшийся никакими средствами для достижения карьеры, умевший терпеливо ждать своего часа. Он шел к власти крадучись, устраняя с пути соперников коварными приемами. Многих русских людей он отправил в ссылку и на плаху.

Отношение двора быстро уловила челядь Макарова и в прошлом близкие к нему люди. Именно от них исходили первые доносы на своего патрона, они же являлись инициаторами следствий, долгих и унижительных разбирательств.

Первый донос последовал в 1731 г., когда в ночь с 23 на 24 июля в летней резиденции Анны Иоанновны было обнаружено подметное письмо императрице и Сенату. Анна Иоанновна поручила расследование доноса Тайной канцелярии. Заметим, что в обвинениях, выдвинутых анонимными авторами доноса, не было ни одного пункта, который бы давал основание передать дело на расследование учреждению, занимавшемуся разбирательством политических преступлений. Тайной канцелярии удалось без особого труда установить авторов, подписавшихся словами «нижайшие рабы ваши». Оказалось, что под ними скрывались два лица: приказчик Макарова, его крепостной Федор Денисов, и солдат лейб-гвардии Измайловского полка Филимон Алтухов. Первый из них сочинил черновик доноса, а второй переписал его набело и затем подбросил в покои императрицы.

Доносчики обвиняли Макарова, выражаясь современным языком, в разного рода уголовных преступлениях: в хищении пожитков опальных

Петра Андреевича Толстого и обер-фискала Алексея Нестерова; в уклонении от уплаты оброчных денег за слободу Шибекину; в захвате земель и насилиях, творимых крепостными Макарова над крестьянами других помещиков; в продаже вина с утайкой пошрины; в укрывательстве дворян и беглых рекрутов от службы; в покровительстве провинциал-фискалу Петру Тютчеву, выполнявшему вопреки запретительным указам винные и хлебные подряды. Все обвинения, за исключением одного, оказались чистой воды наветом.

Единственное противозаконное действие Макарова состояло в том, что он пошел на мировую «с смертоубийцами, с Васильем да Павлом Потресовыми». Оба они избили до смерти крепостного Макарова. Алексей Васильевич подал челобитную в Юстиц-коллегию, та поручила разбирательство севской провинциальной канцелярии, которая переправила дело в брянскую воеводскую канцелярию. Убедившись в том, что дело приняло затяжной характер и его исходу не видно конца, Макаров пошел на мировую с братьями Потресовыми. Денисов в извете написал, что убийцы откупились от Макарова, отдав ему «многих крестьян». Может, так оно и было, но юридически сделка была оформлена по всем правилам, и к Макарову не могли предъявить претензий никакие инстанции: братья продали Макарову крестьян, живших у него в бегах.

Получив от Макарова челобитную с обязательством не предъявлять соседям иска, брянские власти прекратили дело. Это постановление воеводской канцелярии, как и мировая челобитная Макарова, противоречило Уложению 1649 г., запрещающему мировые по делам, связанным с убийствами. Следствие установило и побудительные мотивы написания извета.

Федор Денисов, управляя рыльскими вотчинами Макарова, пользовался тем, что у помещика не было возможности навещать их и контролировать действия приказчика, и вел себя так, что вызвал жалобы крестьян. Денисов стал выдавать себя то за отставного солдата, то за курского дворянина, женился на дочери обедневшей вловы-дворянки и занялся скупкой земли и крестьян на имя тещи, оплачивая сделки деньгами Макарова. Хлестаковские замашки приказчика крестьяне, возможно, стерпели бы, если бы его хозяйственная прыть не обернулась для них дополнительными повинностями. Дело в том, что Денисов использовал крестьян Макарова в купленных на имя тещи вотчинах: «И за тою-де работою у крестьян ево, Макарова, хлеб в удобное время не убираетца, от чего им убыток и разорение».

Опираясь на жалобу крестьян, Макаров отправил челобитную в севскую провинциальную канцелярию. Но «Денисов против одного челобитья в роспрос не пошел, а сказал, что-де он по тому челобитью во всем виновен, а отставным солдатом писался от незнания». В Севске Денисов подвергся суровому наказанию: он был бит вместо кнута батожем и «отдан ему, Макарову, з женою и з детьми в холопство».

Совершенно очевидно, что приказчик, лишившись неправого стяжания, затаил злобу, да и сам он признался, что написал донос, чтобы отомстить

Макарову за учиненные «ему, Денисову, и теще ево обиды». Что касается Алтухова, то Денисов привлек его в сообщники потому, что слышал от Алтухова, что «многие ему, Алтухову, от Макарова чинятся обиды».

Мера наказания Денисова неизвестна. Видимо, ее должен был определить сам Макаров, поскольку Денисов был его крепостным. Что касается Алтухова, то Тайная канцелярия указом от 22 марта 1733 г. велела его «бить кнутом и послать в Сибирь на серебряные заводы вечно». Вынося суровый приговор Алтухову, канцелярия руководствовалась отнюдь не стремлением защитить Макарова и отбить охоту подавать на него изветы с ложными обвинениями. Дело в том, что во время следствия у Алтухова были обнаружены волшебные письма с заговорами и богомерзким содержанием³.

Месяц спустя императрица утвердила приговор Тайной канцелярии. Казалось бы, вопрос исчерпан — Макаров реабилитирован, пороки наказаны. Но Макарову от этого не стало легче: не успело закончиться первое следствие, как началось второе, грозившее ему куда более серьезными неприятностями.

Когда перечитываешь список лиц, привлеченных по второму следствию, то создается впечатление, что это семейная свара, ибо главные действующие лица находились между собой в родственных отношениях.

Петр Стечкин являлся племянником А. В. Макарова, а его супруга Наталья была падчерицей умершего Федора Калинина. Следовательно, Федор Калинин доводился Макарову шурином. Автор доноса Василий Калинин и его брат Лев были племянниками Федора Калинина, т. е. тоже являлись дальними родственниками Макарова.

Родственные отношения цементировались деловыми связями. «Отставной Акцизной каморы директор» Федор Калинин был своим человеком в семье Макарова. Он состоял компаньоном Алексея Васильевича в содержании суконной мануфактуры и жил в его московском доме. После смерти в 1726 г. брата кабинет-секретаря, Ивана Васильевича, Федор Калинин ведал домом и деревнями умершего. Василий Калинин был канцеляристом в Кабинете его величества, т. е. находился в подчинении Макарова. В свое время он пользовался полным доверием кабинет-секретаря, ибо, по словам Алексея Васильевича, «несколько лет жил у него, Макарова, в доме, и домовые всякие письма были у него, Калинина, на руках». После ликвидации Кабинета и назначения Макарова на должность президента Камер-коллегии Алексей Васильевич пристроил Василия Калинина канцеляристом в это учреждение.

Во главе клана стоял Алексей Васильевич, среди всех родственников, как ближних, так и дальних, достигший в службе и чинах наивысших успехов. Прочие представители клана довольствовались более скромными достижениями и, естественно, нуждались в попечительстве своего более способного и удачливого родственника. Тот охотно помогал каждому из них. Брат Алексея Васильевича — Иван закончил жизнь дьяком, т. е. достиг довольно высокой должности на бюрократической стезе.

Опекал Макаров и двоюродных братьев. Один из них, Петр Шапкин, во время Прутского похода оказался в османском плену. Алексей Васильевич принял энергичные меры, чтобы вызволить родственника из беды. Он подключил к делу двух влиятельных людей, располагавших возможностями помочь кабинет-секретарю: вице-канцлера П. П. Шафирова, отправленного царем в османский лагерь в качестве заложника выполнения Россией условий Прутского мирного договора, и фельдмаршала Б. П. Шереметева, командовавшего русской армией, размещавшейся после выхода из окружения на Пруте в пределах Украины.

Шереметев и Шафиров откликнулись на просьбу Макарова и приняли живейшее участие в освобождении пленника. Не прошло и трех недель со дня, когда Шафиров отправился в османский обоз, как Макаров получил от него письмо с извещением о судьбе двоюродного брата: «Оной подлинно обретается в Бендере за караулом». Далее вице-канцлер сообщил, что ему удалось связаться с османскими министрами, которые его заверили в том, что «о свободе его (Шапкина. — Н. П.) писать в Бендере к паше будут и сюда отпустить велят». Утешительные известия были получены и от Шереметева. В конце 1711 г. фельдмаршал уведомил Макарова, что для обмена на Петра Шапкина сыскал «здесь турченина и послал в Белую Церковь».

Хлопоты, однако, не увенчались успехом. В августе следующего года Шафиров отправил Макарову письмо с печальным известием: он, Шафиров, «яко о своем присном старался... но за неописанными здешних господ поступками того сперва учинить не мог. А потом, в июле месяце, оной ваш брат, сидя в заключении, умре моровою язвою, которая здесь зело умножилась»⁴.

Другого двоюродного брата Макарова — Василия Шапкина судьба забросила в Лондон. Там он обучался, как упоминалось выше, кораблестроению и помогал Федору Салтыкову в закупке кораблей для русского флота. Судя по всему, Шапкину жилось в Лондоне несладко, и он осаждал брата жалобами на материальные затруднения: докучать Салтыкову он больше не мог, так как, сетовал братец, у него «много дела и без моей доуки». Несколько месяцев спустя, в августе 1713 г., он повторил просьбу о назначении ему жалованья, подкрепив ее таким доводом: «ево братья вся у дела», т. е. обучаются в Лондоне ремеслам и наукам, а он тратит время бесполезно. В конце письма имеется текст загадочного содержания. Шапкин просил Макарова отозвать его «от сего дела, ежели в вашей возможности будет, понеже я опасен весьма, чтоб не прильнуло ко мне в корабельном деле, о чем я пространно писать не могу».

Не свидетельствуют ли эти зашифрованные строки об осведомленности Василия Шапкина о расходовании Салтыковым казенных денег на личные нужды и о его опасениях в этой связи за свою судьбу?

Заботой о жалованье проникнуто еще одно письмо Шапкина, в котором он опять просил об освобождении от службы у Салтыкова. Шапкин

претендовал на маленькое, но самостоятельное дело, выполняя которое он располагал бы временем для обучения механике, архитектуре, инженерству и т. д.

Макаров, надо полагать, внял просьбам брата. Во всяком случае, в сентябре того же 1713 г. Василий Шапкин находился уже в Ревеле. Об этом говорит письмо Василия Зотова Макарову, в котором Шапкин аттестован не лучшим образом: «Вашей милости брат господин Шапкин обретается в Ревеле в добром здравии, только Каневский приносит мне на него о нерадетельном ево учении и о непорядочном обхождении жалобы...» И далее: «...благоволите отписать, какому наказанию за противности позволите приводить. Однако же инако унять невозможно, кроме того как обстоит в солдацком обхождении». Был ли подвергнут непутевый Шапкин экзекуции, мы не знаем. Известно только, что после Ревеля он оказался в Казани, оттуда в недатированном письме, что после Ревеля он оказался в Казани, оттуда в недатированном письме, что после Ревеля он оказался в Казани, оттуда в недатированном письме от извещал кабинет-секретаря о постройке 100 буеро⁵.

Племянник Макарова Петр Стечкин выбился в потомственные дворяне, надо полагать, тоже не без помощи дяди. Шурина Федору Климонтовичу Калинину Макаров помог стать «Акцизной каморы директором». Протежировал Макаров, как уже отмечалось, и Василию Калинину.

Отношения между родственниками до смерти Федора Калинина в конце 1731 г. не представляли, по всей видимости, ничего заслуживающего внимания. Но уход из жизни одинокого человека, не оставившего завещания, посеял среди них раздор. Инициатором ссоры был Василий Калинин, претендовавший на получение дома умершего. Другой племянник — Лев Калинин — пребывал в Кирилло-Белозерском монастыре и, надо думать, проявлял меньшее рвение к мирским заботам и к наследованию имущества дяди.

Изучение следственного дела не прояснило вопроса, чем руководствовался Алексей Васильевич Макаров, когда посчитал, что наследовать имущество должен был не Василий, а Лев Калинин. Возможно, что между Макаровым и Василием Калининым к тому времени установились неприязненные отношения, вылившиеся в жестокую вражду. Но столь же вероятно объяснить поведение Макарова воздействием падчерицы покойного Натальи Стечкиной — женщины, по всему видно, энергичной и властной, делавшей все от нее зависящее, чтобы воспрепятствовать удовлетворению алчных намерений Василия Калинина. Возможно, именно она своей настойчивостью вовлекла в свару дядю, которому, быть может, было глубоко безразлично, кому достанется дом и скarb умершего. Наконец, не лишено оснований предположение, что чувства Макарова и его племянницы к Василию Калинину — человеку, как увидим ниже, весьма несимпатичному — вполне совпадали, но поскольку тайному советнику было непристойно втягиваться в свару с канцеляристом, то с его молчаливого согласия, а может быть, и высказанного в осторожной форме поощрения, активной силой выступила Наталья Стечкина. От гаданий перейдем к описанию событий, развернувшихся в марте 1732 г.

12 марта Наталья Стечкина в сопровождении Льва Калинина и знаковых канцелярских служителей прибыла в дом Федора Калинина, чтобы выполнить повеление Макарова — изъять те письма и деловые бумаги из архива умершего, которые имели прямое касательство к Макарову. Еще раз напомним, что таких бумаг после Федора Калинина осталось немало, так как умерший был компаньоном Алексея Васильевича и душеприказчиком его брата Ивана.

Василий Калинин был опытным сутяжником и решил воспрепятствовать выполнению этого намерения многозначительным заявлением:

«Макаров в оных письмах власти не имеет. Разбирать их надлежит при отце духовном и при посторонних».

Довод показался Стечкиной настолько неотразимым, что она смутилась и вместе с сопровождавшими ее лицами отправилась в дом неподалеку жившего подьячего Шлякова. Смятение прошло, и полчаса спустя вся компания, но без Стечкиной вновь прибыла в дом Калинина с хитрым планом. Клевреты Макарова заявили:

«Надобно вышеписанное все разбирать, Алексей Васильевич приказал все к себе принести».

Калинин стоял на своем:

«Без отца духовного и без посторонних разбирать не дам!»

«Подите до отца духовного, мы подождем», — ответили непрощенные визитеры.

В то время как Василий Калинин разъезжал по Москве в поисках отца духовного, исполнители поручения Макарова, не ожидая его возвращения, сорвали замок и стали рыться в бумагах. Уложив то, что их интересовало, в два кулька, они отправились в дом Макарова.

После этого посещения клеветы Макарова в марте — апреле 1732 г. нанесли еще десять визитов в дом Федора Калинина, причем в отсутствие Василия Калинина, и каждый раз, согласно его версии, открывали чулан и рылись в сундуках. Иногда визитеры являлись ночью и грозились утопить Василия Калинина в Москве-реке.

«Я и ночевать дома завсегда весьма опасуюсь», — скажет позже Калинин.

Василий Калинин понял, что наследство, на которое он претендовал, уплывает из рук и ему не получить его до тех пор, пока в силе Макаров. Он решил свалить влиятельного соперника, нанеся ему удар, после которого он не мог бы оправиться. Так у Калинина созрела мысль настроичить донос.

В один из августовских дней 1732 г. Калинин явился к графу Семену Андреевичу Салтыкову, руководителю московской конторы Тайной канцелярии, и подал ему доношение. Читая его, недруги Макарова, очевидно, потирали руки от удовольствия: теперь уже ему несдобровать. Обвинений в адрес Макарова было выдвинуто столько и таких серьезных, что достаточно было подтверждения только одного из них, чтобы навсегда покончить с бывшим кабинет-секретарем.

Как только не честил Макарова Василий Калинин: «кабинетных дел похищатель», «интересов ее императорского величества подложник», «ее

императорского величества нарядной губитель», «ее императорского величества явной корытник или интересант и обидчик люцкой...»! Опытный представитель «красивного семени», человек с сомнительной репутацией в моральном плане, Калинин знал, как рассеять у начальства все сомнения относительно достоверности всего изложенного в доносе. Он закончил донос заботой о своей безопасности: «Также прошу придать мне для охранения лейб-гвардии солдат двух или трех человек для того: Алексей Макаров и Петр Стечкин завсегда всезлобные и вымышленно коварные свои происки имеют всякое мне избительство учинить, что я — человек беспомощной, от чего я опасуюсь от них за вышепоказанные их, Макарова и Стечкина, противные дела и смертного убивства». Столь же интригующими были и первые строки доноса. «Повели, государь, — обращался Калинин к Салтыкову, — для обстоятельного вашему превосходительству известия взять меня к себе в аудиенцию, чтоб другие того не знали, о чем пространно донесу вашему превосходительству»⁶.

В точности неизвестно, поддался ли Салтыков воздействию окутанного таинственностью начала и конца доноса и согласился ли дать просимую Калининным аудиенцию или велел принять его донос своим подчиненным, но последующие события развивались молниеносно. Тотчас после ознакомления с содержанием доноса в столицу полетела депеша. Ответа на нее Салтыкову долго ждать не довелось. Через шесть дней, 18 сентября 1732 г., он получил именной указ, предписывавший учредить «особливую комиссию» из гвардейских офицеров, которой поручить «без всякого послабления» расследовать донос Калинина. Через пару дней такая комиссия была создана. В ее состав вошли шесть офицеров — от поручика до подполковника. В распоряжение комиссии «для посылок» были назначены гвардии капрал и восемь рядовых, а также десять канцелярских служителей. Главную дирекцию над комиссией именной указ возложил на Салтыкова.

Из многочисленных обвинений Калинина, изложенных на 16 листах убористого текста, состоявшего из 17 пунктов, Макарова могли погубить те из них, где ему ставились в вину утайка прихода-расходных тетрадей Кабинета, а также писем Петра, царевича Алексея, князя Меншикова и, наконец, казнокрадство. Конечно же, Остермана и императрицу менее всего интересовали наследственные права Василия Калинина на дом умершего дяди, захват Макаровым вотчин Лутковского и прочие мелкие обвинения.

Чтобы не утомить читателя подробностями следствия, изложением содержания допросов Макарова и многочисленных свидетелей, а также дополнительных показаний Калинина, коротко остановимся на самом важном. Начнем с обвинения, которое и Калинин, и комиссия считали совершенно бесспорным.

Согласно версии Калинина, Макаров в 1728 г. вел с ним следующий разговор:

«В курмышской моей вотчине много вина и водки на винокуренном заводе изготовлено, не знаю, куда девать: в Нижнем винный подряд дешев,

а в Москву нельзя подрядиться — я в Камер-коллегии президент. Напиши письмо к костромским бурмистрам от себя в такой силе, чтоб они обратились с просьбой в Камер-коллегию обеспечить вином кружечные дворы».

«И я по тому ево, Макарова, приказу, — каялся Калинин, — к костромским бурмистрам никакими от него отговорками отойти не мог. Во оной силе письмо от себя и написал и отдал ему, Макарову». Тот отредактировал письмо и вернул его Калинин для переписки набело.

Обращаясь с доносом к Салтыкову, Калинин полагал, что имеет против Макарова неотразимую улику: предусмотрительно припрятав черновик письма костромским бурмистрам с правкой Алексея Васильевича, он теперь, четыре года спустя, изъявил готовность предъявить его комиссии. Действительно, в делах следственной комиссии и поныне хранится этот черновик, на который так рассчитывал Калинин.

Макаров ответил: относительно отправки письма «за долгопрошедшим временем сказать не упомнит», но в точности знает, что «на костромской кружечный двор вина своего собою и ничьим именем подрядом не ставливал и денег ис Костромской провинции, ис кружечного двора, ни за что он, Макаров, не бировал и брать никому не приказывал».

В случае если бы дело обстояло именно так, как его изобразил Калинин, Макарову грозило, употребляя современную терминологию, обвинение в злоупотреблении служебным положением. Дело в том, что еще при Петре I был издан указ, запрещающий чиновникам всех рангов под страхом смертной казни заключать контракты на поставку в казну продовольствия, промысловых изделий и вина.

Итак, следствие располагало двумя исключавшими друг друга версиями. Решить спор, кто прав — обвинитель или обвиняемый, могла костромская провинциальная канцелярия, куда и обратилась комиссия. Из Костромы ответили: жители города, бывшие в 1728 г. бурмистрами, показали, что они в том году никаких писем ни от Калинина, ни от Макарова не получали. Равным образом они отрицали и факт поставки вина с курмышской вотчины Макаровым или каким-либо подставным лицом. Обвинение, как видим, оказалось несостоятельным.

Калинин, далее, обвинял Макарова в обманном получении в аренду Шибеквиной слободы, что находилась в Белгородской губернии. Согласно доносу, Макаров в челобитной, поданной Сенату еще в 1720 г., изобразил дело так, что слобода являлась выморочной. По сведениям же Калинина, у слободы есть законная наследница — сестра умершего полковника Шибеки, которой якобы был выдан указ на право владения ею, подписанный графом Петром Матвеевичем Апраксиным. Если верить Калинин, Макаров не только незаконно пользовался слободой, но вдобавок к тому 13-й год «оброчных денег ни копейки не плачивал».

Макаров отвел и это обвинение. С присущим ему спокойствием он показал, что ему ничего не известно о челобитной сестры Шибеки, как неизвестен ему и указ о передаче ей слободы. Что касается оброчных денег, то он их ежегодно вносил в белгородскую губернскую канцелярию.

Калинин, однако, стоял на своем. Он упрямо твердил, что Макаров «никаких оброчных денег не плачивал», что слободка не выморочна, что «Макаров тою деревнею, слободкою Шибекиной, владеет силою своею и, утая законную наследницу, напрасно».

Наведенные справки обнаружили полную несостоятельность обвинения: указа о передаче слободки сестре полковника не существовало в природе. Ложным оказалось и утверждение о неуплате оброчных денег: они, как ответила белгородская губернская канцелярия, «плачены в Белгороде сполна по вся годы».

Не выдержало проверки и обвинение Макарова в том, что он самостоятельно, без ведома Сената, повысил оклады подьячим, составлявшим в 1727 и 1728 гг. описи кабинетных дел и участвовавшим в переписывании набело «Гистории Свейской войны». Согласно наведенным справкам было установлено, что им выплачивалось жалованье, определенное сенатским указом.

На нескольких страницах доноса Василий Калинин живописал о произволе Макарова. Под его пером Макаров предстает человеком зловещим и коварным. Оставаясь в тени, он якобы науськивал то своих служителей, то родственников, чтобы те врываются в дом, на наследование которым претендовал Калинин, и под покровом ночи хозяйничали в нем: изымали документы, письма, растаскивали имущество покойного, избивали или угрожали избиением домочадцам и слугам Василия Калинина.

Макаров, естественно, все это отвергал и признал только одно: лишь однажды он приезжал вместе со Стечкиным и его супругой в дом умершего Калинина, чтобы «собрать и запереть платье и прочей скарб в чулан и, заперши, ключ от чулана к себе ей взять». Макаров объяснял свои действия стремлением выполнить волю покойного: «Он, Федор Калинин, еще будучи живой, просил ево, Макарова, чтоб он по смерти ево ис пожитков ево помянул и церковь достроил». Интерес к деловым бумагам умершего Макаров мотивировал тем, что Федор Калинин «ведал дом ево, Макарова, и деревни, також и завод суконный в небытие ево, Макарова, в Москве»⁷.

В искренности показаний Макарова можно было бы усомниться, если бы они не были подтверждены теми, кто, по словам Василия Калинина, тайно навещал дом покойного дяди и множество раз, нагрузившись бумагами, отвозил их Макарову. Заметим, что каждый из клеветов Макарова был заинтересован в том, чтобы, обеляя себя, взвалить вину за свой визит в дом Калинина на Макарова: они, дескать, действовали не «собою», а по наущению бывшего кабинет-секретаря. Допрошенные, однако, показали, что они доставили Макарову лишь документы хозяйственного содержания за те годы, когда Федор Калинин выполнял обязанности его приказчика.

Самую серьезную угрозу для Макарова представляли обвинения в утайке служебных писем Петра, царевича Алексея и князя Меншикова, а также деловых бумаг Кабинета, в том числе приходо-расходных книг. Пос-

ледние, согласно версии Калинина, Макаров скрыл, чтобы замести следы своего казнокрадства.

Оправдываться Макарову было не просто хотя бы потому, что дела имели 20-летнюю, а иногда и 30-летнюю давность и он, даже напрягая свою память, не всегда мог припомнить мотивы, которыми руководствовался, оставляя те или иные документы не в кабинетском, а в личном архиве. Тем не менее каждый непредубежденный следователь мог бы убедиться в искренности показаний Макарова.

Алексей Васильевич признал наличие у него писем царя, царевича Алексея и Меншикова, но тут же объяснил, что не сдал их в архив Кабинета потому, что все они носили сугубо личный характер и не имели отношения к Кабинету. О приходо-расходных тетрадах Макаров показал, что это черновики, которые он вел для памяти во время походов, и с них «как приход, так и расход внесен в настоящие расходные книги». Кстати, следственная комиссия располагала справкой, что приходо-расходные книги за 12 лет, с 1705 по 1716 г., обревизованы и в них никаких неисправностей не обнаружено. Журнальные записки с правкой царя тоже были черновыми. По терминологии Макарова, вариант записки, хранившийся в его архиве, «был черной несостоятельной», а в архиве Кабинета хранятся беловой экземпляр и «два или три черненья его же императорского величества». Кстати, «несостоятельной» черновик исчез из архива Макарова, и тот высказал предположение: «...может-де быть, оной журнал похитил означенный же доноситель Калинин»⁴. Таким образом, и это обвинение не выдержало проверки.

Для самого Алексея Васильевича еще в начале следствия была очевидной совершенная необоснованность обвинений. Он, надо полагать, считал происходившее неприятным недоразумением, а рвение следственной комиссии — плодом инициативы, о которой там, в Петербурге, понятия не имели. Только подобным ходом мыслей можно объяснить поступок Макарова: во второй половине октября 1732 г. он обратился к Остерману с просьбой подать руку помощи.

Нашел же Макаров к кому обращаться за помощью! Современники, похоже, так Остермана и не раскусили. Андрей Иванович обладал удивительной способностью прикидываться доброжелательным человеком и ловко скрывать свое подлинное отношение к людям. Он охотно расточал комплименты с медоточивой улыбкой, умел терпеливо и искусно плести интригу, сеять вражду между своими противниками и сталкивать их лбами. Тяжелобольной Меншиков из своего подневольного путешествия в Ранненбург обращался с просьбой не к Головкину и Апраксину, а именно к Остерману, не подозревая, что именно Андрей Иванович сыграл роковую роль в его судьбе. Точно так же и Макаров, не подозревавший, что все нити следствия находились в руках Остермана и что прежде всего он, и никто иной, рыл ему яму, обратился к нему со словами мольбы, чтобы тот вызволил его из беды.

Макаров писал Остерману, что «плут и подозрительный человек» Василий Калинин клеветнически обвинил его во многих прегрешениях, жа-

ловался на то, что комиссия «спрашивала» с него «лет за двадцать за пять и больше», т. е. о делах, им забытых, и просил: «...в судьбе моей невинности предстать и от одного злоковерного злодея мене оборонить». Письмо заканчивалось собственноручной припиской Макарова: «Государь мой милостивой, Бога ради, сотворите со мною бедным свою высокую милость, чтоб я от такой безвременной печали не умер, за что господь Бог и самих вас не оставит».

Остерман остался глухим к мольбам бывшего кабинет-секретаря. Без всякой надежды на помощь оставил Макарова и канцлер Головкин. В конечном счете Макаров, лишенный влиятельных заступников, оказался окруженным равнодушным молчанием.

Между тем следствие подходило к завершению. Одним за другим выпускали на свободу привлеченных к дознанию и находившихся под стражей. Вынесен был и приговор — точнее, определение «со мнением», т. е. своего рода проект приговора, переданный на утверждение Салтыкову.

Комиссия не признала доказательным объяснение Макаровым причин хранения у себя приходо-расходных тетрадей, а затем и их исчезновения и предложила держать его под арестом до тех пор, пока он не представит убедительных доказательств. С Макарова, кроме того, решено было взыскать в двойном размере сумму, о расходовании которой он не отчитался. Относительно этих денег Макаров заявил: брал их «на разные расходы, а на государевы или на собственные ево, Макарова, расходы — то он не упомнит». Комиссия тоже не располагала данными о том, что 174 р. 10 к. Макаров издержал на собственные нужды, однако это не удержало ее от определения взыскать с Макарова 348 р. 20 к., что было не чем иным, как проявлением ее произвола.

А что случилось с Калининым?

С ним произошла метаморфоза: из обвинителя он превратился в обвиняемого. Комиссия была вынуждена признать донос Калинина «неправым», ибо не подтвердилось ни одно из выдвинутых им обвинений. Мера наказания Калинину была такова — бить кнутом, но тут же имелась оговорка, придававшая приговору своего рода условный характер: «Токмо, по мнению следственной комиссии, до того времени, как от тайного советника Макарова положены будут приходные и расходные тетради и учинено по ним по следствию окончание, оное наказание чинить ему, доносителю, опасно».

Итак, следствие показало, что донос Калинина был сработан настолько топорно, что комиссия не нашла возможным предъявить на его основе серьезных обвинений Макарову. Правда, Остерман еще предпринимал попытки спасти процесс и подбросил комиссии дополнительные вопросы для расследования, но даже если бы комиссии удалось добыть компрометирующие Макарова данные, они уже не могли ничего изменить. Интерес к следствию у власть предержащих иссяк. Забыт был и инициатор возникновения следственного дела Василий Калинин — он еще многие годы томился в тюрьме.

Канцелярия Кабинета министров зарегистрировала следующее доношение Салтыкова: «Он многими доношениями с 736 года представлял и требовал указу, что чинить с содержащемся там в Москве под караулом доносителе канцеляристе Василии Калинине, который доносил на тайного советника Алексея Макарова, на которые доношения и поныне указу не получил, и требует, что с ним чинить, указу». Доношение было внесено в журнал входящих документов 18 октября 1738 г.⁹ Таким образом, после прекращения следствия Калинина еще пять лет держали в заключении. Это обстоятельство можно воспринять как возмездие.

Первое следствие не давало повода для безнадёжного уныния. Без существенного ущерба для Макарова закончилось и второе. Но вот третье... Оно было настолько зловещим, что взбаламутило жизнь Макарова и его семьи: благополучное прошлое осталось лишь в воспоминаниях; что касается будущего, то оно не сулило никаких радостей. Потянулись дни, месяцы и годы беспросветной тоски и вынужденного безделья.

На этот раз обвинения не имели никакого отношения ни к злоупотреблениям властью, ни к казнокрадству, ни к службе Макарова вообще. Эпицентром событий были подмосковные Берлюковская и Саровская пустыни, а главными действующими лицами — монахи этих пустынь.

Какая, однако, могла быть связь между монахами и сугубо светским человеком Макаровым, за которым, кажется, ранее не водилось никаких грешков касательно твердости в вере? Чтобы разобраться в сложных переплетениях следствия, вернемся к событиям, происшедшим ровно за год до рокового дня, когда Макаров оказался под надзором тюремщиков.

13 декабря 1733 г. в московскую синодальную контору явился саровский монах Георгий с доношением, в котором объявлял себя богоотступником и просил архиепископа ростовского Иоакима, управлявшего пустыню, рассеять все его сомнения. Архиепископ отправил просителя в синодальную канцелярию, и там Григорий Зворыкин — так в миру звали доносителя — показал на себя множество прегрешений: он общался с нечистым духом во плоти немца Вейца и его двух слуг-бесов, отрекся от веры, перестал посещать церковь. За богоотступничество Вейц обещал Зворыкину почести и богатство. Зворыкин, однако, не поддался соблазну. Напротив, ради искупления своих грехов он решил постричься, и это свое намерение осуществил в Саровской пустыне. Но преследования Вейца не прекратились: он возобновил требование отречься от Христа, бесы истязали новоиспеченного монаха, сбрасывали его с лестницы, поднимали ввысь. Обо всем этом он рассказал на исповеди своему духовнику Иосии, у которого просил разрешения переселиться в Берлюковскую пустынь, где, по его сведениям, монахи вели суровый образ жизни.

Простой перечень наговоренных на себя обвинений свидетельствовал, что Зворыкин был психически больным человеком, подверженным галлюцинациям. И тем не менее поведение Зворыкина крайне взволновало монашествующих Берлюковской пустыни и ее строителя Иосию. Дело в том, что еще в августе 1732 г. Синод издал указ, введивший множество стро-

гостей в жизнь монахов. Указом, в частности, велено было произвести чистку монастырей, для того чтобы освободить их от всех незаконно постриженных или самовольно переселившихся из других обителей. Монастыри напоминали потревоженный улей: беды ожидали как самовольно принявшие монашеский чин, так и настоятели, незаконно державшие монахов. Слухи о том, что Зворыкин подал доношение, внесли еще большее смятение.

Иосия терзался сомнениями: не донести на Георгия опасно, ибо Зворыкин во время дознания мог наболтать много лишнего и тогда ему, Иосии, несдобровать, но и донести тоже риск. А вдруг, рассуждал Иосия, «Зворыкин по тому ево доношению в вышепоказанной важности запрется, то ево, Самгина (фамилия Иосии до пострижения. — Н. П.), станут пытать».

Доподлинно неизвестно, сколь долго Самгин — Иосия находился в плену сомнений. В конце концов он все более склонялся к мысли о необходимости подать донос. Самгин рассчитывал, что Зворыкину не сносить головы, ибо на исповеди тот признался, что вместе со своими приятелями хотел известить царя Петра. Перед тем как снести донос графу Салтыкову, Самгин все же решил посоветоваться со сведущими людьми. Отправился он к князю Ивану Одоевскому, но тот не дал удобного ему совета: Одоевский счел неудобным использовать для доноса признание на исповеди. От Одоевского Самгин пошел к Макарову, но не застал того дома. Настало время принимать решение, и Самгин сделал шаг, ставший роковым: он-таки подал донос Салтыкову, правда, изъяв из него обвинение в намерении совершить цареубийство. В доносе речь шла о безбожии и чародействе Зворыкина.

Синодальная канцелярия передала донос ктитора Тайной канцелярии, а та распорядилась немедленно арестовать Зворыкина, Самгина и других монахов. Отправленные в Саровскую пустынь нарочные обнаружили там компрометирующие монахов материалы, в том числе тетради с рассуждениями о монашестве и сочинение Родышевского. Оказалось, что Иосия придерживался взглядов, близких к высказываниям Родышевского. Иосия говаривал, что в России подобает быть вместо Синода патриарху, или: «А что вотчины вклад в монастырь давать запрещено, и то весьма противно воле божией учинено».

Дело представлялось настолько важным, что Тайная канцелярия велела своей московской конторе доставить всех арестованных в Петербург и сама взялась за следствие. К нему был привлечен и Феофан Прокопович. Свое участие в следствии Прокопович начал с подачи императрице критического разбора сочинения Родышевского.

Архимандрит Маркел Родышевский долгое время был приятелем Прокоповича. Но в 1732 г. было найдено подметное письмо с осуждением церковной реформы Петра и отмены патриаршества. Феофан Прокопович заподозрил Родышевского в причастности к сочинению письма. Этого было достаточно, чтобы между приятелями появилась размолвка, быстро переросшая во вражду.

Феофан ревниво следил как за своей репутацией человека беспредельно преданного трону, так и за чистотой веры и не стеснялся в выборе средств борьбы со своими противниками. Великолепно владея пером, он умел придать какому-либо пустячку характер государственного преступления и обвинить своих противников в дерзновенных планах вызвать в стране мятеж против Анны Иоанновны. Изучив характер императрицы и обнаружив в нем крайнюю подозрительность, он ловко использовал эту черту в своих интересах, пугая Анну Иоанновну призраком заговоров.

В сочинении Прокоповича Родышевский изображен опасным бунтовщиком. Полемическое перо Феофана вывело следующие слова, обращенные к императрице: «Но чего я без ужаса видеть не мог, наполнено оное письмишко нестерпимых ругательств и лаев на царствовавших в России блаженные и вечнодостойные памяти вашего величества предков. Славные и благотворные их, государей, некие указы, уставы, узаконения явственню порочит и, яко богопротивные, отметаает». Далее следует общая оценка труда Родышевского, столь же прозрачная по своим целям, как и содержащая натяжку: «...письмо сие не ино что есть, только готовый и нарочитый факел к зажжению смуты, мятежа и бунта».

Подобным заключением нетрудно было загнать в угол даже Тайную канцелярию и стимулировать активность в удобном направлении самого кнutoбойца Андрея Ивановича Ушакова.

Репутация шефа Тайной розыскных дел канцелярии Ушакова хорошо известна. Он не нуждался в понуканиях и сам проявлял изощренную изобретательность, чтобы принудить жертву, попавшую в его лапы, к любым признаниям. Тем не менее даже Ушаков был несколько смущен программой действий Тайной канцелярии, начертанной «смирненным богомольцем»: «Мнение мое на вторую потребу состоит в изследовании советников, укажчиков и помощников и о других в деле сем сообщавшихся ему, також и неких обстоятельств, которые к ясному затеек показанию надобны». Прокопович был убежден, что у Родышевского «были некие прилежные наустители, которые плутца сего к тому привели, отворяя ему страх показанием новой некоей имеющей быть перемены, нового в государстве состояния, и обнадеживая дурака великим высокою чина за таковой его труд награждением»¹⁰.

Итак, Прокопович нацеливал Тайную канцелярию на привлечение к следствию лиц, которые, оставаясь пока в неизвестности, являлись фактическими подстрекателями и руководителями Родышевского. Последний, по отзыву Феофана, «по природе своей зело труслив» и «скуден в рассуждении». Так была подведена база под преследование Макарова и привлечение его к новому следствию.

У Прокоповича с Макаровым сложились напряженные отношения еще в годы, когда Алексей Васильевич был кабинет-секретарем. При Петре I Феофан гасил свою неприязнь, но при Анне Иоанновне осмеливался заявлять о ней открыто. В доношении, поданном императрице в ноябре 1731 г., об уплате жалованья синодальным членам он писал, что

этот вопрос рассматривался еще Петром I в 1724 г. и был решен им положительно: царь велел Макарову сочинить соответствующий указ. «Но, — читаем в доношении, — господин Макаров, слышав тот его императорского величества именной про нас указ, никогда нигде не изволил объявить, хотя мы неоднократно о том стужали ему. А для чего не изволил того делать оный господин — совесть его знает, и на суде божию оправдит или осудит его»¹¹.

Прокопович, однако, не стал ожидать «суда божия» и воспользовался судом Тайной канцелярии. Согласно концепции Прокоповича, действиями Родышевского руководили опытные интриганы, рассчитывавшие на «перемены» в правительстве. Роль такого советника Прокопович отвел Макарову. Кстати, не лишена оснований догадка, что Прокопович и сочинил свою концепцию с целью свести счеты с Алексеем Васильевичем.

Как бы там ни было, но 29 ноября 1734 г. конной гвардии адъютанту Алексею Извольскому был вручен именной указ, обязывавший его немедленно отправиться во главе восьми рейтар и одного унтер-офицера в Москву. Прибыв в старую столицу, «не заезжая никуда», надлежало держать путь к дому бывшего президента Камер-коллегии Макарова и тут же расставить караул, «чтоб никого не выпускали и пожитков никаких увезено быть не могло». Тюремщику предписывалось все письма и имущество, «ничего не выключая, и положила письма в особливый сундук, а пожитки и вещи в другие, собрав все то в одной палате, запечатать своею и его, Макарова, печатью и приставить пристойный от себя караул, и накрепко смотреть, чтоб ничего утаено или на сторону увезено и утрачено не было». Пожитки велено было оставить в доме Макарова, а письма и документы — доставить в Петербург. Ни Макарову, ни членам его семьи не разрешалось выходить за пределы двора, им запрещалось и кого-либо принимать. Таким образом, для Макарова, его жены и детей устанавливался режим домашнего заключения. Забегая вперед, сообщим, что он продолжался вплоть до смерти Макарова, т. е. около пяти лет¹².

У Алексея Васильевича началась жизнь, полная волнений и тревог. Он, естественно, не мог знать, когда и как закончится следствие, какие планы имела Тайная канцелярия. Быть может, покои собственного дома придется сменить на каземат Петропавловской крепости, а может статься, показания доведется давать вздернутым на дыбу. Сам он, не чувствуя за собой вины, возможно, томительно ожидал, что вот-вот прискачет курьер с извещением, что все обвинения с него сняты, и драгуны, несшие караул у его дома, будут отправлены в гвардейские казармы. Но проходили дни, месяцы и годы, а положение его оставалось прежним.

Причастность Макарова к процессу монахов Саровской и Берлюковской пустынь вызывает ряд недоуменных вопросов. Какие обстоятельства свели Макарова с монахами, стоявшими в социальной иерархии неизмеримо ниже, чем он сам? Как Иосия стал своим человеком в доме Макарова?

В 1733 г. у Макаровых умерла дочь. Парчу, покрывавшую гроб, супруга Макарова намеревалась поднести какой-либо убогой церкви. Про-

слышав об этом, Авдотья Одоевская, родная сестра супруги Макарова, посоветовала:

«Есть Берляюковская пустынь. Она бедна. Тое парчю надобно отдать в пустынь».

Анастасия Ивановна согласилась с мнением сестры, но заметила:

«Я в той пустыни никого не знаю».

Авдотья обещала помочь:

«Я пришлю к тебе той пустыни строителя».

Так Иосия стал вхож в дом Макарова. Связи упрочились после того, как по совету той же Авдотьи Иосия стал духовником семьи Макаровых. С тех пор Иосия либо один, либо в сопровождении кого-либо из монахов частенько заезжал к Макаровым то с просьбой похлопотать о монастырских нуждах, то для получения милостыни, то, наконец, для исповеди. Супруга Макарова тоже однажды навестила Берляюковскую пустынь.

Теперь становятся понятными действия Самгина — Иосии, отправившегося в критическую минуту, т. е. перед тем, как подать донос, за советом к Макарову: более влиятельного и сведущего консультанта у него не было.

Упоминание имени Макарова в первом же допросе Самгина дало Тайной канцелярии, как говорится, зацепку, путеводную нить. В дальнейшем ей удалось выудить кое-какие дополнительные сведения, благо общительный и словоохотливый Самгин во время своих визитов в дом Макарова вел с главой семьи оживленные беседы на самые разные темы. После таких визитов Иосия делился впечатлениями от бесед с другими монахами, непосредственно с Макаровым не общавшимися. Как только к следствию в качестве эксперта был привлечен Феофан Прокопович, он постарался придать процессу политическую окраску. Такой вывод напрашивается при изучении вопросных пунктов, предъявленных обвиняемым. Тайную канцелярию интересовало отношение Макарова к иноземцам и императрице, к ликвидации патриаршества и положению крестьян, пашни которых были в течение нескольких лет поражены неурожаем.

Известна неприязнь русских к иноземному засилью в правление Анны Иоанновны. Эта неприязненность проникла и во дворцы вельмож, и в хижины пахарей, не миновала она и монашеской кельи. У Якова Самгина настойчиво допытывались, как следует понимать его слова о том, что нашествие немцев в Россию — божье наказание, и кого он имел в виду, когда говорил, что «большие при дворце иноземцы».

В некоторых вопросах просматривается попытка инкриминировать Макарову неуважительное отношение к императрице. Следователи выясняли, действительно ли Макаров сетовал на изменение отношения к себе Анны Иоанновны: когда она «не соизволила еще быть в России, то соизволила-де писать ко оному Макарову просительные письма, и оный-де Макаров надеялся быть, как ее императорское величество прибудет в Россию, при ней», но этого не случилось.

Насколько шаткой была эта попытка и сколь слабым обличительным материалом против Макарова располагала Тайная канцелярия, можно су-

дить по вопросу, заданному Самгину: «Тогда, как оные Макаров и жена ево о вышеобъявленном говорили, какую в них злобу и свирепость по лицу ты их присмотрел и с великого ль сердца о вышеозначенном Макаров и жена ево говорили?»

Самгин поначалу уклонялся от ответов, ссылаясь на то, что «того не упомнит». Категорический ответ он дал лишь на один вопрос: «Только-де злобы и свирепства от одного Макарова и от жены ево по лицу их ни при каких разговорах никогда он, Самгин, не видал».

После допроса Самгин «вспомнил» одну существенную деталь. Сначала он заявлял, что запомнил, кто отзывался о Макарове как о человеке «умном и добром», а затем «восстановил» в памяти важный эпизод. Трудно сказать, какими были подлинные мотивы «забывчивости» Самгина.

На основании показаний Самгина во время следствия можно сделать вывод, что он вел себя по отношению к Макарову по-рыцарски. Во всяком случае, он не вооружил Тайную канцелярию ни одной уликой против Макарова. Вполне вероятно, что он и в данном случае пытался выгородить Алексея Васильевича, отвести от него обвинение в произнесении слов, косвенно осуждающих поведение императрицы и изобличающих ее неблагодарность. Он «припомнил», что как-то имел разговор с князем Путятиным. Князь, узнав, что Самгин являлся духовником Макарова, обратился к нему за посредничеством, чтобы тот уладил небольшой конфликт с Алексеем Васильевичем.

По свидетельству Самгина, во время беседы князь Путятин произнес следующий монолог: «Оной Макаров, человек умный и милостивой, был приступен, когда-де в силе был, а ныне-де ему не так, как прежде. Мы-де надеялись, и ныне быть ему в прежней же силе. Когда-де государыня еще не воцарилась, писывала ко оному Макарову милостивые письма (а какие именно — не выговорил). А как-де государыня воцарилась, то у одного Макарова взяли к государыне письма, а какие имянно — не выговорил же... Мы-де думали, что государыня, увидя те милостивые письма, велит-де оному Макарову быть при доме своем, а ныне-де сделалось не так, и он-де, Самгин, спросил, для чего-де не так, и Путятин-де сказал: "Ныне при доме ее величества более все иноземцы"».

Самгин, как видим, переложил всю вину на плечи князя Путятина, справедливо полагая, что князь выдержит любые обвинения: к тому времени он был уже мертв.

Старался Иосия, видимо, зря, ибо Макаров признал, что говаривал ему и о получении милостивых писем от курляндской герцогини, и об изъятии этих писем комиссией Салтыкова, и, наконец, поделился с ним своей печалью: рассчитывал быть «при ее величестве, а-де вот оставили при Камор-коллегии». Всеми этими мыслями Макаров, по собственному его признанию, делился с Иосией «спроста, яко отцу тогда духовному»¹³.

Супруга Макарова тоже призналась, что она в разговоре с Иосией сетовала на изъятие писем, потому что «он ей был отец духовной, чтоб об них помолился, что они по оному, Калинина, доношению имеют печаль»;

что-де присылаемые от ее императорского величества письма в комиссию отобраны у них». На это Иосия ответил:

«Молиться о том я рад, вы не печальтесь».

Макаров, однако, отрицал свою осведомленность о подробностях дела Зворыкина. Отвергал Макаров и обвинение в заступничестве за Самгина.

27 июня 1735 г. Тайная канцелярия получила доношение Феофана Прокоповича с разбором показаний Макарова и его супруги. Каждая фраза этого документа пышет подозрительностью и откровенной враждебностью к Макарову. «По моему мнению, — подчеркивал Феофан, — неправо, и не по совести, и не так, как делалось, он, Алексей, отвечивал». Он обнаружил в показаниях супругов разного рода разногласия и на этом основании считал их плодом неискренности, называя их «плутнями», «сказками, веры недостойными», «ложью». Феофан был убежден — точнее, делал вид, что убежден, — в существовании заговора, возглавляемого Макаровым, и требовал ответов от него и его супруги на новые вопросы: «Что с Иосиею говорили (или с другим кем) о воинстве российском, якобы уже слабом, и в какой силе? Что о скудости народа в недороде хлебном? Что о смерти и погребении государя Петра Первого? Что о титуле императорском? Что о возке по Волге корабельных материалов?» и т. п.

На все эти вопросы Макаров и его родственники дали ответы, исключавшие возможность сострять обвинение. Все они отреклись от разговоров о войне с Польшей, о наследовании престола Анной Иоанновной, об осуждении проводившейся денежной реформы.

Выяснить, сколь откровенны были показания Макарова, и ответить на вопрос, имел ли Прокопович основание не доверять этим показаниям, источники не позволяют. Можно лишь с уверенностью сказать, что разговоры на рискованные политические темы в доме Макарова происходили и что отзвуки этих разговоров попали на страницы следственных документов. С такой же уверенностью можно утверждать, что Макаров в своих показаниях стремился придать этим разговорам лояльную либо невинную окраску. О денежной реформе, например, Макаров дал такие показания: «О переделе-де малых серебряных денег в рублевики и якобы то делаетца от иноземцов ко вреду госуларства, с Самгиным и з другими ни с кем никогда не говаривали». Более того: Макаров, по его словам, с похвалой отзывался о реформе: «И то-де изрядно для того, что-де мелкая монета тратитца».

Макаров и его супруга отрицали разговоры с кем-либо о преимуществе «иноземцов над российскими, о патриаршестве и Синоде». Что касается хлебного недорода и последовавшей за ним «скудости народной» (речь идет о неурожаях, поразивших огромную территорию Европейской России в 1733 — 1736 гг.), то Макаров об этом «говаривал, сожалея о крестьянех, что хлеб не родился».

Как ни стремился Прокопович — а вместе с ним и Остерман — придать процессу политический характер и представить Макарова главой заговора, этого ему сделать не удалось, что, однако, не помешало держать

Макарова и его семью под домашним арестом. В 1736 г. умер главный обвинитель Макарова в этом процессе — Феофан Прокопович, но это обстоятельство не принесло облегчения Алексею Васильевичу и его семье. Сказывалась, видимо, сила инерции, свойственная бюрократическому механизму, — его колесики продолжали вращаться в направлении, раз им приданном. Кроме того, и это главное, у кормила правления оставались два грозных противника Макарова — императрица и Остерман.

Пройдет еще несколько лет, пока над головой Остермана разразится везмездие.

3 апреля 1736 г. Алексей Васильевич подал императрице челобитную: год и пять месяцев он с семьей содержится «за крепким караулом, и пожитки не токмо мои и детей моих и платьишка, но и племянников моих, умершего брата пожитченки ж, платье и прочее тленное в нижней палате запечатаны и от сырости гниют»; без писем и вотчинных документов «деревеннишки мои от посторонних разоряютца, и оправдатца без крепостей нечем». Макаров просил императрицу: «...из-за караула нас освободить, также и пожитченки наши распечатать, а по делу моему милостивое решение учинить».

Ответа на челобитную не последовало. Прошло еще восемь месяцев, и Макаров обратился с новой жалобой на суровые условия заточения: «...и не только к нам кого, но и нас до церкви божи не допускают». Великодушие императрицы не простерлось дальше разрешения пользоваться опечатанными вещами, но без права их продажи и посещать церковь: «...по особливому нашему милосердию указали мы его, Макарова, арест таким образом облегчить, чтоб ему в церковь божию ехать и прочие домашние нужды исправлять позволено»¹⁴.

Видимо, с этой же челобитной были связаны изменения в судьбе конфискованных писем и прочих документов Макарова. Вопреки инструкции Извольскому немедленно доставить опечатанные бумаги Макарова в столицу они почти три года покоились в Москве. Лишь в сентябре 1737 г. четыре сундука, две скрины и две коробки с документами были привезены в Петербург. Понадобилось еще пять месяцев, чтобы Остерман удосужился повелеть Тайной канцелярии разобрать их, разделив на две категории: в первую включать «сумнительные» материалы, т. е. те, которые, возможно, пригодятся следствию; во вторую — документы, в которых «важности никакой не явилось»: крепости, векселя, ведомости, купчие и прочие бумаги хозяйственного содержания.

Медлительность Остермана красноречива. Она свидетельствует о том, что следствие не располагало обличительным материалом, чтобы отправить Макарова в ссылку или на эшафот. Отметим в этой связи, что приговор по делу монахов, к которому был привлечен Макаров, вынесли и привели в исполнение еще в конце 1738 г.: Яков Самгин и Григорий Зворыкин после вырезания ноздрей были сосланы — первый на Камчатку, второй в Охотск. Понесли наказание и прочие подследственные. Только

у одного Алексея Васильевича никаких перемен: его продолжали держать под домашним арестом, правда, несколько ослабив режим.

Остается предположить, что у Остермана и императрицы были какие-то надежды привлечь Макарова к громкому процессу бывших «верховников», пытавшихся ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны еще в 1730 г. В 1739 г. подвергся мучительной казни Артемий Петрович Волинский, первым осмелившийся решительно выступить против засилья немцев при дворе и громогласно заявивший: «Государыня у нас дура». Быть может, тюремщики Макарова надеялись, что кто-либо из Долгоруковых или Голицыных либо Волинский с сообщниками под жестокими пытками назовут и его имя. Этого не случилось.

Существует мнение, что Макаров был помилован. Оно основано на челобитной, поданной в 1741 г. сыном Алексея Васильевича — Петром. В ней он писал, что по именному указу «показанной отец мой всемилостивейше освобожден, а в прошлом 740 году волею божиею умре». Однако из справки Тайной канцелярии следует, что указа «о свободе оного Макарова ис под караула» не было. В июне 1740 г., т. е. накануне смерти, Макаров подал челобитную Кабинету министров «о сотворении с ним милости», но она осталась без последствий¹⁵.

Таким образом, Алексей Васильевич Макаров испытал в полной мере жестокость мрачного времени, когда трон занимала Анна Иоанновна, а страной правил Остерман. В последнее десятилетие своей жизни он стал жертвой «остермановщины» и предстает как трагическая личность. Макаров принадлежал к числу первых русских людей, поднявших голос против немецкого засилья. Этот голос был еще глухим и робким, но спустя несколько лет его подхватил решительный и энергичный Артемий Петрович Волинский.

САВВА ЛУКИЧ
ВЛАДИСЛАВИЧ-
РАГУЗИНСКИЙ

«МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ БЛАГОПОТРЕБЕН»

В первых числах ноября 1702 г. недалеко от Азова бросил якорь торговый корабль. Понадобилось 25 дней, чтобы он преодолел расстояние от Константинополя до русской крепости. Северный ветер отогнал воду от берега, и даже небольшое судно не могло пришвартоваться у стен города. Через несколько дней новая беда — необычайно рано начавшийся ледостав грозил гибелью и кораблю, и находившимся в трюмах товарам. Купец обратился за помощью к местным властям. Не искушенный в морском праве азовский воевода Степан Богданович Ловчиков ломал голову, как ему поступить.

Перед воеводой, прикованным параличом к постели, предстал средних лет статный мужчина с приветливой улыбкой. Внешний вид приезжего — тонкие черты лица, украшенного роскошными усами и кошной вьющихся волос, энергичный рот и выразительные глаза, излучавшие доброжелательность, изысканные манеры — располагал к себе собеседника. Но Ловчиков не поддался обаянию заезжего купца. Его одолевали сомнения: с одной стороны, приезжий предъявил рекомендательное письмо главы русского посольства в Османской империи Петра Андреевича Толстого, в котором посол аттестовал вручителя человеком «изящным», усердно оказывавшим услуги прежним посольствам и ему, Толстому. С другой стороны, воеводу, человека подозрительного, неотступно преследовала мысль: быть может, это вовсе не коммерсант, а турецкий соглядатай, по терминологии того времени — шпик, предъявивший поддельное письмо, и прибыл он в пограничный город, быть может, совсем не для торговых дел. Ловчикова, видимо, смутило и то обстоятельство, что Толстой лестно отзывался о человеке, которого, по собственному признанию, никогда не видел.

Воевода пригласил офицеров-иноземцев и спросил, какие меры принимают в подобных случаях в европейских портах. Те ответили: «Если бы ле в их государствах так учинилось, и они б де тому кораблю погибнуть не дали и ввели в гавань, потому что де бывают от того великий стыд и

зазрение»¹. Ловчиков принял неотложные меры — корабль был приведен в гавань и разгружен. Среди привезенных товаров общей стоимостью в восемь тысяч рублей оказалось 700 пудов деревянного масла, 300 пудов оливок, кумачи, бумага, изюм, кушаки, венецианские зеркала, 20 бочек сельдей, 15 тыс. лимонов и пр. На берег сошли и три иноземных специалиста морского дела и кораблестроения, нанятых купцом на русскую службу. Помимо товаров и специалистов, купец, как увидим позже, привез в Россию свой незаурядный талант.

Прибытие торгового корабля в недавно завоеванный город было событием столь необычным, что воевода немедленно донес о случившемся в Москву. Он не преминул сообщить, что купец изъявил желание отправиться с товарами в столицу, но в Азове нет ни подвод, ни лошадей.

В Москве были осведомлены об этих планах купца, ибо там было получено письмо, отправленное сменившим Голицына русским послом Петром Андреевичем Толстым еще 25 сентября 1702 г. Толстой отзывался о купце так: он «человек добрый, ныне по обнадеживанию моему поехал с товаром в Азов, а из Азова к Москве и просит о нем написать. Яви к нему милость, — обращался посол к руководителю внешнеполитического ведомства Федору Алексеичу Головину, — он всеконечно в странах сих Московскому Государству благопотребен». На основе этой информации на запрос Ловчикова из Москвы последовал ответ: срочно купить лошадей и отправить купца в столицу.

Пока велась переписка воеводы с Посольским приказом, в Азове и Таганроге шла бойкая торговля. Близилась весна, и купец пожелал отправиться на север Доном. Гонец доставил указ: «Будары с товаром пропускать к Москве без задержания». Наконец, 26 марта 1703 г. купец прибыл в Москву и в Посольском приказе рассказал о себе: «Родом он шклявонской земли владение Речи Посполитой Рагузинской... благочестивой греческой веры. Отец у него был в той земле шляхтич, имел под собою семь сел, и ныне он жив. И тому ныне з десять лет поехал он из Рагузы в Венецию, а из Венеции в Царьград с товары для торгового промыслу и жил в Цареграде для торгового промыслу». Цель своего приезда в столицу России он объяснял стремлением повидать Московское государство «и для торгового своего дела»². Так состоялась первая встреча Саввы Лукича Владиславича, в русских документах чаще всего называвшегося по месту своего рождения Рагузинским, с официальными лицами Посольского приказа. Заочное же знакомство русского правительства с Владиславичем состоялось года на три ранее. Во всяком случае, в марте 1699 г. царь отдавал Федору Юрьевичу Ромодановскому следующее предписание: «По прошению Савы Рагузинского изволь учинить не мешкоф о лисицах (о чем пространнее писал к тебе Федор Алексеич), и сие изволь, конечно, учинить, не описываясь паки»³.

Руководитель приказа Федор Алексеич Головин, находившийся в это время вместе с царем в Шлиссельбурге, получив известие о прибытии

в Москву Владиславича, распорядился «чинить ему довольство и быть ему, пока быть захочет»⁴. Гостю было велено выдавать по полтине в день кормовых денег, а его четверым спутникам — по восемь денег (четыре копейки) каждому. Лошади Саввы Лукича тоже были взяты на государственное содержание.

Сведения о жизни Владиславича до появления его в России крайне скудны. В русских источниках они, естественно, отсутствуют, а в Рагузе (совр. Дубровник), где он родился, катастрофическое землетрясение 1667 г. и многократные вторжения османов уничтожили архивы. Автор специального исследования о Владиславиче, сербский историк Иован Дучич, опубликовавший монографию в 1942 г., затруднялся назвать точное время его рождения и ориентировочно полагал, что он родился в 1664 г. Тщетно искать время рождения Владиславича в дореволюционной и советской литературе — оно не указано вообще. Опираясь на свидетельство самого Саввы Лукича, можно установить точную дату — он родился 16 января 1669 г.⁵ Отец его в Рагузской республике владел деревнями, но, преследуемый османами, стал заниматься купеческим промыслом и имел два торговых дома: один — в Дубровниках, другой — в Венеции. Сам Савва, видимо, в юношеские годы покинул Дубровник и вел торговлю во Франции, Испании и Венеции, а затем, как он сам писал, «во владение турецкое приехал и там купеческий дом девять лет под обороной непобедимого французского короля имею».

Доброжелательное отношение и предупредительность, с которыми Владиславича встретили на русской земле, объяснялись двумя обстоятельствами. В 1702 г., когда Савва Лукич впервые появился в России, страна переживала едва ли не самый тяжелый период Северной войны. Были еще свежи в памяти последствия поражения русских войск под Нарвой. И хотя Борис Петрович Шереметев начал одерживать первые победы над шведами и Петру удалось овладеть мощной крепостью Шлиссельбург у истоков Невы, ее устье все еще находилось в неприятельских руках. Следовательно, выход в Балтийское море был закрыт.

Петр еще до начала Северной войны утвердился в Азове и намеревался превратить его в порт для торговли со странами Западной Европы. Однако Керченский пролив, как и Боспор с Дарданеллами, находился в руках османов, враждебно относившихся к стремлению России использовать Черное море для торговли не только с Западом, но даже и с самой Турцией. В ответ на обращение России с просьбой разрешить плавание ее торговым кораблям по Черному морю в Константинополе соглашались лишь на пропуск товаров по традиционному сухому пути через Молдавию, Валахию и Балканы и при этом заявляли: «Салтаново величество имеет Черное море яко дом свой внутренний, а никого внутренний дом свой не может пустить чужеземца». В лучшем случае можно было рассчитывать на разрешение пользоваться турецкими судами. Чтобы еще более укрепить запоры в «доме», в Константинополе вынашивались планы перекрытия Кер-

ченского пролива дамбой или, на худой конец, сооружения в проливе искусственных островов с установкой на них и на берегах мощных артиллерийских батарей.

В этих условиях прибытие в Азов иноземного купца на корабле не могло не вызвать в Москве радужных надежд на превращение города в важный торговый пункт на юге страны. Вспомним, как ласково было встречено позже появление в Петербурге первого иностранного корабля с вином и солью, — царь велел петербургскому губернатору Меншикову щедро наградить шкипера и всю команду.

Но заботливое отношение русского правительства к Владиславичу объяснялось не только, точнее, не столько тем, что ему первому удалось добиться разрешения султана на морской путь в Азов, сколько высоко оцененными в Москве услугами, оказанными Саввой Лукичом русским посольствам. У русских дипломатов, соприкасавшихся с Владиславичем, сложилось прочное мнение о нем как о верном друге России, готовом рисковать жизнью ради ее интересов. Именно с могущественной Россией Владиславич связывал свои мечты об освобождении христианских народов, в том числе и его родной Рагузы, томившейся под игом «неверных» — османов. Поэтому он, имея обширные связи не только в торговых, но и в придворных кругах Царь-града, глубоко изучает внутреннюю жизнь Порты и ее внешнюю политику, в меру своих сил оказывая разнообразную помощь русским послам.

Условия жизни русских послов в Османской империи напоминали режим заключенного. Султанское правительство бдительно следило за каждым шагом посла, лишало его общения с внешним миром, задерживало курьеров, а в месяцы обострения русско-турецких отношений отправляло послов и их свиту в тюрьму Едикуле, или, как называли ее русские источники, в Семибашенный замок. Трудно переоценить бескорыстные услуги Владиславича, снабжавшего русских послов сведениями о намерениях султанского двора, придворных интригах вокруг русско-османских отношений, о происках французского и английского послов против России, о состоянии сухопутных и военно-морских сил Турции и т. д.

Первым русским послом, с которым Владиславич установил личные отношения, был думный дьяк Емельян Иванович Украинцев. Опытного дипломата Украинцева Петр в 1699 г. отправил в Константинополь для заключения мирного договора. Глубокая заинтересованность России в мирных отношениях с агрессивным южным соседом объяснялась тем, что заключение договора развязывало ей руки для борьбы со Швецией. Поэтому царь просил, умолял, заклинал своего посла поспешить с завершением переговоров. «Не мешкав, зделай, как Бог помѹчи подаст», — писал он послу. В другом письме: «Только конечно учини мир: зело, зело нужно»⁷.

Сначала Украинцев проявлял по отношению к Владиславичу осторожность, исходя из того, что «двора султанского все министры люди хитрые

и лукавые и обыкли всякие тайны выведывать у чужеземных послов чрез всяких подсылных». Однако вскоре Емельян Иванович убедился, что Владиславич не принадлежал к «подсылным» и верно служил интересам России. Он помогал послу как мог: предостерегал от опрометчивых действий, снабдил навигационной картой Черного моря и сведениями о современном состоянии Порты, отправлял своих людей в Москву с донесениями Украинцева, выполнял повседневные задания, помогавшие послу ориентироваться в обстановке. Устроил он и тайное свидание переводчика русского посольства с посланником Венеции. Предварительно он передел переводчика в свою одежду, чтобы, как писал позже Владиславич, «турки его не poznали». Наконец, Савва Лукич помог русским купцам распродать товары в Константинополе.

Миссия Украинцева завершилась успешно — в июле 1700 г. он заключил тридцатилетнее перемирие с Турцией. Получив известие об этом, Петр тотчас двинул войска для осады Нарвы.

Владиславич установил контакт и со следующим послом, Дмитрием Михайловичем Голицыным, отправленным в Константинополь для переговоров о торговле через Черное море. Попытки Голицына заключить торговый договор с османами и добиться права пользования Черным морем русским торговым кораблям не увенчались успехом. Тем не менее деятельная помощь Владиславича была высоко оценена Голицыным. «И я как вашей милости по приезде объявил, так и ныне объявляю, — писал Голицын Головину, — что он человек доброй и в бытность мою Адрианопольскую явил службу государю, а паче мне, и сам, ваша милость, известен чрез Емельяна Украинцева, в каком он служении был»*.

В ноябре 1701 г. в Константинополь прибыл третий посол — Петр Андреевич Толстой. В отличие от предшествующих послов, приезжавших с разовыми поручениями и покидавших страну сразу же по окончании переговоров, Толстого царь отправил туда своим постоянным представителем. Новшество в дипломатических отношениях с Портой султанский двор встретил враждебно. В Константинополе рассуждали: «Никогда московский посол здесь не жывал, и сей де посол живет непросто. Иных де государей послы живут для торговых своих дел, а у сего никакого дела нет». Османы, доносил Толстой, опасаются «от меня согласия с христианы, под игом их пребывающим»*.

Не было ни одного донесения Толстого за первые годы его пребывания у османов, в котором он не жаловался бы на чинимые властями притеснения: у дома посла был поставлен караул янычар, «будто для чести, а все для того, чтобы христианы ко мне не ходили»; «в великой тесноте живу»; «едино Богу известно, как живу и какое терплю утеснение»; «ничем разнитца житие мое от заключение».

Между тем Толстой перед отъездом в Турцию получил инструкцию, составленную самим Петром. Царь хотел знать состояние османской армии и флота, обучают ли конницу и пехоту по старинке или пользуются услугами европейских офицеров, а также сколь серьезны намерения за-

сыпать Керченский пролив, чтобы навсегда отрезать русским выход к Черному морю.

До своего отъезда в Россию Владиславич не встречался с Толстым. Тем не менее он поддерживал связи с ним через своих «приятелей», организовывал доставку донесений Толстого в Москву и предписаний Головина в Константинополь. Осторожный и в то же время проницательный дипломат, Толстой разгадал в Савве Лукиче ревностного друга России. 25 сентября 1702 г., то есть накануне отъезда Владиславича, Толстой обратился к Головину с просьбой «явить к нему милость, а он всеконечно во странах сих Московскому Государству благопотребен и ныне, государь, при отъезде своем прислал ко мне некоторые потребные ведомости». В другом донесении: «Он человек искусен и на многие тайные вещи ведомец»¹⁰. Этот человек действительно с непостижимой проницательностью умел разбираться в людях и безошибочно определяя, кому можно довериться, на кого можно положиться, чтобы получать сведения, столь необходимые России. На основе данных, полученных от Владиславича, Толстой прислал в 1703 г. пространное «Описание турецкое о кораблях».

Будучи в Москве, Владиславич пожелал встретиться с царем, находившимся в это время в Шлиссельбурге. Федор Матвеевич Апраксин спрашивал у царя: «Без указа его отпускать не смею. Укажи, что с ним делать?» Тут же лестная аттестация Владиславича: «А человек zelo надобный, и сведом на тамошние дела, и не глупова состояния». Петр отвечал: «Рагузинскому лутче дождаться нас там», то есть в Москве¹¹. Получилось, однако, так, что свидание царя с Владиславичем состоялось в Шлиссельбурге.

Источник не сообщает содержания разговоров между русским царем и сербским патриотом. С уверенностью можно сказать, что Владиславич произвел на царя самое благоприятное впечатление. Петр, как известно, владел редким даром угадывать таланты и умением использовать способности полезных для дела людей. Во Владиславиче он обнаружил не только обаятельного собеседника, но и делового человека, образованного, с широкими политическими взглядами, надо полагать, развернувшего программу борьбы христианских народов против османских поработителей. Петру, несомненно, импонировали идеи, развивавшиеся Владиславичем, — ведь османы были традиционным противником России и борьба подвластных им народов ослабляла их силы. Импонировали царю и такие качества Владиславича, как южный темперамент, лишенный, впрочем, бахвальства, здравый смысл в суждениях, опиравшийся на знание обстановки в Османской империи. Словом, Владиславич завоевал симпатии русского царя. Отражением этой благосклонности явилась выданная Владиславичу жалованная грамота на право свободной торговли во всех городах России.

Итак, в глазах царя и его окружения Владиславич выглядел человеком, заслуживавшим благосклонного отношения. Свою репутацию верного и весьма полезного слуги России он снискал тем, что сочетал глубокое знание турецких дел с практической деятельностью, столь же необходимой, сколь сложной и опасной.

Совсем по-иному характеризовали его английский и французский дипломаты. Им он представлялся интриганом и авантюристом, человеком, скорее приноравливавшим «свой ум к вкусам и стремлениям двора, которому служит, чем вникающим в действительное положение вещей»¹².

Нелестная аттестация Владиславича станет понятной, если мы учтем, что его деятельность и не могла быть оценена иначе, ибо она противоречила интересам Англии и Франции, использовавших всякую возможность ослабить Россию в ее борьбе за выход к Балтийскому морю. Представители обеих держав при султанском дворе с настойчивым постоянством наускивали османов на Россию. Иностранные дипломаты были, кроме того, чужды пониманию побудительных мотивов, которыми руководствовался Владиславич, отдавая свои способности и энергию на службу России. Они относили его к числу наемников-авантюристов, тысячами бродивших по Европе тех времен и предлагавших свои услуги тем, кто больше заплатит. Между тем жизнь и деятельность Владиславича проникнуты глубоким патриотизмом, ненавистью к поработителям и надеждами на Россию в борьбе за освобождение своей родины. Это, разумеется, не исключает наличия у Владиславича черт авантюриста. Риск всегда соседствует с авантюрой, и авантюра не что иное, как риск, закончившийся неудачей.

Распродав товары, Владиславич отправился в обратный путь. Ему было разрешено закупить тысячу пудов первосортной пеньки, пятьсот пудов смолы, тысячу пудов железа, а также сибирские меха. Посольский приказ переправил через Владиславича пушнину для Толстого на пять тысяч рублей. Перед отъездом в Константинополь он получил от правительства уйму различных поручений.

В феврале 1704 г. Владиславич был уже в Константинополе. Его коммерческие дела шли не блестящим образом. «Прибыли надежда малая видитца», — писал он. Поэтому Владиславич решил изменить ассортимент закупаемых в России товаров и просил Головина ко времени его возвращения подготовить для вывоза только меха и «рыбей зуб» на двадцать тысяч рублей. О себе сообщал, что «во всякой тишине обретаюсь», то есть находился вне подозрений у османских властей. Последние, кстати, пытались у него выведать сведения о царе, состоянии русской армии и ходе военных действий на театрах Северной войны. Владиславич ссылался на свою неосведомленность, но настойчиво внушал туркам мысль о могуществе России, якобы располагавшей полумиллионной армией, и в то же время о ее миролюбии по отношению к Порте¹³.

Второй приезд Владиславича в Москву состоялся в январе 1705 г. Он прибыл «с письмами посла Петра Толстого и с иными тайными делами», как написано в его обстоятельном донесении. В нем он отчитался о выполнении правительственных поручений. Не всюду ему сопутствовала удача. Так, ему не удалось нанять парусных мастеров, «потому что те мастера все турки и армяне и к Москве ехать не хотят». Турецких купцов он соблазнял выгодами торговли в Азове, но результатов пока никаких. Впрочем, Владиславич полагал, что «то дело помощью божию и паки

временем зделаетца». Вел он переговоры и с французским послом о торговле с Россией через Балтийское море. Тот отнесся к предложению положительно, но сам Владиславич на выполнение обещаний не уповал, — Франции, считал он, поглощенной войной с морскими державами, «того дела... недосуг делать». Зато ему удалось нанять на русскую службу опытного кораблестроителя, выкупить из плена преображенца Федора Тимашова, приобрести для правительственных нужд палатки и бумагу. Наконец, он привез нескольких мальчиков-арапов. Один из них, Ибрагим Петров, — дед великого Пушкина. Корабль доставил в Азов и товары для продажи в России¹⁴.

Покинув Турцию в конце 1704 г., Владиславич более туда не возвращался — видимо, пребывание его в Константинополе стало опасным. С тех пор Савва Лукич прочно обосновался в России и жил в ней с перерывом до конца своей долгой жизни. «Желаю жити и умерети на службе царского пресветлейшего величества», — писал он Головину в июле 1705 г.¹⁵ В обретенной им второй родине он продолжал заниматься торговлей. Судя по документам, по меркам того времени талантами коммерсанта Савва Лукич не обладал. Там, где надо было быть подозрительным и осторожным, он проявлял излишнюю доверчивость; в тех случаях, где надлежало поступиться совестью, он выказывал щепетильность и в результате становился жертвой своих коллег, не обремененных предрассудками. Словом, в коммерческих делах он отличался профессиональной чистоплотностью, чего нельзя сказать о его коллегах, бессовестно злоупотреблявших его доверием. Ему не чужды были представления о честности, порядочности и человеческом достоинстве. В одном из писем он, отвергая подозрения во взяточничестве, писал о себе: «И как родился, ничего за бездельные взятки не делал, ибо честная моя природа, человеческая онаасность и, по милости всевышнего Бога, домашнее достоинство никогда меня к таким непорядкам не допускали». В другом письме он осуждал лицемерие корреспондента и в образце ставил себя: «Как я родился, что с моими приятелями никогда не умел лицемерить, но обходитца сущею правдою»¹⁶.

С такими качествами купцу тех времен, считавшему, что в основе ремесла, которым он занимался, лежало примитивное надувательство, пришлось бы туговато. Между тем торговый дом Владиславича процветал, и к концу жизни его глава сколотил такое состояние, что слыл одним из самых богатых людей России. Какими способами?

Источником богатства Владиславича являлись прежде всего царские пожалования и щедро предоставляемые ему торговые льготы и привилегии. Чтобы барыши ручьями текли в карман, Владиславичу оставалось не прозевать выгодной рыночной конъюнктуры, проявить расторопность в закупке нужных товаров и своевременно доставить их в порт к прибытию кораблей. Монопольное положение позволяло ему диктовать выгодные цены на товары, закупаемые внутри страны и при продаже их за границей.

Всю черновую работу выполняли приказчики. Но не чурался ее и Владиславич: он не был домоседом и с легкостью отпраивался в дальний путь. Тяготы путешествий тех времен его, кажется, не обременяли, и Савва Лукича можно было встретить в далеко отстоявших друг от друга городах: Нежине и Вологде, Казани и Петербурге, Москве и Киеве.

Немалые доходы Савве Лукичу приносили подряды и откупа, то есть теснейшие деловые связи с казной. При заключении контрактов на подряды он получал авансы от казны — половину подрядной суммы, чем существенно увеличивал свой оборотный капитал. Кое-что ему перепадало и при выполнении финансовых поручений правительства. Заметим, кстати, что честность и обязательность облегчали Владиславичу выполнение этих поручений — его кредитоспособность высоко котировалась в купеческом мире стран Западной Европы.

Благожелательность Петра Владиславич использовал многократно. Жалованной грамотой 1703 г. он не удовольствовался и, приехав во второй раз в Москву, обратился к царю с просьбой вознаградить его за оказанные России услуги выдачей трех тысяч пудов икры, а также новой жалованной грамоты на пергамене. «И приписати б некоторые два слова, которые надобны». Сведениями о получении икры мы не располагаем, а «два слова» на пергаменной грамоте, выданной в апреле 1705 г., обнаружить нетрудно — к населенным пунктам, где Владиславичу разрешалось беспрепятственно торговать, были добавлены «малороссийские города»¹⁷. Из переписки Владиславича за 1705 — 1711 гг. явствует, что он совершал торговые сделки преимущественно на Украине и главная контора его фирмы находилась в Нежине.

Царь охотно откликался на просьбы Владиславича. В апреле 1707 г. он писал азовскому губернатору Ивану Андреевичу Толстому: «Господину Саве в его торговом деле чини всякое вспоможение». Губернатор отвечал царю: «Господину Саве в торговом ево деле всякое вспоможение чинится». В 1709 г. Савва Лукич взял на откуп индукту, то есть сбор пошлин на ввозимые на Украину товары. В следующем году на Украине свирепствовало моровое поветрие; торговля, естественно, сократилась, следовательно, уменьшился и сбор индукты. Царь велит гетману Скоропадскому с Владиславичем «снисходительнее поступать... дабы ему в том не было разорения»¹⁸.

Савва Лукич был своим человеком при дворе Петра и встречался с ним довольно часто: то во время пирушек, то выполняя его заказы на поставку заграничных товаров для царского обихода — бархата и материй для гардероба, различного рода инструментов, вин и т. д. В 1708 г. он отправил царю доставленные из Турции «некоторые немногие закуски тамошнего строения».

В этих условиях двери правительственных учреждений были широко открыты для Владиславича, что облегчало как торговые сделки, так и заключение контрактов на подряды и откупа.

В 1706 г. на обоз, сопровождаемый приказчиком Владиславича, напали разбойники и отбили сани с деньгами и товарами. Если бы челобитную

подал ординарный купец, то ее наверняка захоронили бы в ворохе бумаг и претензии истца остались бы неудовлетворенными. В случае с Владиславичем правительственные инстанции проявили такую оперативность, что быстро обнаружили виновников, и тут же казна компенсировала понесенные убытки, а уплаченную сумму взыскала с помещика, чьи крестьяне разбойничали¹⁹.

В 1707 г. царским указом Владиславичу велено было поставить 200 тыс. аршин сукна для экипировки драгунских полков Меншикова, причем покупал он сукно не на свои деньги, а на вырученные от продажи казенных мехов 15 тыс. руб.²⁰ Совершенно очевидно, что посредническая операция принесла Владиславичу немалые барыши.

Привилегированное положение Владиславича-коммерсанта позволяло ему извлекать прибыли из операций, недоступных рядовому купцу. Вывоз хлеба из России был запрещен. Однако в порядке исключения Петр разрешил Савве Лукичу закупить на экспорт 8 тыс. четвертей пшеницы²¹. Операция, надобно полагать, оказалась выгодной, и Владиславич повторил ее в 1713 г. В компании с английским купцом Гутфелем Владиславич взял на откуп торговлю товарами, продажа которых за границу находилась в государственной монополии, а именно поташа и мачтового леса. Откупная сумма по реализации одного только поташа составляла десятки тысяч рублей²².

Щедрость царя в выдаче Владиславичу пожалований и привилегий станет понятной, если мы напомним, что Владиславич, живя в России, продолжал полезную службу консультанта по турецким делам. Сведения о том, что происходило при султанском дворе и каковы были его намерения, он получал, как сам выражался, от своих «приятелей», живших в Константинополе. Они же выполняли обязанности курьеров, они же снабжали Толстого интересовавшими его сведениями. Правда, «приятели» Саввы Лукича не могли в полной мере восполнить его отсутствие и проявляли во встречах с Толстым осторожность, иногда оставляя его на долгое время без необходимой информации.

В апреле 1705 г. русский посол доносил Головину: «И зело мне прискорбно, что в такое нужное время не имею такова верного и добросердечного приятеля, как был здесь господин Савва Владиславович, и чаю, чтобы он в таком нужном времени вящее показал доброе сердце»²³. Впрочем, прервавшиеся связи были вскоре восстановлены, и уже в следующем году Толстой дважды выражал полное удовлетворение услугами «приятелей» Саввы Владиславича. В одном из донесений Головину за 1706 г. Толстой писал: «Приятели, государь, господина Савы вельми усердно работают в делах великого государя, и воистинно, государь, через них многие получаю ведомости потребные, понеже чистосердечно трудятся без боязни и от меня никакие заплаты не требуют, ниже чего просят, токмо говорят, что работают и работать будут по повинности своей к господину Саве»²⁴.

Важные новости из Константинополя получал и Савва Лукич, чтобы тут же поделиться ими с руководителем внешней политики: «А что ко

мне особливые друзья пишут, то все благополучно и к мирному разорению еще знака нет»²⁵. В иных случаях он давал дельные советы дипломатического характера. В 1706 г., когда войска Петра двинулись из Гродно к Киеву, Владиславич считал, что сосредоточение русских сил у южных границ вызовет беспокойство османов. Поэтому он настоятельно рекомендовал «объявить и уведомить (султанский двор. — Н. П.), что то войско царского величества не идут за Днепр, но на Русь»²⁶.

В день решающей битвы под Полтавой в июне 1709 г. Владиславич не находился при армии. Есть, однако, сведения, что в этом году он по крайней мере дважды встречался с царем: в феврале ездил к нему по собственной инициативе, так как «сего часу с нарочным гонцом получил из Константинополя нужнейшее письмо его царскому величеству», а в июле, то есть уже после Полтавской победы, его по каким-то делам к армии вызвал сам Петр²⁷.

Царь не пожалел денег, чтобы наградить участников Полтавской виктории. Не был обойден и Владиславич. В феврале 1710 г. он получил вотчины, конфискованные у двоих мазепинцев²⁸. В том же году ему был пожалован чин надворного советника. Оба пожалования составляли важную веху в жизни Владиславича. Первое из них приумножило богатство Саввы и превратило его в феодального землевладельца; второе обеспечило ему официальный чин, оформило положение, которое он фактически занимал в дипломатической службе России. В итоге серб Владиславич волился в ряды российского дворянства.

1711 год памятен в истории России злополучным Прутским походом. В нем участвовал и Савва Лукич, причем не в роли стороннего наблюдателя, а в роли человека, находившегося в гуще событий и оказывавшего влияние на их развитие.

Уже в предшествующем году в Порте шла напряженная борьба вокруг русско-турецких отношений. Чаша весов не без помощи французской дипломатии, шведского короля и в особенности крымского хана постепенно склонялась в пользу сторонников войны. Симптомом недобрых намерений османского правительства было отсутствие ответов на две миролюбивые грамоты царя. Возобновились набеги крымских татар, активность которых всегда предвещала ухудшение русско-османских отношений.

Подготовка к войне не являлась тайной в Османской империи. Константинопольский корреспондент информировал Владиславича, что ночью 13 октября 1710 г. «явился на небеси звезда с хвостом». Появление кометы было истолковано как недоброе предзнаменование: «Царьград будет поборен и взят».

Помимо астрологических предсказаний, Владиславич сообщил русскому правительству и более существенные сведения: «христиане от турков zelo озлоблены и умучены суть»; если бы царь двинул войско против османов, то все поработанные христиане немеленно восстали бы. Эту мысль, как доложил Владиславич, «некоторый поэт» выразил тяжеловесными стихами:

Пес турский и шведский выет,
А царь Московский обоих по главе биет.

Причастность Владиславиича к Прутскому походу выразилась прежде всего в составлении им плана кампании. Хотя документ, известный под названием «Проект плана ведения войны 1711 года», никем не подписан и не датирован, не приходится сомневаться, что его автором мог быть только Владиславиич. Только он способен был подробно развивать идею борьбы против Порты подвластных ей славянских христианских народов. Отвлекающие удары надлежало нанести на Кубань и Крым, что позволило бы приковать османские силы к Анатолии, а крымских татар лишить возможности совершать набеги на тылы русской армии. Главное направление — в сторону Ясс и Валахии. И далее — излюбленная Саввой Лукичом тема об отправке царских грамот в Албанию, Македонию, родную ему Рагузинскую республику и даже в Венецию с призывом к восстанию, «понеже ныне пришло время избавления их от подданства туранского». Кому, как не Владиславиичу, могла прийти в голову мысль отправить в Рагузу жившего в глуши суздальского дьякона Петра Сербенина, человека, лично известного автору проекта, ибо сказано, что он «не глуп и тамошних стран уроженец, и многих тамо из главных знает».

Идеи Владиславиича стали идеями Петра. Царь уверовал в могущественную поддержку славянских и христианских народов. В этом можно убедиться, сопоставив приведенные выше высказывания автора плана с рассуждениями самого царя: «Сербы (от которых мы такое же прошение и обещание имеем), також и болгары и иные христианские народы против турка восстанут, и они к нашим войскам совокупятся, иные же внутрь их, турской, области возмущение учинят, что увидя, турской везирь за Дунай пойтиить не отважится, и может быть, что и бунт учинят».

У нас нет оснований считать план Владиславиича лишенным почвы. Поспей русские войска к Дунаю раньше, и события, видимо, развивались бы в соответствии с планом: у валашского господаря Бранкована не было бы оснований для колебаний, и он, возможно, не перешел бы на сторону османов, а остался верным России, поднялись бы на борьбу болгары. Но в том-то и дело, что историк не имеет права пользоваться сослагательным наклонением. Жизнь опрокинула, казалось бы, здравые мечты Владиславиича: события развивались не так, как пророчил Савва Лукич.

Из всех расчетов реальными оказались два: молдавский господарь Дмитрий Кантемир открыто перешел на сторону России, а в Сербии поднялось мощное антитурецкое движение. Владиславиич имел прямое отношение к обоим событиям.

В начале мая 1711 г., когда армия Шереметева находилась в районе Немирова, царь отправляет к отличавшемуся медлительностью фельдмаршалу двух лиц — князя Василия Владимировича Долгорукова и Савву Лукича Владиславиича. Главная задача первого состояла в том, чтобы топтать фельдмаршала с продвижением на юг. Задача Владиславиича оп-

ределена одной фразой: «Да для советов в тамошних делах посылаем надворного нашего советника господина Саву Рагузинского». Сам Савва Лукич понимал свое поручение так: он определен «от лица его величества министром и советником, вкупе с князем Василием Володимеровичем, ибо вскоре имеем маршировать в землю неприятельскую». Следовательно, Владиславич выполнял роль дипломатического советника при главнокомандующем русской армией.

В письмах Петра за май — июнь 1711 г. имя Саввы Лукича упоминалось довольно часто: то царь велит Шереметеву вместе с Владиславичем написать обращение к валашскому господарю с призывом, «чтоб по обещанию своему к нам пристали», то спрашивает о продовольственных ресурсах края, то отвечает на тревожное письмо Саввы Лукича, предостерегавшего царя от дипломатической оплошности: ему, Савве Лукичу, стало известно, будто бы Петр, прибыв в Яссы, намеревается остановиться не в доме господаря, а у митрополита; такой поступок мог бы озлобить Кантемира. Царь заверил, что слух ложный и он, конечно же, воспользуется гостеприимством господаря²⁹.

Эпистолярное наследие далеко не полностью отражает напряженную деятельность Владиславича в Прутском походе. Пробелы восполняет счет, предъявленный им Посольской канцелярии в июле 1711 г. Из него следует, что все связи с Кантемиром и валашскими боярами русское правительство осуществляло через Владиславича, он же финансировал курьеров в Порту, производил подношения боярам, перешедшим на сторону России. О масштабах этого рода деятельности можно судить по сумме издержек — они превышали 16 тыс. руб.³⁰

Молдавские хронисты и один источник русского происхождения упоминают об участии Саввы Лукича в мирных переговорах на реке Прут. Однако в доподлинно известном перечне лиц, участвовавших с русской стороны в переговорах, имя Владиславича не значится. Да он и не мог отправиться во вражеский лагерь, ибо османы требовали выдачи как его, Владиславича, так и Кантемира.

Часы переговоров вице-канцлера Шафирова с визирем были тревожными и для русской армии, окруженной четырехкратно превосходившими силами, и для царя, и для Владиславича. Все, однако, закончилось благополучно, Прутский договор зафиксировал сравнительно легкие для России условия мира.

После выхода армии из окружения при дворе носились слухи, попавшие в донесение английского посла Витворта, о якобы имевшем место решительном несогласии большинства генералов с планом продвижения русской армии в глубь Молдавии, но царь послушался советов Шафирова и Владиславича. Теперь они настаивали на наказании виновных, но Петр потребовал прекратить эти толки.

В том, что Владиславич был сторонником продвижения русской армии в глубь Молдавии, сомневаться не приходится, но Петр не имел обыкновения сваливать неудачи на других — за ним, за царем, было последнее

слово, он, и никто иной, принимал решения, а следовательно, и ответственность за их последствия. Поэтому тщетно искать следы недовольства царя своим надворным советником. Напротив, Прутский поход нисколько не омрачил отношений между ними, и Владиславич по-прежнему пользовался царским расположением. Свидетельством тому являются следовавшие один за другим два указа, предоставлявшие надворному советнику новые торговые привилегии, а также донесения иностранных дипломатов, отмечавших уважительное отношение Петра к Владиславичу³¹.

В последующие два года напряженность в русско-турецких отношениях не ослабела. Порты располагала двумя козырями, чтобы держать Россию на грани войны: сначала султанский двор выражал острое недовольство и грозил разорвать мир из-за проволочек при передаче османам Азова и разрушении Таганрога, а затем обвинял Россию в нарушении еще одного пункта Прутского мирного договора, по которому царь обязался вывести свои войска из Польши.

Для русской дипломатии важно было знать, сколь серьезны были намерения Порты разорвать мир, в каких случаях она прибегала к шантажу и угрозам, бряцала, так сказать, оружием и когда могла пустить его в ход. Информацию на этот счет русское правительство черпало из двух источников: из донесений посла Толстого и из донесений «приятелей» Владиславича. «Все приятели ко мне единогласно пишут: ежели войска царского пресветлого величества в Польшу хотя малое число вступят, всеконечно мир разорван будет», — сообщал Владиславич в сентябре 1712 г. Аналогичного содержания донесение он отправил и царю. Интересны сведения о султанском дворе и внутреннем положении в Османской империи: «Такого непостоянства и новизны при дворе турецком никогда не бывало, как ныне обретаецца», министры меняются ежедневно, «ожидают вседневно бунта на погибель султану», сам султан проявляет крайнюю подозрительность, «все ходит инкогнито дневно и ночью» и в то же время готовится «к войне богатою рукою».

Тревожные вести, полученные Владиславичем из Константинополя в конце ноября, вынудили его оставить свои торговые дела на Украине и приехать в Москву. «Прибег к Москве, где ожидаю указа и повеления: ежели в чем услужить могу, добросердечно обещаюсь»³².

Действительно, Порты еще дважды, в 1712-м и в конце 1713 г., объявляла России войну, которая, впрочем, так и не началась.

Другим событием, к которому было приковано внимание Владиславича в эти годы, явилось восстание в Сербии. Османы после Прутского мира отправили туда 40-тысячную армию, но каратели встретили ожесточенное сопротивление. Владиславич представлял интересы восставших перед русским правительством как во время их борьбы с османами, так и после подавления восстания, когда его руководители во главе с полковником Михаилом Милорадовичем эмигрировали в Россию. Савва Лукич многократно предостерегал русское правительство и руководителей восстания от скоропалительных шагов. Так, в июне 1712 г. он рекомендовал Голов-

кину отправить Милорадовичу письмо, чтобы он «под именем государевым против турок не воевал, ибо ис того может произойти при дворе турецком немалая противность». Но месяц спустя он от имени восставших просил о дополнительной финансовой помощи на приобретение оружия и амуниции, ибо в противном случае «многие народы погибнут от меча, огня и плена барбарского».

Восстание было подавлено, началась жестокая расправа. Жертвой этой расправы стал и брат Владиславича, замученный в плену. Руководители движения прибыли в начале 1713 г. в Москву. Савва Лукич принял в их судьбе живейшее участие, ходатайствуя об определении их на русскую службу, выдаче им жалованья и т. д.

В том же 1713 г., когда османы объявили войну России, канцлер Головкин решил сербов во главе с Милорадовичем отправить на родину, чтобы они возобновили там вооруженную борьбу против общего неприятеля. Владиславич счел эту меру преждевременной, так как движение было обескровлено и организация восстания потребует от России огромных затрат. К тому же, уверял Владиславич, участники движения «поступать будут осторожно, бояться, дабы царское величество с турками не помирились, от чего бы они до конца могли разоритца». Сенату эти доводы показались убедительными, и отправка сербов не состоялась³³.

С 1714 г. связи Владиславича со своими «приятелями» в Порте оборвались. Во всяком случае, среди архивных документов нам удалось обнаружить единственное донесение надворного советника по турецкому вопросу, датированное 30 июля 1714 г.: «Король швецкой ис турецкой области ныне рад бы путь свой воспрять во свое отечество, только турки не отпускают за причину его упорства, а наипаче в росплате денег, которые они на него издержали, — блиско два миллиона». Османы, по сведениям Владиславича, предложили незадачливому королю издевательский план выхода из затруднения: «Пусть король уступит некоторую провинцию государства своего своим соседом, с которым турки могут заменитца». Под «соседом», несомненно, подразумевалась Россия, которая взамен земель, полученных от Швеции на севере, должна была уступить какие-то свои провинции на юге.

О пресечении источников информации сообщал Головкину и сам Владиславич, причем настолько глухо, что оставил простор для всяких догадок: «Кореспонденца ис турецкие земли пресечена, и каким образом оную постановить мощно, словесно донесть могу». Можно предположить, что Владиславич не успел восстановить утраченные связи, ибо вскоре выехал за пределы России, где он провел около семи лет.

В 1716 г. Рагузинский покидает Россию. Отправился он в Венецию в качестве частного лица. Правда, встретившись во Франции с царем, он исхлопотал себе два рекомендательных письма: одно — правительству Венеции, другое — Рагузской республике. В челобитной царю Савва Лукич просил, чтобы в рекомендательных письмах было сказано, что он «отпущен во Италию и протчих тамошних мест ради некоторых государевых

дел и для осмотра моей фамилии». Рагузинский, далее, просил, чтобы в рекомендательном письме было сказано, что он имеет чин надворного советника и является графом иллирийским Саввой Владиславичем, «ибо я, — мотивировал свою просьбу челобитчик, — не Рагузинский, но Владиславич по фамилии, а граф илирический по деду, прадеду и отцу». Называть его Владиславичем следует еще и потому, что под фамилией Рагузинский, которой его называли в России, «там меня не знают».

Петр хотя и в урезанном виде, но все же удовлетворил просьбу Владиславича. Одно из отступлений состояло в том, что Савва Лукич просил написать, что целью его поездки являлось выполнение «некоторых государевых дел», в то время как в рекомендательном письме правительству Рагузской республики на первый план поставлены его личные дела: он отправлялся туда «как для свидания там с своими родственниками, так и для домашних своих дел, которому при том и мы некоторые туда принадлежащие дела поручили». Другое отступление касалось титула Владиславича. Рагузинский клялся, что он подлинный граф и если он обманывает, то достоин «не токмо штрафу, но и лишения живота». Царь, однако, не пожелал впутываться в родословные дела Владиславича и в рекомендательном письме ограничился употреблением чина, не вызывавшего никаких сомнений, поскольку он был пожалован ему в России, — он назван надворным советником.

Рекомендательные письма, даже царские, в конечном счете не изменили статуса Владиславича. Отправился он в Венецию и Рагузу не послом, не торговым представителем и даже не резидентом, а человеком, по собственному его определению, не имевшим «характера». Иногда это затрудняло его деятельность, в особенности в общении с коронованными особами и папой римским. И если бы Савва Лукич не обладал необходимым тактом, умением быстро устанавливать связи с полезными людьми, то, быть может, далеко не всегда ему сопутствовал бы успех в выполнении поручений. Но качества характера позволяли Владиславичу успешно преодолевать трудности, порожденные отсутствием официального статуса.

Рагузинский прибыл в Венецию в начале августа 1716 г. «Здесьние господа и мои приятели приняли меня zelo изрядно», — делился он первыми впечатлениями с Макаровым. Характерная деталь: на свою родину, то есть в Рагузскую республику, он не спешил — там он появился тринадцать месяцев спустя, в конце сентября 1717 г.⁴ Объяснения причин, почему он не рвался в родные места, где находилась и его мать, в источниках нет, но, наверное, промедление было связано с опасностью попасть в руки османов. Вспомним 1711 год, когда турки на реке Прут требовали выдачи Рагузинского. Вероятно, год с лишним, проведенный в Венеции, был использован им для выяснения, насколько его пребывание в Рагузе будет безопасным.

Сразу же по прибытии в Венецию Савва Лукич окупился в торговую жизнь города и занялся выполнением царских поручений. Они были многообразны — от закупки статуй и найма специалистов до устройства

гардемарин и присмотра за их обучением, подыскания жениха царской племяннице Прасковье Ивановне и реализации казенных товаров, доставленных в Венецию из России. Это были задания, так сказать, государственного значения. Одновременно он выполнял личные просьбы царя и царицы.

Будучи в Венеции, Рагузинский спросил кабинет-секретаря Макарова, не будет ли ему, Савве Лукичу, повелений «до услуг ее величества во Италии». Ответа на вопрос долго ждать не довелось: Екатерина велела надворному советнику купить четыре собачки — «двух мохнатеньких и двух голых»³⁵. Снабжал он царицу и модными нарядами. Екатерина осталась довольна покупками и в 1717 г. писала Рагузинскому: «Впредь просим, ежели что выдет новой моды какие дамские уборы, а именно платки и прочее, дабы старались хотя по одной штучке для пробы прислать к нам»³⁶.

За время пребывания в Венеции Владиславич из года в год отправлял царю и царице заморские сувениры и изделия. Их перечень свидетельствует о вкусах и потребностях царской четы. Если Екатерина довольствовалась предметами бытового назначения (платки, муфты, цветы из шелка и перьев, духи, туалетное мыло), то для Петра предназначались микроскоп, чертежи гротов, каскадов и фонтанов с переводами на русский язык их описания, сделанными Рагузинским, восемь книг на немецком языке о зданиях древнеримских театров, храмов и т. д., древесина крепких пород для токарного дела. Царю были отправлены также лорнет («очки ручные») и сукно синего и красного цвета.

Вскоре после прибытия в Венецию Рагузинский через кабинет-секретаря Макарова получил задание закупить пять-шесть тысяч раковин «разных рук» для убранства грота в Летнем саду, а также заказать у лучших итальянских скульпторов 12 статуй. Первое поручение он уточнил по сведениям, полученным у местных мастеров: для грота необходимо было не пять-шесть, а десять — пятнадцать тысяч раковин. Он их приобрел не только в Венеции, но и в Генуе, Ливорно и прочих городах Средиземноморья. Что касается статуй, то, чтобы не прогадать в цене и не ошибиться в мастерстве, Рагузинский решил для выяснения конъюнктуры «по всем италиянским городам погулять».

Еще не был выполнен этот заказ, как последовал новый: «на обиход садов» лучшие венецианские мастера должны были изготовить 20 статуй на пьедесталах, четыре — «с крылами, которые употребляют на гротах, без пьедесталов» и 50 статуй «поясных с маленькими пьедесталами, называемых буси» (бюсты. — Н. П.)³⁷.

Начиная с 1718 г. Рагузинский ежегодно отправлял в Россию партии произведений искусства, закупленных не только им, но и торговым агентом Беклемишевым, а также Юрием Кологривовым. Последнюю партию ценного груза Владиславич снарядил в 1720 г. На этот раз на корабль были погружены предметы старинной работы, среди них две вазы, которые, по словам Рагузинского, могут быть «причтены к удивлению как за старинностию, так и за разностию камня», а также мраморный стол. «Сей

стол, — сообщал Савва Лукич, — причтен в удивление, ибо не находится другой подобный в Риме». По наведенным справкам, он был заказан английской королевой Анной, но остался невыкупленным из-за ее смерти. В этой же партии находились четыре бюста римских императоров. Общая оценка Рагузинским этих приобретений такова: «Все вышеописанные вещи суть достойные галерию какого-нибудь императора».

Самая важная акция Рагузинского связана с доставкой в Россию статуи Венеры, известной, по русским источникам, под именем Венус. Эту статую в 1718 г. приобрел Юрий Кологривов, специально отправленный царем в Италию для приобретения скульптур и картин. Кологривов действовал успешно до тех пор, пока пользовался услугами современных скульпторов и живописцев. Но вот ему посчастливилось приобрести скульптуру Венеры, пролежавшую в земле, как считали, две тысячи лет. И хотя у Венус были отломаны руки и голова, значение древнего памятника вполне оценили и покупатель, и римские власти. Как только римский губернатор узнал о состоявшейся сделке, он велел взять под стражу продавшего Венус, а самое скульптуру конфисковать. Как выволить скульптуру?

Хотя Кологривов и заявлял, что он либо умрет, либо высвободит Венус, надежды на положительные результаты его усилий были ничтожны. К операции подключился Савва Лукич, и то, что Беклемишеву и Кологривову было не под силу, он сделал играючи, без всякого напряжения. Единственное его усилие состояло в том, что ему пришлось отправиться в Рим. Там он воспользовался услугами своего приятеля кардинала Оттобони. Благодаря хлопотам Оттобони благожелательную позицию в этом вопросе занял сам папа, притязания русских уполномоченных были удовлетворены, и в итоге Венус была освобождена.

В судьбе скульптуры живое участие принял и царь. О ценности приобретения он судил со слов Владиславича, называвшего скульптуру «вещью предивной» и полагавшего, что «подобной вещи нет на свете». Получив известие об освобождении Венус, царь писал Рагузинскому: «Трудами вашими, что вы старались о свобождении в Риме из-за аресту статуи Венуса, мы довольны, о чем паки ж их кардиналом Оттобонию и Албонию писано от министров наших с благодарением». Петр проявил заботу и о том, чтобы скульптура была доставлена в Петербург в полной сохранности. «И понеже, — велел он Савве Лукичу, — как вы сами пишете, что она лутчая во всей Италии, того для морем послать не без опасности, дабы от погоды не пропала». Статую велено везти сухим путем в качалке до Кракова через Вену, а оттуда в специальной коляске и затем водою до границ России.

Так, однако, сложилось, что маршрут, намеченный царем, пришлось изменить, «ибо, — как объяснял Рагузинский, — в посылке оной чрез Виену приключились многие препетии». Самая главная из них состояла в том, что цесарский посол отказал в выдаче паспорта на провоз груза через Вену без таможенного досмотра. Между тем статуя была упакована столь добротнo, «что, хотя б кристальная была (кроме последнего безопас-

тия), не повредилась бы». Поэтому Рагузинский полагал разумным везти статую «через Авсбургх, Берлин, Кинигсберг, Данциг и Ригу».

Маршрут, предложенный Владиславичем, был предпочтительнее еще и потому, что план царя предусматривал перевозку в летние месяцы, а Венус довелось совершить путешествие зимой, когда реки сковал лед.

Когда Венус была доставлена в Петербург, обрадованный царь уготовил ей почетное место — она была поставлена в Летнем саду, причем охранялась круглосуточным караулом.

Немало хлопот доставлял наем специалистов. Этого рода поручения царя Рагузинский начал выполнять еще до своего отъезда в Венецию. В 1715 г. его агенты наняли в Италии на русскую службу пять «механистов» — так Рагузинский называл мастеров шлюзного дела. Среди них Дорофей Алемари, по аттестации Саввы Лукича, «славный механист во Италии». По приезде в Венецию Рагузинский нанял там мастера, «который искусен делать якори на полугалеры».

Поначалу царь, как известно, намеревался центр столицы расположить на Васильевском острове, причем вместо улиц там должны были быть прорыты каналы, по которым, как в Венеции, величаво передвигались бы гондолы. Повеление Рагузинскому нанять мастера, «который искусен делать гондули», видимо, было продиктовано попыткой реализовать это намерение³⁴. «Гондульного мастера» Рагузинский нанял и в 1717 г. снарядил в Петербург. В том же году он заключил контракт с двумя «грепцами гондульными». Позже он нанял двух фонтанных мастеров.

С наймом живописцев Рагузинскому явно не везло. В 1720 г. согласился ехать в Россию Александр Гревенброк «писать баталии морские и сухопутные». Контракт, однако, не был заключен, так как, по наведенным справкам, художник писать умеет, «токмо шумница и мало постоен». По этой причине Савва Лукич не рискнул выдать ему аванс в 400 червонных. Столь же безуспешной оказалась попытка нанять на русскую службу учителя Ивана и Романа Никитиных — Томмазо Реди. На предварительных переговорах он повел себя так, что дал основание Рагузинскому высказать о нем следующее суждение: «Или очень спесив и чаёт, что имеем до его большую нужду, и хочет чрез италианскую политику получить большой кредит и великое жалованье, или не имеет охоты ехать на Русию».

Другой способ обеспечения России квалифицированными специалистами состоял в обучении русских волонтеров за границей. Рагузинский был причастен и к этой форме пополнения контингента профессионально обученных работников страны. Известно, что русские волонтеры во время пребывания за границей нередко жили в нищете. Гардемарины, находившиеся в Венеции, не составляли исключения. Жалованья, получаемого гардемарины из венецианской казны, было совершенно недостаточно для сколько-нибудь сносной жизни, и многие из них пребывали «в последнем убожестве, бесчестя свое отечество». Забота о престиже России заставила Савву Лукича обратиться к кабинет-секретарю Макарову, чтобы

тот испросил у царя хотя бы небольшое жалованье, «чем бы могли себя содержать и имя российское в наготы и нишеты не безчестить».

В 1720 г. в связи с отъездом в Россию агента Беклемишева, осуществлявшего надзор за русскими учениками в Венеции, попечительство над ними было передано Рагузинскому. Правда, к этому времени их значительно поубавилось: 27 гардемарин, пристроенных по одному на корабли венецианского флота, после стажировки и участия в боевых операциях против Порты были отправлены в Испанию. В Венеции остались лишь два брата Семенниковы, постигавшие бухгалтерские премудрости, и два живописца — Михаил Захаров и Федор Черкасов, обучавшиеся мастерству во Флоренции. Судя по всему, в годы, когда их опекал Рагузинский, нужды они не испытывали.

Едва ли не самая важная услуга Владиславича России в годы пребывания его в Венеции заключалась в укреплении международного престижа страны.

Летом 1720 г. русский флот одержал блистательную победу над шведами у мыса Гренгам. Петр тут же известил об этом Владиславича, поручив ему перевести на итальянский язык реляцию о морском сражении и пленении четырех шведских фрегатов. С нею он отправился на аудиенцию к венецианскому дожу. По словам Владиславича, между ним и дожем состоялась дружественная беседа: тот «оную реляцию принял с радостью и с немалым удовольствием и с наилучшими комплиментами... и мене недостойного, раба вашего, в особой палате посадил на стуле против себя чрез обыкновенно и спрашивал довольно по персоне вашего августейшества».

Позаботился Владиславич и о том, чтобы новость стала достоянием населения Италии. Его стараниями реляция была размножена в типографии и разслана по городам. Победу «не токмо приятели, но и сущие неприятели в неизреченную славу причитают», — доложил царю Савва Лукич³⁹.

В третий день триумфального празднества, 11 сентября 1720 г., царь напомнил Владиславичу о Гренгамской победе еще раз. Подробно описывая торжества по этому случаю, Петр, разумеется, рассчитывал, что адресат сделает все возможное, чтобы широко оповестить о победе правящие круги и население республики. Интерес Петра к реакции в Венеции на Гренгамскую победу понятен: республика владела мощным морским флотом и сражение, выигранное Россией на море, должно было засвидетельствовать появление новой морской державы на далеком северо-востоке. Царь не обманулся в ожиданиях. Владиславич ответил ему, что Европа уже давно была осведомлена о могуществе России на суше: «Сухопутные войска ваши ныне в первом ранге в Европе почитаются». Теперь же Россия успешно демонстрировала свою силу на воде: «И в морском обхождении никто не чаял такого искусства в управлении и храбросте»⁴⁰.

Столь же оперативно действовал Владиславич и в связи с получением текста Ништадтского мирного договора: он тут же перевел его на итальянский язык. Россия, как известно, после Ништадтского мира стала называться империей, а Петру I Сенат присвоил титул императора. Сложным и деликатным был вопрос о признании нового статуса России и ее

царя европейскими державами — это признание затянулось на многие десятилетия. До сих пор считалось, что при жизни Петра титул императора за ним признали четыре государства: Пруссия, Голландия, Швеция и Дания. Теперь мы можем внести поправку: первым государством, признавшим Россию империей, была Венеция, причем громадная заслуга в этом принадлежит умелой дипломатической деятельности Саввы Лукича Рагузинского. Осенью 1721 г. он сначала донес, что уведомил венецианского дожа и сенаторов о новом титуле Петра и что ему под большим секретом сообщили о согласии Сената «трактовать» русского царя императором, а затем, в декабре того же года, он информировал Макарова об официальном решении дожа и Сената на этот счет⁴¹.

В годы пребывания за границей Владиславич со свойственной ему добросовестностью попытался выполнить еще одно, пожалуй, самое деликатное поручение царя: перед его отъездом в Венецию Петр велел ему подыскать жениха своей племяннице Прасковье Ивановне. Поосмотревшись за несколько месяцев жизни в Венеции, Владиславич в октябре 1716 г. представил список женихов, как говорится, на любой вкус. Правда, облика женихов, их человеческих качеств, достоинств и пороков Савва Лукич описать не мог, ограничившись сообщением лишь приблизительных сведений об их достатке. Среди возможных претендентов — тридцатилетний сын дука ди Пальма. Годовой доход дука — миллион ефимков. Два сына дука ди Модена представлялись менее выгодными женихами, ибо они должны были делить между собой доход в 700 — 800 тыс. ефимков. О доходах дука Савойского Владиславич сведений не добыл, но ему доподлинно известно, что у него есть два сына-жениха⁴².

Остается гадать, почему письмо Владиславича осталось без ответа: то ли предложенные им кандидатуры в глазах царя не имели должного политического веса в делах Европы, то ли русских не устраивала необходимость принятия Прасковьей Ивановной католической веры.

Выполнение перечисленных поручений, вместе взятых, не требовало значительных затрат времени. В заботах Владиславича во время его жизни в Венеции доминировали, разумеется, коммерческие дела. К сожалению, проследить их развитие и оценить степень их успешности по имеющимся у нас источникам нет возможности. Известно лишь, что Савва Лукич занимался реализацией в Венеции казенных товаров, доставленных из России. Так, в 1718 г. в Венецию прибыл корабль с русскими товарами. Их Владиславич поделил поровну с Беклемишевым, и, как следует из донесений того и другого, оба они успешно провели операцию. Рагузинский сообщал, что он «продал юфть и смолу по цене высокой, как прежде не продывано». Правда, воск и железо спросом пока не пользовались. Рагузинскому вторил Беклемишев: ему удастся реализовать воск и смолу, «о котором рассуждаю, что немалая прибыль получена». Что касается личных торговых сделок, то, совершая их в Венеции, Савва Лукич, как и в России, пользовался покровительством царя. В начале 1718 г. он сообщал Петру, что дал задание своим торговым агентам в России закупить

шесть — восемь тысяч пудов юфти и воску с правом вывоза их за границу через Архангельск. Просьба была вызвана тем, что царские указы предписывали львиную долю экспорта русских товаров осуществлять не через Архангельск, а через Петербург. Владиславич обращался к царю и с просьбой об освобождении доставленных в Россию венецианских товаров от пошлинного обложения на том основании, что он являлся зачинателем торговли с Венецией⁴³.

Трудно определить меру коммерческих успехов Владиславича. Есть, однако, косвенные свидетельства того, что торговые сделки в Венеции вряд ли значительно приумножили богатство Рагузинского. Напротив, к концу своего пребывания в Венеции он заявлял, что испытывал нужду в наличных средствах и, дескать, не мог, как раньше, авансировать нанятых специалистов деньгами на дорожные расходы, оплачивать покупки скульптур и картин и т. д. «За непродажею моих товаров имею ныне в деньгах нужду здесь», — сообщал он Макарову в марте 1720 г. Год спустя он все же уплатил три тысячи ефимков за мрамор, но тут же просил Макарова: «Аще возможно не извольте впредь мене в отдаче денег до моего пришествия в Русию принуждать, в которых имею за непродажею моих товаров немалую нужду». А вот письмо, быть может, и преувеличивавшее коммерческие неудачи Владиславича, но подтверждавшее, что дела у него шли не блестяще. 8 мая 1721 г. он писал, что ни по чьему письму, даже по царскому, он не может заплатить ни копейки «за последним моим изнеможением и мизериею. Бог сам ведает, сколько мне было сего году убытков, и аще не стану банкротером, то себе в честь причту».

В Россию Владиславич возвратился не один. Сначала в северную столицу прибыла «старуха матюша моя и племянник Гавриил Владиславич». Позже в Петербург приехал и Савва Лукич с молодой супругой. О первой жене Саввы Лукича нам почти ничего не известно. Есть лишь сведения, что она родила ему сына Луку и в 1714 г. Владиславич ожидал ее прибытия в Россию, для чего приобрел для нее гардероб⁴⁴. Приезд, однако, не состоялся. Похоже, что она много лет содержалась османскими властями в качестве заложницы.

Обе дамы, приехавшие в Петербург, являлись своего рода достопримечательностью столицы. Одна отличалась необыкновенной красотой, другая — возрастом.

Патрицианке Вирджинии Тревизан не исполнилось и 20 лет, когда она в 1718 г. вышла замуж за пятидесятилетнего Владиславича. Леди Рондо, супруга английского резидента, неприязненно относившаяся к Вирджинии, писала, что Владиславич скорее не женился, а купил ее, «потому что обладал несметными богатствами». Действительно, за три месяца до свадьбы умер отец невесты, и Вирджиния, возможно, предпочла скудной жизни в солнечной Венеции богатство и возможность блистать при дворе северной столицы. В приведенных словах леди Рондо есть доля истины. Во всяком случае, ее оценку брачных уз подтверждает, правда, косвенно, сам Владиславич. В письме к Петру от 9 сентября 1720 г. из Венеции он писал: «Я сегодня

венчался чрез благочестивого брака с девицею венецкою от 20 лет, сенатскою дочерью, без жадной приданы, токмо с письменным обязательством, что предбудущаго году последует мне и моей матюшке с племянниками восприяла б со мною в империю Российскую». Аналогичного содержания письма Рагузинский отправил и адмиралу Ф. М. Апраксину. Этому корреспонденту он, кроме того, сообщал, что его супруге всего 20 лет⁴⁵. По свидетельству леди Рондо, супруг «держит ее взаперти и очерь редко отпускает куда-нибудь, кроме двора». Она же рассказала о случае, происшедшем с супругой Владиславича при дворе Анны Иоанновны.

Придворные дамы полагали, что Вирджиния, появлявшаяся на приемах увешанной огромным количеством драгоценностей, на самом деле носила поддельные камни. Они решили удовлетворить свое любопытство при помощи шутихи, которая, сделав вид, что намеревалась поцеловать красавицу, в действительности приблизилась к ней, чтобы раскусить жемчужину. Патрицианка отвесила ей пощечину. Это для того, сказала она, чтобы напомнить тебе, что благородная венецианка никогда не носит поддельных драгоценностей. Рондо сокрушалась о том, что гордость и чувство собственного достоинства совмещались у Вирджинии с низостью, выразившейся в брачном союзе со стариком⁴⁶.

Достоинством матери было долгожительство. Именно благодаря этому удивлявшему современников обстоятельству ее имя попало на страницы донесений и мемуаров. «Она гречанка, — доносил правительству французский резидент Лави, — и ей 97 лет. Вот уже 20 лет, как она не ест говядины и своей чрезмерной умеренностью в пище сохраняет здоровье»⁴⁷. По другим данным, внушающим доверие, в 1722 г. ей исполнилось 105 лет.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСЛАННИК

На трехлетие, с конца 1725 по 1728 год, падает кульминационный период жизни и деятельности Владиславича. В эти годы он возглавлял русское посольство в Китай. Целесообразность назначения Владиславича руководителем посольства не вызывает сомнений — правительство Екатерины I едва ли могло сыскать кандидата, равного ему по жизненному опыту, образованности и умению вести дела в восточных странах, приобретенному во время пребывания в Порте, способности быстро ориентироваться в сложной обстановке.

Нам остается, однако, гадать, что заставило Владиславича, человека преклонного возраста, оставить молодую жену, трех малолетних дочерей и торговые дела, чтобы отправиться в нелегкий путь выполнять нелегкое поручение: шесть тысяч годового жалованья плюс две тысячи четыреста рублей соболями на путевые расходы, или честолюбивое стремление сменить мундир надворного советника на камзол тайного советника, или чувство долга и сознание того, что именно он, а никто иной, способен успешно выполнить задание, или, наконец, любознательность и страсть человека, которому наскучила монотонная жизнь в Петербурге, к путешествиям и новым впечатлениям. Скорее всего на решение Владиславича собраться в дорогу оказали влияние все соображения, вместе взятые.

Кстати, эта поездка дает основания отвергнуть свидетельства леди Рондо о том, что Савва Лукич был семейным тираном. Если бы ее слова соответствовали истине, то ничто не могло бы подвинуть деспота супруга оставить семью.

Между тем один современник на вышепоставленный вопрос дал однозначный ответ. Известный поэт и дипломат Антиох Кантемир, сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира, в одной из сатир под именем Хрисиппа вывел Савву Владиславича:

По вся утра тороплив, не только с постели,
Но выходит со двора, петухи не пели,
Когда в чем барыш достать надежда какая,
И саму жизнь не щадит. Недавно с Китая
Прибыв, тотчас он спешит и в другой край света,
Сбирается, несмотря ни на свои лета,
Ни на злобу воздуха в осеннюю пору;
Презирает вод морских, то бездну, то гору,
Сед, беззуб и весь уже дряхл на корабль садится:
Не себя как уберечь, но товар, крушится.
Скупость, скупость Хрисиппа мучит — не иное:
И прячет он и копит денежные тучи¹.

В изображении Антиоха Кантемира Владиславич — скупой, находящийся во власти денег беззубый старик, которого лишает покоя и сна патологическая алчность. Эта характеристика крайне пристрастна. Дело в том, что дружеские отношения между Дмитрием Кантемиром и Владиславичем, существовавшие до 1711 г., сменились непримиримой враждой, отзвуки которой даже запечатлены в печатном слове.

Владиславич владел пером и, живя в Венеции, занимался переводами. В Россию он привез переведенные с итальянского две книги. В предисловии и послесловии к одной из них он резко отозвался о переведенном Кантемиром сочинении, посвященном магометанской религии. Владиславич считал, что вместо распространения в России «магометанских рассказов» надобно переводить сочинения, внушающие читателю «святополитичные поступки для исправления совести, духа или ума, сердца и страстей, да и языка». Он грозил сделать подробный разбор перевода Кантемира, «аще бог не пресечет вскоре жизнь мою». На выпад Владиславича за отца ответил сын злой сатирой, гиперболизовав одну из слабостей Саввы Лукича.

И все же должно признать, что у нас нет оснований сомневаться в прижимистости Саввы Лукича. Документальных свидетельств на этот счет великое множество. Правда, все они хотя и достаточно красноречивы, но принадлежат к числу косвенных. К ним можно отнести подарки, подносимые Владиславичем вельможам. Самым значительным подношением была лошадь, как-то подаренная Саввой Лукичом Меншикову. Подарки Толстому, Апраксину, Головину и Головкину были столь ничтожны, что воспринимаются не как подношения в «честь», а в качестве знака внимания и готовности услужить. Свидетельством скаредности Владиславича принято считать его отношения с племянником Ефимом, прибывшим в Россию в 1704 г. и позже отправленным вместе с прочими волонтерами во Францию для обучения. В архиве сохранилось несколько писем Ефима Владиславича с жалобами на отказ дяди в денежной помощи. Первое такое послание Ефим отправил в Посольскую канцелярию еще в сентябре 1712 г. Племянник сообщал, что он десять месяцев не получал денег от дяди, и просил исходатайствовать у царя, «дабы что-нибудь на содержание к нему прислано было, пока от упомянутого дяди получит».

Четыре года спустя Ефим Владиславич обратился непосредственно к царю. Он просил об «исходатайствовании у дяди ево графа Савы Владиславича на уплату долгов денег». Дело, однако, здесь не в скупости Саввы Лукича, а в поведении племянника. Ефим не проявлял рвения к учению еще в годы пребывания в России. Посылая его под Выборг, в распоряжение Григория Скорнякова-Писарева, царь написал письмо, содержание которого, несомненно, было подсказано Саввой Лукичом: «Послали мы к вам Ефима Рагузинского, которому вели быть при себе. И чтоб он не гулял, а учился бомбардирству при вас»². Склонность Ефима к праздной жизни пышно расцвела в Париже, где контроль за его поведением стал менее жестким. Дядя, видимо, решил урезонить мотовство племянника отказом в помощи. В одном из писем к царю Савва Лукич называл своего племянника «недостойным», а один из современников-французов, наблюдавший его в свите царя, когда тот находился во Франции, охарактеризовал Ефима «человеком легкомысленным»³.

На отношение Саввы Лукича к племяннику проливают свет духовные 1725 и 1738 гг. В первой из них написано так: «Четвертого же моего племянника Ефима Владиславича от всего моего наследства отлучаю за ево предезрость и непостоянство». Неприязненные чувства к этому племяннику Савва Лукич сохранил и 13 лет спустя. Правда, вместо одной тысячи рублей по завещанию 1725 г. теперь надлежало выдать ему три тысячи, но с оговоркой, выражавшей презрение: «Ежели он тем доволен не будет и станет по своему обыкновению жить непорядочно», то указанной суммы ему не выдавать, а разделить ее равными долями между сухопутным и морским госпиталями.

За месяц до отъезда в Китай Коллегия иностранных дел вручила Владиславичу инструкцию, по обычаю тех времен подробно излагавшую не только содержание возложенных на него поручений, но и способы их выполнения. Сквозь частокोल сорока с лишним пунктов инструкции отчетливо видны три важнейшие задачи посольства: «прежнее доброе согласие и свободное отправление купечества возстановить и утвердить», решить вопрос о перебежчиках и, наконец, произвести разграничение, причем «возстановление и утверждение российского купечества в Китае, — сказано в инструкции, — есть один из наиглавнейших пунктов».

Начало торговых связей между соседними государствами восходит к середине XVII столетия, но интенсивно они стали развиваться после Нерчинского договора 1689 г. В роли экспортера русских товаров, преимущественно сибирской пушнины, выступала казна. В соответствии с указом сибирские воеводы взымали пушнину с ясачных людей, затем в Нерчинск прибывал «купчина» — доверенное лицо правительства, которому поручалась отправка каравана в Пекин, продажа пушнины, приобретение китайских товаров и доставка их в Москву. Все эти операции занимали от трех до пяти лет. Обычно «купчина» и лица, обслуживавшие караван, везли в Китай собственную пушнину и совершали сделки в качестве частных лиц.

Первые караваны оказались прибыльными, и это дало основание правительству Петра I объявить в 1706 г. торговлю с Китаем казенной монополией. «Купчина» в соответствии с велением времени стал называться по-иностранному — комиссаром. Ему, как и прочим служителям каравана, разрешались вывоз собственных товаров и покупка китайских изделий. Это была своеобразная форма расплаты с комиссаром и служителями, не получавшими вознаграждения за свою службу.

Вскоре, однако, караванная торговля стала приносить казне не прибыль, а убыток. Отчасти это объяснялось тем, что комиссар и его команда радели не столько о казенном интересе, сколько о личной выгоде, и в первую очередь стремились реализовать свои товары и только потом, на менее выгодных условиях, продавали государственные. Сказывалась также и громоздкая форма организации караванной торговли, сковывавшая инициативу «купчины», или комиссара. Но главная причина спада русско-китайской торговли была заложена в политике цинского правительства: вопреки Нерчинскому договору власти Пекина отказывались пропускать караваны. Пока шла занимавшая многие месяцы переписка, сосредоточенная в Нерчинске или Селенгинске пушнина, хранимая в неблагоприятных условиях, а то и под открытым небом, приходила в негодность. Когда же, наконец, караван прибывал в Пекин, комиссара лишали права свободной торговли, ограничивали доступ к товарам местных купцов. Установлением режима изоляции китайские власти преследовали весьма прозаическую цель: вынудить комиссаров продавать товар не по рыночной цене, а по той, какую предлагали китайские купцы.

Ко времени назначения Саввы Лукича чрезвычайным посланником и полномочным министром нагнетаемые китайской стороной притеснения торговли привели к тому, что она почти прекратилась. Караван, отправленный в 1718 г., свыше двух лет стоял у границы, а когда его все-таки пропустили в Пекин, то в столице Цинской империи он был поставлен в такие условия, что торговать не мог. Через девять месяцев безуспешных попыток реализовать пушнину комиссар был выслан из Пекина со значительным количеством непроданного товара. Вместо обычных трех лет время оборота этого каравана заняло шесть лет¹.

Еще более печальной была судьба каравана, снаряженного в 1722 г. Он ожидал разрешения на въезд в Китай шесть лет и только благодаря настойчивости Владислави́ча был пропущен в Пекин. Китайские власти задерживали его под тем предлогом, что сначала надо решить вопрос о разграничении и перебежчиках.

Чтобы преодолеть расстояние от Петербурга до русско-китайской границы, Владислави́чу понадобилось без малого десять месяцев — обоз в составе 60 телег отправился из столицы 12 октября 1725 г., а прибыл на речку Буру 24 августа следующего года. Даже с учетом транспортных условий того времени скорость продвижения Владислави́ча надо признать незначительной, тем более что инструкция предписывала ему ехать «с возможным поспешением». Тому причиной были длительные задержки в

пути. Продолжительное пребывание в Москве, которую он покинул только 27 декабря, было вызвано «неустановлением рек, которые и поныне не очень крепки», как объяснял он накануне отъезда. Так как санный путь прокладывали по рекам, то пришлось ждать прочного льда⁵.

Но Владиславица задержали в Москве не только погодные условия — в старой столице он приводил в порядок свои имущественные дела на тот случай, ежели, как он писал, «мене в таком дальном отлучении смерть постигнет». 23 декабря 1725 г. он подписал завещание. Его содержание интересно в двух планах: оно проливает свет на семейное положение Владиславицы и дает представление о его богатствах. Оговоримся, однако, что супружеские отношения духовная проясняет не до конца. Из ее содержания следует, что ко времени выезда Владиславицы из Москвы его супруги Вирджинии и дочери в Петербурге уже не было. Неясно, когда и почему они оставили столицу России, чтобы отправиться в Венецию. Судя по всему, расставание сопровождалось ссорой.

Основанием для подобного суждения является то, что наследником всего имущества Владиславич объявил не дочь и не супругу. Вирджиния должна была довольствоваться всего лишь «алмазным убором» и прочими драгоценными украшениями, увезенными ею в Венецию. Доля дочери в наследстве была более весомой: по достижении совершеннолетия ей надлежало выдать 15 — 20 тыс. руб. на приданое. Единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества объявлялся старший из племянников — Гавриил Иванович.

На исходе своей жизни Владиславич вспоминал, что он выехал из своего отечества «во младых летах с премалым капиталом родительского имения». С отцом своим он расплатился, еще живя в Константинополе, и за 40 лет сколотил немалое состояние, став богатым человеком.

Сведений о размерах капиталов Рагузинского у нас нет, но, судя по сумме, выданной на приданое дочери, общая сумма денег, находившихся в обороте, составляла многие десятки тысяч рублей. Недвижимое имущество Рагузинского составляли вотчины с крепостными крестьянами, а также дома в Москве, Петербурге и Нежине.

Первое пожалование вотчинами, конфискованными у сторонников Мазепы генерального обозного Ломиковского и генерального судьи Чуковича, было произведено в 1710 г. По данным на 1730 г., в вотчинах, расположенных в Черниговском, Стародубском, Прилуцком и Гадяцком полках, насчитывался 551 двор, то есть свыше двух тысяч крепостных мужского пола.

Другое дворянское гнездо Рагузинский свил в Прибалтике. Первоначально царь пожаловал ему в том же 1710 г. пять верст в длину и столько же в ширину сенокосных угодий в Санкт-Петербургском уезде. Позже, перед его отъездом в Венецию, ему были пожалованы в аренду несколько мыз в Рижском уезде «с обещанием, что по возвращении ево из отечества ему и потомкам ево пожалованы будут в вотчину». По возвращении в Россию Владиславич возбудил ходатайство о передаче ему мыз. Просьба

была удовлетворена в 1725 г. Екатериной I. В итоге он стал владельцем 52 1/2 гака⁶. Поскольку эти мызы находились в закладе, Владиславичу пришлось компенсировать прежнего их владельца пятью тысячами ефимков. Таким образом, Владиславич, несомненно, принадлежал к числу крупных помещиков России.

Он понимал, что передача наследства племяннику вызовет недоумение, и поэтому мотивировал ее в духовной следующим рассуждением: «Благоразумному читателю не без противности будет, что я, имея дочь родную прямую наследницу, а вместо ее оставляю наследником и управителем племянника моего Гаврила, что и правы российские не повелевают. Однако же Богу самому известно да будет, что я то чиню за лучшую честь и содержание дому моего, и дабы фамилия Владиславича (которая из ильирийских первых фамилий графских прибыла в Российскую империю) желаю, дабы по мужской линии оное ими было содержано, графство же и прерогативы не померкнут»⁷.

У Саввы Лукича были четыре племянника. Одного из них, Ефима, как сказано выше, он лишил наследства, а остальных братьев Гавриил должен был содержать так, «яко бы были сущие ево дети». Впрочем, если жена и дочь пожелают вернуться в Россию, то их Гавриилу надлежало окружить таким вниманием, будто бы они являлись его родной матерью и родной сестрой.

Длительным было пребывание Владиславича не только в Москве, но также в Тобольске и Иркутске. Находясь в этих сибирских городах, он, готовясь к переговорам, изучал документы о русско-китайских отношениях. Надо, наконец, учитывать и возраст посланника — уроженцу теплых краев в год, когда он отправился в путь, минуло 56.

Сведения о том, как переносил сибирские морозы путешественник, отсутствуют. Доподлинно, однако, известно, что Сибирь произвела на него сильное впечатление: «Земля эта обетованная по хлебородию, в рыболовлях и звероловлях и преизобильна рудами разных материалов, разными мраморами и лесами, и такого преславного угодыя, чаю, на свете нет». Правда, продолжал Владиславич, край слабо заселен и еще хуже «от глупости прежних управителей» защищен, но посланник уповал на расцвет края в будущем.

На границе состоялась первая встреча Владиславича с маньчжурскими представителями, заранее извещенными о приезде русского посланника, — министрами, фамилии которых транскрипция тогдашних источников передавала так: граф Лонготу и Секи. Им богдыхан велел встретить посольство и сопровождать его до Пекина.

Читателя, знакомящегося с документами переговоров от первого контакта Владиславича с пекинскими министрами до заключительной с ними встречи во время обмена трактатами, не покидает чувство удивления, причем порою бывает трудно определить, чему больше удивляться: необычайной выдержке, настойчивости и терпению Саввы Лукича, его способ-

ностям блестящего полемиста, умению шуткой разрядить напряженность или поразительному упрямству цинских представителей, глухих к логике фактов, точно заученный урок твердивших одно и то же на всех конференциях, их иногда наивным, иногда хитроумным уловкам, чередованию изысканной любезности с грубым игнорированием неприкосновенности иностранного посла, наконец, их «шатливости», как называл непостоянство Владиславич.

Споры начались с первой же встречи с цинскими дипломатами¹. 25 августа стороны обменялись пустопорожными фразами, а затем чиновники передали Владиславичу приглашение, звучавшее как повеление, чтобы он «прибыл немедленно к ним, министрам, под шатер для конференции о марше». Савве Лукичу довелось в течение двух дней внушать министрам правила элементарной вежливости:

«Вы, господа министры, по указу его богдыханова величества посланы ко мне, чрезвычайному посланнику, на встречу, для моего приему, а не я к вам, и должность ваша, министров, меня встретить и первую визиту мне отдать».

На этот раз министры уступили. Обращаясь с ними, Владиславич обнаружил, помимо надменности, еще одну черту в их поведении: «Что в вечеру говорят, то завтра слова своего не содержат».

Китайская сторона затеяла спор и по поводу присутствия в составе посольства женщины. Пекинские министры заявили, что это «противно их государственным правам» и вызовет гнев богдыхана. На Владиславича угроза не подействовала, он ее игнорировал, заявив министрам: отсутствие при нем прачки приведет к тому, что «и от него пользы никакой нет в их земле, для того-де он человек старой и без нее ему чистоты ради пробыть невозможно».

Посольство пересекло границу 2 сентября 1726 г. и достигло Пекина через сорок дней пути. В городах его встречали музыкой, оружейной пальбой, потчевали чаем и даже развлекали комедиями. 21 октября состоялся торжественный въезд в Пекин: свита посольства в составе 120 человек в парадных одеждах проследовала по улицам города, вдоль которых было расставлено восемь тысяч пехоты и конницы².

Пышность встречи и ласки столь же неожиданно прекратились, как и начались. Предупредительности хозяев достало всего лишь на десять

¹ Изложение переговоров Саввы Рагузинского с китайскими дипломатами сделано по статейному списку — так назывался отчет посланника о выполнении поручения правительства. Статейный список — источник, требующий критического к себе отношения, т. е. проверки его свидетельств показаниями документов, исходивших от представителей страны, с которой велись переговоры. Руководители посольств, составлявшие статейный список, стремились изобразить переговоры в выгодном для себя свете, наградить своих собеседников негативными свойствами и, напротив, подчеркнуть свою находчивость, настойчивость и усердие при выполнении инструкции.

Не располагая источниками, которыми можно было бы корректировать статейный список Саввы Рагузинского, страдающий отмеченными выше недостатками, автор все же пытался несколько умерить описание чрезвычайным посланником трудностей, которые ему довелось преодолевать.

дней. На одиннадцатый посольский двор окружили 600 солдат под командой трех генералов, которые полностью изолировали посольство от окружающего мира.

Подобное «гостеприимство», впрочем, не являлось для Владиславиича неожиданным. Еще в донесении, отправленном в Петербург до вступления в пределы Цинской империи, он писал: «Не буду в Пекине жить, как при дворах европейских послы и посланники живут, но за честным караулом, как их варварское обыкновение, и либо и до моего возвращения подданнейшая моя корреспонденция пресечется». Чрезвычайный посланник многократно протестовал.

«Для чего посольский двор занимают и никого вон не выпускают?» — спрашивал он у одного из министров.

Тот отвечал:

«То наше древнее обыкновение, и дондеже аудиенция тебе, чрезвычайному посланнику, не будет, то и выпуску никому не будет же».

Между тем аудиенция у богдыхана состоялась 4 ноября, но режим жизни посольства был ослаблен лишь на несколько дней, а затем посольский двор вновь оказался под замком. На повторные вопросы министры неизменно твердили: он, чрезвычайный посланник, «живет не за караулом, токмо за лутчую ево честь по их обыкновению держится у него караул и ворота запираются».

«Зело знаю, — ответил Владиславиич, — что к чести надлежит и что к такому несносному утеснению».

Министры дали очередное заверение: начнутся, дескать, переговоры — и посольству будет предоставлена свобода.

Начались будни уныло-однообразных переговоров: одни и те же лица, одни и те же фразы, одни и те же доводы. Если быть точным, то китайская сторона никаких доводов не предъявляла, упрямо предлагая Владиславиичу удовлетворить все их притязания.

Переговоры начались, но обещанной свободы посольство не получило. Чтобы не выпускать Савву Лукича и персонал посольства за пределы посольского двора, министры поступились, так сказать, богдыхановой честью и сами согласились приезжать на конференции на подворье чрезвычайного посланника. В день начала переговоров — 15 ноября — у дверей комнаты, где происходило заседание, Владиславиич выставил почетный караул из двух гренадеров. Министрам по этому поводу иронически заметил:

«Я у вас за караулом у передних дворовых ворот, а вы у меня за караулом в палате».

Министры шутку поняли, рассмеялись, но продолжали рассуждать о «чести» и «безопасности».

Пекинский двор пользовался и другими средствами давления на Владиславиича. Однажды в резиденции посланника появился какой-то генерал и, затеяв с одним из сотрудников посольства доверительный разговор, сообщил, что «нынешний владетель — превеликий тиран и кровопролитель», и рекомендовал чрезвычайному посланнику быть покладистым, вести себя

«склонно и осторожно», чтобы не навлечь на себя богдыханского гнева. В информации «доброхота»-генерала Владиславич не нуждался. Он и без него имел представление о личности свирепого богдыхана Юнчжэна и характеризовал его так: «Нынешним ханом никто не доволен, ибо пуше римского Нерона государство свое притесняет и уже несколько тысяч людей уморил, а несколько миллионов несправедливо ограбил и до конца разорил». Следы грабежа посланнику после снятия охраны посольского двора довелось наблюдать самому — на базаре он был свидетелем продажи 20 тыс. шуб. Это была одежда жертв богдыханского произвола и репрессий¹⁰.

К числу «несносных утеснений» посольства относится также снабжение персонала соленой водой, от которой многие маялись желудками. Министры использовали еще одно средство воздействия на Владиславича — они грозили «выбить», то есть выпроводить, посольство из Пекина. Реализация этой угрозы в студеную пору влекла верную гибель посольства в безлюдной степи.

Цель всех «утеснений» и угроз состояла не в том, чтобы оказать «честь» чрезвычайному посланнику и полномочному министру, а в том, чтобы заставить его быть податливым в переговорах и подписать трактат в ущерб интересам России и в угоду Цинской империи. Владиславич понимал это и многократно заявлял министрам о тщетности их надежд добиться от него уступок угрозами «передавить россиян, как мышей»¹¹.

«Я скорее сгнию в тюрьме, нежели нарушу инструкцию».

В другой раз он ответил:

«Хотя б десять сажен под землю буду, я не нарушу верности своему отечеству».

Время откровенно грубого нажима и устрашения чередовалось со временем ласкового обхождения, клятвами министров в «любви и дружбе», лестью, «приятельскими» советами быть уступчивым, доставкой на посольский двор изысканных обедов с кухни богдыханского дворца.

К числу средств, которыми цинский двор намеревался снискать расположение посланника, относится, например, приглашение Владиславича в загородную резиденцию богдыхана на новогодний праздник. Приглашение расценивалось китайской стороной как проявление особой милости богдыхана, за которую, конечно же, надлежало расплачиваться. Присутствуя на празднике, чрезвычайный посланник должен был убедиться в величии богдыхана и проникнуться безграничным к нему уважением. Владиславич действительно был удивлен, но совсем не так, как того хотелось богдыхану. На новогоднем торжестве Владиславичу не довелось наблюдать ни всплесков радости, ни смеха, ни веселья. В зале царил жуткая тишина, все сидели с каменными лицами и, казалось, ничего так не ждали, как окончания праздника. Пример подавал сам богдыхан, восседавший на престоле, подобно истукану.

«Удивлению подобно, — делился Владиславич впечатлениями об увиденном, — что в толиком многолюдстве все сидели в глубочайшем молчании и друг другу ни единого слова не молвили. Также и хан по при-

бытии на престол до самого возвращения ни единого слова не молвил же и сидел, ни на кого не смотря, якобы статуя была, что у них за величайший магистет (то есть величие) почитается».

В середине февраля 1727 г. Владиславич серьезно занемог. Болезнь вызвала переполох во дворце, богдыхан поручил лечение больного своему врачу. Савва Лукич без труда разгадал значение этого жеста: богдыхан руководствовался отнюдь не гуманными соображениями, а страхом за судьбу посланника и возможное обострение отношений. Богдыхан-то хорошо знал о несладкой жизни в Пекине посольства и его главы, об испытываемых ими тревогах и лишениях¹².

Казалось, что все средства шантажа и давления были исчерпаны, но пекинские власти изобрели еще один хитроумный ход: вместо министров, с которыми Владиславич вел переговоры, были назначены другие, более высокого ранга. Это было сделано с той целью, чтобы выдвинуть против Владиславича обвинение в несговорчивости и представить его виновником срыва переговоров: он, Владиславич, дескать, упрям и не мог найти общего языка ни с теми, ни с другими министрами. Новые участники переговоров обещали выдать чрезвычайному посланнику «великое награждение богдыханова величества». Владиславич с достоинством отверг посулы:

«Я не изменник российской, чтоб русские земли без указа отдавать и продавать».

Тогда министры пригрозили отправить письмо Екатерине I (к этому времени умершей, чего не знали ни Владиславич, ни министры, так как корреспонденция с Петербургом была «пресечена») с жалобой на несговорчивость ее посланника¹³.

Ради чего назначенные богдыханом для переговоров с Владиславичем министры — сначала Та, Тегута и Тулишен, а затем алегоды (действительные тайные советники) — пускались во все тяжкие и широко прибегали к отнюдь не дипломатическим приемам воздействия на партнера? Удовлетворения каких запросов они домогались от Владиславича? Почему переговоры в Пекине, для завершения которых достаточно было нескольких недель, приобрели изнурительный характер, затянулись на семь месяцев и, несмотря на столь длительный срок, все же не закончились подписанием трактата?

Исчерпывающие ответы на поставленные вопросы дают документы переговоров. Дело в том, что переговоры обнаружили диаметрально противоположные позиции сторон. Для России и представлявшего ее интересы Владиславича главная цель переговоров состояла в упрочении мира и торговых связей. Напротив, цинскую династию с ее традиционной политикой изоляции Китая от внешнего мира торговые отношения с соседями не интересовали. У богдыхана Юнчжэна, правившего в то время Китаем, забота была иная — расширить границы своей империи. Пекинские власти полагали, что для осуществления захватнических намерений наступил благоприятный момент — они были осведомлены о слабой защищенности русских границ, отстоявших к тому же на тысячи верст от

основных экономических районов страны. Сам факт отправки посольства Владиславича, прибывшего в Пекин всего лишь через шесть лет после посольства Льва Измайлова, богдыхан и его министры расценивали как проявление слабости России. Подобную оценку в пылу полемики ненароком высказал Тулишен:

«Ежели б не была россианом необходимая нужда до них, для чего б посылать послов за послом, как и ныне учинили, ис таких дальних стран такую великую персону с такими великими подарками послали, каковы прежде в Пекине не были, что всяк умный разсудить может, что россианом есть необходимая нужда. И ежели не сделает чрезвычайный посланник по их — то с чем может возвратитца?»¹⁴.

Исходя из этих посылок, на поверку оказавшихся совершенно ложными, Юнчжэн полагал, что он без единого выстрела, под убаюкивающие заверения своих министров о миролюбии Цинской империи, перемежавшиеся с угрозами, удовлетворит свои притязания.

Владиславич не поддался ни шантажу, ни угрозам. Знал он и цену заверениям министров, ибо десятки раз убеждался в том, что они ничего не стоят. Свыше тридцати раз Владиславич садился за стол переговоров, иные из которых продолжались до глубокой ночи. Два десятка проектов отклонялись то той, то другой стороной. Наконец, 21 марта 1727 г. Владиславич представил свой последний проект. Вопрос о перебежчиках решался так: где они находятся теперь, там они и остаются; перебежчики же, преодолевшие границу после заключения договора, возвращаются соответственно России и Китаю. Караван, все еще находившийся на границе, должен быть пропущен в Китай. Впредь предусматривалась отправка в Пекин каравана раз в три года в сопровождении не более двухсот человек. На русском посольском дворе разрешалось построить церковь, а также оставить четырех учеников для овладения китайским и маньчжурским языками. Что касается разграничения, то принцип его («*Uti possidetis*») Владиславич изложил формулой: «Да владеют обе империи всем тем, чем ныне владеют, без прибавки, ни умаления». Китайская сторона поначалу полностью приняла проект, но спустя два дня отклонила принцип «*Uti possidetis*», лишний раз подтвердив свою «шатливость». Министры заявили:

«То мы говорили от себя и тебя тешили, а ханское величество на то не согласился»¹⁵.

Последовал резонный упрек Саввы Лукича:

«Какие вы министры — что делаете, от того отступаете. Сие водится между бездельными людьми, а не министрами».

На одной из последних, конференций министры заявили:

«Окончим здесь прочие дела и заключим трактат, в котором напишем: когда ты на границе окончишь дела по-нашему, то и прочие дела производутца в действо».

Савва Лукич справедливо заподозрил в этом предложении ловушку. Скрытый смысл его, как позже писал Владиславич, состоял в том, «дабы я сам себя закабалил границу учинить на границе по их желанию».

В итоге пекинских переговоров был согласован текст будущего договора, за исключением статей о разграничении. Этот пункт обе стороны решили оформить на границе, причем Владиславич заявил, что он не отступится от принципа «Кто чем владеет». 19 апреля богдыхан дал чрезвычайному посланнику прощальную аудиенцию.

«Я тебя принял с радостью, — обратился богдыхан к посланнику, — а когда ты в Пекине был болен, я печалился, понеже я имею такую склонность с Российской империею вечную дружбу и мир иметь, каковую твоя императрица имеет».

Владиславич, тонко польстив восточной гордости богдыхана, отвечал:

«Ваше императорское величество вылечили меня от болезни, вылечите же от печали: повелите, чтоб дела, представленные чрез меня и не оконченные в Пекине, окончены были на границе и чтоб прежде всего караван, давно уже на границе ожидающий повеления, пропущен был сюда».

Богдыхан заявил, что для печали нет оснований, ибо он посылает на «границу добрых министров, которым велел праведным посредством все окончить».

С двумя «добрыми министрами» Владиславичу уже доводилось встречаться: одним из них был Тулишен, другой — граф Лонготу, человек, по заключению Владиславича, «скудоумный, но крайне гордый». Третьим был Цырен-ван.

Посольство выехало из Пекина 23 апреля 1727 г. и достигло пограничной речки Буры в середине июня. У Владиславича было достаточно времени, чтобы привести в систему свои наблюдения о жизни пекинского двора, о внутреннем положении Китая, обычаях народа и пр., — в последние несколько недель перед отъездом из Пекина ему и посольству была предоставлена наконец свобода общения. Наблюдения, которые Владиславич позже изложит в специальной записке для правительства и в донесениях Иностранной коллегии, обнаруживают в авторе литературный талант и проницательность, умение быстро примечать все, что, как ему казалось, будет полезным для России.

Наметанный глаз опытного коммерсанта Владиславича заметил поразившие его обычаи, царившие в торговом мире Китая. Купцы, записал он, «во всем никогда праведно не поступают и стараются как неправедно взвесить и тем друг друга обмануть, и между ними нет на то запрещения, ни стыда. Друг другу не имеют они никакого кредита, и никто никому денег заем не дает, понеже заемные письма на их суде не имеют никакого действия».

Интересны сведения о жизни пекинского двора. Жестокий деспот Юнчжэн жил в постоянном страхе и подозрении — «превеликой суспекции», повсюду шныряли шпионы. «От двадцати четырех ево братьев токмо три в кредите, а протчие некоторые казнены, а некоторые под жестоким арестом». Поражала чрезмерная роскошь двора и крайняя нищета населения. «Хан тешится сребролюбием и домашними чрезмерными забавами». Правитель Китая жил в иллюзорном мире: «Никто из министров не

смеет говорить правду, все старые министры почти отставлены как воинского, так и статского чина, а вместо их собрано молодых, которые тешат его полезными репортами и непрестанною стрельбою, пушечною и оружейною, которую будто екзерцицию кругом Пекина повседневно чинят, а более для устрашения народу и свойственников, дабы не бунтовали»¹⁶.

Переговоры на речке Буре начались 23 июня. Одну конференцию сменяла другая: то в шатре Владиславича, то у Лонготу, а сдвигов в переговорах — никаких. Лонготу в своих территориальных домогательствах далеко превосходил требования, предъявлявшиеся Владиславичу в Пекине, и неизменно твердил:

«Что в Пекине делано и говорено — до того мне дела нет».

Коллеги Лонготу многократно наблюдали, как он, будучи загнанным в угол доводами Владиславича, не мог ничего возразить и лишь краснел и отдувался. После вспышки полемической активности Лонготу, наткнувшись на сопротивление, оказывался во власти апатии. Насунившись, он умолкал и утрачивал всякий интерес к происходившему. Сначала маньчжурские дипломаты вели себя чопорно, затем втихомолку стали подсмеиваться над лядей богдыхана, а затем выражать недовольство:

«Что нам делать, когда богдыхан положил такое превеликое дело на дурака и бездельника»¹⁷.

В иные дни казалось, что все надежды на благоприятный исход переговоров полностью исчерпаны, и Владиславичу приходилось особенно тяжело. Ему и впрямь было от чего прийти в отчаяние: договор, ради которого он прибыл за тридевять земель, ускользал из рук, и уже ничто будто бы не предвещало благоприятного завершения переговоров. Следы этой удрученности запечатлены в отчете, составленном самим Владиславичем.

Савва Лукич терялся в догадках: почему богдыхан в самый последний момент возложил руководство делегацией именно на Лонготу, в то время как ранее намеревался назначить Тулишена, — то ли с тем чтобы «несносными» запросами выторговать если не все, то хотя бы часть запрашиваемого, то ли выбор пал на «такова дурака и спесивца» преднамеренно, чтобы сорвать переговоры¹⁸.

Сомнения рассеялись несколько позже. Оказалось, Лонготу давным-давно, еще до отъезда Владиславича из Пекина, находясь у границы, в донесении богдыхану изложил свои представления о пограничной линии и заверил, что он добьется от чрезвычайного посланника желаемых уступок. Тем самым Лонготу рассчитывал поправить свое пошатнувшееся положение при дворе.

После выдачи векселя, разумеется, вполне устраивавшего богдыхана, Лонготу, как говорится, отступать было некуда — в случае невыполнения опрометчивых обещаний ему грозила потеря головы. Спасая ее, Лонготу вел себя странным образом: вслед за высокомерными выходками и угрозами наступали долгие минуты прострации, когда он беспомощно молчал. Как-то Владиславич в сердцах заявил ему:

«Ежели б во всем Китайском государстве искать такого человека, чтоб дело разорвать, а не зделать, то б всеконечно против ево сыскать было невозможно!»

Наконец, чрезвычайный посланник отказался встречаться с Лонготу, поскольку считал его «человеком без резону», «не миротворцем, а разорвателем мира». Переговоры зашли в тупик. Владиславич нашел способ известить об этом богдыхана. Рискнули сообщить ему о «бездельных» домогательствах и два других цинских министра.

Развязка наступила ночью 8 августа, когда неожиданно прибывшие из Пекина офицеры схватили Лонготу и, не дав ему собраться, куда-то увезли. Правда, эту ночь и Владиславич провел в тревожных размышлениях¹⁹. Как следовало понимать отзыв графа Лонготу: как сигнал к прекращению переговоров или как выражение недовольства богдыханом деятельностью своего дяди?

Правильной оказалась последняя догадка. В Пекине рассудили, что домогательства Лонготу хотя и сулили выгоды Цинской империи, но не могли быть удовлетворены и в конечном счете таили опасность резкого обострения русско-китайских отношений. В итоге рухнули надежды Лонготу обеспечить карьеру за счет русских земель. Он был обвинен в намерении «между двумя государствами ссору завести», ему припомнили и кое-какие давние злоупотребления. Все это привело к конфискации имущества Лонготу и заключению его в тюрьму, где он, по сведениям Владиславича, содержался «под крепким арестом».

После отъезда Лонготу переговоры были быстро завершены, и 20 августа на речке Буре их участники подписали документ, получивший название Буринского трактата. Остались формальности: надлежало присоединить подписанный Буринский трактат к ранее согласованному в Пекине десяти пунктам генерального трактата, подписать все это и обменяться текстами договора. Так рассуждал Савва Лукич и ошибся. Хотя он и изучил «шатливость» цинских министров, но все же не ожидал, что ему будет преподнесен новый сюрприз, почти на год затянувший его пребывание у границы.

После заключения Буринского трактата маньчжурские дипломаты отправились в Ургу, а Владиславич — в Селенгинск, с тем чтобы вновь встретиться через 40 дней для обмена трактатами, — столько времени запросили министры для ратификации Буринского трактата в Пекине.

В Селенгинске Владиславич встретился со своим старым знакомым — Ибрагимом Петровым и второй раз оказал влияние на его судьбу. Мальчиком привез его Владиславич в Москву еще в 1704 г.: «И явил робяток трех человек арапов». Два брата предназначались в дом Федора Алексеевича Головина, а третий — в дом П. А. Толстого. Теперь Ибрагим после пятилетнего обучения инженерному делу во Франции и службы в столице России предстал перед ним в чине поручика, причем опального, коротавшего дни на службе в Селенгинске. Меншиков, проведавший о нелестных высказываниях арапа Петра Великого в свой адрес, сослал его в Казань. Светлейшему,

однако, эта кара показалась недостаточной, и 26 июня 1727 г. Ибрагим получает новый указ, предлагавший ему немедленно отправиться в Тобольск. Сгоряча поручик обратился к Меншикову с челобитной, взывал к милосердию князя, ссылаясь на свое сиротство, однако на следующий день рассудил, что неповиновением накличет новую беду, и вдогонку к челобитной отправил сухой рапорт, что выедет в Тобольск 28 июня.

Тобольские власти отправили его еще дальше — в Селенгинск, «будто за строением фортеции, — доносил Владиславич, — а более, чаю, в ссылку». По словам Владиславича, предок Пушкина «жил здесь в desperation» (отчаянии, унынии) еще и потому, что не имел практики в сооружении крепостей. На свой риск, правда, небольшой, ибо Меншиков к тому времени пал, Владиславич облегчил участь Ибрагима Петрова, отпустив его в Тобольск.

Точно в установленный срок, 7 ноября 1727 г., Владиславич раскинул шатер у речки Буры. Проект генерального трактата он получил только 13 ноября и, к своему удивлению, обнаружил, что он существенно отличался от того, что был согласован в Пекине 21 марта 1727 г. Чрезвычайный посланник, естественно, отказался подписать трактат, отредактированный в ущерб интересам России.

Начался третий тур переговоров, столь же изнурительный, как и два предшествующих. Китайские министры — Тулишен и Цырен-ван хотя и не могли толком уразуметь, почему пекинские министры «прежде постановленное в Пекине испровергли», но, получив соответствующие инструкции, настойчиво пытались навязать Владиславичу новый вариант договора, угрожая при этом войной, разрывом переговоров, конфискацией каравана, пропущенного в Пекин сразу же после подписания Буринского трактата. Владиславич и здесь не поддавался шантажу.

Наступили зимние холода, и Савва Лукич 19 ноября отправился в Селенгинск. Переговоры возобновились в марте следующего, 1728 г., когда из Пекина был доставлен проект договора, соответствовавший тексту, согласованному 21 марта 1727 г. Владиславич его подписал. Понадобилось, однако, время, чтобы его подписали в Пекине. Размен трактатами, подписанными в предшествующем году, состоялся 14 июня 1728 г. в Кяхте, вследствие чего и договор получил наименование Кяхтинского. На обсуждении церемонии размена трактатами китайские министры возражали против стрельбы из пушек. Владиславич на этот раз уступил:

«Когда из пушек не стрелять, то стрелять из рюмок!»

Насколько изнурительными были переговоры, настолько же великой была радость по поводу их завершения. Через день Савва Лукич устроил прием гостей — китайских министров, которых он «трактовал богатым столом»²⁰.

Кяхтинский договор — важная веха в истории русско-китайских отношений. Статья первая договора начинается торжественной фразой: «Сей новый договор нарочито сделан, чтоб между обеими империями мир крепчайший был и вечный». И действительно, разменный в Кяхте до-

кумент вплоть до середины XIX в. служил правовой основой взаимоотношений России с Китаем. В интересах обоих государств договор урегулировал спорные вопросы, ранее вызывавшие трения: оба правительства согласились предать забвению дела о перебежчиках, возникшие до 1727 г., а впредь взаимно обязались производить их немедленную выдачу; подданным обоих государств предоставлялось право беспошлинной торговли; караван с русскими товарами в Пекин договорились отправлять раз в три года; составной частью Кяхтинского договора был Буринский трактат, определивший владения двух государств в районе Монголии.

В трудных условиях проходили переговоры. И в том, что ни один пункт инструкции чрезвычайному посланнику и полномочному министру не остался невыполненным, несомненная заслуга Саввы Лукича Владиславича-Рагузинского. Он стойко и умело защищал интересы России, отверг территориальные притязания представителей Цинской империи и добился при определении границ применения принципа «Каждое государство владеет тем, чем оно владеет теперь». Признание дипломатических дарований Саввы Лукича и его заслуг в установлении добрососедских отношений с цинским Китаем выразилось в присвоении ему чина тайного советника и награждении «кавалерией» — орденом св. Александра Невского. Указ об этом последовал тотчас после получения в Петербурге известий о заключении Буринского трактата и пропуске торгового каравана в Пекин.

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

Посольство Владиславича продолжалось без малого три года. За вычетом времени на переезды и пребывание в Пекине, занявшие в общей сложности около двух лет, остальные месяцы он провел на территории Бурятии — на речке Буре, в Селенгинске и Кяхте. Переговоры чередовались с продолжительными антрактами. Вынужденные перерывы Владиславич заполнял заботами о делах, далеко не всегда связанных с выполнением возложенной на него миссии. Он, как писал сам, «денно и ночью» трудился над совершенствованием администрации Селенгинского дистрикта, составлял подробнейшие инструкции должностным лицам, представлял свое мнение об организации караванной торговли с Китаем, заботился об укреплении пограничных городов. Заметим, кстати, что все инструкции Владиславича обязывали должностных лиц неукоснительно выполнять условия Кяхтинского договора: «Никто ни за какую притчину ни под каким образом не может противно мирному трактату действовать». Этими своими заботами Владиславич проявил качества деятеля государственного масштаба. Два деяния Владиславича оставили добрую память по себе у бурятского народа: основание города Кяхты и письмо-инструкция 1728 г. об упорядочении отношений между коронной администрацией и бурятами.

За многие месяцы пребывания на земле бурят Владиславич имел возможность наблюдать вблизи их уклад жизни, обычаи, нравы и проникся к ним глубоким уважением. Он не ретировал их как «инородцев», а видел в них людей высокого воинского духа, глубоко преданных России, готовых проявлять «доброусердие» и «с добрым сердцем и учтивостью» оказывать разнообразную помощь посольству.

Другой вельможа ранга Владиславича оставил бы без внимания жалобы бурят на притеснения селенгинской администрации либо воспользовался бы случаем получить мзду и от тех, кто жаловался, и от тех, на кого жаловались. Савва Лукич поддержал бурят, мотивируя свою позицию «государственной пользой».

В XVIII столетии не сходило со страниц указов понятие «польза государственная», имевшая столько же толкований, как и средств ее достижения. Она, эта «польза государственная», освящала и произвол чиновников, и грубое попрание человеческого достоинства «подлородных» людей, особенно «инородцев», и жестокое подавление всякого неповиновения, и, наконец, неумолимое выколачивание податей и ясака. «Польза государственная» в понимании Владиславича была наполнена гуманистическим содержанием и отражала просветительские идеи, которым несколько десятилетий спустя суждено будет овладеть умами передовых людей России.

Владиславич счел обоснованной просьбу бурят о лишении ясачников права сбора ясака и передачи этого сбора улусным начальным людям на том основании, что «их оные ясачники» «разоряют требованием подарков, корму и прочего», причем вымогательства нередко превышали сумму самого ясака. Ясачники, кроме того, в корыстных целях заменяли собранную высокосортную пушнину низкосортной и эту, последнюю, сдавали в казну, чем наносили ей ущерб.

Чрезвычайный посланник с пониманием отнесся и к просьбе бурят о разбирательстве судебных дел между ними. Служилые люди, разбирая «малые дела, ссоры, кражи и прочее», разъезжали по улусам и «для своих корыстей» вымогали взятки у правых и виновных. Савва Лукич счел целесообразным тяжёлые дела всякого рода, кроме «креминальных дел и убийств», передать на суд улусных людей.

У бурят был единственный тайша Лупсан, назначенный на эту должность еще в прошлом столетии послом Федором Алексеевичем Головиным. С тех пор истекло почти четыре десятилетия, численность бурят возросла, и Владиславич счел нужным «произвести в тайши еще два человека из их начальников», так как «исполнение указов его императорского величества одному бывает трудно».

Накануне отъезда из Селенгинска в Петербург, 29 июня 1728 г., чрезвычайный посланник в торжественной обстановке каждому из 20 бурятских родов выдал по знамени, чтобы ими пользовались «в радости на гулянье, а в случае — против неприятеля». Здесь имел место эпизод, характеризующий Владиславича человеком высоких моральных правил: тайша Лупсан в знак благодарности преподнес ему коня и две камки. Коня Савва Лукич принял, чтобы тут же подарить его полковнику Бухгольцу, а от камки отказался, «оговариваясь, что они люди степные и убогие и в их подарках он, чрезвычайный посланник, нужды не имеет»¹. В те времена так мог поступить далеко не всякий вельможа.

Нормы, установленные Владиславичем в письме к селенгинскому земскому комиссару Ивану Чететкину о его правах в отношениях с бурятами, действовали без малого столетие. Объективно они означали стремление правительства опереться на верхушку бурятского общества. Вместе с тем эти нормы ограждали «бращих иноземцев» от произвола местной администрации.

Благожелательное отношение Владиславич проявлял не только к бурятам, но и к населению Камчатки, активно протестовавшему против произвола местной администрации. Владиславич извещал Сенат об опрометчивых действиях сибирского губернатора князя Долгорукого, намеревавшегося послать на подавление восстания «камчатских иноземцев» отряд войск под командой казацкого головы Шестакова. Этот Шестаков имел «между пограничными народы» репутацию человека «мало доброго состояния и не дельного разсуждения». Савва Лукич предупреждал, что если Шестаков будет отправлен «смирять бунтовщиков», то этими действиями он вряд ли «интерес сыщет».

Другим памятным событием в жизни Бурятии, связанным с пребыванием там Владиславича, было основание города Кяхты. 29 июня 1727 г. вызванные Владиславичем на Барсуковское зимовье две роты солдат Тобольского полка приступили к сооружению на мелководной речке Кяхте плотины. Строительство ее было завершено 18 октября. В этот день на гребне плотины были вбиты четыре столба с крышей, на которой водрузили шест с государственным гербом. Одновременно с сооружением плотины началось строительство «крепосцы». Эта «крепосца, — доносил Владиславич в следующем году, — названа Ново-Троицкая, ибо зачата проплого году в день праздника Пресвятые Троицы». Ее периметр — 240 сажень, она была огорожена палисадом и окружена рвом; внутри размещались таможня, амбар для хранения солдатского провианта, конюшня, мельница, кузница, баня и церковь.

Рядом с укрепленным местом — хоромы для приезжих купцов и хранения товаров, «дондеже построится новая слобода». Ее постройка предусматривалась Кяхтинским договором. Она должна была стать пунктом мелкой меновой торговли между русскими и китайскими купцами.

Слободу — будущий город Кяхту — Владиславич велел строить в четырех верстах от «крепосцы». В бытность там Саввы Лукича она еще не была готова. Оставленные им инструкция и чертеж предусматривали сооружение 32 хоромин по три избы в каждой, гостиного двора на 24 лавки с таким же числом амбаров на втором этаже. В строительстве слободы участвовали и буряты.

Главный недостаток избранного для торговой слободы места — плохое качество питьевой воды — вполне окупался одним существенным преимуществом: слобода стояла на кратчайшем пути от границы к Пекину. Именно это обстоятельство предопределило дальнейшую судьбу Кяхты. Со времени прекращения казенной караванной торговли в начале второй половины XVIII в. Кяхта приобрела значение главного пункта обмена между Россией и Китаем. Время кипучей торговой жизни города приходится на XIX столетие, когда его годовым оборот достигал нескольких десятков миллионов рублей. Почти весь потреблявшийся в России китайский чай, до 400 тыс. пудов ежегодно, доставлялся в Кяхту в обмен на русские сукна, ткани и прочие промышленные товары. Во второй половине XIX столетия

торговля в Хякте постепенно утрачивала прежнее оживление. Окончательный удар ей нанесла железнодорожная Транссибирская магистраль.

За трехлетнее отсутствие Саввы Лукича в его семье произошли большие изменения: в декабре 1725 г., когда он находился на пути в Китай, умерла мать; не стало и двух дочерей. В 1730 г. Владиславич лишился и третьей дочери. Ей было только пять лет.

После возвращения из Китая Владиславич прожил еще десять лет. Видимо, силы его были на исходе. Кроме того, сподвижники Петра во времена бироновщины были не в чести. Во всяком случае, имя Владиславича не встречается среди правительственной элиты. Впрочем, сразу же по приезде в столицу он проявил некоторую активность — ему было поручено составление нового тарифа. Сведения об этой сфере деятельности Саввы Владиславича мы извлекаем из донесений французского поверенного в делах Маньяна в Версаль. Рагузинский был сторонником уменьшения ставок покровительственного тарифа 1724 г. и ставил под сомнение полезность для России его неукоснительного соблюдения. Он полагал, что высокие таможенные пошлины наносили ущерб интересам прежде всего России, ибо вынуждали потребителей промышленных товаров довольствоваться изделиями низкого качества отечественных мануфактур, владельцы которых приобретали положение монополистов на внутреннем рынке; высокие пошлины, кроме того, вынуждали иностранных купцов изыскивать хитроумные способы преодоления таможенного барьера, в результате чего казна несла значительные убытки.

Из депеш Маньяна явствует, что Рагузинский выступал поборником установления более тесных, а главное, прямых торговых связей России с Францией, минуя посредников, в роли которых выступали английские и голландские купцы, присваивавшие значительную долю барышей. Маньян пророчил графу возможность достичь высших должностей; он, например, доносил о предполагавшемся назначении его президентом Коммерц-коллегии, однако не состоявшемся². К этому времени сошли в могилу или с политической арены его друзья и покровители — Меншиков, Толстой, Апраксин.

В нашем распоряжении мало данных, чтобы ответить на вопрос: как складывались отношения Владиславича с всемогущим Меншиковым? Скорее всего они строились на почве взаимных выгод и относились к числу деловых, а не дружественных. Меншиков, разумеется, знал, что царь покровительствовал Владиславичу. Знал он и о том, что благожелательное отношение царя к Савве Лукичу не простиралось столь далеко, чтобы оттеснить на второй план его, Меншикова. В этом отношении Владиславич не был опасен, и Александр Данилович не проявлял к нему враждебности, но и не питал теплых чувств. У Владиславича также не было резона создавать напряженность в отношениях с царским любимцем, протекция которого всегда могла быть полезна. Расположения светлейшего Владиславич достигал оказанием различных услуг, а также подарками.

Первые из известных нам писем Владислави́ча к Меншикову относятся к январю 1706 г., когда Савва Лукич поздравил царского фаворита с браком и отправил молодоженам «два ящика и шкатулку за моею печатью с некоторыми премалыми вещицами». В числе «премалых вещей» восемь медных кубков, 100 свежих лимонов, консервы, пять черепаховых гребней³. В другой раз отправленные Меншикову подарки были более щедрыми: походная палатка, лошадь, бочонок малосольных лимонов, бочонок селедки и пр.

Расходы на подарки окупались: Рагузинский извлекал из контактов с князем соответствующие выгоды. В 1707 г. он, имея царский указ о монопольном праве на покупку ленских лисиц, счел тем не менее необходимым обратиться с просьбой к светлейшему, чтобы тот повелел Гагарину лисиц в Китай не отправлять.

Затем в переписке наступил десятилетний перерыв, и Рагузинский воспользовался услугами князя только в 1717 г., когда находился в Венеции и в свите царя в Париже. В июне этого года Савва Лукич, извещая Меншикова, что корабль с ценным грузом — закупленными в Италии скульптурами для Летнего сада царя — отбыл в Петербург, Владислави́ч просил разгрузку его поручить людям осторожным и опытным, «дабы в небрежение людей неискусных и неопытных не поломать, ибо суть статуи и протчие мраморовые вещи изрядные».

Английский корабль, доставивший произведения искусства в Петербург, должен был вернуться в Венецию с тысячью бочек смолы. Владислави́ч просил Меншикова завершить погрузочно-разгрузочные работы в течение 20 дней, в противном случае доведется платить штраф за каждые просроченные сутки. К тому же, добавляя Владислави́ч, «англински люди спесивы».

Зная характер светлейшего, его страсть превосходить не только вельмож, но и царя в убранстве дворца и парка, Владислави́ч сообразил, что Меншиков непременно воспользуется его предложением приобрести в Венеции вещи «на обиход сада и дому вашего». Меншиков такой возможности не упустил, и Владислави́ч получил задание приобрести тысячу аршин венецианской «камки» для обивки покоев дворца князя и «статуов мраморных 20 для садного пригожества». Статуи пришлось заказать современным мастерам, ибо, как писал Владислави́ч, «которые статуи очень старые из старых славных скульпторов работы, тые зело драги и трудно сыскать можно... а худых покупать не по что».

Весной 1719 г. статуи были отправлены в адрес Меншикова. Сколько их было и что они изображали, мы не знаем. Но из приведенных данных явствует, что заботам Владислави́ча столица обязана появлением итальянских скульптур не только в Летнем саду, но и в парке Меншикова.

Изредка Савва Лукич — человек, как мы уже отмечали, прижимистый — позволял себе подносить членам семьи светлейшего подарки: заморские диковинки. В 1716 г. Дарья Михайловна родила дочь Екатерину. Савва Лукич отправил роженице и новорожденной «маленький полару-

нок» — шапки и платки турецкого производства. В следующем году князь заказал для сына Самсона набор детских пистолетов, мушкет, шпагу. За шпагу Савва Лукич денег не взял.

После смерти Петра положение Меншикова и Владиславича существенно изменилось. Первый из них приобрел больше влияния и власти, второй утратил покровителя. Вследствие этого дистанция в их общественном положении увеличилась, что подтверждает письмо Владиславича к Меншикову из Селенгинска. В нем Савва Лукич не рискнул назвать князя протектором — ипостась светлейшего обязывала корреспондента давать клятву в верности, что он и делает: «Тружуся неустанно и впредь трудиться обещаюся, елико Бог мне поможет и разум мене допустит».

Более доверительными были отношения Рагузинского с адмиралом Федором Матвеевичем Апраксиным. Причина тому, видимо, крылась в свойствах характера адмирала, не отличавшегося, подобно Меншикову, высокомерием и надменностью. Апраксина, как и Меншикова, Савва Лукич снабжал разного рода иноземными поделками. В 1716 г. Рагузинский по просьбе адмирала приобрел сервиз, который заказчик просил доставить в Петербург «как наиболее безопаснее». Находясь в Венеции, Владиславич на «обиход дому» купил адмиралу тысячу плит. Для шелковой мануфактуры, компанейскими владельцами которой состояли Апраксин, Меншиков и Шафиров, Рагузинский покупал в Венеции шелк-сырец⁴. Коммерческие услуги продолжались и после приезда Рагузинского в Россию. В середине июля 1725 г. Савва Лукич уведомил, что получил заказанный адмиралом черный итальянский бархат на кафтан и брокателъ «для домового убору такого цвета и состояния, какими убрана меньшая камора в доме моем». 20 аршин бархата по сказочно дорогой цене — по три с половиною за аршин — Апраксин купил⁵. Посреднические услуги, разумется, ни о чем еще не говорят. Но вот обращение Владиславича к Апраксину накануне отъезда в Китай с просьбой «покрыть великодушным своим покровом матушку, племянника и оставших моих» свидетельствует об их близости. С подобного рода просьбами к чужим людям либо мимо-летным знакомым не обращаются. Ясно, что Рагузинский рассчитывал на благожелательный отклик. Подобный вывод вытекает и из другого письма, отправленного Апраксину Саввой Лукичом за день до выезда из Москвы в Китай. На этот раз автор письма отвеченной просьбе «покрыть великодушным своим покровом матушку, племянника и оставших моих» придал конкретное содержание. О своей матери он не хлопотал, поскольку она находилась «в древнейших летах» и готовилась отправиться в лучший мир. Предмет забот Владиславича составляли два его племянника — Моисей и Гавриил. Первого из них он не только отдавал «кавалерскому великодушию» адмирала «во всяких приключаящихся нуждах», но и поручался за него в 500 руб., если тот в случае надобности одолжит их у Апраксина. Второму племяннику, Гавриилу, поручил собрать вместо себя индукту на Украине. Если Гавриил будет просить «милости и протекции», то Апраксин не должен был оставлять его в беде⁶.

Из всего круга знакомых Рагузинского по степени близости к нему следует, пожалуй, выделить Петра Павловича Шафирова и Петра Андреевича Толстого. Если с Меншиковым и Апраксиным Савва Лукич обменивался мелкими услугами, то его отношения с вышеназванными сподвижниками Петра складывались на основе деловых связей: Шафиров и Толстой, как и Рагузинский, подвизались в сфере русско-турецких отношений, где цена взаимных услуг измерялась жизнью.

Рагузинский, надо полагать, испытывал чувство признательности к вице-канцлеру Шафирову, когда тот вел переговоры с османами на реке Прут. Шафиров решительно отклонил, разумеется, с ведома царя, притязания визиря на выдачу Рагузинского. Этим он спас Савву Лукича от неминуемой казни.

Когда Шафирова отправили в Турцию заложником выполнения условий Прутского договора, пришел черед Рагузинского. Савва Лукич выступил утешителем жившей в Москве баронессы Шафировой. Он напомнил Анне Степановне, что царь еще на реке Прут обещал ее супругу установить жалованье в пять тысяч рублей в год и предложил свое посредничество, чтобы передать ее челобитную на этот счет царице. В том же 1713 г. Савва Лукич поразовал супругу вице-канцлера приятной новостью, полученной из Царьграда: Шафиров был выпущен из тюрьмы.

Опека Рагузинского над семьей заложника выразилась и в том, что он выступил посредником в брачных делах дочери Шафирова. Ее жених, сын Матвея Петровича Гагарина, обучался за границей военно-морскому делу. Разрешение на его отъезд в Россию для свадебного обряда мог дать только царь.

«Когда жених и невеста желают, я благословляю, — ответил царь на просьбу Рагузинского, но тут же добавил: — Однако же не лутче ли ожидать Петра Павловича?»

Рагузинский заметил:

«Воля вашего величества, однако ж кампания пройдет, и жених на практику морскую пойдет и без указа приехать не смеет, и дело продлится. Не лутче ли поскорее, о чем баронеша зело просит, а превосходительнейший барон благословляет».

Доводы убедили царя:

«Пишите, дабы сюда прибыли жених и невеста, где будем играть свадьбу, и отпустим за море их обоих»⁷.

И все же близкие отношения между Шафировым и Рагузинским продолжались недолго. Так предполагать дает основание отсутствие переписки между ними в годы, когда Рагузинский находился в Венеции. Скандал в Сенате, разыгравшийся в 1722 г., едва не стоил Шафирову жизни. Ему все же жизнь удалось сохранить, но он попал в число опальных, что обусловило его изоляцию.

Дружеские связи Рагузинского с Толстым сложились еще в годы, когда оба они находились в Турции, и сохранились до падения последнего в 1727 г. В Константинополе русскому послу Толстому довелось

жить до 1713 г. Рагузинский выступал ходатаем по делам Толстого в Москве: он в 1707 г. напоминал Меншикову, чтобы тот исхлопотал у царя давно обещанные послу вотчины, просил царя временно освободить сына Толстого Ивана от службы, «дондеже исправит свои домашние нуждицы». На Рагузинском лежало общее попечение о детях Толстого. В 1712 г. ему было поручено обучать в своем доме сына Петра Андреевича «грамоте русской» и «писать». Адмирал Апраксин наставлял Рагузинского, дабы тот не проявлял к ученику мягкотелости и не поддавался просьбам сердобольной матери ученика: «Когда он к Москве прибудет, изволь ево в том нудить и матери ево воли в нем не давай, чтобы к приезду отцову выучитца мог».

Перед отъездом в Китай у Рагузинского не было человека ближе Толстого. Выше упоминалось, что заботу о семье во время пребывания в Китае Рагузинский отчасти возложил на адмирала Апраксина, но более всего Савва Лукич уповал «на христианское и кавалерское человеколюбие» П. А. Толстого. Именно Толстому он поручил продать свой дом в Москве, а вырученные деньги передать одному из племянников (Моисею или Гавриилу), «дабы те деньги могли они употребить в торг для моей прибыли». Толстой, кроме того, должен был похоронить «по христианскому обыкновению» престарелую мать и больную дочь, если те умрут. Но самым главным свидетельством особого доверия Рагузинского к Толстому является составленная в Москве духовная. Душеприказчиком в ней был назван П. А. Толстой, которому он завещал наблюдение за исполнением его воли, точно изложенной в духовной.

Умер Савва Лукич 18 июня 1738 г. Незадолго до смерти, 22 апреля 1738 г., он, «обретаяся уже при самой старости и отягощен непрестанными болезнями», подписал новое завещание. Оно отразило изменения, происшедшие среди родни, и новые штрихи, характеризующие отношение к ней Владиславича. Дочь, упоминавшаяся в первом завещании, умерла. Супруга продолжала жить в Венеции. Вместо Гавриила наследником всего имущества «за отменную ево ко мне любовь и всегдашнюю послушность и повиновение» был объявлен Моисей Иванович Владиславич. Что касается Гавриила Ивановича — наследника по первому завещанию, — то о нем было сказано, что «он, Гаврил, своими трудами и моими награждениями и так доволен». Быть может, Гавриил вышел из прежнего доверия. Но можно предположить и другое: Гавриил прочно осел на Украине, женился там и жил в вотчинах, судя по завещанию приобретенных у Саввы Лукича по льготной цене.

Гнев в отношении непутевого племянника Ефима и супруги, продолжавшей жить в Венеции, Владиславич сменил на милость: «Жене моей графине Вергилии Тревизани на память моей к ней любви и дабы не понесла какой-либо нужды, выдать ей сверх вышеписанных ее уборов готовыми деньгами семь тысяч дукатов венецианских называемых малых», что составляло около четырех тысяч рублей. Возможно, что

таким способом Савва Лукич вознаградил Вирджинию за их прошлую совместную жизнь.

Ефиму причиталось единовременно три тысячи рублей. Напомним, что по первому завещанию ему отпускалаь только тысяча. Как и в первом завещании, здесь тоже есть оговорка: если Ефим станет «турбовать» наследника клязузами, то три тысячи надлежало разделить между морским и сухопутным госпиталями.

Не забыты были и монастыри в Сербии. Требианскому и Житомыслицкому монастырям он отказал по ящику церковных книг, а церкви, что при Кастелнове на Топлах, он завещал богатую утварь, изготовленную в Москве*.

Своей деятельностью Владиславич, один из «птенцов гнезда Петрова», оставил заметный след в истории внешней политики России. Его имя, овеянное легендами, чтят и на родине — в Сербии. Там его знают как пламенного патриота, просветителя и основателя школ, борца против османских угнетателей и горячего сторонника сближения славянских народов с Россией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги. Сразу же оговоримся, что они являются предварительными, ибо опираются на изучение биографии не всех сподвижников Петра Великого. Будем надеяться, что продолжение работы над темой позволит в иных случаях уточнить, а в других — дополнить наши выводы.

Известный историк первой четверти прошлого столетия Н. М. Карамзин писал о людях, боровшихся за власть после смерти Петра: «...пигмеи спорили о наследии великана»¹. Тем самым он выразил негативное отношение к сподвижникам царя. Вряд ли можно согласиться с подобной оценкой тех, кто сотрудничал с Петром в годы тяжелой Северной войны и одерживал в ней победы, участвовал в административных реформах и поднимал культурный уровень страны, закладывал основы регулярной армии и создавал военно-морской флот, утверждал величие России на международной арене.

Пять очерков, составляющих данную книгу, посвящены биографиям пяти несхожих людей. Самой яркой и колоритной фигурой среди них был, бесспорно, Александр Данилович Меншиков. Это подлинный русский самородок, наделенный множеством добродетелей и пороков. Удачливый полководец, талантливый администратор и организатор, аккуратный и энергичный исполнитель повелений царя, рачительный хозяин и хороший семьянин — таковы достоинства светлейшего. Каких только должностей не отпраздновал князь: губернатор столичной губернии, сенатор, командующий конницей, президент Военной коллегии, член Верховного тайного совета, генерал-фельдмаршал, адмирал, генералиссимус! Таковы чины и сферы деятельности Александра Даниловича. Но главная его «должность», из которой он умел извлекать наибольшие выгоды и предоставлявшая ему самую обширную власть, состояла в том, что он был фаворитом царя и его супруги. Остается удивляться, как неграмотному князю удавалось справляться со всеми, нередко далеко отстоявшимися друг от друга обязанностями. Такое могло быть под силу только человеку не-

обычайных дарований. Главными его «аргументами» были всегда напор, сила и власть, ему были несвойственны хитроумные переговоры.

Но Меншиков обладал и пороками, которые иногда перечеркивали все его добродетели и ставили его на край гибели. К этим порокам относились прежде всего патологическая тяга к стяжанию и неумное честолюбие. Ненасытная жадность, которую он утолял казнокрадством и издоимством, не раз вызвала гнев Петра, и казнокраду грозила виселица, от которой его спасала сердобольная супруга царя. Меншикова в конце концов погубили тщеславие, жажда власти, желание породниться с царствующей династией и стать тестем императора.

Крутой взлет в карьере светлейшего закончился столь же крутым падением. Умопомрачительная карьера, превратившая бывшего продавца пирогов в богатейшего человека страны и «полудержавного властелина», внезапно оборвалась и отбросила его на исходные рубежи. Его лишили богатства, чинов и званий и принудили довольствоваться скромным содержанием — по рублю в день на него самого и каждого из членов его семьи...

Второе место по яркости дарований среди сподвижников Петра принадлежит Петру Андреевичу Толстому. Он вызывал чувство глубокой неприязни у А. А. Матвеева, сына боярина Артамона Сергеевича, убитого стрельцами во время бунта 15 — 17 мая 1682 г. Одним из виновников гибели его отца был Толстой, действовавший в интересах Милославских. И тем не менее Матвеев-младший характеризовал Петра Андреевича как человека острого ума. Репутацию умного, ловкого и проницательного деятеля Толстой сохранил и к исходу своей жизни. Французский посол Кампредон не жалел хвалебных эпитетов в его адрес: «Это человек даровитый, скромный и опытный»; «Это лучшая голова в России»; «Толстой самый доверенный и, бесспорно, самый искусный из министров царицы»; «Это человек тонкого ума, твердого характера и умеющий давать ловкий оборот делам, которым желает успеха»².

Кампредона можно было бы заподозрить в предвзятости, ибо он, как и прочие иностранные послы в Петербурге, не скупился на похвалы тем русским государственным деятелям, которые охотно шли ему на уступки. Но из очерка о Толстом нам известно, что дела Петра Андреевича подтверждают, а не опровергают характеристику Кампредона. Толстой служил делу Петра верно и преданно и без оглядки отдавал этой службе все свои недюжинные дарования.

Впрочем, один из младших современников Толстого — родоначальник русской исторической науки В. Н. Татишев — придерживался противоположного мнения. Он осуждал Петра Андреевича за лицемерие, жестокость, способность губить людей «укралчи», т. е. тайно, исподтишка. Татишев поставил Толстого рядом с Иваном Михайловичем Милославским и Андреем Ивановичем Остерманом, почитая их всех за людей, «весьма хитро свое коварство закрывать и погубление на других отводить умеющих. Да где их все ухищрение, не все ли с их жизнью, славою и честью погибло, а поношение вовек пребудет»³.

Татищев не сообщает фактов, давших ему основание выдвинуть столь суровое обвинение против Толстого, равно как против Милославского и проходимца Остермана. Вероятно, он имел в виду факты, зарегистрированные источниками. Но быть может, Татищеву были известны и другие такого же рода грехи Петра Андреевича, не оставившие никаких следов в сохранившихся документах. Дело в конечном счете не в том, прибавится ли к известным нам фактам вероломства Толстого еще один-два, а в том, что нравственные критерии неприменимы ни к дипломатам, ни к государственным деятелям тех времен.

Поле деятельности Петра Андреевича — дипломатия. Занятие этим ремеслом не всегда предполагало наличие чистых рук. В ход пускалось все, что обеспечивало успех: обман, шантаж, подкупы, вероломство, лицемерие и даже убийство. После чтения донесений Толстого о том, как он использовал все рычаги давления на царевича Алексея, чтобы добиться от него согласия вернуться в Россию, или о том, как он покупал — оптом и в розницу — османских министров, у читателя может создаться впечатление, что Толстой был злодеем или, во всяком случае, человеком, лишенным элементарной нравственности. Нельзя, однако, игнорировать то обстоятельство, что Толстой-дипломат, как и русская дипломатия в целом, всего лишь постигал азы европейской дипломатической службы, весьма неразборчивой в средствах достижения цели. Петр Андреевич руководствовался не своекорыстными, а государственными интересами, и его действия вознаграждались в той мере, в какой они способствовали укреплению либо мощи государства, либо позиции монархов.

В ином ракурсе выглядит Толстой в общении с Петром и его министрами, а также в семейном кругу. Здесь он предстает и преданным слугой, и добрым, порядочным семьянином, заботливым супругом и отцом.

Иные черты были присущи Борису Петровичу Шереметеву. По своему мироощущению, привычкам это был человек XVII в., волей судьбы брошенный в бурное время петровских преобразований. Он и не порвал с прошлым, и полностью не воспринял настоящее, точнее, не смог превозмочь себя, чтобы органически слиться с этим настоящим. Из XVII в. он прихватил черты патриархального воеводы и представления о военном искусстве, определяющим признаком которого являлось не умение, а число. В петровское время он приобрел навыки в создании и управлении регулярным войском, более мобильным и боеспособным, чем поместная конница прошедшего века. В сплаве этих двух качеств и формировался полководец Шереметев. Его главная сфера деятельности — поле брани, и Россия ему была обязана первыми военными победами.

Присущее Шереметеву сочетание названных выше качеств определяло отношение царя к своему фельдмаршалу. Оно никогда не было теплым, и в то же время его нельзя назвать враждебным. Борис Петрович с завидным терпением переносил постоянные понукания Петра, чаще всего являвшиеся результатом его медлительности, иногда брюзжал, но никогда не уклонялся от любых поручений царя и с чувством долга их выполнял.

Последнее обстоятельство необходимо подчеркнуть в связи с тем, что в литературе бытует пушенная князем М. М. Щербатовым молва о словах, будто бы сказанных Борисом Петровичем, когда он отказался участвовать в суде над царевичем Алексеем: «...служить своим государям, а не судить его кровь моя есть должность».

Письма Шереметева кабинет-секретарю Макарову, князю Меншикову, адмиралу Апраксину и самому царю дают основание отклонить версию Щербатова: на подобную демонстрацию фельдмаршал был неспособен не только на исходе своих сил, но и в годы их расцвета.

В отличие от Толстого и Шереметева, пользовавшихся большей или меньшей самостоятельностью и силой обстоятельств вынужденных иногда принимать собственные решения, Алексей Васильевич Макаров подобных трудностей не испытывал: он всегда был при Петре, неукоснительно следовал за ним, куда бы тот ни направлялся, хотя бы и на курорт.

Конечно же, могучая фигура Петра заслонила Макарова, но, присмотревшись к деятельности его кабинет-секретаря, можно без риска ошибиться сказать, что Алексей Васильевич принадлежал к числу самых доверенных лиц царя и был неременным его помощником во всех преобразовательных начинаниях. Если Петра можно сравнить с маховым колесом, приводящим в движение весь правительственный механизм, то Макаров выполнял функции приводного ремня.

Через руки Макарова проходили все донесения Петру, равно как и указы, исходившие от царя, каких бы вопросов они ни касались: военных, дипломатических или относившихся к внутренней жизни страны. И все же главным поприщем, где Макаров, проявляя необыкновенное трудолюбие, феноменальную работоспособность и высочайшую степень организованности, значительно облегчал титанический труд Петра Великого, был «распорядок».

Пятый герой этой книги — серб Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, обретший в России вторую родину. Судьба Рагузинского лишний раз иллюстрирует исключительную интуицию Петра угадывать таланты и определять те дела, где они могут вполне раскрыться.

Жизненный путь Саввы Лукича разбивается на три этапа. Первый из них охватывает время с момента появления его в России и до отъезда за границу в 1716 г. В эти годы он снабжал правительство России ценнейшей информацией о намерениях ее беспокойного соседа на юге. Употребляя современную терминологию, Рагузинский занимался крайне опасным для жизни ремеслом разведчика. Умело используя продажность османских чиновников и вельмож, а также симпатии к России единоверных греков и славян, занимавшихся торговлей в Османской империи, Савва Лукич располагал самыми сокровенными планами султанского двора относительно России. Полученные сведения внушили Петру уверенность, что ему не придется вести войну на два фронта, и позволили сосредоточить нужные силы на русско-шведском театре военных действий.

Второй этап деятельности Рагузинского знаменателен его вкладом в развитие русской культуры. Находясь в Италии (1716 — 1722), он закупил немало скульптур для Летнего сада и картин по заказу царя и вельмож, а также осуществлял надзор за обучением русских волонтеров военноморскому делу.

Центральным событием третьего этапа в жизни Рагузинского было его посольство в Китай с целью восстановления с ним караванной торговли. Заключение Кяхтинского договора, основание города Кяхты, выполнявшего в течение свыше полутора веков роль перевалочного пункта в торговле России с Китаем, а также совершенствование управления бурятами — таковы главные достижения Рагузинского на этом этапе (1725 — 1728).

Следует отметить и то, что, занимаясь торговлей, Рагузинский умело использовал покровительство царя и сколотил в России немалое состояние...

Поучая как-то своего сына, Петр заявил, что управление страной складывается из двух забот — «распорядка и обороны». Строго говоря, из героев книги исключительно в сфере обороны трудился только Шереметев. Остальные — Меншиков, Толстой, Макаров, Рагузинский — с одинаковым успехом действовали как на военно-дипломатическом, так и на чисто гражданском поприще. Яркие и не похожие индивидуальности, они дополняли друг друга, создавая, выражаясь спортивным языком, единую команду. В конечном счете деятельность каждого из них, направляемая твердой рукой Петра, была подчинена его воле.

Но вот Петра не стало. При нем они блистали, после его смерти блеск потускнел, и создается впечатление, что вместо личностей выдающихся у трона стали копошиться заурядные люди, лишённые государственной мудрости. Они продолжали дело Петра скорее в силу инерции, чем вследствие творческого восприятия полученного наследия и четких представлений, как им распорядиться. Более того: современники стали свидетелями острого соперничества за власть, начавшегося у еще не остывшего тела Петра и продолжавшегося свыше полутора десятков лет.

Эта метаморфоза была обусловлена абсолютистским режимом, признававшим покорность и слепое повиновение и ограничивавшим проявление у соратников Петра инициативы, воли и самостоятельности не только в действиях, но и в мышлении. Режим воспитывал деятелей особого рода, главным достоинством которых являлась исполнительность. Петр умел подавить соперничество и противоречия между своими соратниками в самом их зародыше. Свары выносились наружу лишь изредка, как это, например, случилось в Сенате в 1722 г., когда царь, предводительствуя войсками, отправился в Каспийский поход. После смерти Петра соперничество в борьбе за власть стало нормой жизни его сподвижников. Главными соперниками в борьбе за первенствующую роль у подножия трона были Меншиков и Толстой. Светлейший на этот раз одержал победу, но вскоре сам стал жертвой интриг Остермана и Долгоруких.

Абсолютистский режим уготовил сподвижникам Петра еще одну общность, относящуюся к их судьбам: почти все они плохо кончили. Вспом-

ним трагическую судьбу Меншикова, коротавшего последние месяцы своей жизни в глухом Березове, или Толстого, скончавшегося ссылкой в Соловках, опалу Макарова и завершение жизненного пути на эшафоте Голицыных и Долгоруких. По трупам соперников уверенно и медленно продвигался к вершинам власти лишь ловкий Остерман. Система правления имела самое прямое отношение к этим падениям, ибо самодержавный строй ставил как возвышение, так и опалу государственных деятелей в прямую зависимость от личных качеств монархов — их способностей, вкусов, представлений о своей роли в государстве и т. п. Совершенно очевидно, что бездарным наследникам Петра оказались не ко двору его незаурядные сподвижники.

При Петре никто из них не осмеливался навязывать ему свою волю и править страной его именем. При ничтожных преемниках Петра Великого такие возможности появились. Короче, с соратниками Петра, многих из которых можно назвать людьми одаренными, произошло то же самое, что и с маршалами Наполеона, низведенных до положения заурядных людей после того, как их гениальный повелитель сошел с исторической сцены. Их жизнеописание поучительно в нескольких аспектах.

С одной стороны, каждый из них — безродный Меншиков, аристократ Шереметев, представитель посада Макаров, потомок помещиков средней руки Толстой, иноземец Рагузинский — верно служил российскому дворянскому государству, во главе которого стояла такая неординарная личность, как Великий Петр.

С другой стороны, надобно подчеркнуть социальную среду, из которой царь рекрутировал своих сподвижников. То, что она была разнородной, мы отмечали в начале книги. Здесь же отметим еще раз способности царя привлекать на службу одаренных представителей «подлых» сословий, таких, как Меншиков, Макаров, Курбатов и др. В связи с этим вспомним слова К. Маркса: «Чем более способен господствующий класс принимать в свою среду самых выдающихся людей из угнетенных классов, тем прочнее и опаснее его господство»⁴

Важный итог деятельности «птенцов гнезда Петрова» состоит в том, что каждый из них вносил свою лепту в укрепление могущества России и превращение ее в великую европейскую державу.

СТРАСТИ У ТРОНА

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

XVIII век проходил под стягом Петра Великого: его именем преемники клялись непрестанно — и когда действовали сообразно духу его преобразований, и когда поступали совсем наоборот. Отметим одно существенное отличие Петра от его преемников. Петр в своей повседневной деятельности последовательно и неукоснительно руководствовался идеей служения государству, в то время как его преемники, до Петра III включительно, ограничивались всего лишь ее декларированием. Петр служил государству на всех поприщах, где требовалось его властное вмешательство: на полях сражений и за столом дипломатических переговоров, с топором в руках и за сочинением указов и регламентов, за конструированием кораблей и изобретением новой азбуки. Преемники Петра служили себе...

Будничная жизнь подданных текла независимо от того, кто занимал трон — Петр I, или его бездарный внук Петр III, или Екатерина Великая: крестьянин пахал землю, сеял, убирал урожай и должен был делиться плодами своего труда с помещиком и государством, а также поставлять рекрутов. Горожанин занимался торговлей и ремеслом и пополнял бюджет государства. Дворянам было предназначено служить и учиться и вместе с селянами и горожанами стеречь рубежи государства. Духовенство замаливало грехи своей настывы. Чиновники взимали налоги, чинили суд и расправу, вымогали взятки...

Часть 1
СТРАСТИ У ТРОНА

Глава 1

ЕКАТЕРИНА ПЕРВАЯ

Екатерина I принадлежит к женщинам редчайшей судьбы — по крайней мере отечественной истории неведомы случаи, чтобы безвестная пленница, бесспорно принадлежавшая к низам общества, стала супругой императора и после смерти его водрузила на голову императорскую корону. Происхождение будущей императрицы нельзя считать твердо установленным. Хотя некоторые историки и называют ее Мартой Скавронской, но принять эту версию безоговорочно нет оснований.

О родителях будущей императрицы современники-иностранцы сообщают разноречивые сведения, большей частью основанные на слухах. Одни считали ее прижитой крепостной матерью от помещика, другие уверяли, что она осиротевшая дочь шведского подполковника и жила в рижском приюте, третьи полагали, что она рижская уроженка.

Еще при жизни Петра Великого стали разыскивать родню императрицы. Был обнаружен Карл Скавронский, выдававший себя за брата Екатерины. Петр, однако, сомневался в достоверности показаний Карла и велел его держать под караулом. Другого брата звали Фридрихом.

Список лиц, нежелавших породниться с императрицей, значительно возрос после воцарения Екатерины, когда объявились две родные сестры ее: Анна, бывшая замужем за Михаилом Якимовичем, и Христина, в замужестве Гендрикова. Императрица обласкала так называемых родственников, однако почему-то не всех, а только братьев Карла и Фридриха, возведенных в графское достоинство указом от 5 января 1727 г. Анну и Христину Екатерина этой чести не удостоила. Они вместе с мужьями и детьми пополнили список российских графов при дочери Екатерины императрице Елизавете Петровне. В итоге появились три новые графские фамилии, возведенные в это достоинство из крепостных крестьян Лифляндии: Скавронские, Ефимовские и Гендриковы.

Первые достоверные сведения о Марте датируются 25 августа 1702 г., когда русские войска под командованием Бориса Петровича Шереметева

овладели крепостью Мариенбург. Среди захваченных фельдмаршалом трофеев находилась семья пастора Глюка, при которой состояла служанка Марта. Накануне прихода русских под Мариенбург она была обвенчана с драгуном, которого, согласно молве, во время брачного пира срочно вызвали в Ригу.

Пастора Эрнста Глюка, владевшего русским языком, Шереметев отправил в Москву, где он был представлен Петру, повелевшему ему открыть в столице гимназию. Красавицу Марту Шереметев оставил у себя, у того пленницу выпросил Меншиков, а у последнего ее заметил царь. С 1703 г. она стала его фавориткой. Возможно, Меншиков сознательно «навел» царя на Екатерину и способствовал их сближению — у Александра Даниловича не сложились отношения с первой фавориткой царя — Анной Монс, и он надеялся, что царь отдаст предпочтение новой возлюбленной, всецело обязанной ему своим положением.

Из косвенных данных следует, что Марта родилась в шведских владениях. Свидетельства исходят от царя: Петр, как известно, ежегодно отмечал взятие древнерусского Орешка, по-шведски Нотебурга, переименованного царем в Шлиссельбург. 11 октября, находясь в Шлиссельбурге, Петр писал супруге: «Поздравляю вас сим счастливым днем, в котором русская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключом много замков открыто». В десятую годовщину Полтавской виктории, 27 июня 1719 г., Петр писал: «Чаю, я вам воспоминанием сего дня опечалил». Оба письма недвусмысленно намекали на прибалтийское происхождение бывшей пленницы. Эту версию подтверждает также шуточный разговор царя с супругой, будто бы состоявшийся в 1722 г., то есть после заключения Нишгадтского мира, когда надлежало было выполнять его условия.

— Как договором поставлено всех пленных возвратить, то не знаю, что с тобой будет, — начал царь.

Екатерина ответила:

— Я ваша служанка — делайте что угодно. Не думаю, однако же, чтоб вы меня отдали; мне хочется здесь остаться.

— Всех пленников отпущу, о тебе же условлюсь с королем шведским, — закончил разговор Петр!

Разговор происходил в то время, когда бывшая пленница давно уже пленила сердце русского царя и стала его супругой. Но в 1702 г. чернобровая красавица была прачкой не то у полковника Балка, не то у Шереметева и поначалу затерялась в толпе гражданских пленников и пленниц.

В чем секрет благосклонности царя к незаметной женщине, долгое время бывшей у него наложницей? Однозначно ответить на поставленный вопрос невозможно. Одно можно сказать с полной уверенностью: Екатерина покорила Петра не умом, не проницательностью, не способностью подавать советы по военной, гражданской и дипломатической части. Она сделалась незаменимой благодаря удачному сочетанию нередко исключаящих друг друга человеческих и женских качеств: врожденный такт по-

зволюя ей, с одной стороны, раствориться в воле супруга, быть беспредельно послушной, а с другой — не дать помыкать собою. Только Екатерина, в тонкости постигшая характер своего сурового и вспыльчивого супруга, была способна успокоить и укротить его разбушевавшуюся натуру. Этот же такт позволял бывшей служанке с легкостью усвоить придворный этикет и не чувствовать комплекса неполноценности в обществе иностранных дипломатов. «Царь, — писал современный наблюдатель, — не мог надивиться ее способности и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею». Другой иностранный дипломат имел случай наблюдать проявление Петром внимательности к супруге: «После обеда царь и царица открыли бал, который продолжался около трех часов; царь часто танцевал с царицей и маленькими царевнами и много раз целовал их; при этом случае он обнаружил большую нежность к царице, и можно сказать по справедливости, что, несмотря на неизвестность ее рода, она вполне достойна милости такого великого монарха»².

Супруга Петра отличалась богатырским здоровьем, позволявшим ей без труда переносить изнурительную походную жизнь и по первому зову царя преодолевать многие сотни верст бездорожья. Она обладала незаурядной физической силой. Камер-юнкер Берхгольц, наблюдавший жизнь двора в 1721—1724 гг., описал в своем дневнике красноречивый эпизод. Однажды царь велел своему денщику Бутурлину поднять на вытянутой руке большой маршальский жезл. Тому это оказалось не под силу. «Тогда его величество, зная, как сильна рука у императрицы, подал ей через стол свой жезл. Она привстала и с необыкновенной ловкостью несколько раз подняла его над столом прямою рукою, что всех нас немало удивило»³.

Когда знакомишься с содержанием писем Петра к Екатерине, то царь предстает в ипостаси человека, непривычной для нашего восприятия. Вместо грозного и неумолимо сурового, целиком поглощенного заботами о судьбах страны он выглядит нежно любящим супругом и отцом, пекущимся о благополучии семейного очага. Перед нами влюбленная пара, ограничивавшая свои чаяния супружескими делами. Лишь в редких случаях царь извещал Екатерину о новостях с театра военных действий, причем в самой общей форме, иногда в ироническом ключе, порой прибегая к метафорам и образным выражениям. «Правда, что я как стал служить, такой игрушки не видал; однако ж сей танец в очах горячего Карлуса изрядно станцовали», — писал Петр о сражении у Черной Наппы в конце августа 1708 г. В мае 1713 г.: «Объявляю вам, что господа шведы нас zelo стылятца, ибо нигде лица своего казать не изволят». 25 апреля 1712 г.: «О неприятеле на море еще не слышно». 13 июля 1716 г. — метафора о действиях союзников: они «что молодые лошади в карете, так наши соединенные, а наипаче коренные». Под коренными подразумевались датчане. Информация о разведке шведского побережья в связи с намерением в 1719 г. высадить десант: «Галеры наши шупают берега шведские».

Содержание писем Петра к Екатерине позволяет вычленить два периода в отношении к ней царя: первый охватывает время с 1703 по 1711 г., когда

Екатерина была наложницей царя. Письма этого времени отличаются лаконичным содержанием и грубым тоном, они, как правило, содержат повеление возлюбленной прибыть к нему на свидание. Вот письмо Петра из Жолквы от 6 февраля 1707 г.: «Госпожа тетка и матка, как к вам сей доноситель приедет, поезжайте сюды немедленно». «Матка» — так обращался Петр к Екатерине. Под «теткой» подразумевалась Анистья Толстая — женщина, приставленная царем для присмотра за своей возлюбленной.

После помолвки в 1711 г. грубое и властное «Здравствуй, матка» заменено на «Катеринушка, здравствуй». С 1716 г. царь употреблял самое нежное приветствие: «Катеринушка, друг мой сердешенькой, здравствуй!» Изменил слова обращения к Екатерине и А. Д. Меншиков. Вначале он писал ей: «Катерина Алексеевна! Много лет, о Господе, здравствуй». С апреля 1711 г. фамильярное обращение сменилось официальной титулатурой: «Всемилоостливейшая государыня царица». Изменения связаны с помолвкой Петра с Екатериной накануне отправления в Прутский поход. Сама же свадьба состоялась почти год спустя — 19 февраля 1712 г. в церкви Исакия Далмацкого. В честь этого события царь выточил паникадило, над которым трудился свыше полутора месяцев.

Английский посол Витверт в депеше, отправленной сразу же после свадебных торжеств, писал: «Вчера царь публично праздновал свое бракосочетание с царицей Екатериной Алексеевной. Его величество за два часа до своего отъезда прошлою зимою из Москвы пригласил к себе вдовствующую царицу, родную сестру царевну Наталию и двух сводных сестер и объявил им Екатерину Алексеевну царицей. Он им сказал, что они обязаны оказывать ей должное этому сану почтение, и если бы с ним случилось несчастье во время войны, дать ей титул, почести и содержание, какие обыкновенно присваиваются вдовствующим царицам, потому что она действительно его супруга, хотя он еще не имел времени совершить по обычаю страны церковный обряд, который будет им исполнен при первом удобном случае».

Царь венчался как контр-адмирал, поэтому все почетные должности исполняли не гражданские сановники, а морские офицеры и их жены.

С наследниками у Петра явно не ладилось: старший сын, Алексей, от нелюбимой первой супруги погиб при загадочных обстоятельствах в 1718 г. После его смерти царь объявил наследником «Шишечку» — Петра Петровича, сына Петра и Екатерины, родившегося в 1715 г.

С кончиной маленького царевича в апреле 1719 г. вновь встал вопрос о наследнике. Кому передать трон, а вместе с ним и судьбу преобразований?

После долгих сомнений и размышлений Петр остановил свой выбор на супруге и осуществил три акта, долженствовавшие подготовить поданных к восприятию замысла. Первый из них мы связываем с обнародованием в 1722 г. Устава о наследии престола. Этот акт отменил «недобрый обычай», по которому старший сын автоматически становился наследником престола. Устав отменял принцип первородства и назначение наследника ставил в зависимость от воли «правительствующего государя», при-

чем рукой Петра в окончательную редакцию Устава внесено существенное дополнение: государь, назначив преемника, мог изменить свое решение, если обнаружит, что наследник не оправдывает его надежд. Царь придавал этому акту огромное значение, видимо, не рассчитывая на беспрекословное его выполнение вельможами после своей смерти, и поэтому обязал их свято его блюсти клятвенным обещанием: «... и тот его величества Устав истинной и праведной признаваю и по силе того Устава определенному в наследство во всем повиноватися... и во всяком случае за оного стоять с положением живота своего буду...». Сопrotивление объявленному порядку приравнялось к измене и влекло смертную казнь. Под клятвенным обещанием 12 подписей, среди которых две принадлежат духовным лицам и девять — сенаторам. Список сенаторов возглавил Меншиков.

Второй шаг в этом направлении связан с обнародованием в 1723 г. Манифеста с обоснованием прав Екатерины на титул императрицы. Екатерина Алексеевна в качестве супруги императора носила титул императрицы, но Петр пожелал поднести ей этот титул независимо от прав, которые предоставляли ей семейные отношения. В случае смерти Петра она оказалась бы не императрицей, а вдовствующей императрицей. Царь не скупился на похвальные слова Екатерине, объявляя, что она была его постоянной помощницей, терпела лишения походной жизни. Справедливости ради заметим, что Петр располагал крайне скудными данными, способными убедить читателей Манифеста в активной государственной деятельности Екатерины. Пришлось ограничиться единственным конкретным примером — упоминанием об ее участии в Прутском походе, а остальные заслуги претендентки на титул императрицы скрыть за туманной фразой о том, что она ему была во всем «помощницей»⁴.

Екатерина действительно участвовала в Прутском походе. Молва, впрочем, не подтвержденная источниками отечественного происхождения, связывала заключение Прутского мира с действиями Екатерины, пожертвовавшей для подкупа везира все свои драгоценности.

Сильно преувеличивал Петр и роль супруги в качестве своей помощницы. Сохранилось 170 писем царя к супруге, из них только в шести он обращается к ней с просьбами-поручениями, причем все они столь ничтожны, что не дают ни малейшего основания зачислять ее в помощницы. В июле 1715 г. царь пригласил супругу в Ревель и попросил ее, чтобы она в пути присмотрела в дворцовых владениях место, «где заводу стеклянному быть и двору для приезда корабельной постели для супруга, о том, чтобы, едучи в Ладогу, прихватила чертеж 90-пушечного корабля, уговорить прусского короля согласиться позировать русскому художнику Ивану Никитину и др.»⁵

7 мая 1724 г. состоялся третий, заключительный, этап подготовки к провозглашению Екатерины Алексеевны наследницей престола — коронационные торжества. Еще в феврале Петр с супругой отправился принимать лечение минеральными водами, а в марте весь двор, сенаторы,

генералитет, президенты коллегий, иностранные дипломаты по последнему санному пути отправились в Москву, чтобы участвовать в церемонии коронации. Старая столица, много десятилетий не видевшая такого скопления вельмож, лихорадочно готовилась к торжествам. Дамы волновались в поисках портных, чтобы изготовить богатые робы, вельможи беспокоились о месте, отведенном каждому из них в церемонии, — далеко или близко к подножию трона, чиновники помельче были озабочены изобретением способов, как обратить на себя внимание царственной четы. Но более всех волновались два человека — Петр Андреевич Толстой, главный распорядитель торжества, и бывшая прачка Марта. Для нее была изготовлена мантия из парчи с вышитым на ней двуглавым орлом, подбитая горностаем. Из Парижа доставили роскошную карету.

Самой главной достопримечательностью церемонии должна была стать корона, специально изготовленная для Екатерины. «Корона нынешней императрицы, — записал камер-юнкер Берхгольц, которому показали другие короны, в том числе и корону Петра Великого, — много превосходила все прочие изяществом и богатством; она сделана совершенно иначе, то есть так, как должна быть императорская корона, весит 4 фунта и украшена весьма дорогими камнями и большими жемчужинами... Делал ее, говорят, в Петербурге какой-то русский ювелир».

Церемония коронации происходила в Успенском соборе, где короновали всех монархов из дома Романовых. В собор под звон всех московских колоколов и звуки полковых оркестров, расположившихся на дворцовой площади Кремля, в 11 часов прибыла царская чета. У входа Петра и Екатерину приветствовали высшие духовные чины в богатейших облачениях. Артиллерийские залпы возвестили, что царь самолично возложил корону на голову стоявшей на коленях Екатерины, а придворные дамы прикрепили мантию.

На следующий день императрица принимала поздравления. В числе поздравителей находился и сам император. Он, как писал Берхгольц, в соответствии со своим чином полковника Преображенского полка и общевоинского генерал-лейтенанта «по порядку старшинства принес свое поздравление императрице, поцеловал ее руку и в губы». Коронованной Екатерине было дозволено совершить несколько самостоятельных актов. Одним из них она возвела строителя торжественной церемонии П. А. Толстого в графское достоинство⁶.

На этот счет имеется свидетельство графа Бассевича, министра герцога Голштинского, помолвленного еще при жизни Петра со старшей его дочерью — Анной. Согласно его «Запискам» Петр накануне коронации, находясь в гостях у какого-то английского негодяя, в присутствии канцлера Г. И. Головкина, новгородского архиепископа Феодосия Яновского и псковского архиепископа Феофана Прокоповича будто бы сказал: «Назначенная на завтра коронация имеет более важное значение, чем сколько думают. Я венчаю Екатерину императорскою короною для того, чтобы сообщить ей права на управление государством после себя. Она спасла

империю, которая чуть было не стала добычей турок на берегах Прута, и потому она достойна царствовать после меня. Я надеюсь, что она сохранит все мои учреждения и сделает монархию счастливой»⁷. «Записки» Бассевича — источник отнюдь не первоклассный, но данному его свидетельству можно доверять.

В самом деле, кого мог царь, руководствуясь Уставом о наследии престола, назначить себе преемником? Выбор был беден и узок. Прямых наследников мужского пола после гибели царевича Алексея и смерти четырехлетнего царевича Петра царь не имел. К своему внуку, девятилетнему сыну царевича Алексея, Петр питал противоречивые чувства: то он проявлял к нему нежность, обнаруживая в нем задатки незаурядных способностей, то выражал подозрительность, проистекавшую из опасения, что внук пойдет по стопам отца, а не деда. Кроме того, деду было неизвестно, под чьим влиянием будет находиться девятилетний отрок, кто будет фактическим правителем России, не повернет ли он ее вспять, к дореформенным временам.

К двум своим дочерям — Анне и Елизавете — Петр всегда относился ровно, трогательно любил их, но в его глазах они всегда оставались дочерьми, но не преемницами дела, требовавшего опытной и твердой руки.

В этих условиях царь должен был остановить свой выбор на Екатерине, альтернативы которой практически не было.

Ход мыслей царя был предельно прост и ясен. Вряд ли он обнаружил у своей супруги качества мудрого государственного деятеля, способного без колебаний продолжать начатое им дело. Но у Екатерины было одно существенное преимущество, отсутствовавшее у прочих претендентов на корону: окружение царя было одновременно и окружением царицы, и, быть может, она, опираясь на это окружение, будет вести государственный корабль старым, обозначенным им курсом. У Петра теплилась, и не без оснований, надежда не столько на не отличавшуюся твердым характером супругу, сколько на оставшихся при ней соратников.

Естественно было ожидать, что Петр при жизни воспользуется им же установленным правом царствующего государя назначить по своему выбору преемника и объявит наследницей супругу. Этого, однако, не случилось. Молва, в которой, на наш взгляд, много правдоподобного, приписывала отсутствие завещания супружеской неверности Екатерины.

Петр, как известно, страдал заболеванием по части урологии — болезнь давнишняя, от которой он много лет подряд пытался избавиться, принимая воды в Карлсбаде, из отечественных источников близ Петрозаводска (Марциальные воды — первый курорт в России) и Угодских заводов близ Тулы. Воды приносили облегчение, но не избавляли от болезни. Последнее ее обострение, оказавшееся смертельным, произошло в начале сентября 1724 г. Непоседливому царю не сиделось дома, и он, не оправившись от хвори, вопреки предписанию врачей отправился в шесть утра 9 октября в последнее в своей жизни продолжительное путешествие по маршруту: Шлиссельбург — Ладожский канал — Старая Русса. В Шлиссельбурге он присутст-

вовал на традиционном празднике по случаю овладения крепостью. Работы на Ладожском канале — детище царя — осуществлялись крайне медленно. За пять лет, когда его сооружением руководил Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, удалось прорыть только 12 верст. Под началом Миниха дело пошло успешнее — за год было прорыто пять верст, причем расходы на строительство значительно сократились. В Старой Руссе его интересовали соляные варницы, снабжавшие солью северо-запад страны.

В Петербург царь вернулся 27 октября, а одиннадцать дней спустя был арестован 30-летний щеголь Монс, брат Анны Монс, бывшей фаворитки царя. Вилим Монс занимал должность камергера Екатерины и одновременно заведовал ее вотчинной канцелярией. «Это арестование камергера Монса тем более поразило всех своею неожиданностью, — свидетельствует Берхгольц, — что он еще накануне вечером ужинал при дворе и долго имел честь разговаривать с императором, не подозревая и тени какой-нибудь немилости»⁸.

Напомним, в месяцы, предшествовавшие аресту Монса, между Петром и Екатериной сохранялись традиционно нежные отношения. Петр, быть может, в силу привычки, а быть может, потому, что сохранил к супруге прежние чувства, обращался к ней в письмах, как и прежде: «Катеринушка, друг мой сердешненькой, здравствуй!» В тон ему Екатерина отвечала: «Друг мой сердешненькой, господин адмирал, здравствуй на множество лет». Екатерина сообщала, как она отметила тезоименитство супруга, и заканчивала письмо словами: «...желаю в радости вас скорее видеть и остаюсь жена ваша Екатерина».

Поражает поспешность, с которой велось следствие. Обычно такого рода расследования велись годами, в лучшем случае — месяцами, а здесь дело ограничилось неделей: 8 ноября Монс был взят под стражу, а 15-го население было извещено, что на следующий день состоится экзекуция; действительно, 16 ноября палач отрубил голову несчастному камергеру.

Официально суд обвинил Монса в злоупотреблении доверием императрицы — за взятки он добивался от нее милостей просителям. Другая вина Монса состояла в казнокрадстве. Заметим, однако, что взятки, как и хищения казны, были не столь велики, чтобы лишить жизни виновного.

Скорая и жестокая расправа с красавцем дала основание слухам, что Монс казнен не за официально предъявленные ему обвинения, а за интимные связи с императрицей. Петр позволял себе нарушать супружескую верность, но не считал, что таким же правом могла владеть и Екатерина. Между супругами происходили бурные объяснения. Одну из таких сцен описал морской офицер на русской службе Вильбуа. Он не был ее свидетелем и передает рассказ некой фрейлины Екатерины. Согласно этому рассказу, императрица проявила необычную выдержку и внешне не выказала никаких признаков печали в связи с казнью фаворита. Напротив, ярости царя не было границ: «Он имел вид такой ужасный, такой угрожающий, такой вне себя, что все, увидев его, были охвачены страхом. Он был бледен как смерть. Блуждающие глаза его сверкали. Его лицо и все

тело, казалось, было в конвульсиях. Он раз двадцать вынул и спрятал свой охотничий нож, который обычно носил у пояса... Эта немая сцена длилась около получаса, и все это время он лишь тяжело дышал, стучал ногами и кулаками, бросал на пол свою шляпу и все, что попадалось под руку. Наконец, уходя, он хлопнул дверью с такой силой, что разбил ее»⁹.

Другой современник, граф Бассевич, отметил иные подробности семейной драмы. Императрица будто бы пыталась замолвить слово в защиту Монса. В ответ разгневанный Петр сказал, показывая на дорогое зеркало: «Видишь ли ты это стекло, которое прежде было ничтожным материалом, а теперь, облагороженное огнем, стало украшением дворца? Достаточно удара моей руки, чтоб обратить его в прежнее ничтожество» — и разбил зеркало. Екатерина поняла, что слова супруга содержали намек на ее собственную судьбу, но ей достало самообладания, чтобы сдержанно спросить: «Разве от этого твой дворец стал лучше?» Петр будто бы подверг супругу еще одному тяжелому испытанию — повез ее смотреть отрубленную голову Монса¹⁰.

Царившее многие годы семейное согласие было нарушено. Только семейным разладом можно объяснить, почему предусмотрительный, склонный к прагматизму Петр не оставил завешания. Вельможам довелось самим решать, кого объявить наследником.

Для полноты картины перечислим всех возможных претендентов на престол. Начнем с инокини Елены, томившейся 27 лет в монастырской келье, — Евдокии Федоровны Лопухиной, первой супруги царя. Шансов занять трон у нее не было: отрезанная от мира, состарившаяся в заточении, озлобленная, она не располагала силами, на которые могла опереться, если бы вдруг у нее проснулось честолюбие.

У Петра Великого было две дочери, обе внебрачные, родившиеся до венчания с Екатериной. Но дело не только в этом: и у старшей дочери — Анны, и у Елизаветы отсутствовали притязания на трон. Анна Петровна была помолвлена еще при жизни Петра с герцогом Голштинским. В брачном контракте дочь отказалась от претензий на царствование не только за себя, но и за своих потомков. Что касается Елизаветы Петровны, то эта 15-летняя красавица, веселая и беззаботная, пока еще лишенная честолюбивых устремлений, стояла в стороне от политических интриг.

Реальных претендентов на трон было двое: овдовевшая супруга и внук Петра, сын погибшего царевича Алексея Петровича — Петр Алексеевич. Коль Петр Великий не воспользовался правом назначить себе преемника, то в силу должен был вступить обычай наследования престола старшим в царствующей фамилии представителем мужского пола. Таковым был царевич Петр. Право его на трон было бесспорным, но лица, стоявшие у подножия трона, распорядились по-иному, и корона украсила голову Екатерины Алексеевны.

Тлевшая размолвка, правда, пока в нерешительной форме, выплеснулась наружу. Среди вельмож четко обозначились два лагеря, каждый из которых выдвигал своего кандидата на престол.

Представители родовитой аристократии — Долгорукие, Голицыны, Репнины — хотели видеть на троне девятилетнего Петра Алексеевича. Для них Екатерина оставалась прачкой, личностью недостойной не только занимать трон, но и находиться у его подножия. Для так называемой новой знати, порожденной преобразованиями, обязанной Петру чинами, богатством и властью, выбившейся из людей, как тогда было принято говорить, «подлородных», воцарение сына погибшего царевича могло означать не только конец карьере и благополучию, но и ссылку в далекую Сибирь. Меншикову, бесспорно, сверлила голову тревожная мысль о своей судьбе — его подпись стояла первой в приговоре вельмож и генералитета, обрекавших царевича Алексея на смерть. Хотя подпись П. А. Толстого под приговором и не стояла второй, но он великолепно знал свою вину перед сыном погибшего царевича — это его стараниями беглец Алексей Петрович был доставлен из Неаполя в Москву. Много ли хорошего могли ожидать от воцарения Петра Алексеевича генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский, канцлер Гавриил Иванович Головкин, генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин и десятки других соратников Петра? Всех их объединял страх за свое будущее, поэтому они действовали куда более напористо и решительно, чем противостоявшая им знать. Этот же страх вооружал решительностью и Екатерину — ей и дочерям воцарение Петра Алексеевича грозило заточением в монастырской келье. И так, в случае неудачи новая знать могла потерять все, в то время как сторонники воцарения Петра в царствование Екатерины могли ничего не потерять (как, впрочем, и приобрести).

Дмитрий Михайлович Голицын предложил компромисс: престол должен занять Петр, а регентшей до его совершеннолетия будет Екатерина. Граф П. А. Толстой, наиболее знатный интриган, отличавшийся к тому же незаурядным умом и проницательностью, сразу же обнаружил в предложении князя Голицына величайшую для себя и своих сторонников опасность, ибо в России отсутствовал закон, устанавливающий годы, по истечении которых отрок становился совершеннолетним. Вследствие этого, продолжал Толстой, заинтересованной стороне ничего не будет стоить провозгласить младенца совершеннолетним и от его имени править страной.

Сторонники Екатерины использовали ораторский дар Феофана Прокоповича, заявившего, что хотя покойный император и не оставил завещания, о чем по требованию присутствовавших объявил кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров, но воля Петра была выражена актом коронации супруги — именно ее, и никого другого, он считал своей преемницей, о чем заявил в доме английского негодяя накануне коронации. Канцлер Г. И. Головкин подтвердил слова Феофана Прокоповича, и Меншикову осталось подвести итоги: воля царя священна, и ее надлежит свято выполнять.

В разгар дебатов раздалась барабанная дробь — у дворца стояли два гвардейских полка.

— Кто осмелился привести их сюда без моего ведома? Разве я не фельдмаршал?

Гвардии подполковник Иван Иванович Бутурлин, выходец из старинного рода, но оказавшийся на стороне новой знати из-за того, что конфликтовал с президентом Военной коллегии Н. И. Репниным, нашелся что ответить фельдмаршалу и президенту:

— Я велел прийти им сюда по воле императрицы, которой всякий подданный должен повиноваться, не исключая и тебя.

Взвесив шансы соперничавших сторон, Репнин переметнулся в лагерь новой знати. В итоге скипетр оказался в руках Екатерины.

События, развернувшиеся во дворце в зимнюю ночь с 27 на 28 января, примечательны в двух отношениях: во-первых, они положили начало активному вмешательству гвардии в судьбы трона. Это вмешательство не сопровождалось кровопролитием, имевшим место в стрелецких бунтах предшествующего столетия, прежде всего потому, что гвардейские полки при Петре и его ближайших преемниках представляли однородную социальную силу с группировками, боровшимися за власть; во-вторых, участие гвардии в политических событиях позволяло торжествовать силе над правом. Незаконность восшествия на престол Екатерины была очевидной, но крючкотворы быстро составили от имени Синода, Сената и генералитета манифест, извещавший подданных, что они, руководствуясь Манифестом о ее коронации, провозгласили ее императрицей.

Екатерина Алексеевна была женщиной доброй, отзывчивой, готовой оказать помощь ближнему. Особенно часто к ее услугам прибегал Меншиков, которому без ее заступничества давно грозила виселица. Фельдмаршал русской армии Бурхард Христофор Миних отзывался о ней так: «Эта государыня была любима и обожаема всей нацией благодаря своей врожденной доброте, которая проявлялась всякий раз, когда она могла принять участие в лицах, попавших в опалу и заслуживших немилость императора... Она была поистине посредницей между государем и его подданными»¹¹.

Перечисленных достоинств, однако, совершенно недостаточно, чтобы управлять обширной империей, и Екатерина становится марионеткой в руках светлейшего князя Меншикова. Единственным сенатором, пытавшимся противостоять полному засилью Александра Даниловича, был П. А. Толстой. Противоборство двух соперников за влияние на императрицу проходило с переменным успехом: то осиливал Меншиков, то большее доверие переходило к Толстому. Александр Данилович не мог состоять в красноречии с Толстым, но у него было более существенное преимущество, которое он мог противопоставить ораторскому искусству: он стоял во главе вооруженных сил — Екатерина вернула фельдмаршалу управление Военной коллегией, которого его лишил Петр Великий.

У Толстого созрел план обуздать своеволие Меншикова: он убедил императрицу создать новое учреждение — Верховный тайный совет. Председательствовать на его заседаниях должна была императрица, а его членам предоставлялись равные голоса. Если не умом, то обостренным чувством самосохранения Екатерина понимала, что необузданный нрав

светлейшего, его пренебрежительное отношение к прочим вельможам, заседавшим в Сенате, стремление командовать всем и вся могли вызвать распри и взрыв недовольства не только у родовитой знати, но и среди тех, кто возводил ее на престол. Интриги и соперничество, разумеется, не укрепляли позиций императрицы. Но, с другой стороны, согласие Екатерины на создание Верховного тайного совета являлось косвенным признанием ее неспособности самой, подобно супругу, править страной. Парадокс Верховного тайного совета состоял в том, что в нем сочетались противоречивые чаяния лиц, причастных к его возникновению. Толстой, как сказано было выше, в Верховном тайном совете видел средство укрощения Меншикова. Эти ожидания разделяли Апраксин и Головкин. Но, как ни странно, идею создания Верховного тайного совета поддержал и Меншиков, видимо, руководствовавшийся тремя соображениями: он прозевал шаги, предпринятые Толстым, а обнаружив их, счел, что противодействовать бесполезно. Более того: из нового учреждения он тоже намеревался извлечь выгоду — подмять под себя шесть членов Верховного тайного совета, считал он, легче, чем более многочисленный состав Сената. С Верховным тайным советом Александр Данилович связывал давнишнюю мечту: лишить прежнего влияния своего злейшего врага — генерал-прокурора Сената Павла Ивановича Ягужинского. Поскольку Сенат был поставлен в подчинение Верховному тайному совету и из Правительствующего при Петре был низведен до Высокого, должность генерал-прокурора утратила прежнее значение.

Жизнь опрокинула надежды Толстого и его единомышленников, — наибольшие выгоды от создания нового учреждения извлекли не они, а светлейший. Екатерина после организации Верховного тайного совета, по свидетельству Кампредона, якобы заявила, «что покажет всему свету, что умеет заставить повиноваться себе и поддержать добрую славу своего правления»¹². Это обещание она намеревалась выполнить присутствием дважды в неделю на заседаниях Совета. Оба обещания повисли в воздухе прежде всего потому, что императрица не имела ни склонностей, ни способностей к правлению. Но даже если бы она ими располагала в полной мере, своего намерения она не могла реализовать из-за частых и продолжительных болезней — за время своего кратковременного царствования она неделями, а иногда и месяцами не покидала покоев.

В последние годы жизни Екатерина, некогда отличавшаяся богатырским здоровьем, выносливостью и физической силой, превратилась в рыхлую, невероятно располневшую даму, страдавшую от многочисленных хворей. Именно поэтому иностранные наблюдатели пророчили ей непродолжительное царствование.

Донесения Маньяна регистрировали постепенное угасание императрицы. 12 апреля 1727 г. он извещал версальский двор, что она за последние два месяца лишь единственный раз покидала покои дворца и большую часть времени проводила в постели. Неделю спустя он доносил: императрица «до того ослабела и так изменилась, что ее почти узнать нельзя».

Тяжелое состояние Екатерины подтверждает ее отказ от пышных приемов и обедов по случаю своего дня рождения. Его она отмечала в узком семейном кругу — в присутствии герцога Голштинского с супругой и дочери Елизаветы. Из посторонних присутствовал только Меншиков, который не садился за стол, а выполнял обязанности гофмаршала. Даже епископу Любскому, под руку сопровождавшему свою будущую невесту цесаревну Елизавету, стража преградила путь к обеденному столу.

Состояние здоровья Екатерины вызывало тревогу, но все страхи прошли в конце апреля, когда появилась надежда на выздоровление. Оно, однако, не наступило: царица то и дело теряла сознание и задыхалась от удушья. 6 мая, за несколько часов до ее смерти, Маньян доносил: «Сейчас узнал, что царица дурно провела ночь и ей стало так худо, что послали за герцогом Голштинским и супругой его, два дня тому назад уехавшими за город на дачу»¹³.

Это, однако, не удерживало императрицу ни от гастрономических излишеств, ни от соблюдения странного распорядка дня, когда она отправлялась ко сну в пять утра и таким образом день превращала в ночь. Не отказалась Екатерина и от удовольствия завести фаворита. Его обязанности выполнял совершенно пустой, но с привлекательной внешностью Левенвольде.

Все это благоприятствовало тому, что Меншиков постепенно прибрал к рукам Верховный тайный совет: будучи вхож в покои императрицы, он навещал ее до начала заседаний и после них сообщал о принятых решениях. Заседания с малозначашей повесткой дня он игнорировал, а когда приходилось решать важные вопросы, он, ссылаясь на мнение императрицы, навязывал собственную волю. Этим притязания Александра Даниловича на власть не ограничились: он задумал осуществить дерзкий план породниться с царствующей династией. Понадобилось два года, чтобы перед глазами изумленных единомышленников, единым фронтом выступивших против воцарения Петра Алексеевича, он стал самым ревностным сторонником передачи короны двенадцатилетнему юнцу. Крутой поворот в отношении Меншикова к Петру был обусловлен намерением женить его на своей старшей дочери Марии.

Мария еще в марте 1726 г. была помолвлена с сыном польского графа Сапеги. Светлейший исколотал этой семье престижные пожалования: отцу — чин российского генерал-фельдмаршала и орден св. Андрея Первозванного, а будущему зятю — придворный чин камергера.

Флирт с Сапегами продолжался до тех пор, пока у князя окончательно не созрел роковой матримониальный план. Он был юридически закреплен в «Тестаменте» (завещании) Екатерины. Воля императрицы, несомненно, навязанная ей светлейшим, состояла в том, чтобы наследником престола стал Петр и чтобы он непременно женился на одной из дочерей Меншикова¹⁴.

Как ни хранили тайну «Тестаamenta», особенно пункт о женитьбе Петра на дочери Меншикова, слух об этом все же просочился в вельможную

среду и вызвал тревогу как у тех, кто был причастен к вынесению приговора отцу будущего императора, так и у тех, кто до этого втайне или явно сочувствовал его воцарению. Обе группировки объединяла угроза превращения полудержавного властелина в полновластного правителя при малолетнем императоре. Лиц, в разное время имевших столкновения со светлейшим, одолевал страх за свое будущее. Руками императора крутой на расправу и злопамятный Меншиков мог причинить им множество неприятностей.

К Екатерине явились обе дочери, чтобы уговорить ее отказаться от обещания женить Петра на дочери Меншикова. В уговоры включился и П. А. Толстой, в энергичных выражениях напомнивший императрице о том, какой непоправимый вред она своим благословением нанесет себе, своему семейству и всем, кто способствовал ее восшествию на престол и теперь опасался Меншикова. Попытки склонить Екатерину отказаться от принятого ею решения оказались тщетными. Маньян доносил: «Ни мольбы принцесс, ни основательные соображения Толстого не могли воспрепятствовать Меншикову, после еще одной тайной беседы с государыней об этом, получить от нее решительное подтверждение данного прежде согласия»¹⁵. Маньян не без основания полагал, что императрица, одобряя матримониальные планы Меншикова, руководствовалась эгоистическими соображениями и поступила в интересах собственных дочерей, ибо считала князя своим вернейшим слугой, который еще больше привяжется к ней и обеспечит спокойное царствование.

Меншиков пристально следил за действиями своих потенциальных противников и принимал энергичные меры, чтобы довести замысел до благополучного конца — обвенчать дочь. Главным его советником был Андрей Иванович Остерман. У этого деятеля был верный нюх, и он правильно рассудил, что в данный момент перевес сил на стороне светлейшего, и не скупился на советы, как достичь желаемого результата. В течение двух недель, предшествовавших смерти Екатерины, Меншиков встречался с ним семь раз. Что у Александра Даниловича были серьезные основания для того, чтобы беспокоиться о благополучном исходе матримониального плана, вытекает из дальнейшего хода событий.

24 апреля 1727 г., когда у смертельно больной Екатерины наступило облегчение, Меншиков, почти постоянно находившийся в ее покоях, добился от нее разрешения взять под стражу Антона Мануиловича Девиера, петербургского генерал-полицмейстера. Девиер доводился Александру Даниловичу свояком — был женат на его засидевшейся в девках родной сестре. Этот брак был заключен вопреки желанию князя, третировавшего денщика царя. Когда этот денщик осмелился просить руки уже находившейся в положении сестры, то по повелению Меншикова его высекли плетью, однако брак все же состоялся — такова была воля царя, которому пожаловался Девиер.

Отношения между родственниками складывались не лучшим образом: свояка Меншиков держал на отдалении и снисходил к нему лишь в тяжкие

для себя времена, когда находился у царя в немилости. Тогда князь, надменный и высокомерный, готов был унижаться перед всяким, кто мог быть для него полезен, кто был вхож во дворец царя и его супруги и мог, как тогда говорилось, «предстательствовать» у них.

Поводом для ареста послужило непристойное поведение Девиера во дворце в один из дней, когда императрица переживала очередной кризис. Находившийся под винными парами, Антон Мануилович вел не соответствовавшие обстановке разговоры с царевнами Анной и Елизаветой, своими поступками вызывал смех у присутствовавших.

Когда вчитываешься в содержание документов следствия, которым негласно руководил сам светлейший, то создается впечатление, что предъявленное Девиеру обвинение являлось всего лишь предлогом для начала следствия, что был разыгран заранее разработанный сценарий, задача которого состояла не в том, чтобы в сети попала сравнительно мелкая рыбешка в лице обер-секретаря Сената Г. Г. Скорнякова-Писарева, генерал-полицмейстера А. М. Девиера и генерал-майора И. И. Бутурлина, а в том, чтобы там оказалась более значительная персона, способная реально сопротивляться планам князя, — П. А. Толстой. Именно его крови прежде всего жаждал светлейший.

Следствие обнаружило, что все привлеченные по делу обвиняемые не сомневались, что брак дочери Меншикова с императором безгранично расширит власть честолюбивого князя, и обсуждали способы, как открыть на это обстоятельство глаза императрице и предотвратить угрозу превращения полудержавного властелина в полновластного повелителя страны. Дело ограничилось разговорами, никаких реальных шагов к реализации своего намерения обвиняемые так и не предприняли.

Меншикову без труда удалось отклонить удар — в день кончины императрицы, когда смерть на какой-то момент как бы отступила от своей жертвы и к ней вернулось сознание, светлейший добился от нее согласия на суровое наказание обвиняемых. Главный его недруг П. А. Толстой был заточен в Соловецкий монастырь, где, содержась в неотопливаемой келье, сумел протянуть чуть больше полутора лет и 30 января 1729 г. скончался на 85-м году жизни. Своего родственника Девиера, несмотря на мольбы его супруги, равно как и Скорнякова-Писарева, неумолимый светлейший упек в ссылку, в Сибирь. Лишь Бутурлин отделался сравнительно легким наказанием — ссылкой в свою отдаленную вотчину.

Меншиков торжествовал победу, но это была пиррова победа. Казалось, путь к желанной цели ему удалось расчистить и уже ничто не мешало осуществить честолюбивый план. В действительности расправой со своими бывшими союзниками Меншиков не укрепил, а ослабил свое положение, ибо оказался фактически в изоляции.

Глава 2

ПЕТР ВТОРОЙ

Нарисовать обстоятельный портрет Петра II вряд ли возможно — мы имеем дело с подростком, у которого характер только формировался. Потому уместно говорить лишь о контурах портрета, о личности, находившейся под сильным сторонним воздействием. Именно об этом в распоряжении историков более всего данных.

Современники оставили нам несколько зарисовок внешнего облика Петра II. Самая ранняя из них принадлежит французскому дипломату де Лави, наблюдавшему великого князя в четырехлетнем возрасте (1719). По его мнению, Петр был одним «из самых красивых принцев, каких только можно встретить. Он обладает чрезвычайной миловидностью, необыкновенной живостью и высказывает в такие молодые годы страсть к военному искусству».

Десять лет спустя другой французский дипломат, Маньян, полагал, что Петр выглядит старше своих лет. Высокого роста и довольно плотного телосложения, он походил на 16—18-летнего юношу, в то время как ему шел лишь четырнадцатый год. Внешность Петра привлекла внимание и испанского посла де Лириа: «Собою он был очень красив и росту чрезвычайного по своим летам».

Еще один современник, английский консул в России Уорд, в самых общих чертах отзывался об умственных способностях Петра: «...природа, правда, его не обидела, но и лучшая почва остается бесплодной, если к ее обработке не приложить хотя бы некоторого труда»¹.

Судьба не была благосклонной к Петру — вскоре после рождения он лишился матери. Непутевый отец, царевич Алексей Петрович, непрестанно бражничал с приятелями и, видимо, не уделял должного внимания сыну. В трехлетнем возрасте он потерял и отца и с 1718 г. оказался на попечении сурового деда — Петра Великого, у которого нежные чувства к внуку сменялись настороженностью и даже враждебностью.

Цитированный выше де Лави в октябре 1719 г. записал: «Царь нежно любит юного принца...» Из донесения другого французского дипломата, Кампредона, отправленного два года спустя, явствует, что царь не намеревался передать трон внуку. Этот же Кампредон в 1723 г. писал «о ненависти царя к сыну царевича».

После того как в 1727 г. одиннадцатилетний отрок был объявлен императором, он сделался игрушкой в руках вельмож, использовавших его в своих честолюбивых целях. Все усилия А. Д. Меншикова и особенно А. Г. Долгорукого были нацелены на реализацию матримониальных планов.

Это не лучшим образом отразилось на характере Петра — он рос замкнутым и скрытным мальчиком. Австрийский дипломат граф Вратислав так отзывался о важнейшем свойстве молодого императора: «Искусство притворяться составляет преобладающую черту характера императора. Его настоящих мыслей никто не знает»².

В этих условиях естественной была тяга Петра к самой близкой родственнице — старшей сестре Наталье Алексеевне, такой же одиночкой, как и он сам. Между Петром и Натальей установились доверительные отношения.

Помимо скрытности, современники обнаружили еще одну черту характера Петра — рано пробудившуюся тягу к деспотичности, желание властвовать. Саксонский резидент Лефорт в депеше, отправленной две недели спустя после смерти Екатерины I, доносил о намерении Петра побыстрее совершить акт коронации, так как он стремится «действовать полным властелином». Это не случайная обмолвка дипломата, а плод пристального наблюдения за поведением императора, которое он подтвердил в депеше летом того же 1727 г.: «Он не терпит пререканий, делает что хочет, разговаривает в тоне властелина». Повелительный тон обращения с окружающими, грубость по отношению к ним отметил и австрийский дипломат граф Рабутин.

Оговоримся, повеления царя не простирались далее удовлетворения его личных надобностей — он, например, прибыв в начале февраля 1728 г. на коронацию в Москву, провел там около года: подмосковные поля и леса были несравненно богаче дичью, чем охотничьи угодья вблизи новой столицы.

Екатерина I скончалась 6 мая 1727 г. Смерть императрицы, двухлетней правление которой ничем примечательным не ознаменовалось, не вызвала в стране глубокой скорби. Слезы проливали лишь ее дети.

На следующий день после смерти Екатерины I, в воскресенье 7 мая, в присутствии вельмож и генералитета секретарь Верховного тайного совета Василий Петрович Степанов огласил «Тестамент» — завещание.

Первым пунктом «Тестамент» Екатерина завещала трон Петру Алексеевичу. Остальные пункты определяли порядок наследования престола в случае смерти Петра II бездетным, а также суммы, выделяемые на содержание дочерей. Особым пунктом Екатерина выразила свою волю по поводу

брачных союзов: дочери Елизавете надлежало выйти замуж за епископа Любского, а императору жениться на одной из дочерей А. Д. Меншикова.

Маньян сообщает любопытный казус, происшедший во время чтения «Тестаменты». Как только был зачитан его первый пункт, раздался властный голос Дмитрия Михайловича Голицына: «Довольно, довольно, другие статьи обсудятся на досуге». Этой репликой Дмитрий Михайлович четко выразил пренебрежение к покойной императрице, по его мнению, узурпировавшей власть после смерти своего супруга.

В кратковременном царствовании Петра II можно вычленить два периода: первый из них охватывает время от 6 мая до 7 сентября 1727 г., когда А. И. Остерман зачитал в Верховном тайном совете царский указ, которым Петр освобождал себя от опеки этого учреждения и становился полновластным императором: «Поныне мы восприяли всемилостивейшее намерение от сего дня собственною особою председатель в Верховном тайном совете и все выходящие от него бумаги подписывать собственною нашею рукою, то повелеваем под страхом царской нашей немилости не принимать во внимание никаких повелений, передаваемых через частных лиц, хотя бы и через князя Меншикова».

Отмеченная грань совпадает и с другим важным в жизни отрока событием: до 7 сентября он находился под влиянием Меншикова, являясь его марионеткой. Отныне до самой смерти император оказался во власти князя Алексея Григорьевича Долгорукого и его сына Ивана. Однако если Меншиков требовал от отрока, чтобы тот учился, и умел укрощать его своеволие и капризы, то Долгорукие, напротив, не только потакали его прихотям, но и усердствовали в изобретении забав, предосудительных для его возраста. Если вначале Петр прислушивался к советам своей старшей, не по летам рассудительной сестры Натальи Алексеевны, то со временем наставления сестры и ее призывы к сдержанности стали тяготить императора, он стал избегать встреч с нею, все более и более подчиняя свою волю разгульному Ивану Долгорукому.

По обычаям того времени совершеннолетие наступало по истечении 17 годов. Эту традицию, однако, игнорировали А. Д. Меншиков и А. Г. Долгорукий. Оба прочили 12—14-летнего юношу в мужья своим дочерям и ради достижения честолюбивой цели поступились нравственностью и обычаями.

23 мая в соответствии с волей императрицы, навязанной ей Меншиковым, одиннадцатилетний Петр явился в княжеский дворец, чтобы просить руки дочери светлейшего, которая была старше жениха на четыре года. Вслед за помолвкой на князя и членов его семьи посыпались пожалования: Александр Данилович стал полным адмиралом и генералиссимусом, сын его, Александр, был возведен в обер-камергеры и за неведомые заслуги награжден орденом св. Андрея Первозванного. Марии, невесте царя, навесили орден св. Екатерины, а младшей дочери, Александре, — орден св. Александра. В штате двора, обеспечивавшего покой и комфорт

княжеской семьи, числилось немыслимое количество самых разнообразных слуг — 322 человека!

Князь позаботился о полной изоляции жениха, чтобы, упаси Бог, никто не имел возможности оказать на него неуютное влияние. С этой целью он поселил будущего зятя в своем дворце, где с него не спускали глаз. Все шло наилучшим образом, но неожиданно стряслась беда — 19 июня 1727 г. у Меншикова появились первые симптомы болезни, с 22-го он уже не выходил из дома, хотя еще и не слег, а с 26-го ему был предписан постельный режим и запрещены визиты посторонних. Саксонский посол Лефорт доносил в Дрезден 12 июля: «Кроме харканья кровью, сильно ослабляющего Меншикова, с ним бывает каждодневная лихорадка, заставляющая за него бояться. Припадки этой лихорадки были так сильны, пароксизмы повторялись так часто, что она перешла в постоянную. В ночь с девятого на десятое число с ним случился такой сильный припадок, что думали о его близкой смерти»³. Сам Данилыч, видимо, не рассчитывал выкарабкаться и был озабочен составлением завешания и предсмертных распоряжений. Светлейшему, однако, удалось и на этот раз победить болезнь, и 29 июля врачи разрешили ему выезжать из дому.

За время болезни, продолжавшейся менее полутора месяцев, будущий зять отбил от рук и успел избавиться от тяготившей его опеки тестя. Более того: 8 сентября Меншикову было запрещено выезжать со двора, а на следующий день курьер Верховного тайного совета привез именной указ о высылке князя и его семьи из столицы. Кто же сумел расстроить так старательно вынашиваемые планы светлейшего?

Двое: барон А. И. Остерман и отчасти сестра императора Наталья Алексеевна, враждебно относившаяся к светлейшему. Решающая роль в опале Меншикова, несомненно, принадлежит Остерману. Так утверждать нас уполномочивает поведение Андрея Ивановича накануне падения светлейшего⁴, а также свидетельство английского дипломата К. Рондо, не без основания полагавшего, что Остерман был полностью лишен такого человеческого качества, как благодарность. Обязанный своей карьерой барону Петру Павловичу Шафирову, он переметнулся на сторону его противников, когда убедился, что они, а не Шафиров победят в схватке. Остерман близко сошелся с Меншиковым, обрел в его лице нового покровителя и благодаря этому был возведен в вице-канцлеры. По представлению Меншикова Верховный тайный совет назначил Остермана воспитателем Петра. «Меншикову же, — утверждал Рондо, — Остерман отблагодарил, подготовив его падение в прошлое царствование, что хорошо известно всему свету»⁵.

У нас нет оснований сомневаться в правильности наблюдения английского дипломата — дело в том, что ко времени, когда произошло роковое для князя событие, Остерман и великая княгиня Наталья Алексеевна были единственными людьми, кто мог внушить императору неприязнь к Меншикову. Что касается Ивана Долгорукого, то он еще не пользовался тогда безоговорочным доверием Петра, характерным для последующего времени. Придворная карьера князя Ивана началась при

Екатерине I, назначившей его гофюнкером к великому князю. Князь М. М. Щербатов поведал потомкам об обстоятельствах сближения Петра с Иваном Долгоруким: «В единый день нашед его (великого князя Петра. — Н. П.) единого, Иван Долгорукий пал перед ним на колени, изъясняя всю привязанность, какую весь род к деду его, Петру Великому, имеет и к его крови, изъяснил ему, что он по крови, по рождению и по полу почитает законным наследником Российского престола, прося да увериться в его усердии и преданности к нему».

Поручиться за достоверность описанной Щербатовым сцены, после которой наступило сближение двух юношей, вряд ли можно — князь не был современником событий. Думается, однако, что сверстников великого князя, готовых поклясться в верности, было предостаточно, и если Иван Долгорукий был выделен среди них и удостоен дружбы, то благодаря свойствам своего характера, импонирующим будущему императору: веселому и беспечному нраву, гораздо на выдумки и далеко не невинные развлечения, которые ему удалось наблюдать при дворе короля Речи Посполитой Августа II. Дело в том, что князь Иван до 15-летнего возраста жил в доме своего деда Григория Федоровича и дяди Сергея Григорьевича Долгоруких. Оба они были послами в Варшаве, где шляхта и магнаты прожигали жизнь при пышном дворе своего короля.

Меншиков, зорко следивший за поведением великого князя и его окружением, видимо, обнаружил нежелательное для себя влияние на него со стороны Ивана и постарался удалить его от двора — он был причастен к делу Толстого — Девиера и отправлен поручиком в армейский полк.

Тянуть лямку провинциального офицера Ивану Долгорукому довелось недолго — по восшествии на престол Петра II гофюнкер был возвращен ко двору. С этого времени князь Иван вполне завладел умом, сердцем и привязанностью отрока-императора, и жизнь последнего пошла кувырком.

После падения Меншикова начинается фантастическое возвышение Долгорукого — в 19 лет он становится гвардии майором, обер-камергером, награждается орденами св. Андрея Первозванного и св. Александра Невского. Привязанность императора к фавориту стала настолько сильной, что, по свидетельству современника, он «не может быть без него ни минуты. Когда на днях его ушибла лошадь, его величество спал в его комнате». Не обойден был вниманием и его отец. В январе 1728 г., перед отправлением двора в старую столицу на коронацию Петра II, Верховный тайный совет, в составе которого оставалось всего четыре персоны (Г. И. Головкин, А. И. Остерман, Ф. М. Апраксин, Д. М. Голицын), пополнился двумя Долгорукими: отцом Ивана — Алексеем Григорьевичем и Василием Лукичом, опытным дипломатом, образованным и достаточно энергичным, чтобы выполнять роль лидера в Верховном тайном совете. Но эта роль, по обычаю того времени, должна была принадлежать фавориту либо его отцу.

Петр находился в том возрасте, когда приспело время впитывать, подобно губке, знания, приобщаться к нелегкому труду управления империей. Воспитатель отрока А. И. Остерман составил обширную программу

обучения и воспитания императора с включением в него всего комплекса знаний, которыми располагала первая половина XVIII века: сведения о древней и новой истории, военном искусстве, политике, архитектуре, арифметике и геометрии, физике, правилах поведения и т. д.

В июне 1727 г. Верховный тайный совет утвердил для Петра II расписание ежедневных занятий в течение недели. Овладению знаниями отводилось три-четыре часа в день, в воскресенье надлежало отдыхать, а до полудня по средам и пятницам — присутствовать на заседаниях Верховного тайного совета. В соответствии с педагогическими воззрениями того времени Остерман составил расписание так, чтобы «часы к наукам и забавам всегда переменяться имеют». В понедельник, как, впрочем, и в остальные рабочие дни недели, занятия начинались в 9 утра — в течение часа изучалась древняя история, а с 10 до 11 «может е. и. в. отдохнуть или, по соизволению, в своих покоях забавляться». С 11 до 12 вновь занятия историей; время с 12 до 2 отводилось на обед и отдых, после чего час надлежало заниматься музыкой и танцами. С 3 до 4 часов воспитаннику сообщались сведения по географии. С 4 часов и до сна — прогулки и забавы.

Во вторник надлежало изучать наряду с новой историей также арифметику и геометрию, а вместо музыки и танцев — заниматься стрельбой по мишени. В другие дни недели среди развлечений, помимо музыки, танцев и стрельбы, встречаем ловлю рыбы, игру в бильярд, верховую езду. По средам и пятницам, когда намечалось присутствие императора в Верховном тайном совете, овладению знаниями отводился один час. В субботу занятия продолжались только до полудня, в эти часы следовало заниматься повторением и закреплением знаний, приобретенных в течение недели. Распорядок дня, как видим, не требовал особого напряжения умственных и физических сил царя.

С появлением при дворе Ивана Долгорукого расписание при попущительстве воспитателя мало-помалу стало нарушаться, а затем и вовсе было забыто. Остерман не желал портить отношений с отроком и навязывать ему свою волю, император же предался страсти к охоте. Его жизнь превратилась в сплошной праздник. Особую роль в разжигании страсти к охоте сыграл отец Ивана — Алексей Григорьевич Долгорукий. Человек невежественный, недалекий, но крайне тщеславный, ревновавший своего сына к императору, был приставлен вторым воспитателем к Петру и уже сам, а не через Ивана превратил охоту в главное занятие отрока. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с донесением испанского посла де Лириа. Почти каждая его депеша содержит сведения либо о пребывании Петра на охоте, либо о подготовке к ней, либо о возвращении с охоты. Приведем выдержки из его донесений за 1729 г., когда двор находился в Москве.

7 февраля: «Идут приготовления к скорому отъезду царя, который, уверяют, пробудет вне столицы месяца три...»

14 февраля: «Наконец, было решено, что царь отправится за 50 миль для охоты на три или четыре месяца...»

14 марта: «Третьего дня царь уехал за 15 миль от города на охоту, где пробудет недели четыре...»

9 мая: «Царь находится в двух милях отсюда, и полагают, что воротится в город через три дня...»

23 мая: «Все новости здесь ограничиваются тем, что шесть дней тому назад царь возвратился в город с охоты... Завтра царь отправляется опять на охоту к городу Ростову и не возвратится в столицу до дня св. Петра» (30 мая. — Н. П.).

6 июня: «Ждали, что царь возвратится в столицу к Троице, но он не приехал, несмотря на ужасные дожди и холод...»

18 июля: «Царь вчера уехал на охоту за две мили от города и, говорят, скоро воротится».

1 августа: «Здесьшний государь все развлекается охотой».

22 августа: «Царь все еще наслаждается охотой...»

19 сентября: «Третьего дня царь отправился на охоту за 20 миль отсюда и проживет там до 23/12 октября, дня своего рождения».

24 октября: «Царь все на охоте...»

21 ноября: «Вчера царь вернулся с охоты...»

Столь же часто слово «охота» встречается и в донесениях английского и французского дипломатов.

Следы страсти к охоте оставил и император, в 1729 г. подписавший «Роспись охоты царской». В отличие от царя Алексея Михайловича, понимавшего толк в охоте и лично составившего инструкцию с наставлением о воспитании ловчих птиц и уходе за ними, «Роспись», сочиненная, конечно же, не Петром II, а канцелярскими служителями, представляет собой бюрократический документ, где указывались лишь штаты и сметы расходов на содержание людей, собак и птиц, причастных к охоте. Если прадед руководствовался правилом «время делу, потехе час» и охота в его бюджете времени занимала малую толику, то у правнука охота превратилась едва ли не в единственное занятие и поглощала почти изо дня в день все светлое время суток.

Охотничью страсть императора обслуживали 113 человек, среди которых было семь егерей, один егермейстер, 14 кречетников, 15 сокольников, столько же ястребников, 31 охотник и т. д. Борзым и гончим собакам надлежало покупать ежедневно по три пуда мяса. Кроме того, для собак на девять месяцев надлежало приготовить 2000 четвертей муки и 40 пудов соли. Конюшня охотничьего хозяйства насчитывала 224 лошади, за семь месяцев на их содержание предполагалось издержать 1568 четвертей овса и 35 280 пудов сена⁶.

Похоже, на первых порах князь Иван не преследовал честолюбивых замыслов. Он довольствовался тем, что безнаказанно, в свое удовольствие мог совершать разнообразные поступки.

Английский резидент Клавдий Рондо отзывался о нем так: «...князь Долгорукий, молодой человек лет двадцати. С ним государь проводит дни и ночи, он единственный участник всех очень частых разгульных похож-

лений императора». Поверенный в делах Франции Маньян вскользь коснулся интеллекта князя Ивана: «...умственные способности у этого временщика, говорят, посредственные и недостаточно живые, так что он мало способен сам по себе внушать царю великие мысли»⁷.

Перед нами множество свидетельств о его похождениях. Современник Феофан Прокопович писал, что Иван Алексеевич «на лошадях, окружен драгунами, часто по всему городу необычным стремлением, как бы изумленный, скакал и по ночам в честные дома вскакивал — гость досадный и страшный». Князь М. М. Щербатов сообщил некоторые подробности походов Ивана, писал о его интимных связях с супругой князя Никиты Юрьевича Трубецкого, рожденной Головкиной, дочерью канцлера: «Князь Иван не только без всякой закрытости с нею жил, но и при частых съездах у князя Трубецкого с другими своими младыми сообщниками пивал до крайности, бивал и ругал сего мужа, бывшего тогда офицером кавалергардов, имеющего чин генерал-майора и с терпением стыд свой от своей жены сносящего. И мне самому случалось слышать, — продолжал Щербатов, — что единожды он в доме кн. Трубецкого, по исполнении многих над ним ругательств, хотел наконец выкинуть его в окошко и если бы Степан Васильевич Лопухин, свойственник государя по бабке его Лопухиной, первой супруге Петра Великого, бывший тогда камер-юнкером у двора и в числе любимцев князя Долгорукого, сему не воспрепятствовал, то бы сие исполнено было»⁸.

Со временем охотничья страсть, искусственно подогреваемая отцом фаворита, приобрела целевое назначение. Ближайшая цель охотничьих экспедиций состояла в том, чтобы отвести юнца от Елизаветы Петровны — в Москве ходили слухи, что племянник якобы поддерживал интимные связи с не отличавшейся скромностью тетушкой. «Все негодуют на князя Алексея Долгорукого, отца фаворита, — писал де Лириа в депеше, — который под предлогом развлечь е. и. в. и удалить его от случаев видеть принцессу каждый день, выдумывает для него новые забавы и новые выезды»⁹. Даже 29 декабря 1729 г., уже после помолвки с Екатериной Долгорукой, ее отец снарядил жениха на охоту, чтобы таким образом избавиться от необходимости присутствовать на обеде по случаю дня рождения Елизаветы Петровны.

Но на охоту возлагалась еще одна, причем самая главная, надежда, возникшая после того, как у Алексея Григорьевича созрел план женитьбы императора на своей дочери. Замысел не был оригинальным. Различие состояло в том, что Меншиков избрал местом изоляции Петра собственный дворец, а князь Алексей — поля и леса вокруг столицы и в Подмосковье. Ради этого А. Г. Долгорукий тащился на охоту не только сам, но привлекал и членов семьи, включая супругу и двух дочерей — последние по вечерам составляли компанию будущему зятю в игре в карты.

Страсть к охоте — не худшая страсть, прививавшаяся Долгорукими императору. Поприще, на котором подвизался князь Иван, помимо охоты, было разврат и разгул. Попойки во время охоты, посещения домов мини-

стров и придворных стали обычным явлением. Об обучении не отваживались даже напоминать: в свободное от охоты, верховой езды, танцев и обедов время царя развлекали житейскими рассказами о былях и небылицах.

Несколько слов об отношениях, сложившихся между цесаревной Елизаветой Петровной и Петром II. Цесаревна в годы молодости отличалась не только необыкновенной красотой, но и необыкновенным поведением, шокировавшим степенных вельмож и людей, представления о нравственности которых уходили в семнадцатое столетие. Оставшись без родителей, предоставленная самой себе, молодая девушка не смогла удержаться от множества соблазнов, в том числе и от испытаний на прочность нравственных устоев.

Двенадцатилетний царь воспыал страстью к красавице. Увлечение было кратковременным и продолжалось примерно год — с августа 1727 г. по сентябрь 1728-го. В августе 1727 г. Рондо доносил в Лондон о Елизавете: «Она очень красива и, кажется, любит все, что государю по нраву: танцы и охоту». В сентябре того же года Маньян поведал о том, что Петр «явно выказывает с некоторых пор необыкновенную привязанность к Елизавете Петровне». Спустя пару месяцев тот же Маньян извещал министра иностранных дел о том, что «царь до того всецело отдался своей склонности и желаниям, что поставил в затруднительное положение Остермана, опасавшегося оставлять наедине царя с цесаревной. Было решено, чтобы кто-либо из членов Верховного тайного совета постоянно сопровождал царя. Но от надзора старших Петр освобождался простым способом: на охоту или в загородные дворцы он приглашал только Елизавету и своего фаворита»¹⁰.

В сентябре 1728 г. появились первые симптомы охлаждения, зарегистрированные Маньяном: «холодность царя к принцессе Елизавете растет изо дня на день»¹¹. Виновницей охлаждения оказалась сама барышня, позволившая себе увлечься каким-то гренадером. Отношения между ними зашли так далеко, что перестали быть тайной и вызвали гнев царя, особенно после того, как она пешком отправилась в Троице-Сергиев монастырь с целью испросить у Бога исцеление гренадера от недуга¹².

Предпринимались ли какие-либо меры, чтобы отвлечь Петра от охоты, праздности, пиршеств и развлечений, несвойственных его юному возрасту? Тяге к безделью и увеселениям противопоставила свои слабые силы сестра царя Наталья Алексеевна. Поначалу он прислушивался к ее суждениям и увещаниям, но со временем все более отчуждался от нее. Страдая чахоткой, на исходе дней своих она, как доносил Рондо, в самых горячих выражениях представила брату дурные последствия для него самого и для рода следования советам и образу жизни молодого Долгорукого, «поддерживающего и затевающего всякого рода разврат». Великая княгиня добавила, что она и заболела оттого, что наблюдала, как он «отдается разгулу». Царь дал сестре обещание порвать с князем Иваном, но как только она скончалась (в конце ноября 1728 г.), он пуше прежнего привязался к фавориту.

Образ жизни монарха и его фаворитов, отца и сына Долгоруких, пагубно отражался на положении страны — на троне продолжалось безвременье, начавшееся при Екатерине I. Конечно, тщетно ожидать мудрых поступков и проницательных решений от отрока-императора. От его имени должны были действовать наделенные опытом вельможи, готовые радеть о благополучии России. Таковых, однако, не оказалось. Сложившуюся при дворе ситуацию лаконично охарактеризовал в одном из своих донесений Рондо: «Царь думает исключительно о развлечениях и охоте, а сановники о том, как бы сгубить один другого»¹³.

Напомним, Петр II вскоре после вступления на престол прибыл на заседание Верховного тайного совета, чтобы изложить программу своего царствования. Он заявил: «...наивысшее мое старание будет, чтобы исполнять должность доброго императора, т. е., чтоб народ, мне подданный, с богобоязненностью и правосудием управлять, чтоб бедных защищать, обиженным помогать... никого от себя печальным не отпускать».

Эти слова, несомненно, внушенные императору Остерманом, были забыты тотчас после того, как были произнесены.

Последствия безвременья многократно отмечали иностранные наблюдатели. Саксонский резидент Лефорт доложил в ноябре 1727 г.: «Можно составить себе понятие о будущем состоянии России, видя молодого монарха, не принимающего никаких советов, действующего по своей собственной воле и по внушениям своего друга, Ивана Долгорукого, самого нуждающегося быть под строгим надзором». Восемь месяцев спустя саксонец сравнивал современное положение в стране с тем, что было при Петре Великом, воспринимая происходившее, как сон: «Все живут здесь в такой беспечности, что человеческий разум не может понять, как такая огромная машина держится без всякой подмоги»¹⁴.

Лефорт доносил: «Все идет дурно, царь не занимается делами; да и не думает заниматься, денег никому не платят, и Бог знает, до чего дойдут здешние финансы». Отзывы прочих иностранных дипломатов подтверждают наблюдения Лефорта. Его коллега из Вены — граф Вратислав отмечал падение международного престижа России, с которой не было смысла устанавливать союзнические отношения: ее войско ослабевает, дисциплина исчезает, а финансы находятся в полном расстройстве.

30 ноября 1729 г. состоялось обручение Петра II с Екатериной Долгорукой. Оно было столь же торжественным, как и обручение с Марией Меншиковой: на нем присутствовала вся царская фамилия, министры, генералитет, послы иностранных государств, высшие духовные чины с Феофаном Прокоповичем во главе, пышные свиты императора и его будущей супруги. На всякий случай все входы и выходы во дворце были заняты войсками, а в самом зале, где происходило обручение, стояли гренадеры с заряженными ружьями. Невесту императора с этого часа стали называть великой княжной и высочеством.

Екатерина Долгорукая, как и Мария Меншикова, была старше нареченного супруга. По отзыву Маньяна, впервые увидевшего ее в 1728 г.,

она показалась ему воспитанной и красивой. В декабре 1729 г., в канун помолвки, дипломат писал, что она «приветлива со всеми, чрезвычайно мягкого нрава и выказывает большое уважение к иностранцам». Маньян приводит слова, якобы произнесенные фельдмаршалом Василием Владимировичем Долгоруким во время торжеств по случаю помолвки: «Вчера я был твоим дядей, а сегодня ты моя верховная повелительница». Напутствуя племянницу, он призывал ее видеть в императоре не столько супруга, сколько владыку, и проявлять заботу о том, что ему приятно¹⁵.

До финиша Алексею Григорьевичу осталось сделать лишь один шаг — свадьба была назначена на 19 января 1730 года. В осуществлении матримонимальных планов Долгорукие, как видим, продвинулись дальше своего предшественника — тот довольствовался всего лишь помолвкой, а эти уже готовились повести Екатерину под венец.

Притязания на родство с царствующей фамилией вызывали недоброжелательные толки. Одни утверждали, что Долгорукие идут по стопам Меншикова и в конечном счете разделят его участь, другие толковали о насильной женитьбе малолетнего императора, не выказывавшего никаких чувств к невесте, третьи предсказывали не падение Долгоруких, а новые назначения: князь Алексей Григорьевич якобы претендовал на чин генералиссимуса, его сын Иван — великого адмирала, а Василий Лукич — на должность канцлера.

Сбылись худшие пророчества — Долгоруких, как и Меншикова, постигла неудача: образ жизни отрока ослабил его сопротивляемость болезням. Первый раз Петр заболел в августе 1729 г. «Опасались, — свидетельствовал полковник Манштейн, — за его жизнь, так как горячка, в которую он впал, была очень сильная. Однако на этот раз он избежал смерти. Недруги любимца (Ивана Долгорукого. — Н. П.) тотчас же отнесли на его ответственность эту болезнь, уверяя императора, что его заставляют делать слишком много движения и от недостатка в отдыхе силы его слабеют; от того, если он не переменит своего образа жизни, здоровье его окончательно расстроится»¹⁶.

6 января 1730 г. Петр, стоя на запятках саней, в которых восседала невеста, прибыл на водосвятие на Москве-реке. Стоя долгое время без движения и с непокрытой головой, он простудился и почувствовал недомогание на следующий день. Врачи полагали, что наступила очередная горячка, но ошиблись в диагнозе. Лишь на третий день они установили, что император заболел оспой.

Болезнь царя развивалась бурно, стремительно приближая час развязки. 22 января он, отправившись вечером в покои невесты, почувствовал столь сильную головную боль и боль в пояснице, что вынужден был вернуться в свои покои. Через два дня, 24 января, состояние больного ухудшилось — высокая температура вызвала сильное головокружение. Наконец, 25-го ему полегчало, на груди выступила сыпь, и он спал 12 часов подряд. Появилась некоторая надежда, но врачи отчаялись в выздоровлении после того, как обнаружили на теле Петра сыпь «самого опасного вида», причем в горле

она оказалась настолько сильной, что не было никаких средств заставить больного проглотить несколько капель бульона¹⁷.

В ожидании скорой развязки Алексей Григорьевич пригласил в Головинский дворец, где он жительствовавал, всех взрослых представителей рода Долгоруких для совещания, как им быть в случае смерти императора. У князя Алексея ответ был готов: при поддержке своих братьев Ивана и Сергея Григорьевичей и сына Ивана он предложил объявить государыней обрученную невесту, княжну Екатерину Алексеевну. «Вот де его величество весьма болен, — обратился он к присутствовавшим, — и нежели де скончается, то надобно как можно удержать, чтоб после его величества наследницей Российского престола быть обрученной его величества невесте Екатерине». Однако князь Василий Владимирович решительно возразил:

— Неслыханное дело вы затеваете, чтоб обрученной невесте быть Российского престола наследницею. Кто захочет ей подданным быть? Не только посторонние, но и он, князь Василий, и прочие нашей фамилии никто в подданстве ей быть не захотят. Княжна Катерина в государыни не венчалась.

Князь Алексей твердил свое:

— Хоть не венчалась, но обручалась.

Князь Василий возразил:

— Венчание иное, а обручение иное.

И добавил:

— Да ежели бы она за его величеством и в супружестве была, то и тогда бы во учинении ее наследницей не без сомнения было. Ссылаться на пример с Екатериной Алексеевной не следует, ибо хотя она и царствовала, но только ее величество государь-император при животе своем короновал.

Князь Алексей не сдавался:

— Мы уговорим к тому графа Головкина и князя Дмитрия Михайловича. Голицына, а ежели они в том заспорят, то мы будем их бить, и при этом как не сделаться по-нашему? Ты в Преображенском полку подполковник, а князь Иван майор, и в Семеновском полку спорить о том будет некому.

Князя Василия эти доводы не убедили.

— Что вы ребячье врете, как тому можно сделаться, и как ему, князю Василию, полку объявить? Что, услышав от него об том объявлении, не только будут его, князя Василия, бранить, но и убьют¹⁸.

Позиция князя Василия Владимировича и его брата Михаила, сразу же после этого покинувших собрание, показала, что рассчитывать на поддержку гвардии не приходится. Тем не менее Алексей Григорьевич с братом и сыном не расстались с мыслью возвести на престол Екатерину. Не остановило его и суровое предупреждение Василия Владимировича, что он погубит не только себя, но и свой род. Князя Алексея воодушевило то, что его поддержал Василий Лукич, около 20 лет успешно выполнявший дипломатические поручения Петра Великого. Спустя несколько лет тот признается, что из-за трусости не мог противостоять напору Алексея Григорьевича.

Было решено сочинить духовную, в которой император завещал трон невесте. Ее диктовали князь Алексей Григорьевич и Василий Лукич, а записывал Сергей Григорьевич. Сначала составили черновик, а затем князь Сергей переписал его в двух экземплярах набело: один предназначался для подписи императором, если к нему вернется сознание; другой — на тот случай, если император скончается в беспамятстве и не сумеет поставить подпись. Тогда духовную подмахнет князь Иван.

Согласно более поздним показаниям Ивана Алексеевича, он научился имитировать царскую подпись во время охоты под Тулой: «Во время большой охоты в окрестностях Тулы государь для шутки стал писать свое имя по-французски и по-русски и для той забавы при его величестве я писал имя его величества таким же почерком, как его величество писать изволил».

Когда приспело время подписывать один из экземпляров духовной, Иван Долгорукий вытащил из кармана черновики своих забав под Тулой, заявив: «Посмотрите клеймо государево и моей руки, слово в слово, как государево письмо». Долгорукие сличили обе подписи и обнаружили полное сходство. Иван подписал один экземпляр духовной. Он, надо полагать, сомневался в успехе. Если бы он верил в нее, то дал бы духовной ход, но он ее держал при себе и отдал отцу на следующий день после смерти Петра II, и тот ее сжег.

Поздно вечером в день несостоявшейся свадьбы, 19 января 1730 г., в Лефортовский дворец, где агонизировал отрок-император, прибыли члены Верховного тайного совета, или, как тогда говорили, министры. После смерти в 1729 г. Ф. М. Апраксина их осталось пять: Г. И. Головкин, А. И. Остерман, Д. М. Голицын, А. Г. и В. А. Долгорукие. Они увеличили состав высшего правительственного учреждения, введя в него двух фельдмаршалов: Михаила Михайловича Голицына и Василия Владимировича Долгорукого. Восьмым членом Верховного тайного совета стал сибирский губернатор князь Михаил Владимирович Долгорукий, прибывший из Тобольска на свадебные торжества.

Кооптация новых членов в Верховный тайный совет была акцией противозаконной, ибо это была прерогатива верховной власти. Как бы то ни было, но четыре из восьми мест в Верховном тайном совете принадлежали Долгоруким и только два — Голицыным. В целом же облик Верховного тайного совета существенно изменился: первоначально аристократия была представлена в нем одним Голицыным, теперь ей принадлежало целых шесть голосов. Новая знать в лице Г. И. Головкина и А. И. Остермана оказалась в тени.

Собравшимся надлежало избрать преемника, точнее преемницу, ибо на корону могли претендовать лишь потомки Петра Алексеевича и его брата Ивана Алексеевича по женской линии. А. Г. Долгорукий заикнулся было о духовной в пользу своей дочери, но его претензии тут же были пресечены Д. М. Голицыным и двумя фельдмаршалами.

Кандидатуру дочери Петра Великого — Елизаветы Петровны решительно отклонил Дмитрий Михайлович Голицын на том основании, что

ее мать была женщиной подлой породы, не имевшей никаких прав на престол и тем не менее узурпировавшей трон. По той же причине не могла претендовать на скипетр и ее дочь, родившаяся к тому же до оформления брачных уз ее матери с Петром Великим. Кстати, и сама Елизавета Петровна не проявляла интереса к короне — она была целиком занята любовными утехами. В 1729 г. испанский посол де Лириа высказал предположение, «что в непродолжительном времени она попадет в монастырь — наказание, которого она вполне заслуживает своим дурным поведением».

«Она была чрезмерно сладострастна, — отзывался о ней фельдмаршал Миних, — и была порождена в сладострастии, и часто говорила своим наперсницам, что она довольна только тогда, когда влюблена, но вместе с тем она была весьма непостоянна и часто меняла фаворитов...» Фридрих II, пользуясь информацией своих дипломатов, писал: «Обе принцессы (Елизавета Петровна и Анна Леопольдовна. — Н. П.) имели одинаковую склонность к сладострастию. Только мекленбургская прикрывала ее завесою жеманства, а принцесса Елизавета доводила сладострастие до разврата». Эту черту поведения Елизаветы Петровны отмечали и ее младшие современники. Князь М. М. Щербатов называл ее «любострастной императрицей», а автор биографии Петра III Гельвиг заметил: «Самый снисходительный моралист был бы возмущен отношениями Елизаветы Петровны к мужчинам. Она не обращала ни малейшего внимания на привлекательные качества ума и сердца при выборе своих любимцев и руководилась в нем единственно телесною их красотою»¹⁹.

Пророчество не оправдалось, в монастырской келье Елизавета Петровна не оказалась, но репутацию свою подмочила изрядно.

Старшая дочь Ивана Алексеевича — Екатерина, герцогиня Мекленбургская, не подходила «верховникам» на том основании, что ее супруг, отличавшийся сумасбродным характером, появившись в России, мог вызвать недовольство и распри среди русских вельмож.

Младшая дочь царя Ивана — Прасковья росла хилой (ее не удалось пристроить замуж даже за какого-либо захудалого принца) и была настолько больной, что ее кандидатура в расчет не принималась. Оставалась средняя дочь, Анна Иоанновна, к которой и были обращены взоры «верховников»...

Глава 3

АННА ИОАННОВНА

1. Корона, свалившаяся с неба

Анна Иоанновна была средней по возрасту дочерью сводного брата Петра — болезненного и слабоумного Иоанна Алексеевича. Семнадцати лет Петр, руководствуясь введенным им обычаем преследовать брачными союзами политические цели, выдал Анну Иоанновну за курляндского герцога Фридриха-Вильгельма. Царь рассчитывал в отдаленном будущем присоединить Курляндию к России.

В ноябре 1710 г. в Петербурге отпраздновали пышную свадьбу. Гвоздем празднества, устроенного во дворце Меншикова были свезенные со всей страны карлы и карлицы, для которых смастерили специальную мебель и изготовили миниатюрную посуду. Из двух разрезанных пирогов вылезли модно одетые карлицы, которые обратились к новобрачным со словами приветствия. Затем, по свидетельству очевидца, «заиграли менует, и карлицы весьма изящно протанцевали этот танец на столе перед новобрачными. Каждая из них была ростом в локоть»¹.

Два месяца брачной жизни сменили долгие годы вдовьего прозябания — в начале 1711 г. во время переезда супружеской четы из Петербурга в Курляндию Фридрих-Вильгельм заболел и умер. Вдова тем не менее по настоянию дяди должна была отправиться в столицу герцогства Митаву (Елгаву), где в скуке и нужде коротала дни и годы среди чуждого ей курляндского дворянства, потомков немецких рыцарей. Петр велел отпустить ей на содержание из курляндских доходов столько, «без чего прожить нельзя». Это повеление властного и прижимистого дяди обрекало молодую вдову на постоянное попрошайничество денег у царской четы. В редком письме к Екатерине она не жаловалась на отсутствие средств, крайне необходимых ей для поддержания престижа герцогини. Она, оказывается, не имела даже «нарочитово платья», так что ей было неловко появляться

в обществе местных дам, роскошно одетых и щеголявших отнюдь «не убогими» драгоценностями.

Иногда дядя разрешал племяннице появляться в Петербурге, и тогда герцогине доводилось испытывать еще одно унижение — заискивать перед вельможами, рассчитывая, что, может быть, когда-либо пригодятся ее добрые отношения с А. Д. Меншиковым, канцлером Г. И. Головкиным, вице-канцлером А. И. Остерманом. С ними она не теряла связей и после возвращения в Митаву.

Унылую, ничем не примечательную жизнь в Митаве скрашивала незаурядная личность Петра Михайловича Бестужева-Рюмина, выполнявшего при немногочисленном дворе герцогини три обязанности: в должности гофмейстера он управлял скудными вотчинами; эту свою службу он совмещал с обязанностями резидента русского двора в Митаве, присматривая за поведением Анны. Наконец, Петр Михайлович до появления при дворе Бирона, которому поначалу протезировал, ташил нелегкую ношу фаворита. Деликатные связи вызвали гнев матери герцогини, престарелой Прасковьи Федоровны — она едва ли не прокляла свою дочь, хотя в молодости сама не отличалась безупречным поведением и прижила трех дочерей не от законного супруга Иоанна Алексеевича, а, согласно молве, от Василия Алексеевича Юшкова, управляющего двором и имениями.

В 1726 г. в монотонной жизни герцогини мелькнул просвет — появилась возможность выйти замуж. Впрочем, такие возможности бывали и раньше, но сердце вдовы было намертво приковано к герцогской короне, и Анна Иоанновна не шла на поводу у своих привязанностей, если в их итоге мог последовать брачный союз, противоречивший интересам России. Тем больше было оснований использовать едва ли не последний шанс приобрести законного супруга — она находилась в том критическом возрасте, когда женихами не разбрасываются.

В роли жениха подвизался побочный сын саксонского курфюрста и монарха Речи Посполитой Августа II граф Мориц Саксонский, приобретший в Европе громкую славу дамского угодника и дуэлянта. «А персоною он, Мориц, походит много на отца, токмо выше его и попригожее. К тому же он брунет, только шириною не против отца и носит свои волосы долгие»².

Анна Иоанновна влюбилась в Морица Саксонского, как говорится, с первого взгляда, но на пути к ее семейному счастью встал А. Д. Меншиков, намеревавшийся водрузить на свою голову герцогскую корону. Ее он мог обрести только в том случае, если герцогиня останется вдовой. Справедливости ради отметим, что старания светлейшего были вызваны не только честолюбивой мечтой прибавить к своему пышному титулу еще два слова — герцог Курляндский, но и видами правительства: в случае если бы супругом Анны Иоанновны стал Мориц Саксонский, надежды на присоединение Курляндии к России навсегда были бы похоронены, и она стала бы одним из воеводств Речи Посполитой. Сколько ни умоляла Анна Иоанновна светлейшего пойти ей навстречу, сколько

ни проливала слез, чтобы князь смилостивился и разрешил ей вступить в брак, Александр Данилович оставался неумолим. Однако и князь должен был довольствоваться лишь половинным успехом: брак он расстроил, но герцогом не стал.

Герцогине так бы и довелось коротать дни до кончины. Единственное утешение — ее новый фаворит Бирон, которому она отдалась всей страстью уже увядшей молодости. И вдруг Анне Иоанновне подвалило счастье, которого она не видела и во сне, — ей предложили российскую корону.

Из Митавы возвратимся в Москву и попричастствуем на памятном заседании Верховного тайного совета. После того как были отклонены кандидатуры Елизаветы Петровны, Екатерины Алексеевны Долгорукой, герцогини Мекленбургской Екатерины Иоанновны, к собравшимся с речью обратился Дмитрий Михайлович Голицын. Почему именно он? Не только потому, что он был самым старшим по возрасту, после занемогшего Г. И. Головкина, членом Верховного тайного совета, но и потому, что имел репутацию самого образованного и эрудированного вельможи.

Голицын, подведя итоги обсуждению кандидатов на трон, отклонил всех претендентов за исключением Анны Иоанновны. «Это умная женщина, — заявил он, — правда, у нее тяжелый характер, но в Курляндии на нее нет неудовольствий». Кандидатура «умной женщины» была одобрена всеми восемью членами Верховного тайного совета. После этого состоялся памятный разговор, ставший достоянием всех учебников.

— Ваша воля, — обратился с заключительными словами к присутствующим князь Дмитрий Михайлович, — кого изволите, только надобно себе полегчить.

— Как это — полегчить? — спросил Г. И. Головкин.

— Так полегчить, чтобы воли себе прибавить, — ответил Голицын.

— Хоть и начнем, да не удержим этого, — высказал сомнения Василий Лукич Долгорукий.

— Право, удержим, — убеждал присутствовавших князь Дмитрий Михайлович³.

После обмена мнениями «верховники» вышли из покоев, где заседали, в общий зал (их решения ожидали сенаторы и генералитет), чтобы объявить о намерении пригласить на царствование курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, утаив при этом о намерении «себе полегчить».

Когда сенаторы и генералитет разошлись, «верховники» продолжили заседание, решив составить «пункты» для предъявления их курляндской герцогине. Поскольку это был экспромт, то в палате начался галдеж. Секретарю Верховного тайного совета Василию Петровичу Степанову, которому поручили записывать предложения, диктовало одновременно несколько человек, но чаще всего раздавались голоса князей Дмитрия Михайловича и Василия Лукича. Записывать «пункты» в обстановке гвалта было невозможно, и тогда канцлер Г. И. Головкин и фельдмаршал М. М. Голицын обратились к А. И. Остерману, чтобы тот, «яко знающий лучше штиль, диктовал». Осторожный и хитрый, Остерман решил остаться

ся в стороне от затеваемого дела и долго отказывался от чести формулировать «пункты», ссылаясь на то, что он, как иностранец, «в такое важное дело вступать не может». В конце концов уклониться от роли редактора Остерману не удалось, и он придавал литературную форму «пунктам», произносимым В. Л. Долгоруким и Д. М. Голицыным.

Хотя работа не была завершена, «верховники» решили для кратковременного отдыха разъехаться по домам, чтобы вновь собраться утром. К десяти утра съехались все за исключением двух воспитателей скончавшегося императора — А. И. Остерман и А. Г. Долгорукий отправились к гробу покойного в Лефортовский дворец. Находившимся в залах Кремлевского дворца «членом Синода и знатным духовного чина, Сенату, генералитету и прочим временным и стацким чинам и из коллегий немалому числу до бригадира» «верховники» официально объявили как о кончине Петра II, так и об избрании Анны Иоанновны, причем спросили у них, согласны ли они с избранием курляндской герцогини. Получив утвердительный ответ, «верховники» распустили собрание и возобновили составление «пунктов».

В окончательном варианте «Кондиции» (так был назван документ, ограничивший самодержавную власть императрицы) состояли из восьми «пунктов». Фактически условий было десять, ибо две позиции авторы изложили в преамбуле: обязательство не вступать в супружество и не назначать себе преемников.

«Кондиции» фактически превращали царскую власть в номинальный институт — без ведома Верховного тайного совета не предпринимался ни один серьезный шаг как во внутренней, так и во внешней политике. Без согласия Верховного тайного совета Анна Иоанновна не имела права совершать более или менее значительных акций: не могла начинать войны и заключать мир; вводить новые налоги и жаловать чинами выше полковничьего ранга; лишать шляхетства, имений и жизни без суда; жаловать вотчинами; распоряжаться казенными суммами. Венчал «Кондиции» «пункт», требовавший от Анны Иоанновны безоговорочного их выполнения: «А буде чего по сему завешания не исполню и не додержу, то лишена буду короны Российской».

Верховники поручили отправить в Митаву «Кондиции» специальной комиссии из трех человек: В. Л. Долгорукий, глава депутации, представлял Верховный тайный совет, Михаил Михайлович Голицын-младший — Сенат, генерал-майор Михаил Иванович Леонтьев — генералитет. Фельдмаршал В. В. Долгорукий предложил назначить четвертого депутата от духовенства, но встретил решительное возражение Д. М. Голицына: «Нет, духовенство не заслужило никакого уважения. Оно опозорило себя согласием на воцарение Екатерины, не имевшей на то никакого права».

Задача депутации состояла в полной изоляции Анны Иоанновны, не допуская ее общения с посторонними не только в Митаве, но и на пути в Москву, куда ей надлежало немедленно выехать.

«Верховники» предусмотрительно позаботились и о том, чтобы никто из противников их «затейки», как назвал Феофан Прокопович попытку

ограничить самодержавие, не прибыл в Митаву раньше депутации и не известил герцогиню, что «Кондиции» выражали волю не народа, а интересы «осьмеричных затейщиков», то есть восьми членов Верховного тайного совета. С этой целью заведующему почтой бригадиру Полибину велено было оцепить Москву заставами по всем трактам и разрешать выезд из столицы только по паспортам, выданным Верховным тайным советом.

19 января «Кондиции» подписали все члены совета, кроме А. И. Остермана, как всегда сказавшегося в критической ситуации больным, и депутация отбыла в Митаву. Хотя депутация двигалась в Митаву, по словам Феофана Прокоповича, «с такою скоростью, что на расставленных нарочно для того частных подводах, казалось, летели они паче, нежели ехали», противникам «затейки» «верховников» удалось прибыть в столицу Курляндского герцогства раньше В. А. Долгорукого и его спутников. Гонец Рейнгольда Левенвольде, обрядившийся в крестьянскую одежду, все же упредил депутатов на целые сутки. «Он, — по свидетельству Миниха-младшего, — первый возвестил новоизбранной императрице о возвышении ее и уведомил о том, что брат к нему писал в рассуждении ограничения самодержавия». Левенвольде советовал Анне Иоанновне подписать предложенную депутатами бумагу, «которую после нетрудно разорвать»⁴. Не упустил случая противодействовать «верховникам» и Феофан Прокопович.

Наибольшие злоключения выпали на долю доброхота будущей императрицы генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского. 19 января, в день кончины Петра II, в коридорах Лефортовского дворца Павел Иванович затеял разговор с Василием Лукичом Долгоруким.

— Батюшки мои, прибавьте нам как можно воли.

— Говорено уже о том было, но то не надо, — слукавил князь Василий, утаив от своего собеседника намерение воли прибавить, но не многим, а всего лишь восьми человекам. Ягужинский при этом рассчитывал, что воли будет прибавлено и ему, Павлу Ивановичу, но «верховники» обошлись без него. Это была крупнейшая их тактическая ошибка. Если бы «затейщики» привлекли на свою сторону церковных иерархов во главе с Прокоповичем, Сенат, генералитет, то события развивались бы не по столь катастрофическому для них сценарию.

Ягужинский потому и отважился на рискованные поиски счастья у будущей императрицы, что ему ничего не досталось от «верховников». Для осуществления своего плана Павел Иванович привлек камер-юнкера голштинского герцога Петра Спиридоновича Сумарокова.

— Не жалея денег и поезжай как можно скорее в Митаву, — напутствовал он курьера, вручая ему послание к Анне Иоанновне⁵.

Наставление Ягужинского принципиально отличалось от инструкции гонца Левенвольде. Сумароков должен был убеждать Анну не подписывать никаких документов до предоставления веских доказательств, «что они от всего народа оное привезли». В противном случае герцогиня должна была заявить, что подпишет «Кондиции», когда прибудет в Москву и лично убедится, что действия депутации соответствуют интересам и воле народа.

Герцогиня должна была держаться до последнего даже в том случае, если депутаты станут угрожать избранием другого, более покладистого претендента на трон. Однако Сумароков опоздал на три часа, был опознан Долгоруким и взят под стражу.

Анне Иоанновне не надо было обладать глубокой проницательностью, чтобы усвоить несложную мысль: депутаты действовали от имени не «все-народия» (то есть широких кругов шляхетства), а ограниченного круга лиц и что эти лица не пользуются поддержкой дворянской массы. Если бы было наоборот, то депутация не окружала бы переговоры с нею глубокой тайной.

Из донесения В. А. Долгорукого Верховному тайному совету следует, что депутация в сношениях с Анной Иоанновной не испытывала никаких трудностей: в Митаву она прибыла в седьмом часу вечера 25 января, спустя шесть суток после выезда из Москвы, и в тот же вечер встретилась с герцогиней. По словам Долгорукого, она «повелела те кондиции пред собою прочесть и, выслушав, изволила подписать своею рукою так: «По сему обещаюсь все без всякого изъятия содержать. Анна».

Василий Лукич сознавал вполне, какой важности документ оказался в его руках, и поэтому не рискнул отправить его с нарочным: «Те подписанные кондиции мы удержим и привезем с собою, а с курьером не посылали, чтоб каким несчастьем в дороге не утратить»⁶.

«Верховники» явно переоценили, как покажет будущее, старания Василия Лукича принудить Анну Иоанновну подписать «Кондиции», когда в ответ на его донесение писали: «вам за толикий труд ваш к Отечеству премного благодарствуем».

Верховному тайному совету не терпелось как можно быстрее получить подписанные «Кондиции». 1 февраля генерал Леонтьев вручил их главному зачинщику — князю Д. М. Голицыну. Теперь, казалось, все трудности позади, оставалась пустая формальность — торжественно обнародовать «Кондиции» и согласие императрицы соблюдать пункты. В девять часов утра 2 февраля 1730 г. Верховный тайный совет начал свое заседание, на котором присутствовали все его члены, за исключением все еще продолжавшего болеть А. И. Остермана и сопровождавшего Анну Иоанновну В. А. Долгорукого. На заседание были приглашены три члена Синода, Сенат в полном составе, генералитет, президенты коллегий и прочие лица, получившие повестки. Присутствующим огласили подписанные герцогиней «Кондиции», а также ее письмо, заранее приготовленное самими «верховниками», Верховному тайному совету, подписанное ею 28 января, с объяснением причин, побудивших ее ограничить собственную власть.

«Верховники» обставили дело так, что инициатива ограничения самодержавия якобы исходила от самой Анны Иоанновны, уподобившейся унтер-офицерской вдове. С подобной ситуацией в отечественной истории мы встречаемся впервые.

Потрясение, вызванное чтением «Кондаций» и письма императрицы, красочно описал Феофан Прокопович: «Никого, почитай, кроме верхов-

ных, не было, кто бы, таковое слушав, не содрогнулся, и сами те, которые всегда великой от сего собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики, шептания некая во множестве оном прошумливали и с негодованием откликнуться никто не посмел. И нельзя было не бояться, понеже в палате оной по переходам, в сенях и избах многочисленно стояло вооруженное воинство. И дивное было всех молчание! Сами господа верховные тихо нечто один другим пошепывали и, остро глазами посматривая, притворялись, будто бы они, яко неведомой себе нечаянной вещи удивляются. Только один из них, князь Дмитрий Михайлович Голицын, часто похаркивал: «Видите, как милостива государыня! И какого мы от нее надеялись, таковое она показала Отечеству нашему благодеяние! Бог ее подвигнул к писанию сему: отселе счастливая и цветущая Россия будет?».

Молчание все же было нарушено коварным вопросом князя Алексея Михайловича Черкасского: «Каким образом впредь то правление быть имеет?» Без ответа остался и другой вопрос, кем-то робко заданный: «Не ведаю, да и весьма чуждуся, отчего на мысль пришло государыне так писать?» Обсуждение вопроса кончилось тем, что Черкасский испросил у «верховников» разрешения ему и другим желающим подать мнение о государственном устройстве. Просьбе пришлось уступить.

Не менее деликатным был и второй вопрос, обсуждавшийся «верховниками» на этом же заседании. Леонтьев, помимо «Кондиций» и письма Анны Иоанновны, доставил в Первопрестольную закованного в кандалы Сумарокова. «Верховники» распорядились для острастки взять под стражу Ягужинского, как лаконично записано в журнале Верховного тайного совета от 2 февраля, «за некоторые подозрения». Арест Ягужинского возбудил не страх, а возмущение — за спиной бывшего генерал-прокурора стоял его тесть Г. И. Головкин и сродники рангом пониже.

10 февраля 1730 г. Анна Иоанновна прибыла в подмосковное село Всехсвятское, где она задержалась в ожидании завершения похорон Петра II. С 3 по 12 февраля в Москве развернулась кипучая деятельность противостоявших группировок. Прочие провинциальные дворяне, прибывшие в старую столицу на свадебные торжества, силою обстоятельств оказались свидетелями похорон Петра II и участниками важных политических событий. Разбившись на множество групп, они были озабочены составлением проектов государственного устройства, для чего собирались в домах, в которых могли свободно разместиться несколько десятков человек.

Мы не станем излагать содержание каждого из семи проектов. Все они с большей или меньшей определенностью высказались против олигархических притязаний «верховников» и одновременно требовали расширения дворянских привилегий. Один из проектов отличался особой радикальностью. Его авторы требовали упразднения Верховного тайного совета и провозглашения высшим органом власти Сената в составе 30 человек во главе с императрицей. Сенаторы, президенты коллегий, губернаторы,

равно как и придворные чины, не назначаются, а избираются обществом, то есть дворянами. Его авторы настаивали на отмене указа о единонаследии (1714), ограничивавшего право помещиков на распоряжение вотчинами, требовали облегчить военную службу дворян — для них должны быть созданы «особливые роты шляхетские».

Шляхетские проекты были солидарны с «Кондициями» в главном — ни один из них не защищал самодержавие. Расхождения с «верховниками» относились лишь к численности Верховного тайного совета и способам его комплектования. Напомним, из существовавшего Верховного тайного совета пять членов были назначены Екатериной I и Петром II и три члена — кооптированы самими «верховниками». Дворянские проекты предлагали довести состав Верховного тайного совета до 12 — 16 человек, причем все они не назначаются, а избираются «обществом», состоящим из 80 — 100 членов.

Оппозиционность шляхетства, а также вельмож, оказавшихся за бортом Верховного тайного совета, к «верховникам» и их «затейке» не являлась для них тайной. Лидер «затейщиков» Д. М. Голицын попытался перехватить инициативу у шляхетства и подготовил встречный проект. По своей обстоятельности, глубине и охвату затрагиваемых вопросов предложения «верховников» выгодно отличались от шляхетских планов.

С одной стороны, «верховники», учитывая настроение шляхетства, пошли навстречу их пожеланиям. В их проекте отсутствуют пункты, ограничивающие власть императрицы. Более того: проект провозглашал принцип, свойственный правовому государству: «Не персоны управляют законом, но закон управляет персонами». По идее, этот принцип должен был положить конец произволу фаворитов, временщиков и властей прелержащих. Парадокс состоит в том, что проект «верховников» учитывал интересы шляхетства в большей мере, чем шляхетские проекты. Обещано было рядовых дворян «содержать так, как в протчих европейских государствах, в надлежащем почтении, в ее императорского величества в милости». Если самые смелые шляхетские проекты ограничивались требованием сократить службу дворян 20 годами, то проект «верховников» отменял обязательную службу. Отменял он и установленный Петром Великим порядок прохождения службы дворянина, начинавшего ее рядовым. Отныне для дворян учреждались кадетские роты, после обучения в которых выпускники определялись офицерами в армию и на флот. Проект гарантировал сохранение за родственниками имущества, принадлежавшего осужденным или казненным дворянам. Не были забыты и интересы прибалтийских дворян — им сохранялись привилегии, предусмотренные Ништадтским мирным договором. Наконец, «верховники», пытаясь заручиться поддержкой духовенства, включили в свой проект пункты, обязывавшие Верховный тайный совет строго блюсти догмы православной церкви и беспощадно преследовать нарушителей ее уставов.

С другой стороны, проект «верховников» трогательной заботой об интересах аристократии не мог не вызвать раздражения шляхетства. Так, в

проекте сказано, что выбывшие члены Верховного тайного совета — кста-ти, его численность оставалась неизменной — могут замещаться кандида-тами «из первых фамилий, из генералитета и из шляхетства, людей верных и обществу народному доброжелательных». На все должности в централь-ных учреждениях могли претендовать только лица «из генералитета и знатного шляхетства». В то же время право вершить судьбы страны предо-ставлялось заседавшим в Верховном тайном совете — первым фамилиям, остальным вельможам и генералитету предоставлялось право совещатель-ного голоса только в тех случаях, когда решался принципиально важный вопрос⁴.

Опытный дипломат, поднаторевший в компромиссах, В. А. Долгору-кий предлагал своим коллегам сделать еще один шаг навстречу шляхет-ской массе — от обещаний перейти к немедленной их реализации, «чтоб народ узнал, что к пользе народной дела начинать хотят», приступить к избранию Сенатом и генералитетом дополнительных членов Верховного тайного совета. Тем самым, считал Василий Лукич, удастся «вышепомя-нутых трудностей и нареkania убегнуть».

«Убегнуть» трудностей и нареканий не удалось. Накал страстей достиг того градуса, когда частичные уступки шляхетству не могли принести ему успокоения. Противники «верховников» развили энергичную агитацию по их дискредитации. Среди шляхетства распространялись о «верховни-ках» были и небылицы, особенно о Долгоруких. Наибольшую враждеб-ность вызывал А. Г. Долгорукий, открыто проявлявший после объявления своей дочери Екатерины невестой императора аристократическую спесь, непомерное высокомерие и пренебрежение.

К одиозной личности Алексея Григорьевича гвардейские офицеры вы-сказывали открытую ненависть и презрение, требуя отстранения его от всех должностей. Польско-саксонский посланник Лефорт доносил: «По-лагают, что князь Иван Алексеевич Долгорукий легко может отправиться в Дербент, а отцу его готовится сюрприз в тысячеверстном путешествии в страну звериной ловли»⁵.

Успех шляхетской оппозиции обеспечивался участием в движении таких талантливых публицистов, «птенцов гнезда Петрова», как Феофан Прокопович и Василий Никитич Татищев. Потаенным дирижером про-исходивших событий был Остерман, почувствовавший угрозу быть изгнан-ным из Верховного тайного совета.

Сказавшись больным, обложив себя подушками, Остерман не покидал покоев и изыскивал способы противодействовать «верховникам».

Анна Иоанновна провела во Всехсвятском пять томительных дней. Располагая сведениями о шляхетском движении, Анна Иоанновна 12 фев-раля сделала рискованный шаг, объявив себя полковником Преображен-ского полка и капитаном кавалергардов. Это был прямой вызов Верхов-ному тайному совету, ибо в подписанных императрицей «Кондициях» право распоряжения гвардейскими полками должно было находиться в ведении «верховников».

Проба сил оказалась успешной — Верховный тайный совет никак не отреагировал на этот поступок Анны Иоанновны.

Ее акция, как доносил де Лириа, «была встречена этими двумя полками с величайшей радостью и удовольствием. Эта решимость многих поразила, потому что это формальный акт самодержавия»¹⁰.

В канун отъезда из Всехсвятского, 14 февраля, туда прибыли «верховники», чтобы вручить императрице два ордена: св. Андрея Первозванного и св. Александра Невского. Князь Голицын, согласно донесению датского посла Вестфалена, благодарил Анну Иоанновну, что она «изволила подписать кондиции... на славу тебе и на благо народа». Отвечая, Анна Иоанновна еще обещала свято блюсти «Кондиции»: «Вы можете быть убеждены, что я их свято буду хранить до конца моей жизни...»

Церемония награждения свидетельствовала о внешнем миролюбии сторон, о готовности их продолжать разыгрывать ранее составленный сценарий — время для решительного удара по «верховникам» еще не пришло. Понадобилось всего лишь десять дней, чтобы императрица без видимых на то усилий полностью овладела положением, лишив «верховников» всяких надежд на успешное окончание «затейки».

Приезд Анны Иоанновны в Москву активизировал деятельность ее сторонников. К сожалению, историки не располагают сведениями, как бурлила жизнь дворян в Первопрестольной с 15 по 23 февраля: не сохранилось источников об их встречах, собраниях, разговорах, действиях. Известно лишь, что 23 февраля состоялись собрания нескольких групп шляхетства, принявших решение об обращении к Анне Иоанновне с просьбой объявить себя самодержицей. Одно из собраний состоялось в доме князя И. Ф. Барятинского на Моховой, на котором присутствовавшие, помимо просьбы к Анне Иоанновне принять самодержавие, убеждали ее отказаться от подписи под «Кондициями», упразднить Верховный тайный совет и восстановить в прежнем значении Сенат.

Другой шляхетский кружок в тот же день собрался на Никольской, в доме князя А. М. Черкасского. В общей сложности под челобитной аналогичного содержания подписались 168 человек. Ночью представители этой группы шляхетства отправились собирать подписи в гвардейские казармы. В итоге у гвардейцев и кавалергардов было собрано еще 84 подписи.

Оппозиционеры спешили — пронесся слух о готовившемся аресте предводителей шляхетства. 25 февраля в Кремлевский дворец, где заседал Верховный тайный совет, по словам датского посланника Вестфалена, прибыли 150 офицеров во главе с генерал-лейтенантом А. М. Черкасским, майором гвардии князем Григорием Дмитриевичем Юсуповым и генерал-лейтенантом Чернышевым с требованием выслушать их претензии. «Верховники» согласились не только выслушать, но и удовлетворить их требования. Офицеры не ожидали подобной уступчивости и после разговора с «верховниками» отправились к императрице, благосклонно их принявшей, и вновь возвратились в Верховный тайный совет. Состоялся любо-

пытный разговор. Князь Г. Д. Юсупов: «По моему мнению, снисходительность нашей всемилостивейшей государыни и обращение ее с подданными заслуживает с нашей стороны искренней признательности».

Генерал Чернышев с солдатской прямоотой разъяснил, в чем должна состоять признательность: «Мы не можем лучше возблагодарить ее величество за признательную милость к народу, как возвратить ей похищенное у нее, то есть единодержавную власть, которой пользовались все ее предки».

Лаконичный по выразительности итог двум выступлениям подвел князь Черкасский: «Да здравствует наша самодержавная государыня Анна Иоанновна!»

Голицын и Долгорукие сдались, не оказав ни малейшего сопротивления: «Пойдем присоединимся к другим, и да будет так, как предопределено св. Провидением».

Осталась самая малость — объявить Анне Иоанновне о «всенародном» желании видеть ее на троне самодержавной императрицей. Но тут произошел сбой: от имени группы дворян в 87 человек, возглавляемой А. М. Черкасским, В. Н. Татищев зачитал челобитную, в которой не сказано ни слова о самодержавии императрицы. За словесной верноподданнической шелухой просматривалась мысль, что вопрос о государственном устройстве еще не решен, и поэтому челобитчики просили разрешения «собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или по два от фамилии и рассмотреть и все обстоятельства исследовать, согласным мнением по большим голосам форму правления государственно-го сочинить и вашему величеству ко утверждению представить».

Происшедшее вызвало переполох: оно оказалось неожиданным и для «верховников», и для Анны Иоанновны. В зале начался шум. Князь Василий Лукич быстро сориентировался и публично задал вопрос князю Черкасскому: «Кто позволил вам присвоить себе право законодателя?» Тот не растерялся и парировал выпад, явно выиграв словесную дуэль: «Делаю это потому, что ее величество была вовлечена вами в обман; вы уверяли ее, что кондиции, подписанные ею в Митаве, составлены с согласия всех чинов государства, но это было сделано без нашего ведома и участия».

Василий Лукич справедливо рассудил, что продолжать полемику в присутствии многочисленных свидетелей неосмотрительно, и предложил Анне Иоанновнеединиться, чтобы совместно с Верховным тайным советом обсудить челобитную. В это время в события вмешалась старшая сестра Анны — Екатерина, женщина властная и решительная. Она подала императрице перо и чернильницу, заявив: «Сестра, теперь не время рассуждать и долго раздумывать, подпиши скорей». На челобитной появилась резолюция Анны Иоанновны: «Учинить по сему». Челобитчики удалились на совещание.

События, как видим, «раскручивались» в неудобном Анне Иоанновне направлении и неизвестно, чем бы они завершились, если бы не решительный голос гвардейцев. Когда фельдмаршал В. В. Долгорукий предложил им присягнуть императрице и Верховному тайному совету, то они,

согласно донесению Лефорта, «отвечали ему, что переломают ему все кости, если он снова явится к ним с подобным предложением». Угрозы гвардейцев следовали одна за другой.

«Мы не желаем, — заявили они, — чтобы предписывали государыне законы; она должна быть такою же самодержицею, как были ее предки».

Став на колени, офицеры обратились к императрице: «Государыня, мы, верные рабы вашего величества, верно служили вашим предшественникам и готовы пожертвовать жизнью на службе вашему величеству; но мы не потерпим ваших злодеев. Повелите, и мы сложим к вашим ногам их головы».

Подобная ситуация вполне устраивала Анну Иоанновну, тем более что воинственные возгласы офицеров подкреплялись заранее заготовленной челобитной от группы дворян, возглавляемой князем Трубецким, третьим фельдмаршалом, обойденным вниманием «верховников». Ее подписали 166 человек.

Челобитная содержала вожделенные для Анны Иоанновны слова: «всеподданнейше просим и всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного тайного совета и подписанные вашего величества рукою кондиции уничтожить». Челобитчики далее просили ликвидировать Верховный тайный совет и восстановить правительствующий Сенат в значении, которое он имел при Петре Великом, но в составе 21 персоны.

После прочтения этой челобитной императрица разыграла сцену, венчавшую трагические события февраля 1730 года. «Как, — сказала она, обращаясь к Василию Лукичу Долгорукому, — разве пункты, которые мне поднесли в Митаве, были составлены не по желанию целого народа?» На этот демагогический вопрос присутствовавшие дружно ответили «нет». «Так, значит, ты меня, князь Василий Лукич, обманул?»

Обращаясь к шляхетству, Анна Иоанновна заявила: «Мое постоянное намерение было управлять моими подданными мирно и справедливо, но так как я подписала известные пункты, то должна знать, согласны ли члены Верховного тайного совета, чтобы я приняла предлагаемое мне моим народом?» Присутствовавшие при этом «верховники» в знак согласия покорно склонили головы: нехитрым приемом Анна Иоанновна освободила себя от многократно данной ею клятвы свято блюсти подписанные «Кондиции»¹¹.

Остальное было делом техники: по повелению императрицы ей были вручены принесенные из Верховного тайного совета «Кондиции» и ее письма. В протоколе Верховного тайного совета читаем слова, свидетельствующие о восстановлении в России абсолютной монархии: «И те пункты ее величество при всем народе изволила, приняв, изодрать». Это произошло в четыре часа дня 25 февраля 1730 г. Не до конца разорванный лист с «Кондициями» и поныне хранится в Российском государственном архиве древних актов в Москве.

Императрица вновь обратилась к шляхетству с «милостивыми словами», обещая быть для подданных матерью Отечества и оказывать им всяческую милость. Одну из них она проявила немедленно — велела освободить из заточения П. И. Ягужинского, причем его должен был встретить фельдмаршал В. В. Долгорукий и вручить ему шпагу и «кавалерию».

Не обойдены были «милостыями» и Долгорукие. Французский посол Маньян доносил 9 апреля 1730 г., что императрица проводила тайные совещания с обретшим здоровье Остерманом, после чего велела обнародовать указ об удалении от двора шести Долгоруких. «Может быть, — добавил Маньян, — как думают многие, вскоре станет известным еще большее ухудшение их участи». Четырьмя днями позже более осведомленный де Лириа доносил о том, что предрекал опальным Маньян: «Чего ждали для фамилии Долгоруких, то случилось в прошедшую неделю. Эта фамилия совершенно убита». Далее следует перечисление имен Долгоруких и названия мест их ссылки.

Итак, «затейка» «верховников» потерпела неудачу. Причины ее интересовали как современников, так и историков. Упомянувшийся выше французский поверенный в делах при русском дворе Маньян объяснил неудачу попытки освободиться от «старинного рабства» тем, «что дурно взялись за дело». После подписания «Кондиций» русским оставалось лишь достичь согласия между собой об установлении такой формы правления, которая бы соответствовала «желаниям и интересам мелкого дворянства». Но, продолжал Маньян, согласие и единство между «знатнейшими фамилиями» отсутствовали, и их представители настаивали на том, чтобы Верховный тайный совет состоял из восьми или десяти человек.

Маньян выдавал следствия за причину: он правильно отметил отсутствие единства между двумя кланами «верховников», их соперничество, упорное нежелание расширить состав Верховного тайного совета, но все эти находившиеся на поверхности явления имели глубокие корни, которые современнику обнаружить было затруднительно. «Затейка» и не могла завершиться успехом — прежде всего из-за отсутствия консолидации дворянства. Потребовались десятилетия, чтобы осуществленная Петром Великим ликвидация внутрисословных перегородок среди служилых людей по отечеству дала реальные плоды. Общее наименование их шляхетством в известной мере носило еще формальный характер, и хотя действовала Табель о рангах, отклонявшая породу как главный критерий служебной годности, Долгорукие не забывали, что они являлись потомками Гюриковичей, а Голицыны — Гедининовичей.

В «затейке» «верховников» прослеживаются два исключаящих друг друга начала: с одной стороны, их стремление ограничить самодержавие давало историкам повод считать февральские события 1730 г. конституционным движением; с другой стороны, эти же «верховники» действовали в интересах восстановления привилегий «аристократии», что давало основание другим историкам писать об олигархических тенденциях. К слову сказать, обе оценки являются справедливыми, но их следует

рассматривать не изолированно друг от друга, а в совокупности, как две стороны одной медали.

В стране веками формировалось и внедрялось рабство и холопство: крестьянин — холоп помещика, над помещиком возвышался воевода, последние смотрели с холопией преданностью на родословных людей, а те не называли себя царю иначе, как рабами либо холопами.

Аристократия попыталась разорвать цепь рабской зависимости от монарха, но действовала в эгоистических интересах, стремясь сохранить холопство в остальных звеньях. Источником представлений рядового шляхетства о том, что предпочтительнее: подчиняться одному тирану, нежели восьмерым — явилась все та же холопская психология.

2. Террор

Первой жертвой печальной памяти императрицы Анны Иоанновны стал князь Дмитрий Михайлович Голицын, причем поводом для расправы над ним послужили обстоятельства, по времени далеко отстоявшие от событий января — февраля 1730 г. Как известно, после воцарения курляндской герцогини на русском престоле и провала «затейки» «верховников» казни обрушились только на головы Долгоруких — и то не на всех: братьев Сергея, Ивана и Алексея Григорьевичей и фаворита Петра II Ивана Алексеевича. В списке репрессированных отсутствовал фельдмаршал Василий Владимирович.

Остается загадкой, почему вслед за поражением «затейщиков» императрица не организовала следствие, а затем и суд над всеми, кто был причастен к попытке ограничить самодержавие. В соответствии с правовыми нормами того времени подобные деяния вполне могли квалифицироваться как политическое преступление. Почему же Долгоруким вменялись в вину поступки, совершенные при покойном Петре II, а действия, направленные на ограничение самодержавия царствовавшей императрицы, не рассматривались в судебном порядке? Почему Тайная розыскных дел канцелярия ограничилась поверхностным допросом Василия Лукича и трех братьев Долгоруких? Следствие интересовало всего лишь один вопрос — о составленном Шафировым завещании Петра II, объявлявшем Анну Иоанновну наследницей трона. Информация на сей счет исходила от Василия Лукича, признавшегося на допросе, что он, будучи в Митаве, сболтнул об этом, «желая за то ее величества больше к себе милости». Но Василий Лукич поведал Анне Иоанновне не только о выдуманном завещании, но и обо всех реальных событиях, случившихся в Москве до его отъезда в Курляндию. Он рассказал о совещаниях Долгоруких в занимаемом Алексеем Григорьевичем Головинском дворце, где было решено объявить наследницей престола помолвленную с Петром II Екатерину Алексеевну. Сообщил Василий Лукич и о намерениях трех братьев Долгоруких

избить министров, если те откажутся поддержать ее вступление на престол. Разорвав «Кондиции», Анна даже спросила Василия Владимировича Долгорукого: «Было ли де так?» Фельдмаршал ответил уклончиво, назвав замысел трех братьев «дурачеством дерзновенным». Таким образом, еще в 1730 г. Анне в общих чертах было известно все, что происходило в Голвинском дворце.

Чтобы прояснить ситуацию, позволим себе высказать несколько догадок. Первая и главная из них состоит в том, что подлинным руководителем событий, происходивших в Москве после прибытия туда Анны, была не императрица, а кто-то другой, хорошо знавший обстановку в старой столице и расклад сил между соперничающими «партиями». В самом деле, курляндская герцогиня не имела прочных связей в среде чиновников и надежных советников, поднаторевших в интригах. Эти функции мог взять на себя только Остерман. Попытка Василия Лукича втереться в доверие к императрице ценой предательства родственных интересов сорвалась. На роль советника мог претендовать и Павел Иванович Ягужинский. Однако его чрезмерная приверженность горячительным напиткам и буйный нрав во хмелю позволили Остерману практически без усилий оттереть Ягужинского на задний план. Удивительна и схожесть расправы над Меншиковым и Долгорукими — в обоих случаях советы исходили от одного и того же лица.

Выезд Меншикова из северной столицы был вызывающе пышным. Стоило, однако, выпроводить светлейшего из Петербурга, как немедленно последовали все новые и новые ограничения для ссыльного: сначала князя лишили вооруженной охраны, затем изъяли у него и членов семьи русские и иностранные ордена, а по прибытии в Ранненбург отобрали все драгоценности. Еще раньше у Меншикова конфисковали все его многочисленные имения. Затем Ранненбург показался небезопасным местом ссылки, и поверженного «полудержавного властелина» упекли в далекий Березов. Генеральная задача победителей состояла в выдворении опального из столицы, а все остальные строгости откладывались на потом.

Долгоруким сначала предложили выехать из Москвы в дальние деревни; в пути у них изъяли награды, а по прибытии в родовые имения их ждали новые указы, тягчавшие жизнь. Семье Алексея Григорьевича Долгорукого было велено держать путь в Березов. Предлогом для этого стало медленное продвижение несчастных к месту ссылки (и действительно, отец и сын Долгорукие — оба страстные охотники — не отказали себе в пути в удовольствии организовать охоту).

Переменчивая судьба подстерегала младшего брата Алексея Григорьевича — Сергея, российского посла в Речи Посполитой. В 1729 г. он был спешно вызван родичами в Москву и оказался втянут в честолюбивые замыслы брата. Указом от 9 апреля 1730 г. Сергею Григорьевичу было велено отправиться в дальнюю деревню на безвыездное житье. Не успел он добраться до своей вотчины в сельце Фоминки, как 12 июня последовал новый указ — взять под стражу и отправить в Ранненбург. В 1730 и 1731 гг.

Сергей Григорьевич дважды обращался к императрице с челобитными о помиловании, но ответа не последовало. Та же история вышла и с его прошением к Сенату прислать к нему доктора, в услугах которого он остро нуждался. И все же с течением времени у него мелькнула надежда вырваться из опалы и вернуться к активной государственной деятельности.

В мае 1735 г. князю Сергею разрешили переселиться из Ранненбурга в одну из своих вотчин. И вот наконец он дождался полной амнистии — в 1738 г. его вызвали в столицу и назначили послом в Лондон. Столь разительной перемене Долгорукий был обязан влиятельному тестю — Петру Павловичу Шафирову. По настоянию своей дочери Марфы Петровны Шафиров помогал опальным родственникам материально, постоянно изыскивал возможности для облегчения их участи и в конце концов своего добился.

Сергей Григорьевич уже готов был сесть на корабль и отплыть в Англию, как вдруг на него обрушились сразу две беды. 1 марта 1739 г. умер его покровитель Шафиров; второе несчастье оказалось посерьезнее: не выдержал пыток Иван Алексеевич Долгорукий. Бывший фаворит рассказал о составлении подложной духовной — ее, как мы помним, писал князь Сергей. Вместо Лондона последовало заточение в Шлиссельбургскую крепость, а затем и казнь¹².

В начале аннинского царствования чуть ли не самым обласканным оказался Василий Лукич Долгорукий. Столь милостивое отношение, очевидно, было связано с тем, что тот входил в узкий круг вельмож, издавна известных Анне: еще в 1726 г. он приезжал в Митаву хлопотать об избрании курляндским герцогом Меншикова, а затем привез радостную весть о русской короне. Василию Лукичу была уготована должность сибирского губернатора. По сути, это была тоже ссылка, хотя и почетная, ибо карьеру в то время обеспечивала близость ко двору.

На пути к месту службы в Тобольск Василия Лукича нагнал подпоручик с командой в 14 человек с повелением взять под стражу, лишить чинов и кавалерии за многие императрице и государству «бессовестные противные поступки» и отправить на жительство в пензенскую вотчину Знаменское. Крутую перемену в жизни Василия Лукича молва связывала с Бироном, якобы заподозрившим в нем соперника.

В Знаменском Василию Лукичу жилось вольготнее, чем прочим ссыльным Долгоруким: ему разрешалось ходить в церковь, совершать прогулки во дворе и даже покидать его для присмотра над конюшней и полевыми работами. Впрочем, относительной свободой узник наслаждался месяца полтора — 23 июня 1730 г. его увезли из Знаменского, а уже 4 августа он оказался в Соловецком монастыре, откуда десять лет спустя он был доставлен в Шлиссельбург¹³.

В 1730 г. от кровавой расправы с противниками Анну Иоанновну удержала опытная рука Остермана. Тому причин было несколько. Во-первых, в соответствии с обычаем каждое новое царствование сопровождалось не казнями, а проявлениями великодушия и милосердия. Так было во

время стрелецкого бунта 1682 г., когда правительство отказалось от розыска и казней. Вступление на престол Екатерины I ознаменовалось уменьшением подушной подати на четыре копейки. Во-вторых, неожиданно свалившаяся на голову Анны Иоанновны императорская корона свергла ее в состояние эйфории. Угроза лишиться трона стала настолько ничтожной, что ни императрица, ни Остерман не сочли благоразумным прибегнуть к жестокостям.

Итак, кары на первых порах обрушились лишь на Долгоруких. Голицыных, Дмитрия Михайловича и фельдмаршала Михаила Михайловича, они обошли стороной.

Анне, конечно, было хорошо известно, что инициатива приглашения ее на трон исходила от Д. М. Голицына. Не прояви он в тот момент настойчивости и не используй своего красноречия, Бог весть, на чьей голове оказалась бы императорская корона. Но императрица отлично знала, кто первым подал идею ограничить самодержавие и бросил призыв «себе полегчить». Князь Дмитрий, Гедиминович по происхождению, один из образованнейших русских людей того времени, был аристократом не только по родословной, но и по убеждениям: он не отвергал петровских преобразований, но в то же время не одобрял пренебрежительного отношения монарха к носителям древних фамилий. Осуждал он Петра и за приглашение многочисленных иностранцев на русскую службу.

У Анны, равно как и у Остермана, были прямо противоположные суждения об аристократах и иностранцах. Два полярных чувства несколько лет уживались в сознании императрицы, пока, наконец, чувство благодарности не было принесено ею в жертву мести. Остерман также не упустил случая расправиться с умным и проницательным противником, от которого веяло неприязнью ко всему немецкому.

В тени императрицы и Остермана располагался Бирон. У него были свои претензии к «верховникам». Это от их имени Василий Лукич потребовал, чтобы Анна порвала с фаворитом и оставила его в Митаве. Таким образом, могущественные враги Д. М. Голицына лишь поджидали удобного случая, чтобы свалить его. В 1736 г. Голицын подставился сам. Более десяти лет, с 1725 по 1736 г., Сенат рассматривал иск вдовы молдавского господаря Дмитрия Кантемира — Настасьи Ивановны к своему пасынку Константину Дмитриевичу, причем каждый раз приговор выносился в пользу вдовы, а пасынок их неизменно игнорировал. Упрямство Константина Дмитриевича объясняется легко — он приходился Д. М. Голицыну зятем.

Вдова пыталась отсудить свою долю от недвижимости покойного супруга. В соответствии с указом о единонаследии умерший в 1723 г. Кантемир передал решение вопроса, кому из трех его сыновей отказать наследство, на усмотрение Петра. Царь, однако, своим правом не воспользовался (видимо, ожидая, когда подрастет младший и самый любимый сын господаря Антиох, будущий сатирик). До 1729 г. все сыновья Кантемира владели недвижимостью сообща; 6 мая того же года Петр II утвердил в правах единственного наследника — Константина.

В мае 1725 г. вдова господаря подала просьбу в Сенат, претендуя на получение причитающейся ей четвертой доли недвижимого имения. Жалоба возникла вследствие отказа пасынков удовлетворить ее притязания. Братья ссылались на духовную Кантемира, в которой он выделил ей часть имущества, особо оговорив, что прав на остальную недвижимость она не имеет. Однако Сенат не согласился с доводами пасынков и три раза подтвердил свое постановление.

Константин Кантемир (возможно, по совету тестя) подал челобитную на имя императрицы, в которой доказывал неправомерность сенатских постановлений.

Реакция Анны Иоанновны, к тому времени отрешившейся от участия в управлении страной, была на удивление мгновенной: она согласилась председательствовать в «вышнем суде», специально созданном для рассмотрения жалобы Кантемира, в составе адмирала графа Ф. А. Головина, обер-штальмейстера князя А. Б. Куракина, обер-егермейстера А. П. Волынского, гофмаршала А. А. Шепелева и генерал-полицмейстера В. Ф. Салтыкова.

Уже сам состав «вышнего суда», укомплектованного первыми сановниками государства, и председательствование в нем императрицы говорили в пользу того, что гражданский иск частного лица решено было возвести в ранг события государственной важности. Это был подкол не под Константина Кантемира, а под его тестя. Выражаясь современным языком, следствие обнаружило использование Д. М. Голицыным служебного положения в личных целях: по его повелению канцелярист Камер-коллегии Лукьян Перов был переведен из Москвы в Петербург, где выполнял роль ходатая по делу Кантемира.

«Вышний суд» отнесся к Голицыну весьма жестоко. К тому времени Дмитрий Михайлович жестоко страдал подагрой и не мог самостоятельно передвигаться. Это обстоятельство не помешало судьям вызвать его на допрос. Не помогла и просьба брата — князя Михаила Михайловича Голицына Меньшого. Больной старик был доставлен в суд в тот момент, когда в результате сильного приступа подагры у него парализовало правую руку. Тем не менее суд потребовал, чтобы князь Дмитрий отвечал на вопросные пункты, не выходя из здания суда. В общей сложности допрос продолжался восемь часов. Анна велела передать ей ответы немедленно по окончании допроса. Можно себе представить, в каком изнуренном состоянии пребывал допрашиваемый.

Огромный интерес императрицы к следствию с головой выдает ее замысел расправиться с князем. После каждого заседания «вышний суд» в полном составе являлся в апартаменты императрицы для доклада. 7 января 1737 года следствие было закончено. Генеральное собрание в составе 20 персон, куда, помимо судей, вошли и высшие гражданские чины, санкционировало составленный судом приговор. Он состоял из 13 пунктов. Само собой разумеется, у «вышнего суда» отсутствовали юридические основания привлекать Дмитрия Михайловича к ответственности за отказ пасынков выделить долю мачехе — все документы исходили от Констан-

тина Кантемира. Ничего не оставалось, как раскрутить дело несчастного Лукьяна Перова. Однако, несмотря на все старания следователей, из Перова не удалось вытянуть показания политического характера. В результате князя обвинили в том, что он не только потакал противозаконным действиям зятя, но и направлял его по ложному пути. Кроме того, Голицыну ставили в вину, что он «отговаривался всегда болезнью, не хотя нам и государству по должности своей службы». Обвинялся Дмитрий Михайлович и в том, что он «положенных на него дел не отправляя, а вместо того против своей присяги указы наши противным образом толковал и всячески правду ниспровергать старался». Столь же бездоказательно звучало и обвинение в том, что князь «некоторые доношения, присланные ему из Москвы, подлежащие для подания в Сенат, закрывая происки свои, у себя держал».

Проступки Голицына для вельможи первой половины XVIII в. считались настолько обыденными, что на них не обращали никакого внимания. Упущения Дмитрия Михайловича были тем более извинительны, что ему было за семьдесят — возраст, лишавший вельможу способности безупречно тянуть служебную лямку.

Политическую окраску носил тринадцатый пункт приговора, обвинявший князя Дмитрия в произнесении перед судом Богу противных слов. Во время первого же допроса князь, выведенный из себя утомительной процедурой, выразился так: «Когда б из ада сатана ко мне пришел, то бы, хотя я пред Богом и погрешил, однако ж и с ним бы для пользы своей советовал и советов от него требовал и принимал».

«Вышний суд» приговорил Д. М. Голицына к смертной казни с конфискацией имущества. Анна Иоанновна проявила «милосердие». Манифест, подписанный императрицей 8 января 1737 г., объявлял: «И хотя он, князь Дмитрий, смертной казни и достоин, однако ж мы, наше императорское величество, по высочайшему нашему милосердию, казнить его, князь Дмитрия, не указали, а вместо смертной казни послать его в ссылку в Шлиссельбург и содержать под крепким караулом».

В четыре часа пополудни в дом Голицына прибыл генерал-полицмейстер Салтыков с генералом Игнатьевым, чтобы отобрать у осужденного «кавалерию», шпагу и бумаги, опечатать дом и выставить караул. На следующий день, 9 января в 8 часов утра, конвой доставил Дмитрия Михайловича в Шлиссельбург.

Инструкция о содержании Голицына в крепости не отличалась ничем существенным от такого рода документов. Стражникам поручалось не спускать глаз с каждого движения заключенного. Узника лишали бумаги и чернил, запрещали общаться с кем бы то ни было, даже в церковь дозволялось ходить лишь в те часы, когда там отсутствовали прихожане. Лишь относительно обеспечения узника провизией можно обнаружить некие послабления. Ему также разрешили «из бывших его пожитков серебра и платья и прочего, что с собою взять пожелает». Для личных услуг князю приставили из дворовых трех человек, в том числе повара. Любо-

пытен список продуктов, призванных дополнить скудный шлиссельбургский рацион (рубли в сутки): 28 гусей, 85 кур, 20 полтей свинины, 6 северужин вяленых, кадка меда, пиво, крупы, мука и прочее. Среди имущества значилось два костыля — скорее всего без их помощи узник не мог передвигаться. Впрочем, большинство этих припасов вряд ли было востребовано: дряхлый старик, перенесший сильное потрясение, протянул недолго — спустя три с небольшим месяца, 14 апреля, его не стало. Вдумчивый биограф Голицына Д. А. Корсаков справедливо заметил: «...князь Голицын понес наказание не за свои служебные проступки: они были только весьма плохо измышленным поводом для его осуждения»¹⁴.

Князь расплачивался за свои деяния 1730 г. Это была запоздалая месть злопамятной императрицы, Остермана и Бирона. Подобное объяснение вполне стыкуется и с судьбой Долгоруких, физически уничтоженных в результате второго политического процесса.

Повод для расправы дал князь Иван Алексеевич. Когда читаешь «Свернутые записки» его супруги Натальи Борисовны, то создается образ идеального супруга, глубоко порядочного, заботливого и преданного семейному очагу. Нет здесь ни слова осуждения его разгульного поведения до женитьбы, как, впрочем, отсутствует какая-либо критика его походов в Березове, когда супруг возобновил увлечение горячительными напитками. В последнем случае на Наталью Борисовну, вероятно, повлияла трагическая гибель мужа в расцвете сил: любая попытка бросить тень на репутацию мужа расценивалась ею как кощунство. Быть может, в своих догадках мы и далеки от истины, но иных причин, побудивших мемуаристку тепло отзываться о своем неупутевом муже, мы не находим.

Семья А. Г. Долгорукого под конвоем из капитан-поручика, капрала, сержанта и 24 солдат прибыла в Тобольск 24 августа 1730 г. В тот же день на «струге худом» Долгоруких отправили в Березов. Там ссыльных охраняла такой же численности команда, но из Тобольского гарнизона. В конце сентября узников доставили на место. Потянулась унылая, однообразная жизнь, полная лишений и унижений.

Казалось бы, горе должно было сплотить семью. Однако этого не случилось. Часто вспыхивали ссоры, зачинщиком которых был сварливый глава семьи, а после его смерти в 1734 г. — государыня невеста, мелочно надменная и гордая тем, что была помолвлена с самим императором. Лишь известные нам молодожены первые несколько лет жили душа в душу. Однако затем Иван Алексеевич не выдержал испытаний и частенько стал искать утешения своему горю в вине.

Инструкция предписывала караульной команде содержать ссыльных в строгой изоляции, разрешая им покидать пределы острога только для посещения церкви. Однако в положении караульных и ссыльных было много общего. Необходимость постоянно находиться в замкнутом мире, постоянное общение друг с другом приводили к ослаблению режима. Этому в немалой степени содействовала и щедрость самих узников, в пределах скромных возможностей одаривавших караульных офицеров, в част-

ности майора Петрова, сменившего начальника караула капитана Шарыгина. Петров разрешал князю Ивану и его супруге выходить из острога. Покладистый старик Бобровский, березовский воевода, был частым гостем четы молодых Долгоруких, случались и ответные визиты. Подружились Долгорукие и с флотским поручиком Дмитрием Овцыным, частенько приезжавшим в Березов по делам службы. Появлялся там и тобольский таможенный подьячий Осип Тишин, сблизившийся с князем Иваном. Он-то и погубил семью Долгоруких.

Захмелев, Иван Алексеевич частенько позволял себе высказывать опасные суждения:

— Нынче фамилия наша и род совсем пропали, а все это разорила... наша теперешняя императрица. (Князь отзывался о ней непечатно).

— Императрица послушала Елизавету, а та обносила всю нашу фамилию за то, что я хотел за непотребство сослать ее в монастырь.

Тишин пытался урезонить разошедшегося собутыльника:

— Для чего ты такие слова говоришь? Лучше бы тебе за ее императорское величество и за всю императорскую фамилию Бога молить.

— А что, донести хочешь? Где тебе доносить, ты ныне уже стал сибиряк. Впрочем, хотя и доносить станешь, то тебе за это голову отсекут.

Тишин, стремясь выведать у князя побольше компрометировавших того сведений, произнес провокационную фразу:

— Я не донесу, а донесет пристав Долгоруких майор Петров.

— Петров уже наш и задарен, — возразил Иван.

Все, что сорвалось с языка захмелевшего, легло на бумагу — Тишин настроил донос. Ему предшествовало событие, придавшее извету подьячего форму мести, — Тишин в грубой форме предлагал сожительство государыне невесте. Та отвергла домогательства кавалера и пожаловалась на него Овцыну. Флотский поручик совершил рыцарский поступок. Вместе с приятелем он жестоко избил подьячего. Затаив злобу, Тишин решил отомстить обидчикам, а заодно и Долгорукому. Вначале он обратился с доносом к майору Петрову; тот на свою голову оставил извет без внимания. Тогда Тишин настроил новый донос сибирскому губернатору, дополнив его сведениями о попустительстве Петрова и воеводы Бобровского.

8 мая 1738 г. началось следствие, руководимое капитаном Ушаковым. Тот прибег к коварству и прикинулся радетелем интересов березовских обитателей, в том числе и Долгоруких, втерся к ним в доверие и выведывал необходимые ему факты конфиденциально.

После отъезда Ушакова из Тобольска последовало распоряжение о заключении под стражу и отправке в столицу Сибири всех лиц, оговоренных Тишиным и Ушаковым: князя Ивана, Петрова, Овцына, Бобровского, березовских священников, слуг Долгоруких и других, общим числом более 60 человек. Начались допросы. Под пытками Иван Алексеевич не только подтвердил слова, сказанные им Тишину, но и сообщил подробности о событиях восьмилетней давности: о составлении подложной челобитной, об отношении к ней представителей рода Долгоруких. Императрица про-

явила к его признаниям живейший интерес и повелела немедленно доставить подследственного в Шлиссельбург. Туда же в начале 1739 г. были свезены все оговоренные им Долгорукие: Сергей и Иван Григорьевичи, Василий Лукич, Василий Владимирович, Михаил Владимирович.

По завершении розыска, сопровождавшегося тяжелыми истязаниями, указом 31 октября 1739 г. было учреждено «Генеральное собрание» в составе кабинет-министров, сенаторов, трех первенствующих членов Синода, представителей от гвардии, генералитета, президентов нескольких коллегий и других. Генеральному собранию предстояло выполнить пустую формальность — освятить своим авторитетом результаты следствия и приговор, вынесенный следователями. Для этого потребовалось всего несколько часов. Ивана Алексеича надлежало колесовать, а затем отсечь голову; князьям Василию Лукичу, Сергею и Ивану Григорьевичам — наказание полегче: простое отсечение головы. Что касается Василия и Михаила Владимировичей, то, как сказано в приговоре, хотя они тоже достойны казни, но меру наказания им должна определить сама императрица. Анна Иоанновна сохранила им жизнь, но велела до конца их дней содержать под крепким караулом: Василия — в Ивангороде, а Михаила — в Шлиссельбурге.

1 ноября 1739 г. немилосердная рука императрицы поставила подпись под кровавым приговором. Казни велено было совершить в Новгороде. В Тобольске казнили майора Петрова. Таков был финал попытки Долгоруких возвести на трон Екатерину Алексеевну.

3. Артемий Вольтинский

За кулисами этого розыска, как и в деле Д. М. Голицына, стояли три человека: императрица, Бирон и Остерман. Суровыми карами они пытались парализовать всякое стремление русских вельмож к сопротивлению засилью иностранцев. Особенно выразительно все это прослеживается на примере третьего крупнейшего процесса времен Анны Иоанновны — дела Артемия Петровича Вольтинского. Здесь все на виду: и попытка Вольтинского свалить Бирона и Остермана, и его неосторожность — недоброжелательные высказывания об императрице, — и его безмерное честолюбие.

Впрочем, на первый взгляд Артемий Петрович предстает загадочной личностью. С одной стороны, это, несомненно, талантливый человек, отличавшийся энергией, трудолюбием, любознательностью. С другой стороны, он обладал необузданным нравом, крайней вспыльчивостью, резкостью в суждениях, жестокостью. В отношениях с окружающими он проявлял еще одно свойство, присущее грубым натурам: к властям предержанным был подобострастен, готов пресмыкаться и составлять уничижительные послания. В ином качестве он предстает в общении с лицами, ниже его стоящими в сословной иерархии либо зависимыми от него по службе.

Здесь он становился высокомерным, властным, недоступным, не терпящим возражений. В Артемии Петровиче причудливо сплелись черты боярского характера с психологией личности, воспринявшей петровские перемены.

Род Волинских ведет свое начало со второй половины XIV в., когда один из его представителей прибыл на Русь и в должности воеводы прославился участием в Куликовской битве. После этого фамилия на несколько столетий практически исчезает с исторической арены. Волинские никак не могли пробиться в число выдающихся государственных деятелей. О юношеских годах Артемия, сына комнатного стольника Петра Артемьевича, практически ничего не известно. Его имя не встречается в списке волонтеров, направленных Петром за границу для обучения военно-морскому делу. В домашних условиях он не получил систематического образования. По собственному признанию, он «в школах не бывал и не обращался». Несмотря на присущую ему любознательность, огрехи в образовании часто осложняли ему жизнь. Он не владел иностранными языками и был вынужден всякий раз заказывать переводы с чужеземных книг. Не мог Артемий Петрович похвастаться и воспитанностью. Его ровесники в отечественных учебных заведениях приобретали лоск, овладевали этикетом, учились укрощать буйный нрав. Все это было чуждо Волинскому.

Остается загадкой, как Артемию Петровичу, человеку хотя и родовитому, но небогатому, удалось породниться с царской фамилией: он был женат на двоюродной сестре Петра Великого — Александре Львовне Нарышкиной. Брачные узы помогли Волинскому находиться на виду и не раз выручали его из беды.

На словах Волинский пекся о благе подданных, на деле презирал и третировал всех, кто стоял ниже его в служебной иерархии. Он резко осуждал казнокрадство и мздоимство, одновременно не гнушаясь брать взятки и залезать в казенный сундук. На словах он распинаясь в любви к отечеству и народу, а на деле был чужд и тому, и другому, разумея под благом отечества прежде всего личное благополучие.

Подобно большинству дворянских недорослей петровской поры Волинский начал службу в гвардии. К 1711 г. относится первое упоминание о его служебных поручениях: с берегов Прута он доставил письмо Петра Сенату о благополучном выходе из окружения. В 1715 г. Артемий Петрович получил назначение куда более серьезное — Петр назначил его главой посольства в Иран.

Царь проявил интерес к Востоку вскоре после блестящих успехов под Полтавой и удручающей трагедии на реке Прут. Иран интересовал Петра как перевалочный пункт на пути в Индию, как страна, с которой Россия может торговать самостоятельно и осуществлять выгодное посредничество в персидской торговле западноевропейских держав. К началу века внутренние неурядицы существенно ослабили иранскую монархию, что открывало широкие перспективы для вмешательства в ее внутренние дела и территориальных захватов. К той же цели активно стремилась и Османская империя.

Назначая 26-летнего Артемия Петровича главой посольства, Петр не ошибся в своем выборе. Посольство выехало из Петербурга 7 июля 1715 г. и прибыло к месту назначения только 14 марта 1717 г. 30 июля того же года переговоры с шахским правительством завершились подписанием выгодного России торгового договора. Иран обязался обеспечить русским купцам благоприятные условия для торговли: не задерживать их с товарами, обеспечивать безопасную доставку и продажу груза в любой точке страны, своевременную оплату товаров, не препятствовать русским купцам приобретать шелк-сырец и т. д.

8 декабря 1718 г. Волынский возвратился в северную столицу. Его зоркий взгляд обнаружил в Иране множество обстоятельств, несомненно, заинтересовавших Петра. Он сообщил о внутренних неурядицах, слабости правительства, безмерной продажности чиновников и низком интеллекте шаха: «Здесь такая ныне глава, что он ни над подданными, но у своих подданных подданный и чаю редко такого дурачка можно сыскать между простых, не токмо из коронованных».

Царь был доволен миссией Волынского и пожаловал Артемия Петровича чином полковника и генерал-адъютанта. Нет сомнения, что именно донесения Волынского убедили Петра в необходимости готовиться к Персидскому походу. Вскоре Артемий Петрович получил назначение астраханским губернатором и стал активно готовиться к захвату западного побережья Каспийского моря.

У Волынского были с шахом и личные счеты. Оба проявили при личном знакомстве далеко не лучшие качества человеческой натуры. Волынский — алчность, шах Хуссейн — лживость и коварство. Прослышав о разгроме шведов под Полтавой, шах испугался, как бы грозный победитель вскоре не двинул армию и к границам Ирана. Такая перспектива вынудила Хуссейна заискивать перед Волынским и сулить ему щедрое вознаграждение за гарантии безопасности. Волынский потребовал колоссальную по тем временам мзду — 100 000 рублей. Шах пообещал, а затем нагло надул царского посла: при отъезде Волынского из Исфагана под видом нехватки наличности он выдал ему вексель на имя ширванского правителя, которого обязал расплатиться. Одновременно был послан курьер от шаха с предписанием не платить послу ни копейки. Можно себе представить, как был взбешен Артемий Петрович, и в спокойной обстановке не отличавшийся сдержанностью!

Историк XVIII столетия Германн сообщает о двух неблагоприятных поступках Волынского во время его губернаторства в Астрахани. Приводимые им факты не подтверждаются иными источниками, но вполне укладываются в общую линию поведения Артемия Петровича. По сообщению Германна, Волынскому приглянулось древнее облачение, усеянное драгоценными камнями, хранившееся в одном из монастырей. Губернатор просил настоятеля прислать к нему облачение, якобы для того, чтобы сделать с него рисунок. Когда настоятель прибыл, чтобы забрать реликвию обратно, Волынский соорудил целый спектакль: привезший облачение служи-

тель под пыткой заявил, что ничего не видел и не привозил. Тогда губернатор объявил похитителем несчастного настоятеля, велел заковать его в кандалы и отправить в темницу. Там он томился вплоть до казни Артемия Петровича, драгоценность же обнаружили среди конфискованного у Волынского имущества.

В другой раз губернатор пригласил на обед купца, которого за что-то невзлюбил, велел бить его палками, окованными железом, затем раздеть донага, обвешать тело сырым мясом и спустить на него свору голодных собак. В довершение всего истерзанное тело купца натерли солью¹⁵.

Далеко не безупречно поведение Волынского и в голы его губернаторства в Казани. Здесь мы можем опереться на источники, вызывающие неизмеримо большее доверие. В 1730 г. казанский митрополит Сильвестр обратился в Синод с жалобой на произвол и многочисленные злоупотребления Волынского: захват земли, садов и огородов, принадлежащих епархии, изъятие из монастырей драгоценностей, использование монастырских мастеровых для личных нужд, вымогательство взяток, псовую охоту на монастырских полях, избиение епархиальных служителей («сам драл за волосы») и др.

Волынский обратился за покровительством к своему дяде — влиятельному вельможе Семену Андреевичу Салтыкову, главнокомандующему в Москве, руководившему Тайной розыскных дел канцелярией. Сохранилась переписка племянника с дядей. Волынский начисто отрицал свою вину, утверждая, что архиерей сочинил «сплетенное по ябеднически доношение... будто я великий обидчик и разоритель». Он просил дядю известить императрицу, «что готов подписаться насмертно, если он что на меня докажет дельно». Свое письмо Волынский закончил напоминанием: «Покажи Божескую надо мною милость, оборони меня Бога ради от такого плута».

Поскольку следствие не велось, то обоснованность жалобы архиерея Сильвестра удостоверить невозможно. По всей видимости, челобитчик в духе времени сгустил краски, однако и дядя нисколько не сомневался, что у племянника рыльце в пушку. В ответном письме Салтыков известил Волынского: архиерей, «сведав, что вы мне свой», заявил, что он этого не знал, «а то бы ни о чем просить не стал... лучше б мог вытерпеть», и просил известить казанского губернатора, что он, архиерей, отказывается от иска. В приложенной к письму цидулке Салтыков изложил подлинное отношение к поведению племянника: «Я не знаю, для чего вы, государь мой, себя в людях озлобили, что, сказывают, до вас доступ очень тяжел и мало кого до себя допускать изволите». И далее следуют отнюдь не ласкающие слух слова: «...я ведаю, что друзей вам почти нет и никто с добродетелью о имени вашем помянуть не хочет, и, как слышал, обхождение ване в Казани с таким сердцем, и на кого осердишься, велишь бить при себе, также и сам из своих рук бьешь. Что в том хорошего?» В назидание дядя дал житейский совет: «Пожалуй, изволь, живи посмирнее: истинно лучше будет»¹⁶.

Артемий Петрович не уgomонился и упорно отрицал свою вину. «Я чист», — писал он и настаивал на следствии, чтобы «по всем бредням про меня было розыскано так, как челобитною моею, посланною в Сенат, сам просил»; сетовал, что «с печали умереть могу» и пр.

Опека Салтыкова позволила казанскому губернатору выйти сухим из воды, но в том же 1730 г. последовала еще одна челобитная — от ясашных иноверцев, жаловавшихся на вымогательства. По указу Сената ясашных не велено было использовать на заготовке корабельного леса. Соответствующий указ был отправлен в июле 1730 г., однако Вольтинский задержал его обнародование на три месяца. Не ведая об указе, ясашные измыслили откупиться от обременительной повинности, выдав доверенному губернатору 2500 рублей. Вольтинский подал повинную, в которой признал факт вымогательства, прося «всемилютейшего ея императорского величества прощения». Было также усгановлено, что Вольтинский за год и три месяца собрал с ясашных государственной подати 14 600 рублей. Покровитель Вольтинского и на этот раз спас племянника от суровой кары. Но и возможности благодетеля были небеспредельны. 29 августа 1730 г. он писал Артемию Петровичу: «Я вижу здесь, сколько вам недрузей, что вы и сами известны, а я воистинно, сколько могу вас охранять, однако ж трудно против многих охранять».

Вольтинский поблагодарил за совет жить «осмотрительно и осторожно», но гнул свое, полагая, что «истинно умереннее того нельзя жить, как я жил и живу». Как всегда, он убежден в правомерности своих поступков. «Извольте крепко верить, — убеждал он дядю, — что без причины не делаю никому никакой обиды». Это было косвенное признание фактов учиняемых им побоев и истязаний.

Семен Андреевич Салтыков был не единственным покровителем Вольтинского. За протекцией и защитой Артемий Петрович обращался ко всем, чьи услуги в данный момент могли быть полезными: к родственникам, включая супругу, супругам вельмож, цесаревне Елизавете Петровне и даже к Петру Великому и Екатерине I. Литературный талант позволял Вольтинскому сочинять «слезницы» не трафаретные, в которых поднаторели канцеляристы, а оригинальные, способные вызвать сочувствие и расположение к просящему. К тому же Артемий Петрович не был разборчив в средствах для достижения желаемого. Это ему принадлежит изречение: «Надобно, когда счастье идет, не только руками, но и ртом хватать и в себя глотать».

Артемию Петровичу чаще всего доводилось хлопотать не о повышении по службе, а просить защиты и обороняться от недругов, которых у него было в избытке. Так, Петру I он отправил челобитную, в которой просил смягчить воздействие наветов врагов и завистников.

Сохранились два письма Вольтинского Екатерине I. По назначению они близки челобитной Петру I. Их цель — отвести нависшую над ним угрозу немилости. Во второй челобитной (1726) Артемий Петрович вопрошал: «Нет ли на меня, сирого, какого гнева вашего императорского величест-

ва» — и просил разрешения прибыть ко двору, ибо он «в такое уже отчаяние пришел, что во мне ни ума моего, ни рассуждения в делах никакого не осталось». С ходатайством на сей предмет Волинский отправил супругу, но та, по его отзывам, «за глупостию своею не умеет ваше императорское величество ни упросить, ни умиловить». Зато сам Артемий Петрович владел подобным искусством мастерски: он просил разрешения прибыть в Петербург, «хоть оковав меня как злодея». Если я в чем-либо виноват, витийствовал он, велите меня казнить, «как сущего изменника», или же отправить в ссылку.

Назначение казанским губернатором он получил, вероятно, не без участия цесаревны Елизаветы, которую в июле 1725 г. просил выволочить из «здешней пеклы», то бишь Астрахани. Ежели чаемое свершится, то подобное благодеяние Волинский приравнивал к освобождению из ссылки или «из варварского плена»¹⁷.

Перед нужными людьми он был готов заискивать и унижаться. Когда Долгорукие были в фаворе, он использовал удобные поводы, чтобы напомнить о своем существовании. Проведав о готовящемся браке Екатерины Алексеевны с Петром II, он просил Алексея Григорьевича «совершить милость и над ним, чтоб и я между прочим такой радости не лишен был по милости вашего сиятельства в перемене чина».

В декабре 1729 г. ему стало известно о помолвке князя Ивана Алексеевича с Натальей Борисовной Шереметевой. Волинский поспешил поздравить фаворита и не позабыл попросить у него «милостивой протекции».

В февральско-мартовские дни 1730 г. Волинский снова в Казани, но в Москве имел своего человека — двоюродного брата Ивана Михайловича, аккуратно извещавшего не только о происходивших там событиях, но и о расстановке сил. По мнению И. М. Волинского, главным действующим лицом, противостоящим «верховникам», был Алексей Михайлович Черкасский. Второй влиятельной персоной назван известный нам С. А. Салтыков: «И живет он вверху и ночует при ее величестве». Иван Михайлович настоятельно советовал казанскому губернатору обратиться именно к Салтыкову с просьбою «о перемене чину»¹⁸.

В связи с событиями в Москве Артемий Петрович написал знаменитое рассуждение против «затейки» «верховников».

Он против республиканского правления: «Боже сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десять самовластных и сильных фамилий, и так мы, шляхетство, совсем пропадем», ибо принуждены будем «горше прежнего» искать защиты, но не у одного, причем между ними непременно возникнут распри: «один будет миловать, другие, на того злобствуя, вредить и губить станут».

Если бы Волинский находился в Москве, он, будучи натурой деятельной, активно участвовал бы в обсуждении шляхетских проектов и, несомненно, стал бы лично известен императрице со всеми вытекающими отсюда выгодами. Но до Казани докатывались лишь отзвуки бурных московских событий. Даже для главы губернии уготована была роль сторон-

него наблюдателя. И все же Артемию Петровичу удалось вскоре перебраться в Москву.

Московские события высветили еще одну черту характера Волинского, на этот раз привлекательную. Некий Иван Козлов в это время находился в старой столице. Приехав в Казань, он поделился впечатлениями с Волинским, выразив при этом симпатии «верховникам». Он полагал, что «мудрствование» князя А. М. Черкасского «бесполезно». Салтыков, по его мнению, тоже утрачивает силу: «И лучший де твой дядюшка Семен Андреевич — ничто». Анна Иоанновна, хотя и «сделана государынею, и то де только на первое время помазка по губам». Когда же во время очередного визита Козлова Волинский сообщил ему, что Анна стала императрицей и все ей присягают, тот усомнился в прочности ее положения, ибо считал, что «ее партишка zelo бессильна была».

Содержание бесед с Козловым Волинский изложил в частном письме Салтыкову. Тот усмотрел в суждениях Козлова политическое преступление и готов был возбудить против него судебный процесс. Недоставало пустяка — формального основания, то бишь доноса с описанием всех обстоятельств разговора, наличия свидетелей и пр. Артемий Петрович отрез отказался это сделать: «А чтобы, милостивый государь, мне доносить и завязываться с бездельниками, извольте отечески по совести рассудить, сколь то не токмо мне, но и последнему дворянину прилично и честно делать, и понеже ни дед мой, ни отец никогда в доводчиках и в доносителях не бывали, а и мне как с тем на свет глаза мои показать». Сколько ни уговаривал Салтыков племянника, своего он так и не достиг — дело против Ивана Козлова так и не возбудили.

Переезд в Москву, а следом и в Петербург ознаменовался фантастическим взлетом карьеры Волинского. Он сумел войти в доверие к графу Левенвольде и в 1732 г. стал его помощником по конюшенной части. Эта придворная должность позволила Артемию Петровичу, с одной стороны, находиться на виду у императрицы, а с другой — сойтись с Бироном, знавшим толк в лошадях. Анна, несмотря на сорокалетний возраст и грузное телосложение, научилась ездить на лошади и достигла в этом занятии известных успехов. Пристрастие императрицы и Бирона к лошадям привело к тому, что в конце 1734 г. Волинский был произведен в генерал-адъютанты и генерал-лейтенанты. В следующем году умер Левенвольде, и Волинский занял его место, а в день своего рождения, 28 января 1736 г., императрица произвела его в обер-егермейстеры.

Охота, равно как и верховая езда, составляла страстное увлечение стареющей императрицы. Обер-егермейстер потратил немало сил, чтобы доставить ей удовольствие: он организовывал охоту на птиц, зайцев и кабанов, травлю волков и медведей. Следы усердия Волинского четко прослеживаются по сенатским указам, то предписывавшим развести в районе Екатерингофа и Петергофа серых куропаток, то запрещающим охоту в радиусе 220 верст от Петербурга, то, наконец, обязывавшим доставлять в леса столичной округи зайцев, пойманных в других местах.

Императрица была весьма довольна и предоставила ему возможность отличиться уже не на придворной, а на государственной службе. В 1737 г. Волинский вместе с Петром Павловичем Шафировым и Иваном Ивановичем Неплюевым отправился на Немировский конгресс для ведения мирных переговоров с османами. Переговоры желаемых результатов не дали, и в марте 1738 г. делегация возвратилась в столицу. 3 апреля того же года «в рассуждении особливых его превосходительства заслуг» Анна назначила Артемия Петровича на высшую в империи должность кабинет-министра. В составе Кабинета министров значились всего два человека: фактический глава сего учреждения — известный нам Андрей Иванович Остерман и Алексей Михайлович Черкасский, слабый, трусливый и апатичный вельможа, но сказочно богатый. Английский дипломат Клавдий Рондо так отреагировал на назначение Волинского: «Это очень талантливый человек, который не раз принимал участие в серьезных делах... Полагают, что его возвышение не по душе Остерману, ибо Волинский не предоставит ему, как князь Черкасский, распоряжаться во всем вполне свободно, как он более или менее привык распоряжаться по смерти графа Ягужинского»¹⁹.

Между двумя честолюбцами, Остерманом и Волинским, один из которых был вкрадчив и умел сдерживать эмоции, а второй отличался прямолинейностью и грубостью, сразу же пробежала черная кошка. Сам Артемий Петрович так отзывался о своих коллегах: «Я уж не знаю как и быть: двое у меня товарищей, да один из них всегда молчит, а другой только меня обманывает»²⁰.

Имея представление о личных свойствах Волинского, читатель уже подготовлен к мысли, что характер его непременно приведет к конфликту с Остерманом и немецкой камарильей, облепившей трон. И действительно, Артемий Петрович удержался на своем посту немногим более двух лет.

В 1739 г. уволенные со службы бывшие подчиненные Волинского шталмейстер Кишкель с сыном и унтер-шталмейстер Людвиг подали прошение, в котором наряду с жалобой на необоснованное увольнение уличали обидчика в злоупотреблениях по управлению конскими заводами. Волинский ответил доношением императрице с опровержением обвинений в свой адрес, дополненным пространным рассуждением на тему: «какие потворства и вымыслы употреблены бывают при монархических дворах и в чем вся такая зарытая бессовестная политика состоит». Не называя фамилий, автор утверждал, что «некоторые приближенные к престолу стараются помрачить добрые дела людей честных и приводить государей в сомнение, чтобы никому не верили». Это доношение Волинский давал читать многим лицам, обладавшим его доверием, причем в большинстве своем немцам: секретарю кабинета Эйхлеру, генерал-берг-директору Шембергу, президенту Коммерц-коллегии Менгдену и даже Бирону. Все они безошибочно угадывали в «некотором помрачителе добрых дел, отбивавшем охоту», Андрея Ивановича Остермана. Все так и заявляли:

«Это прямой портрет графа Остермана». А. М. Черкасский даже предупредил автора: «Остро очень писано, ежели попадетсЯ в руки Остермана, то он тотчас узнает, что против него». Однако никто из читавших, в том числе и Бирон, не отговаривали Вольтерского подавать доношение.

Остерман, конечно же, знал о содержании сочинения Артемия Петровича и готовил ответные меры в присущей ему манере: терпеливо ожидал удобного момента, готовя удар исподволь и действуя через других лиц.

Некоторое время сочинение Вольтерского не привлекало внимания — двор был озабочен переговорами в Белграде об окончании войны с Османской империей. Затем события развивались, на наш взгляд, несколько иначе, чем это изложено в «Записке об Артемии Вольтерском». В апреле 1739 г. Бирон подал императрице челобитную, в которой обрушился на Вольтерского. Явно с подачи Остермана он писал об оскорбительном тоне послания «такой умной, мудрой императрице, которую наставляют подобно малолетним государям». Обращает внимание текстуальное совпадение этого места челобитной Бирона со словами осуждения Вольтерского, произнесенными Анной: она была недовольна тем, что «он ей это подает, будто молодых лет государю». Будь Вольтерский человеком чуть более осторожным и чуть менее самоуверенным, он сообразил бы, что над его головой стучатся тучи и теперь следует держать себя так, чтобы не давать в руки своим врагам обличительного материала. Но наш герой оставался самим собой и несколько не поступился привычками и манерой поведения.

Когда по приглашению Вольтерского, бывшего главным организатором шутковской свадьбы, явился Василий Кириллович Третьяковский, которому поручено было сочинить по этому случаю стихи, кабинет-министр в гневе бил пиита по щекам и жестоко бранил. Обиженный Третьяковский на следующий день подал жалобу Бирону. На беду пиита, в это же время у Бирона находился и Артемий Петрович. Завидев жалобщика, тот вытолкнул его из бироновских покоев, угостил при этом тумачами и распорядился доставить в маскарадную комиссию. Здесь экзекуция продолжилась: Вольтерский снял с бедняги шпагу и велел побить палками. По словам Третьяковского, ему досталось около сотни ударов. Отпуская пиита из-под стражи, Вольтерский приказал дать ему еще десяток ударов. Третьяковский, истерзанный, с подбитым глазом, подвергся медицинскому освидетельствованию и обратился с рапортом в Академию наук. Вольтерский же так выразился по поводу инцидента: «Пусть за то на меня хотя и сердятся, да я себя потешил и свое взял». Как увидим дальше, эта потеха дорого обошлась Артемию Петровичу.

Избиение дало новый повод для возбуждения дела против Вольтерского. Формальным инициатором преследования Артемия Петровича можно считать Бирона, за его спиной маячил руководитель операции Остерман. Последнему, судя по всему, удалось убедить фаворита в антинемецкой направленности сочинения Вольтерского и необходимости самых жестоких мер против него. Бирон порекомендовал императрице проверить деятель-

ность кабинет-министра, который всех осуждает, а сам не безгрешен — им «денег употреблено много, а дел не видно».

Если верить «Записке об Артемии Волинском», то императрица якобы колебалась, стоило ли привлечь Артемия Петровича к следствию и суду, и в конце концов уступила настояниям Бирона, будто бы заявившего, стоя на коленях: «Либо ему быть, либо мне». Думается, что в этом случае жестокосердная императрица уступила домогательствам фаворита практически без колебаний.

Дальнейшие события развивались прямо-таки с космической скоростью. 12 апреля 1740 г. Анна велела приставить к дому Волинского караул, на следующий день ее указом была узаконена следственная комиссия в составе полных генералов Григория Чернышова, Андрея Ушакова и Александра Румянцева; генерал-поручиков Никиты Трубецкого, Михаила Хрущова и князя Василия Репнина; тайных советников Василия Новосильцова и Ивана Неплюева, а также генерал-майора Петра Шипова. Обратите внимание на состав комиссии: ни одной иностранной фамилии, все вельможи исключительно русские! Сделано это было неспроста: русского судили такие же русские, позиция которых (впрочем, по другому поводу) была исчерпывающе выражена самим подследственным: «Нам, русским, не надобен хлеб, мы друг друга едим и с того сыты бываем»²¹.

Указ об учреждении следственной комиссии выдвигал против Артемия Петровича два обвинения: во-первых, он дерзнул подать императрице письмо с назиданием в ее адрес; во-вторых, он совершил в доме, где проживает его светлость Бирон, «неслыханные насильства».

Первое заседание комиссии состоялось 15 апреля; все последующие проходили ежедневно с семи утра до двух часов дня. После первого же заседания и доклада о его результатах — новый указ императрицы, несомненно, подсказанный Остерманом: запретить подследственному прибегать к «генеральным рассуждениям» и требовать от него точных и прямых ответов на каждое из предъявленных обвинений.

Следственный механизм сразу же заработал с небывалой оперативностью, с каждым днем росло число свидетелей. Первое место среди них заняли так называемые конфиденнты. Это вельможи и чиновники средней руки, принимавшие участие в конфиденциальных (отсюда и конфиденнты) беседах в доме Волинского, на которых либо обсуждались проекты кабинет-министра, либо велись опасные беседы о современном положении в стране. К вельможам относились сенатор Александр Львович Нарышкин, родной брат супруги Волинского, сенатор Василий Яковлевич Новосильцов, сенатор князь Яков Петрович Шаховской (позже обер-прокурор Синода, а затем генерал-прокурор). Практически вельможи-конфиденнты к следствию не привлекались. Более того, Новосильцов и Нарышкин оказались в составе следственной комиссии. Прочих вельмож также ни о чем не спрашивали. А. М. Черкасский от бесед с Волинским отрекся, а допрошенный в Адмиралтействе Трубецкой признался в существовании только

деловых связей с кабинет-министром. Впоследствии лишь оговоренного Новосильцова решено было содержать под домашним арестом.

Столь снисходительное отношение Анны Иоанновны и ее немецкого окружения к связям вельмож с Волынским легко объяснимо: все они лояльно относились к немцам-правителям. И уж совсем не в интересах правящей клики было привлекать к следствию большое число вельмож, тем самым создавая представление о широких масштабах антинемецкого протеста в верхах.

Среди конфиденентов особым доверием Волынского пользовались подполковник П. М. Еропкин, советник экипажской конторы адмиралтейского ведомства капитан флота А. Ф. Хрушов, кабинет-секретарь Эйхлер, секретарь иностранной коллегии де ла Суда, обер-кригскомиссар, впоследствии сибирский губернатор Ф. М. Соймонов, президент Коммерц-коллегии П. И. Мусин-Пушкин.

Конфидененты сообщили следственной комиссии сведения, согласно правовым нормам того времени усугубляющие вину Волынского. Но наибольшую ценность имели показания дворецкого Волынского — Кубанца. По признанию Артемия Петровича, он его «любил и во всем был открыт, зная, что он человек не тупой, совестный и надежный». Волынский общал его не только к своим планам, но и к исполнению своих далеко не безгрешных поступков. Только Кубанец знал о таких деликатных поступках кабинет-министра, как вымогательство взяток у челобитчиков, подарков у чиновников и пр. Кубанец почти ежедневно писал доношения со все новыми и новыми подробностями. В числе прочего он сообщил о недоброжелательных отзывах Волынского о Бироне и императрице, осуждении поступков Остермана и других немцев, будто бы только он, Волынский, «правду делает», а деятельность прочих министров не ставил ни во что. Усердие Кубанца простиралось столь далеко, что он не гнушался вымысла: Волынский якобы мечтал о престоле, хвастался древностью своей фамилии и пытался привлечь на свою сторону гвардейских офицеров. «Замыслы хотел привести в действие тогда, когда погубит Остермана», — доносил Кубанец.

Чуть больше месяца следствие велось без применения пыток. Императрица, которой ежедневно докладывали о ходе следствия и добытых показаниях, 18 мая велела пытать экипаж-майора Хрушова, а затем вытягивать показания пытками у Соймонова, Еропкина, Мусина-Пушкина и Эйхлера. Как же вел себя во время следствия Волынский?

Первые три дня он с достоинством вступал в пререкания с членами следственной комиссии, видимо, не осознавая в полной мере нависшей над ним опасности. В первый же день он заявил, обращаясь к Неплюеву: «Из падения моего можно тебе рассуждать», а на следующий день ему же адресовал задиристую фразу: «Ведаю, что вы графа Остермана креатура и что со мною имели ссору». Неплюев ответил, что Волынский говорит лишнее, что партикулярной ссоры он, Неплюев, с ним не имел, «а теперь по именному указу определен к суду и должен поступать по сущей прав-

де». На третий день следствия Артемий Петрович, похоже, был сломлен и более уж не задирался, напротив, стал заискивать перед следователями и взывать о милосердии. Генералу Чернышову он заявил: «Не поступай со мною сурово. Ведаю я, что ты таков же горяч, как и я; деток имеем; воздаст Господь деткам твоим». Перед угрозой быть вздернутым на дыбу Артемий Петрович становился на колени, кланялся, просил пощады, произносил уничижительные слова, либо ссыался на беспамятство, либо заявлял: «Как стал кабинет-министром, забрал выше меры и ума своего» — или: «Совершал поступки с горячности, злобы и высокоумия».

И все же Артемию Петровичу не удалось избежать пытки. 21 мая императрица, выслушав очередной доклад, «изволила рассуждать», что Волинский «закрывает себя», то есть отрицает вину «в злодейских замыслах» самому стать императором. 22 мая Артемию Петровича подняли на дыбу и дали 18 ударов. Следователей интересовал вопрос, претендовал ли Волинский на корону.

Пытка не обогатила следствие новыми данными. Волинский признавался во множестве грехов — рукоприкладстве, истязаниях, вымогательстве взяток и подарков, в составлении разнообразных проектов, казнокрадстве, — но решительно отрицал намерение стать государем.

6 июня последовал указ о приостановке дальнейшего розыска — императрица и ее окружение сочли, что в распоряжении следователей собраны достаточные улики для вынесения приговора. Поэтому жалоба Третьяковского, а также изветы секретаря Яковлева, бывшего унтер-штаб-мейстера Людвиг и прочих лиц остались нерасследованными: на результаты следствия они не оказали бы никакого влияния.

16 июня следственная комиссия завершила сочинение обвинительного заключения, на следующий день его утвердила императрица. Генеральному собранию для суда над Волинским и его конфидентами в составе, определенном указом Анны Иоанновны от 19 июня, надлежало в соответствии с судебной практикой того времени подтвердить меру наказания, определенную следственной комиссией. Заметим, что в составе Генерального собрания вновь не оказалось иностранцев.

Главная вина Волинского состояла в составлении им «предерзновенного плутовского письма для приведения верных ее величества рабов в подозрение». Кого же надлежит подразумевать под верными рабами? Манифест многозначительно молчит и делает это сознательно, ибо в этой роли выступали непопулярные в стране немцы. Беря их под защиту, императрица, конечно же, не прославляла свое имя среди подданных. Это соображение, быть может, и не решающее, но его не стоит сбрасывать со счетов. Анонимность приговора, как и состав следственной комиссии и Генерального собрания, образуют единую цепь мер, направленных на то, чтобы кучку немцев, фактически правивших страной, оставить в тени.

Вслед за этим в приговоре перечислялись прочие вины Волинского: «питал на ее величество злобу», отзывался о высочайшей фамилии «с

поношением», писал «злодейские сочинения» с осуждением прошлых и нынешних порядков, намеревался уменьшить численность войск и т. п.

20 июня Генеральное собрание вынесло приговор: Волинского, вырезав язык, посадить на кол; Хрушова, Мусина-Пушкина, Соймонова и Еропкина четвертовать и отсечь головы; Эйхлера колесовать и отсечь голову, а де ла Суду лишить жизни простым отсечением головы. Императрица смягчила приговор: Волинскому, вырезав язык, отсечь правую руку (после поднятия на лыбу она у него бездействовала и висела словно плеть) и четвертовать, дочерей его постричь в монахини в одном из сибирских монастырей, а сына сначала отправить в Сибирь, а по достижении 15-летнего возраста сослать навечно в солдатскую службу на Камчатку. Хрушову и Еропкину — отсечь голову; Соймонову, Мусину-Пушкину и Эйхлеру объявить смертную казнь, а после помиловать: Соймонова и Эйхлера, бив кнутом, сослать в Сибирь на каторгу, а Мусина-Пушкина, вырезав язык, отправить на Соловки, где выдавать ему монашескую трапезу. Имена всех осужденных подлежали конфискации. Через Ушакова и Неплюева Волинский молил императрицу не четвертовать его, но просьба осталась без внимания.

В восемь утра 27 июня 1740 г. несчастных казнили, а спустя три дня под покровом ночи детей Волинского отправили в Сибирь. Манифест же о его винах был обнародован лишь через десять дней после казни. Это — свидетельство того, что окружение императрицы (прежде всего Остерман, судя по всему, страдавший в дни приговора не мнимой, а подлинной болезнью) вполне удовлетворилось изложением вин Волинского и трудилось над доработкой текста. Действительно, манифест существенно отличается от приговора: пункт первый приговора о «плутовском письме» отодвинут на второй план. По манифесту, главная вина Волинского состояла в составленном им «некотором проекте», осуждавшем «издревле установленные законы и порядки». В большей мере, чем приговор, манифест осуждал Волинского за его личные действия: произвол («многих незаслуженно в чины произвел и честных вернослужащих безвинно заслуг лишал»), упущения по службе, взятки и казнокрадство. Сообщники Артемия Петровича обвинялись в том, что они не только не объявили о его непристойных отзывах об императрице и существующих порядках, «но и сами таковые же рассуждения произносили, делом и советом ему помогали в сочинении проектов».

Не дошедшее до нас сочинение Волинского (при участии конфиденгов) известно в литературе под названием «Проект о поправлении государственных дел». Артемий Петрович сжег этот документ, будучи под домашним арестом. Содержание его реконструируется по следственным материалам лишь частично, что, естественно, не может заменить утраченного оригинала.

Составлением проектов Волинский начал заниматься с 1735 г. В это время он подал в Кабинет министров мнение о способах борьбы с вымогательством губернаторов и воевод у ясаших народов. Его рекомендации, основанные на богатом личном опыте в период казанского губернаторства,

были весьма полезны. Вершиной своего прожектерства сам Артемий Петрович считал вышеупомянутый «Проект о поправлении государственных дел». Сочинив его, он гордо заявил наследнику: «Счастливы ты, сын, что такого отца имеешь».

По материалам следствия наиболее полно реконструируются те части проекта, где речь идет о роли дворянства в обществе. Автор полагал, что из дворян должна была комплектоваться не только правящая бюрократия, но и технический состав правительственных учреждений: приказных людей надлежало набирать только из шляхетства, ибо на канцеляристов из подлого люда «надежды нет». На государство возлагалось попечение об овладении дворянскими недорослями различными науками. Детей знатного шляхетства надлежало отправлять за границу, «чтоб свои природные министры были».

«Священнический чин» тоже должен был комплектоваться из шляхетства, причем Артемий Петрович проявлял заботу о повышении авторитета духовенства, чего можно было достигнуть путем овладения им знаниями, а также освобождения от необходимости возделывать пашни — материальное обеспечение священнослужителей возлагалось на плечи прихожан.

Забота Волинского о шляхетстве проявилась и в экономической сфере: винокурение предлагалось объявить дворянской монополией; для предотвращения окончательного разорения малоимущих дворян Артемий Петрович планировал ввести для них и канцеляристов скромную экипировку, «чтоб деньги у них так не расходились». В общем, Волинский нисколько не преувеличивал своих забот о шляхетстве, когда однажды признался Кубанцу: «Есть за что благодарить меня дворянству, смотри, что я делаю для них»²². Впрочем, тот же Кубанец показал: «Замыслы его (Волинского. — Н. П.) были такие, чтоб ему чрез то в силу прийти»²³. Думается, это был чистой воды поклеп на Волинского, ибо его можно назвать подлинным радетелем дворянских интересов.

Скромнее отражены интересы купечества. Быть может, следователей мало интересовали эти мысли обвиняемого и соответственных вопросов ему просто не задавали. Однако столь же вероятно и предположение о слабой разработке этих сюжетов в самом проекте Волинского. Дошедшие до нас сведения позволяют думать о намерении Волинского защищать национальные интересы русских купцов от засилья иностранцев путем создания торговых компаний — меры, внедрить которые собирался еще Петр Великий. Равным образом Волинский предлагал восстановить учрежденные при Петре, а впоследствии ликвидированные магистраты.

К числу важнейших новшеств «Проекта о поправлении государственных дел» относится рекомендация сократить численность армии до 60 драгунских полков, что даст экономию в 1,8 миллиона рублей в год и соответственно приведет к уменьшению подушной подати с крестьян. Реорганизация армии влекла перемены и в концепции внешней политики России — Волинский предлагал компенсировать сокращение числа полков сооружением крепостей на опасных участках границы, переведя туда

части из внутренних губерний. По мнению Артемия Петровича, оборонная мощь от этого не ослабевала, но (добавим от себя) эти меры обрекали Россию на самоизоляцию, пассивность и невмешательство в европейские конфликты.

Как видим, проект Воынского никакой опасности для режима не представлял. Его использовали для прикрытия подлинной цели политического процесса — парализовать сопротивление шляхетства немецкому засилью.

Подведем итоги. Артемий Петрович Воынский был человеком отнюдь не безупречным и не обремененным высокой нравственностью. Его поступки направляло безмерное честолюбие, он был груб, жесток, жаден, мстителен, нечист на руку. В принципе он выступал не против немцев как таковых, — всего лишь за устранение их от кормила власти в Российском государстве. Однако независимо от соображений, которыми руководствовался Артемий Петрович, вступая в неравную схватку с облепившими трон немцами, объективно его борьба с окружением императрицы заслуживает положительной оценки — эта схватка подготовила общество к ликвидации иноземного засилья.

4. Личность императрицы

Современники оставили совершенно несхожие описания внешности императрицы и свойств ее характера. Князь Д. М. Голицын считал ее женщиной умной, но наделенной скверным характером. Миних-старший оставил об императрице восторженный отзыв: «Эта великая государыня обладала от природы большими достоинствами. Она имела ясный и пронизательный ум, знала характер всех, кто ее окружал, любила порядок и великолепие, и никогда двор не управлялся так хорошо, как в ее царствование». Недостаток ее состоял в том, «что она любила покой и почти не занималась делами, предоставляя министрам делать все, что им заблагорассудится». Преследования Долгоруких и Голицыных, казни Артемия Петровича Воынского и Петра Михайловича Еропкина Миних относил на счет министров Остермана, Черкасского и фаворита Бирона²⁴. Прусский посол Мардефельд в донесении двору от 22 января 1730 г. тоже высоко отзывался о способностях Анны Иоанновны: «Настоящая императрица обладает большим умом и в душе больше расположена к немцам, чем к русским, отчего она в своем курляндском придворном штате не держит ни одного русского, а одних только немцев». Истоки благосклонности императрицы к немцам следует искать в ее продолжительном пребывании в Курляндии, — за двадцать лет жизни в Митаве в окружении потомков немецких рыцарей она успела в известной мере онемечиться: двор курляндской герцогини состоял из немцев и немцев, ее фаворитом стал курляндец Бирон.

Камер-юнкер Берхгольц наблюдал Анну Иоанновну в годы, когда она была курляндской герцогиней. В 1724 г. он записал в своем дневнике: «Герцогиня женщина живая и приятная, хорошо сложена, недурна собою и держит себя так, что чувствуешь к ней почтение».

Леди Рондо так обрисовала внешность императрицы: «Она примерно моего роста, но очень крупная женщина, с очень хорошей для ее сложения фигурой, движения ее легки и изящны. Кожа ее смугла, волосы черные, глаза темно-голубые. В выражении ее лица есть величавость, поражающая с первого взгляда, но когда она говорит, на губах появляется невыразимо милая улыбка. Она много разговаривает со всеми, и обращение ее так приветливо, что кажется, будто говоришь с равным, в то же время она ни на минуту не утрачивает достоинства государыни. Она, по-видимому, очень человеколюбива, и будь она частным лицом, то, я думаю, ее бы называли очень приятной женщиной»²⁵.

Отзыв Фридриха II: «Она отличалась возвышенностью души, твердостью ума; щедрая на награды, строгая в наказаниях, она была добра по природным склонностям и сластолюбива без разврата»²⁶.

Анонимный автор, написавший «Подробности о русском дворе в 1737 г.», тоже не скупился на похвалы императрице, не обнаружив в ней отталкивающих черт характера: «Царица любезна, великодушна и сострадательна, чувствительна к похвале (и это черта всего двора); так как она провела свою молодость в Курляндии и Ливонии, то пристрастилась к иностранцам, что ее уже несколько удаляет от обычаев ее народа»²⁷.

Наконец, еще одно суждение об Анне Иоанновне, приписываемое Петру I. В передаче Маньяна оно звучит так: «Здесь (где? — Н. П.) имеют весьма высокое мнение о личных достоинствах новой царицы; так, известно (кому? — Н. П.), что покойный царь Петр I весьма ценил достоинства этой государыни, высказывая не раз сожаление, что она не может изменить своего пола, чтобы иметь возможность применить великие таланты, признававшиеся за ней Петром; отсюда заключают, что она может оказаться весьма способной взять на себя бремя верховной власти»²⁸. К сожалению, положиться на это свидетельство нет оснований, ибо автор не приводит источника своей информации. Отметим, что все иностранцы, с похвалой отзывавшиеся об Анне Иоанновне, не скрывали истоков этой похвалы — ее благожелательное отношение к ним.

Противоположную оценку находим в записках известной нам Натальи Борисовны Шереметевой, дочери фельдмаршала, супруги Ивана Алексеевича Долгорукого: Анна Иоанновна «престрашного была взору, отвратное лицо имела, так была велика, когда между кавалерами идет, всех головою выше, и чрезвычайно толста»²⁹. А вот замечание Вольнского об интеллекте императрицы: «Государыня у нас дура и резолюции от нее никакой не добьешься, и ныне у нас герцог что захочет, то и делает»³⁰.

Кому же следует отдать предпочтение: панегиристам, оказавшимся в подавляющем большинстве, или хулителям? На наш взгляд, никому, ибо свидетельства тех и других требуют критического отношения. Не стоит

забывать, что о государях и государынях в те времена не принято было дурно отзываться. Все авторы дневников, воспоминаний и депеш в лучшем случае сообщали о негативных фактах поведения царствующих особ, неизменно уклоняясь от собственных оценок. Исключение составляют отзывы Волинского, отличавшегося грубостью и резкостью в суждениях.

Самым надежным источником для выяснения пороков и добродетелей императрицы могут служить ее поступки, в особенности в годы, когда она заняла трон и уже ничто не сдерживало проявлений ее натуры. Картина получается вполне определенная: императрица жестока, груба, расточительна. Ее духовные запросы низки, а основная черта характера — лень. Анна облепилась настолько, что с 1735 г. практически отстранилась от управления страной. Проявляя болезненную страсть к роскоши, она как бы спешила наверстать упущенное в годы весьма скромной жизни в Митаве. Двор Петра Великого, отличавшийся простотой и немногочисленным штатом, императрица задумала преобразовать в самый пышный в Европе. «Она учредила множество новых придворных должностей, завела итальянскую оперу и балет, немецкую труппу и два оркестра музыки, для которых выписывались лучшие артисты того времени», велела вместо скромных размеров Зимнего дворца соорудить новый, более роскошный, с семьдесятю покоями разной величины. Все это диктовалось не тягой к европейской культуре, а подражанием и мелким тщеславием.

С особенной пышностью отмечались дни рождения и коронации императрицы — 28 января и 28 апреля. К этим датам придворные и вельможи готовились месяцами, добывая себе и своим супругам новые наряды. Анна Иоанновна всячески поощряла заботы такого рода, отмечая тех, кто появлялся при дворе в особенно богатом одеянии. «Не могу выразить, — доносил в Лондон английский резидент Клавдий Рондо 29 января 1732 г., — до чего доходит роскошь двора в одежде. Я бывал при многих дворах, но никогда не видел таких ворохов золотого и серебряного галуна, нашитого на платья, такого изобилия золотых и серебряных тканей»³¹. В депешах иностранных дипломатов то и дело встречаются такие отзывы о приемах при дворе: «величайшая роскошь», «величайшее великолепие», «не превзойти где бы то ни было на белом свете».

Иллюминации, фейерверки, балы, маскарады, торжественные обеды и ужины с сотнями гостей ложились тяжелым бременем на бюджет государства. Расточительность двора разоряла вельмож — чтобы поддерживать репутацию, они вынуждены были продавать имения и разорялись. Дополнительно раскошелиться должны были и иностранные дипломаты, вынужденные, чтобы не выглядеть белой вороной, тянуться за русскими вельможами и придворными в экипировке и экипажах.

Обычный день Анна Иоанновна проводила в занятиях, не свидетельствовавших о напряженном ритме ее жизни. После утреннего кофе она в 9 часов принимала министров, нередко подписывала указы, не читая их. Затем отправлялась в манеж, где вместе с Бироном занималась верховой ездой. Возвратившись во дворец, она следовала в покои Биронов, где вмес-

те с ними обедала. Послеобеденный сон продолжался час, затем наступала пора развлечений, среди которых наряду с шутами и карлами важное место занимало пение фрейлин. «Ну, девки, пойте!» — раздавался ее зычный голос. Девки пели до тех пор, пока не следовала команда «Довольно!». По вечерам, если не было раутов, фейерверков, оперы, императрица развлекалась игрой в карты. Собственно карты, как и верховая езда, интересовали не столько Анну Иоанновну, сколько ее фаворита, и она отдавала дань этим развлечениям, чтобы угодить ему. Она не любила выигрывать, а проиграв, тут же расплачивалась. Поэтому приглашением сесть вместе с нею за карточный стол придворные весьма дорожили².

Духовная жизнь императрицы была примитивна — завaby шутов, кривляния карликов, болтовня дур, без умолку несших всякий вздор. Шуты были и при Петре Великом, но их жизнь при дворе преследовала, если так можно выразиться, хотя и грубые, но все же нравоучительные цели: пользуясь правом безнаказанно отзываться о вельможах, шуты изобличали пороки: казнокрадство, мздоимство, глупость и т. д. В ответ на жалобы обиженных Петр говаривал: «Что вы хотите, чтобы я с ними сделал? Ведь они дураки». Иными качествами обладали шуты Анны Иоанновны: их роль сводилась лишь к развлечению двора и прежде всего императрицы. «Способ, как государыня забавлялась сими людьми, — отмечал иностранный наблюдатель, — был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала им всем становиться к стенке, кроме одного, который бил их по поджилкам и чрез то принуждал их упасть на землю. Часто заставляли их производить между собою драку, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху».

В шуты часто попадали не по своей воле. Именно так осуществлялось утонченное издевательство над представителями аристократических фамилий. Так, князь Никита Федорович Волконский стал жертвой мести императрицы его супруге Аграфене Петровне (урожденной Бестужевой-Рюминой). Будучи пожилым и больным, князь был назначен придворным шутом. Князя Михаила Алексеевича Голицына, внука фаворита царевны Софьи Алексеевны Василия Васильевича, императрица назначила шутом в наказание за его женитьбу на горячо любимой, но не знатной итальянке, встреченной им во время пребывания за границей. Под влиянием супруги он принял католичество. Когда этот тщательно скрываемый им факт стал все же достоянием гласности, императрица велела расторгнуть брак, выслать супругу из России, а самого Голицына назначить придворным шутом. Одна из его обязанностей состояла в поднесении императрице кваса, отчего он и имел прозвище квасника.

Судьбу М. А. Голицына разделил граф Алексей Петрович Апраксин, племянник адмирала петровского времени Федора Матвеевича Апраксина. Алексей Петрович тоже принял католичество и в наказание был определен в шуты.

Приведем два документа, характеризующих духовную жизнь Анны Иоанновны. В Москву было отправлено следующее повеление: «У вдовы

Загряжской Авдотьи Ивановны живет одна княжна Вяземская, девка, и ты ее сыщи и отправь сюда, только чтоб она не испужалась, то объяви ей, что я беру ее из милости, и в дороге вели ее беречь, а я ее беру для своей забавы, как сказывают, что она много говорит». В другом указе, отправленном в Переяславль, императрица велела подыскать из дворянских девок говорунью вместо Татьяны Новокрещеновой, которая недолго протянет: «Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые бы были лет по сорока и так же говорливы, как та Новокрещенова».

Сохранилось свидетельство отличавшейся болтливостью жены дворцового управителя Настасьи Филатовны Шестаковой, вызванной во дворец, чтобы забавлять разговорами императрицу на сон грядущий и пробудившуюся от сна:

«А как замолчу, императрица восклицала:

— Ну, Филатовна, говори.

— Не знаю, матушка, что говорить!

— Рассказывай про разбойников!

Утром все повторилось, и Филатовна быстро, как говорится, выговори-лась.

— Матушка, уже все высказала, — взмолилась говорунья.

Императрица подсказала новую тему:

— Скажи, стреляют ли дамы в Москве?

Назвала княжну, которую Алексей Михайлович Черкасский обучает стрельбе.

— Попадает ли она?

— Иное, матушка, попадает, а иное кривенько.

— А птиц стреляет ли?

— Видела, государыня, посадила голубя близко мишени и застрелила в крыло, и голубь ходил на кривобок, а в другой раз уже пристрелила»³³.

Филатовна, видимо, не пришла к двору. За работу вечером и утром императрица пожаловала ей сто рублей и отпустила восвояси.

«В досужное время, — свидетельствует Миних-сын, — не имела она ни к чему определенной склонности. В первые годы своего правления играла она почти каждый день в карты. Потом проводила целые полдни, не вставая со стула, в разговорах или слушая крик шутов и дураков. Когда все сии каждодневно встречающиеся упражнения ей наскучили, то возымела она охоту стрелять, в чем приобрела такое искусство, что без ошибки попадала в цель и на лету птицу убивала. Сею охотою занималась она дольше других, так что в ее комнатах стояли всегда заряженные ружья, которыми, когда заблагорассудится, стреляла из окна в мимопролетающих ласточек, ворон, сорок и тому подобных»³⁴. Жителей столицы «Санкт-Петербургские ведомости» регулярно извещали об охотничьих забавах императрицы — она изволила потешаться охотой то на дикую свинью, то на оленя. За время пребывания в Петергофе летом 1740 г. (то есть за три месяца до смерти) трофеями императрицы стали 9 оленей, 16 диких коз, 74 зайца, 68 уток, волк и другие обитатели лесов»³⁵.

В обращении с придворными императрица уподоблялась сварливой помещице, не гнушавшейся пускать в ход кулаки, — ей ничего не стоило отпустить провинившейся фрейлине увесистую пощечину или велеть наказывать розгами. Истязаниям подвергались даже знатные дамы, если они, например, плохо исполняли танец. С особенным удовольствием императрица наблюдала за зрелищами, сопровождавшимися пролитием крови. К ним относились потасовки карлов, культивирование которых будет потом приписано Бирону, а также медвежьей и волчьей травли. В 1737 г. «Санкт-Петербургские ведомости» сообщали: «Едва не ежедневно по часу перед полуднем ее императорское величество смотрением в зимнем доме медвежьей и волчьей травли забавляться изволит». К этому же типу грубых забав относится устройство пира для населения Петербурга в 1740 году. На площади перед Зимним дворцом была приготовлена обильная трапеза: два зажаренных быка, пирамиды из хлеба, жареной рыбы, колбас, 60 бочек красного виноградного вина.

Жажущие выпить и закусить на дармовщинку по сигналу бросались к снеди и напиткам. Начиналась несусветная свалка: участники праздника разносили в клочья сукно, отнимали друг у друга куски мяса, хлеба, окороков, топтали не удержавшихся на ногах, пускали в ход кулаки и т. д. Эту неприглядную сцену наблюдала императрица, стоя у окна и испытывая при этом «немалое веселие»³⁶.

Вершиной расточительности двора и его непритязательных вкусов явилась шутовская свадьба в Ледяном доме. В роли новобрачной выступала калмычка Авдотья Ивановна Буженинова, приживалка императрицы, а ее жениха — шут князь М. А. Голицын. Ледяной дом был сооружен на Неве между Адмиралтейством и Зимним дворцом. Все убранство там состояло из льда, даже вместо оконных стекол были нарезаны тончайшие пластинки льда. Внутри покои выкрасили под мрамор, у ворот были поставлены два ледяных дельфина, из челюстей которых бил огненный фонтан из нефти. Перед домом стояло шесть пушек и две мортиры, из которых периодически стреляли. Здесь же изваяли ледяные ветви с листьями и сидевшими на них ледяными птицами. Из льда был изготовлен слон в натуральную величину: днем из его хобота фонтанировала вода, а ночью — огненная струя из нефти.

Под стать внешнему виду Ледяного дома было и его внутреннее убранство: резные столы, кресла, кровати, стаканы. Даже дрова и свечи исхитрились изготовить из льда. Они, будучи покрытыми нефтью, горели.

В свадебных торжествах участвовали пары «инородцев», вызванных через губернаторов со всей страны. Для них сшили национальные костюмы, их потчевали национальными блюдами.

На свадьбу гости ехали в санях, запряженных лошадьми, козлами, оленями, верблюдами, свиньями и т. д. Новобрачных везли в клетке, поставленной на слона. Молодых уложили в ледяную постель. К дому приставили караул, чтобы они не сбежали. Таково было главное зрелище

десятилетнего царствования Анны Иоанновны. Казне оно обошлось в 30 тысяч рублей.

От наблюдательных современников не укрылась цель затеянного развлечения. Она, доносил французский посол, была «вызвана не столько желанием тепшиться, сколько несчастною для дворянства политикою, которой всегда следовал этот двор». Это было унижение одного из знатнейших родов страны и напоминание о том, что знатность, почести, звания и богатство находятся в полной зависимости от благосклонности самодержца, что в его власти «повергать подданных в ничтожество»¹⁷.

Все же одно новшество в придворной жизни заслуживает похвалы — Анна Иоанновна не терпела пьяных, пить при дворе разрешалось только один раз в году, в день ее коронавания, когда она сама подносила гостям по несколько бокалов вина. Многие из них, выказывая свое усердие, напивались в тот день до того, что их удаляли с глаз дворцовые гренадеры¹⁸.

Императрица была женщиной скорее тщеславной, нежели честолюбивой, ибо ее представление о славе не выходило за пределы мечтаний о нарядах, богатых украшениях — всего того, что вмещалось в понятие «блеск двора». Эту страсть лучшим образом иллюстрирует на первый взгляд мелкий, но выразительный штрих: на второй день после восшествия на престол бывшая курляндская герцогиня затребовала драгоценности, конфискованные у семьи Меншиковых. Доставленные в ее дворец предметы она, как зарегистрировано в официальном документе, «пересматривать изволила и по пересмотру указала те вещи» стоимостью 22 872 рубля оставить у себя.

Анна Иоанновна только в первые месяцы своего царствования проявляла интерес к делам управления государством. Так, «Санкт-Петербургские ведомости» 22 июня 1730 г. уведомляли подданных: «Хотя ее величество еще непрестанно в Измайлове при нынешнем летнем времени пребывает, однако о государственных делах превеликое попечение иметь изволит, понеже не токмо Сенат здесь (в Москве. — Н. П.) свои ежедневные заседания имеет, но также два дня в неделю назначены, чтоб оному у ее императорского величества в Измайлове собираться, и в ее присутствии в среду иностранные, а в субботу здешние государственные дела воспринимать; также изволит ее величество сверх того министров до аудиенции ежедневно допускать». Освоившись с новой для нее ролью императрицы и убедившись в прочности своего положения на троне, она все больше и больше уклонялась от обязанностей государыни, предаваясь лени и пустым забавам. Это самоустранение от государственных дел зарегистрировано законодательными актами и устными распоряжениями императрицы.

Важной вехой в этом следует считать указ 9 июня 1735 г., приравнявший подписи под указом трех кабинет-министров к подписи самой императрицы. Анна Иоанновна освобождала себя от нудных и утомительных забот повседневного участия в управлении¹⁹. Практику применения этого указа императрица продемонстрировала в том же месяце. Когда

генерал Ушаков попросил Бирона доложить ей о необходимости сделать выбор из образцов сукна, предназначавшегося для обмундирования гвардейских полков, Анна Иоанновна, выслушав доклад, «изволили сказать, что в том не великая нужда, чтоб меня в деревне (Петергофе. — Н. П.) тем утруждать, а как де отсюда в Петербург прибудем, тогда и резолюция будет»⁴¹.

Аналогичным образом императрица поступила и в июле 1738 г., когда от ее имени кабинет-министр А. П. Вольтерский объявил, «что е. и. в. изволит шествовать в Петергоф для своего увеселенья и покоя, того ради, чтобы е. и. в. о делах докладами не утруждать, а все дела им самим решить, кабинет-министрам, как не особливому е. и. в. указу дана им во всем полная мочь, а указов, за подписанием рук их, велено слушать властно так, как и за собственною е. и. в. высочайшею рукою»⁴¹.

Историки располагают крайне ограниченным комплексом источников, повествующих об участии Анны Иоанновны в управлении государством. Один из таких комплексов — письма императрицы к Семену Андреевичу Салтыкову, опубликованные свыше столетия назад. Корреспондент императрицы выступал в двух ипостасях: во-первых, Салтыков ее родственник — мать Анны Иоанновны происходила из рода Салтыковых; во-вторых, он главнокомандующий в Москве, сенатор, первоприсутствующий в Сенатской конторе в Москве, — словом, важное должностное лицо, вельможа.

Предупредим читателя заранее — его ждет полное разочарование: в этих письмах он не обнаружит ни размышлений государыни о важнейших событиях внутренней и внешней политики России, ни секретной дополнительной информации, которой должен был руководствоваться вельможа, ни просьб о советах, как поступить в тех или иных случаях, исходя из местной обстановки.

Перед нами не послания государыни к вельможе, а распоряжения средней руки помещицы, проявлявшей живой интерес не к хозяйственной жизни своей вотчины, а к семейному быту крепостных, их поведению, отношениям с соседями, нравственности и т. д. Салтыков был низведен до уровня приказчика, призванного выполнять иногда сердобольные, а иногда и суровые повеления барыни.

Анна Иоанновна переписывалась с Салтыковым довольно интенсивно: за 1732 г. она отправила 87 писем, за 1733 г. — 56, за 1734 г. — 64 письма. В последующие годы интерес императрицы к своему корреспонденту угас, что выразилось не только в уменьшении числа посланий, но и в изменении их содержания. В названные выше годы в них преобладали повеления, лично исходявшие от императрицы и адресованные только Салтыкову. Эти распоряжения носили сугубо частный характер. Начиная с 1736 г. подобные письма почти исчезли. Канцелярия Салтыкова регистрировала получение указов общероссийского содержания: в 1736 г. их было получено 26, а в следующем и того меньше — 23. Салтыков по неизвестным причинам оказался в немилости, и в начале 1736 г. ему довелось прочитать

указ, появление которого в предшествующие годы исключалось. Вместо обычного обращения «Семен Андреевич» — казенное: «Указ нашему генералу и обер-гофмейстеру графу Салтыкову». Вместо выражения благодарности типа: «Сам ты можешь видеть, что я вашей службою довольна» — Салтыков получил выговор за серьезные упущения в управлении старой столицей: «Уведомились мы, что в Москве не только в коллегиях и канцеляриях, но и в Сенатской конторе, где вы сами первейшим членом присутствуете, дела не только медленно, но и от большей части, по партикулярным страстям от судей производятся, челобитчикам, ходя за делами, великие убытки причиняются...»⁴².

Поскольку предъявленные обвинения не отличались конкретностью, Салтыков оправдывался общей фразой: «Якобы я вашего величества команду содержу слабо и дела не скоро делаются и будто бы бабы в дела вмешиваются». Салтыков заверял, что управляет он «собою, а не людьми», руководствуясь при этом не страстями, а истиной. Но главный довод в свою пользу он рассчитывал приобрести в эмоциональном воздействии на разгневанную императрицу: «Вида вашего величества на меня, нижайшего раба, гнев, стражду душевно и могу умереть безвременно и в невинности моей пред вашим императорским величеством подписуюсь под смертью»⁴³.

Кто же тогда правил империей, отвечал на повседневные запросы правительственных инстанций разного уровня, регулировал поток правительственных распоряжений? Два человека: Остерман и Бирон.

Глава 4

НЕМЦЫ СМЕНИЛИ НЕМЦЕВ

Анна Иоанновна умерла внезапно. В конце сентября 1740 г. у нее появились припадки подагры; на это никто не обратил внимания: причиной недомогания сочли совсем не подагру, а присущую критическому возрасту императрицы женскую болезнь. Вскоре появились кровохарканье и сильные боли в пояснице, которые связали с нарывом в почках. Но и это не насторожило императрицу, надеявшуюся быстро преодолеть недуг.

Вскрытие показало, что врачи ошиблись в диагнозе: на самом деле в почках образовались камни, один из которых запер мочевой пузырь, что вызвало воспаление.

Более всех такая развязка встревожила Бирона: смерть Анны Иоанновны грозила вернуть его, как любили тогда выражаться, в «первобытное состояние». Курляндское дворянство его презирало и терпело только потому, что за его спиной стояла колоссальная империя; в России этого надменного и жестокого выскочки ненавидели не меньше.

Тревога Бирона усугублялась тем, что Анна, все еще надеявшаяся справиться с болезнью, отказывалась подписать завешание и держала его под подушкой. Отказ узаконить документ, согласно которому на престоле появлялся грудной ребенок, по версии Бирона, объяснялся тем, что «ежели де его объявить великим князем, то уже всяк будет больше за ним ходить, нежели за нею».

Бирон не стал покорно ждать развязки. По совету фельдмаршала Миниха и барона Менглена, облеченных его доверием, он стал настойчиво домогаться подписи Анны под завешанием. Коленопреклоненно он умолял царицу протянуть ему, человеку, пожертвовавшему ради нее собою, руку помощи и назначить его регентом. В этом случае он рассчитывал сохранить власть, положение и богатства. Одновременно он организовал ходатайства столичных вельможных персон, чтобы права регента были предоставлены ему и никому другому. В итоге подпись императрицы под завешанием все-таки появилась. Бирон добился своего.

Теперь попробуем уяснить, какое отношение имел двухмесячный сын герцога Брауншвейгского Иоанн Антонович к царствующей в России династии Романовых?

Петр Великий положил начало династическому обычаю, впоследствии прочно укоренившемуся и соблюдавшемуся до Николая II включительно, выдавать дочерей и племянниц замуж за иноземных государей и принцев — брачные союзы считались надежным фундаментом союзов политических. Свою старшую дочь — Анну Петр выдал за герцога Голштинского, одного из претендентов на шведскую корону. Это позволяло царю плантажировать Стокгольм угрозой посадить на шведский трон своего зятя. Младшую же дочь — Елизавету Петр настойчиво пытался соединить брачными узами с будущим французским королем Людовиком XV.

Столь же прозрачными были политические мотивы и при определении судьбы царских племянниц — дочерей сводного брата Петра Иоанна Алексеевича. Как мы помним, Анну Иоанновну выдали замуж за герцога Курляндского, ее старшую сестру, Екатерину, — за герцога Мекленбургского Карла Леопольда. От этого брака в 1718 г. появилась на свет дочь. При рождении девочку нарекли Елизаветой Екатериной Христиной, а после принятия православия стали именовать Анной Леопольдовной.

У ее матери не сложилась семейная жизнь с вздорным и деспотичным супругом, и в 1722 г. вместе с дочерью она вынуждена была покинуть Мекленбургское герцогство и вернуться в Россию. Герцогиня Мекленбургская Екатерина Иоанновна умерла в 1733 г., и с тех пор Анна Леопольдовна находилась на попечении Анны Иоанновны. Устраивая брачные дела племянницы, императрица не считалась ни с ее чувствами, ни с вкусами, а руководствовалась мотивами, жертвой которых стала она сама, когда ее дядя Петр Великий велел ей выйти замуж за герцога Курляндского. Правда, у Анны Леопольдовны все же был выбор — она могла выйти замуж либо за ненавистного ей сына временщика Бирона, либо за столь же нелюбимого, но менее презираемого герцога Брауншвейгского Антона Ульриха, жившего в России с 1733 г.

Анна Леопольдовна избрала Антона Ульриха — человека невзрачного и серого, по отзывам современников, не обладавшего никакими достоинствами, кроме личной отваги. Бирон был шокирован плюгавым видом герцога, не соответствовавшим его возрасту. В январе 1737 г. Антон Ульрих исхлопотал у императрицы разрешение отправиться на театр военных действий, пробыв там около девяти месяцев и воевал храбро. Он возмужал, вырос и сильно похудел: «Без лести, это красивый мужчина», — доносил своему двору Клавдий Рондо¹. Свадьба состоялась 14 июля 1739 г. и обошлась казне в кругленькую сумму. 24 августа 1740 г. принцесса Анна родила сына, нареченного Иоанном. Ему уготована была судьба суровая и неблагоприятная. Именно этому младенцу Анна Иоанновна и завещала российскую корону.

Могла ли императрица объявить наследником более близкого по крови представителя царствующего дома? Безусловно. К возможным кандидатам

можно отнести ее двоюродную сестру Елизавету, дочь Петра Великого, и его внука Петра Федоровича. Последний также имел известное преимущество перед младенцем Иоанном Антоновичем — он родился в 1728 г.

Почему же все-таки предпочтение было отдано представителю династии, располагавшему наименьшими правами на престол? Объяснение несложное: в борьбе за трон соперничали две ветви Романовых.

Передавая трон грудному ребенку, императрица руководствовалась интересами «своей» ветви династии — потомков Иоанна Алексеевича. Естественно предположить, что преимущественные права на регентство при малолетнем императоре полагались его матери. Но Бирон преградил ей путь к опекунству. Перед смертью Анна Иоанновна подписала составленный Остерманом устав о регентстве Бирона, которому предоставлялась «полная мочь» управлять «все государственные дела, как внутренние, так и иностранные», до достижения Иоанном Антоновичем 17-летнего возраста. В случае смерти Иоанна Антоновича престол переходил к его еще не родившемуся брату, а если и он умрет, то императорская корона должна украсить голову «из того же супружества рожденных принцев». Все эти перемены не задевали интересов Бирона — он оставался регентом и при новых императорах. В случае отказа Бирона от регентства устав предписывал «с общего совета и согласия Кабинета, Сената, генерал-фельдмаршалов и прочего генералитета учредить такое правление», которое бы шло на пользу империи и подданным до совершеннолетия наследника.

Устав обнародовали 18 октября, а на следующий день Бирон вступил в права регента. По поводу этого факта С. М. Соловьев заметил: при жизни Петра Великого среди старообрядцев ходили слухи о подмененном в младенчестве царе — Россией правил не настоящий Петр, а немец. «Молва теперь обрела значение были — страной действительно должен был править немец. Но теперь этот самый ненавистный фаворит-иноземец, на которого привыкли складывать все бедствия прошлого тяжелого царствования, становится правителем самостоятельным; эта тень, сброшенная на царствование Анны, этот позор ее становится полноправным премником ее власти».

Случившееся вызвало множество вопросов у современников. Поручик Преображенского полка Петр Ханыков рассуждал:

— Для чего де так министры сделали, что управление Всероссийской империи мимо его императорского величества (Иоанна VI. — Н. П.) родителем поручили его высочеству герцогу Курляндскому?

Своему собеседнику сержанту Алфимову Ханыков заявил:

— Что де мы сделали, что государева отца и мать оставили; они де, надеюсь, на нас плачутся, а отдали де все государство какому человеку регенту! Что де он за человек? Лучше бы до возрасту государева управлять государством отцу его, государеву, или матери.

Алфимов соглашался:

— Это бы правдивее было.

Спустя несколько дней Алфимов встречался с поручиком Преображенского полка Михаилом Аргамаковым, который, видимо, в состоянии сильного подпития, рыдая, говорил:

— До чего мы дожили и какая нам жизнь? Лучше бы де сам заколол себя, что мы допускаем до чего, и хотя бы де жили из меня стали тянуть, я де говорить то не престану.

Узнав от Алфимова о настроении Аргамакова, Ханыков счел возможным перейти от слов к делу: он с Аргамаковым «учинили бы тревогу барабанным боем», к ним присоединились бы другие солдаты, «и мы бы де регента и сообщников его, Остермана, Бестужева и Никиту Трубещкова убрали». Собеседников схватили и подвергли пыткам.

Недовольство обнаружилось и в высших слоях общества. Граф Михаил Головкин советовал гвардейским офицерам, протестовавшим против назначения регентом Бирона, выразить недовольство кабинет-министру князю Алексею Черкасскому. Эту миссию возложил на себя подполковник Любим Пустошкин. В сопровождении нескольких офицеров он явился к Черкасскому. Тот, по словам Миниха-младшего, терпеливо их выслушал, похвалил за намерение, велел прийти за ответом на следующий день, а сам отправился к герцогу с доносом. Все причастные к делу офицеры были арестованы и подверглись бы суровому наказанию, если бы регентство Бирона продержалось еще неделю-другую. А так все ограничилось пытками.

Свое правление Бирон начал с милостей. Из ссылки был возвращен кабинет-министр князь А. М. Черкасский, придворному пииту Василию Кирилловичу Третьяковскому пожалованием 360 рублей и компенсировали ущерб, нанесенный побоями Вольнского. Но главная милость состояла в уменьшении размеров подати на 1740 г. на 17 копеек. Еще одним указом Бирон попытался избавить себя от репутации расточительного человека: он предписал носить платье, сшитое из материи не дороже четырех рублей за аршин.

Другим средством укрепления своих позиций Бирон считал репрессии, которые он щедро «расточал» своим реальным и потенциальным недругам с первого дня регентства. Сколь неуверенно чувствовал себя Бирон в новом качестве, явствует из его предписания главнокомандующему в Москве графу С. А. Салтыкову, датированного 26 октября 1740 г., то есть неделю спустя после вступления в должность регента. Бирон велел «искренним образом осведомиться», что говорят в Москве «между народом и прочими людьми о таком нынешнем определении». О мере секретности указа можно судить по тому, что донесение о результатах тайных наблюдений Салтыков должен был сочинить «своею рукою», минуя канцелярию?

Бирон не без оснований полагал, что к направленным против него толкам причастен Антон Ульрих, и, чтобы подтвердить эту догадку, велел арестовать его адъютанта Петра Граматина. Существенных сведений, компрометирующих Брауншвейгскую фамилию, следователям выколотить не удалось: недовольство Антона Ульриха своим унижительным положением, равно как и тем, что его, а также мать императора обошли при назначении

регентом, были известны и без показаний Граматина. Тем не менее Бирон предпринял меры по выдворению Брауншвейгской фамилии из России.

Первый шаг на пути преследований родителей императора состоял в принуждении Антона Ульриха подать прошение об освобождении от всех военных должностей. Подоплека этой меры прозрачна — лишить его возможности использовать военную силу: он был подполковником Семеновского полка и полковником Брауншвейгского полка. В указе об отрешении принца от этих должностей Бирон не преминул воспользоваться издевательской формулировкой, якобы исходившей от двухмесячного ребенка: «Понеже его высочество, любезнейший наш родитель желание свое объявил имевшиеся у него военные чины снизить, а мы ему в том отказать не могли, того ради чрез сие военной коллегии для известия». Весь этот фарс был разыгран при активном участии Миниха, рассчитывавшего, что он будет должным образом благодарен. Но фельдмаршал ошибся.

Временщика погубила не только его дурная слава, но и свара внутри немецкого лагеря, где соперничали за власть каждый против всех и все против каждого. Триумvirат Бирон — Миних — Остерман был бы неприступен для всех противников. Но в том-то и дело, что лица, стоявшие у подножия трона, вцепились друг в друга мертвой хваткой, ревниво следили за своими успехами и норовили в любую минуту подставить ножку противнику.

Начнем с того, что в самой Брауншвейгской семье напрочь отсутствовали любовь и согласие. Непрерывные ссоры, одной из причин которых были нескрываемые интимные связи Анны Леопольдовны с фаворитом, создавали разноречивую внутреннюю и внешнюю политику — Остерман сделал ставку на Антона Ульриха, в то время как мать императора игнорировала его советы и прислушивалась к мнению вице-канцлера Головкина. Брауншвейгский дом опасался своего выселения из России, которым то и дело страдал Бирон. Кроме того, герцог шантажировал брауншвейгцев перспективой посадить на трон голштинскую династию в лице Петра Федоровича.

Но и Бирон не чувствовал себя в безопасности. Перед ним маячила угроза лишиться регентства. Неуютно было и Остерману. Ему приходилось постоянно лавировать между Бироном, Минихом и членами Брауншвейгской семьи. Считаться с «конъюнктурой» было для Остермана делом привычным, но с каждым годом ему, прикованному к постели, становилось все труднее отдаваться этому занятию.

Всех их лилал спокойствия Миних — человек беспредельного честолюбия, готовый ради достижения цели на решительные и рискованные действия, что он с успехом и продемонстрировал во время свержения Бирона. Но и его не покидало чувство опасности. Для него угроза лишиться власти и почестей исходила и от Бирона, и от Брауншвейгской фамилии. Соперничавшие стороны с легкостью заключали союзы и столь же легко их расторгали. Бывшие союзники становились заклятыми врагами.

Так, фельдмаршал Миних поддержал Бирона в его выпадах против Антона Ульриха и в претензиях на регентство, надеясь получить чин генералиссимуса. Его честолюбивые замыслы простирались вплоть до надежд стать фактическим правителем страны, а Бирону он отводил чисто декоративную роль регента.

Расчеты Миниха не оправдались. Он не извлек никаких выгод из регентства Бирона, но быстро утешился, переметнувшись на сторону Анны Леопольдовны. Перемена ориентации свершилась с фантастической скоростью. 19 октября был обнародован указ о назначении Бирона регентом, а 7 ноября Миних во время аудиенции у Анны Леопольдовны внимал жалобам рыдавшей принцессы: «Граф Миних! Вы видите, как обращается со мною регент. Мне многие надежные люди говорят, что он намерен меня выслать за границу». Миних дал слово освободить страну от тирана, а на следующий день заявил матери императора о намерении ночью схватить Бирона. Принцесса малость покуражилась, но затем сказала: «Ну, хорошо, только делайте поскорее!»³.

Миних отнюдь не нуждался в подобных советах, ибо привык действовать прямолинейно и решительно. В канун переворота Миних, как часто бывало и до этого, обедал у Бирона, который пригласил фельдмаршала и на ужин. Как бы предчувствуя беду, Бирон не мог сосредоточенно вести беседу и вдруг задал своему гостю вопрос, вызвавший у того подозрение, не догадался ли Бирон о перевороте. Он спросил Миниха, «не предпринимал ли он во время походов каких-нибудь важных дел ночью». Миних оторопел и пробормотал что-то невразумительное, но для себя решил действовать в эту же ночь.

XVIII век примечателен политической нестабильностью. Но переворот, произошедший в ночь на 8 ноября 1740 г., не имел аналогов и отличался необычайной легкостью: ему не предшествовали тайные совещания заговорщиков, разработка плана действий и т. д. Фельдмаршал Миних не считал нужным поделиться своим замыслом даже с собственным сыном, камергером Анны Леопольдовны, а последняя не посчитала надобным известить о надвигавшихся событиях собственного супруга. Вот свидетельство Миниха-младшего: «В сие самое время (в ночь на 8 ноября. — Н. П.) лежал я, не ведая ничего, в передней комнате у малолетнего императора, будучи тогда дежурным камергером, в приятнейшем сне, почему немало ужаснулся, как вдруг, пробудясь, увидел принцессу, на моей постели сидящую. Я спросил о причине, она трепещущим голосом отвечала:

«Мой любезный Миних, знаешь ли, что твой отец предпринял? Он пошел арестовать регента. — К чему присовокупила еще: — Дай Боже, чтобы сие благополучно удалось!»

И я того же желаю, сказал я, и просил, чтобы она не пугалась, представляя, что отец мой не преминул надежные на то принять меры.

Потом принцесса с фрейлиной Менгден, которая одна при ней находилась, пошла в спальню малолетнего императора, а я скорее выскочил из постели и оделся. Немного спустя пришел и принц»⁴.

Успеху переворота способствовали благоприятные обстоятельства: в ночь, когда Миних решил свергнуть регента, во дворце дежурили солдаты и офицеры Преображенского полка, командиром которого он состоял. Вызвав адъютанта полковника Манштейна, Миних вместе с ним отправился в Зимний дворец, где разбудили Анну Леопольдовну, которая благословила их действовать.

После разговора с принцессой Миних направился к главному караулу и обратился к его солдатам с призывом арестовать Бирона. Упрашивать караул не пришлось — согласились тут же. Оставив на гауптвахте при знамени 40 рядовых и офицера, фельдмаршал и полковник с 80 человеками выдвинулись в направлении Летнего дворца, где находился Бирон.

Не дойдя до дворца, Миних велел Манштейну отправиться в покои Бирона и взять его живым или мертвым. Охранявшие регента караульные знали полковника в лицо и пропустили его беспрепятственно, полагая, что тот послан с каким-то срочным поручением. Не зная расположения комнат во дворце и не ведая, в каких покоях находился регент с супругой, Манштейн, что называется, на ощупь, благополучно и без шума достиг комнаты, где безмятежно почивала супружеская пара.

Герцог и герцогиня не проснулись даже от шума открываемой двери, одна из половинок которой, к счастью, оказалась не закрыта задвижками сверху и снизу. Подойдя к кровати, полковник громко окликнул Бирона, заявив о своем желании переговорить с ним. Регент сообразил, что появление в его апартаментах Манштейна в неурочное время не сулило ничего хорошего, и поднял крик. Сначала он попытался спрятаться под кроватью, а затем вступил в единоборство с непрошеным визитером. Подоспевшие гренадеры без труда совладали с орудовавшим кулаками Бироном: повалили его на пол, заткнули рот платком, связали руки офицерским шарфом, накинули шинель и в таком виде принесли в карету, немедленно доставившую его в Зимний дворец.

В ту же ночь тот же Манштейн арестовал младшего брата Эрнста Бирона — Густава, а другой адъютант Миниха взял под стражу Бестужева-Рюмина, любимого регентом вице-канцлера. Сколь неожиданным был арест для последнего, явствует из вопроса, заданного им арестовывавшему его офицеру:

«Что за причина немилости регента?»

Английский посол Финч подтвердил совершеннейшую неосведомленность вельмож о событиях во дворце: «Здесь никто 8 ноября, ложась в постель, не подозревал, что узнает при пробуждении». Даже кабинет-министр Черкасский 9 ноября, то есть в день, когда Бирон уже содержался в каземате Шлиссельбургской крепости под крепким караулом, предпринимал попытку пробиться в его апартаменты. Не имел понятия о случившемся и всезнающий Остерман. Вице-канцлер по своему обыкновению сказался больным. Он решил повременить с поздравлениями Анне Леопольдовне до тех пор, пока не убедился, что судьба Бирона решена окончательно и бесповоротно: «Остерман при первом известии от великой

княгини почувствовал такие колики, что извинился в невозможности явиться к ней, и прибыл ко двору только когда за ним прислали вторично с известием об аресте регента»⁵.

К шести утра регентство Бирона закончилось. На свободе оставался еще один брат Эрнста Бирона — Карл, московский генерал-губернатор, но он, как и зять Бирона рижский генерал-губернатор Бисмарк, пользовался этой свободой ровно столько, сколько времени понадобилось курьеру, чтобы преодолеть расстояние, отделявшее новую столицу от старой и от Риги. Когда в Москве арестовывали Карла Бирона, тот, по словам Финча, отдавая шпагу, заявил: «Как жестоко, что я, который — не помешай мне брат — еще два года назад оставил бы русскую службу и возвратился на родину, теперь должен стать навеки несчастным из-за чело- века, поведение которого всегда порицал и которому всегда предсказывал печальный конец»⁶. Бирона с семьей сначала повезли в Александро-Невский монастырь, но в тот же день, 8 ноября, отправили в Шлиссельбург. Саксонский дипломат Пенольд доносил, что Бирон до отправления своего в Шлиссельбург предлагал офицеру дорогие подарки за то, чтобы тот предоставил ему случай броситься в ноги к Анне Леопольдовне⁷.

Несмотря на ранний час, весть о случившемся во дворце быстро разнеслась по столице. На Дворцовую площадь прибывали полки и горожане, бурно выражавшие радость по поводу того, что наступил конец правления деспота, державшего в страхе страну.

В то время как на площади жгли костры и распивали вино, предоставленное толпе по повелению Анны Леопольдовны, во дворце лихорадочно закрепляли успех: вельможи присягали новой правительнице, составлялся манифест о происшедшем. В манифесте от имени Синода, министров и генералитета было объявлено, что герцог оказывал родителям императора «великое непочитание», сопровождавшееся «непристойными угрозами». В XVIII в. перевороты повелось совершать именем народа, отражая в манифестах его «волеизъявление». Удаление Бирона исключением не явилось: «И поэтому принуждены себя нашли по усердному желанию и прощению всех наших верных подданных духовного и мирского чина одного герцога от регентства отрешить».

Сделав дело, Миних засел за составление наградного списка. Сам он, как мы уже знаем, претендовал на «скромный» чин генералиссимуса. Остермана намечалось облагодетельствовать чином великого адмирала, князя Алексея Михайловича Черкасского — чином канцлера, а Михаила Гавриловича Головкина — вице-канцлера.

Указ о наградах был обнародован 11 ноября, но Миних, единственный виновник совершившегося переворота, не получил вождя чина: генералиссимусом был пожалован отец императора. Миних должен был довольствоваться ролью первого министра. Составляя указ о пожаловании Антона Ульриха, Миних допустил бестактность, грубо уязвив самолюбие принца: из документа следовало, что чин генералиссимуса за его великие заслуги было бы справедливо присвоить Миниху, но он, Миних, отрекается

от этого чина в знак «его высочества почтения». Остерман не слыл бы великим интриганом, если бы не воспользовался этой оплошностью.

После падения Бирона пришел черед и вражде Миниха с Остерманом. Андрей Иванович не упустил случая использовать высокомерный тон указа для возбуждения недовольства правительницы. Вскоре Миних дал еще один повод для осуждения своего поведения: он позволил себе третиловать новоиспеченного генералиссимуса, информируя его только о своих второстепенных распоряжениях. Правительница пошла навстречу жалобам супруга и велела Миниху совещаться с ним по всем делам и строго соблюдать субординацию. Тем самым самолюбию Миниха был нанесен чувствительный удар.

Успеху Остермана благоприятствовали обстоятельства: главное из них состояло в том, что иноземец наемник Миних не имел своей, как тогда говорили, партии, то есть сторонников из вельмож, готовых где нужно замолвить словечко, защитить от нападков либо поддержать его притязания. Он не располагал к себе окружающих из-за чрезмерного высокомерия и себялюбия. Проискам Остермана способствовала и серьезная хворь фельдмаршала, уложившая его в постель и лишившая возможности наносить ответные удары.

Наблюдательные иностранцы пророчили Миниху плохой конец, если тот попытается низложить Остермана. «Он по горячности и недостатку опыта может сгубить себя; с другой стороны если граф останется у дел, его способности и опытность совершенно подавят фельдмаршала». Даже недалекий Антон Ульрих как-то произнес вещие слова: «Если он (Миних. — Н. П.) не будет осторожнее, он вскоре может последовать за герцогом».

Между тем Остерман усердно копал яму под Миниха. Определив фельдмаршала в подчинение к Антону Ульриху, великий адмирал и еще более великий интриган стал исподволь убеждать правительницу, насколько опасен Миних интересам России в должности первого министра. Он, нащептывая Андрей Иванович, не обладал ни опытом, ни знаниями, чтобы направлять действия правительницы как во внутренней, так и во внешней политике, ибо вся предшествующая его служба была связана с армией, военной администрацией и сражениями. Неопытность, неосторожность и, выражаясь современным языком, некомпетентность первого министра могли ввергнуть страну в нежелательный военный конфликт либо нанести урон ее престижу.

Андрей Иванович преуспел и здесь — 28 января 1741 г. последовал указ Анны Леопольдовны, осуществивший его хитроумный план разделения дел в кабинете министров на три департамента, каждому из которых поручалась определенная сфера управления. Первому департаменту во главе с Минихом доверялось руководство всеми полками регулярной и нерегулярной армии, крепостями, артиллерией и в придачу Ладожским каналом. Второй департамент под началом Остермана ведал иностранными делами. Андрею Ивановичу, плававшему по морю только в качестве

пассажира, поручались Адмиралтейство и флот. Наконец, третьему департаменту, отданному для заведования великому канцлеру князю Черкасскому и вице-канцлеру графу Головкину, поручались все вопросы внутренней политики: управление Сенатом и Синодом, сбор налогов, промышленность, торговля, юстиция и прочее.

Цель реорганизации Кабинета министров видна невооруженным глазом — ограничить власть первого министра. Ловкий ход Остермана лишил Миниха не только беспредельных прав, на которые тот претендовал, но и ограничил его власть даже в чисто военной сфере: каждый шаг фельдмаршала отныне должен был быть согласован с генералиссимусом. Так отблагодарила Анна Леопольдовна Миниха, на блюдечке принесшего ей всю полноту власти при малолетнем сыне.

Перенести такое тщеславному Миниху было выше его сил, и он решил подать в отставку. Предпринимая этот опрометчивый шаг, фельдмаршал полагал, что его заслуги, авторитет и опыт столь велики, что без него беспомощная Анна Леопольдовна никак не сможет обойтись: в отставке ему будет отказано, а правительница с супругом начнут умолять его сохранить за собой все посты и полноту власти первого министра. Возможно, фельдмаршал втайне надеялся на то, что он сам продиктует условия своего возвращения.

Каково же было удивление Миниха, когда он узнал о подписанном Анной Леопольдовной 3 марта указе генералиссимусу, в котором просьба фельдмаршала об отстранении «его от военных и статских дел» была удовлетворена! Только теперь он понял, что стал жертвой собственной горячности, — его недруги только и ждали того момента, когда он совершит неосторожный шаг. Он и подставился сам, причем не подавая письменного прошения об отставке: об этом он сгоряча обмолвился в беседе с правительницей. Остерман подсел своего конкурента в борьбе за власть.

Обнародование указа сопровождалось церемонией, с одной стороны, унижающей достоинство фельдмаршала, а с другой — свидетельствующей о страхе перед ним: вдруг он решится на ответные действия. В день подписания указа об отставке во все подчиненные Миниху учреждения были направлены копии, а на другое утро об этом объявили на всех столбчатых перекрестках.

Как воспринял свою отставку Миних? Если верить Финчу, то с чувством глубокой признательности правительнице. «В этом заявлении, — сказал фельдмаршал, — вижу высшую милость, которой только могла наградить меня правительница, потому принимаю ее с величайшей благодарностью». Вряд ли эти слова отражают истинные чувства Миниха. И что в той обстановке оставалось сказать отставленному фельдмаршалу? Выражение недовольства и тем более протеста могло вызвать суровые ответные меры правительницы — ссылку либо заключение в тюрьму. Поэтому Миниху не оставалось ничего другого, как кланяться и благодарить, тем более что ему в утешение назначен был колоссальный пенсион в сумме 15 тысяч рублей в год, а также право появляться при дворе.

Вызывает удивление, как не отличавшаяся решительностью правительница отважилась на подобный шаг. Надо полагать, что внушения со стороны пали на благодатную почву, ибо она не строила иллюзий относительно морального облика фельдмаршала: он мог повторить процедуру отнятия регентства у Анны Леопольдовны с той же легкостью, с какой он это проделал в отношении Бирона. Правительница считала, и справедливо, что «арест бывшего регента вызван скорее расчетами личного честолюбия графа Миниха, нежели его привязанностью к ее высочеству или его желанием быть ей полезным; она не может уважать изменника, хотя и пользуется плодами измены»⁹. Смущало ее и непомерное честолюбие графа, и невыдержанность его характера.

Претензии Миниха на власть не соответствовали его возможностям с этой властью справиться. Он был лишен необходимых государственному деятелю качеств — гибкости, широты взглядов, способности к компромиссу; их заменяли солдатская прямолинейность и ставка на силу.

Финч уверял королевское правительство в Лондоне, что правительница при свидетелях заявляла, что «невозможно более сносить высокомерный нрав фельдмаршала; он просто не слушается самых положительных ее приказаний и даже осмеливается возражать ее супругу; у него слишком много честолюбия, слишком беспокойный характер, ему нельзя доверяться».

Судьба Миниха отнюдь не уникальна. Логика здесь несложная — человек, предоставивший корону монарху и отнявший ее у другого, мог с такой же легкостью отнять ее и у того, кого только что облагодетельствовал. Миних в этом плане классический образец. Анна Леопольдовна и ее окружение, вероятно, полагали, что Миниха следует остерегаться. Укрепить их подозрения могли показания Бирона, содержавшегося в Шлиссельбурге.

Сначала герцог ограничился обвинением фельдмаршала в том, что именно благодаря настояниям его и никого другого он согласился стать регентом. Когда же Бирону стало известно об отставке Миниха, а следовательно, и о лишении того способности мстить и вредить заключенному, последний стал обвинять фельдмаршала во всех мыслимых и немыслимых намерениях: посадить на трон представителя голштинской фамилии, изменить состав гвардейских полков, укомплектовав их недворянскими выходцами, в неблагодарности к тем, кто ему покровительствовал: Остерману, Ягужинскому и др.

Не все бироновские обвинения можно считать обычными и навеянными надеждой избежать суровой кары. Но именно ради собственного блага Бирон делал главное предостережение правительнице: не слишком доверять фельдмаршалу.

Впрочем, это не облегчило участи герцога. Как и всегда, для разбирательства поступков и преступлений временщика была назначена чрезвычайная комиссия со следственными и судебными функциями. Следствие по делу Бирона вела генералитетная комиссия из восьми человек. 8 апреля 1741 г. она вынесла приговор: Бирона предать четвертованию

с конфискацией имущества. Анна Леопольдовна проявила милосердие, заменив смертную казнь ссылкой всей «его фамилии»: членов семьи, обоих братьев и зятя Бисмарка в Сибирь, где содержать их в «вечном заключении». Манифест обвинил Бирона в стремлении стать государем, в намерении лишить трона Брауншвейгскую фамилию, в личном обогащении: в Россию он прибыл в «мизерном состоянии», а стал владельцем колоссальных богатств.

Итак, Остерман достиг цели: Миних отстранен от дел, Бирон сослан в Пелым, а он, великий адмирал, сохранил за собой все должности и фактически, как и при Анне Иоанновне, сосредоточил в своих руках всю полноту власти. Андрей Иванович торжествовал, но победа оказалась пирровой.

Распад немецкого триумвирата Остерман — Бирон — Миних, уподобление добравшихся до власти немцев паукам в банке, изничтожившим друг друга, лишь создавали видимость укрепления позиций Остермана. В действительности, оставшись в одиночестве, он ускорил собственное падение. Поведение Андрея Ивановича во времена правления Анны Леопольдовны изобличает в нем человека, в избытке наделенного качествами интригана и мелкого честолюбца, но лишённого государственной мудрости.

При этом возможностей проявить свои таланты интригана в полной мере у Остермана значительно поубавилось. Будучи уже несколько лет прикованным к постели, он фактически утратил контакт с внешним миром и оказался в изоляции вместе с Брауншвейгской фамилией. Если Бирон за долгие годы своего правления сумел расставить своих родственников и клевретов на некоторые ключевые должности, а фельдмаршал Миних пользовался репутацией известного полководца среди людей военных, то Остерман не располагал ни своими ставленниками, ни связями. Новоиспеченный генералиссимус Антон Ульрих тоже известностью не пользовался. Слабый и ограниченный, он имел только одно достоинство — врожденную неустранимость.

Анна Леопольдовна приблизила час своего падения странным поведением. По отзыву Фридриха II, она, «при некоторой трезвости ума, отличалась всеми прихотями и недостатками дурно воспитанной женщины»¹⁰. У нее абсолютно отсутствовали способности государственного деятеля. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на ее окружение и распорядок дня. По свидетельству современника, наблюдавшего порядки при дворе, Анна Леопольдовна была женщиной беспечной и ленивой, значительную часть суток проводила в спальне вместе с девицей Юлианой Менгден, занимаясь праздным судачеством о придворных новостях. Пребывание в спальне позволяло правительнице быть непричесанной и экипированной так, чтобы лишь прикрывать свою наготу. Миних-старший зарегистрировал: «Она была от природы неряшлива, повязывала голову белым платком, идучи к обедне, не носила фижм и в таком виде появлялась публично за столом и после полудня за игрой в карты с избранными ее

партнерами, которыми были принц, ее супруг, граф Линар, министр польского короля и фаворит великой княгини, маркиз де Ботта, министр венского двора, ее доверенное лицо, оба враги прусского короля, господин Финч, английский посланник»¹¹.

Доверие, любовь и привязанность Анны Леопольдовны к фрейлине были настолько велики, что правительница соглашалась принимать только тех, кто был угоден фаворитке. А та протезировала своим родственникам и иноземным послам, приглашаемым по вечерам играть в карты.

Эти свойства характера Анны Леопольдовны отметил даже благожелательно относившийся к ней Финч: «...Не могу не признать в ней значительных природных способностей, известной проницательности, чрезвычайного добродушия и гуманности, но она была несомненно слишком сдержанна по темпераменту; многолюдные собрания ее тяготят, большую часть времени она проводит в апартаментах своей фаворитки Менгден, окруженная родней этой фрейлины»¹².

Привязанность Анны Леопольдовны к Менгден удивляла современников. Один из них отметил, что страсть любовника к своей возлюбленной не идет ни в какое сравнение со страстью правительницы к фаворитке¹³. Впрочем, и Менгден отвечала привязанностью и даже жертвенностью. Она, например, ради интересов своей повелительницы согласилась выйти замуж за ее фаворита графа Линара. Этим фиктивным браком (в августе состоялась помолвка с роскошным ужином из 74 блюд, на котором присутствовала правительница с супругом) пытались легализовать пребывание при дворе фаворита Анны Леопольдовны. Более того: фрейлина согласилась сопровождать свергнутую правительницу в ссылку, что не сулило Менгден ни личной радости, ни семейного счастья. Правда, такая жертвенность стоила немалых денег — милости на многочисленную семью Менгденов сыпались как из рога изобилия. В январе 1741 г. правительница пожаловала фаворитке Юлии Менгден поместье в Ливонии, по слухам, приносящее ежегодный доход в 140 тысяч рублей. Еще раньше, в связи с принятием Анной Леопольдовной титула великой княгини, она пожертвовала фрейлине десять тысяч рублей, а перед рождением дочери Екатерины — тридцать. Подарков в одну, две, три тысячи было бесконечно много, и они не остались в памяти Юлии. Брат и три сестры Менгден были пристроены на престижные придворные должности. Они тоже были щедро пожалованы: матери и брату фаворитки выдано было по четыре тысячи рублей, сестрам — по тысяче. Покровительство и расположение императрицы к одной семье, к тому же иноземной, вынудило анонимного автора обратиться к Анне Леопольдовне с предостережением, что подобное поведение вызывает недовольство подданных¹⁴.

Во время непродолжительного правления Анны Леопольдовны положение немцев и иностранцев вообще укрепилось еще более, нежели в царствование Анны Иоанновны. Немцы заняли в государстве ключевые позиции: генералиссимусом стал Антон Ульрих Брауншвейгский, всеми делами заправлял вестфалец Остерман, Коммерц-коллегией руководил

лифляндец, отец фаворитки барон Менгден, Карл Левенвольде был обер-гофмаршалом, саксонец Александр Курт Шемберг пребывал во главе горной администрации страны и за неведомые заслуги удостоился от правительницы ордена св. Александра Невского.

Вместо того чтобы опереться на опытных советников, 23-летняя правительница руководствовалась внушением своей недалекой фаворитки. Родом из Лифляндии, та получила деревенское воспитание, готовясь стать послушной супругой какого-либо преуспевающего помещика, но случай вознес ее к вершинам власти, которой она распорядилась, как домашняя хозяйка.

Русских вельмож раздражало не только пристрастие правительницы к иностранцам, но и невозможность проникнуть к ней для доклада. Если все же удавалось добиться аудиенции, то у робкой и нерешительной правительницы затруднительно было получить резолюции — она предоставляла все дела управления на усмотрение вельмож и чиновников. Деловые разговоры ее легко утомляли и удручали, она без труда поддавалась сторонним влияниям, всегда имела грустный и унылый вид.

Природа все же наградила правительницу одним достоинством. По свидетельству Манштейна, «она была очень хороша собою, прекрасно сложена и стройна; она свободно говорила на нескольких языках». Эти достоинства, быть может, ценные для частного лица, не покрывали главного ее недостатка — отсутствия склонности, не говоря уже о способностях, управлять государством и утруждать себя заботами, выходящими за пределы приватных интересов.

На горизонте показалась фигура нового Бирона. Им был друг сердца Анны Леопольдовны граф Линар, саксонский посланник в Петербурге. Отношения принцессы с фаворитом были столь компрометирующими и вызвали осуждение двора, не отличавшегося скромностью, что Анна Иоанновна в 1735 г. настояла на его отзыве из России. После смерти императрицы Анна Леопольдовна постаралась вернуть графа в Петербург. Чтобы прикрыть связь с возлюбленным, придумали женить Линара на фаворитке Менгден. После обручения он отбыл в Саксонию устроить свои дела, чтобы потом поступить на русскую службу. Правительница прочила фавориту должность, которую занимал Бирон при Анне Иоанновне. До возвращения Линара в Россию в Петербурге произошел переворот, избавивший страну от повторения бироновского правления. Реальная роль Линара состояла в том, что его связи с правительницей сеяли раздор в семье¹⁵. Как заметил маркиз Шетарди, «правительница со своими фаворитами и фаворитками уничтожает то, что делает генералиссимус с графом Остерманом, а эти отплачивают тем же». Маркиз сообщил и некоторые подробности из интимной жизни супругов: «Правительница по-прежнему питает к своему мужу отвращение; случается зачастую, что Юлия Менгден ему отказывает входить в комнату этой принцессы; иногда даже его заставляют покидать постель».

Глава 5

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

1. Путь к короне протяженностью в 11 лет

Дворцовый переворот в пользу Елизаветы Петровны отличали от предыдущих как минимум четыре особенности. Едва ли не главная из них состояла в том, что к захвату власти готовились заранее и в глубокой тайне. Переворот осуществлялся в форме заговора военных, возглавляемого самой Елизаветой. Если раньше перевороты походили на импровизацию, во время которой исполнители действовали от имени претендента на престол, то теперь сама претендентка двинулась во главе заговорщиков в рискованный поход за короной.

Особенность вторая — социальный состав участников. Как и прежде, главным действующим лицом были гвардейцы. Но как разительно отличалась гвардия времен Петра Великого от той, которая была в эпоху, когда престол заняла его дочь! При Петре в гвардейских полках служили преимущественно дворяне; теперь же усилиями Бирона и Миниха, стремившихся максимально обезопасить себя от дворянских притязаний на трон, в гвардии заметно вырос удельный вес крестьян и горожан. Анализ состава заговорщиков в пользу Елизаветы подтверждается словами современника о том, что они «все люди простые, мало способные сохранять столь важную тайну». По подсчетам Е. В. Анисимова, из 308 гвардейцев, причастных к воцарению Елизаветы, дворянами являлись только 54 человека, или 17,5%; остальные — выходцы из крестьян, горожан, разночинцев и пр.¹ Из этого, разумеется, не следует, что дочь Петра, возведенная на престол усилиями преимущественно крестьян, стала крестьянской императрицей. Это явление наглядно показывает решающее влияние на перевороты военной организации, а не социального фактора: офицерский корпус был по преимуществу дворянским, остальная же масса всего лишь проявляла повиновение, обусловленное воинской дисциплиной.

Третья отличительная черта переворота состояла в его антинемецкой направленности. Время, когда у кормила власти находились Бирон, Ос-

терман, Миних и Брауншвейгская фамилия, способствовало пробуждению национального самосознания. Имя Елизаветы Петровны становилось символом русского начала и восстановления величия России, частично утраченного после Петра Великого. Переворот положил конец немецкому засилью и вызвал ликование, выплеснувшееся далеко за пределы гвардейских казарм.

Четвертая особенность заговора заключалась в активном участии в нем иностранных государств, заинтересованных в смене ориентации внешней политики России. В свержении Брауншвейгской фамилии были прямо заинтересованы Швеция и Франция. Эти державы не только частично субсидировали переворот, но и пошли дальше: накануне событий Швеция объявила России войну.

Это обстоятельство, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии политической стабильности, о слабости правительства, позволившей европейским странам без большого риска для себя вторгаться в сферу, в которую подлинно суверенные государства не должны допускать никого. С другой стороны, это вмешательство следует рассматривать и как свидетельство возросшего влияния России на европейские дела, к которому в отличие, скажем, от XVII в., чужеземные дворы не могли относиться равнодушно. Это означало, что основы превращения России в мировую державу, заложенные при Петре Великом, стали давать реальные результаты. Теперь перейдем к изложению конкретного хода событий.

В свое время мы уже отмечали, что в молодости Елизавета Петровна была равнодушна к власти и не претендовала на корону ни после смерти своей матушки, ни после смерти своего племянника и не составила конкуренции герцогине Курляндской при восшествии ее на престол. В царствование Анны Иоанновны, хотя Елизавета по-прежнему не проявляла никаких признаков честолюбия, ее положение изменилось в худшую сторону: дочь Петра наряду с его внуком Петром Федоровичем (сыном Анны Петровны и герцога Голштинского) располагали большими правами на трон, чем императрица, избранная Верховным тайным советом.

Однако будущий Петр III, «чёртушка», как называла его Анна Иоанновна, жил в далеком Киле и не представлял непосредственной угрозы для императрицы. Елизавета Петровна же находилась под боком, и Анна вынуждена была не спускать с нее глаз. Впрочем, утвердившись на троне, последняя убедилась, что ее двоюродная сестра не проявляет к короне никакого интереса.

Тем не менее близких отношений между ними не было — причина коренилась в несхожести женских характеров. Угрюмую и некрасивую Анну, конечно же, одолевало чувство зависти как к внешности Елизаветы, так и к ее умению непринужденно держаться на раутах и увеселениях. Елизавета, видимо, инстинктивно чувствовала эту неприязнь и старалась показываться при дворе как можно реже. Императрица демонстрировала свое превосходство высокомерным отношением к цесаревне и сокращении

ем ассигнований на ее содержание — Елизавета постоянно испытывала нужду в деньгах, ибо обладала особым даром их проматывать.

Дочь Петра оставалась равнодушной к трону до тех пор, пока императрица не выдала замуж свою племянницу герцогиню Мекленбургскую за принца Брауншвейгского Антона Ульриха. Цесаревна увидела в потомстве от этого брака претендентов, напрочь перекрывавших ей путь к трону. Ту же цель преследовало и намерение императрицы выдать Елизавету замуж за брата Антона Ульриха. Эти планы не только нарушали данный цесаревной обет безбрачия, но и понуждали ее к выезду за пределы России, что также лишало ее прав на престол.

В результате политическая активность Елизаветы в конце 30-х — начале 40-х годов резко возросла. Решимости Елизаветы Петровны действовать способствовал, не желая того, и Остерман, заявление которого османскому послу стало ей известно. Остерман, согласно донесению Шетарди от 26 сентября 1741 г., сказал послу, что в случае смерти Иоанна Антоновича императрицей будет объявлена правительница². Для того чтобы всеобщий ропот вельмож против немецкого засилья приобрел организационные очертания, требовалось имя, способное сплотить вокруг себя национальные силы. И лучшей кандидатурой на эту роль стала «дщерь Петрова», единственная представительница русского начала в династии Романовых.

Началось с невинных подражаний великому родителю, в свое время не отказывавшему гвардейцам в просьбе стать крестным отцом их детишек. Общительная и обаятельная Елизавета Петровна продолжила эту традицию, да столь усердно, что в ее дворце постоянно толпились гвардейцы-кумовья, имевшие к ней свободный доступ. Когда французский посол де ла Шетарди явился поздравить цесаревну с Новым годом, он наблюдал удивительную картину. Если верить его донесению от 6 (17) января 1741 г., «сени, лестница и передняя наполнены сплошь гвардейскими солдатами, фамильярно величавшими эту принцессу своей кумой». Популярности Елизаветы способствовало и то, что она приглашала офицеров отобедать вместе с нею в ее загородной резиденции, близ которой был расквартирован Ростовский полк.

И все же Елизавета Петровна не стала бы готовить переворот без настоячивых внушений извне. Советы подобного рода давал ее личный врач француз Лесток. Еще в 1730 г. он предлагал ей домогаться трона, но услышан не был. Теперь же риск потерпеть поражение в схватке за трон был сведен к минимуму.

Подготовка к перевороту не относилась к непроницаемым тайнам. В заговоре участвовали десятки людей, а рядовые гвардейцы отличались болтливостью: вчерашние неграмотные мужики не имели понятия о конспирации и не подозревали, сколь жестокая кара ожидает их в случае провала заговора. Примечательно, что далеко не все организаторы переворота умели хранить тайну. К их числу принадлежал и Лесток, по отзыву Манштейна, «самый ветренный человек в мире и наименее способный что-

либо сохранить в тайне». Он, где только можно, извещал петербуржцев об ожидаемых переменах на троне. К тому же хирург был отчаянным паникером. «При малейшем шуме на улице, — свидетельствовал де ла Шетарди, — он кидался к окну и считал себя уже погибшим»³.

Но и в этих условиях Анна Леопольдовна не оценила надвигающейся опасности. Кто только не предупреждал ее об угрозе быть свергнутой! Ее фаворит Линар считал необходимым отправить Елизавету в монастырскую келью. Возлюбленная не согласилась. Тогда Линар предложил выслать из России французского посла. Однако правительница побоялась испортить отношения с Францией, и де ла Шетарди остался в Петербурге.

Граф Остерман со второй половины тридцатых годов был прикован к постели подагрой. Острое предчувствие беды заставило Андрея Ивановича решиться на отчаянный поступок: он велел одеть себя и отнестись в покои правительницы, чтобы убедить ее принять меры против заговорщиков. Анна Леопольдовна не вняла советам и вместо серьезного разговора принялась показывать Остерману новые наряды для младенца Иоанна Антоновича.

Еще один сигнал бедствия исходил от графа Левенвольде, отправившего Анне Леопольдовне тревожную записку. Прочтя ее, правительница изрекла: «Спросите графа Левенвольде, не сошел ли он с ума?» На следующий день при встрече с ним она сказала: «Все это пустые сплетни, мне самой лучше, чем кому-нибудь другому, известно, что царевны нам бояться нечего». На Анну Леопольдовну не подействовали даже пророческие слова австрийского посла Ботта: «Вы находитесь на краю бездны; ради Бога спасите себя, императора и вашего супруга». Кстати, даже супруг, человек недалекий, рекомендовал правительнице арестовать Лестока (вероятно, по внушению Остермана). Наконец, Анне Леопольдовне было известно содержание манифеста шведского генерала Левенгаупта, объявившего подданным Брауншвейгской фамилии, что Швеция объявила войну России ради освобождения ее от немцев.

Поведение правительницы объяснить трудно. Ясно одно: Анна Леопольдовна была уверена, что расположила к себе Елизавету Петровну дорогими подарками ко дню ее рождения и распоряжением выдать ей 40 тысяч рублей для погашения долгов. За сутки до переворота, 23 ноября 1741 г., Анна Леопольдовна затеяла разговор с цесаревной, оставивший у собеседниц противоречивые чувства. Во время куртага правительница встала из-за карточного стола и пригласила Елизавету Петровну в другую комнату, чтобы сообщить ей о готовящемся перевороте и поступившем к ней совете арестовать Лестока.

На удивление, цесаревна во время разговора проявила и выдержку, и незаурядное актерское мастерство. На упреки Анны Леопольдовны она смиренно ответила, «что никогда не имела в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына», и заверила, что верна присяге, а вопрос арестовать Лестока или нет — во власти самой правительницы. По одним сведениям, собеседницы настолько расчувствовались, что пролили слезы

умиления; по другим — они возвратились в зал в состоянии крайнего расстройств и возбуждения. Как бы там ни было, но одна из них убедилась в отсутствии козней для императора — ее грудного ребенка (и ее самой); другой же стало ясно, что с переворотом медлить не следует: правительница в любой момент может опомниться и принять ответные меры — и тогда уж Елизавете Петровне несдобровать.

Анна Леопольдовна допустила целую серию грубейших ошибок. Но и ее собеседница проявила себя отнюдь не с лучшей стороны. Как всякая нерешительная натура, она откладывала активные действия «на потом», в частности на 6 января 1742 г., когда на невском льду должны были быть построены полки столичного гарнизона, в том числе гвардейские, и уж тогда она обратится к ним с призывом поддержать ее законные права на престол.

Этот план был негоден уже потому, что исходил из ошибочной посылки, что все откликнутся дружно и цесаревна превратится в императрицу в мгновение ока. Возможность сопротивления хотя бы части войск при этом исключалась.

Беседа с правительницей подвигла Елизавету Петровну к решительным действиям (не стоит исключать и открывшуюся возможность ареста Лестока — тогда раскрытие заговора стало бы более чем реальным). К этому шагу при каждой встрече решительно склонял цесаревну и де ла Шетарди.

Маркиз тонко подметил душевное состояние Елизаветы в месяцы, когда надлежало преодолеть колебания и принять решение. В депеше от 21 апреля 1741 г. Шетарди писал: «Есть минуты, когда, помня только о своем происхождении, она думает, что у нее есть мужество, но вскоре ей приходит в голову, что она ничем не защищена от катастрофы, и мысль видеть себя схваченную и удаленную в монастырь на всю оставшуюся жизнь погружает ее в состояние слабости»¹.

Решимости Елизаветы способствовали еще два обстоятельства. 24 ноября 1741 года, на следующий день после беседы с правительницей, стало известно, что Преображенский полк, опору заговорщиков, велено отправить на театр военных действий против Швеции. Во-вторых, цесаревна узнала, что Анна Леопольдовна намеревалась объявить себя императрицей. Свергать императрицу во много крат сложнее, чем правительницу, — в этом случае нарушалась присяга в верности не безгласному ребенку, лежавшему в колыбели, а полноценной обладательнице императорской короны.

Елизавете Петровне прибавило решительности и воспоминание о двух рисунках: на одном из них Лесток, хорошо знавший свою пациентку, изобразил ее с императорской короной на голове; на обороте этого листа цесаревна была нарисована в монастырском одеянии, в келье, а возле нее размещались инструменты для пыток, колесо для казни и виселица. Цесаревне врезались в память слова доктора, прокомментировавшего рисунки: «Ваше императорское величество должны избрать: быть ли вам импе-

ратрицей или отправиться на заточение в монастырь и видеть, как ваши слуги погибают в казнях»⁵.

Не приходилось сомневаться, что жизнерадостная Елизавета Петровна предпочтет монастырской келье императорскую корону. В ночь на 25 ноября цесаревна села в сани и в сопровождении Лестока и Воронцова отправилась добывать императорский трон в казармы Преображенского полка. Обращаясь к поджидавшим ее гренадерам, она спросила:

— Вы знаете, кто я, хотите следовать за мной, готовы ли вы умереть со мной, если понадобится?

Далее следовала взаимная клятва:

— Я клянусь этим крестом умереть за вас; клянитесь и вы сделать то же самое для меня⁶.

После этого гренадеры, которых первоначально насчитывалось человек тридцать, во главе с Елизаветой отправились в Зимний дворец. По мере приближения к цели толпа стала расти, подобно снежному кому, и достигла 300 человек.

Дворцовый караул в ответ на вопрос: «Хотите ли вы следовать за дочерью Петра Первого?» — присоединился к заговорщикам. Затем гренадеры бесшумно вошли в покои, где безмятежно спали правительница и ее супруг принц Брауншвейгский, грудной младенец император и фрейлина Менгден. Одновременно были приняты меры для ареста фельдмаршала Миниха с сыном, кабинет-министра графа Остермана и президента Коммерц-коллегии Менгдена (отца фрейлины). Все обошлось без шума и сопротивления. Лишь Остерману довелось отведать гвардейских кулаков, но он подставился сам, произнеся какие-то неодобрительные слова в адрес Елизаветы. Побили и фельдмаршала, но по другой причине — в армии его не любили.

О случившемся известили вельмож. Один из них — сенатор Яков Петрович Шаховской поведал в своих записках о том, как его, только что погрузившегося в глубокий сон, громким стуком в ставню разбудил сенатский экзекутор и предложил немедленно отправиться во дворец цесаревны. Далее следует бесхитростный рассказ сенатора о том, как он вскочил с постели и попытался выяснить у экзекутора, по какому поводу его срочно вызывают. Но того и след простыл. В «смятении духа» сенатор направился во дворец, по дороге размышляя, не спятил ли с ума экзекутор. Увидев толпы людей, двигавшихся в ту же сторону, что и он, Шаховской решил, что произошло нечто чрезвычайное. Появившись во дворце, он тщетно пытался выяснить причину своего вызова: никто ничего не знал⁷. Рассказ Шаховского еще раз подчеркивает важнейшую роль гвардии в перевороте — первые чины империи и понятия не имели о событиях в Зимнем дворце, даже не догадывались о них.

Утром 25 ноября полки столичного гарнизона, построенные перед Зимним дворцом, присягали новой императрице — Елизавете Петровне. Со времени смерти Анны Иоанновны прошло чуть больше года, но это была уже третья перемена на троне и третья присяга.

В тот же день в наспех составленном Манифесте была дана краткая и далекая от истины интерпретация происшедшего. Население убеждали, что якобы «все наши как духовного, так и светского чинов верные подданные, а особливо лейб-гвардии нашей полки всеподданнейше и единогласно нас просили... отеческий наш престол всемилостивейше воспринять соизволить». Второй Манифест с более обстоятельной мотивировкой прав Елизаветы на трон обнародовали 28 ноября. В нем было сказано, что после смерти Петра II единственной законной наследницей являлась Елизавета Петровна, но Остерман скрыл «Тестамент» ее матери Екатерины Алексеевны. Тот же Остерман сочинил духовную, подписанную смертельно больной Анной Иоанновной, противозаконно завещавшей трон Брауншвейгской фамилии.

Начались пожалования активным участникам переворота, а также следствие и суд над противниками Елизаветы. Императрица выказала расположение прежде всего к гренадерам Преображенского полка. Еще 25 ноября они просили ее: «Ты, матушка, видела, как усердно мы сослужили тебе свою службу; за это просим одной награды — объяви себя капитаном нашей роты и пусть мы первые присягнем тебе».

Елизавета согласилась, но этим ее милости не ограничились. Под новый, 1742 г. трем гвардейским, а также Конному и Ингерманландскому полкам было велено выдать значительные суммы для раздачи офицерам и солдатам. Гренадерская рота получила новое наименование — лейб-компания. Лейбкомпанцев недворян императрица возвела в дворянское достоинство и пожаловала каждому из 258 рядовых по 29 душ крестьян. В сентябре 1742 г. был учрежден герб лейб-компании с надписью: «За верность и ревность».

Милостями были одарены и лица, игравшие ключевые роли в перевороте. Лесток стал директором Медицинской коллегии с годовым жалованием в семь тысяч рублей и получил усыпанный бриллиантами портрет императрицы. Воронцова, братьев Шуваловых и Балка, занимавших при дворе цесаревны должности камер-юнкеров, Елизавета возвела в камергеры. Фаворита Алексея Григорьевича Разумовского императрица пожаловала чином действительного камергера, а 5 февраля 1742 г. вручила ему орден св. Анны.

Из ссылки и заключения были возвращены Василий и Михаил Владимировичи Долгорукие, а также осужденные по делу Вольнского Федор Соймонов и Платон Мусин-Пушкин. Детям Вольнского вернули конфискованные имения их отца.

74-летний В. В. Долгорукий (1667 — 1746) за десять лет пребывания в Нарвской тюрьме изрядно одряхлел. Тем не менее Елизавета назначила его президентом Военной коллегии и вернула ему княжеское достоинство, чин фельдмаршала и ордена.

Специальная комиссия вела следствие над взятыми под стражу государственными преступниками: Остерманом, Минихом, Левенвольде, Менгденом и другими. Строго говоря, следствие носило формальный ха-

рактир. Оно было нацелено не на выяснение истины и степени виновности каждого из находившихся под стражей, а на подтверждение обвинения, высказанного до начала следствия в Манифесте о восшествии на престол Елизаветы Петровны. В нем Остерман обвинялся в сокрытии заветания Екатерины I, по которому принцесса Елизавета имела право на занятие престола, а Миних — в назначении Бирона регентом, а затем Анны Леопольдовны — правительницей. Тем не менее императрицу одолевало чисто женское любопытство. Она проявляла живейший интерес к следствию — оно заседало в одном из дворцовых покоев, так что Елизавета могла, сидя за перегородкой, все видеть и слышать и даже в случае нужды давать тайные приказания секретарю комиссии.

Самой значительной личностью среди подследственных был Андрей Иванович Остерман. На этот раз ему не удалось выйти сухим из воды. Похоже, тонкий нюх, которым он долгие годы владел, изменил ему, и он не успел своевременно лечь в дрейф. О том, что на душе Андрея Ивановича было беспокойно, имеется прямое свидетельство Финча: 14 ноября 1741 г., за несколько дней до переворота, английский дипломат доносил о намерении Остермана пережить бурю за пределами России. Граф, «чувствуя отвращение к неприятному положению», в котором он оказался вследствие «непрочности трона», добыл свидетельства четырех лучших врачей о совершенной необходимости ему для поправления здоровья «немедленно уехать в Спа и пользоваться тамошними водами».

Что Андрей Иванович страдал подагрой и нуждался в лечении — бесспорная истина. Но верно также, что выбор времени для поездки за рубеж был не случаен, ибо болезнь давала о себе знать несколько лет. Объяснение планов Остермана содержится в следующем суждении Финча: «Я никогда не поверю, чтобы он отправился в путь, пока не уверится, что доверие к нему не утрачено совершенно»⁴. Быть может, у Андрея Ивановича теплилась надежда, что буря и на этот раз минует его.

17 января 1742 г. жителей новой столицы барабанным боем оповестили об ожидавшейся на следующий день экзекуции над осужденными. Утром 18 января Остермана повезли из Петропавловской крепости к эшафоту на Васильевском острове в санях, запряженных одной лошадей. Остальные подсудимые следовали пешком.

Четыре солдата подняли Остермана и внесли на эшафот, где ему был зачитан приговор. При сопоставлении «вин» Остермана, изложенных в приговоре, с обвинениями против него, перечисленными в Манифесте 28 ноября, создается впечатление, что следствие никаких новых доказательств не обнаружило: решения комиссии были изначально запрограммированы. Такова была судебная практика не только XX, но и XVIII в.

По свидетельству английского посланника Финча, Остерман выслушал приговор спокойно и с непокрытой головой. После его прочтения палач положил голову преступника на одну из плах, расстегнул камзол и старую ночную рубашку... Но вместо отсечения головы был зачитан указ императрицы о замене смертной казни ссылкой. Солдаты вновь уложили графа

на носилки. Он проявил удивительное спокойствие, произнеся единственную фразу:

— Пожалуйста, отдайте мне мой парик и шапку.

Получив то и другое, он с невозмутимым видом застегнул камзол и рубашку.

По-иному вел себя Миних — человек позы, он любил бравировать отвагой, рисоваться. В отличие от Остермана, отрастившего бороду, он выглядел опрятно одетым и тщательно выбритым, «держался с видом прямым, неустрашимым, бодрым, будто бы во главе армии или на параде». В разговоре с солдатами-стражниками он напомнил им, что «они видели его храбрым перед неприятелем. Таким же будут видеть его и до конца». Ему тоже вместо четвертования была объявлена ссылка.

Заметим, что во время следствия фельдмаршал вел себя отнюдь не так «бодро, неустрашимо». Рыцарских качеств он не проявил. Там, где можно было уклониться от признания вины, он немедленно отрицал обвинения в свой адрес. Признания следовали лишь после очных ставок, когда запирательство становилось бессмысленным. Приведем несколько примеров.

Общеизвестна активная роль Миниха в назначении Бирона регентом. Тем не менее фельдмаршал, зная, что Бирона услали за тридцать земель, в Пелым, настойчиво твердил, что «у него с ним, с регентом, умысла и тайного согласия в противность государственной пользы не было, и он к нему прямо конфиденции не имел»⁹.

Отрицал Миних и обвинение в том, что он, явившись во дворец, чтобы взять Бирона под стражу, объявил караулу, что действует ради вручения короны Елизавете Петровне. Поначалу он показал: «Об имени ее императорского высочества императрицы Елизаветы Петровны и о герцоге Голштинском ничего он тогда не упоминал». После очных ставок под напором показаний очевидцев он признал, что «такие слова, как они показывают, о государыне императрице Елизавете Петровне и принце Голштинском он тогда, как ныне упоминает, говорил». Как тогда было принято, Миних сослался на слабую память¹⁰. Он признал, что по повелению Анны Иоанновны организовал слежку за цесаревной, но «за беспамятством» утаил, что одному из соглядатаев велел нанимать извозчиков, чтобы ездить вслед за ней.

Серьезные обвинения были предъявлены Миниху как полководцу, командовавшему русской армией в двух войнах: за польское наследство и русско-турецкой. Ему ставилось в вину, что он начинал сражения без консультаций с генералитетом, отчего войска несли тяжелые потери, размер которых он скрывал; что он продвигал по службе иностранцев в ущерб русским офицерам, часто применяя по отношению к последним штрафные санкции и наказания как к рядовым до полковника включительно. Миних признал, что без суда и следствия подвергал русских офицеров штрафам и истязаниям («признавается виновным и просит милостивого прощения»). Остальные обвинения Миних отрицал, причем делал это неуклюже, чем вызвал раздражение у всех, кто знакомился с его показаниями, в том числе и у Елизаветы.

Почему он не показал генералам составленной им диспозиции атаки Гагельберга (война за польское наследство)? Потому, что «уповал, что она [диспозиция] была учинена порядочно». Почему скрыл подлинные потери при штурме этой крепости? Ответ: из-за «своей о том уроне печали».

Темной выглядит история с бегством польского короля Станислава Лещинского из Данцига. Миних хвастливо заявлял в донесении ко двору, что из города незамеченной не выйдет даже мышь. В действительности удалось бежать даже королю, переодевшемуся в крестьянское платье. Следствие подозревало фельдмаршала в причастности к побегу Лещинского: «Для чего ты из Данцига упустил, с кем в том имел согласие, каким порядком оное происходило и что ты себе за то получил?» Миних, разумеется, отпирался, но свидетель показал, что сторонники короля Станислава тайно навещали фельдмаршала.

Малодушно вел себя Левенвольде — недалекий, но надменный красавец, фаворит Екатерины I, а затем любовник Натальи Лопухиной. Князь Шаховской, отправлявший заключенных в ссылку, войдя в казарму, где находился Левенвольде, обнаружил опустившегося, взлохмаченного, неряшливо одетого арестанта, «обнимавшего мои колени весьма в робком виде».

Чтение приговора принуждает напомнить еще одну немаловажную деталь: позиция судей, сочинявших его, была обусловлена не только Манифестом 28 ноября, но и личным отношением императрицы к главным обвиняемым — Остерману и Миниху. Торжествуя победу, Елизавета, конечно же, не забыла о пакостях, ранее чинимых ей Андреем Ивановичем. Тому она как-то велела передать:

— Скажите графу Остерману: он мечтает, что всех может обманывать; но я знаю очень хорошо, что он старается меня унижать при каждом удобном случае; что по его совету приняты против меня меры, о которых великая княгиня (Анна Леопольдовна. — *Н. П.*) по доброты своей и не подумала бы; он забывает, кто я и кто он; забывает, чем он обязан моему отцу, который из писцов сделал его тем, чем он теперь; но я никогда не забуду, что получила от Бога, на что имею право по моему происхождению¹¹.

Недобрую память у цесаревны оставил и Миних. Будучи первым министром в правительстве Анны Леопольдовны, он велел организовать слежку за Елизаветой, обратив особое внимание на визиты к ней французского посла. Зная приверженность Миниха к авантюрам, можно допустить и возможность крутого поворота в его отношении к Елизавете. Носились слухи, что фельдмаршал, прирав на колени, просил у нее позволения действовать, на что она якобы ответила:

— Ты ли тот, который корону дает кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу.

Примечательна дальнейшая судьба осужденных. Остерман, приложивший столько усилий к низложению Александра Даниловича Меншикова, сам оказался в Березове, где и окончил дни свои в 1747 г. 61 года от роду.

Миниха отправили в Пельымский острог, сооруженный по его чертежам для Бирона. Елизавета Петровна облегчила участь герцога, велев перевести его в Ярославль и освободив тем самым покой для Миниха. Фельдмаршал (1683 — 1767) прожил долгую жизнь и после 20-летней ссылки был помилован Екатериной II, поручившей ему управление Ладожским каналом. Остальных подсудимых тоже отправили в ссылку.

2. Опасная фамилия

Значительно больше испытаний выпало на долю Брауншвейгской фамилии — свергнутого императора Иоанна Антоновича и его родителей. В Манифесте 28 ноября 1741 г. императрица «из особенной нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких им причинять огорчений», всю фамилию велела отправить на родину в Германию. И действительно, январской ночью 1742 г. из Петербурга выехал большой обоз в сопровождении конвоя гвардейцев под началом Василия Федоровича Салтыкова.

Когда кортеж не спеша добрался до Риги, императрица (вероятно, по совету кого-то из приближенных) справедливо рассудила, что на свободе, да еще за пределами России Брауншвейгская фамилия крайне опасна. Возмужав, свергнутый император сам мог предъявить права на престол. Он мог также стать пешкой в руках иноземных недоброжелателей, готовых шантажировать императрицу. Поэтому, невзирая на заявления о природной милости, фамилию в Риге было велено взять под стражу. Оттуда узников через несколько месяцев перевели в Дюнамюндский форт, а в январе 1744 г. — в Ранненбург, крепость, сооруженную по чертежу Петра Великого для А. Д. Меншикова. Впрочем, Ранненбург тоже признали неподходящим местом для ссылки опасной фамилии. После шестимесячного пребывания там узников решено было отправить подальше от столиц, в глухомань, причем Иоанна Антоновича отлучили от родителей. В Холмогорах свергнутый император содержался до 1756 г., когда глухой январской ночью его перевели в Шлиссельбургскую крепость. Остальные члены семьи продолжали жить в Холмогорах, где Анна Леопольдовна родила еще двоих сыновей. Во время родов последнего, в 1746 г., она скончалась. Ее супруг Антон Ульрих умер в 1774 г. в возрасте 60 лет.

Самой трагичной оказалась судьба Иоанна Антоновича. Менялись владелицы императорской короны, но жизнь таинственного узника Шлиссельбурга оставалась неизменной — он был обречен на заточение как при Елизавете, так и при ее преемниках. Его считали опасным узником, в особенности Екатерина II, не имевшая никаких прав на престол. В изоляции коротал дни не только свергнутый император, но и стражники, его охранявшие и обслуживавшие.

Уже Елизавета сделала все возможное, чтобы вытравить из памяти современников само имя свергнутого императора. В октябре 1742 г. повелено было уничтожить императорский титул во всех церковных и гражданских книгах, напечатанных во время правления Бирона и Анны Леопольдовны; затем в ноябре 1743 г. последовал указ о запрещении произносить в проповедях имя Иоанна Антоновича. Трижды повторенными (в 1742, 1743 и 1744 гг.) указами велено было сдать на монетные дворы монеты, медали и жетоны с изображением Иоанна Антоновича; в сентябре 1744 г. происходило публичное сожжение присяжных листов. Наконец, указом 12 августа 1745 г. велено было все документы, в которых упоминалось имя Иоанна Антоновича, изъять из дел и отправить в Москву. Они образовали особую коллекцию, и поныне хранящуюся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА). Любопытная деталь: правительство Елизаветы Петровны, во избежание употребления имени Иоанна Антоновича, назвало коллекцию так: «Дела под известным титулом». Информационный потенциал ее крайне низок, ибо в ней сосредоточены документы с октября 1740-го по ноябрь 1741 г. В большинстве своем это неоконченные дела (без отражения начала и конца события), что крайне усложняет работу с ними.

Коротко о дальнейшей судьбе безымянного узника Шлиссельбурга. Режим его содержания предусматривал полную изоляцию от внешнего мира. Инструкция предписывала смотреть накрепко, чтобы в казарму, где размещался арестант, никого не впускали. Равным образом запрещалось и выпускать из нее арестанта. «Вам и команде вашей, кто допущен будет арестанта видеть, отнюдь никому не сказывать, каков арестант, стар или молод, русский или иностранец, о чем подтвердить под смертною казнью, коли кто скажет».

Приведем выдержки из донесения капитана Овцына, приставленного для охраны арестанта, за 1759 г. Май: «Об арестанте доношу, что он здоров, и хотя в нем болезни никакой не видно, только в уме несколько помешался, что его портят шептаньем, дутьем, пусканьем изо рта огня и дыма». Июнь: «Арестант здоров, а в поступках так же, как и прежде, не могу понять, воистину ль он в уме помешался или притворничает. Сего месяца 10 числа осердился, что не дал ему ножниц; схватив меня за рукав, кричал, что когда он говорит о порче, чтоб смотреть на лицо его прилежно, и будто я с ним говорю грубо, а подпоручику, крича, говорил: «Смеешь ли ты, свинья, со мною говорить»... Во время обеда за столом всегда кривляет рот, головою и ложкою на меня, также и на прочих взмахивает и многие другие проказы делает». Июль: «Прикажите кого прислать, — истинно возможности нет; я и о них (офицерах. — Н. П.) весьма сомневаюсь, что нарочно раздражают; не знаю, что делать, всякий час боюсь, что кого убьет; пока репорт писал, несколько раз принужден был входить к нему для успокаивания, и много раз старается о себе, кто он, сказывать, только я запрещаю ему, выхожу вон»¹².

По заданию руководителя Тайной розыскных дел канцелярии Овцын спросил у арестанта, кто он. Тот ответил, что он человек великий, один подлый офицер все у него отнял и имя переменял. «Я ему сказал, — доносил Овцын, — чтоб он о себе той пустотой не думал и впредь того не врал, на что, весьма сердясь, на меня закричал, для чего я смею ему так говорить и запрещать такому великому человеку... Видно, что ноне гораздо более прежнего помешался; дня три как в лице кажется почернел, и чтоб от него не робеть, в том, высокочтимейший граф, воздержаться не могу; один с ним остаться не могу; когда станет шалеть и делает страшную рожу, отчего я в лице переменяюсь — он, то видя, более шалит...»

Разумеется, полная изоляция и запрещение даже охранникам общаться с узником оказали влияние как на его психику, так и на его умственное и физическое развитие. С ним инкогнито имели свидания Петр III и Екатерина II, причем последняя поделилась впечатлениями в своих записках. Полностью доверять императрице вряд ли следует — она была заинтересована в том, чтобы представить Иоанна Антоновича полным дебилом, лишенным способности даже связно говорить. Если неполноценность узника была бы столь очевидной, у Екатерины не было бы оснований ужесточать режим его содержания и поручать Никите Ивановичу Панину составить секретную инструкцию шлисельбургскому коменданту, а также капитану Даниилу Власьеву и поручику Луке Чекину, непосредственно отвечавшим за охрану арестанта.

В инструкции, считавшейся строго секретной, узник оставался безымянным даже для коменданта крепости, обязанного обеспечивать его быт. В сутки на питание арестанта выделялось полтора рубля; коменданту поручалось организовать посещение им церкви и строжайше соблюдать тайну его имени. Инструкция обязывала коменданта подавать рапорты обо всех происшествиях в крепости с периодичностью в две недели, а о лицах, в той или иной мере проявивших интерес к узнику, — немедленно.

Инструкция двум офицерам (кстати, изъятым из подчинения коменданту крепости) возлагала на них охрану узника и его воспитание. Власьев и Чекин были единственными лицами, допущенными к общению с арестантом. Более того, им вменялось в обязанность ни на минуту не оставлять его в одиночестве — один из них непременно должен был находиться в его покоях, а ночью их обязывали спать рядом с ним. Воспитательные функции ограничивались душещепательными разговорами с целью подготовить узника к пострижению в монахи.

Под командой офицеров находились 12 солдат, один унтер-офицер и один капрал. Кроме них, два солдата готовили пищу и ухаживали за узником. Как это было принято в XVIII в., инструкция предусматривала все детали содержания арестанта: «Во время ночное изнутри первые двери закладывать крюком, а другие запирают замком и ключи хранить у себя». Особо позаботились о том, чтобы никто из караульных солдат не мог видеть арестанта — во время обеда он должен был находиться за пологом.

Караульная команда во главе с Власьевым и Чекиным сама находилась на положении узников: караульным запрещалось покидать территорию крепости, попадаться на глаза посторонним и т. д. Самым важным пунктом инструкции следует признать четвертый, где говорилось об обязанностях охраны в случае, если будет предпринята попытка освободить арестанта. Тогда надлежало «арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать».

Как ни пытались сохранить в тайне имя шлиссельбургского узника, слухи о том, что там находится Иоанн Антонович, не только стали достоянием гарнизона крепости, но и просочились в столицу, где шепотом рассказывались всякие были и небывлицы об узнике. Сведения о нем стали известны и подпоручику Смоленского пехотного полка Василию Яковлевичу Мировичу, которым прочно овладела мысль свергнуть Екатерину II и посадить на ее место Иоанна Антоновича.

Заманчивая идея созрела у Мировича через пару лет после воцарения Екатерины. На рискованный шаг его воодушевили два обстоятельства. Одно из них — необычайная легкость, с которой на глазах у Мировича заняла трон Екатерина Алексеевна. Удачный переворот сопровождался наградами и пожалованиями, на которые рассчитывал и Василий Яковлевич. Во-вторых, у Мировича были личные претензии к Екатерине. Он приходился родственником известному Ивану Мазепе, чьи имения были конфискованы после измены, а родственники отправлены в ссылку в Сибирь. Служебная карьера Василия Яковлевича складывалась не лучшим образом, испытывал он и материальные затруднения. Он решил поправить свои дела хлопотами о возвращении хотя бы части маетностей, некогда принадлежавших его дяде — гегману. Екатерина, к которой попала челобитная Мировича, отказалась удовлетворить его просьбу. Тогда подпоручик обратился с прошением о назначении ему пенсии. И в этом ему было отказано.

Все эти события происходили в апреле 1764 г., а уже в мае у Василия Яковлевича созрела мысль вручить императорский скипетр Иоанну Антоновичу. Эта попытка переворота существенно отличалась от предыдущих и по своему характеру и способу достижения цели была, пожалуй, ближе всего к перевороту, осуществленному Минихом. Их роднили конспирация и узкий круг посвященных лиц. Но одно существенное отличие: в первом случае определило успех, а во втором — обрекло задуманное на неудачу; статус Миниха в военной иерархии резко отличался от статуса Мировича. Миних — фельдмаршал и президент Военной коллегии; Мирович — всего-навсего подпоручик. Миних опирался на гвардию, Мирович — на солдат пехотного полка.

Мирович, похоже, человек осторожный, подозрительный и достаточно основательный, доверил тайну замысла лишь своему приятелю — поручику Великолукского пехотного полка Аполлону Ушакову. Заговорщики взаимно обязались «о принятом своем намерении никогда никому не открывать и никого себе в сообщники не приискивать».

Однако случилось непредвиденное: Ушаков утонул, и Мировичу пришлось действовать одному — найти замену утонувшему он не смог. Составленный Василием Яковлевичем план, казалось бы, предусматривал все детали, начиная от ареста коменданта крепости, освобождения Иоанна Антоновича и доставки его в Петербург до составления манифеста о восшествии его на престол, текста присяги и определения судьбы свергнутой Екатерины («в уединенное место заточению предать»). Мирович совместно с Ушаковым изучал топографию Шлиссельбургской крепости и площади в Петербурге, где находился артиллерийский корпус, которому должен был быть представлен освобожденный из заточения император.

Мирович не учел лишь два момента, один из которых лишил переворот всякого смысла: подпоручик, конечно же, не знал о существовании секретной инструкции, обязывавшей стражников лишить Иоанна Антоновича жизни при попытке его освободить. Не рассчитывал Мирович и на сопротивление караульной команды.

Поначалу события развивались в соответствии с планом. Вопреки очередности Мирович напросился в караул Шлиссельбургской крепости. Операцию по освобождению Иоанна Антоновича он наметил на день, когда императрица находилась не в Петербурге, а в Риге.

В ночь на 5 июля 1764 г. Мирович подал гарнизонному караулу команду «К ружью!», взял под стражу коменданта крепости полковника Березникова, построил подчиненных солдат и двинулся с ними к казарме, где находилась гарнизонная команда, охранявшая узника. Вопреки ожиданиям завязалась перестрелка. Мирович вновь построил команду, зачитал ей манифест, распорядился о доставке пушки.

Вскоре по взаимному соглашению перестрелка прекратилась. Мирович в сопровождении Чекина вошел в покои, где содержался Иоанн Антонович. На полу лежало мертвое тело — инструкция была выполнена в точности. Мировичу оставалось лишь в отчаянии спросить у Чекина: «За что вы невинную кровь такого человека пролили?» — и распорядиться уложить его на кровать и унести из казармы. Отдав почести покойнику, он обратился к солдатам с речью:

— Вот, господа, наш государь Иоанн Антонович, и теперь мы не столь счастливы, как несчастны. А всех больше за то я потерплю, а вы не виноваты и не ведали, что я хотел делать. И уже за всех вас буду отвечать и все мучения на себе сносить.

Мирович был казнен.

Так закончилась жизнь свергнутого императора.

Теперь вернемся к событиям ноябрьской ночи 1741 г., когда младенец Иоанн Антонович был лишен престола. Рассказ о перевороте в пользу Елизаветы Петровны был бы неполным, если бы мы не коснулись вопроса о роли в нем французской и шведской дипломатии. К сожалению, историки располагают здесь далеко не первоклассным источником, требующим к себе весьма осторожного и критического отношения. Речь идет о депешах французского посла Иоахима Жана Тротти маркиза де ла

Шетарди, действовавшего заодно с послом Швеции Эриком Матиасом Нолькеном. Дипломаты склонны к преувеличению и приукрашиванию своей роли в жизни двора, при котором они были аккредитованы. Проверить же их свидетельства не всегда возможно, ибо другие источники отсутствуют.

Например, если довериться Шетарди, то именно он и никто другой явился руководителем переворота и подвинул на этот шаг робкую и нерешительную Елизавету. Чего стоит такое утверждение маркиза: в половине первого ночи 25 ноября, проезжая мимо дома посла по пути в казарму, цесаревна якобы дала ему знать, что «летит к славе». Не вызывает никакого доверия и заявление француза о детальной разработанном им плане переворота, начиная с появления Елизаветы в казарме в ночные часы и кончая составлением списка лиц, подлежащих аресту.

Отрицать роль маркиза в перевороте не приходится, но сколь безосновательно он ее преувеличивал, демонстрирует следующий факт, опровергающий основные положения донесения от 26 ноября 1741 г. Шетарди узнал о свершившемся перевороте только от курьера Елизаветы и был потрясен этим известием!

Старания шведов и французов в пользу цесаревны можно объяснить исключительно стремлением извлечь из ее воцарения собственные выгоды. Для Франции лишение трона Брауншвейгской фамилии было благоприятно в плане ослабления позиций ее извечного соперника — Австрии, которая в правление Анны Леопольдовны рассчитывала на помощь России. В перспективе французская дипломатия руками своей ставленницы Елизаветы рассчитывала вернуть Россию «по отношению к иностранным державам в прежнее положение», то есть вновь определить ее участь как захолустья Восточной Европы. Это не мешало послу щедро расточать обещания Елизавете и убеждать цесаревну, что во Франции «заняты лишь ею и ее выгодами», а король Людовик XV ничем так не обременен, как «мыслью способствовать ее счастью».

Неизмеримо большие выгоды сулило воцарение Елизаветы северному соседу — Швеции. Ее дипломатия вынашивала идею о возвращении прибалтийских провинций, отторгнутых у нее по Ништадтскому миру 1721 г. Этот шведский план носил следы явной авантюры: предполагалось что Швеция объявит войну России, победоносно ее завершит, посадит на престол Елизавету и та в благодарность за оказанную ей услугу вернет ей земли, отвоеванные потом и кровью русского народа в Северной войне.

Согласно сведениям Шетарди, за достоверность которых он не ручался, честолюбивые помыслы Елизаветы Петровны стали проявляться с конца 1740 г.: «Если верить дошедшим до меня из нескольких источников слухам, то существует недовольство, и простолюдины, боготворящие принцессу Елизавету, возносят мольбы о наступлении переворота» (донесение от 23. XII. 1740). Спустя десять дней, в январе 1741 г., маркиз доносил, что он сумел поговорить с Елизаветой и та «горько жаловалась на правитель-

ницу и фельдмаршала Миниха». Посол извещал своего министра о выгодах, которые могли извлечь Франция и Швеция за оказание помощи Елизавете: «Утвердить принцессу в намерениях, по-видимому благоприятных к Франции, или разделить по крайней мере благодарность, какую стяжает Швеция, поддерживая интересы принцессы Елизаветы».

Одновременно с французом контакты с Елизаветой установил и Нолькен. В отличие от Шетарди, довольствовавшегося устными заверениями Елизаветы, шведский посол затребовал от нее письменных заверений и обязательств: «Если провидению, убежищу угнетенных, угодно будет даровать счастливый исход задуманному плану, не только вознаградить короля и королевство Шведское за все издержки этого предприятія, но и представить им существенные доказательства моей признательности».

Достаточно было пронизательности даже цесаревны, новичка в политических интригах, чтобы под всяческими предложениями откладывать подписание составленного Нолькеном обязательства. Поставить свою подпись означало превратиться в заложницу шведской дипломатии даже в случае успеха переворота. Если же план провалится, то цесаревна уже не могла бы рассчитывать на заточение в монастыре — ее ожидала гораздо более суровая кара за предательство национальных интересов страны. Подпиши она эти обязательства — и ореол дочери Петра Великого сразу же поник бы. Лесток передавал Шетарди ход мыслей Елизаветы: французский посол должен войти в ее положение и согласиться, «что, как дочь Петра I, она должна быть более осмотрительной относительно завоеваний, сделанных ее отцом и так дорого ему стоивших».

Основательность опасений Елизаветы вполне разделил министр иностранных дел Франции. «Я ничуть не удивлен, — писал он Шетарди, — что принцесса Елизавета избегала предварительных объяснений о какой бы то ни было земельной уступке Швеции со своей стороны». Оба дипломата, министр и посол, вполне понимали, что она «сделается ненавидимой народом, если окажется, что она призвала шведов и привлекла их в Россию»¹³.

В конечном счете Нолькелю так и не удалось уговорить Елизавету. Последнюю попытку он предпринял в канун своего отъезда в Стокгольм. «Подлинник у меня в кармане, — заявил швед цесаревне, — и в одну минуту дело может быть окончено, потому что стоит только вашему высочеству подписать и приложить свою печать».

Но Елизавета уклонилась от подписи и на этот раз, сославшись на присутствие придворного, на верность которого она не могла положиться.

Мы не знаем, сколь серьезно собиралась выполнять цесаревна свои устные обещания — быть может, она отказалась бы от них на другой день после воцарения, — но ясно, что и эти словесные обязательства были даны в ущерб национальным интересам России. В случае если скипетр окажется в ее руках, она бралась возместить Швеции все ее расходы на войну, выплачивать ей субсидии на протяжении всей жизни, предоставить швед-

ским купцам торговые привилегии, поддерживать шведскую дипломатию на международной арене и т. п.

Таким образом, участие в заговоре французских и шведских дипломатов вписало не самую светлую страницу в историю переворота и, надо полагать, не оставило радужных воспоминаний у Елизаветы Петровны. Ее не могла не тревожить мысль об опасных последствиях, если тайные переговоры с послами станут известны правительству, а ее заинтересованность в нападении шведов на Россию окажется достоянием двора и армии.

Предполагалось, что в начавшейся войне русская армия не окажет сопротивления шведам, когда узнает, что они открыли военные действия ради защиты интересов наследников Петра Великого. Сопротивление русской армии будет парализовано выступлением заговорщиков. Успехи шведов на театре войны должны были вызвать чувство радости у цесаревны, ибо они расчищали ей путь к трону. Более того: по настоянию Елизаветы Петровны главнокомандующий шведской армией граф Карл Эмилий Левенгаупт выпустил манифест, обращенный к «достохвальной русской нации», в котором заявлял, что шведская армия вступила в пределы России ради единственной цели — освободить русский народ от несносного иноземного притеснения: жизнь и имущество русских людей находились во власти засевших в правительстве иностранцев. Манифест заканчивался заверением о желании Швеции дружить с Россией и призывом объединенными усилиями шведов и русских сбросить иноземное иго. Однако манифест не оказал никакого влияния на ход событий — его экземпляры отступавшая шведская армия оставила в одном из населенных пунктов, и они оказались в распоряжении русского командования: содержание манифеста осталось неизвестным «достохвальной русской нации». С манифестом Левенгаупта правительница и ее окружение были знакомы. Из его содержания они могли сделать вывод об усилении антинемецких настроений в столице и необходимости принять меры по своей безопасности, но не сделали ни того, ни другого.

Употребляя современную терминологию, действия Швеции явились грубым вмешательством во внутренние дела России. Однако мысль о том, что успех переворота зависит от помощи извне, настолько утвердилась в сознании цесаревны, что она искренне сожалела о сокрушительном поражении шведских войск под Вильмандштадтом.

В конечном счете хитроумные расчеты шведской дипломатии обернулись крупными просчетами. К счастью для Елизаветы Петровны, ее упования на иностранную помощь тоже оказались просчетом. Две тысячи червонных вместо обещанных 15 тысяч — таков скромный вклад Шетарди в переворот. В канун его, 24 ноября, он считал фантастичной такую возможность: «...если партия принцессы не порождение фантазии (а это я заботливо расследую, обратившись к ней с настойчивым расспросом), вы согласитесь, что весьма трудно будет, чтобы она могла приступить к действиям, соблюдая осторожность, пока она не в состоянии ожидать помощи от Швеции».

«Заботливо расследовать» шансы Елизаветы маркизу не пришлось. Ночью 25 ноября его известили об успешном перевороте, и ему пришлось спешить во дворец, чтобы поздравить цесаревну с восшествием на престол.

3. Коронованная ветреница

Петр Великий готовил из своих дочерей не государственных деятелей, а невест для пусть захудалых, но европейских принцев. Отсюда вытекала весьма скромная программа их обучения и воспитания. Вот перечень предметов, которым обучали Анну и Елизавету: иностранные языки и светское обхождение. Мать их — неграмотная женщина, понятия не имевшая о том, как надлежит воспитывать царских детей. Отец был обременен военными заботами и не мог уделить должного внимания дочерям.

Как мы знаем, сам Петр в детские годы тоже не приобрел необходимых знаний, но ему удалось восполнить пробелы образования чтением книг. Его старшая дочь, Анна, также читала много и с интересом. Елизавета книг не читала, а само чтение считала вредным для здоровья, ссылаясь при этом на старшую сестру, которая, по ее мнению, и заболела-то от чрезмерного увлечения книгами. Подобно Анне Иоанновне, Елизавета Петровна не была подготовлена к управлению огромной империей. В их судьбах была еще одна общая черта — обе они не помышляли о короне. Честолюбие пробудилось у Елизаветы лишь после смерти Анны Иоанновны. До этого ее вполне устраивала жизнь цесаревны, наполненная удовольствиями и наслаждениями: никаких обязательств, но зато сколько радости доставляла ей репутация лучшей в России исполнительницы балетных танцев и русской пляски! Правда, ее запросы не всегда удовлетворялись — она обладала удивительной способностью транжирить деньги и поэтому постоянно пребывала в долгах.

Суждения современников о внешности Елизаветы Петровны единодушны — все считали ее женщиной необыкновенной красоты и в девическом возрасте, и тогда, когда ей перевалило за пятьдесят. Чтобы сохранить свой облик, ей приходилось употреблять титанические усилия и просиживать перед зеркалом долгие часы. Испанский посол дюк де Лириа так отзывался о 18-летней царевне: «Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. У нее удивительный цвет лица, прекрасные глаза, превосходная шея и несравненный стан. Она высокого роста, чрезвычайно жива, хорошо танцует и ездит верхом без малейшего страха. Она не лишена ума, грациозна и очень кокетлива»¹⁴.

Пять лет спустя внешность Елизаветы описала леди Рондо: «Принцесса Елизавета, которая, как вы знаете, является дочерью Петра I, очень красива. Кожа у нее очень белая, светло-каштановые волосы, живые голубые глаза, прекрасные зубы и хорошенький рот. Она склонна к полноте, но очень изящна и танцует лучше всех, кого мне доводилось видеть. Она

говорит по-немецки, по-французски и по-итальянски, чрезвычайно весела, беседует со всеми, как и следует благовоспитанному человеку, — в кружке, но не любит церемонности двора»¹⁵.

Девушку с такой привлекательной внешностью подстерегало множество соблазнов, от которых трудно было удержаться 16-летней цесаревне, оставшейся без отца и фактически предоставленной самой себе. Темперамент лишил Елизавету возможности блюсти себя в строгости, и она вела себя так, что вызывала нарекания и даже осуждение современников. Фельдмаршал Миних отметил вольности в поведении цесаревны: «Она была чрезмерно сладострастна и часто говорила своим наперсницам, что она довольна только тогда, когда влюблена»¹⁶. У сосланного в Пелым Миниха не было оснований проявлять к Елизавете теплые чувства, однако известные историкам факты подтверждают его правоту.

Первым любовником Елизаветы Петровны был камергер ее двора Александр Борисович Бутурлин, его сменил Семен Нарышкин. В привязанности к цесаревне последний оказался соперником Петра II и был сослан по повелению императора на Украину. Трагичнее всего сложилась судьба третьего фаворита — прапорщика Семеновского полка Алексея Яковлевича Шубина. При Анне Иоанновне этого красавца сначала сослали в Ревель, а в январе 1732 г. отправили в Сибирь, где его содержали секретным арестантом. Елизавете Петровне, упражнявшейся в сочинении виршей, приписывают следующие строки:

Я не в своей мочи огонь утушить,
Сердцем болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно и без тебя скучаю
Легче б ты не знать, нежели так страдать
Всегда по тебе¹⁷.

На четвертый день после переворота, 29 ноября 1741 г., Елизавета вспомнила о несчастном фаворите и велела сибирскому губернатору разыскать Шубина с целью отправить его в Петербург, чтобы он явился «при дворе нашем и для того дать ему подводы» и выделить на проезд 200 рублей. Шубина сразу обнаружить не удалось, что вытекает из указа от 28 февраля 1743 г. Для поисков возлюбленного императрица отправила в Сибирь подпоручика Семеновского полка Алексея Булгакова.

Дело осложнялось тем, что, будучи секретным арестантом, он назвал себя Шубиным только после того, как ему стало известно о воцарении Елизаветы Петровны, а до этого предпочитал молчать, опасаясь, что его разыскивают ради ужесточения наказания¹⁸. В конце концов Шубина разыскали; прапорщик был возвращен в Семеновский полк премьер-майором за то, что «безвинно пережил много лет в ссылке в жестоком заточении».

Артемий Петрович Вольтинский называл цесаревну ветреницей. По сути, ничего не изменилось и после переворота — она стала ветреницей на троне. Теперь императрица в полной мере отдалась страстям и удовольствиям. Как и в молодости, она блистала красотой. Юная принцесса

Ангальт-Цербстская, будущая Екатерина Великая, прибыла в Петербург в 1743 г., когда Елизавете было 34 года: «Поистине нельзя было тогда видеть в первый раз и не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная, но ничуть от этого не терявшая и не испытывавшая ни малейшего стеснения во всех своих движениях; голова была также очень красива...» И много лет спустя та же Екатерина продолжала восхищаться ее внешностью: «Несмотря на толщину, когда ей было уже за сорок лет, Елизавета сохранила удивительно прелестную фигуру, особенно грациозную в мужском костюме».

Роскошь двора Елизаветы затмила расточительность Анны Иоанновны. Но если траты последней историки осуждали, то блеск елизаветинского Петербурга воспринимался ими как должное. Объясняется это скорее всего тем, что придворные порядки Анны Иоанновны резко контрастировали с придворным бытом Петра Великого.

Послушаем, как описал придворную жизнь времен императрицы Елизаветы князь Михаил Михайлович Щербатов в знаменитом памфлете «О повреждении нравов в России»: «Двор, подражая или, лучше сказать, угождая императрице, в златотканые одежды облекался; вельможи изыскивали в одеянии все, что есть богаче, в столе — все, что есть драгоценнее, в питье — все, что есть реже, в услуге — возобновя древнюю многочисленность служителей, приложили к оной пышность в одеянии их. Экипажи возблистали золотом, дорогие лошади, не столь для нужды удобные, как единственно для виду, учинялись нужны для вожения позлащенных карет. Дома стали украшаться позолотою, шелковыми обоями во всех комнатах, дорогими мебельями, зеркалами и другими. Все сие составляло удовольствие самим хозяевам; вкус умножался, подражание роскошнейшим нарядам возрастало, и человек делался почтителен по мере великолепности его жития и уборов»¹⁹.

К сожалению, здесь нет преувеличений: подмеченные Щербатовым штрихи придворного быта и быта вельмож подтверждаются многочисленными источниками.

Изобретательность императрицы относительно увеселений не знала пределов: банкеты чередовались с куртагами, за ними следовали балы и маскарады. Знать во главе с Елизаветой убивала время в катаниях по Неве, игре в карты, посещении театров, в наблюдении за фейерверками. Хотя двор и стремился подражать версальскому, хотя развлечения стали более изысканными и утонченными, но ничто так не консервативно, как быт, в том числе и придворный. Правда, шуты, шутихи, дураки, женщины-говоруньи исчезли из дворцового обихода, не устраивались свадьбы, подобные той, когда Петр Великий обжегил главу всепьянейшего собора Аникиту Зотова, или торжествам в ледяном доме при Анне Иоанновне. Но нет-нет, да и давали о себе знать старые привычки: императрица, например, любила находиться в обществе женщин, ей прислуживавших во дворце, и совершать с ними прогулки в карете по Петергофу.

Особенной пышностью отличалась свадьба великого князя Петра Федоровича. Всем придворным было выдано жалование на год вперед, чтобы каждый из них мог обзавестись соответствующими экипажами, заказать не менее одного богатого платья с пожеланием, чтобы они менялись ежедневно на протяжении 10-дневных торжеств. Указ императрицы определял количество лакеев, гайдуков, скороходов, пажей, егерей, предназначавшихся для сопровождения вельмож, приглашенных на празднества. Лорд Гиндфорд в своем донесении в Лондон делился впечатлениями: «Здесь никогда не бывало более великолепной процессии. Она бесконечно превзошла все, что я когда-нибудь видел»²⁰.

Сколь скромной была инициатива императрицы в делах государственных, столь неистощимой должно признать ее фантазию относительно предписаний, кому в каких нарядах следует появляться на куртагах и с какими прическами.

Расточительность вельмож приобрела невиданные размеры. Они как бы состязались друг с другом в богатстве экипировки, карет, в продолжительности устраиваемых в их дворцах маскарадов, в разнообразии и богатстве военных парадов. Украинский гетман Кирилл Григорьевич Разумовский имел в подвалах Глухова, столицы своего гетманства, 100 тысяч бутылок отборного вина. Граф Степан Федорович Апраксин держал открытый стол. Его гардероб насчитывал многие сотни богатых костюмов. Будучи главнокомандующим во время Семилетней войны, он таскал за собой колоссальный обоз с изысканной снедью, экипировкой и т. д. Граф Иван Чернышов наряжал своих многочисленных слуг в богатейшие парчовые с золотом ливреи. Фаворит императрицы Алексей Григорьевич Разумовский, подобно князю Черкасскому при Анне Иоанновне, стал носить бриллиантовые пуговицы и пряжки. Сергей Нарышкин прибыл на свадьбу великого князя в карете, купленной за 50 тысяч рублей, а Иван Иванович Шувалов отмечал рождение у Петра Федоровича сына маскарадом продолжительностью в 48 часов. Впрочем, европейское великолепие в домах вельмож сочеталось с крайней нищетой: рядом с наряженными лакеями сновали дворовые в лохмотьях, едва прикрывавших наготу.

Страсть императрицы к увеселениям сочеталась со страстью к нарядам. По свидетельству Якова Штелина, воспитателя великого князя, после смерти императрицы в ее гардеробе насчитывалось 15 тысяч платьев, размещавшихся в 32 покоях Зимнего дворца (многие из них не были в пользовании), а также два сундука шелковых чулок, несколько тысяч пар обуви и др. Штелин скорее всего располагал точными сведениями, ибо только в московском гардеробе императрицы насчитывалось четыре тысячи платьев.

Особую привязанность испытывала Елизавета Петровна к офицерским мундирам. 30 ноября 1745 г. лорд Гиндфорд доносил в Лондон: «Ваше превосходительство не можете вообразить себе, как офицерский мундир шел к императрице. Я уверен, что всякий, не знающий ее по виду, принял бы ее за офицера, если бы не нежные черты лица». Екатерина II тоже

отметила привлекательный вид императрицы в мужском наряде. Императрица специально устраивала при дворе маскарады, называвшиеся метаморфозами: женщины появлялись в мужском одеянии, а мужчины — в женском. Можно себе представить, сколько неприятностей доставляли такие забавы дамам с уродливыми фигурами: женская одежда скрывала их недостатки, тогда как мужская их выпячивала. Скованными себя чувствовали и мужчины, напяливавшие на себя огромных размеров юбки на фижмах и сооружавшие на головах дамские прически.

Увлечения императрицы имели два пагубных следствия. Во-первых, расточительность двора истощала казну. Уже цитированный лорд Гиндфорд в июне 1745 г. извещал лорда Гаррингтона о расстроенных финансах России, нисколько не смущавших двор: «В казне — ни гроша, расходы же и расточительность двора возрастают изо дня на день».

Другое, более важное следствие состояло в том, что в угаре ежедневного веселья императрице не оставалось времени для управления государством. Ни в юные годы, ни в зрелом возрасте государыня не обнаружила черт характера своего знаменитого отца. Современники столь же единодушны в оценке прилежания императрицы, как и в характеристике ее внешности: утруждать себя серьезными делами она не умела и не хотела. Отзыв маркиза де ла Шетарди весьма деликатен: «Все было бы хорошо, если бы она умела согласовать свои удовольствия с обязанностью государя». Лорд Гиндфорд: «Она терпеть не могла всякого дела и вообще все, что требовало напряжения мысли хотя бы на одну минуту». Саксонский дипломат Пецольд: «Нет ни одного дела, даже важного, которого она не отменила бы ради какого-нибудь пустого препровождения времени. По своему темпераменту она так увлекалась удовольствиями, что о правительственных делах не могла слушать без скуки и даже по самым неотложным делам министрам приходится являться по нескольку раз».

В донесениях дипломатов, аккредитованных при русском дворе, нередко встречаются сообщения о невнимании императрицы к делам. Бывало, месяцами к ней нельзя было добиться приема. Так, Елизавета Петровна с 1 октября по 10 декабря 1744 г. удосужилась выслушать только два доклада, и то по делу, лично ее интересовавшему, — о Ботте. В недели, когда императрица направлялась на богомолье к Троице или готовилась отметить памятные дни своей жизни, а также в месяцы подготовки к свадьбе наследника она становилась недоступной для аудиенций и деловых разговоров.

Французский посол маркиз Бретейль поведал о случае, звучащем как анекдот: в 1746 г. во время подписания договора с Австрией на кончик пера, после того как императрица написала первые три буквы своего имени, села оса. Елизавета Петровна в ужасе бросила перо и дописала остальные буквы только через полтора месяца.

До сих пор мы ссылались на свидетельства иностранных дипломатов. Но канцлер А. П. Бестужев-Рюмин их подтверждал: он как-то жаловался саксонскому резиденту Пецольду, что императрица могла наедине часами

беседовать о всякой всячине с медиком Лестоком, запросто заходившим к ней, «тогда как министры иной раз в течение недели тщетно добиваются случая быть с нею хотя четверть часа»²¹. Даже канцлер не всегда мог рассчитывать на аудиенцию. «Трудно привлечь императрицу заняться делами хотя бы на четверть часа», — с горечью говорил он английскому послу лорду Тироули.

Шли годы, подкрадывалась старость, и Елизавета принуждена была поддерживать увядавшую красоту все более продолжительными процедурами. Время, проводимое ею у зеркала за туалетом, считалось самым удобным, и министры спешили им воспользоваться.

Как известно, Елизавета восстановила Сенат как высшее правительственное учреждение (этот статус он имел при Петре Великом). В 1742 г. она навестила Сенат четыре раза, столько же — в 1744-м. Затем наступил длительный перерыв — в 1754 г. она почтила Сенат своим присутствием только дважды. На большее у нее не доставало ни времени, ни желания. Даже созданную при ней Конференцию (учреждение, по правам и обязанностям напоминавшее Верховный тайный совет и Кабинет министров) она удосужилась за пять лет навеситить, по свидетельству Екатерины, дватри раза.

«Дщерь Петрова» не выдерживает сравнения со своим отцом и по части законодательной инициативы, причем относившейся не к распорядительным, а к нормативным актам. Они касались второстепенных вопросов и имели в виду жизнь двора, а не страны. Пусть читателя не смущает обилие именных указов, опубликованных в Первом полном собрании законов Российской империи. Гриф «именной» отнюдь не означал причастность к составлению указа царствующего государя: эта помета ставилась в тех случаях, когда закону пытались придать больший вес, чем, например, указу сенатскому. Однако были и указы, инициатива составления которых, несомненно, исходила от императрицы. Елизавета Петровна, как и ее двоюродная сестра Анна Иоанновна, была пристрастна — правда, в меньшей степени — к охоте. Поэтому нет ничего удивительного в том, что первый именной указ, поданный после переворота, относился не к новшествам во внутренней и внешней политике России, а запрещал стрелять зверей и птиц в окрестностях Петербурга.

1 сентября 1743 г. указом казанскому губернатору Артемию Григорьевичу Загрязскому было велено собрать в губернии деньги на подарок камер-юнкеру Возжинскому, отправленному в Казань с приятным известием о заключении мира со Швецией. Этот Возжинский был лично известен императрице, поскольку правил лошадьми в царской карете, держал в руках вожжи, откуда и пошла его фамилия. Другой указ, от 13 октября 1745 г., тоже исходил от императрицы. Он повелевал отправить ко двору «самых лучших и больших тридцать котов, удобных к ловлению мышей», в сопровождении человека, «которой бы мог за ними ходить и кормить»²². Не подлежит сомнению, что указ от 11 апреля 1744 г. о выдаче первому лейб-медику Лестоку 5000 рублей «за благополучное пущение е. и. в.

крови» тоже исходил от императрицы. Кто-то из придворных поведал императрице о несчастном случае от медведя, содержавшегося в частном доме. Последовал указ, запрещающий содержать медведей в Москве и Петербурге. «А кто к оному охотник, содержали б в деревнях своих»²³.

Как и у ее предшественников, у Елизаветы отсутствовала система взглядов в области внутренней и внешней политики. Этому утверждению вроде бы противоречат такие масштабные акции, как отмена внутренних таможенных пошлин, создание Московского университета, начало генерального межевания, объявление винокурения дворянской монополией. Степень участия императрицы в них выразилась лишь в том, что она удосужилась поставить под ними свою подпись. Приписывать монархине прозорливость и неусыпное рвание благо подданных у нас нет никаких оснований.

Тем не менее двадцатилетнее царствование Елизаветы оставило благоприятные воспоминания у современников и потомков. Едва ли не самой важной акцией, оставившей о ней добрую память, стоит считать лишение немцев правительственных должностей и назначение на них русских людей. Эту замену можно с полным основанием отнести к возрождению национального самосознания.

Другая акция, тоже исходившая от императрицы, связана с обетом, данным ею при восшествии на престол, — не проливать кровь подданных. Указ, отменявший смертную казнь, был обнародован в 1744 г. Елизавета Петровна свято блюла свой обет, топор палача бездействовал. Нравы двора заметно смягчились — среди фаворитов императрицы мы не обнаружим личностей типа беспутного Ивана Долгорукого или неимоверно жестокого Бирона. В прошлое отошли и бесчинства воинских команд, отправляемых для выколачивания недоимок с селян и горожан.

Императрица отличалась исключительной набожностью. Став императрицей, она продолжала исполнять еще один обет, — в знак благодарности за спасение, найденное ее отцом в Троице-Сергиевом монастыре в дни ссоры с царевной Софьей, она, будучи в Москве, непременно предпринимала пеший поход в этот монастырь. Религиозность Елизаветы, доходившая до фанатизма, имела и обратную сторону — старообрядцы при ней подвергались преследованиям более суровым, чем при ее отце; участились случаи самосожжения, а также насильственного крещения народов Поволжья.

Существовала еще одна сфера деятельности, в которую властно вторгалась императрица (и это вторжение, кажется, приносило ей удовлетворение) — она не прощала личных обид и при определении меры наказания была строгой и даже беспощадной к обидчикам. Она становилась непохожей на себя и не откладывала дела такого рода в долгий ящик, проявляя к ним живой интерес. В этом мы еще убедимся на примере дела Лопухиных. Второй аналогичный эпизод связан с маркизом де ла Шетарди.

Напомним, он был тесно причастен к перевороту в пользу Елизаветы. Французскому послу казалось, что он вправе претендовать на особое по-

ложение при дворе, а императрица должна будет прислушиваться к его советам и благосклонно отнесется к пожеланиям французского двора. Шетарди был настолько уверен в этом, что по возвращении в Петербург не спешил с вручением верительных грамот и аккредитацией, полагая, что в качестве частного лица ему удобнее будет вмешиваться во внутренние дела России и плести интригу против Алексея Петровича Бестужева-Рюмина, тогда еще вице-канцлера. Целью Шетарди было свалить Бестужева и посадить на эту должность более покладистого Александра Ивановича Румянцева.

Бестужев знал об интригах Шетарди. Постоянно находясь под угрозой отставки, он терпеливо ждал удобного случая, чтобы нанести французскому сокрушительный удар. Шетарди подставился сам.

Иностранные дипломаты информировали свои правительства о жизни двора и событиях в стране с помощью депеш, отправляемых либо почтой, либо нарочными. Сведения, не составлявшие тайны, посылались открытым текстом, а всякого рода секреты — шифром. В России, как и в других странах, донесения, отправленные почтой, как правило, перлюстрировались. Шетарди это знал и открытым текстом не скупился на похвалы императрице. Подлинное же свое отношение к ней и оценку ее как государыни маркиз зашифровывал, пребывая в полной уверенности, что его текст станет достоянием исключительно правительства в Версале. На его беду, в Коллегии иностранных дел служил умелец, научившийся подбирать ключи к шифру и таким образом читать как донесения посла, так и ответы на них французского министра иностранных дел. Умельцем оказался статский советник Гольдбах, проявивший, как он сам о себе писал, «особливое искусство и неусыпный труд».

Первую расшифрованную Гольдбахом депешу Шетарди отправил 23 декабря 1743 г., последнюю — 6 июня 1744 г. Свыше шести месяцев Алексей Петрович Бестужев-Рюмин с удивительным хладнокровием накапливал материал, компрометирующий французского посла, хранил его в величайшем секрете и в конце концов нанес Шетарди страшной силы удар, которого тот никак не ожидал.

Утром 6 июня 1744 г. в Москве, где в это время находился двор, произошло событие, вызвавшее смятение среди иностранных дипломатов в России. В половине шестого на подворье, занимаемое маркизом, прибыл генерал Андрей Иванович Ушаков в сопровождении камергера князя Петра Голицына, церемониймейстера Исаака Веселовского, секретаря Коллегии иностранных дел Андреяна Неплюева, чиновника той же коллегии Курбатова, одного капитана и двух унтер-офицеров Семеновского полка. Они потребовали от служителя, чтобы он немедленно вызвал к ним Шетарди. Служитель заявил, что хозяин болен и всю ночь не спал, но посетители настаивали на своем. Спустя четверть часа перед ними «в парике и полушлафроке» (халате, спальной одежде) предстал французский посол. Ушаков заявил ему, что прислан по указу императрицы «для некоторого объявления». Тут же Курбатов зачитал декларацию, предла-

гавшую маркизу в течение 24 часов покинуть пределы России, причем ему запрещалось заезжать в Петербург и иметь остановки в городах. Ему запрещалось также с кем-нибудь встречаться, даже чтобы проститься.

Шетарди заставила трепетать не столько сама декларация, сколько присутствие среди незваных гостей Ушакова — шефа Тайных розыскных дел канцелярии, чья жестокость и изощренные пытки вызывали ужас у современников. В рапорте об этом визите, составленном для императрицы, было написано: «...он, Шетардий, сколь скоро генерала Ушакова увидел, то он в лице переменялся, при прочтении экстракта столь конфузен был, что ни слова в оправдание свое сказать или что-либо прекословить не мог».

Описание поведения маркиза не совсем точно. В действительности он пытался возражать и оправдываться, но быстро угомонился, как только ему были показаны расшифрованные депеши. По свидетельству Бестужева, Шетарди слушал декларацию, «потупя нос и во все время сопел... По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько противу его доказательств было собрано, и когда оные услышал, то еще больше присмирел, а оригиналы когда показано, то своєю рукою закрылся и отвернулся, глядеть не хотел»²⁴.

Какие действия Шетарди вызвали гнев императрицы? Чем можно объяснить столь унижительное и спешное выдворение? Официальное обвинение звучит туманно: «1) Поношение освященных государевых персон, качеств или склонностей и прочая. 2) Всякое народное противу государя возмущение, подкупление чужих подданных и заведение тем себе партии и следственно опровержение ему противной... 3) Посылки о состоянии того государства, в котором он резидует, ко двору своему ругательных и предосудительных реляций».

С точки зрения дипломатической практики тех времен, Шетарди не сильно переступал рамки дозволенного. Отправляемые за рубеж послы снабжались двумя инструкциями: открытая аккредитация, предъявлявшаяся правительству страны, излагала официальные цели посольства; вторая инструкция, секретная, ставила перед послом обширные разведывательные цели — сбор сведений о состоянии экономики, армии и флота, политического устройства, а также обстоятельная характеристика лиц, власть предержавших. Успех официальной и секретной задач посольства зависел от способности дипломата заводить знакомства, устанавливая доверительные отношения, плести интриги, привлекая к участию в них как местных вельмож, так и послов дружественных государств.

Разумеется, закулисная деятельность должна была вестись осторожно, ибо считалась противозаконной и могла вызвать печальные последствия для посла. В распоряжении петербургского двора отсутствовали прямые доказательства противозаконной деятельности маркиза. Но Бестужев представил императрице не только дешифрованные депеши, но и комментарии к ним. Смысл их состоял в следующем: «Ведая, что его письма распечатываются, он нарочно без цифр (шифра. — Н. П.) с похвалою, а

во всех его письмах в цифрах он с оскорблением величества писал, из чего злость и лукавство его осязательно явствуют».

Алексей Петрович, изучивший характер своей повелительницы, хорошо понимал, что ее заденут не свидетельства вмешательства маркиза во внутренние дела России в виде подкупа с целью «перемены министерства», то есть его отставки, а наличие «дерзостных поношений», способных вызвать незамедлительную вспышку гнева. Вице-канцлер от удовлетворения потирал руки, когда представлял себе разгневанное лицо императрицы, прочитавшей в депеше Шетарди такие слова: «Также есть легкомыслие царицы, что надобно за много (?) почитать, когда кто приведет ее к исполнению хотя некоторой части тех дел, коих совершение интерес ее требует». Это не самое сильное выражение в ее адрес. В депешах встречаются и такие оценки Елизаветы Петровны: «она в намерениях своих мало постоянна», царица «единственно увеселениям своим предана и от часу вяще совершенную омерзелость от дел возымевает»; все заботы императрицы нацелены на «безделицу» — она четыре-пять раз за день меняет туалеты. «Мнение о малейших делах ее ужасает и в страх приводит, и те примеры (что она такие дела подписывала, о которых она ни малейшего знания не имела и когда ей от оных воспоследовать могущие несходства показываются) не могут ее к тому склонить, чтоб она о себе поодумалась и ту леность преодолела, которая ее к пренебрежению всего ежедневно приводит». Мысль об инертности Елизаветы становится лейтмотивом депеш: ее «пугает внимание даже к наималейшим делам» и «ее министры сами не могут ни о делах говорить как только урывками и гоняючись»; она подписывает документы, не читая их. Шетарди доносил о «слабомнении и развеянии ума царицы», проявлявшей не только безразличие к делам, но и ненависть «ко всему тому, еже делом именуется».

Такого Елизавета простить не могла и на оскорблениеотреагировала мгновенно. С автором зарисовок императрица расправилась достаточно сурово — маркиз должен был немедленно отправиться к западной границе, эскортируемый командой солдат.

Перечисленные акции с личным участием Елизаветы можно отнести скорее к человеческим качествам императрицы, ее гуманности либо мстительности, чем к мудрости государственного деятеля. Тогда кто же приводил в движение правительственный механизм, подготавливал нормативные акты, публиковавшиеся от имени государей?

Таких сил было три: правящая бюрократия, фавориты и лица, стоявшие у подножия трона. У этих сил были разновеликие возможности и разномасштабные полномочия. Бюрократия — система косная, консервативная, неспособная к генерированию новшеств и с трудом их воспринимавшая. Едва ли не самым выразительным примером неспособности правящей бюрократии выдвигать новые идеи и новые формы их реализации стал призыв к возрождению порядков петровских времен. В развитие этой идеи были восстановлены некоторые правительственные учреждения, ликвидированные преемниками реформатора. К ним относится восстановле-

ние Сената в ипостаси Правительствующего, низведенного после Петра до роли Высокого. Одновременно был упразднен Кабинет министров. Были восстановлены две коллегии, ведавшие легкой и металлургической промышленностью. Равным образом при Елизавете Петровне начал функционировать ранее упраздненный Главный магистрат.

Рестаурация петровских учреждений означала лишь восстановление форм, не сопровождавшееся наполнением их новым содержанием. Например, промышленная политика, разработанная Петром Великим, с некоторыми изъятиями продолжала претворяться в жизнь и при его преемниках независимо от существования или упразднения Берг- или Мануфактур-коллегий.

Немалая роль в законотворчестве принадлежала фаворитам и лицам из ближайшего окружения государя. Положение фаворита зависело от способности коронованной особы выполнять функции государя. При Петре I фаворит Меншиков был всего-навсего исполнителем воли царя. При Екатерине I и Петре II тот же Меншиков стал полудержавным властелином, фактическим правителем страны. Своеобразие его положения в эти два царствования заключалось в том, что не его наделяли статусом фаворита, а он сам избирал себе государя: менялись самодержцы, а фаворит при них оставался неизменным.

Анна Иоанновна и Елизавета Петровна сами выбирали себе фаворитов по своему вкусу и запросам. Угрюмая Анна Иоанновна остановила выбор на свирепом Бироне. Иным представляется облик елизаветинского фаворита Алексея Григорьевича Разумовского. Если красота Бирона и его манера держаться отталкивали, то доступность и простота обращения Разумовского, его готовность помочь человеку, оказавшемуся в беде, напротив, притягивали. Резко отличались они и по складу характера. В противоположность грубому, надменному, жестокому и энергичному герцогу Алексей Григорьевич снискал у современников репутацию человека добродушного и достаточно ленивого, чтобы вмешиваться в государственные дела, — избытком честолюбия он не страдал и довольствовался ролью супруга императрицы.

Примечательна судьба Разумовского. Он родился в 1709 г. в семье регистрового казака Григория Яковлевича Розума, в детстве пас коров. Упомрачительной перемене в своей жизни он обязан красивой внешности и изумительному голосу. В январе 1731 г. полковник Вишневский, проезжая через село Чемер, где Алексей Розум пел в церковном хоре, обратил внимание на его голос и уговорил дьячка, обучавшего молодого человека грамоте и пению, отпустить его в Петербург. Здесь его определили в придворный хор, где красавца заметила цесаревна. Вскоре певчий оказался при ее дворе. В это время в фаворитах Елизаветы пребывал известный нам Шубин. После его ссылки вакантное место занял Алексей Розум. Потеряв голос, он стал бандуристом, затем управляющим имениями цесаревны и из Розума сделался Разумовским. После переворота в ноябре 1741 г. в его жизни наступил новый этап — фаворит цесаревны стал фаворитом императрицы.

Мы в точности не знаем причин, по которым Елизавета Петровна не выходила замуж: возможно, потому, что ей, будучи цесаревной, опустылено томительное ожидание, когда ей наконец навяжут жениха. Быть может, она страдала бесплодием и в ее положении императрицы замужество становилось бессмысленным, ибо наследника было ожидать бесполезно. Не лишено оснований и предположение, что Елизавета предпочитала быть императрицей, нежели супругой мужчины, по обычаю считавшегося главой семьи. Как бы там ни было, но, став императрицей, она дала публичный обет безбрачия. Это обязательство отметили английский и французский послы.

К. Финч в конце 1741 г. доносил в Лондон: императрица «довольно открыто заявляет о своем намерении не выходить замуж». В феврале 1742 г. Шетарди информировал Версаль: «Брак столько же противоречит образу мыслей этой государыни и надежде, судя по ее полноте, иметь детей, сколько и желанию народа, который более чем осязательно со времени прибытия герцога Голштинского основывает свою надежду на нем»²⁵.

Обет безбрачия Елизавета Петровна не выполнила, ее публичные заявления были, похоже, сделаны с целью замаскировать тайные брачные узы с фаворитом. Биограф фамилии Разумовских — А. А. Васильчиков полагал, что императрица вступила в тайный брак с Разумовским осенью 1742 г., когда в селе Перове якобы состоялось их венчание. Биограф ссылался на то, что с того времени на церковь, где происходило венчание, а также на церковь Вознесения в Барашах, где был отслужен благодарственный молебен, последовали щедрые пожалования императрицы в виде дорогой утвари и богатых риз. Ссылался А. А. Васильчиков и на саксонского резидента Пецоляда, извещавшего свое правительство в 1747 г.: «Все уже давно предполагали, а я теперь это знаю как достоверное, что императрица несколько лет назад вступила в брак с обер-гофмейстером».

Впрочем, документальные данные на этот счет отсутствуют, молва связывала их уничтожение с повелением Екатерины II Разумовскому представить документы о его браке с императрицей. На случай, если этот факт будет подтвержден документами, был подготовлен указ о даровании Разумовскому титула императорского высочества. Когда М. И. Воронцов вручил Разумовскому проект указа, тот его прочел, достал сверток с документами, поцеловал его, прослезился и бросил в камин, сказав при этом: «Я не был ничем, более как верным рабом ее величества... осыпавшего меня благодарениями превыше заслуг моих. Никогда не забывал я, из какой доли и на какую степень возведен я десницею ее». Закончился этот монолог словами: «Теперь вы видите, что у меня нет никаких документов».

Был ли связан Алексей Григорьевич брачными узами с императрицей или оставался ее фаворитом, значения не имеет. Важно другое — на Разумовского одно за другим посыпались пожалования. В 1744 г. Елизавета Петровна подарила ему вотчины, тогда же ее хлопотами он был возведен императором Карлом VI в графское достоинство, причем в дипломе вопреки истине утверждалось что его владелец происходил из знатной фа-

мии Польского королевства Рожинских. Через два месяца после пожалования графского достоинства Священной Римской империи императрица возвела двух братьев Разумовских в графы Российской империи. Так бывший пастух пополнил ряды титулованного дворянства.

Императрица не оставила без внимания Алексея Григорьевича и после того, как его стал отеснять на второй план новый фаворит — Иван Иванович Шувалов. В 1756 г. Елизавета Петровна подарила ему два дворца, но главное пожалование состоялось 5 сентября того же года, когда она пожаловала в фельдмаршалы сразу четверых, среди которых значились два фаворита — один из них состоял в этом качестве в дни ее молодости, а к другому она испытывала нежную привязанность свыше четверти столетия. Это были Александр Борисович Бутурлин и Алексей Григорьевич Разумовский. Предание приписывает Разумовскому слова, якобы произнесенные им после подписания этого указа: «Государыня, ты можешь называть меня фельдмаршалом, но никогда не сделаешь из меня даже порядочного полковника. Смех, да и только!» Даже если граф Алексей и не говорил этих слов, они рельефно очерчивают репутацию фаворита как человека скромного, знавшего подлинную цену себе и своим возможностям, кстати весьма ограниченным.

Бескорыстием отличался и последний фаворит императрицы — Иван Иванович Шувалов, приглянувшийся ей в конце 40-х годов.

В отличие от Разумовского, не имевшего возможности похвалиться образованностью и считавшего дела внутренней и особенно внешней политики выше своего понимания, И. И. Шувалов оказывал значительное влияние на ход событий в стране, пользовался полным доверием императрицы, сочинял для нее деловые бумаги. Он был вхож к ней в любое время, мог замолвить словечко за любого из вельмож. Впрочем, проницательный Шувалов не обольщался относительно заискивающих взглядов вельмож и справедливо полагал, что «пользу свою во мне любят». Когда Иван Иванович заявлял, что он не может совершать поступки, противоречащие его чести и пользе государства, он нисколько не лукавил. Не грешил он против истины, когда писал о себе: «Могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям и знатности; когда я, милостивый государь, — обращался он к своему корреспонденту М. И. Воронцову, — ни в каких случаях к сим вещам моей алчбы не казал в каких летах, где страсти и тщеславие владычествуют людьми, то ныне истинно и более притчины»²⁶.

Однако при всем влиянии И. И. Шувалова на императрицу власть, в особенности в области внутренней политики, находилась не у него, а у лиц, подобно Остерману, стоявших у подножия трона. Делами внутренними заправлял двоюродный брат Ивана Ивановича — Петр Иванович Шувалов, а внешней политикой в течение 16 лет заведовал канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, а затем сменивший его на этом посту Михаил Илларионович Воронцов (впрочем, в делах иностранных ни один важный вопрос не решался без участия Ивана Ивановича).

В отличие от своего бескорыстного родственника П. И. Шувалов был человеком до крайности алчным и не стеснялся залезать в казенный сундук, гораздо был выпрашивать пожалования, но отличался такой расточительностью и жил столь широко, что после смерти оставил великое множество долгов. Петр Иванович обеспечил карьеру себе и всему клану Шуваловых женитьбой на бывшей фрейлине императрицы Мавре Егоровне Шепелевой, пользовавшейся ее безграничным доверием со времени, когда Елизавета была цесаревной. Французский дипломат Ж.-Л. Фавье отзывался о нем так: «Он возбуждал зависть азиатской роскошью в доме и в своем образе жизни: он всегда покрыт бриллиантами, как Могол, и окружен свитой из конюхов, адъютантов и ординарцев»²⁷. Однозначно отрицательная оценка П. И. Шувалова объяснялась не только демонстрацией им своего роскошного бытия, но и раздражавшей всех надменностью, непомерным честолюбием, неразборчивостью в средствах достижения поставленной цели.

Петр Шувалов прославился не только мотовством и жадностью, но и прожектерством. От его имени было подано великое множество проектов, главная идея которых состояла в изыскании способов пополнения казны финансами без «тягости народной». Мемуарист М. В. Данилов засвидетельствовал: «Графский дом наполнен был весь писцами, которые списывали от графа прожекты». Он же отметил: некоторые из проектов «были к приумножению казны государственной, которой на бумаге миллионы поставлено было цифрой, а другие прожекты были для собственного его графского верхнего доходу»²⁸. К числу первых относится, например, отмена внутренних таможенных пошлин, повышение удельного веса косвенных налогов в бюджете государства; ко вторым следует отнести объявление винокурения и поставок вина на питейные дворы дворянской монополией. В целом этот вельможа оправдывает саркастическую характеристику, данную ему М. М. Щербатовым: «Петр Иванович Шувалов был человек умный, быстрый, честолюбивый».

Знакомый нам Алексей Петрович Бестужев-Рюмин был столь же тонким дипломатом, как и интриганом, которому за долгие годы канцлерства приходилось постоянно отбиваться от недругов. Он делал это успешно и ловко, сумев одолеть самых непримиримых противников, — с позором был изгнан Шетарди, а доктору Лестоку с 1748 г. пришлось коротать невеселые дни ссылки в Угличе.

Однако Шуваловых Бестужев не одолел и в 1758 г., как и во времена Анны Леопольдовны, оказался в ссылке. Его место занял Михаил Иларионович Воронцов, активно участвовавший в возведении на престол Елизаветы. Фавье дал ему довольно объективную аттестацию: «Этот человек хороших нравов, трезвый, выдержанный, ласковый, приветливый, вежливый, гуманный, холодной наружности, но простой и скромный... Его вообще мало расположены считать умным, но ему нельзя отказать в природном рассудке. Без малейшего или даже без всякого изучения и чтения он имеет весьма хорошее понятие о дворах, которые он видел, а также

хорошо знает дела, которые он вел. И когда он имеет точное понятие о деле, то судит о нем вполне здраво»²⁹.

Как дипломат Воронцов стоит ниже Бестужева, он был менее прилежен к делам. Как и Петр Шувалов, Михаил Илларионович отличался расточительностью, постоянно попрошайничал у императрицы, но так и не научился жить по средствам и сводить концы с концами.

4. Тень над престолом

Вопреки ожиданиям двадцатилетнее царствование Елизаветы Петровны протекало отнюдь не безмятежно. Легкость, с которой совершались предыдущие перевороты, вызвала желание совершить нечто подобное еще раз. Благо на устах было и имя, в пользу которого можно было действовать, — Иоанн Антонович. Свергнутый император, словно тень, преследовал императрицу все два десятка лет ее правления, не давал он покоя и ее преемникам — Петру III и особенно Екатерине II, подобно Елизавете занявшей трон с помощью переворота.

В годы правления Елизаветы Петровны, как и при ее предшественнице Анне Иоанновне, в застенках Тайной канцелярии томились безвестные колодники; как и раньше, в пыточные камеры этого мрачного заведения попадали влиятельные особы. Однако царствование «дщери Петровой» не было омрачено кровавым террором. Стоны в застенках раздавались реже, кары были снисходительнее, но «слово и дело» продолжало сохранять свою силу. В Тайную розыскных дел канцелярию попадали лица, обвиняемые в непочтительных отзывах об императрице, в намерении повредить ее здоровье.

В сети Тайной канцелярии обычно попадала мелкая рыбешка — например, оказавшийся в Речи Посполитой беглый солдат, которого какой-то ксендз научил посыпать дорожку вредным порошком, вызывавшим смерть у всякого, кто по ней пройдет (перед тем как посыпать дорогу, по которой должна была шествовать императрица, злоумышленник проверил действие порошка на курах — у тех отнялись ноги). Хотя солдат в конце концов от своей затеи отказался, он тем не менее оказался в Тайной канцелярии. По Соборному уложению 1649 г. за покушение на здоровье государя ему грозила смертная казнь, но солдат отделался сравнительно легко — истязанием кнутом и вечной работой на каторге в Рогервике.

Среди колодников Тайной канцелярии оказывались и странные люди, видимо, с ненормальной психикой. Солдатский сын Никита Алексеев попал в застенок по наговору на себя, что будто бы пьяным поносил «в уме своем» императрицу Елизавету Петровну. Хотя слова поношения не были произнесены вслух, Алексеев понес наказание, ставшее нормой, — истязание плетью и ссылку на каторжную работу. Было немало охотников сказывать «слово и дело» ложно, из «любви к искусству» мечтавших

подвергнуться истязаниям. Например, некий матрос Адмиралтейского ведомства многократно вопил «слово и дело», а последний раз во время экзекуции поносил бранью Николая Чудотворца и государыню. Сей рецидивист подвергся более суровому наказанию — к битью кнутом и ссылке прибавили вырезание ноздрей.

Подобных дел было немало, но не они привлекали внимание императрицы. В этой главе мы поведем речь о так называемых политических процессах, когда обвиняемые, не ограничившись осуждением императрицы, называли альтернативную ей кандидатуру — Иоанна Антоновича. Таких процессов было три, причем два из них — в начале ее царствования — последовали один за другим. Все три процесса скорее явились плодом обостренного слуха Елизаветы Петровны к делам подобного рода: каждый шорох принимался за раскаты грома. Дело ограничивалось досужими разговорами.

Летом 1742 г. зарегистрирован так называемый заговор Турчанинова. Инициатором его стал прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка Петр Квашнин, главарем же следствие назвало камер-лакея Александра Турчанинова (видимо, потому, что его статус был выше, чем у Квашнина). Третий участник заговора — Иван Сновидов служил в Измайловском полку сержантом. Намерение заговорщиков состояло в том, чтобы восстановить на престоле законного государя, назначенного наследником еще при жизни Анны Иоанновны. Что касается Елизаветы Петровны, то она никаких прав на престол не имеет, ибо «прижита государынею императрицей Екатериной Алексеевной до венца». Ее возвели на престол лейб-компанцы «за винную чарку».

Детально разработанный план переворота отсутствовал: надлежало собрать, по одним известиям, 300, по другим — 500 человек, разделить их не то на две, не то на три группы и двинуться во дворец, к государыне в спальню, и взять ее под стражу. Другому отряду надлежало обезоружить лейб-компанию, а если она окажет сопротивление, то всех их переколоть.

Все это оказалось несбыточной мечтой. А когда к «заговору» попытались привлечь лейб-гвардии каптенармуса Парского и капрала Изгединова, оба поспешили с доносами в Тайную канцелярию.

Во времена Анны Иоанновны обвиняемых ожидала бы самая суровая кара — в лучшем случае им отрубили бы головы. При Елизавете, давшей обет не казнить никого из подданных, приговор по меркам того времени был сносным: Турчанинов после наказания плетьюми, вырезания языка и ноздрей был сослан в Охотский острог, Квашнин и Сновидов отделались ссылкой в Сибирь.

Дело Турчанинова отразилось на судьбе Брауншвейгской семьи: с каждым разом, когда обнаруживались мнимые заговоры в пользу Иоанна Антоновича, усиливались строгости надзора за узниками. Императрица проявляла живейший интерес к событиям, имевшим отношение к этой семье. Так, в октябре 1742 г. она выразила недовольство Салтыкову в связи с дошедшими до нее слухами о его мягком обращении с заключенными:

«Уведомились мы, что принцесса Анна вас бранит, також, что принц Иоанн, играючи с собакой, бьет ее в лоб, а как спросят: «Кому де, батюшка, лоб отсечешь?», то он отвечает, что Василию Федоровичу (Салтыкову. — Н. П.). И буде то правда, то нам удивительно, что вы о том нам не доносите».

Информация оказалась ложной, Салтыков ответил, что ничего подобного не было, что принцесса и ее супруг относятся к нему с должным почтением и никаких «противностей» ему не чинят.

На этот раз донос не имел последствий, но в тот же день, когда чинили наказание Турчанинову и его сообщникам, 13 декабря 1742 г., в Ригу к Салтыкову был отправлен указ: «Принцессу с мужем и с детьми и с их людьми... перевезти из Риги в Дюнамюнд-шанц»³⁰.

Еще более странным было так называемое дело Лопухиных. Его можно оценить не иначе как брюзжание дам, недовольных воцарением Елизаветы и утратой прежних благ. Расскажем все по порядку.

Дело началось с того, что поручик кирасирского полка лифляндец Бергер, получив назначение в Соликамск начальником караула при посланном туда графе Левенвольде, явился к Лестоку с важным сообщением. Этим доносом Бергер надеялся освободиться от назначения в глухую провинцию. Сообщение оказалось так по душе Лестоку, что он пообещал лифляндцу не только избавить его от новой службы, но и выдать вознаграждение.

Бергер донес о просьбе подполковника Ивана Лопухина передать по поручению его матери статс-дамы Натальи Федоровны Лопухиной поклон ее бывшему любовнику Левенвольде, а также пожелание не отчаиваться и твердо надеяться на лучшие времена. Какие же выгоды собирался извлечь Лесток из этой информации?

В его уме родился план большой интриги, рассчитанной на то, чтобы свалить вице-канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина или на худой конец хотя бы подорвать доверие к нему императрицы.

Дело в том, что опытный дипломат и интриган Бестужев оказался в ссылке после ареста Бирона, которому он оказывал не в меру ретивую поддержку во времена его регентства. После же ссылки Остермана Елизавета осталась без опытного руководителя внешнеполитического ведомства. По совету Лестока Бестужев вернули ко двору, возвратив ему прежнюю должность вице-канцлера. Лекарь сначала рассчитывал, что obligatory ему Бестужев станет его марионеткой. Но Елизавета Петровна как в воду глядела, предупреждая француза, что тот протезирует Бестужеву на свою голову. Действительно, вице-канцлер отверг союз с Францией и остался убежденным сторонником традиционного сближения России с Австрией.

Основную роль в дискредитации своего противника Лесток отводил подруге Лопухиной графине Анне Гавриловне Бестужевой, супруге гоф-маршала Михаила Петровича, родного брата вице-канцлера.

Посчитав полученную информацию недостаточной, Лесток поручил Бергеру выпытать у Ивана Лопухина, что означали слова его матери о

наступлении лучших времен и когда их следует ожидать. Зная о пристрастии подполковника к горячительным напиткам, Бергер пригласил его в трактир, где развлекалась гвардейская молодежь. После того как собеседник захмелел, он начал провокационные расспросы. Лопухин заявил:

— Жить стало скучнее, чем раньше.

— А почему? — спросил Бергер.

— Та и есть причина, что ныне веселье никому на ум нейдет. Вот хоть на себя укажу. При дворе принцессы Анны Леопольдовны был я камерюнкером в ранге полковника, а ныне определен подполковником, да и то неведомо куда — в гвардию или в армию... Ныне, друг любезный, веселится только наша государыня. В Царское Село со всякими непотребными людьми ездит, аглицким пивом напивается...

Далее Лопухин заявил собеседнику, что после смерти Петра II хотя и надлежало призвать на престол Елизавету, но она в то время была беременна. Подполковник продолжал рассуждать:

— Императрица держит в Риге под караулом Брауншвейгскую фамилию, того не ведая, что рижский караул готов поддержать ее против Елизаветы. Думаешь, не сладит с тремьятами канальями? Прежний караул и крепче был, да сделали дело... Плохо под бабьим правительством, — заключил свой монолог Иван.

Но Бергер вытянул из него еще одно признание:

— Сам увидишь, что через несколько месяцев будет перемена. Недавно мой отец к матери писал, чтобы я не искал никакой милости у государыни. Мать перестала ко двору ездить, а я в последний раз был на маскараде.

Бергер решил продолжить беседы с Лопухиным и нашел себе собеседника в лице майора Фалькенберга, которого посвятил в тайны замысла.

— А принцу Иоанну недолго быть сверженну? — спросил Бергер у Ивана.

Получив утвердительный ответ, Бергер с Фалькенбергом поспешили с доносом к Лестоку. В тот же день лекарь известил обо всем императрицу. Как и следовало ожидать, реакция последней была молниеносной. Елизавета Петровна отменила поездку в загородную резиденцию, велела назначить караулы на улицах столицы и усилить их во дворце, несколько ночей меняла покои для сна. 21 июля 1742 г. последовал указ руководителю Тайной канцелярии генералу Ушакову, действительным тайным советникам Трубецкому и Лестоку немедленно арестовать Лопухина и допросить его «о делах, касающихся против нас и государства».

Указ был приведен в исполнение только 25 июля. Бергеру и Фалькенбергу было отпущено четыре дня, чтобы они попытались выведать у подполковника что-то новое. Провокаторы снова пригласили Ивана в трактир, где тот назвал человека, преданного Иоанну Антоновичу. Им оказался не кто иной, как сам австрийский посол маркиз де Ботта — по словам Лопухина, «принцу верный слуга и доброжелатель», — недавно выехавший из Петербурга, чтобы занять должность посла в Берлине при прусском короле.

Бергер и Фалькенберг состряпали дополнительный донос, после чего арестованный предстал перед грозными судьями — одна личность Андрея Ивановича Ушакова с его умением выбивать показания вселяла в подсудимых неистребимый страх. На первом же допросе Лопухин признался — хотя и не во всем, но в главном: он поносил императрицу, бранил лейб-компанию и выказал удивление, почему прусский король не вступился за Иоанна Антоновича.

На следующий день императрица велела арестовать отца Ивана — находившегося в Москве камергера и генерал-кригс-комиссара Степана Васильевича Лопухина. Во время нового допроса младший Лопухин назвал имя своей матери, Натальи Федоровны, которой де Ботта якобы говаривал, что он, маркиз, не успокоится, пока не дожидается воцарения Иоанна Антоновича, а восшествию его на престол будет помогать прусский король.

В дом Лопухиной для допроса отправилась комиссия. В отличие от слабовольного Ивана Наталья Федоровна оказалась женщиной уравновешенной и рассудительной. Она отрицала показания сына относительно де Ботты и прусского короля и призналась лишь в том, что из жалости к Брауншвейгской фамилии считала желательным ее освобождение.

Вскоре под домашним арестом очутилась Анна Гавриловна Бестужева. И ее показания не слишком обогатили следствие. Как только сведения о допросах двух женщин стали известны Елизавете, вечером 26 июля последовал указ: «Ивана Лопухина и мать его Наталью и графиню Анну Бестужеву отослать под караул в крепость». Там обе дамы не в пример Ивану вели себя стойко и ни в чем не винулись. Наталья Федоровна попыталась отвести угрозу от семьи, свалив всю вину на австрийского дипломата, находившегося за пределами России. Ей было невдомек, что сын давно уже снабдил следствие сведениями, которые она упорно отрицала.

Приведенный в пыточную камеру, Иван ничего нового не сообщил. Нужно отдать ему должное — ни на кого из лиц, привлеченных к следствию, он ничего нового не наговорил. Подследственным устраивали очные ставки, тщательно изучали их переписку. Ивана дважды, а Наталью и Степана Лопухиных и Анну Бестужеву по одному разу поднимали на дыбу, но новых данных добыть не удалось. Как ни усердствовала комиссия, но желаемых показаний о практических мерах для свержения Елизаветы она не получила. 18 августа последовал указ о составе Генерального суда, который исходя из обычаев времени определил вину подсудимых. Она явно не соответствовала результатам следствия. Обвиняемые, как написано в указе, «явились в важных не только против нашей персоны, но и в прочих, касающихся к бунту и измене делах, о чем в учрежденной нашей особой комиссии по следствию явно оказалось». Это была чистой воды ложь. Не соответствуют истине и слова приговора о признании обвиняемыми своей вины. Все эти уловки понадобились для того, чтобы подвести обвиняемых под самую суровую меру наказания: призыв к бунту и измене Уложением 1649 г. и Уставом воинским карался смертной казнью.

Генеральный суд приговорил Лопухиных (Ивана, Степана и Наталью) к колесованию с предварительным урезанием языка; остальных — к четвертованию.

Десять дней сентенция лежала у императрицы «на подписи»: Елизавета убедилась в полной безвредности дела Лопухиных. 28 августа императрица смягчила приговор — всем обвиняемым сохранялась жизнь и назначалась ссылка, причем Лопухину и Бестужеву было предписано высечь кнутом и урезать языки.

29 августа был опубликован Манифест о преступниках, а через два дня у здания Двенадцати коллегий состоялась экзекуция. Один из палачей сорвал с плеч Натальи Федоровны платье, а другой схватил жертву за руки и вскинул себе на спину, подставив ее тело под удары кнута. Вслед за битьем палач сдавил Лопухиной горло так, что та была вынуждена высунуть язык, половины которого тотчас же лишилась. Когда очередь дошла до Анны Гавриловны Бестужевой, она успела передать палачу свой золотой крест, усыпанный бриллиантами. Вследствие этого удары были менее жестокими, а отрезан был лишь кончик языка³¹.

Английский дипломат К. Вейч в донесении от 5 августа 1743 г. справедливо указал, что «заговор» скорее построен на «некоторых суждениях против правительства, из которых сделали зlostные выводы, чем на каком-либо действительном замысле против царицы». По мнению Вейча, следственная комиссия сочла несолидным привлечение к суду двух старых сварливых женщин и двух-трех «молодых развратников» и впутала в это дело маркиза Ботту, который был «очень близко знаком с упомянутыми дамами». Общий вывод англичанина: «В заговоре больше интриги, чем действительности»³².

Дело Лопухиных никогда не приобрело бы такого размаха, если бы не позиция самой императрицы, которая часто принимала важнейшие решения, руководствуясь исключительно собственными эмоциями. Красавица Наталья Федоровна, как и Елизавета Петровна, блистала на балах и маскарадах и не уступала императрице в умении танцевать. Рассказывают, что Лопухина вопреки повелению императрицы появилась при дворе в розовом платье и с розами в волосах. Разгневанная Елизавета послала за ножницами, собственноручно обрезала розы и нанесла ослушнице несколько пощечин. Ненависть подогрелась еще и тем, что любовником Лопухиной был Левенвольде, причастный к организации слежки за цесаревной при Анне Иоанновне и Анне Леопольдовне.

Дело Лопухиной приобрело международный резонанс. Это объяснялось тем, что Наталья Федоровна, зная о недостижимости бывшего австрийского посла маркиза Ботты, выехавшего из России, властям в Петербурге, в своих показаниях во время следствия изобразила его главным действующим лицом так называемого заговора. Тем самым она предоставила противникам Бестужева новые аргументы: вице-канцлер, дескать, ориентируется на союз с Австрией, а ее дипломатический представитель активно участвует в антиправительственном заговоре.

В розыгрыш карты Ботты включился прусский король Фридрих II, тоже заинтересованный в установлении тесных контактов России не с Австрией, его противницей, а с Пруссией. Чтобы скомпрометировать маркиза в глазах Елизаветы, Фридрих отказался принять его в качестве австрийского посла при своем дворе, а попутно просил русского посла в Берлине графа Чернышова передать императрице, что опасность для нынешнего правительства исходила от маркиза Ботты, действовавшего по предписанию австрийского двора, и что «он, король прусский... по своему дружескому расположению к императрице советует» принца Иоанна с родителями отправить из Дюнамюндской крепости во внутренние губернии России.

Свалить вице-канцлера его противникам не удалось, но совету прусского короля императрица последовала. Указом 9 января 1744 г. Брауншвейгскую фамилию надлежало перевезти в Ранненбург — крепость, сооруженную по плану Петра для Меншикова, где опальный князь некоторое время содержался после своего падения в 1727 г.

Выезд из Дюнамюнде задержался из-за болезни принцессы после родов. Обоз из 150 подвод отправился от берегов Балтики только 31 января 1744 г. и прибыл в Ранненбург 6 марта. Строгости усилились. Узников надлежало везти, минуя города, «чтобы не так знатно было», причем принца Иоанна впервые велено было отделить от отца и матери и везти в особом возке. У четы поубавилось слуг: перед выездом из Дюнамюнде значительную их часть, состоявшую из немцев и немок, велено было отправить на родину...

Через десяток лет возникло новое политическое дело, связанное с тобольским купцом Иваном Васильевичем Зубаревым. На фоне его богатого воображения трудно, а часто и совершенно невозможно вычленить подлинные факты. Несомненно одно — перед нами мошенник и авантюрист, любитель острых ощущений и легкой наживы, бойкий и изворотливый человек, наделенный изрядной фантазией. Дело это перешагнуло через границы империи: имя Иоанна Антоновича привлекло внимание иностранной державы.

Иван Зубарев, сын преуспевающего тобольского купца, стал известен в столице в 1751 г., когда при отъезде Елизаветы Петровны в Царское Село изловчился подать ей доношение о найденной им в Исетской провинции руде, содержащей серебро. Правительство России в течение веков проявляло интерес к такого рода находкам, поэтому последовало распоряжение передать образцы руды на экспертизу сразу в несколько мест: в Академию наук, Монетную канцелярию и московскую контору Берг-коллегии. Результаты проверки вызвали к рудоискателю настороженное отношение. Лабораторные испытания, проведенные в Монетной канцелярии и в Берг-коллегии, не обнаружили в образцах ни грана серебра, в то время как академическая лаборатория сделала заключение о высоком содержании в руде драгоценного металла. Кабинет, по чьему заданию проводились пробы, потребовал от Академии объяснений, как такое могло случиться.

Оказалось, что экспертизу в академической лаборатории проводил сам Михаил Васильевич Ломоносов. Обращаясь к Ивану Ивановичу Шувалову, Ломоносов писал, не скрывая досады: «Хотя я в сем деле по совести чист, однако мне ничего тяжелее быть не может, как ежели наша всемилостивейшая монархиня хотя подумает, что я в науке своей был неискренен». Вскоре выяснилось, что Зубарев, как и многие подобные ему рудоискатели, исхитрился подбросить в горшок, в котором плавилась руда, натуральное серебро — он несколько раз появлялся в лаборатории в отсутствие Ломоносова.

Власти обвинили тобольского купца «в затайном воровском умысле». Чтобы привлечь к себе внимание, Зубарев сказал «слово и дело» и в итоге оказался в Тайной канцелярии. Следствие выяснило, что жизнь 22-летнего рудоискателя насыщена многочисленными приключениями. В Сибири Зубарев подвизался и как искатель руд, и как купец, и как изобличитель преступлений по таможенным сборам на Ирбитской ярмарке и по питейным доходам в Тюмени. При разбирательстве его доносов в столице Сибири Тобольске его обвинения не подтвердились, но ему каким-то образом удалось убедить губернатора Сухарева выдать ему документ на право сыска серебряных руд в Исетской провинции. Здесь Зубарев взял несколько проб из так называемых Чудских копей, где в древности плавил серебро, и отправился с ними напрямик в Петербург.

На первом же допросе он отказался давать показания следователю и потребовал аудиенции у самой императрицы. В аудиенции ему было отказано, его предупредили, что если он будет продолжать упорствовать, то подвергнется пытке. Сошлись на том, что Иван Васильевич будет давать показания самому руководителю Тайной канцелярии Александру Ивановичу Шувалову, сменившему Ушакова.

Зубарев сообщил о том, что встречался с наследником престола, будущим Петром III. Аудиенция у великого князя произошла в 1751 г., когда Зубарев познакомился с майором Федором Шарыгиным и при его посредничестве был допущен к Петру Федоровичу. Иван Васильевич обладал двумя качествами, присущими авантюристу высокого класса, — умением мистифицировать и втереться в доверие к собеседнику.

Зубарев поведал о том, чего он, как выяснится позже, никогда не видел. Приведем пространную выдержку из его показаний с трогательной манерой изображать детали: «И потом пришед оный Шарыгин сверху после полдень, взял его, Зубарева, вверх. И шел де он за оным Шарыгиным на большое крыльцо, где знамена лежат, и шли же по тому крыльцу прямо в покои, поворотя налево, вошли в другие покои ж; а из того покоя вышли в большое зало, где соизволил его императорское высочество бытъ, и как он, Зубарев, его императорское высочество увидел, весьма оторопел, однако же его императорское высочество соизволил спросить его, Зубарева, что он за человек и которого города. И на то он, Зубарев, объявил, что он города Тобольска купец Иван Зубарев и приехал для объявления всемилостивейшей государыне серебряных руд и песчаного золота».

В Тайной канцелярии решили проверить достоверность показаний Зубарева, но тот упредил события. Он, видимо, понимал, что проверка уличит его во лжи, за которую придется расплачиваться суровым наказанием, и сам явился в Тайную канцелярию с повинной. Майор Шарыгин подтвердил, что никакого посредничества Зубареву не оказывал.

Это признание не избавило нашего героя от тесного знакомства с заплочными дел мастерами. Следователи решили докопаться до подлинных причин, подвигнувших его на фальсификацию руды и на вымысел об аудиенции у наследника. Зубарев показал, что на мошенничество с рудой его толкнуло желание закрепить за собой купленных на чужое имя крестьян. Он знал о существовании двух путей стать душевладельцем: либо пробиться в дворяне и приобрести законное право на покупку крепостных, либо завести промышленное предприятие, к которому можно было приобрести крестьян. Иван Васильевич предпочел второй способ, вознамерившись в будущем соорудить сереброплавильный завод.

В 1754 г. Тайная канцелярия передала Зубарева Сыскному приказу, откуда ему осенью того же года удалось бежать. Но следующим летом Иван Васильевич снова появился в орбите внимания Тайной канцелярии, но уже под фамилией Васильева. На него донесли, что он намерен пробраться в Россию из Польши, чтобы «скрасть» Иоанна Антоновича. В начале 1756 г. Иван Васильев оказался в ведомстве политического сыска, где его встретили как старого знакомого. В его рассказе о своих похождениях с момента бегства мистификация и реальность переплетены весьма причудливо.

Авантюрист сообщил, что нанялся извозчиком к беглым купцам, вместе с товаром державшим путь в Кенигсберг. Там он встретил прусского офицера, обратившего внимание на богатырское телосложение Зубарева. Офицер предложил ему поступить в армию прусского короля. Иван Васильевич упорно отказывался, даже тогда, когда офицер пригласил его в трактир и угостил ужином с напитками. На следующий день офицер в сопровождении солдат доставил упряма в ротную съезжую, где заявил капитану, будто бы приведенный русский «нанялся идтить в жолнеры за девяносто рублей». Зубарев, однако, отказался от принесенного мундира и 90 рублей. Капитан отвел его к полковнику, продолжившему уговоры, а когда убедился в их бесполезности, велел взять его под стражу и через пару часов доставил к фельдмаршалу Левольду.

Повествуя о своем визите к фельдмаршалу, Зубарев опять взялся за старое и стал в избытке сообщать «внушающие доверие» подробности: «Онный фельдмаршал лежа на канапе через переводчика спрашивал, что подлинно ль де ты из купцов». Спросил он и о причинах отказа стать наемником прусского короля. «И он, Зубарев, на то ответствовал, что де он намерен ехать в Гданск, а изо Гданска в Малтию».

После того как Зубарев не поддался на уговоры фельдмаршала, его отправили на гауптвахту, где какой-то офицер возобновил вербовку: «Ты будешь честной человек. Мы де тебя произведем. Я де тебя куплю у

господина капитана, и для того поедем мы с тобой к королю». Гостеприимство офицера и обещание представить королю так растрогало Зубарева, что он согласился стать наемником. Завербованного наемника доставили в Потсдам, где он был представлен полковнику Манштейну. Манштейн — вполне реальное историческое лицо. Он состоял адъютантом фельдмаршала Миниха и приобрел известность при лишении Бирона регентства. После ссылки Миниха в Пелым Манштейн выехал из России якобы для лечения, назад не возвратился и с 1745 г. пристроился у прусского короля адъютантом. В России поступок Манштейна сочли изменой, и военный суд приговорил его к смертной казни: «когда он будет пойман, то без всякой милости и процессу» его надлежало повесить. Россия потребовала от Фридриха II выдачи беглеца, но король и не думал расставаться с человеком, хорошо знакомым с секретами петербургского двора и русской армии.

Согласно показаниям Зубарева, Манштейн вел с ним разговор в присутствии дяди свергнутого Иоанна Антоновича. Неведомо из каких соображений генерал-адъютант прусского короля счел, что Зубарев называет себя тобольским купцом ложно, в действительности же он не кто иной, как лейб-гвардии гренадер, участник переворота в пользу Елизаветы. Подстраиваясь под Манштейна, он заявил, что он действительно гренадер и бежал из России вследствие карточного проигрыша.

Генерал-адъютант без дальних разговоров приступил к делу: с солдатской прямоотой он предложил «послужить за отечество свое: съезди де ты в раскольнические слободы и уговори раскольников, чтоб они склонились к нам (пруссакам. — Н. П.) и чтоб быть на престоле Ивану Антоновичу». Манштейн далее посвятил Зубарева в секретный план освобождения свергнутого императора. Предполагалось, что где-то близ Архангельска отряд под командованием некоего прусского капитана «скрадет» Иоанна Антоновича, а раскольники, чтобы отвлечь внимание русского правительства, должны были поднять бунт.

Затем Манштейн устроил Зубареву аудиенцию у короля: «И как он (Зубарев. — Н. П.) вошел в покои, то король сидел в стуле, а показанный принц, который был всегда у Манштейна, да другой оного принца брат (а как его зовут, не знает)» находились здесь же. Король будто бы произвел Зубарева в полковники и пожаловал полковничий мундир. Новоиспеченному полковнику Манштейн велел отправиться в Архангельск, подкупить там солдат и вручить Иоанну Антоновичу медаль с изображением брата Антона Ульриха. Это был пароль. «А как де Ивана Антоновича отец Антон увидит эти медали, то де он уже и без письма узнает, от кого они присланы». Освобожденных предполагалось отправить на специально присланном в Архангельск корабле. На дорожные расходы король пожаловал Зубареву огромную по тем временам сумму — тысячу червонных.

Манштейн определил маршрут движения Зубарева: сначала он навещает раскольников на Ветке (недалеко от Гомеля) и ведет с ними разговоры о возвращении на престол Иоанна Антоновича. Затем держит путь

в Москву, где добывает фальшивый паспорт, и отправляется в Холмогоры, там предъявляет медали и велит готовиться к побегу.

Зубареву надлежало тщательно изучить покои, в коих содержалась Брауншвейгская фамилия. Караул было велено либо подкупить, либо напоить допьяна, на самый крайний случай — «разбить», то есть уничтожить. Ивану Васильевичу сообщили приметы капитана, возглавляющего отряд, который похитит узников: «Ростом невелик, толстенен, в лице бел, полон и щедровит; глаза серые, волосы свои светлорусые, немного рыжеваты, по-русски говорит умеет; жены еще тогда не имел, летами например лет в тридцать пять».

С зашитыми в подошве медальонами и тысячей червонных Зубарев отправился выполнять задание прусского короля. В пути его якобы ограбили, так что у него остались лишь не обнаруженные разбойниками медальоны, которые он вынужден был продать. Зубарев соблазнял раскольников поднять бунт и всячески помогать прусской армии, когда она открывает военные действия против России, обещаниями предоставить им свободу вероисповедания и право иметь своего епископа. Навещая поселения раскольников, он рассказывал байку о своей аудиенции у короля всем, с кем ему довелось встречаться: монахам, настоятелям, раскольническим священникам, купцам, беглым солдатам и крестьянам. Затем эмиссар вернулся в Пруссию, чтобы отчитаться перед Манштейном. Генерал-адъютант велел Зубареву продолжать свою деятельность.

Когда Иван Васильевич снова появился на Ветке, его вдруг одолело раскаяние и желание прибыть в Тайную канцелярию с повинной (возможно, версию о раскаянии он придумал, когда его арестовали за конокрадство). Сколь велика достоверность его показаний?

Опираясь на источники, у нас нет оснований отклонить свидетельства Зубарева или принять их за достоверные. Вряд ли вербовка рядового наемника могла всерьез заинтересовать такого крупного военачальника, как фельдмаршал Левольд. Большие сомнения вызывает и план освобождения Иоанна Антоновича, изложенный первому встречному. Сомнителен рассказ об аудиенции у прусского короля и тем более история с назначением Зубарева полковником. Усомнилась в достоверности рассказанных Зубаревым злоключений и Тайная канцелярия. В исследовании, основанном на архивных источниках, написанном еще в прошлом столетии, но увидевшем свет только в 1993 году, приводится черновая протокольная запись Тайной канцелярии, из которой следует, что канцелярию волновали не столько сомнительные байки Зубарева, сколько источник его осведомленности о том, что Иоанн Антонович и его отец содержатся не где-нибудь, а именно в Холмогорах. Из показаний Зубарева «открылось, что будто бы ему о бытности принца Иоанна и отца его Антона Ульриха в Холмогорах сказано в Пруссии, також и будто б порученную ему комиссию с данными наставлениями от того двора усильно вручили, и о взятии его неволею в тамошнюю службу, что за вероятные почести, а паче в том ему весьма поверить сомнительно, в чем необходимо надлежало бы его, Зубарева, яко

изменника, накрепчайшим образом то его показания утвердить и домогаться того, что не слышал ли он здесь, в России, о пребывании означенной Брауншвейгской фамилии в Холмогорах от кого или же паче и не послан ли он отсюда от кого-либо в Пруссию...»³³.

Цитированная выдержка проясняет и другой вопрос — Зубарев не был тайным агентом русского правительства.

В связи с этим делом возникает больше вопросов, чем ответов. Почему, например, Тайная канцелярия ограничилась дознанием одного Зубарева и не привлекла к следствию хотя бы часть оговоренных им людей? Почему следствие велось так медленно? Вероятные ответы исключают друг друга: либо в Тайной канцелярии с самого начала сочли повествование давнего клиента вымыслом, либо, напротив, права М. М. Громыко, выдвинувшая гипотезу о выполнении Зубаревым правительственного задания — вовлечь прусского короля в освобождение свергнутого императора, чем создать прецедент для ужесточения содержания узника³⁴.

Возникает еще один вопрос: как отнеслось правительство России к показаниям Зубарева? Вопреки логике и здравому смыслу оно проявило к ним большее доверие, чем историки, их изучавшие.

Первая из двух принятых по сему случаю мер воплотилась в указе императрицы начальнику караула в Холмогорах Вындомскому о переводе Иоанна Антоновича в другое место заключения. Вындомскому предписывалось «оставшихся узников (Антон Ульриха и детей. — Н. П.) содержать по-прежнему еще строже, с прибавкою караула, чтоб не подать вида о вывозе арестанта». Все обставлялось такой тайной, что указ не называл даже нового места заточения — Шлиссельбург. Судя по всему, Елизавета поверила в намерение Фридриха II освободить Иоанна Антоновича из заточения при помощи тобольского купца. Подобное поведение императрицы можно объяснить не только трепетом, в который ее повергало всякое упоминание о свергнутом императоре. Мы не знаем, что и как докладывал ей о Зубареве руководитель Тайной канцелярии А. И. Шувалов. В его интересах было держать Елизавету в постоянном напряжении.

Вторым последствием зубаревского дела стало устройство западни для пруссаков, если те все-таки объявятся в Холмогорах. Из Архангельска от имени Зубарева было отправлено письмо Манштейну с извещением об успешном выполнении плана освобождения Иоанна Антоновича («успех к тому хороший сыскан»). Зубарев якобы находится в Архангельске и ждет прибытия туда капитана с командой. В Берлине на эту провокацию не отреагировали никак — то ли потому, что там и не было никаких планов насчет свергнутого императора (и тогда весь рассказ Зубарева выдумка), то ли просто проявили осторожность.

Следствие по делу Зубарева так и не было завершено. Он серьезно заболел, хворь сопровождалась «превеликою рвотою», помешавшей ему исповедоваться, и в ноябре 1756 г. он скончался. На вопрос священника, правда ли все то, что он рассказал следователям, Иван Васильевич ответил:

«О сем де он в роспросе своем показал и то де самая истина, а того де от себя ложно не для чего не вымышляя».

Исследовательница М. М. Громыко обнаружила в фондах Тюменской воеводской канцелярии и Тобольской духовной консистории документы «некоего отставного поручика Ивана Васильевича Зубарева», проживавшего в 60 — 80-е годы XVIII в. в Ялуторовском уезде Тобольской губернии. Предположив, что известный нам купец и отставной поручик — одно и то же лицо, она высказала достаточно смелые предположения: «Смерть Ивана Зубарева могла быть инсценирована Тайной канцелярией, а сам он награжден чином, выпущен тайно и водворен в сибирской глуши». По версии Громыко, Зубарев — агент русского правительства, засланный в Пруссию с целью «принятия жестоких мер против возможного претендента на престол».

Документально доказать эту гипотезу пока не удалось. А если это — случайное совпадение? Тем более интересно, что столь ответственное задание поручили известному мошеннику и мистификатору. Прав Е. В. Анисимов, заявляя, что правительство не нуждалось в предложениях для ужесточения содержания узника³⁵.

Ясность в дело Зубарева способны внести лишь документы германских архивов. Только они могут дать определенный ответ на вопрос о причастности Фридриха II к планам освобождения Иоанна Антоновича.

Была еще одна попытка освободить трон от Елизаветы Петровны, на этот раз не для Иоанна Антоновича, а для Петра Федоровича. Предпринял ее проигравшийся в карты пехотный подпоручик Иоасаф Батурин в надежде на то, что новый император Петр III щедро отблагодарит его. Для реализации своего замысла Батурин намеревался привлечь не только военных, но и фабричных рабочих, которых собирался подвигнуть к бунту. С Петром Федоровичем организатор заговора познакомился при обстоятельствах довольно странных.

Летом 1743 г. Батурин попросил егерей, сопровождавших великого князя на охоте в подмосковных лесах, испросить у него разрешения встретиться с ним. Петр Федорович согласие дал и однажды увидел человека, стоявшего на коленях среди леса и утверждавшего, что он, Батурин, признает его одного своим государем и готов выполнить любое его поручение. Наследник престола счел благоразумным прищипорить лошадь и скрыться подальше от греха.

Неудача не обескуражила Батурина. Он вновь обратился к егерям с просьбой сообщить великому князю о готовности фабричных поднять бунт, к которому готовы присоединиться находившийся в Москве батальон Преображенского полка и лейб-компанцы. Недоставало самой малости — «знатной суммы» денег, которые подпоручик надеялся получить от Петра Федоровича. План Батурина был предельно прост — всех служителей дворца взять под стражу, фаворита Разумовского с его сторонниками перебить, а свергнутую Елизавету держать под караулом, пока не будет коронован наследник. Если архиереи откажутся от коронации, то их надлежало изрубить.

Батурин похвалялся перед сообщниками: «У меня уже собрано людей тысяч тридцать, да еще наготове тысяч с двадцать; будут нам помогать и большие люди, граф Бестужев, генерал Апраксин». Но и на этот раз великий князь отделался молчанием, никаких денег Батурин от него не получил. Тогда он решил добыть средства мошенничеством. Назвавшись обер-кабинет-курьером, он отправился к купцу Ефиму Лукину и объявил ему, что прислан от великого князя с приказом взять у него пять тысяч рублей. Лукин, разумеется, требуемых денег не дал. Батурину ничего не оставалось, как снова отправиться к великому князю. На этот раз он написал латинскими буквами записку, в которой изложил план действий и сообщил, что у него пятьдесят тысяч сторонников.

Батурин вместе с сообщниками оказался в Тайной канцелярии. Ему определили пожизненное заключение в Шлиссельбургской крепости, а подпоручика Тыртова и суконщика Кенжина, на долю которых выпало поднять фабричных на бунт, было велено отправить на поселение в Сибирь.

Такое снисхождение было оказано Батурину потому, что Тайная канцелярия сочла его заявление не заслуживающим внимания пустым бахвальством. Отсутствие подписи Елизаветы Петровны на докладе следствия, быть может, объясняется тем, что и она не придавала заговору серьезного значения.

Глава 6

ПЕТР ТРЕТИЙ

25 декабря 1761 г. старейший сенатор Никита Юрьевич Трубецкой, выйдя из покоев, где в четвертом часу испустила дух императрица, объявил вельможам, томившимся во дворце в скорбном молчании: «Ее императорское величество государыня императрица Елизавета Петровна изволила в бозе опочить». Ей только что исполнилось 52 года. Столь ранняя смерть, вероятно, наступила вследствие неупорядоченного режима жизни: у нее не было определенного времени ни для сна, ни для еды, ни для работы, ни для развлечений. Любопытные подробности на этот счет сообщил секретарь французского посольства Клавдий Карломан де Рюльер: «Она не смела засыпать прежде утра, потому что сама была возведена на престол заговором, который удался благодаря темноте ночной. Она так боялась быть застигнутой врасплох во сне, что приказала разыскать такого из своих подданных, который имел бы самый чуткий сон, и этот человек, по счастью уродливый, проводил в комнате императрицы все время, пока она почивала»¹.

Императрица, видимо, страдала спазмом сосудов. Первый припадок зарегистрирован осенью 1744 г. Случались они и позднее, но без ощутимых последствий. Временами она беспрекословно внимала предписаниям врачей, строго соблюдала диету и безотказно употребляла всякие снадобья, но обычно указания врачей совершенно игнорировала.

Наиболее обстоятельные сведения о здоровье императрицы можно черпнуть из писем великой княгини Екатерины Алексеевны английскому послу Ч. Уильямсу (в «Записках» императрицы об этом нет ни слова). Самый сильный приступ случился 8 сентября 1756 г. В этот день Елизавета Петровна отправилась в приходскую церковь в Царском Селе. Едва началась обедня, как императрица почувствовала себя дурно и молча вышла из церкви. Сделав несколько шагов, она потеряла сознание и упала на траву. Никто из свиты ее не сопровождал, и она долгое время пролежала без всякой помощи в окружении толпы окрестных крестьян. Наконец, появились придворные дамы и доктора, принесли ширму и канапе и тут

же пустили кровь. Процедура не помогла. Все это продолжалось свыше двух часов, после чего императрицу унесли на канопе во дворец, где в конце концов ей вернули сознание и выходили. И потом хворь навещала ее довольно часто: то ее лихорадило, то шла кровь носом. Почти весь 1761 г. она провела в покоях, где принимала министров и давала распоряжения. Когда ей становилось легче, она не ограничивала себя в еде, после чего случались болезненные припадки. В июле произошел сильный приступ, на несколько часов лишивший Елизавету сознания. Хотя после этого ей стало немного легче, ее состояние не вызывало сомнений — она медленно угасала. 23 декабря врачи признали положение безнадежным, и на следующий день императрица, будучи в сознании, со всеми прощалась.

5 января 1762 г. (25 декабря ст. ст.) граф Мерси д'Аржанто доносил Марии-Терезии о подробностях смерти Елизаветы Петровны: «Припадок, которым началась болезнь русской императрицы, повторился с ее величеством в ночь с 3 на 4 число этого месяца и притом так сильно, что она несколько часов лежала изнеможенная, как бы при последнем издыхании, после чего наступило истощение всего организма при постоянной потере крови из различных органов тела. 4 числа поутру государыня приобшилась св. Тайн, и, наконец, сегодня между 3 и 4 часами пополудни скончалась». Вечером, накануне кончины, она пригласила к себе великого князя и великую княгиню и потребовала от наследника, чтобы он пообещал «при ее последних минутах не обижать в особенности графа Разумовского и камергера графа Шувалова»². На следующий день император Петр Федорович принимал поздравления по случаю восшествия на престол.

Согласно свидетельству датского дипломата Андреаса Шумахера, воцарение Петра III прошло спокойно, хотя были приняты на первый взгляд непонятные меры предосторожности: за 24 часа до кончины императрицы гвардейские полки были поставлены под ружье, улицы патрулировали усиленные наряды солдат, удвоена стража у дворца, закрыты кабаки. Эти меры не были лишними, если учесть отношение Елизаветы Петровны к своему племяннику. Императрица не только имела намерение лишить его права на трон, но и реализовала его: в завещании престол передавался Павлу Петровичу, а регентшей на время несовершеннолетия императора объявлялась его мать Екатерина Алексеевна. «Однако после смерти государыни, — продолжает Шумахер, — камергер Иван Иванович Шувалов вместо того, чтобы распечатать и огласить это завещание в присутствии Сената, изъял его из шкапулки императрицы и вручил великому князю. Тот якобы немедленно, не читая, бросил его в горящий камин»³. Утверждение о предании огню завещания скорее всего сомнительно, но сам факт лишения Петра Федоровича права на трон имел под собой основания. Только этим и можно объяснить меры предосторожности.

Изначальное имя нового императора звучало так: Карл Петр. Волею случая он стал наследником сразу трех монархов: шведского короля Карла XII, Петра Великого и герцога Голштинского. Отсюда и два имени, данных младенцу при крещении. Его отец герцог Голштинский Карл Фридрих,

претендент на шведскую корону, был приглашен в Россию еще до Ништадтского мира. Выдавая за герцога свою старшую дочь — Анну Петровну, царь хотел использовать этот брак в качестве средства давления на Швецию. Свадьба состоялась в 1725 г. уже после смерти Петра. 10 февраля 1728 г. Анна Петровна родила Карла Петра, а через три месяца, в возрасте 19 лет, скончалась (по версии Екатерины II, от чахотки).

После смерти отца в 1739 г. 11-летний сирота оказался на попечении обер-гофмаршала Брюммера и обер-камергера Берхгольца, автора знаменитого «Дневника», который он аккуратно вел, находясь в свите герцога Голштинского во время пребывания последнего в России. Брюммер отличался невежеством, грубостью, жестокостью и варварским отношением к воспитаннику: он морил его голодом, истязал и унижал. Одна лишь фраза исчерпывающе характеризует его педагогические способности: «Я вас так велю сечь, что собаки кровь лизать будут; как бы я был рад, если бы вы сейчас же подохли»⁴.

Совершенно очевидно, что при подобных педагогах Карл Петр не мог получить ни должного воспитания, ни образования. С малых лет наследный принц так пристрастился к муштре и ружейным приемам, что, по свидетельству Якова Штелина, ни о чем другом не хотел и слышать. Сколь сильно он был поглощен военными забавами, видно из следующего факта: когда на девятом году жизни он из унтер-офицеров был произведен в секунд-лейтенанты, то от радости лишился аппетита. При этом мальчик часто и подолгу хворал и рос хилым и болезненным.

После смерти Анны Иоанновны кильский двор потерял всякую надежду на русский престол, и Карла Петра стали усиленно готовить к королевскому трону в Швеции — его обучали шведскому языку и воспитывали в лютеранских традициях. Воцарение Елизаветы Петровны кардинально изменило ситуацию. Став императрицей, она сразу же послала в Киль за Петром барона Николая Фридриха Корфа. Елизавета действовала столь энергично и оперативно не только потому, что голштинский герцог являлся единственным продолжателем рода Петра Великого. Карл Петр вполне мог стать шведским королем, и еще не укрепившаяся на троне Елизавета рисковала подвергнуться шантажу со стороны Стокгольма. О нетерпении, с которым императрица ожидала прибытия в Петербург кильского ребенка, известно из двух писем, отправленных ею будущему наследнику в момент, когда тот еще был в пути. Елизавета поручила «объявить мое особое желание, сколько я с беспокойством дожидаться приезде вашего княжеского высочества принуждена». Императрица не лукавила — ее действительно пугала перспектива похищения племянника, поэтому Корфу было велено везти его тайно, не заезжая в Берлин.

Наконец в январе 1742 г. отрок прибыл в Петербург. Императрица на радостях отслужила благодарственный молебен. Приехавший племянник оставил не самое благоприятное впечатление — выглядел бледным и болезненным. Тетушку (как известно, не отличавшуюся образованностью)

поразила крайне слабая подготовка 14-летнего Карла Петра по части элементарных знаний⁵.

Императрица сразу же определила к нему учителей русского языка и Закона Божьего. 17 ноября 1742 г. он принял православие и во время крещения был наречен Петром Федоровичем. Заботу о его образовании Елизавета возложила на академика Якова Яковлевича Штелина. Екатерина II, наблюдавшая впоследствии за тем, как Штелин учил своего воспитанника, назвала его «шутком гороховым». Пожалуй, она была права, ибо академик, вместо того чтобы внушать подопечному мысль о необходимости обязательного усвоения ученых премудростей, просто приспособлялся к его капризам. По собственному признанию, Штелин обучал отрока следующим образом: «Когда принц не имел охоты сидеть, он ходил с ним по комнате взад-вперед и занимал его разговорами». Программа обучения отличалась странным своеобразием: Штелин видел главную задачу не в систематическом усвоении знаний, достигаемом упорным трудом, а в облегченном и поверхностном знакомстве ученика с оказавшимся под руками иллюстративным материалом. «Стараясь извлечь пользу, — доносил академик императрице о результатах своего педагогического усердия, — из каждого случая: например, на охоте просматривали книги об охоте с картинками... при кукольных машинах объяснен механизм и все уловки фокусников; при пожаре показаны все орудия и их композиции». Древняя история России изучалась по монетам, а новейшая — по медалям Петра Великого, выбитым по случаю важнейших событий его царствования. Подобную методику объяснить довольно трудно. Скорее всего, у академика отсутствовали педагогические навыки, а у его ученика — способности. При этом и в Киле, и в Петербурге одним из важнейших достоинств монарха почитали умение танцевать и не жалели ни времени, ни сил на обучение танцам.

Главное внимание в распорядке дня великого князя уделялось развлечениям. На первом месте стояла игра в солдатики — увлечение, завезенное из Киля; затем — забавы, разговоры и шутки с прислугой. В итоге наследник рос не обремененный добродетелями. Он был труслив, скрытен, вспыльчив, капризен. Свою трусость он пытался прикрыть хвастливыми рассказами о якобы совершенных им подвигах. Не обладал он и твердыми религиозными убеждениями и до конца дней своих оставался скорее лютеранином, чем православным. Развитие его как бы замерло на уровне детского самосознания.

В то время как Петр Федорович предавался детским забавам и с грехом пополам постигал начала наук, в мелком немецком Ангальт-Цербстском княжестве подрастала его будущая супруга — София Фредерика Августа, появившаяся на свет 21 апреля 1729 г. Императрица остановилась на ее кандидатуре, руководствуясь несколькими соображениями. Княжество было заурядным, и отец девочки был вынужден добывать необходимые средства на службе у прусского короля, будучи комендантом Штеттина, а затем

губернатором. Следовательно, рассуждала Елизавета, девушка, не избалованная роскошью и благодетельствованная в Петербурге, окажется послушной супругой. При этом практически исключалась возможность участия будущей супруги в интригах на ниве внешней политики. В пользу выбора невесты были и давнишние (хотя и не слишком тесные) связи русского двора с ангальт-цербстским: брат матери принцессы епископ Любский Карл приходился отцу Петра Федоровича двоюродным братом. Как мы помним, при Екатерине I епископ появился в России в качестве жениха Елизаветы Петровны. Брак не состоялся из-за внезапной кончины Карла от оспы. Наконец, не последнюю роль сыграла и внешность принцессы — на доставленном императрице портрете она выглядела миловидной девушкой.

Живейшее участие в выборе невесты принял прусский король Фридрих II, заинтересованный в дружбе с Россией. «Из всех соседей Пруссии, — рассуждал он, — Русская империя заслуживает наибольшего внимания, как соседка самая опасная: она сильна, она близка. Будущие правители Пруссии должны будут искать дружбы этих варваров». За десять дней до отъезда матери и дочери Фридрих II в письме к Елизавете дал им самую лестную характеристику: «Я могу поручиться в их достоинствах. Молодая принцесса, при всей живости и веселонавии, которые свойственны ее возрасту, одарена отличными качествами ума и сердца»⁶.

Вопреки обыкновению в брачных делах великого князя Елизавета Петровна действовала решительно и быстро. Причиной тому был холмогорский узник Иоанн Антонович. Чтобы преградить ему путь к престолу, надлежало закрепить династические права на корону. В конце 1743 г. принцессе было прислано приглашение прибыть в Петербург, а вместе с ним и вексель на изрядную сумму на дорожные расходы и экипировку. 10 января 1744 г. принцесса Фике, как звали домашние будущую невесту, в сопровождении своей матери Иоганны Елизаветы отправилась в путь. Ехали они в величайшей тайне — мать Фике по дорожным документам значилась графиней Рейнбек.

Ехать приходилось по плохим дорогам в небывало суровую зиму, ночевать — в гостиницах, больше напоминавших хлев. На территорию России путешественницы прибыли спустя две с лишним недели. Сразу началась новая жизнь: в Риге их встретили пушечными залпами, боем барабанов, звуками труб и литавр. Камергер императрицы Семен Кириллович Нарышкин передал им роскошный подарок — две соболя шубы. Повсюду, где проезжали Фике и ее мать, их встречали торжественными церемониями. Глаз ласкали бархат, позолота, дорогие меха, готовность удивлетворить любую прихоть, заискивающие улыбки. Свои жалкие кареты путешественницы сменили на роскошные сани: «...они красные, выложенные серебряным галуном, внутри обиты соболями и полостями из шелковой ткани», — так писала Иоганна Елизавета супругу, добавляя при этом: «Мне в мысль не приходит, чтоб все это делалось для меня, бедной, для которой в иных местах едва били в барабан, а в других и того не делают»⁷.

3 февраля 1744 г. императорские сани с путешественницами остановились у главного подъезда Зимнего дворца. После недолгого отдыха путешественницы направились в Москву, куда двумя неделями раньше въехал двор.

9 февраля, накануне дня рождения великого князя Петра Федоровича, ангальт-цербстские гости прибыли в Москву. В тот же день принцесса Фике была представлена великому князю. «Восторг императрицы» — так выразительно отозвался об этом событии Я. Штелин. Действительно, императрица была очарована невестой и ее матерью. В свою очередь, Фике в России все очень понравилось, включая будущего супруга. «В течение первых десяти дней он был очень занят мною», — позже вспоминала Екатерина II. То же самое отметила и ее мать в письме к мужу: «Наша дочь стяжала полное одобрение, императрица ласкает, великий князь любит ее».

Взаимные симпатии продолжались недолго. При более близком знакомстве оказалось, что характеры будущих супругов совершенно несовместимы. «Я увидела ясно, — записала Екатерина задним числом, — что он покинул бы меня без сожаления; что меня касается, то ввиду его настроения он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона». Великий князь тяготился ее обществом, чтобы предаться «своим обычным ребяческим забавам».

Фике не прельщала праздная жизнь. Под руководством архимандрита Симона Тодорского она с усердием усваивала основы православной веры, а с учителем Василием Ададуровым занималась русским языком. Она любила читать. Граф Гюлленберг, племянник шведского министра иностранных дел, славившийся своей образованностью, находил, что она развита не по летам, и называл ее пятнадцатилетним философом. Обходительность и внешняя доброжелательность Фике почти сразу же вызвали симпатии окружающих — и особенно императрицы.

Каждый свой шаг юная принцесса соразмеряла с возможными последствиями: «...ни во что не вмешивалась, имела всегда спокойный вид, была очень предупредительна, внимательна и вежлива, и так как я от природы была очень весела, то замечала с удовольствием, что с каждым днем я все больше употребляла расположение общества, которое меня считало ребенком интересным и не лишенным ума».

Когда Фике опасно захворала, Елизавета Петровна проявила неподдельную тревогу и ежедневно навещала больную. Императрицу до слез тронуло то обстоятельство, что русский язык она изучала по ночам и довела себя до истощения, что и привело к болезни. 28 июня 1744 г. она приняла православие и отныне стала именоваться Екатериной Алексеевной. В этот день императрица подарила ей бриллиантовую запонку и ожерелье ценой в 150 тысяч рублей.

На другой день в Успенском соборе происходило обручение. Теперь Екатерину Алексеевну стали почитать великой княгиней и титуловать императорским высочеством. Все церемонии совершались в торжественной обстановке, в присутствии Сената, Синода и высших придворных

чинов. Один за другим следовали новые знаки внимания императрицы: бриллиантовый браслет с миниатюрными портретами императрицы и великого князя, затем 30 тысяч рублей на карманные расходы.

София Фредерика Августа быстро преодолела расстояние, отделяющее Фике от великой княгини, и вскоре уже могла позволить себе расточительные расходы. По ее признанию, прибыв в Россию, она располагала «очень скудным гардеробом» из трех-четырёх платьев, «и это при дворе, где платья менялись по три раза в день». Расточительность Екатерины вызвала резкое осуждение императрицы.

Чем ближе подходило время, когда помолвленные должны были стать под венец, тем чаще голову нареченной невесты одолевали мрачные мысли. Уравновешенной и рассудительной Екатерине противостоял вспыльчивый и вздорный Петр Федорович. С осени 1744 г., когда императрица заболела, занятия великого князя со Штелиным прекратились, и, по свидетельству наставника, его подопечный получил «свободу к праздности и фамильярному обхождению с своими служителями». Странное впечатление производила ребяческая откровенность жениха, заявившего своей невесте, что он влюблен в фрейлину императрицы, дочь статс-дамы Лопухиной, недавно сосланной в Сибирь, «что ему хотелось бы на ней жениться, но он покоряется необходимости жениться на мне, потому что его тетка того желает»¹⁰.

Если бы это был брак по любви, то вряд ли он когда-либо состоялся. Он — долговязый, узкоплечий и хилый юноша; она — девушка с привлекательной внешностью.

Осенью 1744 г. великий князь, ослабленный путешествиями вместе с невестой из Москвы в Киев и обратно, трижды болел — сначала расстройством желудка, потом в ноябре корью, а в следующем месяце на пути из старой столицы в Петербург захворал оспой. Выходить Петра Федоровича удалось, но оспа настолько обезобразила его лицо, что невеста, увидев его первый раз после болезни, «чуть не испугалась». Он «очень вырос, но лицом был неузнаваем; все черты лица его огрубели, лицо еще все было распухшее и несомненно было видно, что он останется с очень заметными следами оспы»¹¹.

Вскоре началась подготовка к свадебным торжествам. Императрица решила отметить это событие с небывалой пышностью. Задолго до свадьбы, 16 марта 1745 г., был опубликован указ, повелевавший всем вельможам первых четырех классов, а также придворным кавалерам изготовить богатые платья и кареты, а также экипировку слугам, количество которых тоже регулировалось: например, «персонам» первых двух классов надлежало в каждой карете иметь по два гайдука, от восьми до двенадцати лакеев, по два скорохода и два егеря.

Готовился к свадьбе и великий князь — он брал уроки супружеской жизни у шведского драгуна. Выслушав наставления, наивный юноша поспешил поделиться ими с будущей супругой, и та занесла их в свои «Записки»: «Жена не смеет дыхнуть при нем, ни вмешиваться в его дела, и

если она только захочет открыть рот, он приказывает ей замолчать, что он хозяин в доме и что стыдно мужу позволять жене руководить собою, как дурачком»¹².

В пять часов утра в пятницу 21 августа 1745 г. пушечные выстрелы из крепости и с кораблей, специально введенных в Неву, дали сигнал для сбора войск, построенных шпалерами от Зимнего дворца до Казанского собора, где должно было происходить венчание. Церемонии предшествовали трехдневные разъезды герольдов, сопровождаемых отрядами гвардейцев и драгун, под звуки литавр извещавших население о готовящемся обряде.

Празднества продолжались десять дней и завершились выводом на Неву знаменитого ботика Петра Великого — «дедушки русского флота».

Начались будни семейной жизни. Практически ничего не изменилось — те же ребяческие увлечения, те же экзерциции, те же выходы, вызывавшие недоумение окружающих: то Петр через две недели порадовал супругу тем, что влюбился в фрейлину императрицы Карр, то вдруг его осенила мысль просверлить дыры в покои императрицы, где она принимала своего фаворита Алексея Разумовского. Наследник не только сам наблюдал за происходящим в покоях тетушки, но и приглашал заглянуть в дыру лиц из своего окружения. Прodelка племянника стала известна императрице и вызвала редкой силы гнев.

Приведем свидетельства Штелина о времяпрепровождении великого князя. 1745 г.: «Все употребляется на забавы, на пригонку прусских гренадерских касок, на экзерцицию со служителями и пажами, а вечерами на игру». 1746 г.: в Ораниенбауме, где была сооружена крепость, «в первый раз высказалась страсть к военному в его высочестве устройству роты из придворных кавалеров и прочих окружающих великого князя...» Вечером и утром стрельба с вала крепости, ежедневные учения, маршировки.

К 1748 г. относится свидетельство Екатерины об увлечении великого князя дрессировкой собак. Держал он их в чулане, расположенном рядом с покоями супруги, и ей довелось «наслаждаться» запахами псарни. Ночью раздавались громкие команды и истошный лай собак, наказываемых дрессировщиком. «Когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке; он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух, и для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которою он извлекал звуки из своего инструмента»¹³. В записи Штелина за этот год читаем: «Великий князь забывает все, что учил, и проводит время в забавах с такими невеждами, как Чоглоков».

И в середине 50-х годов его покои были заполнены куклами и солдатами, изготовленными из дерева, глины, свинца и воска. Запершись, Петр Федорович играл в куклы до часу-двух ночи. Однажды супруга (дело было в 1753 г.), придя к нему в кабинет, обнаружила посередине повешенную крысу, которая таким образом была наказана за уголовное преступление — съела двух крахмальных часовых, поставленных у бастионов картонной крепости. Военный суд приговорил животное к повешению, что и было исполнено.

До 1755 г. Петр Федорович лишь урывками встречался со своими земляками голштинцами. После прибытия в Россию голштинской роты великий князь проводил в их обществе многие часы и, по словам Екатерины, был «в восхищении от своего отряда, поместился с ним в лагере, который для этого устроил, и только и делал, что занимался с ними военными учениями»¹⁴. Если раньше он облачался в голштинский мундир украинской, то теперь почти не расставался с ним и был вынужден переодеваться, лишь отправляясь на куртаг: великий князь знал, что императрица ненавидела и голштинцев, и все голштинское.

С возрастом у наследника появились еще две дурные привычки: он стал много пить и курить. Первое наблюдение Екатерины о пристрастии Петра Федоровича к вину относится к 1746 г., но пить он начал значительно раньше. Со временем пребывание во хмелю стало его обычным состоянием. Иногда он напивался допьяна, но запоями не страдал. В дни молодости он испытывал отвращение к табаку, но затем втянулся и, как говорится, не вынимал трубки изо рта, целыми часами вместе со слугами просиживая в донельзя прокуренной комнате. Свои попойки и перекуры в обществе егерей и лакеев великий князь объяснял стремлением подражать Петру Великому.

Историки черпают сведения о личности великого князя главным образом из мемуаров Екатерины II и княгини Е. Р. Дашковой, теснейшим образом причастных к свержению Петра III. Есть все основания критически относиться к этим источникам и подозревать их авторов в сознательном нагнетании страстей. Но те свидетельства, где речь идет о личности великого князя, в основных своих чертах, к сожалению, достоверны. Они подтверждаются и другими источниками, в частности инструкцией супругам Чолковым, приставленным к великокняжеской чете для присмотра за нею.

У императрицы было два повода усиленно присматривать за молодыми супругами. Первый вытекал из факта сверления дыр в ее покоях. Императрица рассудила, что предотвратить что-либо подобное в будущем можно, лишь не спуская с племянника глаз и отслеживая каждый его шаг. Второй повод дала великая княгиня, ибо по истечении девяти месяцев с момента венчания у нее не проявилось никаких признаков того, что она вскоре произведет на свет горячо желанного наследника или наследницу. В результате 10 мая 1746 г. А. П. Бестужев-Гюмин представил Елизавете инструкцию для «знатной дамы», главная задача которой состояла в строгом соблюдении условий, могущих способствовать приращению великокняжеской семьи. Ей полагалось наблюдение «брачной поверенности между обоими императорскими высочествами». Дама должна была внушить Екатерине мысль, что ее важнейшая обязанность, возведенная в ранг государственной задачи, состоит в том, «дабы желанный наследник и отрасль всевысочайшего императорского дома получена быть могла». Даме также вменялся присмотр за нравственностью Екатерины, для чего надлежало «всегда неотступно за нею следовать» и пресекать ее фамильярность с придворными кавалерами, пажам и лакеями, а также возмож-

ность передачи через них разного рода записок, устных поручений и пр. В одном из пунктов инструкции виден интерес ее составителя — пронизательный Бестужев углядел в великой княгине активную натуру, склонную к интригам, поэтому ей было запрещено вмешиваться в «здесьние государственные или голштинского правления дела». Переписываться ей разрешалось только через Коллегию иностранных дел, где составлялись письма, а Екатерине оставалось лишь поставить под ними свою подпись.

Иное содержание имели пункты инструкции, определявшие обязанности наставника за великим князем. Перечень запретительных мер в его отношении если не прямо, то косвенно обозначает свойственные ему пороки и дурные поступки. Ему предписывалось во время церковной службы соблюдать благоговение и благолепие, «гнушаясь всякого небрежения, холодности и индифферентности», и отдавать почтение членам Синода и всем духовным лицам. Эти меры были бы излишними, если бы великий князь не смеялся и громко не разговаривал в храме, не гримасничал во время богослужения. В этой связи приведем указ Елизаветы Петровны от 6 января 1749 г. о наказании за разговоры в придворной церкви, который обязывал «наковать цепи с ящиками, какие обыкновенно бывают в приходских церквах: для знатных — медные позолоченные, для посредственных — белые луженые, для прочих чинов — простые железные». Не имелось ли здесь в виду поведение великого князя, ибо кто из придворных, зная набожность императрицы, осмелился бы нарушить порядок в храме?¹⁵

Пункт второй инструкции дает представление о том, что здоровье великого князя «при нежном его состоянии легко опасению подвержено». Отсюда рекомендация слушать наставления «лейб-медиков» относительно рациона питания и поведения в теплую и холодную погоду. Существенно отличаются и пункты, определявшие отношения между супругами. Если великой княгине надлежало вести себя так, чтобы «сердце его императорского высочества совершенно к себе привлеци каким бы образом с ним в добром согласии жить», то в отношении великого князя наставнику надлежало следить, чтобы он «в присутствии дежурных кавалеров, дам и служителей, колыми меньше же при каких посторонних что-либо запальчивое, грубое или непристойное словом или делом случалось».

Инструкция исключает всякие сомнения в пристрастии великого князя к детским забавам и в характере его отношений с окружающими. Наставник должен был «всемерно препятствовать чтению романов, игре на инструментах, егерями, солдатами или иными игрушками». Также запрещалось «притаскивание всяких бездельных вещей» в покои Петра Федоровича, а именно «палаток, ружей, барабанов и мундиров». Наследнику не разрешалось совершать «ничего смешного, притворного и подлого в словах и минах». Ясно, что имелась в виду страсть юноши к гримасничанью и кривлянью. Напротив, он должен вести себя так, чтобы «любовь нации к себе приобрести мог». Для этого он должен «всегда серьезным, почтительным и приятным казаться»¹⁶.

Иностранные источники тоже отметили отклонения от нормы в поведении великого князя. В 1746 г. французский дипломат доносил: наследник «склонен к вину, водится с людьми пустыми и его главная забава — кукольный театр». В следующем году прусский посол извещал своего короля: он, посол, сомневается, что великий князь когда-либо будет царствовать из-за слабого здоровья и поведения; «русский народ так ненавидит великого князя, что он рискует лишиться короны, даже в том случае, если бы она естественно перешла к нему по смерти императрицы». У Фридриха II тоже сложилось нелестное представление о Петре Федоровиче. В 1752 г. он отзывался о нем так: «Великий князь чрезвычайно неосторожен в своих речах, по большей части в ссоре с императрицей, мало уважаем, вернее сказать, презираем народом и слишком уж занят своей Голштинией»¹⁷. Аналогичное мнение высказал французский посол маркиз Лопиталь в 1757 г.

По составлении инструкций встал вопрос, кого назначить наставниками к великокняжеской чете. Задача непростая, если учесть, что в XVIII в. нравы при дворе не отличались строгостью и супружеская неверность считалась заурядным явлением. Небезгрешная в этом плане императрица остановила выбор на своей любимице — статс-даме Марье Симоновне Чоглоковой, 24-летней красавице, матери двоих детей, умевшей, как тогда говорили, соблюдать «строгие правила в поведении». Наставником к великому князю императрица определила князя Василия Никитича Репнина, занимавшего эту должность недолго (он был лишен должности за то, что допустил появление при великом князе голштинской роты). Его место занял супруг Марьи Симоновны Николай Наумович Чоглоков. Супруги соблюдали инструкцию добросовестно и с рвением, что дало повод Екатерине весьма неодобрительно отозваться о них в своих «Записках». Свою обер-гофмейстерину она считала дамой «глупой, злою, корыстолюбивою», а гофмаршала Чоглокова называла «гордым и глупым дураком».

Наличие наставников в той или иной мере сдерживало свободу действий великокняжеской четы, особенно Екатерины, но супруги, постигнув слабости своих надзирателей, находили средства усыплять их бдительность. Так, Екатерина, которой запрещено было самой писать письма кому бы то ни было, ухитрилась-таки через заезжего кавалера получить письмо от матери и через него же отправить ответ. Хранительница «брачной поверенности» Чоглокова следила за каждым шагом Екатерины и готова была пресечь любую ее попытку завести любовника. Но шли годы, а желанный продолжатель рода все не появлялся на свет. Не помогло даже выраженное императрицей через Чоглокову недовольство бездетностью Екатерины, которую считали виновницей семейной трагедии.

Тогда Чоглокова, то ли сама проникшись заботой об интересах государства, то ли получив соответствующую инструкцию от Елизаветы, то ли, наконец, вкусив сладость измены супругу, завела разговор с великой княжной о необходимости обзавестись любовником. Если верить мемуарам Екатерины, в 1753 г. Марья Симоновна якобы сама спросила у нее, кому из

двух возможных кандидатов она отдаст предпочтение: Сергею Салтыкову или Льву Нарышкину. Для великой княжны этот вопрос был риторическим, ибо она уже несколько месяцев находилась в интимной связи с Сергеем Васильевичем Салтыковым, роман с которым начался весной 1752 г.

Обицеизвестно, что матушка Екатерина отличалась любвеобилием. Ее своего рода мужской гарем насчитывал свыше двух десятков только зафиксированных источниками фаворитов. Этот список открыл красавец Сергей Салтыков.

В «Записках» Екатерина запечатлела собственное мнение о своих чарах. В 1750 г. на одном из публичных маскарадов она поразила всех, включая императрицу, своей внешностью: «Говорили, что я прекрасна, как день, и поразительно хороша; правду сказать, я никогда не считала себя чрезвычайно красивой, но я нравилась и полагаю, что в этом и была моя сила». В другом месте своих мемуаров она писала, что от природы была «одарена очень большой чувствительностью и внешностью по меньшей мере очень интересной, которая без помощи искусственных средств и прикрас нравилась с первого же взгляда»¹⁸. Впрочем, в глазах дамского угодника и повесы француза Фавье, знавшего толк в женщинах и прибывшего в Петербург в 1760 г., Екатерина выглядела не столь неотразимой: «Никак нельзя сказать, что красота ее ослепительна: довольно длинная, тонкая, но не гибкая талия, осанка благородная, но поступь жеманная, не грациозная; грудь узкая, лицо длинное, особенно подбородок; постоянная улыбка на устах, но рот плоский, вдавленный; нос несколько сгорбленный; небольшие глаза, но взгляд живой, приятный; на лице видны следы оспы. Она скорее красива, чем дурна, но увлечься ею нельзя»¹⁹.

Впрочем, кокетливая императрица все же удержалась от чрезмерного самовосхваления — отзывы современников в общих чертах совпадают с ее собственными. В глазах английского дипломата Джона Бекингхэмшира 33-летняя Екатерина выглядела так: «Черты лица ее далеко не так тонки, чтобы могли составить то, что считается истинною красотой, но прекрасный цвет лица, живые и умные глаза, приятно очерченный рот и роскошные каштановые волосы создают в общем такую наружность, к которой очень немного лет назад мужчина не мог бы отнестись равнодушно».

Когда в те времена даме переваливало за пятьдесят, она считалась старухой — здоровье подрывалось ежегодными родами. Екатерине удалось сохранить привлекательность и в этом возрасте. Современник писал: «Екатерина II среднего, скорее большего, чем маленького роста, она только кажется невысокою, когда ее сравниваешь с окружающими русскими высокими людьми. Она немного полна грудью и телом, у нее большие голубые глаза, высокий лоб и несколько удлинненный подбородок. Так как ей теперь 52 года, то и нельзя ожидать юношеской красоты. Но она всего менее некрасива, напротив, в чертах ее лица еще много признаков ее прежней красоты, и в общем видны знаки ее телесной прелести»²⁰.

Недостатка в фаворитках не испытывал и великий князь. С его необыкновенной способностью влюбляться он их менял довольно часто, при

чем неизвестно, в сколь близких отношениях он с ними находился. Вслед за фрейлинами Лопухиной и Карр предметом его обожания стала младшая дочь Шафирова — Марфа Исаевна, ей предшествовала девица Корф, которую затем сменила Теплова. Самую продолжительную привязанность Петр Федорович питал к Екатерине Воронцовой, чрезмерно полной, некрасивой и крайне неприятной фрейлине.

24 сентября 1754 г. произошло событие, круто изменившее положение Екатерины — она наконец родила сына, нареченного Павлом. Иные придворные, наблюдавшие семейную жизнь великокняжеской четы, шепотом поговаривали, что младенца по батюшке надлежит величать не Петровичем, а Сергеевичем. Вероятно, так оно и было.

Сомнения насчет своего отцовства одолевали и Петра Федоровича. В передаче Екатерины однажды он публично заявил: «Бог знает, откуда моя жена берет свою беременность, я не слишком-то знаю, мой ли это ребенок и должен ли я принять его на свой счет»²¹. Четыре года спустя, 9 декабря 1758г., Екатерина родила дочь Анну. В это время ее фаворитом был уже граф Понятовский, — при дворе сочли, что Салтыков сделал свое дело, и его отправили резидентом в Стамбул.

Когда родился Павел, императрица одарила роженицу 100 тысячами рублей; около полугода двор отмечал появление наследника разного рода увеселениями. Однако императрица сразу же отобрала новорожденного у матери, и она увидела его лишь 40 дней спустя. Любопытна судьба елизаветинского подарка: узнав о нем, Петр Федорович почувствовал себя обойденным и потребовал себе такую же сумму. Так как казна была пуста, обратились к Екатерине с просьбой одолжить подарок. Долг так и не был возвращен, и мать наследника в конце концов сама осталась без подарка.

После рождения Павла Елизавета Петровна охладела к великокняжеской чете. В «Записках» Екатерина сообщает о том, что императрица не могла пробыть с Петром Федоровичем «нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращения, гнева или огорчения», называла его дураком или пользовалась выражениями: «Проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более» или «Племянник мой урод, черт его возьми!».

Сомнения в правдивости Екатерины рассеиваются свидетельствами самой императрицы. Кабинет-секретарю Черкасову она писала: «Сожалею, что не токмо разума не достает, но и памяти лишен племянник мой». Тяготился своим положением при дворе и Петр Федорович. Он просил у Елизаветы разрешения жить в Ораниенбауме: «Если я не оставлю эту прекрасную придворную жизнь и не буду наслаждаться, как хочу, деревенским воздухом, то наверно издохну здесь от скуки и от неудовольствия». Тетушке нетрудно было догадаться, что племянника влекло в Ораниенбаум желание предаваться военным играм с полюбившимися ему голштинцами. Не получив разрешения, он обратился с просьбой к И. И. Шувалову, чтобы тот выхлопотал ему двухлетнюю поездку за границу: «...не дайте мне умереть с горя; мое положение не в состоянии выдержать моей горести и хандра моя ухудшается день ото дня»²².

Особое недовольство двора вызвала позиция великокняжеской четы в отношении участия России в Семилетней войне как противницы Пруссии. На подозрении у Елизаветы оказался не только ярый поклонник Фридриха II Петр Федорович, но и Екатерина, по сведениям императрицы, принимавшая участие в придворных интригах на стороне фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина и его приятеля канцлера Бестужева-Рюмина.

Известно, что в самом начале войны армия под командованием Апраксина победила пруссаков под Гросс-Егерсдорфом, но фельдмаршал вместо преследования противника предпринял отступление, напоминавшее бегство. Партия Шуваловых — Воронцова толковала этот факт по-своему — поговаривали об измене Апраксина. По совету Бестужева Екатерина направила фельдмаршалу письмо с мольбой возобновить наступление. Воспользоваться советом Апраксин не сумел — он был смещен с должности главнокомандующего, и лишь внезапная смерть избавила его от позорного суда.

Положение Екатерины усугубилось арестом Бестужева. Если у Апраксина было обнаружено вышеупомянутое письмо Екатерины и несколько записок, не содержащих ничего предосудительного, то среди бумаг канцлера можно было найти немало компрометирующих ее материалов. Великая княгиня встревожилась не на шутку, однако опытный вельможа накануне ареста сумел уничтожить все документы, содержавшие улики. Более того: находясь под арестом, Бестужев нашел способ известить Екатерину об уничтожении бумаг. Успокоившись, Екатерина решила сама перейти в наступление. С целью прорыва блокады она направила письмо Елизавете Петровне с просьбой отпустить ее на родину к матери.

Расчет строился на хорошем знании психологии императрицы. Екатерина рассудила, что Елизавета не станет выставлять свой двор на глазах всей Европы в крайне невыгодном свете. В конечном счете так и случилось. Елизавета Петровна решила пригласить Екатерину к себе для беседы. Однако ждать аудиенции пришлось шесть недель, в течение которых недруги великой княгини и Бестужева тщетно пытались обнаружить улики против них. При личной встрече ночью 24 апреля 1758 г. Екатерина расположила императрицу в свою пользу. И хотя эта победа не дала великой княгине сиюминутных выгод, она внесла в ее жизнь успокоение и веру в неотразимую силу терпения как главного средства для достижения цели.

Глава 7

ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ

1. Мечта о престоле

Сведения о болезни императрицы, как их ни скрывали, все же проникли в покои Екатерины и заставили ее задуматься. Если верить «Запискам», тревожная мысль о безрадостном будущем впервые пришла ей в голову только в 1758 г. Именно под этим годом она записала рассуждение о трех вариантах своей судьбы: «Во-первых, делить участь его императорского высочества, как она может сложиться; во-вторых, подвергаться ежечасно тому, что ему угодно будет затеять за или против меня; в-третьих, избрать путь, независимый от всяких событий. Но, говоря яснее, дело шло о том, чтобы погибнуть вместе с ним или через него или же спасти себя, детей и, может быть, государство от той гибели, опасность которой заставляли предвидеть все нравственные и физические качества этого государя. Эта последняя доля показалась мне самой надежной»¹.

Все эти рассуждения — от лукавого. Уже в 1756 г. она вынашивала план вполне конкретных действий: устранение с престола будущего императора (своего супруга) путем заговора. О существовании подобных намерений мы узнаем из переписки Екатерины с английским послом Чарльзом Уильямсом, которая заслуживает того, чтобы сообщить о ней дополнительные подробности.

Уильямс принадлежал к тем немногочисленным людям, которым осторожная Екатерина могла раскрыть свою главную тайну — желание водрузить на свою голову императорскую корону. Их переписка, относящаяся к 1756 — 1757 гг., была окутана глубокой тайной: великая княгиня заранее условилась с послом, что ее письма по прочтении он будет ей же и возвращать. Чопорный сэр Чарльз внешне будто бы соблюдал эти обязательства и письма отдавал аккуратно, но предварительно снимал с каждого из них копию. Историкам в пору поклониться коварному Уильямсу: именно благодаря ему бесценный источник оказался в английском архиве.

Великая княгиня использовала еще одну уловку, на этот раз крайне наивную: автор писем по ее воле превратился в лицо мужского пола: «Я получил через курьера...», «Я услышал...» и т. п. Вряд ли подобная «конспирация» могла уберечь Екатерину от роковых неприятностей, если хотя бы одно из писем попало во враждебные руки (вспомним печальную историю маркиза де ла Шетарди).

Еще жива была императрица, еще Петр Федорович не был провозглашен императором, а Екатерина так, на всякий случай, уже в августе 1756 г. примеряла корону на свою голову и готова была достичь цели в ходе дворцового переворота. Из одного письма мы узнаем, что она полна решимости «погибнуть или царствовать», в другом она заявляла: «Я буду царствовать или погибну».

План Екатерины, по-видимому, был навеян сведениями о действиях Елизаветы в 1741 г. и чтением книг по истории стран Западной Европы. Замышляя военный переворот, Екатерина уже в то время умела блефовать. Получая от Уильямса финансовые субсидии, она пыталась создать у своего корреспондента уверенность, что подготовка к перевороту идет полным ходом и английские денежки тратятся не напрасно. В письме от 9 августа 1756 г. Екатерина рассуждала: «...всякий насильственный переворот должен совершиться в два или три часа времени». 11 августа великая княгиня убеждала Уильямса в том, что в переворот уже вовлечены многие влиятельные лица: «Я занят формированием, обучением и привлечением разного рода пособников для события, наступления которого вы желаете. В моей голове сумбур от интриг и переговоров»². На самом деле Екатерина водила англичанина за нос — в 1756 г. все ее утверждения о подготовке к перевороту были попросту плодом ее пылкого воображения.

Перевороты в пользу Елизаветы и Екатерины Великой имеют между собой много сходного. Главная их общая черта не нова и берет начало с момента воцарения Екатерины I — решающая роль гвардии. И в ноябре 1741 г., и в июне 1762-го во главе заговора лично встали претендентки на трон (причем степень личного участия Екатерины была на порядок выше, чем ее предшественницы). И Елизавета, и Екатерина использовали иностранные субсидии.

Вместе с тем в перевороте в пользу Екатерины есть одна особенность, по своему значению перекрывающая указанные выше элементы сходства. Все предшествующие претенденты имели хоть какие-то права на престол. Екатерина же Алексеевна, будучи чужеродным телом в родословии Романовых, никаких юридических оснований на занятие трона не имела. И если для участия в столь рискованном предприятии охотников нашлось более чем достаточно, то это — следствие всеобщего недовольства и ненависти персонально к Петру Федоровичу.

Переворот 1762 г. отличала от прочих и его продолжительность — если для свержения Бирона или Иоанна Антоновича понадобилось несколько ночных часов, то здесь процедура взятия власти заняла более двух суток:

все началось в пять утра 28 июня и завершилось в час дня 30 июня, когда взятый под стражу свергнутый император был доставлен в Петергоф.

Если в 1740 и 1741 гг. претенденты имели дело с грудным младенцем, то Екатерине довелось противостоять взрослому императору, который теоретически мог опереться на армию и оказать вооруженное сопротивление притязаниям супруги. Ввиду продолжительности переворота участие в нем (правда, пассивное) приняло и население столицы Российской империи.

Знакомство великой княгини с гвардейскими офицерами, способными проложить ей путь к трону, относится к весне 1759 г., когда в Петербурге появился Григорий Григорьевич Орлов, один из пяти братьев, отличавшийся красотой, отчаянной удалейю и известный громкими любовными похождениями. Он снискал уважение солдат во время сражения под Цорндорфом во время Семилетней войны, когда, получив три ранения, не оставил своего поста. В своих амурных делах он был необычайно дерзок: будучи адъютантом у генерал-фельдцейхмейстера П. И. Шувалова, он увлек его любовницу Елену Куракину. Только преждевременная смерть генерала избавила Орлова от серьезных неприятностей. Вскоре Григорий стал известен и Екатерине. Именно через него великая княгиня установила связь с гвардейцами.

Орлов использовал свое влияние на приятелей-офицеров, с которыми частенько бражничал, убеждая их, что от великого князя добра ждать не придется: Петр Федорович публично огорчился победами русского оружия над пруссаками, при каждом удобном случае демонстрировал свое преклонение перед Фридрихом II, грозил распустить гвардию, называл гвардейцев янычарами.

При Петре Великом созданная им гвардия стала самой боеспособной частью русской армии. После его смерти гвардейские полки (при Анне Иоанновне их стало три) утратили прежнюю репутацию и постепенно превратились в изнеженное воинство, не принимавшее участия в военных действиях и служившее для охраны императорских резиденций, эскортирования царских выездов, парадных шествий и т. п. «Их боеготовность, — писал датчанин Шумахер, — была очень низкой, за последние двадцать лет они совершенно разленились, так что их скорее стоит рассматривать как простых обывателей, чем как солдат. По большей части они владели собственными домами, и лишь немногие из них не приторговывали, не занимались разведением скота или еще каким-либо выгодным делом. И этих-то изнежившихся людей Петр III стал заставлять со всей мыслимой строгостью разучивать прусские военные упражнения». Заметим, что эти бесполезные для боевой выучки занятия доставляли императору истинное наслаждение, и он лично бил провинившихся тростью за всякое нарушение во время изнурительных вахтпарадов. Одним словом, гвардия представляла благодатную почву для противников коронованного самодура.

Второй силой, на которую опиралась Екатерина, стали вельможи. Их было немного, но при дворе они пользовались огромным влиянием. Среди них выделялся 42-летний граф Никита Иванович Панин, враг Шуваловых, именно поэтому оказавшийся не у дел. «Меня уверяли, что Панин умный

человек. Могу ли я теперь этому верить?» — вопрошал Петр Федорович, пожаловавший Никите Ивановичу после своего воцарения чин генерала от инфантерии. Панин от пожалования отказался, ибо новый чин обязывал его участвовать в военных экзерцициях, от которых не освобождались даже высшие армейские чины. В ходе частых бесед Екатерина и Панин сошлись во мнении о необходимости устранить Петра III от правления; в то же время Панин хотел видеть на троне своего воспитанника Павла Петровича, Екатерина же мечтала о своем возведении на престол.

Вторым вельможей, на которого Екатерина вполне могла опереться, был украинский гетман Кирилл Григорьевич Разумовский, младший брат елизаветинского фаворита, занимавший одновременно должность командира Измайловского полка. У Кирилла Разумовского были свои резоны держать сторону Екатерины: в молодые годы он был ее тайным воздыхателем, но не решился объявить ей о своих чувствах; он жил в ожидании неприятностей от нового императора — при дворе поговаривали о назначении гетманом Украины фаворита Петра III Гудовича.

Нельзя не упомянуть и Екатерину Романовну Дашкову. Скептики возражат: способна ли была хрупкая 19-летняя дама сыграть серьезную роль в таком рискованном и чисто мужском занятии, как организация заговора? Оказалось, способна. В оценке ее участия в перевороте существуют два несхожих взгляда. Один из них принадлежит самой Дашковой и представлен в ее «Записках». Если полностью доверять мемуаристке, то она явилась чуть ли не руководителем заговора. По ее версии, именно она велела доставить императрицу из Петергофа в столицу. Один из Орловых пришел к ней спросить, не рано ли это делать. «Я была вне себя от гнева и тревоги, услышав эти слова, — вспоминала Екатерина Романовна, — и выразилась очень резко насчет дерзости его братьев, медливших с исполнением моего приказания»⁴.

Надо полагать, юная Дашкова слишком афишировала свое участие в перевороте, что раздражало императрицу. Только этим можно объяснить появление таких строк в письме Екатерины II Станиславу Августу Понятовскому, написанном по горячим следам 2 августа 1762 г.: «Княгиня Дашкова, младшая сестра Елизаветы Воронцовой, хотя и желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести по причине своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия. Хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки, однако все лица, бывшие в заговоре, имели сношения со мною в течение шести месяцев прежде, чем она узнала только их имена... Приходилось скрывать от княгини пути, через которые другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что-либо узнала, а за четыре последние недели ей сообщали так мало, как только могли»⁵.

Истина, как всегда, где-то посередине. Значение услуг Дашковой при возведении на трон Екатерины II отрицать не приходится — она была вхожа в дома вельмож и обладала связями, которых так недоставало заговорщикам. Проницательная Екатерина угадала в Дашковой и наличие недюжинного таланта, и готовность выполнять любые поручения.

Еще одной силой, более всего способствовавшей успеху Екатерины, был сам император. Тысячу раз прав был камергер Пассек, говоря, что у Петра III «нет более жестокого врага, чем он сам, потому что он не пренебрегает ничем, что могло ему повредить»⁶. Сдается, император будто бы нарочно делал все, чтобы восстановить против себя двор, большинство вельмож и даже население столицы, до которого доходили разного рода слухи о его странностях. Напротив, умная супруга делала все, чтобы создать о себе самое благоприятное впечатление.

После восшествия на престол Петр III обрел полную свободу действовать в соответствии со своими капризами. Он быстро вошел в роль самодержца, но странности в его поведении обнаружились сразу же после того, как гроб с телом покойной Елизаветы Петровны был выставлен для прощания. В то время как Екатерина в скорбном молчании истово молилась и отбивала поклоны усопшей, Петр вел себя самым непристойным образом, превращая всю церемонию в фарс. По свидетельству Дашковой, «Петр III являлся крайне редко и то только для того, чтобы шутить с дежурными дамами, поднимать на смех духовных лиц и придирается к офицерам и унтер-офицерам по поводу их пряжек, галстуков или мундиров»⁷. То же самое утверждал и служивший при русском дворе итальянец Мизере, то и дело отмечавший в дневнике, что в дни прощания с покойной императрицей, а также после ее похорон Петр Федорович не соблюдал траура, проводя время в кутежах, после которых дня по два приходил в себя, обедах, устройстве фейерверков и т. д.⁸

Пристрастие Петра Федоровича к вину превратилось в откровенное пьянство и вызывало чувство удивления и омерзения не только у иностранцев, но и у русских людей. В течение шести недель, пока императрица лежала в гробу, свидетельствовал иностранный наблюдатель, Петр III «целые ночи проводил с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршестве и пьянстве». «Жизнь, которую ведет император, — доносил иностранный дипломат, — самая постыдная; он проводит свои вечера в том, что курит, пьет пиво и не прекращает эти оба занятия иначе, как только в пять или шесть часов утра и почти всегда мертвецки пьяным». Еще один иностранец подтверждал, что «двор приобрел вид и тон разгулявшейся казармы».

Автор знаменитых мемуаров Андрей Тимофеевич Болотов при Петре III служил помощником начальника столичной полиции и в силу своего служебного положения мог наблюдать жизнь двора изнутри. Он подтверждает свидетельства иностранцев: Петр III «редко бывал трезв и в полном уме и разуме»; напившись, он молот всякий вздор и «нескромницу». У Болотова при этом «сердце обливалось кровью от стыда пред иностранными министрами». Однажды, рассказывает Болотов, изрядно выпившая за обедом компания во главе с императором вышла в сад и стала там забавляться, «как малые ребятки»: «прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкали своих товарищей. Подобным образом развлекались все первейшие в государстве люди, украшенные орденами и звездами»⁹.

Всех вельмож в царствование Петра III пугала в первую очередь неуверенность в завтрашнем дне, тревога за свою карьеру, ибо никому не ведомо было, какая мысль осенит взбалмошную императорскую голову. Это обстоятельство подметил австрийский посол граф Мерси д'Аржанто, сообщавший о щедрых пожалованиях по случаю дня рождения императора: «Даже те, на долю которых выпала большая часть высочайших милостей, не находят в них достаточных причин для спокойствия на будущие времена». Исключения не составляла и фаворитка Елизавета Романовна Воронцова, привязанность императора к которой не подлежит сомнению, — в зависимости от его настроения безграничное расположение к ней могло смениться гневом и угрозой оказаться за решеткой.

Подобные поступки императора привели к тому, что в высшем эшелоне власти совершенно не осталось людей, беззаветно преданных ему и готовых встать на защиту его прав на корону.

Особые отношения сложились у императора с гвардией. По восшествии на престол он заменил лейб-компанию гвардией из голштинцев. Между тем лейб-компанцы справедливо полагали, что именно они, возводя на трон Елизавету Петровну, проложили путь к короне и Петру III — не будь переворота, трон занимали бы потомки не Петра Великого, а Ивана Алексеевича.

Лейб-компания — ничтожная часть гвардии, но и у гвардейских полков было достаточно поводов для недовольства. И дело здесь не только в муштре или замене одноцветных зеленых мундиров на разноцветные (по образу и подобию прусских), узкого покроя, неудобные в пользовании. Расшитые золотом мундиры стоили безумных денег, что также не нравилось офицерам.

Само преклонение Петра III перед Фридрихом II заслуживает более подробного рассказа. Петр Федорович несколько не преувеличивал, когда в мае 1762 г. писал прусскому королю: «Я убежден, что ни один из собственных подданных ваших не предан более моего к вашему величеству». Коварный король также не скупился на хвалебные эпитеты в адрес российского императора: «человек, желанный небом», «интимный друг», «божественный монарх, достойный алтарей», «милостивое божество», человек с «божественным характером». Письма Фридриха избалуют человека, в совершенстве понявшего психологию своего адресата и знавшего способы воздействия на него. Льстивые слова прусского короля способны были вскружить и не такую слабую голову, как у Петра III. Император принимал комплименты за чистую монету и еще более привязывался к Фридриху. «Самая сильная страсть императора, — засвидетельствовал граф Мерси, — превышающая все остальные, это, бесспорно, его неограниченное уважение к королю прусскому». Эта страсть воплощалась в разнообразных поступках, как значительных, так и частного характера. К числу первых стоит отнести прекращение военных действий против Пруссии, заключение мира, отпуск пленных пруссаков без выкупа и возвращение Фридриху II земель, занятых русскими войсками. Выше всего на свете

Петр III ценил пожалованное ему прусским королем звание генерал-лейтенанта. Он хвастал, что поступил на прусскую службу еще пять лет назад в чине капитана, и верил «признаниям» Фридриха в том, что быстротой продвижения по службе обязан своим военным дарованиям. Дошло до того, что спущенному на воду русскому кораблю император присвоил название «Король Фридрих» (второму кораблю, спущенному на воду в том же мае 1762 г., он дал имя своего голштинского дяди — «Принц Георг») ¹⁰.

Петр III был подобострастен не только к самому прусскому королю, но и к его уполномоченным. Он не принимал ни одного решения в делах внешней политики без консультации с полковником Бернгардом Гольцем. Болезненная привязанность петербургского монарха к Фридриху привела в замешательство даже прусского генерала Вернера, заявившего, что он «никогда не мог бы себе представить, что снисходительность и преданность русского императора к его королю заходит так далеко, если бы сам не был очевидцем этого».

Главная причина недовольства гвардейцев коренилась в крутом повороте внешней политики России. Одним росчерком пера Петр III свел к нулю все успехи, добытые кровью русских солдат и офицеров в Семилетней войне. Глухой ропот вызвало и намерение императора начать военные действия против недавней союзницы — Дании. Подобная политика вызвала недовольство со стороны Австрии и Франции, в коалиции с которыми Россия начинала Семилетнюю войну. В Манифесте о прекращении военных действий против Пруссии Петр III объяснял свою акцию миролюбием и стремлением прекратить кровопролитие, призывая союзников последовать его примеру. Проявляя удивительную непоследовательность, он другой рукой подмахивал указы, готовившие страну к войне с Данией. Посчитав, что у него прорезался талант военачальника, он в подражание Фридриху II возложил на себя обязанности главнокомандующего. В этой войне русский император решил проливать кровь русских солдат за интересы герцога Голштинского, мечтавшего о возврате Шлезвига, отнятого у Голштинии за столетия до этого. Став императором в Петербурге, герцог из Киля не поднялся в своем сознании до уровня правителя мировой державы. Заняв трон, он готов был подвергнуть страну испытаниям, продиктованным тупым и упрямым рассудком. Искать логику в поступках императора, голова которого находилась под постоянным воздействием винных паров, — занятие столь же бесполезное, как и неблагоприятное.

Для изнеженной гвардии, участие которой в войне с Данией было предрешено, бремя похода за тридцать земель и военные действия, чуждые интересам России, стали главным поводом для недовольства.

Не меньше оснований быть недовольными императором имели и духовные лица. Их раздражало кощунственное отношение императора к православной религии и ее обрядам, демонстративное издевательство над служителями церкви. Вот картина поведения Петра III в церкви, схваченная пером княгини Дашковой: «Император приходил в придворную цер-

ковь лишь к концу обедни; он гримасничал и кривлялся, передразнивал старых дам, которым он приказал делать реверансы на французский лад вместо русского преклонения головы»¹¹. В Духов день 1762 г. Петр вел себя в придворной церкви так, словно находился в своем кабинете: «...принимал иностранных министров и дворянство, ходил по церкви, как будто в своих покоях, взад и вперед, громко разговаривал с лицами обоего пола...» Широкие круги черного и белого духовенства резко враждебно отреагировали на указ Петра III о секуляризации церковного имущества. Изъятие населенных крестьянами вотчин у монастырей и церковей лишало тех и других доходов и беспечной жизни.

На первый взгляд отношение к Петру III дворянства покажется странным. Казалось бы, это сословие должно было испытывать к нему чувство глубочайшей признательности за «Манифест о вольности дворянской», освобождавший дворянство от обязательной службы, и ряд других указов, изданных им в его пользу. Разве могла не вызвать одобрения дворян отмена указа 1721 г., разрешавшего владельцам крупных промышленных предприятий покупать к ним крепостных крестьян. Реализация же указа Петра III сулила дворянам немалые экономические выгоды — этим актом восстанавливалась их монополия на владение крепостными крестьянами (еще большую выгоду должны были извлечь дворяне-промышленники, так как предприниматели из купцов отныне принуждены были использовать исключительно труд наемных работников). Одобрение дворян должно было вызвать и упразднение внушавшей страх Тайной розыскных дел канцелярии. Но в массе своей и столичные, и провинциальные дворяне проявили по отношению к императору индифферентность. Отчасти это безразличие можно объяснить странными выходками императора, но главная причина коренилась в отсутствии сословной организации дворянства, способной оказывать хоть какое-то влияние на власти предержавшие. Таким образом, Петру III опереться было вообще не на кого, заговорщики же могли рассчитывать лишь на твердую поддержку гвардии.

2. 28 июня 1762 года

После смерти Елизаветы Петровны Екатерина твердо усвоила мысль, что в создавшейся ситуации у нее нет иного пути, как вступить в схватку за власть с собственным супругом. Оказавшись на троне, император перестал соблюдать даже внешние приличия в отношении супруги, демонстративно игнорируя ее существование. На время отсутствия императора в столице в планировавшемся на май 1762 г. датском походе создавался особый совет, в котором императрице места не нашлось. Более того, в Манифесте о восшествии Петра III на престол ни слова не сказано ни о его супруге, ни о наследнике. В тексте присяги вместо обычного обязательства быть верным его императорскому величеству, его супруге, на-

следнику и наследнице присягнувший клялся быть верным подданным «по высочайшей его воле избираемым и определяемым наследникам»¹². Все это не сулило Екатерине ничего утешительного, что и подметил французский дипломат Бретейль в депешах, отправленных в январе 1762 г.: «В день поздравлений с восшествием на престол императрица имела крайне унылый вид. Пока очевидно только, что она не будет иметь никакого значения... Император удвоил свое внимание к девице Воронцовой... Императрица в ужасном положении; к ней относятся с явным презрением. Она нетерпеливо сносит обращение с нею императора и высокомерие девицы Воронцовой. Не могу даже себе представить, чтоб Екатерина, смелость и отвага которой мне хорошо известны, не прибегла бы рано или поздно к какой-нибудь крайней мере. Я знаю друзей, которые стараются успокоить ее, но которые решатся на все, если она потребует»¹³. Екатерина уединилась, но сквозь ее затворничество проглядывала крайне осторожная и настойчивая забота о том, как избежать заточения в каком-нибудь глухом монастыре. Императрица действовала старым, испытанным способом — совершала поступки, противоположные деяниям ее супруга: уклонялась от разгула, истово соблюдала каноны православной веры, подчеркивала свое уважение к духовным лицам, втихомолку осуждала затеянные супругом секуляризацию церковных владений и датскую войну. Общественное мнение все более склонялось в ее пользу.

Трудно сказать, сколь долго бы тлело возбуждаемое Петром III недовольство, если бы не эпизод, случившийся 9 июня и придавший решимость заговорщикам. В этот день имел место торжественный обед по случаю обмена ратификационными грамотами о мире между Россией и Пруссией, состоявшегося еще 24 мая: пылкий поклонник Фридриха II решил отметить «событие» трехдневными празднествами. В присутствии четырехсот персон, в том числе иностранных министров, Петр предложил три тоста: за здоровье императорской фамилии, за здоровье прусского короля и в честь заключения мира. Первый тост надлежало произнести Екатерине. Когда она поставила бокал, к ней подошел Андрей Васильевич Гудович, генерал-лейтенант и любимец Петра, и по поручению императора задал вопрос, почему она не встала во время своего тоста. Императорская фамилия, отвечала Екатерина, состоит из императора, его сына и ее самой, поэтому она сочла вставание необязательным. После того как Гудович передал этот ответ императрицы, император заявил, что она дура и должна бы знать, что к императорской фамилии относятся и голштинские принцы.

Не будучи уверенным, что Гудович передаст его слова в точности, Петр Федорович громко, чтобы слышали все, произнес роковое слово «дура». У публично оскорбленной императрицы на глаза навернулись слезы. После обеда император велел арестовать супругу, но не выполнил своего обещания благодаря заступничеству принца Георга. «С этого дня я стала прислушиваться к предложениям, которые мне делались со времени смерти императрицы», — писала Екатерина своему бывшему фаво-

риту Понятовскому 2 августа 1762 г. Вряд ли, однако, она поведала бывшему возлюбленному всю правду. Зная честолюбие императрицы, невозможно представить, чтобы она равнодушно взирала на события, происходившие вокруг нее до злосчастного июньского обеда.

Подозревал ли Петр III о нависшей над ним угрозе переворота? Император полностью исключал такую возможность и был убежден, что подданные искренне любят его. Между тем даже иностранным наблюдателям было известно, что в столице зреет «революция». Австрийскому послу Мерси какой-то «добрый друг», часто снабжавший его конфиденциальной информацией, еще в марте 1762 г. сообщал о наличии в гвардии «между рядовыми сильного брожения, которое, по его мнению, может дать повод к возмущению»¹⁴. Но особую заботу о Петре III проявил его покровитель Фридрих II, крайне заинтересованный в сохранении русской короны на голове странного императора. На основе информации, получаемой прежде всего от Гольца, у короля сложилось впечатление, что трон под Петром Федоровичем весьма неустойчив. Фридрих советовал императору не отправляться на театр военных действий до своей коронации и предупреждал об угрозе заговора в пользу Иоанна Антоновича. Главный же совет короля состоял в том, чтобы, отправляясь на войну, Петр взял «в свою свиту всех ненадежных людей, могущих злоумышлять против вас, и даже тех, кто сколько-нибудь подозрителен».

Император, всегда считавшийся только с самим собой, остался глух даже к предупреждениям своего кумира. Гольц жаловался королю на Петра Федоровича, не пожелавшего отказаться от намерения командовать войсками в конфликте с Данией: «На этой мысли он так утвердился, что нет никакой возможности отключить его от нее». Впрочем, Гольц так и не сумел сориентироваться в расстановке сил придворных «партий». Он был убежден, что опасность императору грозила со стороны Мельгунова и Шуваловых. Однако удар, как мы увидим ниже, был нанесен совсем с другой стороны.

Источники сообщают о трех планах лишения Петра III короны. Все они не были оригинальными. Первый из них повторял процедуру свержения Брауншвейгской фамилии Елизаветой Петровной: арестовать императора в его покоях. Андреас Шумахер сообщил о другом плане, который допускал пролитие крови и повторял действия заговорщиков Циклера и Соковина, покушавшихся на жизнь Петра Великого. Зная о пристрастии Петра III подражать своему деду Петру I, любившему тушить пожары, заговорщики планировали 2 июля поджечь крыло нового дворца. Когда император появится на пожаре, заговорщики должны были окружить его плотным кольцом, а кто-то из них — нанести смертельный удар в спину, после чего труп собирались бросить в одну из полыхавших комнат. Была готова и официальная версия — несчастный случай.

Автором третьего плана был Никита Иванович Панин. Осуществление его не было привязано к фиксированной дате. Ориентировочно в конце июля, когда император будет производить смотр гвардейским полкам перед отправкой их в датский поход, его надлежало арестовать.

Но все произошло вовсе не по плану. Строго говоря, это была импровизация, возникшая в результате непредвиденных событий. 26 июня капрал Преображенского полка спросил у поручика Измайлова, скоро ли свергнут императора. Измайлов донес о заданном вопросе ротному командиру майору Воейкову, а тот — полковнику Ушакову. В ходе открывшегося следствия было обнаружено недоброжелательное высказывание об императоре капитана Пассека. Вечером 27-го числа его взяли под стражу. Это событие и послужило сигналом для заговорщиков. Их поспешность, с одной стороны, объяснялась реальной опасностью раскрытия заговора. С другой стороны, братья Орловы, привыкшие действовать напролом, только и ждали случая, чтобы от разговоров перейти к делу.

О намерении совершить переворот стало известно Никите Панину и Кириллу Разумовскому. Последний распорядился печатать Манифест о восшествии на престол Екатерины Второй. Машина была запущена, а план действий тем не менее отсутствовал. Ясно было одно — начинать надо с провозглашения Екатерины императрицей, но она в эти часы находилась в Петергофе.

В полночь на 28 июня Алексей Орлов и Василий Бибииков направились в Петергоф. В шестом часу утра Орлов вошел в Монплеизир, где спала Екатерина. «В мою комнату, — вспоминала императрица, — входит Алексей Орлов и говорит совершенно спокойным голосом: «Пора вставать, все готово, чтобы провозгласить вас». Я спросила о подробностях, он сказал: «Пассек арестован». Я не колебалась более». Екатерина наскоро оделась и вместе с камер-фрейлиной Шаргородской села в весьма скромную карету, запряженную парой лошадей. Бибииков и камер-лакей Шкурин пристроились на запятках, а Алексей Орлов — рядом с кучером. В пяти верстах от столицы путников встретил Григорий Орлов, в карету которого пересела императрица. Карета двинулась по направлению к канцелярии Измайловского полка. По сигнальному выстрелу из пистолета навстречу ей с криками «ура!» бежала радостно возбужденная толпа гвардейцев. Тут же полковой священник принял от измайловцев присягу новой императрице. Во главе толпы солдат, впереди кареты с Екатериной, верхом на коне, обнажив шпагу, ехал к Семеновскому полку его командир гетман Разумовский. Правда, часть офицеров пыталась удержать солдат на стороне Петра III, но эта попытка была решительно пресечена. Вскоре к заговорщикам присоединился и третий гвардейский полк — Преображенский. Огромная толпа солдат, смешавшись с петербургскими жителями, двинулась по Невскому к новому Зимнему дворцу. В пути под возгласы «ура!» Екатерина объявила об отмене датского похода.

В Зимнем дворце уже находились высшие чины государства, тотчас присягнувшие императрице. Затем был обнародован Манифест, объявлявший о вступлении Екатерины на самодержавный престол «по желанию всех наших верноподданных». Практически вся столица оказалась во власти императрицы. Следующая задача — привлечь на свою сторону полки и стоявший в Кронштадте флот. В Кронштадт, расположенный недалеко от

Ораниенбаума, летней резиденции императора, был послан адмирал Талызин с собственноручной запиской Екатерины: «Господин адмирал Талызин от нас уполномочен в Кронштадте; и что он прикажет, то исполнять».

Что же происходило в это время в лагере Петра III? Канун 28 июня он провел за ужином с горячительными напитками, затянувшимся допоздна, и поэтому проснулся поздно. В час дня карета императора, в которой вместе с ним восседал его неразлучный советник прусский посол Гольц, во главе многочисленной свиты направилась в Петергоф на торжественную обедню и всенощную по случаю дня св. Петра и Павла.

До прибытия гостей в Петергоф гофмаршал Михаил Львович Измайлов, которому император велел не спускать глаз с супруги, не обнаружил ее в обычное для пробуждения время. Камеристка императрицы успокоила его ложным заявлением, что ее повелительница поздно отправилась ко сну. Между 11 и 12 часами, когда отсутствие Екатерины уже стало казаться подозрительным, Измайлов проник в ее покои и понял, что она сбежала. На первой же попавшейся кляче он сломя голову поскакал навстречу императору и примерно в пяти верстах от Ораниенбаума сообщил ему эту новость. Император, только что собравшийся посмеяться над внешним видом Измайлова, был ошеломлен известием об исчезновении Екатерины. Тут же последовали советы: кто-то предложил немедленно отправиться на остров под защиту кронштадтских редутов, но император остался верен себе и продолжил путь в Петергоф.

— Где Екатерина? — спросил Петр у канцлера М. И. Воронцова, бывшего туда раньше императора.

— Не знаю, я не смог ее найти, но говорят, что она в городе, — ответил тот.

— Теперь я хорошо вижу, что она хочет свергнуть меня с трона. Все, чего я желаю, это либо свернуть ей шею, либо умереть прямо на этом месте.

После этого разговора, согласно молве, Петр все еще лелеял надежду обнаружить супругу, спрашивал и переспрашивал свиту, проверял шкафы, заглянул даже под кровать, но Екатерины нигде не оказалось.

Что делать? Петр избрал наихудший выход — он пошел прогуляться по парку, решив воздержаться от каких-либо действий до выяснения обстановки в столице. С этой целью он отправил в Петербург генерал-фельдмаршала князя Никиту Юрьевича Трубецкого и графа Александра Ивановича Шувалова (первый из них был полковником Семеновского полка, а второй — Преображенского). «Вам нужно быть в городе, чтобы успокоить ваши полки и удерживать их в повиновении мне» — с таким напутствием вельможи отправились в столицу. Спустя некоторое время Петр направил в Петербург канцлера Михаила Илларионовича Воронцова с деликатной миссией — увещевать Екатерину и уговорить отказаться от намерения свергнуть его с трона.

Прибыв в столицу, Трубецкой и Шувалов, вопреки торжественным заверениям в преданности императору, тут же присягнули Екатерине. Верным своему обещанию остался лишь канцлер. Явившись к императрице, он об-

наружил там Трубецкого и Шувалова, с язвительными усмешками рассказывавших императрице о задании, полученном от Петра. Воронцов все же попытался убедить Екатерину «пресечь восстание немедленно, пока оно еще в самом начале, и воздержаться впредь, как подобает верной супруге, от любых опасных предприятий». Вместо ответа императрица посоветовала канцлеру взглянуть в окно, где бушевала восторженная толпа:

— Разве не поздно теперь поворачивать обратно?

Воронцов ответил:

— Я слишком хорошо вижу это, ваше величество, и поэтому мне не остается ничего иного, как представить императору всеподданнейшее донесение обо всем происходящем.

Екатерина велела арестовать канцлера, но под стражей он находился недолго — его выручила, видимо, его племянница Дашкова.

Тем временем император приказал кабинет-секретарю Волкову составить письмо Сенату с призывом сохранить верность трону. В нем дурное обращение с императрицей объяснялось тем, что она родила наследника от любовника. Из этой затеи тоже ничего не вышло — офицер, которому велено было доставить это письмо, вручил его Екатерине, которая держала его у себя. Распорядился Петр и об отправке на ведущие в Петербург дороги разъездов, адъютантов, гусар, ординарцев. Те из них, кто возвращался, привозили неутешительные известия — все дороги перекрыты присягнувшими Екатерине войсками.

Казаюсь бы, в такой обстановке Петр III, претендовавший на лавры Фридриха II, должен был решительно апеллировать к армии, склонить на свою сторону Кронштадт, но он лишь бесцельно расхаживал по парку, выслушивая советы М. И. Воронцова, А. П. Мельгунова, А. В. Гудовича, М. А. Измайлова и других. В четыре часа пополудни он наконец принял решение укрыться в Кронштадте, но собирался отплыть туда лишь после получения достоверной информации от посланных в столицу вельмож. Он полагал, что гвардия, Сенат и правительство верны ему, народ любит его, а супруга вот-вот будет молить его о пощаде. Пока же в Кронштадт отправился генерал Петр Антонович Девиер с заданием удержать крепость за императором и подготовить ее к прибытию Петра.

Девиер действовал не лучшим образом. Когда он прибыл в Кронштадт, там еще не знали о столичных событиях. Вместо того чтобы любыми средствами воздействовать на гарнизон крепости и ее коменданта генерал-майора Нуммерса, Девиер делал вид, что ничего не случилось. Не обнаружив никаких признаков волнений или неповиновения, он отправил в Петергоф донесение о том, что в Кронштадте готовы к приему императора. Рапорт был получен в десятом часу вечера. У Петра мелькнула надежда на спасение. Мелькнула и быстро рассеялась, ибо по отъезде Девиера в Кронштадте появился адмирал Иван Лукьянович Талызин с известной нам запиской императрицы. В итоге энергичных действий ему удалось переломить настроения гарнизона и его коменданта. По приказу Талызина гарнизон крепости был собран на комендантском плацу, где с

радостью присягнул Екатерине. Об этих событиях император и его свита узнают тремя часами позже.

В Петергофе между четырьмя и десятью часами пополудни нарастала растерянность: у Петра Федоровича обморок сменялся раздражением, а последнее — упадком сил. В седьмом часу он присел на деревянную скамейку, чтобы перекусить, выпить шампанского и бургундского. Вино, видимо, придало ему решительности, и он велел голштинскому воинству срочно прибыть из Ораниенбаума в Петергоф. Прибывший отряд в 1300 человек был плохо вооружен и, конечно же, не мог оказать достойного сопротивления превосходящим силам гвардии. Трезвые головы прекрасно понимали бессмысленность сопротивления и уговорили Петра вернуть голштинцев в казармы Ораниенбаума.

В десятом часу Петр, преодолев колебания, решил отплыть в Кронштадт. Туда из Петергофа отчалила флотилия в составе фрегата и галеры. В первом часу ночи 29 июня корабли подошли к кронштадтской гавани, но вместо ожидаемой торжественной встречи спущенной на воду недалеко от берега императорской шлюпке пришлось выслушать грозное предупреждение от караульного с бастиона: если корабли не отойдут в море, то по ним будет открыт огонь. Император кричал, что «он сам тут и чтоб его впустили». В ответ караульный поделился с ним новостью, что у нас нет Петра III, а есть только Екатерина II, и вновь пригрозил стрельбой. Императорская галера взяла курс на Ораниенбаум, а Петр Федорович оказался в глубоком психологическом шоке.

В часы нерешительности Петра III Екатерина пыталась закрепить свое положение и лишить супруга свободы действий с целью добиться его отречения от престола, придав случившемуся благопристойность. По ее приказанию к Петергофу были стянуты крупные силы. Войска общим числом в 14 тысяч человек были разделены на три отряда. Авангардом из гусар и казаков командовал Алексей Орлов. За ним следовали артиллерия и полевые полки. Замыкала шествие гвардия. Возглавляли ее две дамы в блестящих мундирах, ехавшие верхом в сопровождении знатной свиты — фельдмаршала Бутурлина, гетмана Разумовского, генерал-аншефа Волконского и др. Участники похода были уверены, что эта увеселительная прогулка скоро окончится успехом и щедрым вознаграждением.

Последняя рота оставила столицу в десятом часу вечера. Отправляясь в Петергоф, Екатерина направила Сенату указ: «Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полной доверенностью, под стражу отечество, народ и сына моего».

Сенат, получивший предписание непрерывно заседать в ночные часы и информировать императрицу обо всех происшествиях в городе, отправил первый рапорт в два часа ночи, извещая о пребывании наследника в полном здравии и о благополучии в столице. Среди восьми подписей сенаторов на первом месте в рапорте стояли подписи недавних посланцев Петра Федоровича — князя Трубецкого и графа Шувалова.

В свою очередь, Сенат получал известия о продвижении императрицы к цели своего путешествия. В половине третьего ночи Н. И. Панин сообщил, что «наша всемилостивейшая государыня благополучно марш свой продолжает» и в данное время находится у Красного кабачка, куда прибыла в час ночи. Императрица, изнуренная нервным напряжением, разместилась на втором этаже трактира.

В Сенате провели тревожную ночь, ибо никто не знал, что творится в стане Петра и с какой стороны можно ждать удара. Сенаторы сочли, что главная опасность грозит со стороны моря, — в случае атаки кронштадтских кораблей столица оставалась беззащитной. Мы уже знаем, что благодаря усилиям Талызина тревога эта была напрасной.

В шестом часу утра 29 июня поход возобновили. В этот час в стане Екатерины не располагали достоверной информацией об обстановке в Ораниенбауме и Петергофе. Но на пути из Красного кабачка к Троице-Сергиевой пустыни стали появляться многочисленные беглецы из свиты императора, готовые тут же присягнуть его супруге. Дал о себе знать и Петр III — в пустынь с посланием от него прибыл вице-канцлер Голицын. У императора еще теплилась надежда помириться с супругой. В несохранившемся собственноручном письме он признавал свою вину перед Екатериной, обещал исправиться и предлагал полное примирение. Доставив письмо, Голицын тут же присягнул Екатерине и рассказал ей о неудавшейся попытке высадиться в Кронштадте и о растерянности императора.

Эти известия дали основания полагать, что судьба Петра III решена. Подтверждением тому стало второе послание Петра, доставленное Екатерине генерал-майором Михаилом Львовичем Измайловым, с просьбой о прощении и отказе от своих прав на престол. Вместе с фавориткой Елизаветой Воронцовой и генерал-адъютантом Гудовичем он готов был отправиться в Голштинию и просил лишь о пенсии, достаточной для безбедного существования.

По свидетельству императрицы, с Измайловым у нее состоялся разговор, вполне характеризующий моральный облик не только этого генерала, но и других присягнувших ей вельмож.

— Считаете ли вы меня за честного человека? — спросил Измайлов у Екатерины.

Та дала утвердительный ответ.

— Ну так приятно быть заодно с умными людьми, — продолжал Измайлов. — Император предлагает отречься от престола. Я вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны.

Екатерина согласилась, и в сопровождении Григория Орлова и князя Голицына Измайлов отправился в Ораниенбаум¹⁵. На всякий случай Екатерина в записке к Петру потребовала от него, чтобы тот «удостоверение дал письменное и своеручное» об отказе от престола «добровольно и непринужденно». Делегация прихватила с собой готовый текст отречения. В нем Петр заявлял о неспособности нести бремя управления страной:

«Того ради, помыслив, я сам в себе беспристно и непринужденно чрез сие заявляю не токмо всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что от правительства Российским государством на весь век мой отрекаюсь». Кроме того, свергнутый император обязался не привлекать посторонних сил для восстановления своих прав на корону.

Прибыв в Ораниенбаум, Измайлов оставил своих спутников в приемной, а сам отправился к Петру и через несколько минут появился с подписанным актом отречения от престола. Получив его, Орлов и Голицын немедленно отправились в Петергоф, а через некоторое время из Ораниенбаума покатила карета с Петром III, Елизаветой Воронцовой, Гудовичем и Измайловым. Как только экипаж пересек границу парка, его окружил усиленный конвой из гусар и конногвардейцев.

В первом часу дня Петра и его спутников доставили в Петергоф. Выйдя из кареты, бывший император сам отдал шпагу дежурному офицеру, а потом, потрясенный случившимся, лишился речи и упал в обморок. Спустя некоторое время его навестил Н. И. Панин, которого бывший император просил не разлучать его с фавориткой. Это был последний эпизод самого продолжительного в истории России дворцового переворота.

3. Убийство Петра Третьего

После того как свергнутый Петр III оказался под надежной охраной, встал вопрос, что с ним делать дальше. В середине 1762 г. в России, помимо царствующей государыни, оказались сразу два свергнутых императора, представлявших равновеликую опасность для Екатерины II. Если Иоанн Антонович с грудного возраста содержался в строгом заточении и от него тщательно скрывали его происхождение, а также права на престол, то другой свергнутый император полгода царствовал и знал прелести порядков, при которых любой его каприз мгновенно и безоговорочно исполнялся. Императрица хорошо знала неуравновешенный характер своего бывшего супруга и учитывала возможность непредсказуемых действий с его стороны, способных вызвать потрясение трона. Между двумя узниками существовало еще одно важное различие: выражаясь языком того времени, Иоанн Антонович не располагал «партией», то есть группой своих сторонников из числа родственников, облагодетельствованных вельмож или недовольных новым правлением. Влиятельных родственников у Петра III тоже не было, если не считать ненавидимого в России его голштинского дяди Георга, но лихие головы, способные, подобно Мировичу, пойти на риск ради свергнутого императора, могли объявиться в любой момент.

В этих условиях существовали три возможных варианта дальнейшей судьбы Петра Федоровича. Первый: отпустить его на родину, в столь милую его сердцу Голштинию. Чтобы отклонить такую возможность, не

надо было обладать предусмотрительностью Екатерины: свергнутого императора в таком случае почти наверняка превратили бы в марионетку, за которой стояли давние противники России — Пруссия, Швеция, Османская империя и т. п. Второй вариант — физическое уничтожение Петра — представлялся самым простым и верным способом решить проблему трех императоров в России. Но эта акция не могла осуществиться без благословения императрицы и почти наверняка нанесла бы непоправимый ущерб репутации Екатерины, и без того подмоченной переворотом. Наконец, вариант третий: держать свергнутого императора в заточении подобно Иоанну Антоновичу, только в более комфортных условиях.

Местом заточения Петра III был избран Шлиссельбург. Уже в первый день переворота, 28 июня, туда отправили генерал-майора Никиту Савина с заданием подготовить «лучшие покои» для узника. Чтобы избежать превращения Шлиссельбурга в «склад» для лишенных трона императоров, на следующий день Савину было велено вывезти Иоанна Антоновича в Кексгольм. Последнее по времени упоминание о Шлиссельбурге относится ко 2 июля, когда подпоручик Григорий Плещеев доставил туда некоторые вещи Петра Федоровича. С этого времени власти были озабочены не содержанием узника, а его убийством. Это было сокровенное желание императрицы, конечно же, дошедшее до сознания лиц, охранявших бывшего императора.

Поначалу охранники, видимо, уповали на естественную кончину Петра, не отличавшегося крепким здоровьем. Основанием для такого рода мыслей могло стать резкое ухудшение здоровья императора, наступившее сразу же по прибытии в Ропшу, из-за переживаний в трагические для него дни. Андреас Шумахер сообщает: «При своем появлении в Ропше он уже был слаб и жалок. У него тотчас же прекратилось сварение пищи, обычно проявлявшееся несколько раз на дню, и его стали мучить почти непрерывные головные боли»¹⁶.

30 июня датировано последнее послание Петра III Екатерине, в котором он просит отменить караул во второй комнате и предоставить ему возможность прогуливаться по ней. «Еще я прошу не приказывайте офицерам оставаться в той же комнате, так как мне невозможно обойтись с моею нуждой»¹⁷.

Курьер с извещением о болезни Петра III прибыл в Петербург только 1 июля. Он передал желание больного, чтобы в Ропшу приехал его лечащий врач голландец Людерс. Врач отказался, справедливо полагая, что в этом случае ему придется постоянно находиться при нем в Ропше или в других местах заточения. Людерс ограничился тем, что выслушал симптомы болезни, нашел их неопасными для жизни и выписал лекарства.

2 июля Екатерина распорядилась удовлетворить все просьбы супруга за исключением доставки в Ропшу фаворитки Воронцовой. Императрица велела отправить в Ропшу врача Людерса, обер-камердинера Тимлера, арапа Нарцисса, а также скрипку и «мопсинку собаку». Впрочем, неясно, понадобилось ли все это бывшему императору, ибо в тот же день Екате-

рина получила письмо от Алексея Орлова, в котором сообщалось, что Петр Федорович «очень занемог, и схватила его нечаянная колика, и я опасен, чтоб он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасуюсь, чтоб не ожил». В циничном послании Орлов не скрывал того, что оставлять бывшего императора в живых крайне опасно: «Первая опасность для того, что он все вздор говорит, и нам это нисколько не весело. Другая опасность, что он действительно для нас всех опасен для того, что он иногда так отзывается, хотя в прежнем состоянии быть»¹⁸.

Людерс прибыл в Ропшу 3 июля, когда состояние здоровья узника резко ухудшилось; на другой день к больному приехал еще один врач — придворный хирург Паульсен. О том, что произошло в субботу, 5 июля, данных не сохранилось, но уже на следующий день Петра Федоровича не стало. В Манифесте, обнародованном 7 июля 1762 г., кончина императора объяснена так: «В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известия, что бывший император Петр Третий обыкновенным и часто случавшимся ему припадком геморроистическим впал в преежестокую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которого мы одолжено к соблюдению ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключений, опасных в здравии его, и к скорому вспоможению врачеванием. Но к крайнему нашему прискорбию и смущению, вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею всевышнего Бога скончался»¹⁹.

Что же здесь соответствует истине, а что является чистой ложью, призванной прикрыть злодеяния? Действительно, императрица послала к заболевшему Петру врачей. Но показателен факт, что Паульсен был отправлен в Ропшу не с лекарствами, а с хирургическими инструментами для вскрытия тела.

Насильственная смерть императора неопровержимо подтверждается абсолютно надежными источниками. 6 июля Алексей Орлов отправил императрице два послания. Первое из них извещало: Петр Федорович «теперь так болен, что не думаю, чтоб он дожил до вечера и почти совсем уже в беспмятстве, о чем уже и вся команда здешняя знает и молит Бога, чтоб он скорее с наших рук убрался». Второе письмо вносит полную ясность в причины смерти свергнутого императора. Приведем его полностью: «Матушка, милая, родная государыня, как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете, но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя! Но, государыня, совершилась беда. Он заспорил за столом с князь Федором (Барятинским. — Н. П.), не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты. Помилуй меня, хоть для брата. Повинную тебе принес — и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил: прогневили тебя и погубили души навек».

Сопоставляя содержание этих двух писем, нетрудно обнаружить вопиющее противоречие: как Петр III, находясь «почти совсем уже в беспамятстве», мог сидеть за столом и заспорить с Барятинским? Остается предположить, что мифом является либо смертельная болезнь Петра Федоровича, либо эпизод за столом, во время которого темпераментный князь Федор прикончил бывшего монарха.

В обстоятельствах смерти Петра III много загадочного, прояснить которое затруднительно. Так, секретарь датского посольства Шумахер писал об убийстве Петра, состоявшемся 4 июля (а не 6-го, как сообщалось в Манифесте), а убийцей назван не Барятинский. «Сразу же после увоза этого слуги (Маслова. — Н. П.) один принявший русскую веру швед из бывших лейб-компаных — Швановиц, человек очень крупный и сильный, с помощью некоторых других людей жестоко задушил императора ружейным ремнем»²⁰.

Но как показал современный историк Р. Овчинников, Швановиц (Швановиц по Шумахеру) не мог совершить этого — на момент переворота он был временно заключен в крепость и в Ропше не был²¹.

О заранее задуманном убийстве свидетельствует также удаление из Ропши лишнего свидетеля трагедии — камер-лакея Маслова. По сведениям Шумахера, Маслов, вышедший в парк подышать свежим воздухом, по приказанию какого-то офицера был схвачен и отправлен неизвестно куда. Случилось это якобы рано утром 4 июля. По версии Орлова, Маслов занемог и отправлен в столицу. Как бы там ни было, но убийцы избавились от лишнего свидетеля.

Многokrатно цитированный Клавдий Рюльер оставил описание реакции императрицы на известие о смерти супруга. «Но что достоверно, это то, что в тот же день, когда оно (убийство. — Н. П.) произошло, императрица весело принималась за свой обед, когда вдруг вошел этот самый Орлов, растрепанный, весь в поту и пыли, с разодранной одеждой, с лицом взволнованным, выражавшим ужас и торопливость. При входе блестящие и смущенные глаза его встретились с глазами императрицы. Она встала, не говоря ни слова, прошла в кабинет, куда он за ней последовал, и через несколько минут приказала позвать туда графа Панина, уже назначенного министром. Она сообщила ему, что император умер, и советовалась с ним о том, как объявить народу об этой смерти. Панин посоветовал дать пройти ночи и распусть это известие на другой день, как будто оно было получено в продолжение ночи. Приняв этот совет, императрица возвратилась в столовую с прежним спокойным видом и так же весело продолжала свой обед. На другой день, когда объявили о том, что Петр умер от геморроидальной колики, она вышла, заливаясь слезами, и выразила горечь свою в особом манифесте»²². В этом красочном и драматичном описании допущена неточность: известие Екатерине о смерти Петра доставил не Орлов, а кто-то другой. Для нас важна колоссальная выдержка Екатерины, которая могла быть проявлена только человеком, подготовленным к восприятию подобного известия.

Причастна ли императрица к убийству своего супруга? На этот вопрос пытались ответить уже современники переворота. Рюльер, например, заметил, что ему об этом ничего не известно. Напротив, Шумахер давал на этот вопрос категорически отрицательный ответ: «Нет, однако, ни малейшей вероятности, что это императрица велела убить своего мужа. Его удушение, вне всякого сомнения, дело рук некоторых из тех, кто вступил в заговор против императора и теперь желал навсегда застраховаться от опасностей, которые сулила им и всей новой системе его жизнь, если бы она продолжалась». Здесь необходимы два уточнения. Во-первых, рассуждения Шумахера нелогичны: если заговорщики желали застраховаться от опасностей, то почему такой же опасности не подверглось главное действующее лицо заговора — сама императрица? Во-вторых, современникам не были известны письма Алексея Орлова, пролежавшие в екатерининской шкатулке все 34 года ее правления.

Конечно же, осторожная императрица не могла дать прямого указания убить своего бывшего супруга. Но и цареубийцы не осмелились бы совершить акт насилия над экс-императором, если бы не были уверены в своей безнаказанности и в том, что Екатерина в этой смерти прямо заинтересована. Не рискнул бы и Алексей Орлов отправлять Екатерине письма с прямыми намеками на необходимость лишения жизни Петра Федоровича.

Екатерине ничего не оставалось, как сокрыть цареубийство. Теоретически она могла предать гласности подлинные условия гибели Петра III, назначить следствие и привлечь виновных к суду. Но от этого шага ее удерживали личные причины — среди лиц, причастных к перевороту, значился и фаворит Григорий Орлов. Обнародовать ропшинские события значило изрядно скомпрометировать императрицу.

Официальную версию смерти супруга Екатерина отстаивала вплоть до своей смерти. Даже близкому человеку, одному из первых фаворитов — Станиславу Августу Понятовскому она беззаботно излагала все ту же историю, хотя и с некоторыми подробностями: «Его свалил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которыми последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовал перед тем лютеранского священника. Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть, но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа отравления; он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено». Проверить эти свидетельства Екатерины невозможно — описание вскрытия трупа не сохранилось, отсутствует и медицинское заключение о болезни Петра.

В ночь на 8 июля тело покойного доставили в Петербург и установили в Александро-Невской лавре. Бывший император лежал в мундире голштинского драгуна. Устроителям траурной церемонии не откажешь в прощальности: мундир покойника символичен — усопший являлся не

российским императором, а всего лишь голштинским герцогом. Шумахер сообщает со слов его «заслуживающего доверие друга»: «Вид тела был крайне жалкий и вызывал страх и ужас, так как лицо было черным и опухшим, но достаточно узнаваемым, и волосы в полном беспорядке колыхались от сквозняка... Всем входившим офицер отдавал два приказа — сначала поклониться, а затем не задерживаться и сразу идти мимо тела и выходить в другие двери. Наверное, это делалось для того, чтобы никто не смог как следует рассмотреть ужасный облик этого тела»²³.

В среду 10 июля 1762 г. тело Петра III было предано земле в Благовещенской церкви рядом с могилой правительницы Анны Леопольдовны. Похороны сопровождались еще одним фарсом, разыгранным при участии императрицы. Можно представить, как не хотелось Екатерине участвовать в этой траурной церемонии. Непонятно, как вести себя: то ли изображать вдовью скорбь по поводу преждевременной утраты нежно любимого супруга и проливать обильные слезы, как она делала после кончины Елизаветы Петровны, то ли, напротив, проявить к происходившему полное равнодушие. И в том и в другом случае поведение императрицы подлежало осуждению: одни упрекнули бы ее в неискренности, другие — в бессердечии.

Услужливые царедворцы решили избавить императрицу от неприятных испытаний. Выдержка из протокола Сената от 8 июля информирует нас о случившихся накануне похорон событиях. Никита Иванович Панин доложил Сенату о намерении императрицы участвовать в похоронах бывшего императора, ибо «великодушие ее величества и непамятозлобивое сердце наполнено надмерною о сем приключении горестью и крайним соболезнованием о столь скорой и нечаянной смерти бывшего императора». Сколько ни уговаривали ее Панин и Кирилл Разумовский воздержаться от этого шага ради сохранения здоровья, она настаивала на своем. Сенат вынес единодушное постановление просить императрицу, «дабы ее величество шествие свое в Невский монастырь к телу бывшего императора Петра Третьего отложить соизволила». В конечном счете Екатерину удалось уговорить — она «ко удовольствию всех ее верных рабов намерение свое отложить благоволила».

Последний акт фарса наполнен мелодраматическими сентенциями. Императрица, согласившись не участвовать в похоронах, стала каяться в этом и упрекать сенаторов, что ее поступок будет осужден всем светом, на что Сенат возразил: присутствие на похоронах сопряжено с опасностью для ее жизни — солдаты до того раздражены и озлоблены на покойника, что могут в клочья разодрать его тело. «Это заставило ее наконец уступить настояниям Сената, правда при строгом условии, что вся ответственность перед Богом и людьми ляжет на него»²⁴.

Так начиналось 34-летнее царствование Екатерины Второй. Оно знаменовалось многими замечательными деяниями, оставившими заметный след в истории страны. Но восшествие на трон не украшает имя императрицы.

Часть 2

СТРАСТИ ВОКРУГ ТРОНА

Глава 1

ФАВОРИТЫ

До сих пор мы имели дело с лицами, занимавшими трон. За 37 лет с момента смерти Петра они оказались, как на подбор, личностями серыми, не одаренными ни высоким интеллектом, ни качествами государственных деятелей. Но таков порядок в наследственной монархии: подобно тому как дети не выбирают родителей, так народ не выбирает себе монарха.

Народная жизнь в провинции протекала лениво и размеренно, далеко не всегда испытывая воздействие коронованных особ. Сведения о столичных новостях докатывались туда много недель и даже месяцев спустя после того, как они свершились. О начавшейся войне жители провинций судили по внеочередным рекрутским наборам и дополнительным налогам; о смене монархов узнавали после того, как кому-то из претендентов на корону удавалось закрепиться на троне и чиновники ставили свои подписи на присяжных листах. Предшествовавшие этому факту события оставались неизвестными населению, его осведомляли о конечном результате, причем убеждали, что происшедшее на троне явилось сокровенным желанием всего российского народа.

Кто же тогда правил страной и объявлял войны, вводил новые налоги, осуществлял наборы рекрутов и открывал новые учебные заведения, усмирлял вышедших из повиновения крестьян и горожан, осуществлял реформы и издавал законы?

Три силы управляли Государством Российским, проводя в жизнь перечисленные выше функции: бюрократия, фавориты и вельможи.

Характеристику роли бюрократии в управлении государством мы опускаем, ограничившись некоторыми общими суждениями: этот вопрос не изучен, а его детальная проработка, на наш взгляд, потребует усилий многих исследователей. Предстоит изучить деятельность разных бюрократических слоев, от правящей верхушки до низших эшелонов власти, представленных каким-нибудь секретарем или подканцеляристом воеводской канцелярии.

Среднее и низшее звенья бюрократии были самыми устойчивыми в государственном механизме: менялись монархи и монархини, появлялись новые фавориты и фаворитки, переменчивой была судьба вельмож, а в коллегиях и особенно в губернских и воеводских канцеляриях сидели все те же воеводы и губернаторы, ассессоры и советники.

В самом низу бюрократической лестницы копошились канцеляристы и протоколисты, подканцеляристы и актуариусы, то есть юристы и делопроизводители тех времен, чья повседневная деятельность, неброская и незаметная, оказывала громаднейшее влияние на ход дел. Именно они выполняли всю черновую работу в правительственном механизме и воплощали замысел в официальный документ, придавали законодательному акту строгость и логичность.

Российская бюрократия отличалась одной важнейшей особенностью: она была всесильна, ибо фактически бесконтрольно правила государством, являясь замкнутой кастовой организацией, своего рода государством в государстве.

Роль бюрократии в управлении хорошо понимал ее создатель. Петр Великий пытался поставить ее под контроль и строгий надзор. С этой целью им были созданы два института, по идее дополнявшие друг друга: фискалата и прокуратуры. Однако их деятельность оказалась малоэффективной. Даже при энергичном генерал-прокуроре Павле Ивановиче Ягужинском, сумевшем создать авторитет своей должности, дело ограничилось рассмотрением лишь нескольких случаев злоупотреблений и суровым наказанием виновников. Подавляющее большинство возбужденных фискалами дел вязло в бюрократической тине и не было доведено до конца. Но и мелкие уколы, наносимые фискалами бюрократической гидре, были неугодны бюрократам, и в самом начале царствования Анны Иоанновны фискальский институт был ликвидирован.

Практически сразу после смерти Петра изменился облик прокуратуры. Будучи прежде «оком государевым», генерал-прокурор лишился поддержки монархинь, отстранивших себя от управления государством, а его должность превратилась в заурядную бюрократическую.

Деятельность фаворитов и вельмож имеет смысл рассмотреть подробнее.

Фаворитизм — неперенный спутник монархической формы правления. На протяжении всего времени царствования дома Романовых их трон окружали фавориты и фаворитки. И если среди фаворитов мы еще находим видных государственных деятелей, таких, как Александр Данилович Меншиков или Григорий Александрович Потемкин, то фаворитки были обделены талантами и довольствовались скромной ролью банальных любовниц. Чувственная и ветреная Анна Монс блаженствовала, когда получала от Петра отнюдь не царские подарки и веселилась в его обществе. У Меншикова, от природы наделенного талантами, претензии были значительно шире: он греб под себя в такой же мере, как и проявлял заботу

об интересах государства, в его лице казнокрад сочетался с крупным военачальником и администратором.

Другой тип фаворита представлял собой Алексей Григорьевич Разумовский, выбившийся из пастухов в графы и в отличие от светлейшего предпочитавший казнокрадству щедрые подарки от императрицы. В дела управления он не впутывался, держался в тени — отчасти из-за отсутствия честолюбивых амбиций, отчасти от лени. Едва ли не самым бескорыстным фаворитом был Иван Иванович Шувалов, у которого хватило мужества и благородства отказаться от щедрот обуреваемой страстями Елизаветы Петровны.

Особое, можно сказать, уникальное место среди фаворитов занимал Эрнст Бирон. Анна Иоанновна полностью покорилась этому чудовищно жестокому тирану, и тот позволял себе все, что взбредет в его не обремененную разумом голову.

В XVIII в. фаворитов называли случайными людьми, то есть поднявшимися наверх в силу случайных обстоятельств. Однако было бы неверно полностью отдавать выбор фаворита воле случая. Немалая роль здесь принадлежала личным вкусам коронованной особы, ее духовным запросам и представлениям о нравственности. У жизнерадостной и беззаботной Елизаветы Петровны не мог быть фаворитом человек, подобный Бирону, с его высокомерием, грубостью и жестокостью. Равным образом суровую и тяжелую на подъем Анну Иоанновну вряд ли увлек бы мягкий и интеллигентный И. И. Шувалов. Легкомысленный Иван Долгорукий вполне соответствовал привычкам и вкусам отрока-императора.

О фаворитах Екатерины I мы почти ничего не знаем. Вилима Монса, казенного Петром в 1724 г., скорее можно назвать тайным любовником, украдкой ласкавшим супругу императора, чем фаворитом класса Бирона или Миниха. Есть глухие упоминания о том, что после смерти Петра Екатерина все же завела фаворита — им оказался не наделенный умом красавец Левенвольде. Вряд ли, однако, тот влиял на политику двора — в случае поползновений к власти ему дали бы решительный отпор «птенцы гнезда Петрова», весьма ревниво относившиеся к пополнению своих рядов. Сама императрица находилась в полной зависимости от этих «птенцов» и вряд ли осмелилась бы предпринять какие-либо шаги, их раздражавшие. К тому же Екатерина часто болела.

Открытым почитанием пользовался зять императрицы, герцог Голштинский, супруг ее дочери Анны, введенный Екатериной в Верховный тайный совет и награжденный правами председательствующего. Чужака терпели только при жизни императрицы. Стоило ей умереть, как Меншиков сделал все возможное, чтобы герцог с супругой удалились в Голштинию.

Приведенные выше имена свидетельствуют в пользу того, что начало засилью иностранцев при русском дворе положила не Анна Иоанновна, а Екатерина I. Проживи она еще хотя бы три года, и трон марииенбургской

пленницы был бы густо облеплен выходцами из Лифляндии и германских княжеств.

О фаворите Петра II подробно рассказано в посвященной ему главе. Здесь напомним, что царь-отрок нуждался в умудренном опытом наставнике. Ни фаворит Иван, ни его отец Алексей Долгорукий этим требованиям не удовлетворяли. Оба они, в особенности папаша, были людьми настолько ограниченными, что не заглядывали ни в близкое, ни тем более в отдаленное будущее. Князь Иван был увлечен разгульной жизнью, а его отец — мечтой породниться с царствующим домом. Оба они не только не пресекали дурных наклонностей императора, но всемерно поощряли их, заслужив на этой сомнительной почве его расположение.

Из сохранившихся документов не видно, чтобы отец и сын Долгорукие активно вмешивались в дела управления либо определяли направления внутренней и внешней политики страны. В центре внимания Алексея Григорьевича находились интересы рода: его владения округлились, в Верховный тайный совет его хлопотами были кооптированы новые представители фамилии Долгоруких. Правда, дюк де Лириа сообщал сведения о встречах с Иваном Долгоруким, о просьбах замолвить слово императору, но ходатайства оставались безрезультатными, ибо все помыслы юного венценосца были прикованы к охоте и прочим развлечениям. Таким образом, влияние фаворитов Екатерины I и Петра II ограничивалось сугубо личной сферой отношений и не распространялось на дела государственной важности. Именно поэтому эти люди и не оставили заметного следа в истории России. Другое дело — Эрнст Иоганн Бирон.

Более двух столетий минуло со времени смерти властного курляндца. Казалось бы, все страсти вокруг его имени должны давно улечься, но однозначная оценка в литературе так и не установилась — историки не раз делали попытки его реабилитации.

К сожалению, источники о действиях и поступках Бирона крайне редки — временщик не занимал никаких постов в правительственной администрации. Он был всего-навсего обер-камергером, носителем одной из высших придворных должностей. Именно поэтому его имя редко упоминается в официальных документах: он не подписывал указов, исходивших от Кабинета министров, его голоса не было слышно и в Сенате, на поле брани и на дипломатических переговорах.

Но если Бирон был бы только обер-камергером, то его имя знали бы, пожалуй, только историки, дотошно изучающие придворный быт. Между тем имя Бирона приобрело нарицательное значение: все негативное, что произошло в России в десятилетнее царствование Анны Иоанновны, именуют бироновщиной.

Бирон никем не командовал и ничем не руководил, он повелевал всего лишь одним человеком, но этим человеком была императрица. Этого было достаточно, чтобы перед ним гнули спину и раболепно заискивали, трепетали, льстили, угодничали не только вельможи вообще, но и самые вельможные из них. Перед нами письмо одного из самых видных санов-

ников империи — Семена Андреевича Салтыкова, главнокомандующего в Москве и родственника императрицы. В 1733 году, на момент отсылки письма, он был облечен полным доверием Анны Иоанновны.

Семена Андреевича обвинили во взяточничестве. Обвиняемый оправдывался не перед императрицей, но перед Бироном, клятвенно заверяя его, «что взятков ни с кого не бирал и по страстям и по заступам никаких дел, ей-ей, не дельвал». Следов уважения к себе у автора, такого же графа, как и Бирон, обнаружить не удалось. 50-летний Салтыков величает 43-летнего своего корреспондента «милостивым отцом», «милостивым государем и отцом», а заканчивает послание уничижительно: «Вашего высокографского сиятельства, милостивого государя, отца всепокорный слуга».

Не менее раболепную «слезницу» Салтыков отправил Бирону в 1736 г., когда получил выговор от императрицы за упущение по службе. На этот раз Семен Андреевич покорнейше просил «при благополучном времени» доложить императрице, что он управляет столицей по указам ее величества!

Эрнст Иоганн Бирон родился в 1690 г. До сих пор его происхождение точно не установлено. Он считал себя дворянином, но польский король Август III оспаривал его дворянство, а русские источники после падения Бирона называли его род мизерным.

В 1714 г. Бирон отправился в Петербург добывать себе должность камер-юнкера при дворе супруги царевича Алексея, но, по свидетельству Манштейна, потерпел неудачу. По возвращении в Митаву он познакомился с обер-гофмейстером двора курляндской герцогини Анны Иоанновны Михаилом Петровичем Бестужевым, тогдашним фаворитом герцогини, благодаря которому он был пожалован камер-юнкером. Вскоре Бирон стал подкапываться под своего благодетеля, занял его место в постели вдовы и даже уговорил ее отправить нарочного в Москву с жалобой на Бестужева.

Сближение Бирона с Анной Иоанновной произошло в отсутствие Бестужева. Возвратившись в 1727 г. в Митаву, он обнаружил свое место занятым, но «в кредите остался». Михаил Петрович называл своего подопечного «курляндской канальей».

В феврале 1725 г. Бирон занял место обер-камер-юнкера при курляндском дворе, тремя годами позже стал камергером. По восшествии на российский трон Анна Иоанновна возвела своего фаворита в графское достоинство и сделала его обер-камергером. В июне 1730 г. австрийский посол граф Вратислав вручил ему диплом на графство Священной Римской империи, осыпанный бриллиантами портрет Карла VI и 200 тысяч талеров в придачу. В 1737 г. императрица организовала избрание Бирона герцогом Курляндским.

В первые два года пребывания при дворе Анны Иоанновны фаворит, по свидетельству современников, не вмешивался в дела управления. Пожалуй, он не лукавил, когда в 1732 г., отвечая на просьбу вышеупомянутого Салтыкова о заступничестве, писал: «Я уповаю, ваше сиятельство

довольно сами можете засвидетельствовать, что я во внутренние государственные дела ни во что не вступаю, кроме того, ежели какая ведомость ко мне придет, по которой можно мне кому у ее величества помогать и услужить сколько возможно».

Это заявление находит подтверждение и в журналах Кабинета министров, где его имя в 1731 — 1732 гг. упомянуто единственный раз.

В последующие годы одновременно с укреплением фавора Бирона усиливалось его влияние на властные структуры: вкусив сладость властвования, привыкнув к заискивающим улыбкам вельмож, он все более и более прибирал к рукам функции монарха. Подобно Меншикову при Екатерине I, он стал полудержавным властелином. Эта особая роль Бирона бросалась в глаза всем современникам. В донесении от 5 января 1731 г. Клавдий Рондо сообщал своему правительству, что Анна Иоанновна пожаловала Бирону свой портрет, украшенный прекрасными бриллиантами: «Граф с каждым днем все более и более приобретает благосклонность ее величества». О степени привязанности императрицы к фавориту говорит и такая запись Рондо: «Государыня во все время болезни графа кушала в его комнате»². Когда в 1734 г. Бирон вновь захворал, эта болезнь, по словам К. Рондо, «серьезно и глубоко печалила государыню; она со слезами на глазах высказывала, что граф единственный человек, которому она может довериться»³.

Лорд Форбес уже в 1733 г. называл Бирона человеком, «здесь несомненно всемогущим»⁴. Леди Рондо в одном из писем за 1733 г. коснулась лишь внешнего вида Эрнста Бирона: «Граф Бирон и его супруга — первейшие фавориты ее величества, настолько первейшие, что на них смотрят как на особ, облеченных властью. Он — обер-камергер, хорошо сложен, но производит весьма неприятное впечатление». Четыре года спустя та же мемуаристка, явно преувеличивая возможности супругов, писала, что «от их нахмуренных бровей или улыбки зависит счастье или несчастье всей империи». Что касается характеристики Бирона, то она сомнений не вызывает: «Герцог очень тщеславен, крайне вспыльчив и, когда выходит из себя, несдержан в выражениях. Будучи к кому-то расположен, он чрезвычайно щедр на проявления своей благосклонности и на похвалы, однако непостоянен. Он презирает русских и столь же явно высказывает свое презрение во всех случаях перед самыми знатными из них, что однажды это приведет к его падению»⁵.

Аналогичные мысли высказал другой современник — офицер, служивший в России. Он писал в марте 1740 г.: «Уже пять или шесть лет, как слышатся жалобы, во-первых, на слепую снисходительность императрицы к герцогу Курляндскому; во-вторых, на гордый и невыносимый характер последнего, который, как говорят, обращается с вельможами как с последними негодьями».

Ценность приведенных выше свидетельств состоит в том, что они написаны современниками, не знавшими, как сложится дальнейшая судьба

Бирона. Но в распоряжении историков имеются и воспоминания, возникшие много лет спустя после происшедших событий. Их авторы были осведомлены о том, что Бироны были лишены власти и свободы, что они коротали дни сначала в Пельме, а затем в Ярославле. Более того: двое из троих авторов воспоминаний — непосредственные участники ареста Бирона и лишения его прав регента. И тем не менее воспоминания Миниха-отца, Миниха-сына и полковника Манштейна трудно упрекнуть в предвзятости, равно как и недооценить. Как и всякие мемуары, они, разумеется, субъективны, но вооружают историка деталями, которые невозможно обнаружить в документах официального происхождения.

Начнем с воспоминаний Бурхарда Христофора Миниха, инициатора и руководителя операции по свержению Бирона с регентства: «Этот человек, сделавший столь удивительную карьеру, совсем не имел образования, говорил только по-немецки и на своем родном курляндском диалекте». Миних-старший отметил наличие у Бирона двух страстей: первая из них выражалась в любви к лошадям и выездке; второй страстью была игра в карты: «Он не мог провести ни одного вечера без карт и вел крупную игру». Несомненный интерес представляют бытовые зарисовки Миниха о Бироне: «У него была довольно красивая наружность, он был вкрадчив и очень предан императрице, которую никогда не покидал, не оставив вместо себя своей жены. Государыня вовсе не имела своего стола, а обедала и ужинала только с семьей Бирона и даже в апартаментах своего фаворита. Он был великолепен, но при этом очень бережлив, коварен и чрезвычайно мстителен, свидетельством чему является жестокость в отношении кабинет-министра Волынского и его доверенных лиц, чьи намерения заключались лишь в том, чтобы удалить Бирона от двора»⁶.

Сын фельдмаршала Эрнст Миних дополняет отцовскую оценку некоторыми деталями, придающими его воспоминаниям особый колорит. Миних-младший подтверждает слова отца о красивой внешности герцога и отсутствии у него образования. «В обращении своем мог он, когда желал, принимать весьма ласковый и учтивый вид, но большей частью казался по внешности величав и горд. Честолюбие его не имело никаких пределов; то недоверчивость, то легковерие причиняли ему нередко многое напрасное беспокойство. Он был чрезмерно вспыльчив и часто обижал из предускорения; если случалось иногда, что он погрешность свою усматривал, то, хотя и старался опять примириться, однако же никогда не доводил до изустного изъяснения, но довольствовался тем, что обиженному доставлял стороною какую-нибудь приязнь или выгоду. Если же кто, напротив того, сделал пред ним однажды проступок, тот не мог уже надеяться на его великодушие, ниже при искреннейшем принесенном своем раскаянии. Малейшее покушение вредить ему у императрицы было непростительное преступление, и его мщение простиралось даже до жестокости»⁷.

Третья характеристика Бирона вышла из-под пера Христофора Германа Манштейна, полковника на русской службе, непосредственного

руководителя ареста Бирона в 1741 г. Бирон, писал Манштейн, обратил на себя внимание Анны Иоанновны, еще когда она была курляндской герцогиней, своей красивой внешностью и «в скором времени так вошел в милость у герцогини, что она сделала его своим наперсником». «У него не было того ума, который нравится в обществе и в беседе, но он обладал некоторого рода гениальностью или здравым смыслом, хотя многие отрицали в нем и это качество». В первые два года пребывания в России он «как будто ни во что не хотел вмешиваться, но потом ему полюбили дела, и он стал управлять уже всем. Он любил роскошь и пышность до излишества и был большой охотник до лошадей. Имперский посланник Стейн, ненавидевший Бирона, говаривал о нем: «Когда граф Бирон говорит о лошадях, он говорит как человек, когда же он говорит о людях или с людьми, он выражается как лошадь». Характер Бирона был не из лучших: «высокомерный, честолюбивый до крайности, грубый и даже нахальный, корыстный, в вражде непримиримый и каратель жестокий»⁸.

После падения Бирона, как и всегда в подобных случаях, была создана следственная комиссия, предъявившая ему ряд обвинений. Документ этот далеко не объективный, ибо возможности жертвы опровергнуть выдвинутые обвинения были ничтожными, ее виновность предопределялась самой акцией ареста, однако в целом «вины» Бирона подтверждают, а не опровергают приведенные выше его характеристики и отзывы о его всемогуществе.

В переводе на современный язык главная вина Бирона состояла в приобретении им положения временщика, фактического правителя страны. Поскольку он был иностранцем, плохо осведомленным о подлинном положении дел, то его правление признавалось некомпетентным. На языке того времени эта вина Бирона выглядела так: «Во все государственные дела, хоть оные до чина его обер-камергера весьма не принадлежали, он вступал, и хотя ему, яко чужестранному, прямое состояние оных ведать было и невозможно, однако же часто и в самых важнейших делах без всякого, с которым надлежало о том совету по своей воле и страстям отправлял».

Перед нами коллективный портрет Бирона, в который каждый из цитированных авторов вносил свои штрихи, подчеркивая черты характера, не отмеченные другими. Портрет этот не вызывает симпатий: похоже, в одном отдельно взятом курляндском немце сосредоточились пороки, присущие всему человечеству.

Внешне Бирон считался стройным, подтянутым и статным красавцем, но эта красота была отталкивающей: его выдавали глаза с холодным и злым выражением, вызывавшие у наблюдательных современников не восхищение, а страх. Лишь в минуты хорошего настроения, когда его лицо расплывалось в улыбке, глаза Бирона излучали доброжелательность и обворожительную нежность — при желании он мог быть вкрадчивым, прикидываться сочувствующим собеседнику.

Что касается характера Эрнста Иоганна Бирона, то его свойства однозначно негативны. Он был равным образом жесток и мстителен, коварен и тщеславен, склонен к роскоши и расточителен. Герцог отличался вспыльчивостью и в своем никем не сдерживаемом гневе был способен совершить поступки, обличавшие в нем крайнего деспота. Остается гадать, как этот невежественный человек мог безраздельно властвовать над императрицей и превратить ее в послушную и безвольную исполнительницу своих желаний и прихотей. Неизвестно, что накрепко привязывало Анну Иоанновну к фавориту: то ли поздно проснувшаяся любовь к человеку, которого ей никто не навязывал; то ли характер Анны Иоанновны, безвольный, вступающий в противоречие с ее внешне суровым видом, нуждавшийся в опеке человека с сильной волей; то ли некие достоинства Бирона, неведомые современникам. Императрица во всем проявляла рабскую покорность Бирону, смотрела на мир его глазами. Плохое настроение фаворита немедленно сказывалось на поведении Анны Иоанновны, и она становилась мрачной и раздражительной. Напротив, веселость Бирона немедленно передавалась императрице, и ее грубое лицо расплывалось в улыбке. Своей привязанностью, перераставшей в назойливость, желанием проводить время с фаворитом и во всем угождать ему Анна утомляла его, и он не стеснялся выражать свое недовольство, причем зачастую грубо и резко.

Чтобы потрафить Бирону, императрица не только велела соорудить рядом с дворцом конюшню с огромным манежем и отдельной комнатой для себя, но и, будучи в летах и достаточно грузной, обучилась верховой езде. С той же целью Анна приобщилась к чисто мужским занятиям и развлечениям — охоте, стрельбе в цель, игре в карты и бильярд.

С именем Бирона связано множество мрачных страниц отечественной истории: это и безграничное обнищание русского народа, жестокое выколачивание недоимок, в дележе которых он принимал живейшее участие, чтобы соорудить в Рундале дворец, поражавший современников роскошью и великолепием, или собрать колоссальную коллекцию драгоценностей для своей супруги. Утоляя алчность, Бирон не стеснялся действовать в ущерб национальным интересам России: за мзду он покровительствовал Англии при заключении англо-русского торгового договора 1734 г., нансившего ущерб отечественным купцам; он вступил в долю с проходимцем Шембергом, исхлопотав для него передачу казенных Гороблагодатских заводов, приносивших немалую прибыль.

Жестокость и мстительность Бирона не относились к числу абстрактных понятий, они были возведены в ранг государственной политики и воплощались в кровавых эксцессах, о которых шла речь выше. С именем Бирона связана не только оживленная деятельность Тайной розыскных дел канцелярии, но и организация слежки за подозрительными и ненадежными с его точки зрения лицами: бироновщину сопровождали знаменитый по своим трагическим последствиям вопль «слово и дело» и поощряемые фаворитом доносы...

Совсем иного склада фаворитов заводила себе Елизавета Петровна. Остепенившись после разгула в молодости, она в продолжение своего двадцатилетнего царствования имела всего двух фаворитов: Алексея Григорьевича Разумовского и Ивана Ивановича Шувалова. Если сравнить список фаворитов любвеобильной матушки Екатерины с Елизаветой Петровной, то притязания последней выглядят весьма скромно.

При отборе фаворитов Елизавета руководствовалась тем же критерием, что и Анна Иоанновна, — внешностью избранника. Подобно Бирону, Разумовский не мог похвастаться ни своим образованием, ни происхождением. Сын казака Григория Розума смог овладеть азами грамоты только потому, что пел в церковном хоре, где мальчиков попутно обучали чтению и письму. Разумовского отчасти роднила с Бироном лишь страсть к стяжательству. Глубокое различие между ними состояло в том, что алчность вынуждала Бирона прибегать ко всем средствам обогащения, в то время как Разумовский, радея о своем благополучии и благосостоянии родни, довольствовался щедрыми пожалованиями государыни, не прибегая к казнокрадству и взяткам.

В остальном Алексей Григорьевич являл полную противоположность Бирону. Тот был жесток, коварен и безмерно честолюбив, этот мягок и прямодушен. Тот вмешивался в дела управления, властно навязывая вельможам свою волю, этот довольствовался скромной ролью фаворита и должностью камергера. Именно поэтому Разумовский практически не оставил никаких следов своей активности: если имя Бирона то и дело встречается в депешах иностранных дипломатов, которые часто доносили о своих беседах с ним, сообщали о его мнении в отношении тех или иных событий, то имя Разумовского встречалось в донесениях крайне редко — к нему не обращались за протекцией, а сам он предпочитал отмалчиваться.

Еще одно свойство характера отличало Разумовского от Бирона. Первый был ленив, чужд интриг и непомерного честолюбия («Он был чрезвычайно богат, имел все чины и ордена, ненавидел какую бы то ни было деятельность», — так отзывалась о Разумовском Е. Р. Дашкова); второй, напротив, почитался интриганом, правда, менее искусным, чем Остерман, но всегда готовым стереть с лица земли своего соперника. Заметим, что, когда пришло время расстаться с фавором, Алексей Григорьевич безропотно смирился со своим положением отвергнутого не то супруга, не то любовника и уступил место более мощному сопернику — Ивану Ивановичу Шувалову.

У этого фаворита счастливо сочеталась приятная внешность с образованностью. Он оставил по себе память как покровитель науки и искусства и особенно прославил свое имя в качестве основателя Московского университета.

Шувалов родился в Москве 1 ноября 1727 г. и был моложе Елизаветы Петровны и своего предшественника по фавору на 18 лет. Детство его прошло в небогатом поместье, где он обучался грамоте по азбуке и Часо-

слову. Затем Шувалов углубил и расширил свои знания в Москве у частного учителя. Ему легко давались иностранные языки, так что он овладел немецким и французским языками, а позже и итальянским.

Екатерина II, тогда еще великая княгиня, имела возможность наблюдать Шувалова в 18-летнем возрасте и высоко оценила его достоинства: «...этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться... Он был очень недурен лицом, очень услужлив, очень вежлив, очень внимателен и казался от природы очень кроткого нрава»⁹.

И. И. Шувалов — единственный в своем роде фаворит, не использовавший близости к государыне для обогащения и получения чинов высокого ранга и довольствовавшийся скромным званием «генерал-адъютанта, от армии генерал-поручика, действительного камергера, орденов Белого Орла, св. Александра Невского и св. Анны кавалера, Московского университета куратора, Академии художеств главного директора и основателя, Лондонского королевского собрания и Мадритской королевской Академии художеств члена». Предложения о пожаловании графом, сенатором, вотчинами с десятком тысяч крепостных он отметал с ходу. Иван Иванович вошел в историю как человек высокой порядочности и бескорыстия.

Решающее влияние на судьбу Шувалова оказал переворот 1741 г. в пользу Елизаветы Петровны, в котором активно участвовали его двоюродные братья Петр и Александр Ивановичи Шуваловы. Оба они получили придворные чины обер-камергеров и сделались влиятельными персонами при дворе. Петр Иванович вызвал двоюродного брата к себе в Москву, где позаботился о его воспитании и образовании. Вполне возможно, что эти хлопоты были не совсем бескорыстными, и предприимчивый Петр Шувалов уже держал в голове далеко идущий план замены Разумовского своим родственником. Расчет оказался безошибочным — Иван Иванович был представлен ко двору и на него обратила внимание императрица...

У Ивана Шувалова был серьезный соперник — приглянувшийся Елизавете Петровне Никита Афанасьевич Бекетов. Петр Иванович устранил соперника самым коварным способом: когда у Бекетова появилась на лице некая сыпь, он посоветовал ему какое-то притирание, которое так изуродовало физиономию несчастного, что ему было запрещено появляться при дворе.

Со временем Иван Иванович полностью завладел сердцем Елизаветы Петровны. Награды и пожалования, ранее расточаемые Разумовскому, теперь посыпались на голову Шувалова. Подобно Бирону, он располагал огромным влиянием на императрицу, но в противоположность ему не воспользовался им в корыстных интересах. Иван Иванович устоял даже перед соблазном выбить в свою честь медаль, на чем настаивала государыня.

Ф. Н. Глинка поведал молву о благородстве своего деда И. И. Шувалова. За несколько дней до своей кончины Елизавета Петровна заявила фавориту о большом количестве приготовленного для него золота в слитках и монетах, хранимого в сундуке в ее покоях. Иван Иванович не вос-

пользовался этим богатством и передал ключ от сундука воцарившемуся Петру III. «Сей резкий поступок, — заключил мемуарист, — тем паче достоин великой похвалы, что Шувалов имел самое посредственное состояние. После кончины своей августейшей благодетельницы у него осталось несколько денег, а деревень ни одной не прибавил во время своего двенадцатилетнего случая»¹⁰.

Вопреки обычаю он поступил и с Разумовским. Тот ожидал, что его, отставного фаворита, удалят от двора и станут преследовать, но Иван Иванович, от природы легкий и снисходительный, проявил великодушие, и поверженный соперник не подвергался гонениям. Шувалов оставался таким же скромным, великодушным и доступным, как в юности; он оказывал помощь даже незнакомым, если те обращались к нему с просьбой.

В отличие от Ивана Ивановича его двоюродные братья оказались людьми корыстолюбивыми, в особенности Петр Иванович. У фаворита недоставало мужества отказать его алчным притязаниям, и он выступил ходатаем по его просьбам, вероятно, из чувства признательности и долга перед ним, ибо понимал, что своим положением он обязан ему¹¹.

Главная заслуга И. И. Шувалова перед потомством — покровительство наукам и просвещению. Шувалов, как и Бирон, не занимал правительственных должностей, но если последний посвящал свободное время интригам, преследованиям противников и прочим «развлечениям», то Иван Иванович страстно любил чтение, обзавелся богатейшей библиотекой и картинной галереей. В 1750 г. он познакомился с Ломоносовым. Со временем между ними, несмотря на значительную разницу в годах (Ломоносову было 39, а Шувалову 23), завязалась дружба. Шувалов был частым гостем Ломоносова, Михаил Васильевич передавал на суд приятеля свои сочинения. В 1760 г. Ломоносов поднес меценату в день его рождения две песни, поэму «Петр Великий», а в 1761 г. — «Рассуждение о размножении и сохранении русского народа». Благодаря ходатайству Шувалова Ломоносов получил 40 душ крестьян к его хрустальному заводу.

В литературе советского времени главная роль в основании Московского университета приписывалась Ломоносову, а имя Шувалова оставалось в тени, хотя без его активного содействия предложения Ломоносова не могли быть реализованы. В именном указе 26 апреля 1755 г. Иван Иванович назван «изобретателем этого полезного дела».

Учреждение Академии художеств (1757) — тоже дело мецената Шувалова. Учредительный указ мотивировал создание этого учреждения тем, что приглашаемым иностранцам посредственных способностей казна платила «великие деньги», а они, обогатясь, возвращались на родину, «не оставя по сие время ни одного русского ни в каком художестве». Сколь полезной оказалась Академия художеств, можно судить по тому, что она выпустила таких зодчих, как Баженов и Старев.

По смерти царствующей особы удел фаворитов был, как правило, печален — особенно если, подобно Бирону, «любимчик» наживал себе множество врагов, жаждавших расквитаться с ним за унижения, оскорб-

ления и неблагоприятные поступки. Просвещенный фаворит И. И. Шувалов сумел сохранить уважение даже у взбалмошного Петра III, назначившего его директором Кадетского сухопутного корпуса. Отношения с Екатериной II у него не заладились, и в 1763 г. Шувалов отправился за границу, где прожил 14 лет. Там Иван Иванович встретился с Вольтером. В письме к Д'Аламберу фернейский мудрец назвал Шувалова одним из «образованнейших и любезнейших людей, которых я когда-либо видел»¹². В сентябре 1777 г. Шувалов возвратился на родину, где и прожил последние двадцать лет своей жизни вплоть до кончины в 1797 г.

Наш список «случайных» людей завершает Елизавета Романовна Воронцова — фаворитка Петра III. Флирт между ними начался еще в то время, когда Петр Федорович был великим князем. Трудно сказать, чем могла привлечь внимание и, судя по всему, внушить нежные чувства эта некрасивая, с иссеченным оспой лицом толстушка. Не блистала она и умом и ни в коей мере не могла претендовать, и не претендовала, на роль знаменитой мадам Помпадур, фаворитки Людовика XV, — следов своего влияния на дела управления она не оставила. Не выдерживает она сравнения и со своей родной сестрой, после замужества княгиней Екатериной Романовной Дашковой.

Источники сохранили скудные сведения о Елизавете Романовне, которые к тому же исходят от лица, неспособного дать ей беспристрастную оценку. Речь идет о мемуарах Екатерины II. Негативной характеристикой Воронцовой венценосная мемуаристка убивала сразу двух зайцев: предметом увлечения ее супруга была ничтожная личность, увлечься ею могло такое же ничтожество.

Первое упоминание Екатериной Алексеевной имени Воронцовой относится к 1750 г.: «Императрица взяла ко двору двух графинь Воронцовых, племянниц вице-канцлера, дочерей графа Романа, его младшего брата. Старшей, Марии, могло быть около четырнадцати лет, ее сделали фрейлиной императрицы; младшая, Елизавета, имела всего одиннадцать лет; это была очень некрасивая девушка, с оливковым цветом лица и неопрятная до крайности. Они обе начали в Петербурге с того, что схватили при дворе оспу, и младшая стала еще некрасивее, потому что черты ее совершенно обезобразились и все лицо покрылось не оспинами, а рубцами».

Судя по «Запискам» Екатерины, Елизавета приглянулась ее супругу где-то около времени рождения у будущей императрицы сына (1754 г.). Екатерина записала, что Петр начал ухаживать за «самой некрасивой фрейлиной». Привязанность его к Елизавете Романовне была настолько сильной, что великий князь, еще не став императором, мечтал на ней жениться. Екатерина шантажировала императрицу Елизавету Петровну намерением покинуть Россию и отправиться к себе на родину. «Я знала только, — вспоминала Екатерина, — что он (Петр Федорович. — Н. П.) ждет с нетерпением моей отсылки и что он наверное рассчитывает жениться вторым браком на Елизавете Воронцовой. Она приходила в его покой и разыгрывала хозяйку»¹³.

Намерение Петра Федоровича развестись с супругой не выдуманно Екатериной, оно подтверждается донесением австрийского посла графа Мерси, сообщавшего своему двору в апреле 1762 г., «что император хочет запрятать свою супругу в монастырь»¹⁴.

Между императором и его фавориткой установились странные для стороннего наблюдателя отношения. О неуравновешенном и вспыльчивом характере Петра III знали все, и его нередко странные поступки никого не удивляли — ему ничего не стоило в течение нескольких минут сменить гнев на милость и наоборот. Но удивляет поведение фаворитки, действовавшей столь же опрометчиво и безрассудно, как и ее повелитель. Так могла вести себя только женщина, уверенная в своей неотразимости и умении покорить необузданный нрав императора.

Упомянутый выше австрийский дипломат доносил в Вену в феврале 1762 г., что император «дает гневу овладеть собою, даже относительно фаворитки своей, девицы Воронцовой, и несколько дней назад он так сильно рассердился на нее, что чуть не прогнал ее ночью из ее покоев, но так как его сильный гнев обыкновенно длится недолго, то на другое утро уже последовало примирение». И не только примирение, но, по-видимому, и раскаяние, ибо, согласно депеше Мерси от 2 марта, император пожаловал Елизавете Романовне из своих подмосковных вотчин 4800 душ зажиточных крестьян.

Прошло всего три дня — и не только над фавориткой, но и над всем кланом Воронцовых нависла новая угроза, связанная с интригой генерал-прокурора А. И. Глебова. Он предпринял попытку заменить Елизавету Романовну своей падчерицей Чоглоковой и, кажется, был близок к цели. Мерси писал, что Воронцова так разгневалась «на угрожавшую ей смену, что совершенно забыла всё подобающее государю почтение — даже до того, что осмелилась назвать его мужиком и еще другими словами, повторить которые не позволяет приличие, и прибавила, что он не заслуживает быть русским императором. Рассказывают, что это привело государя в такую ярость, что он приказал генералу Корфу немедленно отправить все это семейство в крепость, но супруга канцлера, графиня Воронцова, смогла смягчить и помешать тому, чтобы этот приговор был приведен в исполнение»¹⁵.

Взаимную их привязанность отметили источники, регистрировавшие их поведение в критические минуты переворота. 28 июня в 5 часов вечера Я. Штелин, записывавший события по часам, отметил: «Графиня Елизавета Романовна не хочет оставить государя и в тревожном состоянии духа все вертится около него». В свою очередь, Петр III, будучи низложенным, 29 июня обратился к Екатерине с просьбой: «Если вы решительно не хотите умерить человека, который уже довольно несчастлив, то сжальтесь надо мною и оставьте мне мое единственное утешение, которое есть Елизавета Романовна. Этим вы сделаете одно из величайших милосердных дел вашего царствования»¹⁶. Императрица, однако, оставила это трогатель-

ное письмо без ответа. Удовлетворение такой просьбы явно не входило в ее расчеты.

Судьба осталась благосклонной к Елизавете Романовне. Хотя отец осуждал фаворитку и не желал жить с нею под одной крышей, заступничество Екатерины Дашковой оказалось для старшей сестры весьма полезным. «Я уверяла сестру в моей нежности к ней и сказала, — вспоминала Дашкова, — что была убеждена, что у государыни были самые благожелательные и великодушные намерения по отношению к ней и что все возможное будет для нее сделано. Действительно, императрица потребовала только ее отсутствия во время коронационных торжеств и несколько раз присылала сказать, что не оставит ее»¹⁷.

Свое обещание Екатерина выполнила, проявив при этом великодушие. Елизавете Романовне удалось выйти замуж за Полянского, и Екатерина была восприемницей ее первенца сына.

Глава 2

ВЕЛЬМОЖИ

Цель настоящей главы состоит не в освещении деятельности десятков вельмож, на протяжении рассматриваемого времени в большей или меньшей мере оказывавших влияние на судьбы страны. Во-первых, такая задача непосильна одному человеку, ибо потребует значительного времени на сбор биографических данных каждого из вельмож, выяснения их общественно-политических воззрений и освещения их конкретного вклада в жизнь страны и общества; во-вторых, книга существенно увеличилась бы в объеме; наконец, поставленная нами задача не требует того, чтобы автор «опускался» до освещения деятельности сенатора или президента коллегии, ибо не они определяли направления внутренней и внешней политики, их роль ограничивалась исполнением воли более влиятельных учреждений и лиц. Таких учреждений было три: Верховный тайный совет, Кабинет министров и Конференция при высочайшем дворе. Первый из них функционировал при Екатерине I, Петре II; второй — при Анне Иоанновне; третья — при Елизавете Петровне. Влиятельных лиц было тоже трое: Андрей Иванович Остерман, сосредоточивший в своих руках власть при двух императрицах и двух императорах, то есть на протяжении 16 лет, Петр Иванович Шувалов и Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, осуществлявшие внутреннюю и внешнюю политику страны в царствование Елизаветы Петровны. Поскольку деятельность А. П. Бестужева хотя эскизно, но все-таки освещена в предшествующих главах, здесь мы в первую очередь остановимся на характеристике двух вельмож — Остермана и Петра Шувалова.

Это были разные люди — и по образованности, и по честности, и по средствам, используемым для того, чтобы удержаться у кормила правления при быстро менявшейся обстановке на троне; наконец, по талантам, точнее, по способности понимать и претворять в жизнь стоявшие перед страной задачи. Если, например, у Остермана главным орудием борьбы с соперниками и средством продвижения к вершине власти были интрига и коварство, умение лавировать между группировками вельмож, совер-

шать скрытые от постороннего взгляда предательские поступки, то Шувалов предпочитал действовать открыто, завалив Сенат многочисленными проектами реформ. Из этого, конечно, не вытекает, что Петру Ивановичу были чужды интриги и коварство — оба качества были присущи и ему, но они не относились к определяющим его облик. Если Остерман отличался бескорыстием, то Шувалов, сочиняя свои проекты, радел не только о государственных, но и о личных выгодах. Наконец, самое важное отличие состояло в том, что Шувалов, уступая Остерману в образованности и опыте, проявил себя как государственный деятель крупного масштаба, в то время как Андрей Иванович оставался чиновником, готовым усердно и добросовестно выполнять чьи-то предначертания, и робким, когда надлежало принимать собственные решения.

Генрих Иоганн Фридрих Остерман родился в 1686 г. в Вестфалии, в семье пастора. Отец для подготовки к пасторской деятельности отправил Генриха в Йену — учиться в университете. Учебное заведение ему закончить не удалось — на дуэли он смертельно ранил своего товарища и должен был скрываться от преследования властей за пределами Германии. В Амстердаме он встретился с вице-адмиралом на русской службе Корнелием Крюйсом, находившимся там для найма специалистов. Остерман предложил Крюйсу свои услуги, и тот, убедившись в знании юношей нескольких иностранных языков, взял его в камердинеры.

В 1707 г. Остерман обратил на себя внимание Петра. Знакомство решило дальнейшую судьбу Андрея Ивановича — имя его и отчество перешли на русский манер. Его определили в Посольскую канцелярию, где он благодаря исключительному трудолюбию быстро преодолел все ступени чиновничьей карьеры: от переводчика до советника.

Первые серьезные дипломатические поручения Андрей Иванович получил в 1718 г., когда Петр назначил его вторым членом делегации, отправлявшейся на Аландский конгресс для мирных переговоров со шведами. На конгрессе Остерман обнаружил как незаурядные дипломатические способности, так и свойства своей натуры, не вызывающие симпатии: он сумел втереться в доверие к руководителю шведской делегации барону Герцу, установил с ним приватные отношения. И если бы не гибель шведского короля Карла XII, переговоры на Аландском конгрессе завершились бы подписанием мирного договора. Лавры дипломатической победы Остерман приписал себе — он оттер на задний план руководителя русской делегации Якова Вилимовича Брюса, ученого и крупнейшего специалиста в области артиллерийского дела, далекого от интриг, но совершеннейшего новичка в дипломатии.

Аландский конгресс, как известно, не принес мира, зато три года спустя делегации в том же составе удалось заключить выгодный для России Ништадтский мир. В Ништадте, как и на Аландских островах, Остерман сумел выставить себя главным лицом, которому Россия обязана была успешным завершением переговоров. Именно на него посыпались царские милости: он сумел выхлопотать для себя баронское звание, получить воз-

награждение в семь тысяч рублей, а также пожалование 500 душ крестьян. В 1723 г. он стал вице-президентом Коллегии иностранных дел.

Звездный час Андрея Ивановича наступил не при жизни Петра, а после его смерти, когда он стал заниматься не только внешней, но и внутренней политикой. При Екатерине I он занял пост начальника почтовой службы в России, а также руководителя Комиссии о коммерции, искавшей пути и средства поощрения внутренней и внешней торговли России, а также улучшения положения купечества. Но главное возвышение Остермана связано с назначением его членом Верховного тайного совета и получением высшего в государстве чина действительного тайного советника.

Создание Верховного тайного совета, с одной стороны, является неопровержимым свидетельством неспособности возведенной на трон бывшей прачки управлять государством, а с другой — средством установления компромисса между соперничавшими группировками вельмож. Современники отмечали склонность русских вельмож к интригам, противостояниям, соперничеству друг с другом за меру влияния на государя. Так, английский посол Джон Гиндфорд писал (правда, двумя десятилетиями позже), что «нигде в мире не развиты так партии и интриги, как в России»¹. «Партии» существовали и при Петре Великом, но были загнаны, если так можно выразиться, в подполье. Стоило, однако, отправиться царю в Персидский поход, как в его отсутствие в 1722 г. в Сенате разразился скандал, едва не закончившийся лишением жизни одного из его зачинателей — Петра Павловича Шафирова.

Скандал в Сенате выявил существование двух «партий»: аристократической, представленной Долгорукими и Голицыными, и противостоявшей им новой знати в лице Меншикова, Головкина, Апраксина и других. Шафиров, хотя и был зачинателем ссоры, но являлся всего лишь разменной монетой: за его спиной стояли родовитые фамилии, а противниками выступали лица, выдвинувшиеся при Петре. Остерман в этом соперничестве, с точки зрения морали, вел себя не лучшим образом: своей карьерой на дипломатической службе он обязан был Шафирову, постоянно ему покровительствовавшему. Взвесив соотношение сил и решив, что в этом противостоянии победят Меншиков и его сторонники, Андрей Иванович тут же изменил своему благодетелю и переметнулся в их лагерь.

Суровая расправа с Шафировым отбила охоту к открытому противостоянию «партий». Однако явное соперничество между старой и новой знатью возобновилось сразу же после смерти Петра, когда надлежало решать вопрос о его преемнике. Долгорукие, Голицыны и Репнин настаивали на воцарении внука Петра Великого — Петра Алексеевича, в то время как вельможи, возвысившиеся в годы преобразований, законной преемницей трона считали вдову покойного Екатерину Алексеевну.

Победу и на этот раз праздновали Меншиков, Толстой, Головкин и другие «птенцы гнезда Петрова», действовавшие сплоченно и напористо, поскольку отдавали отчет, что воцарение Петра II сулило им множество

неприятностей — сын погибшего царевича Алексея мог вспомнить о виновниках гибели своего отца и расправиться с ними.

Как только миновала опасность воцарения Петра II, соперничество возобновилось, причем развернулось оно не между старой и новой знатью, а внутри последней. На первый план выдвинулся Меншиков, стремившийся превратить императрицу в орудие своей власти. Ему противостоял Толстой, временами добивавшийся у императрицы перевеса над светлейшим князем. Грубого произвола Меншикова опасались его давнишний соперник генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский и кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. В итоге возникла идея организации компромиссного учреждения, способного, как казалось его создателям, умерить страсти соперничавших сторон. Это учреждение получило название Верховного тайного совета.

Толстой, Головкин, Апраксин видели в Верховном тайном совете средство обуздания своеволия Меншикова, ибо предполагали, что он будет заседать под председательством Екатерины и его члены, в том числе и Меншиков, будут иметь равные права. Не возражал против создания Верховного тайного совета и Меншиков, рассчитывавший после его возникновения свалить ненавистного Ягужинского, ибо предполагалось, что Сенат, при котором он состоял генерал-прокурором, будет низведен с ранга Правительствующего до ранга Высокого, при котором упразднится должность генерал-прокурора. Что касается равноправия всех членов Верховного тайного совета, то Александр Данилович не придавал ему серьезного значения, ибо рассчитывал на непоколебимость своего влияния на императрицу и незыблемость своего статуса.

Склонность к созданию Верховного тайного совета проявила и Екатерина. Она возлагала на него надежду внести успокоение в ряды родовитой и неродовитой знати, роптавшей против влияния князя, — предполагалось, что родовитая знать тоже будет в нем представлена.

Созданию Верховного тайного совета предшествовала бурная деятельность Меншикова и Остермана. Заметим, Андрей Иванович, перейдя в лагерь Меншикова в 1722 г., сделал ставку на него и верой и правдой служил светлейшему. Более того: его способность располагать к себе и втираться в доверие дала плоды — он сделался незаменимым советником во всех начинаниях Александра Даниловича, и тот в канун организации Совета не совершал ни единого шага без консультации с ним.

Учредительный указ о создании нового учреждения был обнародован 6 февраля 1726 г. Он определял его компетенцию и состав. Он объявлял подданным, что «при дворе нашем как для внешних, так и для внутренних государственных важных дел учредить Верховный тайный совет, при котором мы будем сами присутствовать». Необходимость создания Совета мотивировалась занятостью первейших вельмож государства, обремененных множеством поручений. Теперь их главная забота будет состоять в обсуждении важнейших вопросов внутренней и внешней политики. Из «мнения не в указ», поданного членами Верховного тайного совета, явст-

вовало, что он создан «только к облегчению ее величеству в тяжком бремени правления» и без его ведома не мог быть издан ни один указ, представленный императрице на одобрение. Сенат был поставлен в зависимость от Совета, в ведение которого были переданы три первейшие коллегии (Иностранных дел, Военная и Адмиралтейская), президенты которых (Меншиков, Головкин и Апраксин) вошли в состав нового учреждения². Само по себе создание этого учреждения являлось косвенным указанием на неспособность императрицы управлять государством. Но не это обстоятельство должно привлечь наше внимание при изучении роли Остермана в создании Совета, а его личный состав.

Указом императрицы в Совет были включены А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, Г. И. Головкин, Д. М. Голицын и А. И. Остерман. Несколько позже в него на правах первоприсутствующего был введен герцог Голштинский, зять императрицы. Назначение герцога было столь неожиданным для Меншикова и так ущемляло его права, что он переспросил Макарова, объявлявшего указ императрицы, «понял ли он хорошо сие повеление»³. В скобках заметим, что Екатерина I проявила трогательную заботу о зяте, и прожили она еще 3 — 5 лет, то историки начало немецкого засилья в России вели бы не от Анны Иоанновны, а от Екатерины Алексеевны. В самом деле, зять Фридрих, ни слова не знавший по-русски, был объявлен первым лицом в Верховном тайном совете. Фаворитом императрицы стал лифляндец Левенвольде.

Возвращаясь к составу Верховного тайного совета, обратим внимание на одно существенное обстоятельство: среди его членов мы не обнаруживаем двух фамилий из числа видных соратников Петра Великого: Павла Ивановича Ягужинского и Алексея Васильевича Макарова. С Ягужинским все ясно — он был в равной мере неугоден и Меншикову, и Остерману. А кому мог помешать Макаров?

Напомним, с 1 января по 6 февраля 1726 г. Меншиков встречался с Остерманом и Макаровым одиннадцать раз. Предмет разговора не вызывает сомнений — обсуждалось создание нового учреждения. Из этого вытекает, что Меншиков нуждался в советах Макарова, быть может, в меньшей мере, чем в наставлениях Остермана, но Макаров не являлся для него неприемлемой кандидатурой — князь не питал к нему ни неприязни, ни недоверия. Против кандидатуры кабинет-секретаря мог выступить только Остерман, который, вероятно, неоднократно давал ему отводы, пока не добился своего — Меншиков уступил. Чем Макаров был неугоден Андрею Ивановичу?

Ответ на вопрос кроется в составе Верховного тайного совета. При поверхностном взгляде на протоколы заседаний этого учреждения создается впечатление об его интенсивной работе и неизменном присутствии его членов, за исключением дней, когда они болели. Однако такое умозаключение следует признать ошибочным. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на возраст «верховников».

Самым старшим среди них был Петр Андреевич Толстой, которому в 1726 г. перевалило за 80. Вторую и третью строчки в списке «великовоз-

растных» занимали Федор Матвеевич Апраксин и Гавриил Иванович Головкин: обоим им в 1726 г. исполнилось по 65 — возраст по тем временам достаточно почтенный. Жизненные ресурсы адмирала находились на грани истощения, он то и дело расстраивался, наблюдая за полным упадком флота, созданию которого он отдал два десятилетия своей жизни. В конце 1725 г. он заявил, что дела идут так плохо, что должны бы вызывать скорее слезы, чем радость, и с этими словами принялся рыдать. В начале марта следующего года он сетовал на то, что ему не разрешают удалиться на покой, несмотря на слабеющую память. Поверенный в делах Франции Маньян доносил в Версаль в мае 1727 г. о просьбе Апраксина уволить его от всех дел, «ибо его преклонный возраст не позволяет ему больше трудиться», но по настоянию Меншикова в отставке ему было отказано⁴.

Что касается Головкина, то он не принадлежал к талантливым подвижникам Петра и возглавлял внешнеполитическое ведомство номинально, ибо фактическим руководителем внешней политики был сначала П. П. Шафиров, а после его опалы — Остерман. Клавдий Рондо отметил, что Головкин не обладал никакими данными, чтобы занимать этот высокий пост, кроме «рабской услужливости и приветливости обращения»⁵. Этот отзыв невозможно оспорить — достаточно ознакомиться с донесениями иностранных дипломатов при русском дворе, чтобы убедиться в том, что фамилия Головкина встречается в них значительно реже, чем фамилия Остермана, аудиенции у которого они настойчиво домогались и к голосу которого прислушивались. К тому же Рондо доносил о циркулировавшем в столице слухе, правда, не проверенном, о намерении канцлера отрешиться от мирских дел.

Князь Дмитрий Михайлович Голицын тоже принадлежал к вельможам, у которых пик активной деятельности давно миновал. Цитированный выше К. Рондо высоко оценивал интеллектуальный потенциал Голицына: он «человек необыкновенных природных дарований, развитых работой и опытом». Он считал князя человеком глубоко предусмотрительным, лучше всех знающим русские законы, с предприимчивым характером, исполненным честолюбивых замыслов, но одновременно высокомерным, жестоким и неумолимым⁶. Таким выглядел Голицын в 1730 г. Оспаривать приведенную характеристику нет оснований, тем более что она исходила от человека проницательного и разбиравшегося в тонкостях человеческих душ. Но все добродетели и достоинства Дмитрия Михайловича в годы, когда он состоял в Верховном тайном совете, оставались втуне до февральских событий 1730 г. — он оставался в тени и при Меншикове, и при Долгоруких.

Самым молодым членом Совета был Меншиков. Хотя ему было 53 года, время, когда энергия в нем переливала через край, тоже ушло, и ему тяжело было нести бремя повседневной напряженной работы.

Работу черновую, изнурительную, требующую полной отдачи сил, в Верховном тайном совете мог выполнять только один его член — Остерман. Но с этим вполне справился бы такой же работяга, как и вице-канцлер, — А. В. Макаров. Быть может, этот даже более подходил к роли

рабочей лошадки, ибо свыше двух десятилетий трудился под непосредственным началом Петра, причем Кабинет царя, которым он руководил, ведал всеми делами, занимавшими Петра: военными, дипломатическими, внутренними, культурой, просвещением, внешней торговлей и т. д. Макаров уступал Остерману в знании внешнеполитической ситуации, но превосходил в знании внутреннего положения страны. Но зачем Андрею Ивановичу соперник, с которым надлежало делиться властью (тем более что Андрей Иванович привык формально числиться на вторых ролях, а практически быть подлинным руководителем)? Вспомни его введение на Аландском и Ништадтском конгрессах и во внешнеполитическом ведомстве, где он отгрезил канцлера, превратив его в марионетку. И еще одно соображение: Остерман, какие бы обязанности на него ни возлагались, вел дело так, что становился незаменимым, — только ему был известен введенный им порядок в делопроизводстве, он никого не посвящал в тайны дипломатического ремесла. При наличии второго, подобного себе члена Верховного тайного совета незаменимость Андрея Ивановича становилась сомнительной. Вывод напрашивается один: только нежелание Остермана обрести соперника стало причиной отсутствия в Верховном тайном совете Макарова.

В итоге Андрей Иванович стал единственным деятельным членом высшего органа власти, способным в течение многих часов в сутки терпеливо разбирать и группировать поступившие документы и составлять перечень вопросов, выносимых на заседания, готовить проекты указов — короче, держать в руках все нити управления административным механизмом. К. Рондо доносил в Лондон 19 сентября 1728 г.: «Всеми делами занимается исключительно Остерман, и он сумел сделать себя настолько необходимым, что без него русский двор не может ступить ни шагу»⁷.

На пути превращения Остермана в полновластного хозяина Верховного тайного совета стоял Меншиков, столь же честолюбивый, сколь и крутой на расправу с соперниками. Французский посол Кампредон доносил о нем: «Он пользуется величайшей властью, какая может выпасть на долю подданного. Он деятелен, предприимчив, правда, немножко болтлив и несколько склонен лгать». Твердую руку и суровый нрав Александра Даниловича Остерман чувствовал ежечасно и должен был постоянно подлаживаться под него, заискивающе ожидать одобрения своих действий.

Чем дальше, тем положение светлейшего становилось прочнее, и он, а не кто иной, превратился в фактического правителя страны, в некоронованного государя. Но особенно оно упрочилось после обручения Петра II с его дочерью. Одновременно с этим крепла зависимость Остермана от Меншикова. Андрей Иванович нашел способ, как избавиться от этой зависимости, использовав любимые им средства борьбы с соперником — интриги и коварство.

Остермана подвел к подножию трона Меншиков. Это благодаря его протекции он был введен в Верховный тайный совет. Александр Данилович был настолько уверен в преданности Андрея Ивановича, что назначил

его главным воспитателем отрока-императора. За эти услуги Остерман отблагодарил своего покровителя, как в свое время Шафирова, — лишил его богатства, чинов и званий и упек вместе с семьей в далекий Березов. Любопытная деталь — Андрей Иванович умел так расправиться с жертвами, что у них на виновника своей опалы, человека, которому они были обязаны несчастьем, не падало и тени подозрения. В недели тяжелой болезни, едва не закончившейся смертью, Меншиков составил обращение к членам Верховного тайного совета с просьбой опекать вдову и детей. Главным радетелем осиротевшей семьи Александр Данилович считал Андрея Ивановича — как раз в те недели, когда тот усиленно призывал отрока-императора отказаться и от услуг светлейшего, и от навязываемой им невесты. Остерман действовал так ловко и скрытно, что Меншиков по дороге в ссылку отправил ему, а не кому-либо иному, письмо с просьбой прислать лекаря, в услугах которого остро нуждался.

Порешив с Меншиковым, Остерман еще не создал себе беспечной жизни. Если Меншиков не представлял непосредственной ему угрозы, а всего лишь был средством его безраздельного командования Верховным тайным советом, то неожиданное возвышение Долгоруких в качестве фаворитов, враждебно относившихся к иностранцам, должно было в конечном счете положить конец карьере барона. Дело в том, что фаворит Петра II — князь Иван по неведомым нам причинам люто возненавидел Остермана. Барону довелось изворачиваться и мобилизовывать все способности интригана, чтобы уцелеть и нейтрализовать враждебность Ивана Долгорукого, — он воспользовался соперничеством отца с сыном. Если сын не питал нежных чувств к Остерману, то отец, напротив, по словам де Лириа, — «слепой друг барона и думает, что нет другого человека в мире такого умного, как Остерман»*. Короче, Остерман сменил хозяина и стал выполнять у Алексея Григорьевича Долгорукого такие же обязанности, как до этого выполнял у Меншикова. Предпринял он попытку примирения и с Иваном Долгоруким. Это по его совету Петр II пожаловал фавориту орден св. Андрея Первозванного, а также возвел в придворный чин обер-камергера. По внушению того же Остермана отрок в 1728 г. назначил князей Алексея Григорьевича и Василия Лукича Долгоруких членами Верховного тайного совета. Тем самым Андрей Иванович дал знать благодетельствованным, что он их друг и готов им служить. Впрочем, усердие Остермана Иван Долгорукий так и не оценил и продолжал питать к нему враждебность.

В стремлении заручиться поддержкой Долгоруких барон достиг лишь частичного успеха. Зато он сумел закрепить и умножить влияние на Петра II. Это было нетрудно сделать, если встать на путь потакания низменным чувствам воспитуемого, отказаться от осуществления плана его обучения и воспитания. Но на поблажках долго на плаву не удержаться, и Андрей Иванович постарался достичь царского благоволения установлением доверительных отношений и в этом преуспел. В ноябре 1727 г. поверенный в делах французского двора доносил о милости, которой пользуется у царя вице-канцлер, а в январе следующего года сообщил о ловком

маневре Андрея Ивановича: улучив момент, он попросил отставку, так как «не в силах бороться с своими многочисленными врагами». В ответ Остерман подтвердил репутацию незаменимого и получил угодное себе заверение: «...царь успокоил его на этот счет чрезвычайной ласковостью, исполненной благоволения, на которое он может полагаться, оставив мысль об отставке». Хотя Андрею Ивановичу на этот раз и удалось укрыться под царской милостью, он, конечно, уже знал, сколь она мимолетна у отрока-императора. Поэтому уверенно он себя не чувствовал, и, вероятно, годы, отделяющие падение Меншикова от воцарения Анны Иоанновны, были самыми тревожными в его жизни. Однако умение лавировать, проявлять внешнюю покорность и смирение позволили Андрею Ивановичу пережить эти годы без существенных потерь: он сохранил свои чины и служебное положение.

Воцарение Анны Иоанновны дало новый импульс возвышению Остермана. Одной из первых мер ее правления было восстановление положения Сената — он возвратил себе прежнее значение и вместо Высокого вновь стал Правительствующим. В соответствии с пожеланием шляхетства его состав был доведен до 21 человека. В списке сенаторов значилась и одна немецкая фамилия — Остерман. Подобный поворот дела, когда фамилия Остермана терялась среди фельдмаршалов и княжеских фамилий, не мог удовлетворить честолюбивых замыслов барона.

Андрея Ивановича осенила мысль учредить вместо упраздненного Верховного тайного совета Кабинет министров, учреждение узкого состава. Слухи о его возникновении носились в Москве еще в мае 1730 г., но барон терпеливо ждал полтора года, чтобы укомплектовать его угодными ему лицами и избавиться от необходимости вводить в него не любимого им Ягужинского.

Остерман, конечно же, знал, что Павел Иванович после февральских событий 1730 г. в Москве «пользуется большим ее (императрицы. — Н. П.) уважением», и поэтому ему стоило немалых усилий, чтобы придумать для недруга поручение, связанное с отъездом из столицы, и убедить в этом императрицу. В конечном счете Андрею Ивановичу удалось достичь желаемого: сначала Ягужинский был назначен губернатором в Астрахань, но он сумел отбиться от этого назначения, однако покинуть столицу ему все же пришлось: его улекли послом в Берлин... Лишь после этого, 10 ноября 1731 г., был обнародован указ об учреждении Кабинета министров.

Два положения учредительного указа заслуживают того, чтобы обратиться на них внимание: это прежде всего неопределенность, точнее, расплывчатость его прав. Если указ о создании Верховного тайного совета возлагал на него роль совещательного учреждения при императрице, облегчая тем самым ее многотрудные заботы, то согласно указу от 10 ноября 1731 г., если следовать его букве, Кабинет министров не являлся правительственным учреждением, а был личной канцелярией императрицы. Указ нарочито туманно награждал Кабинет широкими полномочиями: «для лучшего и порядочного отправления всех государств-

венных дел». На деле эта формула предоставляла Кабинету ничем не регламентированные права.

Но более всего удивляет состав Кабинета министров. Напомним, при определении состава Верховного тайного совета Остерман должен был считаться с мнением Меншикова. Теперь Андрей Иванович единолично распоряжается составом Кабинета министров. В него были назначены, помимо Остермана, еще два человека: великий канцлер Г. И. Головкин и князь Алексей Михайлович Черкасский.

Нам уже известно, что представлял собой Головкин, не блиставший ни талантами, ни энергией даже в свои цветущие годы. Совершенно очевидно, что Андрей Иванович, хорошо зная характер своего начальника по дипломатическому ведомству, был вполне уверен, что он будет покорно действовать в соответствии с его, Остермана, волей и в Кабинете министров. С князем Черкасским мы мало знакомы, и о нем следует сказать подробнее.

Великий канцлер, кабинет-министр, действительный тайный советник, Черкасский родился в 1680 г. Его жизненный путь ничем примечательным не ознаменован. Службу он начал в 1702 г. при отце, отправлявшем должность воеводы в Тобольске. Петр, видимо, счел достаточным его знакомство с Сибирью, чтобы после казни сибирского губернатора Матвея Петровича Гагарина вручить ему управление краем.

Репутации энергичного и дельного губернатора он не снискал. Управлявший уральскими заводами Вилим Иванович Геннин так отзывался о губернаторе Черкасском: «Правда, что здесь губернатор Черкасский человек добрый, но не смел, а особливо в судебных делах... для своей пользы дай ему мешочек смелости да судей добрых». Петр внял оценке Геннина и в 1724 г. освободил Черкасского от должности сибирского губернатора, тем более что аттестацию Черкасского Генниным подтвердил другой современник — английский дипломат Вейч. По его словам, Черкасский отличался «природной неповоротливостью»¹⁰.

Остается загадкой, как этот несмелый и неуклюжий человек стал не только активным участником шляхетского движения в 1730 г., но и возглавил одну из его группировок. Скорее всего роль лидера ему уготовили княжеское достоинство и несметные богатства — он владел 70 тысячами душ крепостных. Вероятно, он выполнял волю более энергичного человека и являлся своего рода символом движения.

Леди Рондо описала нескладную фигуру Черкасского: в ширину он несколько больше, чем в высоту; его большая голова наклонена к левому плечу, а живот — направо. «Его ноги, очень короткие, всегда обуты в сапоги, даже на придворных приемах по случаю больших праздников». Наконец, он знаменит своей молчаливостью. Маркиз де ла Шетарди тоже считал молчаливость Черкасского главным его достоинством: «Черкасский никогда не страшен и не может быть таким... трудно среди русских найти подданного, который, подобно князю Черкасскому, сочетал бы самое знатное происхождение, очень большое состояние и ограниченность, равняющуюся его покорности, которыми он себя всегда выказывал очень одарен-

ным»¹¹. Эти качества Черкасского хорошо знал Андрей Иванович, поэтому его выбор нельзя считать случайным.

Итак, творец Кабинета министров сотворил и его состав, во всем ему послушный, безынициативный, готовый поставить свою подпись под любым постановлением, навязанным Остерманом. Кабинет министров являлся всего лишь прикрытием всевластия Андрея Ивановича.

Это обстоятельство не на шутку насторожило Бирона, решившего создать противовес Остерману введением в Кабинет министров своего человека. На эту роль фаворит после смерти Г. И. Головкина в 1734 г. выдвинул П. И. Ягужинского. 28 апреля 1735 г., в день коронации, императрица, по выражению К. Рондо, «к неизреченному прискорбию графа Остермана [велела] назначить графа Ягужинского кабинет-министром». Далее следует разъяснение, проливающее свет на причины прискорбия Андрея Ивановича: «Вице-канцлер и Ягужинский — старинные враги». Это назначение лишало Остермана возможности безраздельно хозяйничать в Кабинете министров, ибо, по мнению цитированного дипломата, отныне «в Кабинете будет делаться только то, что угодно будет приказать его новому члену». Этот «новый член» был креатурой Бирона, и фаворит не без основания полагал, что своеволие Остермана будет обуздано.

В отличие от Головкина и Черкасского Ягужинский был личностью незаурядной, наделенной множеством талантов. Сын пастора, Ягужинский (1683 — 1736) начал карьеру денщиком. Прямота суждений, преданность, исполнительность способствовали превращению царского слуги в деятеля государственного масштаба, пользовавшегося полным доверием Петра. «Если Павел увидит что-то, я узнаю истину с той же точностью, как если бы видел это сам», — передавала слова императора леди Рондо¹². Веселый и жизнерадостный, он, помимо всего прочего, являлся великолепным распорядителем на петровских ассамблеях, неутомимым танцором, занимательным рассказчиком и компанейским собутыльником.

Петр высоко ценил таланты Павла Ивановича и давал ему ответственные поручения: в 1713 г. он отправил его к датскому королю, чтобы убедить того активнее включиться в борьбу с общим неприятелем Карлом XII, а в 1718 г. поручил ему надзор за устройством коллегий. Самое ответственное назначение Ягужинского состоялось в 1722 г., когда он стал генерал-прокурором Сената. Это было высшее должностное лицо в государстве, «око государева», как оно было названо в инструкции, составленной Петром. Полномочия его широки и многообразны: он «повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат ту свою должность хранил...»¹³.

После смерти Петра положение Ягужинского резко изменилось — сказались противостояние ему таких могущественных врагов, как Меншиков и Остерман. Неприязненные отношения между Меншиковым и Ягужинским сложились еще во времена, когда Павел Иванович был денщиком, и светлейший справедливо видел в нем опасного соперника в фаворе у царя. Казнокрадство князя укрепило враждебность между ними.

Не сложились отношения у Ягужинского и с Остерманом. Серьезное столкновение между ними состоялось в 1721 г., когда царь направил Ягужинского на Ништадтский конгресс с инструкцией пойти на уступки шведам ради быстреего заключения мира. Переговоры подходили к концу, и Остерман, чтобы не делить славы с Ягужинским, велел выборгскому коменданту обильно угощать Павла Ивановича спиртным. К вину тот питал слабость, и этот недостаток нередко затмевал все его достоинства и вызывал немилость двора.

В то время как Павел Иванович в течение двух суток пользовался гостеприимством коменданта, Остерман пригрозил шведам отбыть из Ништадта, если те не подпишут договора, и добился своего — мир был подписан и прибывший на конгресс Ягужинский оказался у разбитого корыта. Коварства Остермана Павел Иванович никогда не забывал. Французский дипломат Маньян называл Остермана смертельным врагом Ягужинского¹⁴.

Страсть к горячительным напиткам едва не привела Ягужинского к катастрофе. 31 марта 1725 г. он наговорил множество резких слов Меншикову, а затем в нетрезвом виде подошел к гробу императора и стал публично жаловаться на притеснения: «Мог бы пожаловаться, да не услышишь, что сегодня Меншиков показал мне обиду, хотел мне сказать арест и снять шпагу, что над собою отроду никогда не видал». Меншиков, не прощавший обид, тем более нанесенных публично, потребовал сатисфакции. Ягужинскому по меньшей мере грозила ссылка в Сибирь, а в худшем случае — смертная казнь. Только усилиями герцога Голштинского и Екатерины I скандал удалось погасить, дело ограничилось извинениями.

Урока из случившегося Павел Иванович не извлек, по-прежнему чашенько пребывая под воздействием винных паров. После того как он не был введен в Верховный тайный совет, Ягужинский то и дело произносил резкие слова и в знак протеста перестал появляться в Сенате. «Царица, — доносил Кампредон, — недовольна необузданным нравом Ягужинского, серьезно замышляет удалить его от дел и довериться главным образом Остерману и Макарову». По привычке Ягужинский и после смерти Петра называл себя «оком государевым», продолжал вмешиваться во все дела и в нетрезвом виде выкидывал «самые нелепые публичные сцены»¹⁵.

Впрочем, жизнь придворных можно уподобить качелям: в соперничестве за влияние на Екатерину верх брал то Меншиков, то Толстой. Тот же Кампредон доносил в октябре 1725 г. о смене гнева на милость: в его депеше стали повторяться фразы: «влияние Ягужинского усиливается», «Ягужинский приобретает теперь весьма большое влияние»¹⁶.

Тем не менее Ягужинский не вошел в Верховный тайный совет. Этим, видимо, и объяснялась его враждебность к затеям «верховников». Зная через своего тестя Г. И. Головкина об их планах, он снарядил в Митаву своего курьера, чтобы предупредить курляндскую герцогиню о «затейке». Это был крайне рискованный поступок Павла Ивановича: если бы «затейка» «верховникам» удалась, то ему грозила бы виселица. Не случайно

К. Рондо назвал его самым смелым человеком. Ягужинскому повезло и на этот раз, впрочем, не совсем, ибо он опять был обойден при формировании Кабинета министров.

В 1735 г. вождеденная мечта Павла Ивановича наконец осуществилась — стараниями Бирона он стал кабинет-министром. Современники это назначение справедливо расценили как умаление престижа Остермана.

Мы не знаем, в какой мере Ягужинский оправдал надежды Бирона, но, несомненно, он внес оживление в Кабинет министров. Леди Рондо оставила о нем блестящий отзыв именно тогда, когда Павел Иванович получил назначение в Кабинет. «Другой кабинет-министр — граф Ягужинский. Его наружность прекрасна, черты лица неправильны, но очень величественны, живы и выразительны. Он высок и хорошо сложен... У него тонкий ум и тонкие суждения, а живость, так ясно читаема на лице, присуща всему его характеру, поэтому за день он успеваает сделать больше, чем большинство других — за неделю»¹⁷.

Оценка физического состояния Ягужинского в 1735 г. не соответствует истине, вероятно, она навеяна воспоминаниями о прошлом. В Кабинете министров он пробыл недолго, ибо в свои 53 года имел такое расстроенное здоровье, что через год после назначения умер.

У Ягужинского не сложилась не только карьера, но и личная жизнь. Первой его супругой оказалась Анна Федоровна Хитрово, принесяшая ему огромное приданое. К сожалению, ее постигла душевная болезнь, и она «чинила такие мерзости и скаредства, какие не точию словом произносить, но и писать зело гнусно и мерзко, яко зело не потребные и приклада не имеющие». Она убегала из дома, вела знакомство с дамами легкого поведения, появлялась обнаженной на улицах, бросалась в объятия первого попавшегося мужчины, буянила, бесчинствовала. По настоянию Петра Ягужинский подал на развод, и Синод, после повторного рассмотрения челобитной, когда признаки сумасшествия подтвердились, удовлетворил его просьбу. Второй раз он женился в 1723 г. на дочери великого канцлера Головкина — Анне Гавриловне.

Вслед за Ягужинским Бирон устроил в Кабинет министров еще одного «своего человека» — Артемия Петровича Волинского. Повествование о нем мы опускаем, поскольку о его честолюбивых замыслах и выпавших на его долю испытаниях рассказано в соответствующей главе. Волинский одновременно замахнулся на двух могущественных немцев, но не соразмерил свои силы с силами противников и поплатился за это жизнью.

Андрей Иванович — в который раз! — остался с глазу на глаз с Черкасским, пребывая фактическим хозяином в Кабинете, однако не всевластным, как было до 1735 г., — он постоянно должен был оглядываться на Бирона, учитывать его интересы, мнения и т. д.

Предстояло включение в состав Кабинета третьего члена. Им оказался очередной кандидат Бирона — Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, назначенный кабинет-министром указом 18 августа 1740 г. Это был четвертый по счету кабинет-министр в триумvirате, два места в котором ока-

зались как бы забронированными за Остерманом и Черкасским. А. П. Бестужеву Бирон доверил контроль за действиями Остермана, не только в Кабинете министров, но и во внешнеполитическом ведомстве, где его влияние со времени смерти Петра Великого было традиционно сильным.

Бестужева с «младых ногтей» готовили к дипломатической службе. Родился он в 1693 г., а уже в 1707 г. вместе со старшим братом Петром Михайловичем, отправился за границу для обучения, причем не за казенный, а за собственный кошт. С 1712 г. началась его служба дворянином при посольстве князя Бориса Ивановича Куракина, а через год он с разрешения царя поступил к ганноверскому курфюрсту Георгу-Людовику. Услуги Алексея Петровича пришлись ко двору, и курфюрст, став английским королем, пригласил его в Лондон. Находясь на службе у английского короля, Бестужев оказался едва ли не первым русским дипломатом, которого иностранный государь отправил с поручением к русскому двору. Поручение, правда, было разовым, отнюдь не оказавшим влияния на русско-английские отношения — Бестужеву надлежало известить Петра о вступлении Георга на королевский престол. Успеху Бестужева на дипломатическом поприще способствовало великолепное знание иностранных языков, легко ему дававшихся, — он принадлежал к немногим русским людям, свободно изъяснявшимся на латинском, немецком, французском и английском языках.

Бестужеву были присущи черты характера, не украшающие человека: страсть к интригам, крайнее честолюбие, сочетавшееся с трусостью, угодничеством. Он, например, узнав о бегстве царевича Алексея, отправил ему послание с уверением в преданности и готовности служить «будущему царю и государю». Бестужева ожидал царский гнев, но царевич Алексей во время следствия не выдал перебежчика. Этот же Бестужев, будучи министром-резидентом при дворе датского короля, решил угодить Петру и по случаю заключения Ништадтского мира выбил медаль с изображением царя. Петр ответил на эту любезность подарком своего портрета, украшенного бриллиантами.

К угодничеству как средству обратить на себя внимание и заручиться благосклонным отношением Бестужев прибегал и в последующие годы. Так, в 1733 г. в Киле он обнаружил завещание Екатерины I, закреплявшее право на российский престол не за потомками царя Ивана Алексеевича (представительницей которых была Анна Иоанновна), а за потомством дочери Петра Анны Петровны и герцога Голштинского. Услуга хотя и была оценена Анной Иоанновной, но не отразилась на карьере Алексея Петровича — он довольствовался двумя тысячами наградных и орденом св. Александра Невского.

Бестужев связывал свою карьеру с судьбой Бирона. Это его первого осенила угодническая мысль назначить регентом над Иоанном Антоновичем герцога Курляндского, причем он затратил немало усилий для претворения в жизнь этой затеи: созывал вельмож, чтобы те умоляли Бирона возложить на себя бремя правления страной, организовывал депутации с

аналогичной просьбой к смертельно больной Анне Иоанновне и т. д. Впрочем, строго судить за это Бестужева не следует — подобное поведение в придворных кругах считалось обычным. Необычными, заслуживающими осуждения были поступки Бестужева после падения Бирона.

Алексей Петрович, энергично действовавший в пользу назначения Бирона регентом, после его падения приложил немало усилий, чтобы всю ответственность за его назначение возложить на самого Бирона. Спасая себя, он клеветал на Бирона во время следствия, награждая его самыми отгаликивающими качествами. Английский дипломат Финч презрительно отозвался о его поведении: «Показания Бестужева были самые решительные и самого низкого свойства». Действительно, порядочность Бестужева оказалась ниже всякой критики. Во время очной ставки с Бироном, состоявшейся после того, как Миних лишился всех должностей, Бестужев упал на колени, умолял того о прощении, заявив, что оговорил регента по внушению фельдмаршала, который убеждал его, что только таким путем он может спасти «собственную жизнь, честь и семью».

Причастность Бестужева к назначению Бирона регентом не подлежит сомнению. Тем не менее Алексей Петрович отделался легким наказанием — его отправили в ссылку в одну из вотчин.

Уныло коротать дни в деревенской глуши ему довелось недолго. В октябре 1741 г. Финч доносил: «Возвращение Бестужева чрезвычайно удивило здесь всех. О нем даже принц и граф Остерман узнали только за несколько дней до приезда ссыльного...»¹⁸. Учитывая, что Бестужев ходил в открытых врагах Остермана, ясно, что возвращение кабинет-министра из ссылки являлось акцией, направленной против Андрея Ивановича. Для Остермана со смертью Анны Иоанновны наступило время трудных испытаний.

Дело в том, что его мнимые, притворные болезни сменились подлинной хворью — систематическое употребление вин, а также неумеренно сытной пищи привело к такому обострению подагры, что не только лишило его возможности свободно передвигаться, но и во время обострения болезни приковывало к постели. Следовательно, он утратил и прежнюю прыть, и прежнюю способность ориентироваться в обстановке. Восполнял он этот урон давно испытанными способами: адской работоспособностью, внушением мысли о своей незаменимости. Финч доносил: «Граф Остерман, чтобы обеспечить свое положение, всегда заботливо устранял всех от тайн управления, оставляя людей совершенно чуждыми делу, а сам работал, как никогда не работал ни один каторжник».

Другой способ, тоже испытанный и давно им применяемый, состоял в стремлении и умении уклоняться от участия в схватках придворных группировок до того часа, пока не прояснится, на чьей стороне перевес, чтобы потом примкнуть к победителям. Современники отмечали умение Андрея Ивановича молчать во время переговоров и этим молчанием вынуждать собеседника проговориться, а также умение притаиться, переживая бурю. Под искусным пером Финча это второе свойство характера Андрея Ивановича выглядит так: «Не могу себе представить его (Остермана. — Н. П.)

иначе, как кормчим, плавающим только при ясной погоде, который в случае бурь (говорю исключительно о внутренних бурях в России) укрывается под люки: как бы он ни был деятелен для установившегося правительства, при правительстве колеблющемся он ложится в дрейф»¹⁹.

На этот раз его ничто не могло избавить от катастрофы: случилось то, чего он более всего опасался и о чем он столь же настойчиво, как и безуспешно предупреждал Анну Леопольдовну, — в результате переворота на престол взошла Елизавета Петровна. Опасения Остермана оказались обоснованными, и ему, упорно взбиравшемуся со ступеньки на ступеньку к вершине власти, пришлось держать путь в Березов, куда он пятнадцатью годами ранее упек Меншикова. Нам остается оценить деятельность Остермана, 37 лет отдавшего службе России.

Андрей Иванович был личностью несомненно неординарной. Даже исконно русскому вельможе сохранить влияние и положение в условиях быстро менявшейся, как тогда говорили, «конъюнктуры», пережить четыре царствования, было не под силу. Еще сложнее было справиться с этой задачей иностранцу. Андрей Иванович с нею справился, что само по себе свидетельствует о его незаурядности и обладании свойствами, которые помогали успешно миновать многочисленные подводные рифы: проницательностью, коварством, способностью к интриге, жестокостью, умением приспособливаться, знанием психологии окружающих его людей и т. д.

И положительные, и негативные стороны характера Остермана известны были уже современникам. Саксонский дипломат Лефорт доносил о нем: «Остерман отлично ведет дело, заслужил доверие знатных и незнатных, даже враги отдают ему справедливость и признают его достоинства»²⁰. Французский дипломат Маньян: «Кредит Остермана поддерживается лишь его необходимостью для русских, почти незаменимой в том, что касается до мелочей в делах, так как ни один из русских не чувствует себя достаточно трудолюбивым, чтобы взять на себя это бремя»²¹. Оба дипломата, как видим, дают Остерману односторонне положительную оценку, отмечая его неиссякаемую работоспособность. Более сдержанно отзывалась об Андрее Ивановиче леди Рондо, отмечая наряду с достоинствами и резко негативную черту его характера — неискренность: «Остермана считают величайшим из нынешних министров в Европе, но поскольку искренность — качество, которое обычно не считается обязательным в этой профессии, граф не допускает, чтобы она мешала исполнению задуманных им планов. Он любезен и обладает интересной внешностью, а когда выходит из своей роли министра, то оказывается очень занимательным собеседником... Он не алчен, поскольку остается бедным при всех предоставлявшихся ему возможностях»²².

Отзывы фельдмаршала Миниха и его сына односторонне негативны, и это понятно, ибо их стараниями фельдмаршал должен был уйти в отставку. Первый называл Остермана двуличным, а второй — хитрым.

Манштейн, хорошо знавший Остермана, сообщает сведения о его манере держаться с людьми. Андрей Иванович умел изъясняться так, «что

немногие могли похвастаться, что понимают его хорошо... Все, что он говорил и писал, можно было понимать двояким образом». Отметим Манштейн и крайнюю скрытность Андрея Ивановича, привычку не смотреть собеседнику в лицо и проливать слезы, если считал их необходимыми.

Манштейн — единственный из мемуаристов, запечатлевший бытовые подробности личной жизни Остермана: «Домашний образ жизни его был чрезвычайно странен; он был еще неопрятнее русских и поляков; комнаты его были очень плохо меблированы, а слуги одеты обыкновенно как нищие. Серебряная посуда, которую он употреблял ежедневно, была до того грязна, что походила на свинцовую, а кушанья подавались хорошие только в дни торжественных обедов. Одежда его в последние годы, когда он выходил из кабинета только к столу, была до того грязна, что возбуждала отвращение»²³.

В этом свидетельстве сомнительным является лишь сообщение о неприязнательном столе графа, поскольку другие современники считали его гурманом и любителем выпить хорошего вина. Что касается скромной меблировки покоев и грязной одежды, то это подтверждают и другие источники. Тем не менее в историографии предпринята попытка подвергнуть сомнению сведения Манштейна. П. Каратыгин, изучавший семейные дела Остермана, полагал, что Марфа Ивановна Стрешнева, выданная за него замуж по настоянию Петра, стремившегося брачными узами закрепить иностранцев, чью службу он высоко ценил, за Россией, была нежной и любящей супругой. Автор статьи в подтверждение своего тезиса о безграничной любви Марфы Ивановны к супругу приводит несколько ее писем к нему. Об этом же говорит ее поведение во время опалы, постигшей графа, — она вместе с ним отправилась в ссылку в Березов, хотя могла подобной жертвы не приносить.

Письма супруги к Андрею Ивановичу действительно свидетельствуют о ее теплых чувствах к нему, привязанности и глубоком уважении. Но разве горячо любящая супруга не может быть неряхой и не принадлежать к рачительным хозяйкам? Эти качества могут спокойно уживаться, поэтому документы Каратыгина нас не убедили²⁴.

Самая развернутая и объективная характеристика Остермана принадлежит английскому дипломату Клавдию Рондо, сумевшему подметить в нем как пороки, так и добродетели. Англичанин подтвердил его высокую работоспособность: «Всеми делами занимается исключительно Остерман, и он сумел сделать себя настолько необходимым, что без него русский двор не может ступить ни шагу». В подтверждение своей мысли Рондо приводит любопытную деталь: если на заседании Верховного тайного совета по какой-то причине Остерман отсутствовал, то Головкин, Апраксин и Голицын «посидят немного, выпьют по стаканчику и вынуждены разойтись». Его же перо вывело в 1730 г. следующие слова: «Ума и ловкости в нем, конечно, отрицать нельзя, но он чрезвычайно хитер, изворотлив, лжив и плутоват, ведет себя покорно, вкрадчиво, низко сгибается и кланяется, что русскими признается высшей вежливостью. В этом искусстве

Остерман, впрочем, превосходит всех природных русских»²⁵. К концу же карьеры Андрея Ивановича, несмотря на исключительную способность контролировать свои слова и поступки, на смену вкрадчивости и покорности пришло высокомерие, стремление показать свое превосходство над собеседником. Маркиз де ла Шетарди доносил в мае 1741 г. в Версаль: «Я знаю на основании многих отзывов, что мнение его о своих талантах заставляет его приписывать себе превосходство над другими людьми и давать им чувствовать свое тяжелое господство над ними...»²⁶.

Помимо фантастической работоспособности, Остерман обладал редким для вельмож XVIII в. качеством — бескорыстием. Такие пороки, как мздоимство и казнокрадство, своими корнями уходят в обычаи, установившиеся в XVI — XVII вв., когда представители власти «кормились» не за счет государева жалованья, а поборами с управляемого населения. Хотя в XVIII в. чиновник и получал жалованье, он продолжал, как это мы наблюдали на примере А. П. Вольнского, вымогать деньги у населения. Среди лиц, находившихся на дипломатической службе, было широко распространено получение от иностранных государств пенсионов. Это была форма подкупа чиновника-дипломата иностранным государством, об интересах которого получавший пенсион обязывался радеть с особенным усердием. Например, Лесток, личный доктор императрицы Елизаветы Петровны и активный участник переворота в ее пользу, ухитрялся получать пенсион одновременно от французского, прусского и шведского королей.

Остерман в этом отношении оказался чист — все иностранные дипломаты отмечали, что все их старания вручить ему под разными предлогами взятку заканчивались неудачей, и за Андреем Ивановичем закрепилась репутация человека неподкупного.

К. Рондо в августе 1729 г. доносил: «Барон Остерман, человек по общим отзывам неподкупный, недавно отказался принять поместье в Пруссии, приносящее тысяч шесть крон ежегодного дохода и принадлежавшее князю Меншикову»²⁷. Английский посол Финч в 1741 г. решил облагодетельствовать Остермана 15 тысячами фунтов стерлингов, которые ему понадобились бы в случае давно желаемой им поездки в Англию. Андрей Иванович сначала сказал, что испросит разрешение правительницы, а затем решительно отказался от денежного подарка, заявив, что примет от короля либо его портрет, либо перстень²⁸. Любопытно, что два других русских дипломата, князь Черкасский и граф Головкин, приняли денежное вознаграждение в знак заключенного с Англией договора, правда, в меньших размерах — по пять тысяч рублей каждый.

Что это — принципиальное неприятие стяжательства и скопидомства или проявление осторожности? Думается, решающее значение имело второе соображение — честолюбие не покидало Остермана ни на одну минуту, равным образом как и не оставляла его ни на одну минуту мысль об угрозе утратить все, если он будет уличен в получении взяток. Он великолепно понимал, что за этой стороной его жизни наблюдало немало

пар завистливых глаз и стоит ему хоть раз оступить, как доведется расплачиваться дорогой ценой.

К проявлениям крайней осторожности относится и ставшее притчей во языцех объявление себя больным в кризисной ситуации. Эта манера поведения отнюдь не означала его безразличия к происходившему, в действительности он, обложившись подушками и стеляя от боли, через лазутчиков зорко следил за развитием событий и тайно в них участвовал. Болезнь Остермана для иностранных дипломатов была сигналом, что при дворе происходит что-то неладное. Краткий обзор его притворных заболеваний сделал в 1741 г. Финч. В одной из депеш он извещал дипломатическое ведомство своей страны, что впервые Остерман использовал болезнь как предлог, чтобы уклониться от схватки между соперничавшими группировками, в 1730 г. «Едва переворот совершился (подразумевается восстановление Анной Иоанновной самодержавия. — Н. П.), как он выздоравливает, является ко двору и по-прежнему исполняет свои должностные обязанности, и это продолжается до тех пор, пока, — лет пять тому назад, — ему не показалось, что присутствие его при дворе может не понравиться бывшему герцогу Курляндскому. Тут он снова заболевает, дабы иметь предлог заняться у себя дома»²⁹.

Чаще всего Андрей Иванович в качестве болезни, дававшей ему возможность «залечь в дрейф», использовал подагру, но английский дипломат Гаррингтон в 1733 г. полагал, что «у этого господина, по-видимому, всегда имеется в распоряжении запас болезней на случай трудного дела, с которым ему возиться не хочется и от которого ему в то же время отделаться неудобно»³⁰. По свидетельству маркиза Шетарди, болезни Остермана имели еще одно назначение. «Граф Остерман, — доносил дипломат в 1741 г., — прибегнул к своему обычному способу, когда он бывает в затруднении и отстаивая неправо дело, — он стал уклоняться от прямого ответа; жизнь его, по его словам, цепь страданий, внезапно овладевавшие им болезненные приступы заставили его делать тысячи гримас; его кресло никак не могло доставить ему покойного положения; он обливался обильным потом, жестокий кашель душил его, причем он несколько раз отирал лицо, прикрываясь платком. Он бросал на меня взгляды, стараясь лучше проникнуть в мои мысли»³¹.

Надобно отметить и такое свойство характера Андрея Ивановича, очень важное для дипломата, как скрытность, умение втираться в доверие к собеседнику, а также непроницаемость. Тому есть множество подтверждений иностранных представителей при русском дворе, не раз жаловавшихся своим правительствам, что во время бесед с ним ни по выражению лица, ни по интонации голоса невозможно угадать, с каким чувством он относится к тому или иному предложению посла. Классическим примером умения Остермана устанавливать доверительные отношения с партнером по переговорам, чтобы использовать его в интересах России, считается его поведение на Аландском конгрессе, когда ему удалось обворозжить руководителя шведской делегации барона Герца. На Ништадтском конгрессе

он прибегал к таким средствам воздействия на участников переговоров, как угрозы и шантаж.

Но у Андрея Ивановича наряду с добродетелями было немало черт, вызывающих осуждение как современников, так и историков. Непроницаемость, умение скрывать свои мысли и чувства под маской безразличия, втереться в доверие мы выше посчитали добродетелями. Однако эти же качества при определенных обстоятельствах оборачивались в свою противоположность и создавали Андрею Ивановичу репутацию человека неискреннего, двуличного, коварного, на которого нельзя положиться. Подобные свойства характера считались неотъемлемыми для любого интригана. Андрей Иванович как раз и снискал славу непревзойденного интригана, погубившего на своем веку немало человеческих жизней. Его руками были погублены А. Д. Меншиков, А. В. Макаров, Д. М. Голицын, Долгорукие, А. П. Вольнский. Он сам признался, что «Вольнского искоренить старался и в том повинен и согрешил»³². В остальных случаях он умел обставлять дело так, что оставался в тени и его жертвы даже не подозревали, что именно ему, Остерману, и никому другому они обязаны утратой жизни или суровой карой, и даже обращались к нему за защитой. Останется неразгаданной тайной, прозрел ли А. Д. Меншиков относительно того, кому он был обязан своей опалой, — у него было немало времени для размышлений в Березове — или так и остался до конца дней своих в неведении, считая Андрея Ивановича своим верным слугой.

В заключение попытаемся ответить на вопрос, кем был Остерман: государственным деятелем или вельможным чиновником. Ответ, по нашему мнению, однозначен — он был чиновником, пусть значительным, но полностью или частично лишенным черт крупномасштабного деятеля. Андрей Иванович — чистейшей воды прагматик, исполнитель чужих предначертаний, чувствовавший себя уверенно лишь в тех случаях, когда не он, а лицо, стоявшее над ним, несло всю ответственность за провал или успех его деятельности.

Тщетно искать в бумагах Остермана обилия документов, определяющих курс руководимого им правительства во внутренней и внешней политике. Историкам известны два такого рода источника, причем оба они появились в 1726 г. Один из них является продуктом коллективного творчества, он подписан Меншиковым, Остерманом, Макаровым и Волковым, так что трудно вычленив из него идеи, принадлежащие Андрею Ивановичу лично. Не вызывает сомнений лишь одно — редактировал документ Андрей Иванович. Другой документ с длинным названием «Генеральное состояние дел и интересов Всероссийских со всеми соседями и другими иностранными государствами» составлен единолично Остерманом. Присматриваясь к содержанию документа, можно сделать вывод, что он не содержит четких формул, определяющих курс внешней политики страны и ее ориентацию на союзнические или нейтральные отношения с другими государствами. Автор записки предпочел ограни-

чить свою задачу перечнем выгод и отрицательных последствий в случае сближения России с той или иной европейской страной.

Высказав свои доводы *pro* и *contra*, Андрей Иванович полагал, что вывод из его анализа сделает кто-то другой, на себя он подобной ответственности возлагать не хотел. Таким образом, «Генеральное состояние...» — не программный документ, а материал для него. При чтении этого документа невольно вспоминаются слова Манштейна о том, что все, что Остерман «говорил и писал, можно было понимать двояким образом». В самом деле, Андрей Иванович, перечислив плюсы и минусы в русско-французских отношениях для обеих стран, будто бы пришел к выводу, «оставя Францию искать с cesarem наикрепчайше соединства», а на следующей странице писал о необходимости «с Францией теснейшим союзом обязаться». Впрочем, подобного рода суждения он заключил фразой: «когда из сих путей, которой за благо примется, то возможно потребности и осторожности, которые до оногo касается, описать»³³.

Весьма скромными, если не плачевными, оказались и результаты внешнеполитических акций России в царствование Анны Иоанновны и в годы руководства внешнеполитическим ведомством Андреем Ивановичем, но это предмет особого разговора, которого здесь мы не касаемся.

Взойдя на престол, Елизавета Петровна уже 26 ноября, в первый же день после переворота, оказалась в затруднительном положении, поскольку лишилась незаменимого Остермана. Сразу же встал вопрос: кого пристроить на его место?

Формально заметных потрясений во внешнеполитическом ведомстве будто бы не произошло: не стало вице-канцлера, но должность великого канцлера оставалась за князем А. М. Черкасским. Это был, однако, номинальный канцлер, ибо фактически все нити управления внешней политикой держал в своих руках Андрей Иванович. Вспомнили об А. П. Бестужева-Рюмине. Его, повторим, вернула из ссылки Анна Леопольдовна, но ни в должности, ни в звании не восстановила.

Несмотря на то что Бестужев был одним из тех, кто составил Манифест о восшествии на престол Елизаветы Петровны, она питала неприязнь к нему, видимо, из-за активного участия того в назначении регентом Бирона, но вынуждена была вручить ему должность вице-канцлера, отчасти из-за отсутствия столь же опытных дипломатов, как Алексей Петрович, а главным образом потому, что должна была уступить настоянию де ла Шетарди и Лестока, выступавших первое время советниками императрицы и к голосу которых она прислушивалась. К тому же князь Черкасский был серьезно болен, а после второго апоплексического удара, случившегося в августе 1741 года, утратил работоспособность³⁴.

Подробности об обстоятельствах назначения Бестужева и свойствах его натуры в апреле 1741 г. сообщал Версалю маркиз де ла Шетарди: при вступлении на престол Елизаветы Петровны «явилась потребность в Бестужеве, владеющем хорошо пером, и скорее по необходимости, чем по расположению, внимание было обращено на него. Он трудолюбив, хотя

любит общество и пиры; ипохондрия иногда мешает ему работать усидчиво. По общему мнению, он не безукоризненной честности, но крайне робок и осмотрителен, что происходит от его обособленности при русском дворе и от испытанных им и его семьею несчастий».

Легкомысленный Лесток вел себя весьма нескромно. Он, как доносил Финч в декабре 1741 г., «хвастает своим положением и настолько выставляет себя первым, главным советником государыни, будто бы без его участия и одобрения ничего не решается»³⁵. Оба радетеля интересов Франции — Шетарди и Лесток — полагали, что Бестужев станет карманным вице-канцлером и, обязанный им своим возвышением, будет безоговорочно выполнять их волю. Оба они просчитались — Алексей Петрович настойчиво гнул свою линию во внешней политике России. Вызывает удивление, как этот не отличавшийся отвагой человек вступил в схватку с такими влиятельными противниками, как Шетарди, Лесток и активно поддерживавший их прусский посланник Мардефельд. Шетарди настаивал на территориальных уступках Швеции. Бестужев заявил, что он заслужил бы смертную казнь, если бы уступил хотя бы пядь земли, закрепленной за Россией Ништадтским миром. Вопреки советам Шетарди и Лестока заключить союз с Францией и Пруссией Бестужев ориентировался на установление дружеских отношений с Австрией и Англией. После смерти Бреверна они пытались навязать в конференц-министры своего ставленника — покладистого А. И. Румянцева. Бестужев и здесь оказался несговорчивым и провел на эту должность Михаила Илларионовича Воронцова.

И действовавшие в интересах Франции Шетарди и Лесток, и прусский посол Мардефельд поняли, что единственный способ изменить внешнеполитический курс России состоит в удалении Бестужева с поста вице-канцлера. От этого, писал прусский король своему послу, «зависит судьба Пруссии и моего дома». «Если бы, — рассуждал Фридрих II, — в рагам удалося восстановить Воронцова против Бестужева, падение вице-канцлера было бы неизбежным...»

Бестужев обладал двумя средствами отразить натиск соперников: выдержкой, сочетаемой с терпением, и азартом интригана, умевшего распутывать их хитроумные ходы. Интрига настолько увлекла Алексея Петровича, что она даже затмила в его сознании опасность вновь оказаться в опале.

В итоге не Бестужеву, а его противникам довелось испытать горечь поражения. Первым пал Шетарди, выдворенный разгневанной императрицей. Еще до падения Шетарди французский посол то и дело извещал своего министра, что «доверие императрицы к Бестужеву, по-видимому, непоколебимо», а три недели спустя, 2 июля 1743 г., стало даже «безграничным»³⁶. После высылки Шетарди положение Бестужева укрепилося еще больше. Выражением возросшего доверия к нему императрицы было пожалование ему чина и должности канцлера — акции, от которой она два года воздерживалась.

Позже, в 1748 г., потерпел крушение и Лесток. Легкомысленный француз не извлек уроков из дела Шетарди, засвидетельствовавшего, сколь

ценную информацию, компрометирующую автора, можно извлечь из перлюстрированных писем, и продолжал откровенно излагать в них свои замыслы и чаяния. Лестоку было предъявлено множество обвинений, среди них и желание «переменить нынешнее царствование», и установление тесных контактов с прусскими и шведскими дипломатами, проявлявшими враждебность к России, и выдача им государственных тайн, и получение пенсионов. Кроме того, Лестоку, как и Шетарди, было предъявлено обвинение в недоброжелательных отзывах об императрице. Поскольку Лесток являлся подданным России, то он понес более суровое наказание, чем Шетарди: его сослали в Углич.

Итак, канцлеру удалось избавиться от противников-иностранцев, но в годы, когда его внимание было приковано к борьбе с ними, у него под боком появился свой, доморощенный оппонент. Им оказался Михаил Илларионович Воронцов, тот самый, который в ночь с 25 на 26 ноября стоял на запятках саней с Елизаветой Петровной, отправлявшейся к гвардейским казармам. Подобная услуга на многие годы осталась в памяти императрицы, и она оказывала ему знаки внимания и расположения. Именно это обстоятельство и навело Бестужева на мысль сделать его вице-канцлером. Тем самым, полагал Алексей Петрович, будет приобретен послушный помощник. На послушание помощника Алексей Петрович надеялся прежде всего потому, что вице-канцлер по подготовке, опыту работы, кругозору, наконец, по склонности к интригам уступал ему. Французский дипломат Ж.-Л. Фавье отзывался о М. И. Воронцове в годы, когда он уже приобрел знания и опыт, так: «Этот человек хороших нравов, трезвый, воздержанный, ласковый, приветливый, вежливый, приятный, холодной наружности, но простой и скромный». Далее следует оценка дипломатических способностей Воронцова: «Его вообще мало расположены считать умным, но ему нельзя отказать в природном рассудке. Без малейшего или даже без всякого изучения и чтения он имеет весьма хорошее понятие о дворах, которые он видел, а также хорошо знает дела, которые он вел. И когда он имеет точное понятие о деле, то судит о нем вполне здраво»³⁷.

Вторую надежду на Воронцова Бестужев связывал с возможностью укрепить собственное положение усилением влияния на императрицу, к которой Михаил Илларионович имел свободный доступ. Однако Бестужев просчитался — Воронцов не желал быть послушным орудием Бестужева и вскоре после назначения на пост вице-канцлера стал претендовать на самостоятельную роль во внешней политике. Ее можно было достичь только в том случае, если Воронцов будет проводить свой курс, альтернативный бестужевскому. Так и поступил Воронцов, подхвативший отвергнутую Бестужевым идею сближения с Францией и Пруссией. Это соперничество быстро обнаружили иноземные представители при русском дворе и тут же решили им воспользоваться. Министр иностранных дел Франции д'Аржансон наставлял посла в 1745 г.: «По вашему описанию канцлера и вице-канцлера можно заключить, что последний не замедлит взять верх, поэтому вам следует заранее относиться к нему очень бережно»³⁸. Лорд

Тироули, английский посол, тоже обнаружил противостояние канцлера и вице-канцлера и в том же 1745 г. доносил в Лондон: «Канцлер, видимо, одобрял мои доводы, но вице-канцлер с ним не соглашался, так как воздействие Пруссии на него было много сильнее»⁹⁹.

Наблюдения д'Аржансона и Тироули о том, что почва под ногами Бестужева заколебалась, оказались ошибочными — канцлер продержался на своем посту еще 13 лет и вынужден был уступить должность вице-канцлеру М. И. Воронцову только в 1758 г. И это несмотря на то, что расстановка сил при дворе изменилась не в пользу Бестужева. Его соперник Воронцов примкнул к «партии» Шуваловых во главе с двумя влиятельнейшими их представителями — фаворитом Иваном Ивановичем и его двоюродным братом, важнейшим сановником елизаветинского царствования Петром Ивановичем.

Неизвестно, сколько бы еще продержался Бестужев, если бы его падению не помог его приятель Апраксин, по его же протекции назначенный главнокомандующим русскими войсками в войне с Пруссией. Сергей Федорович, сын знаменитого адмирала петровского времени, хотя и носил высший в России чин генерал-фельдмаршала, но более преуспевал на придворном, чем на военном поприще, и если и обладал талантами, то не полководца, а царедворца, сумевшего ладить и с Бестужевым, и с его соперниками Шуваловыми.

Падение Бестужева было обусловлено, с одной стороны, тем, что внешнеполитический курс, которого он придерживался, вступил в явное противоречие с реалиями Семилетней войны: Франция, союзу с которой он всячески противодействовал, оказалась вместе с Россией на одной стороне баррикад, а Англия, на согласие с которой ориентировался канцлер, оказалась в стане противников России. Положение канцлера при дворе могли поправить успехи русского оружия на театре войны. Поэтому Бестужев торопил Апраксина, чтобы тот побыстрее вошел в соприкосновение с неприятелем и тем самым всем недоброжелателям мог «рот запереть».

Желанный успех пришел — 19 августа 1757 г. русские войска разбили пруссаков у деревни Гросс-Егерсдорф. Однако Апраксин вместо преследования разгромленного противника отступил из Пруссии, чем вызвал в Петербурге крайнее раздражение. Бестужев, хотя и клялся Апраксину в верности дружеским чувствам и заверял его, что «они неотменны и прежде моей жизни не отменятся», но на конференции, обсуждавшей ситуацию на театре войны, выступил с самой резкой критикой действий генерал-фельдмаршала. Это, однако, не спасло ни Апраксина, ни Бестужева: генерал-фельдмаршал был заменен в должности Фермором и вызван в столицу, но несколько месяцев должен был жить в Нарве. От расстройства он очень скоро скончался (в 1758 г.), так и не дождавшись завершения следствия. Что касается Бестужева, заподозренного в причастности к отступлению Апраксина, а также в тесных контактах с великим князем Петром Федоровичем, поклонником Фридриха II, и его супругой, то с ним

обошлись самым бесцеремонным образом: его арестовали в помещении, где заседала конференция, рассчитывая обнаружить в его доме компрометирующий материал. Надежды не сбылись, опытный интриган Бестужев, чувствуя, что над его головой сгущаются тучи, своевременно сжег все уличающие его бумаги, чем успокоил великую княгиню Екатерину Алексеевну, не на шутку напуганную арестом канцлера.

Сбылась давняя мечта М. И. Воронцова — он стал канцлером. К 1758 г. он достаточно поднаторел как во внешнеполитических делах, так и в придворных интригах и прочно усвоил несложную мысль, что лучший способ удержаться в канцлерском кресле и уберечь себя от всяких случайностей состоит в угождении в фавориту И. И. Шувалову и в безоговорочном подчинении его воле. Так и поступал Михаил Илларионович, низводя свою роль до исполнителя поручений Ивана Ивановича.

Самой заметной фигурой среди вельмож елизаветинского царствования был Петр Иванович Шувалов.

П. И. Шувалов начал службу камер-пажом двора Елизаветы Петровны и вместе с братом Александром входил в интимный кружок цесаревны. Взлет в карьере Шувалова начался после 25 ноября 1741 г., когда камерюнкер был произведен в действительные камергеры. Одна милость сменяла другую, и к концу жизни он стал графом и владельцем множества чинов и званий: генерал-фельдцейхмейстер, генерал-фельдмаршал, конференц-министр, сенатор, действительный камергер, лейб-компания поручик.

Карьере Шувалова способствовали два обстоятельства. Одно из них, принесшее удачу при дворе всему клану Шуваловых, состояло в женитьбе в феврале 1742 г. на любимой фрейлине цесаревны, а затем императрицы — Марье Егоровне Шепелевой. Это был типичный брак по расчету — Марья Егоровна была не только старше своего супруга, но и некрасивой женщиной. Если брак тотчас дал Шуваловым ощутимые результаты, приблизив их к трону, то плодов от второго обстоятельства довелось ждать много лет — ровно столько, сколько понадобилось, чтобы вылепить из подростка красавца фаворита Ивана Ивановича Шувалова. Фаворит оплатил своему покровителю тем, что постоянно докучал императрице проектами своего родственника.

Петр Иванович оставил заметный след в истории России, причем в отличие от Ивана Ивановича за ним закрепилась однозначная оценка как современников, так и историков. Его имя купалось бы в лучах славы, если бы подаваемые им в Сенат многочисленные проекты имели в виду интересы государства и его населения. Но беда Петра Ивановича состояла в том, что он не отличался бескорыстием и многие его предложения преследовали личную выгоду. Впрочем, в некоторых случаях корыстные интересы совпадали с общенациональными. Главная цель подаваемых проектов, как ее объяснял сам прожектор, состояла в увеличении доходов казны без усиления «тягости народной», а средством достижения цели являлось перенесение основных доходов с прямых налогов на кос-

венные. Это была утопическая цель, но она соответствовала тогдашнему уровню экономической науки. В качестве примера обратим внимание на поданный в 1754 г. проект, касающийся «до разных государственных полезностей». Шувалов полагал, что участь людей, плативших подушную подать, будет облегчена, если прекратится бегство их за границу, для чего следовало учредить надежные пограничные заставы; надлежало также оградить население от обид проходимцами поляками; улучшится положение крестьян, если государство возьмет на себя регулирование цен на хлеб, по его мнению, являющихся низкими; уповал он также на избавление в губерниях и провинциях от неспособных правителей.

Вряд ли целесообразно обременять память читателя изложением многочисленных проектов, поданных Петром Шуваловым в Сенат, тем более что творческие возможности канцлера были неограниченными, поскольку составление проектов стало его страстью, претворяемой в жизнь его помощниками. Мемуарист М. В. Данилов засвидетельствовал: «Графский дом наполнен был весь писцами, которые списывали от графа проекты». Он же отметил: «Некоторые из них были к приумножению казны государственной, которой на бумаге миллионы поставлено было цифром; а другие прожекты были для собственного его графского дохода»⁴⁰.

К мерам общенационального масштаба относится проект, реализации которого он настойчиво добивался от Сената, — об отмене внутренних таможенных пошлин. Этот налог, являвшийся пережитком удельного периода, наносил немалый ущерб развитию внутренней торговли, вел к злоупотреблениям ценовальников, собиравших пошлины, больно ударяя по продавцам, непосредственно производившим товар. Потерю казны от сбора внутренних пошлин Шувалов предложил компенсировать повышением пошлин на товары, ввозимые из-за границы, — с 5 до 13 копеек с рубля. В результате казна оказывалась даже в выигрыше — поступления от сбора пошлин увеличивались на 200 тысяч рублей.

Полезным для развития экономики был предложенный П. И. Шуваловым в 1754 г. проект учреждения в России Дворянского и Купеческого банков. Их надобность мотивирована была высоким процентом, взимаемым с кредиторов ростовщиками. Банки брали 6% годовых вместо 20%, платимых ростовщикам⁴¹.

К таким же мерам относится проект, поданный в 1752 г., о проведении генерального межевания. Его назревшая необходимость мотивирована спорами о праве собственности на землю и межевными ссорами. Для начала решено было обмежевать Московскую губернию, причем главным межевщиком в 1755 г. императрица назначила П. И. Шувалова. С целью ускорения межевания, его по предложению Шувалова можно было производить даже в воскресные и праздничные дни за исключением шести дней в году (Пасха и дни рождения представителей царствующей фамилии). Но межевание оказалось столь громоздким и грандиозным делом, что производилось вплоть до первой четверти XIX в.⁴²

К нереализованным, хотя и принятым к претворению в жизнь, относится проект Шувалова о составлении нового Уложения.

Прожектерские планы Шувалова охватили не только гражданскую жизнь, но и военное ведомство. Цитированный выше М. В. Данилов вспоминал: «По вступлении графа в артиллерию появились многие прожекты, дельные и негодные, а паче для того, что граф был охотник и сего требовал от всех офицеров, кто может что показать»⁴³.

К числу нашумевших проектов в области артиллерии относится внедрение в армию так называемых секретных, или шуваловских, гаубиц. Суть новшества состояла в том, что калибр гаубицы изготовлялся не круглым, а овальным: считалось, что стрельба картечью из подобной гаубицы наносила неприятелю значительно бóльший урон, чем стрельба из обычной гаубицы. Стрельба из опытных экземпляров дала будто бы положительные результаты, началось перевооружение артиллерии, но после смерти прожектера в 1762 г. вернулись к гаубицам старого образца.

Упомянем о двух прожектах Шувалова, от реализации которых он извлек немалую личную выгоду. Первый из них был претворен в жизнь в 1748 — 1751 гг., когда в руках графа оказались на откупе сальные промыслы у Архангельска и на Кольском полуострове, китобойный промысел в Гренландии и тюлений — на Каспийском море. Вслед за этим Петр Иванович положил глаз на уральские заводы и в своем прожекте доказывал, что их надлежит передать в частные руки, но не купцам, а вельможам, на том основании, что купцы, получив заводы, изымут свои капиталы из торговли. В результате лучшие на Урале Горноблагодатские заводы оказались в руках Шувалова. Другие заводы на выгодных условиях тоже получили вельможи: Воронцов, А. И. Шувалов, Ягужинский и др. Никто из вельмож, за исключением Репнина, не расплатился за полученные казенные заводы, никто из них не закрепился на предпринимательской ниве. Крах предпринимательства вельмож объяснялся прежде всего тем, что получаемые ими доходы использовались не на производство, а употреблялись на поддержание роскошной жизни. Особенно роскошествовал Шувалов, которого не спасали ни монополии, ни заводы — после его смерти за ним числилось 680 тысяч казенного долга⁴⁴. Французский дипломат Ж.-Л. Фавье писал о нем: «Он возбуждал зависть азиатской роскошью в дому и в своем образе жизни: он всегда покрыт бриллиантами, как Могол, и окружен свитой из конюхов, адъютантов и ординарцев»⁴⁵.

Подобные махинации оставили, если верить Екатерине II, в народе недобрую память о прожектере. Замерзшие люди в ожидании выноса тела в январский день, по ее словам, рассуждали: «Иные, вспомнив табашной того Шувалова откуп, говорили, что долго его не везут по причине того, что табаком посыпают; другие говорили, что солью осыпают, приводя на память, что по его проекту накладка на соль последовала; иные говорили, что его кладут в моржовое сало, понеже моржовое сало на откуп имел и ловлю трески...»⁴⁵.

Часть 3
РОССИЯ В ГОДЫ
БЕЗВРЕМЕНЬЯ

Глава 1

ОТ СЛУЖИЛОГО ДО ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО СОСЛОВИЯ

Исходным пунктом, отталкиваясь от которого можно прояснить внутреннюю политику правительства в 1725 — 1762 гг., является петровское время, ибо всю последующую политику можно рассматривать либо как продолжение петровских преобразований, либо как существенные отступления от них. Последнее прежде всего относится к политике по отношению к дворянству — при Петре Великом оно было обременено различными обязанностями, после его смерти шел медленный, но неуклонный процесс освобождения от них. Впрочем, если на проблему взглянуть глубже и шире, то принципиальные различия между политикой Петра и политикой его преемников отсутствовали: и Петр, и его бездарные наследники возвышали дворянство, но разными средствами и приемами. Не было бы принудительных мер, обязывающих дворян служить и учиться, преемники Петра не могли бы освободить их от этих обязанностей. Урожай с семян, посеянных Петром, собирали его наследники.

За десятилетия дворянство изменило свой облик: из служилого сословия, несшего бремя преимущественно военной службы, оно превратилось отчасти в землевладельческое сословие, более всего заботившееся о своем хозяйстве, а отчасти в сословие, поставившее военную и гражданскую бюрократию. В этой обстановке у правительства появилась новая забота о дворянстве — создание тепличных условий для его хозяйствования.

Ратная служба дворян издавна считалась обязательной, но не постоянной: в ожидании опасности, в XVII в. исходившей от крымских татар, дворянина извещали о необходимости участвовать в походе. Служилый человек вытаскивал дедовские доспехи и к концу зимы отправлялся к месту сбора «конным, людным и оружным», чтобы дать отпор крымцам, отправлявшимся на север за добычей, когда степь покрывалась травой и появлялся корм для конницы.

Татар отгоняли, угроза исчезала, ополчение распускалось, и дворянин отправлялся в поместье, оставаясь в нем до очередного царского указа.

Он мог последовать в следующем году, а мог спустя несколько лет. Даже во время продолжительной войны с Речью Посполитой из-за Украины (1654 — 1667) поместная конница в иные годы на зимние месяцы распускалась по домам, а в иные — дворяне самовольно оставляли театр военных действий.

При Петре характер службы существенно изменился — поместное войско сменила регулярная армия, служба в которой стала постоянной и пожизненной. Если раньше царь за службу жаловал поместьем, то при Петре вознаграждение землей было заменено денежным жалованьем. Пожалование землей и крестьянами производилось не за службу, а за особые заслуги.

Изменение характера службы дворянина повлекло за собой новую, ранее неведомую обязанность — учиться: для регулярной армии и флота требовались грамотные офицеры, инженеры, кораблестроители, артиллеристы, навигаторы, геодезисты. Надлежало овладевать знаниями либо в созданных при Петре учебных заведениях, либо за границей, где волонтеры не столько обучались теории, сколько постигали практику.

Обязанность учиться в те времена считалась обременительной, и от нее родители пытались освободить своих отпрысков с таким же рвением, с каким сами уклонялись от службы на театре войны, в казармах и канцеляриях. В наше время подобное отношение к обучению покажется по меньшей мере странным, но достаточно сравнить времяпрепровождение дворянского недоросля, скажем, в XVII в. с времяпрепровождением его при Петре I, чтобы убедиться в том, что забота чадолюбивых родителей о своих детях и страх расстаться с ними на время обучения имели основание. Отрок в допетровское время проводил время в забавах, что обрекало его на безделье, не способствовало развитию интеллекта, порождало леньность мысли. Знатным недорослям с «младых ногтей» вдавливали в голову барскую спесь и презрение к труду — как физическому, так и умственному.

При Петре такого недоросля отрывали от семьи и нежных родительских забот и отправляли в столицу, где ему надлежало постигать азы науки, где усердие стимулировалось розгами, где нужно было напрягать умственные и физические силы. Особенно серьезные испытания выпадали на долю тех, кого отправляли за границу. Можно себе представить, как тяжело было изнеженному недорослю из боярской или княжеской семьи без знания языков овладевать военно-морским делом, выполняя при этом тяжелые обязанности матроса на корабле или плотника при его сооружении.

Помыслы многих дворян были направлены на то, чтобы уклониться от пожизненной службы, избавить себя от необходимости тянуть лямку рядового в гвардейском полку. Дворянин уклонялся от службы не только потому, что эта служба была сопряжена с угрозой лишиться жизни, но и из-за того, что он, многие годы проводя вдали от поместий и семьи, не мог влиять на управление своим хозяйством, зачастую находившимся под надзором недобросовестных приказчиков. Во взаимоотношениях государ-

ства и дворянина наблюдались две противоположные тенденции: дворяне пытались уклониться от учения и службы, а государство, напротив, стремилось нейтрализовать эти попытки и поставить дворян в такие условия, чтобы они сами, без понуканий стремились и к знаниям, и к службе.

На первых порах государство намеревалось добиться успеха, угрожая лицам, уклонявшимся от службы, штрафами, наказанием розгами, а также используя услуги доносителей, готовых за донос получить в награду деревню либо денежное вознаграждение за каждого выявленного нетчика, как называли дворян, уклонявшихся от службы. По указу 1714 г. конфискованное имение мог получить даже крепостной, уличивший барина в нежелании служить. К выявлению нетчиков широко привлекались фискалы. Хотя любителей поживиться чужим добром было немало, но доносы не давали ожидаемого эффекта. Не оправдали надежд и периодически проводившиеся смотры недорослей с участием самого царя или самых доверенных его вельмож.

Царь остановил свой выбор на двух мерах, носивших широкомасштабный характер, поскольку они затрагивали все сословие, а не отдельных его представителей, и осуществленных почти одновременно в 1714 г. Указ о единонаследии определял наследником недвижимого имущества (то есть земли с крепостными крестьянами) только одного из сыновей. Остальные сыновья, лишенные средств к существованию, должны были добывать хлеб насущный военной и гражданской службой, а также торговлей. Вторым указом Петр запрещал дворянским сыновьям, не овладевшим грамотой и геометрией, жениться.

После смерти Петра дворяне настойчиво домогаются сначала облегчения условий службы, затем сокращения ее сроков и, наконец, объявления ее необязательной. Этот путь был пройден дворянами в течение 37 лет от смерти Петра I в 1725 г. до Манифеста Петра III в 1762 г. о вольности дворянской.

Обременительность службы дворян усугублялась порядком ее прохождения: указ 1714 г. запрещал присваивать им офицерские звания без службы солдатами в гвардейских полках. Дворянин приравнивался к обычному рекруту и должен был осваивать азы военного дела «с фундаменту». Гвардейские полки становились своеобразной школой подготовки офицерских кадров, в которой дворянин проходил все ступени службы, начиная с нижних чинов, с тем чтобы получить назначение на офицерскую должность в полевые полки.

Шляхетские проекты 1730 г. потребовали отмены указа 1714 г. о единонаследии, облегчения условий подготовки офицеров путем освобождения их от службы рядовыми и создания «особливых рот шляхетских, а для морских — гардемарин». Проект, собравший 361 подпись, требовал ограничения срока дворянской службы 20 годами¹. Шляхетские проекты являлись своего рода наказом правительству Анны Иоанновны, который оно претворяло в жизнь в десятилетнее царствование императрицы. Этими наказами руководствовались и преемники Анны Иоанновны.

Освобождение дворян от жесткой регламентации служебных обязанностей, введенных Петром, началось с сокращения срока их службы. В 1731 г. правительство Анны Иоанновны отреагировало на шляхетские требования, учредило Военскую комиссию, которая пришла к выводу о необходимости ограничить срок службы дворянина 20 годами. Проект Военской комиссии, однако, не был реализован. Первый реальный шаг в этом направлении был совершен манифестом 31 декабря 1736 г.

Выразительна мотивировка его обнародования: «Для лучшего содержания шляхетских домов и деревень». Дворянин, имевший нескольких сыновей, одного из них мог оставить для управления имением. Прочие сыновья по достижении 20-летнего возраста должны были служить 25 лет.

Множество дворян, состоявших на военной службе, изъявили желание уйти в отставку. Среди них встречалось немало молодых лиц, получивших право на отставку, так как их записали в полки в младенческом возрасте и ко времени обнародования манифеста они едва достигали 30 лет. Появилась угроза, что армия, воевавшая с Османской империей, останется без офицерского корпуса, и действие манифеста пришлось приостановить до окончания войны, установленные им нормы стали претворяться в жизнь с 1740 г.

Часть дворян тяготилась и 25-летней службой и домогалась полного от нее освобождения. Вопрос интенсивно обсуждался Уложенной комиссией Елизаветы Петровны (1754 — 1766). Исследователь, изучавший материалы этой комиссии, пришел к выводу, что соответствующие статьи проекта Уложения составляли основу манифеста о вольности дворянской. Общий вывод таков: манифест, опубликованный Петром III 18 февраля 1762 г., являлся «простой реализацией мероприятий, подготовленных еще при Елизавете Петровне»².

Из этого следует, что манифест отнюдь не продукт государственной мудрости Петра III — его идея носилась в воздухе и занимала умы ближайшего окружения Елизаветы Петровны: И. И. Шувалова, братьев М. И. и Р. И. Воронцовых, А. П. Мельгунова, Д. В. Волкова. Петр III к этому законодательному акту имеет такое же отношение, как Петр II к Вексельному уставу 1729 г.

Манифест о вольности дворянской объявлял право дворян уходить в отставку, ограниченное лишь состоянием войны России с каким-либо государством: увольнение запрещалось как во время военных действий, так и за три месяца до их начала. Манифест, кроме того, предоставлял дворянину право беспрепятственного выезда за границу, но с обязательством возвратиться в Россию.

Если руководствоваться свидетельством мемуариста А. Т. Болотова, то манифест вызвал у дворянства восторженный прием. «Не могу вообразить, — делился впечатлением мемуарист, — какое неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян нашего любезного отечества. Все вспрыгались почти от радости и, благодаря государя, благословляли ту минуту, в какую угодно было ему подписать указ сей».

В заявлении Болотова о радостях «всех дворян нашего любезного отечества» есть немалая доля преувеличения — личный восторг он выдал за всеобщий. У Болотова были все основания радоваться: он не имел ни желаний, ни склонности к военной службе, она была ему в тягость, его прельщала ученая деятельность; во-вторых, он владел имением и мог в деревенской тиши отдаваться ученым занятиям, потому что его жизненные потребности обеспечивали крепостные. Пышущий здоровьем 24-летний капитан получил отставку, в частности, потому, что отправлялся, как он писал, «на свое пропитание» и таким образом освобождал власти от материальных забот о себе.

Но дворяне, подобные Болотову, составляли меньшинство — большая часть представителей этого сословия относилась либо к беспоместным дворянам, либо к владельцам нескольких десятков крепостных, хозяйственных ресурсов которых недоставало, чтобы содержать барина и его семью. У таких дворян источником благополучия являлась их служба и получаемое жалованье. Эта категория дворян вряд ли разделяла восторги Болотова.

В целом манифест соответствовал интересам дворянства, и его опубликование следует рассматривать как одно из звеньев в цепи мер, расширявших дворянские привилегии. Сколь он был закономерен и вытекал из предшествующего развития событий, явствует из отношения к нему Екатерины. Императрица, взойдя на престол, была крайне заинтересована в обнаружении и обличении изъянов предшествовавшего царствования. Она, конечно же, страстно желала объявить манифест несостоятельным и в учредительном Указе о создании специальной комиссии в составе первейших вельмож государства для пересмотра манифеста отметила, что он «еще более стеснил свободу, нежели отечественная польза требовать может». Однако комиссия ничего нового не придумала, и императрица вынуждена была подтвердить объявленные Петром III дворянские привилегии.

Процесс освобождения дворян от службы переплетался с процессом ее облегчения. Отмены службы рядовыми в гвардейских полках дворяне, как мы помним, добивались еще в 1730 г. Правительство пошло навстречу требованиям и в 1732 г. учредило Сухопутный шляхетский корпус. Контингент учащихся в нем был ограничен, не охватывал всех дворянских недорослей, и поэтому вслед за ним сеть сословных учебных заведений была расширена: Морскую академию в 1752 г. преобразовали в Морской шляхетский кадетский корпус, Артиллерийская и Инженерная школы в 1756 г. были объединены в дворянский корпус, в 1762 г. названный Артиллерийским и Инженерным шляхетским корпусом. Еще раньше, в 1759 г., был основан Пажеский корпус, готовивший молодых дворян для придворной и гражданской службы. Если в петровское время обучение считалось обременительной обязанностью дворян, то с возникновением новых учебных заведений, узкосословных по составу учащихся, оно превратилось в привилегию: пребывание в шляхетских корпусах стало престижным, и чадолюбивые родители спешили пристроить туда своих отпрысков. Характерная в этом плане деталь: контингент учащихся Москов-

ского университета комплектовался не только выходцами из дворян и учебное заведение не относилось к разряду привилегированных. Именно поэтому правительство, чтобы привлечь к обучению в университете детей дворян, предоставило им ряд существенных привилегий, важнейшая из которых состояла в присвоении преуспевающим в науках и определенным на гражданскую службу обер-офицерских чинов.

Одновременно с расширением сети сословных учебных заведений детям обеспеченных родителей предоставлялись возможности приобрести знания в домашних условиях. Так, Манифест 31 декабря 1736 г. вместе с заменой бессрочной службы 25 годами устанавливал контроль за успехами в домашнем обучении. Для этой цели вводились смотры дворянских недорослей. Их было четыре. Задача первого состояла в регистрации семилетнего отрока, занесении его в списки, составлявшиеся в Петербурге и Москве, а также в губернских городах. Второй смотр производился по достижении 12 лет. На этот раз проверялись знания недоросля в чтении и письме, и в зависимости от результатов разрешалось родителям взять сына домой для продолжения образования или определить его в школу. Предполагалось, что школьное образование будет уделом подростков недостаточно обеспеченных родителей.

Во время третьего смотра, проводившегося в 16-летнем возрасте, проверялись знания недоросля по арифметике и геометрии. Если подготовка признавалась удовлетворительной, то недоросля разрешалось для продолжения образования брать домой, если успехи оказывались неблестящими, то экзаменовавшегося определяли в учебное заведение, а не овладевших знаниями отдавали без выслуги в матросы. На последний смотр недоросль являлся в 20-летнем возрасте. Здесь он получал назначение для службы в полку.

Манифест о вольности дворянской 1762 г. значительно ослабил контроль за обучением и отменил строгости за нарушение порядка овладения знаниями: родителям предоставлялось право учить и воспитывать сыновей дома, в учебных заведениях и за границей. Вместо угрозы наказания манифест обращался к совести главы семьи: никто не должен уклоняться от обучения наукам, пристойным «благородному сословию». Лиц, владевших не более 1000 крепостных, обязывали определять детей в шляхетские корпуса.

Манифест породил категорию Митрофанушек, ярко и со знанием дела выведенную Фонвизиным в бессмертной комедии. Недорослей, едва умевших читать, расплодилось под крылышком сердобольных родителей великое множество, и директор Сухопутного шляхетского корпуса И. И. Шувалов вскоре после опубликования манифеста доносил, что многим было отказано в приеме в это учебное заведение из-за незнания грамоты.

В итоге Манифест 18 февраля 1762 г. положил начало новому этапу в истории дворянства. До 1762 г. оно являлось тяглым сословием в том смысле, что, подобно прочим сословиям, было обременено обязанностями. Правда, тягло дворянина отличалось от тягла крестьянина или посадско-

го — тягло последних состояло в уплате подати и поставке рекрутов. Тягло дворянина включало службу и обучение, от рекрутчины и уплаты налогов он был уволен. Но манифест освободил дворян от принуждения служить и учиться, обратив обе обязанности в привилегии.

Сословные привилегии дворянства на протяжении рассматриваемого времени оказали влияние на все сферы жизни общества: социальную структуру, хозяйственную деятельность, культуру и быт. К важнейшим сословным привилегиям дворян относится восстановление монополии на право владения крепостными крестьянами.

Уложение 1649 г. предоставило право владения крепостными крестьянами не только дворянам, но и богатым купцам (гостям): им разрешалось покупать земли и крестьян. Петр Великий предметом своих первых забот и попечений считал не торговлю, а промышленность и предпринимал энергичные меры для ее развития, предоставляя мануфактуристам льготы и привилегии: на льготных условиях казенные заводы передавались в частные руки, владельцы крупных предприятий освобождались от посадской службы, изделия отечественных мануфактур ограждались от конкуренции промышленных товаров, изготовленных за границей, высокими таможенными пошлинами. Но главным средством привлечения купеческих капиталов в промышленность следует считать разрешение в 1721 г. владельцам крупных предприятий покупать к ним крепостных крестьян. Купленные к мануфактурам крепостные составили особую категорию сельского населения, в конце XVIII в. получившую название посессионных крестьян. Специфика состояла в том, что промышленник пользовался ограниченным правом распоряжения этими крестьянами: они являлись принадлежностью мануфактур. Владелец посессионных крестьян был лишен права передавать их по наследству, закладывать и продавать отдельно от предприятия. Купленные крестьяне и мануфактура составляли как бы единое и нераздельное целое. Эти юридические различия несколько не влияли на статус купленных к заводу крестьян: на них полностью распространялись вотчинные права заводовладельца, равные правам помещика.

Указ 1721 г. подтвердил унаследованное от XVII в. отсутствие монополии дворян на землю и крестьян с тем, однако, различием, что в XVIII в. промышленники воспользовались правом купли в более широких масштабах, чем гости в XVII в.

При Петре и в особенности при его преемниках мануфактуристы пользовались еще двумя источниками комплектования предприятий принудительным трудом: припиской государственных крестьян к заводам и закреплением навечно за крупными предприятиями работных людей и членов их семейств. Если труд приписных крестьян использовался для вспомогательных работ (заготовка древесного угля и отчасти руды) исключительно на металлургических заводах, то работные люди, составлявшие костяк квалифицированных кадров, по указу 1736 г. были закреплены за всеми мануфактурами независимо от отрасли, к которой принадлежали.

Так продолжалось до 1762 г., когда указ Петра III⁴ лишил мануфактуристов права покупать крепостных. Еще раньше были исчерпаны ресурсы государственных крестьян, приписываемых к заводам, — все государственные деревни, более или менее близко расположенные к заводам, к середине 50-х годов оказались приписанными, а деревни, отстоявшие от заводов более чем на 600 верст, приписывать не было смысла, ибо преодоление такого расстояния требовало значительного времени. Что касается квалифицированных работников, то прикрепление их к мануфактурам носило одноразовый характер: указ был издан в 1736 г., а перепись мастеровых, то есть реализация указа, состоялась только в 1739 г. С этого года закрепление рабочих людей за мануфактурами производилось эпизодически и в незначительных размерах.

Указ 1762 г. оказал двоякое влияние на социально-экономическое развитие страны. Поскольку он был издан в пору повышенного интереса дворян к предпринимательству, то установление монопольных прав помещика на использование принудительного труда в промышленности ставило помещика в привилегированное положение по сравнению с предпринимателями-купцами, ибо наемный труд оценивался дороже труда собственных крепостных. Тем самым правительство повышало конкурентоспособность помещичьих предприятий и создавало для них тепличные условия существования. Но запрещение покупать крепостных к мануфактурам вопреки намерениям правительства способствовало развитию капиталистических отношений в промышленности, что в конечном счете подрывало крепостнические порядки. Установление монопольного права дворян на использование труда крепостных ограничивало рост крепостных мануфактур, ибо сокращало удельный вес различных категорий принудительного труда в промышленности — отныне он мог осуществляться только за счет естественного прироста купленных крестьян и навечно отданных по указу 1736 г.

Запрещение покупать крепостных крестьян и прекращение практически закрепощения мастеровых и использования труда приписных крестьян к заводам не относились к числу главных средств поощрения дворянского предпринимательства, ибо они распространялись на несколько десятков помещичьих мануфактур, главным образом в полотняной и суконной промышленности, где предприниматели из дворян пользовались собственным сырьем.

Еще меньшее влияние на развитие дворянского предпринимательства оказала такая правительственная акция, как передача казенных заводов в частные руки. Подобная практика поощрения мануфактурного производства внедрялась Петром Великим. Новые владельцы получали не только заводские сооружения, оборудование, заготовленное сырье, работников, но и денежную беспроцентную ссуду. Казна при этом предоставляла льготные условия расплаты за полученное — изделиями, производимыми предприятием. Эта мера была вынужденной и объяснялась отсутствием в стране владельцев капиталов, способных осилить сооружение мануфакту-

ры и ее эксплуатацию. Именно отсутствие капиталов вынуждало царя прибегать к принудительному сколачиванию компаний купцов, которые только в складчину и могли эксплуатировать полученное предприятие.

Таковы Полотняная фабрика, переданная в 1711 г. компании поначалу из шести, а затем одиннадцати купцов, а также Суконный двор, переданный компании из четырнадцати купцов, призванных из разных городов страны. Передача казенных заводов купцам дала положительные результаты. Наибольший эффект связан с именем тульского купца и оружейника Никиты Демидова. Получив от казны в 1702 г. Невьянский завод на Урале, он через четверть столетия передал наследнику мощное промышленное хозяйство из шести предприятий.

Передача казенных заводов в частные руки была возобновлена частично при Анне Иоанновне и в широких масштабах в правление Елизаветы Петровны. Внешне она напоминала промышленную политику петровского времени, а по существу, вступала с нею в вопиющее противоречие. В первом случае это было средство поощрения развития крупного производства, во втором — средство грабежа народного достояния; в первом случае предприятия передавались купцам, во втором — вельможам.

Первая акция этого рода была осуществлена в 1739 г., когда при содействии временщика Бирона генерал-берг-директору Александру Курту Шембергу были переданы не только лучшие на Урале Гороблагодатские заводы, но и выдана казенная ссуда в 65 тысяч рублей. Через три года казна отобрала у Шемберга заводы, потерпев при этом убыток от его хозяйничанья в колоссальную по тем временам сумму — около 135 тысяч рублей.

Повторно казенные заводы вновь оказались в частных руках в 50-х годах. На этот раз в роли расхитителей народного добра выступали не немцы, а русские вельможи: сенатор П. И. Шувалов и его брат Александр Иванович, руководитель Тайной розыскных дел канцелярией, граф Р. И. Воронцов, действительный камергер граф И. Г. Чернышов, другой действительный камергер С. П. Ягужинский и др. В общей сложности они получили в собственность 32 казенных завода, находившихся на полном ходу. Самая лакомая добыча, жемчужина уральской металлургии — Гороблагодатские заводы достались знаменитому расхитителю народного достояния П. И. Шувалову. Прочие хапуги довольствовались менее доходными предприятиями.

Ни один из вельмож не удержался на предпринимательском плаву. Они не принадлежали к числу лиц, обуреваемых предпринимательской горячкой, у которых через край била энергия, нацеленная на расширение производства. Полученные предприятия они считали пожалованием, предназначенным для поддержания привычного уровня жизни, и, хищнически исчерпав их ресурсы, без сожаления расстались с ними, возвратив их казне либо продав промышленникам из купцов, причем и в том и в другом случае на выгодных для себя условиях. Так, при определении цены завода в случае передачи его вельможам учитывались только затраты казны на его сооружение. При определении продажной цены вельможи принимали во внима-

ние реальные слагаемые этой цены: качества руды, стоимость закрепленного за заводом лесного массива, труд приписных крестьян, оплачиваемый по ставкам ниже рыночных, штат работников, укомплектованный государственными крестьянами, и т. д. Например, умерший в 1761 г. П. И. Шувалов оставил свыше 680 тысяч рублей долга. Полученные им заводы были оценены в 177 тысяч рублей, из которых он не уплатил ни копейки, а возвращены были в казну в счет погашения числившегося за ним долга. Казне Р. И. Воронцов уплатил за Верх-Исетский завод 35 712 рублей, а промышленному магнату Яковлеву продал за 200 тысяч рублей. Разница в цене не пошла вельможам впрок. Причину постигшей вельмож неудачи на предпринимательской стезе откровенно изложил И. Г. Чернышов в 1794 г. В челобитной, поданной Екатерине, он писал, что в канун смерти оставляет наследникам полмиллиона долга, возникшего в результате того, что он, будучи президентом Адмиралтейской коллегии, «принужден был держать большой стол, кормить всех и приучать подчиненных своих не токмо к большому свету, но и множеству»⁵.

Отрасль переработки сырья, получаемого в вотчинах, было винокурение. Именно в нем дворянское предпринимательство достигло наибольших успехов, ибо оно сулило дворянам сиюминутные выгоды: во-первых, потому, что винокурение позволяло выгодно и надежно реализовывать товарные излишки зерна собственного производства; вторая выгода винокурения состояла в наличии постоянного и устойчивого спроса на готовую продукцию — помещик заключал контракты на поставку вина на питейные дворы. Еще одно преимущество винокурения состояло в минимальных затратах владельца винокурни на ее сооружение и оборудование. Если учесть, что поставщик вина при заключении контракта получал от государства денежный аванс, то станет ясным, что винокурение для помещика представляло золотое дно, неисчерпаемый источник получения доходов. Тем не менее помещики не спешили воспользоваться выгодами винокурения. По подсчетам М. Я. Волкова, из 280 винокурен на долю помещиков в 1719—1725 гг. приходилось 48 предприятий, то есть чуть больше 17%. Остальные заводы принадлежали купцам, казне и дворцовому ведомству⁶.

Скромный удельный вес дворянского винокурения объясним: обязательная служба, неукоснительно требуемая царем от дворян, лишала их возможности уделять время и энергию управлению вотчинным хозяйством. Постепенно удельный вес помещичьего винокурения повышался, и правительство уже в конце 30-х годов вознамерилось передать поставку вина в руки помещиков. Однако собранные статистические данные о количестве помещичьих заводов и их производительности убедили правительство в преждевременности этой меры: оказалось, помещичьи заводы были не в состоянии удовлетворить спрос питейных дворов на вино. В этом случае бюджет государства недосчитался бы значительных сумм.

Повторно к этому вопросу правительство обратилось в первой половине 50-х годов. На этот раз статистические данные вполне удовлетворили власти, ибо помещичьи и казенные заводы могли полностью удовлетво-

ритель потребность казны в вине, а общая производительность всех заводов более чем в два раза превышала реальный спрос населения.

Как только была установлена способность казенных и помещичьих заводов полностью удовлетворить потребность питейных дворов, 19 июля 1754 г. последовал сенатский указ, предлагавший купцам в шестимесячный срок либо продать свои винокурни дворянам, либо сломать их⁷. Помещикам, таким образом, предоставлялась монополия на винокурение и поставку вина в казну. Интерес государства в данном случае состоял в том, чтобы сохранить купеческие заводы, а значит, и конкуренцию при заключении подрядов на поставку вина питейным дворам, но государственные интересы были принесены в жертву интересам дворянского сословия, разумеется, не всего, а прежде всего его верхушки. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на ведомость 1753 г. с фамилиями владельцев винокуренных заводов и емкостью кубов, которыми они были оснащены. Первую строку в этой ведомости занял сенатор П. И. Шувалов, известный прожектер елизаветинского царствования, радевший под видом общей и государственной пользы своекорыстным интересам. За ним следовали сенатор А. Л. Нарышкин, князя И. Ю. Трубецкой, А. Д. Голицын, И. В. Одоевский, президент Камер-коллегии князь М. Шаховской и другие титулованные дворяне.

Ведомость, составленная в 1765 г., свидетельствует о громадной концентрации поставок вина в руках немногих вельмож. Роль лидера сохранил сын П. И. Шувалова — директор Ассигнационного банка А. П. Шувалов, обязавшийся поставить около 220 тысяч ведер вина. Второе место по величине подряда занял обер-прокурор Сената А. И. Глебов, подрядившийся поставить около 180 тысяч ведер. Среди восьми подрядчиков, чьи подряды превышали 50 тысяч ведер, встречаем вдову генерал-фельдмаршала С. Ф. Апраксина, сенатора и действительного камергера И. Г. Чернышова, сыновей молдавского господаря Дмитрия Кантемира — Матвея и Сергея и др.

Поставщики крупных партий вина, разумеется, не могли обходиться без покупного сырья, для них винокурение являлось не только выгодным средством реализации товарного зерна своих вотчин, но и средством втягивания в рыночные отношения хозяйств своих соседей. Собственным зерном, как правило, обеспечивались владельцы мелких винокурен⁸.

Винокурение относилось к самой распространенной отрасли дворянского предпринимательства. Впрочем, массовость его была относительной: в 1765 г. поставщиками вина выступали около 160 помещиков, что составляло ничтожный удельный вес в общем их числе. Тем не менее недооценивать это явление не следует: оно свидетельствует, с одной стороны, о неуклонном втягивании помещичьего хозяйства в рыночные отношения, с другой — выпукло характеризует продворянский характер экономической политики правительства, всеми находившимися в его распоряжении средствами стремившегося содействовать приспособлению помещичьего хозяйства к новым условиям.

Правительство использовало еще одно средство оказания дворянам экономической помощи — оно обеспечивало их дешевым кредитом и тем

самым избавляло от опасности оказаться в цепких объятиях ростовщиков. Речь идет о создании в 1754 г. двух банков — Дворянского и Купеческого. О предпочтительном соблюдении правительством интересов дворян свидетельствуют суммы исходного капитала в этих банках и условия выдачи ссуд: изначальный капитал Дворянского банка составлял 750 тысяч рублей, в то время как Купеческого — только 500 тысяч рублей. Срок погашения ссуды в Дворянском банке достигал трех лет, в то время как в Купеческом — шести месяцев.

Поначалу Дворянский банк выдавал ссуду от пятисот до десяти тысяч рублей под залог крепостных. Мужская душа оценивалась весьма низко — в 10 рублей, хотя рыночная цена ее в то время равнялась 30 рублям. Этой расценкой правительство пыталось ограничить величину ссуд. Дворянам, не владевшим достаточной недвижимостью, ссуда выдавалась не более чем на один год при наличии «знатных и пожиточных поручителей». Если учесть, что ростовщики, ссужая заемщиков, взимали с них от 12 до 20 процентов годовых, чем, по словам указа, приводили дворян в «убожество и разорение», то банковские 6 процентов годовых были выгодными.

Дворяне ринулись в банк занимать деньги и быстро опустошили его незначительные ресурсы. Среди 400 клиентов банка самые крупные суммы получили заемщики из придворной знати, причем у некоторых из них суммы доходов с имений не доставало даже для погашения процентов. Срок погашения ссуды несколько раз продлевался и уже в 1761 г. достиг восьми лет, что, однако, не оказало существенного влияния на восстановление банковского капитала.

Помимо Дворянского и Купеческого банков были созданы еще два кредитных учреждения: в 1758 г. — Медный банк с капиталом сначала в 2 миллиона рублей, доведенным в 1762 г. до 6 миллионов, и Артиллерийский банк, основанный в 1760 г. Оба банка, созданные по инициативе П. И. Шувалова, прекратили существование в 1763 г. Их отличительной особенностью было то, что ссуды выдавались не только дворянам, но и промышленникам.

По идее, банки были призваны поддерживать начинание дворян в перестройке их крепостного хозяйства. Практически они не оправдали этих надежд, ибо львиная доля банковских ссуд оказалась в руках вельмож, использовавших их не для вложения в хозяйство, а на потребительские нужды. Общая сумма долга инициатора создания кредитных учреждений П. И. Шувалова, как упоминалось выше, превысила 680 тысяч рублей, канцлера М. И. Воронцова — 180 тысяч, вельмож А. Л. Нарышкина, А. И. Глебова, П. И. Репнина и др. — по 100 тысяч рублей каждого. Таким образом, банковский кредит, как и раздача казенных заводов, являлся санкционированным правительством ограблением казны⁴.

П.И. Шувалов сочинял проекты, по справедливой оценке Екатерины II, «хотя и не весьма для общества полезные, но достаточно прибыльные для него самого». В порядке исключения он осуществил реформу, оказавшуюся полезной всему обществу, — в данном случае интересы вельможи-про-

жектера совпадали с интересами широких кругов дворянства, купечества и крестьян. Именно такое общенациональное значение имела отмена внутренних таможенных пошлин. Подавая свой протест в Сенат в 1752 г., П. И. Шувалов писал о негативном влиянии таможенных пошлин на крестьянскую торговлю: крестьянин, доставивший из Троицы в Москву воз дров, может выручить за них 15 — 20 копеек. Из этой суммы он должен заплатить в Москве пошлину, мостовые в оба конца, расходовать деньги на себя и лошадь, так что в итоге такой крестьянин едва ли привезет домой половину вырученных денег.

Формально Шувалов радел об интересах крестьян, фактически и о своих собственных, ибо из выручки крестьянина какая-то доля перепадала и помещику в виде денежного оброка.

Сбор таможенных пошлин пополнял бюджет государства. Первоначально Сенат отклонил проект Шувалова на том основании, что отмена таможенных пошлин наносила ущерб казне. Проектер изобрел простой выход из положения, единодушно одобренный Сенатом: было установлено, что за последние пять лет среднегодовая сумма таможенных пошлин составила 903,5 тысячи рублей; вторая базовая цифра относилась к цене ввозимых в Россию и вывозимых из нее товаров; она равнялась 8 912 миллионам рублей. Чтобы компенсировать сумму сбора таможенных пошлин, Шувалов предложил увеличить пошлину с ввозимых и вывозимых товаров на 10 с лишним копеек с рубля. В конечном счете было решено взимать с экспорта и импорта пошлину в размере не 10% с долями, а 13%. В этом случае казна должна была оказаться даже в выигрыше, ибо сумма пошлин с внешнеторгового оборота превышала сумму сбора внутренних таможенных пошлин на 255 тысяч рублей. Шувалов справедливо отмечал не только фискальную выгоду казне, но и общую пользу: «Чрез сей способ неописанное зло и бедство, которое происходит крестьянству и купечеству, так и многим, конец свой возьмет», ибо прекратятся злоупотребления и вымогательства сборщиков внутренних пошлин, сократятся штаты, уменьшится расход бумаги и т. д.¹⁰ Главный итог отмены внутренних таможенных пошлин — устранение помех для развития внутренней торговли, что благотворно отразилось на экономике страны.

Не всем начинаниям в пользу дворянства сопутствовал успех. К числу неудач следует отнести попытку осуществить межевание земель. Как и подавляющее большинство мероприятий правительства Елизаветы Петровны, межевание осуществлялось в интересах дворянства. Его цели состояли в документальном оформлении прав дворянства на землю, а также в установлении границ между владениями. К межеванию проявило интерес и правительство, рассчитывавшее увеличить фонд казенных земель за счет изъятия площадей, захваченных помещиками у казны, на которые реальные владельцы не имели соответствующих документов. Межевая инструкция 1754 г. обязывала межевщиков строго проверять наличие документов, подтверждающих право на владение землей.

Межевщику инструкция предоставляла огромные права. Он утверждал право помещика на землю и межи между владениями, определял размеры участков, подлежащих изъятию их в пользу казны на том основании, что у помещика отсутствовали необходимые документы. Межевщику предоставлялось право продавать эти земли помещику из расчета не свыше 9 десятин на душу. Если межевщик обнаруживал умышленную порчу межевых знаков, то ему предоставлялось право без суда взыскивать с виновного штраф в размере 100 рублей.

Причина неудачи елизаветинского межевания была заложена в содержании межевой инструкции: оно преследовало интересы казны в ущерб интересам помещиков и вызывало повсеместный их протест — посыпались жалобы на произвол межевщиков, на утрату документов вековой давности и т. д. В итоге за 11 лет было обмежевано чуть более 57 тысяч десятин земли: межевание не было завершено на территории Московского уезда. Дело сдвинулось только с 1765 г., когда межевщики стали руководствоваться новой инструкцией, предоставлявшей помещикам широкие возможности для закрепления за собой ранее захваченных и освоенных земель.

Неудачу елизаветинского межевания можно считать досадным эпизодом ее царствования. В остальном ее правительство, как и ему предшествовавшие, неукоснительно и последовательно осуществляло политику расширения льгот и привилегий дворянского сословия, логически завершившуюся Манифестом, изданным ее преемником Петром III 18 февраля 1762 г.

Выше мы проследили процесс освобождения дворян от обязательной службы и обязательного обучения, обернувшийся в конце рассматриваемого периода новыми привилегиями. К этому надлежит добавить и постепенное расширение прав дворянина на личность и труд крестьянина, а следовательно, усиление бесправия крестьян и рост повинностей в пользу помещика.

При изучении положения крестьян историку приходится преодолевать неизмеримо больше трудностей и препятствий, чем при изучении дворянского сословия. Главная из них — ограниченное число нормативных актов, регламентирующих отношения крестьянина с государством и помещиком.

Труд крестьянина являлся источником благополучия его самого, государства и помещика. Несложная мысль при установлении квоты каждого из трех претендентов на результаты крестьянского труда состоит в том, что чем больше берет в свою пользу помещик, тем меньше остается государству, и наоборот, повышение повинностей в пользу государства влекло уменьшение доли продукта, получаемого помещиком. Само собой разумеется, что размеры продукта, оставляемого крестьянину, зависели от appetитов государства и помещика.

Из многочисленных повинностей крестьян и горожан фиксированной, то есть с точно установленным размером, была лишь одна — подушная подать в 70 копеек с крестьянской души мужского пола, принадлежавшей помещику, дворцовому ведомству и монастырям, 1 рубль 10 копеек с го-

сударственных крестьян и 1 рубль 20 копеек с горожан. Другая тяглая повинность крестьян и горожан — рекрутская — не считалась величиной постоянной и зависела прежде всего от того, в мирное или военное время производились рекрутские наборы, а также от размера потерь на театре военных действий. Так, в 1726 — 1732 гг. рекрутов набирали ежегодно от 15,7 тысячи до 22,7 тысячи человек, в то время как в годы войны за польское наследство и подготовки к войне с Османской империей (1733 — 1736) численность набираемых рекрутов увеличилась более чем вдвое и достигала 35,1 — 50,6 тысячи человек в год. Обычно одного рекрута должно было поставлять определенное количество крестьянских или посадских (городских) душ; чем больше ощущалась потребность в пополнении армии и флота, тем меньшее число душ поставляло одного рекрута. Колебания здесь были велики: от 50 — 100 душ до 500 — 1000 душ. Иногда рекрутов набирали не со всей страны, а в отдельных губерниях.

Рекрутская повинность являлась не единственной с непостоянным размером. К ним относятся периодически производившиеся сборы драгунских лошадей, привлечение крестьян и горожан на разнообразные строительные работы, полводная и постоянная повинности и др.

Что касается повинностей в пользу помещика, то их никто не регламентировал и их размер, как и формы, зависел от множества обстоятельств. В черноземной полосе помещик предпочитал вести собственное хозяйство, и уже в первой половине XVIII в. отчетливо прослеживается тенденция к переводу крестьян черноземья на барщину. Напротив, в нечерноземных районах помещик предпочитал взимать с крестьян оброк. Тому способствовали низкое плодородие почвы и возможность крестьян извлекать доходы из неzemледельческих промыслов.

Вовлечение помещичьего хозяйства в рыночные отношения повышало заинтересованность помещика в увеличении товарных излишков зерна, мяса, кожи, сала, шерсти и т. д. При рутинной технике сельскохозяйственного производства и использовании традиционной системы земледелия главным условием увеличения излишков, например зерна, могло стать только экстенсивное использование труда крепостного крестьянина. Оно осуществлялось двумя способами: увеличением числа дней работы крестьянина на барской пашне и увеличением продолжительности рабочего дня. Но оба способа использования крепостного труда таили серьезную опасность для судеб барщинного хозяйства: чрезмерное принуждение крестьянина обрабатывать барскую землю могло привести к исчезновению условий для простого воспроизводства крестьянского хозяйства, на котором держалось хозяйство барина: пашня обрабатывалась крестьянскими орудиями труда и крестьянскими лошадьми; чрезмерное напряжение физических сил крестьянина в страдные месяцы могло привести к утрате его трудоспособности. Эти обстоятельства вынуждали барина, как отмечалось выше, искать оптимальный размер использования крепостного труда в имениях.

Заметим, уже в первой четверти XVIII в. встречались хозяйства с четырехдневной барщиной в неделю. Так, известный соратник Петра Андрей

Виниус в инструкции приказчику, составленной в 1709 г., требовал от него, чтобы крестьяне подмосковных вотчин работали на себя только по два дня в неделю: пятницу и субботу¹¹.

Виниус, отличавшийся непомерной жадностью, вероятно, относился к числу немногих помещиков со столь суровыми требованиями к крестьянам в начале XVIII в. У большинства из них барщина не превышала трех дней в неделю. В 60-х годах XVIII в. четырех- и пятидневная барщина уже не являлась исключением. По четыре дня в неделю на барской пашне работали крестьяне Рязанской провинции, Переяславль-Залесского уезда. Надо полагать, барщинная повинность, превышавшая три дня в неделю, к концу столетия приобрела широкое распространение, ибо только этим и можно объяснить появление в 1797 г. известного указа Павла I о трехдневной барщине. Кстати, и этот указ не устанавливал норму трехдневной барщины, а всего лишь убеждал помещиков, что три дня «при добром распоряжении достаточны будут на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям»¹².

Рост владельческих повинностей легче всего проследить на размере крестьянского оброка — он из десятилетия в десятилетие неуклонно увеличивался. Без цифр здесь не обойтись. Приведем их минимум. В 1724 г., когда Петр I вводил подушную подать, ее размер был определен в 74 копейки, в то время как сумму помещичьего дохода с мужской души правительство определило в 40 копеек. Вывод ясен: подать почти в два раза превышала размеры дохода, получаемого помещиком. Отсюда и главный вывод: при Петре Великом государственный интерес превалировал над интересами дворянского сословия.

На протяжении XVIII в. размер подушной подати оставался неизменным, в то время как денежный оброк в пользу помещика повышался и к середине XVIII в. достиг одного-двух рублей. Более того: сохранившийся в прежних размерах номинал подушной подати при падении курса рубля свидетельствовал о реальном уменьшении ее размера. Рост владельческих повинностей крестьян сопровождался освобождением дворянского сословия от обязанностей, возложенных на него Петром Великим, и отражает общую тенденцию превращения дворянства в привилегированное сословие.

Чтобы помещик имел возможность извлекать в свою пользу повышенный оброк или принуждать крестьянина выполнять дополнительные работы на барщине, надобно было предоставить барину дополнительные права над крестьянами в сферах судебной, полицейской, административной. Законодательство на этот счет крайне бедно, здесь действовали не столько закон, сколько обычное право, традиции, на которые и опирался помещик. Этот факт признал даже Манифест 1861 г.: «Права помещиков доньше обширны и не определены с точностью законом, место которого заступали предание, обычай и добрая воля помещика».

Важным источником обычного права являются вотчинные инструкции. Историкам известны три типа инструкций, адресованных управителям трех основных разрядов крестьян: помещичьих, монастырских и дворцовых. Если каждая из помещичьих инструкций, единственная в своем

роде, уникальна, поскольку в известной мере отражала личность владельца, его вкусы, нравственный облик, меру образованности и милосердия, а также специфику региона, где находилось имение, то инструкции дворцового ведомства и учреждения, управлявшего монастырскими вотчинами, являлись типовыми, их нормы распространялись на территорию всей страны, на все монастырские и дворцовые владения. Этого рода инструкции с полным основанием можно отнести к бюрократическим творениям безликих чиновников монастырской и дворцовой администрации.

Бюрократические порядки, как известно, зиждутся на недоверии к чиновнику любого ранга, на необходимости строгого контроля и учета содеянного им. Отсюда множество статей в обеих инструкциях, либо заимствованных из практики правительственных учреждений, либо внесенных в текст из текущего законодательства. Обе инструкции роднит наличие значительного количества статей административно-полицейского содержания: об организации делопроизводства, ведении приходных и расходных книг, об обязанностях канцелярских служителей, о сборе подушной подати, а также окладных и неокладных доходов в пользу Дворцовой канцелярии и Синодальной коллегии экономии и т. д. В инструкции управителям дворцовых волостей можно обнаружить пункты, обязывавшие их искать шпионов, вести борьбу с разбойниками и корчемством.

Ряд пунктов типовых инструкций посвящен соблюдению агротехнических правил, уходу за скотом, лошадьми и т. д.

Третий срез инструкций — определение судебных функций вотчинной администрации и меры наказания крестьян и управителей за провинности. Мера наказания определена в самой общей форме: с управителя за упушение взимать штраф. Лишь в одном случае дворцовая инструкция за недобросовестную уборку урожая грозила суровым наказанием — нещадно избивать крестьян батогами.

Изобретательность авторов помещичьих инструкций относительно наказаний крепостных не идет ни в какое сравнение с вышерассмотренными. Определение степени виновности крестьянина и жестокости меры наказания зависело от свойств характера и вкусов помещика и его приказчиков. Одни из них преследовали леность и нерадивость, другие главным пороком, которому объявлялась беспощадная война, считали пьянство, третьи к главным преступлениям относили воровство и сквозь пальцы смотрели на прелюбодеяние, четвертые, наоборот, прощали воровство и жестоко наказывали супружескую неверность. Следовательно, каждый помещик руководствовался собственным «уголовным кодексом».

Из карательной власти барина и его приказчиков исключались всего лишь три вида преступлений: по «Слову и делу!», разбоям и смертоубийствам.

Перед нами две инструкции, составленные едва ли не самыми просвещенными помещиками своего времени: историком и администратором В. Н. Татищевым (1742) и известным публицистом и историком князем М. М. Щербатовым. Каждая из инструкций учитывает достиже-

ния агротехнической мысли своего времени. Нас в данном случае интересуют отношения между просвещенным помещиком и его крепостными. Обращает на себя внимание строгая регламентация хозяйственной, семейной и духовной жизни крепостных. Начинается инструкция с повеления приказчику строго следить за тем, чтобы каждая супружеская пара располагала двумя лошадьми, парой быков, семью свиньями, десятком овец, а также гусями и курами. Крестьянских детей надлежало с 5 до 10 лет учить грамоте, а с 10 до 15 — разным ремеслам, «дабы ни один без рукоделия не был».

Инструкция Татищева обязывала приказчика наблюдать, чтобы крестьяне не жили в праздности, «понеже от лености в великую нищету приходят», ленивые крестьяне «ни о чем больше не пекутся, как только узнать больше праздников».

Большинство помещиков принуждало в первую очередь обрабатывать барскую пашню, а затем свою, сено косить сначала на барина, а затем на себя. Татищев не составлял исключения. В этом плане монастырские крестьяне находились в более льготных условиях: после выполнения половины работ на монастырь им предоставлялось пять дней для работы на собственной пашне.

Рационализм Татищева можно обнаружить во многих пунктах его инструкции. Он проявлял заботу о процветании крестьянского хозяйства, принуждал подростков овладевать ремеслом, которым они могли заняться в свободное от сельскохозяйственных работ время. Василий Никитич имел в виду не только интересы крестьян, но и свои собственные, ибо только крестьянин, обеспеченный инвентарем и скотом, владевший к тому же ремеслом, мог исправно нести как государственные, так и владельческие повинности. Не случайно помещики дорожили крестьянами, владевшими ремеслом, и запрещали отдавать их в рекруты. Репутацию доброго и заботливого барина закрепляло предписание приказчику после выполнения страдных работ крестьян, «собрав, всех напоить и накормить из боярского кошту».

Патернализм Татищева проявлялся и при определении меры наказания: его следовало чинить не розгами и палками, не кнутом и батогами, а штрафами и голодом: «Штрафовать денежным штрафом и, сверх того, чинить наказание: не давать пить и есть, смотря по вине, до трех дней». Тем самым помещик избегал опасности нанести виновному телесные повреждения, превратив его в инвалида.

Инструкция М. М. Щербатова составлялась в 1758 — 1762 гг., то есть двумя десятилетиями позже татищевской, и поэтому существенно отличалась от нее. Она учитывала достижения агротехнической мысли того времени, в большей мере поощряла занятия вземлемельческими промыслами и т. д. В отличие от Татищева Щербатов допускал истязания палкой, а лучше батогами, но при этом, писал он, «должно весьма осторожно поступать, дабы смертного убийства не учинить иль бы не изувечить». Отсюда и рекомендации бить по спине и ниже, «ибо наказание чувствительнее будет»¹³.

Сопоставление инструкций первой половины XVIII в. позволяет сделать любопытное наблюдение: помещики, проявляя рвение в регламентации хозяйственной деятельности, а также семейной и духовной жизни крепостных крестьян, нередко устанавливали в инструкциях противоречивые нормы. В одних случаях крестьянам не разрешалось уходить на заработки, в других их к этому надлежало не только поощрять, но и принуждать. В одних случаях разрешалось нанимать на работу посторонних, в других — велено использовать только своих; в одних случаях девушек разрешалось выдавать замуж за посторонних, то есть за крестьян другого помещика или ведомства, в других — помещик обязывал невест выходить замуж только за своих.

В целом барин уполномочивал приказчика чинить над подвластными крестьянами суд и расправу. Это право не ограничивалось истязаниями, иногда барин, подражая государственной администрации, прибегал к пыткам, причем столь свирепым, что истязания и пытки завершались смертью.

Принято в качестве примера жестокого произвола и изуверства помещика рассказывать об истязаниях своих крепостных Дарьей Салтыковой, вошедшей в историю под именем Салтычихи. Овдовев в 1756 г., она шесть лет мучила своих дворовых, преимущественно женщин и девушек. Расправляясь с ними собственноручно, она пускала в ход первые попавшиеся предметы: палки, утюги, поленья, скалки. Прибегала она и к изощренным пыткам: обливала лицо горячей водой, поджигала волосы на голове, таскала за уши раскаленными щипцами, выставляла босых людей на мороз, морила голодом, надевала колодки и в них принуждала работать и т. д. Главный повод для наказаний — нечисто вымытые полы и бельё.

Конюхи, выполнившие палаческие обязанности, наказывали дворовых розгами, батогами, плетью, кнутами, забивая жертвы до смерти. Во время экзекуций она кричала: «Бейте до смерти, я сама в ответе и никого не боюсь, хотя бы от вотчин своих отстать готова! Никто ничего сделать мне не может». И действительно, хотя все это происходило не в глухом захолустье, а в Москве, изуверства Салтычихи долгое время оставались безнаказанными, все сходило ей с рук, даже собственноручные убийства. Она давала взятки деньгами и припасами полицейским чинам и священникам, и те покрывали убийства. 21 раз дворовые подавали челобитные, и столько раз следствие прекращалось. Излюбленным поводом для закрытия дела было заявление, что умершая после ее истязаний дворовая или подавшие жалобу дворовые находятся в бегах. Так продолжалось до 1762 г., когда двум крестьянам все же удалось вручить челобитную самой императрице. Но даже ее повеление начать расследование многие годы удавалось затормозить: оказалось, что генерал-прокурор Сената был хорошим знакомым Салтыковой, и та упорно отпиралась, не признавая своих злодеяний. В конечном счете она была обвинена в убийстве минимум 38 человек.

Приговор последовал только в 1768 г. — Юстиц-коллегия определила казнить Салтыкову отсечением головы, Сенат заменил смертную казнь наказанием кнутом и ссылкой на каторгу в Нерчинск. Екатерина смягчила

этот приговор: она велела лишить Салтыкову дворянского звания, выставить ее на эшафоте в течение часа с надписью: «Мучительница и душегубица», после чего отправить в женский монастырь в Москве, где до смерти содержать в темной подземельной келье.

В подземельной тюрьме Салтычиха сидела до 1779 г., когда ее перевели в каменный застенок, где она прожила до 1801 г., успев при этом родить ребенка от своего караульного.

Салтыкова была больной женщиной с явно садистскими наклонностями, и ее пример нельзя считать типичным. Но и здоровые, и психически уравновешенные помещики, пользуясь полной безнаказанностью, нередко прибегали к истязаниям и пыткам, заканчивавшимся смертью. Приведем пространное свидетельство одного из просвещенных людей второй половины XVIII в. о том, как он наказывал столяра, подверженного пьянству и воровству: «Посекши его немного, посадил я его в цепь в намерении дать ему посидеть несколько дней и потом повторять сечения понемногу несколько раз, дабы оно было ему тем чувствительнее, а для меня менее опасно, ибо я никогда не любил драться слишком много... и если кого и секал, будучи приневолен к тому самою необходимостью, то секал очень умеренно и отнюдь не тираническим образом, как другие». Среди этих «других» Андрей Тимофеевич Болотов знал помещика, который, напившись допьяна, велел подвергнуть телесному наказанию всех дворовых подряд, а одна барыня била башмаком по лицу провинившихся девушек, а барин жег углями подошвы ног.

Наказания, удовлетворявшие барскую прихоть, были столь обычны, что примеры их можно приводить без конца. Не случайно среди крестьян была распространена поговорка: «Тело государево, душа Божья, спина барская». Не подлежит сомнению, что барский произвол вырабатывал дух повиновения и покорности, создавал менталитет русского человека, дававший о себе знать и много времени спустя после отмены крепостного права.

Итак, внутренняя политика правительств рассматриваемого времени заслуживает неоднозначной оценки: в одних случаях она осуществлялась наперекор политике Петра Великого, в других — являлась ее продолжением, осуществлявшимся, правда, с меньшим размахом. К первой группе нормативных актов относятся законы, расширявшие привилегии дворянства, завершившиеся обнародованием манифеста о вольности дворянства. Что касается крестьянского вопроса, то политика правительств, проводимая на протяжении 37 лет, также неоднозначна. С одной стороны, усиливалась власть помещика над личностью и результатами труда крепостного крестьянина. В этом плане преемники Петра продолжали политику, наметившуюся еще в XVII в. и четко прослеживаемую в правление царя-преобразователя: функционировала паспортная система, в 1743 — 1747 гг. была проведена вторая ревизия. Обе меры правительства наряду с фискальными целями имели в виду борьбу с бегством, они ограничивали миграцию населения. С другой стороны, секуляризация церковных име-

ний, о которой будет сказано в соответствующей главе, облегчила положение монастырских крестьян.

В торгово-промышленной политике в некоторых случаях обнаружилось лишь внешнее сходство акций, предпринятых преемниками Петра, с политикой, проводимой в первой четверти XVIII в.: Петр и его преемники передавали действующие казенные предприятия частным лицам. Нетрудно, однако, обнаружить принципиальное различие между передачей Петром мануфактур купцам и передачей мануфактур вельможам. В первом случае достигалась цель ускоренного развития промышленности, во втором — правящая верхушка набивала карманы казенным добром, чтобы тут же растратить его. В то же время и после Петра продолжали действовать такие элементы промышленной политики, несомненно, благоприятствовавшие развитию промышленности, как обеспечение мануфактур принудительным трудом покупных и приписных крестьян, освобождение мануфактуристов от постоянной и подводной повинностей и городских служб. Новым в этой поощрительной политике торговли и промышленности было учреждение банка для купечества, предоставлявшего дешевый кредит.

Существенные изменения произошли и в структуре государственной власти — на протяжении 37 лет последовательно сменяли друг друга учреждения, наделенные широкими полномочиями и пользовавшиеся доверием лиц, занимавших трон: Верховный тайный совет, Кабинет министров, Конференция при высочайшем дворе и позднее Совет при императоре Петре III. Устойчивая надобность в подобных учреждениях, с одной стороны, являлась следствием неспособности владевших короной детей и женщин реализовать принадлежавшую им власть. Они, будучи абсолютными монархами, практически царствовали, но не управляли. Однако это объяснение не является исчерпывающим потому, что Екатерина II, хотя и царствовала и управляла и, несомненно, обладала достоинствами крупномасштабного государственного деятеля, тем не менее не могла обойтись без аналогичного учреждения и в начале 1769 г. создала Совет при высочайшем дворе. Правда, роль Совета при Екатерине ограничивалась совещательными функциями, и он не уподоблялся Верховному тайному совету или Кабинету министров, практически правившими страной от имени государынь и государей.

Глава 2

ВОЙНЫ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ УСПЕХАМИ

С оценкой советской историографией внешней политики России после смерти Петра надобно согласиться, но с существенными оговорками. Бесспорно, преемники Петра пытались продолжать начатое им дело, но претворяли его в жизнь с весьма скромными результатами при огромной затрате материальных и людских ресурсов.

Одна из главнейших задач, стоявших перед страной после заключения Ништадтского мира, состояла в отстаивании приобретенного выхода к Балтике. Поверженная Швеция не желала смириться с потерей своих прибалтийских провинций, и от нее ожидали реванша. Другая задача, унаследованная от XVI — XVII вв., заключалась в борьбе с крымскими татарами и стоявшей за их спиной Османской империей. Крымцы по традиции и в XVIII в., правда, с меньшими успехами — совершали опустошительные набеги на южные уезды Украины и России, и надобно было находиться в постоянной готовности давать им отпор.

Ничтожная эффективность внешнеполитических акций правительства объяснялась множеством причин. Едва ли не главную из них следует искать в экономике страны, подорванной длительной Северной войной. Требовалось время на ее восстановление и приведение в соответствие платежеспособности населения с суммой взимаемого с него налога. Из года в год в бюджете возникал дефицит, что вело к упадку как армии, так и особенно военно-морского флота: корабли гнили у причалов Кронштадта и Ревеля. Средства на восстановление флота отсутствовали.

Не меньшее значение имело безвременье на троне, сопровождавшееся безвременьем в дипломатии и вооруженных силах, отданных на откуп немцам. Петровское время выдвинуло талантливую плеяду дипломатов, полководцев и флотоводцев: Ф. А. Головина, Б. П. Шереметева, А. Д. Меншикова, М. М. Голицына, А. И. Репнина и др.

После Петра традиции были на многие годы утрачены, они начали восстанавливаться при Елизавете Петровне, когда у истоков своей военной карьеры находились П. А. Румянцев и А. В. Суворов.

На протяжении рассматриваемого времени Россия вела четыре войны: за польское наследство, с Османской империей, со Швецией и, наконец, с Пруссией. Разные цели войны, разные противники, разные полководцы, и тем не менее они обнаруживают общую черту: у кормила правления стояли бездарные дипломаты и столь же бездарные полководцы. Русские армии одерживали победы, но дорогой ценой, неся огромные потери в живой силе. Нередко жертвы и успехи на театре военных действий сводились на нет дипломатией.

Война за польское наследство — незначительный эпизод, быстротечная операция, тем не менее она имела огромное значение не столько для истории России, сколько для истории Речи Посполитой, явившись важным шагом на пути активного вмешательства соседей в ее внутренние дела, которое в конечном счете привело к исчезновению Речи Посполитой как суверенного государства.

1 февраля 1733 г. оборвалась бурная жизнь саксонского курфюрста и польского короля Августа II. Он вошел в историю под именем Августа Великого, или Августа Сильного. Заметим, второе имя более соответствовало королю. Он действительно был человеком физически крепким, без напряжения ломал подковы и гнул серебряные монеты. Но европейскую славу он снискал двумя свойствами своей натуры. Во-первых, никто не мог состязаться с ним в употреблении горячительных напитков. Его смерть явилась результатом чрезмерного возлияния во время роковой для него поездки из Дрездена в Варшаву. Во-вторых, отличался он и своими амурными похождениями: молва приписывала ему отцовство 354 детей. Неизменная веселость, жизнерадостность, утонченная любовьность, повадки султана в гареме по отношению к дамам придавали его имени популярность, хотя известно, что за улыбками и приветливостью скрывались жестокость, эгоизм, готовность в любую минуту отказаться от своих обещаний либо проявить коварство, если того требовали его личные интересы.

В столицу Речи Посполитой он прибыл 16 января смертельно больным. Август II мечтал сделать польский престол наследственным, но не успел. Короля, как и раньше, надлежало избирать на сейме.

Претендентов на польскую корону было великое множество как среди иностранных принцев, так и среди природных поляков, но теперь уже ничего нельзя было добиться без иностранной помощи. Именно поэтому реальные шансы на занятие трона имели два кандидата, каждый из которых поддерживался блоком государств: сын Августа II — саксонский курфюрст Август III, поддерживаемый Россией и Австрией, и Станислав Лещинский, рассчитывавший на помощь Франции и Швеции. Оба претендента ничем примечательным не отличались. 37-летний Август III в отличие от энергичного и наполненного страстями отца был холоден, молчалив, инертен, а главное, ленив. Его сближали с отцом лишь любовь к охоте, маскарады и галантное обхождение.

Невозможно обнаружить какие-либо выдающиеся достоинства и у Станислава Лещинского, кроме того, что он дважды избирался на королевский трон и столько же раз изгонялся с него.

Первый раз избрание произошло 12 июля 1704 г., когда Карлу XII приглянулся молодой познанский воевода Станислав Лещинский и сейм по настоянию шведского воителя избрал его королем. Единственное «достоинство» Станислава состояло в полной его пригодности в качестве марионетки, ибо он обладал слабой волей и полной покорностью. Он чувствовал себя в безопасности под надежной защитой шведских войск.

Станиславу удалось пронести корону пять лет, и судьба его решилась у стен Полтавы 27 июня 1709 г. После разгрома шведской армии Карла XII шведский генерал Крассау, сколько его ни умолял Станислав остаться в Речи Посполитой, должен был ее покинуть и двинулся спасать Померанию. Вместе с ним отправился и Станислав Лещинский. Для него наступили не лучшие времена: с королевским титулом, но без армии и денег, он готов был вступить с занявшим его место Августом III в переговоры о возвращении ему наследственных владений и пожаловании доходов с нескольких старост, однако шведский король запретил ему унижаться и попрошайничать.

После возвращения Карла XII из турецких владений в Швецию жизнь Станислава в материальном отношении стала вольготнее — ему был назначен пенсioen. Так продолжалось до трагической гибели Карла XII в 1718 г. Станислав вновь начал испытывать лишения, должен был переселиться во Францию, где ему сказочно повезло. У короля-скитальца была дочь Мария, не отличавшаяся красотой, но покорявшая молодых людей хорошим сложением, тихим нравом и скромностью. В 1725 г. Людовик XV обвенчался с Марией Лещинской. Отныне Станислав Лещинский приобрел не только пристанище и материальное благополучие, но и покровительство короля великой европейской державы. Этой женитьбе французская дипломатия придавала огромное значение, поскольку брачные узы подкрепляли политические притязания Франции.

Где истоки враждебности Франции к России? В ее стремлении главенствовать в континентальной Европе и всячески препятствовать возведению России в ранг европейской державы. Еще при Петре Великом усилия французской дипломатии были нацелены на то, чтобы держать Россию в состоянии военного напряжения и лишить возможности вмешиваться в европейские дела. Не без ее усилий Османская империя в 1710 г. объявила войну России, она же оказывала финансовую помощь Швеции в Северной войне и пыталась выполнять в интересах Швеции посредническую роль в мирных переговорах.

Швеция и Османская империя — две страны, одна на севере, другая на юге — готовы были по наускиванию Франции открыть военные действия против России. Руководствовались они при этом не интересами Франции, а своими собственными, жадной реванша: северный сосед — за невыгодные для него условия Ништадтского мира, южный — за утрачиваемое влияние на Крымском полуострове и Азовском море. Чтобы создать сплошную линию враждебных России государств на ее западных границах, недоставало одного звена — Речи Посполитой. Именно поэтому Франция

проявляла живейший интерес к преемнику престола Речи Посполитой — послушный ей король обеспечил бы эффективное влияние на Россию. По этой же причине и в России небезразлично относились к кандидатуре, которую должен был избрать сейм Речи Посполитой королем. Личные достоинства, способности править страной игнорировались совершенно, учитывалось лишь одно качество — готовность безоговорочно выполнять волю страны, поддерживавшей кандидатуру в короли. В этом плане ни Россию, ни Австрию не устраивал Станислав Лещинский, явный ставленник Франции. Поначалу обе державы, Россия и Австрия, готовы были согласиться с любой кандидатурой, в том числе и из поляков, но решительно выступали против Станислава Лещинского.

Позицию России можно понять. Равным образом понятна и позиция поляков, считавших, что Россия и Австрия вмешиваются в их домашние дела и навязывают им своего кандидата в короли. Стремление сохранить волюности и право самим избирать короля и обусловили враждебное отношение большинства магнатов и шляхты к кандидатуре, поддерживаемой Россией и Австрией. Видную роль в возбуждении враждебного отношения поляков к Августу III играл архиепископ гнезненский, или примас, вполне заменявший главу государства в период бескорольевья. Примасом оказался Федор Потоцкий, сторонник Станислава, следовательно, противник России.

В апреле 1733 г. был создан так называемый конвакационный сейм, на который возлагалась обязанность четко определить, кого поляки хотят избрать королем. Кандидатура не называлась по имени, но она должна была удовлетворять трем требованиям: кандидат должен быть природным поляком, католиком и женатым на католичке. Ясно, этим требованиям удовлетворял Станислав Лещинский и ни в какой мере не удовлетворял второй претендент — Август III. После смерти Августа II примас предпринял еще одну меру против саксонцев, которых открыто ненавидел: по его настоянию конвакационный сейм принял постановление о выезде из Речи Посполитой всех саксонцев, служивших при дворе Августа II. Ремесленники немецкой национальности, жившие в Варшаве, опасаясь преследований, тоже выехали на родину.

Началась агитация за своих кандидатов, ловля голосов на избирательном сейме. Самым обычным и надежным способом обретения сторонников считалась примитивная их купля: заинтересованная сторона ассигновала немалые суммы, чтобы одаривать магнатов и влиятельных шляхтичей, устраивать приемы, празднества. Франция на это дело отпустила более миллиона ливров, из Вены в Варшаву было доставлено 100 тысяч червонцев. Прибывшее из Дрездена роскошное саксонское посольство вербовало сторонников Августа III устройством открытого стола, за которым восседало 40 человек ежедневно. Это была тайная дипломатическая игра, которую, разумеется, не афишировали. Наряду с войной золотом велась война перьями — в Речи Посполитой сторонники соперничавших претендентов на корону убеждали избирателей в преимуществах и достоинствах

своего кандидата. Впрочем, под анонимным автором одной из брошюр, названной «Братское предостережение», выступал сам претендент на трон — Станислав Лещинский. Брошюра убеждала читателей в отсутствии надобности избирать короля: он был избран еще в 1704 г. и под давлением оружия вынужден был покинуть и трон, и страну. Автор не скупился на обещания соблюдать польские вольности и обращался с призывом к Станиславу побыстрее прибыть в Варшаву, а к сейму — не медлить с вручением короны, чтобы тем самым лишить возможности соседей вмешиваться в их внутренние дела.

В противовес этой брошюре противоположный лагерь выпустил другую, под названием «Откровенное и беспристрастное мнение о современном положении нашего государства и о свободе избрания короля, высказанное честным и заботящимся о благе своего отечества польским патриотом по настоятельной просьбе его друзей». Под личиной «польского патриота» выступал не поляк, а австрийский дипломат. Автор убеждал в тщетности надежд на Францию — она далеко от нас. Надобно положиться на ближайших соседей, с которыми следует поддерживать дружеские отношения. Полемизируя с «Братским предостережением», автор «Откровенного и беспристрастного мнения...» доказывал, что Станислав в 1704 г. получил корону по милости шведского короля, ибо тогда никто не желал «возложить на свою главу этот терновый венец». Тогдашнее избрание короля объявлялось незаконным. Избрание Станислава королем нельзя допустить еще и потому, что он союзник извечного врага польского народа — Османской империи.

Противники Станислава выпустили еще одну брошюру под длинным и витиеватым названием. Основная мысль брошюры — защита правления Августа II, «оскорбленного продерзостью какого-то дикого зверя, а не человека». Автор не жалеет бранных слов в адрес сочинителя «Братского предостережения», называет его «подлейшей мухой» (которая смеется над умершим львом), клеветником и полагает, что ему следовало бы выколоть глаза. Общий вывод таков: Станислав должен баллотироваться вновь, ибо выборы 1704 г. были незаконными.

Примас несколько не искажал ситуацию, когда заявил трем союзным послам (Австрии, России и Пруссии), что, чем больше они будут оказывать противодействие избранию Станислава, тем надежнее его шансы быть избранным. Действительно, подавляющее большинство поляков отдавало предпочтение Станиславу. 9 сентября он инкогнито прибыл в Варшаву, а открывшийся 12 сентября избирательный сейм единогласно провозгласил его королем.

В сложившейся обстановке русская дипломатия использовала прием, который позже будет взят на вооружение русским двором: все, кто был недоволен постановлением конвакационного сейма и Лещинским, при помощи русского посла в Варшаве организовали протест так называемых «доброжелательных», обратившихся к русскому двору с декларацией, в которой обвиняли Францию в нарушении права поляков на свободный выбор

короля. «Мы признаем королем того, — написано в декларации, — кто окажется достойнейшим и кого даст нам Бог, будет ли это пяст (поляк. — *Н. П.*) или чужестранец». Под последним подразумевался Август III, так как саксонский двор убеждал всех, кто был против Лещинского, что лучшей кандидатуры, чем саксонский курфюрст, полякам не сыскать.

В противовес избирательному сейму в Варшаве, провозгласившему королем Станислава, менее представительный сейм в Праге (на нем присутствовало 15 сенаторов и до 600 человек шляхты) избрал королем Августа III.

Примас и сенаторы были убеждены в плачевном состоянии армии России, что, по их мнению, не позволит императрице послать в Речь Посполитую войска, чтобы навязать ей королем Августа III, но просчитались. Еще накануне созыва избирательного сейма Анна Иоанновна велела графу Ласи перейти границу и форсированным маршем двигаться к Варшаве, чтобы упредить избрание Станислава королем. Манифест союзников (Австрии, России и Пруссии), обращенный к полякам и европейским дворам, объяснял причину вторжения русских войск: «Союзные державы решились не дожидаться сомнительного исхода избирательного сейма, но заблаговременно загородить путь к престолу тому кандидату, который объявлен законами Речи Посполитой врагом отечества».

Примас и сенаторы допустили еще один просчет. Они надеялись на немедленную и реальную помощь Франции, полагали, что Людовик XV не оставит в беде своего тестя и не пожалеет ни войска, ни денег, чтобы возвести его на польский трон, но опять ошиблись. В то время как русские войска маршировали к Варшаве, Людовик XV ограничился объявлением еще 17 марта 1733 г. декларации всем европейским дворам, что он не потерпит вмешательства в польские дела. Не жалели ливров, но пока воздерживались подкрепить подкупы военной силой. Отчасти эта пассивность Франции объяснялась равнодушием короля к военной славе, отчасти — отсутствием страсти к супруге, чтобы ради нее помочь ее отцу, но главным образом опасением быть втянутым в серьезный военный конфликт, требовавший немалых расходов для приведения в порядок флота, организации десанта для отправки в устье Вислы.

Избранный королем Станислав не стал дожидаться прибытия к Варшаве русских войск и, чтобы не оказаться их пленником, решил бежать в Данциг, рассчитывая укрыться за его крепостными стенами и там обождать обещанной подмоги из Франции. К Данцигу отправился и Ласи. И хотя к этому времени в Речи Посполитой находилось 50 тысяч русских войск, Ласи мог взять только 12 тысяч человек. Осаждать Данциг с его гарнизоном, превышавшим 30 тысяч человек, и добиться успеха — бесполезно.

Начался новый этап борьбы против Станислава Лещинского — дипломатию сменили военные действия. Произошла смена и в командовании русскими войсками.

Претензий к действиям Ласи в Речи Посполитой двор будто бы не высказывал. Тем не менее фельдмаршал Миних 10 февраля 1734 г. получил

именной указ «немедленно ехать прямо отсюда на почте к стоящему под городом Гданском корпусу нашего войска и оный под свою команду принять и повеленные действия против одного города и имеющую в Польше неприятельскую сторону и Станиславских адрегентов производить...»¹.

Видимых и деловых причин смены главнокомандующего мы не обнаруживаем. Остается согласиться с версией, высказанной адъютантом Миниха полковником Манштейном, то есть человеком, хорошо осведомленным и о придворных интригах, и о частной жизни фельдмаршала. Манштейн, как и прочие современники, отмечал беспредельное честолюбие своего шефа. В самом деле, к времени своего назначения фельдмаршал занимал множество должностей: президента Военной коллегии, генерал-фельдцейхмейстера, Петербургского генерал-губернатора, главного фортификатора империи, шефа кадетского корпуса, управляющего Ладожским каналом. Для полного удовлетворения тщеславия фельдмаршалу недоставало самой малости — стать фаворитом императрицы, заняв место Бирона. Некоторых успехов он достиг и здесь — во всяком случае, Бирон заметил, что Анна Иоанновна начала проявлять благосклонность к фельдмаршалу, и принял срочные и энергичные меры: дворец, где жил Миних, находился рядом с императорским, и фельдмаршал имел возможность часто общаться с Анной Иоанновной. Для начала Бирон решил лишить своего соперника этой возможности и уговорил императрицу в 24 часа освободить дворец и переселиться в новое помещение по ту сторону Невы. Ревнивец, однако, не мог чувствовать себя в полной безопасности, пока соперник не будет удален от двора, — так появился указ о назначении Миниха в действующую армию.

Фельдмаршал во исполнение указа действительно отправился под Данциг «немедленно». Во всяком случае, он уже 14 февраля рапортовал о прибытии в Ригу. Поспешное движение к Данцигу объяснялось не только манерой Миниха действовать быстро и энергично, но и соображениями военного характера: в Петербурге рассудили, что с Данцигом надлежит покончить до освобождения моря ото льда и тем самым лишить Францию возможности оказать помощь осажденному городу высадкой десанта.

Еще до прибытия под Данциг и до ознакомления с обстановкой на месте в разгоряченной честолюбивыми замыслами голове Миниха роились надежды на ожидаемый успех и военную славу, которую он непременно обретет, взяв Данциг. В этих планах, нередко авантюрных, как и хвастливых, весь Миних. Суть его натуры, на наш взгляд, метко и лаконично раскрыл С. М. Соловьев: Миних всюду, где ему доводилось быть, действовал, «не щадя трудов, еще меньше шадил слов для выставления этих трудов»². В данном случае Миних не шадил слов еще до трудов, когда рапортовал императрице из Мемеля 22 февраля 1734 г.: «Ваше императорское величество, верно обнадеживаю, что я, по прибытии моем к армии, город Гданск так осадить через Божью помощь уповаю, что из одного и в оный никто, кроме бомб и ядер, которые со стороны вашего величества посылаться будут, попасть не может». На обещания фельдмаршал не ску-

пился: он грозился привести город в такое «утеснение», что тот примет условия его ультиматума, и войска императрицы приобретут славу и денежную компенсацию от строптивного населения города, предоставившего приют Станиславу Лещинскому.

Это было пустое бахвальство фельдмаршала, с которым мы и впредь будем встречаться довольно часто. Данциг — первоклассная крепость, со стороны суши почти неприступная, снабженная добротными оборонительными сооружениями перед стенами крепости, впрок снабженная артиллерией и ядрами, а население — запасами продовольствия на несколько лет. Правда, из 30-тысячного гарнизона только треть относилась к регулярным войскам, а остальные были вооруженными горожанами, но и этих сил вполне достаточно, чтобы противостоять 12-тысячному корпусу осаждавших. Город не склонен был капитулировать еще и потому, что в нем находился король Станислав, множество знатных его сторонников и французский посланник маркиз де Монти, обещавший непреклонную помощь Франции. Если к этому прибавить недостаток пушек и ядер, отсутствие осадной артиллерии и малочисленность корпуса русских, то на быстрый успех Миниху рассчитывать не приходилось.

Миних начал с пополнения корпуса нападавших, доведя их до 16 тысяч человек, а также с доставки артиллерии. В ответ на отказ выдать Станислава и признать королем Августа III Миних предпринял атаку на предместье Данцига Шотландию и овладел им. Напыщенные слова в реляции о победе далеко превосходили ее реальные результаты: «...С великою радостью доношу, что всесильный Бог славно в. и. в. армии счастье и победу даровал и ваши неприятели посрамлены, ибо малый корпус обретающихся под моею командою храбрых офицеров и солдат предместье, сильными ретраншаментами, редутами и батареями снабденное, здесь, под Гданском, именуемое Шотландия, сегодня рано, обнаженным мечем, взял, неприятелей по жестокой баталии побил, пушки, пушечные ядра и порох отобрал...»³. В реляции то и дело встречаются хвалебные слова в свой адрес: «сам распорядился» солдатами, «я паче на справедливое в. и. в. оружие против сего города и храбрость моих офицеров и солдат положили» и др.

Сравнительно легкая победа с незначительными потерями при овладении Шотландией дала повод Миниху штурмовать Гегельсберг. Эта атака закончилась полным провалом и стоила русским войскам огромных потерь — если верить Миниху, то 673 человека убитыми и 1418 ранеными. Фельдмаршал 7 мая утешал императрицу: «И хотя я о сем упадке весьма сожалею, только при атаке такого крепко противящегося города и имеющегося довольно гарнизон и сильную артиллерию, без того пробыть никак невозможно»⁴.

Ожидавшаяся помощь от Франции наконец появилась — 13 мая на рейде показались 11 кораблей, высадившие в помощь Данцигу десант численностью чуть больше двух тысяч человек. Атака десанта, подкреплённая вылазкой из города, была успешно отбита русскими войсками. Надежды осажденных на помощь извне таяли с каждым днем. В особенности они

ослабели после появления в данцигском рейде русского флота, доставившего артиллерию.

Далее в данцигской эпопее произошло несколько странных событий. Миних, как мы помним, еще на пути к Данцигу намеревался полностью блокировать город. В донесении от 22 марта 1734 г. фельдмаршал смягчил категоричность первого заявления: он хотя и подтвердил, что «коммуникация уже вся отрезана», но не исключал возможности выйти королю из осажденного города «в нищенском или поповском платье». 26 мая новые заверения: «Станислав со своими агрегентами поныне в Гданске обретается и без смертельного страха или пленства из города выйти не может»⁵. 18 июня маршал заверял двор, что учрежденные им заставы крепко стегнут все выходы из осажденного города. И вдруг неожиданное известие от 26 июня: Станислав из Данцига бежал. В приписке к донесению содержатся подробности бегства, которые должны были убедить читателя, что он, Миних, сделал все возможное, чтобы воспрепятствовать исчезновению короля. Сам Станислав будто бы заявил в Мариенвердене, когда находился в безопасности, что «он не человеческой мудростью, но Божеским поведением прошел», что ему довелось находиться в пути семь дней «и по целой миле в воде до пояса сквозь болотные места продирались», что он, избегая опасности, «пролеживал в болоте и в хвоще».

Показания Станислава в передаче Миниха вновь вызывают удивление: «Как Бог провел, понеже-де российские посты так часто расставлены, что токмо темные ночи, мизерное мужичье одеяние и что пешу шел — в том его уходе пособили»⁶.

Изложенные выше обстоятельства бегства Станислава из Данцига вызывают множество недоуменных вопросов: как мог человек, не подготовленный соответствующими тренировками, к тому же в преклонном возрасте, семь дней пребывать в условиях, требовавших и безупречного здоровья, и огромного напряжения физических сил; как мог он без проводника обойти заставы; как, наконец, он решился отправиться в путь, не зная, в каком месте его подстерегает опасность быть затянутым в болоте, и др.? В этой связи возникает подозрение, не оказывал ли помощь беглецу сам Миних? Эта догадка основывается не только на нелогичности описания происшедших событий и на доносе, прямо обвинявшем Миниха в получении мзды. Из-за смерти доносителя следствие по доносу не велось.

Второе событие, тоже воспринимаемое как странное, связано с капитуляцией Данцига. Военные историки в оценке способности крепости выдержать продолжительную осаду единодушны. Странно выглядит пассивность оборонявшихся. Если учесть, что ко времени капитуляции Данцига численность осаждавших чуть превышала 16 тысяч человек, то обороняющиеся, имея у себя 10 тысяч регулярных войск и 20 тысяч вооруженных горожан, могли с успехом совершать вылазки, ликвидируя результаты осадных работ. Фельдмаршал дал следующее объяснение: «Я за немалое незапно счастье причитал, за которое Богу благодарение должен, что токмо одними угрозами и страхом такую капитуляцию получил»⁷.

За этим объяснением видно стремление Миниха зачислить капитуляцию в разряд личных заслуг. Способность Миниха внушать противнику страх угрозами не подлежит сомнению. Но они оказались бы неэффективными, если бы были адресованы гарнизону и населению, готовым до конца защищать права Станислава на трон. Но в том-то и дело, что подобная убежденность отсутствовала не только в данном конкретном случае, но и во всех остальных, где в движении участвовали конфедерации. Вместе с исчезновением короля исчезла и надобность в защите его прав, — Данциг капитулировал, как только стало известно о бегстве короля. Поэтому Миних сильно завышал свои заслуги в капитуляции Данцига.

Третья странность, нуждающаяся в пояснениях, связана с потерями русской армии. Осада Данцига продолжалась с 22 февраля, когда к городу подошел корпус Ласи, и кончая 30 июня, когда были подписаны условия капитуляции. За это время русские войска, по данным Манштейна, потеряли свыше восьми тысяч солдат и около двухсот офицеров*. Во время осады произошло лишь одно значительное сражение — штурм Гагельсберга. Осада Данцига не завершилась штурмом, во время которого как раз и гибли осаждавшие. Но из этого следует, что русская армия основные потери несла не от вражеских пуль и ядер, а от болезней, перенапряжения физических сил солдат. Заметим: бесчеловечное обращение с солдатами, отсутствие заботы о них и, как следствие этого, — высокая смертность в армии от болезней сопутствуют всей полководческой деятельности фельдмаршала Миниха в России, что мы будем не раз отмечать в дальнейшем. Подобного обращения с солдатами не допускали ни Б. П. Шереметев, ни М. М. Голицын, ни А. И. Репнин, заслужившие их любовь. Сколь мало ценил солдатскую жизнь фельдмаршал Миних, свидетельствует хотя бы неподготовленная атака Гагельсберга. Взятием этого укрепленного пункта Миних намеревался одарить императрицу в очередную годовщину празднования дня ее коронации.

В итоге, однако, Россия достигла своего — неугодный ей король вынужден был навсегда расстаться с мечтой водрузить на свою голову корону и должен был вернуться во Францию. На Данциг была наложена контрибуция в сумме двух миллионов ефимков, один из которых являлся наказанием за то, что население не помешало бегству короля. Императрица смягчила условия капитуляции, вдвое уменьшив размер контрибуции.

Располагала ли Россия возможностью соблазнить собственный интерес, не ущемляя интересов Речи Посполитой? Альтернативой введению войск было смиренное наблюдение за тем, как Франция на границах России создавала блок враждебных ей государств. Подобную позицию можно было бы с полным основанием назвать предательской. Будущее показало, что такой блок был бы крайне опасным для сохранения суверенитета России. Первой предприняла против России враждебные акции Османская империя.

В Стамбуле были заинтересованы в том, чтобы трон занял Станислав Лещинский, но реальной помощи оказать ему не могли, ибо Османская

империя полностью была озабочена войной с Ираном, в которой она терпела одну неудачу за другой. Эта война, кстати, вызвала обострение отношений России с Портой. В Стамбуле решили отвлечь силы иранского шаха Тахмаса-кулы-хана, наступавшего на Багдад, диверсией крымских татар в северные провинции Ирана. Султан и раньше использовал крымцев против Ирана, но тогда они либо переправлялись морем в Трапезунд, либо двигались к иранским границам через Стамбул. В начале 1733 г. султан велел татарам держать путь к северным провинциям Ирана через Кавказский хребет. Не испросив разрешения у России, крымцы должны были вторгнуться на ее территорию. Узнав об этом намерении, русский резидент в Стамбуле Иван Иванович Неплюев заявил везиру протест, но тот ответил, что менять направление движения крымцев уже невозможно, и просил резидентахлопотать разрешение русского двора на пропуск войск вассала. Не ожидая ответа из Петербурга, крымцы отправились в путь. Везир убеждал Неплюева, что ничего страшного не произойдет: татарское войско если и окажется на русской земле, то всего лишь в течение трех часов, к тому же территория эта никем не заселена.

На этот раз до войны дело не дошло, ибо оба потенциальных противника по горло были сыты другими делами: Россия — польским наследством, а Османская империя — войной с Ираном. Как ни старался французский посол в Стамбуле Вильнев толкнуть османов на объявление войны России, его призывы повисли в воздухе. На этот раз дело ограничилось лишь угрозами об объявлении войны.

Повод для объявления войны дала не только Османская империя, но и Россия, вторжением в Речь Посполитую нарушившая условия Прутского договора 1711 г., по которому она обязалась не вмешиваться в польские дела и не вводить туда войска. Неплюев не знал, как ему обходиться с османами в сложной обстановке, когда у России руки оказались связанными польским наследием. Он требовал указаний двора, как ему держаться: «С одной стороны, принимая во внимание польские дела, удаляюсь от ссор, а с другой — боюсь нарушить интересы и честь вашего величества, боюсь возбудить гордость турок и усилить французские мечтания»⁴.

На этот раз дело до военного конфликта не дошло: Османская империя смирилась с введением русских войск в Речь Посполитую, а Россия — с проходом крымцев на Кавказ через ее территорию. Ободренные отсутствием серьезного военного сопротивления со стороны России, османы в 1735 г. вновь направили крымцев на Кавказ. Русскую землю топтала огромная армия в 70 тысяч человек.

В Стамбуле, совершая этот дерзкий вызов, не учли, что ситуация существенно изменилась: кризис с польским наследием преодолен, Россия получила возможность бросить армию к южным границам, оставив в Речи Посполитой незначительные отряды для подавления сопротивления конфедератов, кое-где продолжавших поддерживать Станислава Лещинского. В то же время положение Османской империи усложнило поражение, нанесенное ее войскам Тахмас-кулы-ханом летом 1735 г. под Эриваном.

Неплюев считал, что пришло благоприятное время для начала военных действий против османов. «При таком благополучном случае, — рассуждал резидент в донесении в Петербург, — от вашего величества зависит смирить турецкую гордость, ибо они при вступлении хотя малого русского корпуса в их землю принуждены будут у вашего величества мира просить и постановить выгодные условия с переменою договора, если на конечную свою гибель не ослепнут»¹⁰.

В Петербурге вняли этому совету и совершили два опрометчивых шага. Первый из них состоял в возвращении Ирану прикаспийских территорий, завоеванных при Петре Великом. Взамен уступленных земель Тахмас-кулы-хан обязался не заключать мира с Османской империей до ее разгрома Ираном и Россией. Тахмас-кулы-хан обманул, обязательства не выполнил и в разгар русско-турецкой войны заключил с Османской империей мир.

Второй шаг, еще менее разумный, состоял в отправке корпуса генерал-лейтенанта Леонтьева в Крым. Это была инициатива фельдмаршала Миниха, назначенного главнокомандующим русскими войсками на юге страны, сосредоточенными там для нанесения упреждающего удара по османам, намеревавшимся в следующем году объявить войну России. В конце августа 1735 г. Миних получил указ, предлагавший либо немедленно начать осаду Азова, либо отложить кампанию до весны. Фельдмаршал предложил третий вариант кампании — организовать немедленный поход на Крым, в его представлении оказавшийся беззащитным вследствие ухода с полуострова 70 тысяч отборного войска на Кавказ.

Соблазн достичь успеха малой ценой и приобрести славу покорителя Крыма в такой мере затмил разум Миниха, что он вопреки здравому смыслу и опыту организации походов на Крым в предшествующие десятилетия решил немедленно отправить корпус в 40 тысяч человек. Фельдмаршал был настолько уверен в успехе экспедиции, что обратился к императрице с запросом: «Если крымская экспедиция закончится благополучно, то пленных христиан, которых там считают до 20 000 семейств, куда прикажете отвозить для поселения?»¹¹.

В начале октября Леонтьев отправился в путь по безводной степи с высохшей травой. С 13 октября начались дожди, затем пошел снег и ударили непривычные для этих мест морозы. Бичом похода стала высокая смертность среди его участников. К 16 октября пало более трех тысяч лошадей, а до Перекопа предстояло находиться в пути десять дней. Созванный в этот день военный совет решил возвращаться домой. Так бесславно закончился поход Леонтьева. Он стоил корпусу огромных потерь: девяти тысяч солдат и офицеров и такого же количества лошадей.

Вместо того чтобы предать военному суду инициатора авантюры фельдмаршала Миниха, судили Леонтьева, но тот сумел оправдаться.

Поход Леонтьева в Крым совершался без объявления войны. В случае его удачи османам надлежало объяснить, что он предпринят в отместку

крымским татарам, осмелившимся дважды нарушить границы России. Война была объявлена письмом Остермана везиру 12 апреля 1736 г., в котором было сказано, что «желание России найти удовлетворение за оскорбление и урон, причиненные ей Портой миронарушительными предприятиями, и установить мир на условиях, могущих гарантировать более прочным образом безопасность государства и подданных, — вынуждают императрицу двинуть против турок свои войска».

Минихом был составлен план войны, которая, по его расчетам, должна продолжаться четыре года и завершиться полной победой русского оружия. План лучшим образом характеризует Миниха, авантюрный склад его характера, необычайную самоуверенность и убежденность в том, что фантастические надежды будут непременно претворены им в жизнь. В этом убеждает следующий отрывок из его плана, предусматривавшего ежегодные победные операции, завершение которых ожидалось в самом Константинополе:

«На 1736 г. — Азов будет наш. Мы станем господами Дона, Донца, Перекопа, владений ногайских между Доном и Днепром по Черному морю, а может быть, и сам Крым нам будет принадлежать. На 1737 г. подчиняется весь Крым, Кубань, приобретается Кабарда; императрица — владычица на Азовском море и гирл между Крымом и Кубанью. На 1738 г. — подчиняются без малейшего риска Белгородская и Бужакская орды, по ту сторону Днепра — Молдавия и Валахия, которые стонут под игом турок. Спасаются и греки под крылья русского орла. На 1739 г. знамена и штандарты ее величества водружаются... в Константинополе»¹².

В кампанию 1736 г. русские войска были разделены на две армии: одна предназначалась для осады Азова, другая — для похода в Крым. Осадные работы под Азовом Миних начал в марте. После овладения каланчами и фортом Лютиком Миних счел крепость обреченной на капитуляцию. Императрице он доложил: «Как скоро осадная артиллерия под Азов прибудет, то город вскоре сдастся, сопротивление не может продолжаться далее 15 мая». Поручив завершение дела генералу Левашову, Миних отправился к Днепру, чтобы оттуда во главе 54-тысячной армии держать путь в Крым. Ровно через месяц пути, 20 мая, армия достигла Перекопа. Всего два дня потребовалось для овладения перекопскими башнями и крепостью. Углубившись в полуостров и не встречая серьезного сопротивления, русские войска 5 июня подошли к Козлову, оставленному неприятелем без боя. Там были захвачены богатые трофеи, в том числе продовольствие и фураж.

Военный совет определил Козлов конечным пунктом движения, но пополнение запасами позволило продолжить путь к столице Крымского ханства — Бахчисараю. «Город расположен в глубокой долине; домов в нем около 2000; треть этого числа принадлежит грекам, у которых тут же и церковь своя... Ханский дворец, состоявший из нескольких больших, довольно красивых и очень опрятных зданий, был обращен в пепел, как весь город. В последнем не было никакого укрепления»¹³.

Сын фельдмаршала Миниха — Эрнст Миних сообщил о дворце больше подробностей: «Он построен на турецкий вкус весьма красиво. Столы и скамьи в комнатах были опрятные, цветами обмалеванные, другие опять позолоченные или вылакированные. На среднем дворе стояла баня мраморная, в которой самая чистая вода фонтанами била. Все сие толь великолепное здание в несколько часов разграблено и в пепел обращено»¹⁴.

От Бахчисарая армия повернула на север и 6 июля достигла Перекопа. Возвращение к исходному рубежу Миних объяснял стремлением иметь свободную коммуникацию с русской территорией и возможностью как можно чаще посылать донесения императрице. Всерьез эти мотивы отступления принять нельзя. Подлинная его причина состояла в изнурительных переходах, вызвавших массовые болезни, поразившие армию, в наличии громоздкого обоза, крайне замедлявшего и усложнявшего продвижение войск: чтобы обеспечить безопасность обоза, армия двигалась несколькими каре, находившимися одно от другого в пределах видимости и смыкавшимся в одно в случае серьезной опасности; поломки телег в одном каре вызывали остановки всех остальных. Кстати, участники военного совета, созванного Минихом после овладения Перекопом, высказались за то, чтобы главным силам остаться на месте, а в глубь Крыма посылать мобильные отряды для разорения края. Миних не прислушался к мнению большинства и, как писал профессор военной истории А. Байов, «влекомый честолюбием и славолюбием, решаете действовать вопреки мнению большинства — ведь никто еще из русских не вторгнулся на Крымский полуостров. Надежда на дешевые лавры затемняет способность правильно оценить обстановку и действовать менее эффективно, наиболее соответственно этой обстановке»¹⁵.

В неделю, когда армия под командованием Миниха разоряла Крым и практически ни с чем возвратилась к Перекопу, на других участках военных действий русским сопутствовал успех. Генералу Ласи, сменившему Левашова, правда, не к 15 мая, как пророчил Миних, а двумя месяцами позже — 19 июля 1736 г., удалось одержать верх. Азовский паша, не дожидаясь штурма, капитулировал. Поскольку взятие крепости произошло без ее штурма, то и потери оказались сравнительно небольшими — за время осады было убито около 200 человек и ранено 1500.

Западнее Крымского полуострова действовал 10-тысячный корпус генерала Леонтьева, отправленного добывать крепость Кинбурн. Крепостью удалось овладеть без единого выстрела и без потерь — гарнизон капитулировал, как только приблизился к крепости корпус Леонтьева. Двум тысячам янычар, обязанным оборонять Кинбурн, разрешено было переправиться в Очаков.

В Петербурге были недовольны уходом Миниха из Крыма. Фельдмаршалу повелевалось повторить поход в августе — сентябре, но созданный им военный совет счел невозможным выполнение предписания из-за отсутствия запасов продовольствия и потери, как тогда считали, половины армии от

болезней. Разрушив перекопские укрепления, армия отправилась на зимние квартиры в Киев. К основным силам присоединился и корпус Леонтьева, оставивший Кинбурн, предварительно сровняв его с землей.

Каковы итоги кампании 1736 г., в какой мере они соответствовали широкообещательным обещаниям Миниха? На поверку они оказались выполненными менее чем наполовину: реальный результат кампании — овладение Азовом. Кинбурн хотя и не стоил потерь, но и приобретением его считать нельзя. Что касается крымского похода Миниха, то польза от него далеко уступала понесенным потерям. Практически это была неудача фельдмаршала. Он удовлетворил амбицию на роль полководца, побывавшего в Крыму, но эта акция полезных России результатов не дала, лишь унесла 20 — 25 тысяч жизней. Крымцы сохранили и армию, и ее боеспособность. Более того: крымцы в следующем году совершили успешные набеги, и так называемая украинская линия, сооруженная по проекту Миниха, не спасла население от разорительных походов.

Как только Миних еще весной 1735 г. прибыл из Речи Посполитой на юг, он решил между Днепром и Донцом соорудить укрепленную линию, затребовав для ее строительства свыше 53 тысяч человек. Узнав об этом требовании, распорядившийся Малороссией князь Шаховской донес в Петербург, что мобилизация такой численности населения Украины вызовет разорение края и утрату населением способности платить подати. Миниху было отказано, но тот настаивал на своем: «Кто против нападающего неприятеля укрепление строит и против разбойников ворота затворяет, тот не разоряет, а защищает»¹⁶. На протяжении более чем 400 верст этой линии к 1738 г. сооружено до 15 крепостей с земляными брустверами и наполненными водой рвами, а в промежутке между ними сооружены редуты. Все это потребовало затрат огромных ресурсов, практически бесполезных.

Донесения иностранных послов из Петербурга позволяют судить о реакции вельможной столицы на события, происходившие на юге. Английский посол К. Рондо в июне 1736 г. доносил о готовности России, по словам Остермана, пойти на мир, если Порта «изъявит готовность дать ее величеству разумное удовлетворение за обиды, нанесенные ее подданным». Впрочем, позже полученные известия о взятии Азова, Кинбурна и рейде Миниха в Крым «ободряют русский двор продолжить войну»¹⁷.

А пока в привычном для двора Анны Иоанновны стиле в столице отпраздновали взятие Азова: 2 июля отслужили молебен и салютовали пушками, а неделю спустя был дан обед. «Надо сознаться, что более торжественный обед вряд ли возможен. Вечер завершился балом и изяшной иллюминацией»¹⁸.

Источником информации двора являлись бравурные донесения Миниха. Они, однако, не вводили в заблуждение здравомыслящих людей. К. Рондо доносил 11 сентября 1736 г.: «Очищение Перекопа фельдмаршалом Минихом является для меня признаком утраченной русским двором надежды на завоевание Крыма; оно очевидно представляется более труд-

ным, чем казалось первоначально»¹⁹. В октябре вновь возобладали миролюбивые нотки: «Позволяю себе думать, что здешнему двору будет очень приятно покончить настоящую войну, но он очень стыдится признаться в этом после своих заносчивых предположений и чрезвычайных военных успехов, в которых старались уверить добрых людей»²⁰.

Зиму 1736/37 г. армия провела в подготовке к кампании 1737 г.: она пополнилась 40 тысячами рекрутов. Миних ездил в Петербург для утверждения нового плана кампании. План был так нашпигован общими фразами и суждениями, что, читая его, трудно представить цель кампании. По всей видимости, фельдмаршал извлек урок из невыполнения обещаний 1736 г. и старался избежать четких формулировок и категорических обязательств. И все же за рассуждениями о предпочтении наступательных операций над оборонительными и о преимуществах движения через Молдавию и Валахию Миних назвал главную цель кампании 1737 г. — завоевание Крыма. Вспомогательным средством достижения этой цели было взятие Очакова.

Как в предшествующие годы, войско было разбито на две армии: одна предназначалась для овладения Очаковым, другая — для похода в Крым. В апреле 1737 г. корпус под командованием Миниха, по данным одних источников, в 60 — 70 тысяч человек, по другим — в 70 — 90 тысяч, двинулся к Очакову. Османы приготовились к сопротивлению только при подходе армии к крепости — в радиусе 16 верст вокруг нее они выжгли траву. Чтобы упредить оказание крепости помощи с суши и с моря, располагавшей и без того сильным гарнизоном в 15 — 20 тысяч человек, военный совет 30 июня вынес постановление о немедленной атаке. К. Рондо, видимо, со слов очевидцев, сообщил некоторые подробности осады крепости: «Турки и татары выжгли траву; кругом нельзя было найти ни куска дерева, ни капли воды, что поставило фельдмаршала в чрезвычайное затруднение; ему и всей его армии — людям и животным — угрожала гибель. Три дня они оставались без еды и питья. В этом ужасном положении русские приблизились к Очакову — крепости, прекрасно укрепленной и занятой 20 тысячами отборного турецкого войска». До сих пор описание осады под пером К. Рондо подтверждается свидетельствами других источников. Но далее следует вымысел, навеянный, надо полагать, официальным донесением Миниха, склонным к героизации события, в особенности если оно успешно завершилось: русская армия предприняла штурм. «Солдаты, перебравшись через два рва и взобравшись на стены по связанным пикам и алебардам вместо лестниц, перебили почти весь гарнизон. Три тысячи спагиев бросились в воду на конях в надежде достигнуть 18 турецких галер и 20 галиотов, стоявших на рейде, но все погибли»²¹.

Это описание вполне соответствовало канонам военного искусства того времени, но ничего общего не имело с действительным ходом штурма. Виной тому — нераспорядительность фельдмаршала, нарушение им самых элементарных правил ведения осадных работ и штурма.

Начнем с того, что Миних приступил к осадным работам, не располагая для них необходимыми материалами, прежде всего лесом. Материалы должны были доставить по Днепру специально построенные плоскодонные суда, но они прибыли спустя две недели после овладения Очаковым отчасти вследствие затруднений при проходе через пороги, но главным образом из-за расхлябанности князя Трубецкого, отвечавшего за доставку груза.

Каменистая почва затрудняла рытье траншей, и солдаты, выполнявшие эту работу, оказались незащищенными от огня крепостной артиллерии. Но главная вина Миниха состояла в том, что он с обнаженной шпагой повел войска на штурм, не имея ни малейшего представления о плане крепости. Вследствие этого неведения штурму подверглась не слабо укрепленная сторона Очакова, а самая неприступная. Другое следствие неосведомленности об оборонительных сооружениях крепости состояло в том, что атакующие встречали рвы, о существовании которых не подозревали. Находясь в течение двух часов под непрерывным огнем, штурмовавшие, неся огромные потери, стали отступать. Штурм захлебнулся. Сам Миних будто бы в отчаянии воскликнул: «Все пропало!» Участник штурма адъютант Миниха — Манштейн записал: «Осада эта представляет нечто единственное в свете. Нужно было счастье Миниха, чтобы покончить с нею, потому что после сделанных им ошибок он заслуживал, чтобы его разбили и заставили снять осаду»²².

Известно, однако, что осада закончилась полным успехом — овладением Очаковым, и Миних отправил в Петербург хвастливую реляцию, с избытком наполненную напыщенной риторикой. Крепость, писал он, «могла бы обороняться три или четыре месяца долее, чем Азов, и, однако, взята на третий день. Богу единому слава! Я считаю Очаков наиважнейшим местом, которое Россия когда-либо завоевать могла и которое водою защищать можно... Поэтому слава и интерес ее величества требуют не медлить ни часу, чтоб такое важное место утвердить за собою, и так как огнем, кроме крепости, все разорено, то не должно жалеть денег на построение казарм, цейхгаузов, церкви, гошпиталей, магазинов, лавок и прочего...» Заключительные слова реляции еще раз подтверждают, что скромность и чувство реальности противопоставлены фельдмаршалу, по-хлеставски щедрому на обещания: «...Я в будущем году пойду прямо в устье Днестра, Дуная и далее в Константинополь»²³.

Как же был достигнут успех? Здесь, как иногда бывает на войне, помог случай.

Во время артиллерийского обстрела крепости в городе, состоявшем из деревянных построек, возник пожар. Непрекращавшийся обстрел препятствовал его тушению. В результате произошел взрыв главного порохового магазина, разрушивший часть города и захоронивший в его развалинах свыше шести тысяч защитников. Это посеяло панику, часть гарнизона пыталась спастись вплавь, но большинство из них погибло. В открытые к морю ворота крепости хлынули запорожцы. Началась резня. Сераскир выбросил белый флаг и запросил перемирие на 24 часа, но ему было

отказано и предложено немедленно сдаться, что он и сделал. Осаждавшим достались богатые трофеи.

Во время марша и осады Очакова армия понесла значительные потери. По сведениям Манштейна, погибло 11 тысяч регулярного войска и 5 тысяч казаков и еще столько же (16 тысяч) денщиков и крестьян при обозах. Колоссальными были потери в лошадях и волах. Только артиллерия утратила 15 тысяч пар волов. Столь существенные потери вынудили Миниха отказаться от похода к Бендерам. Оставив в Очакове гарнизон в восемь тысяч человек, Миних двинулся сначала вверх по Бугу, а затем повернул на восток, где на Украине армия устроилась на зимних квартирах. В октябре под стенами Очакова показалось 40 тысяч османов и татар, пытавшихся вернуть себе крепость. Неоднократные их атаки с успехом были отбиты, и неприятель, потеряв половину осаждавших, снял осаду.

От действий армии Миниха перейдем к рассмотрению операций фельдмаршала Ласи, которому было поручено атаковать Крым.

Татары полагали, что Ласи, как и Миних, будет атаковать Перекоп, и позаботились о восстановлении его укреплений и изготовились к обороне. Однако Ласи решил не тратить людей на штурм Перекопа, а обойти его и вторгнуться на полуостров со стороны Азовского моря. Хан, проведав о том, что Ласи движется по узкой песчаной косе, образуемой Азовским морем, устроил на пути к нему оборонительные сооружения, преграждавшие возможность вторгнуться в Крым. Ласи обманул хана, предприняв рискованную переправу армии и обоза с косы на Крымский полуостров, используя для сколачивания плотов подручный материал: бочки, бревна, рогатки и т. д.

Манштейн рассказал о любопытном эпизоде в отношениях фельдмаршала с генералами. Последние заявили ему, «что он слишком рискует войском и что все они находятся в опасности погибнуть». Ласи возразил, что военная служба связана с риском для жизни, и спросил их совета, как, по их мнению, надлежит действовать. Те ответили: надобно воротиться назад. «Когда так, если господа генералы желают возвратиться, то я велю им выдать их паспорта» — и тут же дал приказание секретарю изготовить паспорта. Через три дня фельдмаршал простил генералов за проявленную трусость.

Поход Ласи, как и поход Миниха 1736 г., не имел в виду закрепиться в Крыму. Главная его цель — разгром, сожжение и ограбление городов и населенных пунктов. В отличие от Миниха, действовавшего в западной части полуострова, Ласи отправился опустошать его восточную территорию (с городом Карасубазар в центре). Как и во время предшествовавшего похода, татары упорно уклонялись от генерального сражения, ограничиваясь постоянными нападениями на арьергарды, фуражиров и мелкие отряды, направлявшиеся в близлежащую округу для грабежа населения и сожжения аулов. Лишь в редких случаях татары пускали в дело более или менее значительные отряды своей конницы, но нерегулярное войско ни крымцев, ни османов не в состоянии было одерживать верх над регулярной армией России.

Оставя после себя пепел и страдания людей, армия Ласи в августе покинула Крым. С точки зрения современных представлений о войне, поведение русской армии в Крыму может показаться варварским, но таковы были «правила игры» казаков и калмыков с татарами тех времен. Ни те, ни другие, ни третьи в первой половине XVIII в. не занимались земледелием, и ограбление соседей, увод их в плен с последующей их продажей на невольничьих рынках, захват скота, сожжение населенных пунктов почитались обычными отношениями между соседями.

В 1737 г., помимо действий на двух театрах войны, произошли еще два события, заслуживающие быть отмеченными: вступила в войну на стороне России в качестве ее союзницы Австрия и начались мирные переговоры с Османской империей.

Открыть военные действия против Османской империи Австрия должна была одновременно с походом Миниха к Очакову, то есть в мае месяца, но опустевшая казна не позволила австрийцам сдвинуться с места и в июне — только в начале июля они перешли границу и, похоже, мечтали не столько об активных военных действиях, сколько о заключении мира.

В марте 1737 г. отправлены были на конгресс в Немиров для переговоров с османскими уполномоченными тайный советник и сенатор Петр Павлович Шафиров, обер-егермейстер Артемий Петрович Вольтинский и тайный советник Иван Иванович Неплюев. Делегация прибыла в Немиров 11 июля, то есть после овладения Очаковым. Этот успех, равно как и захват австрийцами города Ниссы, окрылил союзников настолько, что во время начавшихся 5 августа переговоров они предъявили османам условия с большим запросом: русские уполномоченные заявили о желании иметь в своих владениях территории по Кубани, Крым, земли, лежащие до Дуная, а также объявить независимыми Молдавское и Валашское княжества. Османские уполномоченные сочли условия русской делегации несоразмерными с успехами России на театре военных действий. Не поддержали русской делегации и австрийцы, считавшие, что ни о какой независимости Валахии и Молдавии не может быть и речи, ибо первая полностью, а вторая частично находятся во владении Австрии. Она воевала с Османской империей около полугода, но предъявила к ней еще большие территориальные претензии, чем Россия.

Поначалу османы попытались посеять раздор между союзниками, произнося русским уполномоченным такие слова: «Мы бы сыскали средство удовлетворить Россию, но римский цесарь нам несносен; пристал он со стороны без причины для одного своего лакомства и хочет от нас корыстоваться; Россия — другое дело; ваши условия нам известны, но цесарские министры только затрудняют и проволочивают дело...»²⁴. Попытки османов вбить клин в отношения между союзниками не увенчались успехом, и тогда османские послы 10 октября выехали из Немирова, вслед за ними — австрийцы, а затем и русские. Немировский конгресс закончился провалом. Надлежало вновь готовиться к военным действиям.

1737 г. был знаменателен двумя особенностями: едва ли не самыми значительными потерями солдат и офицеров за все годы войны и некоторыми успехами — взятием Очакова и разорением Крыма. 1738 г. вошел в историю войны как год сплошных неудач. Согласно составленному Минихом плану, кампанию 1738 г. следовало вести двумя армиями: одна из них, более многочисленная, под командованием Миниха направлялась к Днестру, вторая должна была под командованием Ласи действовать против Крыма.

Ласи овладел Перекопом, должен был держать курс на Кафу, но отправившись в Крым не решился — дважды разоренный полуостров не мог обеспечить армию ни провиантом, ни фуражом, а доставка того и другого с Днепра была сопряжена с опасностью занести чуму, свирепствовавшую в Очакове и Кинбурне. Взорвав перекопскую крепость, армия Ласи возвратилась на Украину.

Еще большая неудача постигла армию Миниха. Отправившись в поход в мае, она беспрепятственно достигла берегов Буга, но на подступах к Днестру ее постоянно стали тревожить нападения османов и крымцев. Армии наносили урон не столько эти нападения, от которых она успешно отбивалась, сколько от марша по выжженной степи, от отсутствия фуража и воды, от болезней, поразивших армию. «В армии, — свидетельствовал Манштейн, — было чрезвычайно много больных, из которых большая часть умерли; а выздоровевшие так были слабы, что не годились ни на какую службу... Никогда русская армия не теряла столько лошадей и быков... Большое количество бомб и ядер было зарыто в степях»²⁵. Армия все же достигла Днестра, но переправляться на ту сторону реки Миних не рискнул и ни с чем вернулся к своим границам.

Провал кампании 1738 г. вызвал множество неотложных проблем. С одной стороны, он возбудил интерес правительства к возобновлению мирных переговоров. Но с другой стороны, начинать их без успехов на театре военных действий не имело смысла, ибо нельзя было рассчитывать на уступчивость противника. На поведение правительства влияли и внешние факторы: из Швеции поступали тревожные вести — там интенсивно готовились к войне с Россией. Это обстоятельство тоже стимулировало интерес к заключению мира с Османской империей, так как пугала перспектива войны на два фронта, в то время как Россия не могла одолеть одного противника. Наконец, правительство тревожило поведение ее союзницы Австрии — ни о чем она так втайне не мечтала, как о заключении мира с османами. Австрия, как мы помним, испытывала огромные финансовые затруднения еще в 1737 г., когда объявила войну. В 1738 г. финансовых забот прибавилось. Они, видимо, обусловили неудачи цесаря на театре военных действий — австрийцы терпели одно поражение за другим. В общем, Австрия, по заявлению русского посла в Вене, «алчно жаждет мира»²⁶. Поддержать верность австрийцев союзу мог только сокрушительный разгром османов русскими войсками.

Итак, русскому правительству в 1739 г. предстояло решать две хотя и связанные между собой, но взаимно исключаящие друг друга задачи: либо

мирные переговоры, либо продолжение войны с обязательными победоносными сражениями. В Петербурге решили воспользоваться обеими возможностями: продолжать войну и в то же время зондировать возможности заключения мира.

Напомним, по плану Миниха война в 1739 г. должна была завершиться укреплением победных штандартов над башнями Стамбула. Пришлось, однако, довольствоваться куда более скромной задачей — взятием крепости Хотин. В отличие от предшествующих лет, когда армия из Киева маршировала на юг и только в Переволочне сворачивала на запад или юго-запад, в 1739 г. ей предстояло из Киева направиться к конечной цели — Хотину, совершая поход через территорию Речи Посполитой. В напутственном рескрипте Миниху императрица велела «скорейшего марша и всевозможного поспешания произведением неприятелю чувственных каких действ».

Как и в предшествовавшие годы, русская армия, обремененная крайне громоздким обозом, не встречая никакого сопротивления, двигалась со скоростью десять верст в сутки, а после форсирования Днестра и того медленнее — по пять верст. Выступив из Киева в мае, армия достигла района Хотина только в августе. Здесь, в десяти верстах от крепости, сераскир Вели-паша и решил дать сражение русским войскам. До этого Миних предпочитал в соответствии с канонами линейной тактики маневрировать, а османы с татарами уклоняться от генерального сражения, предпочитая изматывать неприятеля мелкими, но не прекращавшимися ни на минуту уколами.

Сражение у деревни Ставучан, расположенной в десяти верстах на юго-запад от Хотина, было единственной крупной битвой за все четыре года войны. Вели-паша имел в своем распоряжении 40 тысяч османов и 40 — 50 тысяч татар, в то время как Миних располагал вдвое меньшими силами — 40 тысячами регулярных и восемью тысячами нерегулярных войск. Сераскир был уверен в победе, накануне сражения хвастая, что «он российскую армию в своих руках имеет и что из оной ни один человек не спасется»²⁷.

Военный совет 8 августа принял решение упредить атаку неприятеля, взять инициативу в свои руки и первым нанести удар. Миниху удалось ввести Вели-пашу в заблуждение нехитрым маневром: демонстрируя намерение нанести удар по правому флангу, он основные силы сосредоточил для нанесения удара по левому флангу неприятельской армии.

Сражение у деревни Ставучан 17 августа 1739 г. было скоротечным и не отличалось упорством: начавшись в 5 часов дня атакой османов и татар, оно закончилось через два часа паническим бегством с поля боя тех и других. Они не выдержали сильного артиллерийского огня и бежали к Хотину, откуда, увлекая паникой гарнизон крепости, направились к Бендерам. О слабой сопротивляемости неприятеля можно судить по тому, что он оставил на поле боя около тысячи убитыми и ранеными; русские потеряли 13 человек убитыми.

Победа у Ставучан позволила русским войскам 19 августа без единого выстрела овладеть сильной крепостью Хотин. Через несколько дней Миних выступил из Хотина в Молдавию, население которой присягнуло российской императрице.

Казалось бы, ветер дул в спину Миниха и русской дипломатии, которые за победу могли потребовать достойного вознаграждения. Но ситуация складывалась не в пользу России. Находясь в Яссах, Миних узнал, что Австрия вышла из войны, заключив с османами сепаратный мир. С начала 1739 г. с османами вела переговоры и Россия, причем не непосредственно, как это было на Немировском конгрессе, а используя услуги французского посла в Стамбуле маркиза Вильнева. Симпатии Франции, как и ее посла, всегда были на стороне Османской империи, поэтому Вильнев посредничал в ущерб интересам России. О Вильневе русский резидент в Стамбуле (?) отзывался так: «Человек уже в летах, доброго нрава, ума не первоклассного, но здравого рассуждения, правдив, а чтоб французский министр был доброхотнее с нами, чем с турками, — этого нет и требовать невозможно, ибо было бы противно французским интересам»²⁸.

Обращение Остермана к Вильневу еще в январе 1739 г. с просьбой убедить османов, что им нечего опасаться передачи России Азова, ибо императрица готова дать обязательство не заводить там флота, не имело успеха. Наконец в апреле последовала еще одна уступка, сформулированная все тем же Остерманом в письме к Вильневу: Россия обязывалась скрыть укрепление в Азове, но ей, равно как и Османской империи, будет разрешено соорудить крепости на подвластных им территориях: России — между Азовом и Черкасском, а Порте — на Кубани.

Конечно, Россия могла не согласиться с условиями мира, навязываемыми ей Османской империей и посредничеством Вильнева. Но в том-то и дело, что Россия, лишившись союзника и оказавшись с глазу на глаз с Османской империей, в ожидании нападения с севера вынуждена была уполномочить Вильнева подписать невыгодный для себя Белградский мир 18 сентября 1739 г. Азов оставался за Россией, но без укреплений, Таганрог не подлежал восстановлению, и Россия лишилась права пользоваться кораблями на Черном море. России предоставлялось право построить крепость на острове Черкасском, а Османской империи — на Кубани. Все завоеванные крепости — Очаков, Кинбурн, Хотин, а также Молдавия оставались за османами.

Так бездарно закончилась война с Османской империей (1736 — 1739). Она стоила стране 100 тысяч человеческих жизней и огромных материальных ресурсов, явно неэквивалентных приобретению Азова. Война продемонстрировала отсутствие полководческих дарований у Миниха и способности трезво оценивать внешнеполитическую обстановку Остерманом. Это не помешало двору пышно отпраздновать заключение мира, фельдмаршалу Миниху было присвоено звание подполковника Преображенского полка, а Бирону выдано, неизвестно за какие заслуги, 500 тысяч рублей, его супруга была награждена орденом св. Екатерины, два сына — орденом

св. Андрея Первозванного. Когда читаешь перечень пожалований, невольно припоминаются события полувековой давности, когда правительница Софья Алексеевна раздавала такие же щедрые пожалования бездарному полководцу Василию Васильевичу Голицыну и другим участникам Крымских походов: чем громче раздавались победные звуки, тем меньше было побед.

После заключения Белградского мира Россия менее двух лет довольствовалась мирной жизнью. 9 августа 1741 г. ей объявила войну Швеция. Эта война представлялась странной не только историкам, но и современникам, причем на всех ее стадиях, начиная от выбора времени для нападения и кончая переговорами о мире. Камер-фурьерский журнал Елизаветы Петровны, например, отмечал: «Поведение шведов было так странно и так противно тому, что обыкновенно делается, что потомство с трудом поверит известиям об этой войне». Странной война казалась и современнику Манштейну, высказавшему броские замечания по поводу ее начала: шведы вместо того, чтобы напасть на Россию, когда ее силы были мобилизованы на войну с Османской империей, «сидели сложа руки, дав России заключить мир, и начали войну в такое время, когда Россия пользовалась со всех сторон величайшим спокойствием»²⁹. Даже человеку, не искушенному во внешнеполитических хитросплетениях, очевидно, что Швеции было выгоднее воевать с Россией в годы, когда она была занята походами против османов, чем после заключения мира с ними.

Но в том-то и дело, что Швеция не была готова к открытию военных действий в 1736 — 1739 гг., как, впрочем, не была готова к ним и в 1741 г., когда рискнула объявить войну: и тогда, и теперь страна еще не залечила ран изнурительной Северной войны и не располагала ни финансовыми, ни людскими ресурсами, чтобы создать армию, способную тягаться с вооруженными силами России. Вместе с тем в Швеции были еще сильны воспоминания о ее могуществе при Карле XII и им же утраченном.

На это надеялась воинственная «партия шляп» в шведском парламенте, призывавшая правительство немедленно открыть военные действия против России. Быть может, агрессивность «шляп» и не приобрела столь откровенного желания взять реванш за проигранную Северную войну, если бы тому не способствовали два внешних обстоятельства, вселявшие уверенность в успехе. Одно из них связано с разжиганием конфликта на севере Европы Францией. Расчет Версальского двора был прост: надо связать руки России, чтобы лишить ее возможности оказывать помощь Австрии в военном конфликте с Францией. Версальский двор полагал, что ему выгоднее оказывать Швеции финансовую и дипломатическую помощь, чем предоставить России возможность двинуть корпус своих войск в помощь Австрии.

Вторую надежду «шляпы» связывали с благоприятными для Швеции событиями в самой России, о чем подробнее рассказано в одной из предшествующих глав. В Швеции полагали, что одновременно с началом военных действий в Петербурге вспыхнет восстание против немецкого засилья,

армия окажется деморализованной настолько, что будет не в состоянии сопротивляться натиску шведов, и Елизавета Петровна, воцарившаяся при помощи шведских штыков, с готовностью заключит мир и вернет Швеции все земли, завоеванные ее отцом.

Цель войны, развязанной Стокгольмом, и состояла в пересмотре условий Ништадтского мира. Она камуфлировалась заботой шведского правительства о русском народе, которым правили немцы. В Петербурге были хорошо осведомлены о прениях в шведском парламенте по поводу войны, о мерах по мобилизации вооруженных сил, о боеспособности шведской армии и исподволь готовились к отпору. Двумя формируемыми на этот случай армиями было поручено командовать фельдмаршалу Ласи и генералу Кейту.

Итак, первая странность в русско-шведской войне 1741 — 1743 гг. состояла в том, что Швеция сделала ставку не на свои слабые силы, а на помощь извне. Столь же странно развивались события на театре войны, где шведская армия обнаружила полную неспособность осуществить возлагавшиеся на нее надежды. За всю войну шведы лишь единственный раз проявили стойкость и отвагу. Речь идет о сражении за крепость Вильманстранд, состоявшемся 3 сентября 1741 г. Выгодное расположение крепости позволяло атаковать ее только в лоб, по одной дороге, так как сзади ее защищало озеро, а по бокам — болота, овраги и скалы. Это давало возможность гарнизону оказывать неприятелю длительное сопротивление. Однако русским войскам оказалось достаточно пяти часов, чтобы овладеть крепостью. Об упорной и мужественной защите крепости свидетельствуют шведские потери: из 5256 солдат и офицеров гарнизона удалось спастись только десятой части.

Как только Елизавета Петровна заняла трон, она отправила командовавшему шведской армией графу Левенгаупту нарочного с заявлением о своем желании заключить мир. При посредничестве французского посла Шетарди удалось заключить не мир, а перемирие до 1 марта 1742 г. После этого обнаружилась еще одна странность.

Левенгаупт, будучи уверенным, что перемирие непременно завершится миром, отправил войска на зимние квартиры и проявил полную беспечность. Между тем фельдмаршал Ласи возобновил наступление в июне 1742 г. и, к своему удивлению, не встретил сопротивления противника. Это в первую очередь относится к занятию русскими войсками Фридрихсгама. Шведы без боя оставили оборонительные рубежи на подступах к крепости и бежали из Фридрихсгама, как только русские войска изготовились для штурма. И это несмотря на то, что крепость считалась хорошо оборудованной и ее осада и штурм потребовали бы огромных жертв. Шведы, однако, ушли, не сделав ни единого выстрела. Без сопротивления они оставили Нейшлот, Тавастгуз, Борго, Гельсингфорс и другие города Финляндии.

В январе 1743 г. в Або начались переговоры о мире. Они тоже относятся к странностям этой странной войны — шведской делегацией были

предложены такие условия мира, что будто не русские войска овладели Финляндией, а шведы нанесли им бесчисленные поражения и теперь пребывают в столице империи, где диктуют побежденным условия мира.

В связи с переговорами в Або Елизавете Петровне довелось столкнуться с двумя деликатными ситуациями. Первая из них состояла в отклонении посреднических услуг Франции в переговорах. Здесь глава дипломатического ведомства России А. П. Бестужев проявил стойкость, ибо в Петербурге была хорошо известна прошведская позиция Франции: ее усилиями Швеция была втянута в военный конфликт с Россией, теперь она пыталась помочь ей выйти из проигранной войны с минимальными потерями.

Вторая ситуация оказалась значительно сложнее и потребовала от императрицы известной изворотливости. Она связана с обещанием, хотя и не закрепленным на бумаге, в обмен на помощь при восшествии на престол отблагодарить Швецию территориальными уступками. В то же время императрица учитывала, что уступки чреватые для нее тяжелыми последствиями.

Сама ли Елизавета придумала план, как избавиться себя от неприятных объяснений со шведами, или ей кто-либо подсказал, как с достоинством выйти из затруднительного положения, но она решила запросить у первых вельмож государства об условиях мира. Мнения подали фельдмаршалы Долгорукий и Трубецкой, граф Головкин, князь Куракин, сотрудники Иностранной коллегии и др. Мнения оказались разноречивыми. Трубецкой, например, рекомендовал ради безопасности границ Финляндии шведам не отдавать, на худой конец оставить за Россией часть ее. Долгорукий рекомендовал придерживаться принципа *uti possideti*, то есть кто чем в данный момент владеет, за ним эта территория и остается. Другие, напротив, полагали, что присоединение Финляндии к России будет питать реваншистские настроения шведов, и без того достаточно сильные. В итоге на северной границе России возникнет постоянная напряженность.

Несуразность требований шведских уполномоченных бросается в глаза. Опереться на военные успехи они не могли, но у них было такое средство шантажа и давления на русских дипломатов, как избрание шведского короля. Из двух наиболее вероятных претендентов на корону датский наследный принц был неприемлем для России, она хотела видеть на троне епископа Любского. Шведские уполномоченные сообщили, что королем будет избран угодный для России епископ Любский, но взамен потребовали возвращения всех завоеванных территорий, заключения со Швецией оборонительного и наступательного союза, а также выдачи ей субсидии. Глава русской делегации на конгрессе в Або Александр Иванович Румянцев писал вице-канцлеру Бестужеву: «...Лучше нам против Швеции и Дании в войне быть, нежели бесчестный и нерезонабельный мир на основании Ништадтского заключить»³⁰.

При наличии широкого диапазона мнений русских вельмож относительно судеб Финляндии у Елизаветы Петровны была возможность для

маневра и лавирования. Она высказала на первый взгляд здравую мысль, но фактически являвшуюся завуалированной формой расплаты со Швецией за услугу (скорее, за обещание оказать услугу) при своем восшествии на престол: «Лучше нам оставить за собою малое, да нужное, а шведам уступит большее и им полезное, а нам ненужное».

17 июня 1743 г. был подписан Абовский мир, по которому Швеция подтвердила условия Ништадтского договора 1721 г., то есть согласилась с утратой Эстляндии и Лифляндии, а также поступилась небольшой территорией Финляндии. Результаты русско-шведской войны, как видим, не соответствовали понесенным Россией затратам, агрессор не был наказан.

Самая значительная внешнеполитическая акция рассматриваемого времени связана с участием России в военном конфликте европейского масштаба, в который было вовлечено множество стран Европы, — в Семилетней войне. Ситуация, сложившаяся в Европе ко времени ее начала в 1756 г., была настолько сложной и парадоксальной, что нуждается в некоторых пояснениях.

Парадоксальность состояла в том, что участники конфликта, традиционно считавшиеся дружественными державами, оказались в противоположных друг другу лагерях. И наоборот, враждебно относившиеся друг к другу стали союзниками и бок о бок сражались со своими бывшими друзьями. Виновицей, внесшей сумятицу в систему европейских отношений и по-новому перекроившей все союзы, была Пруссия, воинственный король которой, вступивший на престол в 1740 г., зарился на земли не только своих ближайших соседей, но и дальних стран. Франция неожиданно для себя обнаружила, что главной ее противницей отныне являлась не Австрия, а Пруссия. Вековую вражду и соперничество между Австрией и Францией сменил союз между ними. В Вене полагали, что только при помощи Франции Австрия может вернуть отнятую у нее Фридрихом II Силезию. Пруссия превратилась в злейшего врага Австрии, и сокращение из года в год растущего могущества прусского короля стало ее важнейшей внешнеполитической задачей.

Франция издавна считалась недругом России, в течение многих десятилетий натравливавшей на нее соседей: Речь Посполитую, Османскую империю, Швецию. Мы уже имели возможность убедиться, что все войны, в которые была вовлечена Россия, в значительной мере были инспирированы Францией, ревниво следившей за превращением неведомой Московии в великую державу, способную соперничать с нею на континенте. Угроза со стороны Пруссии, мечтавшей о захвате Курляндии, вынудила Францию и Россию забыть прежнее недружелюбие и объединиться для борьбы с Фридрихом II.

Напротив, Англия с Россией поддерживала дружественные отношения, лишь изредка омрачаемые кратковременными размолвками. Дружелюбие английского правительства объяснялось прежде всего тем, что Россия являлась важнейшим торговым партнером: английские купцы в обмен на краски, сукна и колониальные товары закупали для флота владычицы

морей мачтовый лес, пеньку, железо и прочие материалы, необходимые для кораблестроения. Заинтересованность Англии в русском экспорте была столь значительной, что она нередко оказывала решающее воздействие на русско-английские отношения. На этот раз Англия оказалась в лагере, враждебном России. Англию толкнули в объятия Пруссии противоречия с Францией. Фридрих II рассчитывал, что его союз с Англией удержит Россию от выступления против Пруссии.

В одном стане с Россией оказалась и Швеция, не так давно закончившая с ней войну. Участие Швеции в Семилетней войне против Пруссии было обусловлено надеждой вернуть себе утраченную Померанию, а также тем, что она долгие годы была послушным орудием французской дипломатии. В итоге в Европе в середине 50-х годов XVIII в. сложились две коалиции противостоявших друг другу государств: в одну из них входили Австрия, Россия, Франция, Швеция и позже примкнувшая к ним Саксония; другую составляли Пруссия и Англия, причем участие последней, как и всегда, преимущественно ограничивалось финансированием армии прусского короля.

Сразу же оговоримся, что антипрусский альянс не отличался прочностью, над его участниками довели давние традиции враждебности и подозрительности. Чтобы убедиться в этом, перечислим договоры, предшествовавшие установлению союзнических отношений между участниками антипрусской коалиции и свидетельствовавшие о наличии ранее взятых на себя обязательств, противоречивших обстановке середины 50-х годов. Так, между Австрией и Россией существовал союзный договор о взаимной помощи, заключенный еще в 1726 г. Чтобы заручиться поддержкой России в связи с угрозой, исходившей от Пруссии, Австрия в 1743 г. согласилась признать за Елизаветой Петровной титул императрицы.

В 1743 г. Россия и Пруссия заключили оборонительный союз. Пользуясь им, Фридрих II вторгся в Австрию и отобрал Силезию. Несмотря на договор 1726 г., Россия ограничилась всего лишь демаршем по поводу прусской агрессии. Пассивность России объяснима — у нее были связаны руки войной со Швецией, начатой по науськиванию не только Франции, но и Пруссии. Дружественные отношения между Россией и Англией были закреплены русско-английским союзным договором 1741 — 1742 гг., обязывавшим в случае нападения на одну из договаривавшихся сторон оказывать военную либо финансовую помощь. Отношения между европейскими державами венчает Варшавский договор, заключенный в 1745 г. между Австрией, Англией, Голландией и Саксонией и направленный против Пруссии. Значительная часть этих договоров и союзов к середине 50-х годов утратила силу.

В марте 1756 г. при дворе Елизаветы Петровны была создана так называемая Конференция, превратившаяся в постоянный орган, главная задача которого состояла в обсуждении внешнеполитических вопросов и определении внешнеполитического курса страны. Уже 30 марта Конференция решила обратиться к Австрии с предложением о совместном вы-

ступлении против Пруссии. Цель войны, как ее определила Конференция, состояла в том, чтобы, «ослабя короля прусского, сделать его для России нестрашным и незаботным». Россия при этом объявила о готовности выставить армию в 80 тысяч человек. Австрия, однако, вследствие своей неподготовленности к войне отклонила предложение России.

Зная о готовившемся нападении на Пруссию, Фридрих II решил нанести упреждающий удар. Как известно, король отличался безмерным цинизмом и неразборчивостью в средствах достижения поставленной цели. Позже он рассуждал по поводу своего нападения на Австрию: «Задерживаться пустыми формальностями в таком важном случае было бы в политике непростительной ошибкой»³¹.

В нашу задачу не входит подробное изложение военных действий Семилетней войны. Мы ограничимся описанием сражений с участием русских войск. Несколько замечаний, этому предшествующих.

Участие России в войне против Пруссии относится к событиям, вызванным объективными причинами. Их лаконично сформулировал канцлер Бестужев еще в 1744 г., заявив: «По близости соседства и великой угрожаемости сим (Пруссия. — Н. П.) представляет первую и главную опасность России». Позиция канцлера импонировала императрице, считавшей короля «захватчивым, беспокойным и возмутительным». Неприязнь императрицы к королю имела и субъективные основания — она, похоже, поверила информации Зубарева, из которой вытекало горячее желание Фридриха II видеть на троне вместо Елизаветы Петровны Иоанна Антоновича.

При дворе в Петербурге не все, однако, разделяли взгляды Елизаветы Петровны и ее канцлера на прусского короля. Иначе смотрел так называемый малый двор, то есть двор наследника престола Петра Федоровича. Он, как в своем месте было сказано, не только преклонялся перед Фридрихом, но боготворил его. Поэтому враждебного отношения наследника престола к прусскому королю ожидать не приходилось. Более того: Петру Федоровичу принадлежит высказывание, из которого явствует его враждебное отношение к народу, управлять которым ему предстояло после смерти тетушки: «Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперя я сидел бы на престоле цивилизованного народа»³². Из свидетельства Е. Р. Дашковой видно, что любовь Петра Федоровича к своему кумиру носила отнюдь не платонический характер — великий князь снабжал его сведениями, составлявшими государственную тайну. «Однажды, — вспоминала княгиня, — когда я была у государя, он, к величайшему удивлению всех присутствовавших, по поводу разговора о прусском короле, начал рассказывать Волкову (в предыдущее царствование он был первым и единственным секретарем Конференции), как они много раз смеялись над секретными решениями и предписаниями, посылаемыми Конференциею в армии; эти бумаги не имели последствий, так как они предварительно сообщали о них королю. Волков бледнел и крас-

нел, а Петр III, не замечая этого, продолжал хвастаться услугами, оказанными им прусскому королю на основании сообщенных ему Волковым решений и намерений совета»³³.

Предварительных пояснений требует также вопрос, как Фридриху II в течение семи лет удавалось не только сдерживать натиск союзников, силы которых в несколько раз превосходили его собственные, но и часто наносить сокрушительные удары австрийцам и французам. Так, численность войск основных союзников (Россия, Австрия, Франция) в канун Семилетней войны составляла 731 тысячу человек, в то время как прусский король располагал 142 — 145 тысячами человек. Казалось бы, силы были неравны и даже с учетом того, что ни одна из стран-союзниц не отправляла на театр военных действий весь наличный контингент, а у Фридриха II было задействовано все, чем он располагал. Превосходство коалиции оставалось несомненным.

Своим успехом Фридрих II был обязан множеству благоприятных для него обстоятельств. Главным из них, умело используемым прусским королем, было отсутствие согласованных действий союзников, наличие в их стане глубоких противоречий, мешавших выступить единым фронтом, что позволяло Фридриху II сражаться с каждым из своих противников порознь и побеждать их. Второе преимущество прусского короля состояло в обладании им хорошо вымуштрованной, державшейся на жестокой палочной дисциплине армией. К этому надлежит прибавить наличие у Фридриха II полководческих дарований, отсутствовавших у фельдмаршалов, командовавших армиями противников. Историки военного искусства единодушно в признании тактического таланта Фридриха II, его умении мгновенно оценить быстро меняющуюся обстановку на поле боя и принять соответствующее решение, склонности к решительным действиям, направленным на истребление живой силы противника. В этом плане он существенно отличался от австрийского главнокомандующего, иногда побеждавшего Фридриха осторожностью, взвешенными передвижениями, рассчитанными на истощение сил противника, но внешне создававшего впечатление медлительности. Недаром императрица Мария Терезия велела в его честь выбить медаль с надписью, отражавшей кредо Дауна: «Продолжай побеждать медлительностью».

Еще сложнее обстояло дело с командующими русскими войсками. Большинство из них оказалось обделенными талантами военачальников. Но даже если бы талантов было в избытке, реализовать их представлялось делом затруднительным. Конференция при высочайшем дворе, первоначально предназначенная для определения генеральных направлений во внешней политике России, превратилась в своего рода оперативный штаб по руководству военными действиями.

Между столицей России и театром военных действий денно и нощно сновали курьеры, доставлявшие донесения главнокомандующих Конференции и директивы Конференции главнокомандующим. Иногда Конференция отправляла свои директивы командирам бригад и дивизий, минуя

главнокомандующих. Если учесть средства связи тех времен, то станет очевидным: директивы Конференции опаздывали, не могли учитывать менявшихся планов противника и напрочь сковывали инициативу главнокомандующего, не рисковавшего совершить ни одного шага без указаний сверху. Положение Фридриха II в этом отношении было куда предпочтительнее — он ни перед кем не отчитывался, а сам принимал решение в обстановке, в которой великолепно ориентировался.

Фридрих II обладал еще одним ценным преимуществом — у него была хорошо поставлена разведка. Выше было упомянуто о получении королем информации о постановлениях Конференции от великого князя Петра Федоровича. Своего агента король имел и в ставке главнокомандующего. Им оказался генерал Тотлебен, аккуратно извещавший Фридриха II о планах намечавшихся в ставке операций.

В сентябре 1756 г. С. Ф. Апраксин по представлению его приятеля канцлера Бестужева был произведен в генерал-фельдмаршалы, а затем получил назначение главнокомандующим. Апраксин — типичный царедворец, изнеженный сибарит, за плечами которого единственная военная акция — участие в осаде Очакова. Кирилл Разумовский об этом назначении отзывался так: «Ежели бы тогда моего мнения спросили, когда командир учреждался, я бы всегда мог по привычке чистосердечно и беспристрастно сказать, что человек без практики и столь тяжелого тела, а притом ни в каких военных обращениях с европейцами не бывавший... едва ли годится командиром быть»³⁴. К слову сказать, российская армия к тому времени оскудела военачальниками: на высокую должность главнокомандующего могли претендовать два фельдмаршала — Ласи и Трубецкой, но оба были глубокими стариками, к тому же Трубецкой получил этот чин не за ратные подвиги.

Существенная деталь, характеризующая Апраксина как царедворца, а не военачальника: получив назначение главнокомандующего, он не спешил к армии и долгое время отсиживался в столице. Это было связано с тем, что в октябре — начале ноября 1756 г. императрица серьезно занемогла — придворный врач отпускал ей полгода жизни. Апраксин ждал развязки, ибо был хорошо осведомлен о пруссофильстве наследника и крутом повороте внешнеполитического курса в случае его воцарения.

В напряженном ожидании близкой кончины императрицы пребывал не только Апраксин, но и прусский король. «Если бы императрица умерла, — делился Фридрих II своими радужными надеждами с английским послом в Берлине, — это могло бы привести к перемене взглядов русского двора, но помимо этой случайности нельзя ни на что надеяться»³⁵.

Елизавета Петровна, однако, поправилась. Апраксину пришлось расстаться с уютом столичной жизни и отправиться к армии, которая 14 мая 1757 г. пересекла границу. Черты царедворца просматривались в письме Апраксина к своему покровителю и другу канцлеру Бестужеву: «...В бытность мою в Петербурге сентименты вашего сиятельства мне были известны, и по всем тогда бывшим разговорам согласование ваше со мною было, и я

отнюдь нимало не отступил»³⁶. Черты сибарита, не привыкшего к спартанской жизни, зарегистрировал участник Семилетней войны А. Т. Болотов. Зайдя в кибитку фельдмаршала, он был поражен богатством ее убранства и комфортом: «...в преогромной богато внутри украшенной и жаровнями и спиртами довольно нагретой кибитке» Апраксин лежал на пуховиках и слушал болтовню бывалого гренадера³⁷.

30 июня раздались первые выстрелы русской армии по неприятелю — началась бомбардировка Мемеля, слабый гарнизон которого упредил штурм капитуляцией. Легкая победа не воодушевила Апраксина — он продолжал поход на запад столь медленно, что, по словам Бестужева, вызвал раздражение императрицы, которая, войдя в зал, где заседала Конференция, «с великим неудовольствием отзываться изволила, что ваше превосходительство так долго в Польше мешкает»³⁸.

«Неудовольствие» императрицы возымело действие, оно мобилизовало Апраксина, и 19 июля русские войска вступили на прусскую землю, а через месяц состоялось первое крупное сражение с пруссаками у деревни Гросс-Егерсдорф. Под стать своему королю самонадеянный прусский фельдмаршал Левальд атаковал три раза превосходящую по численности русскую армию и на первом этапе сражения имел успех, так как, согласно реляции Апраксина, наше «войско, находясь на марше, за множеством обозов, не с такою способностью построено и употреблено быть могло, как того желалось и постановлено было». Участник Гросс-Егерсдорфского сражения А. Т. Болотов отметил его упорство и кровопролитный характер: «От непрерывной стрельбы дым так сгустился, что обеих сражающихся армий... было уже не видно, а слышна только трескотня ружейная и звук пушечной стрельбы». Постепенно намечался перевес пруссаков. Они, по свидетельству Болотова, находились на полпути к победе, но меткие выстрелы пушек и атака находившихся в резерве полков решили исход сражения, продолжавшегося десять часов, в пользу русских войск. Его выиграли отважно действовавшие солдаты. Что касается Апраксина, то он совершил множество ошибок и проявил отсутствие дарований военачальника: плохо организованная разведывательная служба не снабдила его сведениями о противнике, что позволило тому незамеченным подойти к русской армии. Отсутствовал план сражения. Но главная ошибка главнокомандующего состояла в том, что он вместо преследования разгромленного противника велел своей армии отступать. Болотов записал: «Горе, а не предводители вы, государи наши»³⁹.

Под предлогом недостатка в продовольствии армия отступала на восток, причем это отступление иногда происходило столь беспорядочно и с такими потерями обоза и больных, что напоминало бегство. Изнуренная походом армия к 3 октября 1757 г. имела 46 810 здоровых и 58 057 больных.

Отступление стоило Апраксину не только карьеры, но и жизни — он был освобожден от должности, вызван для следствия и суда в столицу, но его длительное пребывание в Нарве, где ему было велено ожидать вызова, окончилось смертью. Его место занял Фермор.

Фермор имел более основательную военную подготовку, нежели Апраксин, — он участвовал в двух войнах царствования Анны Иоанновны, но известен был как военный инженер и руководитель строительства императорских дворцов. Популярностью в армии он не пользовался — отчасти вследствие своего английского происхождения, отчасти из-за высокомерно-пренебрежительного отношения к русским генералам и солдатам.

От Фермора, как и от Апраксина, Конференция требовала наступательных операций. Русские войска без сопротивления заняли большую часть Восточной Пруссии. Жители Кенигсберга присягнули на верность Елизавете Петровне, в церквах молились за ее здоровье. Главные события в кампании 1758 г. развернулись не в Восточной Пруссии, а в сражении при деревне Цорндорф, состоявшемся 14 августа. Прусскими войсками командовал сам король. Сражение показало беспримерную стойкость и отвагу русских солдат и бездарность Фермора как военачальника. Он выбрал невыгодную для обороны местность, где сосредоточилась на небольшом пятачке огромная масса людей, что позволяло пруссакам одним ядром выводить из строя десятки русских солдат. Когда Фридриху II донесли о расположении русских войск, он заметил, что ни одно из ядер, пушенных в ту сторону, не пропадет даром. Цорндорфское сражение принадлежит к самым кровопролитным. Хвастливое заявление короля о том, что русские побегут при первой же атаке, не сбылось. Обе стороны понесли огромные потери, а оба главнокомандующих приписали себе победу: и в русском, и в прусском лагерях были отслужены благодарственные молебны. В действительности в этом сражении не было ни победителей, ни побежденных.

Молебен и победная реляция не спасли Фермора от лишения должности — в разгар сражения он смалодушничал и, будучи не то контуженным, не то легкораненым, покинул на некоторое время поле боя, предоставив командирам бригад и дивизий действовать на свой страх и риск.

30 июня 1759 г. армию принял новый главнокомандующий — Петр Семенович Салтыков. В отличие от Апраксина он не принадлежал к кругу царедворцев, не любил пышности, не окружал себя блестящей свитой, а в отличие от Фермора проявлял к солдатам человеческую заботу и пользовался их любовью. Еще одно отличие — Салтыков не уподоблялся своим предшественникам, покорно ожидавшим предписаний Конференции, проявлял самостоятельность и позволял себе иметь собственное мнение. Отзыв Болотова о новом главнокомандующем пронизан теплотой: «Старичок седенький, маленький, простенький, в белом ландмилицком кафтане, без всяких дальних украшений и без всех пышностей, ходил он по улицам и не имел за собою более двух или трех человек в последствии. Привыкшим к пышностям и великолепиям в командирах, чудно нам сие и удивительно казалось, и мы не понимали, как такому простенькому и по всему видимому старичку можно было быть главным командиром толь великой армии»⁴⁰.

Этот «седенький, маленький, простенький старичок» в кампании 1759 г. одержал две блистательные победы над пруссаками: первую — у деревни Пальциг, вторую — у деревни Кунерсдорф 1 августа.

Сражение у Пальцига было связано со стремлением Фридриха II помешать соединению русских войск с австрийскими. Навстречу Салтыкову король отправил своего лучшего генерала Веделя, исполнительность которого высоко ценил: «Он всегда прекрасно исполняет то, что ему поручают, и даже каждый раз превосходит... ожидания». Силы Салтыкова лишь ненамного превышали силы Веделя, зато у прусского генерала было двойное превосходство в кавалерии.

Многочисленные атаки пруссаков не приносили ожидаемого успеха и сопровождалась потерями, в два раза превосходившими потери русских. Салтыков доносил: «Гордый совершенно разбит, прогнан и побежден», оставив 4228 трупов при 900 убитых у русских. Фридрих II был потрясен вестью о результатах сражения и своему брату писал: «Мы нищие, у которых все отнято, у нас ничего не осталось, кроме чести; и я сделаю все возможное, чтобы спасти ее». Тем не менее Европу он беззастенчиво обманывал, извещая ее об отступлении своей армии «с полным достоинством». Особенно поражают сведения прусского короля о потерях: у пруссаков они якобы составили 1400 человек, а у русских в десять раз больше — 14 тысяч человек.

После победы у Пальцига русские без боя овладели Франкфуртом. В пяти верстах от города, у деревни Кунерсдорф, состоялось еще одно сражение, знаменитое тем, что за всю Семилетнюю войну впервые войска России и Австрии действовали согласованно и совместно. Кунерсдорфское сражение знаменито еще и тем, что Фридрих II потерпел небывало сокрушительное поражение.

Первоначально атака укрепленного лагеря Салтыкова принесла Фридриху успех, и он в ответ на сообщение о победе над французами велел курьеру передать победителям радостную весть о победе над русскими. Ради достижения окончательной победы король бросил в бой свою последнюю надежду — знаменитую кавалерию генерала Зейдлица, всегда решавшую исход сражения. Но атака кавалерии была остановлена артиллерией, и она ускакала с поля боя. В то время как у Фридриха это был последний резерв, Салтыков располагал свежими силами, не участвовавшими в сражении. Все попытки остановить в панике бежавшую пехоту короля оказались тщетными. Король оказался без свиты и конвоя и едва не попал в плен к казакам. Он писал о проигранном сражении: «Я несчастлив, что еще жив... из армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч». Далее писал о несчастье, пережить которое у него нет сил: «У меня больше нет никаких средств, и, сказать по правде, я считаю все потерянным». После Кунерсдорфа король намеревался покончить жизнь самоубийством. Победителей ждали награды: Салтыков был произведен в фельдмаршалы, а все участники получили медаль с надписью: «Победителю над пруссаками».

Кунерсдорфская победа открывала путь на Берлин. Но между союзниками вновь обострились противоречия. Вместо похода на столицу Пруссии, где можно было принудить воинственного короля к безоговорочной капитуляции, австрийцы настаивали на походе на юг с целью освобождения Силезии. Австрийское командование не выполнило своего обязательства о снабжении русской армии продовольствием, что лишило ее возможности совершить самостоятельный поход на Берлин. Когда вместо провианта австрийцы предложили Салтыкову деньги, тот ответил: «Мои солдаты денег не едят».

В феврале 1760 г. Салтыков прибыл в Петербург для согласования плана военных действий на текущий год. Предложенный главнокомандующим план Конференция отклонила на том основании, что он учитывал интересы России и игнорировал интересы Австрии. В Петербурге же рассчитывали подвинуть Австрию на более активные совместные операции и в текущем году завершить войну. Салтыков, однако, проявил упорство, не соглашался с предписаниями Конференции действовать в интересах Австрии, подстраиваться к австрийскому главнокомандующему. В итоге Конференция обратилась к императрице с доношением, в котором извещала, что Салтыков, «получая от одной болезни свободу, не только, однако ж, в крайней слабости и час от часу хуже себя находит, но едва ль не другую еще внутреннюю болезнь чувствовать начинает». Ссылаясь на донесение графа Чернышова, Конференция сообщила еще одну деталь: фельдмаршал пребывает «в такой ипохондрии, что часто плачет, в дела не вступает и нескрывает, что намерен просить увольнения от команды». Салтыков действительно 31 августа подал прошение об отставке.

Новым — четвертым по счету — главнокомандующим стал граф Александр Борисович Бутурлин, до своего назначения не имевший никакого отношения к военному делу. В ранней молодости он был денщиком Петра Великого, затем фаворитом цесаревны Елизаветы Петровны, до конца дней своих сохранившей к нему добрые чувства. По отзыву Болотова, единственное достоинство Бутурлина состояло в умении пить. «Как он был неуч и совершенный во всем невежда, то все отчаивались и не ожидали в будущую кампанию ни малейшего успеха, в чем действительно и не обманулись». Бутурлин, по свидетельству Чернышова, даже не умел читать топографических карт.

Репутацию беспомощного и некомпетентного военачальника Бутурлин подтвердил беспорядочным созывом военных советов — сам он не отваживался принимать решения даже по мелким вопросам.

В кампанию 1760 г. русские войска совершили две крупномасштабные акции — заняли Берлин и Кольберг. К обеим операциям Бутурлин не имел никакого отношения — они были запланированы до назначения его главнокомандующим. Чернышов овладел Берлином до прибытия Бутурлина в действующую армию; раньше началась и осада Кольберга.

Взятие Берлина мыслилась как диверсия, кратковременное действие, преследующее финансовые и моральные цели. 29 сентября 1760 г. корпус

графа Чернышова вошел в столицу Пруссии практически без боя — слабый гарнизон покинул город, как только началась его бомбардировка. На город была наложена контрибуция в полтора миллиона талеров и 200 тысяч талеров на войско. Стараниями генерала на русской службе Тотлебена — как позже выяснилось, являвшегося шпионом Фридриха II, — населению Берлина было сделано послабление и контрибуция взыскана не полностью.

Занятие Берлина вызвало в Петербурге бурю восторга. Как только в Петербурге узнали о захвате прусской столицы, все иностранные послы, за исключением английского, прибыли к канцлеру с поздравлениями. В главной квартире были получены сведения о движении к Берлину семидесятитысячной армии во главе с Фридрихом II, и корпусу Чернышова было велено оставить город и соединиться с главными силами.

Осада Кольберга для русских войск явилась последним аккордом Семилетней войны. Войска генерала Румянцева, за которым позже закрепилась слава выдающегося полководца, начали осаду Кольберга 4 сентября, но гарнизон, лишенный продовольствия, в ожидании штурма капитулировал 16 декабря. Радостное известие об этом в столице было опубликовано 25 декабря — в день смерти Елизаветы Петровны.

Затяжная война истощила силы союзников. В декабре 1760 г. Людовик XV заявил, что цель войны достигнута — Пруссия доведена до такого состояния, что не представляет угрозы для Франции. В Петербурге, однако, считали, что Фридрих II ослаблен недостаточно, что он по-прежнему представляет угрозу соседям и что в связи с этим нельзя останавливаться на полпути, надобно продолжать военные действия до полной победы: «Уменьшение сил короля прусского есть только кратковременное и такое, что если им не воспользоваться, то он усилится более прежнего». Россия известила союзников, что хотя она тоже истощена, но готова на жертвы, так как «прочность будущего мира и безопасность всех союзников зависит от существенного ослабления короля прусского». Россия претендовала на присоединение Восточной Пруссии, причем «вовсе не для распространения и без того обширных границ... и не для вознаграждения за убытки, ибо владение Пруссией было нам в тягость, но единственно для того, чтобы надежнее утвердить мир»⁴¹.

Еще в более критическом состоянии находились ресурсы Фридриха II. Если раньше его армия обеспечивала себя, грабя богатую Саксонию и безжалостно выколачивая контрибуцию с завоеванных городов, и население коренной Пруссии в полной мере не испытывало тягот войны, то теперь союзные войска хозяйничали на территории самой Пруссии и в соответствии с обычаем того времени безжалостно опустошали страну. Одним словом, положение Фридриха II было отчаянно критическим и от неминуемой катастрофы его могло спасти только чудо. И такое чудо свершилось — на престол вступил Петр III. В день смерти императрицы он отправил своего любимца Андрея Гудовича к королю с извещением о вступлении на престол и намерении установить вечную дружбу с Пруссией.

Далее события развивались с поразительной быстротой в направлении, поразившем современников неожиданными поворотами. 16 марта состоялся обмен пленными. Велась интенсивная подготовка к походу против своего союзника Дании — мышление императора оставалось на уровне Голштинского герцога, и он решил втянуть страну в новую войну ради возвращения Шлезвига, в свое время отторгнутого Данией от Голштинии.

Едва ли не самым значительным событием первых недель царствования Петра III был приезд в Петербург адъютанта Фридриха II и камергера его двора Гольца. Это доверенное лицо короля стало теньвым правителем России в области внешней политики — его рекомендации немедленно и безоговорочно выполнялись российским императором. 5 мая был подписан мирный договор с Пруссией, а вслед за ним трактат о союзе, в результате которого Фридрих получал в свое распоряжение 16-тысячный корпус Чернышова, предназначенный для войны против другого своего недавнего союзника — Австрии. Так была поругана честь России, перечёркнуты все ее победы, стоившие стране огромных материальных ресурсов и человеческих жизней.

Генеральный итог главы состоит в том, что затраты ресурсов, материальных и человеческих, не соответствовали полученным результатам. Объяснение столь печальных итогов внешней политики лежит на поверхности: трон занимали бездарные монархи и монархини, подбиравшие себе, как правило, столь же бездарных сподвижников, подвизавшихся как в дипломатической, так и в военной сферах. За бездарность своих руководителей дорогой ценой расплачивался народ, жертвовавший своими жизнями и практически безрезультатной тратой экономических ресурсов.

Глава 3

ЦЕРКОВЬ — СЛУЖАНКА ГОСУДАРСТВА

История русской православной церкви распадается на два сюжета. Они настолько несхожи и не взаимосвязаны друг с другом, что, несмотря на то что развивались под крышей одного здания, именуемого Синодом, могут рассматриваться изолированно. Первый из них составляет секуляризационный процесс, то есть лишение прав черного и белого духовенства на владение землей и на результаты труда обрабатывавших эту землю крестьян. Содержанием второго сюжета являются исключительно церковные дела: соблюдение чистоты веры, борьба с расколом и сектантством, христианизация нерусских народов, печатание и распространение церковных книг.

Земельные богатства церкви, преимущественно монастырей, издавна являлись предметом вожеланий светской власти. Но в XVII в. государство не решилось на крутые меры и ограничилось лишь запрещением монастырям принимать вклады на помин души, а также от постригшихся в монахи и монахини светских землевладельцев. Другой сферой, где светская власть вела наступление на духовных землевладельцев, было стремление ограничить их иммунитетные права. Уже в XVII в. существование особого управления и судоустройства во владениях духовных феодалов вступало в противоречие с принципами устройства абсолютистского государства и установлением безраздельного подчинения светской власти всех сфер жизни общества: материальной, духовной, семейной.

Вопрос о секуляризации церковных владений рельефно иллюстрирует идею закономерности исторического процесса, против которой не могла устоять даже личность, облеченная абсолютистской властью. В самом деле, набожная императрица Елизавета Петровна, субъективно ни в какой мере не намеревавшаяся ущемлять интересы почитаемого ей духовенства, вынуждена была подчиниться велению времени и поставить на практическую ногу секуляризацию церковных владений. В ее власти было лишь задержать процесс, но не отвортять его. Молва приписывала Елизавете

Петровне слова, якобы произнесенные ею перед кончиной: «Как хотя бы после моей смерти, а я не подпишу»¹. Екатерина II, с превеликим желанием отрицавшая все содеянное ее супругом, сначала осудила указ Петра III о секуляризации и пообещала не покушаться на церковное землевладение, но через пару лет, забыв обещание, подписала указ.

Судьбы церковного землевладения переплетались с судьбами учреждений, ведавших имуществом духовных феодалов, и относились к прямым показателям успехов в секуляризационном процессе. Первый шаг в этом направлении сделало Уложение 1649 г., учредившее Монастырский приказ. Это светское учреждение осуществляло судебную и полицейскую власть над населением духовных вотчин. До 1649 г. сами церковные и монастырские власти разбирали и судили мелкие преступления и тяжбы, оставляя правительственным учреждениям суд по тяжким уголовным делам (разбой, убийство). Церковные и монастырские власти не только определяли меру наказания, но и осуществляли его, подвергая виновных штрафу, экзекуциям и тюремному заключению. Реформа 1649 г. оставляла хозяйственную деятельность вотчины в руках духовенства и не задевала вотчинных прав духовных феодалов. Тем не менее существование Монастырского приказа ограничивало власть духовенства над зависимым от него населением, и духовенство настойчиво домогалось его упразднения. Не случайно патриарх Никон называл Уложение 1649 г. «проклятой книгой». В конечном счете духовенство добилось ликвидации в 1677 г. Монастырского приказа.

Новый виток в секуляризационном процессе был связан с реформами Петра Великого — в 1701 г. царь восстановил Монастырский приказ, но с иной компетенцией, значительно больше ущемлявшей права духовенства, чем Монастырский приказ времен царствования Алексея Михайловича. Теперь суд и расправа по всем без исключения преступлениям передавались суду общему, государственному, на том основании, что не дело церкви держать должников в тюрьмах, надевать на них кандалы и т. д. Но главное отличие Монастырского приказа петровского времени от предшествующего состояло в предоставлении ему права властно вторгаться в хозяйственную жизнь монастырей и строго ее регламентировать.

Прежде всего были определены штаты монастырей с указанием числа монашествующих и разрешением на пострижение только на вакантные места, освободившиеся после смерти монаха или монахини. В 1715 г. монастырям разрешалось принимать на «упалые места» только увечных солдат. Была определена также сумма расходов на монашествующего, равная 10 рублям и 10 четвертям хлеба в год. Позже означенную норму уменьшили вдвое. Перечисленные меры резко изменили состав монашествующих, значительно уменьшив в них удельный вес дворян.

Все вотчины Монастырский приказ разделил на две категории: так называемые определенные, доходы с которых использовались для нужд

монастырской братии, и заопределенные, доходы с которых поступали в государственную казну. Только по 1711 г. государство получило от Монастырского приказа один миллион рублей. В итоге церковной реформы 1701 г. экономическая независимость церкви была ликвидирована. Но так продолжалось до 1721 г., когда монастырские вотчины вновь были переданы в управление только что созданному Синоду, в подчинение которого отдан Монастырский приказ. До сих пор в точности не выяснены причины отступления Петра I от частично осуществленной в 1701 г. секуляризации: то ли царь согласился с доводами Синода, писавшего ему, что вотчины черного и белого духовенства «от гражданских управителей пришли в скудость», то есть были ими разорены², то ли вследствие близкого окончания войны исчезла острая нужда в деньгах, то ли, наконец, царь не пожелал осложнять и без того напряженные отношения с духовенством. Если, однако, руководствоваться заявлением Екатерины I, то, оказывается, Петр «соизволил воспринять было намерение» оставить церковные дела в ведомстве Духовной коллегии, а дела хозяйственные изъять у нее, но смерть помешала осуществить задуманное.

Намерение императора реализовала его супруга манифестом 15 июля 1726 г. Под предлогом того, что внимание Синода будет приковано к управлению вотчинами в ущерб чисто церковным заботам, было решено разделить его на два департамента по шесть человек в каждом, причем первый департамент состоял исключительно из духовных иерархов, а второй — из светских чинов. Должность первого департамента состояла в том, чтобы «управлять всякие духовные дела Всероссийской церкви и содержать в добром порядке и благочинии духовных, також типографию». На попечение второго департамента передавалось все, что относится к экономике, и также суд и расправу³. Практически два департамента были двумя изолированными друг от друга учреждениями, выполнявшими различные функциональные обязанности. Поэтому первый департамент оставался неизменным, а второй менял не только название, но и подчиненность: вскоре после реформы 1726 г. второй департамент получил название Коллегии экономии. В апреле 1738 г. ее подчинили Сенату. Подлинная причина передачи Коллегии экономии под опеку Сената состояла в образовании значительной недоимки по сбору подушной подати. Этот повод был, однако, закамуфлирован суждениями, ставшими стереотипными, о том, что «в оной Коллегии состоят сборы и другие экономические дела», подлежащие ведению Сената, а не Синода.

Уже в царствование Анны Иоанновны могла быть завершена секуляризация церковных имений, но тому помешали случайные обстоятельства. В марте 1740 г. руководитель Коллегии экономии сенатор Платон Иванович Мусин-Пушкин подал императрице донесение, обвинявшее духовенство во множестве грехов: корыстолюбии, административной несостоятельности, игнорировании интересов государства, в результате чего накопилась недоимка в 100 тысяч рублей. Автор донесения предлагал передать

заопределенные вотчины в полное распоряжение Коллегии экономии. Духовные власти отстранялись от управления вотчинами. Реформа обещала казне значительные выгоды: ликвидацию числившихся за вотчинами недоимок и пополнение бюджета за счет доходов с заопределенных вотчин. 25 апреля 1740 г. Анна Иоанновна наложила резолюцию: «Учинить по сему представлению». Претворить в жизнь резолюцию не удалось: инициатор реформы П. И. Мусин-Пушкин попал в немилость и был отстранен от должности, ибо оказался причастным к кружку А. П. Волынского. Спустя полгода после вынесения резолюции скончалась и императрица. Начавшаяся было перепись населения вотчин, а также живого и мертвого инвентаря прервалась. В правление Анны Леопольдовны Синоду удалось вернуть под свое управление заопределенные вотчины.

После вступления на престол Елизаветы Петровны Синод добивается ликвидации Коллегии экономии и создания вместо нее Канцелярии синодального экономического правления. Дело здесь не в смене вывесок, а в существенном сужении прав нового учреждения. Канцелярия лишилась самостоятельности, которой располагала Коллегия экономии, и превратилась в придаток Синода. Новое положение Канцелярии определялось и ее составом — она была укомплектована духовными лицами⁴.

Синоду, однако, и при Елизавете Петровне не удалось стать полновластным и бесконтрольным хозяином вотчин. Тому мешал назначенный императрицей обер-прокурором Синода Яков Петрович Шаховской. Манера деятельности Шаховского оказалась сродни деятельности первого генерал-прокурора Сената — Павла Ивановича Ягужинского. Оба они прониклись идеей служения государству и неукоснительного соблюдения его интересов, оба создали уважение к своей должности и блюли ее престиж, оба не опасались вступать в единоборство с сильными персонами, если те покушались на интересы казны. Короче, энергичный и неустрашимый Шаховской выполнял в Синоде такие же функции «ока государева», которые в свое время выполнял в Сенате Ягужинский. В этой связи отметим одну существенную особенность условий деятельности Шаховского: на Ягужинского, пользовавшегося полным доверием императора, по чьей инициативе была учреждена должность генерал-прокурора, Сенат не осмеливался жаловаться. На Шаховского Синод, осведомленный о набожности императрицы и ее фаворита Разумовского и имевший к ней доступ, позволял подавать жалобы, просить об его отставке. В своих знаменитых «Записках» князь Шаховской красноречиво описал свои столкновения с Синодом, объективно отражавшие борьбу светской власти с духовной за церковное землевладение.

Чиновники Синода встретили появление обер-прокурора «почтительно», а синодальные члены даже «ласково». Вскоре те и другие обнаружили в обер-прокуроре служебное рвение, нарушавшее их спокойную и безмятежную жизнь. По мере того как Шаховской глубже вникал в суть синодских дел, росли его претензии к синодальным членам, вызывавшие кон-

фликтные ситуации. Первая из них связана со стремлением обер-прокурора сделать вычет у синодальных членов, ухитрившихся в нарушение указов получать наряду с жалованием из казны денежные суммы от епархий и монастырей. Императрица поддержала законность действий Шаховского, и, по его подсчетам, эти действия сэкономили казне более 100 тысяч рублей.

Синодальные члены оплатили обер-прокурору взаимностью — перестали выдавать ему жалование из синодальных доходов на том основании, что они не имеют на этот счет точного указа. Шаховской пожаловался императрице. Судьба жалобы высвечивает, с одной стороны, желание Синода ущемить интересы придирчивого обер-прокурора, а с другой — беспечное и легкомысленное отношение императрицы к делам. Спустя некоторое время после жалобы Шаховского она встретила его и заявила: «Я виновата: все позабываю о твоём жалованье приказать». Спустя более двух месяцев Елизавета Петровна, встретившись с Шаховским, опять сказала: «Вот я забыла о вашем жалованье». На этот раз вопрос был решен на месте: императрица подозвала сенатского обер-прокурора и велела ему объявить Синоду, чтобы тот без задержания платил жалование Шаховскому.

Еще один конфликт возник в связи с попыткой синодальных членов замять безнравственный поступок одного архимандрита, доставленного крестьянами в Синод вместе с грешницей. Хотя архимандрит и признался в своем грехопадении, синодальные члены изобраили императрице дело так, что виновным оказался не архимандрит, а крестьяне, его оклеветавшие. Синодалы, по словам Шаховского, жаловались, что «оним разглашением всенародное посмеяние всему их сану происходит, так что когда из оных кто по улице идет, то нарочно пальцами указывают и вслух говорят с поношением, почитая их быть такими же». Введенная в заблуждение, императрица велела наказать крестьян и грешницу, а Шаховскому от генерал-прокурора последовал выговор за распространение слухов, компрометирующих духовенство. Победу в конфликте в конечном счете праздновал Шаховской, убедивший императрицу в том, что она стала жертвой обмана. «Боже мой, — воскликнула она, — можно ли мне подумать, чтоб так меня обманывать отважились! Весьма о том сожалею, да уж пособить нечем».

Синодалы прибегли к крайнему средству — на коленях, со слезами на глазах они умоляли императрицу либо уволить их от присутствия в Синоде, либо уволить обер-прокурора, освободив их от его дерзких и оскорбительных поступков. Елизавета Петровна ответила синодалам, что она нуждается в услугах обер-прокурора. В другой раз она заявила: «Он мне в Синоде надобен, и я его оттуда не отпущу. Я довольно уже узнала его справедливые поступки». С тех пор, по словам Шаховского, «видя в моих предприятиях успехи, никаких явных неудовольствий долго не оказывали, а всегда под добрыми покрывалами умалить мой кредит старались»⁵. В конечном счете Синод все же освободился от строптивного обер-

прокурора — в 1753 г. Императрица назначила Шаховского на более высокую должность — генерал-кригскомиссара.

Перечисленные выше колебания правительства, направленные то на секуляризацию церковных владений, то на закрепление прав на них духовенства, свидетельствуют об упорном отстаивании духовными феодалами своих прав на землевладение и не менее упорном сопротивлении их секуляризации. С другой стороны, за зигзагами и колебаниями нетрудно обнаружить общую тенденцию развития процесса, его неотвратимость и приближение времени завершения — плод созрел. Едва ли не самый важный шаг в этом направлении совершила богомольная Елизавета Петровна, заявившая на Конференции при высочайшем дворе 30 сентября 1757 г. о необходимости изъятия управления вотчинами из рук монастырских слуг и передаче его штаб- и обер-офицерам, о составлении описей имущества монастырей, об установлении размера повинностей с монастырских крестьян, равных тем, которые получали помещики от своих крепостных. На монастыри разрешалось издерживать только суммы, предусмотренные штатом.

Синод, разумеется, возражал против означенных мер и как мог саботировал их реализацию, так что практически дело секуляризации при Елизавете Петровне не сдвинулось с места. Зато у монастырского начальства и монашествующих она посеяла неуверенность в завтрашнем дне, в скором наступлении времени, когда государство отнимет у них вотчины. Отсюда стремление выжать из крестьян максимум доходов, что, конечно же, истощало хозяйственные ресурсы. Хищническая эксплуатация монастырских крестьян привела к их массовым волнениям и отказам подчиняться монастырским властям и выполнять барщинные и оброчные повинности. Не следует, однако, переоценивать, как это делали некоторые советские историки, влияние крестьянских выступлений на секуляризационный процесс — серьезной угрозы для существовавшего режима они не представляли, и секуляризация отнюдь не являлась ни проявлением страха правительства, ни его уступчивости.

Новый импульс в секуляризации монастырских вотчин связан с именем Петра III, не обремененного симпатиями ни к духовенству, ни к православной вере. Обнародованный им указ 16 февраля 1762 г. освобождал монашествующих «от житейских и мирских попечений» и обязывал безоговорочно выполнять волю императрицы, высказанную ею на Конференции 30 сентября 1757 г. Можно было надеяться, что саботаж церкви будет сломлен и секуляризация пойдет «как наискорее», но через пять с половиной месяцев Петр III лишился короны. Тем не менее указ всполошил духовенство. Архиепископ Московский Тимофей писал ростовскому митрополиту Арсению Мациевичу: «Всех нас печальная сия тронула перемена, которая жизнь нашу ведет к воздыханиям и болезням... До сего мы дожили по заслугам нашим»⁶.

Вступившая на престол Екатерина II в первое время чувствовала себя на нем неуверенно и не была заинтересована в продолжении дела, реши-

тельно начатого ее супругом. Напротив, ее горячим желанием было приобрести в лице духовенства опору незаконно занятому ею трону. Уже 3 июля, пять дней спустя после переворота, она велела Сенату высказать свое мнение о духовенстве и способах удовлетворения его потребностей. Не дожидаясь решения Сената, Синод подал прошение об отдаче вотчин во владение архиерейских домов и монастырей. В итоге Екатерина II 12 августа 1762 г. обнародовала указ, объявлявший секуляризацию «неполезным установлением». Более того: императрица обещала отказаться от ее проведения. «Не имеем мы намерения и желания, — провозглашал указ, — присвоить себе церковные имения; но только имеем данную нам от Бога власть предписывать законы о лучшем оным употреблении на славу Божию и пользу отечества»⁷. Далее следовала отмена новшеств, нацеленных на проведение секуляризации: упразднена восстановленная Петром III Коллегия экономии, отозваны офицеры, начавшие составлять описи недвижимого и движимого имущества, а также назначенные управлять вотчинами: управление ими передавалось духовному чину.

Отменив секуляризацию, Екатерина исподволь стала готовиться к ее проведению. В конце ноября 1762 г. она учредила особую комиссию о церковных имениях, которой поручила выяснение «истинных доходов от церковных имений». В комиссию наряду со светскими были включены и духовные чины, причем последних подбирали из лиц, готовых поддержать начинание императрицы. Среди них самой важной персоной был президент Синода Дмитрий Сеченов, оказавший Екатерине значимые услуги во время переворота и за это благодетельствованный ею. Именно митрополит Дмитрий провозгласил в Казанском соборе самодержавной императрицей Екатерину, прибывшую из Петергофа. Екатерина отблагодарила пожалованием Дмитрию тысячи душ крепостных. Свою деятельность комиссия о церковных имениях начала с восстановления Комиссии экономии.

Секуляризацию, на этот раз необратимую, провозгласил Манифест 26 февраля 1764 г. Все население и земли архиерейских домов и монастырей передавались в административное, судебное и податное управления Коллегии экономии. Отсюда и крестьяне получили название экономических. Около двух миллионов крестьян обоего пола перешло в руки государства.

Секуляризация владений духовенства имела два следствия. Она окончательно решила спор о церковных вотчинах в пользу светской власти. Это обеспечило поступление в казну около 1,4 миллиона рублей, из которых менее половины отпускалось на содержание монастырей и архиерейских домов, госпиталей и богаделен, а остальные деньги поступали в бюджет государства. Другим результатом секуляризации явилось улучшение положения бывших монастырских крестьян. Работа на монастырской барщине была заменена денежным оброком, что в меньшей мере регламентировало хозяйственную деятельность крестьян. Кроме того, экономические крестьяне, помимо ранее обрабатываемых ими площадей, получи-

ли в пользование часть монастырских земель. Наконец, экономические крестьяне освободились от юрисдикции суда вотчинной администрации, истяжений и т. д.

Церковные иерархи послушно смирились с секуляризацией, хотя она и поставила церковь в ббльшую, чем раньше, зависимость от государства. С ликвидацией патриаршества и созданием Синода церковь лишилась административной независимости. Теперь секуляризация поставила церковь в экономическую зависимость от светской власти — материальное обеспечение архиерейских домов и монастырей передавалось в руки государства. Единственным иерархом, энергично протестовавшим против секуляризации и фанатично защищавшим право духовенства на землю и душевладение, был ростовский митрополит Арсений Мациевич.

Когда знакомишься с трагической судьбой Арсения Мациевича, невольно вспоминаются имена двух церковных деятелей прошлого, XVII в.: патриарха Никона и протопопа Аввакума. Это одинаково сильные личности, причем в Арсении Мациевиче сочетались черты того и другого: с Аввакумом Арсения сближает фанатическая вера в правильность собственных взглядов, нежелание пойти на компромисс с идейными противниками и готовность поступиться ради идеи всеми благами. Но Аввакум не располагал властью, его оружием было слово и подвижничество. Арсений Мациевич принадлежал к числу церковных иерархов, разумеется, меньшего масштаба, чем патриарх Никон, но именно эта общность определила одинаковые средства борьбы с противником. «Тот и другой в азарте борьбы, — писал историк церкви А. В. Карташев, — соблазняются прибегать к духовному орудью — анафеме. Помещик Обрезков выиграл в суде тяжбу с Ростовским монастырем. Арсений налагает на него, его семью и на всех его крепостных людей церковное отлучение: «Обрезковых люди наносят церкви Божией немалую обиду и разорение. Того ради учиненным за своим архиерейским подписанием повелел: показанного майора Обрезкова Матвея и сына его — отлучить. Женам и домашним их того Пазушинского приходу, дворовым их людям и крестьянам и домашним же их объявить Божие и его архипастырское неблагословение, и от входа церковного их всех отлучить, и как в церкви Божии входить, так и до исповеди и причастия св. тайн не допускать, и в дома их не входить никому ни с какими требами».

Признаки строптивного нрава и неуживчивого характера обнаруживаются у Арсения Мациевича уже в начале 40-х годов, причем он создавал конфликтные ситуации буквально на ровном месте, не был разборчив в выражениях — суждения его отличались резкостью и беспепелляционностью. В ростовский Авраамиев монастырь на прокормление прислали отставного солдата. Арсений шлет письмо в Коллегию экономии с вопросом, почему у него, Арсения, заранее не спросили согласия: «Есть ли в епаршеских монастырях порожние порции, а посылают в монастыри так, нахально». Из частного случая и мелочного по своей сути события Арсений сделал генеральный вывод, отнюдь не вытекающий из самого факта: «В этом неусыпное желание Коллегии экономии все монашество истребить

и искоренить и церкви разорить». Здесь же еще один выпад, на этот раз против коллегиальных членов, несомненно, вызвавший их гнев и раздражение: «У кого удобнее из порций убавить и дать солдату: у бедного ли монаха или у коллежского члена, которому и сверх жалованья из монастырей везут немало?»

В том же 1742 г. Арсений вновь отказался принять партию инвалидов. Завязалась его полемика с Синодом и Сенатом, причем Синод уговаривал непослушного митрополита, чтобы он впредь не писал Сенату «с такою надменною злобою» и «бесстрашием». Арсения зывали в Московскую синодальную контору для внушения. Не помогло.

Рассказанные эпизоды из биографии Арсения Мациевича непосредственного отношения к секуляризации не имели, они приведены, поскольку создают портрет бунтаря, готового вступить в схватку с самыми высокими властями. Беда митрополита в том, что он не соразмерял свои силы с силами противоборствующей стороны и явно переоценивал свои возможности. Он настолько был ослеплен идеей незыблемости духовной собственности и необходимости ее сохранения за епархиями и монастырями, что не верил в обреченность как самой идеи, так и собственной судьбы.

Мациевич не просто упрямо твердил о необходимости сохранить духовную собственность, но и пытался обосновать это право теоретическими выкладками и историческими примерами. Духовные пастыри, писал он в первом доношении Синоду 6 марта 1763 г., были раньше «свободными властелинами» только потому, что являлись собственниками имущества, обеспечивавшего их независимость. Даже татары щадили духовенство и не осмелились покушаться на его собственность. Он одобрял Екатерину II, отменившую указ Петра III о секуляризации.

Не оставил ростовский митрополит в покое и сослуживцев-архиереев, которые вместо громкого и единого протеста терпеливо сносят надругательство — «как псы немые, не лая, смотрят». Арсений также озабочен был судьбами монашествующих, исчезновение которых приведет к засилью раскольников, лютеран и прочих отступников от православной веры. «Горе нам, бедным архиереям, — патетически восклицал Мациевич в доношении, — яко не от поган, но от своих, мнящих быти овец правоверных, толикое мучительство претерпеваем».

Реакцию Синода можно было предвидеть — он, конечно же, не осмелился поддержать явно антиправительственное выступление Мациевича, но, обнаружив в нем оскорбление императрицы, просил ее определить обидчику меру наказания. Императрица не заставила себя упрашивать. Она отправила Синоду собственноручный ответ, в котором, соглашаясь с его мнением о том, что из-под пера Мациевича вышли «превратные и возмутительные истолкования», передала его дело «на справедливый, законами утвержденный суд Синода».

Карательный механизм был запущен: Синод велел взять Арсения под стражу и доставить в Москву. Не зная об этом постановлении, Мациевич

сочинил второе доношение Синоду, в котором в крайне мрачных красках нарисовал будущее архиерейских домов и монастырей: все придет в запустение, исчезнет церковное благолепие, церкви лишатся икон — и все это будет истреблено «не от татар и ниже от иностранных неприятелей, но от своих домашних». Митрополит закончил второе доношение просьбой уволить его на покой, но с этой просьбой опоздал — в Ростов примчались синодальные курьеры, усадили митрополита в сани и 17 марта 1763 г. доставили в Москву.

На другой день генерал-прокурор Сената Глебов получил от императрицы записку: «Нынешнюю ночь привезли вряля, которого исповедовать должно. Приезжайте уже ко мне, он здесь во дворце будет». Горячий интерес Екатерины к делу Мациевича объяснялся не столько его антисекуляризационными сочинениями, сколько враждебными высказываниями в ее адрес: Арсений считал ее «неприродной» и «нетвердой в законе», обвинял в узурпации трона, который должен принадлежать Иоанну Антоновичу.

Екатерина «исповедовала» Арсения в присутствии фаворита Орлова, генерал-прокурора Глебова и руководителя Тайной канцелярии Шешковского. Ответы допрашиваемого были столь резкими и не щадившими императрицу, что та «зажала уши» и воскликнула: «Заклепите ему рот!»

1 апреля начался суд. В роли судей выступали исключительно духовные лица, так сказать, коллеги подсудимого, готовые вынести угодный императрице приговор. Суд определил лишить Арсения сана и отправить в отдаленный монастырь, запретив ему общение с посторонними, а также пользование бумагой и чернилами. Императрице предоставлялась возможность смягчить приговор, проявить милосердие, чем она и воспользовалась: она велела оставить ему монашеский чин и тем самым освобождала его от суда гражданского, то есть истязаний и пыток.

Церемонию лишения сана совершил Синод в полном составе: с Мациевича сняли архиерейское облачение и обрядили в одежду простого монаха. Арсений и здесь, перед Синодом и его президентом, не проявил смирения. В адрес Дмитрия Сеченова он произнес оскорбительные слова.

После этого Арсения повезли в Ферапонтов монастырь — место ссылки, где на столетие раньше отбывал наказание патриарх Никон. Вдогонку был послан новый указ — местом ссылки назначался более отдаленный карельский Никольский монастырь. Екатерина предписала, чтобы Арсений три раза в неделю занимался физическим трудом. Он колот дрова, таскал воду, мыл полы. Императрица известила об одержанной победе Вольтера. Искажая факты, она писала в шутивно-кокетливом тоне, что Арсений осужден «как фанатик, виновный в замысле, противном как православно́й вере, так и верховной власти, лишен сана и священства и предан в руки светского начальства. Я простила его и удовольствовалась тем, что перевела его в монашеское звание». Замыслов против православной веры у Арсения Мациевича не было.

Находясь в ссылке, неугомонный Арсений продолжал произносить осуждающие слова в адрес членов Синода и даже императрицы. Он не мог смириться с убийством Иоанна Антоновича, при прямом попустительстве архимандрита монастыря он даже произносил проповеди, вступал в разговоры с монахами и караульными солдатами. Какой-то «доброхот» донес обо всем этом в губернскую канцелярию. Началось следствие. Когда его результаты стали известны Екатерине, она вновь проявила живейший интерес к Арсению и решила ужесточить его содержание. Вместе с генерал-прокурором Сената А. А. Вяземским она в 1767 г. сочинила указ, по которому узник лишался монашеского звания и становился расстригой. Под именем Андрея Вралья, обряженного в крестьянское платье, его было велено перевезти в Ревель, где содержать так, «чтобы и караульные не только о состоянии его, но ниже и о сем его гнусном имени и не знали». Караул надлежало укомплектовать солдатами, не знавшими русского языка.

В декабрьскую стужу 1767 г. Арсения доставили в Ревель и поместили в крепости Вышгород, в башенной камере длиной десять и шириной семь футов. В этом каменном мешке с маленьким оконцем для передачи пищи, в полной изоляции от окружающего мира Арсений прожил до кончины 28 февраля 1772 г. Императрица не спускала глаз с узника до самой его смерти. В 1771 г. по случаю назначения в Ревель нового коменданта она писала: «Как генерал-поручик фон Бенкендорф ныне обер-комендантом в Ревеле определен, то не изволишь ли писать к нему, чтобы он за Вралем имел смотрение такое, как и Тизенгаузен имел, а то боюсь, чтоб, не бывши ему поручен, Враль не заводил в междуцарствии (при смене комендантов. — Н. П.) свои какие ни на есть штуки и чтоб не стали слабее за сим зверьком смотреть, а нам от того не выливались лишние хлопоты». Не довольствуясь этим письмом к генерал-прокурору, императрица обратилась с собственноручной запиской к новому коменданту: «У вас в крепкой клетке есть важная птичка, береги, чтоб не улетела. Надеюсь, не подведешь себя под большой ответ... Народ его очень почитает исстари и привык его считать святым, а он больше ничего, как превеликий плут и лицемер»⁹.

За высокомерно-ироническим отношением к Арсению (обратите внимание на клички-эпитеты: «зверек», «птичка», Враль) императрица скрывала болезненную тревогу за свое будущее и возвела личную неприязнь к себе в ранг опасного государственного преступления, каковым эта неприязнь не являлась. В отличие от матушки-императрицы, сурово расправившейся со стариком, Арсений хотя и не питал нежных чувств к Екатерине, до самой смерти был наивно убежден, что если бы она удосужилась сама прочесть два его доношения, а не пользовалась информацией вельмож об их содержании, то непременно бы убедилась в необходимости сохранить за духовенством землю и крестьян. В этом заблуждении и крылась главная ошибка Арсения Мациевича, закончившаяся для него столь трагически.

Выше были рассмотрены напряженные отношения, сложившиеся между церковью и государством. Непокойно было и в среде самого духовенства. Если предметом раздоров между светской и духовной властью было землевладение, то предметом разногласий внутри духовенства было отношение духовенства к церковной реформе Петра Великого. Церковная реформа царя расколола духовенство на два лагеря: на иерархов, отрицавших правомерность отмены патриаршества и учреждение Синода, что привело к подчинению духовной власти государству, и тех, кто одобрял эту меру царя. Последних, видимо, насчитывались единицы — подавляющее большинство как белого, так и особенно черного духовенства проявляло враждебность и к преобразованиям, и к преобразователю. Враждебность, естественно, распространилась и на помощника царя в проведении церковной реформы — Феофана Прокоповича. Однако при жизни Петра духовенство не посмело перечить суровому и скорому на расправу царю. Вольготно чувствовал за спиной царя и Феофан. Но вот защитника вице-президента Синода не стало, и гнев ущемленного духовенства обрушился на Феофана Прокоповича.

Судьба церковной реформы тесно переплетена с судьбой Феофана Прокоповича, олицетворявшего борьбу с противниками преобразований, мечтавших о восстановлении старомосковских порядков.

Со времени, когда Феофан прибыл в Петербург и стал главной фигурой в проведении церковной реформы, можно вычленить в его жизни три этапа. Первый из них выходит за хронологические грани интересующего нас периода и относится к годам проведения церковной реформы (1716 — 1725). Это было время расцвета жизненных и творческих сил Феофана, его энергичного участия в проведении царем церковной реформы и обоснования необходимости преобразований во всех сферах жизни общества. Именно в эти годы Прокопович сочинил два важнейших трактата эпохи — регламент Духовной коллегии и «Правду воли монаршей». Его проникновенные и блестящие проповеди, прославлявшие победы на театре военных действий, преобразования и преобразователя, знаменовали новый этап в истории публицистики и исторической литературы. Феофан в эти годы пользовался полным доверием и покровительством царя, чувствовал себя в безопасности. Именно поэтому противники церковной реформы не осмеливались открыто нападать на Феофана, а если изредка и отваживались на такое, то он без труда отводил все удары.

Второй этап охватывает пятилетие (1725 — 1730), наступившее после смерти Петра Великого, и относится к царствованиям Екатерины I и Петра II. Это были самые напряженные и тревожные годы в жизни Прокоповича, когда противники церковной реформы, поддерживаемые противниками преобразований, один за другим выступали с нападками, грозившими ему крупными неприятностями: если бы не ранняя смерть Петра II, то Феофан непременно закончил бы жизнь в убогой келье какого-либо захолустного монастыря, испытывая унижения от строгого игумена. В эти годы Прокопович активно оборонялся, защищая и себя, и свое детище.

Третий период охватывал годы воцарения Анны Иоанновны и до смерти Прокоповича в апреле 1736 г. Прокоповичу удалось вернуть себе фавор, стать фактическим главой церкви и развить бешеную энергию в преследовании своих противников. Он превратился в верного слугу режима, олицетворенного именами Анны Иоанновны, Бирона и Остермана, связал свою судьбу с мрачной деятельностью Тайной розыскных дел канцелярией и в значительной мере растерял престиж деятеля государственного масштаба, превратившись в мелочного, свирепого и мстительного человека, не гнушавшегося никакими средствами, чтобы топтать ногами лежащего и сокрушать всех, кто в истекшее пятилетие выступал против него и его детища — церковной реформы. Оказалось, что проповеднику было чуждо христианское милосердие и житейское человеколюбие.

Надобно отметить еще одну особенность Феофана — его умение приспособливаться к менявшейся обстановке, причем в этом приспособленчестве он иногда поступался совестью. В самом деле, на протяжении карьеры Прокоповича четырежды менялись лица на троне, но он оставался на плаву, ибо был изобретательным панегиристом и каждому из бесцветных правителей, занимавших трон после Петра Великого, умел находить ласковые слова, прославлять несуществующие таланты и добродетели, подлаживаясь под их вкусы.

10 марта 1725 г. в надгробной речи Феофан, обращаясь к присутствующим, произнес знаменитые слова: «Что се есть? Что видим и делаем, о россияне! Петра Великого погребаем». Отдавая дань усопшему, оратор рассчитывал, что у занявшей трон супруги императора будет пользоваться таким же вниманием и покровительством, как и раньше. Оснований надеяться на это у него было предостаточно, ибо он приложил немало усилий в пользу воцарения Екатерины. Надежды Феофана не оправдались, почва под его ногами заколебалась именно при Екатерине. Отношение бывшей маринбургской пленницы, волею случая ставшей императрицей, к Прокоповичу являлось скорее не актом неблагодарности, а результатом свойств ее личности, которая, по меткому выражению С. М. Соловьева, «казалась способной править, пока не правила».

В ее царствование делами заправляли, сменяя друг друга, А. Д. Меншиков, П. А. Толстой, П. И. Ягужинский, А. В. Макаров. Но самым устойчивым фаворитом, вознесшимся до роли полудержавного властелина, был, несомненно, Меншиков. Видимо, его недоброжелательное отношение к Прокоповичу и способствовало началу выступлений против псковского архиерея.

Ситуация складывалась так, что после смерти царя-преобразователя подняли голову противники церковной реформы и человека стоявшего у ее истоков. Первой ласточкой был донос псковского иеромонаха Савватия, поданный в начале 1725 г. обер-прокурору Синода Болтину, о том, что в псковском Печорском монастыре валяется 70 икон с ободранными окладами и вынутыми драгоценными камнями. Все это было сделано в 1724 г.

по повелению архимандрита Маркелла Родышевского, в то время находившегося в приятельских отношениях с Прокоповичем. Поскольку Маркелл не мог дать подобного распоряжения без ведома архиерея, то конечная цель доноса была очевидной — это был подкоп под Прокоповича. Ясно стало и другое — за спиной доносителя стояла сильная персона, без благословения которой Савватий не отважился бы на донос. Феофан без особого труда вычислил «сильную персону» — ею оказался второй вице-президент Синода, новгородский архиерей Феодосий, человек столь же сварливый, как и честолюбивый, втайне мечтавший об изгнании из Синода Прокоповича, с которым он не мог состязаться ни в образованности, ни в ораторском искусстве. Ему Феофан и решил нанести удар. Это была акция, выражаясь военным языком, активной обороны.

Невоздержанный на язык Феодосий предоставил против себя обильный материал. То он сболтнул о Петре, что его покарал Бог: «Вот-де только коснулся духовных дел и имений, Бог его взял», то в ответ на действия караульного, не пропускавшего его через дворцовый мост, размахивая тростью, кричал: «Я-де сам лучше светлейшего князя», то предрекал гибель страны: «Скоро гнев Божий снидет на Россию» — и жестом показал, как будут отсекаль головы. Высказывания Феодосия — а их было во много крат больше, чем здесь приведено, — Феофан собрал воедино и выложил их императрице, придав им политическую окраску: трону, дескать, грозила смертельная опасность, Феодосий замышлял бунт.

Донос Феофана, изложенный устно, был своего рода опробованием способа его борьбы с противниками. Удар, нанесенный Феофаном, относился к неотразимым и сокрушительным. 12 мая 1725 г. с барабанным боем был оглашен составленный Феофаном приговор: Феодосий ссылался в монастырь, расположенный в устье Двины, где его спустя некоторое время лишили сана.

Победа Прокоповича, во-первых, оставила у современников неприятный осадок, ибо выходило, что победитель в награду за донос получил освободившуюся после ссылки Феодосия новгородскую кафедру, более богатую, чем кафедра псковская. Во-вторых, победа оказалась неполной и не обеспечила Феофану прочного положения в Синоде, ибо стараниями Меншикова на вакантные места в этом учреждении были назначены его явные противники. Ростовский епископ Георгий Дашков — он осуждал церковную реформу Петра и враждебно относился к человеку, притворявшему ее в жизнь. Как и всякий необразованный человек, Дашков ненавидел людей с более высоким интеллектом, поэтому не мог питать симпатий и к Прокоповичу. Другой новый член Синода — горицкий архимандрит Лев Юрлов тоже не принадлежал к сторонникам Феофана. Эти два новых члена Синода вместе с Феофилактом Лопатинским, назначенным вместо Феодосия вице-президентом Синода, составили серьезную оппозицию Феофану.

Очередная свара в Синоде не заставила себя долго ждать: противники Феофана в 1726 г. сочли необходимым продолжить расследование доноса

Савватия на том основании, что Феофан, бывший тогда главой псковской кафедры, не довел дело до конца. Феофан позаботился, чтобы следствие вел не Синод, в котором у него были враги, а Тайная розыскных дел канцелярия, к нему благосклонная. В столицу вызвали Маркелла Родышевского, с которым произошла странная метаморфоза: из приятеля Прокоповича, оказавшего ему покровительство, он превратился в его фанатичного недруга, переметнувшегося на сторону Георгия Дашкова. Маркелл подал на своего бывшего патрона донос из 47 пунктов, обвиняя Феофана в лютеранских симпатиях, в пренебрежении к иконам и др. Главное обвинение Феофана носило политический характер — ему приписывалось недоброжелательное отношение к императрице.

Феофану и на этот раз удалось отклонить обвинения как политического, так и церковного плана. Он вновь праздновал победу — Маркелл был объявлен клеветником, указом Екатерины его велено было содержать в крепости.

Зная хорошо Маркелла — человека, «по природе своей zelo трусливого», — Прокопович полагал, что Маркелл «сам собою, по ярости и злобе, без всякой надежды и упования никогда б на такое страшное дело не отважился», что он выступил с обличениями только благодаря существованию «неких прилежных наустителей, которые плута сего к тому привели». Таким наустителем Феофан не без основания считал Георгия Дашкова.

Самые тяжелые времена для Феофана наступили после смерти Екатерины. В Синоде увеличилось число его недоброжелателей: синодальным членом стал сторонник Дашкова Игнатий Смола. Усилия противников Феофана были направлены на восстановление патриаршества, причем на роль патриарха претендовал Георгий Дашков. Указом Верховного тайного совета, в котором верховодили Долгорукие, оправдательное сочинение Прокоповича на обвинения Маркелла признавалось неосновательным. К тому же выпущенный из крепости Маркелл подал новый донос, разбиравший сочинения Феофана, по мнению критика, проповедовавшие неправославные идеи. Превосходному полемисту Феофану ничего не стоило превратить Маркелла из обвинителя в обвиняемого, доказав, что опровергаемые им сочинения написаны по поручению Петра I и в свое время были одобрены Синодом. Маркелл вновь оказался в заточении, на этот раз в монастырском.

Доносы, как видим, подобно волнам, накатывались на Феофана один за другим, и если бы Петру II довелось царствовать еще год-два, то новгородскому архиерею несдобровать и девятый вал непременно увлек бы его в морскую пучину. Но фортуна оказалась благосклонной к Феофану, он устоял, не понеся потерь: ему удалось сохранить и кафедру, и должность вице-президента до наступления счастливых для него времен, связанных с воцарением Анны Иоанновны.

Во время бурных февральско-мартовских событий 1730 г. симпатии Прокоповича были, разумеется, не на стороне «верховников». Их попытку ограничить самодержавие Феофан окрестил метким словом «за-

тейка» и доступными ему средствами оказывал поддержку установлению самодержавного правления. Его страстное сочинение, написанное талантливым пером публициста, внесло немалый вклад в провал «затейки» «верховников».

Императрица не забыла неоценимых услуг, оказанных ей Феофаном, и выказывала ему благосклонность. Сумел он войти в доверие и к ее всесильному фавориту Бирону. Еще раньше он пользовался поддержкой Остермана. В итоге Феофан стал полновластным хозяином Синода, и теперь уже никто не осмеливался ему перечить ни прямо, ни косвенно. Как Прокопович распорядился своими талантами и властью в новых условиях?

И то и другое он мобилизовал на расправу со своими недругами, на низведение их до положения простых монахов, упрятанных в кельи глухих монастырей. Начал он с чистки Синода. С его составом произошло то же самое, что и с составом упраздненного Верховного тайного совета: члены обоих учреждений оказались в опале. Указом 31 июля 1730 г. из Синода вывели Феофановых недоброжелателей: Феофилакты Лопатинского, Георгия Дашкова и Игнатия Смолу.

Казалось бы, Прокопович мог этим ограничиться — теперь его противники не представляли угрозы. Но Феофану показалось этого мало, жажда мести осталась неутоленной, и он продолжал преследования.

Первый удар Феофан нанес воронежскому епископу Льву Юрлову. Получив указание воронежского вице-губернатора отслужить благодарственный молебен по случаю воцарения Анны Иоанновны, Юрлов, то ли из осторожности, полагая, что она сидит на троне недостаточно прочно, то ли из-за свойства своего медлительного характера, но молебен не отслужил, ссылаясь на отсутствие распоряжения Синода. Когда этот факт стал известен Прокоповичу, он незамедлительно организовал следствие, придав поступку окраску политического преступления.

Вина Юрлова была столь очевидной, что ему ничего не оставалось, как оправдаться своей «простотой» — распространенным в то время доводом, когда убедительные аргументы отсутствовали.

И хотя следствию, сколько ни пыталось оно обнаружить причастность к поступку Юрлова его покровителей в Синоде Георгия Дашкова и Игнатия Смолы, не удалось найти доказательств в их «укрывательстве» обвиняемого, тем не менее оба они понесли суровое наказание: Георгий Дашков был лишен сана и простым монахом отправлен в монастырь Вологодской епархии, а Игнатий Смола тоже поплатился архиерейством и ссылкой в свияжский Богородицкий монастырь.

Прокопович не оставил в покое поверженные жертвы. Он зорко следил за режимом их содержания. Ему стало известно о вольготной жизни Игнатия, пользовавшегося сочувствием казанского митрополита Сильвестра. Началось следствие, а за ним указ 30 декабря 1731 г., в котором императрица, «милосердая», велела бывшего коломенского архиерея Игнатия сослать в карельский Никольский монастырь, «где его надлежало содержать под крепким караулом», а Сильвестр должен был отбывать

наказание сначала в Александро-Невском, а затем в Крышецком монастыре Псковской епархии.

Ужесточилось и содержание Григория Дашкова. После того как стало известно, что архимандрит Каменского вологодского монастыря благоволил ссыльному и вольготно его содержал, позволяя ему общаться с посторонними, Синод снарядил следствие, к которому были привлечены десятки людей. Оно закончилось тем, что Дашков был сослан в Нерчинский монастырь Иркутской епархии. А сердце архимандрита не выдержало испытаний, и он скоропостижно скончался во время следствия.

Став на путь репрессий, доносов и сотрудничества с Тайной канцелярией, Прокопович продолжал искать подозрительных за пределами коренной России. Он обнаружил еще одну жертву в Киеве, где архиепископ Варлаам так же, как Лев Юрлов, медлил с благодарственным молебном. По настоянию Прокоповича его сослали простым монахом в Кирилло-Белозерский монастырь, предварительно лишив сана.

В итоге Прокоповичу удалось опустошить ряды своих противников среди церковных иерархов. Следующий этап гонений Феофана коснулся менее влиятельных противников. Среди них первое место занимал Маркелл Радышевский, фанатично возненавидевший Феофана и не отказавшийся от намерения изобличить новгородского архиерея в неправославии. Не считаясь с тем, что обстановка после воцарения Анны Иоанновны изменилась в пользу Феофана, что он пользовался полнейшим доверием императрицы и ее фаворита, Маркелл через духовника императрицы подал на ее имя доношение с обвинениями вице-президента в том, что до сих пор не было следствия и суда над ним по его прежним доношениям. Маркелл убеждал императрицу отказаться от услуг Феофана при короновании, ссылаясь на печальную судьбу ее предшественника: Феофан короновал Петра II, и тот вскоре скончался.

Доношение Маркелла осталось без последствий, но он не утомился и написал сочинение, содержание которого следует из его броского названия: «Житие новгородского архиепископа, еретика Феофана Прокоповича». Проследившая жизненный путь Феофана, Маркелл доказывал, что его еретичество началось со времени пребывания за рубежом, где он принял униатство. Возвратившись в Киев, Феофан стал учить паству еретичеству, писал сочинения, в которых искажал православные догматы. Маркелл обвинял архиерея в преследовании монашеского чина, в том, что нынешние монахи «вместо книги в кельях и церквах табакерки в руках держат и непрестанно порошок нюхают», что не почитает икон, отвращает от поклонения святым мощам, разрешает монахам жениться, а монахиням выходить замуж и т. д.

Кроме «Жития», Маркелл написал еще несколько обличительных сочинений, в которых заявлял, что «Духовный регламент» написан Прокоповичем без ведома Петра, якобы доверившегося еретика. Царский указ 1724 г. под названием «Объявление о монашестве» тоже якобы сочинил Прокопович.

Поскольку рукой Маркелла водила слепая ненависть, не ладившая со здравым смыслом, то выдвинутые против Прокоповича обвинения оказались зряшными. Тайная розыскных дел канцелярия, расследовавшая дело Маркелла, обвинила доносчика в клевете. Но Прокопович этим не довольствовался и прибег к излюбленному им приему превращения церковной полемики в политическое преступление. Повод для этого дали приписки к тексту «Жития», сделанные одним из знакомых Маркелла. Они содержали выпады против немецкого окружения императрицы и даже намеки на осуждение ее поведения. Радышевский и его знакомцы были арестованы, некоторых из них пытали в застенках Тайной канцелярии, всех их разослали по монастырям.

Завершало серию процессов, возбужденных Прокоповичем против своих недругов, дело Феофилакта Лопатинского, издавшего в 1728 г. сочинение Стефана Яворского «Камень веры». Оно было написано еще в 1715 г. и направлено против протестантов, но Петр I, придерживавшийся политики веротерпимости, запретил его печатать.

Опубликование «Камня веры» вызвало оживленную полемику на Западе: протестанты подвергли сочинение критике, а католики встали на его защиту. Не остался в стороне и Феофан, полемизировавший со сторонниками «Камня веры» под чужой фамилией.

В 1729 г. в Лейпциге появилась хлесткая статья против «Камня веры», подписанная профессором Йенского университета И. Ф. Будде. Историки церкви убеждены, что автором этого сочинения был не Будде, а сам Феофан. Основанием для подобного утверждения является сходство стиля сочинения с манерой письма Прокоповича, а также великолепная осведомленность автора о том, как сочинялся «Камень веры», и о его судьбе, о чем мог знать только человек, вращавшийся в правительственных кругах. «Нельзя не удивляться, — сокрушался мнимый Будде, — как смиренный Феофилакт, архиепископ Тверской и Кашинский, одобрил эту книгу своей цензурой». Рецензент обещал читателям написать обстоятельное опровержение «Камня веры». Оно действительно появилось за подписью того же Будде, кстати скончавшегося через месяц после его напечатания. Сочинение тоже приписывают Феофану. Феофилакт не стал молчать. «Бедный Стефан-митрополит, и по смерти его побивают камнями», — отозвался о нем Феофилакт и написал «Возражение на критику Будде». Прокопович принял все меры, чтобы воспрепятствовать опубликованию «Возражения». Однако противники Феофана изобрели способ преодоления запрета — они напечатали перевод с иностранного апологета «Камня веры». Ответная мера Прокоповича свидетельствовала о его неразборчивости в выборе средств в борьбе с противниками — он использовал все свое красноречие, чтобы убедить правительство в существовании против него заговора. Прокопович встал на защиту немецкой камарильи, правившей страной. «Всех протестантов, — доносил Феофан, — которых многое число честные особы и при дворе и в воинском и в гражданском чинах рангами высокими

почтены служат, неправдою и неверностью помарал, из чего великопочтенным особам немалое учинил огорчение».

Феофилакту Лопатинскому довелось познакомиться с шефом Тайной розыскных дел канцелярии А. И. Ушаковым.

Параллельно с процессом, связанным с «Камнем веры», происходило разбирательство дела о подметном письме, обнаруженном в 1732 г. Феофану было отчего разгневаться и проявить полицейскую изощренность в поисках автора пасквиля. Письмо не сохранилось, но о его крамольном содержании можно судить по выдержкам, приводимым Феофаном. Пасквиль призывал Россию к плачу: «О, многобедная Россия, плачися, рыдай горько». Далее следует перечень бед, коснувшихся как народа, так и церкви. «Притворяет плут словеса прелестные, — отзывался о пасквилянте Феофан, — которыми разных чинов служители будто ласкательно тешат и веселят государыню, сказуя, что все в государстве счастьем ее величества исправно и легко». Между тем крестьяне живут в нищете, «не знают праздника, ни дня воскресного, ниже прибегнуть к церкви Божией».

В пасквиль аноним вложил письмо, якобы адресованное папой Римским Бенедиктом Феофану Прокоповичу. Папа Римский радуется по поводу того, что Феофан пользуется любовью и полным доверием императрицы и делает все, чтобы сокрушить православие. У истоков неправославия стоял царский любимец Лефор. Далее следуют выпады против Петра I. Завершается письмо призывом действовать в том же духе: «Ты же пребывай и успевай, в нем же научен еси».

Феофан лихорадочно и безуспешно высчитывал автора пасквиля и письма. Наконец, розыскная его энергия навела на мысль, что автор подметного письма принадлежал к окружению Феофилакта Лопатинского, а сам он вдохновлял его появление. Заподозренных арестовали, пытали, но следствию так и не удалось напасть на след. Тем не менее следствие продолжалось и после смерти Феофана — заведенная им карательная машина не остановилась. Феофилакт содержался под домашним арестом, а в 1737 г. его перевели в крепость, а в следующем году Кабинет министров на основании экстракта Тайной розыскных дел канцелярии вынес определение, обвинявшее Феофилакта «в злоумышленных, непристойных и продерзостных рассуждениях и нареканиях, в чем сам винулся в расспросах». Приговор соответствовал духу времени. Феофилакта лишили архиерейства и, как сказано в приговоре, «всего священства и монашеского чина». Его бы надлежало казнить, но «милосердная» императрица велела содержать его под крепким караулом до смерти в замке Герман Выборгской крепости. Это была последняя жертва Феофана¹⁰.

Феофан Прокопович скончался 8 сентября 1736 г., на 55-м году жизни. Ранняя смерть, видимо, явилась результатом чрезмерного нервного напряжения в последнем десятилетии жизни, когда ему довелось растрачивать силы на борьбу с противниками и на их преследование. Немаловажное

значение имели также характерные для людей того времени, живших в достатке, излишества в пище и напитках. Феофан относился к гурманам, был равнодушен к деликатесным сортам рыбы. Так, в один из годов последнего пятилетия жизни было израсходовано на покупку свежей белужины, осетрины, икры черной, угрей и жалование поварам около 629 рублей, а на приобретение напитков, среди которых, помимо водки, видное место занимали шампанское, бургундское, разных сортов иноземное пиво, — 509 рублей. Нартов, возможно, неточен в передаче мелочей, но в принципе верно уловил отличия быта Стефана Яворского от быта Феофана Прокоповича. Нартов описывает два внезапных визита царя к Стефану и Феофану.

Внезапно появившись в доме Яворского, Петр застал его за сочинением «Камня веры». Вместо горячительных напитков на столе у работающего в уединении Стефана стояли сосуды с простой водой и брусничной настоек. Визит Петра в ночные часы к Феофану вызвал у его гостей переполох, но архиерей вышел из положения остроумным приветствием гостя, так что Петр тоже принял участие в веселом застолье, по окончании которого якобы сказал: «У Стефана, яко у монаха, а у Феофана, яко у архиерея, весело и проводить время не скучно»¹¹.

Общая оценка Прокоповича неоднозначна. Вряд ли можно оспорить суждение о нем его современника В. Н. Татищева: «Наш архиепископ Прокопович как был в науке философии новой и богословии только учен, что в Руси прежде равного ему не было, в испытании древностей великое тщание, по природе острым суждением и удивительно твердою памятью был одарен»¹².

Отрицать образованность Феофана, наличие у него многих талантов, а также заботу его о распространении просвещения, обосновании и защите петровских преобразований не приходится, но в свете изложенного выше не следует забывать мрачных сторон его биографии, проявленных в последние годы жизни, когда он слился с кровавым режимом Анны Иоанновны и с помощью Тайной розыскных дел канцелярии жестоко преследовал противников в годы, когда они не представляли опасности ни для него, ни для судеб церковной реформы. Кроме того, Феофан после смерти Петра проявил не вызывающее симпатий приспособленчество.

Когда он прославлял Петра Великого, его успехи на поле брани и во всех сферах преобразовательной деятельности, то содержание проповедей соответствовало реалиям. Но с таким же усердием Прокопович прославлял несуществующие таланты и добродетели Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны.

Читателю должна быть ясна позиция автора в оценке бироновщины — она однозначно негативная. В литературе, однако, существуют и иные точки зрения. Характер настоящего сочинения дает нам право уклониться от подробного анализа взглядов историков, пытавшихся защитить Бирона от напрасных нападок.

Первая попытка реабилитировать Бирона была предпринята Е. Карновичем еще в прошлом столетии. В пространной статье, опубликованной в двух номерах «Отечественных записок» в 1873 г., автор доказывал, что на Бирона возведена напраслина: то, что было при нем, «процветало» и до него, и после него: казни, пытки, казнокрадство, привлечение иностранцев на русскую службу и т. д. «Вообще, — писал Карнович, — в так называемую бироновщину ни казни, ни пытки не представляют ничего такого, что бы не было в употреблении у нас или прежде, или после этой эпохи». В общем заключении автор формулировал вывод о необоснованности придавать эпохе «то исключительное, а вместе с тем и то ужасающее значение, какое придают ей наши историки»¹³. В то же время Карнович признавал, что «Бирон, несмотря на все его честолюбие, был личностью довольно ничтожною, и при другой обстановке он сам по себе не значил бы ровно ничего»¹⁴.

Оценка бироновщины в недавно вышедшем труде Е. В. Анисимова во многом совпадает с оценкой Е. Карновича. Перечислим тезисы Е. В. Анисимова: «Итак, первый стереотип «бироновщины» — это засилье иностранцев, в первую очередь немцев». Далее следует конкретный материал, в том числе и статистический, об иностранцах на русской службе.

«Теперь, — пишет Е. В. Анисимов, — рассмотрим другой исторический штамп: «торговля интересами страны» и «разграбление ее богатств» немецкими временщиками при Анне». Авторы, упрекавшие в этих грехах Бирона, имели в виду не развитие внешней торговли и промышленности, а передачу Гороблагодатских заводов А. К. Шембергу, заключение невыгодного для русских купцов торгового договора с Англией. К той и другой акции был причастен Бирон, получивший взятки. Е. В. Анисимов пишет, неправоммерно употребляя современную терминологию, что при Анне продолжалась имперская политика Петра Великого. Надо, однако, учитывать ее результаты, далеко не соответствовавшие затратам материальных и людских ресурсов (русско-турецкая и русско-шведская войны). А как укладывается в этот тезис отказ от Каспийского побережья в пользу Ирана?

«Нет оснований утверждать и то, что в годы царствования Анны были гонения на православную церковь — это тоже один из историографических мифов». Упрек в преследовании православия действительно миф, которого мы в литературе не встречали. Речь идет о преследовании духовенства, о чем подробнее сказано выше.

«Наконец, — пишет автор, — затронем еще один аспект проблемы «бироновщины», которая очень часто изображается как репрессивный режим, чем-то схожий по жестокости с режимом Ивана Грозного. Действительно, во времена Бирона были и шпионаж, и доносы, и «жестокое преследование недовольных». Но когда этого не было в России?»¹⁵.

Е. В. Анисимов правильно отмечает наличие на русской службе большого числа иностранцев. Однако их положение при Петре и Анне существенно отличалось: Петр их держал на вторых ролях, использовал в ка-

честве специалистов как на военной, так и на гражданской службе; президентами коллегий он назначал русских, вице-президентами — иностранцев. Командование армией и флотом он после Нарвы и Гродно тоже поручал русским военачальникам. При Анне Иоанновне важнейшие посты в государстве занимали Остерман и Миних, а также Бирон, хотя и не имевший высоких должностей, но являвшийся временщиком.

Между царствованием Петра Великого и царствованием его преемников существует, на наш взгляд, принципиальное различие. Управляя страной, Петр считал, что он служит государству, как он сам писал, не жалея живота своего. Его преемники использовали трон для личных наслаждений и удовольствий. При Петре казней было во много крат больше, чем при Анне, но Петр жестоко расправлялся с противниками его представлений об общем благе, которого он пытался достичь. Царь обычно не мстил поверженным противникам — вспомним царевну Софью, Евдокию Лопухину, стрельцов. Казни при Анне и Бироне являлись чистой воды местью, ибо ни Долгорукие, ни Голицыны угрозы для их правления не представляли.

Казнокрадство и фаворитизм изобрел не Бирон. Главным казнокрадом и фаворитом, пользовавшимся царскими пожалованиями при Петре, был Меншиков. Этот же казнокрад внес огромный вклад в победы русского оружия у Калиша, Полтавы и Переволочной, в строительство Петербурга, создание регулярной армии. А какие заслуги перед Россией, кроме альковных, имел Бирон, пожалованный в честь заключения Белградского мира (заметим, невыгодного для России!) 500 тысячами рублей?

Процессы 30-х годов положили конец борьбе с противниками реформ в лоне самих церковников — усилиями Прокоповича оппозиция была разгромлена, причем методы борьбы отличались жестокостью, характерной для периода отечественной истории, именуемой бироновщиной и остермановщиной. Правда, процессы, затеянные Бироном и Остерманом, завершались кровавой расправой, процессы, инициатором которых был Прокопович, не заканчивались казнями, наказания ограничивались лишением сана и ссылкой обвиняемых под строгий надзор монастырского начальства. Жизнь жертвам сохраняли, но эта жизнь оказывалась настолько исковерканной, лишенной прежнего благополучия, что была сродни политической смерти.

Вернемся, однако, к делам церковным, ко времени, когда Синод, расправившись с оппозицией, враждебно относившейся к Петровским реформам, и смирившись с ролью учреждения, целиком подчиненного светской власти, сосредоточил внимание на распространении христианства среди народов-инородцев Среднего Поволжья и Сибири, а также просвещении духовенства.

Первые попытки обратить инородцев в христиан относятся к XVII в., но ни в этом столетии, ни даже при Петре Великом христианизация не приобрела широкого размаха, и деятельность христианских проповедни-

ков имела скромные результаты. Объяснялось это запрещением прибегать к насилию. Столь либеральное отношение к христианизации со стороны правительства объяснялось тем, что принявшие православие народы Сибири (ханты, вогулы, манси) освобождались от уплаты ясака, вносимого пушнинаой, в результате казна должна была нести значительные убытки. При Петре Великом, напротив, христианизация сопровождалась принуждением — появился указ о насильственном крещении, а указ 1710 года даже грозил уклоняющимся от принятия христианства смертной казнью.

В последующие десятилетия вновь вернулись к практике поощрения принявших христианство, освобождая их от уплаты ясака. В 1730 г. новокрещенные, проживавшие в районе Иркутска, освобождались от ясака на пять лет, а камчадалы — на десять. Новокрещенные бесплатно получали соль, муку, одежду. Им, кроме того, прощались уголовные преступления, даже такие тяжкие, как убийства.

Нередко принятие христианства носило формальный характер. Новокрещенные часто не понимали сути новой для них религии, не зная русского языка, общались со священником через толмача, что осложняло христианизацию. Крестившись, они продолжали молиться идолам, не почитали икон и, чтобы получить льготы и подарки, крестились повторно, иногда многократно¹⁶.

Более серьезные успехи были достигнуты в христианизации народов Поволжья, в особенности после того, как в 1740 г. была учреждена Контора новокрещенных дел. По ее данным, скорее всего преувеличенным, за 15 лет (1741 — 1756) она крестила около 407 тысяч человек из числа чувашей, черемис, удмуртов. Христианство по сравнению с идолопоклонством и шаманизмом представляло более совершенную религиозную систему, и поэтому миссионерская деятельность православных священников заслуживает положительной оценки¹⁷.

С меньшим успехом проходила христианизация татар. Далекое не всегда оказывала желаемое воздействие на татар такая приманка, как освобождение новокрещенных от повинностей мурзам, продолжавшим исповедовать магометанство.

Не всегда миссионерская деятельность протекала мирно, без конфликтов. В 1743 г. нижегородский архиерей, объезжая епархию, велел в одном из сел Терешевской волости разорить мордовское языческое кладбище, находившееся рядом с церковью. В ответ мордва напала на архиерея, и тому пришлось спастись от разгневанной толпы в погребке местного священника. Дело дошло до вызова воинской команды и сражения с мордвой, вооруженной луками, рогатинами, огнестрельным оружием. Сражение закончилось гибелью нескольких десятков из мордвы¹⁸.

Источники регистрировали множество злоупотреблений местной администрации по отношению к новокрещеным: большинство из них, не зная русского языка, оказались беспомощными перед произволом властей, требовавших взятки и поборы, безвинно содержавших их в тюрьмах. В

1744 г. Сенат вынужден был назначить в Казанскую, Нижегородскую и Воронежскую губернии по одному офицеру, обязав их следить, чтобы новокрещеным не чинили обид.

На попечение Синода Духовный регламент отдавал открытие школ в епархиях для детей духовенства. Ко времени смерти Петра Великого их было немного, причем детей священнослужителей было велено привлекать в школы в принудительном порядке. Тем не менее встречалось немало священнослужителей, не знавших грамоту и отправлявших службу, полагаясь на свою память. Указ 1730 г. обязывал открыть школы во всех епархиях. К началу 40-х годов в стране насчитывалось до 17 семинарий. В начале 60-х годов их уже было 26 с шестью тысячами учащихся¹⁹. Церковь, таким образом, выполняла роль распространителя просвещения — нередко на селе грамотными людьми были священник и дьячок, услугами которых пользовались крестьяне для обучения грамоте своих детей.

Глава 4

У ИСТОКОВ НАУКИ И ИСКУССТВА

Импульс развитию новшеств в духовной культуре России дали петровские преобразования. Воздействие их на духовную жизнь общества отличалось крайней противоречивостью: с одной стороны, они ускоряли прогресс в культурном развитии общества, а с другой — тормозили его.

В итоге преобразовательных начинаний Петра Великого в стране укрепилось личностное начало. Юридически оно было оформлено Табелью о рангах 1722 г. Отныне не порода, не происхождение, не родословная стали определять карьеру подданного, а его личные достоинства: ум, образованность, старательность, преданность трону и занимавшему его монарху. Достаточно взглянуть на окружение царя, чтобы убедиться в том, что нормы, введенные Табелью о рангах, имели не декларативное, а реальное значение и неуклонно претворялись в жизнь. Наряду с князем Яковом Федоровичем Долгоруким и боярином Борисом Петровичем Шереметевым, имевшими полное право гордиться своим аристократическим происхождением, в окружении царя мы обнаруживаем бывшего продавца пирогов, ставшего светлейшим князем, — Александра Даниловича Меншикова, бывшего крепостного, ставшего прибыльщиком, а затем архангелогородским вице-губернатором, — Алексея Александровича Курбатова. Предпочтительное отношение царя к личным достоинствам соратников приводило к тому, что он не придавал решающего значения и национальной принадлежности. Именно этим объясняется пестрый национальный состав его «команды»: в нее входили шотландец Яков Вилимович Брюс, единственный из иностранцев, которому Петр доверил руководство коллегией, галичанин Павел Иванович Ягужинский, занимавший в бюрократической иерархии высшую должность — генерал-прокурора Сената, наконец, еврей Петр Павлович Шафиров, известный дипломат, назначенный царем вице-канцлером.

Личностное начало, проникнув во все сферы жизни, не оставило в стороне и частную жизнь подданных, например семейные отношения: по

указу царя родителям запрещалось навязывать своим детям вступление в брак без их на то согласия; боярыням и боярышням, которым «Домострой» уготовил затворническую жизнь в тереме, было предоставлено право выйти в свет и наравне с мужчинами участвовать в ассамблеях.

Раскрытию личных дарований способствовала созданная в стране сеть низших и высших специальных учебных заведений, где шлифовались таланты, обнаруживались склонности к овладению знаниями и навыками в живописи, архитектуре, навигации, артиллерии, фортификации и т. д. Важной формой приобретения знаний и навыков была отправка молодых людей за границу, где они знакомились с современным состоянием европейской культуры.

Меры поощрения личностного начала уживались со средствами его подавления. Главной силой, тормозившей проявление личностного начала, было крепостное право, продолжавшее укрепляться и развиваться на всем протяжении XVIII столетия. Крепостное право самым пагубным образом отражалось на материальной и духовной жизни свыше половины населения страны — крестьян, находившихся в рабской зависимости от господ-помещиков. Барин считал крестьянина движимой собственностью и распоряжался ею по своему усмотрению: мог продать, проиграть в карты, женить, развести и даже по указу 1760 г. отправить без суда в ссылку. Помещик чинил над крестьянином суд и расправу за все провинности, за исключением разбоя и смертоубийства. Вотчинные инструкции 30 — 50-х годов XVIII в., справедливо названные М. М. Богословским «конституциями маленьких государств», подобно нормативным актам верховной власти империи определяли жизнь зависимого от помещика населения, начиная от регламентации их хозяйственной, семейной и духовной жизни и кончая контролем за выполнением ими повинностей в свою пользу и пользу государства.

В инструкции приказчику Юхотской волости (1727) помещик А. П. Шереметев писал: «Крестьян ведать тебе судом и расправой», причем и то и другое велено чинить ему не у себя дома, а в приказной избе¹. Помещик обязывал приказчика следить, чтобы крестьянин без его разрешения не отлучался из вотчины, чтобы население вотчин не предоставляло убежища дезертирам и беглым крестьянам, чтобы крестьяне исправно посещали церковь, чтобы невесты на выданье не засиживались в девках и т. д. и т. п.

Крепостное право уродовало нравственный облик крестьянина, порождало множество негативных свойств его характера: холопскую угодливость, рабское послушание, подавляло человеческое достоинство и инициативу. Сколь пагубно отражалось крепостное право на развитии личностного начала среди крестьянства, ярче всего свидетельствует судьба великого Ломоносова. Ему как крестьянину, даже не крепостному, а государственному, путь в Славяно-греко-латинскую академию был закрыт. Михаилу Ломоносову пришлось прибегнуть к обману и объявить себя

сыном священника. Если б не этот обман, то русская наука и литература вряд ли могли располагать гением XVIII в.

С крепостническими порядками связано двойственное отношение крестьянина к труду: деление пашни и скота на «свой» и «барские». О «своем» крестьянин радел, добросовестно обрабатывая пашню, следя за тем, чтобы земля была хорошо вспахана и засеяна, чтобы урожай был убран без потерь, чтобы скот был ухожен и т. д. Отсутствие заинтересованности в результатах обработки пашни барина восполнялось разнообразными мерами наказания: от штрафов до истязаний и предписаний сначала возделывать барскую пашню, а затем свою.

Крепостное право, наконец, воспитывало двойственное отношение к «своей» и «барской» собственности: свою надлежало беречь, а с барином считалось неззорным «поделиться» семенным материалом, навозом, лесом и т. д.

Крепостное право уродовало душу не только крестьянина, но и помещика, и в этом приходится согласиться с двумя крупнейшими дореволюционными учеными. Василий Осипович Ключевский объяснял западное влияние на российское дворянство тем, что это влияние «пало на среду, жившую чужим трудом и оставшуюся без дела, потому принужденную наполнять досуг игрой, забавой. И это естественно: кто живет чужим трудом, тот неизбежно кончит тем, что начнет жить чужим умом, ибо свой ум вырабатывается только с помощью собственного труда»².

Мысль Ключевского подробно раскрыта его учеником Михаилом Михайловичем Богословским, считавшим, что даровой труд крепостных освобождал барина от предприимчивости, приучал к лени, возбуждал интерес лишь к количеству доходов, а не к процессу, то есть средству, его добывания, потому что несвободный труд делал этот процесс до утомительности однообразным, неспособным ни на какие перемены и усовершенствования³.

Нравственное влияние крепостного права на психологию барина выражалось в воспитании с младых лет чувства безнаказанности за произвол, приучало к безделью, возможности получать жизненные блага без приложения каких-либо усилий. Отсюда и ограниченность умственных интересов значительной части дворянства — темами бесед с соседями являлись псовая охота, обмен опытом хождений по присутственным местам, сплетни об амурных похождениях, межевые споры и т. д.

Барин чинил произвол над крестьянами, но и сам обнажал спину палачу для наказания, меру которого определял государь. Дворянин был подвергнут влиянию такой же рабской психологии, как и крестьянин, с тем лишь различием, что последний занимал самую низшую ступень в сословной иерархии: дворянин в XVII в. в обращении к царю называл себя холопом. Слово «холоп» в XVIII в. было заменено равнозначным словом «раб». Рабом себя величал в донесениях Петру фельдмаршал «Бориська Шереметев», точно так же рабом себя называл в донесениях Анне Иоан-

новне московский главнокомандующий Семен Салтыков, родственник императрицы.

Сочетание дикого произвола к зависимому населению и подчиненным по службе с рабской покорностью государю можно проследить на поведении Артемия Петровича Волянского. Он гордился и даже хвастал тем, что был бит Петром Великим: «Его величество скоро с адмиралтейского судна на свое изволил притить; хотя тогда и ночь была, однако ж изволил прислать по мене и тут гневался и бит тростью... Но хотя же и притерпел я, однако ж не так, как мне, рабу, надлежало терпеть от своего государя; но изволил наказать мене, как милостивой отец сына, своею ручкою»⁴. Волянский «своею ручкою» тоже наказывал, давая волю вспыльчивому нраву и испытывая наслаждение от изощренных истязаний своих жертв. Вспоминается избиение Волянским пиита Василия Кирилловича Тредиаковского, а также изуверское наказание какого-то купца в Астрахани, когда он на обнаженное тело купца, увешанное кусками мяса, напускал свору голодных собак.

Но развитию личностного начала препятствовало не только крепостное право, но и идеология абсолютистского государства с ее главным тезисом служения общему благу и государству. В теории это означало полное подчинение частных интересов государственным, растворение личности в безбрежном море общегосударственных задач. На практике служение государству, пекущемуся об общем благе, для подавляющего большинства населения, в том числе и вельмож, являлось всего лишь прикрытием в достижении личного блага.

Казнокрад, мздоимец, несправедный судья, нарушитель законов принадлежали к явным противникам общего блага. Скрытые или потенциальные его противники изыскивали десятки путей для показной заботы об общем благе. Служение общему благу, за которым скрывалось попечение о благе личном, можно считать фиговым листком, тем не менее оно вступало в вопиющее противоречие с личностным началом.

Тормозил развитие личностного начала и абсолютистский режим, неограниченные возможности государя вторгаться как в частную и общественную жизнь подданных, так и во все сферы управления. Вспомним обычное Петра Великого вмешиваться во все мелочи управления государством. Достаточно свидетельства иностранного дипломата о том, что в Адмиралтействе без повеления царя не вбивали ни одного гвоздя, чтобы определить меру влияния монарха на общественную и частную жизнь подданных. Сильные личности, к разряду которых относился Петр Великий, подавляли личность, сковывали инициативу и в известной мере тоже обесценивали значение главного нормативного акта, обеспечивавшего развитие личностного начала.

Итак, уже в петровское время условия для проявления личности отличались противоречивостью: одни правительственные меры тому способствовали, другие действовали в противоположном направлении. Эти условия противоречивого влияния сохранились и в последующие десятилетия

тия с тем отличием, что при преемниках Петра Великого все упомянутые выше процессы потускнели и утратили прежний размах. Это относится прежде всего к судьбам крепостного права. Важнейшей акцией, предпринятой Петром в этом направлении, было проведение первой ревизии, значительно увеличившей численность населения, подвергавшегося, подобно помещичьим крестьянам, феодальной эксплуатации.

Ревизия ликвидировала институт холопов, превратив их в крепостных и тем лишив возможности когда-либо обрести свободу; гулящих людей, свободных от крепостной зависимости, ревизия зачислила в разряд владельческих или государственных крестьян. Главный итог первой ревизии состоял в зачислении одного миллиона черносошных крестьян, а также ясачных людей Среднего Поволжья (чуваши, мордва, марийцы и др.) и пашенных крестьян Сибири в разряд государственных крестьян. Отныне они должны были платить в казну наравне с владельческими крестьянами денежный оброк в сумме 40 копеек с мужской души. После смерти Петра существенных изменений в положении разрядов крестьян не произошло — крепостное право медленно, но неуклонно набирало силу.

Зримые изменения наблюдались в постановке образования. Оно утратило прежний государственный размах и приобрело откровенно сословный характер. При Петре образование было повинностью дворян, после его смерти оно стало превращаться в привилегию.

Самыми массовыми учебными заведениями при Петре I стали учрежденные в 1714 г. цифирные школы, в которых обучались дети дворян, приказных, служилых и посадских людей, а также духовенства; доступ в них был закрыт только для всех категорий крестьян. К концу 20-х годов все 42 цифирные школы прекратили существование — этого добился Синод, считавший их содержанием обременительным для монастырей, при которых они состояли. После закрытия цифирных школ дети духовенства были переведены в епархиальные духовные школы, а солдатские дети — в гарнизонные. Дети горожан и приказных оказались не охваченными сетью школ.

Высшее образование стало доступно только детям дворян, обучающимся в привилегированных учебных заведениях: в созданном в 1732 г. Сухопутном шляхетском корпусе, открытом через 20 лет Морском шляхетском корпусе, а в 1762 г. — Артиллерийском и Инженерном шляхетском корпусе. Все они готовили офицеров для армии и флота, а также чиновников среднего звена учреждений.

Сухопутный шляхетский корпус, первоначально носивший название Рыцарской академии, освобождал дворянских детей от настойчиво внедряемой Петром практики неременной службы рядовыми солдатами в гвардии, после которой они получали офицерские должности в полевых полках. Окончившие Сухопутный шляхетский корпус получали офицерский чин, освобождаясь таким образом от обременительной и изнурительной службы солдатами. Сухопутный шляхетский корпус приобрел широкую известность среди дворянства не только как учебное заведение, но и

как культурный центр: при нем существовали театр, типография, печатавшая с 1756 г. литературный журнал «Праздное время, в пользу употребленное». Из стен этого учебного заведения вышли такие писатели, как Херасков и Сумароков.

Репутацию самого привилегированного учебного заведения имел открытый в 1759 г. Пажеский корпус, готовивший дворян к придворной и административной службе. Единственным учебным заведением, имевшим более или менее широкий социальный профиль, был открытый в 1755 г. Московский университет.

Итак, при преемниках Петра ориентация на массовую светскую школу была заменена созданием узкословных учебных заведений для дворянства, что отражало отмеченный ранее процесс расширения дворянских привилегий. Обучение за границей дворянские отпрыски тоже считали для себя обременительным, и поэтому отправка волонтеров за рубеж после смерти Петра практически прекратилась.

После смерти Петра ассамблеи более не собирались, тем не менее жен вельмож уже было невозможно водворить в терема — при Екатерине ассамблеи заменили куртаги, то есть балы и маскарады при императорском дворце, на которые допускались только вельможи и придворная знать, в то время как на ассамблеях, поочередно устраиваемых сподвижниками царя, присутствовала не только знать, но и купцы, отличавшиеся высоким мастерством ремесленники, а также мореплаватели-иностранцы. Впрочем, появление женщин в обществе мужчин уже в XVIII в. оценивалось неоднозначно. Известный историк и публицист XVIII в. князь Михаил Михайлович Щербатов считал, что у истоков повреждения нравов в России стояли ассамблеи — появление женщин в публичных собраниях: «Страсть любовная, до того почти в грубых нравах неизвестная, начала чувствительными сердцами овладевать, и первое утверждение сей перемены от действия чувств произошло. А сие самое и учинило, что жены, до того не чувствующие своей красоты, начали силу ее познавать, стали стараться умножать ее пристойными одежаниями и более предков своих распростерли роскошь в украшениях». Чтобы удовлетворить страсть жен к украшениям и роскошным нарядам, мужья пустились в казнокрадство. Его стимулировало стремление обзавестись богатыми каретами, употреблять заморские вина, обряжать слуг в богатые ливреи и т. д. Супружеская неверность, в XVII в. считавшаяся позором, теперь приобрела широкий размах, причем развратом был охвачен прежде всего царский дворец, откуда постепенно стал распространяться среди столичного дворянства⁵.

Степень влияния прочих факторов на личностное начало при преемниках Петра тоже ослабела. Термин «общее благо» хотя и продолжал встречаться в законодательных актах послепетровского времени, но значительно реже и отражал не стремление государей достигать его, а в значительной мере являлся данью традиции. Заметно сузилось и личное участие занимавших трон лиц в управлении и законотворчестве: законодательная инициатива монархов и монархинь, как отмечалось в своем

месте, ограничивалась их личными, а не национальными интересами. Влияние фаворитов и вельмож не могло заменить влияния лиц, занимавших трон.

Наиболее эффективно личностное начало при Петре Великом проявилось на служебном поприще. Табель о рангах сохранила статус действующего закона и при его преемниках, но среди вельмож Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны мы уже не встречаем государственных деятелей, выдвинувшихся из низов общества, таких, как Меншиков, Курбатов, Ягужинский и др.

Преобразования первой четверти XVIII в. существенно повлияли на содержание духовной культуры. До XVII в. включительно она находилась под безраздельным влиянием церкви. Церковность пронизывала все сферы культуры: в архитектуре господствовало храмовое строительство, в живописи — иконописание, в угоду церкви не только не поощрялись, но подвергались преследованию театральные представления, в единственном учебном заведении — Славяно-греко-латинской академии — преподавались предметы церковного содержания.

Принципиальное отличие культуры XVIII в. от культуры предшествующего времени состояло в смене провиденциализма рационализмом. В учебных заведениях уже в петровское время богословие было заменено предметами, знание которых было необходимо кораблестроителю и артиллеристу, геодезисту и фортификатору, навигатору и протоколисту. Светское начало проникло даже в такие твердыни церковности, как храмовое зодчество и иконописание: сооружавшиеся в петровское время церкви отличались от приземистых церквей с узкими проемами предшествующих столетий легкостью форм и обилием света. В живописи, как и раньше, господствовала иконопись, но уже при Петре появилась портретная и батальная живопись.

На протяжении рассматриваемых 37 лет наука продолжала развиваться в направлении, определившемся при Петре Великом, но с иной степенью интенсивности. Тому было несколько причин. Свыше двух десятилетий после Петра хирела Академия наук. Причина крылась в немецком засилье, дольше всего продержавшемся в ее стенах. Царившая в десятилетнее царствование Анны Иоанновны бироновщина в Академии наук приобрела облик шумахеровщины.

Иоганн Даниил Шумахер, родом из Эльзаса, не окончив Страсбургского университета, в 1714 г. поступил на русскую службу и обосновался секретарем у лейб-медика Петра Арескина, возглавлявшего медицинскую службу в России, а также заведовавшего библиотекой и кабинетом редкостей. Этот делец, как справедливо заметил С. М. Соловьев, служил не делу, а людям, возглавлявшим дело, умело подлаживался, проявляя подобострастие, сначала к Арескину, затем к Лаврентию Блюментросту, а после его смерти — к Корфу. В 1721 г. его отправили за границу для найма ученых в Петербургскую академию наук, открытую в 1725 г. Пре-

зидент ее Блюментрост отдал управление научным учреждением секретарю канцелярии Шумахеру. Менялись президенты Академии наук, а Шумахер продолжал занимать эту должность, прибирая к рукам все больше власти и влияния.

В 1728 г. Блюментрост вместе с двором отправился в Москву, отдав Академию на откуп Шумахеру. На жалобу академиков, сетовавших на высокомерие и бесчинства Шумахера, Блюментрост ответил: «В мое отсутствие я могу поручить кому захочу заведование академическими делами»⁶. М. В. Ломоносов называл Шумахера «бичом для профессоров». Его гнета и притеснений не стерпели такие ученые с европейской известностью, как Эйлер, Бернулли и другие, и должны были выехать из России. Огромный ущерб развитию отечественной науки Шумахер нанес тем, что третировал русских ученых, препятствовал их обучению и продвижению. Так, из заиконоспасских школ в 1732 г. было взято 12 учеников, из них в науку оставил след только Крашенинников. Остальные остались без дела и были определены либо в подьячие, либо к ремеслам. В 1735 г. Академия наук вновь затребовала 12 лучших школьников, из которых только Ломоносов и Виноградов были отправлены в Германию, а остальные оказались «без призрения». Когда они пожаловались в Сенат, то Шумахер вызвал их к себе, велел высечь кнутом зачинщиков и определить их переводчиками и мелкими чиновниками в канцелярию.

Первым поднял голос протеста против временщика в науке астроном Делиль. В январе 1742 г. он в жалобе Сенату обвинил его в насаждении в Академии наук учреждений и подразделений, изучающих искусство и ремесла, игнорируя, употребляя современную терминологию, фундаментальные науки в области естествознания, ради чего Петр и учредил Академию. Делиль обвинил Шумахера и в покровительстве бездарным немцам, и в затирании русских. К жалобе Делиля присоединился и Нартов. В результате была создана комиссия, расследовавшая жалобу Нартова. Шумахер взят был даже под стражу. Однако, пользуясь покровительством сильных персон, в том числе Лестока, Шумахер вышел сухим из воды. Более того: комиссия вынесла определение о том, чтобы меру наказания Нартову якобы за клеветнические обвинения Шумахера должна была определить императрица, оставившая дело без последствий.

Процесс Нартов и Делиль проиграли, но их жалобы все же имели положительные следствия: президентом Академии наук был назначен немец, как было до этого, а Кирилл Григорьевич Разумовский, брат фаворита. Историки отечественной науки связывают с этими событиями и пожалование в академики первых русских ученых Ломоносова и Тредиаковского, состоявшееся в 1745 г. Ломоносов, как известно, составил целую эпоху в развитии отечественной науки, о чем будет сказано ниже.

Спад наблюдался и в живописи. После Матвеева и Никитина не появилось ни одного выдающегося художника. Что касается зодчества, то его развитие тоже обнаруживает своеобразные черты. В отличие от Пет-

ровской эпохи, оставившей немало грандиозных памятников архитектуры общественного назначения (здания Двенадцати коллегий и Кунсткамеры в Петербурге, Арсенала в Москве), в рассматриваемое время ни одного здания — общественного или административного — построено не было. Роскошные дворцы сооружались вельможами и императрицей Елизаветой Петровной.

Тяга к роскоши в такой мере пленила Елизавету Петровну и ее вельмож, что их уже не удовлетворяли скромные сооружения петровского времени, и они в 40 — 50-х годах приступили к строительству грандиозных по размерам и пышным по внешнему и внутреннему убранству ансамблей. Таковы Большой Царскосельский дворец в Царском Селе, Зимний дворец, дворцы Михаила Илларионовича Воронцова и Сергея Григорьевича Строганова в Петербурге, — сооружения знаменитого зодчего Варфоломея Варфоломеевича Растрелли, сына известного скульптора времен Петра Великого.

Дворец в Царском Селе (1752 — 1756), являвшийся загородной резиденцией императрицы, представляет собой колоссальное по размерам сооружение с огромной анфиладой комнат общей протяженностью в триста метров, украшенных с праздничным великолепием и невиданным дотоле блеском: богатая лепнина внутри комнат, декоративная скульптура снаружи, колоннады придают зданию неповторимое величие. Великолепен Большой, или Тронный, зал — шедевр русского декоративного искусства, обработанный в простенках зеркалами и золоченой резьбой.

Столь же знаменито и второе творение Растрелли — Зимний дворец в Петербурге (1755 — 1762) — огромный замкнутый прямоугольный блок с внутренним парадным двором. Парадные залы выходят на набережную Невы. Фасад Зимнего дворца с симметрично расположенными колоннами, украшенный множеством ваз и статуй, поражает простотой и величием.

Дворцы канцлера Воронцова и Строганова не столь пышны, меньше по размерам, без скульптур снаружи, но тем не менее являются образцами садово-парковой и городской архитектуры середины XVIII в. Дворец Воронцова был сооружен в глубине двора, позади дворца разбит регулярный парк. Дворец Строганова выходил фасадом на улицу.

Заметный след в истории культуры оставила храмовая архитектура этого времени. Отличается праздничным изяществом построенная архитектором Дмитрием Васильевичем Ухтомским колокольня Троице-Сергиева монастыря под Москвой и сооруженный по проекту В. В. Растрелли ансамбль Смольного монастыря в Петербурге.

Едва ли не самые значительные успехи в развитии отечественной культуры были достигнуты в литературном творчестве. От предшествующего времени литература рассматриваемого периода имела множество отличий. Одно из них состоит в замене преимущественно анонимной литературы прошлых веков произведениями, сочиненными авторами, фамилии которых точно известны. Правда, литературный труд еще не стал профессией, не приобрел самостоятельного значения и не являлся источником

существования. Им занимались в свободное от основных занятий время. Кантемир, например, признавался, что «досугу стишки пишу».

Другое отличие связано с возникновением и утверждением нового литературно-художественного направления — классицизма. Его характерная особенность состояла в изображении не конкретного человека с его сложным переплетением переживаний, а извечно существующих и изолированных друг от друга черт характера: добра и зла, скупости и расточительности, милосердия и жестокости и т. д. Добродетель как явление присуща одному герою произведения, другой герой наделен чертами злодея, третий — скупостью в ее крайних проявлениях, четвертый — ханжеством и т. п. Все эти качества представляются классицизмом вечными и неизменными чертами человеческого характера. Поэтому классицизм антиисторичен, хотя действующими лицами сочинений классицистов являлись герои античности, но события происходили вне времени и пространства, вне национальных особенностей бытия героев.

В классицизме установилась прочная иерархия жанров, каждому из которых были присущи особые приемы отображения действующих лиц: героями трагедий могли быть только цари, полководцы и вельможи, наделенные привлекательными свойствами характера. Они объяснялись высокопарным языком и изрекали истины, не подлежащие обсуждению. Ода тоже была призвана воспевать добродетели и подвиги героев — тех же царствующих особ или их наследников. На долю сатиры и комедии приходилось бичевание человеческих пороков.

Русский классицизм хотя и был близок к западноевропейскому, но имел важное от него отличие — сочинения представителей отечественного классицизма пронизаны боевым духом защиты преобразований Петра Великого, публицистической направленностью, связью с современностью. Иными словами, русский классицизм был ближе западноевропейского к жизни.

Еще одно новшество в литературе состояло в разработке принципов развития русского языка и основ стихосложения.

Первым сатириком в России стал Антиох Кантемир (1708 — 1744) — сын молдавского господаря Дмитрия Кантемира, перешедшего в 1711 г. на сторону России во время Прутского похода Петра I. Он получил блестящее образование, владел древними и новыми языками (французским, итальянским, английским), общался с выдающимися мыслителями современности: переписывался с Вольтером, дружил с Монтескье, активно участвовал в движении шляхетства и даже от его имени сочинил челобитную Анне Иоанновне, чтобы та объявила себя самодержицей. Милостей после восшествия ее на престол, однако, не последовало — Антиох был отправлен резидентом в Англию.

Литературное творчество Кантемир начал с описания любовных песенок, пользовавшихся у современников популярностью. Вскоре любовная лирика перестала удовлетворять поэта. Вспоминая годы увлечения этим жанром, Кантемир писал:

Уж мне горько каяться, что дни золотые
Так непрочно страстил, пища песни тые.

С конца 20-х годов Кантемир переходит к написанию сатирических произведений. Из девяти сочиненных им сатир наибольшее общественное звучание имели две, названия которых недвусмысленно выражают их идейную направленность: первую он назвал «На хулящих учение», вторую — «На зависть и гордость дворян злонравных».

В первой сатире автор обрушивается на невежественных чиновников и столь же невежественных представителей духовенства, судей, грубых и жестоких помещиков — одним словом, направлена она против всех, кто осуждал преобразования и вынашивал тайную мечту о возвращении к старомосковским порядкам. Особенно резко Кантемир выступал против реакционного духовенства, являвшегося оплотом тех, кто не принимал новшеств. Автор защищал науку от невежд и «неприятелей ее», считавших ее не только не полезной, но даже вредной.

Вторая сатира защищала порядок продвижения по службе, введенный Табелью о рангах в 1722 г. Автор бичует аристократов, кичащихся своим родословием, считая справедливой оценку людей не по происхождению, а по их вкладу в общественную жизнь. В обеих сатирах Кантемир выразил свое благоговение перед личностью царя-преобразователя, писал об огромной значимости новшеств в жизни общества.

Кантемир первым в России публично произнес слово «гражданин», определил место и роль сатирика в общественной жизни: «Все, что я пишу, пишу по должности гражданина, отбивая все то, что согражданам моим вредно быть может». Он призывал писать «полную правду», не приукрашивать действительность: «Не могу никак хвалить, что хулы достойно».

Вместе с тем Кантемир отдавал себе отчет об опасности, подстерегающей сатирика. Четвертая сатира, названная «К музе своей», имеет подзаголовок: «Об опасности сатирических сочинений». Сатирик не скрывал, что он лично подвергался преследованию — его обвиняли и в безбожии, и в издевательствах над законами. Неприятные последствия от занятий сатирой выразились в почетной ссылке сатирика в Англию, подальше от двора. Из своего жизненного опыта он сделал вывод:

Лучше всего не писать, чем писать сатиру,
Что приводит ненависть мене всему миру.

Сатиры Кантемира при его жизни не были опубликованы, они распространялись в многочисленных списках. Характерная деталь: за рубежом сатиры были напечатаны раньше, чем на родине: в 1749 г. — в Лондоне, в 1752 г. — на немецком языке, а в России — только в 1762 г.

Одновременно с Кантемиром на литературном поприще подвизался Василий Кириллович Тредиаковский, родившийся в 1703 г. в Астрахани, в семье священника. Непреодолимая тяга к знаниям вынудила 20-летнего Тредиаковского бежать из отчего дома в Москву, чтобы поступить в Сла-

вяно-греко-латинскую академию. Уровень преподавания не удовлетворил пылливый ум ученика, и он спустя два года после поступления в Академию оставляет Москву и отправляется в Голландию, а оттуда «пешком, ради крайней бедности» в Париж, тогдашний центр европейской науки и культуры. Третьяковскому повезло: он обрел в Голландии и Франции «благодетелей», обнаруживших у него способности. В обеих странах его приютили русские послы.

После окончания Сорбонны, где он овладел знаниями по философии, истории и филологии, Третьяковский в 1730 г. возвращается в Россию, сближается с Феофаном Прокоповичем, чем вызвал гнев консервативного духовенства. Еще больший гнев вызвало опубликование в том же году перевода чисто светского сочинения «Езда в остров любви». В то время как любовь к женщине считалась дьявольским наваждением и великим грехом, а сама женщина — орудием сатаны, созданным для соблазна, в «Езде» любовь воспевалась. Влюбленный прошел все стадии любовных походов — от знакомства, ухаживания, тайных свиданий, домогательств «последней милости от возлюбленной» до ее измены. Любимая женщина, благосклонности которой он долго и упорно добивался, оказалась в объятиях другого счастливицы, без труда добившегося успеха.

Некая многоопытная женщина дала незадачливому ухажеру немудреный совет влюбляться не в одну женщину, а в нескольких сразу. Мораль такова: «Кто залюбит больше, тот счастлив есть надолго».

Примечательно предисловие переводчика «Езды в остров любви», в котором начинающий поэт изложил программу обновления русского языка. Переводчик просил у читателей извинения, что он перевел сочинение не на «словенский язык», «но почти самым простым русским словом — то есть каковым мы меж собой говорим». Третьяковский обосновывал свое отступление «от словесного языка» тем, что «язык словенский есть язык церковный, а сия книга — мирская». Кроме того, «словенский язык в нынешнем веке весьма темен», многие его не разумеют, «а сия книга есть сладкие любви, того ради всем должно быть вразумительна».

Третьяковский стремился совершить переворот в языкознании, взяв за основу не церковнославянский язык, а разговорную речь. Над совершенствованием русского языка он трудился всю жизнь, начиная с 1734 г., когда при зачислении в Академию наук обязался «вычищать язык русский, пишши как стихами, так и не стихами».

По инициативе Третьяковского при Академии наук было учреждено «Российское собрание», которое, как полагал основатель, должно «иметь тщание в исправлении российского языка случающихся переводов». В программной речи при открытии «Российского собрания» Третьяковский первоочередной задачей считал разработку грамматики русского языка, риторики и стихотворной науки, а также составление словаря.

Вклад поэта в разработку стихотворной науки выразился в опубликовании в 1735 г. «Нового и краткого способа к сложению российских стихов с определением до сего надлежащих знаний» — труда, положившего на-

чало новой эры в поэзии. Суть нового способа стихосложения, названного тоническим, состояла в том, что он в отличие от распространенного силлабического, занесенного к нам из Речи Посполитой, соблюдал равномерное чередование ударных и безударных слогов, в то время как силлабический стих ударений не соблюдал. Третьяковский с полным основанием называл силлабические стихи рифмованной прозой.

Поэтическое творчество Василий Кириллович, подобно Кантемиру, начал «стишками о любви», затем, усвоив основы классицизма, переключился на сочинение стихов широкомасштабных — стал одописцем. Первую «Оду торжественную о сдаче города Гданска» он опубликовал в 1734 г. Здесь он был первопроходцем: ода, то есть чисто светское сочинение, сменила панегирические проповеди, произносимые с церковных амвонов.

Самое значительное свое сочинение — «Телемахиду» — Третьяковский завершил в 1766 г. Это было стихотворное изложение политико-нравоучительного романа французского писателя Фенелона «Похождения Телемака», предназначавшегося для своего воспитанника — внука Людовика XIV, герцога Бургундского. Цель романа — преподать воспитаннику науку государственного управления. Фенелон резко осуждал «злых царей». Третьяковский сохранил выпады против неправых царей, но изложил их столь туманно, что читатель мог о них лишь догадываться.

Младший современник Третьяковского — Николай Иванович Новиков в «Опыте исторического словаря о российских писателях» так восторженно отзывался о Василии Кирилловиче: «Сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия». С этим можно согласиться. Тем не менее Третьяковскому не удалось должным образом реализовать им же разработанную тоническую теорию и полностью преодолеть славянизмы в языке — для этого у него не доставало дарования. Он не выдерживает сравнения со своими более талантливыми современниками — Михаилом Васильевичем Ломоносовым и Александром Петровичем Сумароковым, чьи усилия в поэзии и русском языке затмили имя зачинателя.

Ломоносов занимал особое, можно сказать, уникальное место в отечественной науке и культуре XVIII в. Эта особенность сына государственного крестьянина была обусловлена прежде всего разносторонностью дарований Михаила Васильевича. Он принадлежал к плеяде энциклопедистов XVIII в., был человеком с обширным спектром научных и литературных талантов — к какой бы сфере ни прикладывал усилий, всюду он достигал блистательных успехов. «Историк, риторик, физик, механик, химик, минералог, художник и стихотворец» — таков, по словам Пушкина, был круг интересов и занятий Ломоносова.

Со школьной скамьи всем известно, как страсть к знаниям привела Ломоносова, как и Третьяковского, в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, затем в 1736 г. его отправили в Германию для изучения горного дела. Через пять лет он, обогащенный знаниями, возвращается в Россию и в 1745 г. — одновременно с Третьяковским — становится академиком.

Ломоносов не считал литературный труд своим главным призванием, которому бы он отдавал предпочтение и уделял ему максимум времени и энергии. Тем не менее поприщем, на котором он изначально приобрел славу, была именно литература — в 1739 г. он написал «Оду на взятие Хотина». Чтобы получить представление, насколько ода Ломоносова была совершеннее оды Тредиаковского, сочиненной по поводу овладения Гданском, приведем по несколько строк каждой из них.

Ода о сдаче города Гданска Тредиаковского:

Воспевай же, лира, песнь сладку
Анну, то есть благополучну.
К вящему всех врагов упадку
К несчастью в веки тем скучну.

Ода на взятие Хотина Ломоносова:

Шумит с ручьями бор и дол
«Победа, Росская победа!»
Но враг, что от меча ушел,
Бойтся собственного следа.

Сопоставление, как видим, не в пользу Тредиаковского. Создается впечатление, что легкий и величественный стих Ломоносова отделяют от неуклюжего и тяжеловесного стиха Тредиаковского не пять лет, а многие десятилетия — ода Ломоносова и по языку, и по поэтической форме близка к современной нам поэзии, в то время как ода Тредиаковского ближе к виршам конца XVII в. Симеона Полоцкого. Виссарион Григорьевич Белинский написал справедливые слова: «Ломоносов — Петр Великий русской литературы — прислал из немецкой земли знаменитую «Оду на взятие Хотина», с которой, по всей справедливости, должно считать начало русской литературы».

К «Оде на взятие Хотина», адресованной Академии наук, Михаил Васильевич приложил «Письмо о правилах российского стихотворства», в котором довел до совершенства предложенную Тредиаковским тоническую систему стиха. Свою оду Ломоносов сочинил, руководствуясь теоретическими установками, изложенными в «Письме».

Поэт с восторгом отзывался о богатстве русского языка, его неисчерпаемых возможностях: этот язык «ни единому европейскому языку не уступает». Русский язык, по мнению ученого, должен развиваться по пути синтеза книжного, церковнославянского языка с языком народным.

Ломоносов вошел в историю отечественной литературы прежде всего как одописец — сочинять их входило в обязанность его как академика. В одах он в соответствии с канонами классицизма создавал не реальные образы героев, а абстрактные представления о них, прославляя несуществующие добродетели. Так, Елизавету Петровну он изображал покровительницей наук и искусств, в то время как эта праздная императрица не имела отношения ни к тем, ни к другим. Подобного рода высказывания Ломоносова дали повод его противникам Тредиаковскому и Сумарокову

упрекать его в раболепии. Но ода в то же время являлась лучшей формой пропаганды общегосударственных идей — Ломоносов разделял взгляд Кантемира на воспитательное значение поэзии. Ода, с ее патетикой, торжественным и приподнятым стилем, позволяла автору звать к высоким патриотическим чувствам читателя, выражать гордость за свою Родину. В одах он прославлял Россию, ее могущество, богатство недр, трудолюбие народа.

Среди героев од был один, перед которым Ломоносов искренне преклонялся и которого он страстно восхвалял без опасения перехвалить его, — Петр Великий. Петра он считал образцовым монархом, которому все его преемники обязаны безоговорочно подражать. Нет ни одной оды, в которой Ломоносов не упоминал бы имени Петра, он не уставал восхвалять его заслуги в распространении просвещения и науки, ему импонировала простота царя, его готовность жертвовать жизнью ради благополучия России.

Распространение знаний он считал величайшим достижением человеческого разума. Как и Кантемир, Ломоносов боролся с невежеством, церковным мракобесием и суевериями, высмеивал стяжательство, корыстолюбие и пьянство духовенства. Знаменитый «Гимн бороде», написанный в 1757 г., настолько остро задевал церковных иерархов, изображая их неприглядное бытие, что автору Синод угрожал серьезными карами, и если бы не заступничество И. И. Шувалова, то их Ломоносову избежать бы не удалось. Именно в этом сочинении находится знакомое с детства четверостишие:

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут.

В противовес противникам преобразований, считавших Петра антихристом, Ломоносов боготворил его: «Он Бог, он Бог твой был, Россия».

Ломоносов намеревался написать героическую поэму «Петр Великий» из 24 песен, каждая из которых посвящалась важнейшим вехам в деятельности царя: эпизодам войны, административным реформам, распространению просвещения и т. д. «Окончание начатого героического описания трудов Петровых, — делился он своими планами с И. И. Шуваловым, — выше всех благополучий в жизни моей почитаю». Намерение, однако, реализовать не удалось. Ломоносовым были написаны только две песни, но и они позволяют судить о замысле в целом, о стремлении нарисовать образ «отца отечества», присвоенного Петру после окончания Северной войны.

Переходим к краткой характеристике вклада Ломоносова в науки, относящиеся как к естественным, которые он считал в своей деятельности главными, так и к гуманитарным. Служение его науке встречало сопротивление со стороны церковников и шумахеровщины. Первые принуждали ученого, чтобы не быть подвергнутым проклятию, проявлять осмотри-

тельность и осторожность, вторые чинили препятствия осуществлению его проектов — творческий ум Михаила Васильевича, человека неугомонного и инициативного, породил множество идей и предложений, реализованных лишь частично.

Ломоносов боролся за отделение науки от религии. Его высказывание не оставляет на этот счет сомнений: «Нездорово рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтыре научиться можно астрономии или химии»⁷.

Особенность научного метода Ломоносова состояла в том, что он, располагая энциклопедическими знаниями, рассматривал любую научную проблему комплексно, с учетом знаний по смежным наукам, то есть при изучении, например, химических процессов привлекал сведения из физики, математики, механики и других наук, что повышало эффективность теоретических и экспериментальных разысканий. Знаменитый Леонард Эйлер в 1747 г. так отзывался о двух научных трудах Ломоносова — «О действии химических растворителей вообще» и «Размышление о причине теплоты и холода». «Все сии сочинения, — писал Эйлер, — не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи самые трудные и нужные». Отметив убедительность доказательств Ломоносова, Эйлер пожелал, чтобы «прочие академики были в состоянии показать такие изобретения, которые показал г-н Ломоносов»⁸. Речь здесь шла об учении о теплоте как о молекулярном движении, одним из создателей которого был Ломоносов. Это учение опровергало господствовавшую тогда теорию теплорода, по которой нагревание и охлаждение тел происходит в результате проникновения в них и исчезновения невесомой жидкости — теплорода.

Перу Ломоносова принадлежит несколько работ, в которых ученый исследовал атмосферное и статическое электричество, производя при этом опыты с риском для жизни. В отчете о своей научной работе в 1752 г. он писал: «...Чинил наблюдение электрической силы на воздухе с великою опасностью»⁹. Во время одного из таких опытов, 26 июля 1753 г., погиб близкий друг Михаила Васильевича — академик Г. В. Рихман.

Важнейшее открытие Ломоносова в астрономии состояло в обнаружении атмосферы на Венере. Прохождение Венеры между Землей и Солнцем, состоявшееся 26 мая 1761 г., наблюдали ученые многих стран. Они, подобно Ломоносову, обнаружили «огненное кольцо вокруг планеты при вступлении ее на солнечный диск и при схождении его», но только Ломоносову удалось дать правильное объяснение явлению — кольцо возникло от преломления солнечных лучей в атмосфере Венеры.

Велик вклад Ломоносова в развитие горного дела и минералогии. В 1745 г. он закончил исследование «О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном», в котором изложил начальные сведения физической теории проветривания глубоких шахт. В конце жизни он составил руко-

водство «Первые основания металлургии или рудных дел», содержащее множество практических советов. Ему принадлежит честь начальной разработки научной терминологии — он ввел в оборот слова и понятия, употребляемые и в настоящее время: «атмосфера», «чернозем», «горный хребет», «удельный вес», «клин» и др.

Теоретические выкладки ученый сочетал с практикой, он сконструировал многочисленные приборы, приспособления и инструменты: самопишущие метеорологические приборы, перископ, ночезрительную трубу — оптический прибор, позволявший «различать в ночное время скалы и корабли»¹⁰. Практическое значение для мореходства имел труд ученого «О способах точного измерения корабля в море», особенно в условиях, когда солнце и звезды скрыты за облаками.

В области гуманитарных наук деятельность Ломоносова была не менее разнообразной и плодотворной. Он автор трактата «О сохранении и размножении Российского народа», изложенного в 1761 г. в форме письма И. И. Шувалову. В нем проявилось не только глубокое понимание проблемы прироста населения, острой для России вследствие обширности ее территории, но и проявлена превосходная осведомленность о жизни народа, его обычаях и т. д. Здесь автору помогло не только его крестьянское происхождение, но и тесные контакты, поддерживаемые им до конца жизни с земляками-поморами.

Ломоносов исходил из посылки, что «величество, могущество и богатство всего государства» состоят в численности населения и в обеспечении его прироста, «а не в обширности, тщетной без обитателей»¹¹. Главной причиной, препятствовавшей приросту населения, он считал высокую детскую смертность, обусловленную как отсутствием повивальных бабок, необходимых медицинских наставлений и лекарств, так и обычаем опускать младенцев во время крещения в холодную воду: часто священники делали это сознательно, ибо они, получив вознаграждение за крестины, рассчитывали получить его и за отпевание.

Автор подверг суровой критике многие обычаи, внедренные церковью и препятствовавшие приросту населения: запрещение мужчинам вступать в четвертый брак, пострижение молодых женщин в монахини, так как, по его мнению, «монашество в молодости ничто иное есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство, наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода». Обрушился Ломоносов и на установленные церковью продолжительные посты, изнурявшие организм и понижавшие его сопротивляемость болезням. Не способствовало интенсивному росту населения и бегство крестьян, в особенности если поток беглых устремлялся за пределы страны. Причины — явления социальные: «Побеги бывают более от помещичьих отягощений крестьянам и от солдатских наборов»¹².

Для внебрачных детей Ломоносов рекомендовал учредить воспитательные дома, в которых надлежало обучать их как грамоте, так и разным «художествам», то есть ремеслам.

Трактат Ломоносова являлся началом задуманного им фундаментального труда из восьми глав, посвященных экономике страны и изложению способов «приращения общей пользы». Удалось написать только первую главу. В ней наряду с рекомендациями, которые могли быть реализованы в ближайшее время, содержались советы, упреждавшие возможности их реализации на многие десятилетия. Трактат содержал и наивные пожелания, например, совет бороться с воровством возведением вокруг городов валов и рвов, которые, по мнению автора, будут препятствовать сбыту краденого.

Любопытна судьба трактата. Антицерковная его направленность, резкая критика духовенства, обвиненного в беспорядном пьянстве и блуде, привели к тому, что сочинение оставалось неизвестным современникам: частично оно было опубликовано только в 1819 г., но и в урезанном виде распространение публикации министр просвещения А. Н. Голицын запретил. Письмо к Шувалову полностью было опубликовано в 1871 г.

Многие важные для экономической науки начинания Ломоносова так и не были доведены до конца. К неосуществленным проектам относится задуманный им «Экономический лексикон российских продуктов», составление «Российского атласа», материал для которого должны были предоставить губернские и провинциальные власти, ответив на 30 вопросов, предложенных в 1759 г. Отсутствовали также возможности для освоения Северного морского пути, способного, как полагал Ломоносов, ввести в хозяйственный оборот несметные богатства Сибири.

Заметный след Ломоносов оставил и в исторической науке — он был первым в России антинорманистом, выступившим с резкой критикой сочинений норманистов Байера и Миллера, утверждавших, что пришельцы-завоеватели норманны являлись основателями Русского государства. Эта теория, по мнению Ломоносова, отрицала способность славян самим создать государство. Завязавшаяся дискуссия с норманистами дала Ломоносову повод для основательного изучения источников по отечественной истории, прежде всего летописей. В 1754 г. Ломоносов писал Эйлеру: «Я вынужден здесь быть не только поэтом, оратором, химиком и физиком, но целиком уйти в историю». В результате появились два его главных труда по истории — «Древняя российская история» и «Краткий русский летописец с родословием». В первом из них ученый высказал ряд положений, признаваемых и современной исторической наукой, например мысль о том, что предками славян были анты, или тезис о том, что славяне являлись автохтонным населением Приднепровья. Однако категорического отрицания Ломоносовым влияния норманнов на Русь современная наука не разделяет.

Если, однако, Ломоносов по праву считается зачинателем отечественной химии, физики, геологии и других точных наук, то в исторической науке у него был предшественник — Василий Никитич Татишев, за которым утвердилась слава отца отечественной истории. Он принадлежал к тому поколению русских людей, которые при помощи самообразования отшлифовали свой талант, чтобы преодолеть старомосковское мировоззрение.

Татищев, выходец из древнего, но успевшего захиреть дворянского рода (1686 — 1750), в отличие от Ломоносова, чувствовавшего себя одинаково сведущим как в естественных, так и в гуманитарных науках, преимущественно проявил интерес к гуманитарным — философии, истории, экономике, этнографии. И еще одно существенное отличие: Ломоносов целиком посвятил себя науке, в то время как Татищев прежде всего государственный деятель, крупный администратор, наукой он занимался в часы, свободные от служебных занятий.

Татищев принадлежал к ученой дружине Петра Великого (Прокопович, Кантемир и др.) и в повседневной жизни руководствовался идейными воззрениями своего духовного наставника — царя. Как и Петр, Татищев исповедовал рационализм. Рационалистические воззрения Василия Никитича лежали в основе всех его трудов, в том числе и исторической концепции. Как и Петр, Татищев отводил решающую роль государству в жизни общества и отдельно взятого подданного. Отсюда вера во всеисилие государственной власти, регламентирующей все сферы деятельности подданного, его семейную, хозяйственную и духовную жизнь. Именно из-за властного вмешательства Татищева в промышленную деятельность возникли конфликты между ним и уральскими магнатами Демидовыми и Строгановыми.

Сам Татищев, страстный поклонник Петра Великого, писал: «Все, что имею, чины, честь, имение и главное над всем разум, единственно все по милости его величества имею, ибо если бы он в чужие края меня не посылал, к делам знатым не употреблял и милостию не ободрял, то бы я не мог ничего того получить».

Татищев — автор множества сочинений, ни одно из которых, кстати, не было напечатано при его жизни. Среди них видное место заняла «Духовная моему сыну», справедливо названная С. М. Соловьевым «Домостроем XVIII в.», — наставление, как поступать сыну в разнообразных ситуациях. «Духовная» несет на себе печать новых веяний, с которыми не было знакомо предшествующее столетие: отец рекомендует сыну овладевать необходимыми в жизни знаниями, читать не только церковные, но и светские сочинения, во всех поступках руководствоваться принципом пользы общей — понятием, неведомым подданным XVII века. Любопытная деталь: даже женитьба рассматривалась не как событие частной жизни, а как акт государственного значения, с позиций «пользы общей».

Отец призывал сына жить по святым заповедям, верно и беспорочно служить государю, предостерегал от безрассудной запальчивости на военной службе, но и осуждал трусость, «понеже робость есть тягчайший солдату порок и поношение». К матери отец завещал сыну проявлять любовь и уважение. «И хотя я с матерью твоею по некоторым приключениям (в отсутствие Татищева она не блюла супружеской верности, и он возбудил дело о разводе, но Синод не удовлетворил просьбы. — Н. П.) разлучились, чрез что наше обещание брачное нарушено, но тебе в том ни малой причины к нарушению твоей должности».

В «Кратких экономических, до деревни следующих записках» Татищев выступает в роли просвещенного помещика и рачительного хозяина. Это было своего рода наставление приказчику, как вести барское хозяйство. Помимо пунктов агротехнического содержания, свидетельствующих о знакомстве автора с достижениями агрономической мысли того времени, «Записки» уделяют немало внимания отношениям между помещиком и его крестьянами. Татищев, как и все его современники, не выступал против крепостного права — для его осуждения не пришло время.

Свои отношения с зависимым населением автор строил на рационалистических началах, понимая, что благополучие помещика находилось в прямой зависимости от благополучия его крестьян. Отсюда патернализм, забота Татищева о взимании умеренных повинностей в свою пользу, предписание об устройстве богаделен для одиноких крестьян, о необходимости иметь лекаря в каждом селе, чтобы каждая семья имела баню, наконец, забота о распространении среди крестьян грамотности.

«Записки» обязывали управителя именьями неукоснительно следить за тем, чтобы каждая крестьянская супружеская пара владела не менее чем двумя рабочими лошадьми, двумя быками, семью свиньями, десятью овцами, а также птицей. Крестьянин должен был сначала выполнить все работы на барской пашне, а затем — на своей. Приказчику вменялось следить, чтобы крестьянин не бездельничал в зимние месяцы, «понеже от праздности крестьяне не токмо в болезнь приходят, но и вовсе умирают, спят довольно, едят много, а не имеют муциону».

С обстоятельным и аргументированным призывом распространять в стране просвещение Татищев выступил в специальном сочинении — «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ», изложенном в форме 120 (?) вопросов и такого же количества ответов на них. Один из собеседников, сторонник старомосковских взглядов, настроен пессимистически и не видит пользы от распространения просвещения, мотивируя свою позицию тем, что в старину, да и сейчас, «неученые в великом благополучии, в богатстве и славе (живут), а ученые в несчастии, убожестве и презрении находятся». Другой собеседник, придерживавшийся взглядов самого автора, парировал этот выпад оппонента заявлением, что счастье «состоит не в богатстве, а в спокойствии души и совести». Консервативный собеседник возлагал все беды общества — раскол, ереси, бунты, смуты — на распространение грамотности: «Чем народ простее, тем покорнее и к правлению способнее, а от бунтов и смянений безопаснее». Автор опровергает это утверждение историческими примерами: «Турецкий народ перед всеми в науках оскудевает, но в бунтах преуспевает». Самозванство и раскол, по мнению Татищева, — плод невежества. Он против домашнего обучения, горячий сторонник создания широкой сети государственных школ, за командирование волонтеров за границу, за изучение иностранных языков и т. д.

Непреходящее значение для истории общественно-политической мысли в России имеют политические воззрения Татищева, положенные им в основу исторической концепции. При объяснении происхождения

государства он руководствовался теорией естественного права: было время, когда государства не существовало, но так как в человеке заложено злое начало, готовое вылиться в конфликты, подчас истребительные, то люди уговорились об установлении власти над собой, которая регулировала бы отношения между ними. Теория естественного права, как видим, не оставляет в суждениях историка места идее божественного происхождения государства.

Рассуждения Василия Никитича о существовании в мировой истории трех форм правления — демократического, аристократического, монархического — не относятся к оригинальным: о том же писали западноевропейские юристы и философы. Самобытны его доказательства пригодности для России монархии. Демократия, утверждал он, пригодна только для городов или небольших государств, где граждане могут собираться в одном месте для обсуждения вопросов внутренней и внешней политики. России с ее громадной территорией демократизация противопоказана. Это настолько для Татищева было очевидным, что он не считал необходимым подробно обосновывать свой приговор.

Обстоятельнее всего Татищев говорит о неприемлемости и пагубности для России аристократического правления. Здесь он выступает и как историк, оперирующий примерами из прошлого, и как современник, активно участвовавший в отражении попыток «верховников» ограничить самодержавие в пользу нескольких аристократических фамилий.

В прошлом приход к власти аристократии сопровождался многими бедами. Напротив, всегда спасительным для Руси было единодержавие. При единодержавии Русь стала могущественным государством, страшным для соседей. Но вот взяла верх аристократия, начался удельный период с его соперничеством князей между собой, настолько ослабившим государство, что монголо-татары без особых усилий покорили Русь. Ивана III Василий Никитич назвал Великим за то, что он восстановил самодержавие, а вместе с ним и могущество страны, которой оказалось под силу освободиться от ига завоевателей.

Так продолжалось до Василия Шуйского, когда единодержавие вновь ослабело, наступила Смута, во время которой Россия лишь ценой больших жертв и усилий отстояла свою независимость от посягательств на нее Речи Посполитой и Швеции. И вновь восторжествовало самодержавие. Оно достигло расцвета при Петре Великом, поднявшем могущество страны до небывалых высот, создавшем империю. Февральские события 1730 г. Татищев рассматривал как попытку вновь установить аристократическое правление.

Итак, из опыта предшествующих столетий должно извлечь урок: аристократия ослабит страну, толкнет ее на путь хаоса и соперничества между представителями аристократических фамилий. Монархия — единственно приемлемая, по Татищеву, для России форма правления. Она опирается на дворянство — этот, по выражению Татищева, стеновой хребет государства; порожденное самодержавием, оно заинтересовано в его непоколебимости и безраздельном господстве.

Этими идеями руководствовался Татищев, когда выступил в роли одного из руководителей движения против «затейки» «верховников». Их он изложил в сочинении, являвшемся откликом на происходившие события: «Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном».

Не публицистическими сочинениями и трудами по экономике завоевал главную благодарность потомков Василий Никитич, а своим фундаментальным трудом, над которым он начал работать в 1719 г. и продолжал до смерти, в 1750 г., — «Историей Российской». В «Предисловии» (предисловии) Татищев впервые определил предмет исторической науки: «История не иное есть, как воспоминание бывших деяний и приключений, добрых и злых». Впервые он заявил и о необходимости и полезности изучать историю: без ее знания «никаков человек ни один стан, промысел, наука совершен, мудр и полезен быть не может».

Знание истории, полагал ученый, полезно государю и богослову, администратору и дипломату, военачальнику и законодателю прежде всего потому, что из этого знания можно извлечь пользу, учесть промахи в прошлом, чтобы не повторять их в настоящем. Знание истории полезно и для совершенствования нравственности человека, развития его способности овладевать добродетелями и избегать пороков. Столь же утилитарными соображениями мотивировал Татищев и необходимость изучения всеобщей истории: здесь появляется возможность изучать зарубежный опыт — «в каком прежде состоянии было, от чего и в какую перемену пришло». Особенно полезно изучение опыта, связанного с внешнеполитическими акциями: причин, вызывавших конфликты, ход военных действий, причины поражений и побед, успешных и неудачных дипломатических переговоров.

Главное свойство ума историка состоит в умении отбирать из множества имеющихся в его распоряжении памятников самые важные, самые существенные, безжалостно расставаясь со второстепенными. Историка он уподоблял строителю, который из груды строительного материала умеет отобрать в определенных пропорциях железо, дерево, кирпич и т. д.

Историк должен уметь отличать добротные и надежные источники от дефектных и фальсифицированных. Такое доступно только тому, кто овладел приемами критики источника. Величайшая заслуга Василия Никитича перед исторической наукой и состоит в том, что он первым подверг критике источники, игнорируя недостоверные или сомнительные. История становится наукой с той поры, когда историк научился подвергать критике источники. В наши дни из истории отпочковалась специальная отрасль знаний — источниковедение, занимающееся определением ценности источника, то есть установлением, с какой полнотой и достоверностью отражено то или иное событие тем или иным источником.

Историк не ограничился разработкой источниковедения, он положил начало вспомогательным историческим дисциплинам, важность которых признает и современная историческая наука, причем их число

значительно возросло: генеалогии, занимающейся изучением родословия; хронологии — установлением дат событий в переводе на современное летосчисление; метрологии — переводом мер сыпучих тел и длины на современные и др.

Известный русский историк С. М. Соловьев высоко оценивал роль Татищева в превращении исторических знаний в историческую науку: «...Важное значение его состоит в том, что он первый начал обрабатывание русской истории, как следовало начать; первый дал понятие о том, как приняться за дело; первый показал, что такое русская история, какие существуют средства для ее изучения»¹³.

«История Российская» Татищева оказала влияние на труды последующих поколений историков. Так, Николай Михайлович Карамзин, сочинявший свою «Историю государства Российского» в первой четверти XIX в., не только воспринял тезис Татищева о самодержавии как единственно приемлемой для России форме правления, но и развил его, заявив, что страна процветала, процветает и будет процветать только под скипетром самодержца. Карамзин был последним историком России, смотревшим на историю как науку, изучающую опыт человеческого бытия. Правда, мысль Татищева о необходимости изучать историю, чтобы не повторять ошибок прошлого и следовать положительным примерам, у Карамзина приобрела иное звучание — в истории читатель должен найти утешение, что в прошлом были времена, когда люди терпели невзгод больше, чем ныне. На историю, таким образом, возложена также утилитарная роль утешительницы.

Ломоносов полностью разделял взгляд Татищева на историю как науку опыта — она вооружает многих людей стремлением творить добро. Он писал: «История, повсюду распространяясь и обращаясь в руках человеческого рода, стихии строгость и грызение древности презирует. Наконец, она дает государям примеры правления, подданным — повиновения, воинам — мужества, судиям — правосудия, младым — старых разум, престарелым — сугубую твердость в советах, каждому — незлобивое увеселение, с несказанною пользою соединенное»¹⁴.

В осмыслении исторического процесса Ломоносов продвинулся дальше Татищева. Он писал о поступательном развитии человечества, точнее, о его развитии по спирали: «Каждому несчастью опоследовало благополучие, большее прежнего, каждому упадку высшее восстановление».

В заключение несколько штрихов к портрету Ломоносова. О том, что это была личность гениальная, наделенная множеством талантов, давшая основание Пушкину назвать его первым университетом, явствует из предшествующего изложения. Не подлежат сомнению и его необычайно высокие творческие задатки, оригинальность и независимость мышления. Склад ума ученого был настолько пытливым и увлекающимся, что он, взявшись за разработку какой-либо проблемы, доводил дело до конца, не ограничивался дилетантским о ней представлением. Огромное литературное наследие Михаила Васильевича свидетельствует о его необычайной работоспособности.

Сколь оригинален Ломоносов как ученый, столь неординарна была и его личность, черты его характера. Бросается в глаза безграничная преданность науке, вера в то, что он занимается полезным Отечеству делом. Он не рисовался, когда писал И. И. Шувалову, что всегда проявлял «терпение и благородную упрямку и смелость к преодолению всех препятствий к распространению наук в Отечестве». Весь жизненный путь, вся творческая деятельность Ломоносова подтверждают эти слова. В этом же письме он подчеркивал преданность науке: «...За общую пользу, а особливо за утверждение наук в Отечестве, и против отца своего родного за грех не ставлю». Подобные слова мог написать только человек, наделенный чувством высокой гражданственности, готовый поступиться личным ради «общей пользы», — он твердо усвоил завет Петра о служении «общей пользе».

Не менее важным свойством характера Ломоносова было чувство собственного достоинства. Отчасти оно возникло из сознания огромного личного вклада в развитие отечественной науки и литературы. Но истоки этого чувства следует искать в укладе жизни жителей Поморья, откуда был родом ученый, не знавших ни монголо-татарского ига, ни помещичьего землевладения. Отсюда отсутствие холопской психологии, готовности терпеть унижения, отсюда и чувство независимости и нежелание поступиться хотя бы малой толикой своей чести. Показателен в этом плане инцидент, происшедший в 1761 г. между Ломоносовым и Шуваловым.

Известны близкие отношения, сложившиеся между всесильным фаворитом Елизаветы Петровны Шуваловым и Ломоносовым. Фаворит выступал покровителем ученого, часто выручал его из беды, оба встречались друг у друга в домашней обстановке. 19 января Ломоносов получил приглашение прибыть в дом Шувалова. Михаил Васильевич охотно принял приглашение в надежде, что Иван Иванович сообщит ему приятную новость о благоприятной судьбе какого-либо его проекта. Каково же было удивление Ломоносова, когда в доме Шувалова он обнаружил драматурга и поэта Александра Петровича Сумарокова, с которым находился в ссоре! Цель приглашения Ломоносова состояла в том, чтобы помирить противников.

Поступок Шувалова вызвал гнев Ломоносова. Рассерженный, он покинул дом фаворита и тут же настрочил ему письмо: «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господ Бога, который дал мне смысл, пока разве отнимет». Михаил Васильевич проявил высокую степень независимости, рисковал лишиться покровительства, но горой встал за свою честь. «Теперь по вашему миротворству, — продолжал ученый, — должны мы вступить в новую дурную атмосферу. Ежели вам любезно распространение наук в России, ежели мое к вам усердие не исчезло в памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы Отечества прошений»¹⁵.

Чувство собственного достоинства можно обнаружить и в другом послании Ломоносова, отправленном Шувалову годом раньше, в 1760 г., по другому поводу. В доме А. С. Строганова французский аббат прочитал речь о состоянии изящных искусств в России. Хозяин, молодой граф и меценат,

всячески расхваливал речь аббата, кстати, Ломоносову не понравившуюся. Он упрекнул аббата, что он, «не зная российского языка, рассуждает о российском стихотворстве». Быть может, хозяин дома был прав, когда вступился за приезжего гостя, но сделал это неуклюже, позволив непристойный выпад против Ломоносова, упрекнув его «низкою породою». По поводу этого инцидента Ломоносов писал: «...Хочу искать способа и места, где бы чем реже, тем лучше видеть было персон высокопородных, которые мне низкою моею породою попрекают, видя меня как бельмо на глазе, хотя я своей чести достиг не слепым счастьем, но данным мне от Бога талантом, трудолюбием и терпением крайней бедности добровольно для учения». Ломоносов намеревался было «требовать удовлетворения», но его убедили, что хозяин дома допустил бестактность «по молодости». «А больше всего тем я оправдан, — заканчивал письмо Ломоносов, — что он, попрекая недворянством, сам поступил не по-дворянски»¹⁶.

Ломоносов, отстаивая свою честь, конечно же, знал, что он вызывает недовольство вельмож, тем не менее сознательно шел на обострение отношений с ними. Письмо его к президенту Академии наук Кириллу Григорьевичу Разумовскому содержит на этот счет рассуждение: «Побуждаю на себя без сомнения некоторое негодование, которых ко мне доброжелательство прежде чувствительно, однако совесть и должность оно не сравненно сильнее. Чем могу я перед правосудием извиниться?.. Что ответить? Разве то, что я боялся руки сильного? Но я живота своего не жалеть в случае клятвою пред Богом обещался». Таков был сын помора Ломоносов, человек широкой натуры, с детства не привыкший гнуть спину, знавший себе цену и умевший защищать свое достоинство.

К достоинствам натуры Ломоносова, заслуживающим уважения, относятся также упорство, настойчивость и целеустремленность, с которыми он добивался поставленной цели. Вспомним упорство и энергию, затраченные им, чтобы, преодолевая бюрократические барьеры в Сенате, добиться организации химической лаборатории, отправки астрономической экспедиции, ассигнования средств на приобретение за границей инструментов, создания руководимого им географического департамента и т. д. Ломоносову доводилось не один раз обращаться с прошениями, преодолевать козни своего врага Шумахера, докучать проектами фавориту, пока наконец он не добивался желаемых результатов. Напомним еще раз, что все это делалось не из корыстных интересов, а из глубокой убежденности, что он действует во славу Родины и ее благополучия.

Образ Михаила Васильевича будет иконописным, если не упомянуть о негативных сторонах его натуры, доставлявших ему нередко немало неприятностей. Их две: несдержанность и вспыльчивость — в запальчивости он вел себя отнюдь не с академической чопорностью, позволяя произносить резкие слова, что заканчивалось скандалом; второй недостаток обусловлен приверженностью к горячительным напиткам. В мае 1743 г. профессора Академии подали на Ломоносова жалобу, что тот, «напившись пьян, приходил в ту палату, где профессеры для конференции заседают»,

и показал одному из них, Винегейму, кукиш, и «поносил он профессора Винегейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, что и писать стыдно... а советника Шумахера называл вором».

Сенат вынес определение: Ломоносову «во объявленных учиненных им предерзостях у профессоров просить ему прощения»; кроме того, велено в течение года удерживать половину жалованья¹⁷.

Этот порок использовали в борьбе с Ломоносовым его недруги, в частности Триаковский, человек болезненно самолюбивый и завистливый, явно переоценивавший свои таланты. Триаковский даже сочинил изобилованный колкостями «Гимн пьяной голове», в котором есть и такие слова:

С хмелю безобразен телом
И всегда в уме незрелом
Ты, преподло быв рожден,
Хоть чинами и почтен,
Но безмерное пианство,
Бешенство, обман и чванство.
Всех когда лишат чинов
Будешь пьяный рыболов.

Напряженная научная работа, постоянные конфликты с противниками российской науки вместе с употреблением крепких напитков подорвали здоровье Михаила Васильевича, и он, едва достигнув 51 года, в июле 1762 г. подал прошение об отставке. В нем он сообщал только что занявшей трон императрице, что, «находясь на службе 31 год, обращался в науках со всяким возможным рачением и в них приобрел толь великое знание, что, по свидетельству разных академиком и великих людей ученых, принес я ими знатную славу Отечеству во всем ученом свете»¹⁸.

Европейское признание ученых заслуг Ломоносова выразилось в избрании его членом Шведской и Болонской академий, а также в восторженных отзывах о его трудах тогдашних светил в науке. Екатерина, не питавшая симпатий к ученому, сначала удовлетворила просьбу Ломоносова, но затем, спохватившись, решила, что увольнение в отставку вызовет осуждение в ученом мире Европы, и отменила свое согласие. Более того: в июне 1764 г. в окружении пышной свиты царедворцев она нанесла визит тяжелобольному ученому.

Ломоносов скончался 4 апреля 1765 г., прожив менее 53 с половиной лет. Напомним, долгожителей в те времена, вопреки современным представлениям, было крайне мало. Петр Великий умер в том же возрасте, его отец, царь Алексей Михайлович, прожил 49 лет, императрица Анна Иоанновна и того меньше — 47 лет, Елизавета Петровна — 53 года, Меншиков — 57 лет. Историк Татищев скончался в возрасте 64 лет, но был уже дряхлым стариком. Из крупных государственных деятелей рекордсменом долголетия можно считать Петра Алексеевича Толстого, скончавшегося на 83-м году жизни. Быть может, смерть его наступила преждевременно, ибо содержали его в ссылке в неотопливаемой келье на Соловках. Его долголетие скорее всего было обусловлено скромным рационом питания и отказом от употребления спиртного...

Последним крупным представителем классицизма в литературе считается Александр Петрович Сумароков, вышедший из иной социальной среды, чем разночинец Тредиаковский и крестьянский сын Ломоносов. Он был выходцем из аристократической семьи, правда, оскудевшей, что и определило его общественно-политические взгляды и защиту крепостнического режима. Он рассуждал: «Канарейке лучше без клетки, а собаке без цепи; однако одна улетит, а другая будет грызть людей; только одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина». Он считал необходимым сохранить клетку для канарейки, цепи для собак и крепостную неволю для крестьянина. В отклике на «Наказ» Екатерины, излагавший либеральные взгляды императрицы, Сумароков выступил решительным противником освобождения крестьян. Защищал свои воззрения он довольно примитивными доводами: «Сделать русских крепостных людей вольными нельзя, скудные люди ни повара, ни кучера, ни лакея иметь не будут и будут ласкать слуг своих, пропуская им многие бездельства, дабы не остаться без слуг и без повинующихся им крестьян, ради усмирения которых потребны многие полки и непрестанно будет в государстве междоусобная брань, и вместо того, что ныне помещики живут покойно в вотчинах, вотчины их превратятся в опаснейшие жилища, ибо они будут зависеть от крестьян, а не крестьяне от них». Нарисованная Сумароковым картина взаимоотношений господ и крепостных была настолько идиллической, что вызвала едкую критику Екатерины: против слов поэта и драматурга, «что ныне помещики живут покойно в вотчинах», она написала: «И бывают зарезана отчасти от своих»¹⁹.

Из сказанного отнюдь не должно следовать, что Сумароков был замшелым крепостником и его не занимали идеи Просвещения. Ему, например, принадлежат вешие слова:

Какое барина различье с мужиком?
И тот, и тот земли одушевленный ком.
А если не ясней ум барский мужикова,
Так я различия не вижу никакова.

Барин должен был доказывать свое преимущество над мужиком образованностью, воспитанностью, добросовестной службой, преданностью трону и т. д. Многогранное творчество Сумарокова и было направлено на воспитание у дворян перечисленных качеств. Наибольшее значение в воспитании дворянского патриотизма принадлежит трагедиям Сумарокова. Здесь он выступал новатором — в отличие от предшественников сюжеты он заимствовал не из древней мифологии, а из отечественной истории: в них фигурируют подлинные исторические лица и действие разворачивается не за пределами страны, а на Руси.

Впрочем, трагедии Сумарокова историческими можно признать лишь условно, поскольку развертывавшиеся в них события и действия героев были далеки от реальных их поступков.

Как и во всех трагедиях времен классицизма, герои трагедий Сумарокова наделены контрастными свойствами, без полутонов и сложного сочетания оттенков человеческой природы. Они либо беспредельно добродетель-

ны, либо отпетые злодеи. Положительные герои полны высоких нравственных качеств, они готовы жертвовать личными интересами ради общественного блага и долга. В конечном счете торжествует добро, зло оказывается побежденным. В этом состояло воспитательное значение трагедий.

В 1747 г. в печати появилась первая трагедия Сумарокова — «Хорев», сразу же приковавшая внимание читателей. В ее основу положена летописная легенда об основании Киева. Поскольку в трагедии классицизма непременно должна присутствовать любовная интрига, то и в «Хореве» она занимает видное место: Хорев влюблен в дочь врага Оснальду. Создается коллизия противоборства чувства и долга. Отец возлюбленной подступает к Киеву, где терпит поражение от Хорева. Казалось, счастье уже в руках победителя, но он узнает, что любимая отравлена. Трагедийная ситуация завершается гибелью всех героев.

Особой политической заостренностью наделена трагедия «Дмитрий Самозванец». В ней имеется намек на Екатерину, подобно Лжедмитрию узурпировавшую трон. Впрочем, Лжедмитрия автор осуждает не за незаконное овладение тронном, а за то, что он установил деспотический режим, действовал как тиран:

Пускай Отрепьев он, но и среди обмана,
Коль он достойный царь, достоин царского сана.

Присутствие в трагедии народа тоже составляет отличительную особенность «Дмитрия Самозванца» — народ восстает против злодея царя и изгоняет его с трона.

Язык трагедий возвышен, торжествен и величав. Язык комедий в отличие от трагедийного значительно проще, обыденнее, как, впрочем, проще и герои. Вместо царей, князей и бояр в комедиях фигурируют рядовые дворяне, купцы, подрядчики, чиновная мелкота, судьи. На комедии, как и на трагедии, Сумароков возлагал воспитательно-дидактические задачи с тем, однако, отличием, что герои трагедий, совершающие доблестные поступки, достойны подражания, в то время как герои комедии наделены лишь пороками, от которых надлежало избавиться: жадностью, мздоимством, пьянством, жестокостью и т. д. Действие комедий происходит не во дворцах и царских чертогах, а в помещичьих усадьбах и правительственных канцеляриях, где проявляются мелкие заботы и страсти героев: желание вкусно поесть, хорошо одеться и т. д.

Подобное же назначение имели и басни, в которых тоже осмеивались человеческие пороки, присущие невежественным и жестоким помещикам, вора-подрядчикам, несправедливым судьям и т. д. Басни Сумарокова, или, как их тогда называли, притчи, пользовались широкой популярностью прежде всего потому, что их сюжеты заимствованы из повседневной жизни.

С именем Сумарокова связано появление в России профессионального театра. Первый общедоступный театр возник в Москве еще в 1702 г., но труппа в нем была немецкая. В «комедийной хоромине», сооруженной на Красной площади и рассчитанной на 400 зрителей, ставили трагедии и

комедии с мелодраматическим содержанием, любовные сцены перемежались с грубыми выходками комических персонажей. В 1706 г. театр прекратил существование, и в последующие годы любительские театры возникали при дворах сестры Петра I — Натальи Алексеевны и вдовы царя Ивана Алексеевича — Прасковьи Федоровны.

В 20 — 40-е годы театр был представлен труппами из иностранных актеров, дававших представления в столице в Комедийном доме на Большой Морской улице. Переводил трагедии и комедии на русский язык В. К. Третьяковский.

Наряду с профессиональными театрами, укомплектованными иностранными актерами, а также придворными театрами с актерами-любителями в первой половине XVIII в. существовали так называемые школьные театры, возникавшие при учебных заведениях: Славяно-греко-латинской академии, Московской медико-хирургической школе, Шляхетском кадетском корпусе. На сцене этих театров поначалу исполнялись школьные драмы на библейские сюжеты, а затем трагедии светского содержания, прославлявшие добродетели и осуждавшие злобу, зависть и т. д.

Любительские театры существовали не только в столицах, но и во многих провинциальных городах: Рязани, Ярославле, Пензе, Тобольске и др. Роли в них исполняли всякого рода канцелярские служители. Среди провинциальных театров широкую известность приобрел театр в Ярославле, руководимый разносторонне одаренным Федором Григорьевичем Волковым. Слава о театре Волкова докатилась до царского дворца в Петербурге, и в начале 1752 г. сенатский указ повелел всей труппе из 14 человек прибыть в Петербург. Императрица Елизавета Петровна распорядилась отобрать из труппы самых способных и определить их в Шляхетский кадетский корпус для обучения языкам и светским манерам.

В 1756 г. в России был учрежден первый профессиональный театр. Режиссером-постановщиком в нем был назначен Волков, а директором — Сумароков. В репертуаре театра ведущее место заняли трагедии и комедии Сумарокова, но наряду с ними ставились и пьесы иностранных авторов.

Первые роли, как в трагедиях, так и в комедиях, исполнял талантливейший Ф. Г. Волков, чье мастерство высоко ценили современники. Н. И. Новиков отзывался о нем: «Читал стихи своих ролей несколько протяжно, нараспев, он своим звучным и гармоническим голосом и исполненной страсти игрою увлекал и соотечественников, и иностранцев». Наряду с Волковым актерами с крупными дарованиями были Я. Д. Шумский, превосходно исполнявший комические роли, а также трагедийный актер Иван Афанасьевич Дмитриевский. Женские роли в школьных и любительских театрах исполняли, как правило, юноши. В профессиональном театре появились талантливые актрисы, первой из них была Татьяна Михайловна Троепольская.

Итак, в истории русской культуры рассматриваемого времени самый значительный вклад по праву принадлежит науке и литературе. Именно в этих сферах духовной жизни трудились такие выдающиеся таланты, как Татищев, Ломоносов, Сумароков.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА

ВВЕДЕНИЕ

- ¹ Шафиров П. П. Разсуждение о причинах Свейской войны. СПб., 1722. С. 205.
- ² Прокопович Феофан. Слова и речи. Ч. II. СПб., 1761. С. 139.
- ³ Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1951. С. 96, 99.
- ⁴ Песни, собранные П. В. Киреевским. Вып. 8. М., 1870. С. 173.
- ⁵ Письма русских государей и других особ царского семейства. Вып. 1. М., 1861. С. 21.
- ⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. IV. А., 1977. С. 214.
- ⁷ Картина жизни и великих деяний кн. А. Д. Меншикова (далее: Картина жизни...). М., 1809; Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра (далее: Постепенное развитие...). Вып. 1 — 3. СПб., 1912; Материал для истории Гангутской операции. Вып. 1 — 4. Пг., 1914 — 1918; Есинов Г. Князь Александр Данилович Меншиков // Русский архив. 1875. Кн. 7, 9; Порозовская Б. Д. А. Д. Меншиков. СПб., 1895; Швальский П. К. Князь Меншиков и граф Мориц Саксонский // Русский вестник. 1860. Т. 25; Нечаев В. Н. Следственные допросы кн. А. Д. Меншикова // Русский исторический журнал. Пг., 1922. Кн. 8.
- ⁸ Жизнь, анекдоты, военные и политические деяния российского генерал-фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева. СПб., 1808; Заозерский А. И. Фельдмаршал Б. П. Шереметев. М., 1989.
- ⁹ Толстой П. А. Дневник, писанный им во время путешествия в Италию и на остров Мальту в 1697 — 1698 гг. // Русский архив. 1888. Кн. 2 — 8; Тальман И. М. Турция накануне и после Полтавской битвы. М., 1977; Сергеев А. А. Состояние народа турецкого, описанное графом П. А. Толстым. Симферополь, 1914; Попов Н. А. Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника П. А. Толстого // Атеней. Т. 2. М., 1859; Он же. Из жизни П. А. Толстого, одного из следователей по делу царевича Алексея Петровича // Русский вестник. 1860. № 11; Ковалевский Е. П. Суд над графом Девьером и его соучастниками. Соч. Т. 1. СПб., 1871; Павлов-Сильванский Н. П. Граф Петр Андреевич Толстой. Соч. Т. II. СПб., 1910.
- ¹⁰ Крылова Т. К. Русско-турецкие отношения во время Северной войны // Исторические записки. Т. 10. М., 1941; Она же. Полтавская победа и русская дипломатия // Петр Великий. М., 1947; Она же. Русская дипломатия на Босфоре в начале XVIII в. (1700 — 1709) // Исторические записки. Т. 65. М., 1959; Глаголева А. П. Русско-турецкие отношения перед Полтавским сражением: Сб. Полтава. М., 1959; Орешкова С. Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIII в. М., 1971; Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. VI. СПб., 1863.
- ¹¹ Шереметевский В. В. Дело следственной комиссии о кабинет-секретаре Петра I А. В. Макарове (1732 — 1734) // Описание документов и бумаг, хранящихся в Москов-

ском архиве Министерства юстиции. Кн. 6. М., 1889; 200-летие Кабинета е. и. в. 1704 — 1904. СПб., 1911; *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.

¹² *Дучич Йован.* Едан србин дипломат на двору Петра Великого. Белград — Питсбург, 1942; Павленко Н. И. Савва Лукич Владиславич-Рагузинский // Сибирские огни. 1978. № 3.

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ МЕНШИКОВ

ПИРОЖНИК В РОЛИ «ПОТОМКА» ОБОДРИТОВ

¹ Сборник Русского исторического общества (далее: Сб. РИО). Т. 39. СПб., 1884. С. 125; *Корб И.* Дневник путешествия в Московию 1698 — 1699 гг. СПб., 1906. С. 83 — 84.

² *Юст Юль.* Записки. М., 1899. С. 128.

³ Архив кн. Ф. А. Куракина. Т. I. СПб., 1890. С. 76.

⁴ *Манштейн Х. Г.* Записки о России. СПб., 1875. С. 8.

⁵ Русский вестник. 1842. № 2. С. 147 — 148.

⁶ *Майков А. Н.* Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. С. 90; Bruce F. Nachrichtein von seinen Reisen... Leipzig, 1784. S. 88 — 90.

⁷ Центральный государственный архив древних актов (далее: ЦГАДА), Госархив, Разряд XI, д. 64, л. 3.

⁸ Письма и бумаги императора Петра Великого (далее: ПБ). Т. V. СПб., 1907. С. 284.

⁹ ЦГАДА, ф. Походной и домового канцелярии А. Д. Меншикова (далее: ф. 198), д. 14, л. 3.

¹⁰ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 160, ч. 5, л. 330 — 336; Сын Отечества. 1848. № 1. С. 15 — 28.

¹¹ Сын Отечества. 1848. № 6. С. 7; № 2. С. 2, 3.

¹² *Голоков И. И.* Анекдоты, касающиеся до Петра Великого. М., 1807. С. 323 — 324.

¹³ *Пушкин А. С.* Собр. соч. Т. 3. М., 1962. С. 229; 89.

¹⁴ *Соловьев С. М.* История России с древнейших времен. Кн. VII. М., 1962. С. 576.

¹⁵ *Юст Юль.* Указ. соч. С. 128.

¹⁶ Русский вестник. 1842. № 2. С. 148.

¹⁷ Архив кн. Ф. А. Куракина. Кн. I. С. 76.

¹⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 160, ч. 1, л. 10.

¹⁹ *Юст Юль.* Указ. соч. С. 128.

²⁰ *Соловьев С. М.* Указ. соч. Кн. IX. М., 1963. С. 623; ЦГАДА, ф. 198, д. 459, л. 4 — 16.

В УСЛУЖЕНИИ И НА СЛУЖБЕ

¹ ПБ. Т. I. СПб., 1887. С. 26, 143.

² *Богословский М. М.* Петр I. Т. III. М., 1946. С. 20.

³ ПБ. Т. I. С. 331.

⁴ Материалы для истории русского флота (далее: Материалы). СПб., 1865. Ч. 1. С. 15, 16, 23.

⁵ *Глаголева А. П.* Олонецкие заводы в первой четверти XVIII в. М., 1957. С. 56 — 65.

⁶ ЦГАДА, ф. 198, д. 2, л. 2 — 4.

⁷ Материалы. Ч. 1. С. 24.

⁸ *Есинов Г.* Князь Александр Данилович Меншиков // Русский архив. 1875. Кн. 7. С. 239.

⁹ *Корб И.* Дневник путешествия в Московию 1698—1699. СПб., 1906. С. 128.

¹⁰ *Есинов Г.* Указ. соч. // Русский архив. 1875. Кн. 7. С. 240.

¹¹ ПБ. Т. II. СПб., 1889. С. 221.

¹² *Троицкий С. М.* Хозяйство крупного сановника России в первой четверти XVIII в. // Россия в период реформ Петра I. М., 1973. С. 222.

¹³ ЦГАДА, ф. 198, д. 49, л. 2; д. 106, л. 121; д. 525, л. 3; д. 579, л. 10, 18, 25, 29, 32, 63.

¹⁴ ПБ. Т. II. С. 608.

¹⁵ *Есинов Г.* Указ. соч. // Русский архив. 1875. Кн. 7. С. 243.

¹⁶ ПБ. Т. III. СПб., 1893. С. 342.

¹⁷ ПБ. Т. IV. Вып. 1. СПб., 1900. С. 226.

¹⁸ ЦГАДА, ф. Письма разных лиц на русском языке 1702 г., д. 1, л. 7.

¹⁹ ПБ. Т. IV. Вып. 1. С. 17.

²⁰ Там же. С. 231.

²¹ ПБ. Т. III. С. 540, 1060.

ГЕРОЙ КАЛИША, БАТУРИНА, ПОЛТАВЫ И ПЕРЕВОЛОЧНЫ

¹ ЦГАДА, ф. 198, д. 1035, л. 3.

² Постепенное развитие русской регулярной конницы в эпоху Великого Петра (далее: Постепенное развитие...). СПб., 1912. Вып. 1. Ч. 2. С. 344.

³ ПБ. Т. IV. Вып. 1. С. 426 — 427.

⁴ Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. IV. Ч. 1. СПб., 1863. С. 523.

⁵ Сын Отечества. 1848. № 4. С. 3.

⁶ ПБ. Т. IV. Вып. 1. С. 442; СПб., 1900. Вып. 2. С. 1196.

⁷ Постепенное развитие. С. 409.

⁸ ЦГАДА, ф. 198, д. 1035, л. 22 — 24.

⁹ Там же, л. 13.

¹⁰ Там же, л. 26.

¹¹ Постепенное развитие. С. 395.

¹² Картина жизни и великих деяний кн. А. Д. Меншикова (далее: Картина жизни и...). М., 1809. С. 42, 43.

¹³ Устрялов Н. Г. Указ. соч. С. 532.

¹⁴ Есинов Г. Указ. соч. // Русский архив. 1875. Кн. 9. С. 58; ПБ. Т. VII. Вып. 1. Пг., 1918. С. 70 — 71.

¹⁵ Георгиевский Г. П. Мазепа и Меншиков // Исторический журнал. 1940. № 12. С. 80 — 81.

¹⁶ Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. VIII. М., 1962. С. 219.

¹⁷ ПБ. Т. VIII. Вып. 2. М., 1951. С. 846.

¹⁸ Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. VIII. С. 242.

¹⁹ ПБ. Т. VIII. Вып. 1. М., 1948. С. 237.

²⁰ Там же. С. 262, 268.

²¹ Там же. С. 270.

²² ПБ. Т. IX. Вып. 1. М., 1950. С. 81.

²³ Есинов Г. Указ. соч. // Русский архив. 1875. Кн. 9. С. 66, 68, 73.

²⁴ ПБ. Т. IX. Вып. 1. С. 88; М., 1978. Вып. 2. С. 686—687.

²⁵ ПБ. Т. IX. Вып. 1. С. 97, 98; Вып. 2. С. 708.

²⁶ ЦГАДА, ф. 198, д. 1170, л. 120, 125.

²⁷ Есинов Г. Указ. соч. // Русский архив. 1875. Кн. 9. С. 73.

²⁸ ЦГАДА, ф. 198, д. 1170, л. 154, 156; Госархив, Разряд IX, отд. 2, кн. 9, л. 427.

²⁹ ЦГАДА, ф. 198, д. 1170, л. 156.

³⁰ ПБ. Т. IX. Вып. 2. С. 1256.

³¹ Сб. РИО. Т. 39. С. 125.

³² Юст Юль. Указ. соч. С. 208.

³³ ЦГАДА, ф. 198, д. 106, л. 39 — 40.

³⁴ Там же, л. 211, 232.

³⁵ Картина жизни. С. 104.

УДАЧИ И ПРОМАХИ В ПОМЕРАНИИ

¹ ПБ. Т. X. М., 1956. С. 57.

² ПБ. Т. XI. Вып. 1. М., 1962. С. 34, 106.

³ Там же. С. 61.

⁴ Там же. С. 139, 145, 215.

⁵ Архив Ленинградского отделения Института истории СССР (далее: ЛОИИ), ф. Походной канцелярии А. Д. Меншикова (далее: ф. 83), карт. 15, д. 220, л. 2.

⁶ ПБ. Т. XI. Вып. 1. С. 167, 459, 561.

- ⁷ Там же. С. 542; Т. XII. Вып. 1. М., 1975. С. 179.
- ⁸ ПБ. Т. XI. Вып. 2. М., 1964. С. 153.
- ⁹ Там же. С. 232.
- ¹⁰ ЦГАДА, ф. 198, д. 1170, л. 209.
- ¹¹ ПБ. Т. XI. Вып. 2. С. 16.
- ¹² Там же. С. 74.
- ¹³ ПБ. Т. XII. Вып. 1. С. 53, 103.
- ¹⁴ Там же. С. 123, 389.
- ¹⁵ Там же. С. 200, 477, 489, 490.
- ¹⁶ Там же. С. 529.
- ¹⁷ Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. IX. С. 12.
- ¹⁸ ЦГАДА, ф. 198, д. 1170, л. 164, 184.
- ¹⁹ Архив кн. Ф. А. Куракина, с. 63, 65, 66.
- ²⁰ ЦГАДА, ф. 198, д. 1170, л. 198, 200.
- ²¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 4, л. 192, 217, 243, 245 и др.: кн. 5, л. 406, 472 и др.
- ²² ЦГАДА, ф. 198, д. 1170, л. 235, 242, 246.
- ²³ Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. IX. С. 12.
- ²⁴ Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого. М., 1770. Ч. 1. С. 353.
- ²⁵ ЦГАДА, ф. 198, д. 297, л. 3, 18.
- ²⁶ Там же, л. 28.
- ²⁷ Там же, л. 34.
- ²⁸ Там же, л. 102.
- ²⁹ Материалы для истории Гангутской операции. Пг., 1915. Вып. 2. С. 42, 43.
- ³⁰ ЦГАДА, Госархив, Разряд V, л. 26, л. 415, 416.
- ³¹ ЦГАДА, ф. 198, д. 297, л. 160.
- ³² Возгрин В. Е. Русско-датский союз в Великой Северной войне // Канд. дис. Л., 1977. С. 105.
- ³³ ЦГАДА, ф. 198, д. 297, л. 122.
- ³⁴ Witttram R. Peter I Szar und Kaiser. Gottingen, 1964. S. 256; Bagger H. Russlands alliancepolitik efter freden i Nystad. Kobenhavn, 1974. S. 92.
- ³⁵ ЦГАДА, ф. Сношения с Пруссией, оп. 1, 1713, д. 14, л. 196 — 199.
- ³⁶ ЦГАДА, ф. 198, д. 300, л. 3, 4.
- ³⁷ Там же, д. 304, л. 1.
- ³⁸ Там же, д. 40, л. 1 — 6.
- ³⁹ Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера. М., 1902. Ч. 1. С. 85, 86.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУБЕРНАТОР

- ¹ Материалы для истории Гангутской операции. Пг., 1914. Вып. 1. Ч. 2. С. 85; Вып. 2. С. 282.
- ² Там же. Вып. 1. Ч. 2. С. 127, 186; Вып. 2. С. 325, 331, 333, 400.
- ³ Там же. Вып. 2. С. 394, 400.
- ⁴ Там же. С. 405.
- ⁵ Там же. С. 304, 347.
- ⁶ Там же. С. 209.
- ⁷ Там же. С. 423; Вып. 4. С. 733.
- ⁸ Там же. Вып. 4. С. 746.
- ⁹ Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. М., 1838. Т. 6. С. 371 — 373.
- ¹⁰ ЦГАДА, ф. 198, д. 305, л. 7.
- ¹¹ Там же, д. 1170, л. 267, 270, 284.
- ¹² Там же, д. 305, л. 11.
- ¹³ Материалы. СПб., 1865. Ч. 2. С. 158, 168, 169.
- ¹⁴ Там же. Ч. 3. С. 667.
- ¹⁵ Там же. С. 668.
- ¹⁶ ЦГАДА, ф. 198, д. 1035, л. 101.
- ¹⁷ Там же, д. 307, л. 5, 6.
- ¹⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 60, л. 578 — 580.

- ¹⁹ Там же, ф. 198, д. 305, л. 45, 90.
²⁰ Там же, д. 308, л. 112, 115, 119.
²¹ Материалы. Ч. 2. С. 159.
²² Там же. С. 133.
²³ *Шереметев С.* Схимонахиня Нектария. М., 1909. С. 10, 11.
²⁴ Чтения общества истории древностей российских. Кн. 3. М., 1861. С. 308 — 309.
²⁵ Там же. С. 313, 314.
²⁶ *Шереметев С.* Указ. соч. С. 14, 15.
²⁷ ЦГАДА, ф. 198, д. 106, л. 109, 110.
²⁸ Там же, д. 353, л. 2, 6.
²⁹ Там же, д. 352, л. 153.
³⁰ *Устрялов Н. Г.* Указ. соч. Т. VI. СПб., 1859. С. 195, 199.
³¹ Там же. С. 493.
³² Там же. С. 613.
³³ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 1 — 6.
³⁴ Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1946. С. 226.
³⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 3, л. 46.
³⁶ Там же, л. 30.
³⁷ Там же, л. 35.

НА ГРАНИ КАТАСТРОФЫ

- ¹ *Голиков И. И.* Деяния императора Петра Великого. Т. 6. С. 380.
² ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 25, л. 506 — 511; ф. 198, д. 49, л. 1 — 9.
³ ПСЗ-I. СПб., 1830. Т. 5. № 2914. С. 160.
⁴ ЦГАДА, ф. 198, д. 49, л. 2.
⁵ Там же, л. 11 — 13.
⁶ Там же, л. 13 — 14.
⁷ ЛОИИ, ф. Походная канцелярия А. Д. Меншикова (ф. 83), карт. 8, д. 9, л. 2.
⁸ ЦГАДА, ф. 198, д. 106, л. 135.
⁹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 41, л. 416.
¹⁰ ЦГАДА, ф. 198, д. 41, л. 3.
¹¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 41, л. 416.
¹² ЦГАДА, ф. 198, д. 1170. л. 306 — 316.
¹³ Там же, л. 444.
¹⁴ Там же, д. 295, л. 35.
¹⁵ Там же, д. 106, л. 24.
¹⁶ Там же, д. 311, л. 2; Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 41, л. 406.
¹⁷ ЦГАДА, ф. 198, д. 313, л. 6.
¹⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 33, л. 76.
¹⁹ *Троицкий С. М.* Хозяйство крупного сановника России в первой четверти XVIII в. // Россия в период реформы Петра I. М., 1973. С. 241 — 246.
²⁰ Центральный государственный архив Военно-Морского Флота, ф. Канцелярия графа Апраксина, кн. 190, л. 59 — 60.
²¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 47, л. 87, 89, 91.
²² Там же, л. 175.
²³ Там же, л. 171.
²⁴ Там же, кн. 56, л. 4, 63.
²⁵ Там же, л. 47, 48.
²⁶ Там же, л. 68.
²⁷ Картина жизни. С. 174.
²⁸ *Майков Л. Н.* Указ. соч. С. 98.
²⁹ ЦГАДА, ф. 198, д. 10, л. 3.
³⁰ Русский архив. 1865. № 10/11. Стб. 1264.
³¹ Сб. РИО. СПб., 1875. Т. 15. С. 217 — 218.
³² *Голиков И. И.* Анекдоты, касающиеся до Петра Великого. С. 323 — 334.
³³ Материалы. Ч. 2. С. 560.
³⁴ *Голиков И. И.* Деяния императора Петра Великого. М., 1838. Т. 8. С. 409.

- ³⁵ ЦГАДА, ф. 198, д. 314, л. 3.
³⁶ Голиков И. И. Деяния императора Петра Великого. Т. 8. С. 410.
³⁷ Там же. С. 422.
³⁸ Там же. С. 432.
³⁹ Материалы. Ч. 2. С. 560.
⁴⁰ Там же. Ч. 3. С. 206.
⁴¹ Русский архив. 1883. № 5. С. 16, 32, 35, 44.
⁴² ЦГАДА, ф. 198, д. 319, л. 2.
⁴³ Там же, д. 295, л. 47.
⁴⁴ Там же, д. 320, л. 5.
⁴⁵ Там же, л. 6.

ВЕРШИНА МОГУЩЕСТВА И БОГАТСТВА

- ¹ Никифоров Л. А. Записки Вильбуа // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 225.
² Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. IX. С. 558.
³ Русский вестник. 1842. № 2. С. 150.
⁴ Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. IX. С. 564.
⁵ Сб. РИО. Т. 58. СПб., 1837. С. 11, 105, 111, 157.
⁶ ЦГАДА, ф. 198, д. 324, л. 4.
⁷ Сб. РИО. Т. 56. СПб., 1887. С. 325; 200-летие Кабинета его императорского величества 1704 — 1904. СПб., 1911. Приложение 10. С. 45 — 47.
⁸ Сб. РИО. Т. 55. СПб., 1886. С. 190.
⁹ ПСЗ-I. СПб., 1830. Т. 7. № 4830. С. 568, 569.
¹⁰ Юст Юль. Указ. соч. С. 210.
¹¹ ЦГАДА, ф. 198, д. 106, л. 5.
¹² Там же, д. 1172, л. 10.
¹³ Там же, д. 10, л. 2, 3.
¹⁴ Там же, л. 1, 2.
¹⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 63, л. 7.
¹⁶ Там же, д. 53, ч. 5, л. 65.
¹⁷ Юст Юль. Указ. соч. С. 259.
¹⁸ Арсеньев К. И. Царствование Екатерины I. СПб., 1856; Щербальский П. К. Князь Меншиков и граф Мориц Саксонский // Русский вестник. 1860. Т. 25.
¹⁹ Письма русских государей. Т. 4. М., 1862. С. 142.
²⁰ Сб. РИО. Т. 55. С. 373.
²¹ ЦГАДА, ф. 198, д. 1170, л. 405.
²² Там же, д. 321, л. 5 — 8.
²³ Там же, л. 17, 18.
²⁴ Порозовская Б. Д. А. Д. Меншиков. СПб., 1895. С. 33; ЦГАДА, ф. 198, д. 1168, л. 124.
²⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 5, л. 32.
²⁶ ПСЗ-I. Т. 7. № 5070. С. 789 — 791.
²⁷ Ковалевский Е. П. Суд над графом Девиером и его соучастниками // Ковалевский Е. П. Собр. соч. Т. 1. СПб., 1871. С. 193 — 194.
²⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 6, л. 56.
²⁹ Сб. РИО. СПб., 1868. Т. 3. С. 471.
³⁰ Там же. С. 473.
³¹ Арсеньев К. И. Царствование Екатерины I. С. 59.
³² ЦГАДА, ф. 156, д. 15, л. 1 — 3.
³³ ЦГАДА, ф. 375, д. 53, л. 1 — 3.
³⁴ Там же, д. 52, л. 1 — 8; Сын Отечества. 1848. № 1. С. 3; № 5. С. 6, 16, 47; № 6. С. 2, 4, 36.
³⁵ ЦГАДА, ф. 198, д. 327, л. 3; д. 332, л. 2; д. 322, л. 15.
³⁶ Сб. РИО. Т. 3. С. 483, 484.
³⁷ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 63, л. 13.
³⁸ Там же, л. 9.
³⁹ Там же, л. 8.

- ⁴⁰ Сб. РИО. Т. 3. С. 484.
⁴¹ Там же. С. 481.
⁴² ЦГАДА, ф. 156, д. 198, л. 8 — 10.
⁴³ Русский вестник. 1842. № 2. С. 154.
⁴⁴ Сб. РИО. СПб., 1889. Т. 69. С. 271.

КРУШЕНИЕ. ССЫЛКА

- ¹ ЦГАДА, ф. 198, д. 242, л. 4.
² Там же, Госархив, Разряд VI, д. 160, ч. 2, л. 1.
³ Там же, ч. 5, л. 257.
⁴ Там же, ч. 1, л. 6, 17.
⁵ Там же, ф. 198, д. 963, л. 15.
⁶ Там же, д. 1170, л. 318.
⁷ Там же, д. 1173, л. 1.
⁸ Там же, д. 54, л. 14.
⁹ Там же, д. 1174, л. 6, 9, 44,
¹⁰ Там же, д. 1173, л. 105.
¹¹ Там же, д. 1172, л. 12.
¹² Там же, д. 54, л. 11; д. 106, л. 188.
¹³ Там же, д. 360, л. 13, 14.
¹⁴ Там же, д. 358, л. 1.
¹⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 53, ч. 6, л. 38.
¹⁶ Там же, Разряд XI, д. 215, л. 1.
¹⁷ Русский вестник. 1842. № 2. С. 155; см. также: *Есипов Г.* Ссылка кн. Меншикова // Отечественные записки. 1860. № 8; 1861. № 3.
¹⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 160, ч. 1, л. 7, 8.
¹⁹ Там же, л. 29.
²⁰ Там же, л. 36.
²¹ Там же, л. 75.
²² Там же, л. 54.
²³ Там же, л. 91, 92, 101.
²⁴ Там же, л. 111 — 117.
²⁵ Там же, л. 117.
²⁶ Там же, ч. 3, л. 81.
²⁷ Архив кн. Ф. А. Куракина. Т. I. С. 76.
²⁸ Сб. РИО. СПб., 1868. Т. 3. С. 500.
²⁹ Там же. С. 507.
³⁰ *Карнович Е. П.* Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1874. С. 152.
³¹ Сб. РИО. Т. 69. СПб., 1889. С. 273, 277.
³² ЦГАДА, ф. Сената, кн. 234, л. 402 — 436.
³³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 160, ч. 4, л. 134.
³⁴ ЦГАДА, ф. 5-й департамент Сената, оп. 1, кн. 4356, л. 418 — 429.
³⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 160, ч. 4, л. 32.
³⁶ Там же, ф. Сената, кн. 234, л. 391.
³⁷ *Нечаев В. Н.* Следственные допросы кн. А. Д. Меншикова // Русский исторический журнал. Пг., 1922. Кн. 8. С. 115, 123.
³⁸ Там же. С. 118.
³⁹ Там же. С. 124.
⁴⁰ *Нечаев В. Н.* Указ. соч. С. 125; *Овчинников Р. В.* Крушение «полудержавного властелина» // Вопросы истории. 1970. № 9. С. 87 — 104.
⁴¹ Сб. РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 88.
⁴² ПСЗ-I. СПб., 1830. Т. 7. № 5252. С. 21.
⁴³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 160, ч. 1, л. 119, 123—125.
⁴⁴ Там же, ч. 4, л. 16.
⁴⁵ Русский архив. 1909. № 3. С. 353, 354.
⁴⁶ ЦГАДА, ф. Сената, кн. 234, л. 316.
⁴⁷ Русский вестник. 1842. № 2. С. 159.

- ⁴⁸ Отечественные записки. 1861. Т. 3. Приложение. С. 8.
⁴⁹ Русский вестник. 1842. № 2. С. 158 — 175.
⁵⁰ Пушкин А. С. Собр. соч. Т. 4. Л., 1978. С. 271.
⁵¹ См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 37. С. 443.
⁵² Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. СПб., 1817. Ч. 2. С. 420, 421; Русская старина. 1903. № 1. С. 70, 71.
⁵³ Русская старина. 1873. № 6. С. 744 — 762.
⁵⁴ Записки Русского географического общества. СПб., 1857. Кн. 12. С. 370 — 372.
⁵⁵ Тобольские епархиальные ведомости. 1891. № 23/24. С. 507 — 510.
⁵⁶ Сумгин М. И., Демчинский Б. Н. Завоевание Севера. М.; Л., 1938. С. 137; Они же. Область вечной мерзлоты. М.; Л., 1940. С. 207; Вельмина Н. А. Ледяной сфинкс. М., 1975. С. 93.

БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ

НАЧАЛО ПУТИ

- ¹ Сб. РИО. Т. 25. СПб., 1878. С. 310, 312.
² ЛОИИ, ф. Походная канцелярия князя Меншикова (ф. 83), оп. 1, карт. 4, л. 42, л. 1.
³ Корб И. Г. Дневник путешествий в Московию 1698 и 1699 гг. СПб., 1906. С. 254.
⁴ Невиль. Записки // Русская старина. 1891. Т. 72. С. 245.
⁵ Записки путешествия Б. П. Шереметева. М., 1773. С. 1, 21.
⁶ Корб И. Г. Указ. соч. С. 98.
⁷ Шереметев Б. П. Указ. соч. С. 25, 42, 74, 81, 49, 54, 39, 67, 34.
⁸ Корб И. Г. Указ. соч. С. 127.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ

- ¹ Устрялов Н. Г. История царствования императора Петра Великого. Т. IV. Ч. 2. СПб., 1863. С. 168.
² ПБ. Т. I. СПб., 1887. С. 407.
³ Гистория Свейской войны // Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого. Ч. 1. М., 1770. С. 25, 26.
⁴ ПБ. Т. I. С. 423.
⁵ Устрялов Н. Г. Указ. соч. С. 167.
⁶ Записки И. А. Желябужского // Записки русских людей. СПб., 1841. С. 81, 82.
⁷ Постепенное развитие... Вып. 1. Кн. 1. СПб., 1912. С. 50; Кн. 3. СПб., 1912. С. 237, 238.
⁸ Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого. С. 38.
⁹ Постепенное развитие... Вып. 1. Кн. 3. С. 341.
¹⁰ Военно-походный журнал Шереметева: Материалы военно-ученого архива Главного штаба. СПб., 1871. С. 90.
¹¹ Записки русских людей. С. 84.
¹² Постепенное развитие... Вып. 1. Кн. 1. С. 89, 78, 79.
¹³ ПБ. Т. II. СПб., 1889. С. 79.
¹⁴ Постепенное развитие... Вып. 1. Кн. 1. С. 110, 111.
¹⁵ ПБ. Т. II. С. 84.
¹⁶ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. IX. М., 1963. С. 644.
¹⁷ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. 1. СПб., 1863. С. 132.
¹⁸ ПБ. Т. II. С. 75.
¹⁹ Там же. С. 82, 83.
²⁰ Там же. С. 92.
²¹ Там же. С. 451.
²² ЦГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1706 г., л. 6, л. 66. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Р. В. Овчинникова, указавшего это дело.
²³ ПБ. Т. II. С. 138.
²⁴ Там же. С. 140.
²⁵ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. 1. С. 277.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

- ¹ ПБ. Т. III. СПб., 1893. С. 53, 69, 613, 71.
- ² Постепенное развитие... Вып. 1. Кн. 1. С. 266; Кн. 3. С. 372.
- ³ ПБ. Т. III. С. 94.
- ⁴ Палли Х. Э. Между двумя боями за Нарву // Эстония в первые годы Северной войны. 1701 — 1704. Таллинн, 1966. С. 237.
- ⁵ ПБ. Т. III. С. 112, 657.
- ⁶ Там же. С. 192, 711.
- ⁷ Там же. Т. I. С. 771, 113.
- ⁸ ПБ. Т. II. С. 485.
- ⁹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 24, л. 833; Русский архив. 1909. Кн. 2. С. 173, 174.
- ¹⁰ ПБ. Т. II. С. 79, 170.
- ¹¹ Постепенное развитие... Вып. 1. Кн. 2. СПб., 1912. С. 64, 86, 286.
- ¹² ПБ. Т. III. С. 296.
- ¹³ Там же. С. 391.
- ¹⁴ Голикова Н. Б. Из истории классовых противоречий в русской армии; Полтава. М., 1959. С. 271.
- ¹⁵ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. 2. С. 425.
- ¹⁶ ПБ. Т. III. С. 449.
- ¹⁷ Голикова Н. Б. Астраханское восстание 1705 — 1706 гг. М., 1975. С. 207.
- ¹⁸ Переписка фельдмаршалов Ф. А. Головина и Б. П. Шереметева в 1705 — 1706 гг. М., 1851. С. 7, 10.
- ¹⁹ ПБ. Т. IV. Вып. 1. СПб., 1900. С. 7.
- ²⁰ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. 1. С. 504.
- ²¹ ПБ. Т. IV. Вып. 1. С. 406.
- ²² Переписка фельдмаршалов... С. 21.
- ²³ ПБ. Т. III. С. 449; Т. IV. Вып. 2. СПб., 1900. С. 623.
- ²⁴ ПБ. Т. III. С. 527; Т. IV. Вып. 1. С. 91, 189.
- ²⁵ ПБ. Т. IV. Вып. 1. С. 189.
- ²⁶ Голикова Н. Б. Астраханское восстание... С. 291, 298, 299.
- ²⁷ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. 2. С. 404.
- ²⁸ ПБ. Т. IV. Вып. 2. С. 770 — 771, 758.
- ²⁹ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. IV. Ч. 2. С. 427.

ВНОВЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

- ¹ ЦГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1706 г., д. 6, л. 78.
- ² Мышляевский А. З. Северная война. 1708. СПб., 1901. С. 2, 16.
- ³ ПБ. Т. VII. Вып. 1. Пг., 1918. С. 85.
- ⁴ Гиленкрок А. Современные сказания о походе Карла XII в Россию // Военный журнал. 1844. № 6. С. 26 — 28.
- ⁵ ПБ. Т. VII. Вып. 1. С. 45, 72; ЦГАДА, ф. Сношения России с Турцией (ф. 89), 1713 г., оп. 1, д. 7, л. 213.
- ⁶ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 4, д. 58, л. 1; д. 76, л. 1.
- ⁷ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 2. д. 251, л. 1; д. 222-а, л. 1; карт. 4, д. 83, л. 2; карт. 7, д. 113, л. 1.
- ⁸ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 2, д. 282, л. 2; карт. 5, д. 160-а, л. 2; карт. 4, д. 189-а, л. 1; карт. 2, д. 251, л. 1; карт. 4, д. 93, л. 3.
- ⁹ Мышляевский А. З. Указ. соч. Приложение. С. 3, 4.
- ¹⁰ Сб. РИО. Т. 39. СПб., 1884. С. 457, 458.
- ¹¹ Мышляевский А. З. Указ. соч. С. 37, 78, 79.
- ¹² Гиленкрок А. Указ. соч. // Военный журнал. 1844. № 6. С. 32.
- ¹³ Мышляевский А. З. Указ. соч. Приложение. С. 32, 33.
- ¹⁴ ПБ. Т. VIII. Вып. 1. С. 15.
- ¹⁵ Журнал, или Поденная записка императора Петра Великого. Ч. I. С. 184 — 185, 200.
- ¹⁶ ПБ. Т. IX. Вып. 1. М., 1950. С. 103.

- ¹⁷ Гилленкрок А. Указ. соч. // Военный журнал. 1844. № 6. С. 82 — 85.
- ¹⁸ Труды Русского военно-исторического общества. Т. IV. СПб., 1909. С. 117; Т III. СПб., 1909. С. 269.
- ¹⁹ ПБ. Т. IX. Вып. 1. С. 287, 333; Вып. 2. С. 1163.
- ²⁰ Там же. Т. X. М., 1956. С. 95.
- ²¹ Сб. РИО. Т. 25. С. 192, 194.
- ²² Гельмс И. А. Достоверное описание города Риги. Сб. материалов и статей по истории Прибалтийского края. Т. II. Рига, 1879. С. 437, 438.
- ²³ ПБ. Т. X. С. 222, 229, 247.
- ²⁴ Сб. РИО. Т. 25. С. 312.
- ²⁵ ПБ. Т. X. С. 442.
- ²⁶ ПБ. Т. XI. Вып. 1. М., 1962. С. 43, 44, 177.
- ²⁷ Мьпилавский Л. З. Война с Турцией 1711 г. СПб., 1898. С. 34.
- ²⁸ ПБ. Т. XI. Вып. 1. С. 178, 285, 287.
- ²⁹ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 16, д. 4-6, л. 1.
- ³⁰ ЦГАВМФ, ф. Канцелярия графа Апраксина. Кн. 12, л. 162.
- ³¹ ПБ. Т. XI. Вып. 1. С. 285, 286, 547.
- ³² Мьпилавский А. З. Война с Турцией 1711 г. С. 123, 124, 26.
- ³³ Юст Юль. Записки. М., 1910. С. 372.
- ³⁴ Мьпилавский А. З. Война с Турцией 1711 г. С. 112, 120, 127, 132, 260.
- ³⁵ ПБ. Т. XI. Вып. 1. С. 190.
- ³⁶ Там же. С. 317, 583.
- ³⁷ Там же. Вып. 2. М., 1964. С. 616.
- ³⁸ Военно-походный журнал фельдмаршала графа Б. П. Шереметева. СПб., 1898. С. 82 — 94.
- ³⁹ Сб. РИО. Т. 25. С. 330, 343, 344, 328, 329.

СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ

- ¹ Сб. РИО. Т. 25. С. 329.
- ² ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 1-е отд. Тетради записные, 1713 г., л. 28; 2-е отд., кн. 24, л. 805.
- ³ Долгорукая Н. Б. Своеручные записки. СПб., 1913. С. 17, 22.
- ⁴ Военно-походный журнал фельдмаршала графа Б. П. Шереметева 1711 и 1712 гг. СПб., 1898. С. 189.
- ⁵ Соловьев С. М. Указ. соч. Кн. VIII. М., 1962. С. 409, 410; ЦГАДА, ф. 89, 1713 г., д. 1, л. 13, 14.
- ⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 22, л. 457.
- ⁷ Сб. РИО. Т. 25. С. 386.
- ⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 22, л. 705.
- ⁹ Сб. РИО. Т. 61. СПб., 1888. С. 354.
- ¹⁰ Шереметев С. Схимонахиня Нектария. М., 1909. С. 15.
- ¹¹ ЛОИИ, ф. 83, оп. 3, д. 12, л. 4, 13, 10.
- ¹² Сб. РИО. Т. 25. С. 399.
- ¹³ ЛОИИ, ф. 83, оп. 3, д. 12, л. 105, 111, 112.
- ¹⁴ Там же, л. 122, 135.
- ¹⁵ Шереметев С. Указ. соч. С. 15.
- ¹⁶ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. VI. СПб., 1859. С. 508.
- ¹⁷ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 37, л. 72, 73; ф. 198, д. 1046, л. 22.
- ¹⁸ Шереметев С. Указ. соч. С. 18.
- ¹⁹ ЦГАДА, ф. Сношения России со Швецией, 1706 г., д. 6, л. 40; Переписка фельдмаршалов... С. 53.
- ²⁰ ЛОИИ, ф. 83, оп. 1, карт. 11, д. 288, л. 1; карт. 12, д. 7, л. 1.
- ²¹ Сб. РИО. Т. 25. С. 325.
- ²² Архив села Вожажникова. Вып. 1. М., 1901. С. 35, 36, 21, 27.
- ²³ Шереметев С. Указ. соч. С. 45, 69.
- ²⁴ Архив села Вожажникова. Вып. 1. С. 96, 99, 11, 16, 26.

²⁵ Голиков И. И. Деяния Петра Великого. Т. VII. М., 1838. С. 386.

²⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 37, л. 71, 76; кн. 36, л. 174, 176, 198.

²⁷ Песни, собранные П. В. Киреевским. Вып. 8. С. 131 — 132.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ

ДЕДУШКА В ВОЛОНТЕРАХ

¹ Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера. Ч. 4. М., 1903. С. 25, 42.

² Архив внешней политики России (далее: АВГР), ф. Внутренние коллежские дела, 1729 г., д. 4173, л. 8-10.

³ ЦГАДА, ф. Разрядный приказ. Московский стол, д. 532, л. 103; д. 551, л. 69; д. 596, л. 153.

⁴ АВГР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 1.

⁵ История о невинном заточении ближнего боярина Артамона Сергеевича Матвеева. СПб., 1776. С. 380, 381.

⁶ Записки Андрея Артамоновича Матвеева // Записки русских людей. СПб., 1841. С. 19, 21.

⁷ Толстой П. А. Дневник, писанный им во время путешествия в Италию и на остров Мальту в 1697 — 1698 гг. // Русский архив. 1888. Кн. 2. С. 174; Кн. 3. С. 334, 336, 338. См. также: Шереметев П. Владимир Петрович Шереметев. Т. I. М., 1913. С. 130 — 152; Попов Н. А. Из жизни П. А. Толстого, одного из следователей по делу царевича Алексея Петровича // Русский вестник. 1860. № 11; Он же. Путешествие в Италию и на остров Мальту стольника П. А. Толстого // Атеней. Т. 2. М., 1859.

⁸ Толстой П. А. Указ. соч. // Русский архив. 1888. Кн. 5. С. 25, 37; Кн. 6. С. 147, 148, 151, 118.

⁹ Русский архив. 1888. Кн. 3. С. 340, 341; Кн. 6. С. 120, 135.

¹⁰ Русский архив. 1888. Кн. 7. С. 236, 259, 235 — 237.

¹¹ Русский архив. 1888. Кн. 6. С. 118; Кн. 7. С. 264.

¹² Русский архив. 1888. Кн. 4. С. 532, 541, 547, 549; Кн. 7. С. 380.

¹³ Русский архив. 1888. Кн. 4. С. 547, 550; Кн. 5. С. 50; Кн. 7. С. 260; Кн. 8. С. 380.

¹⁴ Русский архив. 1888. Кн. 5. С. 29.

¹⁵ Русский архив. 1888. Кн. 4. С. 529; Кн. 5. С. 42, 47.

¹⁶ Русский архив. 1888. Кн. 4. С. 527, 528.

¹⁷ Русский архив. 1888. Кн. 3. С. 350, 352.

¹⁸ Русский архив. 1888. Кн. 5. С. 28, 29, 35, 46, 50.

¹⁹ Там же. С. 16—19, 26, 36; Кн. 6. С. 129 — 132; Кн. 7. С. 231 — 233.

²⁰ Русский архив. 1888. Кн. 3. С. 367; Кн. 4. С. 510, 514.

²¹ Русский архив. 1888. Кн. 8. С. 390, 400.

В СТАМБУЛЕ

¹ ПБ. Т. II. СПб., 1889. С. 53.

² ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 1, л. 49, 84, 105.

³ ПБ. Т. II. С. 55; ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 53.

⁴ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 492; 1702 г., д. 2, л. 172.

⁵ ЦГАДА, ф. 89, 1707 г., д. 3, л. 169; 1708 г., д. 2, л. 196.

⁶ ЦГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 292.

⁷ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 31, 32, 37, 38, 79.

⁸ ЦГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 133, 137, 206, 223, 224, 293.

⁹ Сергеев А. А. Состояние народа турецкого, описанное графом П. А. Толстым. Симферополь, 1914.

¹⁰ ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 112, 115, 148.

¹¹ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 40 — 42, 58, 205, 238, 423, 430.

¹² Там же, л. 448, 462, 484, 493.

¹³ Сергеев А. А. Указ. соч. С. 12 — 15, 28, 29 и сл.

- ¹⁴ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 409, 477; 1705 г., д. 4, л. 119, 130.
- ¹⁵ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 8. М., 1962. С. 61 — 66.
- ¹⁶ АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 3. См. также: Толстой М. Краткое описание жизни Виллардо // Русский архив. 1896. Кн. 1. С. 20 — 28. В «Кратком описании жизни Петра Андреевича Толстого» названа сумма не 200 тыс. золотых, а 20 тыс. руб.
- ¹⁷ ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 1, л. 4, 268; 1703 г., д. 3, л. 188; 1704 г., д. 3, л. 73.
- ¹⁸ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 169; 1706 г., д. 3, л. 16.
- ¹⁹ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 131, 203; 1704 г., д. 3, л. 126; 1707 г., д. 3, л. 355.
- ²⁰ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 2, л. 194; д. 3, л. 459, 460, 44, 484; 1705 г., д. 4, л. 2, 153.
- ²¹ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 3; 1708 г., д. 2, л. 134 — 137.
- ²² ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 44, 127.
- ²³ ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 373.
- ²⁴ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 45, 201, 208.
- ²⁵ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 42; 1705 г., д. 4, л. 167.
- ²⁶ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 327, 329.
- ²⁷ ЦГАДА, ф. 89, 1707 г., д. 3, л. 96, 72, 73, 90, 96, 106.
- ²⁸ ЦГАДА, ф. 89, 1708 г., д. 2, л. 13 — 16, 19, 76.
- ²⁹ Там же, л. 90, 174, 266, 272, 287.
- ³⁰ ЦГАДА, ф. 89, 1709 г., д. 1, л. 58, 65, 81, 100, 121, 141.
- ³¹ Там же, л. 450, 494, 495; Глаголева А. П. Русско-турецкие отношения перед Полтавским сражением: Сб. Полтава. М., 1959; Тальман И. М. Турция накануне и после Полтавской битвы. М., 1977. С. 42.
- ³² ЦГАДА, ф. 89, 1710 г., д. 5, л. 1 — 5; Тальман И. М. Указ. соч. С. 43, 57 и сл.
- ³³ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 336.
- ³⁴ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 372.
- ³⁵ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 390; 1704 г., д. 3, л. 309; 1706 г., д. 3, л. 96, 113, 126.
- ³⁶ ЦГАДА, ф. 89, 1703 г., д. 3, л. 385, 440.
- ³⁷ Там же, л. 380; 1704 г., д. 3, л. 42, 191 — 193, 342, 343.
- ³⁸ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 4, л. 61, 261, 43.
- ³⁹ ЦГАДА, ф. 89, 1704 г., д. 3, л. 191, 343, 375; 1705 г., д. 4, л. 79.
- ⁴⁰ ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 363, 371; 1704 г., д. 3, л. 29.
- ⁴¹ ЦГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 227; 1704 г., д. 3, л. 166.
- ⁴² ЦГАДА, ф. 89, 1702 г., д. 2, л. 126; 1703 г., д. 3, л. 1, 12; 1705 г., д. 4, л. 167; 1707 г., д. 3, л. 179.
- ⁴³ ЦГАДА, ф. 89, 1706 г., д. 3, л. 301; 1703 г., д. 3, л. 252.

ОБЛАВА

- ¹ ЦГАДА, ф. 198, д. 963, л. 27 — 29, 32, 33.
- ² Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. VI. СПб., 1859. С. 358, 359, 88, 383 — 387.
- ³ Там же. С. 388 — 389.
- ⁴ Там же. С. 402 — 406, 411.
- ⁵ Там же. С. 420, 421.
- ⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 24, л. 3.
- ⁷ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. VI. С. 416, 418, 421, 422.
- ⁸ АВПР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 5.
- ⁹ Устрялов Н. Г. Указ. соч. Т. VI. С. 422, 423, 437, 501.
- ¹⁰ Там же. С. 425, 427, 429, 489.
- ¹¹ Там же. С. 445, 516, 523, 532, 537.
- ¹² Там же. С. 578, 612, 613.
- ¹³ Веретенников В. И. История Тайной канцелярии петровского времени. Харьков, 1910. С. 118, 112, 195, 196, 124, 222.
- ¹⁴ Павлов-Сильванский Н. П. Граф Петр Андреевич Толстой: Очерки по русской истории XVIII — XIX вв. СПб., 1910. С. 32; Никифоров Л. А. Внешняя политика России в последние годы Северной войны: Ништадтский мир. М., 1959. С. 103 — 119.

В ЗАТОЧЕНИИ

- ¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 61. М., 1953. С. 290 — 291.
- ² Ковалевский Е. П. Собр. соч. Т. I. СПб., 1871. См. также: Попов Н. А. Сведения о пребывании гр. П. А. Толстого в ссылке // Древняя и новая Россия. 1875. № 11; Епископ Макарий. Последние дни графов Петра и Ивана Толстых // ЧОИДР, 1880, кн. III.
- ³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 3.
- ⁴ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 6, л. 56; Сб. РИО. Т. 3. СПб., 1868. С. 471.
- ⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 6, л. 56 — 62.
- ⁶ ЦГАДА, ф. Походной и домово́й канцелярии А. Д. Меншикова, д. 242, л. 6, 9.
- ⁷ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 7 — 12, 22, 49.
- ⁸ Там же, л. 40, 30, 77, 53.
- ⁹ Там же, л. 78, 80, 128, 117, 118.
- ¹⁰ Там же, л. 123 — 126.
- ¹¹ Там же, л. 134; ч. 1, л. 63, 66; ч. 5, л. 207, 208, 175; ПСЗ. Т. VII. № 5084. С. 798 — 800.
- ¹² ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 124, 125.
- ¹³ Там же, л. 33, 23, 26, 52.
- ¹⁴ АВГР, ф. Сношения России с Францией, 1729 г., д. 1, л. 9.
- ¹⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 20, 21.
- ¹⁶ Там же, л. 258, 260.
- ¹⁷ Там же, л. 137, 246; ч. 2, л. 57.
- ¹⁸ Там же, ч. 4, л. 190—193.
- ¹⁹ Там же, ч. 2, л. 55, 54, 59; ч. 4, л. 196.
- ²⁰ Там же, ч. 2, л. 60, 61, 77, 78.
- ²¹ Там же, л. 35, 36; ч. 3, л. 136.

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ

КАБИНЕТ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

- ¹ Голиков И. И. Деяния Петра Великого. Т. XIII. М., 1840. С. 371; *Helbig. Russische Gunstlinge. Tübingen*, 1809, S. 125.
- ² РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 3, л. 6: ЦГАДА, ф. Следственная комиссия о кабинет-секретаре Макарове (ф. 307), д. 1, л. 121.
- ³ ПБ. Т. VIII. М., 1948. С. 90; ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 7, л. 197; Пекарский П. П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. I, СПб., 1862. С. 58 и сл.
- ⁴ 200-летие Кабинета е. и. в. 1704—1904. СПб., 1911. С. 73, 74; ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 21, л. 11; кн. 32, л. 847, 848; кн. 60, л. 892, 893, 905; кн. 35, л. 237; ф. Походная канцелярия А. Д. Меншикова (ф. 198), д. 64, л. 283.
- ⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 47, л. 238, 239; кн. 59, л. 1050 — 1052; кн. 62, л. 1315, 1316; кн. 68, л. 1107 — 1115.
- ⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 13, л. 626, 627.
- ⁷ 200-летие Кабинета е. и. в. С. 60.
- ⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 32, л. 391 — 392; кн. 59, л. 82 — 92; кн. 62, л. 1115; 200-летие Кабинета е. и. в. С. 59.
- ⁹ ЦГАВМФ, ф. Канцелярия графа Апраксина, кн. 199, л. 166, 187; ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 51, л. 425; кн. 56, л. 296; кн. 63, л. 840; кн. 72, л. 401.
- ¹⁰ ЦГАДА, ф. Исторические сочинения, д. 46, л. 1, 4, 7; Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 61, л. 797.
- ¹¹ 200-летие Кабинета е. и. в. С. 175, 176.

КАБИНЕТ-СЕКРЕТАРЬ

- ¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 5, л. 21.
- ² ЦГАДА, ф. 198, д. 963, л. 174.

- ³ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 64, л. 905; кн. 68, л. 1099.
⁴ Там же, кн. 68, л. 1099; кн. 61, л. 807, 809, 810.
⁵ Там же, кн. 21, л. 23, 306, 307; кн. 28, л. 115.
⁶ Там же, кн. 40, л. 330, 331.
⁷ Там же, кн. 26, л. 4; кн. 24, л. 298; кн. 27, л. 116.
⁸ Там же, кн. 21, л. 740, 247; кн. 26, л. 892; кн. 13, л. 345; кн. 28, л. 17, 18; кн. 64, л. 1055; кн. 15, л. 124, 125.
⁹ Там же, кн. 28, л. 86, 88; кн. 63, л. 579, 580; кн. 32, л. 185.
¹⁰ Там же, кн. 33, л. 851 — 853; кн. 37, л. 308, 413.
¹¹ Там же, кн. 17, л. 164, 165; кн. 15, л. 436; кн. 18, л. 641; кн. 35, л. 251.
¹² Там же, кн. 27, л. 14.
¹³ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. VIII. М., 1962. С. 500.
¹⁴ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 18, л. 167; кн. 17, л. 110, 111, 90, 92, 779; кн. 23, л. 845.
¹⁵ Там же, кн. 30, л. 252; кн. 53, л. 453.
¹⁶ Там же, кн. 52, л. 817, 818; кн. 56, л. 229 — 231.
¹⁷ Там же, кн. 17, л. 767, 784; кн. 15, л. 454, 455, 448, 449; кн. 30, л. 10, 11.
¹⁸ Там же, кн. 12, л. 615; кн. 23, л. 847, 852; кн. 41, л. 222.
¹⁹ Там же, кн. 57, л. 1057 — 1067; кн. 61, л. 797; Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера. Ч. 1. М., 1902. С. 98.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

- ¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 53, ч. 5, л. 4, 6.
² Сб. РИО. Т. 55. СПб., 1886. С. 118, 489, 490, 259; Т. 56. СПб., 1887. С. 62, 63, 300, 305, 33; Т. 63. СПб., 1888. С. 98, 440.
³ Сб. РИО. Т. 63. С. 197.
⁴ 200-летие Кабинета е. и. в. Приложение. С. 45; Сб. РИО. Т. 55. С. 325; Т. 56. С. 374, 375.
⁵ Сб. РИО. Т. 63. С. 559; ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 81, л. 3.
⁶ Арсеньев К. И. Царствование Екатерины I, СПб., 1856. С. 91.
⁷ Сб. РИО. Т. 55. С. 87 и сл.; Т. 63. С. 624, 656.
⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд VI, д. 159, ч. 5, л. 25; Разряд XIX, оп. 1, д. 8, л. 1.
⁹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 14, л. 29; Разряд XI, д. 124, л. 45.
¹⁰ РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 9; д. 17, л. 1; д. 35, л. 1; д. 85, л. 1; д. 12, л. 1; д. 5, л. 1.
¹¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 18, л. 5.
¹² РО ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, ф. Макарова, д. 53, л. 1.
¹³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 53; Разряд IX, 2-е отд., кн. 11, л. 162; кн. 12, л. 72.
¹⁴ ЦГАДА, ф. Сената, кн. 768, л. 24 — 26.
¹⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 125, л. 16; д. 124, л. 38.
¹⁶ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 125, л. 16, 9, 4, 7.
¹⁷ ЦГАДА, ф. 307, д. 1, л. 164, 165.
¹⁸ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 33, л. 76.
¹⁹ ЦГАДА, ф. Мануфактур-коллегии, оп. 4, д. 50, л. 3 — 5, 10, 16, 29, 30; д. 81, л. 1, 12 — 15, 16, 29.

МРАЧНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

- ¹ ЦГАДА, Госархив, Разряд XI, д. 134, л. 2.
² ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 56, л. 607, 616, 617, 627.
³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 53—69.
⁴ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 14, л. 151; кн. 13, л. 1153; кн. 12, л. 69.
⁵ Там же, кн. 18, л. 369, 370; кн. 17, л. 499.

⁶ ЦГАДА, ф. 307, д. 1, л. 4 — 16. См. также: *Шереметевский В. В.* Дело следственной комиссии о кабинет-секретаре Петра I А. В. Макарове (1732 — 1734) // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 6. М., 1889.

⁷ ЦГАДА, ф. 307, д. 1, л. 15, 121, 326, 124, 327 — 329, 112, 115.

⁸ Там же, л. 394, 120.

⁹ ЦГАДА, ф. 307, д. 4, я. 32 — 37; Сб. РИО. Т. 130. СПб., 1910. С. 389.

¹⁰ *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. С. 524, 528, 531.

¹¹ Сб. РИО. Т. 104. СПб., 1897. С. 19.

¹² ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 315.

¹³ ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 370, ч. 2, л. 333, 339, 341, 344, 345; ч. 4, л. 75 — 82.

¹⁴ Сб. РИО. Т. 117. Юрьев, 1904. С. 573.

¹⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд VII, д. 294, л. 248 — 250; Сб. РИО. Т. 46. Юрьев, 1915. С. 33.

САВВА ЛУКИЧ ВЛАДИСЛАВИЧ-РАГУЗИНСКИЙ

«МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ БЛАГОПОТРЕБЕН»

¹ ЦГАДА, ф. Сношения России с Рагузой (далее: ф. 59), 1702 г., д. 1, л. 3 — 7.

² *Устрялов Н. Г.* История царствования Петра Великого. Т. IV. Ч. 2. СПб., 1863. С. 254.

³ ПБ. Т. I. СПб., 1887. С. 275.

⁴ ПБ. Т. II. СПб., 1889. С. 512.

⁵ АВПР, ф. Сношения России с Китаем (далее: ф. 62), д. 8, л. 222.

⁶ *Дунич Йован.* Едан србин дипломат на двору Петра Великого. Белград — Питсбург, 1942.

⁷ ПБ. Т. I. С. 333.

⁸ ЦГАДА, ф. 59, 1702 г., д. 1, л. 1, 67.

⁹ ЦГАДА, ф. Сношения России с Турцией (далее: ф. 89), 1702 г., д. 2, л. 219.

¹⁰ Там же, д. 3, л. 34, 39.

¹¹ ПБ. Т. II. С. 152.

¹² Сб. РИО. Т. 61. СПб., 1888. С. 16, 181.

¹³ ЦГАДА, ф. 59, 1704 г., д. 1, л. 10, 15, 17.

¹⁴ Там же, 1705 г., д. 1, л. 1 — 5.

¹⁵ ЦГАДА, ф. Письма и прошения разных лиц на высочайшее имя и высоким особам (далее: ф. 160), 1705 г., д. 17, л. 5.

¹⁶ АВПР, ф. 62, 1725 г., д. 8, л. 88.

¹⁷ ПБ. Т. II. С. 207, 208; Т. III. СПб., 1893. С. 308, 309.

¹⁸ ПБ, Т. V. СПб., 1907. С. 197, 611; Т. X. М., 1956. С. 359, 360.

¹⁹ ЦГАДА, ф. 59, 1706 г., д. 2, л. 1, 17.

²⁰ Там же, 1707 г., д. 1, л. 6.

²¹ ПБ. Т. X. С. 422.

²² Доклады и приговоры правительствующего Сената. Т. IV. Кн. 1. СПб., 1888. С. 343, 505.

²³ ЦГАДА, ф. 89, 1705 г., д. 3, л. 39.

²⁴ Там же, 1706 г., д. 2, л. 144.

²⁵ ЦГАДА, ф. 59, 1709 г., д. 3, л. 143.

²⁶ ЦГАДА, ф. 160, 1706 г., д. 17, л. 1, 2.

²⁷ ЦГАДА, ф. 59, 1709 г., д. 1, л. 10.

²⁸ Там же, 1710 г., д. 1, л. 1.

²⁹ ПБ. Т. XI. Вып. 1. М., 1962. С. 338, 339; С. 221, 222, 303, 558.

³⁰ ЦГАДА, ф. 59, 1711 г., д. 1, л. 1 — 5.

³¹ ПБ. Т. XI. Вып. 2. М., 1964. С. 68, 75; Сб. РИО. Т. 61. СПб., 1888. С. 16.

³² ЦГАДА, ф. 59, 1712 г., д. 2, л. 20, 23; 1713 г., д. 1, л. 3.

³³ Там же, 1712 г., д. 2, л. 8, 9; 1713 г., д. 1, л. 5.

³⁴ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 28, л. 583; кн. 32, л. 435.

³⁵ Там же, кн. 28, л. 589.

³⁶ ЦГАВМФ, ф. Дела, хранящиеся в Адмиралтейском совете (далее: ф. 223), д. 10, л. 6.

³⁷ ЦГАДА. Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 28, л. 588; кн. 32, л. 417; см. также: Шаркова И. С. Россия и Италия: торговые отношения XV — первой четверти XVIII в. Л., 1981. С. 145 — 160.

³⁸ ЦГАВМФ, ф. 223, д. 10, л. 6, 11, 15.

³⁹ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 52, л. 443, 448; кн. 51, л. 518.

⁴⁰ Там же, кн. 51, л. 521; ЦГАВМФ, ф. 223, д. 10, л. 17.

⁴¹ Там же, кн. 56, л. 917.

⁴² Там же, кн. 28, л. 596, 597.

⁴³ Там же, кн. 37, л. 353.

⁴⁴ ЦГАДА, ф. 59, 1716 г., д. 3, л. 9.

⁴⁵ ЦГАДА, Госархив, Разряд IX, 2-е отд., кн. 51, л. 518; ЦГАВМФ, ф. 223, д. 10, л. 23.

⁴⁶ Записки иностранцев о России в XVIII в. СПб., б/г. Т. 1. С. 132 — 134.

⁴⁷ Сб. РИО. Т. 40. СПб., 1884. С. 270.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСЛАНИК

¹ Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. 1. СПб., 1862. С. 255.

² ПБ. Т. X. С. 152.

³ Сб. РИО. Т. 34. СПб., 1881. С. 165.

⁴ См.: Куруц Б. Государственная монополия в торговле России с Китаем в первой половине XVIII столетия. Киев, 1929.

⁵ АВПР, ф. 62, 1725 г., д. 8, л. 39.

⁶ ЦГАДА, ф. Сената, кн. 1171, л. 13 — 16, 38, 42, 49 — 51.

⁷ Там же, л. 15.

⁸ АВПР, ф. 62, 1725 г., д. 8, л. 94, 95, 113, 118, 119.

⁹ Там же, л. 135, 136.

¹⁰ Там же, д. 12а, л. 450.

¹¹ Там же, д. 8, л. 263.

¹² Там же, л. 215, 267 — 269.

¹³ Там же, л. 288, 294.

¹⁴ Там же, д. 12а, л. 541.

¹⁵ Там же, д. 8, л. 327.

¹⁶ Там же, д. 12а, л. 450.

¹⁷ Там же, л. 498, 565.

¹⁸ Там же, л. 484.

¹⁹ Там же, л. 531, 573, 580, 655.

²⁰ Там же, д. 12б, л. 854, 873.

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК

¹ АВПР, ф. 62, 1725 г., д. 12а, л. 680 — 690.

² Сб. РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 307, 308, 388, 410, 429.

³ ЛОИИ, ф. Походная канцелярия кн. Меншикова (ф. 83), оп. 1, карт. 5, д. 28, л. 1.

⁴ ЦГАВМФ, ф. Канцелярия графа Апраксина, кн. 250, л. 125; кн. 195, л. 231.

⁵ Там же, кн. 235, л. 215.

⁶ Там же, л. 22.

⁷ ЛОИИ, ф. 83, карт. 23, д. 14, л. 4.

⁸ ЦГАДА, ф. Сената, кн. 1171, л. 32 — 35.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

¹ Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. СПб., 1914. С. 32.

² Сб. РИО. Т. 58. СПб., 1887. С. 8, 33, 179, 255.

³ Татищев В. Н. История Российская. Т. VII. Л., 1968. С. 385.

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 25. Ч. II. С. 150.

СТРАСТИ У ТРОНА

ЧАСТЬ I. СТРАСТИ У ТРОНА

ГЛАВА 1. ЕКАТЕРИНА ПЕРВАЯ

- ¹ Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. IV. СПб., 1863. Ч. 1. С. 132.
- ² Сб. РИО. Т. 34. СПб., 1881. С. 102.
- ³ Берхгольц Ф.-В. Дневник. Ч. 2. М., 1903. С. 126 — 127.
- ⁴ ПСЗ. Т. VII. С. 161, 162.
- ⁵ Письма русских государей и других особ царского семейства. Ч. 1. М., 1862. С. 40, 44.
- ⁶ Берхгольц Ф.-В. Дневник. Ч. 4. С. 42.
- ⁷ Бассевич Г.-Ф. Записки о России. М., 1866. Стлб. 159 — 160.
- ⁸ Берхгольц Ф.-В. Дневник. Ч. 4. С. 72.
- ⁹ Никифоров Л. А. Записки Вильбуа // Общество и государство феодальной России. М., 1975. С. 225.
- ¹⁰ Бассевич Г.-Ф. Указ. соч. Стлб. 169, 170.
- ¹¹ Безвременье и временщики. Л., 1991. С. 41.
- ¹² Сб. РИО. Т. 64. СПб., 1888. С. 256.
- ¹³ Там же. С. 555, 556, 561, 563, 571 — 572.
- ¹⁴ ПСЗ. Т. VII. № 5070. С. 789 — 791.
- ¹⁵ РИО. Т. 64. С. 525 — 530.

ГЛАВА 2. ПЕТР ВТОРОЙ

- ¹ Сб. РИО. Т. 75. СПб., 1891. С. 276.
- ² Сб. РИО. Т. 66. СПб., 1889. С. 56; Брикнер А. Русский двор при Петре II по документам Венского архива // Вестник Европы. 1896. № 1. С. 100, 102 и др.
- ³ Сб. РИО. Т. 3. СПб., 1868. С. 484.
- ⁴ См.: Пауленко Н. И. Полудержавный властелин. М., 1991.
- ⁵ Сб. РИО. Т. 66. С. 161.
- ⁶ Русский архив. 1869. Стлб. 1675 — 1681.
- ⁷ Сб. РИО. Т. 66. С. 5.
- ⁸ Щербатов М. М. Соч. Т. 2. СПб., 1898. Стлб. 178 — 179.
- ⁹ Оснадацатый век. М., 1869. Кн. 2. С. 150.
- ¹⁰ Сб. РИО. Т. 66. С. 5; Т. 75. С. 138, 196.
- ¹¹ Там же. Т. 75. С. 241.
- ¹² Там же. С. 237.
- ¹³ Там же. Т. 66. С. 19.
- ¹⁴ Брикнер А. Указ. соч. Кн. 2. С. 595 и др.
- ¹⁵ Сб. РИО. Т. 75. С. 276, 428, 429.
- ¹⁶ Манштейн Х.-Г. Записки о России. СПб., 1875. С. 11.
- ¹⁷ Сб. РИО. Т. 75. С. 446, 454 — 455.
- ¹⁸ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. X. М., 1993. С. 193, 194.
- ¹⁹ Оснадацатый век. Кн. 2. С. 151 — 152; Безвременье и временщики. С. 73; Щербатов М. М. Соч. Т. 2. СПб., 1898. Стлб. 197; Корф М. А. Брауншвейгское семейство. М., 1993. С. 74 — 75.

ГЛАВА 3. АННА ИОАННОВНА

- ¹ Юст Юль. Записки. М., 1899. С. 259.
- ² Пауленко Н. И. Полудержавный властелин. С. 275.
- ³ Корсаков Д. А. Воцарение императрицы Анны Иоанновны. Казань, 1880. С. 5.
- ⁴ Безвременье и временщики. С. 100.

- ⁵ Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 80.
- ⁶ Протоколы Верховного тайного совета. М., 1858. С. 114.
- ⁷ Со шпагой и факелом. М., 1991. С. 124.
- ⁸ Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева. М., 1985. С. 273 — 278. Сб. РИО. Т. 5. С. 361.
- ⁹ Оснадацатый век. Кн. 3. С. 42.
- ¹⁰ Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 270 — 276.
- ¹¹ Корсаков Д. А. Князь Сергей Григорьевич Долгорукий и его семья в ссылке // Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891. С. 167 — 192.
- ¹² Корсаков Д. А. Ссылака князя Василия Лукича Долгорукого в село Знаменское // Из жизни русских деятелей XVIII века. С. 195 — 218.
- ¹³ Корсаков Д. А. Указ. соч. С. 262.
- ¹⁴ Geschichte des Russischen Staats von Herrmann. Bd. IV. S. 608 — 609.
- ¹⁵ Из переписки А. П. Волянского // Памятники новой русской истории. СПб., 1872. С. 220 — 224.
- ¹⁶ Шесть писем А. П. Волянского к Елизавете Петровне // Русский архив. 1865. Изд. 2. М., 1866. Стлб. 339.
- ¹⁷ Из переписки А. П. Волянского... С. 209 — 210.
- ¹⁸ Сб. РИО. Т. 80. СПб., 1892. С. 289.
- ¹⁹ Шнишкин И. Артемий Петрович Волянский // Отечественные записки. 1860. Т. III. С. 235.
- ²⁰ Записка об Артемии Волянском // ЧОИДР. 1858. Т. 2. С. 136.
- ²¹ Готье Ю. В. Проект о поправлении государственных дел Артемия Петровича Волянского // Дела и дни. Пг., 1922. Кн. 3. С. 5.
- ²² Там же. С. 7.
- ²³ Миних Б. Х. Очерк, дающий представление об образе правления Российской империи // Безвременье и временщики. С. 58, 59.
- ²⁴ Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию // Безвременье и временщики. С. 210.
- ²⁵ Русский архив. 1877. Кн. 1. С. 6.
- ²⁶ Пекарский П. Маркиз де ла Шетарди в России 1740 — 1742 годов. СПб., 1862. С. 1.
- ²⁷ Сб. РИО. Т. 75. С. 495.
- ²⁸ Безвременье и временщики. С. 262.
- ²⁹ Корсаков Д. А. П. Волянский и его конфиденты // Из жизни русских деятелей XVIII в. Казань, 1891. С. 364.
- ³⁰ Сб. РИО. Т. 66. С. 410.
- ³¹ Долгоруков П. В. Время имп. Петра II и имп. Анны Иоанновны. М., 1909. С. 106.
- ³² Сб. Отделения русского языка и словесности имп. Академии. Т. 9. СПб., 1872. С. 133 — 136.
- ³³ Безвременье и временщики. С. 164.
- ³⁴ Долгоруков П. В. Указ. соч. С. 105 — 106.
- ³⁵ Михневич Вл. Старина XVIII столетия // Исторический вестник. 1884. № 9. С. 625, 628 — 629.
- ³⁶ Пекарский П. Указ. соч. С. 57.
- ³⁷ Сб. РИО. Т. 76. СПб., 1891. С. 479.
- ³⁸ ПЗС, № 6745.
- ³⁹ Стров В. Бироновщина и Кабинет министров. М., 1909. С. 161.
- ⁴⁰ Сб. РИО. Т. 124. Юрьев, 1906. С. 53 — 54.
- ⁴¹ ЧОИДР. Кн. 1. М., 1878. С. 57, 172.
- ⁴² Русский архив. 1873. Стлб. 1654.

ГЛАВА 4. НЕМЦЫ СМЕНИЛИ НЕМЦЕВ

- ¹ Сб. РИО. Т. 80. С. 101, 217, 472, 511.
- ² Русская старина. 1870. № 6. С. 245 — 246.
- ³ Сб. РИО. Т. 85. СПб., 1893. С. 383.
- ⁴ Безвременье и временщики. С. 173.
- ⁵ Сб. РИО. Т. 85. С. 442.

- ⁶ Там же. С. 400.
⁷ Брикнер А. Г. Падение Бирона // Новое слово. 1896. Май. С. 62; Шубинский С. Н. Арест и сылка Бирона // Русская старина. 1871. Т. 3. С. 537 — 543.
⁸ Сб. РИО. Т. 85. С. 403, 440.
⁹ Сб. РИО. Т. 91. СПб., 1894. С. 2, 4, 5.
¹⁰ Русский архив. 1877. № 1. С. 10.
¹¹ Безвременье и временщики. С. 65.
¹² Сб. РИО. Т. 91. С. 103.
¹³ Там же. С. 111.
¹⁴ Сб. РИО. Т. 85. С. 464, 473; Корф М. А. Брауншвейгская фамилия. С. 59, 64 — 65.
¹⁵ Германн. Царствование Иоанна Антоновича // Русский архив. 1867. Стлб. 161 — 175.

ГЛАВА 5. ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

- ¹ Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. М., 1986. С. 25.
² Сб. РИО. Т. 96. СПб., 1896. С. 431.
³ Пекарский П. Указ. соч. С. 253.
⁴ Там же. Указ. соч. С. 246.
⁵ Манштейн Х.-Г. Указ. соч. С. 232.
⁶ Де ла Шетарди — Людовику XV. 25 — 26. XII. 1741.
⁷ Шаховской Я. П. Записки. СПб., 1872. С. 30.
⁸ Сб. РИО. Т. 91. С. 331.
⁹ Исторические документы 1742 года // Русский архив. 1864. Кн. V. Стлб. 507.
¹⁰ Там же. Стлб. 508 — 509.
¹¹ Там же. Стлб. 119.
¹² Русский архив. 1864. Кн. V. Стлб. 386 — 387.
¹³ Сб. РИО. Т. 92. С. 247.
¹⁴ Де Луриа. Письма о России // Оснадцатый век. Кн. 2. М., 1869. С. 115.
¹⁵ Безвременье и временщики. С. 211.
¹⁶ Безвременье и временщики. С. 73.
¹⁷ Шумигорский Е. Императрица Елизавета Петровна // Исторический вестник. 1903. № 2. С. 534.
¹⁸ Памятники новой русской истории. Т. I. СПб., 1871. С. 150 — 151.
¹⁹ Щербатов М. М. Соч. Т. 2. Стлб. 202.
²⁰ Сб. РИО. Т. 102. СПб., 1898. С. 321.
²¹ Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XI. М., 1993. С. 176.
²² Русская старина. 1871. Т. 3. С. 641 — 642.
²³ ПСЗ. Т. 13. С. 620. № 9959.
²⁴ Архив кн. Воронцова. Кн. II. СПб., 1871. С. 5.
²⁵ Сб. РИО. Т. 91. С. 387; Пекарский П. Указ. соч. С. 546.
²⁶ Русский архив. 1870. Кн. 7. Стлб. 1396.
²⁷ Фавье Ж.-Л. Записки секретаря французского посольства в Петербурге // Исторический вестник. 1882. Т. 29. С. 394.
²⁸ Данилов М. В. Записки. Казань, 1913. С. 68.
²⁹ Фавье Ж.-Л. Указ. соч. С. 389.
³⁰ Корф М. А. Брауншвейгская фамилия. С. 89 — 90.
³¹ Наталья Федоровна Лопухина // Русская старина. 1874. № 9 — 10.
³² Сб. РИО. Т. 99. СПб., 1897. С. 387 — 389.
³³ Корф М. А. Указ. соч. С. 177 — 178.
³⁴ Громыко М. М. Тобольский купец Иван Зубарев // Материалы научной конференции, посвященной 100-летию Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Свердловск, 1975.
³⁵ Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. С. 148.

ГЛАВА 6. ПЕТР ТРЕТИЙ

- ¹ Де Риольер К. Повествования или рассказы о перевороте в России в 1762 г. // Русский архив. 1890. № 12. С. 485.

- ² Сб. РИО. Т. 18. С. 7, 27.
- ³ *Шумахер А.* История низложения и гибели Петра Третьего // Со шпагой и факелом. С. 272.
- ⁴ *Брикнер А.* Жизнь Петра III до восшествия на престол // Русский вестник. 1882. № 11. С. 22.
- ⁵ Сб. РИО. Т. 91. С. 443. ЧОИДР. 1866. Кн. 4. С. 109.
- ⁶ *Дугин П.* Великая княгиня Екатерина Алексеевна. СПб., 1884. С. 34, 36.
- ⁷ *Брикнер А.* Жизнь Петра III до восшествия на престол // Русский вестник. 1883. № 1. С. 200 — 203.
- ⁸ *Бильбасов В. А.* История Екатерины Второй. Т. I. Берлин, 1900. С. 81.
- ⁹ *Екатерина II.* Сочинения. М., 1990. С. 32, 42.
- ¹⁰ Там же. С. 28.
- ¹¹ Там же. С. 41.
- ¹² Там же. С. 44.
- ¹³ Там же. С. 73.
- ¹⁴ Там же. С. 166.
- ¹⁵ Русская старина. 1871. Т. 3. С. 530.
- ¹⁶ Архив кн. Воронцова. Кн. II. М., 1871. С. 100 — 110.
- ¹⁷ *Бильбасов В. А.* Указ. соч. Т. I. С. 334.
- ¹⁸ *Екатерина II.* Сочинения. С. 118, 225.
- ¹⁹ *Бильбасов В. А.* Указ. соч. Т. I. С. 453.
- ²⁰ *Редкин П.* Граф Джон Бекингхэмшир при дворе Екатерины II // Русская старина. 1902. № 2. С. 441 — 442; *Екатерина Великая по рассказу современника-немца* // Русский архив. 1911. № 7. С. 324.
- ²¹ *Екатерина II.* Сочинения. С. 207.
- ²² *Брикнер А.* Жизнь Петра III до восшествия на престол // Русский вестник. 1883. № 10. С. 486 — 488.

ГЛАВА 7. ЕКАТЕРИНА ВТОРАЯ

- ¹ *Екатерина II.* Записки. СПб., 1907. С. 207.
- ² Переписка великой княгини Екатерины Алексеевны и английского посла Чарльза Уильямса. М., 1909. С. 26 — 27, 35, 109.
- ³ *Шумахер А.* Указ. соч. С. 274.
- ⁴ *Даикова Е. Р.* Записки. Л., 1985. С. 39 — 40, 42 и др.
- ⁵ Со шпагой и факелом. С. 313.
- ⁶ Там же. С. 347.
- ⁷ *Даикова Е. Р.* Указ. соч. С. 23.
- ⁸ Дневник ст. сов. Мизере // Русский архив. 1911. № 5. С. 5 — 20.
- ⁹ Сб. РИО. Т. 18. СПб., 1876. С. 248.
- ¹⁰ Дневник ст. сов. Мизере // Русский архив. 1911. № 5. С. 16.
- ¹¹ *Даикова Е. Р.* Указ. соч. С. 24.
- ¹² ПСЗ. Т. XV. С. 875.
- ¹³ *Бильбасов В. А.* Указ. соч. Т. I. С. 455; Сб. РИО. Т. 18. С. 10.
- ¹⁴ Сб. РИО. Т. 18. С. 204.
- ¹⁵ Со шпагой и факелом. С. 310.
- ¹⁶ Там же. С. 298.
- ¹⁷ Там же. С. 304 — 305.
- ¹⁸ Русский архив. 1911. № 5. С. 22 — 24.
- ¹⁹ ПСЗ. Т. 16. С. 13.
- ²⁰ Русский архив. 1911. № 5. С. 24 — 25.
- ²¹ *Овчинников Р. В.* Из наблюдений над источниками «Истории Пугачева» и «Капитанской дочери» А. С. Пушкина // История СССР. 1991. № 3. С. 146 — 157.
- ²² *Де Рюльер К.* Повествования или рассказы о перевороте в России в 1762 г. // Русский архив. 1890. № 12. С. 358.
- ²³ Со шпагой и факелом. С. 300.
- ²⁴ Там же. С. 301 — 302.

ЧАСТЬ 2. СТРАСТИ ВОКРУГ ТРОНА

ГЛАВА 1. ФАВОРИТЫ

- ¹ ЧОИДР. М., 1862. Ч. 4. С. 135 — 142; *Карнович Е.* Значение бироновщины в русской истории // Отечественные записки. 1871. № 10. С. 96.
- ² Сб. РИО. Т. 66. С. 274, 308.
- ³ Сб. РИО. Т. 76. СПб., 1891. С. 262.
- ⁴ Там же. С. 127.
- ⁵ Безвременье и временщики. С. 211, 233.
- ⁶ Там же. С. 61, 62.
- ⁷ Там же. С. 102.
- ⁸ *Маништейн Х.-Г.* Указ. соч. С. 31, 32.
- ⁹ *Екатерина II.* Записки. С. 109 — 110.
- ¹⁰ *Глинка Ф. Н.* Жизнь обер-камергера И. И. Шувалова // Москвитянин. 1853. № 3. С. 48.
- ¹¹ *Бартисев П.* Биография И. И. Шувалова. М., 1857.
- ¹² *Глинка Ф. Н.* Указ. соч. С. 63.
- ¹³ *Екатерина II.* Сочинения. С. 101 — 102, 157, 234.
- ¹⁴ Сб. РИО. Т. 18. СПб., 1876. С. 288.
- ¹⁵ Там же. С. 120, 203.
- ¹⁶ Со шпагой и факелом. С. 304, 316.
- ¹⁷ *Дашкова Е. Р.* Указ. соч. С. 50.

ГЛАВА 2. ВЕЛЬМОЖИ

- ¹ Сб. РИО. Т. 102. СПб., 1898. С. 268.
- ² Сб. РИО. Т. 55. С. 90.
- ³ Протоколы Верховного тайного совета. М., 1852. С. 4.
- ⁴ РИО. Т. 64. С. 136, 272.
- ⁵ Сб. РИО. Т. 66. СПб., 1889. С. 156, 157.
- ⁶ Там же. С. 158, 159.
- ⁷ Там же. С. 18.
- ⁸ Оснадацатый век. Ч. 2. С. 79, 80.
- ⁹ РИО. Т. 75. С. 116, 150.
- ¹⁰ Сб. РИО. Т. 99. СПб., 1897. С. 33.
- ¹¹ Безвременье и временщики. С. 237, 238.
- ¹² Там же. С. 239.
- ¹³ *Воскресенский Н. А.* Законодательные акты Петра I. М. — Л., 1945. С. 308.
- ¹⁴ Сб. РИО. Т. 75. С. 214.
- ¹⁵ Сб. РИО. Т. 52. С. 14, 53, 117.
- ¹⁶ Сб. РИО. Т. 64. С. 486.
- ¹⁷ Безвременье и временщики. С. 238.
- ¹⁸ Сб. РИО. Т. 91. СПб., 1894. С. 302.
- ¹⁹ Там же. С. 96, 113.
- ²⁰ Сб. РИО. Т. 5. С. 334.
- ²¹ Сб. РИО. Т. 75. С. 192.
- ²² Безвременье и временщики. С. 236, 237.
- ²³ *Маништейн Х.-Г.* Указ. соч. С. 240, 241.
- ²⁴ *Каратыгин П.* Семейные отношения графа А. И. Остермана // Исторический вестник. 1884. № 9. С. 606.
- ²⁵ Сб. РИО. Т. 66. С. 161.
- ²⁶ Сб. РИО. Т. 96. СПб., 1896. С. 61.
- ²⁷ Сб. РИО. Т. 66. С. 70.
- ²⁸ Сб. РИО. Т. 91. СПб., 1894. С. 321 — 326.
- ²⁹ Там же. С. 95.
- ³⁰ Сб. РИО. Т. 76. СПб., 1891. С. 156.

- ³¹ Сб. РИО. Т. 96. СПб., 1896. С. 24, 25.
³² Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым. СПб., 1872. С. 276, 277.
³³ Северный архив. 1828. № 1. С. 25 — 27.
³⁴ Сб. РИО. Т. 96. С. 311.
³⁵ Сб. РИО. Т. 91. С. 389, 390.
³⁶ Сб. РИО. Т. 105. С. VII, IX.
³⁷ Исторический вестник. 1887. Т. 6. С. 389.
³⁸ Сб. РИО. Т. 105. СПб., 1901. С. 478.
³⁹ Сб. РИО. Т. 102. СПб., 1898. С. 207.
⁴⁰ Данилов М. В. Записки // Безвременье и временщики. С. 337.
⁴¹ См. Боровой С. Я. Кредит и банки в России. М., 1958. С. 45.
⁴² См. Милов Л. В. Исследование об «Экономических примечаниях» к Генеральному межеванию. М., 1965. С. 9 — 33.
⁴³ Данилов М. В. Указ. соч. С. 324.
⁴⁴ Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII в. М., 1962. С. 365.
⁴⁵ Фавье Ж.-Л. Записки секретаря французского посольства в Петербурге // Исторический вестник. 1882. Т. 29. С. 394.
⁴⁶ Екатерина II. Записки. С. 531, 532.

ЧАСТЬ 3. РОССИЯ В ГОДЫ БЕЗВРЕМЬЯ

ГЛАВА 1. ОТ СЛУЖИЛОГО ДО ПРИВИЛЕГИРОВАННОГО СОСЛОВИЯ

- ¹ Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева. С. 274, 276.
² Рубинштейн Н. Л. Уложенная комиссия 1754 — 1766 гг. и ее проект нового уложения «О состоянии подданных вообще» // Исторические записки. № 38. М., 1951. С. 338, 350.
³ ПСЗ. Т. XVI. № 11751.
⁴ ПСЗ. Т. XV. С. 11490.
⁵ Павленко Н. И. История металлургии в России XVIII в. С. 385.
⁶ Волков М. Я. Очерки истории промыслов России. Вторая половина XVII — первая половина XVIII в. М., 1979. С. 324, 325.
⁷ ПСЗ. Т. XIV. С. 184 — 186.
⁸ Павленко Н. И. Указ. соч. С. 442 — 445.
⁹ Боровой С. Я. Кредит и банки в России. С. 46 — 58.
¹⁰ Соловьев С. М. История России с древнейших времен // Сочинения. Кн. XII. М., 1993. С. 170; Волков М. Я. Отмена внутренних пошлин в России // История СССР. 1957. № 2. С. 85 и след.
¹¹ Исторический архив. Т. XIII. М., 1953. С. 274.
¹² Рубинштейн Н. Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. М., 1957. С. 161; ПСЗ. Т. XXIV. С. 577.
¹³ Хрестоматия по истории СССР. XVIII век. М., 1962. С. 237.

ГЛАВА 2. ВОЙНЫ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ УСПЕХАМИ

- ¹ Б. Х. Миних. Атака Гданска фельдмаршалом графом Минихом. Сб. реляций графа Миниха / Составитель Д. Ф. Масловский. М., 1888. С. 1.
² Соловьев С. М. Сочинения. Кн. X. М., 1993. С. 341.
³ Б. Х. Миних... С. 14.
⁴ Там же. С. 90.
⁵ Там же. С. 107.
⁶ Там же. С. 162 — 163.
⁷ Там же. С. 157.
⁸ Манштейн Х.-Г. Записки о России. С. 59.
⁹ Соловьев С. М. Сочинения. Кн. X. С. 371.
¹⁰ Соловьев С. М. Указ. соч. С. 382, 383.
¹¹ Соловьев С. М. Указ. соч. С. 391.

- ¹² Байов А. Курс истории русского военного искусства. Вып. III. СПб., 1909. С. 46.
- ¹³ Маништейн Х. Указ. соч. С. 84.
- ¹⁴ Безвременье и временщики. С. 127.
- ¹⁵ Байов А. Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Т. I. СПб., 1906. С. 258.
- ¹⁶ Соловьев С. М. Сочинения. Кн. X. С. 395.
- ¹⁷ Сб. РИО. Т. 76. СПб., 1891. С. 529, 531.
- ¹⁸ Там же. С. 531, 536.
- ¹⁹ Сб. РИО. Т. 80. СПб., 1892. С. 39.
- ²⁰ Там же. С. 52.
- ²¹ Там же. С. 171, 172.
- ²² Соловьев С. М. Сочинения. Кн. X. С. 412; Маништейн Х.-Г. Указ. соч. С. 115.
- ²³ Соловьев С. М. Указ. соч. С. 413.
- ²⁴ Соловьев С. М. Указ. соч. С. 423.
- ²⁵ Маништейн Х.-Г. Указ. соч. С. 150.
- ²⁶ Соловьев С. М. Указ. соч. С. 436.
- ²⁷ Байов А. Курс истории русского военного искусства. Вып. III. С. 77.
- ²⁸ Соловьев С. М. Указ. соч. С. 451.
- ²⁹ Маништейн Х. Указ. соч. С. 216.
- ³⁰ Соловьев С. М. Сочинения. Кн. XI. М., 1993. С. 210.
- ³¹ Соловьев С. М. Сочинения. Кн. XII. М., 1993. С. 318.
- ³² Соловьев С. М. Указ. соч. С. 332.
- ³³ Дашкова Е. Р. Записки. СПб., 1907. С. 30.
- ³⁴ Архив Воронцова. Т. IV. С. 310; Т. VI. С. 327.
- ³⁵ *Politische Correspondents*. В. XIII. S. 340, 546, 562; В. XV. S. 197, 280, 79, 80.
- ³⁶ Билъбасов В. А. Исторические монографии. Т. III. СПб., 1901. С. 108.
- ³⁷ Болотов А. Т. Жизнь и приключения, описанные им для своих потомков. Т. I. СПб., 1870. С. 600 — 601.
- ³⁸ Архив кн. Воронцова. Кн. IV. М., 1872.
- ³⁹ Болотов А. Т. Указ. соч. С. 561.
- ⁴⁰ Там же С. 873.
- ⁴¹ Коротков Н. М. Семилетняя война. М., 1940. С. 291.

ГЛАВА 3. ЦЕРКОВЬ — СЛУЖАНКА ГОСУДАРСТВА

- ¹ Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. 2. М., 1992. С. 458.
- ² Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. Т. I. № 3.
- ³ ПСЗ. Т. V. № 1819.
- ⁴ Верховский П. В. Населенные недвижимые имения св. Синода, архиерейских домов и монастырей. СПб., 1909. С. 83 — 89; Булыгин И. А. Вопрос о секуляризации духовных вотчин в правительственной политике 20-х — начала 60-х гг. // Церковь, общество и государство феодальной России. М., 1990. С. 302 — 310.
- ⁵ Карташев А. В. Указ. соч. С. 430, 431.
- ⁶ Там же. С. 447.
- ⁷ ПСЗ. Т. XVI. № 11643.
- ⁸ Карташев А. В. Указ. соч. С. 456, 457.
- ⁹ Там же. С. 478.
- ¹⁰ Чистович И. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868. С. 409, 410.
- ¹¹ Майков Л. Н. Рассказы Нартова о Петре Великом. СПб., 1891. С. 73 — 74.
- ¹² Татищев В. Н. История Российская. Т. I. М. — Л., 1962. С. 315.
- ¹³ Отечественные записки. 1873. №11. С. 127, 142.
- ¹⁴ Там же. С. 97.
- ¹⁵ Анисимов Е. В. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 427, 440, 449, 451.
- ¹⁶ Озерько И. И. Христианизация Тобольского Севера в XVIII в. Л., 1941.
- ¹⁷ История христианизации народов Среднего Поволжья. Чебоксары, 1988.
- ¹⁸ Соловьев С. М. Сочинения. Кн. XI. С. 199.
- ¹⁹ Доброклонский А. Руководство по истории русской церкви. Вып. 1 и 2. Рязань, 1889.

ГЛАВА 4. У ИСТОКОВ НАУКИ И ИСКУССТВА

- ¹ Материалы к истории сельского хозяйства и крестьянства России. М., 1989. С. 133.
- ² *Ключевский В. О.* Неопубликованные сочинения. М., 1983. С. 112.
- ³ *Богословский М. М.* Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII в. Пг., 1918. С. 41.
- ⁴ Там же. С. 46.
- ⁵ *Щербатов М. М.* Соч. Т. II. СПб., 1898.
- ⁶ *Соловьев С. М.* Сочинения. Кн. XI. С. 505.
- ⁷ *Ломоносов М. В.* ПСС. Т. 4. М. — Л., 1954. С. 375.
- ⁸ *М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников.* М. — Л., 1962. С. 108.
- ⁹ *Ломоносов М. В.* ПСС Т. 10. М. — Л., 1957. С. 390.
- ¹⁰ Там же. С. 390.
- ¹¹ *Ломоносов М. В.* ПСС. Т. 11. М. — Л., 1983. С. 384.
- ¹² *Ломоносов М. В.* ПСС. Т. 6. М. — Л., 1952. С. 401.
- ¹³ *Соловьев С. М.* Сочинения. Кн. XVI. М., 1995. С. 204.
- ¹⁴ *Ломоносов М. В.* ПСС. Т. 6. С. 171.
- ¹⁵ *Ломоносов М. В.* ПСС. Т. 10. С. 53.
- ¹⁶ *Ломоносов М. В.* ПСС. Т. 3. М. — Л., 1954. С. 539.
- ¹⁷ *Соловьев С. М.* Сочинения. Кн. XI. С. 531 — 533.
- ¹⁸ *Ломоносов М. В.* ПСС. Т. 10. С. 351.
- ¹⁹ Сб. РИО. Т. 10. С. 86.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- Абрамов Н. А., член Русского географического общества, занимавшийся разысканием места захоронения А. Д. Меншикова 167, 168
- Аввакум, протопоп 777
- Август II, польский король, саксонский курфюрст 38, 39, 41—47, 65, 71, 120, 122, 176, 179, 185, 189, 214, 249, 250, 278, 298, 302, 518, 529, 735, 737
- Август III, польский король 673, 735, 737, 739, 741
- Август Вильгельм, брауншвейг-волфтенбительский князь 131
- Аверкиев Степан, часовой 365
- Автократова М. И.* 11
- Агафонов Н. С.* 11
- Адриан, патриарх московский 129
- Александр I, император 16
- Алексей, дакей в покоях императрицы Екатерины I 344
- Алексей Михайлович, царь 17, 21, 24, 263, 771
- Алексей Петрович, царевич, сын Петра I 10, 22, 31, 57, 82, 85, 86, 88, 105, 112, 157, 193, 238, 249, 252, 257, 321—336, 348, 353, 367, 398, 423, 425, 426, 489, 490, 502, 505, 508, 514, 515, 613, 673, 687, 697, 823, 833
- Алемаи Дороеф, мастер шлюзного дела 457
- Али-паша, везир 319
- Алларт Людвиг Николай, генерал на русской службе 232, 234
- Алтухов Филимон, солдат лейб-гвардии Измайловского полка 417, 419
- Андреев, городничий Березова 166—168
- Анисимов Е. В. 586, 630, 790, 841, 845
- Анна, английская королева 456
- Анна, сестра Екатерины I 499, 504, 529
- Анна Иоанновна (Ивановна), племянница Петра I, курляндская герцогиня, позже императрица 107, 119—123, 153, 154, 163, 244, 339, 415—417, 430, 432, 434, 436, 499, 504, 528—549, 555—560, 563—570, 572—574, 585, 587, 591, 592, 594, 604—607, 609, 614, 617—619, 621, 623, 634, 648, 670—674, 676, 677, 684, 688, 692, 697, 698, 699, 702, 704, 715, 716, 721, 740, 748, 772, 779, 782, 784—786, 789—791, 796, 800, 803, 839, 840
- Анна Леопольдовна, принцесса 527, 573, 576—585, 588—590, 593, 595—597, 601, 623, 666, 704, 773
- Анна Петровна, дочь Петра I 81, 111, 124, 140, 345, 347, 349, 351, 353, 357, 360, 505, 507, 513, 573, 587, 588, 604, 634, 671, 697
- Анна Петровна, дочь Петра III 644
- Апраксин Алексей Петрович, граф 566
- Апраксин Петр Матвеевич, граф, сенатор, адмирал 84, 85, 190, 201, 383, 424
- Апраксин Степан Федорович, граф, фельдмаршал 607, 645, 723, 763
- Апраксин Федор Матвеевич, граф, генерал-адмирал 29, 60, 74, 80, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 98, 100, 101, 113, 116, 131, 135, 139, 143, 158, 191, 201, 207, 215, 223, 231, 234, 235, 241, 248, 252, 321, 338, 348, 353, 373, 380, 384, 386—388, 401, 408, 410, 413, 426, 444, 461, 463, 481, 483, 485, 490, 508, 510, 518, 526, 566, 631, 688, 700, 707, 765, 827, 832, 835, 838
- Апраксины, братья 85, 686—689, 707
- Аракчеев Алексей Андреевич, граф, генерал, военный министр, временщик при Александре I, в 1815—1825 гг. фактический руководитель государства 15
- Аргамаков Михаил, поручик Преображенского полка 575
- Арескин Петр, лейб-медик 800
- Арсеньев Аникией, капитан гарнизонных войск в Черном Яру, дальний родственник Д. М. Меншиковой 141
- Арсеньев Василий Михайлович, шурин А. Д. Меншикова 141, 388
- Арсеньев Иван Михайлович, брат Д. М. Меншиковой 140
- Арсеньев К. И.* 828, 836
- Арсеньева Варвара Михайловна, свояченица А. Д. Меншикова 52, 116, 127, 131, 138, 140, 145, 146, 150, 152
- Арсеньевы 141
- Арсеньевы, сестры 30, 32, 37
- Артамонов В. А.* 11
- Асан-паша, везир 291, 315, 319
- Афанасьев Иван, камердинер царевича Алексея Петровича 83, 84

* Курсивом даны фамилии авторов, работы которых использованы в данной книге.

- Афонька, органист, подаренный А. Д. Меншикову Г. Строгановым 32, 35
 Ахмет, султан 288
 Ахмет-паша, везир 291
- Баггер, датский историк 71
 Баженов В. И., русский архитектор 680
 Баженов Матвей, мещанин города Березова 166
 Баклановский, слуга Петра I 83, 84
 Балтаджи Мехмед-паша 310
 Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич, тобольский воевода 166, 167, 830
 Барка Лука, консул Рагузинской республики в Стамбуле 283
 Бартнев П. 843
 Барятинский И. Ф., гардемарин 378, 537
 Барятинский Федор 663, 664
 Бассевич Генниг Фредерик, голштинский министр 504, 505, 507, 839
 Батурын Иоасаф, пехотный подпоручик 630, 631
 Бекетов Никита Афанасьевич 679
 Бекингхэмшир Джон, английский дипломат 643, 842
 Беклемишев Петр, торговый агент в Италии 332, 377, 455, 458, 459
 Белый Иван, дворовый человек 408
 Бенкендорф фон, генерал-поручик, обер-комендант Ревеля 780
 Бергер, поручик кирасирского полка 620—622
 Березников, полковник, комендант крепости 600
 Беринг Витус, начальник Камчатской экспедиции 162
 Берхгольц Фридрих Вильгельм, камер-юнкер герцога Голштинского 74, 261, 262, 399, 501, 504, 506, 564, 634, 826, 833, 836, 839
 Бестужев Михаил Петрович, обер-гофмейстер 673
 Бестужев Петр Михайлович, тайный советник, министр в Курляндии 35, 121, 402, 697
 Бестужева Анна Гавриловна, графиня 620, 622, 623
 Бестужев-Рюмин Алексей Петрович, регент, канцлер 575, 578, 608, 611, 612, 616—618, 620, 623, 631, 640, 641, 645, 684, 696—698, 704—708, 758, 761, 763
 Бибилов Василий 656
 Бидлоо Николай, врач 102, 374, 379, 529
 Бильбасов В. А. 842, 845
 Бирон Густав, брат Э. И. Бирона, муж А. А. Меншиковой 153, 164, 529, 578
 Бирон Карл, брат Э. И. Бирона, московский генерал-губернатор 579
 Бирон Эрнст Иоганн, граф, фаворит императрицы Анны Иоанновны 15, 153, 244, 417, 530, 543, 544, 547, 549, 555—559, 563, 565, 568, 571—580, 582, 583, 585, 586, 593, 594, 596, 597, 610, 614, 620, 671, 672—678, 680, 696—698, 704, 721, 740, 755, 782, 785, 789—791, 841
- Бироны 153
 Бисмарк, рижский генерал-губернатор 579
 Блюментрок Лаврентий Лаврентьевич, царский лейб-медик, президент Академии наук 102, 377, 379, 800, 801
 Бобровский, березовский воевода, 548
 Богданов, солдат 365
 Богославский М. М. 795, 796, 824, 846
 Болотов Андрей Тимофеевич 650, 716, 717, 732, 764, 765, 767, 845
 Большой Иван Афанасьевич 86
 Борис Иванович, адресат П. А. Толстого, которому он писал в день отъезда в ссылку 142
 Боровой С. Я. 844
 Ботта де, маркиз 584, 589, 608, 621—624
 Боур Родион Христианович, генерал-поручик 8, 23, 55, 56, 215
 Бранкован, валашский господарь 450
 Брауншвейгская фамилия 587, 592, 596, 601, 617, 621, 622, 624, 628, 629, 655, 839, 841
 Бревнер 705
 Брейтейль, маркиз, французский посол 608, 654
 Брюммер, обер-гофмаршал 634
 Брикнер А. 839, 841, 842
 Брюс Яков Вилемович, граф, генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I 8, 17, 23, 33, 56, 91, 174, 221, 228, 231, 385, 386, 389, 416, 685, 794
 Бреховецкий Иван Мартынович, украинский гетман 262
 Буженинова Авдотья Ивановна 568
 Булавин Кондратий, атаман 217
 Булгаков Алексей, подпоручик Семеновского полка 605
 Бурже Николай, француз-великан 374
 Бутурлин Александр Борисович, камергер 605, 616, 659, 767
 Бутурлин Иван Иванович, генерал «князь-папа» 90, 112, 124, 126, 337, 348—353, 355, 357, 359, 501, 509, 513
 Бухгольц, полковник 479
 Бушув П. П. 177
- Валуев Петр Александрович, министр внутренних дел России 60—70-х гг. XIX в. 88, 92
 Варлаам, киевский архиепископ 786
 Варсонофия, инокиня, см. Арсеньева Варвара Михайловна
 Варсонофий, архимандрит 362
 Василий, сибирский царевич 84
 Васильева Н. М. 11
 Ведель, генерал 766
 Вейде Адам Адамович, генерал 90, 91, 201, 236, 322
 Вейц, немец 428
 Вейч К., английский дипломат 623, 693
 Вельмина Н. А. 830
 Веретинников В. И. 338, 339, 834

- Вернер, генерал 652
 Верховский П. В. 845
 Веселовский Авраам Павлович, русский резидент в Австрии 139, 322, 323, 327, 330, 331
 Веселовский Исаак 611
 Веселовский Федор, русский резидент в Англии 392
 Вестфален, датский посол 537
 Виллардо, французский консул в Петербурге 264, 291, 292, 332, 360, 834
 Вильбоа (Вильбуа) Никита Петрович, француз на русской службе, контр-адмирал 17, 25, 136, 160—164, 506, 828, 839
 Вильнев, французский посол в Стамбуле 744, 745
 Винус Андрей Андреевич, думный дьяк, организатор горно-металлургического дела в России 29, 36, 58, 201, 220, 728
 Вит Франц, подарочный А. Д. Меншикова, вел переписку князя, выступал в роли его переводчика 27
 Витвер, полковник 352
 Витворт Чарлз, английский посол при русском дворе 16, 57, 221, 451, 502
Виттрам Р. 71, 826
 Вишневецкий, полковник 614
 Владиславич Гавриил Иванович, племянник Саввы Лукича Рагузинского 460, 465, 466, 483, 485
 Владиславич Ефим Иванович, племянник Саввы Лукича Рагузинского 463, 464, 467, 485
 Владиславич Моисей Иванович, племянник Саввы Лукича Рагузинского 482, 485, 486
 Владиславич-Рагузинский Савва Лукич, купец, дипломат, сподвижник Петра I 7—10, 202, 233, 283—285, 292, 313, 321, 377, 440—486, 490, 491, 824
 Власев Даниил, капитан 598, 599
 Вобан, инженер и генерал 227
 Воейков, майор 656
Возрин В. Е. 826
 Войнарский Андрей Янович, племянник И. С. Мазепы 50
 Волков Алексей, генерал-майор, член суда над А. М. Девьером и П. А. Толстым 114, 343, 404, 703
 Волков Алексей, секретарь Александра Даниловича Меншикова 26, 413, 761, 762
 Волков Д. В. 716
 Волков М. Я. 844
 Волков Федор Григорьевич 822
 Волконская Аграфена Петровна, княгиня, гофдама императрицы Екатерины I 347, 353, 359, 360, 566
 Волконский Григорий, князь, сенатор 103
 Волконский Михаил Николаевич, генерал-аншеф, главнокомандующий в Москве, муж Елизаветы Алексеевны Макаровой 407, 659
 Волконский Никита Федорович, князь 566
 Волович, польский посол в Москве 62
 Волович Маршан, великий маршалок княжества Литовского 19
 Вольтер 681, 779, 803
 Вольфенбюттельская, герцогиня 325
 Вольтский Артемий Петрович, государственный деятель и дипломат, противник «бироновщины» 177, 376, 388, 436, 545, 549—565, 570, 575, 592, 605, 675, 696, 701, 752, 773, 797, 840
 Вольтский Иван Михайлович 554
 Воробьев Григорий, капитан 366
 Воскресенский Н. А. 843
 Воронцов Михаил Илларионович, канцлер 591, 592, 615—618, 657, 658, 705, 706, 708, 710, 716, 724, 841, 842, 845
 Воронцов Р. И. 716, 721, 722
 Воронцова Екатерина 644
 Воронцова Елизавета Романовна 651, 654, 660—662, 681
 Воронцовы Мария и Елизавета, графини 681—683
 Вратислав, граф, австрийский дипломат 515, 523
 Вяземская 567
 Гагарин Матвей Петрович, князь, сибирский губернатор 35, 385, 398, 484, 693
 Гагарины, князья 398
 Ганнибал (Аннибал) Иван Петрович, арап Петра Великого, обучался во Франции инженерному делу, русский генерал, деа Пушкина 378, 446, 475
 Ганчиков Гавриил, астраханский бургомистр 207
 Гаррингтон, лорд, английский дипломат 608, 702
 Гасан-паша 239
 Гедиминовичи, династия литовских великих князей 540
 Гельбиг, автор сочинения «Случайные люди в России» 372, 527
Гельмс И. А. 832
 Гендриковы 499
 Геннин Вилим Иванович, управляющий Петровскими заводами, голландец на русской службе 99, 693
Горлицевский Г. П. 825
 Георгий (в миру Григорий Зворыкин), монах Саровской пустыни 428, 429, 434, 435
 Герц, голштинский министр 71, 685, 702
 Гиленкрок Аксель, шведский генерал-лейтенант 216, 226, 227, 831, 832
 Гинафорда Джон, английский посол 607, 608, 686
 Гинтер, генерал 91
Глагилсва А. П. 307, 823, 824, 834
 Глебов, гардемарин 378

- Глебов А. И., генерал-прокурор 682, 723, 724, 779
- Глебов Степан, любовник бывшей царицы Евдокии Лопухиной 86, 336
- Глинка Ф. 843
- Глюк Эрнст, мариебургский пастор, воспитатель Марты, ставшей позже императрицей Екатериной I 36, 191, 500
- Годунов Борис, царь 165
- Голоиков Иван Иванович, историк петровского царствования 22, 23, 372, 824, 827, 828, 833, 835
- Голикова Н. Б. 212, 826, 831
- Голицын Алексей, князь 412
- Голицын Борис Алексеевич, князь, воспитатель Петра I, позже возглавлял Казанский приказ 66, 206
- Голицын Василий Васильевич, князь, государственный деятель, фаворит царевны Софьи Алексеевны 174, 175, 263, 756
- Голицын Дмитрий Михайлович, князь, киевский губернатор, сенатор, член Верховного тайного совета 95, 116, 125, 131, 134, 135, 143, 155, 158, 232, 241, 281, 343, 351, 353, 401, 440, 443, 508, 516, 518, 525, 526, 530, 531, 533, 534, 541, 544—547, 549, 563, 566, 688, 689, 700, 703, 734, 743
- Голицын Михаил Алексеевич, князь 566, 568
- Голицын Михаил Михайлович, князь, генерал-фельдмаршал, президент Военной коллегии, сенатор и член Верховного тайного совета 55, 56, 91, 98, 146, 351, 385, 526, 530, 545
- Голицын Петр Алексеевич, князь, сенатор, обер-комендант Москвы 39, 385, 611
- Голицын Петр Михайлович, князь 97, 389, 390, 392
- Голицыны, князя 112, 125, 165, 218, 244, 348, 436, 492, 508, 526, 537, 538, 540, 544, 563, 686, 720, 791
- Головин, бригадир, муж сестры А. Д. Меншикова Марьи Даниловны 53, 56
- Головин Иван Михайлович, русский адмирал, кораблестроитель, вместе с Петром I изучал за границей корабельное дело 89, 265
- Головин Федор Алексеевич, граф, дипломат, генерал-адмирал, им создана система постоянных русских представителей за границей 39, 49, 175, 178, 183, 192, 195, 196, 201, 204, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 220, 254, 265, 282—285, 288, 291, 292, 294, 297, 312—317, 384, 440, 443—446, 448, 463, 475, 479, 545, 734, 831
- Головкин Александр Гаврилович, граф, сын канцлера Г. И. Головкина, русский посол в Берлине 154, 340
- Головкин Гавриил Иванович, граф, один из наиболее приближенных к Петру I с его детства людей (постельничий), с 1709 г. — канцлер, позже член Верховного тайного совета 33, 56, 60, 87, 90, 93, 94, 116, 131, 135, 136, 143, 201, 202, 232, 235, 241, 245, 250, 252, 294, 299, 300—303, 305, 307, 308, 312, 313, 338, 342—344, 346, 348, 362, 392, 401, 426, 452, 453, 463, 504, 508, 510, 518, 525, 526, 529, 530, 534, 576, 580, 687—689, 693—695, 700, 701, 758
- Головкин Михаил Гаврилович, вице-канцлер 575, 579
- Головкина, супруга Н.Ю. Трубецкого 521
- Голтвин Матвей, руководитель Мундирной канцелярии 35
- Голштинский герцог, супруг Анны Петровны, дочери Петра I 111, 156, 348, 350, 356, 359, 360, 504, 507, 511, 573, 587, 594, 633, 634, 652, 671, 697, 769
- Голый Никита, сподвижник К. Булавина 217
- Гольдбах, статский советник 611
- Гольц, генерал, подчиненный А. Д. Меншикова 57, 58, 223
- Гольц Бернгард, прусский посол 652, 655, 657
- Гордон Патрик, генерал и контр-адмирал, шотландец на русской службе 51, 128, 130, 192, 225, 265
- Гордон Федор Петрович, сын П. Гордона 265
- Горленок (Горленко) Дмитрий Лазаревич, прилуцкий полковник, сообщник И. С. Мазепы 50
- Горн (Хурн) Хеннинг Рудольф, шведский генерал, комендант Нарвы 34, 199
- Готье Ю. В. 840
- Грамадин Петр, адъютант 575—577
- Гревенброк Александр, живописец 457
- Григорьевич, украинский гетман 666
- Грозный Иван, см. Иван IV Васильевич Грозный
- Гудович Андрей Васильевич, генерал-лейтенант 649, 654, 658, 660, 661, 768
- Гурьев Василий 388
- Гутфель, английский купец 448
- Гюйссен Генрих, барон, доктор права, хлопотавший при венском дворе о выдаче княжеского диплома А. Д. Меншикову 19
- Д'Аламбер 681
- Далтабан Мустафа-паша, везир 286
- Данилов М. В. 617, 709, 710, 841, 844
- Д'Аржансон, министр иностранных дел Франции 706, 707
- Дашков Алексей, адъютант 143, 389
- Дашков Георгий, ростовский епископ 783—785
- Дашкова Екатерина Романовна, княгиня 640, 649, 650, 652, 658, 678, 681, 683, 761, 842, 843, 845
- Даун, граф, вице-король Неаполя 325, 327, 328, 762
- Деби (де-Би), нидерландский резидент 78, 82
- Девиер Александр, сын А. Д. Меншиковой и А. М. Девиера 357
- Девиер Антон, сын А. Д. Меншиковой и А. М. Девиера 357

- Девиер Антон Мануилович, граф, царский денщик, позже генерал-полицмейстер Петербурга 15, 52, 89, 91, 103, 109, 117, 124—126, 137, 140, 157, 342—353, 355—360, 372, 376, 385, 406, 410, 512, 513, 518
- Девиер Иван, сын А. Д. Меншиковой и А. М. Девиера 357
- Девиер Петр Антонович, генерал 658
- Девиц, датский министр 69, 72
- Девлет-Гирей, крымский хан 310
- Дезальер, маркиз, французский посол 310
- Делиль, французский географ 801
- Демидов Никита Демидович 721
- Деминский Б. Н. 830
- Денисов Федор, крепостной А. В. Макарова, управлял его рыльскими вотчинами 417—419
- Дестре, французский маршал 377
- Дибен, шведский сенатор 154
- Дмитриевский Иван Афанасьевич, актер 822
- Дмитриев-Мамонов, генерал-лейтенант, полковник Преображенского полка 129, 342, 343
- Доброклонский А. 845
- Докучаев Константин, конюх Б. П. Шереметева 256
- Долгоруки, князя 84, 86, 87, 112, 133—136, 142, 143, 161—163, 165, 218, 348, 492, 508, 521, 522, 524—526, 531, 536, 538—554, 592, 672, 840
- Долгорукий Василий Лукич, князь, дипломат, член Верховного тайного совета 71, 72, 121, 136, 142, 163, 253, 367, 402, 518, 524—526, 530—533, 536, 538, 541, 549, 691, 840
- Долгорукий Григорий Федорович, князь, русский дипломат 232, 249, 367, 518
- Долгорукий Иван 548, 549, 554, 564, 610, 671, 672
- Долгорукий Федор, князь 168
- Долгорукий Яков Федорович, князь, сподвижник Петра I, поддерживавший его с периода борьбы за власть с царевной Софьей, сенатор 86, 87, 90, 104, 136, 142, 161, 337, 794
- Долгоруков (Долгорукий) Алексей, князь, член Верховного тайного совета, отец фаворита Петра II Ивана Долгорукова 134, 515, 516, 518, 519, 521, 524—526, 536, 541, 542
- Долгоруков (Долгорукий) Василий Владимирович, князь, военный деятель, генерал-фельдмаршал, член Верховного тайного совета 84, 86, 93—97, 104, 163, 233, 235, 248, 251, 252, 337, 378, 385, 389, 392, 450, 451, 524—526, 531, 538, 540—542, 549, 592, 691, 758
- Долгоруков Иван Алексеевич, князь, фаворит Петра II 125, 134—136, 154, 243, 244, 348, 352, 355, 516—524, 526, 527, 536, 543, 547—549, 554, 564, 610, 651, 671, 672
- Долгоруков П. В. 840
- Долгоруков Петр Михайлович, стольник 408
- Долгорукова Екатерина, невеста Петра II 243, 521, 523, 530
- Долгорукова Марья, княгиня 412
- Долгорукова Наталья Борисовна (урожденная Шереметева), жена фаворита Петра II Ивана Долгорукова, после казни мужа поступила в монастырь под именем Нектария 243, 244, 554, 564, 832
- Долгоруковы, князя 243, 244, 436, 516, 518
- Досифей, иерусалимский патриарх 282—284, 296, 301, 318, 319, 335
- Досифей, ростовский епископ 336
- Дранный Семен, сподвижник К. Булавина 217
- Дубровский Федор 336
- Дугин П. 842
- Дугласы, графы, шведские генералы, взятые в плен в Полтавском сражении 56
- Дучич Иован, сербский историк 441, 824, 837
- Евдокия Федоровна, см. Лопухина Евдокия Федоровна
- Евфросинья Федоровна, любовница царевича Алексея Петровича 87, 322, 328, 329, 331, 332, 334, 335
- Екатерина, герцогиня Мекленбургская, старшая дочь Ивана V 527
- Екатерина I Алексеевна, жена Петра I, царица, позже императрица 7, 25, 36, 41, 62, 63, 83—85, 98, 99, 101, 102, 105, 110—113, 116, 118—120, 123—128, 130, 133, 134, 150, 156, 158, 170, 191, 234, 261, 262, 339, 340, 342, 343, 346—354, 356, 358, 360, 377, 381, 387, 388, 398, 400—405, 408, 455, 462, 467, 495, 499—513, 515, 518, 523—525, 528, 531, 535, 538, 541, 544, 549, 553, 554, 593, 595, 599, 600, 606, 614, 619, 632—638, 640—645, 647, 671, 672, 674, 681, 684, 686—688, 695, 697, 708, 717, 731, 746, 772, 773, 781, 782, 784, 785, 799, 819—821, 828, 836, 842
- Екатерина II Великая, императрица 15, 243, 530, 592, 596, 598, 599, 607, 609, 615, 617, 634, 635, 637, 640, 643, 646, 647—650, 653, 654, 656—666, 671, 672, 679, 681, 710, 733, 771, 775, 776, 778—780, 842—844
- Елена, инокиня, см. Евдокия Федоровна Лопухина
- Елизавета Петровна, царевна, дочь Петра I, позже императрица 82, 111, 118, 124, 140, 142, 164, 243, 345, 353, 499, 505, 507, 511, 513, 516, 521, 522, 526, 527, 530, 548, 553, 554, 573, 574, 586—597, 600—611, 613—615, 617—624, 627, 629—638, 640—642, 644, 645, 647, 650, 651, 653, 655, 666, 671, 678, 679, 684, 699, 701, 704, 706, 708, 716, 721, 725, 734, 756—758, 760, 763, 767, 768, 770, 773—775, 800, 802, 807, 817, 819, 822, 840, 841
- Еншау, иноземец 374
- Епифанов П. П. 177
- Еропкин П.М., полковник 559, 561, 563
- Ершов Василий Семенович, московский вице-губернатор 385, 397
- Есипов Г. 10, 823—825, 829
- Ефимовские 499

- Жданов Михаил 190
 Желябужский Иван Афанасьевич, публицист 188, 830
- Загрязская Авдотья Ивановна 567
 Загряжский Артемий Григорьевич, казанский губернатор 609
 Заозерский А. И. 10, 823
 Захаров Михаил, живописец 458
 Зенцов, солдат 363, 365
 Змаевич Матвей Христофорович, далматинец, вице-адмирал русского флота 130
 Зорин Дмитрий, солдат 364
 Зотов Аникита (Никита) Моисеевич, воспитатель Петра I, думный дьяк, «князь-папа» 66, 107, 202, 389, 606
 Зотов Василий, ревельский комендант 385, 421
 Зотов Конон Никитович, русский агент во Франции, сын А. Зотова 377, 388, 393
 Зубов Алексей Федорович, русский художник 30
 Зубарев Иван Васильевич 624—630, 841
 Зюзина Екатерина, служанка А. Д. Меншикова 151
- Ибрагим Петров, см. Ганнибал
 Иван III 814
 Иван IV Васильевич Грозный, царь 23, 790
 Иван Федорович, брат Евфросиньи, любовницы царевича Алексея 322
 Игнатий, коломенский архиерей 785
 Игнатъев, генерал 546
 Игнатъевна, супруга отца А. Д. Меншикова 21
 Ижорский 16, 19
 Извольский Андрей, адъютант конной гвардии 431, 435
 Измайлов, поручик 656
 Измайлов Иван, архангелогородский губернатор 357, 361, 363—365
 Измайлов Иван, обер-комендант Москвы 257, 393
 Измайлов Лев, руководитель посольства в Китае 472
 Измайлов Михаил Львович, гофмаршал 657, 658, 660, 661
 Иоаким, архиепископ ростовский 428
 Иоаким, патриарх московский 264
 Иоанн Антонович, император 588, 589, 596—600, 619, 621, 622, 624, 626—630, 636, 647, 655, 661, 662, 697, 761, 780, 841
 Иоанн (Иван) V Алексеевич, царь, брат Петра I 127, 264, 265, 528, 529, 573, 574
 Иоанна Елизавета 636
 Иона 338
 Иосия (в миру Самгин Яков), духовник семьи Макаровых 429, 431—435
 Искра, полтавский полковник 49
- Каземир Фридрих, герцог 119
 Кази-Гирей, хан 299
- Калинин Василий, дальний родственник Андрея Васильевича Макарова 419, 421—428, 433
 Калинин Лев, дальний родственник Андрея Васильевича Макарова 419, 421
 Калинин Федор Климонтович, шурина Андрея Васильевича Макарова 419, 421, 422, 425
 Кампредон, французский посол в России 113, 488, 510, 515, 690, 695
 Каневский 421
 Кантемир Антиох, поэт, дипломат, сын Дмитрия Кантемира 463, 803, 804, 806, 808, 812
 Кантемир Дмитрий, молдавский господарь 234, 235, 450, 463, 544—546, 726
 Капаан-Гирей, хан 299
 Карамзин Н. М. 165, 487, 816, 838
 Каратыгин П., (изучал семейные дела Остермана) 700, 843
 Каренин Алексей Александрович, персонаж романа А. Н. Толстого «Анна Каренина» 88
 Карл VI, император «Священной Римской империи» 131, 322—325, 329, 330, 332, 333, 615, 673
 Карл XII, шведский король 39—41, 43, 46—49, 51, 52, 54—56, 63, 64, 69, 182—187, 189, 197, 214—217, 220, 222, 224—227, 237, 239, 244—246, 249, 250, 278, 298—300, 302, 304—311, 321, 633, 685, 694, 736, 756, 831
 Карнович Е. П. 790, 829, 843
 Карр, фрейлина императрицы 639, 644
 Карташев Андрей Иванович, статский советник, муж А. А. Макаровой 407
 Карташев А. В. 845
 Катерина, придворная девица 345
 Квашнин Петр, прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка 619
 Кейт, генерал 757
 Кёпрюлю Нумен-паша, везир 310
 Кикин Александр Васильевич, царский денщик, приятель и советник царевича Алексея Петровича 83—85, 93, 94, 104, 129, 337, 385, 393, 398
 Кикин Иван, брат А. Кикина, астраханский обер-комиссар 83, 85, 398
 Кингпоузен, прусский министр 322
 Киреевский П. В. 833
 Кисельников Иван Григорьевич, конный стрелец 210
 Кишкель, шталмейстер 556
 Ключевский Василий Осипович 796, 846
 Кобыла, сын выходца из Пруссии, к нему возводили свой род Шереметевы 174
 Ковалевский Е. П. 342, 823, 828, 835
 Кологривов Юрий, русский агент, занимавшийся отправкой из-за границы в Россию произведений искусства 456
 Колоредо, граф, моравский генерал-губернатор 333
 Колосов Даниил, мастеровой Городовой канцелярии 18

- Колычев Степан Андреевич, воронежский вице-губернатор 410
Константин, сын Петра II 544
Корб Иоганн Георг, секретарь австрийского посольства 16, 33, 176—178, 181, 824, 830
Коротков Н. М. 845
Корсаков Д. А., биограф Голицына 547, 839, 840
Корсаков Яков Никитич, петербургский вице-губернатор 77, 103, 104, 187
Корф М. 839, 841
Корф Николай Фридрих, барон 634, 800
Корчмин Василий Дмитриевич, русский инженер 352
Костеев Сергей Федорович, капитан 408
Костромитинов, колодник 338
Кочубей Василий Леонтьевич, генеральный судья 49
Кочелев, полковник 389
Краснощеков Иван, войсковой атаман 35
Крассау Эрнст Детлоф, шведский генерал 57, 226
Крашенинников 801
Крейц Карл Густав, шведский генерал-майор 56, 226
Кропотов, полковник 205
Круз Карл Густав, шведский генерал 56
Круи Карл Ойген фон, герцог, нанятый на русскую службу 183, 184, 193
Крылова Т. К. 823
Крюйс Корнелий, вице-адмирал 685
Крюковский Степан, лейтенант, сопровождавший А. Д. Меншикова и его семью в ссылку в Березов 161
Кубасова, кормилица Марии Александровны Меншиковой 139
Кудрявцев Никита, казанский вице-губернатор 391
Кудрявцев Федор, солдат Астраханского полка 376
Куракин Борис Иванович, князь, дипломат, ближайший сподвижник Петра I 17, 25, 66, 73, 125, 141, 151, 321, 351, 367, 385, 697, 758
Куракин Ф. А. 824, 826, 829
Куракина Елена 648
Куракины, князя 20, 218, 545
Курбатов Алексей Александрович, приблыщик, позже архангелогородский вице-губернатор 15, 179, 372, 385, 393—398, 492, 794, 800
Курляндский, герцог 573, 574, 587, 674, 702
Курц Б. 838
Кутайсов Иван Павлович, граф, камердинер и фаворит Павла I, турок по национальности 15
Лави де, французский резидент в Петербурге 461, 515
Леблон Жан Батист Александр, французский архитектор 379
Левашов, генерал 746
Левенвольде Карл, обергофмаршал 532, 555, 585, 589, 592, 620, 623, 671, 688
Левенгаупт Адам Людвиг, граф, шведский генерал, рижский губернатор 49, 54—56, 59, 200, 204, 205, 215, 217, 224, 757
Левенгаупт Карл Эмилий, граф, главнокомандующий шведской армии 603
Левольд, фельдмаршал 626, 628
Ленин В. И. 165, 830
Леонтьев Михаил Иванович, генерал-майор 531, 533, 534, 745, 747, 748
Леопольд I, император «Священной Римской империи» 174
Лесси (Ласи), генерал 202, 739, 743, 747, 751—753, 757, 763
Лесток, врач, француз 588—590, 592, 602, 609, 620, 621, 701, 705, 706, 801
Лефорт Н. С., саксонский посол при русском дворе 127, 131—133, 151, 343, 515, 517, 523, 536, 539, 699
Лефорт Франц Яковлевич, адмирал, швейцарец, с 1678 г. на русской службе, сподвижник Петра I 22, 30, 66, 106, 107, 128, 175, 192, 265, 788
Лещинский, см. Станислав I Лещинский
Лещинская Мария, жена Людовика XV 573, 601, 681, 736, 841
Лжедмитрий 821
Либекер Георг, шведский генерал 215
Линар, граф 584, 585, 589
Лирий де, герцог, испанский посол при русском дворе 160, 514, 519, 521, 537, 540, 604, 691, 841
Лихарев Иван, архангелогородский губернатор 366
Лобанов 104
Ловчиков Степан Богданович, азовский воевода 439, 440
Ломиковский, генеральный обозный, сторонник И. С. Мазепы 466
Ломоносов Михаил Васильевич 625, 680, 795, 801, 806—811, 816—820, 822, 846
Лонготу, граф, маньчжурский представитель при встрече посольства во главе с С. А. Владиславичем-Рагузинским 467, 474, 475
Лопатинский Феофилакт, член Синода 783, 785, 787, 788
Лопиталь, маркиз, французский король 642
Лопухин Авраам Федорович, боярин, брат царицы Евдокии Лопухиной 336, 337
Лопухин Иван, подполковник 620—622
Лопухин Петр Авраамий 84, 610
Лопухин Степан Васильевич, генерал 521, 622, 623
Лопухина Евдокия Федоровна, царица, первая супруга Петра I 154, 157, 158, 160, 334, 336, 337, 349, 350, 353, 363, 399, 507, 521, 791
Лопухина Наталья Федоровна 595, 620, 622, 623, 638, 841

- Лосев, дьяк, межевщик 100—103
 Лосс, саксонский посланник 84, 248, 251
 Лука, сын Саввы Лукича Владиславиича-Рагузинского 460
 Лукин Ефим, купец 631
 Лупсан, бурятский тайша 479
 Лутковский 423
 Львов, князь, русский агент в Голландии 377
 Львов Иван, полковник 190
 Любской Карл, епископ 516, 636, 758
 Людвиг, унтер-штабмейстер 556, 560
 Людерс, врач, голландец 662, 663
 Людовик XV, французский король 739
- Мазас В. И.* 11
 Мазепа Иван Степанович, гетман Левобережной Украины 49—51, 55, 100, 217, 225, 298, 300—309, 466, 599
 Майков А. Н. 824, 827, 845
 Макарий, епископ 835
 Макаров Алексей Васильевич, выходец из посадских людей, кабинет-секретарь Петра I, позже тайный советник, президент Камер-коллегии 7—10, 79, 84, 96, 100—102, 109, 114, 151, 187, 234, 247, 253, 256, 257, 340, 371—373, 375—436, 455, 457, 459, 460, 490, 492, 508, 687—690, 695, 703, 782, 823, 835—837
 Макаров Иван Васильевич, дьяк, брат А. В. Макарова 419, 421
 Макаров Петр Алексеевич, сын А. В. Макарова 407, 436
 Макарова Анна Алексеевна, дочь А. В. Макарова 407
 Макарова Елизавета Алексеевна, дочь А. В. Макарова 407
 Макаровы, супруги 412
 Мальборо, герцог 71, 95
 Манштейн Христоф Герман, до 1744 г. на русской службе, позже генерал прусской армии, автор записок о России 17, 524, 578, 585, 588, 627, 628, 629, 675, 676, 699, 700, 704, 740, 743, 750, 751, 753, 824, 839, 841, 843—845
 Маньян, французский посол в России 157, 481, 510—512, 514, 516, 521—524, 540, 564, 689, 695, 699
 Мардефельд, прусский посланник 103, 563, 705
 Мардефельд Арвид Аксель, шведский генерал 41, 43, 44, 46, 47
 Мария-Терезия, императрица 633, 762
 Маркс К. 838
 Маслов, капитан, начальник стражи, призванный охранять царицу Евдокию Лопухину в Ладожском девичьем монастыре 157
 Масловский Д. Ф. 844
 Матвеев Андрей Артамонович, государственный деятель, дипломат, видный сотрудник Петра I 265, 488, 503
 Матвеев Артамон Сергеевич, боярин, дипломат, казнен стрельцами 265, 488, 833
 Машевич Арсений (Андрей Враль), ростовский митрополит 775—780
 Машков 376
 Мегмет-эфенди 320
 Мекленбургский, герцог 573, 588
 Мельгунов А. П. 655, 658, 716
 Мельгунов Петр Наумович, гвардии капитан 148, 155, 158, 160
 Менгден, барон 556, 572, 585, 592
 Менгден, фрейлина 577, 583—585, 591
 Меншиков, поручик 188
 Меншиков Александр Александрович, сын А. Д. Меншикова, обер-камергер 127, 131, 138, 139, 152, 153, 163, 164, 516
 Меншиков Александр Данилович, денщик Петра I, позже герцог Ижорский, светлейший князь Римской империи и Российского государства, генералиссимус, верховный тайный советник 7—175, 184, 191, 193, 195, 199—204, 207, 208, 213, 215, 217—230, 234, 241, 249—254, 293, 313, 322, 337—341, 343, 349, 351—361, 363, 368, 372, 373, 375, 381, 384, 385, 388—390, 393, 394, 400, 401, 403, 404, 406, 407, 413, 423, 425, 426, 442, 448, 463, 475, 481—485, 487, 488, 500, 502, 503, 508—513, 515—518, 521, 528—530, 542, 543, 595, 596, 614, 624, 670, 671, 674, 686—689, 691—695, 699, 701, 703, 734, 782, 794, 800, 819, 823—825, 827—830, 835, 838
 Меншиков Александр Сергеевич, флигель-адъютант, правнук А. Д. Меншикова 167
 Меншиков Андрей, предок А. Д. Меншикова, по одной из версий, прибывший на Русь вместе с Рюриком 20
 Меншиков Данила (Даниэль), отец А. Д. Меншикова 21, 24
 Меншиков Лука-Петр, сын А. Д. Меншикова, крестник Петра I 53, 139
 Меншиков Самсон, сын А. Д. Меншикова 139, 483
 Меншикова Александра Александровна, дочь А. Д. Меншикова, супруга Г. Бирона 127, 138, 139, 152, 153, 163, 164, 516
 Меншикова Анна Даниловна, сестра А. Д. Меншикова, супруга А. М. Девьера 32, 123, 124, 137, 140, 356—358
 Меншикова Варвара Александровна, дочь А. Д. Меншикова 139
 Меншикова Дарья Михайловна (урожденная Арсеньева), супруга А. Д. Меншикова, княгиня 25, 30, 37, 41, 47, 52, 53, 55, 57, 65—67, 79, 98, 121, 124, 130, 131, 139—142, 144—146, 150, 161, 482
 Меншикова Екатерина Александровна, дочь А. Д. Меншикова 139, 482
 Меншикова Мария Александровна, дочь А. Д. Меншикова, невеста Петра II 18, 124,

- 127, 130, 132, 138—140, 145, 150, 157, 163, 168, 358, 511, 513, 523
- Меншкова Мария Даниловна, сестра А. Д. Меншикова 32, 37, 53, 137, 140
- Меншиковы 127, 140, 144, 569
- Мерси д'Аржанто, граф, австрийский посол 633, 651, 655, 682
- Мещерский Никита, князь 190
- Мизере, итальянец 650, 842
- Милов А. В. 844
- Милорадович Михаил, полковник, один из руководителей восстания в Сербии, эмигрировал в Россию 452, 453
- Милославская Мария Ильинична, первая супруга царя Алексея Михайловича 263
- Милославские, князья 263—265, 488
- Милославский Александр Иванович 264
- Милославский Иван Михайлович, боярин 263—265, 488
- Миних Бурхард Кристоф, граф, военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал 16, 506, 509, 527, 532, 563, 572, 576—583, 586, 587, 591—596, 599, 602, 604, 627, 671, 675, 698, 699, 739—743, 745—755, 791, 840, 844
- Миних Эрнст, сын Б. К. Миниха 567, 575, 675, 747
- Мирович Василий Яковлевич, подпоручик 599, 600, 661
- Митька, слуга П. А. Толстого 142
- Михайлов Петр, см. Петр I
- Михневич Вл. 840
- Модена ди, дука, глава семьи, чьи сыновья были претендентами в женихи Прасковьи Ивановны, племянницы Петра I 459
- Молоствов, майор 389
- Монс Анна, фаворитка Петра I 30, 36, 157, 506, 670
- Монс Вилим, фаворит царицы Екатерины I Алексеевны 111, 506, 507, 671
- Монтескье 803
- Монте де, маркиз, французский посланник 741
- Морци Саксонский, граф, побочный сын Августа II 120—123, 529, 823, 828
- Мошков Петр 151
- Мусин-Пушкин Иван Алексеевич, сенатор 146, 338
- Мусин-Пушкин Платон Иванович 379, 559, 561, 592, 772, 773
- Мустафа, султан 288
- Мустафа-ага, османский посол 291, 315—318
- Мишласский А. 3. 831, 832
- Мэкензи Джон, английский посланник при русском дворе 248
- Нартов Андрей Константинович, токарь, механик, изобретатель 18, 789, 801, 824, 845
- Нарышкин Александр Львович, князь 125, 348, 350, 353, 355, 558, 723, 724
- Нарышкин Кирилла, комендант Нарвы 386
- Нарышкин Лев Кириллович, дядя Петра I 242, 643
- Нарышкин Михаил, майор 396
- Нарышкин Семен, генерал-адъютант 388, 605, 607, 636
- Нарышкина Наталья Кирилловна, царица 263
- Нарышкины, дворянский род 264, 336, 550
- Наталья Алексеевна, сестра императора Петра I 30, 502, 822
- Наталья Алексеевна, сестра императора Петра II 132, 137, 144, 154, 165, 515—517, 522
- Небогатов Иван, канцелярист 239
- Несиль 830
- Неплюев Андриян, секретарь Коллегии иностранных дел 611
- Неплюев Иван Иванович, тайный советник, русский резидент в Стамбуле 556, 558, 559, 744, 745, 752
- Нерон, римский император 470
- Нестеров Алексей, обер-фискал 15, 308, 418
- Нестеров Степан, адъютант А. Д. Меншикова 58
- Нечаев В. Н. 155, 157, 823, 829
- Никитин Иван Максимович, русский художник 457, 503, 801
- Никитин Роман 457
- Никифоров Л. А. 11, 828, 834, 839
- Николай I, император 167
- Николай II, император 573
- Никон, патриарх московский 165, 771, 777, 779
- Новиков Н. И. 177, 823
- Новиков Федор, полковник 190
- Новокрещенова Татьяна 567
- Новосильцов Василий, тайный советник, сенатор 558, 559
- Нолькен Эрик Матиас, шведский посол 601, 602
- Норрис Джон, английский адмирал 105
- Носов Яков, ярославский купец, избранный в старшину — исполнительный орган города Астрахани 207
- Нумерс, шведский адмирал 33, 34, 658
- Ньютон Исаак, английский ученый 27
- Обрезков, помещик 777
- Овцын Дмитрий, флотский поручик 548, 597, 598
- Овчинников Р. В. 664, 829, 830, 842
- Огильви Георг Бенедикт, барон, шотландец на русской службе, фельдмаршал 39, 40, 204, 208
- Огинский Григорий, великий гетман литовский 62, 66
- Одоевская Авдотья, сестра супруги А. В. Макарова 432
- Одоевская Анастасия Ивановна, вторая супруга А. В. Макарова 408, 416, 432
- Одоевский Иван, князь 429, 723
- Окладников А. П. 4

- Олсуфьев Василий, гофмейстер императрицы Екатерины I 109
- Олсуфьев Матвей, гофмейстер императора Петра I 109
- Олсуфьевы, братья 109
- Орешкова С. Ф. 823
- Орлик Филипп, войсковой писарь И. С. Мазепы 49
- Орлов Алексей 663—665
- Орлов Григорий 648, 649, 665
- Орловы, братья 656, 659, 661
- Остерман Андрей Иванович, граф, дипломат, вице-канцлер, член Верховного тайного совета 25, 114, 116, 119, 125, 128, 129, 131, 132, 134—136, 142—146, 152, 154, 157, 158, 344, 400, 401, 404, 415—417, 423, 426, 427, 434—436, 488, 489, 491, 492, 512, 516—519, 522, 523, 526, 529—533, 536, 540, 541, 543, 544, 547, 549, 556—559, 561, 563, 571, 574—576, 579—586, 589, 591—595, 616, 620, 678, 684—704, 746, 748, 755, 782, 785, 791, 843
- Оттобани, кардинал 456
- Павел I, император 15, 16, 633, 644, 649, 728
- Павленко Н. И. 18, 20, 564, 824, 839, 844
- Павлов Осип, секретарь 376
- Павлов-Сильванский Н. П. 10, 823, 834
- Палехин, дьяк Тайной канцелярии 338
- Палли Х. Э. 199, 831
- Пальма ди, дука, отец претендента на место жениха к Прасковье Ивановне, племяннице Петра I 459
- Пальчиков 376
- Панин Никита Иванович, граф 598, 648, 649, 655, 656, 660, 661, 664, 666
- Пассек, камергер 650, 656
- Паульсен, врач 663
- Пахомий, иеромонах 366
- Пашков Егор Иванович, прокурор Военной коллегии 347
- Пеаго Н. М. 11
- Пекарский П. П. 835, 838, 840, 841
- Перфильев Лука, лейтенант 361—366
- Петр, брат Я. В. Брюса 17
- Петр I Алексеевич, император 5—10, 15—93, 95, 98—114, 116, 118, 119, 121, 123, 127, 128, 130—137, 139, 140, 149, 150, 156, 169, 174, 176—178, 181—187, 189—212, 215, 217, 220—236, 238, 242, 243, 246, 249—253, 256, 257, 261, 263—266, 277, 278, 280, 299—304, 306—308, 311, 316—318, 321—342, 348—350, 366, 368, 371—375, 377, 379—392, 396, 398, 402, 403, 406—408, 410, 413, 415, 416, 423—425, 429—431, 434, 441—444, 447—451, 453—460, 465, 475, 481, 483, 484, 487—492, 495, 499—512, 514, 515, 523, 525, 527, 528, 535, 536, 539, 540, 544, 549, 551, 553, 562, 564—566, 573, 574, 586, 587, 591, 596, 602—604, 606, 614, 624, 633—635, 638, 640, 648, 651, 670, 686, 688—690, 693, 694, 697, 713—715, 719, 720, 727, 728, 732—734, 736, 745, 767, 771, 772, 781—784, 787—794, 796—801, 803, 808, 812, 814, 819, 822—828, 830, 831, 833—835, 837—839, 843, 845
- Петр II Алексеевич, император, внук Петра I 18, 111, 112, 118, 123, 124, 126, 130, 132, 133, 135, 137, 144, 145, 154, 157, 160, 163—165, 168, 170, 243, 244, 344, 345, 348, 349, 351—353, 356, 358, 360, 361, 363, 406, 410, 507, 508, 511, 514—524, 531, 532, 534, 535, 541, 544, 554, 592, 605, 614, 621, 671, 672, 686, 687, 690, 716, 781, 784, 786, 789, 839, 840
- Петр III Федорович (Карл Петр Ульрих), император 243, 495, 527, 574, 576, 587, 598, 607, 618, 625, 630, 633—642, 644, 647—671, 681, 682, 707, 716, 717, 720, 726, 733, 761—763, 768, 771, 775, 776, 778, 842
- Петр Петрович, царевич, сын Петра I и Екатерины I 81, 89, 97, 202, 410, 502
- Петров, майор 548, 549
- Пецольд, саксонский дипломат 579, 608, 615
- Пипер Карл Густав, шведский министр 306
- Платтор, датский генерал-провиантмейстер 95
- Плещеев Григорий, подпоручик 662
- Плещеев Иван Никифорович, действительный статский советник, президент Доимочной канцелярии 148—152, 155, 156, 158, 160
- Погодин М. П. 342
- Подьяпольская Е. П. 11
- Поликарпов Федор Поликарпович, директор Печатного двора 382
- Полоцкий Симеон 807
- Полочанов, прапорщик в свите А. Д. Меншикова 58
- Понятовский, граф 644, 655, 665
- Попов Кирилл 365
- Попов Н. А. 823, 833, 835
- Попцов, провинциал-фискал 408
- Пороховская Б. Д. 9, 823, 828
- Порошин, бригадир 90, 155
- Посошков И. Т. 6, 823
- Потанин Михаил, часовой 365
- Потемкин Григорий Александрович, князь, фаворит и сподвижник императрицы Екатерины II 15, 670
- Потоцкий, граф 153
- Потресов Василий 418
- Потресов Павел 418
- Прасковья Ивановна, дочь царя Иоанна V Алексеевича, племянница Петра I 455, 459, 527, 822
- Прасковья Федоровна, царица, супруга царя Иоанна V Алексеевича 91, 377, 529
- Прокопович Феофан, вице-президент Синода, писатель, публицист 6, 130, 134, 379, 380, 415, 429—432, 434, 504, 508, 521, 523, 531—533, 536, 781—789, 791, 805, 806, 812, 823, 824, 837, 845
- Путинцев М. 168
- Путятин, князь 433

- Пушкин А. С. 8, 23, 113, 378, 446, 476, 806, 816, 823, 824, 830, 842
- Пырский Степан, гвардии капитан, командир отряда, сопровождавшего А. Д. Меншикова в ссылку 143—148, 155, 158, 159
- Рабутин, австрийский дипломат, граф 515
- Раздивилл, князь 19
- Разумовский Алексей Григорьевич, граф, генерал-фельдмаршал,morganатический супруг императрицы Елизаветы Петровны 15, 592, 607, 614—616, 630, 633, 639, 671, 678, 679
- Разумовский Кирилл 607, 649, 656, 659, 763, 801, 818
- Растрелли Карло Бартоломео, скульптор 379, 802
- Рейнгольд 532
- Ремус, врач 102
- Репнин Аникита (Никита) Иванович, князь, генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I с юношеских лет 8, 23, 39, 40, 51, 56, 103, 112, 123, 202, 221—223, 229, 236, 378, 380, 388, 389, 509, 686
- Репнин Василий, сын А. И. Репнина 378, 558, 642, 710, 734, 743
- Репнин П. И. 724
- Репнин Юрий, сын А. И. Репнина 378
- Репнины, братья 378, 508
- Ресин, подпоручик 155
- Ржевская, архиегуменья 90
- Ржевский Тимофей, астраханский воевода 206
- Родышевский Маркелл, архимандрит 429, 430, 783, 784, 786, 787
- Рожнов Григорий, полковник драгунского полка 246—248, 252
- Розен, генерал-поручик 220
- Розум Алексей, регистровый казак, впоследствии Разумовский 614—616, 656, 659
- Роман, ротмистр, см. Шереметев Б. П.
- Романовы, династия в России 573, 574, 588, 670
- Ромодановский Иван Федорович, князь, губернатор московский 146, 339
- Ромодановский Федор Юрьевич, князь, сторонник Петра I, с 1686 г. возглавлял Преображенский приказ 30, 59, 66, 178, 201, 203, 207, 208, 211, 213, 228, 373, 440
- Рондо Клавдий, английский резидент 556, 565, 573, 674, 680, 690, 696, 700, 701, 748, 749
- Рондо, леди, супруга английского резидента при русском дворе 461, 462, 517, 520, 522, 523, 564, 604, 693, 694, 696, 699, 840
- Ротембург, граф, французский министр 138
- Рубинштейн Н. А. 844
- Румянцев Александр, гвардейский капитан, позднее майор Тайной канцелярии 18, 83, 87, 323—330, 333, 558, 705
- Румянцев А. И., глава русской делегации на конгрессе в Або 758, 768
- Румянцев П. А. 734
- Руний, комиссар, заведовавший в Нарве четтой 58
- Рюльер де Клавдий, карломан, секретарь французского посольства 632, 664, 665, 841, 842
- Рюриковичи, князья 20, 540
- Савелов Петр, генерал-адъютант Б. П. Шереметева 246, 247
- Савватий, псковский иеромонах 782, 784
- Савин Никита, генерал-майор 662
- Савойский, дука 459
- Салтыков В. Ф., генерал-полицмейстер 545, 546, 596, 619, 620
- Салтыков Петр, казанский губернатор 242, 389, 391, 409, 765—767
- Салтыков Семен Андреевич, один из руководителей Тайной канцелярии 422—424, 427—429, 433, 552—555, 570, 571, 575, 673, 797
- Салтыков Сергей Васильевич 643
- Салтыков Федор Степанович, русский агент в Англии 377, 420
- Салтыкова Дарья, помещица 731, 732
- Салтыков-Щедрин М. Е. 9, 835, 836
- Самарин Михаил Михайлович, сенатор 84, 86
- Сапега, граф 124, 406, 511
- Секи, маньчжурский представитель, встречавший посольство С. А. Владиславича-Рагузинского 467
- Семенниковы, братья, отправленные в Испанию для овладения бухгалтерской наукой 379, 458
- Сераскир Вели-паша 750, 754
- Сербин Петр, суздальский дьякон 450
- Сергеев А. А. 823, 833
- Серииков Федор 414
- Сеченов Дмитрий, президент Синода 776, 779
- Сиверс, адмирал 79, 90, 130, 134
- Сильвестр, казанский митрополит 552, 785
- Синявин Ульян, начальник Городовой канцелярии 18, 93, 94
- Скавронице 499
- Скорняков-Писарев, полковник, брат Г. Г. Скорнякова-Писарева 102, 103, 117, 506
- Скорняков-Писарев Григорий Григорьевич, обер-секретарь Сената 91, 337, 348, 350, 352, 353, 356, 357—359, 464, 513
- Скорнякова-Писарева Катерина Ивановна, супруга Г. Г. Скорнякова-Писарева 358
- Скоропадский Иван Ильич, гетман Левобережной Украины 100—102, 447
- Смола Игнатий, член Синода 784, 785
- Сновилов Иван, сержант Измайловского полка 619
- Собольников Иван, житель Огородной слободы 413
- Соймонов Ф. М., сибирский губернатор 559, 561, 592
- Соконин, заговорщик 655
- Соловев Дмитрий, агент А. Д. Меншикова в Архангельске 393—395

- Соловьёв И. Н. 11
 Соловьёв С. М. 23, 342, 574, 740, 782, 800, 816, 824—826, 828, 830, 832, 834, 836, 839, 841, 844—846
 София Фредерика Августа, будущая супруга Петра III 635, 638
 Софья Алексеевна, царевна, дочь царя Алексея Михайловича 24, 30, 86, 125, 174, 175, 181, 263—266, 351, 610, 756, 791
 Софья Карлусовна 345
 Спилют, племянник иерусалимского патриарха Досифея 283, 284, 286
 Станислав I Лешинский, польский король, ставленник шведов 39, 43—45, 49, 52, 56, 57, 64, 214, 231, 239, 249, 298—302, 304, 306, 595, 735—739, 741—744
 Стенбок, шведский генерал 67, 68
 Степанов, секретарь в Верховном тайном совете 136, 143—145, 515, 530
 Степанов Борис Пахомович 388
 Степанов Василий Васильевич, советник Иностранной коллегии 381, 387
 Степанов Василий Пахомович 388
 Стечкин Петр, племянник А. В. Макарова 419, 421, 423, 425
 Стечкина Наталья, супруга П. Стечкина 419, 421, 422
 Стрешнев Иван 90, 338, 373
 Стрешнев Тихон Никитич, боярин, сенатор 201
 Стрешнева Марфа Ивановна 700
 Строганов А. С. 817
 Строганов Григорий, солепромышленник 32
 Строганов Сергей Григорьевич 802
 Строганова Марья 387
 Строев В. 840
 Суворов А. В. 734
 Суаа де ла, секретарь иностранной коллегии 559, 561
 Сумароков Александр Петрович, писатель, 799, 806, 817, 820—822
 Сумароков Петр Спиридонович, камер-юнкер 532—534
 Сумгин М. И. 830
 Сухарев, губернатор 625
 Сухотин, комендант Нарвы 59
- Та, китайский министр, назначенный для переговоров с С. А. Владиславичем-Рагузинским 471
 Тальман Иоганн Михаил, австрийский резидент в Стамбуле 308—310, 823, 834
 Талызин И. А., адмирал 657, 658, 660
 Татищев Афанасий 387
 Татищев В. Н. 488, 489, 536, 538, 729, 730, 789, 811—816, 819, 822, 838, 840, 844, 845
 Тахмас-кулы-хан, иранский шах 744, 745
 Тегута, китайский министр, назначенный для переговоров с С. А. Владиславичем-Рагузинским в Пекине 471
- Тимашов Федор 446
 Тимлер, обер-камердинер 662
 Тимофей, архиепископ московский 775
 Тироупи, лорд, английский посол 609, 707
 Тишин Осип, тобольский таможенный подьячий 548
 Тодорский Семен, архимандрит 637
 Толстая Анисья 37, 502
 Толстой Андрей Васильевич, отец П. А. Толстого 262
 Толстой Иван Андреевич, азовский губернатор 313, 447
 Толстой Иван Петрович, сын П. А. Толстого 142, 342, 350, 357, 361—368, 484, 485
 Толстой Л. Н. 88, 342, 835
 Толстой М. 834
 Толстой Петр, сын П. А. Толстого 329, 330, 342, 835
 Толстой Петр Андреевич, граф, сенатор, дипломат, первый министр Тайной канцелярии, инициатор создания Верховного тайного совета 7—9, 83—88, 91, 116, 125, 126, 142, 157, 181, 262—344, 347—364, 366—368, 385, 398, 406—410, 413, 417, 418, 439, 440, 443—446, 448, 452, 463, 475, 481—491, 504, 508, 509, 510, 512, 513, 518, 686—688, 695, 782, 819, 823, 833—835
- Толстые:
 Андрей, внук Константина 263
 Гендрих (Леонтий) 263
 Константин, сын Леонтия 263
 Федор, сын Леонтия 263
 Толстые, братья 264, 265
 Томмазо Реди 457
 Тотлебен, генерал 763, 768
 Тревизан Виразиния, супруга С. А. Владиславича-Рагузинского 460, 461, 466, 485
 Тредиаковский В. К. 557, 560, 575, 797, 801, 804—807, 820, 822
 Трезини Доменико, русский архитектор 379
 Троицкий С. М. 824, 827
 Тротти И. Ж. 600
 Трубачева Катерина (Марта), см. Екатерина I Алексеевна
 Трубешкая Арина, княгиня 387
 Трубешкой, князь 91, 750
 Трубешкой Иван Юрьевич, князь, киевский губернатор 387, 404, 723
 Трубешкой Никита, князь 344, 521, 539, 558, 575, 632
 Трубешкой Н. Ю., генерал-фельдмаршал, князь 657—659, 758, 763
 Туаишен, китайский министр, назначенный для переговоров с С. А. Владиславичем-Рагузинским в Пекине 471—476
 Тургеньев 228
 Турчанинов, участник заговора 619, 620
 Тьртов, подпоручик 631
 Тютчев Петр, провинциал-фискал 418

- Уильямс Чарльз, английский посол 632, 647, 842
Украинцев Емельян Игнатьевич, думный дьяк, дипломат 281, 442, 443
Ульрих Антон, Брауншвейгский герцог 573, 575, 579, 580, 583, 584, 588, 591, 627—629
Урда, консул 514
Успиралов Н. Г. 10, 342, 823, 825, 827, 830—832, 834, 837, 839
Ухтомский Д. В., архитектор 802
Ушаков Андрей Иванович, майор, шеф Тайной розских дел канцелярии 57, 97, 125, 337, 339, 350, 352, 355, 356, 430, 558, 611, 612, 621, 622, 625
Ушаков Аполлон, поручик Великолуцкого пехотного полка 599, 600
- Фавье Ш. А., французский дипломат 617, 643, 706, 710, 841, 844
Фальенберг, майор 621, 622
Фаминцын, генерал-майор, обер-комендант Петербурга 18, 130, 342, 343, 362
Фандельдин, генерал-майор 80
Федор Алексеевич, царь 21, 263, 264
Фенелон, французский писатель 806
Феодосий, архимандрит 91, 783
Фердинанд, администратор Курляндии 119, 120
Фермор 707, 764, 765
Ферриоль Шарль, французский посол в Турции 293, 298, 299, 310
Фик, камералист 406
Фике, принцесса (будущая Екатерина) 636, 637
Филипп II, испанский король 80
Финч, посол 578, 579, 581, 582, 584, 593, 615, 698, 701, 702, 705
Флеминг, саксонский министр 69, 72
Фонвизин 718
Форбес, лорд 674
Фридерик IV, датский король 70—73
Фридрих-Вильгельм I, курляндский герцог 71, 119, 120, 528, 688
Фридрих-Казимир, курляндский герцог 119
Фролов Василий, войсковой атаман 35
Фурсов Федор, служитель А. Д. Меншикова 146, 150
- Ханьков Петр, поручик Преображенского полка 574
Херасков, писатель 799
Хитрово А. Ф. 696
Хрипунов Иван, служитель А. Курбатова 394
Христина, сестра Екатерины I 499
Хрущов А. Ф., капитан флота 559
Хрущов Михаил, генерал-поручик 558, 561
Хуссейн, шах 551
- Цедеркрейц, барон, шведский посол при русском дворе 154
- Циклер Иван Елисеевич, дворянин, полковник Стремянного полка 266, 655
Цырен-ван, китайский министр 473, 476
Чеботаев Степан, кабинет-курьер 377
Чекин Лука, поручик 598—600
Черкасов, кабинет-секретарь 644
Черкасов Иван Антонович, помощник А. В. Макарова 381, 387, 396
Черкасов Федор, живописец 458
Черкасский А. М., князь 90, 243, 534, 537, 538, 554—558, 563, 567, 575, 578—580, 607, 693, 694, 697, 701, 704
Чернышев Г., генерал-лейтенант 537, 538, 558, 560
Чернышов И. Г., граф, сенатор, действительный камергер 607, 624, 721—723, 767—769
Четель, комендант Батурина, сторонник И. С. Мазепы 51, 225
Чечеткин Иван, селенгинский земский комиссар 479
Чистович И. А. 824, 837, 845
Чичиков, персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» 408
Чоголок 639, 640
Чоголова М. С., статс-дама 642, 682
Чорлулу Али-паша, везир 310
Чукович, генеральный судья, сторонник И. С. Мазепы 466
- Шакловитый Федор Леонтьевич, окольный, фаворит царевны Софьи Алексеевны, глава Стрелецкого приказа 19, 21
Шанбек, генерал 220
Шапкин Василий, двоюродный брат А. В. Макарова 378, 415, 420, 421
Шапкин Петр, двоюродный брат А. В. Макарова 420
Шапкина Татьяна 408
Шаргородская, камер-фрейлина 656
Шаркова И. С. 838
Шарлотта Христина София, принцесса Вольфенбюттельской, покойная супруга царевича Алексея Петровича 325
Шарф, генерал 202
Шарьгин Федор 625—627
Шафиров Петр Павлович, барон, дипломат, вице-канцлер, сподвижник Петра I 6, 15, 33, 42, 45, 46, 56, 80, 87, 100, 235—241, 245, 246, 248, 309, 321, 337, 338, 348, 367, 373, 379—384, 398, 399, 401, 410, 420, 451, 483, 484, 517, 541, 543, 556, 686, 689, 691, 752, 794, 823, 833
Шафирова Анна Степановна, баронесса, супруга П. П. Шафирова 484
Шаховской М., князь 723
Шаховской Яков Петрович, сенатор, князь 558, 591, 595, 748, 773—775, 841
Шейн Алексей Семенович, боярин, генералиссимус 29, 30, 128, 175, 193, 265
Шемберг А. К., генерал-берг-директор 556, 585, 677, 721, 790

- Шенборн Фридрих, австрийский канцлер 131, 323
- Шепелева Марья Егоровна 617, 708
- Шереметев Борис Петрович, граф, генерал-фельдмаршал, сподвижник Петра I 7—10, 23, 36, 39, 51, 53, 56, 59, 173—215, 217—258, 265—268, 380, 385, 388, 391, 397, 407, 420, 441, 450, 451, 489—492, 499, 500, 734, 743, 794, 796, 823, 830—832
- Шереметев Василий Петрович, брат Б. П. Шереметева 228
- Шереметев Владимир Петрович 833
- Шереметев Михаил Борисович, генерал-майор, сын Б. П. Шереметева 186, 188, 229, 238, 240, 248, 257, 309
- Шереметев Петр Борисович, генерал-аншеф, сын Б. П. Шереметева от второго брака 242, 243
- Шереметев* С. 827, 832
- Шереметева Анна Петровна (урожденная Салтыкова), графиня, жена Б. П. Шереметева 242, 243, 387
- Шереметева Екатерина Борисовна, дочь Б. П. Шереметева 243
- Шереметева Наталья Борисовна, см. Долгорукова Н. Б.
- Шереметевский* В. В. 823, 837
- Шереметевы 20, 174
- Шестаков, казачий голова 480
- Шестакова Настасья Филатовна 567
- Шетарди де ла, маркиз 585, 588—590, 601—603, 608, 610—613, 615, 617, 647, 693, 701, 702, 704—706, 757, 840, 841
- Шеховская Татьяна, княгиня 150
- Шешковский 779
- Шибека, полковник 424
- Шипов Петр, генерал-майор 558
- Шишкин Евстигней Трифонович, драгун 409
- Шишкин И. 840
- Шкарлат Александр, переводчик султанского двора 300, 319, 320
- Шкурин, камер-лакей 656
- Шлиппенбах Вольмар Антон фон, шведский полковник, позже генерал 186—190, 192, 193, 197
- Шляков, подьячий 422
- Шоберт, врач 102
- Штелин Яков Яковлевич, академик 607, 634, 635, 637, 639, 682
- Шубин Алексей Яковлевич, прапорщик Семёновского полка 605, 614
- Шувалов А. П., сын П. И. Шувалова, директор Ассигнационного банка 723
- Шувалов Александр Иванович 625, 629, 630, 657—659, 679, 680, 708, 710, 721
- Шувалов Иван Иванович, граф, камергер 633, 644, 659, 671, 678—681, 707, 708, 716, 718, 808, 810, 811, 817, 843
- Шувалов Петр Иванович 616, 617, 648, 680, 684, 685, 707—710, 721—725
- Шуваловы 617, 657, 678, 707, 708
- Шуваловы-Воронцовы 645, 648
- Шультен, датский генерал 95
- Шульц, доктор-144
- Шумахер Андреас, секретарь датского посольства 800, 801, 818, 819, 842
- Шумахер, библиотечарь 375
- Шумигорский Е. 841
- Шхонекбек Андриан, мастер-гравёр 265
- Шютте Карл Густав, шведский полковник, комендант крепости Дерпт 198, 199
- Щебальский* П. К. 823, 828
- Щепотьев Михаил Иванович, сержант, соглядатай и толкач при Б. П. Шереметеве 209, 211, 233
- Щербатов* М. М. 490, 518, 521, 527, 606, 617, 729, 730, 799, 839, 841, 846
- Щербатова Анна Васильевна, княгиня 412
- Щубинский С. Н. 841
- Эйлер, ученый 801, 809, 811
- Эйхлер, секретарь кабинета 556, 559, 561
- Энгельс* Ф. 838
- Эреншильд Нильс, шведский контр-адмирал 78
- Юнчжэн, китайский богдыхан 470, 471, 473
- Юрлов, Лев, горицкий архимандрит 783, 785, 786
- Юрьев, капитан-поручик 97
- Юрьев Иван, обер-секретарь Иноземной коллегии 382, 837, 840
- Юст Юль, датский посланник при русском дворе 16, 24, 25, 57, 115, 235, 824, 825, 828, 832, 839
- Юсупов Григорий, князь, генерал-лейтенант 342, 343, 537, 538
- Юсуф-паша 304—306, 314
- Юшков В. А. 529
- Юхт А. И. 840, 844
- Яворский Стефан 787, 789
- Ягужинский Павел Иванович, сын органиста, дипломат, генерал-прокурор Сената, ближайший сподвижник Петра I 15, 84, 113, 115, 116, 388, 508, 510, 532, 534, 540, 542, 556, 582, 670, 687, 688, 692, 694—696, 710, 721, 773, 782, 794, 800
- Яковлев, секретарь А. Д. Меншикова 353, 560, 561
- Яковлев Василий Иванович 388
- Яковлев Иван Яковлевич, олонекский комендант 31
- Яковлев М. Я. 722
- Яновский Феодосий, новгородский архиепископ 504
- Ястребцова* Л. А. 11
- Яшка, сауга П. А. Толстого 142

СОДЕРЖАНИЕ

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА

Введение 5

АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ МЕНШИКОВ

Пирожник в роли «потомка» ободритов 15

В услужении и на службе 29

Герой Калиша, Батурина, Полтавы и Переволочны 42

Удачи и промахи в Померании 60

Санкт-Петербургский губернатор 75

На грани катастрофы 93

Вершина могущества и богатства 111

Крушение. Ссылка 137

Несколько заключительных замечаний 169

БОРИС ПЕТРОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ

Начало пути 173

Первые победы 182

Новое назначение 198

Вновь в действующей армии 214

Семейные радости и печали 242

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Дедушка в волонтерах 261

В Стамбуле 278

Облава 321

В заточении 342

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ

Кабинет его величества 371

Кабинет-секретарь 384

Звездный час 400

Мрачное десятилетие 415

САВВА ЛУКИЧ ВЛАДИСЛАВИЧ-РАГУЗИНСКИЙ

«Московскому Государству благопотребен»	439
Чрезвычайный посланник	462
Тайный советник	478
Заключение	487

СТРАСТИ У ТРОНА

Вместо предисловия	495
------------------------------	-----

ЧАСТЬ 1. СТРАСТИ У ТРОНА

Глава 1. Екатерина Первая	499
Глава 2. Петр Второй	514
Глава 3. Анна Иоанновна	528
Глава 4. Немцы сменили немцев	572
Глава 5. Елизавета Петровна	586
Глава 6. Петр Третий	632
Глава 7. Екатерина Вторая	646

ЧАСТЬ 2. СТРАСТИ ВОКРУГ ТРОНА

Глава 1. Фавориты	669
Глава 2. Вельможи	684

ЧАСТЬ 3. РОССИЯ В ГОДЫ БЕЗВРЕМЕНЬЯ

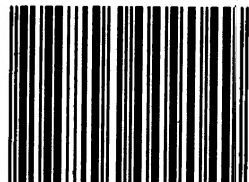
Глава 1. От служилого до привилегированного сословия	713
Глава 2. Войны с сомнительными успехами	734
Глава 3. Церковь — служанка государства	770
Глава 4. У истоков науки и искусства	794

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Птенцы гнезда Петрова	823
Страсти у трона	839

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ	847
-----------------------------	-----

I SEN 5-244-00904-4



9 795244 009049 >

Научно-популярное издание

Павленко Н.И.

Вокруг трона

Редактор Ю.В. Сокортова
Художественный редактор О.Н. Адашкина
Компьютерный дизайн: А.А. Кудрявцев
Технический редактор Н.Н. Хотулева
OCR - Давид Титиевский, март 2017 г., Хайфа

Подписано в печать с готовых диапозитивов
16.09.98. Формат 60×90¹/₁₆. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 54,00. Тираж 5000 экз. Заказ 1587.

**Налоговая льгота – общероссийский классификатор
продукции ОК-00-93, том 2; 953000 – книги, брошюры**

Гигиенический сертификат
№ 77.ЦС.01.952.П.01659.Т.98. от 01.09.98 г.

“Мысль”
Лицензия ЛР № 010150 от 30.12.96
117071, Москва, Ленинский проспект, 15.

При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32
от 27.08.97. 220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35 — 305.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79. Заказ 2383.

Ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат
ППП им. Я. Коласа. 220005, Минск, ул. Красная, 23.

Качество печати соответствует качеству
предоставленных издательством диапозитивов.